



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### **Правила использования**

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические записи.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.  
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические записи.  
Не отправляйте в систему Google автоматические записи любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.  
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.  
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

### **О программе Поиск книг Google**

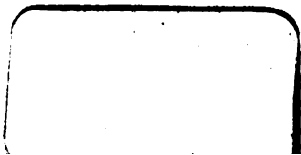
Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

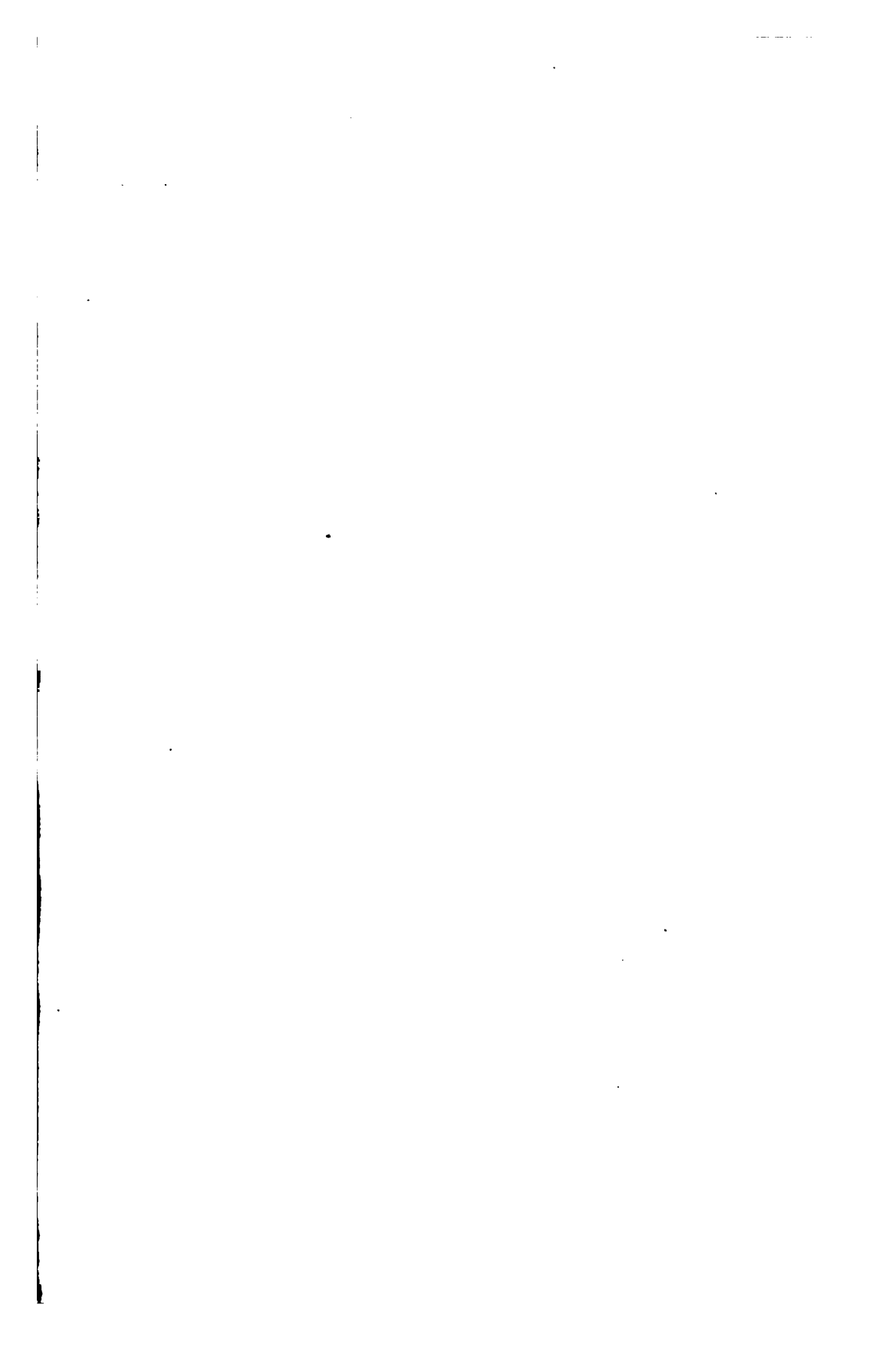


Slav 4100.100.15



HARVARD  
COLLEGE  
LIBRARY





ICTO

Ив. Ивановъ.

# ИСТОРИЯ РУССКОЙ КРИТИКИ.

3 4  
ЧАСТИ ТРЕТЬЯ И ЧЕТВЕРТАЯ.

Издание журнала „МІРЪ БОЖІЙ“.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія И. Н. Скороходова (Надеждинская, 43).

1900.



ИВ. ИВАНОВЪ.

# ИСТОРИЯ РУССКОЙ КРИТИКИ.

ЧАСТИ ТРЕТЬЯ И ЧЕТВЕРТАЯ.

---

Издание журнала „МІРЪ БОЖІЙ“.

---



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія И. Н. Скорѣходова (Надеждинская, 43).

1900.



Slav 4100.100.15  
✓



Prof. M. Karpovich

# СОДЕРЖАНІЕ.

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

### I.

СТРАН.

Общій взглядъ на смыслъ культурнаго движенія новаго времени. . . 1

### II.

Общая характеристика русскаго литературнаго движенія въ первой половинѣ XIX-го вѣка . . . . . 7

### III—VI.

*Московскій Наблюдатель*. Критическая дѣятельность пушкинскаго кружка. *Современникъ* . . . . . 15

### VII.

Появленіе на литературную сцену Бѣлинскаго . . . . . 39

### VIII—XXXII.

Эпоха Бѣлинскаго. . . . . 46

### XXXIII—XLIV.

Славянофильство и западничество . . . . . 213

### XLV—L.

Последній періодъ дѣятельности Бѣлинскаго. Майковъ. Культурное и нравственное значеніе личности и дѣятельности Бѣлинскаго въ исторіи русскаго общественнаго развитія. . . . . 292

## ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

### I—IV.

Общій характеръ историческаго періода по смерти Бѣлинскаго. . . 335

### V—VII.

Положеніе литературы въ концѣ сороковыхъ годовъ и вліяніе его на передовыхъ представителей русской мысли и науки. . . . . 366

## VIII—XIII.

Журналы и критики реакціонной и библиографическо-фельетонной эпохи. . . . .	385
---	-----

## XIV—XX.

Молодое поколѣніе славянофиловъ.—Григорьевъ.—Алмазовъ.—Эдельсонъ. . . . .	427
---	-----

## XXI.

Предвѣстники и будущіе дѣатели преобразовательной эпохи. . . . .	473
--	-----

## XXII—XXIII.

Начало царствованія Александра II.—Возрожденіе литературы и общественной мысли.—Роль славянофиловъ. . . . .	479
---	-----

## XXIV—XXV.

Катковъ. . . . .	492
------------------	-----

## XXVI.

Общій характеръ движенія и дѣателей шестидесятихъ годовъ. . . . .	508
---	-----

## XXVII—XXXI.

Старшее поколѣніе шестидесятниковъ.—Философская и критическая дѣятельность Чернышевскаго. . . . .	514
---	-----

## XXXII—XXXVII.

Личность, идеи и судьба Добролюбова. . . . .	550
--	-----

## XXXVIII—XLI.

Общій характеръ второго періода шестидесятихъ годовъ.—Психологія нигилизма и младшаго поколѣнія шестидесятниковъ.—Отношеніе шестидесятниковъ-дѣтей къ шестидесятиникамъ-отцамъ и къ Бѣлинскому. . . . .	597
---	-----

## XLII—LI.

Писаревъ какъ личность и какъ писатель.—Его сподвижники и враги. . . . .	623
--	-----

## LII.

Соціально-экономическія идеи <i>Русскаго Слова</i> . . . . .	688
--	-----

## LIII—LIV.

Литературная и публицистическая борьба съ нигилизмомъ. . . . .	694
--	-----

## LV.

Итоги литературной критики и публицистики шестидесятихъ годовъ.—Общій взглядъ на историческія судьбы русской критики и ея будущее. . . . .	710
--	-----

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

### I.

Девятнадцатый вѣкъ, возставая противъ критической, преимущественно отрицательной мысли предъидущей эпохи, усвоилъ ей самое существенное и цѣнное наслѣдство—идею прогресса. Сент-симонисты, съ особенной страстью ополчившіеся противъ «вольтерьянскаго духа» и создавшіе зданіе новаго порядка и новой вѣры, во главу угла положили законъ прогрессивнаго развитія человѣчества и этимъ основнымъ принципомъ своей религіи и церкви пытались объяснить прошлое и логически вывести изъ него будущее мировой цивилизаціи. Они воспользовались обильными трудами просвѣтителей, шедшихъ въ борьбу противъ стараго государства и стараго общества также съ непоколебимой увѣренностью въ поступательномъ, ничѣмъ не отвратимомъ движеніи человѣческаго разума.

Не мало въ высшей степени тяжелыхъ испытаній и препятствій предстояло преодолѣть этой вѣрѣ.

Исторія на всемъ своемъ пространствѣ отнюдь не представляла идиллической картины. Это было прекрасно извѣстно людямъ XVIII вѣка. Не даромъ именно среди нихъ явились обожатели «естественнаго состоянія», ожесточенные ненавистники цивилизаціи и даже «гражданскаго состоянія». Мы встрѣтимъ сколько угодно пессимистическихъ изліяній на счетъ судебъ человѣчества у философовъ и поэтовъ. Гиббонъ, одинъ изъ самыхъ яркихъ сыновъ своего времени, нарисуетъ удручающую перспективу историческаго прошлаго. Это «списокъ преступленій, безразсудствъ и бѣдствій человѣческаго рода». Величайшіе герои на политической сценѣ весьма часто то же самое, что злодѣи въ частной жизни...

Другой писатель эпохи, одновременно поэтъ и одинъ изъ самыхъ раннихъ философовъ исторіи, романтически-вдохновенный и глубоко-

ученый Гердеръ, передавалъ современникамъ результаты своихъ изслѣдованій въ самой грустной формѣ:

«Земля—добыча насилія. Ея исторія—печальная картина охоты людей другъ за другомъ. Малѣйшая перемѣна въ рабскомъ состояніи человѣчества сопровождается кровью и слезами угнетенныхъ. Славнѣйшія имена принадлежатъ убійцамъ народовъ, деспотамъ, эгоистамъ»...

И вотъ, на глазахъ этихъ людей, даже при помощи ихъ самихъ, выросла идея, наложившая сильную и оригинальную печать на всю литературу и на личные характеры ея талантливейшихъ представителей.

Они не отступили предъ тьмой, окутывавшей прошлое человѣчества и таившей невѣдомое, можетъ быть, столь же злобщее будущее. Они отважно принялись изучать списокъ преступленій и безразсудствъ и прочитали въ немъ смыслъ, не скрывающій ни іоты правды и дѣйствительности и въ то же время исполненный надеждъ.

Да, заблужденій люди пережили неисчислимое множество, переживаютъ ихъ и до послѣднихъ дней. Но не въ заблужденіяхъ нашъ предѣлъ. Они не болѣе, какъ тѣ покрывала, какія природа даетъ вновь возникающимъ растеніямъ. Съ теченіемъ времени покровы вянутъ и опадаютъ, замѣняются новыми, пока стволъ не увѣнчается короной цвѣтовъ и плодовъ. Этотъ процессъ—точный символъ медленно, но неуклонно развивающейся истины.

Страсти, не менѣе заблужденій, властны надъ людьми. Онѣ часто вызывали страшные кровавые перевороты, устремляли честолюбцевъ на разгромъ чуждыхъ націй, и именно въ этой бурѣ рождались и крѣпли новыя идеи, и человѣческій разумъ собиралъ для себя новую пищу. Страсти «мятежныя и опасныя становятся источникомъ движенія и, слѣдовательно, прогресса». Все, что мѣняетъ спену дѣйствія и положеніе дѣйствующихъ лицъ, расширяетъ кругъ идей. Столкновение добра и зла увеличиваетъ опытность и развиваетъ силы добрыхъ и утверждаетъ самое понятіе блага. Ни одна историческая перемѣна не совершается безъ пользы и человѣчество нерѣдко собираетъ первые плоды разума и нравственной энергіи на полѣ вчерашней битвы <sup>1)</sup>.

Еще энергичнѣе защищалъ цѣлесообразность заблужденій и страстей отнюдь не лирическій авторъ. Кантъ всякій шагъ куль-

<sup>1)</sup> Turgot. *Sur les progrès successifs de l'esprit humain. Oeuvres.* Paris. 1803, II.

туры считалъ неразлучнымъ съ проявленіемъ особаго свойства человѣческой природы—*Ungeselligkeit*, неприспособленности отдѣльной личности къ условіямъ даннаго общества. Именно личная страсть, все равно какой угодно нравственной цѣнности, создаетъ антагонизмъ общества и отдѣльнаго человѣка. Изъ борьбы постепенно возникаетъ закономѣрный порядокъ—высшій и болѣе прогрессивный. А борьба, въ свою очередь, вызываетъ къ жизни таланты и совершенствуетъ ихъ среди опасностей и испытаній. Нѣтъ, слѣдовательно, ни одного бѣдствія безъ положительнаго вклада въ общій капиталъ цивилизаціи <sup>2)</sup>.

И это убѣжденіе оставалось не только отвлеченной идеей, а живѣйшимъ нравственнымъ чувствомъ дѣятелей просвѣщенія. Оно помогло кенигсбергскому отшельнику проникнуть въ смыслъ событій революціи и за грозными, часто отталкивающими, фактами разглядѣть культурное зерно, обильное безсмертными міровыми плодами. Даже больше. То же самое убѣжденіе спасло мужество Кондорсе въ минуту насильственной смерти и философъ закрылъ глаза, не переставая восторженной мыслью созерцать необозримо-величественную даль человѣческаго совершенствованія.

Такія настроенія не умираютъ вмѣстѣ съ людьми и вѣра просвѣтителей перешла къ поколѣніямъ, готовымъ отречься отъ многихъ цѣлей отцовъ, но твердо сохранившимъ источникъ ихъ воинственныхъ критическихъ замысловъ и неисчерпаемаго идейнаго энтузіазма.

*Борьба*,—вотъ господствующій девизъ новѣйшей философіи исторіи. Не ложь, не гоненія на правду и истину опасны для прогресса, а застой, отсутствіе умственной жизни, усыпленіе мысли. Это величайшее изъ всѣхъ золъ. «Дайте намъ, — восклицаетъ Бокль, — парадоксъ, дайте намъ заблужденіе, дайте все, что вамъ угодно, но только спасите насъ отъ застоя. Онъ холодный духъ рутины, окутывающій тьмой нашу природу. Онъ пятнаетъ людей подобно ржавчинѣ, притупляетъ ихъ способности, заставляетъ увядать ихъ силы, дѣлаетъ ихъ неспособными, даже убиваетъ у нихъ желаніе бороться за истину или просто опредѣлить предметъ своихъ дѣйствительныхъ вѣрованій» <sup>3)</sup>.

Эта истина подтверждается ежедневнымъ опытомъ. Она точно

<sup>2)</sup> Kant. *Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Abicht*. Verke. Leipzig. 1838, t. VII.

<sup>3)</sup> Buckle. *Mill on Liberty. Essays*. Leipzig, 1867, 93—94.



опредѣляетъ смыслъ отдѣльныхъ историческихъ эпохъ и значеніе личностей. Оно должно быть измѣряемо не столько обиліемъ истинъ, доступныхъ данному человѣку, не столько широтой его ума и культурностью его воззрѣній, сколько способностью вызвать движеніе во имя истины и ради воззрѣній. Совершеннѣйшій и изящнѣйшій умъ можетъ остаться мертвымъ капиталомъ и тунейдымъ эгоистическимъ явленіемъ, разъ онъ не выйдетъ на арену общихъ интересовъ и взаимныхъ столкновеній съ другими, менѣе совершенными духовными организаціями. Весь смыслъ человѣческихъ способностей въ жизнедѣятельности, а не во внутреннемъ отрѣшенномъ совершенствованіи. Отсюда—немошное самоуслажденіе такъ называемыхъ избранныхъ аристократическихъ натуръ, ощущающихъ мучительную оторопь при одной мысли объ открытой встрѣчѣ съ противникомъ. Отсюда положительное преимущество не столь привилегированныхъ талантовъ и не столь тонкихъ мыслителей и эстетиковъ, но исполненныхъ практическаго мужества и не таящихъ отъ свѣта своей *Ungeselligkeit*.

Исторія знаетъ не одну эпоху, когда изящество и культурность общества достигали высшаго предѣла, когда цивилизація, казалось, истощала всѣ свои силы на отдѣлку просвѣщеннѣйшихъ любителей мысли и творчества, и это именно были времена застоя и ржавчины. За ними слѣдовало увяданіе культуры и то варварство, какое итальянскій философъ Вико ставилъ въ концѣ мертвенной эгоистической цивилизаціи. И вина лежала въ мертвенности, въ принципиальной апатіи, въ нравственной немощи людей, утратившихъ инстинктъ движенія и борьбы.

Приложите этотъ принципъ къ какому угодно явленію или дѣятелю и вы получите безошибочную культурно-историческую оцѣнку. Факты и люди естественнымъ путемъ размѣстятся въ вашемъ приговорѣ. Вамъ не потребуетъ прибѣгать къ тяжелому искусу, ежеминутно стоять на стражѣ пристрастій и ошибокъ свидѣтелей прошлаго, считаться съ ихъ личными, часто невольными извращеніями чужихъ заслугъ и характеровъ.

Одного вопроса не можетъ ни скрыть, ни извратить какой угодно пристрастный свидѣтель. Напротивъ. Именно его пристрастіе сообщить особенно рѣзкую окраску спорному предмету,—и температура гнѣвнаго или ненавистническаго чувства создастъ блестящее освѣщеніе самой цѣнной черты въ унижаемой личности: ея способности вызывать сильныя чувства у свидѣтелей ея дѣятельности.

Пусть эта дѣятельность будетъ управляться ложными принципами, но только *принципами*, пусть она граничитъ даже съ фанатизмомъ, но только во имя *убѣжденій*, и за извѣстнымъ именемъ останется почетное мѣсто въ памяти потомства. Недаромъ, даже Платонъ, измышлявшій на словѣ лѣтъ всевозможныя кары за «ереси», преклонился предъ *искренностью* заблужденій и не призналъ ихъ преступленіями. Истина, такая ясная и подлинная, какой требуетъ, наприимѣръ, Саладинъ отъ Натана, вѣчно маящая, но врядъ ли достижимая цѣль для нашихъ силъ. Единственное неопровержимое назначеніе человѣчества—исканіе истины, и на этомъ неограниченномъ поприщѣ должно быть мѣсто всякому уму и всякому знанію. Терпимость—естественный необходимый результатъ основныхъ законовъ нашего нравственного міра, логическое слѣдствіе несовершенства нашихъ способностей, столь же логическое, какъ и принципъ открытой борьбы во имя того, что данному уму въ данную минуту представляется истиной.

Мы, поэтому, въ своей исторіи не произносили и не будемъ произносить приговоровъ по статьямъ какого бы то ни было партійнаго уложенія, и еще менѣе могли допустить судъ надъ дѣлами и дѣятелями прошлаго по современнымъ представленіямъ въ области общественныхъ идеаловъ. Мы лично могли сочувствовать усиліямъ писателя въ одномъ опредѣленномъ—для насъ дорогомъ—направленіи, но это сочувствіе не помѣшало бы намъ одѣнить *прогрессивныя* заслуги, и его враговъ, т. е. его искренность и талантливость идейной борьбы, хотя бы даже за то, что намъ кажется заблужденіемъ. Мы ни на минуту не забывали, что и наша современная истина—со временемъ—можетъ оказаться заблужденіемъ и тогда бы исторію пришлось превратить въ нескончаемый рядъ уголовныхъ протоколовъ и взаимныхъ безпощадныхъ каръ одного поколѣнія другимъ.

Нѣтъ. Мы производимъ не слѣдствіе, стремимся не къ побѣдоносному сопоставленію нашихъ истинъ съ чужими ошибками, а желаемъ представить поучительнѣйшую школу независимаго развитія мысли и рыцарскаго труженичества во имя ея. Предъ нами нѣтъ ни героя, ни жертвъ, только во имя большей или меньшей правильности воззрѣній и цѣлесообразности дѣйствій. Истинный героизмъ не въ способности усвоить болѣе жизненныя и, слѣдовательно, болѣе благодарныя для защиты идеи, и еще менѣе въ практическомъ успѣхѣ, а въ способности вообще вѣровать и уважаться съ другими за свою вѣру.

Нерѣдко, защитникъ отживающихъ идеаловъ можетъ предстать предъ нами съ гораздо болѣе свѣтлымъ ореоломъ, чѣмъ сторонники новизны, и наше сочувствіе будетъ завоевано совершенно другими достоинствами героя, чѣмъ самые передовые взгляды— нравственные и общественные. Недаромъ, Донъ-Кихотъ одинъ изъ любимцевъ человѣчества, при всемъ ретроградствѣ цѣлей и многихъ инстинктовъ ламанческаго рыцаря.

И мы помнимъ, единственные невозбранно-законные вѣсы, какими располагаетъ историческая Фемида, должны быть направлены не на умъ человѣка, какъ прогрессивнаго мыслителя, не на его сердце, какъ идеальнаго члена семьи и кружка друзей, не на его таланты дѣятеля, а на нѣчто высшее всего этого, на его *личность*, какъ нравственный типъ, на его *натуру*, какъ единичное проявленіе человѣческой природы вообще. И только при такихъ условіяхъ возможенъ достойный судъ, потому что онъ будетъ основанъ на единственно прочныхъ данныхъ, неизмѣнныхъ, по своему нравственному смыслу, во всѣ времена и во всякой средѣ: на глубинѣ и силѣ чувства, одушевлявшаго нашего подсудимаго, и на безкорыстїи и мужествѣ, управлявшихъ его жизнью. Если вы найдете въ немъ цѣльность, послѣдовательность и искренность натуры, вы отведете ему мѣсто въ роскошнѣйшемъ пантеонѣ человѣчества. Если нѣтъ, васъ не подкупятъ личныя обаятельныя качества Деместра, не ослѣпятъ звучныя рѣчи Гейне, не закружатъ сказочное счастье Наполеона. Вы не послѣдуете за какими угодно совершенными авторитетами исторїи и эстетики, полными умиленія предъ семейной корреспонденціей автора *С.-Петербургскихъ вечеровъ*, восторгами надъ «пѣснями» автора парижскихъ писемъ. Вы не забудете гимновъ политика палачу и деспотизму ради нѣжныхъ словъ отца и шутовскихъ издѣвательствъ надъ нравственнымъ достоинствомъ человѣка и гражданина ради острыхъ каламбуровъ любовника.

Въ нашей исторїи до сихъ поръ мы встрѣчали только смутные и отрывочные намеки на подлинную исторически-безсмертную духовную силу. Предъ нами не прошло ни одной личности, одинаково искренней въ убѣжденїяхъ и отважной въ дѣлахъ. Русская жизнь не дала русской литературѣ ни одного героя— не въ смыслѣ талантливости и ума, а въ смыслѣ цѣльной натуры, гармоническаго нравственнаго міра писателя-борца. Только въ концѣ вѣкового движенія русской литературы явился журналистъ съ несомнѣнными задатками идейнаго бойца. Не продолжительнымъ ока-

зался его путь, и далеко не выдержанными остались его дѣла. Полевой умеръ преждевременной авторской смертью и не донесъ до могилы лавровъ своей молодости.

Но эти лавры не были случайностью. Они неразрывно сплетались съ рѣдкими, но жизненными побѣгами такой же молодой энергіи среди раннихъ поколѣній и разрослись въ роскошный вѣнецъ гражданской славы у преемниковъ.

Именно этому не всегда глубокому, но ни при какихъ условіяхъ не умиравшему живому теченію русская критика обязана своими успѣхами. Какъ бы подчасъ ни казались мелочны боевыя схватки русскихъ журналистовъ, какимъ бы кошмаромъ ихъ ни угнеталъ авторитетъ иноземныхъ учителей, сколько бы средостѣній ни воздвигала отечественная дѣйствительность между идеями и явленіями, писателемъ и публикой, мы все время не теряемъ изъ виду проблесковъ подлиннаго прогресса и — русской мысли и русской жизни, потому что намъ не перестаютъ говорить объ *убѣжденіяхъ* и не отступаютъ предъ посильной *борьбой* за нихъ. Въ этихъ фактахъ заключалось все будущее русскаго культурнаго развитія и историкъ долженъ легчать ихъ, какъ лучи разсѣянной истины, какъ достовѣрнѣйшіе показатели жизнеспособности національнаго гонія и національной гражданственности.

## II.

Мы знаемъ, съ какой стремительностью Полевой спѣшилъ выступить на защиту полемики, — онъ, болѣе всѣхъ терпѣвшій отъ личныхъ наветовъ и литературной вражды почти всей современной журналистики! Въ этой защитѣ сказался *инстинктъ* прирожденнаго публициста, и Полевой, можетъ быть, не сознавалъ всего значенія своихъ запальчивыхъ проповѣдей.

А между тѣмъ, онъ краснорѣчивое эхо приближавшейся, уже наступавшей грозы. Онъ предвѣщали не полемику, не единоборство ловкихъ «журнальныхъ сыщиковъ» и дерзкихъ спекуляторовъ литературы, а цѣлую бурю неумолкаемаго идейнаго боя — и за вѣчныя основы искусства, и за насущные вопросы повседневной дѣйствительности. На сцену готовился выступить боецъ неукротимой энергіи, весь одушевленный страстной, всепоглощающей вѣрой въ свою истину, все слагающій — и талантъ, и умъ, всю свою природу и все свое личное счастье — предъ единымъ божествомъ — личнымъ убѣжденіемъ писателя и гражданина.

Ему, въ теченіе болѣе вѣка, предшествовали боязливые, будто разорванные голоса, также заявлявшіе объ убѣжденіяхъ и также требовавшіе борьбы. Мы ихъ слышимъ всякій разъ, когда сквозь педантизмъ и рутину пробивался свѣтъ національной стихіи или оригинальнаго ума и таланта. Сумароковъ и Ломоносовъ говорятъ лирическія хвалы родному языку, Мерзляковъ въ лицо аристократическому офранцуженному обществу бросаетъ укоръ въ недостатокъ патріотизма и въ постыдномъ чужебѣсін, Крыловъ издѣвается надъ просвѣщенными франтами, предпочитающими парикмахера философу. Это все вѣщія рѣчи, это все натурой воспринятыя убѣжденія и въ результатѣ все это борьба, протестъ, т. е. движеніе и прогрессъ.

И въ какой тѣмѣ онъ осуществляется! Предъ нами будто *lucida intervalla*, свѣтлые моменты среди сословныхъ предразсудковъ, цеховой нетерпимости, варварской надменности — язвъ, не чуждыхъ самой литературѣ и наукѣ. Но духъ носится надъ хаосомъ, и, несомнѣнно, изъ хаоса долженъ возникнуть стройный міръ въ процесѣ все той же борьбы, личнаго увлеченія, партійнаго азарта, часто ненависти и злобы. Но пусть разыгрываются какія угодно страсти, лишь бы не мѣла жизнь; онѣ навѣрное вынесутъ на поверхность взбаломученнаго общественнаго моря сѣмена подлинной силы.

Съ такимъ именно чувствомъ выступило новое философское поколѣніе на смѣну старикамъ, безпомощнымъ пловцамъ въ родѣ Мерзлякова, изнывавшаго въ безысходной борьбѣ между личнымъ сочувствіемъ *убѣжденію* и *свободѣ* и стихійно-засасывающимъ болотомъ предавій и авторитетовъ. Теперь больше не будетъ сдѣлокъ человѣческой души со страхомъ іудейскимъ.

Теперь самъ учитель объявить молодежи: нѣтъ ни единаго мудреца, не подлежащаго «повѣркѣ общаго ума человѣческаго», нѣтъ безусловнаго воплощеннаго разума, а только «боренье мыслей», и оно единственный путь къ истинѣ.

Великія слова и ихъ однихъ достаточно было бы для вѣчной памяти потомства о профессорѣ Галичѣ. Но учитель желалъ большаго. Онъ требовалъ борьбы за *убѣжденія*. Онъ находилъ, что «безъ убѣжденій жить нельзя». Онъ, слѣдовательно, стремился среди юношества создать религію духа и истины и источникомъ счастья объявлялъ усвоеніе единаго вдохновляющаго философскаго принципа. Мысль сливалась съ чувствомъ и разумъ

съ энтузіазмомъ. Воля дѣйствовать и жить по убѣжденіямъ вытекала изъ необходимости обладать ими.

И явился другой учитель, воплотившій въ своей личности эту гармонію идеи и пафоса. Впослѣдствіи юные философы будутъ прямо объявлять «холоднаго человѣка»—«подлецомъ»: онъ «не можетъ быть хорошимъ человѣкомъ» <sup>4)</sup>. Это представленіе могло быть почерпнуто изъ лекцій Павлова, не прочитавшаго ни разу «ни одной холодной, ни одной сухой или скучной» лекціи, не утратившаго ни на минуту «воодушевленія» и сообщавшаго его слушателямъ.

Естественно, ученики пойдутъ еще дальше. «Мысль развивается въ борьбѣ»,—девизъ молодыхъ шеллингѣанцевъ, мысль—душа литературы, а литература—служба родинѣ и народному просвѣщенію. Это вполне логическая цѣпь положеній, и какимъ восторгомъ звучать рѣчи начинающихъ писателей при одной мысли, что гдѣ-то черезъ двадцать они, послѣ честной гражданской работы, соберутся вмѣстѣ и взаимно отдадутъ отчетъ въ своихъ дѣлахъ. А «въ свои свидѣтели каждый будетъ призывать просвѣщеніе Россіи. Какая минута!» <sup>5)</sup>.

И вы думаете, имъ нужна непременно громкая слава, рукоплесканія многочисленной публики. Нѣтъ! У кого жизнь сливается съ убѣжденіемъ, тому путь къ осуществленію идей безразличенъ, усядутъ ли его розы или покроютъ терніи. Послѣдніе, пожалуй, еще желательнѣе: цѣль въ глазахъ энтузіаста возвысится до священнаго призванія именно благодаря препятствіямъ и испытаніямъ. А для утѣшенія ему достаточно увѣренности, что гдѣ-то, въ неизвѣстной дали есть другъ-читатель, какой-нибудь бѣднякъ на четвертомъ этажѣ, «скромно одѣтый» провинціалецъ или даже мечтательная любительница поэзіи.

Да, всѣ эти цѣнители творчества и сочувственники философовъ и художниковъ безпрестанно проходятъ въ юномъ воображеніи нашихъ идеалистовъ, и если писателю приходится встрѣтить свою мечту воплощенной—онъ счастливъ, его грудь переполняется отвагой на дальнѣйшій путь.

Одинъ изъ такихъ счастливицевъ такъ изображалъ своему другу свои первыя писательскія впечатлѣнія:

<sup>4)</sup> Слова Станкевича; *Н. В. Станкевичъ. Анненковъ. Воспоминанія и критическія очерки.* Спб. 1881. III, 290.

<sup>5)</sup> Письмо И. В. Кирѣевского къ И. А. Кошелеву. *Сочиненія.* I, 12—13.



«Если бы ты зналъ, какъ весело быть писателемъ! Я написалъ одну статью, говоря по совѣсти, довольно плохо, и если бы могъ, уничтожилъ бы ее теперь. Но, не смотря на то, эта одна плохая статья доставила мнѣ минуты неоцѣнныя. Кромѣ много-го другого скажу только одно. Есть въ Москвѣ одна дѣвушка, прекрасная, умная, любезная, которую я не знаю и которая меня отъ роду не видывала. Тутъ еще нѣтъ ничего особенно пріятнаго, но дѣло въ томъ, что у этой дѣвушки есть альбомъ, куда она пишетъ все, что ей нравится, и, вообрази, подлѣ стиховъ Пушкина, Жуковского и пр., списано больше половины моей статьи. Что она нашла въ ней такого трогательнаго, я не знаю; но, не смотря на то, это одно можетъ заставить писать, если бы даже въ самой работѣ и не заключалось лучшей награды»<sup>6)</sup>).

Такъ мало требовали молодые писатели отъ славы! Очевидно, въ самой работѣ заключалось утѣшеніе, стоявшее выше популярности и публичнаго шума. На него трудно было разсчитывать, когда приходилось создавать еще публику для новой литературы и вчерашнихъ читателей *Бѣдной Лизы* и *Светланы* преобразовывать въ мыслителей. Писательство выходило борьбой въ силу историческаго порядка вещей, и въ этой борьбѣ таилась не-сказанная притягательная сила для юныхъ дѣятелей.

Какая пропасть легла между ними и еще не сошедшими со сцены учителями и общепризнанными талантами! Карамзинъ, на верху славы, не желаетъ защищать дѣла всей своей жизни, сторонится отъ литературнаго спора, возникшаго по поводу его же произведеній, онъ соглашается уступить настоящимъ просьбамъ пріятеля, пишетъ полемическую статью, но, вмѣсто печати, бросаетъ ее въ огонь... Вотъ краснорѣчивѣйшій образчикъ умственной косности и эпикурейскаго литераторства! Я буду говорить умильные и красныя рѣчи въ гостиной, чеканить поразительно художественныя фразы и измышлять неуловимо тонкія чувства въ своемъ кабинетѣ, но да сохранять меня силы небесныя отъ публичнаго ратоборства за эти рѣчи и чувства! Я безглаголиво отвернусь отъ улицы и литературнаго «толкучаго рынка». Именно такъ на моемъ салонномъ нарѣчій будетъ именоваться сцена какой бы то ни было журнальной публицистики, — и я не стану отвѣчать «ни на одну критику», лишь бы не запачкать перчатокъ въ газетной пыли. Я буду «жаркимъ спорщикомъ въ своемъ кругу»,

<sup>6)</sup> Кирѣевскій. О. с. I, 16—17.

но что дѣлается и говорится въ его, меня не можетъ ни волновать, ни даже интересовать <sup>1)</sup>).

Съ такими мыслями старые русскіе писатели совершали свое величественное шествіе! Подъ стать Карамзину и другой великій авторитетъ аристократической словесности, Жуковский. Прекрасная душа романтика также не выносила борьбы и онъ готовъ былъ возсылать хвалу «жизнедавцу Зевесу» во всякую минуту своего бытія. Кротость, равновѣсіе духа, «полнѣйшая тишина и покорность судьбѣ», во всемъ этомъ «высшая мудрость» и, слѣдовательно, возможное человѣческое счастье.

Эти настроенія по существу не дѣятельны и не прогрессивны. Благо русской литературы, что она рядомъ съ «мирными пастырями» создала писателей совершенно другого закала, и у карамзинской школы и у романтизма нашлись борцы и защитники. Иначе рости бы невозбранно плеведамъ классицизма. Именно рѣшимость спуститься до «толкучаго рынка» должна отвести въ исторіи даже и слабѣйшимъ литературнымъ талантамъ не менѣе почетное мѣсто, чѣмъ кроткимъ созерцательнымъ геніямъ.

Съ теченіемъ времени становятся все рѣже младенчески-невозмутимыя души въ жанрѣ Жуковского и слащавые самодовольные эгоисты въ стилѣ Карамзина. Все тѣснѣе ограничивается та священная вершина горы, откуда литераторы-собратья тусклыми очами обозрѣвали бурное житейское море. Олимпъ смертныхъ постепенно вымираетъ и гибнетъ въ преданіяхъ старины, подобно художественному Олимпу боговъ. Уже философы жаждутъ борьбы, для романтиковъ весь смыслъ въ движеніи, въ воинственныхъ вызовахъ прошлому и въ страстной защитѣ будущаго. Философы будутъ вести свои безконечные споры сравнительно мирно и терпимо, какъ и подобаетъ ученикамъ германскаго «любомудрія». Они немедленно намѣтятъ чрезвычайно возвышенныя цѣли, но именно благодаря отдаленности цѣлей отъ дѣйствительности, философы могутъ оберечь себя отъ излишней запальчивости. У кого стремленія граничатъ съ небомъ, тотъ можетъ, сравнительно, спокойно проходить мимо будничныхъ мелочей.

У него не будетъ недостатка въ энтузіазмѣ, въ нравственной энергіи, въ глубокой искренней вѣрѣ, но самыя свойства задачи

<sup>1)</sup> Сочувственная характеристика Карамзинскаго отношенія къ литературной полемикѣ у кн. Вяземскаго, въ статьѣ о *Ревизорѣ*. *Современникъ*. 1836, II, стр. 289.

неминуемо съюзать кругъ его практическихъ дѣйствій. Только самыхъ избранныхъ можетъ захватить интересъ къ абсолюту и тождеству и только нарочито подготовленные умы могутъ принять участіе въ многотрудномъ путешествіи къ таинствамъ высшего созерцанія.

Естественно, философы остаются гораздо болѣе принципиальными борцами, чѣмъ подлинными преобразователями дѣйствительности. Ими владѣетъ *идея*—борьбой развивать мысль, но они, по личнымъ организациямъ и по намѣченнымъ идеаламъ, далеки отъ осуществленія этой идеи. Они благонамѣреннѣйшіе учителя и неприспособленные дѣлатели жизни. Они окажутъ незамѣнимыя услуги въ теоретическомъ ниспроверженіи идейнаго рабства и ученаго педантизма. Они нанесутъ первые и жесточайшіе удары профессорской эстетики и рядомъ съ университетской аудиторіей создадутъ свою свободную, оригинальную, просвѣтительную въ истинномъ смыслѣ слова.

Но эта аудиторія также останется привилегированной обителью науки и мысли. У нея также будутъ свои жрецы и свои «оглашенные». Это также общество вѣрующихъ и посвященныхъ, отдѣленное отъ большинства смертныхъ грозными средостѣіями малодоступныхъ философскихъ истинъ и эстетическихъ идеаловъ. Здѣсь провозгласятъ великій принципъ: «мысль развивается въ борьбѣ», но показать наглядно это развитіе, оправдать принципъ всенародно, а не только на глазахъ «своего круга», придется другимъ. Это будутъ менѣе философы и болѣе литераторы. Они поймутъ и литературу, какъ одну изъ отраслей жизненной, практически цѣлесообразной дѣятельности. Даровитѣйшій поэтъ молодого поколѣнія рѣшится назвать писаніе стиховъ ремесломъ, дающимъ ему средства къ существованію, критики на тѣ же стихи посмотрятъ, какъ на службу обществу и примѣнятъ къ нимъ всѣ тѣ же нравственные запросы, по которымъ оцѣниваются общественные дѣятели.

И вспомните, съ какой послѣдовательностью эти запросы становятся все опредѣленнѣе и настойчивѣе!

Сначала мы слышимъ о безполезности поэта, способнаго «наслаждаться въ собственномъ своемъ мірѣ» и, слѣдовательно, «уклоняться отъ цѣли всеобщаго совершенствованія». Поэту рекомендуются живые интересы человѣчества, вниманіе къ *общему* уму и *общему* чувству. Это большой успѣхъ сравнительно съ созерцательной кротостью пастырей, но это слишкомъ неопредѣленная за-

дача и крайне обширная программа. Точного, для всѣхъ яснаго, руководящаго текста пока нѣтъ, потому что идея всеобщаго совершенствованія—понятіе всеобъемлющее, въ него можно вложить какое угодно практическое содержаніе и намѣтить какой угодно путь на будущее.

Необходимо идею расчленивъ, приблизить ее къ ближайшимъ вѣдущимъ цѣлямъ современности и предложить формулу по силамъ всякому, у кого только можетъ явиться желаніе выйти изъ «своего міра».

И мы, дѣйствительно, слышимъ о *гражданскомъ* долгѣ поэта. Мысль несравненно болѣе вразумительная, чѣмъ всемірное идеальное реформаторство. Поэтъ—гражданинъ своего отечества и сама дѣйствительность укажетъ ему его назначеніе, если онъ только отнесется къ ней съ искренней и всесторонней вдумчивостью. Очевидно, и принципъ борьбы принимаетъ другую форму. Борьба неизбежно усвоить популярный и яркій характеръ, потому что предметъ ея захватитъ всѣхъ просвѣщенныхъ людей времени, не только ученыхъ и философовъ, а всякаго, кто одаренъ способностью осмысливать хотя бы только свою личную жизнь. Литература на самомъ дѣлѣ превращается въ одну изъ общественныхъ и даже политическихъ силъ: она разрѣшаетъ вопросы сословныхъ отношеній, всеобщей равноправности предъ закономъ, затрагиваетъ авторитетъ пережитковъ старины и исключительныхъ преимуществъ.

Совершенно послѣдовательно въ литературѣ обнаружится сочувствіе тѣмъ или другимъ фактамъ и направленіямъ современной мысли и практики и, естественно, завязывается споръ между заинтересованными сторонами. Въ спорѣ немедленно обнаружатся два общихъ теченія—консервативное и преобразовательное. И то же самое поколѣніе литераторовъ разовьетъ *гражданскую* идею до ея частныхъ, слѣдовательно, еще болѣе практическихъ выводовъ. Рядомъ съ Рылѣвымъ, искавшимъ въ писателѣ вообще гражданина, явится гражданинъ-демократъ—Бестужевъ-Марлинскій, защитникъ средняго сословія, его культурнаго прогресса и историческихъ заслугъ на всѣхъ поприщахъ ума и искусства.

Программа оказывается не только вполнѣ установленной въ смыслѣ общественной роли писателя, но она предписываетъ ему извѣстную партію, ставитъ ближайшую цѣль для его таланта. Рѣчь критика невольно становится энергичной, подчасъ задорной, потому что онъ ежеминутно представляетъ себѣ многочисленныхъ противниковъ своей идеи. Безстрастное и «кроткое» обсужденіе

вопроса немыслимо, потому что за каждым словом скрывается *фактъ* живой дѣйствительности и каждый выводъ—*убѣжденіе*, не художественный плодъ отрѣшеннаго мышленія, а результатъ непосредственныхъ историческихъ и жизненныхъ внушеній. Теперь писатель дѣйствуетъ думая, и намѣренъ, думая—вызывать дѣйствія—въ дорогѣ для себя направленіи.

Съ этихъ поръ прогрессъ русской мысли и, слѣдовательно, жизни, обезпеченъ. Подготовительный путь законченъ. Принципъ борьбы рѣшенъ безповоротно. Спасти отъ нея будутъ въ состояніи только исключительныя организации—умственно-косныя и нравственно-жертвовавшіяся. Борьба захватитъ впоследствии даже «чистое искусство» и именно среди самыхъ идиллическихъ питомцевъ музъ найдетъ азартнѣйшихъ бойцовъ—за чѣмъ, догадаться не трудно. Культъ парнаасской красоты тоже, по неотразимому велѣнію времени, превратится въ партію, въ тенденцію и потребуетъ отъ своихъ служителей самыхъ прозаическихъ средствъ защиты и нападенія. «Толкучій рынокъ» не только обезчеститъ эмпирию, но именно здѣсь найдетъ не мало перловъ для своей, менѣе всего эстетической исторіи. Это—судьба сравнительно отдаленнаго будущаго, хотя неразрывно связанная съ боевымъ моментомъ вояствующей литературы.

Мы знаемъ его сильнѣйшаго выразителя. Полевой съ честью принялъ наслѣдство своихъ старшихъ современниковъ и его журналъ явился по преимуществу очагомъ борьбы. Въ этомъ фактѣ незабвенное значеніе *Телеграфа*. Полевой завершилъ предисловіе къ исторіи русскаго прогресса, вписавъ послѣднюю страницу поразительной силы и краснорѣчиваго содержанія. Онъ цѣликомъ воспринялъ не только *общіе* интересы и *гражданскій* долгъ предшественниковъ, онъ съ примѣрной отвагой всталъ на защиту именно прогрессивнаго направленія, онъ безъ колебаній понялъ, какимъ идеаламъ принадлежитъ будущее русскаго общества и неустанно ратовалъ за демократизмъ въ просвѣщеніи и въ общественномъ строѣ. Онъ первый дѣйствительно боролся и вызывалъ борьбу подъ страхомъ несомнѣнныхъ многочисленныхъ опасностей. Онѣ, наконецъ, сломили журналиста, подорвали его энергію и даже принизили его личность. Но лучшее прошлое осталось неизгладимымъ въ сознаніи современниковъ и друзей, и враговъ. Оружіе павшаго изъ рукъ въ руки взялъ еще болѣе сильный боецъ и «старому забіякѣ», такъ называлъ себя Полевой, вскорѣ пришлось привѣтствовать «нашего Орланда». Мало этого. Ему выпало рѣдкое счастье, — въ самомъ

началъ новой борьбы, услышать отъ новаго героя, исполненнаго стремительною отвагою и несокрушимой вѣрой въ свои молодыя идеи, признаніе неразрывной нравственной связи между нимъ, юнымъ и начинающимъ, и имъ, утомленнымъ и отошедшимъ въ сторону.

### III.

Весной 1835 года бывший издатель *Телеграфа* получилъ слѣдующее письмо:

«М. г. Николай Алексѣевичъ! Я принимаюсь за изданіе журнала не изъ корыстныхъ видовъ, не изъ дѣтскаго тщеславія, но вмѣстѣ съ тѣмъ и не по сознанію въ своихъ силахъ и въ своемъ назначеніи, а изъ увѣренности, что *теперь* всякій можетъ сдѣлать *что-нибудь*, если имѣетъ хоть искру способности и добра... какъ бы то ни было, но мнѣ было бы пріятно имѣть читателемъ того человѣка, который съ такимъ благороднымъ и безпримѣрнымъ самоотверженіемъ старался водрузить на родной землѣ хоругвь вѣка, который воспиталъ своимъ журналомъ нѣсколько юныхъ поколѣній и сдѣлался вѣчнымъ образцомъ журналиста... Да, мнѣ пріятно и лестно думать, что вы будете иногда, въ рѣдкіе часы вашего досуга, перелистывать книгу, мною составленную, хотя, можетъ быть, для васъ это будетъ ни пріятно, ни лестно... Но ваше вниманіе ко всякому благородному порыву, ваше расположеніе и ласковость къ молодымъ людямъ, сколько-нибудь принимающимъ участіе въ дѣлахъ книжнаго міра, ваша снисходительность къ способности силъ при честныхъ намѣреніяхъ, въ чемъ я имѣлъ удовольствіе увѣриться собственнымъ опытомъ, заставляютъ меня надѣяться, что вы не откажетесь принять моего приношенія».

Прошелъ годъ послѣ прекращенія *Телеграфа*. Полевою, кромѣ того, было запрещено вообще печатать свои статьи и самое имя его не допускалось въ періодической печати. Тѣмъ отраднѣе было получить подобное изъясненіе чувствъ отъ начинающаго автора, уже достаточно засвидѣтельствовавшаго независимость и смѣлость своихъ сужденій. Очевидно, устанавливалась тѣсная историческая и идейная связь между дѣятельностью Полевого и молодого критика. Связь тѣмъ болѣе важная, что имя критика было Бѣлинскій и его дѣятельности предстояло наложить неизгладимую печать на все дальнѣйшее умственное движеніе русскаго общества.

Начало полагалось при самыхъ неблагопріятныхъ обстоятельствахъ. Вмѣстѣ съ *Телеграфомъ* замолкъ единственный убѣжден-



ный публицистическій голосъ. Сцена литературы и журналистики оказалась въ рукахъ уже не дуумвирата, какъ было во времена *Телеграфа*, а гораздо сильнѣйшаго союза—триумвирата. Въ составъ его входили—тѣ же Гречъ и Булгаринъ, вновь присоединился Сенковский. Въ ихъ распоряженіи состояло два журнала—*Сынъ Отечества*, *Библіотека для Чтенія* и ежедневная газета *Сѣверная Пчела*. Тонъ давала *Библіотека для Чтенія*, владѣвшая пятью тысячами подписчиковъ и открывшаяся на капиталы и энергію перваго среди современныхъ издателей-книгопродавцевъ—Смирдина.

Современники съ особеннымъ усердіемъ рассказываютъ намъ о появленіи новаго журнала. Наступала будто новая эпоха, готовая подчиниться нѣкому могучему, до тѣхъ поръ небывалому духу. *Телеграфъ*, при своемъ возникновеніи, не вызвалъ и малой доли сильныхъ чувствъ, сопровождавшихъ первыя книги *Библіотеки*. И очевидцы правы: волненія были вполне основательны, особенно у тѣхъ, кто сколько-нибудь дорожилъ достоинствомъ русской литературы.

Мы знаемъ о результатахъ двоедержавія Булгарина и Греча. Пушкинъ чрезвычайно метко опредѣлялъ положеніе: «Русская литература головою выдана Булгарину и Гречу». Факты указываютъ,—не только одна литература, но и публика. Если критическія статьи Греча внушали оторопь молодымъ читателямъ, статьи Булгарина грозили всевозможными безпокойствами даже Пушкину, извѣстія *Сѣверной Пчелы* стояли подъ охраной власти. Это видно изъ злополучнаго эпизода съ *Литературной Газетой*.

Она позволила себѣ замѣтить, будто сообщенія булгаринской газеты ложны. Бенкендорфъ немедленно довелъ это происшествіе до свѣдѣнія министра народнаго просвѣщенія, главы цензурнаго вѣдомства, и просилъ его поставить на видъ цензору, что свѣдѣнія и статьи въ *Сѣверную Пчелу* сообщаются по «приказанію» его, Бенкендорфа и, слѣдовательно, *Литературная Газета* совершила поступокъ «неприличнѣйшій», грозящій ослабленіемъ у публики довѣрія къ правительству и нарушеніемъ общественнаго спокойствія...<sup>а)</sup> Въ такую можно было попасть бездну зла только благодаря сомнѣнію въ непогрѣшимости репортерскаго отдѣла въ изданіи Булгарина!

Когда съ друзьями или, какъ ихъ именовала пародія на поэму

<sup>а)</sup> Барсуковъ. III, 235.

Пушкина, съ братьями разбойниками <sup>9)</sup>, соединился профессоръ Сенковский, иго превратилось въ невыносимый деспотизмъ, открытый до циничности и вооруженный соблазнительнѣйшими приманками для публики. Всѣ, кто только былъ причастенъ къ литературѣ и стоялъ внѣ триумвирата, почувствовали себя подъ гнетомъ невыносимой темной силы и въ первый разъ поэты и журналисты заволновались и затолковали объ освобожденіи. До тѣхъ поръ русской литературѣ не приходилось видѣть такого единодушія среди, лично и идейно враждебныхъ другъ другу людей, единодушія во имя общаго отвращенія къ систематическому растлѣнію читательскихъ мыслей и вкусовъ тремя союзными органами.

Прежде всего, впечатлѣнія двухъ первостепенныхъ современныхъ художниковъ. Именно бургарипская монополія давно уже возбуждала у Пушкина желаніе, пуститься въ публицистику и даже въ издательство. Еще до появленія *Библиотеки для Чтенія* онъ не могъ помириться съ мыслью о единовластномъ авторитетѣ *Сѣверной Пчелы* въ политикѣ, и не переставалъ носиться съ мечтой о политической газетѣ <sup>10)</sup>. Когда на сцену выступилъ Сенковский и сразу стяжалъ успѣхъ, мечта о газетѣ превратилась у Пушкина въ настойчивую страсть, пойти на встрѣчу *Библиотеки* журналомъ. Гоголь находилъ, что всѣ литераторы оказались «въ дуракахъ», а литература «безъ голоса» <sup>11)</sup>. Такія мысли естественны у Пушкина и Гоголя, но даже сама цензура чувствовала ненормальность положенія и готова была съ полнымъ удовольствіемъ разрѣшить изданіе новаго журнала, особенно въ Москвѣ, для противодѣйствія петербургской монополіи <sup>12)</sup>.

Именно такія соображенія были высказаны по поводу ходатайства извѣстнаго намъ сослуживца профессора Павлова, шеллингианца Андросова. Ему безъ всякихъ препятствій былъ разрѣшенъ *Московский Наблюдатель* и въ новой редакціи вновь сошлись знакомые намъ ученики германскаго Любомудрія — Павловъ, Кирѣевскій, Одоевскій.

Журналъ явно былъ расчитанъ на оппозицію петербургскому

<sup>9)</sup> Объ этой пародіи пишетъ Плетневъ въ письмѣ къ Гроту: народію читалъ Евлинскій у Плетнева. *Переписка Я. К. Грота съ П. А. Плетневымъ*. Спб. 1896. II, 25.

<sup>10)</sup> Письмо къ кн. Вяземскому отъ 2-го мая 1830 года. *Сочиненія*. VII, 223—224.

<sup>11)</sup> Письмо къ Погодину. *Письма*. VI, 157.

<sup>12)</sup> Барсуковъ. IV, 231.

триумvirату. Разрѣшеніе состоялось въ концѣ 1835 года, одновременно Пушкинъ обратился къ Бенкендорфу съ просьбой дозволить ему издавать ежемѣсячный журналъ *Современникъ*. Съ слѣдующаго года журналъ появился. Такимъ образомъ, противъ *Библиотеки* сразу возсталъ два изданія, одинаково одушевленные принципиальнымъ стремленіемъ—уничтожить врага.

Аттакъ въ сущности направлялась преимущественно противъ Сенковского. Специалистъ по восточнымъ языкамъ, докторъ философіи, онъ, по словамъ цензора Никитенко, былъ «весь сложенъ изъ страстей, которыя кипѣли и бушевали отъ малѣйшаго внѣшняго натиска». Темпераментъ, очевидно, какъ нельзя болѣе приспособленный къ журнальному поприщу. Для кипучихъ страстей Сенковский избралъ самую доступную и прямую цѣль — успѣхъ журнала какими бы то ни было путями и средствами. Началъ онъ съ приглашенія въ редакторы Греча, слѣдовательно, съ тѣснаго союза съ *Сѣверной Пчелой*, единственной распространенной глашательницы славы. Потомъ слѣдовалъ длиннѣйшій списокъ сотрудниковъ, заключавшій имена и Пушкина, и Гоголя, и Погодина, и Жуковского, и Кирѣевскаго, и Одоевскаго, однимъ словомъ, всѣхъ современныхъ знаменитостей. Въ дѣйствительности, Гречъ игралъ роль почетнаго предсѣдателя, а большинство знаменитостей замыслило пойти грудью на новый журналъ. Душою и силой его явился единолично [Сенковский, покрывшій страницы *Библиотеки* разными псевдонимами: барона Брамбеуса, Тютюнджи-Оглу, А. Бѣлкина.

Таланты у профессора оказались самые разносторонніе. Онъ не желалъ знать себѣ равныхъ въ беллетристикѣ, въ критикѣ, въ ученыхъ изслѣдованіяхъ. Мало этого. Онъ не допускалъ, чтобы чужое произведеніе могло появиться въ его журналѣ безъ его исправленій. Онъ принялся передѣлывать, перечерчивать, отрѣзывать концы и придѣлывать другіе—все равно, къ повѣстямъ или статьямъ. Журналъ превратился въ единоличную исповѣдь всемогущаго владыки,—исповѣдь одноцвѣтную и однотонную, но въ высшей степени удобочитаемую, легкокрылую и легкомысленную.

Въ сущности, мысли были заранѣе изгнаны изъ самой программы журнала и, конечно, немедленно предстояло утратить всякій авторитетъ философовъ, столь почитавшимся въ современной литературѣ. Шеллингъ, Гегель объявлены шарлатанами и сумасбродами, окончательно униженъ Велланскій. Это вполнѣ совпадало съ политикой Булгарина. *Сѣверная Пчела* энергично поддер-

живала вылазки Сенковского и Булгаринъ попалъ на «новыя слова» — абсолютъ, *субъективъ* и *объективъ*, и даже божился, что все это «галиматья», совершенно неожиданно для самого себя давая вѣрную оцѣнку *объективамъ* и *субъективамъ* собственнаго измышленія.

Но, спускаясь и въ болѣе доступныя области, Сенковский не обнаруживалъ ни малѣйшихъ признаковъ мышленія. Вся критика барона состояла изъ издѣвательствъ и шутовскихъ выходокъ, разсчитанныхъ, дѣйствительно, на вкусъ «толкучаго рынка» и до послѣдней степени неприхотливаго читателя.

*Библиотека*, напримѣръ, печатала длинную статью противъ своихъ противниковъ и вся полемическая соль ограничивалась остроумно-преднамѣреннымъ невѣдѣніемъ автора точныхъ названій *Телескопа* и *Московского Наблюдателя*. Тому и другому журналу дано множество чрезвычайно забавныхъ наименованій: *Московский Надзиратель*, *Соглядатай*, *Назидатель*, *Набиратель*, *Темноскопъ*, *Каледоскопъ*, *Микроскопъ*, *Ороскопъ*<sup>13)</sup>.

Въ другихъ случаяхъ, особенно критическихъ для остроумія критика, авторъ просто вставлялъ въ цитаты изъ чужихъ произведеній свои шуточки и пошлости и не боялся рѣшительно никакихъ уликъ. Барону ничего не стоило сегодня увѣнчать лаврами новооткрытаго генія, а завтра забросать его грязью и даже откровенно заявить публикѣ, что все это — шутка и баронъ не желаетъ помнить своихъ мнѣній.

Даже Гречу довольно скоро пришлось испытать на своей особѣ крайности баронской фантазіи и издать по этому случаю особую брошюру<sup>14)</sup>. Менѣе чѣмъ въ четыре года Сенковский успѣлъ составить два противоположныхъ мнѣнія о вопросѣ, казалось бы, вполне опредѣленномъ, — о грамотности и стилѣ Греча. То слогъ Греча казался барону «пріятнымъ, свѣтлымъ», и критикъ находилъ въ немъ «очаровательную простоту» и «высокое краснорѣчіе», то вдругъ тотъ же слогъ оказывался устарѣлымъ и даже «дикимъ».

Только въ нѣкоторыхъ случаяхъ *Библиотека* строго вела одну иную, именно когда вопросъ шелъ о дѣйствительныхъ, сильныхъ талантахъ. Тамъ она выходила изъ себя и когда угодно могла злить сколько угодно желчи и пошлаго острословія по адресу

<sup>13)</sup> *Библ. для Чтенія*. 1836, VII.

<sup>14)</sup> *Литературныя поясненія*. Спб. 1838 года. О нихъ замѣтка Бѣлинскаго, *писемн.* Москва. 1875, II, 444.

Пушкина или Гоголя. Авторъ *Мертвыхъ душъ* до конца не выходитъ изъ Поль-де-Коконъ, за то Булгаринъ царствуетъ на русскомъ Парнасѣ. Эта игра велась такъ упорно и съ такой отвагой, что у современниковъ невольно являлось подозрѣніе, ужъ не впрямь ли въ русской критикѣ хозяйничаетъ какой-нибудь «турокъ», сбиваетъ съ толку простодушныхъ читателей и тѣмъ мститъ Россіи за униженіе своего отечества <sup>15)</sup>. Серьезно трудно было повѣрить въ такое превращеніе, но невѣроятно наглая безпринципность и явная вражда ко всему истинно-талантливому требовали какого-либо объясненія. И между тѣмъ, весь секретъ заключался въ простѣйшихъ мотивахъ и вполнѣ естественныхъ побужденіяхъ: съ одной стороны темная публика, съ другой—азартная ловля подписчика. И *Библиотека* безъ малѣйшихъ колебаній превращалась въ балаганъ и нѣчто даже худшее.

У барона имѣлся въ распоряженіи обширный репертуаръ специальныхъ соблазновъ. Онъ первый пустилъ въ оборотъ беллетристику рѣзко-наркотического аромата, первый принялся живописать многообразныя приключенія героинь будущей натуральной школы и, насколько допускала цензура, не стѣснялся откровенностями ни въ фактахъ, ни въ нравственныхъ выводахъ, ни въ стилѣ. Ему принадлежатъ необыкновенно «вкусные» эпитеты, въ родѣ «теплое, роскошное, пуховое тѣльце дѣвушекъ», и еще круче приправленныя картины: «бѣлая, жирная ножка мандаринши, на которой влюбленные насѣкомыя утопаютъ въ небесномъ блаженствѣ». Баронъ, въ погонѣ за пикантными соусами, доходилъ часто до подлиннаго декадентства, такъ что новѣйшіе исповѣдники школы свободно могутъ заимствовать со страницъ *Библиотеки*: «розовые понятія», «свѣтлыя чувства» женщины и самую женщину «мягкую, хрустальную, благовонную»...

И такимъ оружіемъ Сенковскій билъ наповалъ провинціального обывателя. *Библиотека* царствовала и могла управлять, потому что годъ за годомъ неустанно разсеивала заразу пошлости, безыдейности, шутовства и цинизма по всѣмъ угламъ Россіи. По существу выходилъ настоящий заговоръ противъ просвѣщенія и умственного развитія публики. Въ иномъ направленіи и съ бѣльшимъ упорствомъ не могли бы дѣйствовать злѣйшіе враги русскаго общества. И между тѣмъ, именно эта дѣятельность считалась вполнѣ благонамѣренной и цѣлесообразной. Никакой опасности сверху триумфировать

<sup>15)</sup> Вѣлискій. II, 56.

не могъ ждать. Бенкендорфъ основательно входилъ въ издательскіе планы Булгарина и въ политику барона Брамбеуса: отъ такихъ просвѣтителей ничего «неприличнаго» въ смыслѣ шефа жандармовъ не могло произойти.

Но, мы уже знаемъ, время невозбранной эксплуатаціи какого бы то ни было литературнаго монополиста съ одной стороны и безразличнаго олимпійства—съ другой, миновало навсегда. Воздухъ, какимъ дышали лучшіе люди тридцатыхъ годовъ, былъ насыщенъ элементомъ протеста и борьбы, и именно триумфы могущественнаго триумвирата ополчили на него всѣхъ, кто только могъ отдать отчетъ въ нравственномъ и общественномъ смыслѣ его подвиговъ.

#### IV.

*Московский Наблюдатель* съ первыхъ же книжекъ можетъ быть признанъ за воплощенное отрицаніе *Библиотеки*. Его походъ открылся статьей Шевырева *Словесность и торговля*. Авторъ жестоко нападалъ вообще на продажность литературы, картинно изображалъ благоденствіе удачливыхъ и ловкихъ литераторовъ. Но всѣ стрѣлы морали и живописи направлены на *Библиотеку* и *Пчелу*, и журналъ прямо именовался «пучкомъ ассигнацій, превращеннымъ въ статьи».

Молодой ученый явно поддался полемическому пылу и хватилъ черезъ край, уличая русскихъ литераторовъ въ сибаритствѣ и роскоши. Сенковский и Булгаринъ, несомнѣнно, блаженствовали, но это не давало публицисту права рисовать нѣкое Эльдорадо всей русской словесности и нападать на самый принципъ литературнаго заработка. По крайней мѣрѣ, Шевыревъ не сумѣлъ отдѣлить нормальныхъ явленій отъ порочныхъ, завѣдомыхъ козлицъ отъ ихъ жертвъ, и далъ поводъ другому воинствующему журналу подвергнуть критикѣ промахи своего же соратника.

Цѣлесообразнѣе могла выйти другая статья *Наблюдателя*—*Брамбеусъ и юная словесность*—отвѣтъ на одно изъ самохвальствъ Сенковского, провозгласившаго себя главой новой литературной школы и уничтожавшаго французскую литературу. Соль московской статьи заключалась именно въ этомъ уничтоженіи: баронъ усерднѣйше компилировалъ французскихъ беллетристовъ и ихъ же подвергалъ казни. *Наблюдатель*, на этотъ разъ въ добродушномъ тонѣ, разоблачилъ проказы Брамбеуса и путемъ буквальныхъ сопоставленій находилъ сплошное воровство въ знаменитѣйшемъ

произведеніи *Большой выходъ у сатаны* <sup>16)</sup>). Наконецъ, вскорѣ появилась еще третья статья, самая энергическая и искусная изъ всѣхъ трехъ. *Наблюдатель* доходитъ здѣсь до пагоса въ своемъ гнѣвѣ на поруганіе литературы «новымъ Батыемъ». Ссылаясь на излюбленные критическіе приемы барона, журналъ спрашивалъ:

«Читая все это легкомысленное пустословіе, котораго все честолюбіе заключается только въ томъ, чтобы сдернуть насильственную улыбку съ губъ празднаго читателя, позволительно ли молчать? Не долгъ ли всякаго честнаго человѣка возбуждать негодованіе къ этому зубоскальству, которое умерщвляетъ всякое вѣрованіе въ науку, даетъ толпѣ соблазнительный примѣръ осмѣивать ученіе, мысли, мнѣнія прежде, чѣмъ она узнала ихъ, оправдываетъ наглое невѣжество въ собственныхъ его глазахъ тогда, когда должно было бы стыдить и позорить его при всякомъ случаѣ? Не есть ли обязанность всякаго литератора, который еще не отдалъ пера своего на аренду, возставать явно и открыто противъ этихъ злоупотребленій, угрожающихъ ниспроверженіемъ всякаго уваженія къ литературѣ?» <sup>17)</sup>.

Это были истинно гражданскія рѣчи, и имъ долго не суждено утратить своего значенія. *Наблюдатель* умѣлъ подмѣтить изъяны своего врага и поднять вопросъ на высоту принципа. Проницательности требовалось не особенно много при вопіющихъ порокахъ *Библиотеки*, но очень много доброй воли и идейной силы, чтобы раскрыть общій смыслъ развивавшагося недуга и поставить точный діагнозъ его нравственному вліянію на общество.

На помощь *Наблюдателю* выступилъ *Современникъ*. Онъ также началъ съ атаки на *Библиотеку* статьей Гоголя *О движеніи журнальной литературы въ 1834 и 1835 году*. Гениальный сатирикъ, какъ и слѣдовало ожидать, обнаружилъ блестящій публицистическій талантъ. До статей Бѣлинскаго это единственная художественно-яркая характеристика литературныхъ явленій. Авторъ умѣетъ найти поразительно мѣткое слово, живой образъ, юмористическое сравненіе, и одной чертой запечатлѣть существенное содержаніе даннаго явленія.

Гоголь сѣтуетъ на небывалое «отсутствіе журнальной дѣятельности и живого современнаго движенія», и приписываетъ вину бездѣйности и безотчетности прежде всего первенствующаго жур-

<sup>16)</sup> *Моск. Наблюд.* 1835. II, 447 etc.

<sup>17)</sup> *Моск. Набл.* 1835, V. *Критическое объясненіе*, стр. 489.

нала *Библиотеки*. Въ ней нѣтъ движущей, господствующей силы, нѣтъ опредѣленной цѣли, нѣтъ никакого вкуса, ея рецензіи—«не есть дѣло убѣжденія и чувства, а просто слѣдствіе расположенія духа и обстоятельствъ», и ея сподвижница *Пчела* такая же «корзина, въ которую сбрасывалъ всякій все, что ему хотѣлось».

Все это справедливо и остроумно и окончательный выводъ разбивалъ, казалось, на голову литературныхъ уродовъ, «литературное безвѣріе и литературное невѣжество», «мелочное въ мысляхъ и мелочное щегольство». Негодование Гоголя тѣмъ внушительнѣе, что оно сопровождалось воплѣтъ опредѣленной положительной программой для всякаго настоящаго журнала и достойной критики.

Въ статьѣ усиленно подчеркивается необходимость имѣть журналу одинъ опредѣленный тонъ, одно уполномоченное мнѣніе, а не быть складочнымъ мѣстомъ всѣхъ мнѣній и толковъ. Журналъ долженъ управляться «единою волею», ясной единою цѣлью, продуманной и прочувствованной идеей. Критикъ долженъ считать свое дѣло важнымъ и приниматься за него съ благоговѣніемъ и предварительнымъ размышленіемъ, готовый отдать отчетъ въ каждомъ словѣ своемъ...

И это все справедливо и въ высшей степени благородно. Мы видѣли, и *Наблюдатель* не отставалъ отъ *Современника* по части идеальныхъ запросовъ литературы. Его главный критикъ Шевыревъ издалъ одновременно докторскую диссертацию и историческимъ путемъ старался опредѣлить законное направленіе современной критической мысли.

Эта книга, *Теорія поэзіи въ историческомъ развитіи у древнихъ и новыхъ народовъ*, послѣдній и самый совершенный плодъ ученой эстетики предъ эпохой Бѣлинскаго. Нѣкоторыя идеи ея представляютъ для историка большой интересъ; онѣ прежде всего показываютъ высшую точку, на которой стоялъ безспорно талантливейшій офиціальныи эстетикъ тридцатыхъ годовъ и, слѣдовательно, вообще университетская наука объ изящномъ, а потомъ разсужденія Шевырева косвенно опредѣляютъ степень оригинальности первыхъ статей Бѣлинскаго. Мы встрѣтимъ не мало совпаденій въ ученыхъ понятіяхъ профессора и страстныхъ проповѣдяхъ молодого критика, но мы замѣтимъ также не мало отличій, даже контрастовъ. Простое сопоставленіе рѣшитъ вопросъ объ относительной прогрессивности воззрѣній обоихъ писателей. Рѣшеніе тѣмъ настоятельнѣе, что Шевыревъ явится вскорѣ одной изъ излюбленныхъ мишеней Бѣлинскаго.



Когда вы читаете диссертацию Шевырева, предъ вами съ каждой страницей раскрывается великій прогрессъ университетской эстетики тридцатыхъ годовъ сравнительно съ неизглаголаннѣми вѣщаніями Надеждина. Предъ вами нѣтъ и слѣда уродливой реторики, одобренной искусственнымъ азартомъ на самомъ дѣлѣ совершенно нехудожественной природы автора и ясными отголосками далеко еще не покинутого цехового педантизма. Шевыревъ пишетъ литературно, красиво и въ общемъ вполне вразумительно.

Во главѣ книги стоитъ въ высшей степени важный выводъ: «искусство было прежде теоріи». Величайшіе поэты новаго міра «дѣйствовали безъ теоріи». Даже больше. «Во Франціи теорія, слишкомъ рано явившаяся, только что стѣснила художественную дѣятельность и произвела вліяніе, вредное для словесности».

Дальше подчеркивается замѣчательная идея Платона о критическомъ талантѣ. Такъ какъ начало поэзіи—вдохновеніе, то и судить о поэтахъ можно «не однимъ искусствомъ, а тѣмъ же божественнымъ наитіемъ». Проще, это значить: критикъ долженъ обладать художественнымъ чувствомъ, и, слѣдовательно, научиться критикѣ такъ же невозможно, какъ и поэтическому творчеству.

Естественно, авторъ даетъ превосходное опредѣленіе классицизма и классическаго вкуса,—опредѣленіе на основаніи тѣхъ же реторикъ: это просто чувство приличій—*le sentiment des convenances*, т. е. подражаніе этикету свѣтскаго общества <sup>18)</sup>. Мысль эта не могла не быть извѣстной и раньше, но Шевыревъ первый выводитъ ее изъ первоисточниковъ и подкрѣпляетъ подлинными фактами.

Наконецъ, заключительное обобщеніе автора кажется перломъ ума и учености сравнительно съ прежними эстетическими поученіями:

«Греція представила намъ сначала всѣ образцы поэзіи, потомъ теорію, отсюда не ясно ли слѣдуетъ, что и въ наукѣ знаніе образцовъ, исторія поэзіи, должна предшествовать ея теоріи; что настоящая теорія можетъ быть создана только вслѣдствіе историческаго изученія поэзіи, которому можемъ мы предпослать предчувствіе теоріи въ томъ же родѣ, какъ мы нашли оное въ поэтическихъ мѣахъ Греціи. Какъ было на дѣлѣ, такъ должно быть и въ наукѣ» <sup>19)</sup>.

<sup>18)</sup> *Теорія поэзіи*. Москва. 1836, стр. 1, 34, 173 370—378.

<sup>19)</sup> *Тб.*, стр. 368.

Этимъ положеніемъ устранялись не только старыя пѣтики, но подрывался авторитетъ и новыхъ философскихъ эстетикъ. Признавая заслуги германской философіи предъ наукой объ изящномъ, Шевыревъ указываетъ на протестующее теченіе въ самой Германіи. Протестъ направленъ противъ новаго вида схоластики, философскихъ изысканій о началахъ творчества и о смыслѣ прекраснаго. Въ самомъ отечествѣ Шеллинга и Гегеля нашлись критики отвлеченнаго фанатизма, и Шевыревъ присоединяется къ нимъ.

Одинъ изъ протестантовъ очень искусно изобличалъ пороки эстетическаго философствованія и его обличенія могли бы оказать большую услугу русскимъ послѣдователямъ германскаго любомудрія.

Критикъ находилъ, что Германія до сихъ поръ не имѣетъ хорошей эстетики. Существующія теоріи слишкомъ отвлеченны и не рассчитаны на основную силу поэзіи—воображеніе. Онѣ обращаются исключительно къ разуму, питаютъ его правилами и началами, но не предлагаютъ никакого образа, никакого созерцанія красоты, нисколько не говорятъ фантазіи. Въ результатѣ, можно прочесть цѣлые томы философскихъ поученій и не получить никакого представленія о прекрасномъ <sup>20)</sup>.

Поэты, конечно, еще энергичнѣе должны были возставать противъ философской тьмы и деспотизма. Жанъ Поль Рахтеръ находилъ гораздо больше пользы и смысла въ журнальныхъ рецензіяхъ, чѣмъ въ хитроумныхъ философскихъ терминахъ и выводахъ. И русскій авторъ признаетъ, что поэтъ однимъ мѣткимъ замѣчаніемъ полнѣе можетъ высказать намъ извѣстную эстетическую идею, чѣмъ иной систематическій эстетикъ при помощи философскихъ опредѣленій.

И въ Германіи метафизическое направленіе уступаетъ мѣсто историческому. Эстетика должна слѣдовать путями естественной исторіи, собирать факты изящнаго, быть всеобъемлющей памятью изящнаго, все равно, какъ естествознаніе—зеркало и память природы. «Всеобъемлющій опытъ и собраніе»—таковы задачи новой эстетики.

Русскій авторъ не забывалъ указать на увлеченіе своихъ соотечественниковъ нѣмецкими умозрѣніями и желалъ, чтобы «эмпирическое изученіе искусства взяло верхъ надъ философскимъ» <sup>21)</sup>.

<sup>20)</sup> Разсужденія Менцеля. *Шевыревъ*, стр. 309.

<sup>21)</sup> *Ibid.*, стр. 363, 372.

Мы видимъ, ученый не только выявлять сущность искусства и художественной критики, но и сталъ впереди даровитѣйшихъ современныхъ эстетиковъ. Защитой *исторической* эстетики Шевыревъ опередилъ Бѣлинскаго перваго {періода его дѣятельности. Молодому критику предстояло еще долго и мучительно биться въ сѣтяхъ философскихъ теорій и приносить самоотверженные жертвы «терминамъ» и «опредѣленіямъ». Уже достаточно того факта, чтобы оцѣнить положительные достоинства диссертациі Шевырева. Не надо забывать, что ученый обладалъ и поэтическимъ талантомъ. Бѣлинскій находилъ возможнымъ признавать и поощрять этотъ талантъ. Можно было многого ждать отъ такой разносторонней даровитости и учености. И Пушкинъ посѣщилъ привѣтствовать Шевырева, какъ историка поэзіи <sup>22)</sup>).

Слѣдовательно, противъ петербургскаго тріумвирата встали, повидимому, силы въ высшей степени серьезныя. Здѣсь было много знанія, искренней любви къ литературѣ, безусловно честныя цѣли и, что важнѣе всего, принципиальная жажда борьбы. Какіе же получились результаты?

Мы должны оцѣнить ихъ съ особенной тщательностью: они именно та историческая обстановка, въ какой появился Бѣлинскій, и мы не поймемъ дѣйствительнаго значенія его первыхъ шаговъ, не отдавъ всей справедливости его старшимъ современникамъ и соперникамъ.

## V.

*Московскій Наблюдатель* съ самаго начала заставилъ насторожиться петербургскихъ монополистовъ, но не прошло года, Сенковский успокоился и продолжалъ обычныя презрительныя игривыя шуточки. Для противника и этого казалось достаточно. Его ждали, какъ торжества Москвы надъ Петербургомъ, а онъ вышелъ какимъ-то тщедушнымъ, вялымъ и, прежде всего, безличнымъ. Ему также не далась единая направляющая воля, яркій опредѣленный характеръ, онъ также превратился въ альманахъ, въ сборникъ статей, несомнѣнно, болѣе литературныхъ, чѣмъ въ *Библіотекѣ*, но столь же случайныхъ и подчасъ довольно страннаго содержанія. Примѣръ тотъ же Шевыревъ.

Въ его диссертациі мы могли найти не мало весьма цѣнныхъ идей, но если бы мы и здѣсь задали вопросъ, какая же фізіоно-

<sup>22)</sup> Замѣтка объ *Исторіи поэзіи* Шевырева, въ 1835 году. *Сочиненія*, V, 285.

нія и какой характеръ у нашего эстетика, мы не могли бы найти точнаго отвѣта. Шевыревъ правильно понялъ *историческое* развитіе поэзіи, составилъ вѣрное заключеніе и о будущемъ *художественной* критики, но не успѣлъ установить руководящихъ мотивовъ въ области *общественныхъ* идей. Свѣдущій историкъ и благоразумный эстетикъ, Шевыревъ совершенно неуловимый или крайне пестрый публицистъ. У профессора нѣтъ продуманнаго символа общественной вѣры, онъ прекрасный изслѣдователь книгъ и теорій и весьма плохой наблюдатель и осмысливатель жизни и фактовъ.

Въ *Теоріи поэзіи* Шевыревъ не могъ не коснуться самаго безпокойнаго вопроса современной критики: объ отношеніи поэзіи къ дѣйствительности. И онъ написалъ такую фразу: «должны же существовать отношенія между искусствомъ и общественною жизнью»<sup>23)</sup>.

Но этимъ все и ограничилось. Какія отношенія и какъ они могутъ установиться—отвѣтовъ не послѣдовало. И мы даже можемъ сомнѣваться, признавалъ ли критикъ всю важность своего заявленія.

Онъ, на примѣръ, восхищается Горациемъ за то, что тотъ открылъ «нравственное назначеніе» поэзіи, слилъ «обязанность гражданина» съ обязанностью поэта, и «вѣка оправдали слова Горация».

Кажется, достаточно сильно и точно. Но нѣсколько дальше дѣло принимаетъ другой оборотъ. Отдавъ дань восторга римской идеѣ нравственной и гражданской цѣлесообразности искусства, Шевыревъ не считаетъ противорѣчіемъ съ такимъ же восторгомъ встрѣтить и поэзію Гёте. «Великій поэтъ Германіи поставилъ цѣль искусства въ немъ самомъ, отрѣшивъ его отъ всѣхъ цѣлей вышнихъ», говоритъ авторъ, явно сочувствуя новой постановкѣ вопроса.

Та же исторія германской поэзіи увлекаетъ Шевырева еще въ одно недоразумѣніе. Мы слышали отъ критика настойчивое отрицаніе благотѣльнаго вліянія теоріи на искусство. Но, оказывается, Лессингъ именно критикъ, т. е. все-таки теоріи, обязанны своимъ художественными произведеніями и русскій авторъ при изнаніи Лессинга сопровождаетъ такимъ замѣчаніемъ:

«Не слышится въ этихъ словахъ Лессинга голосъ начинающагося искусства Германіи, въ которой Гёте былъ питомцемъ критики?»...<sup>24)</sup>.

<sup>23)</sup> О. с., стр. 372.

<sup>24)</sup> *Иб.*, стр. 97—100, 233—234, 240.

Слѣдовательно, бываютъ случаи, когда критика не только направляетъ искусство, но даже создаетъ его, по крайней мѣрѣ вызываетъ къ дѣятельности? Вопросъ требовалъ тщательнаго обслѣдованія, во всякомъ случаѣ, ученый не долженъ былъ допускать возможности разна толковать его личныя воззрѣнія какъ разъ на самые существенные принципы критической *практики*.

Выводъ можетъ быть одинъ: эти принципы не ясны самому автору и онъ будетъ безпрестанно грѣшить противъ логики, лишь только отъ обсужденія чисто-литературныхъ задачъ перейдетъ къ общественнымъ.

Такъ это и произошло именно въ статьяхъ *Наблюдателя*.

Мы уже видѣли, какую близорукость и наивность обнаружилъ Шевыревъ въ катоновскомъ гоненіи на корыстолюбіе русской литературы. Ученый метнулъ стрѣлу выше цѣли и подорвалъ убѣдительность даже своихъ вполне основательныхъ замѣчаній. То же самое съ нимъ происходило едва ли не всякій разъ, лишь только онъ стремился свои общія идеи осуществлять на отдѣльныхъ фактахъ и именахъ литературы.

Онъ, напримѣръ, удостоилъ историческую драму Кукольника громадной статьи и попутно произнесъ удивительный панегирикъ Карамзину. Этотъ панегирикъ прекрасно характеризуетъ ахиллесову пяту Шевырева, какъ профессора и какъ журналиста. Онъ не пропускалъ случая блеснуть словесной музыкой часто въ ущербъ какой угодно идеи и даже здравому смыслу.

Теперь онъ проситъ читателя представить знаменитаго исторіографа въ самомъ величественномъ положеніи, не имѣющемъ ничего общаго съ дѣйствительностію и главное, съ исторіографическимъ гениемъ Карамзина.

«Представьте себѣ его въ двадцатипятилѣтнихъ креслахъ, свидѣтеляхъ его труда неутомимаго; одинъ, чуждый помощи, сильной рукой приподымаетъ онъ тяжелую завѣсу минувшаго, спитую изъ ветхихъ хартій, и устремляетъ на великую эпоху Россіи глубокомысленныя очи, а другою рукою пишетъ съ нея живую картину, возвращая минувшее настоящему... и внезапно хладная коса смертная касается неутомимой руки писателя на самомъ широкомъ ея разбѣгѣ... перо выпало изъ перстовъ, вслѣдъ затѣмъ свинцовая завѣса закрыла отъ насъ исторію Россіи—свинцовая, потому что, послѣ могучей руки Карамзина, никто до сихъ поръ не осмѣлился достойно поднять ее, хотя и были нѣкоторыя усилія... Славныя кресла Карамзина до сихъ поръ еще празды, къ стыду нашей литературы!»

Этотъ же пафосъ ставилъ критика часто въ менѣе всего внушительное положеніе. Шевырева преслѣдовала мысль не только быть выспренне-краснорѣчивымъ, но и безподобно-изящнымъ. Онъ хотѣлъ увлекать и очаровывать, и, прежде всего, конечно, сердца нѣжныя и тонко-чувствующія. Отсюда—манія Шевырева играть роль дамскаго рыцаря, оказывать дамамъ медвѣжьи услуги, осыпая ихъ донкихотскими комплиментами и изображая сверхъестественныя доблести русской женщины. Нѣкоторыхъ читателейъ это могло трогать, но эффектъ достигался цѣной серьезнаго авторитета и положительнаго ума. Профессоръ выходилъ какимъ-то селадономъ и сладкопѣвцемъ, замирающимъ при одномъ звукѣ — *женщины*.

Дальше шло еще хуже. Шевыревъ бралъ подъ свою защиту свѣтское общество и договаривался до рекомендаціи Гоголю—заняться высшими классами, какъ болѣе поучительнымъ явленіемъ русской жизни.

Въ этой рекомендаціи могла сказываться не одна смута критическихъ воззрѣній. Бѣлинскій жестоко обнаруживалъ безсмыслицу такихъ вѣщаній профессора, какъ изображеніе кончины Карамзина<sup>25)</sup>, другіе свидѣтели дополнили характеристику, пожалуй, еще болѣе существенными чертами.

У Шевырева не только не было прочныхъ общественныхъ взглядовъ, но и личнаго достоинства. «Мелочно-самолюбивый, искаательный, наклонный къ почестямъ и готовый при случаѣ подгадать»,—таковъ отзывъ современника<sup>26)</sup>. И, какъ бы онъ ни былъ рѣзокъ по формѣ, сущность его не противорѣчитъ публицистической пестротѣ личности профессора. Очевидно, при всѣхъ здоровыхъ идеяхъ и свѣдѣніяхъ, отъ Шевырева менѣе всего можно было ожидать послѣдовательной и граждански-мужественной борьбы, и, слѣдовательно, и *Московский Наблюдатель* не гровилъ никакими серьезными опасностями злоковенному триумвиату.

Оставался *Современникъ*.

## VI.

Пушкинъ и Гоголь усердно снабдили первую книгу *Современника* своими произведеніями, рядомъ красовались имена Жуков-

<sup>25)</sup> *Сочиненія*. II, 86 etc.

<sup>26)</sup> Воспоминанія А. И. Афанасьева, *Русская Старина* 1886, авг. Ср. Колюпановъ. I (2) стр. 132 etc.

скаго и кн. Вяземскаго. Выходило цѣлое созвѣздіе. Но злой рокъ тяготѣлъ надъ его блескомъ и готовился ежеминутно превратить его въ падучія звѣзды, при энергической помощи первостепеннаго свѣтила—издателя Пушкина.

Поэтъ не нашелъ въ себѣ никакихъ издательскихъ талантовъ, и, кромѣ того, въ союзѣ съ кн. Вяземскимъ, внесъ въ журналъ нѣкій трупный запахъ. Да, какъ это ни странно, но Пушкинъ вредилъ *Современнику* не меньше своимъ писательскимъ участіемъ, чѣмъ издательскимъ безучастіемъ.

Мы знаемъ, какихъ догматовъ держался поэтъ, принимаясь за публицистику. Эти догматы вынудили его на незаслуженно-жестокое отношеніе къ гибели *Телеграфа* и еще раньше подсказывали ему выходки, менѣе всего достойныя его личности и генія. Но догматы были дѣйствительно вѣрой поэта и онъ съ обычной страстностью мечталъ сдѣлать ихъ общимъ достояніемъ. Онъ, столько натерпѣвшійся отъ «свѣта», не разъ заклеивавшій его пламенной рѣчью гнѣва и сарказма, онъ, владѣвшій всѣми силами свободнаго художника-реалиста, сталъ на защиту аристократизма противъ «отвратительной власти демокраціи». До какой степени поэтъ попадалъ впросакъ, онъ могъ бы понять изъ совершенно неожиданныхъ послѣдствій своихъ убѣжденій: ему приходилось даже Булгарина заносить въ списокъ революціонеровъ.

*Современникъ* немедленно отразилъ задушевные мечты издателя, и этотъ фактъ легъ роковой чертой на его судьбу. Редакція, повидимому, заранѣе отказалась вдумываться въ какія бы то ни было современныя явленія, разъ ей грезилась обида аристократическимъ традиціямъ. Она не колебалась бросить камнемъ въ чернь и ремесленниковъ, разрушавшихъ прядильныя машины, въ то время, когда на Западѣ самой наукой было признано трагическое положеніе рабочаго класса именно благодаря распространенію машинъ. Политическая экономія, въ лицѣ даже послѣдователей ученія о свободной конкуренціи и невѣщательствѣ государства въ экономическія отношенія, снисходила до лирическаго краснорѣчія ради бѣдствій «черни» и «ремесленниковъ». Сисмонди, напримѣръ, писалъ настоящія элегіи и памфлеты о социальномъ и нравственномъ положеніи рабочихъ и капиталистовъ. Именно онъ машины объявлялъ національнымъ бѣдствіемъ, не видя спасенія даже въ отдаленномъ будущемъ. И въ это время русскій журналъ, повидимому, готовъ присоединиться къ цѣлительному средству, изобрѣтенному стихійной враждой вла-

дѣльцевъ машинъ противъ «лишняго» ремесленника, средству Мальтуса! По крайней мѣрѣ, иного выбора не представлялось, разъ публицистъ становился безусловно въ нападательное положеніе по отношенію къ черни <sup>27)</sup>).

Въ той же статьѣ *Современникъ* защищалъ неизвѣстно отъ какихъ внутреннихъ враговъ русское правительство и даже ядовито просилъ у кого-то *извиненія* за свои вѣрноподданическія чувства. Соотвѣтственно подвергался поношенію критика «этотъ позоръ русской литературы», «демократическій духъ», переселившійся изъ Европы въ Россію и вызвавшій похвалы черни и нападки на высшее общество. Указывалось, конечно, что это общество «большою частью недоступно нашимъ сатирикамъ».

Потомъ слѣдовала статья кн. Вяземскаго о *Ревизорѣ*. Князь и теперь являлся «кулачнымъ бойцомъ», писалъ чрезвычайно запальчиво, но тратилъ свой порохъ во славу все того же Джаггернаута.

Онъ не нашелъ иного средства защитить Гоголя отъ разнаго сорта щепетильниковъ и лицемерныхъ брезгливцевъ, какъ сожалѣніемъ о незнакомствѣ русскихъ писателей съ высшимъ кругомъ читателей, т. е. «образованнѣйшимъ» — слѣшилъ прибавить князь. Дальше журналистика объявлялась «толкучимъ рынкомъ», выхвалялось карамзинское безучастіе къ журнальной полемикѣ, и доходило дѣло до преклоненія предъ «аристократическими традиціями гостинныхъ вѣка Людовика XIV или Екатерины II». Вотъ что значило возстать противъ «демокраціи», какъ черни! Безслѣдно исчезали всѣ задатки новой русской мысли, всѣ проблески прогрессивнаго движенія въ искусствѣ и въ общественномъ самосознаніи, аристократическій журналъ грозилъ договориться до эстетической семибоярщины.

Во всякомъ случаѣ образъ «человѣка въ сферѣ гостинной рожденнаго», какъ недосыгаемаго идеала сравнительно съ русскими литераторами, явно тѣшитъ воображеніе критика. Онъ подробно живописуетъ манеры кровнаго аристократа и побиваетъ ими журналистовъ, находившихъ въ языкѣ гоголевской комедіи дурной тонъ.

Князь забывалъ, что это открытіе цѣликомъ лежало не на какайствѣ и не на плебейскихъ претензіяхъ критиковъ, а именно на пережиткахъ литературныхъ аристократическихъ традицій гостинныхъ вѣка Людовика XIV.

<sup>27)</sup> О враждѣ къ просвѣщенію, замѣчаемой въ новѣйшей литературѣ. *Современникъ*. II, 206.



У критика были, несомненно, добрыя намеренія и цѣль его усилій дѣлала честь его художественному чувству, но будто угнетаемый общимъ фальшивымъ настроеніемъ редакціи *Современника*, онъ пустился въ совершенно неподходящіе размышленія и далъ богатую пищу сатирическому уму тѣхъ же литераторовъ. Неужели *Ревизора* нельзя было оправдать инымъ путемъ, помимо восхваленій салонныхъ господъ и даже эпохи Людовика XIV? Самъ Гоголь, вѣроятно, не выразилъ бы сочувствія подобному приему, по крайней мѣрѣ въ періодъ *Ревизора*.

Но *Современникъ* велъ свою линію, преисполненную противорѣчій и уклоненій. Журналъ обнаруживалъ тотъ самый порокъ, въ какомъ гоголевская статья укоряла другіе журналы—безотчетность. Въ третьемъ выпускѣ *Современника* помѣщена статья *Вольтеръ*, по поводу корреспонденціи философа. Письма касались спеціальнаго вопроса, одной торговой сдѣлки и отнюдь не могли дать достаточно матеріала для полной характеристики Вольтера.

Но авторъ статьи будто задался корыстной цѣлью на нѣсколькихъ страницахъ собрать всѣ доступныя ему укоризны по адресу Вольтера. Сдѣлать это было не трудно,—несравненно труднѣе понять факты, повидимому, настойчиво требующіе укоризнъ.

Мы много слышимъ о неумѣннѣ Вольтера охранять собственное достоинство, о его слабости къ милостямъ государей. Все это, можетъ быть, и справедливо, но авторъ былъ совершенно мимо цѣли, обвиняя самого Вольтера въ его же несчастіяхъ и въ равнодушіи къ нимъ его современниковъ. Вольтера посадили въ Бастилію, изгнали, не переставали преслѣдовать и все это не могло «привлечь на его особу состраданія и сочувствія!» По истинѣ изумительное теченіе мыслей и пониманіе историческихъ явленій! Не доставало только присоединить оправдательную рѣчь въ пользу тюремщиковъ и гонителей.

И опять вина не въ зломъ умыслѣ журнала, а безтактности, безсознательности, въ недостаткѣ развитого общественнаго смысла. Вольтера можно бы обвинить кое въ чемъ и по существу, чѣмъ въ льстивыхъ письмахъ къ людямъ силы и власти, хотя бы, на примѣръ, въ его отношеніяхъ къ Руссо, но все это должно имѣть свою перспективу, занять надлежащее мѣсто въ личной біографіи писателя и въ общей исторіи времени, получить психологическое и культурное освѣщеніе. Если у редакціи *Современника* не было желанія или силъ выполнить подобную задачу, не представлялось необходимости сочинять памфлетъ на завѣдомую жертву темныхъ

силъ фанатизма и варварства. Публицистъ, отдающій строгій отчетъ въ своихъ просвѣтительныхъ дѣлахъ, не допуститъ такого промаха. И Пушкинъ лично вполне стоялъ на высотѣ призванія. Въдѣ съумѣлъ же онъ опредѣлить законное мѣсто въ исторіи русской литературы даже для Тредьяковскаго и понять сущность байроновской личности и поэзіи.

Естественно, отъ журнала невозможно было ожидать энергическаго и послѣдовательнаго воздѣйствія на общественное мнѣніе. У него былъ слишкомъ тщедушный публицистическій капиталъ, отзывавшійся притомъ временами Очакова и покоренія Крыма. Толковать о Людовикѣ XIV и Екатеринѣ II въ тогѣ бывшихъ савонныхъ менторовъ литературы, значило заранѣе осуждать себя на роль выходцевъ съ того свѣта.

Вина падала на Пушкина далеко не всецѣло. Съ каждой книгой участіе поэта становилось менѣ замѣтнымъ. Но, несомнѣнно, пушкинская политическая программа, если такъ можно назвать его романтическія чувства относительно «демократіи», сослужила свою службу и въ сильной степени способствовала омертвѣнію *Современника*. Онъ какъ начался, такъ и остался *лишнимъ* журналомъ, все равно, какъ бываютъ лишніе люди, можетъ быть, и очень благонамѣренные и симпатичные, но только не приспособленные къ живому участію въ поступательномъ движеніи жизни. Современнику предстояло испытать ту самую судьбу, какую Погодинъ описывалъ въ статьѣ *Протулки по Москвѣ* <sup>29)</sup>.

У московскаго профессора редакція *Современника* просила сообщеній «о современномъ состояніи Москвы». Погодинъ въ отвѣтъ далъ протокольный отчетъ о печальной участи старинныхъ барскихъ домовъ. Оказывалось, всѣ они утрачивали свое благородное назначеніе и превращались въ казенныя или коммерческія учрежденія. Духъ времени безпощадно сметалъ съ роскошныхъ хоромъ гербы и замѣнялъ ихъ вывѣсками присутствій, школъ, судовъ...

Внушительный урокъ, аристократамъ *Современника*! Они не поняли морали, и сами подписали себѣ смертный приговоръ. Кн. Вяземскій, порвавши съ Полевымъ изъ-за славы Карамзина, вставшій на защиту гостинныхъ, дошелъ въ послѣдствіи до яростной вражды противъ современной литературы. И все по принципу аристократизма и изящества и во имя отвращенія къ толкучему рынку. Это онъ въ стихахъ броситъ камнемъ въ «родоначальника литера-

<sup>29)</sup> *Современникъ*, 1836, III, стр. 260.

турной черни», въ «какіе-то не въ доめкъ сороковые года» и сравнить ненавистное движеніе идей съ «потьмой» и «плѣсенью болотъ». Въ прозѣ князь будетъ еще откровеннѣе, коротко и ясно опредѣлить чернь: «Приверженецъ и поклонникъ Бѣлинскаго въ глазахъ моихъ человекъ отпѣтый, и просто сказать пѣтый дуракъ» <sup>29)</sup>).

И эти рѣчи не должны казаться неожиданностью. Можно прекрасно чувствовать художественныя достоинства произведеній искусства, и не понимать ихъ идейнаго смысла, отиѣчать успѣхи творчества и не видѣть развитія общественной мысли. Кн. Вяземскій одобрялъ *Ревизора* и защищалъ неизящный стиль комедіи, но ему не по силамъ было проникнуть въ содержаніе пьесы и на основаніи образовъ и сценъ вывести логическія заключенія касательно живыхъ людей и современной дѣйствительности. Много литературнаго вкуса и никакого публицистическаго чутія: таковъ благородный «кулачный боецъ» и таковъ весь *Современникъ*.

По смерти Пушкина журналъ не измѣнилъ своей окраски, сталъ только болѣе вялымъ и даже въ чисто-литературномъ отношеніи блѣднымъ и немощнымъ. Въ рукахъ профессора Плетнева *Современникъ* утратилъ всякую современность, и не только по какому-либо злополучному стеченію обстоятельствъ, а согласно намѣреніямъ самого издателя. Плетневъ будто желалъ воскресить времена Надеждина, воевавшего противъ Пушкина, обнаруживалъ не менѣе ненавистническія чувства къ Лермонтову и не менѣе тупое непониманіе его таланта. И не одного только лермонтовскаго таланта. На проницательный взглядъ Плетнева и Бѣлинскій не обладаетъ никакимъ художественнымъ чувствомъ, «не носилъ въ душѣ сочувствія съ художническими истинами», а былъ простымъ компиляторомъ чужихъ мыслей <sup>30)</sup>.

И первоисточникъ этихъ настроеній все та же аристократичность. Предъ нами безразличный бѣлоручка, во снѣ и на яву грезящій о «дѣйствительно благородной литературной школѣ» и впадающій въ смертный ужасъ предъ «геніально-литературной мерзостью», т. е. предъ всей вліятельной современной литературой вообще, и въ особенности предъ статьями Бѣлинскаго.

Салонныя преданія сохраняются въ точности. Для Плетнева вступать въ полемику значить «пачкаться въ грязи». Правда,

<sup>29)</sup> *Литературная исповѣдь*. Полное собраніе сочиненій. Спб. 1887, XI 168.—Письмо къ Погодину. X, 266.

<sup>30)</sup> *Переписка*. I, 163, 228; II, 66—7.

журналъ сильно отстаетъ отъ текущихъ вопросовъ жизни, превращается въ альманахъ и въ сборникъ историческихъ матеріаловъ; на это указываютъ издателю его близкіе друзья, далеко превосходящіе ученостью его самого. Но пусть разрушится весь міръ, а Плетневъ не перестаетъ быть Плетневымъ. Это его сильнѣйшій аргументъ, и во имя столь убѣдительной логики онъ презираетъ подписчика. Онъ желаетъ уподобиться *Revue des deux Mondes*; этотъ журналъ можно читать и черезъ двадцать лѣтъ.

Такимъ долженъ быть и *Современникъ*. Правда, во французскомъ *Обозрѣніи* постоянно идутъ политическіе обзоры. Но это—бездѣлица. «Вѣдь о политикѣ нельзя да и нечего писать у насъ», и *Современникъ* можетъ быть совершенно не современнымъ и для него это вѣрнѣйшій путь къ благородству и идеальной литературности <sup>21)</sup>).

И Плетневъ до конца выдерживаетъ свой характеръ, клеймя нестерпимымъ презрѣніемъ Бѣлинскаго — какъ вожака партіи, Краевскаго—какъ издателя распространеннаго журнала и обзывая того и другого «скотиками».

А между тѣмъ, Плетневъ не реакціонеръ и не мракобѣсъ, онъ только пережитокъ архивнаго порядка вещей, тщедушное дѣтище «традицій», трагикомическій Донъ-Кихотъ прекрасной, но безнадежно отцвѣтшей дамы—словесности гостиныхъ. Естественно, *Современникъ* принципиальный врагъ идейнаго и культурнаго прогресса. Плетневъ не допускаетъ разногласія между отцами и дѣтьми. По его мнѣнію, очаковскія времена безсмертны и онъ съ негодованіемъ выписываетъ слѣдующую фразу Грота: «Одно поколѣніе никогда не можетъ мыслить совершенно одинаково съ другимъ». Это вопіющая ересь! Жизнь должна замереть на двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ, все, что послѣдуетъ дальше,—вѣроотступничество отъ «благородной литературной школы».

Мы на примѣрѣ *Современника* можемъ вполне точно оцѣнить нравственную силу и историческую важность не столько правильныхъ критическихъ сужденій, сколько энергіи мышленія, личной чуткости къ новымъ запросамъ жизни, неуклонной рѣшимости,—бороться за свой судъ и свои идеалы. Надежда культурнаго будущаго заключалась не въ одномъ тонко развитомъ художественномъ чувствѣ, а еще болѣе въ граждански-мужественной независимой мысли. Если ея не было, то и художественное чув-

<sup>21)</sup> Лб. II, 197, 276—7, 284, 531, 835, 21, 295, 182.

ство рисковало измельчать и извратиться, такъ именно и произошло съ писателями *Современника*, отрицавшими у Лермонтова умъ и талантъ.

Но этого мало. Разъ въ личности писателя не заключается дѣятельныхъ инстинктовъ во имя общественного прогресса и, слѣдовательно, онъ осужденъ на неизбѣжную смерть за-живо, другіе болѣе грубые и эгоистическіе инстинкты невольнo толкнутъ его на менѣе всего почтенную и идейную самозащиту. Именно невольнo Пушкинъ заговорилъ о яacobинствѣ *Телеграфа*, заговорилъ отнюдь не изъ сочувствія Уваровымъ и Бенкендорфамъ, а по самому естественному и простѣйшему стремленію къ самооправданію и самосохраненію. Полевой представлялъ демократическую идею, и этого было достаточно, чтобы вызвать вполне искреннее негодованіе у поэта-публициста. Наслѣдники Пушкина, запутавшись въ тѣхъ же сѣтяхъ преданій, пойдутъ еще дальше.

Плетневъ, при всей своей безразличности и аристократичности, не побрезгуетъ вести очень горячія бесѣды съ цензорами на счетъ ихъ снисходительности къ Бѣлинскому и компаніи, т. е. къ *Отечественнымъ Запискамъ*. Мы слышимъ поразительное сообщеніе, будто цензура состоитъ на откупъ Бѣлинскаго и подобныхъ ему журналистовъ. «Отъ цензоровъ нельзя не бѣситься», восклицаетъ основатель литературнаго благородства, очевидно, переходя въ тонъ своеобразнаго патриціанскаго бѣлаго яacobинства и уже не различая нравственнаго достоинства средствъ для борьбы. Онъ прямо жалуется цензору на ненавистныхъ журналистовъ, указывая даже казусы преступленія и повторяя такимъ образомъ роль московскаго профессора, Надеждина, относительно Полевого <sup>32)</sup>.

Въ письмахъ къ другу его усердіе простирается гораздо глубже, и мы не имѣемъ безусловно убѣдительныхъ данныхъ сомнѣваться, чтобы подобное усердіе не обнаруживалось и предъ лицомъ власти. Чувства профессора были слишкомъ возмущены и мучительно уязвлены какъ разъ для подобнаго предпріятія. Предъ нами поучительный документъ,—письмо Плетнева къ Гроту по поводу революціонныхъ движеній на Западѣ. Онъ въ немногихъ словахъ рисуеъ цѣлый типъ русскаго литературнаго дѣятеля, отнюдь не злонамѣреннаго и не фанатически-нестерпимаго, но только безусловно лишеннаго способности вдумываться въ процессъ окружающей дѣйствительности и дѣлать логическіе выводы изъ наблюденій.

<sup>32)</sup> Гл. II, 177, 93, 494

Плетневъ пишетъ:

«Ты доискиваешься причины тѣхъ безумствъ, которыя нынѣ потрясаютъ Европу, эти причины въ постепенности, съ какою безостановочно, по странному ослѣпленію, всѣ стремились въ нынѣшнемъ столѣтіи къ уничтоженію такъ называемаго *авторитета* во всемъ: въ религіи, въ политикѣ, въ наукахъ и въ литературѣ. Дерзость возстала съ такимъ безстыдствомъ, что достоинству оставалось только отстраниться. Въ нашей литературѣ лично преступилъ къ этому Буларинъ, испугавшійся послѣ самъ и теперь за то страждущій отъ послѣдователей. Но во всемъ блескѣ это ученіе развито Полевымъ, Сенковскимъ и Бѣлинскимъ» <sup>23)</sup>.

И дальше слѣдуетъ патріархальная защита авторитета вездѣ и при всякихъ обстоятельствахъ. Автору, конечно, приходится обмолвиться и умнымъ словомъ: онъ ратуетъ противъ маніи отрицанія, т. е. недуга, въ дѣйствительности существовавшего только въ его воображеніи, насколько вопросъ шелъ о русской публицистикѣ. Легко возражать противъ чудовищнаго самодѣльнаго призрака! Но еще удивительнѣе смѣсь ихъ именъ, произведенная разстроеннымъ воображеніемъ писателя. Буларинъ идетъ рядомъ съ Полевымъ, Сенковскій съ Бѣлинскимъ... Приѣмъ, стоящій на высотѣ душевныхъ бесѣдъ съ цензорами.

Очевидно, предъ нами нравственная агонія дѣятеля, отмечаемаго современностью и мстящаго ей слѣпой неукротимой ненавистью. И нашъ выводъ не долженъ падать исключительно на одного Плетнева. Судьба *Современника* совершилась вполне послѣдовательно. Еще при Пушкинѣ Бѣлинскій удивлялся: «И это *Современникъ*? Что жъ тутъ современнаго?» Эти вопросы такъ и остались безъ отвѣта. Пушкинъ, несомнѣнно, могъ бы озарить страницы журнала блескомъ своего творчества, но въ общественныя идеалы журнала, попрежнему, царствовала бы смута и ничто весьма близкое къ тѣмъ, пока поэтъ признавалъ бы необходимымъ держаться своей благородной программы и допускать своихъ критиковъ-друзей говорить похвальныя рѣчи «традиціямъ» вплоть до Людовика XIV.

Таковы были рыцари, вступившіе въ ратоборство съ петербургскими диктаторами. *Московскій Наблюдатель* и *Современникъ*, одинаково преисполненные благихъ намѣреній, столь же одинаково отцвѣли, не успѣвши разцвѣсть. Бросивъ вызовъ врагу, рѣшивъ

<sup>23)</sup> Гл. III, 208.

шись, слѣдовательно, на борьбу, они не запаслись ни силами, ни оружіемъ. Чтобы разсчитывать на побѣду, необходимо *владѣть* настоящимъ по своему міросозерпанію и не очутиться врасплохъ предъ будущимъ по своимъ идеаламъ. Идеино надо быть гражданиномъ двухъ міровъ—дѣйствительнаго и того, какой долженъ развиваться изъ него въ силу историческаго процесса.

А между тѣмъ, оба журнала по своей *природѣ* явно принадлежали одному міру и притомъ—прошлому или отживающему своимъ дни. Отсталость сказывалась не во всемъ: въ области искусства и Шевыревъ, и кн. Вяземскій могли подчасъ сказать дѣльное и поучительное слово. Но времена безраздѣльнаго царства одной чистой литературности съ каждымъ днемъ уходили вспять. Уже давно въ общественномъ сознаніи вращались такія понятія, какъ поэтъ—пророкъ, писатель—гражданинъ, и рѣка забвенія неминуемо готова была поглотить всякаго, кто не dorосталъ сознательно до этихъ понятій и кто сторонился отъ новаго жизненнаго шумнаго пути литературы, какъ отъ толкучаго рынка.

Крѣпкія слова никогда не измѣняли хода человѣческихъ дѣлъ и сильныя личныя чувства тогда только приносили настоящее осязательное утѣшеніе страстно-взволнованнымъ людямъ, когда за эти чувства стояла *общая* сила. Иначе, и слова, и чувства могутъ вызвать одно лишь комическое зрѣлище, напомнить ребенка, бьющаго рученкой по тому мѣсту, о какое онъ ушибся. Именно до этого незавиднаго положенія и дошелъ Плетневъ, въ теченіе многихъ лѣтъ извергавшій бранныя рѣчи на непобѣдимыхъ соперниковъ. И что особенно трагично для нашего героя, эти соперники собственно и не думали съ нимъ соперничать, кажется, даже и не помнили хорошо о существованіи его «школы», а шли своимъ путемъ и неотразимой силой увлекали за собой публику и даже отчасти друзей обездоленнаго *Современника*.

И имъ принадлежало не только настоящее, но и самое отдаленное будущее: они жили и дѣйствовали съ твердой увѣренностью—ни на мгновеніе не очутиться позади жизни, а если возможно, именно своей дѣятельностью уравнивать путь ея поступательнаго движенія. Въ такихъ людяхъ и самыя ошибки, даже продолжительныя и глубокія заблужденія—моменты прогресса: потому что все это—не благоговѣйно и безсознательно воспринятое завѣщаніе «старшихъ», а личной борьбой добытое достояніе. А тамъ, гдѣ искренне борются за убѣжденія, гдѣ ихъ не заимствуютъ, а завоевываютъ, тамъ не устанутъ совершенствовать ихъ, и недавнее заблужденіе ляжетъ въ основу новой истины.

## VII.

Мы рассказали по истинѣ печальную и трагическую исторію. Мы видѣли бойцовъ, одушевленныхъ благороднѣйшими наміреніями, но неизмѣнно падавшихъ на полѣ битвы въ полномъ изнеможеніи и умиравшихъ медленной безславной смертью злобнаго безсилія. Врагъ торжествовалъ надъ ними, даже не напрягая силъ, снисходя лишь до насмѣшки и презрѣнія. Ни *Современникъ*, ни *Московский Наблюдатель* не сумѣли нанести даже чувствительнаго удара позорному тріумвирату, не только подорвать его силы и успѣхи. Они, кромѣ того, сами постарались подготовить свое пораженіе.

*Телескопъ*, въ лицѣ Надеждина принимая участіе въ общемъ натискѣ на *Библиотеку для Чтенія*, объявилъ войну Шевыреву за его диссертацию. Запальчивость краснорѣчиваго эстетика и на этотъ разъ питалась гораздо болѣе «семейными дѣлами», чѣмъ интересами истины. Оба профессора представили еще разъ недостойное зрѣлище мелочной придирчивой полемики, превосходно доказывавшее публикѣ взаимныя личныя враждебныя чувства ученыхъ, но совершенно постороннее дѣйствительнымъ вопросамъ *теоріи и исторіи литературы*.

Естественно, атмосфера журналистики не становилась яснѣе и чище. Сцена дѣйствія цѣликомъ оставалась въ распоряженіи «братьевъ разбойниковъ», разбитымъ и разочарованнымъ мечтателямъ «благородной литературной школы» приходилось съ видомъ оскорбленнаго достоинства скрыться въ уединеніи, подальше отъ «толкучаго рынка».

Обозрѣвая поле журнальной войны, московскій профессоръ приходилъ къ заключенію: «Кабинетъ — вотъ гдѣ всѣ удовольствія. Нравственное размышленіе: какое удовольствіе въ саду!»<sup>34)</sup>.

Изъ Петербурга въ отвѣтъ неся сочувственный откликъ. Не менѣе почтенный ученый мужъ, отвѣдавъ горькихъ плодовъ журнальной суеты, мечталъ еще опредѣленнѣе объ отшельничествѣ и покоѣ:

«Удивительно, какое дѣйствіе производитъ дневной свѣтъ въ сравненіи съ средоточеннымъ свѣтомъ лампы. Первый влечетъ къ разсѣянности, къ ходьбѣ по комнатамъ, къ окну, чтобы ви-

<sup>34)</sup> Погодинъ. Барсуковъ. IV, 354.



дѣть жизнь и вѣѣ дома. Второй сближаетъ всѣхъ къ одной точкѣ, къ одной цѣли, зоветъ книгу въ руки, или другое что, чѣмъ бы всѣ внимательнѣе могли заняться» <sup>25)</sup>).

И такія занятія, несомнѣнно, чрезвычайно комфортабельны и безотвѣтственны. Другое дѣло, вѣѣ кабинета и лицомъ къ лицу съ неблизкими людьми!.. Никакое отшельничество, конечно, не могло до конца умирить сердце неудачливыхъ рыцарей, и наши отрѣшенные читатели все еще будутъ дѣлать вылазки на ненавистный уличный шумъ. Но ихъ ропотъ теряется въ волнахъ чужихъ рѣчей и людямъ вечерняго свѣта и ночной тишины приходится заживо хоронить и свои сочувствія, и свою вражду. У нихъ предъ глазами происходятъ сцены, свидѣтельствующія о несомнѣнномъ отливѣ всего жизненнаго и сильнаго куда-то въ другую сторону, въ лагерь менѣе всего дружественный заслуженнымъ авторитетамъ и почтеннымъ именамъ.

Въ то самое время, когда замолкалъ единственный! истинно-общественный публицистическій голосъ *Московскаго Телеграфа* и русскому обществу грозило своего рода вавилонское плѣненіе, одинъ молодой петербургскій литераторъ переживалъ слѣдующее приключеніе.

«Однажды,—разсказываетъ онъ,—прохаживаясь по Невскому проспекту, я зашелъ въ кондитерскую Вольфа, въ которой получались всѣ русскія газеты и журналы. Я подошелъ къ столу, на которомъ они были разложены, и мнѣ прежде всего попался на глаза номеръ *Молвы*. Въ этомъ номерѣ было продолженіе статьи подъ заглавіемъ *Литературныя мечтанія—элегія въ прозѣ*. Это оригинальное названіе заинтересовало меня: я взялъ нѣсколько предшествовавшихъ номеровъ и принялся читать.

«Начало этой статьи привело меня въ такой восторгъ, что я охотно бы тотчасъ поскакалъ въ Москву, если бы это было можно, познакомиться съ авторомъ ея и прочесть поскорѣе ея продолженіе.

«Новый, смѣлый, свѣжій духъ ея, такъ и охватилъ меня.

«Не оно ли,—подумалъ я,—это новое слово, котораго я жаждалъ, не это ли тотъ самый голосъ правды, который я такъ давно хотѣлъ услышать?

«Я выбѣжалъ изъ кондитерской, сѣлъ на перваго попавшагося мнѣ извозчика и отправился къ Языкову (другу рассказчика).

<sup>25)</sup> Плетневъ. *Переписка*. II, 38.

«Я вбѣжалъ къ нему и закричалъ:

«— Ну, братъ, у насъ появился такой критикъ, передъ которымъ Полевой—ничто. Я сейчасъ только пробѣжалъ статью—это чудо, чудо!

«— Неужели?—возразилъ Языковъ,—да кто такой? Гдѣ напечатана эта статья?..

«Я перевелъ духъ, бросился на диванъ и, немного успокоясь, рассказалъ ему, въ чемъ дѣло.

«Мы съ Языковымъ, какъ люди, всѣмъ дѣтски увлекавшіеся, тотчасъ же отправились въ книжную лавку, достали номера *Молотъ* и я прочелъ ему начало статьи Бѣлинскаго.

«Языковъ пришелъ въ такой же восторгъ, какъ я, и впоследствии, когда мы прочли всѣ статьи, имя Бѣлинскаго уже стало дорого намъ.

«Какъ ничтожны и жалки казались мнѣ, послѣ этой горячей и смѣлой статьи, пошлыя, рутинныя критическія статьи о литературѣ, появлявшіяся въ московскихъ и петербургскихъ журналахъ!...» <sup>24)</sup>

Это не единственный эпизодъ. Статьи критика взволновали сердца и тѣхъ, кто не обладалъ способностью дѣтски увлекаться или кого на первый взглядъ не очаровывалъ непреодолимый талантъ Бѣлинскаго.

Другой молодой писатель также подробно рассказалъ намъ свои первыя впечатлѣнія послѣ одной изъ раннихъ статей новаго критика. На этотъ разъ повѣствованіе еще поучительнѣе. Оно показываетъ, какъ новый талантъ дѣйствовалъ на предубѣжденные, но чуткія души. Критикъ не подчинялъ ихъ своему авторитету съ перваго натиска, но поднималъ въ нихъ невольную борьбу идей и чувствъ. Онъ могущественно заставлялъ ихъ разобраться въ раньше усвоенной вѣрѣ и путемъ независимой мысли велъ ихъ къ новымъ истинамъ.

Тургеневъ въ молодости романтикъ и мечтательная «прекрасная душа», подобно многимъ сверстникамъ, преклонялся предъ поэтическимъ гениемъ Бенедиктова. Вдругъ въ *Телескопѣ* появляется статья, эпизодично обрывающая лавры съ прославленнаго поэта. Юныхъ романтиковъ охватило гнѣвъ. Тургеневъ также негодовалъ, готовъ былъ приносить все новыя жертвы своему божеству. Но нѣчто такъ неразгаданное и смутное говорило: совсѣмъ иное его него-

<sup>24)</sup> И. И. Панаевъ. *Литерат. воспоминанія*. Спб. 1876, стр. 141—2.

дующему сердцу. Началась борьба, своего рода раздвоение художественной личности, пережитое, вѣроятно, не однимъ только будущимъ художникомъ, а многими самыми обыкновенными смертными.

«Къ собственному моему изумленію и даже досадѣ»,—разсказываетъ Тургеневъ,—что-то во мнѣ сильно соглашалось съ «критикомъ», находило его доводы убѣдительными... неотразимыми. Я стыдился этого, уже точно неожиданнаго впечатлѣнія, я старался заглушить въ себѣ этотъ внутренній голосъ; въ кругу пріятелей я съ бѣльшей еще рѣзкостью отзывался о самомъ Бѣлинскомъ и объ его статьѣ... но въ глубинѣ души что-то продолжало шептать мнѣ, что *онъ былъ правъ*... Прошло нѣсколько времени и я уже не читалъ Бенедиктова»...

Начало въ высшей степени знаменательное. Всего нѣсколько статей, и сильныя чувства возбуждены. Они съ этихъ поръ не улягутся, будутъ расти съ каждымъ шагомъ новаго критика, и съ теченіемъ времени соберутъ вокругъ его имени громадный хоръ и восторженныхъ поклонниковъ, и ожесточенныхъ враговъ.

Именно впечатлѣніе небывалой энергіи пробѣжало по читающей публикѣ. Только безнадежно немощные духомъ могли не почувствовать исключительной силы и власти въ стремительныхъ рѣчахъ новаго писателя. Мы только что слышали привѣтствія молодежи, съ неменьшимъ сочувствіемъ отозвались и «отцы». Ихъ было мало, но тѣмъ краснорѣчивѣе они свидѣтельствовали о дыханіи идейной жизни, внезапно повѣявшемъ на омертвѣвшіе стогны русской журналистики.

Полевой съ нетерпѣніемъ ждалъ новыхъ подвиговъ «нашего Орланда», радовался «какъ старый забіяка» новой войнѣ, обѣщавшей еще неслыханныя пораженія и побѣды. Лажечниковъ, истомленный немощами московской печати, радостно встрѣчалъ появленіе Бѣлинскаго и былъ увѣренъ, что онъ «охулки на руку не дастъ»...

Но все это пока голоса друзей и привѣтствія избранныхъ. За ними стояла несмѣтная толпа равнодушныхъ и обиженныхъ. Они также должны были отозваться на безпокойное явленіе, и ихъ отзывы несравненно внушительнѣе по количеству. Если Тургеневу стоило усилій помириться съ мнѣніями Бѣлинскаго, какъ же могла встрѣтить «Орланда» его жертвы и его фатальные противники—по неизлѣчимой косности и авторскому самолюбію?

Въ то самое время, когда увлекающіеся юноши восторженно

перечитывали *Литературныя мечтанія*, кругомъ солидные люди сообщали отчаянныя свѣдѣнія о героѣ.

Это—плебей, недоучившійся казенный студентъ, выгнанный изъ университета за развратное поведеніе. Наружность у него самая ужасная. Это какой-то циникъ, бульдогъ, пригрѣтый Надеждынымъ съ цѣлю травить имъ своихъ враговъ. Его и фамилія странная—не то семинарская, не то польская—*Бѣлинскій*. Что касается приемовъ его критики, они совершенно недостойны приличнаго общества и обличаютъ человѣка злобнаго и завистливаго.

Въ Москвѣ не лучше судили патріархи «науки и свѣта». Погодинъ именовавъ писанія Бѣлинскаго «лаемъ», другіе считали его отверженцемъ судьбы и людей, совершенно неспособнымъ къ обществу и человѣческимъ отношеніямъ съ кѣмъ бы то ни было <sup>27)</sup>. Стоитъ ему выразить даже скромное сомнѣніе въ поэтическихъ талантахъ какого-нибудь профессора въ родѣ Шевырева, и онъ немедленно попадаетъ въ разрядъ штрафованныхъ, его имя становится браннымъ, связи съ нимъ—засорными.

Естественно, печать не остается позади публики. По изліяніямъ органовъ петербургскаго тріумвирата можно сочинить обширную біографію и характеристику Бѣлинскаго. На первомъ планѣ пришлось бы поставить все то же плебейство и малообразованность критика.

Цинизмъ Бѣлинскаго, по представленію петербургскихъ литераторовъ, доходилъ до такой степени, что этотъ несчастный считалъ аристократомъ всякаго, кто носитъ чистое бѣлье, моетъ лицо и не обладаетъ запахомъ чеснока и водки. Для Бѣлинскаго это вполне достаточная причина ненавидѣть ближняго! Его злостность—безпредѣльна. На него рѣшительно нѣтъ возможности угодить. Чтобы имѣть полное представленіе объ его черной и порочной душѣ, надо прочесть повѣсть въ *Библиотеку для Чтенія—Піюша*.

Герой ея—Виссаріонъ Кривошеинъ, или попросту—Висяпша.

Біографія его проста и вразумительна: молодость—пьянство и трактиры, исключеніе изъ университета и отсюда непримиримая ненависть къ «отсталымъ» наставникамъ. Потомъ—цѣлый рядъ ругихъ изгнаній изъ разныхъ домовъ, гдѣ Висяпша брался за испытаніе дѣтей. Но ничто не укрощало самолюбія уroda.

Онъ судилъ и радилъ о Фихте и Гегелѣ, и называлъ презрѣнными въѣздами всѣхъ, кто не понималъ знаменитаго тождества. Въ

<sup>27)</sup> Барсуковъ. IV. 354. Кс. Полевой, 369.

настоящее время Висяша всѣмъ недоволенъ, въ театрѣ онъ вслухъ возмущается пьесами, въ журналѣ поноситъ лучшія произведенія родной литературы, оскорбляя чувства самихъ читателей...

Очевидно, новый критикъ вдохновлялъ заинтересованную публику даже на художественномъ поприщѣ: такъ солоно приходилось его имя!..

Бѣлинскій имѣлъ всѣ основанія считать свою судьбу оригинальной и даже исключительно завидной. Онъ не замедлилъ заявить объ этомъ.

«Недавно вступивъ на литературное поприще, еще не успѣвъ осмотрѣться на немъ, я съ удивленіемъ вижу, что рѣдкимъ изъ нашихъ литераторовъ удавалось съ такимъ успѣхомъ, какъ мнѣ, обращать на себя вниманіе, если не публики, то, по крайней мѣрѣ, своихъ собратій по ремеслу. Въ самомъ дѣлѣ, въ такое короткое время нажить себѣ столько враговъ, и враговъ такихъ доброжелательныхъ, такихъ непамятозлобныхъ, которые, въ простотѣ сердечной, хлопочутъ изо-всѣхъ силъ о вашей извѣстности,—не есть ли это рѣдкое счастье?.. Я до такой степени удостоенъ судьбою этого счастья, что имѣлъ бы право почестъ себя очень замѣчательнымъ человѣкомъ, если бъ враги-пріатели были хоть сколько-нибудь замѣчательны: одно только это непріятное обстоятельство озлобляетъ порывы моего самолюбія» <sup>35</sup>).

Но Бѣлинскому не всегда приходилось отвѣчать въ такомъ тонѣ на заботы «пріателей» объ его славѣ. Тріумвиратъ, подъ предводительствомъ Булгарина, устремлялся очень далеко, вплоть до обвиненія неустрашимого противника въ жесточайшихъ политическихъ преступленіяхъ, въ измѣнѣ и въ ренегатствѣ. Это буквально, и у Бѣлинскаго волей-неволей долженъ былъ подняться стиль въ уровень съ юридическими домыслами «патріотовъ своего отечества».

Это эпизодъ второго года дѣятельности критика и онъ достаточно характеризуетъ ожесточеніе «заслуженныхъ литераторовъ» и воинственное положеніе молодого Орланда. Бѣлинскій отвѣчалъ по адресу для всѣхъ ясному.

«Нѣтъ, м. г., на святой Руси не было, нѣтъ и не будетъ ренегатовъ, т. е. этакихъ выходцевъ, бродягъ, пройдохъ, этихъ растригъ и патріотическихъ предателей, которые бы, играя двойною присягою, попадали въ двойную цѣль, и, избавляя отъ него-

<sup>35</sup>) *Отъ Бѣлинскаго. Сочиненія. М. 1875, стр. 274.*

для свое отечество, пятнали бы своимъ братствомъ какое-нибудь государство» <sup>29)</sup>).

Подобная отповѣдь стоила Пушкинскаго *Видока*, и отважному критику слѣдовало бы помнить внушительные прецеденты, но,—говорилъ онъ, «я рожденъ, чтобы называть вещи ихъ настоящими именами: *Я въ міръ боюсь*».

Программа — краткая, но преизобильная послѣдствіями, не только для личной жизни Бѣлинскаго, но и для его отдаленной памяти въ будущемъ.

Необычайно шумное, *цезарское* вступленіе на общественную арену не всегда служить для писателя достовѣрнымъ предзнаменованіемъ его будущей судьбы. Часто это мимолетная вспышка моды, счастливое совпаденіе обстоятельствъ, нерѣдко даже результатъ искусныхъ литературно-житейскихъ маневровъ. Будто блуждающій огонекъ вспыхиваетъ писательское имя, нѣкоторое время носится предъ заинтересованными взорами зрителей, и безслѣдно пропадаетъ, оставляя по себѣ лишь отрывочныя и смутныя впечатлѣнія у любителей «былого».

Не то съ Бѣлинскимъ.

Сильныя чувства, вызванныя его первыми статьями у отдѣльных личностей, постепенно превращались въ широкій общественный интересъ. Кружокъ почитателей и лагерь ненавистниковъ быстро разрастались далеко за предѣлы литературнаго міра и журнальных партій. Вскорѣ не надо было произносить самаго имени Бѣлинскаго, чтобы въ *безгиманнихъ* навітахъ или *безпредметныхъ* восторгахъ читатели могли отгадать все его же—безпокойнаго при жизни и незабвеннаго по смерти. Придетъ время, о немъ нельзя будетъ говорить въ печати. На его памяти на цѣлые годы отяготѣетъ вынужденное безмолвіе. Но лишь только просвѣтитъ небо надъ его родиной, самымъ блестящимъ свѣтиломъ явится все онъ же, неуничтожимый ни открытыми гоненіями, ни самой страшной карой для писателя—продолжительнымъ молчаніемъ.

Но это не значить, будто слава Бѣлинскаго безповоротно доизана и утверждена, будто всеобщій интересъ къ его имени—одно ничѣмъ незатемняемое чувство признательности и любви. Да, ко нѣтъ.

Не скоро, часто вѣками—дается вѣнокъ безъ терній тѣмъ, кто

<sup>29)</sup> *Сочин.* I, 494—5.

глубоко взволновалъ своихъ современниковъ и оставилъ послѣ себя богатое наслѣдство великихъ идей и страстныхъ убѣжденій. Они остаются современниками даже среди позднѣйшихъ наслѣдниковъ своего дѣла и потомки, судя ихъ, безпрестанно судятъ вопросы своихъ дней, изрекая тотъ или другой приговоръ надъ ними, свидѣтельствуютъ о своемъ я—нравственномъ и общественномъ. И казалось бы—давно ушедшія вдаль—тѣни продолжаютъ стоять воплощенной совѣстью предъ малодушными и двуличными.

Такова краткая и подлинная исторія Бѣлинскаго въ прошломъ и будущемъ.

### VIII.

Судить Бѣлинскаго въ высшей степени легко, и именно въ отрицательномъ направленіи. Судъ можетъ вчинить и провести съ успѣхомъ безъ особенныхъ усилій не только какой-нибудь усердный и упорный зоилъ, но просто любой борзописецъ, совершающій набѣги «ради матеріала» на чужіе труды. Стоитъ взять нѣсколько томовъ сочиненій Бѣлинскаго, раскрыть ихъ наудачу въ разныхъ мѣстахъ: немедленно составится пребойкая обвинительная статейка на самыя удручающія темы.

Прежде всего можно отмѣтить странную манеру критика говорить о самыхъ серьезныхъ предметахъ будто стихами въ прозѣ. Предъ нами не спокойное логическое разсужденіе, не послѣдовательная цѣпь опредѣленій и доказательствъ, а взрывы вдохновеннаго лиризма, вереницы поэтическихъ фигуръ, искры пламеннаго чувства. Плавная рѣчь безпрестанно прерывается восклицаніями, переходитъ въ діалогъ, пестритъ многоточіями.

Произведенія начинающаго талантливаго поэта оказываются утренней зарей, обещающей прекрасный день. Разочарованный взглядъ на любовь опровергается стремительнымъ гимномъ въ честь сердечныхъ увлеченій. Пессимистическое стихотвореніе поэта поясняется горячими изліяніями личнаго чувства и страстными свидѣтельствами личнаго опыта. Критика выходитъ, пожалуй, лиричнѣе самого произведенія и *разсуждающій* писатель перестаетъ отличаться отъ *творящаго*. Философская идея единства всего существующаго украшается живописными сценами человѣческихъ, взаимныхъ сочувствій, пламеннаго отклика счастливецъ на диссонансы жизни, на чужія слезы и горе, невольнаго благоговѣнія юноши въ присутствіи старца и умиленнаго любованія старца ра-

достями рѣзвого дитяти. Все это что угодно—драма, идиллія, романъ, только не критика въ общепринятомъ смыслѣ.

И авторъ часто совершенно покидаетъ почву отвлеченнаго анализа, даже въ вопросахъ публицистики и исторіи. Міросозерцаніе античнаго грека изображается въ драматической формѣ. Значеніе театра раскрывается въ бурномъ монологѣ, будто извлеченномъ изъ какой-нибудь романтической поэмы и обращенномъ къ читателю-собесѣднику.

Но трудно и сказать, что дѣлается съ критикомъ, когда онъ начинаетъ говорить объ идеѣ! Какихъ только сравненій, образовъ, безграничныхъ перспективъ не подсказываетъ ему его взволнованное чувство! Въ каждой фразѣ критикъ будто стремится захватить васъ трепетомъ своей души и помимо логическихъ доводовъ и разсужденій увлечь васъ бурей восторга и подчинить вашъ разсудокъ мощной искренности вѣры. И вы только въ томъ случаѣ можете послѣдовать за оригинальнымъ философомъ, когда вы одарены такимъ же воспламеняющимся духомъ, когда вы способны холодное резонерство и жесткую логику презрѣть ради свободныхъ поэтическихъ упоеній и жизненныхъ прихотливыхъ красотъ.

Тогда только вы помиритеcь съ удивительными эпитетами, разсѣянными рядомъ съ самыми, повидимому, строгими понятіями и прозаическими предметами!

Такъ рѣшались писать развѣ только очень отважные романтики и то въ минуты исключительнаго протеста противъ золотой середины и всяческаго мѣщанства. И критикъ не преувеличиваетъ, сравнивая художественныя волненія съ песчаными мятелями въ безбрежныхъ степяхъ Аравіи... Написать столько страницъ такихъ горячихъ, ни на минуту не ослабѣвающихъ и не тускнѣющихъ рѣчей можно только подъ властью по истинѣ «божественнаго вдохновенія», той самой, таинственной *mania*, какую древній философъ приписывалъ природѣ великихъ художниковъ.

Все это справедливо, скажутъ намъ, и всякій можетъ наслаждаться этимъ геніемъ при самомъ поверхностномъ знакомствѣ съ Бѣлинскимъ. Но только подобный геній отнюдь не безусловная бродѣтель. Блескъ и остроуміе не создаютъ критика

Онъ прежде всего долженъ быть мыслителемъ, т. е. обладать твердымъ, вполне опредѣленнымъ міросозерцаніемъ, ясной системой художественныхъ принциповъ и общественныхъ идеаловъ, и публику долженъ дѣйствовать не поэтическимъ азартомъ, а опровержимой трезвой логикой фактовъ и доказательствъ. И



еще вопросъ, можетъ ли писатель, подверженный такой впечатлительности и безпрестанно состязающійся съ лириками, владѣть строго послѣдовательнымъ умомъ и прочными идеями? Взять того же Бѣлинскаго.

Извѣстно, напримѣръ, какъ скоропалительно онъ провозгласилъ Достоевскаго гениемъ за *Бѣдныхъ людей*, а потомъ жестоко раскаявался въ своемъ увлеченіи и находилъ, что по поводу этого событія о немъ, Бѣлинскомъ, «старомъ чортѣ, безъ палки нечего и толковать» <sup>40)</sup>.

Да и одно ли это увлеченіе!

Остановитесь на самыхъ блестящихъ и остроумныхъ страницахъ, извлеките изъ нихъ самыя, повидимому, прочувствованныя и убѣдительныя идеи, сопоставьте ихъ другъ съ другомъ и сдѣлайте выводъ... Окажется, предъ вами нѣчто въ родѣ современнаго критика-импрессиониста, гордаго именно своей непослѣдовательностью и неуловимостью и капризной игрой ума и особенно воображенія. Это хорошо для какого-нибудь Лемэтра, но вѣдь не допускать же русскіе почитатели Бѣлинскаго подобнаго таланта въ своемъ избранномъ критикѣ!..

И доказательствъ опять сколько угодно.

Бѣлинскій писалъ всего какихъ-нибудь четырнадцать лѣтъ. Срокъ, сравнительно, непродолжительный, но сколько разъ онъ то благословлялъ, то проклиналъ однихъ и тѣхъ же боговъ! Проклиналъ, въ буквальный смыслъ, со всею страстью и откровенностью своей «неистойвой натуры» <sup>41)</sup>.

Это его собственное выраженіе и лучшаго нельзя придумать для точной характеристики многочисленныхъ приключеній его критической мысли.

Сначала «достойнымъ проклятѣя» оказывается поэтъ, который «своими сочиненіями старается заставить васъ смотрѣть на жизнь съ его точки зрѣнія». Въ такомъ случаѣ онъ даже лишается права числиться поэтомъ: онъ «мыслитель и мыслитель дурной, злонамѣренный, моралистъ». Критикъ спѣшилъ заявить, что такой поэтъ утрачивалъ надъ нимъ свою «чародѣйскую власть», и заставлялъ его или презирать поэта, или жалѣть о немъ <sup>42)</sup>.

Немного спустя, всего годъ, публика узнавала новый отгѣ-

<sup>40)</sup> *Анненковъ и его друзья*. Спб. 1892 стр. 610.

<sup>41)</sup> Въ письмѣ отъ 12 окт. 1838 г. Пыпинъ. *Бѣлинскій, его жизнь и переписка*. Спб. 1876, I, 175.

<sup>42)</sup> *Литературныя мечтанія*—1834 годъ.

нокъ истины. Съ грѣхомъ пополамъ можетъ быть сопричисленъ къ сонму чародѣевъ и поэтъ, пересоздающій жизнь по собственному идеалу. Правда, онъ качественно ниже поэта, просто воспроизводящаго жизнь «во всей ея наготѣ и истинѣ», но зато уже проклятій по его адресу не слышно <sup>43</sup>).

Но это не значило, что читатели окончательно освободились отъ сюрпризовъ и критикъ не станетъ больше преслѣдовать ихъ «безсознательностью» и «откровенной свыше» художественностью. Напротивъ. Они еще прочтутъ чрезвычайно рѣшительныя нападки на Мольера, на Бомарше за сатиру и тенденціозность, узнаютъ, до какой степени мало художественно *Горе отъ ума* и ниже всякой нравственной критики главный герой комедіи. Въ грибоѣдовскомъ произведеніи нѣтъ цѣлаго, нѣтъ идеи, а Чацкій «просто крикунъ, фразеръ, идеальный шутъ, на каждомъ шагу профанирующій все святое, о которомъ говорить».

Возможно ли до такой степени проглядѣть смыслъ пьесы и извратить роль ея героя? Вѣдь достаточно прочесть одну эту страницу въ сочиненіяхъ критика, чтобъ у иного современнаго читателя вырвалось самое неместное восклицаніе объ его талантѣ и даже личности.

Но мы еще не говоримъ о Бородинскихъ статьяхъ, гдѣ читатель приглашался отказаться наотрѣзъ отъ собственной личности и уничтожиться предъ дѣйствительностью, какова бы она ни была. А потомъ эта удивительная истина: «общество всегда правѣе и выше частнаго человѣка, и частная индивидуальность только до такой степени и дѣйствительность, а не призракъ, до какой она выражаетъ собою общество» <sup>44</sup>).

Вотъ какую проповѣдь произносилъ критикъ со всею «дикостью своей натуры» <sup>45</sup>). Опять его изреченіе и опять оно умѣстно. Да, мы не должны забывать ни объ одномъ излишествѣ нашего героя. Бѣлинскій *весь*, до послѣдней черты, долженъ предстать предъ нами. Именно сомнительныя и, повидимому, несимпатичныя черты его критической дѣятельности должны быть выставлены неуклонно и ярко. Поступая такъ, мы будемъ дѣйствовать въ духѣ самого Бѣлинскаго: онъ никогда не замалчивалъ и не смягчалъ своихъ ошибокъ и мужественно готовъ былъ считаться съ какими угодно послѣдствіями.

<sup>43</sup>) О русской повѣсти и повѣстяхъ Гоголя—1835 годъ.

<sup>44</sup>) Въ статьѣ о *Горѣ отъ ума*.

<sup>45</sup>) Въ письмѣ отъ 10 сент. 1838 года. Пыпинъ. I, 228.

Это, несомненно, рѣдкостное качество, но легче ли тѣмъ, кто захотѣлъ бы оправдать критика въ безпримѣрно-рѣзкой идейной переѣмчивости, въ прихотливости и стремительности приговоровъ надъ важнѣйшими явленіями русской и иностранной литературы?

Окончательно развѣивавъ Чацкого и «частную индивидуальность» и поставивъ на непогрѣшимой высотѣ общество, Бѣлинскій въ слѣдующемъ же году воспѣлъ Байрона за «гордое возстаніе», за «могучій стоицизмъ». И рѣчь критика на этотъ разъ звучала будто невольнымъ чувствомъ состраданія и удивленія къ «несправедливо отягощенной страданіемъ личности» <sup>46)</sup>.

Это начало новаго преображеннаго и прозрѣвшаго Бѣлинскаго, но все еще подверженнаго колебаніямъ, оговоркамъ, какому-то мучительному раздвоенію мысли и личныхъ сочувствій, однимъ словомъ—*распаденію*.

Опять его слово, и оно, какъ всегда, вѣрнѣйшая характеристика нравственнаго состоянія критика. Именно въ періодъ *распаденія* онъ доставляетъ обильный и благодарный матеріалъ искателямъ противорѣчій. Умъ Бѣлинскаго будто мечется на распутьи, раннія увлеченія тускнѣютъ и расплываются въ разнообразныхъ уступкахъ новымъ впечатлѣніямъ и опытамъ. Но старое еще окончательно не утратило своей власти и продолжаетъ вести борьбу съ постепенно надвигающимся теченіемъ. Провозглашается право поэта гремѣть благороднымъ негодованіемъ, молитву забывать для проповѣди и лиру мѣнять на свистокъ сатиры, и здѣсь же, безъ всякихъ оговорокъ, посылаются привѣты раздраженнымъ стихамъ Пушкина о презрѣнной черни и недоступномъ пѣвцѣ... <sup>47)</sup>.

Во что вѣруетъ критикъ? По какимъ даннымъ произносить свои приговоры? Немного требуется недоброжелательной и преднамѣренно-скептической воли, чтобъ усомниться въ руководящихъ принципахъ вдохновенно-страстнаго и въ то же время безпощаднаго судьи. Для извѣстной цѣли достаточно.

Вполнѣ доказано, предъ нами какой-то странный критикъ-поэтъ, резонеръ-лирикъ, неожиданно-переѣмчивый въ своихъ предпочтеніяхъ и осужденіяхъ. Можетъ ли онъ сообщить читателю прочное фактическое свѣдѣніе, вкоренить въ него строгую обоснованную итею? Кто поручится, что въ слѣдующій моментъ этотъ фактъ и

<sup>46)</sup> Въ статьѣ *Русская литература въ 1840 году*.

<sup>47)</sup> Статя о *Стихотвореніяхъ Лермонтова*.

эта идея не будутъ сброшены и растоптаны новымъ порывомъ и еще болѣе бурный лиризмъ не воздвигнетъ столь же обожаемое но не менѣе глѣнное божество?

Такой процессъ неоднократно совершался и когда угодно можетъ вновь совершиться надъ личностью и дѣломъ Бѣлинскаго. И такова обоюдоострая привилегія всякаго плодovitаго ума и богатой глубокой личности. Кому за всю жизнь удалось стяжать двѣ-три идеи и въ нихъ почерпнуть вполне достаточный умственный и нравственный матеріалъ для всего своего существованія, тому нечего опасаться противорѣчій, измѣнъ, распаденій и раскаяній. Кто, не мудрствуя лукаво, идетъ вслѣдъ другимъ по ясной и торной дорогѣ, того, навѣрное, не постигнуть ни сомнѣнія, ни крутыя ошибки, ни опрометчивыя увлеченія. И снисходителенъ будетъ къ нему судъ людей: вѣдь кругомъ него подавляющее большинство одной съ нимъ природы и однихъ духовныхъ силъ.

Но горе тому, кто осмѣлится не только уклониться съ общей дороги, а еще дерзнетъ «проклясть» ее и влечь другихъ на поиски за другими путями и цѣлями. Тогда каждый шагъ станетъ подвергать его все болѣе отвѣтственности, и наблюдатели со стороны откроютъ фальшь и неразуміе всюду, гдѣ не поймутъ или не захотятъ понять новаго движенія.

Все это всѣмъ извѣстныя и даже всѣмъ надобвшія истины. А между тѣмъ, онѣ неизмѣнно ложатся въ основу неумирающей вражды косныхъ и рабскихъ инстинктовъ противъ жизни и оригинальности. Носители инстинктовъ, конечно, никогда не сознаются, что ихъ проповѣди вдохновляются такими избитыми и недостойными чувствами. Но сравните нападки современниковъ Бѣлинскаго съ незамолкшими до послѣднихъ дней навѣтами, вы будете поражены ихъ тождественностью.

Упреки въ безграмотности и неучености—исконный воинственный приемъ критиковъ, нравственно или умственно слишкомъ ничтожныхъ, чтобы въ области убѣжденій подняться выше данной дѣйствительности, а въ области знанія перейти за предѣлы компиляторства и ремесленническаго педантизма.

Но вѣдь и приведенные нами факты изъ сочиненій Бѣлинскаго вполне достовѣрны. Отрицать нельзя, что онъ въ теченіе четырнадцати лѣтъ прошелъ въ своемъ родѣ безпримѣрный путь идейнаго развитія, до такой степени рѣшительный и быстрый, что исходная и заключительная точка могутъ показаться непримиримыми контрастами.

Ни у какого раннего и позднѣйшаго критика подобнаго явленія нельзя открыть. Съ именемъ cadaго непременно соединяется представленіе о цѣльной единой системѣ художественныхъ воззрѣній, о точно опредѣленной литературной школѣ.

А здѣсь представители всѣхъ школъ отъ чистаго художника до вдохновеннаго публициста могутъ черпать, повидимому, одинаково сильные оправдательные документы... Какъ же это объяснить и на какомъ выводѣ остановиться, независимо отъ какихъ бы то ни было нашихъ отношеній къ таланту и личности критика?

Вопросъ въ высшей степени любопытный, и не только для выясненія положительнаго значенія Бѣлинскаго. Во всѣхъ европейскихъ литературахъ текущаго столѣтія нельзя указать ни одного случая, гдѣ бы представился подобный вопросъ въ такой полнотѣ и требовалъ отвѣта поучительнаго вообще для судебъ умственнаго прогресса цѣлаго общества. Нигдѣ и никогда личность одного писателя не воплощала въ себѣ столько основныхъ историческихъ чертъ родной культуры и нигдѣ столь энергическая авторская дѣятельность не распадалась на такіе значительные по смыслу психологическіе періоды. Можно сказать, Бѣлинскій, какъ человекъ и какъ писатель, въ своемъ нравственномъ развитіи и литературной дѣятельности воспроизвелъ подробный планъ многообразныхъ преобразованій нашей общественной мысли.

Какими же путями могла сложиться подобная личность и какая сила сообщила такую глубину и значительность ея исканіямъ истины и даже ея заблужденіямъ?

## IX.

Общепринятый и легчайшій способъ оцѣнить талантъ писателя и богатство его нравственной природы—поставить его лицомъ къ лицу съ предшественниками и современниками и тщательно прослѣдить зависимость его дѣятельности отъ чужихъ вліяній.

Опять задача именно съ Бѣлинскимъ чрезвычайно простая. Врядъ ли какого еще писателя равнаго значенія обвиняли въ столь многочисленныхъ связяхъ съ разными учителями, руководителями и внушителями. Объ одномъ изъ этихъ духовныхъ отцовъ критика мы говорили и пришли къ заключенію, что Надеждинъ менѣе всего заслуживаетъ право именоваться даже предшественникомъ Бѣлинскаго, не только учителемъ. Заключеніе наше найдетъ

впослѣдствіи и другія основанія, помимо подробнаго разбора дарованія и трудовъ профессора.

Незаслуженная слава Надеждина идетъ отъ самихъ современниковъ и ближайшихъ свидѣтелей совмѣстной дѣятельности ученаго и недоучившагося студента. Тѣ же свидѣтели успѣли открыть и другого, еще болѣе сильнаго авторитета для Бѣлинскаго въ лицѣ Полевого. На этотъ разъ обвиненіе гораздо ближе стояло къ правдѣ, но только не по существу. Мы уже указывали нѣкоторыя черты критики *Телеграфа*, совпадающія съ позднѣйшими приемами Бѣлинскаго. Но это совпаденіе отнюдь не соотвѣтствовало выводу, сдѣланному петербургскими учеными: Бѣлинскій—школяръ, начитавшійся Полевого <sup>48)</sup>. Мысль эту слѣдовало понимать такъ, будто Бѣлинскій только и занимался обезьянничаньемъ чужого ума и чужого искусства. Очевидно, въ уликахъ оскорбленныхъ аристарховъ заключалось столько же злобы, сколько наивности во впечатлѣніяхъ добрыхъ товарищей.

Но существовалъ еще одинъ источникъ, откуда Бѣлинскій могъ почерпнуть свои идеи и знанія. Источникъ, повидимому, самый серьезный и неопровержимый. Значеніе его признавалъ самъ Бѣлинскій, безпрестанно называя своимъ учителемъ то одного, то другого сверстника, преимущественно двухъ—Михаила Бакунина и Станкевича. Одинъ изъ позднѣйшихъ изслѣдователей прямо заявилъ, что нашъ критикъ «выносилъ строго обдуманныя статьи» изъ бесѣдъ друзей и можетъ «назваться по преимуществу обобщителемъ идей» <sup>49)</sup>.

Въ этомъ заявленіи уже нѣтъ ни вражды, ни наивности, если только буквальное и непосредственное пониманіе заявленій самого Бѣлинскаго не считать опрочечивостью и недомыслиемъ. На первый взглядъ можетъ показаться неожиданной наша оговорка. Какъ же, въ самомъ дѣлѣ, должны быть принимаемы личныя сообщенія писателя о собственномъ духовномъ развитіи, какъ не буквально и не непосредственно!

Мы думаемъ, бываютъ случаи, когда именно прямыя свидѣтельства заинтересованнаго лица о своихъ отношеніяхъ къ другимъ лицамъ могутъ не соотвѣтствовать истинѣ. Это безусловно возможно, когда свидѣтельства высказываются подъ вліяніемъ первыхъ впечатлѣній, когда одновременно совершается извѣстный

<sup>48)</sup> Письмо Плетнева Гроту. *Переписка*. II, 702.

<sup>49)</sup> Анненковъ. *Н. В. Станкевичъ. Переписка его и біографія*. Москва 1857, стр. 73.

процессъ и оцѣниваются его смыслъ и сила. Тогда какъ разъ виновникъ или жертва процесса можетъ явиться менѣе всего достовѣрнымъ и безпристрастнымъ судьей фактовъ и истолкователемъ ихъ послѣдствій. И чѣмъ энергичнѣе и искреннѣе участіе въ процессѣ, тѣмъ менѣе должно быть у насъ надежды услышать отъ самого участника нелицепріятный и *исторически-правоспособный* приговоръ.

Эти соображенія какъ нельзя болѣе подходятъ къ вопросу о Бѣлинскомъ.

Мы, независимо отъ его лирическихъ изліяній по адресу друзей и руководителей, должны изслѣдовать самую сущность его нравственной природы и установить принципы ея постепеннаго роста. Мы, также помимо свидѣтельства сверстниковъ Бѣлинскаго, обязаны составить точное представленіе о психологіи его ближайшихъ друзей и на основаніи этого представленія опредѣлить возможные духовныя воздѣйствія «кружка» на будущаго критика. Это единственные вѣрные пути къ рѣшенію первостепенной задачи въ нашей исторіи. Мы будемъ считаться не съ мимолетными настроеніями и возбужденными чувствами, а съ самыми источниками и—скоропреходящихъ волненій, и прочихъ руководящихъ преобразованій міросозерцанія.

Какую нравственную почву представлялъ изъ себя Бѣлинскій, когда на него начали и продолжали дѣйствовать, по общему мнѣнію, сильнѣйшія вліянія Станкевича и его товарищей? Съ другой стороны, на какихъ преимуществахъ могло основываться рѣшающее дѣйствіе этихъ вліяній? Дѣйствительно ли Бѣлинскій явился податливымъ и вполне благодарнымъ *материаломъ*, а его сверстники по всѣмъ правамъ заняли роли *творцовъ* и *образователей*?

Бѣлинскому шелъ девятнадцатый годъ, когда онъ явился въ Москву для поступленія въ университетъ. Это очень зеленая молодость, но уже въ двѣнадцать лѣтъ будущій писатель оказался старше своего возраста, и по очень основательнымъ причинамъ.

Современникъ, близко знавшій семью и раннюю жизнь Бѣлинскаго, дѣлалъ такой общій выводъ: «У жизни есть свои сынки и пасынки, и Виссаріонъ Григорьевичъ принадлежалъ къ числу самыхъ нелюбимыхъ своею лихою мачихою. Не радостно она встрѣтила его въ родной семьѣ и дѣтство его, эта веселая, беззаботная пора, было исполнено тревогъ и огорченій столько же, сколько и позднѣйшіе возрасты, и надобно было имѣть ему много воли, много любви, чтобы выйти побѣдителемъ изъ этой страшной борьбы съ роковыми случайностями».

Въ сущности, это выраженіе не соотвѣтствуетъ дѣйствительности, оно слишкомъ романтично и звучитъ интригующимъ тономъ. На самомъ дѣлѣ не было ничего романтическаго и ничего нарочито интереснаго. Мальчикъ просто осужденъ на безпріютность, одиночество и заброшенность съ самыхъ юныхъ лѣтъ. За нимъ не присматриваетъ ни чей любящій и заботливый взглядъ. Его настоящее и будущее сполна въ его рукахъ. Некому даже позаботиться о приличной одеждѣ и онъ ходитъ съ прорѣхами, въ нагольномъ тулупѣ, живетъ по угламъ, располагая вмѣсто мебели квасными боченками и, по его словамъ, попадаетъ даже въ кругъ «людей презрѣнныхъ»<sup>50)</sup>.

Такъ онъ позже пишетъ родителямъ, и здѣсь же прибавляетъ, что онъ «имѣлъ право гнѣться». При такихъ условіяхъ права не ограничиваются гнѣвю. Мальчикъ могъ весьма легко уподобиться тѣмъ же презрѣннымъ людямъ или окончательно захирѣть и затеряться.

Ничего подобнаго не случилось.

Ученикъ уѣзднаго училища—онъ уже проникнуть собственнымъ достоинствомъ. Онъ побѣдоносно справляется съ школьной наукой, не смущается ни низшаго, ни высшаго начальства, не приходитъ въ восторгъ отъ его похвалъ и не волнуется его наградами. Онъ будто *знаетъ себя* и съ двѣнадцати лѣтъ чувствуетъ силы, превосходящія всяческія внѣшнія поощренія и не нуждающіяся въ благопріятныхъ обстоятельствахъ.

Онъ много читаетъ и не затрудняется показывать свои обязательныя знанія въ ученическихъ отвѣтахъ. Его уже теперь трудно пѣнить на общую мѣрку школьниковъ. На формальный взглядъ учителей онъ плохой ученикъ, на общечеловѣческій—онъ обладатель блестящихъ способностей, серьезной мысли и богатыхъ—официально лишникъ—знаній.

И мальчикъ отлично понимаетъ свое исключительное положеніе. Онъ—бѣдный, оборванный—не производитъ впечатлѣнія слабого и заброшеннаго. Онъ смѣлъ въ поступкахъ и рѣчахъ, даже болѣе—онъ рѣшительнѣе въ важнѣйшихъ вопросахъ своей дальнѣйшей жизни.

Онъ рано задумываетъ попасть въ университетъ и перестаетъ посѣщать гимназію. Его исключаютъ «за нехожденіе въ классъ». Его это не смущаетъ. Не даромъ онъ не руководится чужими

<sup>50)</sup> Письмо отъ 17 февр. 1831 года. *Р. Старина*. XV, 79.



мнѣніями, самъ обо всемъ думаетъ, и изгнаніе изъ гимназіи не разрушаетъ его плановъ и не подрываетъ его энергіи. Онъ является въ Москву съ единственнымъ капиталомъ—«пламеннымъ желаніемъ» достигнуть намѣченной цѣли, и становится студентомъ.

Начинается истинный мартирологъ! Сначала «казенный коштъ», нѣчто въ родѣ кантонистскаго общежитія... «Да будетъ проклятъ этотъ несчастный день!» восклицалъ потомъ Бѣлинскій, вспоминая свое поступленіе подъ кровъ казенныхъ благотѣній.

А передъ этимъ только онъ умолялъ отца не оставить его умереть съ голоду, убѣдительно напоминалъ ему его званіе отца и описывалъ свои хожденія по мукамъ, среди безысходной нужды въ платьѣ и въ пищѣ... Можно ли учиться въ такомъ положеніи?

Для Бѣлинскаго можно, если бы было гдѣ. Онъ страстно интересуется образовательными учрежденіями Москвы, — университетскимъ музеемъ, библіотекой, театромъ. Онъ даетъ подробные и горячіе отчеты родителямъ о своихъ новыхъ впечатлѣніяхъ. Онъ, очевидно, преисполненъ жаждой подѣлиться думами и чувствами и даже забываетъ о тяжелыхъ опытахъ своего дѣтства. Только въ невыносимые приступы отчаянія, когда въ отцовскихъ письмахъ оказывалась все та же жестокость и укоризны, Бѣлинскій вспоминалъ, какъ подобные «поступки» «раздирали душу» его. И по временамъ ему приходилось опять возвращаться къ давно знакомому убѣжденію: «Я вижу, что оставленъ, брошенъ, презрѣнъ, что обо мнѣ не хотятъ и знать»... <sup>51)</sup>.

Эта смѣна мимолетнаго забвенія и отдыха воплями страшной нравственной боли наполняетъ всю университетскую жизнь Бѣлинскаго. Когда онъ восторженно говоритъ объ игрѣ Щепкина, разсуждаетъ о русскихъ писателяхъ, мы ясно видимъ, какъ истерзанная душа хватается за всякій призракъ свѣта и отрады. Она ищетъ примиренія съ какой бы то ни было дѣйствительностью. Потому что—противоестественна вѣчная боль надорванныхъ нервовъ и невыносимо мучительна непрестанная дрожь негодованія, мучительна особенно въ девятнадцать лѣтъ, когда такъ хочется гармоніи и счастья! И жажда примиренія здѣсь не будетъ прекраснодушнымъ вожелѣніемъ объ идилическомъ покоѣ и мечтательномъ самодовольномъ блаженствѣ. Нѣтъ. Въ такой формѣ она роскошь, потребность исключительнаго комфорта послѣ того, какъ всѣ насущныя нужды удовлетворены и человѣку требуется не только счастье, но и наслажденіе.

<sup>51)</sup> Р. Смар. XV, 56, 60.

Бѣлинскій далекъ отъ этого предѣла. Онъ не достигнетъ ничего подобнаго до конца своихъ дней. Онъ неустанно будетъ горѣть другою страстью,—не стремленіемъ и желаніемъ, а именно страстью. Вопросъ идетъ о спасеніи личности и жизни въ буквальномъ смыслѣ. Необходимо найти что-либо положительное, что-нибудь полюбить, на чемъ-нибудь успокоить жгучее чувство одиночества. Необходимо вѣровать и поклоняться, чтобы не истомиться въ конецъ гнѣвомъ и отчаяніемъ. Равнодушный скептицизмъ и эпикурейское презрѣніе совершенно недоступны подобной натурѣ. Вся ея жизнь въ движеніи, а оно немыслимо безъ цѣли, т. е. безъ идеала, безъ вѣрованія, безъ любви.

Впослѣдствіи Бѣлинскій разскажетъ про себя удивительную и въ то же время грустную исторію. Въ ея внутреннемъ смыслѣ заключена вся мощь его генія и все значеніе его жизненнаго дѣла.

«Съ горя, чтобы любить хоть кого-нибудь, завелъ себя котенка и иногда развлекаю себя удовольствіемъ кроткихъ и невинныхъ душъ—играю съ нимъ» <sup>52)</sup>).

Легко представить, съ какой стремительностью долженъ былъ искать «удовольствія кроткихъ и невинныхъ душъ» двадцатилѣтній студентъ, угнетаемый нищенской нуждой, лишенный опоры въ самыхъ близкихъ по природѣ людяхъ! Мы должны запомнить этотъ моментъ и его психологическое содержаніе. Онъ многое объяснитъ намъ въ самомъ критическомъ эпизодѣ духовной жизни Бѣлинскаго. Моментъ достигъ высшаго напряженія, благодаря жестокой неудачѣ самаго дорогаго замысла нашего героя. Бѣлинскаго исключили изъ университета спустя два года по вступленіи—«по слабому здоровью и притомъ по ограниченности способностей» <sup>53)</sup>. Это было несчастье, но не горшее. Величайшее разочарованіе постигло Бѣлинскаго въ судьбѣ его литературнаго произведенія,—трагедіи. Онъ рассчитывалъ повернуть свой злополучный житейскій путь по другому направленію и былъ разбитъ безпощадно и непоправимо.

«Драматическая повѣсть»—*Дмитрій Калининъ* должна занимать одно изъ первыхъ мѣстъ среди нашихъ источниковъ для уясненія личности Бѣлинскаго и ея позднѣйшихъ преобразованій.

<sup>52)</sup> Письмо отъ 23 февраля 1843 года. *Сборникъ Общества любителей российской словесности на 1891 годъ*. Москва 1892, стр. 282, въ статьѣ В. А. Гольцева.

<sup>53)</sup> Подлинный документъ объ увольненіи напечатанъ. *Р. Старина*. XV, 77—8.

«Повѣсть» — одна изъ искреннѣйшихъ исповѣдей, когда-либо возникшихъ изъ подъ писательскаго пера. Для насъ она непогрѣшимая путеводная нить въ исторіи великой души.

## Х.

Бѣлинскій, непосредственно послѣ разгрома своей мечты, такъ объяснялъ смыслъ своей драмы:

«Въ этомъ сочиненіи, со всѣмъ жаромъ сердца, пламенѣющаго любовью къ истинѣ, со всѣмъ негодованіемъ души, ненавидящей несправедливость, я въ картинѣ довольно живой и вѣрной представилъ тиранство людей, присвоившихъ себѣ гибельное и несправедливое право мучить себѣ подобныхъ. Герой моей драмы есть человѣкъ пылкій, съ страстями дикими и необузданными; его мысли вольны, поступки бѣшены и слѣдствіемъ ихъ была его гибель».

Молодой авторъ находилъ, что подобная задача и такой герой вполне допустимыя явленія. Онъ даже ждалъ лавровъ и одобренія отъ университетскаго начальства и цензурнаго вѣдомства, по очень простымъ соображеніямъ: «Мое сочиненіе не можетъ оскорбить чувства чистѣйшей нравственности и цѣль его есть самая нравственная»...

Какимъ же надо было обладать оптимизмомъ, чтобы питать такія мысли послѣ, кажется, весьма внушительныхъ опытовъ и отъ жизни, и отъ университетской науки! Бѣлинскій не могъ безъ чувства отвращенія вспоминать о риторическихъ упражненіяхъ ископаемыхъ профессоровъ пѣтики и элоквенціи. «Пошлость большей части нашихъ профессоровъ, — говоритъ кн. Одоевскій, — порождала въ немъ лишь презрѣніе». Утѣшеній никакихъ не давала университетская аудиторія. Оставалось искать ихъ внѣ университета, прежде всего въ своей личной мысли и въ вѣрѣ въ свои силы и въ свое будущее. А нравственная сила всегда найдетъ нѣчто свѣтлое и возвышенное даже среди окружающей дѣйствительности. Неизлѣчимая тоска и грусть или безпросвѣтный пессимизмъ, разрушающій всякую живую энергію — свидѣтельства немощи и малодушія. Бѣлинскій не поддавался этимъ недугамъ въ самыя тяжелыя минуты, и теперь онъ, задыхающійся въ тискахъ всевозможныхъ лишеній и разочарованій, готовъ пѣть гимнъ во славу красоты и истины.

Въ предисловіи къ драмѣ молодой авторъ ведетъ трогательную рѣчь о морѣ мыслей и чувствованій, возбуждаемыхъ созерцаніемъ

этой чудесной, гармонической, безпредѣльной вселенной... судьбою человѣка, сознаніемъ его нравственнаго величія». Это — романтический идеализмъ, шиллеровскія настроенія и они подскажутъ автору и ослѣпительный блескъ въ лицѣ героини трагедіи, подавляющую силу и отвагу въ лицѣ героя и кромѣшную тьму въ душахъ враговъ добра. Великое и ничтожное будутъ доведены до крайнихъ предѣловъ, человѣческое превратится или въ божественное, или въ адское. Никакихъ сдѣлокъ съ будничной дѣйствительностью и уступокъ смертной природѣ авторъ не допуститъ. Такъ и впослѣдствіи онъ, охваченный идеей, пойдетъ до послѣднихъ логическихъ выводовъ, какіе только возможны, и готовъ будетъ, подобно средневѣковому рыцарю, пожертвовать своимъ счастьемъ и самой жизнью, лишь бы ни одна тѣнь, ни что двусмысленное не коснулось обожимаго имени его дамы. Все равно, какъ у Лермонтова еще съ дѣтскаго возраста сталъ складываться образъ мощный и таинственный, впослѣдствіи воплотившійся въ Демонѣ и во множествѣ демоническихъ фигуръ, такъ и у Бѣлинскаго въ годы юности развился истинно религіозный культъ предъ неустрашимо-послѣдовательной духовной силой, предъ цѣльностью мысли и чувства, предъ неразрывной гармоніей ума и воли, міросозерцанія и жизни.

Въ этомъ представленіи интересъ трагедіи. Объ ея художественныхъ достоинствахъ не можетъ быть и рѣчи. Здѣсь она — нестройный крикъ, но именно, и драгоцѣнна своей нестройностью и своей открытой искренностью. Пусть герой Дмитрій Калининъ напоминаетъ Карла Моора, а героиня Софья Лѣсинская — Луизу, пусть и для лагеря злодѣевъ можно найти сколько угодно подлинниковъ, отнюдь не въ жизни, а въ шиллеровской поэзіи, трагедія все-таки результатъ не перечитаннаго, а пережитаго, и — главное, передуманнаго.

*Мысль* — единственная и всемогущая муза новаго писателя, и если онъ станетъ чертить свои фигуры, слишкомъ одноцвѣтными красками, если онъ каждую изъ нихъ превратитъ въ плоть какого-нибудь отвлеченія, это будетъ торжествомъ преслѣдующей его идеи. Въ общемъ выростетъ стремительная атака на «тиранство», т. е. крѣпостное право.

Дмитрій Калининъ — олицетворенная страсть и «горячка». Даже о самыхъ обыкновенныхъ, «прозаическихъ» предметахъ онъ говоритъ пылко и стремительно. Онъ воспринимаетъ жизнь совершенно иначе, чѣмъ другіе люди. Онъ одаренъ, повидимому, не-

измѣримо большимъ количествомъ тончайшихъ путей, по нимъ впечатлѣнія доходятъ до его ума и сердца и дивной душевной лабораторіей, неутомимо выбрасывающей снопы героическихъ образовъ и запальчивыхъ идей. Мы по первому его монологу чувствуемъ, что явленія внѣшняго міра, безразличныя для большинства, способны этого человѣка бросить въ жаръ и холодъ и вызывать у него неожиданную вереницу общихъ мыслей и искреннѣйшихъ сердечныхъ откровеній. И тогда вѣтъ на его пути достаточно внушительныхъ силъ, чтобы заставить его податься въ сторону или остановиться.

И вы не думайте, будто это лишь одна накупъ молодости, чисто шиллеровская буря и натискъ, естественныя въ незрѣлые годы романтизма и совершенно неосновательныя въ возрастѣ зрѣлости и солидности. У Бѣлинскаго не будетъ и даже немислимъ вдохновитель, подобный Гете. Никакой олимпіецъ и тайный совѣтникъ не совертитъ «неистоваго Виссаріона» съ его рыцарственной дороги. Онъ до послѣдняго момента будетъ горѣть неугасимымъ огнемъ недовольства, протеста и неутомимой жаждой все той же разумной и справедливой гармоніи.

Хотите доказательствъ, обратитесь къ личнымъ письмамъ Бѣлинскаго, и именно къ тѣмъ, гдѣ вопросы стоятъ просто и до прозрачности ясно, гдѣ интересы автора не взвинчены никакимъ публицистическимъ азартомъ и преднамѣренной аффектаціей.

Дмитрій Калининъ неистовствуетъ противъ разрушителей его личного счастья, опирающихся на господское право по закону «мучить себѣ подобныхъ». Въ сходное положеніе попадаетъ самъ авторъ драмы.

Онъ задумываетъ жениться и немедленно наталкивается на стѣну предразсудковъ, отдѣляющую его невѣсту отъ подлинной человѣческой свободы и независимаго достоинства мыслящей личности. И посмотрите, что совершается съ этимъ, уже весьма закаленнымъ бойцомъ!

Это все тѣ же монологи Дмитрія Калинина, и даже сущность ихъ не измѣнилась, потому что на свѣтѣ не бываетъ двухъ правдъ и верховныя нравственныя истины не подлежатъ метаморфозамъ.

Въ письмахъ къ будущей женѣ Бѣлинскій не стѣсняется осыпать проклятіями ея старомодныхъ родственниковъ, почитателей разныхъ свадебныхъ обычаевъ, невѣсту укорять въ тѣхъ же рабскихъ чувствахъ и грозить ей, что онъ посѣдитъ отъ гнусной жениховской «пытки»! Онъ буквально дрожитъ отъ негодованія

и обиды при одной мысли вступить въ сдѣлку съ ненавистнымъ «общественнымъ мнѣніемъ». Слова «низко», «недостойно» гремятъ безпрестанно. Для него въ дѣйствительности нѣтъ даже понятій *теорія* и *практика*, идея и жизнь, для него это нѣчто безусловно цѣльное, неразрывное и, можно сказать, *физически* связанное со всѣмъ его существомъ <sup>54)</sup>.

На иной взглядъ можетъ показаться едва вѣроятнымъ и даже забавнымъ, какъ человекъ поднимаетъ бурю изъ-за такого второстепеннаго вопроса, вѣнчаться ли по общепринятому порядку, въ присутствіи родственниковъ или какъ-нибудь проще? Но для Бѣлинскаго здѣсь вопросъ *кровный*, какъ онъ самъ выражается, и кровный именно потому, что на сцену выступаетъ мысль о сдѣлкѣ, хотя бы даже фактически ничтожной измѣнѣ убѣжденію. А въ этомъ смыслѣ для Бѣлинскаго нѣтъ мелочей. Какъ у истиннаго рыцаря, у него всякое лыко въ строку, разъ задѣта честь его идеала. Не можетъ быть и рѣчи о политикѣ, о колебаніяхъ и послабленіяхъ. Для Бѣлинскаго благородная мысль, пребывающая въ области созерцанія и заглушаемая силой и назойливыми притязаніями дѣйствительности, совершенная бессмыслица и чистѣйшая пошлость. «Это значить молиться Богу своему втайнѣ, а въявь приносить жертвы идоламъ».

И намъ, не легко, можетъ быть, представить, сколько въ самомъ дѣлѣ заключалось здѣсь натуры и крови. Послушайте, что Бѣлинскій пишетъ невѣстѣ въ отвѣтъ на ея доводы о неизбежности вмѣшательства «общественнаго мнѣнія» въ ея свадьбу. Приведемъ всего нѣсколько строкъ, по истинѣ замѣчательныхъ, вскрывающихъ съ анатомической точностью душу удивительнаго человека.

«Да, Marie, мы съ вами во многомъ расходимся. Вы, за отсутствіемъ какихъ-либо внутреннихъ убѣжденій, обожествили деревяннаго болвана общественнаго мнѣнія и преусердно ставите свѣчи своему идолу, чтобъ не разсердить его. Я съ дѣтства моего считалъ за пріятѣйшую жертву для Бога истины и разума — плевать въ рожу общественному мнѣнію тамъ, гдѣ оно глупо или подло, или то и другое вмѣстѣ. Поступить наперекоръ ему, когда есть возможность достигнуть той же цѣли тихо и скромно, для меня божественное наслажденіе».

<sup>54)</sup> Письма Бѣлинскаго къ М. В. Орловой, его невѣстѣ, напечатаны въ *борникѣ* О. Л. Р. С. на 1896 годъ, стр. 157 etc.

Это не фразы. За них авторъ разсчитывается всѣми своими нервами, всѣми силами ума и таланта. Этимъ въ послѣдствіи объяснится намъ удивительный фактъ. Сколько бы пережѣлъ ни происходило въ міросозерцаніи Бѣлинскаго, въ какія бы крайности онъ ни бросался, его *нравственный* авторитетъ не колебался среди его друзей и читателей.

Сочинить бородинскія статьи наканунѣ сороковыхъ годовъ стоило громаднаго риска въ томъ кругу, гдѣ вращался критикъ. Но сочинить совершенно безкорыстно, ради единственнаго удовольствія высказать свое мнѣніе—это кореннымъ образомъ мѣняло вопросъ:

Бѣлинскій какъ былъ, такъ и остался чистѣйшимъ духовнымъ зеркаломъ для близкихъ ему людей. Такіе различные по личнымъ характерамъ и умственному направленію люди, какъ Панаевъ, Тургеневъ, Кавелинъ, Герценъ, Станкевичъ, единодушно свидѣтельствуютъ о кристальной чистотѣ нравственной природы Бѣлинскаго и чисто стойческомъ благородствѣ и неподкупности его стремленій.

Съ общаго безмолвнаго согласія онъ превратился въ оригинальнаго цензора нравовъ. Люди, чувствовавшіе за собой какой-либо изъянъ, тщательно таили его отъ взоровъ безпощаднаго энтузіаста, будто отъ воплощенной совѣсти и невольно становились лучше въ присутствіи призваннаго судьи, одинаково нелицепріятнаго и съ собой, и съ другими.

Даромъ не даются такія правъ. Человѣческій эгоизмъ только въ исключительныхъ случаяхъ поступаетъ своими притязаніями. Дѣятельность и личность Бѣлинскаго были именно такимъ случаемъ для современниковъ, считавшихъ въ своемъ кругу первостепенныя художественныя и умственныя силы. Не простили бы другому и «абстрактный героизмъ» и непосредственно воспослѣдовавшее фанатическое обожаніе дѣйствительности, не простили бы именно при общественныхъ и литературныхъ условіяхъ эпохи.

Но относительно Бѣлинскаго никто не смѣлъ помыслить о злоградской мести, объ унижительныхъ намекахъ. Онъ будто царилъ на недосыгаемой высотѣ—если не идейной непогрѣшимости во всѣхъ частныхъ вопросахъ, то общей принципиальной безупречности.

И позднѣйшимъ противникамъ критика приходилось жаловаться на *деспотизмъ* имени и таланта Бѣлинскаго. Такія жалобы, на примѣръ, пускалъ въ ходъ одинъ изъ достойныхъ младшихъ современниковъ критика—Валеріанъ Майковъ, рѣшившійся спорить

съ грознымъ «вожакомъ» по нѣкоторымъ второстепеннымъ вопросамъ искусства.

Надо сколько-нибудь вдуматься въ эти явленія и чрезвычайность ихъ, особенно въ исторіи нашего общества, должна поразить самаго предубѣжденнаго наблюдателя.

Но здѣсь чрезвычайное—естественно и законно. Какъ же иначе можно смотрѣть на человѣка, способнаго переживать такіе, на-примѣръ, моменты?

Его убѣжденія остаются безплодными, предъ нимъ продолжаютъ воздвигать все тотъ же призракъ идола, тогда онъ пишетъ:

«Письмо ваше, Marie, заставило меня перегорѣть въ жгучемъ мучительномъ огнѣ такихъ адскихъ мукъ, для выраженія какихъ у меня нѣтъ словъ. Мнѣ хотѣлось броситься не на полъ, а на землю, чтобы грызть ее. Задыхаясь и стоная, валялся я по дивану. Мой докторъ говорилъ на сторонѣ, что если бы я не послалъ къ нему, я или бы умеръ къ утру отъ удара въ голову, или сошелъ бы съ ума».

Эта сцена совершенно въ духѣ юношеской трагедіи и прославленный писатель не далеко ушелъ отъ Дмитрія Калининна по «огненнымъ словамъ, живымъ образамъ и непосредственному чувству».

Это—его выраженія и въ нихъ подлинный портретъ ихъ автора отъ его первой молодости до заката дней. Письмо къ Гоголю, увѣчивавшее «ратованіе» всей жизни Бѣлинскаго будетъ все такимъ же гремящимъ монологомъ драмы, какими теперь являются предъ нами рѣчи «раба».

## XI.

*Рабъ*—на этомъ понятіи построенъ весь паеосъ трагедіи. «Я весь превращаюсь въ злобу и неистовство»,—говоритъ Дмитрій, и это только при одномъ звукѣ слова. Протесты Карла Моора не идутъ ни въ какое сравненіе съ «неистовствомъ» нашего героя. Тамъ почти сплошной книжный багажъ, иносказанія на темы жене-вскаго философа, чужая теорія, только подогрѣтая своими экстремными средствами. Герои бѣгаютъ «обпрометью», «какъ сумасшедшіе», говорятъ «съ пламенѣющими щеками», стоятъ «будто пораженные громомъ», ударяютъ о камни оружіемъ непремѣнно такъ, что «сыплются искры», постоянно призываютъ небо, адъ, землю, зсыкіе ужасы, любятъ бесѣдовать весьма свободно съ самимъ Богомъ.



Подобных ремарокъ и припадковъ мы найдемъ не мало и въ драмѣ Бѣлинскаго, въ ту эпоху одержимаго «абстрактнымъ героизмомъ» и шиллеровскимъ гениемъ. Но по существу—какая громадная разница! Мы должны сосредоточить на ней наше вниманіе. Она подготовитъ насъ къ точному отвѣту на величайшій вопросъ въ исторіи Бѣлинскаго: почему Шиллеръ могъ кончить эллинистующимъ созерцателемъ, а его когда-то страстный поклонникъ—умереть съ пламенной рѣчью на устахъ, сгорѣть въ борьбѣ какъ въ своей стихіи?

Герой шиллеровской юности—гигантъ внѣ всякихъ человѣческихъ измѣреній. Онъ вычеркиваетъ изъ жизни человечества все прошлое и настоящее, уничтожаетъ общество, его исторію, его законы. Ему гадокъ чернильный вѣкъ, гадки люди, заслоняющіе ему «человѣчество», нестерпима философія, стремящаяся «обморочить природу», ненавистны въ особенности всякіе законы: «они превратили въ улитокъ то, что взвилось бы орлинымъ полетомъ, и не создали ни одного великаго человѣка».

Сущность созерцанія Карла Моора лежитъ за предѣлами обыкновеннаго мирового порядка и строя. Онъ желаетъ всего или ничего, крайность и гениальность для него тождественны. «Свобода», по его мнѣнію, «производитъ крайности и колоссовъ». Его преслѣдуютъ исключительно грандіозные образы. *Людей* нѣтъ, есть *человѣчество*, а самъ герой мститель за его страданія и орудіе Верховнаго судьи.

На меньшемъ Карлъ Мооръ не помирится. Еще ребенкомъ онъ мечталъ «жить какъ солнце и какъ оно умереть». На этомъ триумфальномъ пути нѣтъ препятствій, не можетъ быть паденій. «Пусть страданія,—восклицаетъ герой,—разобьются о мою твердость! Я выпью до дна чашу бѣдствій!...»

Очевидно, предъ нами героизмъ по существу внѣ времени и пространства, даже внѣ законовъ природы. Отъ подобнаго азарта весьма естественно и даже прямо разумно перейти къ охлажденію и разочарованію. Кто одушевленъ мыслью слить черную землю съ голубымъ небомъ, кто горитъ притязаніями наложить печать своего личнаго могущества на самыя основы жизни и природы, тотъ собственными усиліями роетъ пропасть и для своихъ притязаній и для своего одушевленія. Это все равно, что поднять человѣческій голосъ на высоту инструмента: голосъ неминуемо оборвется и пѣвецъ можетъ утратить способность пѣть даже обыкновеннымъ человѣческимъ голосомъ.

Такъ именно произошло съ Шиллеромъ.

Наслѣдіемъ фантастическаго величія и молніеноснаго героизма явились кроткія пѣсни въ честь неземной красоты и неуловимыхъ снова прекрасной души. Бѣлинскій явно вдохновлялся Шиллеромъ и *Разбойниками* по преимуществу. Это—первая ступень его духа, для насъ особенно поучительная: на ней долженъ обнаружиться весь полетъ будущаго писателя.

Дмитрій Калининъ не меньше Карла Моора чувствуетъ пристрастіе къ роковымъ настроеніямъ и потрясающимъ поступкамъ, «погружается въ мрачную задумчивость», «скрипитъ отъ ярости зубами», впадаетъ въ «неистовый восторгъ», явно соревнуется съ шиллеровскимъ разбойникомъ, желая, въ случаѣ гибели своихъ надеждъ, «въ одно мгновеніе истребить этотъ чудовищный міръ»...

«О! кровавыми руками,—восклицаетъ онъ,—исторгнулъ бы я тогда изъ своего сердца остатки жалости и состраданія, превратилъ бы всѣ мои чувства и помысленія въ ярость и неистовство, своимъ дыханіемъ, какъ вредоноснымъ ядомъ заразилъ бы воздухъ и воду, я, смотря на ужасъ и суетливость, съ которыми бы зашевелились эти муравьи въ своемъ муравейникѣ, съ дикимъ хотомъ, съ адскимъ самонаслажденіемъ проговорилъ бы: «Я рабы! Софья выходитъ замужъ!...»<sup>55)</sup>.

Это—достойно Шиллера. Но прислушайтесь къ восклицанію *я рабы!* это русскіе звуки, безусловно реальные и, слѣдовательно, истинно-драматическіе. Паеосъ Дмитрія сосредоточенъ не на коренномъ преобразованіи мірозданія, а на самомъ близкомъ осязаемомъ злѣ русской дѣйствительности. Рядомъ съ нимъ является на сцену герой, напоминающій также шиллеровское созданіе—камердинера изъ *Коварства и любви*. Въ этой трагедіи поэтъ несравненно ближе къ землѣ и къ человѣческой правдѣ и камердинеръ, личность культурно-историческая, живое народное преданіе о подвигахъ патріархальныхъ нѣмецкихъ влaстителей. Иванъ Бѣлинскаго выполняетъ ту же задачу.

Онъ—крѣпостной и вся его роль создана за тѣмъ, чтобы объяснить публикѣ смыслъ этого общественнаго состоянія. Предъ нами Иванъ не только рассказываетъ о неистовствахъ барыни, но

<sup>55)</sup> Картина третья. Пьеса напечатана въ *Сборникъ О. Л. Р. С. на 1891 годъ*. Нѣсколько сценъ напечатаны въ *Р. Старинъ*, 1876, январь. Въ этомъ отрывкѣ нѣкоторыя лица носятъ другія имена, чѣмъ въ полномъ текстѣ. Трагедія раньше называлась *Владиміръ и Ольга*.—Воспоминанія Н. Аргиландера. *Р. Стар.* XXVIII, 141.

и претерпѣваетъ ихъ. Мы видимъ *практику* крѣпостничества во всей истинѣ и здѣсь же находится человекъ, умѣющій красно-рѣчиво и, по собственному опыту, прочувствованно оцѣнить явленіе.

Послѣ разсказа Ивана Дмитрій произноситъ слѣдующій монологъ:

«Неужели эти люди для того только рождаются на свѣтъ, чтобы служить прихотямъ такихъ же людей, какъ и они сами?.. Кто далъ это гибельное право однимъ людямъ поработать волю другихъ, подобныхъ имъ существъ, отнимать у нихъ священное сокровище—свободу? Кто позволилъ имъ ругаться правами природы и чело-вѣчества? Господинъ можетъ для потѣхи или для разсѣянія содрать шкуру съ своего раба, можетъ продать его, какъ скота, вымѣнять на собаку, на лошадь, на корову, разлучить его на всю жизнь съ отцомъ, съ матерью, съ сестрами, съ братьями и со всѣмъ, что для него мило и драгоцѣнно!.. Милосердый Боже! Отецъ чело-вѣковъ! отвѣтствуй мнѣ: Твоя ли премудрая рука произвела на свѣтъ этихъ змѣевъ, этихъ крокодиловъ, этихъ тигровъ, питающихся костями и мясомъ своихъ ближнихъ, и пьющихъ, какъ воду, ихъ кровь и слезы?..»

Въ экземплярѣ, представленномъ въ цензурный комитетъ, авторъ счелъ нужнымъ сдѣлать къ монологу своего героя примѣчаніе. Здѣсь говорится о «славѣ и чести нашего мудраго и попечительнаго правительства», истребляющаго «подобныя тиранства». Для доказательства приводится указъ о наказаніи нѣкоей купчихи «за тиранское обращеніе съ своею дѣвкой». «Этотъ указъ,—прибавляетъ авторъ,—долженъ быть напечатанъ въ сердцахъ всѣхъ истинныхъ друзей чело-вѣчества, въ сердцахъ всѣхъ истинныхъ россіянъ, умѣющихъ цѣнить мудрыя распоряженія своего правительства» <sup>56)</sup>.

Явная *carpatio benevolentiae* по адресу подлежащаго вѣдомства. Но дипломатія Бѣлинскаго не имѣла ни малѣйшаго успѣха, только, повидимому, разожгла негодованіе профессоровъ-цензоровъ. Они грозили ему, ни болѣе, ни менѣе, какъ лишеніемъ правъ состоянія и ссылкой въ Сибирь... Такъ рассказываетъ очевидецъ, и въ разсказѣ нѣтъ ничего неправдоподобнаго, если мы припомнимъ даже университетскіе нравы и литературные приемы Каченовскихъ и Надеждиныхъ, еще сравнительно лучшихъ среди академическихъ просвѣтителей тридцатыхъ годовъ <sup>57)</sup>.

<sup>56)</sup> *Сборникъ*, стр. 528.

<sup>57)</sup> Восп. Аргиландера. *Изв.*, стр. 142.

И цензоры—правы. *Духъ* трагедіи слишкомъ громко говорилъ за себя, чтобы его можно было облагонамѣрить кроткими примѣчаніями. Даже безнадежно близорукимъ и глухимъ могла броситься искренность, воодушевлявшая именно монологи протеста. Въ эти минуты авторъ уже теперь иногда обнаруживалъ истинно-художественное дарованіе, обильно отпущенное ему природой, не драматическое, а сверкающій лиризмъ, вполнѣ въ одно изъ неотразимыхъ оружій критика.

Такъ, напримѣръ, героиня на разсудительные уговоры подруги отвѣчаетъ, что ея несчастія безпримѣрны и горю ея нѣтъ предѣловъ. «Въ цвѣтущей юности, въ порѣ сладостныхъ мечтаній, осыпанная всѣми дарами фортуны и воспитанія, я есть ни что иное, какъ жертва, украшенная цвѣтами для закланія».]

Столь же краснорѣчивъ авторъ и тамъ, гдѣ должна звучать его личная завѣтная жажда свѣта и гармоніи. Онъ, несомнѣнно, весь на сторонѣ своего героя, когда тотъ мечтаетъ о свободномъ жизненномъ пути: «цвѣточной цѣпью прикую къ себѣ вѣтреное, легкокрылое счастье, и вся жизнь моя будетъ восторгъ, упоеніе и любовь».

Мы твѣдо увѣрены, подобный идеалъ недостижимъ ни для автора, ни для его героя. Но мечты всегда отражаютъ дѣйствительность: чѣмъ она безотраднѣе и чѣмъ мучительнѣе напряженіе силъ, тѣмъ настоятельнѣе желаніе—«забыться и заснуть». Именно у самыхъ энергическихъ натуръ неизбѣжны эти мгновенныя вожделѣнія о покой и не мерцающемъ свѣтѣ. Это моменты невольной усталости и какъ бы самоотреченія, но тѣмъ выше и грознѣе слѣдующій протестующій взрывъ!..

У Бѣлинскаго онъ всегда будетъ направленъ на предметъ вѣсѣмъ ясный и, что, особенно существенно—вполнѣ доступный воздействию человѣческихъ силъ. Предъ нами неопровержимое доказательство, что протестъ—осмысленный и логически-последовательный результатъ личной жизни негодующаго юноши. Авторъ трагедіи лишенъ таланта чувства и идеи воплощать живые художественные образы, но онъ становится истиннымъ художникомъ всякій разъ, когда пламенной рѣчью клеймитъ рабскую и убогую дѣйствительность. Этотъ лиризмъ страсти и гнѣва ляжетъ въ основу публицистическаго генія Бѣлинскаго. Безпрестанно черпая новые мотивы въ ближайшихъ личныхъ опытахъ, критикъ ни на одно мгновеніе не отдалится отъ жизни и правды, какими бы теоріями и символами философской вѣры ни увлекался его вѣчно жаждущій умъ.

И мы съ самаго начала должны твердо и отчетливо запомнить родовыя черты этого оригинальнаго типа, установить врожденныя основы мыслящей и дѣйствующей личности. Тогда только мы можемъ разсчитывать на правильное рѣшеніе основнаго вопроса: на сколько Бѣлинскій былъ созданъ внѣшними вліяніями и на сколько его дѣятельность можетъ считаться самобытнымъ и, слѣдовательно, исторически прочнымъ достояніемъ русской общественной мысли?

Соберемъ же въ одно цѣлое всѣ доступныя намъ факты и установимъ гармоническій духовный образъ человѣка, представившаго изъ своей умственной жизни такую, повидимому, неуловимо-пеструю, непримиримо-разнородную картину.

Мы видѣли впечатлѣніе, произведенное первыми статьями Бѣлинскаго. Его можно кратко и точно выразить словами одного изъ современниковъ: *правдивый и рыскій голосъ* <sup>58)</sup>. Этимъ выраженіемъ удачно схвачены и *смыслъ*, и *форма* произведеній Бѣлинскаго. Критику мало высказать правду, ей надо сообщить особенно яркую окраску, не только изложить мысль, а провозгласить ее, не только убѣдить читателей, а увлечь ихъ, овладѣть ими и превратить ихъ не только въ сочувствующую, но и содѣйствующую публику, попытаться ихъ настроенія непосредственно слить съ дѣломъ. Писатель самъ *живетъ* своими идеями, того же *органическаго* участія въ идеяхъ онъ требуетъ и отъ другихъ.

Это фактъ величайшей психологической и культурной важности. *Мысль есть дѣло, слова—поступки*, писатель—отвѣтственный и нравственное лицо, какъ представитель высшихъ духовныхъ интересовъ общества. Эти истины могутъ показаться намъ весьма простыми, но далеко не просты онѣ въ дѣйствительности, особенно если ихъ изъ области теоретическаго краснорѣчія перенести на сцену фактическаго осуществленія. Даже среди лучшихъ современниковъ Бѣлинскаго, его личныхъ друзей господствующая черта его писательскаго характера вызывала нѣчто въ родѣ испуга и тягостныхъ ощущеній.

Погодинъ могъ совершенно естественно «обращаться къ умѣренности» молодого критика, по его словамъ—«малого съ чувствомъ, какіе попадаются рѣдко» <sup>59)</sup>. Но то же самое дѣлали люди, нѣ единой чертой не напоминавшіе московскаго профессора. Станке-

<sup>58)</sup> Слова Панаева въ письмѣ къ Бѣлинскому.

<sup>59)</sup> Барсуковъ. IV, 306.

вить рисовалъ Бѣлинскому самыя отрадныя перспективы его будущей дѣятельности, но съ однимъ условіемъ «только будь по-смирнѣе», и не переставалъ охлаждать температуру чувствъ своего друга всевозможными средствами—насмѣшкой, убѣжденіями, совѣтами <sup>60)</sup>. Даже Бакунинъ, отважнѣйшій діалектикъ среди современныхъ русскихъ философовъ, приходилъ въ ужасъ и смущеніе отъ стремительности своего ученика по гегельянству.

Бѣлинскій такъ писалъ объ этомъ эпизодѣ:

«Учитель мой возмущенъ духомъ, увидѣвъ слишкомъ скорые и слишкомъ обильные и сочные плоды своего ученія, хотѣлъ меня остановить, но поздно: я уже сорвался съ цѣпи и побѣждалъ благимъ матомъ» <sup>61)</sup>.

Другими свидѣтелями подобныхъ приливовъ энергіи овладѣвали чувства, еще менѣе лестныя для энтузіаста. Эстетикъ и эпикурействующій созерцатель В. П. Боткинъ смотрѣлъ на неразумную трату крови и воли съ улыбкой пріятельскаго соболизнанія и покровительственнаго снисхожденія, какое обыкновенно испытываютъ уравновѣшенные и благоразумные господа къ безтолково-мятущейся молодости.

Боткинъ не осуждаетъ Бѣлинскаго. Доброта и художественное чувство самодовольнаго резонера идутъ такъ далеко, что въ вѣчныхъ безкорыстныхъ волненіяхъ Бѣлинскаго онъ все-таки видитъ нѣчто прекрасное и благородное, даже больше — ощущаетъ сладостныя, сочувствующія движенія сердца.

«Въ этой желчной слабости,—пишетъ онъ,—вѣчной младенческой беззащитности, въ этой безпрерывной борьбѣ теоретическаго, добросовѣстнаго ума съ вопіющимъ и оскорбленнымъ сердцемъ, Бѣлинскій возбуждаетъ во мнѣ не только задумчивое участіе, но привязанность, которая сильнѣе всей прежней къ нему привязанности» <sup>62)</sup>.

Очень нѣжно, но неизмѣримо пріятнѣе такія чувства испытывать, чѣмъ вызывать. И все это въ высшей степени красно-рѣчиво. Предъ нами *исключительное явленіе*, въ полномъ смыслѣ слова, цѣлой нравственной пропастью отдѣленное даже отъ просвѣщеннѣйшихъ и доброжелательнѣйшихъ сверстниковъ и совре-

<sup>60)</sup> *Переписка и біографія*, стр. 128, 131.

<sup>61)</sup> Пыпинъ. I, 298.

<sup>62)</sup> Письмо къ Анненкову, отъ 26 ноября 1846 года. — *Анненковъ и его друзья*, стр. 522.

меняниковъ. Бѣлинскій одинъ и единственный по своей натурѣ, и такимъ остается отъ начала до конца.

Рѣшительно каждый фактъ, касающійся личныхъ отношеній Бѣлинскаго и его друзей, рѣзко подчеркиваетъ ничѣмъ не сглаживаемую, ни предъ чѣмъ не уступающую *самобытность* его личности. Мы рѣшаемся пойти дальше: всякій разговоръ о вліяніяхъ на Бѣлинскаго извнѣ, будь это идеально-поэтическое и изящное общество Станкевича или неотразимо-логическіе побѣдоносные философскіе диспуты Бакунина — плодъ недоразумѣнія и неточнаго представленія о личности Бѣлинскаго и объ источникахъ вліянія. Мы сдѣлаемъ еще шагъ и скажемъ: никто изъ тѣхъ, кто окружалъ Бѣлинскаго, по самой природѣ вещей не могъ такъ или иначе преобразовать его нравственный міра. Потому что такіа преобразованія психологически возможны только въ томъ случаѣ, когда преобразователь *по натурѣ* сильнѣе и обильнѣе преобразуемаго, отнюдь не по богатству свѣдѣній, или по дару слова, или даже по литературному таланту, а по всей своей нравственной сущности. Если это условіе отсутствуетъ, не можетъ быть и рѣчи о вліяніи, а развѣ только о заимствованіи. Вліяніе есть подчиненіе и власть, и распространяется оно на человѣка, подчиняющагося всецѣло, не только на его мысли и разсужденія, а на его *фактическое* отношеніе къ внѣшнему міру.

Напримѣръ, мы имѣемъ полное право говорить о вліяніи Гёте на Шиллера. Пѣвецъ Карла Моора и маркиза Позы реально, а не теоретически только превратился въ примиреннаго филистера и эстетическаго ясновидца. Онъ не воспользовался гётевской мудростью самодовольнаго застоя и равнодушія лишь для звуковъ сладкихъ и молитвъ, а онъ сталъ жить по принципамъ этой мудрости, разъ навсегда преклонилъ предъ ними и свою мысль, и свое чело-вѣческое достоинство. Это—дѣйствительно вліяніе.

Ничего подобнаго съ Бѣлинскимъ.

Боткинъ въ своей сладкоглаголевой рѣчи обмолвился однимъ меткимъ словомъ, упомянувъ о «вопіющемъ оскорбленномъ сердцѣ» Бѣлинскаго. Вотъ такое-то сердце и не мирится съ какими угодно настойчивыми вліяніями теорій и людей, а подчиняется лишь одной власти—жизненной правдѣ, непосредственно воспринятой и «добро-совѣстнымъ умомъ» передуманной. А все другое, что намъ кажется внушеннымъ книгой или пріятельской бесѣдой, результатъ переходныхъ состояній духа, плодъ мучительной жажды хотя-бы мгновеннаго покоя и забвенія среди неизбывной борьбы идеальной

мысли и гнетущей жизни. И мы увидимъ, самые мотивы, приковавшіе по обыкновенію страстное чувство Бѣлинскаго, какъ нельзя болѣе отвѣчали этой жадѣ. Разъ захваченный какой-либо идеей, онъ шелъ до конца, до крайнихъ выводовъ не находя полнаго затишья и въ самомъ, повидимому, успокоительномъ міросозерцаніи. И этотъ именно фактъ, господствующій въ такой степени только надъ Бѣлинскимъ среди всѣхъ его друзей и учителей, бросаетъ вѣрный свѣтъ на смыслъ такъ называемыхъ внѣшнихъ вліяній и внушеній.

Окиньте взглядомъ жизненное поприще критика, возьмите Бѣлинскаго въ какой угодно моментъ,—вы повсюду найдете одинъ и тотъ же духъ. Его умѣетъ писатель вложить въ самыя несоотвѣтствующія идеи, остаться самимъ собой въ самой несродной теоретической атмосферѣ.

Мы видѣли шиллеровскій романтизмъ, вдохновившій Бѣлинскаго на жестокую трагедію. Вскорѣ наступитъ моментъ, когда Шиллеръ подвергнется жесточайшему развѣнчанію, «неистовыя проклятія» посыплются на «благороднаго адвоката человѣчества». Такъ выражается Бѣлинскій, точно передавая свое новое неистовство.

Оно, повидимому, полная противоположность предъидущему воззрѣнію. Бѣлинскому теперь ненавистна опека надъ человѣческимъ родомъ, его божество—дѣйствительность... Мы впоследствии увидимъ, что это означало не на діалектъ философіи и лирическаго восторга, а на языкѣ общечеловѣческой будничной жизни. Теперь посмотримъ, какъ выразился новый культъ у нашего неутомимаго искателя религіи?

Казалось бы, что можетъ быть покойнѣе—полнаго примиренія съ дѣйствительнымъ, признаніе его разумнымъ! Остается только горѣть тихимъ свѣтомъ любви и неограниченнаго благоволенія. Такъ это и выходило даже у самого изобрѣтателя новой истины, у Гегеля, сливавшаго совершенно безпрепятственно разумную, философскимъ умомъ добытую дѣйствительность съ повелительными порядками прусской государственности. Русскіе гегельянцы, какъ мы увидимъ, не обинуясь, рекомендовали въ видѣ принципіальной программы какъ разъ философическія оды Гегеля, образцоваго и благодарнаго представителя табели о рангахъ.

Бѣлинскій поучался гегельянству какъ разъ у переводчика этихъ «гимназическихъ рѣчей», и мы найдемъ изумительно точныя воспроизведенія замѣчаній переводчика въ статьяхъ критика. Вліяніе, надо полагать, несомнѣнное...



Но погодите дѣлать выводъ, обратите вниманіе, *какъ* пришелъ къ «разумной дѣйствительности» учитель Бѣлинскаго и какъ ухватился за нее ученикъ?

Бакунинъ обнаружилъ блестящій діалектическій талантъ, отчасти наслѣдственный: въ его семьѣ даже изъ женскихъ устъ безпрестанно слышались самые жестокіе отвлеченные термины новой философіи. Сама по себѣ семья представляла истинное царство разумной дѣйствительности, спокойное до индивидуальности, культурное до философизма, уравновѣшенно-счастливое до наслажденія самымъ процессомъ умственного анализа. Станкевичъ рекомендовалъ настоятельно Бѣлинскому сойтись тѣснѣе съ семьей Бакуниныхъ и объяснялъ дѣло вполне краснорѣчиво, и относительно своихъ собственныхъ понятій о счастьи и относительно среды, откуда вышелъ даровитѣйшій толкователь гегельянства.

Узнавъ, что Бѣлинскій проводитъ гдѣто въ деревнѣ Бакуниныхъ, Станкевичъ писалъ:

«Полный благородныхъ чувствъ, съ здравымъ свободнымъ умомъ, добросовѣстный, онъ нуждается въ одномъ только: на опытѣ, не по однимъ понятіямъ, увидѣть *жизнь* въ благороднѣйшемъ ея смыслѣ; узнать нравственное счастье, возможность гармоніи внутренняго міра съ ви́шнимъ,—гармоніа, которая для него казалась недоступною до сихъ поръ, но которой онъ теперь вѣритъ. Какъ смягчаетъ душу эта чистая сфера кроткой, христіанской семейной жизни!» <sup>63</sup>).

Для автора этихъ тихихъ рѣчей здѣсь заключена полная *практическая* истина, для Бѣлинскаго она не болѣе, какъ развѣ сладкій голосъ, поющій про любовь въ минуты мимолетнаго забытья и сна. Разница обнаруживается немедленно при первомъ же изложеніи подробностей.

Станкевичъ, воспѣвъ гармонію и благость бытія, переходитъ къ проницательности Шиллера на счетъ «всего лучшаго въ Божьемъ твореніи». Разумѣется Шиллеръ—идеалистъ и мечтатель. И, вѣроятно, самъ Бакунинъ не былъ далекъ отъ этого сліянія шиллеровскаго идеальнаго прекраснодушія съ гегельянскимъ практическимъ простодушіемъ. Мы видѣли, онъ испугался стремительнаго движенія своего ученика по указанному пути.

И Бѣлинскій, дѣйствительно, однимъ порывомъ покончилъ съ «пошлымъ шиллеризмомъ», и какъ покончилъ! Обратите вниманіе

<sup>63</sup>) Переписка, стр. 189.

на изумительный способ усваивать гармонию! Ничто менее всего гармоническое, кроткое и уже отнюдь не смягчающее души.

Бакунинъ не хотѣлъ, очевидно, безусловно отрывать Бѣлинскаго отъ «абстрактнаго героизма», а нападая на Шиллера, не прочь былъ сохранить для него почетное мѣсто, хотя бы безъ всякаго вліянія. Бѣлинскій не могъ допустить ни послабленій, ни недомолвокъ.

Онъ узналъ случайно отъ самого Бакунина лишній примѣръ наивностей, господствующихъ въ драмахъ Шиллера—«взрѣвѣлъ отъ радости». Шиллеръ окончательно являлся прекраснодушнѣйшимъ подвижникомъ бесплоднаго проповѣдничества и торжествующій Бѣлинскій восклицаетъ: «Новый міръ, новая жизнь! Долой ярмо долга... гнилой морализмъ и идеальное резонерство! Человѣкъ можетъ жить—все его, всякій моментъ жизни великъ, истиненъ и святъ!»

Слѣдовательно, любовь и благоволеніе,—и настоянія Станкевича «быть помирнѣе» будутъ, наконецъ, выполнены?

Ничего подобнаго.

Дѣло въ томъ, что и *любить* можно отнюдь не гармоничнѣе, чѣмъ *ненавидѣть*, пожалуй, даже еще безпокойнѣе и неистовѣе.

Какъ разъ въ то самое лѣто 1837 года, когда онъ практически воспринималъ гегельянскую идею о разумной дѣйствительности среди кроткой и философической семьи, онъ сообщалъ одному изъ друзей такую истину:

«Ты знаешь мои понятія о людяхъ, ты знаешь, что я раздѣляю ихъ на два класса—на людей съ зародышемъ любви и людей, лишенныхъ этого зародыша. Послѣдніе для меня—скоты, и я почитаю слабостью всякое снисхожденіе къ нимъ».

Это очень краснорѣчиво, но у насъ имѣются еще болѣе сильные измѣненія страннаго обожателя дѣйствительности. Для него, напримѣръ, дышать однимъ воздухомъ съ пошлякомъ и бездушникомъ все равно, что лежать съ связанными руками и ногами. Онъ презираетъ и ненавидитъ добродѣтель безъ любви и предпочтетъ бездну порока и разврата и разбой съ ножомъ въ рукахъ за большихъ дорогахъ пошлому резонерству, добротѣ по расчету и честности изъ эгоизма. «Лучше быть падшимъ ангеломъ, т. е. дьяволомъ, нежели невинною, безгрѣшною, но холодною и слизистою лягушкою...»

Опасно быть любимымъ подобной любовью! Она требовательна всякой ненависти и возлагаетъ страшную отвѣтственность на

того, кого избирает своимъ предметомъ. Это именно сліяніе любви и ненависти въ одно неугомонное чувство, какое создало германтовскую поэзію и воплощено въ лицѣ одного изъ тургеневскихъ героевъ. Оно несравненно глубже и напряженнѣе, чѣмъ просто гнѣвъ и презрѣніе. Оно воинственное по самому существу и безпощадно разрушительное въ силу своей искренности и сознанія своего достоинства. И примиреніе Бѣлинскаго съ дѣйствительностью не что иное, какъ усиленно-страстное отношеніе къ ней, еще мучительнѣе запросы къ внѣшнему міру и къ философскимъ истинамъ, чѣмъ раньше—въ періодъ абстрактнаго героизма. Это—психологически въ высшей степени глубокая черта. Любовь не примиряетъ и не успокаиваетъ, а волнуетъ и изощряетъ взоръ и умъ.

Карлъ Мооръ могъ находить истинное утѣшеніе и даже счастье въ самомъ громогласіи и рѣшительности своего протеста. Бѣлинскій, увлекаясь такой же опекой надъ человѣчествомъ, могъ чувствовать себя исключительно-героической натурой, внѣ толпы и внѣ обычнаго порядка вещей. А что же можетъ быть усадительнѣе для юношескаго воображенія, какъ не такое выпященное *сценическое* положеніе!

И Бѣлинскій, несомнѣнно, былъ счастливѣе и покойнѣе именно въ эпоху шиллеризма. Теперь ему указали путь совершеннаго умиротворенія, разумнаго оправданія дѣйствительности, и онъ затосковалъ безъисходными муками рыцаря, принужденнаго ежеминутно отдавать себѣ отчетъ въ любви къ крайне непостоянной и подозрительной дамѣ.

Съ одной стороны, умъ стремится къ дѣйствительности, и я, пишетъ Бѣлинскій, «трепещу таинственнымъ восторгомъ, сознавая ея разумность, видя, что изъ нея ничего нельзя выкинуть и въ ней ничего нельзя похулить и отвергнуть». Это одно—и такъ именно думалъ переводчикъ рѣчей Гегеля.

Но возникаетъ немедленно вопросъ: въ мірѣ существуютъ пошляки и бездушники, какъ же съ ними быть?

По принципу съ ними надо примириться, какъ съ неизбѣжнымъ звеномъ въ цѣпи дѣйствительныхъ явленій, и умъ, вѣроятно, и примирился бы. Теоретическія системы могутъ совершать и не такія чудеса съ разсудкомъ. Но на сцену выступаетъ «оскорбленное сердце», «неистовая натура», и только-что установленная идея объективной любви ко всему существующему разлетается прахомъ. Философъ начинаетъ «неистовствовать и свирѣпствовать». Это—его выраженіе, повидимому, совершенно неумѣстное въ устахъ обла-

дателя гармоніи. И вновь начинается «ратованіе», нисколько не уступающее азарту Дмитрія Калинина, только еще болѣе нервное и тревожное, будто отъ невольнаго сознанія, что новая вѣра—въ высшей степени скользкій путь и оправдывать ее приходится съ вызывающей энергіей отчаянія и подавленныхъ протестующихъ воплей чувства.

Такое именно впечатлѣніе производитъ сцена, устроенная Бѣлинскимъ предъ однимъ изъ пріятелей наканунѣ появленія въ печати бородивскихъ статей.

Авторъ прочиталъ статью съ «лихорадочнымъ впечатлѣніемъ» и при первой попыткѣ слушателя возражать «съ жаромъ» засыпалъ его нервными рѣчами:

«Я знаю, что — не договаривайте, меня назовутъ льстецомъ, подлецомъ, скажутъ, что я кувыркаюсь передъ властями... Пусть ихъ! Я не боюсь открыто и прямо высказывать свои убѣжденія, что бы обо мнѣ ни подумали.

«Онъ началъ ходить по комнатѣ въ волненіи.

«— Да, это мои убѣжденія,—продолжалъ онъ, разгорячаясь все болѣе и болѣе.—Я не стыжусь, а горжусь ими... И что мнѣ дорожить мнѣніемъ и толками чортъ знаетъ кого? Я только дорожу мнѣніемъ людей развитыхъ и друзей моихъ... Они не заподозрятъ меня въ лести и подлости. Противъ убѣжденій никакая сила не заставитъ меня написать ни одной строчки... Они знаютъ это... Подкупить меня нельзя... Клянусь вамъ, Панаевъ, вы вѣдь еще меня мало знаете.

«Онъ подошелъ ко мнѣ и остановился передо мною. Блѣдное лицо его вспыхнуло, вся кровь прилила къ головѣ, глаза его горѣли.

«— Клянусь вамъ, что меня нельзя подкупить ничѣмъ!.. Мнѣ легче умереть съ голода—я и безъ того рискую этакъ умереть каждый день (и онъ улыбнулся при этомъ съ горькой ироніей), чѣмъ потоптать свое человѣческое достоинство, унижить себя передъ кѣмъ бы то ни было, или продать себя.

«Разговоръ этотъ со всѣми подробностями живо врѣзался въ мою память. Бѣлинскій какъ будто теперь предо мною... Онъ броился на стулъ, запыхавшись... и, отдохнувъ немного, продолжалъ въ ожесточеніи:

«— Эта статья рѣзка, я знаю, но у меня въ головѣ рядъ статей еще больше рѣзкихъ... Ужъ какъ же я отхлещу этого негодяя Генцеля, который осмѣливается судить объ искусствѣ, ничего не мысля въ немъ» <sup>64)</sup>.

<sup>64)</sup> Панаевъ. О. с., стр. 358—9.

Намъ понятнo смущеніе, какое вызывалъ подобный Орландъ у русскихъ гегельянцевъ, а самого Гегеля, вѣроятно, повергъ бы въ смертный ужасъ. Задолго передъ смертью Гегель сумѣлъ достигнуть полнаго примиренія не только съ тѣмъ, что дѣйствительно разумно, а просто, дѣйствительно сильно. Съ 1818 года до самой кончины на философа вліяло не столько диалектическое развитіе идей, сколько официально-обязательное существованіе фактовъ.

Герценъ, очень высоко оцѣнивающій философію Гегеля, за исключеніемъ ея религиозныхъ тенденцій, произноситъ убійственный приговоръ нравственному значенію философа и практической роли его философіи въ наиболѣе зрѣлый періодъ... Этотъ приговоръ еще разъ освѣщаетъ намъ пропасть, лежавшую между подлиннымъ гегельянствомъ и гегельянскими увлеченіями Бѣлинскаго.

«Гегель,—пишетъ Герценъ,—во время своего профессората въ Берлинѣ, долею отъ старости, а вдвое отъ довольства мѣстомъ и почетомъ, намѣренно взвинтилъ свою философію надъ земнымъ уровнемъ и держался въ средѣ, гдѣ всѣ современные интересы и страсти становятся довольно безразличны, какъ аданія и села съ воздушнаго шара; онъ не любилъ зацѣпляться за эти проклятые практическіе вопросы, съ которыми трудно ладить и на которые надобно было отвѣчать положительно» <sup>65)</sup>.

Это не совсѣмъ точно. Гегель весьма не прочь былъ отвѣчать на практическіе вопросы, именно съ своего воздушнаго шара. Знаменитое положеніе «государство есть осуществленное царство свободы» прямымъ путемъ привело философа къ идеалу безусловнаго поглощенія личности государствомъ, личной свободы государственнымъ авторитетомъ. И здѣсь, именно, дѣло не обошлось безъ философическихъ орнаментовъ, изъ спеціально-гегельянской терминологіи, но *практическая сущность* отвѣта выходила вполне определенной, сколько бы Герценъ ни укорялъ философа въ преднамѣренной «диалектической запутанности». Гегель съ неменьшимъ усердіемъ, чѣмъ современный ему чистый историкъ и идеально-безкорыстный культурный мыслитель Ранке, служилъ историческому моменту даннаго государства. Этой *дѣйствительности* было вполне достаточно, чтобы въ *міръ фактовъ*, а не умозрѣній, заслонить всѣ освободительные и даже разрушительные элементы, заключавшіеся въ диалектическомъ *методѣ* Гегеля. Методъ—*путь* философа, а указанная дѣйствительность—нравственно-практиче-

<sup>65)</sup> *Былое и думы*. VII, 124—5.

ский, самый философъ осуществленный *предпл.* Не можетъ быть и вопроса, что именно подлежало непосредственному усвоенію учениковъ? Вопросъ рѣшился немедленно, лишь только пришлось истолковать основную аксіому школы: «что дѣйствительно, то разумно».

Изъ аксіомы можно сдѣлать самый радикальный выводъ: если разумно — существующее, то разуменъ и протестъ противъ него, потому что онъ тоже существуетъ и, слѣдовательно, дѣйствителенъ. Революція имѣетъ поэтому за себя не менѣе оправданій, чѣмъ подчиненіе господствующему строю. *Логически* опровергнуть этотъ выводъ нѣтъ возможности и аксіома узаконяетъ борьбу, а не примиреніе.

Но именно этого вывода и не было сдѣлано русскими гегельянами. Они съ головой погрузились въ фетишизмъ дѣйствительности и тотъ же Бакунинъ, по словамъ Герцена, усиливался «примирить, объяснить, *заговорить*», лишь только возникло разногласіе чисто-гегельянскаго кружка Станкевича съ сенсимонетскими влеченіями друзей Герцена. Впослѣдствіи Бакунинъ освободился отъ буддійскаго очарованія не болѣе глубокимъ проникновеніемъ въ смыслъ гегельянства, а естественными наклонностями своей природы.

Это фактъ капитальной важности.

Никакія чисто философскія достоинства гегельянской системы не могутъ оправдать ея, по крайней мѣрѣ, въ двоедушій—нравственномъ и политическомъ. Только личныя энергическія усилія самого творца системы могли предотвратить ея тлѣтворныя вліянія. Философъ всегда долженъ быть *личнымъ* воплощеніемъ *практическаго* содержанія своей философіи, потому что на этой ступени она становится религіей и неизбежно порождаетъ секты. Гегель могъ видѣть своими глазами краснорѣчивѣйшія доказательства и Герценъ находить, что, «вѣроятно, старику иной разъ бывало тяжело и совѣстно смотрѣть на недалекую видность черезъ край удивительныхъ учениковъ своихъ».

Можетъ быть,—но только эта совѣстливость не осуществлялась въ дѣйствительности. Учитель предпочиталъ въ хорошія минуты благодушно острить надъ темнотой своей философіи и, конечно, еще за явнѣе смотрѣть на ратоборства и недоразумѣнія учениковъ. Это значило собственными руками разрушать культурное, общественно-просвѣтительное достоинство собственной мысли и Богу духа и стины предпочитать міръ самой неразумной дѣйствительности.

Этимъ объясняется, почему впослѣдствіи такъ низко палъ авторитетъ Гегеля у его прежнихъ русскихъ идолопоклонниковъ. Бог-

кинь, Тургеневъ, даже кроткій Станкевичъ или рѣшительно отвертываются отъ стараго «фетиша» и «старога шута», или сопровождаютъ его нима полуснисходительной, полупрезрительной насмѣшкой <sup>66)</sup>). Это чувство не означало безусловнаго уничтоженія всей философіи Гегеля и его таланта, но оно свидѣтельствовало о полномъ разочарованіи въ жизненныхъ положительныхъ заслугахъ и гегельянской мысли, и гегельянскаго философскаго дарованія. Станкевичъ шелъ еще дальше: подъ конецъ жизни онъ неустанно твердилъ Грановскому о необходимости *жить*, переставать думать и жить для разрѣшенія самыхъ трудныхъ вопросовъ, заниматься *постройкой жизни*—задачей, болѣе высокой, чѣмъ философія <sup>67)</sup>).

Это значило призывать человека къ дѣятельности во что бы то ни стало, т. е. къ борьбѣ съ неразумной дѣйствительностью и созданію новой.

Но у Станкевича призывъ остался прекрасной мечтой, Бѣлинскій не нуждался въ немъ. Въ самый страстный періодъ любви и примиренія въ немъ бродила такая сила протеста, что ежеминутно слѣдовало ожидать побѣды натуры надъ теоріей, сердца надъ діалектикой, жизни надъ системой. И просвѣтленіе должно было произойти не только безъ пріятельскихъ вліяній, но прямо наперекоръ имъ, и прежде всего независимо отъ непосредственныхъ учителей по гегельянству Бакунина и Станкевича. О роли Бакунина мы знаемъ; намъ остается опредѣлить значеніе Станкевича въ духовномъ развитіи Бѣлинскаго.

### ХІІІ.

Бѣлинскій сравнительно скоро разошелся съ Бакунинымъ и намъ не трудно догадаться—почему. У Бакунина было двѣ черты, одинаково нестерпимыя для его ученика. Съ одной стороны, онъ обладалъ наклонностью *заговорить*, т. е. опутать слушателя сътѣтами діалектики и зачаровать его критическій смыслъ священными рѣченіями *самою*, съ другой стороны—Бакунинъ, безспорно, побѣдоносный истолкователь философскихъ тайнъ, не прочь былъ разыграть роль апостола Петра, какъ понимаетъ ее католическая церковь,—въ гегельянской сектѣ.

Но Бѣлинскій слушалъ чужія рѣчи вовсе не за тѣмъ, чтобы

<sup>66)</sup> Переписка Станкевича, стр. 308. Анненковъ и его друзья, стр. 527.

<sup>67)</sup> Біографія, стр. 187, 223.

вѣровать имъ на-слово, и еще менѣе могъ «гонять сквозъ строй категорій всякую всячину» и предаваться «логической гимнастикѣ»<sup>60</sup>). Для него гегельянство было *психологическимъ моментомъ*. Онъ самъ опредѣлялъ его словами: «утомился отвлеченностью» и «жаждалъ сближенія съ дѣйствительностью». Естественно, онъ немедленно принялся *протрясть* воспріятыя истины и мысленно, и нравственно. Краснорѣчивому учителю отъ этого не могло по-здоровиться.

Провозглашая разумность *всякой* дѣйствительности, Бѣлинскій здѣсь же опредѣляетъ ненавистнѣйшій для него порокъ — пошлость.

«Пошлы только тѣ, которыхъ мнѣнія и мысли не есть цвѣтки, плоды ихъ жизни, а грибы, нарастающіе на деревьяхъ».

Этимъ людямъ не дано жить въ духѣ; слѣдовательно, жить въ духѣ, т. е. быть философомъ, хотя бы даже въ гегельянскомъ направленіи, по мнѣнію Бѣлинскаго, значитъ развивать идеи, какъ выводы и результаты жизни. Изъ тона письма можно заключить, что *такой* выводъ логически не ясенъ Бѣлинскому, но тѣмъ краснорѣчивѣе послышки: онѣ подсказаны инстинктомъ, натурой писателя, не замирающими ни предъ какими теоріями и авторитетами.

Очевидно, здѣсь не могутъ быть прочны внѣшнія, лично не провѣренныя вліянія. «Кто пляшетъ подъ чужую дудку, тотъ всегда дуракъ», заявитъ Бѣлинскій позже, но тоже—темное пока—сознаніе продолжаетъ работать неустанно и въ періодъ ученичества. Впослѣдствіи Бѣлинскій раскается въ «добровольномъ отреченіи отъ своей сущности» предъ Станкевичемъ именно потому, что раньше онъ расходился съ нимъ подъ вліяніемъ Бакунина.

Слѣдовательно, вліяніе Станкевича безусловно сильно, оно торжествуетъ, къ нему возвращается Бѣлинскій?

Такъ можно заключить изъ заявленій и поступковъ самого Бѣлинскаго. Въ началѣ онъ именуетъ Станкевича «огромной субстанціей» и преклоняется предъ его личностью и талантами, потомъ до конца жизни онъ отзывается о немъ не менѣе восторженно и портретъ Станкевича—единственный—украшаетъ его кабинетъ... Естественно было возникнуть всеобщему представленію на счетъ великихъ благодѣяній, оказанныхъ Бѣлинскому его товарищемъ. Представленіе составилось еще при жизни Станкевича,

<sup>60</sup>) *Былое и думы*. VII, стр. 125—6.



и ему приходилось настойчиво опровергать ихъ. Для насъ драгоценны эти опроверженія: въ нихъ заключается гораздо больше исторической истины, чѣмъ во всѣхъ домыслахъ современниковъ и позднѣйшихъ историковъ.

Въ октябрѣ 1836 года Станкевичъ пишетъ:

«Не знаю, откуда эти чудные слухи заходятъ въ Питеръ? Я — цензоръ Бѣлинскаго? Напротивъ, я самъ свои переводы, которыхъ два или три въ *Телескопѣ*, подвергалъ цензурѣ Бѣлинскаго, въ отношеніи русской грамоты, въ которой онъ знатокъ, а въ мнѣніяхъ всегда готовъ съ нимъ посоветоваться, и очень часто послѣдовать его совѣтамъ» <sup>69</sup>).

Можетъ показаться, вопросъ касается преимущественно литературы, хотя Станкевичъ и говоритъ о «мнѣніяхъ». Но на самомъ дѣлѣ у Станкевича не было силъ оказывать на Бѣлинскаго другое вліяніе, кромѣ, такъ сказать, общевоспитательнаго. О немъ говорится въ томъ же письмѣ. Станкевичъ находитъ одну изъ статей Бѣлинскаго «неосторожной» и намѣренъ заявить ему объ этомъ. И мы не сомнѣваемся, мягкая, гуманная, всегда примиряюще-настроенная личность Станкевича могла оказывать смягчающее воздѣйствіе на «неистоваго Виссаріона». Но натуры друзей были слишкомъ различны, прямо противоположны, чтобы кто-нибудь изъ нихъ могъ подчиниться другому.

Прежде всего слѣдуетъ ввести въ точные предѣлы общеизвѣстныя высокія качества Станкевича. Не слѣдуетъ ихъ ни преувеличивать, ни принижать, но, насколько возможно по существующимъ даннымъ, отдать имъ только должное.

Всю кратковременную жизнь Станкевича можно представить въ формѣ нѣсколькихъ стихотвореній; для дѣтства — лирическая пѣсня, для молодости — задумчивая идиллія, изящная элегія, подъ конецъ прерываемая сдержанными драматическими восклицаніями, и, въ заключеніе, преждевременная смерть. Правда, по распорядамъ судьбы русскихъ писателей, не слишкомъ ранняя. Станкевичъ умеръ двадцати семи лѣтъ и можно назвать не мало литературныхъ дѣятелей, успѣвшихъ къ этому возрасту оставить весьма цѣнное наслѣдство. Отъ Станкевича у насъ важнѣйшее достояніе — его письма. Онъ только передъ смертью готовился приступить къ жизни.

Мы должны принять въ расчетъ недугъ, медленно разру

<sup>69</sup>) Переписка, стр. 200

шавшій молодой организмъ, но, помимо физическаго порока, слѣдуетъ признать и нравственное препятствіе къ болѣе ранней «постройкѣ жизни». Безусловно устанавливая личную симпатичность Станкевича, историкъ обязанъ — независимо отъ трогательныхъ чувствъ — безпристрастно разобраться въ предметѣ, несомнѣнно, въ сильной степени опозтизированной исключительнымъ стеченіемъ обстоятельствъ.

Станкевичъ провелъ такое же беззаботное дѣтство, какъ и глава другого кружка, современнаго Бѣлинскому — Герценъ. По поводу Герцена очевидцы рассказываютъ повѣсть нѣкоего золотого вѣка: такъ лелѣли и обожали ребенка! Малѣйшее замѣчаніе приводило его въ изумленіе и онъ чувствовалъ себя неограниченнымъ принцемъ крови среди экзотическаго помѣщичьяго царства <sup>70)</sup>. Барская избалованность оставила надолго свои слѣды въ характерѣ *Sonntagskind'a*. Университетъ, быстро приобретенное влияние среди студентовъ, крѣпкая оборона отъ покушеній начальства со стороны сильной семьи, — все это усыпало только лишними цвѣтами путь «Пушки».

Сопоставить эту поэму съ біографіей Бѣлинскаго значитъ во мгновенье ока изъ «страны лимоновъ и апельсиновъ» перенестись въ тундры. То же самое впечатлѣніе получится и при сравненіи той же біографіи съ жизнью Станкевича.

Герценъ имѣлъ возможность пить шампанское и угощаться рябчиками даже въ карцерѣ, и все-таки вызывать у родныхъ смертельное безпокойство, какъ бы не пострадало «слабое здоровье молодого человѣка», и, когда угодно, по щучьему велѣнію прекратить свое пріятное заключеніе. Рѣзвый ребенокъ Станкевичъ по шалости свободно могъ сжечь одну изъ отцовскихъ деревень... Все это, разумѣется, отнюдь не укоризны ни тому, ни другому, мы только желаемъ провести параллель между различными условіями, воспитавшими нашихъ дѣятелей.

Неугомонная рѣзвость золотого дѣтства смѣнилась, какъ водится, поэтически-мечтательной юностью. Стихи и любовь получаютъ преобладающее значеніе, и нѣмецкая поэзія, какъ самая богатая смутными романтическими предчувствіями и безпредѣльными неизглаголанными стремленіями, становится источникомъ счастья нашего юноши. Даже больше. Она — мѣрило жизни, она —

<sup>70)</sup> *Изъ дальнихъ лѣтъ*. Воспоминанія Т. П. Пассекъ. Спб. 1878. Томъ I, стр. 81 etc.

вмѣстилище всѣхъ идеаловъ, доступныхъ молодому воображенію. Станкевичъ стихами умиряетъ свои огорченія, стихами исчерпываетъ смыслъ земного бытія и стихами же поднимается въ вѣчное царство свѣта и покоя.

Особенно чаруетъ его стихотвореніе Шиллера *Resignation, Самоотреченіе*. Поэтъ здѣсь говоритъ о себѣ, что онъ «въ Аркадіи родился», природа надѣлила его ранними радостями, но май отцвѣлъ и поэту пришлось подумать о вѣчности. Но поэтъ не страшился никакихъ огорченій. У него есть откровеніе, способное помирить его съ какой угодно житейской непогодой. Именно это откровеніе и повергало въ несказанное наслажденіе Станкевича. Онъ не переставалъ повторять:

«Кто тоскуетъ по другомъ мірѣ, тотъ не долженъ знать земныхъ наслажденій. Кто вкусилъ отъ земного наслажденія, тотъ да не надѣется на награду другого міра, гдѣ пышно разцвѣтаютъ только терніи и скорби нашего дольняго существованія».

Легко понять,—при такомъ настроеніи прекрасной душѣ представляются не особенно острыя терніи, и не чрезмерно мучительной—жизнь наслажденіями. И съ устъ Станкевича не сходитъ фраза: *Es herrscht eine allweise Güte über die Welt*—надъ міромъ царствуетъ премудрая благодать...

Заключеніе вполне естественное послѣ описанныхъ нами «опытовъ жизни». Мы точно знаемъ также, что мыслить юный мечтатель подѣ «подвигомъ»—это ничто иное, какъ «бѣгство отъ суетныхъ желаній и отъ убивающихъ людей», во имя «любви и жажды знаній»:

Пусть гоненье свѣта выдетъ  
Звѣздой злосчастья надъ тобой,  
И міръ тебя возненавидитъ:  
Отринь, попри его стопой!

Все это возможно именно съ «любовью» поэта, даже очень легко. Надземный міръ ему болѣе доступенъ, чѣмъ «дольній», Его близкіе люди именуютъ «небеснымъ». Онъ недоволенъ прозвищемъ, но не можетъ утверждать, чтобы онъ совсѣмъ былъ виновенъ въ комическомъ эпитетѣ.

Онъ очень любитъ заявлять толпѣ свое презрѣніе къ ней и свидѣтельствовать объ ограниченности ея пониманія «мечтаній святыхъ». Эти мечты

Щедры платятъ за утраты  
И съ небесами жизнь дружатъ...

Естественно для этих мечтаній — «міръ — безотвѣтная пустыня» <sup>71)</sup>.

Небеса неотразимо заинтересованы во всѣхъ ощущеніяхъ прекрасной души, переживающей длинную и многообразную исторію любви. Философія опять выражается стихами, на этотъ разъ гётевской «индійской легендой» *Gott und Bajadera*. Двукратный переводъ ея былъ помѣщенъ въ *Московскомъ Наблюдателѣ*, подъ названіемъ *Магадэва и Байдера* <sup>72)</sup>. Здѣсь опять рѣчь идетъ о «правителяхъ неба» и о «надзвѣздныхъ чертогахъ», и въ общемъ, просвѣтленіе любовной страсти до высшаго блаженства.

Стихотвореніе это вызываетъ нервическій восторгъ у Станкевича и онъ намѣревается написать даже особую драму и взять темой исторію чувства любви отъ низшей ступени физическаго влеченія до приближенія къ горнему міру.

Мотивъ, какъ видимъ, весьма отличный отъ драмы Бѣлинскаго. И для насъ это не является неожиданностью. «Прекрасное моей жизни не отъ міра сего», пишетъ Станкевичъ, и дѣятельно принимается украшать всѣми цвѣтами своего воображенія всякое женственное созданіе, кажущееся ему роковымъ для его бытія.

Результаты — очевидны: мечты — безъ конца и смутныя состоянія души. Станкевичъ сознается, что онъ «боится всего опредѣленнаго, всего точнаго: это производитъ головную боль». Но зато все неуловимое, необъяснимо волнующее доводитъ юношу до крайней степени возбужденія.

Ему попалась въ руки музыка Шуберта — *Erlkönig* и вотъ какъ онъ рассказываетъ событіе:

«Это было послѣ обѣда, послѣ веселья, любезничанья. Я попробовалъ, и чуть не сошелъ съ ума! Иначе, кажется, нельзя было выразить это фантастическое прекрасное чувство, которое охватываетъ душу, какъ самъ царь младенца, при чтеніи этой баллады. [Уже начало переносить тебя въ этотъ темный таинственный міръ, мчить тебя *durch Nacht und Wind...*]

Какую же плѣнительную вереницу ощущеній должна испытывать такая душа и какимъ далекимъ и чуждымъ долженъ предстать ей реальный міръ! Съ теченіемъ времени именно въ ощущеніяхъ она привыкнетъ находить свою нравственную пищу, и замѣтно для себя станетъ переоцѣнивать ихъ красоту и смыслъ

<sup>71)</sup> *Записки*, стихотв. отъ 1833 года.

<sup>72)</sup> Первый разъ. Часть XVI, 1838 года, стр. 39—40, перев. П. Петрова

и вообразить себя великой, одинокой и страдающей въ области своихъ грезъ и чувствъ.

Это истинный путь всѣхъ прекраснѣйшихъ отщепенцевъ земной юдоли и неутомимыхъ изслѣдователей своихъ тайныхъ волненій и фантастическихъ образовъ. Это психологія гётевскаго Вертера.

Ничего въ сущности онъ не испыталъ и не узналъ, никакихъ ударовъ судьбы онъ не видѣлъ даже какъ зритель, ни малѣйшаго «подвига» онъ не совершилъ,—онъ только полюбилъ, и этого происшествія достаточно, чтобы онъ влюбился въ собственную особу и вознесъ свою тонко-чувствующую и сладостно-томящуюся душу на недосыгаемую высоту надъ «толпой» и сталъ взирать на весь міръ съ «меланхолической улыбкой». Это несомнѣнный нравственный недугъ, самовнушеніе маніи величія, геройство въ пустомъ пространствѣ, подвижничество среди фантазмагорій и призраковъ. Станкевичъ, разумѣется, несравненно выше по своей духовной организаціи гётевскаго горебогатыря. Блѣдная немочь вертерьянства не могла цѣликомъ овладѣть чуткой рыцарственной природой русскаго юноши тридцатыхъ годовъ, но весьма настойчивые отголоски реторической меланхоліи и пустопорожняго геройствованія слышатся намъ безпрестанно въ поэтическихъ исповѣдяхъ Станкевича.

Напримѣръ, стихотвореніе *Дѣтъ жизни*. Начинается оно совершенно въ вертеровскомъ стилѣ:

Печально идутъ дни мои,  
Душа свой подвигъ совершила:  
Она любила—и въ любви  
Небесный пламень истощила.

Дальше оказывается, виной этого истощенія «два созданья»: въ нихъ поэтъ узналъ «міръ». Тоже вертеровскій способъ становится ученымъ и философомъ! Конечъ не противорѣчитъ ни началу, ни срединѣ:

И мнѣ ль любить, какъ я любилъ?  
Я ль пламень счастья разрушу?  
Мой другъ, двѣ жизни я отжилъ  
И затворилъ для міра душу...

Это—обычная ложь прекрасной души: кто способенъ въ «созданіяхъ» видѣть міръ, тотъ, навѣрное, не затворитъ для него дверей,—совершенно напротивъ. Это просто фразерство празднаго ума, путающагося въ тонкихъ сѣтяхъ полуотвлеченныхъ, получувственныхъ ощущеній. У разныхъ Чайльдъ-Гарольдовъ, Ренэ и всякихъ другихъ демоновъ крупной и мелкой породы подобныя

упражнения—сущность всей жизни, у Станкевича—лишь стадія духовнаго развитія, но очень глубокая. Она подсказала нашему герою своего рода *Вертера*, повѣсть *Нѣсколько миновеній изъ жизни графа Z*. Это въ полномъ смыслѣ *historia morbi*, проще—диагнозъ чахотки, поразившей грудь чрезвычайно экзотическаго созданія, почти эфирнаго и *небеснаго* по тонкости ощущеній, по изящной тоскѣ о любви и счастьѣ, по сверхъестественной способности испытывать «бури и грозы» подъ яснымъ небомъ.

Въ теченіе всего разсказа намъ жалъ «это созданіе», какъ выражается самъ авторъ: преждевременная смерть, несомнѣнно, трогательна. Но надъ свѣжей могилой у васъ неотступно является мысль: вѣдь и сама жизнь «созданія» была сплошной агоніей и жалѣть собственно приходится не о смерти, а о самомъ появленіи на свѣтъ подобныхъ «обреченныхъ». Если вообще, по мнѣнію пессимистовъ, жизнь—скверная и неостроумная шутка, то жизнь съ наслѣдственной чахоткой—настоящій сарказмъ, жестокій и безжалостный. Пусть мы даже вполне съ этимъ согласимся, вѣдь все-таки жить приходится и, волей-неволей, вести борьбу со всевозможными шутками и сарказмами, т. е., насколько возможно, *передѣлывать* жизнь и, слѣдовательно, привязывать идеи и дѣятельность не къ живой добычѣ смерти, а къ дѣлателямъ жизни. И пусть сочувственная слеза будетъ законной данью злополучному графу Z, мы все-таки должны непремѣнно уйти отъ его гроба возможно дальше, если только не желаемъ пребывать въ мертвецахъ, хоронящихся мертвыхъ.

Станкевичъ не былъ такимъ мертвецомъ, но онъ пережилъ *мертвый* періодъ въ своей жизни. Признать этотъ фактъ неизбежно, сколько бы насъ ни подкупали прекрасныя грѣзы и трогательнѣйшая исповѣдь поэтически-взволнованнаго сердца. Органическая болѣзнь Станкевича способствовала прекраснѣйшей и подъ конецъ безпрестанно окутывала его мглой меланхоліи и религіозной тоски. Безотрадныя думы по ночамъ, молитвы самоотреченія и покорности предъ верховной силой,—все это проливаетъ цѣлительный бальзамъ въ вѣчно трепетную грудь юнаго страдальца. Сильныхъ чувствъ не можетъ жить въ такой груди, и сколько бы намъ ни толковали о счастьѣ, любви и мукахъ разочарованія, мы знаемъ, какъ неглубоко прививаются «удары судьбы» какъ разъ къ прекраснымъ душамъ. Именно поэтому имъ безпрестанно приходится взвѣшивать свои бури и грозы, чтобы удержаться на облюбованной исключительной высотѣ. Дѣло не можетъ



обойтись безъ реторики и софистики, и даже нашъ искренній герой будетъ съ гордостью изъяснять блаженство потерять существо, съ которымъ *разлучила тебя твоя мысль!*..

Гордость наивная до умиленности и не подозрѣвающая, какой подрывъ она совершаетъ собственному подвигу, до какой степени принижаетъ *чувство*, обижаетъ *существо* и извращаетъ *мысль*. Выигрываетъ развѣ только *идея изящнаго*, потому что, на первый взглядъ, дѣйствительно красиво не только побѣдить умомъ сердце, но даже обрести въ этой побѣдѣ блаженство.

Мы знаемъ, какъ далеко эстетическія ощущенія могутъ отстоять отъ принциповъ нравственнаго и идейнаго, какъ часто изящное вступаетъ въ противорѣчіе съ духовно-великимъ и разумнымъ, потому что изящное можетъ быть красотой формы и чистѣйшимъ волненіемъ физической природы человѣка. Изящное почти всегда приближается къ этому предѣлу, когда занимаетъ господствующее положеніе въ настроеніяхъ и міросозерцаніи поклонника красоты.

Станкевичъ именно такой рыцарь изящнаго, опять, должны мы оговориться, только временный, въ извѣстный періодъ своего духовнаго развитія. Но фактъ не теряетъ своего значенія и вполнѣ мирится съ другими намъ извѣстными чертами прекраснодушія. Станкевичъ чувство изящнаго называетъ своимъ единственнымъ наслажденіемъ, достоинствомъ и даже, *можетъ быть*, спасеніемъ. Онъ сочиняетъ чрезвычайно эфирную аллегорію *Три художника* на тему единства красоты во всѣхъ творческихъ искусствахъ. Аллегорія написана въ выпрѣенномъ тонѣ и въ ея образахъ вполнѣ достаточно романтической темноты и невысказаннаго таинственнаго краснорѣчія...

Остановиться на этой точкѣ значило бы дѣйствительно забыться и заснуть. Станкевича не могла постигнуть подобная участь. Романтизмъ и мечты были данью счастливому дѣтству и золотой молодости, но данью, въ высшей степени существенной.

У васъ неминуемо являются параллели: шиллеризмъ Бѣлинскаго—это стремительный протестъ Карла Моора, опека надъ челоуѣчествомъ, шиллеризмъ бури и натиска; у Станкевича шиллеровскіе мотивы—резиньяція, углубленное созерцаніе прекраснаго, душевное настроеніе эллинской идилліи или романтической элегии и чувствительной баллады. Въ результатѣ исторія графа *Z* и трагедія Дмитрія Калинина: трудно даже представить болѣе яркіе и болѣе поучительные контрасты. Они даны первыми ступенями

нравственнаго развитія того и другого дѣятеля, и они не могутъ не наложить своей печати на ихъ дальнѣйшій путь и на ихъ взаимныя отношенія.

#### XIV.

Станкевичъ, всегда искреннѣй и чуткѣй, превосходно понималъ основной недостатокъ своей природы. Онъ, толкуя о гармоніи и примиреніи, не прочь идеализировать *женственные* вліянія, женщину вообще за счетъ природы. Но, обращаясь на себя, онъ не можетъ не воскликнуть: «миѣ надо больше твердости, больше жестокости!» <sup>73)</sup>. Дальше, подчиняясь смутно влекущимъ мотивамъ искусства, сходя съ ума отъ романтической музыки, сопоставляя поэзію и науку, онъ долженъ сознаться: «не понимаю человѣка, который знаетъ о существованіи и спорахъ мыслителей, и бѣжитъ ихъ и отдается въ волю своего темнаго поэтического чувства» <sup>74)</sup>. Наконецъ, ища воплощенія своихъ романтическихъ грезъ въ различныхъ женственныхъ существахъ, возжелѣя о любви, онъ томится въ то же время жаждой знаній и ясной практической мысли. Онъ даже теряетъ терпѣніе, охватываемый со всѣхъ сторонъ туманами нѣмецкой философіи и возстаетъ противъ покорной восприимчивости русскаго юношества.

Онъ пишетъ Грановскому:

«Когда же нибудь надо послѣдовать внутреннему голосу и жить своею жизнью. Когда же нибудь надобно отбросить эту робкую уступчивость, эту ученическую скромность, стать лицомъ къ лицу съ тѣми оболыстителями души, которые тайною, отрадною надеждой поддерживаютъ жизнь ея, и потребовать отъ нихъ вразумительнаго отвѣта» <sup>75)</sup>.

Выводъ изъ всего этого ясный: жить надо для жизни, а не для отвлеченностей. Таково неустанное внушеніе Станкевича Грановскому, попавшему въ самое жерло нѣмецкихъ теорій и системъ. Еще важнѣе другое заключеніе, опредѣляющее самую сущность жизни: это—идея человѣческаго достоинства, какъ руководящій принципъ человѣческой дѣятельности. Идея—цѣль всѣхъ философскихъ занятій Станкевича и онъ, уяснивъ ее, хотѣлъ бы потомъ убѣдить другихъ и пробудить въ нихъ высшій интересъ <sup>76)</sup>.

<sup>73)</sup> *Биографія*, стр. 131, 159.

<sup>74)</sup> *Переписка*, стр. 184.

<sup>75)</sup> Письмо отъ 14 іюня 1836 года.

<sup>76)</sup> *Переписка*, стр. 159.



Цѣль вполнѣ достигалась, и именно этимъ фактомъ объясняется исключительное положеніе Станкевича среди товарищей. Предъ нами *дѣятельная* прекрасная душа, но мы не должны забывать, дѣятельная логически, умственно, духовно. Въ натурѣ Станкевича не было апостольской стихіи, какою въ высочайшей степени обладалъ Бѣлинскій. Мы хотимъ сказать, Станкевичъ не былъ одаренъ неуспыннымъ желаніемъ идею претворять въ фактъ и сдѣлать ее достояніемъ не только избранныхъ, но провозгласить ее какъ общую истину, бросить ее въ лицо толпѣ и міру и, если требуется, встать за нее бойцомъ. Прекраснодушная основа личности осталась до конца, гипнотизировала-ли нашего героя музыка Шуберта, или онъ обращался къ своимъ друзьямъ съ призывомъ отдать всѣ свои силы просвѣщенію народа <sup>77)</sup>.

Среди званныхъ нашлись избранные, съ точностью выполнившіе завѣтъ. Бѣлинскій также, навѣрное, неоднократно слышавшій подобныя рѣчи отъ Станкевича, оставался всю жизнь въ первомъ ряду просвѣтителей. Но именно въ этомъ вопросѣ и обнаружилось съ особенной яркостью различіе двухъ нравственныхъ типовъ, представляемыхъ друзьями.

Предъ нами драгоценное свидѣтельство, вводящее насъ въ сущность вопроса безъ всякихъ нарочитыхъ толкованій. Станкевичъ и Бѣлинскій одинаково восторгались театромъ и оставили намъ множество изъясненій своего восторга. Мы возьмемъ по одному у cadaго и сопоставимъ ихъ: достаточно прочесть только фразы, чтобы придти къ опредѣленному выводу.

Станкевичъ пишетъ:

«Театръ становится для меня атмосферою; *прекрасное* моей жизни не отъ міра сего; излить свои чувства некому: тамъ, въ драмѣ искусства, какъ-то вольнѣе душѣ. Множество народа не стѣсняетъ ея, ибо надъ этимъ множествомъ парить какая-то мысль. Наше искусство не высоко, но театръ и музыка располагаютъ душу мечтать о немъ, объ его совершенствѣ, о прелестяхъ изящнаго, дѣлать планы эфемерные, скоропреходящіе»...

Бѣлинскій еще пламеннѣе описываетъ свои чувства, но посмотрите, какое это пламя и сопоставьте его съ мечтами о прелестяхъ изящнаго и съ планами эфемерными:

«Вы здѣсь живете не своею жизнью, страдаете не своими скорбями, радуетесь не своимъ блаженствомъ, трепещете не за свою

<sup>77)</sup> Эпизодъ имѣетъ мѣсто въ Берлинѣ.—*Воспоминанія Невτροва*. Р. Старина, XL, 419.

опасность; здѣсь ваше холодное я исчезаетъ въ пламенномъ эфирѣ любви. Если васъ мучить тягостная мысль о трудномъ подвигѣ вашей жизни и слабости вашихъ силъ, вы здѣсь забудете ее... Но возможно ли описать всѣ очарованія театра, всю его магическую силу надъ душою человѣческою? О! какъ было бы хорошо, если бы у насъ былъ свой народный русскій театръ... Въ самомъ дѣлѣ, видѣть на сценѣ всю Русь, съ ея добромъ и зломъ, съ ея высокими и смѣшными, слышать говорящими ея доблестныхъ героевъ, вызванныхъ изъ гроба могуществомъ фантазіи, видѣть бойкіе пульсы ея могучей жизни»...

Предъ нами во весь ростъ идейный созерцатель и жизненный дѣятель, эстетикъ и публицистъ, философъ-поэтъ и мыслитель-борецъ.

Такъ это выйдетъ и въ дѣйствительности.

Когда Бѣлинскій возьметъ въ свои руки *Телескопъ*, надъ русской журналистикой немедленно повѣетъ новый раздражающій духъ,—кого негодованіемъ, кого восторгомъ. Станкевичъ также пообѣщаетъ свое участіе, но сейчасъ же начнетъ повторять роль «аристократическихъ сотрудниковъ», столь возмущавшихъ Погодина. Принимается онъ переводить статью о Гегелѣ, даетъ часть, но продолженіе оказывается во власти ироническихъ судьбъ: лакей Иванъ забылъ взять въ деревню номеръ иностраннаго журнала, необходимый для статьи!.. Станкевичъ комически изображаетъ бурное негодованіе Бѣлинскаго, но самому Бѣлинскому врядъ ли было до комизма: весь журналъ, крайне разстроенный Надеждинымъ и снабженный жалкими средствами, лежалъ на его отвѣтственности <sup>78)</sup>.

Но даже если Станкевичъ и выполнить взятое на себя обязательство, онъ всѣми силами протестуетъ противъ наименованія *литераторъ*. Почему? Восторженный Бѣлинскій объяснялъ это «глубокимъ чувствомъ простоты», но, несомнѣнно, больше правды въ другомъ толкованіи: изящной, аристократической и въ сильной степени отрѣшенной натурѣ Станкевича претило наименованіе, какое приходилось раздѣлять съ менѣе всего почтенными и благородными фигурами современной журналистики.

Толкованіе подтверждается отношеніемъ Станкевича къ лемику.

Биографъ очень мѣтко выражается на этотъ счетъ.

<sup>78)</sup> *Переписка*, стр. 171.

«Станкевичъ былъ служителемъ истины въ чистой, отвлеченной мысли, въ примѣрѣ своей жизни, и никогда не могъ бы служить ей на буйной ярмаркѣ современности» <sup>79)</sup>).

Даже больше. Станкевича непріятно беспокоило все стремительное, энергическое. Онъ не могъ понять гнѣвныхъ настроеній ни въ какихъ случаяхъ, даже когда вопросъ шелъ о побѣдѣ истины надъ ложью. Въ природѣ, на примѣръ, онъ не могъ помириться съ кавказскими горами, какъ съ чрезмѣрно буйнымъ проявленіемъ стихійныхъ силъ. То же самое впечатлѣніе производили на него и человѣческіе порывы.

Очевидно, здѣсь почва для гегельянской гармоніи существовала сама по себѣ, независимо ни отъ какихъ діалектическихъ воздѣйствій. Ученіе о примирительномъ отношеніи къ дѣйствительности какъ нельзя болѣе совпадало съ первичнымъ нравственнымъ строемъ всей личности Станкевича, и онъ, слѣдовательно, по совершенно различнымъ мотивамъ, чѣмъ Бѣлинскій, могъ впасть въ гегельянскій толкъ.

Тамъ былъ вопль истерзанной души, здѣсь—одинъ изъ давно знакомыхъ голосовъ тихихъ, кроткихъ мечтаній и стройныхъ возвышенныхъ думъ. Станкевичъ поэтому и не могъ впасть въ крайности и громить проклятіями «абстрактный героизмъ» шиллеровскаго Sturm und Drang'a. Онъ никогда и не зналъ шиллеризма въ этой формѣ, и, естественно, Бѣлинскому пришлось вступить въ распрю съ другимъ, лишь только онъ послѣдовательно развилъ свой новый культъ. Объ этомъ разногласіи съ Станкевичемъ на почвѣ гегельянства мы знаемъ отъ самого Бѣлинскаго, и оно въ высшей степени важно. Оно показываетъ, что значило для Бѣлинскаго воспринять идею. Въ результатѣ всегда начиналась діалектика не этой собственно идеи, только-что усвоенной, а *діалектика жизни*—личной, часто мучительной нравственной работы. «Покоя нѣтъ душѣ моей», всегда могъ сказать о себѣ Бѣлинскій, бывалъ ли одержимъ онъ «пошлымъ шиллеризмомъ», или «разумной» дѣйствительностью.

И беспокойство заключалось отнюдь не въ самыхъ идеяхъ, а въ стихійномъ, непреодолимомъ стремленіи Бѣлинскаго діалектику теорій слить съ діалектикой фактовъ. Для него не существовалъ идеала внѣ его осязательнаго воплощенія. Если идеалъ не воплощался, что-нибудь, значить, было неладно или съ идеаломъ, или съ дѣйствительностью, или идеалъ оказывался мертворожденнымъ, или дѣйствительность не поднималась на высоту идеала.

<sup>79)</sup> *Биографія*, стр. 129.

А отсюда уже прямой выходъ: или надо усовершенствовать идеалъ, или преобразовать дѣйствительность. Та и другая работа требуетъ громаднѣхъ усилій и всегда жестокой отвѣтственной борьбы. Все это и наполнило жизнь Бѣлинскаго именно потому, что онъ былъ свободенъ отъ вліяній самыхъ дорогихъ для него людей, и оставался *самъ по себѣ*.

Бакунинъ могъ только запутать его въ лабиринтъ отвлеченностей и превратить въ эпикурейца діалектики, Станкевичъ—создать изъ него самое большое—почтеннаго передатчика послѣднихъ словъ европейской науки отечественной интеллигенціи. Въ первомъ случаѣ Бѣлинскій могъ бы и перейти предѣлы «разумной дѣйствительности», но вовсе не къ выигрышу русскаго общественнаго прогресса. Во второмъ—онъ доразвился бы до блестящаго популяризатора, но среди его заслугъ не числилось бы самой большой: таланта двигать и увлекать все, что только было и родилось потомъ на Руси чуткаго и рыцарственно мыслящаго.

Бѣлинскій, помимо книгъ, могъ многое извлечь изъ личныхъ сношеній съ просвѣщенными пріятелями, и этотъ процессъ, разумѣется, былъ несравненно увлекательнѣе и *возбудительнѣе*, чѣмъ книжное самообученіе. Но дальше Бѣлинскій принадлежалъ себѣ, и большею частью, наперекоръ только-что выслушаннымъ собесѣдникамъ, принимался такъ «неистовствовать и свирѣпствовать», что приводилъ въ ужасъ своихъ мнимыхъ учителей. И тѣмъ неожиданнѣе оказывалось положеніе учителей, что они не всегда понимали смыслъ воспріимчивости своего ученика именно къ даннымъ идеямъ. Они не видѣли какъ разъ *діалектики жизни* у Бѣлинскаго, всегда предшествовавшей и сопровождавшей *діалектику идеи*. Они, какъ, напримѣръ, Бакунинъ, становились въ позу авторитета въ то время, когда намѣченная жертва авторитета успѣла пережить цѣлый процессъ критики и проверки. Авторитетъ часто не видѣлъ и малой доли тѣхъ жизненныхъ фактовъ, не зналъ даже самой узкой полосы той дѣйствительности, гдѣ ученикъ былъ хозяиномъ и своимъ человекомъ.

Кроткая и христіанская семья Бакуниныхъ, умилавшая Станкевича, барское Эльдorado, взлѣзъавшее Герцена, изысканно-культурная атмосфера, обвѣявшая дѣтство и молодость Станкевича, не могли дать всѣмъ этимъ роднымъ дѣтямъ судьбы даже отдаленнаго представленія о томъ, какъ жилъ и въ особенности, что пережилъ одинъ изъ самыхъ нелюбимыхъ ея пасынковъ.

Какая рѣчь могла быть здѣсь о вліяніяхъ какихъ бы то ни

было идей и рѣчей, когда всѣ эти рѣчи и идеи давно предупредила грозная правда, неразрывно сросшаяся съ каждымъ звѣномъ духовнаго роста ребенка, юноши, мужа! Если мы тщательно вдумаемся въ *историческій* жизненный путь, пройденный Бѣлинскимъ, если мы примемъ въ расчетъ необыкновенную чувствительность и восприимчивость почвы рядомъ съ исключительной жесткостью и тяготой посѣва, намъ покажутся прямо жалкими по своему сравнительному значенію и шиллеризмъ, и гегельянство, и промежуточные, еще менѣе существенныя, вліянія *оталеченныхъ* источниковъ.

И независимо отъ психологическаго анализа, мы на каждомъ шагу будемъ убѣждаться въ той же истинѣ по литературнымъ трудамъ Бѣлинскаго. Предъ нами съ каждымъ годомъ все выше будетъ расти и все ярче опредѣляться рѣдкостнѣйшій продуктъ русской почвы,—отъ начала до конца,—*self made man*, или еще точнѣе и выше: съ первой минуты сознанія до послѣдней предсмертной строки человекъ самъ себя самоотверженно искренне *создававшій* и съ неустаннымъ мужествомъ *проявлявшій*.

Это далеко не безусловно совпадающіе факты даже на самыхъ культурныхъ сценахъ: у насъ они—величайшая гордость нашего общественнаго самосознанія.

## XV.

Мы видѣли, какое впечатлѣніе произвела первая статья Бѣлинскаго на читателей разныхъ поколѣній и разныхъ литературныхъ направленій. Подобное впечатлѣніе было бы невозможно только при наличности какихъ угодно смѣлыхъ и новыхъ идей. Въ статьѣ было нѣчто другое, несравненно болѣе существенное для отзывчивости публики, чѣмъ отвага возрѣній и свѣжесть мысли.

Смѣлые люди бывали и до Бѣлинскаго, въ бойкости пера Надеждинъ могъ никому не завидовать. Не были также исключительнымъ явленіемъ и преобразовательныя стремленія въ области критики. Изъ статей Веневитинова, Кирѣевскаго, Полевого и критиковъ-поэтовъ легко набрать достаточное количество рѣшительныхъ приговоровъ надъ старой русской литературой. Самъ Бѣлинскій при первомъ случаѣ выступилъ на защиту философской критики своихъ предшественниковъ, отдалъ должное идейнымъ стремленіямъ *Мнемозины*, заслугамъ профессора Павлова<sup>80</sup>). И

<sup>80</sup>) *Журнальная замѣтка*, по поводу нападокъ Вулгарина на «домашнихъ нашихъ новомыслителей». *Сочиненія* II, 468—9.

не требовалось непременно злого умысла и изощренной проинипательности, чтобы въ раннихъ статьяхъ Бѣлинскаго, особенно въ первой, почуять ясные отголоски прежней и современной критической мысли. Это естественно: не съ Бѣлинскаго начиналась исторія русскаго слова. И мы понимаемъ, — отголоски для нѣкоторыхъ ушей могли казаться до такой степени внушительными, что собственно на долю личнаго ума и таланта Бѣлинскаго не оставалось ничего или очень мало: все принадлежало учителямъ-благодѣтелямъ.

Подобное впечатлѣніе, несомнѣнно, возобладало бы надъ удивленіемъ и восторгамъ, если бы молодой критикъ не обнаружилъ совершенно оригинальнаго, до него невѣдомаго качества. По исконному порядку всякое начинаніе въ области идей встрѣчается людьми недоувѣріемъ и сомнѣніями. Очевидцы заранѣе предубѣждены противъ новой *независимой*, умственной силы и для большинства достаточно смутнаго и отдаленнаго намека на *заимствованіе* и *повтореніе*, чтобы проглядѣть дѣйствительную новизну и оригинальность.

Этимъ объясняется свидѣтельство университетскаго товарища Бѣлинскаго:

«Кто только посѣщалъ лекціи Надеждина, не хотѣлъ вѣрить, что эти *мечтанія* писаны Бѣлинскимъ, а не Надеждинымъ» <sup>81)</sup>.

Бѣлинскій самъ шелъ на встрѣчу такому настроенію. Онъ съ большимъ уваженіемъ припоминалъ о «правдѣ» Никодима Аристарховича Надоумко, ссылаясь на его «премудрое слово», одобрялъ его «невѣжливыя выходки противъ тогдашнихъ геніевъ». Надоумко умѣлъ «припугнуть ихъ», — теперь некому сдѣлать то же самое относительно «нынѣшнихъ» геніевъ. Естественно, ученикъ профессора будетъ продолжать старую систему, только при другихъ обстоятельствахъ.

Выводъ очень простой, и *литературныя мечтанія* могли сойти за редакціонную статью *Молвы*, написанную только не самимъ редакторомъ, а его ближайшимъ сотрудникомъ.

Этотъ сотрудникъ шелъ еще дальше въ своемъ ученическомъ рвеніи. Онъ осыпалъ похвалами даже Коченовскаго, покровителя Надеждина, находилъ возможнымъ произнести почетное надгробное слово *Вѣстнику Европы*. Этотъ фактъ по всей справедливости слѣдуетъ признать идеально-философскимъ примиреніемъ съ *ѣйствительностью*, независимо отъ какой бы то ни было внѣшней системы.

<sup>81)</sup> Проворовъ. О. с., стр. 13.

Бѣлинскаго восхищала упорная борьба коснаго журнала противъ всѣхъ живыхъ теченій времени. Борьба, мы знаемъ, пароль и лозунгъ критика, и этому обстоятельству мы обязаны великимъ значеніемъ его дѣятельности. Но борьба, принципиально покрывающая слѣпое мракобѣсіе и способная оправдать тупое упорство въ области просвѣщенія и общественныхъ идей, перестаетъ быть жизненной силой, а превращается въ своего рода понятіе чистаго искусства. Вѣдь отрѣшенные поэты не желаютъ подвергать себя нравственному, вообще практическому суду, считая вполне довлѣющими мотивами своего существованія самый процессъ пѣснопѣнія.

О Коченовскомъ нельзя сказать и этого. Бѣлинскій, несомнѣнно, преувеличивалъ безкорыстіе и принципиальное благородство профессора, не отступавшаго въ борьбѣ съ своими критиками предъ совершенно нелитературнымъ оружіемъ. Критикъ, помимо явно взвинченныхъ и неосмотрительныхъ похвалъ Коченовскому—издателя, спѣшилъ выразить уваженіе и къ его авторитету въ русской исторіи.

Все это не требовалось содержаніемъ статьи и должно быть признано результатомъ редакторскихъ внушеній.

Еще любопытнѣе проявленія тѣхъ же примирительныхъ чувствъ критика въ другихъ несравненно болѣе широкихъ вопросахъ. Мы знаемъ, что пришлось Бѣлинскому пережить и передумать до своей первой статьи, знаемъ, какимъ благодѣтелемъ оказался для него университетъ и какія рѣчи подсказалъ ему современный строй жизни.

Теперь священный огонь юношеской трагедіи будто начинаетъ меркнуть и неудачный драматургъ, нашедшій пріютъ на страницахъ профессорскаго журнала,—готовъ остепениться и охладить пылъ своего негодующаго сердца. Слѣдуетъ еще припомнить,—Бѣлинскій по выходѣ изъ университета старался пристроиться въ уѣздные учителя, и безуспѣшно. Съ его аттестатомъ благосклонное начальство могло предложить только мѣсто приходскаго учителя. Наконецъ,—отвращеніе къ университетской наукѣ и университетскимъ схоластикамъ, кромѣ того, глубокая обида за свое человѣческое достоинство,—единственные чувства, вынесенныя Бѣлинскимъ изъ университетскихъ аудиторій.

И вдругъ послѣ всѣхъ этихъ опытовъ,—ода попеченіямъ правительства, какъ разъ о просвѣщеніи и въ томъ самомъ направленіи, гдѣ авторъ потерпѣлъ полный разгромъ.

Правительство, пишетъ авторъ, «издерживаетъ такіа громад-

ныя суммы на содержаніе учебныхъ заведеній, ободряетъ блестящими наградами труды учащихся и учащихъся, открывая образованному уму и таланту путь къ достиженію всѣхъ отличій и выгодъ». И дальше говорилось о «знаменитыхъ сановникахъ», чрезвычайно усердныхъ къ народному благу, объявлялось, что намъ не нужна «чуждая умственная опека», рисовалась умили- тельная критика «любопытнаго юношества въ центральномъ храмѣ русскаго просвѣщенія», и въ заключеніе провозглашался патріотическій девизъ: «православіе, самодержавіе и народность».

Но и на этихъ возгласахъ порывъ юнаго гражданина не останавливался. «Благородное дворянство» въ свою очередь должно получить дань славы. По наблюденіямъ автора, это дворянство принялось дѣятельно давать своимъ дѣтямъ «образование прочное и основательное». Нельзя было при этомъ торжественномъ обзорѣ великихъ доблестей русскаго государства миновать и другія сословія, купечество и духовенство. Выходило *omnes meliores!*— всѣ другъ друга лучше; купцы не даромъ такъ крѣпко держались за свои «почтенныя окладистыя бороды»; эти герои со временемъ «сдѣлаются типомъ народности». И вообще, будущее преисполнено блеска и силы: сѣмена созрѣютъ, и русская литература будетъ соперничать съ европейской.

Предсказаніе, имѣвшее за себя много основаній, но оно построено на соображеніяхъ чисто надеждинскаго стиля. У профессора патріотическій азартъ доходилъ вплоть до восхваленія русской физической силы, просто русскаго кулака. И Надеждинъ, въ качествѣ редактора, конечно, не имѣлъ ничего противъ, чтобы и его сотрудникъ вступилъ на тотъ же путь, говорилъ самыя чувствительныя слова, въ родѣ народности, національности, смысленности и усердія русскаго народа, и при случаѣ растолковывалъ ихъ въ духѣ извѣстнаго гимна *громъ победы раздавайся* и, по примѣру учителя, настоятельно требовалъ отъ литературы одѣ въ честь русскаго оружія.

И, несомнѣнно, другой на мѣстѣ Бѣлинскаго достойно оправдалъ бы надежды своего редактора. Но профессорскія вліянія и, и жетъ быть, весьма пристальныя внушенія, встрѣтили страшнаго вѣла—не столько въ воззрѣніяхъ сотрудника, сколько въ его лич- ной природѣ. Онъ на первыхъ порахъ могъ весьма точно воспроиз- вести ту или другую мысль, увлекшую его воображеніе и чувство г рмоніей и оптимистическими обѣтованіями. Рано надорванная г удъ естественно искала хотя бы временнаго облегченія и хотя



бы призрачной утѣхи. Но это, моменты и настроенія, сущность личности совершенно другая. Именно она и вызвала чрезвычайный откликъ у современныхъ читателей.

Всѣ, кто восторгался статьей Бѣлинскаго, менѣе всего могли сочувствовать усладительнымъ патріотическимъ волненіямъ его сердца. Но фразы, обличавшія нѣкоторый культъ дѣйствительности, очевидно, совершенно исчезали въ общемъ смыслѣ разсужденій и находили себѣ уничтожающій противовѣсъ въ другихъ изреченіяхъ, явно выражавшихъ личное я критика—въ всякихъ внѣшнихъ воздѣйствіяхъ.

Это я не заслонялось даже болѣе внушительными вліяніями со стороны, чѣмъ идеи Надеждина о любви къ отечеству и русской народности. Бѣлинскій съ обычной стремительностью спѣшилъ сообщить публикѣ свое посвященіе въ тайны шеллингянства, по возможности, буквально воспроизводя эстетическія формулы школы. Имя Шеллинга не произносится: читатели должны открытія германскаго философа считать общеобязательными истинами.

Критикъ умѣетъ съ горячимъ воодушевленіемъ провозгласить то или другое шеллингянское положеніе и явно стремится очаровать читателя его художественной красотой, а не логической основательностью. «Поэтическое одушевленіе есть отблескъ творящей силы природы». «Искусство есть выраженіе великой идеи вселенной въ ея безконечно-разнообразныхъ явленіяхъ». «Весь безпредѣльный, прекрасный Божій міръ есть ничто иное, какъ дыханіе единой вѣчной идеи (мысли единого вѣчнаго Бога), проявляющееся въ безчисленныхъ формахъ, какъ великое зрѣлище абсолютнаго единства въ безконечномъ разнообразіи...»

Все это множество разъ читала русская публика и безъ конца слышали студенты, учившіеся у Надеждина. Естественно, критикъ доходилъ и до самаго выпяченнаго представленія о поэтѣ-художникѣ. Мы знаемъ, только этому исключительному созданію шеллингянская философія уступала право познавать мировую тайну непосредственно—и новый критикъ принимаетъ истину на слово:

«Только пламенное чувство смертнаго, пишетъ онъ, можетъ постигать въ свои свѣтлыя мгновенія, какъ велико тѣло этой души вселенной, сердце котораго составляютъ громадныя солнца, жилы—пути млечныя, а кровь—чистый эфиръ».

Мы видимъ,—критикъ усвоилъ даже образный языкъ шеллингянцевъ и не прочь пуститься въ океанъ широковыщательныхъ

аллегорій и символовъ. У него вполне достаточно лирических чувствъ, чтобы соревновать съ какимъ угодно изъ своихъ предшественниковъ по части восторговъ предъ красотой и величіемъ абсолютнаго тождества, предъ неотразимо-гармоническимъ развитіемъ природы нравственной, физической и предъ полнымъ сліяніемъ человѣческаго я съ общей міровою жизнью.

Отсюда, мы знаемъ,—совсѣмъ рядомъ идея о безсознательномъ и безцѣльномъ творчествѣ. «Безотчетно мгновенная вспышка воображенія»,—вотъ что глубоко трогаетъ Бѣлинскаго и окрыляетъ его краснорѣчіе на жестокую отповѣдь поэтамъ-филологамъ и моралистамъ. Критикъ воздерживается отъ искушеній чистаго символизма, гдѣ даже и членораздѣльная человѣческая рѣчь является недостойнымъ умысломъ противъ художественной красоты неизглаголаннѣхъ образовъ. Мы встрѣчали шеллингянцевъ, отважно устремлявшихся вплоть до безмолвнаго симпатическаго общенія душъ. Бѣлинскій остановился у самыхъ вратъ святилища,—и по всѣмъ даннымъ не имѣлъ ни силъ ни воли войти въ него.

Дѣло въ томъ, что предъ нами самый странный шеллингянецъ и очень опасный послѣдователь московскихъ патріотовъ и эстетиковъ. Изъ его статьи мы могли извлечь не мало мыслей, уполномочивавшихъ Надеждина напечатать ее въ своей *Молвѣ*. Но въ то же время, изъ того же источника, читатели, только случайно заглядывавшіе въ надеждинскій журналъ и ничего не ждавшіе изъ ученаго Назарета,—почерпнули надежды на новую, еще не бывающую критику.

Противорѣчіе на первый взглядъ вопиющее, и, что особенно любопытно, самъ авторъ статьи его, повидимому, не подозрѣвалъ. Благонамѣренный оптимизмъ и всеобъединяющее и всепримѣряющее шеллингянство уживались у него вполне удобно съ идеями, несшими въ своемъ развитіи жестокую войну всяческому гражданскому оптимизму и философскому прекраснорумію.

Это сліяніе двухъ различныхъ, по существу даже противоположныхъ стихій—черта первостепенной важности въ первомъ періодѣ критики Бѣлинскаго. Въ психологическомъ отношеніи—это поучительнѣйшій случай, какой только можетъ представить личность писателя.

Бѣлинскій создается на нашихъ глазахъ, развивается не по своему дарованію, а по самому содержанію своей мысли и по нравственнымъ задачамъ своей личности. Мы присутствуемъ при исторіи души, и исторія эта съ совершенной откровенностью изла-

гается самимъ героемъ, публично, въ формѣ непрерывной исповѣди своихъ взглядовъ на всѣмъ доступныя явленія дѣйствительности. И притомъ исповѣдь отнюдь не преднамѣренно составленный обзоръ мыслей и поступковъ, а она сама—мысли и поступки.

Бѣлинскій весь заключенъ въ своихъ статьяхъ: внѣ литературы для него не было жизни, и въ жизни не было ничего, равноправнаго съ литературой. Это, можетъ быть, единственное явленіе въ исторіи человѣческаго ума и творчества. И оно съ полной яркостью обнаружилось въ первой же статьѣ.

## XVI.

Посмотрите, что значить личность—для какихъ угодно отвлеченныхъ идей и въ области самыхъ отрѣшенныхъ чувствъ! Мы видѣли, какъ логически у русскихъ шеллингянцевъ изъ основныхъ принциповъ школы вытекало презрѣніе ко всему наглядному, ясному и, слѣдовательно, жизненно значительному. Тамъ было исчезновеніе я въ безграничномъ океанѣ мірового бытія, самоотреченіе личности во имя всепоглощающаго абсолютнаго духа.

У Бѣлинскаго тоже вопросъ идетъ о самоотреченіи, но какомъ! Переходъ совершается незамѣтно къ идеѣ вдохновеннаго созерцанія авторъ прибавляетъ только одно слово—*любовь*. Идея «не только мудра, но и любяща»,—вотъ и все положеніе,—но его достаточно, чтобы мы немедленно услышали восторженный гимнъ человѣческому самоотверженію уже не во имя абсолютнаго тождества, а во имя человѣчества, «для блага ближняго, родины»...

И картина мгновенно мѣняется.

Раньше мы слышали призывы къ познанію отъ вѣка скрытыхъ тайнъ, намъ толковали о художественномъ ясновидѣніи, объ исключительно эстетическихъ путяхъ къ міровой истинѣ. Теперь, однимъ порывомъ страстнаго чувства разорвана радужная паутина и предъ блаженно-задумчивыми очами созерцателя безграничныхъ вселенскихъ перспективъ открылась ограниченная, но неукротимо беспокойная сцена человѣческихъ страданій.

Такъ неожиданно молодой критикъ понялъ философскую идею самоотреченія!

Дальше окажется еще проще творчество и созерцаніе подмѣнить стремленіемъ и дѣятельностью. Старые шеллингянцы много занимались силами природы, животнымъ магнетизмомъ, химизмомъ и прочими физическими явленіями: Все это у нихъ вело къ окон-

чательному торжеству ничѣмъ неразрушимой гармоніи. Процессъ въ ихъ возрѣніи игралъ второстепенную роль,—предустановленная цѣль замѣняла своимъ божественнымъ величіемъ смуту и нестройность отдѣльныхъ явленій.

Нашъ философъ измѣнить точку зрѣнія на противоположную. Его именно увлечетъ постепенное развитіе естественныхъ силъ, процессъ, т. е. борьба. И онъ провозгласитъ: противоборство силы сжимательной и расширительной въ природѣ то же самое, что борьба между добромъ и зломъ въ мірѣ нравственномъ. Еще одинъ шагъ,—и борьба окажется *сущностью* міровой жизни,—не самодовлѣющее спокойное тождество, а неустанное броженіе стихій. А отсюда уже непосредственный выводъ нравственнаго содержанія:

«Безъ борьбы нѣтъ заслуги, безъ заслуги нѣтъ награды, безъ дѣйствованія нѣтъ жизни».

Но истина въ такой формѣ еще немного значила бы въ практическомъ смыслѣ: въ истину можно вѣровать и оставаться совершенно равнодушнымъ къ ея осуществленію.

Мы это и видѣли неоднократно,—убѣдились въ грустномъ фактѣ даже на ближайшихъ товарищахъ Бѣлинскаго.

Станкевичъ, несомнѣнно, зналъ тѣ же истины, какими вооруженъ Бѣлинскій въ первыхъ статьяхъ. Но познаніе не только не вело къ дѣлу, а даже, повидимому, способствовало усиленному желанію стать возможно дальше отъ непросвѣщенной черни. Послушайте, съ какимъ презрѣніемъ Станкевичъ говоритъ о политикѣ заграницей, какъ ему претитъ шумъ періодической печати: намъ невольно припоминаются такіа же настроенія Карамзина при тождественныхъ обстоятельствахъ. И мы не знаемъ, много ли могла бы выиграть русская публика отъ народненія такихъ глубоко просвѣщенныхъ умовъ и тонко чувствующихъ душъ. Можетъ быть,—время и особенно—*неразумная* дѣйствительность вылечила бы аристократическаго философа отъ его недуга,—мы знаемъ только одно: Бѣлинскому въ этомъ смыслѣ не отъ чего было лечиться,—и онъ безъ всякихъ эволюцій и философской діалектики, чутьемъ своей дѣйственной натуры открылъ истинно культурную цѣль всякой мысли и всякаго таланта.

Припоминая отвращеніе Станкевича къ самому наименованію *литераторъ*, Бѣлинскій заявлялъ о себѣ:

«Я литераторъ, потому что это мое призваніе и мое ремесло вмѣстѣ».

Призваніе—это значить долгъ совѣсти, высшая нравственная

цѣль жизни, не забава и не жажда успѣха. Только призваніе можетъ создать изъ человѣка героя, истину поставить для него выше личнаго разсчета, и именно въ терніяхъ пути открыть ему наслажденіе и высшее счастье духа, равное какому угодно высшему эстетическому самоуглубленію.

И теперь сопоставьте усладительныя воркованія служителей шеллингянскаго тождества и въ послѣдствіи рыцарей гегельянской діалектики съ слѣдующимъ самооткровеніемъ Бѣлинскаго: «Люди, хладнокровные и умственной жизни, могутъ ли понять, какъ можно предпочитать истину приличіямъ и изъ любви къ ней навлекать на себя ненависть и гоненіе? О! имъ никогда не постичь, что за блаженство, что за сладострастіе души сказать какому-нибудь гению въ отставкѣ безъ мундира, что онъ смѣшонъ и жалокъ своими дѣтскими претензіями на великость, растолковать ему, что онъ не себѣ, а крикуну-журналисту обязанъ своею литературною значительностью; сказать какому-нибудь ветерану, что онъ пользуется своимъ авторитетомъ въ кредитъ, по старымъ воспоминаніямъ или по старой привычкѣ; доказать какому-нибудь литературному учителю, что онъ близорукъ, что онъ отсталъ отъ вѣка и что ему надо переучиваться съ азбуки, сказать какому-нибудь выходцу Богъ вѣсть откуда, какому-нибудь пройдохѣ и Видону, какому-нибудь литературному торгашу, что онъ оскорбляетъ собою и эту словесность, которою занимается, и этихъ добрыхъ людей, кредитомъ коихъ пользуется, что онъ поругался и надъ святостью истины и надъ святостью знанія, заклеить его имя позоромъ отверженія, сорвать съ него маску, хотя бы она была и баронская, и показать его свѣту во всей его наготѣ!.. Говорю вамъ, во всемъ этомъ есть блаженство неизъяснимое, сладострастіе безграничное»!

Вы видите, — здѣсь борьба не принципъ, не убѣжденіе, а просто сама натура писателя, и вы легко представите, что всѣ философскія внушенія, какъ бы они ни казались основательны отвлеченному уму Бѣлинскаго, будутъ рано или поздно отвергнуты и разбиты органическими силами его нравственнаго міра.

И теперь, — вы уже замѣтили, — въ перечисленіи смертельныхъ враговъ критикъ подошелъ какъ разъ къ издателю *Вѣстника Европы*, одному изъ «литературныхъ учителей» отсталыхъ, близорукихъ, невѣжественныхъ въ самой азбукѣ. По «вліяніямъ» Каченовскаго пришлось пощадить, даже одобрить, — но мы отлично знаемъ, — чего стоитъ эта снисходительность и какой прочностью

эти влияния. Начинающему писателю трудно не считаться съ желаниями редактора, да еще въ положеніи Бѣлинскаго, и мы должны признать, можетъ быть, не одну уступку съ его стороны—своему покровителю и литературному воспріемнику.

Но уступки не шли дальше частныхъ, и надо изумляться наивности или безразличію редактора, пропускавшаго мимо глазъ сущность и чувствовавшаго полное удовлетвореніе отъ вводныхъ предложеній и примѣчаній.

Стремительность и неутомимость личности разобьетъ у Бѣлинскаго и болѣе тяжелыя цѣпи, чѣмъ подсказыванья Надеждина.

По философской эстетикѣ творчество должно быть безотчетно, своего рода пророческимъ наитіемъ,—и нашъ критикъ сумѣетъ выразить эту истину въ очень краснорѣчивой формѣ. Истина дѣйствительно художественно-красива, *поэтична* и ставитъ извѣстныхъ избранниковъ на почти божественную высоту сравнительно съ обыкновенными людьми. Картина очень увлекательная для юнаго романтическаго воображенія, и Бѣлинскій стремительно подпишетъ подъ ней свое имя.

Но это—дань художественному чувству,—есть нѣчто болѣе глубокое и болѣе личное у нашего критика,—сладострастіе протеста. И стоитъ ему встрѣтиться съ человѣкомъ, отвѣчающимъ на эту страсть, онъ мгновенно забываетъ свои мирныя художественныя упоенія.

Такая встрѣча происходитъ съ Грибоѣдовымъ, и она подскажетъ критику поразительную идею о «палачѣ-художникѣ». Шеллингианецъ отступилъ бы въ ужасъ отъ подобной фигуры, но Бѣлинскій продолжаетъ:

«Каждый стихъ Грибоѣдова есть сарказмъ, вырвавшійся изъ души художника въ пылу негодованія»...

Въ комедіи Грибоѣдова имѣются недостатки, но они не мѣшаютъ *Горю отъ ума* быть «образцовымъ гениальнымъ произведеніемъ», а Грибоѣдову—«Шекспиромъ комедіи».

Этотъ приговоръ вскорѣ встрѣтитъ отпоръ въ другой философской эстетикѣ, въ гегельянской,—но и новое увлеченіе не помѣшаетъ звучать все тому же внутреннему голосу, подающему осязательный откликъ только на могучія проявленія жизни и на независимыя стремленія духа.

Присмотритесь къ опредѣленіямъ, какія авторъ даетъ художественнымъ произведеніямъ, какъ онъ рѣзко подчеркиваетъ и безъ того энергичныя выраженія,—вы поймете размахъ совершающагося предъ вами умственного процесса. Комедія должна быть

плодомъ горькаго негодованія, сарказмомъ, судорожнымъ хохотомъ... Гдѣ же здѣсь до художественности, лишенной нравственныхъ задачъ! Здѣсь, очевидно, не только существуетъ цѣль, но неуклонное намѣреніе достигнуть ее, т. е. «заклеймить *мстительною* рукой» преступниковъ и уродовъ.

И насъ не должны смущать явные противорѣчія автора. То онъ осудитъ Фонвизина за излишнюю вѣрность его типовъ натурѣ, то превознесетъ Грибоѣдова именно за то, что его лица «сняты съ натуры во весь ростъ, почерпнуты со дна дѣйствительной жизни». Противорѣчіе объясняется просто: смѣхъ Фонвизина менѣе глубокъ и осмысленъ, чѣмъ у Грибоѣдова. Его умственный кругозоръ уже, душа мельче, чѣмъ у творца Чацкого,—и критикъ не могъ остаться на чисто-художественной почвѣ. Идейная, нравственно-общественная стихія заговорила,—и ему невольно пришлось подыскивать эстетическія оправданія для совершенно неэстетическихъ сужденій.

Бѣлинскій упорно будетъ твердить: «цѣль вредитъ поэзіи», но въ то же время перестанетъ восхвалять сліяніе въ поэзіи мысли съ чувствомъ, пламенное сочувствіе природѣ. Очевидно,—одно понятіе уничтожаетъ другое, потому что мысль всегда предполагаетъ цѣль, а сочувствіе даже вдохновляетъ стремленіе къ поставленной цѣли. Критикъ восторженно отзывался о Веневитиновѣ какъ разъ о поэтѣ менѣе всего безотчетномъ, о поэтѣ—идейномъ по преимуществу.

И потомъ,—способенъ ли вообще нашъ авторъ составить извѣстную теорію творчества и по ней произносить свои приговоры?

Это вопросъ въ высшей степени важный. Всякая философская система владѣетъ своей эстетикой. Это извѣстно Бѣлинскому, и разсѣянные лучи шеллингѣанской истины безпрестанно мелькаютъ въ *Литературныхъ мечтаніяхъ*. Впослѣдствіи то же самое должно повториться во имя другой системы.

Да,—искушеніе несомнѣнно: Бѣлинскій желаетъ стать съ вѣкомъ наравнѣ и даже укоряетъ Пушкина за то, что ему не доставало «нѣмецко-художественнаго воспитанія».

Это—жестокій упрекъ и могъ бы привести критика къ не менѣе безпощадному суду надъ Пушкинымъ, чѣмъ драматическіе діалоги Никодима Надоумко. Но и здѣсь опять возникаетъ столкновеніе послѣднихъ словъ чужой науки съ личными влеченіями критика.

Онъ по поводу неудачныхъ переводовъ Полежаева произноситъ крайне неосторожную, эстетически-ненаучную фразу: «какъ-то не

идутъ въ душу». Вотъ, оказывается, гдѣ настоящій трибуналъ критики—и невѣжество Пушкина въ нѣмецко-художественномъ воспитаніи не помѣшаетъ Бѣлинскому сравнить его творчество съ теоріями и сдѣлать такой выводъ:

«Пушкинъ не говорилъ, что поэзія есть то или то, а наука есть это или это, нѣтъ, онъ своими созданіями далъ мѣрило для первой и до нѣкоторой степени показалъ современное значеніе другой».

Зачѣмъ же тогда и толковать о какихъ-то изъяснахъ пушкинской поэзіи, разъ она сама по себѣ замѣняетъ всякую эстетику?

И именно Пушкинъ даетъ критику возможность показать, какой живой ключъ свободной мысли бьетъ въ его натурѣ, какъ неестественны и жалки всѣ внѣшнія воздѣйствія сравнительно съ этой органической силой.

Можно подивиться, какъ Надеждинъ допустилъ въ своемъ журналѣ такую характеристику пушкинскаго таланта. Она — первая въ русской литературѣ и только пять лѣтъ спустя въ *Отечественныхъ запискахъ* появится статья, равная ей по значенію и широтѣ взгляда. Статья переводная, авторъ ея нѣмецкій писатель Варнгагенъ фонъ-Энзе. Переводчикъ—Катковъ — сопровождаетъ ее предисловіемъ, полнымъ восторговъ предъ величіемъ Пушкина. Но этотъ лиризмъ уже не будетъ новостью. Пушкинъ при жизни могъ узнать, какое мѣсто ему принадлежитъ въ исторіи русской литературы.

## XVII.

Сужденіе о Пушкинѣ—замѣчательнѣйшая страница въ первой статьѣ Бѣлинскаго. Эти нѣсколько строкъ раскрываютъ намъ сущность критическаго таланта Бѣлинскаго и показываютъ—теперь же съ полной ясностью, какими принципами будетъ руководиться критикъ и какія цѣли преслѣдовать,—независимо отъ теоретическихъ увлеченій той или другой философской системой.

Бѣлинскій пишетъ:

«Пушкинъ былъ совершеннымъ выраженіемъ своего времени. Одаренный высокимъ поэтическимъ чувствомъ и удивительною способностью принимать и отражать всѣ возможныя ощущенія, онъ перепробовалъ всѣ тоны, всѣ лады, всѣ аккорды своего вѣка; нѣ заплатилъ дань всѣмъ великимъ современнымъ событіямъ, влеченіямъ и мыслямъ, всему, что только могла чувствовать тогда



Россія, переставшая вѣрить въ несомнѣнность «вѣковыхъ правилъ самую мудростью извлеченныхъ изъ писаній великихъ гениевъ», и съ удивленіемъ узнавшая о другихъ правилахъ, о другихъ мірахъ мыслей и понятій, и новыхъ, неизвѣстныхъ ей дотогѣ взглядахъ на давно извѣстныя ей дѣла и событія. Несправедливо говорить, будто онъ подражалъ Шенье, Байрону и другимъ: Байронъ владѣлъ имъ не какъ образецъ, но какъ явленіе, какъ властитель думъ вѣка, а я сказалъ, что Пушкинъ заплатилъ свою дань каждому великому явленію. Да, Пушкинъ былъ выраженіемъ современнаго ему міра, представителемъ современнаго ему человѣчества, но міра русскаго, но человѣчества русскаго».

И дальше въ лирической картинѣ рисуется восторгъ, охватившій всю Россію при звукахъ пушкинской лиры.

Буквально то же самое услышать русскіе читатели и отъ иностраннаго критика.

Воригагенъ фонъ-Энзе будетъ доказывать, что Пушкинъ — «выраженіе всей полноты русской жизни и потому онъ націоналенъ въ высшемъ смыслѣ этого слова».

Бѣлинскій предвосхитилъ эту истину и исчисленіемъ общественныхъ заслугъ Пушкина подписалъ приговоръ всякой чисто-эстетической критикѣ. Сдѣлалъ онъ это не на основаніи какого бы то ни было художественнаго воспитанія, а по внушенію той самой силы, которая создала изъ Пушкина великаго національнаго поэта.

Пушкинъ обладалъ высшей чуткостью и отзывчивостью, его душа давала откликъ на всѣ явленія дѣйствительности. Такая же музыкальность природы—основное свойство Бѣлинскаго. Онъ—первый русскій критикъ-художникъ; въ первый разъ поэтическое творчество нашло прирожденнаго цѣнителя и сочувственника; русскіе поэты дождались въ полномъ смыслѣ родной души. Они не рисковали безпомощно биться будто о каменную стѣну о стихійное непониманіе художественнаго таланта литературными учителями и могли быть увѣрены—одержать побѣду въ личныхъ сочувствіяхъ критика, даже въ ущербъ его разсудочнымъ задачамъ.

Нечего было дѣлать здѣсь и какимъ угодно авторитетнымъ внушителямъ. Они могли на время обольстить вѣчно ищущій и увлекающійся умъ молодого писателя той или другой идеей, но разъ навсегда снабдить его готовымъ міросозерцаніемъ, оберечь свои внушенія отъ взрыва мятежныхъ инстинктовъ ученика—они были не въ силахъ, хотя и не понимали своего дѣйствительнаго положенія.

Мы увѣрены,—Надеждинъ былъ въ полномъ убѣжденіи, что пріобрѣтъ себѣ самаго удобнаго, подручнаго сотрудника. Недаромъ онъ вскорѣ передать ему даже редакцію своихъ журналовъ, нисколько не опасаясь неожиданностей и возмущеній. Если его и останавливала по временамъ слишкомъ стремительная рѣчь Бѣлинскаго,—онъ въ ту же минуту успокаивался: онъ и самъ говорилъ сильныя фразы и изощрялъ перо въ заносчивомъ бою съ «нигилистами». Развѣ могъ бывший обыватель патриаршихъ прудовъ допустить другой смыслъ въ страстныхъ изліяніяхъ критика! Герои преднамѣреннаго риторства и политики личнаго разсчета съ трудомъ вѣрятъ въ чужую искренность,—и Бѣлинскій могъ подъ покровительствомъ Надеждина начать полное разрушеніе всѣхъ старыхъ порядковъ, сложившихся на русскомъ ученомъ Парнассѣ.

Но, конечно, ближайшее личное и писательское соприкосновеніе съ такимъ наставникомъ, какъ Надеждинъ, не могло пройти безнаказанно. Бѣлинскій своему профессору обязанъ противорѣчіями, легкомысленнымъ лиризмомъ и нерѣдко явнымъ старовѣрческимъ наслѣдіемъ сановныхъ эстетиковъ. Большое удовольствіе долженъ былъ получить редакторъ отъ настоящей оды своего сотрудника вѣку Екатерины, ея орламъ, громамъ побѣдъ и завоеваній и русскому духу—въ разгулѣ «величавыхъ и гордыхъ вельможъ». Все это дышало умильной наивностью, стоявшею вполне на высотѣ профессорской исторической философіи и торжественныхъ академическихъ рѣчей.

Но критикъ, къ сожалѣнію, и здѣсь собственными руками разбивалъ очаровательный призракъ. Зачѣмъ онъ похвалилъ Грибоѣдова, какъ палача-художника! Вѣдь этотъ палачъ первую жертвой заклеилъ какъ разъ восторженнаго поклонника очаковскихъ временъ и екатерининскихъ орловъ. Фамусовъ съ великимъ благоволеніемъ выслушалъ бы рѣчь нашего критика о временахъ Максима Петровича и сталъ бы втупикъ, узнавъ немного позже о своей «печати ничтожества» въ грибоѣдовской комедіи.

Намъ ясна—смута и нестройность первой статьи Бѣлинскаго. Мы можемъ сказать больше: статья, очевидно, не была строго продумана раньше, чѣмъ авторъ рѣшилъ положить ее на бумагу. Она—рядъ скорѣ настроеній, взволнованныхъ чувствъ и сильныхъ впечатлѣній, чѣмъ логическихъ мыслей. Она менѣе всего цѣльное разсужденіе, она дѣйствительно поэтическое произведеніе въ прозѣ, не столько *элегія*, какъ ее называетъ самъ авторъ, сколько ирическая поэма. Она важна для насъ не столько отдѣльными

сужденіями, сколько *психологической основой*, единственно вполне прочнымъ и выдержаннымъ элементомъ. Она самооткровеніе не столько критика, сколько человѣка.

*Критикъ* едва уловимъ. Однѣ его идеи можно опровергнуть другими или остаться въ полномъ недоумѣніи насчетъ истиннаго взгляда автора. Но не можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣнія въ нравственной личности автора.

Самъ Бѣлинскій, повидимому, понималъ этотъ смыслъ своего перваго литературнаго шага. Онъ въ той же статьѣ отказывается считать себя литераторомъ и писателемъ, а настаиваетъ на «честномъ и добросовѣстномъ человѣкѣ». И въ качествѣ такового онъ могъ впадать въ самую непосредственную откровенность съ читателемъ, сознаваться ему, что онъ—авторъ—мало знакомъ съ Гёте «по незнанію нѣмецкаго языка».

Это выходило даже трогательно, но, разумѣется, болѣе на общей почвѣ человѣческой честности, чѣмъ писательскаго авторитета.

Такъ и мы должны цѣнить всю статью.

Бѣлинскій еще ищетъ своего пути. Природа снабдила его чуднымъ компасомъ, и рано или поздно поиски непремѣнно приведутъ къ вѣрной цѣли. Но пока молодой критикъ на распутьи,—и это мучительное состояніе будетъ продолжаться нѣсколько лѣтъ.

Руководителя, способнаго указать путь,—нѣтъ на лицо. Учителей сколько угодно; у каждого свой символъ вѣры и въ каждомъ символъ, какъ всегда, имѣется своя привлекательная сторона. Бѣлинскому именно привлекательность должна особенно бросаться въ глаза, потому что для него принципы литературной дѣятельности—основы самой жизни. Онъ не можетъ усаживаться самымъ процессомъ поисковъ, существовать среди утонченно-эпикурейской игры въ діалектику, въ нескончаемое созиданіе и разрушеніе полуистинъ и полузаблужденій. Мы слышали, литература—его призваніе, это значить—его вѣра и религія, и ему, слѣдовательно, нуженъ практическій догматъ, а не чистая теорія.

Естественно, онъ страстно будетъ возставать противъ всяческихъ недомолвокъ и особенно противъ «комплиментовъ и мадригаловъ», т. е. сдѣлокъ и отступленій. Онъ до послѣдняго звена доведетъ философскую идею, именно потому, что ему необходимо указаніе для практическихъ дѣйствій. И друзьямъ-гегельянкамъ стоитъ только сообщить ему общія основы системы,—онъ незави-

симо отъ дальнѣйшихъ внушеній продѣляетъ весь логическій процессъ и самостоятельно придетъ къ тѣмъ самымъ практическимъ приложеніямъ системы, какія будутъ освящены самимъ учителемъ.

Пока онъ держится шеллингъскихъ вдохновеній. Болѣе года спустя послѣ *литературныхъ мечтаній*, мы слышимъ восторженную характеристику чувства изящнаго. Она излагается въ такихъ рѣшительныхъ выраженіяхъ, что не всякій шеллингъонецъ, по крайней мѣрѣ не поэтъ-романтикъ, рѣшился бы на подобный апофеозъ.

Бѣлинскій какъ разъ впадаетъ въ ту самую опасность, на какую указывалъ даже Шиллеръ. Онъ не желаетъ различать границъ эстетическаго и нравственнаго воззрѣнія. По его мнѣнію, «эстетическое чувство есть основа добра, основа нравственности». Но послушайте, что слѣдуетъ дальше, что значить на языкѣ критика. — *изящное*.

Уничтоживъ Сѣверо-Американскіе Штаты за равнодушіе къ изящному, Бѣлинскій продолжаетъ:

«Гдѣ нѣтъ владычества искусства, тамъ люди не добродѣтельны, а только благоразумны, не нравственны, а только осторожны; они не борются со зломъ, а избѣгаютъ его, избѣгаютъ его не по ненависти ко злу, а изъ разсчета. Цивилизація тогда только имѣетъ цѣну, когда помогаетъ просвѣщенію, а, слѣдовательно, и добру—единственной цѣли бытія человѣка, жизни народовъ, существованія человѣчества. Погодите, и у насъ будутъ чугуныя дороги и, пожалуй, воздушныя почты, и у насъ фабрики и мануфактуры дойдутъ до совершенства, народное богатство усилится, но будетъ ли у насъ религіозное чувство, будетъ ли нравственность, вотъ вопросъ! Будемъ плотниками, будемъ слесарями, будемъ фабрикантами, но будемъ ли людьми,—вотъ вопросъ!»

Обратите вниманіе: искусство упоминается лишь въ началѣ рѣчи, дальше оно подмѣняется просвѣщеніемъ, добромъ, религіознымъ чувствомъ, нравственностью, даже просто человѣческимъ званіемъ. Энергичнѣе невозможно разсуждать и дальше идти некуда. Шеллингъ въ искусствѣ видѣлъ самооткровеніе мировой сущности, но что значить эта метафизическая истина съ жизненными, вполне осязательными задачами, возложенными критикомъ на искусство? И теперь посмотрите, какой результатъ, у философа и у моралиста.

Въ области философіи можно безнаказанно дѣлать какія угодно широкія обобщенія и открытія. Все равно это предметъ вѣры и

созерцанія, а не общеубѣдительнаго доказательства. Но разъ открытіе вы совлекли съ неба на землю, вы немедленно предъявите ему неотразимые запросы по части жизненнаго значенія и смысла. Страшная опасность для метафизическаго сооруженія, буквально такая же какъ для развѣнчиваемаго и разоблачаемаго кумира, только-что недосигаемо красовавшагося на пьедесталѣ среди зачарованныхъ идолослужителей.

Бѣлинскій систематически продѣлывалъ этотъ процессъ со всѣми завоеваніями философской діалектики и, конечно, раньше другихъ въ божествѣ открывалъ просто раззолоченнаго истукана.

Открытіе неминуемо должно произойти прежде всего съ идеей изящнаго. Обоющенный романтической таинственной красотой шеллингiana представленія о творчествѣ и творческомъ геніѣ,—Бѣлинскій эстетику возвелъ въ науку наукъ и «единственную цѣлью критики» призналъ «усиліе уяснить и распространить господствующія понятія своего времени объ изящномъ». Дальше оказывается, — это значило удовлетворять общественной «жаждѣ образованности». Сообщать публикѣ «нѣмецкія начала» эстетики и быть «гувернеромъ общества» — одно и то же! <sup>82)</sup>

Достаточно такой постановки вопроса, чтобы предсказать неминуемое крушеніе замысла,—и въ самомъ близкомъ будущемъ.

Для переворота не потребуются никакихъ нарочитыхъ опытовъ, ни практическихъ, ни умственныхъ,—а просто теорію нельзя будетъ сблизить съ жизнью. А это—первостепенная и исконная задача критика. И онъ, въ силу вещей, начнетъ просвѣщать общество не столько нѣмецкими началами, сколько русской дѣйствительностью,—и теоріи, разумѣется, придется отступить на задній планъ, а потомъ и окончательно исчезнуть.

Въ то самое время, когда такъ широкоушительно провозглашалась всеобъемлющая власть изящнаго и нѣмецкихъ теорій,—Бѣлинскій впервые встрѣтился съ самымъ плодотворнымъ своимъ учителемъ, вѣрнѣе, другомъ по сродству душъ, художникомъ-реалистомъ. Этотъ другъ впоследствии затмитъ жизненнымъ смысломъ своихъ произведеній всѣ философскія идолопоклонства Бѣлинскаго. Гоголь — истинный воспріемникъ и двигатель его критическаго генія.

---

<sup>82)</sup> О критикѣ и литературныхъ мнѣніяхъ *Московского Наблюдателя* 1836-й годъ.

## XVIII.

Въ періодъ преклоненія предъ гегельянскимъ ученіемъ о разумной дѣйствительности Бѣлинскій глубоко страдалъ отъ одного неустранимаго противорѣчія. Оно воплощалось въ лицѣ Лермонтова. Критикъ не могъ не поддаваться очарованію этого мощнаго таланта; всякое стихотвореніе Лермонтова было для него праздникомъ и онъ спѣшилъ даже подѣлиться счастьемъ съ своими друзьями. Но одно обстоятельство удручало Бѣлинскаго. Лермонтовъ не только не обнаруживалъ примиренія съ дѣйствительностью, но протестовалъ противъ нея всѣми силами души и таланта.

Это—любопытный фактъ. Онъ показываетъ, какъ трудно было Бѣлинскому правду жизни подчинить логикѣ умозрѣнія. И, если Лермонтовъ вносилъ разладъ въ гегельянство Бѣлинскаго, Гоголь выполнилъ ту же самую роль относительно раннихъ эстетическихъ вѣрованій критика. Художественная основа природы Бѣлинскаго противъ его воли оказывала ему незамѣнимыя услуги на пути также къ полной идейной независимости.

Вѣрный шеллингянецъ—непремѣнно романтикъ, и мы объясняли тѣснѣйшую психологическую и культурную связь между шеллингянствомъ и романтизмомъ. А романтикъ, значить поэтъ высшихъ явленій, пѣвецъ неземной красоты и исключительнаго героизма, и мы видѣли, какъ трудно было русской критикѣ помириться съ мотивами пушкинской поэзіи, слишкомъ мелкими и общедоступными. Реализмъ, какъ литературное направленіе, признавался вполнѣ и безповоротно только Пушкинымъ, т. е. первымъ художникомъ эпохи, критика не успѣла dorости до «фламандскаго сора» и даже устами Полевого все еще только толковала о грандіозности Гюго и Шекспира.

Бѣлинскій, захваченный талантомъ Гоголя,—немедленно присоединилъ свой голосъ къ восторгамъ Пушкина предъ тѣмъ же талантомъ. И въ русской критикѣ впервые появляется *теорія реального искусства*.

Обратите вниманіе—на краснорѣчивое совпаденіе. Въ *Литературныхъ мечтаніяхъ* опредѣлено общее значеніе Пушкина,—спустя нѣсколько мѣсяцевъ, тоже самое—сдѣлано относительно Гоголя. Никакія теоріи не помѣшали и не помогли критику совершить эти два дѣла. И они не были бы совершенны, если бы критикъ

для своихъ сужденій располагалъ только оружіемъ отвлеченной эстетики. Его оригинальное преимущество предъ литературными учителями заключалось въ прирожденной—*чувствуемой* эстетикѣ; и голосъ ея прорывался сквозь чужія авторитетѣйшія рѣчи всякій разъ, когда творческое явленіе своею мощью дѣйствовало на непосредственную воспріимчивость критика.

Было бы въ высшей степени любопытно рѣшить вопросъ, насколько Бѣлинскій былъ знакомъ съ гегельянскою философіей въ моментъ сочиненія статьи *О русской повѣсти и повстаніяхъ Гоголя*?

Статья напечатана въ «Телескопѣ» за 1835 годъ, въ томъ же году нѣсколько позже помѣщенъ переводъ французскаго *Опыта о философіи Гегеля*. Авторъ перевода Станкевичъ. Съ другой стороны, извѣстно, что не Станкевичъ, а Бакунинъ преимущественно просвѣщалъ Бѣлинскаго въ гегельянствѣ, и просвѣщеніе это падаетъ на половину 1837 года. Съ этого времени Бѣлинскій дѣйствительно принимается обожать дѣйствительность и приносить ей самоотверженныя жертвы.

Но если Бѣлинскій въ началѣ 1835 года еще не былъ гегельянцемъ,—то основы для воспріятія ученія о дѣйствительности, несомнѣнно, существовали. И Гоголю, такимъ образомъ, пришлось сыграть двойную роль въ критическомъ развитіи Бѣлинскаго.

Сначала—спокойное творчество и добродушный юморъ по-вѣстей очаровали критика жизненной полнотой и правдой. Бѣлинскому не стоило большихъ усилій—понять слабость шиллеровскаго романтизма именно по части естественности и выйти изъ-подъ вліянія громовыхъ рѣчей Карла Моора и маркиза Позы. Это было дѣломъ простоличнаго умственного и эстетическаго роста критика и ему незачѣмъ было ждать гегелевой дѣйствительности, чтобы разоблачить шиллеровскую мечтательность.

Уже въ *Литературныхъ мечтаніяхъ* Грибоѣдовъ восхваляется за реализмъ его типовъ, Гоголь могъ только повысить тонъ восхваленій и вызвать у критика уже рядъ обобщеній.

Эти соображенія важны не только для оцѣнки критическаго таланта Бѣлинскаго, но и для уясненія его психологической исторіи. Гегельянство явилось для него такой же естественной и неизбѣжной ступенью развитія, какъ и ранніе отголоски фихтианскаго героическаго воззрѣнія на личность, шеллингианскаго ученія объ искусствѣ; Бѣлинскій—юноша непремѣнно долженъ былъ пережить полосу романтизма. Это вытекало изъ самой природы юности и еще болѣе изъ житейскихъ условій. Бѣлинскій—

романтикъ легко, почти безсознательно становился фихтианцемъ въ презрѣніи къ дѣйствительности и въ идеализаціи субъекта и въ тѣхъ же романтическихъ мечтаніяхъ могъ почерпнуть сочувствія шеллингианской эстетики. Она, возвеличивавшая творчество и, слѣдовательно, художниковъ, являлась однимъ изъ приложений ученія Фихте о всемогуществѣ субъекта.

Романтический угаръ смѣнился болѣе спокойной вдумчивостью и отрезвленіемъ чувствъ. Бѣлинскій становился реалистомъ и по своимъ житейскимъ воззрѣніямъ и по своимъ литературнымъ вкусамъ. Дѣйствительность логически выступила на первый планъ и одинъ изъ первыхъ симптомовъ новыхъ настроеній—восторги предъ реальной поэзіей Гоголя.

Но еще полного разрыва нѣтъ съ прошлымъ. Бѣлинскому еще дороги образы, вѣявшіе на него очарованіемъ сверхъестественной силы въ годы ранней молодости. Преклоняясь предъ талантомъ Гоголя, онъ спѣшитъ сказать защитительное слово и въ честь Шиллера. Онъ указываетъ на его искренность и даже глубину мысли. Онъ съ меланхолической улыбкой сожалѣнія провожаетъ въ даль невозвратнаго прошлаго свои вдохновенныя мечты и, приближаясь къ жизненной правдѣ, не можетъ забыть былыхъ наслажденій идеалами.

Это начало поворота на новый путь, первое *распаденіе* въ духовномъ развитіи критика. Бѣлинскій не остановится, потому что не можетъ остановиться,—на половинчатомъ міросозерцаніи. Идеи Гегеля упадутъ на почву вполне подготовленную и въ высшей степени благодарную, потому что онѣ сами по себѣ совпадутъ съ заранѣе совершающимся процессомъ въ умѣ Бѣлинскаго.

Приступая къ разбору произведеній Гоголя, Бѣлинскій задаетъ вопросъ, умѣстный вообще въ устахъ противника фихтианскаго міросозерцанія:

«Развѣ... не всѣ убѣждены, что Божіе твореніе выше всякаго человѣческаго, что оно есть самая дивная поэма, какую только можно вообразить, и что высочайшая поэзія состоитъ не въ томъ, чтобы украшать его, но въ томъ, чтобы воспроизводить его въ совершенной истинѣ и вѣрности?».

Выводъ: «поэзія реальная, поэзія жизни, поэзія дѣйствительности истинная и настоящая поэзія нашего времени. Ея отличительный характеръ состоитъ въ вѣрности дѣйствительности; она не пересоздаетъ жизнь, но воспроизводитъ, возсоздаетъ ее и, какъ выпуклое стекло, отражаетъ въ себѣ, подъ одною точкою зрѣнія,



разнообразныя ея явленія, выбирая изъ нихъ тѣ, которыя нужны для составленія полной, оживленной и единой картины».

Критикъ не отступаетъ предъ «безпощадной откровенностью» искусства, убѣжденъ, что въ поэтическомъ представленіи всякая дѣйствительность прекрасна. Гдѣ истина, тамъ и поэзія, тамъ же и нравственность. «Факты говорятъ громче словъ; вѣрное изображеніе нравственнаго безобразія могущественнѣе всѣхъ выходокъ противъ него».

Это—защита не только реальнаго искусства, но и подлиннаго натурализма, только безъ преднамѣреннаго выбора исключительно отрицательныхъ явленій. Критикъ вообще противъ тенденціозности и притязательности. Онъ предоставляетъ таланту полную свободу и твердо увѣренъ, что талантъ самъ по себѣ и народенъ, и нравствененъ, и полонъ поучительнаго содержанія. Это все та же восторженная вѣра въ незамѣнимыя достоинства творческихъ способностей человѣка. Но критикъ оказался вынужденнымъ сдѣлать оговорку насчетъ *выбора* явленій. Въ высшей степени существенное ограниченіе таланта!

Гдѣ выборъ, тамъ анализъ, разсудокъ, слѣдовательно, *оценка* фактовъ съ точки зрѣнія ихъ нравственнаго достоинства и жизненной значительности. Очевидно, одного вдохновенія недостаточно для созданія «полной, обновленной и единой картины». Въ какой мѣрѣ аналитическая способность должна принимать участіе въ творческомъ процессѣ—вопросъ едва ли разрѣшимый. Даже больше,—врядъ ли возможно съ рѣшительной общеобязательной точностью установить предѣлы естественнаго выбора и преднамѣреннаго подбора. Тамъ, гдѣ для одного художника—непосредственный голосъ его поэтической природы, для другого—уже тенденція. И тотъ же Гоголь, по убѣжденію Бѣлинскаго, спокойный и безпристрастный созерцатель и воспроизводитель дѣйствительности, для остальной современной критики—нарочитый изобразитель всего грязнаго и уродливаго въ русской жизни. И самъ Гоголь будто давалъ право такъ смотрѣть на его, по крайней мѣрѣ, позднѣйшія произведенія.

Вѣдь признавался же авторъ по поводу *Ревизора*, что онъ «рѣшился собрать въ одну кучу все дурное въ Россіи, какое зналъ», всѣ несправедливости и «за однимъ разомъ» посмѣяться надъ всѣми.

Развѣ это не выборъ ради полноты и въ то же время развѣ не откровенное сознаніе въ преднамѣренности?

Очевидно, вопросъ гораздо сложнѣе, чѣмъ онъ представлялся

Бѣлинскому. Въ творчествѣ, точнѣе, въ творческомъ процессѣ заключаются двѣ силы—непосредственныя внушенія дѣйствительности и переработка этихъ внушеній личностью художника. И Бѣлинскій не правъ, приписывая все значеніе самой дѣйствительности, *фактамъ*, реальной истинѣ. Такая идея не далеко отъ того, что тотъ же Гоголь называлъ *проступкомъ*, т. е. отъ «рабскаго буквального подражанія природѣ». Бѣлинскій прекрасно усвоилъ шеллингянское представленіе о художественномъ творчествѣ, тождественномъ съ процессомъ мірового развитія: безцѣльность съ цѣлью, безсознательность съ сознаниемъ. Геній, какъ и природа, дѣйствуетъ безсознательно, но результаты дѣятельности являются цѣлесообразными.

Это въ высшей степени увлекательная философія,—поэтическая и величественная,—но въ ней не раскрывается *психологическая тайна творчества*. О *сознаніи* природы мы не имѣемъ никакого опредѣленнаго представленія, между тѣмъ какъ та же способность—основная сила нравственнаго міра человѣка. И нѣтъ даже логическаго основанія, не только опытнаго,—отождествлять *міровой процессъ съ субъективнымъ*—психологическій процессъ съ органическимъ и на этомъ отождествленіи строить практическіе выводы, распространяющіеся на человѣческую дѣятельность.

Для такихъ выводовъ необходимо безусловно выйти изъ предѣловъ метафизики и исключительно у психологіи искать требуемыхъ отвѣтовъ.

Бѣлинскій, напримѣръ, въ той же статьѣ о Гоголѣ и по поводу все той же безцѣльности и безсознательности припоминаетъ *Горе отъ ума*: по *чистѣйшей нравственности* эта комедія стоитъ рядомъ съ «спокойнымъ юморомъ» Гоголя. Такова мысль критика.

Но всякому ясно, какая громадная разница въ *настроеніяхъ* Грибоѣдова, создававшего Чацкаго,—и Гоголя, живописавшаго старосвѣтскихъ помѣщиковъ или поручика Пирогова. Гоголь только подъ конецъ жизни, когда онъ задался открыто проповѣдническими цѣлями, принялся сочинять монологи для своихъ героевъ, но отъ собственного лица.

Какъ же теперь разграничить преднамѣренность и сознательность? Никакая эстетика не рѣшитъ этого вопроса и онъ всякій азъ рѣшается *эмпирически*, т. е. для каждаго случая отдѣльно. Единственный, по нашему мнѣнію, общій выводъ возможенъ только въ общей психологической формѣ: идеальная художественная приода—гармоническое сліяніе творческихъ силъ съ нравственнымъ

міросозерцаніємъ, соотвѣтствіе способности наблюдать и воспринимать—силѣ анализировать и понимать, видѣть и постигать, воспроизводить и осмысливать—вотъ высшая цѣль человѣческаго духа и, слѣдовательно, поэтическаго таланта. Въ результатѣ истина творческихъ образовъ по преимуществу будетъ зависѣть отъ того свойства художника, какое Бѣлинскій выражаетъ непреводимымъ французскимъ словомъ—*concevoir*, отъ воспріятія, *значительность* произведенія отъ того, что критикъ называетъ *выборомъ*, сознательностью. Но только сознательность эта простирается гораздо дальше, чѣмъ думаетъ Бѣлинскій, дальше желанія воспроизвести произвольно воспринятую идею. Писатель сознательнѣе не потому только, что у него достаточно воли сѣсть за столъ и закрѣпить перомъ на бумагѣ свое «таинственное ясновидѣніе», свой «поэтический сомнамбулизмъ», какъ выражается критикъ. Выборъ долженъ быть направленъ и у высшихъ творческихъ организацій необходимо на самыя явленія, на содержимое сомнамбулизма,—и именно результатъ выбора свидѣтельствуетъ о глубинѣ вдумчивости, анализа, силы—критикующей и оцѣнивающей.

Въ зависимости отъ этого взгляда мѣняются и задачи критики.

Бѣлинскій, оставаясь на чисто-философской почвѣ художественнаго созерцанія, упорно продолжаетъ считать обязанностью русскаго критика—«распространять въ своемъ отечествѣ извѣстныя основныя понятія объ изящномъ». Его гипнотизируетъ высшее метафизическое представленіе о *творчествѣ* и онъ только случайно и невольно оговаривается насчетъ другихъ духовныхъ способностей, не менѣе необходимыхъ генію, чѣмъ и простому смертному.

Эта односторонность выводила изъ терпѣнія даже Боткина. Онъ негодовалъ, что Бѣлинскій «крѣпко сидитъ на художественности», и находилъ, что «отъ этого его критика еще далеко не имѣетъ той свободы, оригинальности, того простого и дѣльнаго взгляда, къ которымъ онъ способенъ по своей природѣ».

Дальше Боткинъ выражается еще энергичнѣе противъ силы, порабовавшей богатую природу Бѣлинскаго: «нѣмецкія теоріи чуть не убили здравый смыслъ въ нашей критикѣ» <sup>82)</sup>.

Мы видѣли,—Бѣлинскому удавалось весьма ярко проявлять этотъ смыслъ съ самаго начала. Теоріи не помѣшали критику провозгласить Гоголя истиннымъ поэтомъ и распознать основную силу

<sup>82)</sup> *Анненковъ и его друзья*, стр. 527.

его таланта. Природа Бѣлинскаго не замолкала при самомъ настоячивомъ шумѣ теорій. Ей теперь предстоитъ самое тяжелое испытаніе, потому что теорія на первыхъ порахъ какъ будто совпадетъ съ «здравымъ смысломъ» и пойдетъ на встрѣчу естественнымъ запросамъ самой природы. Бѣлинскій находится въ періодѣ излѣченія отъ собственнаго поэтического сомнамбулизма; положительный умъ беретъ верхъ надъ туманными внушеніями чувства; правда и сила жизни борется съ блескомъ и тщетой воображенія.

И какой же увлекательной желанной гостьей должна показаться философія, возводящая въ перлъ созданія эту правду и силу, философія дѣйствительности!

### XIX.

Въ маѣ 1835 года Надеждинъ вышелъ изъ университета и собрался ѣхать за границу. На время отсутствія онъ передалъ заведываніе *Телескопомъ* и *Молвой* Бѣлинскому. Молодой редакторъ рассчитывалъ на помощь друзей и, мы знаемъ, — обманулся въ ней. Станкевичъ даже прямо писалъ: «разумѣется, я не стану тратить времени на *Телескопъ*» и отводилъ для него «два-три часа свободныхъ» по воскресеньямъ. Но, очевидно, и эти часы заполнялись другими заботами, рѣже всего журнальными.

Бѣлинскому пришлось работать за всѣхъ. Задача усложнялась еще матеріальными условіями изданія. Надеждинъ не выполнилъ своихъ обязательствъ предъ подписчиками и его замѣстителю приходилось одновременно издавать запоздавшія книжки и готовить матеріалъ для будущихъ.

Всѣ старанія не могли увѣнчаться успѣхомъ. Бѣлинскій издалъ только половину книжекъ, и Надеждинъ, вернувшійся изъ за границы, свидѣтельствовалъ подписчикамъ, что это обстоятельство совершенно не зависѣло отъ редакціи, т. е. отъ Бѣлинскаго <sup>44)</sup>.

Новая редакція начала дѣйствовать, вѣроятно, немедленно послѣ выхода пятой книги журнала за 1835 годъ. Эта книга разрѣшена цензурой 17-го мая и въ этомъ мѣсяцѣ Надеждинъ уѣхалъ изъ Москвы. Мы, слѣдовательно, можемъ точно опредѣлить направление редакторской дѣятельности Бѣлинскаго.

Несомнѣннымъ выраженіемъ сочувствій редакціи и ближайшихъ сотрудниковъ является статья о философіи Гегеля, напеча-

<sup>44)</sup> Отъ издателя, 26 октября 1836 года. *Телескопъ* № 24.

танная въ концѣ 1835 года. Это довольно поверхностное произведение должно было имѣть значеніе не только для журнала, но и для самого редактора.

Мы знаемъ, съ какой страстью изучалась нѣмецкая философія въ Москвѣ. Гегельянству принадлежало первое мѣсто въ этомъ усердіи русской молодежи. Герценъ рассказываетъ: «Всѣ ничтожнѣйшія брошюры, выходившія въ Берлинѣ и другихъ губернскихъ и уѣздныхъ городахъ нѣмецкой философіи, гдѣ только упоминалось о Гегелѣ, выписывались, зачитывались до дыръ, до пятенъ, до паденія листовъ въ нѣсколько дней» <sup>85)</sup>.

Но подобная храбрость не могла осуществляться всѣми, кто жаждалъ истины. Легко было Станкевичу и Бакунину разсчитывать свои часы на свободные и не свободные, утопать въ діалектическихъ омутахъ и въ выпренныхъ полетахъ въ нездѣшній міръ,—Бѣлинскому была рѣшительно не доступна эта роскошь. Не могъ онъ соревновать и Герцену, почувствовавшему желаніе «ex ipsa fonte bibere» пить изъ самого источника. Оставалось слушать пріятелей, да читать переводныя статьи.

И статья Вильма, переведенная Станкевичемъ, имѣла для Бѣлинскаго большой смыслъ: была однимъ изъ «источниковъ».

Отсюда онъ узнавалъ, что цѣль современнаго поколѣнія создать церковь рядомъ съ государствомъ. Гегель это объясняетъ такъ:

«Всемирный духъ въ послѣднія времена былъ слишкомъ занятъ дѣйствительностью, чтобы войти въ себя и сосредоточиться; теперь, когда нѣмецкая нація возвратила свою національность, основаніе всякой живой жизни, мы можемъ надѣяться, что рядомъ съ государствомъ возникнетъ и церковь, что, заботясь о царствѣ міра сего, снова помыслить и о царствіи Божіемъ; другими словами, что, рядомъ съ политическими интересами и повседневною дѣйствительностью, процвѣтетъ, наконецъ, наука, свободный и рациональный міръ ума».

Гегель шелъ дальше, по пути отреченія отъ внѣшняго міра во имя философскаго самоуглубленія. Онъ требовалъ *отлеченія* отъ всякаго бытія, непосредственно даннаго человѣку, ищущему истины: необходимо отказаться отъ самого себя, заставить умолкнуть всѣ свои чувства. Дорога длинна и утомительна, но счастливыцы возвращаются изъ путешествія полныя вѣры.

Гегель и сливалъ свою философію съ религіей. Поглощая въ

<sup>85)</sup> *Былое и думы*, VII, 121.

новой системѣ всѣ предшествовавшія ученія, какъ подготовительныя стадіи, онъ притязалъ на окончательную высшую истину. Исторія философіи—развитіе самосознанія духа, гегельянство—вѣнецъ этого пути и послѣднее звѣно въ великой цѣпи идей и міровоззрѣній.

Гегельянство, не личный вымыселъ философа, не плодъ его творчества и разума, а логическій и естественный результатъ многовѣкового движенія человѣческой мысли. Гегель только истолкователь процесса и его завершенія. Его система, слѣдовательно, одновременно и непогрѣшимо-разумна, какъ наука, и общеобязательна, какъ религія. Съ одной стороны это—послѣдняя всеобъединяющая глава въ исторіи философіи, съ другой, безусловная практическая истина, предметъ вѣры и принципъ жизни.

Въ послѣднемъ значеніи гегельянство и должно было собрать вокругъ себя всѣхъ, кто искалъ нравственной и вдохновляющей опоры для своего существованія. До Гегеля успѣли другіе предложить разныя системы философской и даже научной религіи и русское юношество уже считало въ своей средѣ служителей сенсимоновской церкви и горячихъ исповѣдниковъ шеллингянства. Менѣе прочнымъ изъ двухъ культовъ оказалось шеллингянство еще въ толкованіяхъ учителя затерявшееся въ туманѣ лирической метафизики и романтическаго символизма. Для сенсимонизма требовалась особая нравственная почва,—съ рѣзко развитыми политическими и социальными инстинктами. Сенсимонизмъ—философія отъ начала до конца преобразовательная, протестующая и совершенствующая практически, въ непосредственномъ столкновеніи съ повседневной дѣйствительностью.

Въ началѣ XIX-го вѣка сенсимонизмъ и во Франціи нашелъ крайне ограниченный кругъ послѣдователей. Только послѣ реставраціи, во времена іюльской монархіи,—идеи школы стали распространяться и постепенно входить въ политическія программы.

Естественно,—въ Россіи еще менѣе было данныхъ для прививки сенсимонистскихъ сѣмянъ. Большинству гораздо привлекательнѣе казалось совершенно противоположное ученіе, свободное отъ всякаго революціоннаго и отрицательнаго наслѣдія восемнадцатаго вѣка и проникнутое успокоительнымъ оптимизмомъ и примиряющими запросами къ дѣйствительности и человѣческой личности.

Въ политическомъ отношеніи гегельянство явилось однимъ изъ симптомовъ нравственной усталости и общественной реакціи эпохи, слѣдовавшей за разрушительной работой просвѣтителей и рево-

люціонероувъ. Вся метафизическая часть системы Гегеля совершенно бгѣднѣла предъ этимъ ея непосредственно-жизненнымъ смысломъ.

Гегель началъ съ призыва отрѣшиться отъ мелкой будничной дѣйствительности и уже этотъ призывъ былъ реакціей предыдущей дѣятельной полосоу германской общественности. Дальше Гегель вводилъ своихъ слушателей въ созерпаніе діалектическаго развитія духа, гдѣ одинаково все необходимо, все форма истины, все, слѣдовательно, разумно. Такъ въ популярной формѣ ученики понимали учителя. Отсюда еще болѣе популярный выводъ: всякій фактъ имѣетъ свое мѣсто въ міровомъ процессѣ, свою дѣйствительность, т. е. свою разумность.

Можно было, конечно, оговориться, какъ въ послѣдствіи и дѣлалъ Бѣлинскій, не все то разумно, что дѣйствительно, — но *практически* эта оговорка имѣла чисто индивидуальный смыслъ. Кто могъ опредѣлить точную мѣру *разумной дѣйствительности* въ каждомъ отдѣльномъ приложеніи идеи къ наглядной дѣйствительности?

Опредѣляя исторію философіи, какъ постепенное развитіе одной и той же философіи, какъ откровеніе одной и той же истины, Гегель различаетъ идеи отъ ихъ историческихъ формъ. По мнѣнію философа, если *очистить* основныя начала системъ, являющихся въ исторіи, отъ всего, что принадлежитъ внѣшней ихъ формѣ и частному примѣненію, то получатся различныя степени абсолютной идеи, т. е. идеи опредѣляемой логически.

Но очевидно, этому процессу очищенія, выдѣленія идеи отъ случайныхъ наслоеній должно предшествовать точное познаніе самой идеи. Историкъ заранѣе долженъ ясно представлять предметъ своихъ поисковъ, иначе онъ не отличить безусловнаго отъ случайнаго.

И самъ Гегель эти поиски сравниваетъ съ сужденіями о человѣческихъ дѣйствіяхъ. Чтобы судить о нихъ, надо имѣть понятіе о справедливости и долгѣ.

Теперь представляется вопросъ, — откуда же получается познаніе абсолютной идеи, если оно должно предшествовать изученію ея историческаго откровенія? Оно — плодъ діалектически-развивающагося разума. Но не отъ этого «міроваго духа» зависитъ отличить идею отъ формы, а отъ личнаго разума философа.

Ясно, слѣдовательно, что тотъ или другой приговоръ надъ *историческимъ* проявленіемъ истины зависитъ отъ такихъ же «случайностей», какія сопровождаютъ воплощеніе идеи въ извѣстныхъ формахъ, и положеніе: *что дѣйствительно, то разумно* — или имѣетъ

безчисленное множество индивидуальных толкований или одно, гдѣ историческое проявленіе идеи сливается съ ея логической сущностью.

Такъ это и вышло въ практическихъ выводахъ самого Гегеля.

Его нѣмецкій биографъ Гаймъ—называетъ гегельянство «философіей реставраціи», и Гайму рѣдко приходилось на своемъ вѣку давать столь мѣткія опредѣленія. Гегель не только отлично уживался съ прусской реакціей первой четверти нашего вѣка, но быстро стяжалъ положеніе государственнаго философа и завѣдомаго діалектическаго первосвященника всѣхъ догматовъ, какіе будетъ угодно провозгласить прусскому правительству.

Эта карьера не представляла ничего неожиданнаго. Гегель отъ природы былъ совершенно лишенъ того, что именуется политическимъ чувствомъ и гражданскимъ достоинствомъ. Онъ даже Гёте далеко оставилъ за собой по части косности и равнодушія къ судьбѣ Германіи въ эпоху освободительной борьбы съ Наполеономъ. Въ то время, когда страна напрягала всѣ силы—сломить постыдное иго, Гегель восторгался демоническимъ положеніемъ Наполеона и недовѣрчиво остригъ надъ нѣмецкими мечтами объ освобожденіи.

У философа, очевидно, не было отечества въ современной дѣйствительности; онъ нашелъ его нѣсколько лѣтъ спустя, когда патристическій голосъ Фихте потребовалось замѣнить изліяніемъ чиновничьихъ чувствъ по торжественнымъ случаямъ.

Гегель оказался чрезвычайно талантливымъ истолкователемъ прусскихъ порядковъ, вдохновленныхъ меттерниховскими конгрессами. Гегель не отступалъ и предъ прямыми личными нападками на людей независимыхъ и мечтательнаго направленія сравнительно съ прусской философіей субординаціи. У Гегеля также былъ свой культъ личной силы и оригинальности, но только официально призванной проявлять свое могущество.

Бонапартистскіе инстинкты, общіе у Гегеля съ Гёте, остались до конца и находили удовлетвореніе въ маленькихъ бонапартахъ нѣмецкой крови. Для этихъ господъ особенно было цѣнно, что профессоръ берлинскаго университета всегда умѣлъ подыскать философскую подоплеку ихъ задушевнымъ думамъ. Если Фихте создалъ философію субъективизма съ цѣлью поднять и воодушевить униженную Германію, у Гегеля имѣлся въ распоряженіи настоящій философскій камень, именуемый разумной дѣйствительностью и способный мѣнять цвѣта и оттѣнки отъ предѣловъ абсолютной идеи вплоть до полицейскаго гоненія вообще на идеи.



Такъ Гегель самъ истолковалъ свою философію, какъ практическое ученіе. И при всей разрушительности діалектическаго метода, темнотѣ и двусмыслии терминовъ, неуловимой софистикѣ общихъ выводовъ,—такое именно толкованіе, очевидно, являлось самымъ достовѣрнымъ и экскурсія учениковъ по другимъ направленіямъ были достояніемъ ихъ юношеской стремительности, легковѣрія или просто неразумія.

Ничей авторитетъ никогда такъ быстро и безнадежно не падалъ, какъ авторитетъ Гегеля. Только мыслители въ родѣ Тэна все еще томились надъ давно загнившимъ и распавшимся сооруженіемъ. Но и теперь гегельянство, какъ практическое воззрѣніе, стояло за себя. Если судить по восторгамъ Тэна предъ произведеніями Гегеля, Франція нѣмецкому философу обязана воспитаніемъ одного изъ самыхъ слѣпыхъ реакціонеровъ и ограниченныхъ мыслителей второй половины нашего вѣка.

Мы видѣли, чѣмъ было гегельянство для прекрасныхъ душъ въ родѣ Станкевича,—тѣми же гармоническими напѣвами о мирѣ и созерцаніи, какіе звучали въ меланхолическихъ стихотвореніяхъ нѣмецкой музы въ родѣ *Резиньяции*, *Баллады*. Другого искалъ Бѣлинскій. Его томила жажда по такой истинѣ, какую можно бы поставить въ основу кипучей дѣятельной жизни и въ то же время съ уравновѣшенными, освѣженными силами идти своимъ путемъ наперекоръ всѣмъ мнимымъ истинамъ и очевиднымъ обманамъ.

Бѣлинскому нужно было одновременно и успокоиться отъ своихъ безплодныхъ романтическихъ покушеній на могущественнаго духа земли и приготовиться къ борьбѣ за какой-либо догматъ, за высшую правду. Для его ближайшихъ друзей гегельянство—лишняя принадлежность ихъ богатаго житейскаго комфорта, для него—источникъ вдохновенія, новаго безпокойства; тамъ—доминирующая нота къ усладительной симфоніи, здѣсь—воинственный призывъ.

И пока Бакуинъ и Станкевичъ будутъ сладостно опутывать свои мысли и чувства тонкой калейдоскопической паутиной безконечной діалектики, скупать, по словамъ Герцена, брошюры уѣздныхъ и губернскихъ нѣмецкихъ гегельянцевъ и смаковать ихъ на невозмутимомъ барствennomъ досугѣ,—Бѣлинскій успѣетъ вывести учителя на чистую воду.

Герценъ напрасно съ нѣкимъ изумленіемъ передаетъ свою бесѣду съ Бѣлинскимъ насчетъ крайнихъ выводовъ, сдѣланныхъ критикомъ, изъ гегелевскихъ положеній. Бѣлинскій подтвердилъ

самое, по мнѣнію своего собесѣдника, невѣроятное предположеніе и прочелъ ему *Бородинскую годовщину* Пушкина.

Отвѣтъ Бѣлинскаго былъ точнымъ воспроизведеніемъ тѣхъ самыхъ умозаключеній, какія сдѣлалъ самъ Гегель въ качествѣ политическаго мыслителя, и Бородинскія статьи писались въ строгомъ духѣ гегельянскаго государственнаго ученія.

Если Герценъ считалъ выводъ Бѣлинскаго неправильнымъ, видѣлъ явную непослѣдовательность, онъ долженъ бы раскрыть ее Бѣлинскому. Этого не было сдѣлано въ-время, не произошло и позже, когда Герценъ приписывалъ одному изъ произведеній Гегеля—*Феноменологии духа*—чрезвычайное вліяніе на складъ истинно-современнаго человѣка. Краснорѣчивая фраза не сопровождалась никакими реальными доказательствами. Правда, тѣновскій лиризмъ также чисто словесный, но тамъ всякому ясно, въ чемъ тайна восторга: Гегель обѣими руками могъ бы подписаться подъ революціонной исторіей Тэна. Герценъ—человѣкъ другой планеты сравнительно съ французскимъ историкомъ, отчего же ему было не раскрыть глаза Бѣлинскому на другіе идеальные предѣлы гегельянства, чѣмъ Бородинскія статьи?

Еще удивительнѣе положеніе Бакунина.

Этотъ первоучитель гегельянства обратился къ компромиссу, по словамъ Герцена, хотѣлъ *заговорить* обоихъ противниковъ его, Герцена и Бѣлинскаго. Подобный пріемъ еще менѣе могъ оспенить «неистоваго Виссаріона».

И опять напрасно Герценъ статью Бѣлинскаго *Бородинская годовщина* называетъ «яростнымъ залпомъ»—по нимъ—либерально-мыслившимъ философамъ. «Я прервалъ тогда съ нимъ всѣ сношенія», прибавляетъ Герценъ. Это также не было убѣдительно для Бѣлинскаго.

Въ результатѣ онъ предоставленъ самому себѣ, своей вѣчно работающей мысли. Бородинскія годовщины явились отнюдь не преднамѣренной вылазкой противъ враговъ, а страстной, лично необходимой исповѣдью возбужденной души.

## XX.

Бѣлинскій первый періодъ своей дѣятельности называетъ «тескопскимъ ратованіемъ». Это—точная характеристика чрезвычайно энергичныхъ статей критика. Онъ вполне оправдалъ надежды Полевого и Лажечникова и менѣе чѣмъ за два года успѣлъ

вызвать страстные отклики—вражды и восторга. Врагамъ оказалось совершенно не подъ силу бороться съ Бѣлинскимъ литературными средствами. *Литературныя мечтанія*, при всѣхъ противорѣчяхъ и неясностяхъ, ошеломили петербургскихъ и московскихъ журналистовъ невиданной внутренней силой и ослѣпительнымъ блескомъ формы. Впослѣдствіи даже такой солидный и сдержанный ученый, какъ Гротъ, принужденъ будетъ признать въ статьяхъ Бѣлинскаго «душу» <sup>86)</sup>, а будущій журналъ Плетнева *Современникъ* уже теперь спѣшитъ выделить новоявленного критика изъ сонмища остальныхъ ненавистныхъ ему журналистовъ.

Въ журналѣ появляется письмо въ редакцію, несомнѣнно, съ вѣдома, а можетъ быть и по внушенію Пушкина. Бѣлинскій въ первой своей статьѣ готовъ былъ прогнать отходную пушкинскому творчеству, но здѣсь же давалъ такую блестящую аттестацію таланту поэта, что Пушкинъ не могъ не почувствовать новаго слова въ страстныхъ изліяніяхъ критика. И будто въ отвѣтъ на нихъ явилось *Письмо къ издателю*.

Оно первое опредѣляло значеніе критическаго дарованія Бѣлинскаго, и Пушкинъ, первый привѣтствуя геній Гоголя, имѣетъ право считать за собой, по крайней мѣрѣ, косвенную заслугу—самой ранней оцѣнки первостепеннаго русскаго критика.

Неизвѣстный корреспондентъ, возражая на статью Гоголя *О движеніи журнальной литературы*, писалъ:

«Жалѣю, что вы, говоря о *Телескопѣ*, не упомянули о г. Бѣлинскомъ. Онъ обличаетъ талантъ, подающій большую надежду. Если бы съ независимостью мнѣній и съ остроуміемъ своимъ соединялъ онъ болѣе учености, болѣе начитанности, болѣе уваженія къ преданію, болѣе осмотрительности,—словомъ, болѣе зрѣлости: то мы бы имѣли въ немъ критика весьма замѣчательнаго» <sup>87)</sup>.

Бѣлинскій шелъ къ указаннымъ цѣлямъ. Учености онъ стремился удовлетворить возможно основательнымъ знакомствомъ съ послѣднимъ словомъ германскаго любомудрія; уваженіе къ преданію должно было дойти до крайнихъ предѣловъ въ прямой зависимости отъ только что прибрѣтенной учености.

«Телескопское ратованіе» прекратилось вмѣстѣ съ *Телескопомъ*, и Бѣлинскій нѣкоторое время оставался не у дѣлъ. Попытки пристроиться къ петербургскимъ изданіямъ не увѣнчались успѣхомъ;

<sup>86)</sup> *Переписка*, I, 376.

слишкомъ ретиво стоялъ молодой писатель за независимость своихъ мнѣній и, естественно, внушалъ оторопь издателямъ и редакторамъ. Съ начала 1838 года открывается новое поприще. *Московский Наблюдатель* отпѣтаетъ, не успѣвши раздѣлѣть и, мы знаемъ, Бѣлинскій съ своей стороны пробилъ немалую брешь въ шаткомъ основаніи шевыревскаго органа. Единственнымъ спасеніемъ явился грозный врагъ,—и Бѣлинскій становится редакторомъ *Наблюдателя*.

Критикъ успѣлъ окончательно установиться на литературномъ пути, тщательно обдумать программу дѣйствій и опредѣлить цѣли.

Программа и цѣли не новыя въ исторіи русской критики. Мы встрѣчали ихъ у перваго поколѣнія философовъ. Шеллингянцы рассчитывали путемъ періодической печати преобразовать критику на философскихъ основахъ. То же самое задумываетъ Бѣлинскій, только вмѣсто Шеллинга вдохновителемъ его будетъ Гегель, и въ первой же книгѣ, вышедшей подъ новой редакціей, появляется манифестъ въ формѣ предисловія къ переводу гимназическихъ рѣчей Гегеля.

Выборъ этихъ произведеній для перевода представляется въ настоящее время по меньшей мѣрѣ страннымъ. Онъ показываетъ, до какой степени самоотверженно русскіе гегельянцы, по крайней мѣрѣ, въ медовый мѣсяцъ увлеченія, вѣрили словами учителя. И что особенно любопытно: выборъ сдѣланъ Бакунинымъ, наименѣе смиреннымъ диалектикомъ въ кружкѣ Станкевича.

Гегель говорилъ рѣчи на гимназическихъ актахъ въ качествѣ официального панегириста начальству и успѣхамъ заведенія, и весь текстъ представляетъ курьезную смѣсь изъ казенныхъ банальностей и специально гегельянскихъ изворотовъ по части превращенія данной случайной дѣйствительности въ разумную.

Оратору, великому поклоннику античнаго міра, предстоитъ философски объяснить необходимость изученія древнихъ языковъ и въ особенности грамматики.

Достигается эта цѣль самымъ необыкновеннымъ путемъ и въ то же время весьма граціозно. По мнѣнію Гегеля,—«чуждое и отчужденное имѣетъ въ себѣ что-то сильно привлекательное и притягиваетъ насъ къ старанію и труду». Съ другой стороны, «юность» всегда стремится вдаль, напримѣръ, на Робинзоновъ островъ. Отсюда для философа ясный выводъ: «Заблужденіе, которое застав-

<sup>81)</sup> *Современникъ*, III, стр. 327—8.

ляетъ ее (юность) искать глубокаго въ отдаленномъ, необходимо, и потому степень прибрѣтенной нами глубины и силы соразмѣрна степени нашего отдаленія отъ того центра, въ которомъ мы прежде жили и къ которому снова стремимся».

На основаніи этого «центробѣжнаго стремленія души» и долженъ открыться юношамъ новый дальній міръ, т. е. міръ и языки древнихъ.

Слушатели могли бы спросить, почему же не выбрать міръ еще болѣе дальній, чѣмъ греческій и римскій, — на примѣръ индусскій, ассирійскій, египетскій? Вѣдь тогда «степень прибрѣтенной глубины и силы» въ зависимости отъ нашего «отдаленія» поднимется еще выше? Отвѣта нѣтъ и не будетъ до тѣхъ поръ, пока начальству не вздумается ввести въ гимназіи санскритъ.

Философская защита механическаго зубренія въ своемъ родѣ верхъ совершенства. Мы должны знать ее, чтобы во всей красотѣ представилось намъ діалектическое искусство Гегеля и поразительная непритязательность его послѣдователей.

«Когда мы приложимъ», продолжаетъ Гегель, «къ изученію древнихъ языковъ эту всеобщую необходимость, заключающую въ себѣ какъ древній міръ представленій, такъ и языки ихъ, то мы увидимъ, что и механическая сторона этого изученія не есть необходимое зло, какъ обыкновенно думаютъ, но что оно важно и полезно само по себѣ, потому что это механическое есть для духа то чуждое, къ которому онъ стремится; это есть неудобоваримая пища, полагаемая въ него, для того, чтобы оживить и одухотворить въ немъ то, что въ немъ еще безжизненно, и для того, чтобы превратить эту непосредственную сторону его существованія въ его собственность».

Вы видите неудобоваримая пища по мановенію философа становится источникомъ жизни и развитія наперекоръ всѣмъ стихіямъ, кромѣ діалектики.

Съ такой же находчивостью въ другой рѣчи философъ постигъ на встрѣчу введенію въ школы «воинскихъ упражненій». Достаточное основаніе и для этой разумной дѣйствительности такое: «эти упражненія уже и по тому одному важны, что могутъ служить средствомъ къ образованію. Эти упражненія, приучающія быстро схватывать, быть всегда въ присутствіи своего смысла, исполнять съ точностью приказанное безъ всякихъ предварительныхъ разсужденій, есть самое прямое средство противъ дряблости и разсѣянности духа, которыя требуютъ времени для того, чтобы

сообразить слышанное, и еще болѣе времени для того, чтобы перевести въ дѣйствіе вполнѣ понятое».

Дальше развивается вообще идея—«не смѣть свое сужденіе имѣть» ученикамъ и вообще подчиненнымъ, сочувственно припоминается дисциплина пнеагоровскихъ учениковъ, обязанныхъ молчать въ теченіе первыхъ четырехъ лѣтъ ученія. Ораторъ противъ «простога затверживанія на память», но въ то же время безусловно за искорененіе самостоятельныхъ мыслей въ юношествахъ.

Философъ все время говорилъ по собственному опыту, и объ исполненіи приказаній безъ разсужденій, и о философствованіи по командѣ. Если бы начальству вздумалось ввести въ школы тѣлесныя наказанія, Гегель навѣрное не растерялся бы и при этой оказіи и нашелъ бы въ розгахъ нѣчто въ родѣ противоядія отъ той же «дряблости и разсѣянности духа».

И такая философія предлагалась русской публикѣ, какъ образецъ мудрости и высшаго откровенія!

Предисловіе, принадлежащее переводчику, гораздо содержательнѣе и любопытнѣе рѣчей учителя. Правда, языкъ оставляетъ желать многого: это признавала и редакция журнала. Но основныя идеи практическаго гегельянства выяснены вполнѣ удовлетворительно и Бѣлинскій примется усердно воспроизводить ихъ въ своихъ произведеніяхъ.

Совпаденіе идей и даже выраженій въ письмахъ и въ статьяхъ критика съ предисловіемъ—часто поразительное. Очевидно, Бѣлинскій былъ благодарнѣйшимъ ученикомъ Бакунина и не боялся укоризны въ повтореніи чужихъ словъ.

Бакунинъ возстаетъ противъ субъективныхъ системъ Канта и Фихте, противъ отвлеченнаго, пустого я, противъ эгоистическаго самосозерцанія и «разрушенія всякой любви». Это чувствительная подмѣна философскаго понятія этическимъ имѣетъ большое значеніе для настроеній и умственнаго процесса нашихъ философовъ. Они не только признаютъ дѣйствительность, они обожаютъ ее, они, по словамъ Бѣлинскаго «трепещутъ таинственнымъ восторгомъ, сознавая ея разумность». Они не только допускаютъ «пошлыхъ людей», они, по выраженію того же Бѣлинскаго, *любятъ ихъ объективно*, «какъ необходимыя явленія жизни».

Философія превращается въ поэзію и религію, идея въ чувство, діалектика въ лирическій гимнъ.

Бакунинъ подвергаетъ критикѣ Шиллера, какъ прекраснодушнаго поэта субъективности, какъ автора драмъ, возстающихъ про-

тивъ общественнаго порядка. Для нашего гегельянца безразлично, противъ какого порядка возставагъ поэтъ: Бакунинъ называетъ, наприимѣръ, *Коварство и любовь*: здѣсь, повидимому, можно бы пошадить шиллеровскій протестъ, какъ нѣчто достаточно разумное. Но самая идея протеста не переносима для философа, и онъ спокойно раздѣляется съ юней Германіей двумя-тремя сильными словцами,—«смѣшныя», «дѣтскія фантазіи». Это потому, что юная Германія не желала спокойно сидѣть въ цѣпяхъ и казематахъ Меттерниха и поощряемыхъ имъ бурбоновъ и бонапартовъ.

Естественно, Бакунинъ всѣми силами обрушивается на Францію за ея литературу XVIII-го вѣка, за ея революцію, за ея романтизмъ и въ особенности за ея войну съ «христіанствомъ». Авторъ и здѣсь пишетъ широкими мазками, не желая знать крупнѣйшихъ отгѣнковъ: ему все равно, воевалъ ли Вольтеръ противъ христіанства, или только противъ римскаго католичества. Ему также безразлично, какъ относился Сентъ-Симонъ къ христіанству и различалъ ли онъ евангеліе отъ того же католичества и протестанства. Намъ извѣстно, что различалъ и весьма тщательно, но для ретиваго врага всякаго человѣка, кто иначе мыслить, это безразлично. Безъ всякихъ затрудненій онъ ужъ кстати произнесетъ приговоръ вообще Франціи, безнадежно томящейся своей «пустотой». У нея нѣтъ «безконечной субстанціи», и поэтому у французовъ философія превращается въ пустыя бессмысленныя фразы и въ страпаніе новыхъ идеекъ.

Бѣлинскій отвѣтитъ на этотъ воинственный кличъ безусловнымъ отрицаніемъ у французовъ вообще искусства; у нихъ могутъ быть литераторы, стихотворцы, искусники, риторы, декламаторы, фразеры,—только не художники и поэты, по очень простой причинѣ: французы лишены отъ природы чувства изящнаго. Не пропустить критикъ безъ должной отповѣди и французскаго легкомыслія,—все будетъ выполнено по программѣ. Буквально будетъ воспроизведенъ и ея основной параграфъ общественнаго содержанія.

Бакунинъ и въ стихахъ и въ прозѣ докажетъ слѣдующее положеніе:

«Дѣйствительность всегда побѣждаетъ, и человѣку остается или помириться съ нею и сознать себя въ ней и полюбить ее, или самому разрушиться».

Наконецъ, была дана и тема Бородинскихъ статей во всей своей полнотѣ. Предисловія заканчиваются обращеніемъ къ публикѣ въ проповѣдническомъ тонѣ, и Бѣлинскому оставалось только

брать эпитафии и девизы изъ этой лирической рѣчи. Онъ такъ и поступилъ, вызвавъ совершенно неожиданно для самого себя и для насъ,—испугъ у своего прорицателя:

«Счастье не въ призракахъ, не въ отвлеченномъ снѣ, а въ живой дѣйствительности, возставать противъ дѣйствительности и убивать въ себѣ всякій живой источникъ жизни—одно и тоже; примирение съ дѣйствительностью, во всѣхъ отношеніяхъ и во всѣхъ сферахъ жизни, есть великая задача нашего времени, и Гегель и Гете, главы этого примиренія, этого возвращенія изъ смерти въ жизнь. Будемъ надѣяться, что наше новое поколѣніе также выйдетъ изъ призрачности, что оно оставитъ пустую и бессмысленную болтовню, что оно сознаетъ, что истинное знаніе и анархія умовъ и произвольность въ мнѣніяхъ совершенно противоположны, что въ знаніи существуетъ строгая дисциплина и что безъ этой дисциплины нѣтъ знанія. Будемъ надѣяться, что новое поколѣніе сроднится, наконецъ, съ нашею прекрасною русскою дѣйствительностью, и что, оставивъ всѣ пустыя претензіи на гениальность, оно ощутитъ наконецъ въ себѣ замѣтную потребность быть дѣйствительными русскими людьми»<sup>88)</sup>.

И такъ, изыщное конецъ и начало критическихъ изысканій, примиреніе съ дѣйствительностью,—основная нравственная стихія, на этихъ принципахъ будетъ построена эстетика *Московского Наблюдателя*. Вскорѣ послѣ гимназическихъ рѣчей Гегеля, журналъ напечатаетъ переводъ статьи Ретшера *О философской критикѣ художественнаго произведенія*. Смыслъ разсужденія сводится здѣсь къ требованію—открыть въ художественномъ произведеніи «общее конкретной идеи въ ея обособленіи и понять разумность ея формы, порожденной творческою фантазіею художника»<sup>89)</sup>.

Эта истина уполномочить Бѣлинскаго на усиленные поиски діалектическаго развитія идеи въ литературныхъ произведеніяхъ и вдохновить его на величественное презрѣніе ко всякимъ мелочамъ и случайностямъ, т. е. историческимъ и національнымъ вопросамъ въ области творчества. И мы увидимъ, до какой степени философская указка сузила умственный горизонтъ критика, поработила его природу и наложила несвойственную печать на его нравственное и общественное міросозерцаніе.

Нѣтъ необходимости искать другихъ источниковъ гегельян-

<sup>88)</sup> *Московский Наблюдатель*, часть XVI, 1838 годъ.

<sup>89)</sup> *М. Н.*, часть XVII, стр. 194—5.



ства Бѣлинскаго, кромѣ указанныхъ статей его журнала. Мы увидимъ, ихъ идеи вполнѣ покрываютъ все философствованіе критика вплоть до разрыва его вообще съ нѣмецкими теоріями изящнаго и съ «гнуснымъ стремленіемъ къ примиренію съ гнусною дѣйствительностью». Эти слова будутъ написаны имъ три года спустя. Негодованіе на прошлый обманъ ума и чувства, — глубокое, мучительное и совершенно законное, — но и обманъ не прошелъ даромъ для совершенствованія и углубленія мысли Бѣлинскаго.

Гегельянство, — одно изъ тлетворнѣйшихъ теоретическихъ влияній, какія только переживала русская критика. Но въ мірѣ физическомъ, часто именно послѣ самыхъ тяжелыхъ недуговъ, — съ особеннымъ блескомъ и силой организмъ разцвѣтаетъ къ новой жизни. Такъ произошло и съ духовнымъ міромъ Бѣлинскаго, лишь только метафизическій кошмаръ разсѣялся и писатель снова приблизился къ первоисточнику своихъ идейныхъ откровеній — къ дѣйствительной жизни.

## XXI.

Бѣлинскій въ теченіе всей своей жизни безпрестанно припоминать различные періоды своей духовной жизни, подвергая ихъ безпощадному суду и донскиваясь въ своихъ личныхъ, многообразныхъ опытахъ поучительныхъ выводовъ въ общечеловѣческомъ смыслѣ. Особенно горькое чувство и (подчасъ страстное негодованіе вызывало у критика воспоминаніе объ его гегельянскомъ идолопоклонничествѣ. Бѣлинскій, казалось, не находилъ словъ, достаточно сильныхъ, заклеить свои философическія заблужденія и не зналъ, какою цѣной раскаянія и идейнаго подвига искупить свою вину предъ здравымъ смысломъ и гражданскимъ долгомъ.

Но въ болѣе спокойныя минуты психологической вдумчивости Бѣлинскому не трудно было дать совершенно вѣрное и нравственно-удовлетворительное объясненіе своимъ излишествахъ. Въ порывѣ гнѣва на свои примирительныя идеи, онъ восклицалъ: «Боже мой, сколько отвратительныхъ мерзостей сказалъ я печатно, со всею искренностью, со всѣмъ фанатизмомъ дикаго убѣжденія!..» Такъ говорилось въ письмѣ къ пріятелю, въ журнальныхъ статьяхъ то же воспоминаніе разрѣшается въ философское представленіе вообще о судьбѣ человѣка, ищущаго истины. И у насъ нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія, этотъ человѣкъ — самъ авторъ, вмѣсто самоубиенія обратившійся къ анализу.

«Истина,—пишетъ Бѣлинскій,—есть единство противоположностей; и пока человѣкъ переживаетъ ея моменты, онъ бросается изъ одной крайности въ другую, безпрестанно впадаетъ въ преувеличеніе, исключительность и односторонность. Но какъ скоро процессъ совершился и различія разрѣшились въ гармоническое единство, то всѣ ограниченныя частности улетучиваются въ общее, ложь остается за временемъ, а истина за разумомъ»<sup>90</sup>).

Какое единство и какая истина? Бѣлинскій приходитъ въ ужасъ при одномъ представленіи о «зигзагахъ», какими совершалось его развитіе, но и въ періодъ яснаго самосознанія и глубокой критики пережитыхъ заблужденій онъ не смогъ найти покоя. До конца дней ему не удалось заручиться истиной, навсегда умиряющей душу. Ища «вѣрованій жаркихъ и фанатическихъ», не имѣя силъ жить безъ нихъ, какъ «рыба не можетъ жить безъ воды, дерево расти безъ дождя», Бѣлинскій каждую только что усвоенную идею превращалъ въ отправную точку для новыхъ стремленій къ болѣе высокимъ и объемлющимъ цѣлямъ. Состояніе «распаденія», «рефлексіи», столь мучительное для человѣческаго духа и потому у большинства даже лучшихъ людей промежуточное и временное, тяготѣло надъ Бѣлинскимъ съ одинаковой силой и въ годы романтическихъ порывовъ молодости, и въ зрѣлую эпоху трезвой оцѣнки пережитого и передуманнаго.

Въ первый и единственный разъ за всю жизнь Бѣлинскій могъ почувствовать полное нравственное удовлетвореніе въ мірѣ гегельянскихъ догматовъ. Всѣ вопросы были разрѣшены заранее, всѣ муки и испытанія подѣлены и всему опредѣлено свое мѣсто въ величественномъ «гармоническомъ хорѣ» мірозданія, гегельянская вѣра, даже при всевозможныхъ оговоркахъ, сулила своего рода олимпийское благополучіе. Всѣ частныя толкованія и выводы школы блѣднѣли предъ безграничнымъ діалектическимъ процессомъ идеи гдѣ всѣ противорѣчія, все «неразумное» являлось только мимолетнымъ и неизбежнымъ диссонансомъ въ предустановленномъ созвучіи. На Бѣлинскаго именно основное представленіе гегельянства должно было произвести чарующее впечатлѣніе и онъ отдался «стинѣ» въ ея самой крайней и рѣшительной формѣ.

Критику не требовалось знать, какую политическую роль игралъ съ Гегель и какими философскими уборами украшалъ государство во идеѣ и государство въ дѣйствительности. Ему достаточно

<sup>90</sup>) *Русская литература въ 1840 году*. Сочин. IV, 202. 1841 годъ.

общаго положенія и онъ немедленно представить свою философію государственнаго права, законченную и краснорѣчивую настолько, что на нѣсколькихъ страницахъ мы найдемъ всѣ руководящія принципы политиковъ реставраціи начала XIX-го вѣка.

Именно Бѣлинскій покажетъ, какое органическое родство существовало между Гегелемъ и Деместромъ, Бональдомъ и другими апостолами фантастическаго величія и благоденствія дореволюціоннаго міра. Бѣлинскій, навѣрное, не читалъ произведеній ни одного изъ названныхъ идеологовъ, но его не даромъ близкіе люди признавали «одною изъ высшихъ философскихъ организацій».

Бѣлинскаго еще современники укоряли, будто онъ не понималъ Гегеля. Это невѣрно, возражаетъ очевидецъ. Бѣлинскій, по его словамъ, вовсе не зналъ Гегеля, но «сблизился съ нимъ точно такъ же, какъ математикъ, не зная работы другого математика, обличается съ нимъ въ выводахъ единственно развитіемъ данной теоремы»<sup>91</sup>).

Здѣсь не все вполнѣ точно. Мы видѣли, Бѣлинскій съ полнымъ удобствомъ могъ узнать главнѣйшія идеи гегелевскаго ученія, но нашъ свидѣтель совершенно правъ касательно самостоятельнаго логическаго мышленія критика въ данномъ направленіи. Герценъ желаетъ сказать то же самое, называя Бѣлинскаго «совершенно русской свѣтлой головой, удивительно послѣдовательною, бьющей до конца». И эта послѣдовательность для Бѣлинскаго отнюдь не чисто отвлеченный самодовлѣющій логическій процессъ, а движеніе всей его нравственной природы, ума, чувства и воли.

Отсюда рядъ статей, наполняющихъ около трехъ лѣтъ дѣятельность критика, приблизительно съ 1838 года до начала 1841. Сначала мы слышимъ отрывочные звуки возникающей симфоніи. Намъ не даютъ цѣльнаго и сильно-выраженнаго міросозерцанія. Критикъ будто обслѣдуетъ почву, намѣреваясь посѣять сѣмена только что приобрѣтенной мудрости. Онъ видимо раздумываетъ, находится еще въ процессѣ просвѣщенія и ждетъ случая разомъ открыть свою тайну.

Приступъ совершается путемъ жестокихъ нападковъ на французскую національность и на французскую литературу.

Можетъ быть, энергія здѣсь подогревалась кружковыми междоусобицами. Молодежь, считавшая своимъ вождемъ Герцена, усердно изучала французскія политическія и соціальныя движенія, вдох-

<sup>91</sup>) Кн. В. О. Одоевскій. *Русскій Архивъ*. 1874, стр. 339.

новлялась сентъ-симонизмомъ и съ сожалѣніемъ взирала на метафизическій фанатизмъ русско-германскихъ любомудровъ. Догадка тѣмъ болѣе вѣроятна, что Бѣлинскій въ своемъ стремительномъ натискѣ не различаетъ ни школы, ни имени, ни талантовъ. Въ его глазахъ, повидимому, самая принадлежность критика, поэта или мыслителя къ французской націи уже непоправимый смертный грѣхъ и роковой источникъ всевозможныхъ заблужденій и уродствъ.

Въ результатѣ — начинается первое отступленіе Бѣлинскаго отъ собственныхъ, еще очень недавнихъ взглядовъ. Онъ пишетъ откровенную критику на самого себя и уничтожаетъ энергичнѣйшія заявленія своихъ *литературныхъ мечтаній* во имя отвѣченнаго ученія и внѣшняго авторитета.

Раньше истиной признавалось такое положеніе:

«Всякое произведеніе въ какомъ бы то ни было родѣ, хорошо во всѣ вѣка и въ каждую минуту, когда оно, по своему духу и формѣ, носить на себѣ печать своего времени и удовлетворяетъ всѣ его требованія».

Это очевидное признаніе правъ *исторической* критики и, что еще важнѣе, приближеніе поэзіи къ публицистикѣ, поэта къ политическимъ и общественнымъ дѣятелямъ. Впослѣдствіи эта идея войдетъ въ основу литературныхъ взглядовъ критика, но теперь онъ весь во власти высшихъ истинъ и *абсолютной* дѣйствительности. Но такъ какъ французская литература всегда отличалась и отличается чрезвычайной отзывчивостью на злобы современности, ясно, необходимо произнести судъ надъ самимъ національнымъ типомъ, вызвавшимъ подобное искусство.

Открывается удивительный поединокъ между двумя націями. Критикъ стремится унизить одну на счетъ другой и такимъ образомъ радикально рѣшить вопросъ о разумномъ направленіи русской литературы и мысли.

Читатели обязаны согласиться, что у русскихъ и у нѣмцевъ «много общаго въ основѣ, сущности, субстанціи духа», и слѣдовательно, вліяніе нѣмцевъ должно безусловно устранить авторитетъ французовъ. За нѣмцами признаются качества, врядъ ли вообще достижимыя для человѣческой природы. Созерцанію нѣмцевъ будто бы открыта внутренняя таинственная сторона предметовъ знанія, доступенъ «тотъ невидимый, сокровенный духъ, который ихъ оживляетъ и даетъ имъ значеніе и смыслъ». Французы, напротивъ, ограничиваются только «внѣшнею стороною пред-

мета», могут быть отличными математиками, медиками, но совершенные невѣжды въ «сокровеннѣйшемъ и глубочайшемъ значеніи предметовъ», въ «одномъ общемъ источникѣ жизни». Отсюда нѣмецкая религіозность и французское легкомысліе. Нѣмцы вѣрятъ, что жизнь постигается «откровеніемъ», разумнѣе дается «какъ благодать Божія», а французы «народъ безъ религіозныхъ убѣжденій, безъ вѣры въ таинство жизни, все святое оскверняется отъ его прикосновенія, жизнь мретъ отъ его взгляда». Критикъ видимо содрогается отъ столь тлетворнаго явленія и заканчиваетъ обвинительную рѣчь убійственнымъ сравненіемъ: «такъ оскверняется для вкуса прекрасный плодъ, по которому проползла гадина».

Естественно, разъ приняты въ обращеніе такія понятія, какъ «таинство», «сокровеннѣйшій смыслъ», «откровеніе», авторъ не затруднится критическую статью превратить въ догматическій трактатъ религіознаго или пророческаго содержанія. Доказывать ему собственно нечего, потому что тайны недоступны разсудку и «откровеніе» — завѣдомый врагъ логики. И мы все время пребываемъ въ истинномъ хаосѣ чрезвычайно величественныхъ, но совершенно не вразумительныхъ изреченій, безъ конца слышимъ о законахъ *разумной необходимости*, объ единой самой изъ себя развивающейся идеи, о сознаніи всего сущаго, объ углубленіи въ сущность вещей. Автору ни на минуту не приходитъ мысль, что всѣ эти великіе вопросы также требуютъ сознанія и углубленія, т. е. хотя бы самаго простаго согласованія ихъ съ доступными человѣку силами разума и знанія. Что такое сущность вещей? Авторъ отвѣтитъ: она непостижимая тайна. Но тогда зачѣмъ она является въ его рукахъ метательнымъ снарядомъ на предметы совершенно реальные и жизненные? Зачѣмъ онъ громаднымъ неизвѣстнымъ усиливается ниспровергать вещи, принесшія человѣчеству осязательный и плодотворный нравственный свѣтъ и идеальную силу.

Во имя «сокровеннѣйшаго» и, надо полагать, неоткрываемаго «смысла» Бѣлинскій громитъ «эмпиризмъ», т. е. положительную науку, и противъ «наблюденій, опытовъ и фактовъ» идетъ во всеоружіи такихъ, напимѣръ, прорицаній: «чувство есть безсознательный разумъ, а разумъ есть сознательное чувство», «человѣкъ не есть только духъ и не есть только тѣло, но его тѣло есть явленіе духа».

Было бы понятно, если бы критикъ воевалъ съ безусловными

притязаніями матеріалізма и, по слѣдамъ г-жи Сталь, французскому чисто-фактическому воззрѣнію на міръ и жизнь—противоставлялъ германское изученіе человѣческой нравственной личности, высокое значеніе личнаго чувства и личной воли рядомъ съ внѣшними вліяніями и впечатлѣніями. Но подобная борьба отнюдь не означала бы защиты изслѣдованія сущности вещей. Она логически привела бы къ совершенно противоположному результату, къ одновременному уничтоженію и матеріалистической, и идеалистической метафизики.

У Бѣлинскаго другая цѣль, чисто схоластическая. Онъ въ сущности желаетъ науку подмѣнить религіей, знаніе—созерцаніемъ, изслѣдованіе—откровеніемъ, наглядную дѣйствительность—абсолютной, человѣческую жизнь и исторію—діалектически развивающейся идеей.

Это въ полномъ смыслѣ созданіе особаго міра, отдѣленнаго непроходимой пропастью отъ міра явленій и формъ. Моста не существуетъ, потому что міръ доступной дѣйствительности—міръ фактовъ, а изученіе фактовъ не ведетъ къ выясненію «сокровеннѣйшаго смысла». Но этого мало. Въ области «откровенія» не существуетъ ничего научно-достовернаго и, слѣдовательно, обязательнаго съ точки зрѣнія человѣческаго разума. Тайны раскрываются особой способностью—«чувствомъ безконечнаго», т. е. способностью, не имѣющей ничего общаго ни съ яснымъ и точнымъ мышленіемъ человѣка, ни съ предметами, подлежащими изслѣдованію этого мышленія. Ясно, мы попадаемъ въ область чисто субъективнаго внушенія и ясновидѣнія, въ область стихійнаго произвола, становимся жертвой неумовимо прихотливыхъ разсудочныхъ толкованій высшаго созерцанія и абсолютнаго разумѣнія.

Но созерцатели по психологической сущности своихъ построеній, менѣе всего склонны признать столь «конечный» выводъ. Они становятся тѣмъ рѣшительнѣе и нетерпимѣе, чѣмъ неразрѣшимѣе ихъ тайны и непостижимѣе ихъ откровенія. Истинному знанію совершенно чуждъ фанатизмъ и изуверство, но все это какъ нельзя лучше уживается съ выпренными полетами къ «тайнствамъ» и «сущностямъ». Отсутствие логическихъ и научныхъ доказательствъ возмѣщается силой непосредственнаго чувства и сектантской вѣры.

Бѣлинскій неминуемо долженъ всгупить на этотъ путь, разъ онъ призналъ нѣкое высшее *разумнѣе* и даже знаніе помимо доказательнаго и разсудочно-убѣдительнаго. Возьмемъ, напримѣръ, такую фразу изъ самой ранней статьи гегельянской полосы:

«У французовъ, у нихъ во всемъ конечный, слѣпой разсудокъ, который хорошъ на своемъ мѣстѣ, т. е. когда дѣло идетъ о разумнѣи обыкновенныхъ житейскихъ вещей, но который становится буйствомъ предъ Господомъ, когда заходить въ высшія сферы знанія» <sup>92)</sup>).

Легко написать «высшія сферы знанія»!.. Но если бы собрать все сонмище мудрецовъ, бросавшихъ пригоршнями подобныя крылатыя рѣчи, и потребовать у нихъ искренняго и вразумительнаго отчета въ этомъ пиетическомъ героизмѣ, мы услышали бы въ высшей степени *негармоническій хоръ*: шарлатаны, пустозвоны—извѣстные шопенгауэрскіе эпитеты по адресу Гегеля были бы сравнительно кроткими звуками въ этой свалкѣ докторовъ и магистровъ.

Нѣтъ ничего пагубнѣе для человѣческой природы, какъ увѣренность въ лично-завоеванномъ *абсолютномъ знаніи*. Подобный счастливецъ ставить себя въ положеніе демоническаго законодателя, изображеннаго Руссо въ *Общественномъ договорѣ*. Это сверхестественное существо, не доказывая, убѣждаетъ, не убѣждая, увлекаетъ и предписываетъ, т. е. изощряется надъ темнымъ человечествомъ по мѣрѣ силъ и возможности.

Путь всегда одинъ и тотъ же и мы не должны изумляться, что у Бѣлинскаго встрѣтимъ подлинныя отголоски не только гегельянскихъ откровеній, а даже первоисточника всякой діалектической метафизики, именно идей Платона. Бѣлинскій врядъ-ли изучалъ *Республику* эллинскаго философа, но пришелъ къ одному изъ поразительнѣйшихъ выводовъ платоновской діалектики, существенному какъ разъ въ практическомъ смыслѣ.

Платонъ за много вѣковъ до Гегеля, объявилъ *діалектику* единственной настоящей наукой. Достоинство *діалектики* въ томъ, что она совершаетъ свой путь только посредствомъ чистыхъ *идей*, безъ всякаго вниманія къ міру явленій, *черезъ идеи къ идеямъ*. Цѣль процесса—*идея блага*. Путь величественный и цѣль чрезвычайно любопытная, жаль только, что полное банкротство постигаетъ науку въ самый рѣшительный моментъ. Идея блага не находитъ у философа даже *опредѣленія*, не только не становится жизненнымъ достояніемъ мыслящаго человечества. Идея блага въ нравственномъ мірѣ то же, что солнце въ физическомъ; вотъ и всѣ результаты грандіознаго предпріятія. Сравненіе, иносказаніе,

<sup>92)</sup> Ст. о сочиненіяхъ Фонвизина и «Юріи Милославскомъ» Загоскина. II 313. 1838 годъ.

метафора и прочія поэтическія фигуры—таково заключеніе широкоуважающаго провозглашенія науки наукъ.

Но именно это заключеніе и уполномочиваетъ философа на недостигаемо-пренебрежительныя чувства къ наукамъ, изучающимъ факты и явленія, даже въ математикѣ. Всѣ онѣ приводятъ къ *мнѣніямъ*, а не къ *знанію*, а мнѣнія измѣнчивы, какъ сами явленія, какъ тѣни, по сравненію философа <sup>93)</sup>.

Подобный процессъ и у Бѣлинскаго.

Онъ также ставитъ рядомъ *мысль* и *мнѣніе* и приходитъ къ такому сравненію: оно въ высшей степени важно для насъ, оно играетъ роль вдохновляющаго принципа для нашего автора.

«Мнѣніе опирается на случайномъ убѣжденіи случайной личности, до которой никому нѣтъ дѣла и которая сама по себѣ—очень неважная вещь; мысль откроется на самой себѣ, на собственномъ внутреннемъ развитіи изъ самой себя, по законамъ логики» <sup>94)</sup>.

Мы тщетно будемъ доискиваться, на чемъ же собственно будетъ основанъ этотъ процессъ, если явленія сами по себѣ не даютъ *мыслей*, а только *мнѣнія*? Отвѣтъ мы получаемъ, что онъ совершенно не относится къ области знанія и логики. Вдохновленный высшимъ созерцаніемъ идей, Бѣлинскій написалъ свои бородинскія статьи и представилъ точный символъ своей нравственной и общественной вѣры.

## XXII.

Первая статья написана по поводу книги Ѳ. Глинки *Очерки Бородинскаго сраженія*, и представляетъ едва ли не единственный въ русской литературѣ блестящій образчикъ философской борьбы реакціонныхъ мысли противъ идей XVIII-го вѣка. У Бѣлинскаго тѣ же задачи, какъ и у Бональда, и задачи чрезвычайно неголоволомныя, Ничего нѣтъ легче, какъ возражать противъ такихъ вымысловъ, какъ, напримѣръ, ученіе объ изобрѣтеніи языка, о договорномъ происхожденіи гражданскаго общества. Даже Бональдъ, при всемъ своемъ невѣжествѣ и умственной ограниченности, могъ высказать нѣсколько удачныхъ замѣчаній на счетъ совершенно неисторическихъ и даже противоестественныхъ фантазій нѣкоторыхъ идеологовъ-просвѣтителей.

<sup>93)</sup> Politeia, VII.

<sup>94)</sup> Ст. *Очерки Бородинскаго сраженія*. III, 247. 1839 годъ.



Но одно дѣло — опровергнуть противника, другое — построить свое зданіе. Языкъ не избобрѣтенъ, но слѣдуетъ ли изъ этого факта, что онъ «данъ человѣку, какъ откровеніе»? Имѣетъ ли эта истина за себя больше *доказательствъ*, чѣмъ только что уничтоженная? А между тѣмъ принять эту мысль, какъ *знаміе*, значитъ отвергнуть заранѣе представленіе о постепенномъ историческомъ развитіи извѣстнаго явленія, и вообще о научительности естественно-научныхъ данныхъ.

Бональдъ вполнѣ послѣдовательно вооружался противъ исторіи и естествознаніе обзываетъ «скотологіей». Послѣдователь Гегеля могъ не отличаться такой азартной откровенностью, но по существу онъ неминуемо долженъ впасть въ метафизику реставраціи. Отъ Бѣлинскаго мы слышимъ тѣ же бональдовскія соображенія насчетъ таинственнаго происхожденія гражданского строя, тотъ же вадменный отзывъ о «человѣческихъ уставахъ», то же мечтательное благоговѣніе къ «силѣ вѣкового преданія», ко «всеми, теряющемуся въ довременности», вообще мистическая декламация вмѣсто прежняго «буйства» разсудка.

Но разъ въ основу практическихъ выводовъ полагается «довременность», т. е. нѣчто неподлежащее точному изслѣдованію и опредѣленію, самые выводы неизбѣжно должны принять форму невѣроятныхъ изреченій и догматическихъ пророчествъ.

Бѣлинскій въ статьяхъ гегельянскаго направленія ничего не доказываетъ и не разъясняетъ, а только диктуетъ и вѣщаетъ. У него все рѣшено безъ какихъ бы то ни было доводовъ, научныхъ или логическихъ. На мѣсто ложныхъ представленій XVIII-го вѣка онъ ставитъ столь же бездоказательныя истины собственнаго измышленія. Разница только въ одномъ: вся ложь прошлаго вѣка стремилась непремѣнно возстановить и утвердить достоинство человѣческой личности и человѣческаго разума, аксіомы Бѣлинскаго направлены къ противоположной цѣли. Онъ усиливается доказать ничтожество человѣка и буйство его разсудка предъ тайнами и вѣковымъ преданіемъ.

Кто же поможетъ намъ проникнуть въ смыслъ этихъ тайнъ, чтобы мы могли руководиться имъ въ вопросахъ и фактахъ нашей современности?

Ужъ, конечно, не наука и не разсудокъ, слѣдовательно, не люди культуры и знанія, а «массы самаго низшаго народа, лишеннаго всякаго умственнаго развитія, загрубѣлаго отъ низшихъ нуждъ и тяжелыхъ работъ жизни».

Это опять неизбѣжное приближеніе реакціонныхъ метафизи-

ковъ. Весь, такъ называемый, прогрессъ, вообще идея переменъ и движенія — выдумка интеллигенціи, утратившей живую связь съ стихійными основами народной жизни. Тамъ внизу разъ навсегда рѣшили вопросы по всякой международной и внутренней политикѣ, и остается только повиноваться этому голосу почвы и современности.

Бѣлинскій опять былъ бы правъ, если бы призналъ существованіе общаго національнаго духовнаго склада у всякаго историческаго народа, если бы указалъ, какъ этотъ духъ проявляется въ великія години испытаній, въ родѣ эпохи междоусобицъ или отечественной войны. Но это признаніе не должно переходить въ идеализацію не столько народнаго чувства духовнаго единства и нравственной силы, сколько простонародной первобытности и «заглублой» инстинктивности на всѣхъ путяхъ человѣческаго развитія. Это два совершенно различныхъ вопроса.

Подъемъ національнаго сознанія одинаково распространяется на массу и на интеллигенцію, иногда даже интеллигенція занимаетъ руководящее положеніе, какъ это было въ Германіи во время національной борьбы съ Наполеономъ. И въ Россіи — развѣ Пожарскій, Авраамій Палицынъ и Гермогенъ принадлежали къ «массѣ самаго низшаго народа»? И развѣ отечественная война вызвала чувства самоотверженія и патріотизма только у однихъ «грубыхъ солдатъ»? Печальна была бы судьба того народа, который роковымъ путемъ выдѣлялъ бы изъ своей среды отщепенцевъ родного національнаго организма на попріще высшей общечеловѣческой культуры и сознательной политической общественной дѣятельности! Лучше этому народу и не выходить изъ мрака довременности, не посягать ни на какіе «человѣческіе уставы» и быть счастливымъ «силой вѣковаго преданія».

Мы видимъ, какъ вполне основательная критика приводитъ нашего писателя къ совершенно произвольнымъ положеніямъ — крайняго и нетерпимаго направленія. Частные выводы ясны. Общество создается стихійно, живетъ по непреложной, въ довременіи предопредѣленной программѣ, — очевидно, всѣ явленія этой жизни столь же священны и непрекосновенны, какъ и ея первичный точникъ. Примиреніе съ дѣйствительностью — выводъ логики и правило нравственности, — «примиреніе путемъ объективнаго созрѣванія жизни», пояснить. Бѣлинскій, — и за эту именно способность превознесётъ Пушкина <sup>95</sup>).

<sup>95</sup>) *Литературная хроника*. II, 335. 1838 годъ.

Правда, критикъ спспѣшить оговориться: «странно было бы думать, что все, имѣющее внутреннюю и необходимую причину, истинно и нормально». Оговорка ни къ чему не поведетъ. Добрыя намѣренія совершенно потонуть въ лирическомъ, нетерпѣливо-стремительномъ гимнѣ *сущему*. Бѣлинскій будто спспитъ покрыть силой голоса и размахомъ рѣчи певольно поднимающіеся протесты здраваго смысла и непосредственнаго чувства.

Въ самомъ дѣлѣ, какія поправки можетъ внести человѣческій разумъ въ фатальныя предначертанія неисповѣдимыхъ силъ! Послушайте, съ какимъ презрѣніемъ преслѣдуетъ критикъ «маленькихъ великихъ людей», дерзающихъ помышлять о своей *случайной* волѣ! Эти несчастные въ глазахъ автора—слѣдствіе порождения насѣкомыхъ, ихъ порывы можно выразить не иначе, какъ безгранично пренебрежительнымъ понятіемъ—*тараканиться*. Всюду «могучая десница»,—и Наполеонъ, напримѣръ, палъ «не отъ слабости», т. е. на обыкновенный историческій взглядъ, не отъ своего ослѣпленія и поразительныхъ ошибокъ и недоразумѣній, а какъ разъ наоборотъ—«отъ тяжести своей силы». Критикъ не признаетъ даже вообще, чтобы здравомыслящій человѣкъ сталъ доискиваться ошибокъ въ дѣятельности «Петровъ и Наполеоновъ». Это—*смѣшно и жалко*. Взамѣнъ подобныхъ трагикомическихъ потугъ Бѣлинскій предназначаетъ написать рядъ страницъ апокалипсическаго характера и недосыгаемо-выспренняго краснорѣчія <sup>96)</sup>.

Очевидно, разъ человѣкъ со всѣми своими стремленіями и волей—горе-богатырь въ картонномъ вооруженіи, единственный выходъ—умѣть наслаждаться тѣмъ, что есть, что существуетъ независимо отъ безумныхъ *личныхъ* умысловъ на ходъ человѣческой жизни. Въ этомъ искусствѣ найти источникъ утѣшенія при какихъ угодно вѣшнихъ условіяхъ заключается даже тайна высшей натуры.

«У генія», пишетъ Бѣлинскій, «всегда есть инстинктъ истинны и дѣйствительности; что есть, то для него разумно, необходимо и дѣйствительно, а что разумно, необходимо и дѣйствительно, то только и есть».

Истина поясняется примѣромъ, для насъ особенно интереснымъ. Въ періодъ раскаянія этотъ примѣръ будетъ поднимать жестокую горечь въ сердцахъ Бѣлинскаго. Идеальный образецъ таланта приспособленія, конечно, Гёте, и теперь онъ первостепенный

<sup>96)</sup> Менцель противъ Гёте. III, 296 etc. 1840 годъ.

герой нашего критика, отъ поэтического таланта въ *Фаустѣ* до безпримѣрно-космополитическаго безстрастія въ положеніи германскаго гражданина среди борьбы отечества съ національнымъ вѣнскимъ врагомъ.

«Гёте—соображаетъ Бѣлинскій,—не требовалъ и не желалъ невозможнаго, но любилъ наслаждаться необходимо-сущимъ». На основаніи этой любви авторъ *Фауста* былъ непоколебимо убѣжденъ въ раздробленности Германіи.

Критикъ не считаетъ нужнымъ даже коснуться вопроса, имѣло ли гётевское убѣжденіе какія-либо историческія основанія и самая раздробленность была ли положительнымъ, разумнымъ фактомъ или печальнымъ переживаніемъ? Достаточно умиротворенія сущимъ,—все остальное «буйство» разсудка.

Бѣлинскій пойдетъ дальше. Онъ не можетъ, конечно, отрицать страданій, какими на каждомъ шагѣ удручаютъ человѣчество. Но это безразлично. Достаточно одного факта—*бытія*, и счастье обезпечено, т. е. достаточно видѣть что-либо существующимъ, чтобы наслаждаться. «Души нормальныя и крѣпкія находятъ свое блаженство въ живомъ сознаніи живой дѣйствительности, и для нихъ прекрасенъ Божій міръ, и само страданіе есть только форма блаженства, а блаженство жизнь въ безконечномъ».

Положимъ, это еще удобопріемлемо относительно стихійнаго, безсознательнаго зла. Но какъ примириться съ злою волей людей, съ явными умыслами эгоистовъ и преступниковъ на благоденствіе ближнихъ? Вѣдь это уже не область безконечнаго и не царство неуловимаго и неотразимаго фатума, а вполне осязательное и самопроизвольное зло.

Критикъ не смущается. Все и всѣ служатъ духу и истинѣ. Иной даже, удовлетворяя «низкимъ нуждамъ своей жизни», на примѣръ, увлекаясь страстью любостыжанія, безсознательно и противъ желанія приноситъ пользу обществу, оживляетъ торговлю, кругъ обращенія капиталовъ. Поразительная идея сопровождается вполне достойнымъ сравненіемъ: бродящій по полю волъ споспѣшествуетъ плодородію земли...

Разъ дѣло дошло до такихъ идиллическихъ пейзажей, не можетъ быть рѣчи о скептическомъ настроеніи, какой бы вопросъ ни подлежалъ разрѣшенію философа. Бѣлинскій попытался вернуть русскую общественную мысль прямо къ вѣку Карамзина. Онъ безпрестанно будетъ пользоваться даже формой рѣчи сладкоглаголиваго пѣвца «чудесной гармоніи» и «вѣка златого». Потому

что эта «чудесная гармонія» родная сестра разумной дѣйствительности» и карамзинская вѣра—всякое общество священо уже потому, что оно существуетъ,—станетъ достояніемъ и нашего философа. Не отречется онъ и отъ *общественныхъ* результатовъ этого символа, примется доказывать, что «заграничныя крикуны» Россіи не указъ, что «ходъ ея исторіи обратный въ отношеніи къ европейской» и заключить эту музыкальную фантазію такимъ аккордомъ, будто списаннымъ съ произведеній чувствительнаго поклонника «счастливыхъ швейцаровъ» и «просвѣщенныхъ земледѣльцевъ»:

«Отношеніе высшихъ сословій къ низшимъ прежде состояло въ патріархальной власти первыхъ и патріархальной подчиненности вторыхъ, а теперь въ спокойномъ пребываніи каждаго въ своихъ законныхъ предѣлахъ, и еще въ томъ, что высшія сословія мирно передаютъ образованность низшимъ, а низшія ее принимаютъ» <sup>97)</sup>.

Совершенно послѣдовательно Бѣлинскій встанетъ на защиту своего предшественника и произнесетъ восторженную рѣчь во славу всевозможныхъ доблестей Карамзина—историка и мыслителя <sup>98)</sup>.

Таковы принципы гегельянскаго періода критики Бѣлинскаго. Они грозили свести на нѣтъ всѣ завоеванія русскаго нравственнаго и общественнаго самосознанія, совершенныя съ такими усиліями и опасностями лучшими представителями поколѣнія двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ. Неистовый Виссаріонъ, встрѣченный горячими привѣтствіями людей живой мысли и великихъ надеждъ, шелъ во всеоружіи своего таланта на первоисточникъ всякаго духовнаго движенія,—на *личность*, отвергалъ ея права на самоопредѣленіе и приговаривалъ ее къ пожизненному рабству у безличнаго, стихійно-безпощаднаго чудовища—*отками освященной дѣйствительности*. Разумъ уничтожался во имя преданія и воля во имя факта. И, разумѣется, старинный лепетъ прекрасныхъ душъ, при всемъ ихъ задорѣ, не могъ идти ни въ какое сравненіе съ воодушевленной рѣчью новаго поборника патріархальности и душевнаго блаженства. Здѣсь послѣднее слово европейской мудрости освѣщало путь къ возжелѣнной цѣли и создавало для рыцаря неизмѣримо болѣе внушительную твердыню, чѣмъ самыя обильныя слезы и сладчайшія стихотворенія въ прозѣ.

<sup>97)</sup> Ст. *Бородинская годовщина*. В. Жуковскаго. III, 207. 1839 годъ.

<sup>98)</sup> Ст. *Полное собраніе сочиненій А. Марлинскаго*. III, 438. 1840 годъ.

Бѣлинскій установилъ принципы, конечно, не ради ихъ самихъ, а по извѣстному намъ свойству своей природы, ради ближайшихъ жизненныхъ цѣлей. Ему вѣра нужна ради любви и мысли ради дѣла, и онъ не преминулъ поднять войну противъ всего, что только нарушало его «гармоническій хоръ». Критикъ невольно, вопреки своему ученію о спокойномъ, объективномъ созерцаніи дѣйствительности и даже о «роскошномъ трепетно-сладкомъ восторгѣ» предъ исторіей человѣчества, несъ войну и разрушеніе въ ненавистный лагерь. Онъ открылъ этотъ лагерь одновременно съ догматомъ наслажденія всяческой дѣйствительностью.

Странное противорѣчіе, уже съ самаго начала заставляющее насъ опасаться за прочность столь рѣшительно воздвигнутаго сооруженія.

### XXIII.

Обильныя жертвы на алтарь разумной дѣйствительности должны были дать Бѣлинскому французы разныхъ партій и поколѣній. Неудовлетворителенъ по части гармоніи и примиренія восемнадцатый вѣкъ, не лучше и его наслѣдникъ. Всюду резонерство, декламаторство и, главное, буйство разсудка. Вѣчныя системы, секты, партіи, «дневные вопросы», и въ особенности нехѣпый Жоржъ Зандъ съ его возмутительнымъ сенъ-симонизмомъ. Критикъ имѣетъ весьма смутныя представленія о предметахъ, жестоко, напримѣръ, перетолковываетъ сенъ-симонистскія идеи, открываетъ въ нихъ небывалое торжество «индустріальнаго направленія надъ идеальнымъ и духовнымъ». Но догматизмъ никогда не нуждается въ основательности свѣдѣній, — совершенно напротивъ, и Бѣлинскій составляетъ своего рода индексъ писателей.

Какъ водится, всѣ подобныя произведенія сильнаго чувства не отличаются точностью оцѣнки и осторожностью приговора. У Бѣлинскаго подъ-рядъ идутъ имена Корнея, Расина, Мольера, Вольтера, Гюго, Дюма... Принимаясь за достодолжное возмездіе этимъ авторамъ, критикъ заранѣе желаетъ быть рѣшительнымъ, потому что, по его наблюденіямъ, «мы очень не смѣлы въ нашихъ суженіяхъ, когда слово француза сходится съ словомъ искусства». Назвавъ вмѣстѣ и Расина, и Гюго, Вольтера и Корнея, Бѣлинскій, пожалуй, готовъ признать ихъ «отличными, превосходными итераторами, стихотворцами, искусниками, риторамъ, декламаторами, фразерами», но отнюдь не художниками.

Художественность здѣсь слѣдуетъ понимать вовсе не въ чисто

эстетическомъ смыслѣ, иначе зачѣмъ такая рѣзкость приговора и не соответствующее одушевленіе рѣчи? Нѣтъ, для критика несравненно важнѣе *настроенія* писателей, самый духъ, проникающій ихъ произведенія, ихъ нравственные и общественные мотивы, иначе онъ не смѣшалъ бы классиковъ съ романтиками, католіковъ съ философами. Тайну критикъ объяснилъ совершенно откровенно по поводу Шиллера.

Авторъ *Коварства и любви* также попалъ на черную доску и вотъ по какимъ соображеніямъ. «Огня отрицать нельзя,—пишетъ критикъ о драмѣ Шиллера,—но такъ какъ этотъ огонь вытекъ не изъ творческаго одушевленія объективнымъ созерцаніемъ жизни, а изъ ратованія противъ дѣйствительности, подъ знаменемъ нравственной точки зрѣнія, то онъ и похожъ на фейерверочный огонь; много шуму и треску и мало толку».

Еще краснорѣчивѣе приговоръ надъ *Свадьбой Фигаро*. Здѣсь мы вполнѣ убѣждаемся, какъ далеко унесли нашего критика эстетика и философія отъ обыкновенной всѣмъ видимой дѣйствительности и какимъ ослѣпленіемъ поразили его мысль и чувство.

Комедія Бомарше, оказывается, не представляла никакого интереса для русской публики конца тридцатыхъ годовъ. Это пьеса утомительная, скучная, съ натянутыми остротами и натянутыми положеніями, и все потому, что она «политическая» и притомъ сатира. Особенно критикъ недоволенъ монологомъ Фигаро въ послѣднемъ актѣ, той исторически-бессмертной рѣчью, гдѣ съ неподражаемой силой и остротой нарисованы портреты людей, «давшихъ себѣ трудъ только родиться...»<sup>99)</sup>.

И автору *Дмитрія Калинина* не почуялось ни одного родного звука въ этой образцовой исповѣди Калининыхъ всѣхъ временъ и народовъ!

Не находить критикъ ничего современно-любопытнаго и художественнаго и во всѣхъ комедіяхъ Мольера. Онъ можетъ смѣшнить развѣ только «праздную толпу»: до такой степени въ недостижимую даль отошли образы Донъ-Жуана, Тартюфа и «смѣшныхъ маркизовъ!» И замѣчательно, критику приходится обмолвиться словомъ, многозначительнымъ для его будущаго міровоззрѣнія: Мольеръ—поэтъ *соціальный*. По гегельянскому толкованію это значитъ заставлять поэзію носить ливрею, между тѣмъ какъ поэзія—происхожденія божественнаго и не любитъ ливренъ.

<sup>99)</sup> *Театральная хроника*. III, 124. 1839 годъ.

Въ такомъ же унизительномъ нарядѣ, по мнѣнію Бѣлинскаго, щеголяетъ Жоржъ Зандъ, распространяя путемъ романовъ идеи сентъ-симонизма, Мицкевичъ, въ порывѣ патріотическихъ чувствъ сочиняющій «риемованные памфлеты». Вообще и конца нѣтъ преступленіямъ противъ божественности и дѣвственной чистоты художника! Потому что такъ мало на свѣтѣ людей, ублаженныхъ объективнымъ созерцаемъ дѣйствительности. Гораздо больше раздраженныхъ, гнѣвныхъ или, во всякомъ случаѣ, волнующихся. А это и вредитъ творчеству. «Нельзя, — говоритъ критикъ, — сердиться и творить въ одно и то же время; досада портитъ желчь и отравляетъ наслажденіе, а минута творчества есть минута высочайшаго наслажденія» <sup>100</sup>).

Назначеніе искусства переносить это наслажденіе въ среду простыхъ смертныхъ. Истинно-художественное произведеніе «примиряетъ человѣка съ дѣйствительностью, а не возстановляетъ противъ нея». Конечно, человѣку приходится бороться въ жизни, но отнюдь не противъ ея несовершенствъ, а только «съ ея невзгодами и бурями», и борьба эта будетъ «великодушной» <sup>101</sup>).

Однимъ словомъ, все время на глазахъ критика во-очію совершается райское блаженство. Въ самое короткое время онъ успѣлъ возобновить въ памяти читателей рѣшительно всѣ обязательныя и не обязательныя пійтическія пійнства старыхъ пійтъ и критиковъ. Сблизившись съ Карамзинымъ, Бѣлинскій не остался въ долгу и предъ описцами и лириками болѣе ранней эпохи, призналъ свое родство и съ позднѣйшими риториками. Чѣмъ, въ самомъ дѣлѣ, идея искусства, какъ всеуспокояющей силы, отличается отъ державинскаго понятія поэзіи, какъ сладкаго лимонада, и какая разница между «гармоническимъ хоромъ» нашего автора и «вѣчной гармоніей и небесной глѣпотой» профессора Надеждина?

Бѣлинскій имѣлъ полное право считать свои философскія статьи идеально-совершеннымъ фокусомъ, заключившимъ въ себѣ всѣ дотогѣ разсѣянные лучи истинно-ливрейнаго разума и безупречно-мирнаго слова. Не можетъ быть, конечно, и мысли даже о самомъ отдаленномъ сродствѣ руководящихъ мотивовъ у Бѣлинскаго и его пѣдшесвенниковъ по части объективнаго созерцапія, но тѣмъ горшая участь предстояла русской литературѣ, чѣмъ независимѣе и благороднѣе былъ рыцарь косности и безличія и чѣмъ неумо-

<sup>100</sup>) *Горе отъ ума*. III, 370. 1840 годъ.

<sup>101</sup>) *Метель*, критикъ *Гёте*. III, 332.



лишь являлась его послѣдовательность рѣшительно во всѣхъ вопросахъ искусства, нравственности и политики.

Бѣлинскій неуклонно чертилъ магическіе круги и произносилъ заклинанія, безпощадно отменяя все небожественное, безпокойное и лично-оригинальное въ какой бы то ни было области. Уничтоживъ *Горе отъ ума*, какъ гнѣвное и, слѣдовательно, нехудожественное произведеніе, онъ самъ написалъ жестоку сатиру на Чацкаго уже на основаніи теоріи любви и даже общественныхъ приличій. Этотъ фактъ въ высшей степени замѣчателенъ. Онъ показываетъ, какъ доктринерство школы и секты поработаетъ *всему* человѣка и на тѣхъ путяхъ, гдѣ, повидимому, менѣе всего умѣстна его основная доктрина. Какое дѣло ученію о примиреніи съ дѣйствительностью до тѣхъ или иныхъ проявленій любовнаго чувства? Критику надлежитъ считаться съ *фактомъ* и не входить въ его оцѣнку на основаніи случайныхъ убѣжденій случайной личности.

Но, мы знаемъ, самъ Гегель не выдерживалъ спокойнаго созерцательнаго состоянія и превращался въ жестокаго гонителя неразумной, по его мнѣнію, дѣйствительности. Бѣлинскій, конечно, долженъ опередить учителя и провозгласить неправдоподобіе увлеченія Чацкаго Софьей, потому что «любовь есть взаимное, гармоническое разумѣніе двухъ родственныхъ душъ». У Чацкаго нѣтъ ничего подобнаго, чтó онъ могъ найти въ Софѣѣ. Въ Софѣѣ, любящей Молчалина! Естественно, всѣ слова, выражающія чувства Чацкаго къ Софѣѣ, «такъ обыкновенны, чтобы не сказать пошлы».

И все-это на основаніи незыблемыхъ общихъ положеній, гдѣ теорія «ясновидѣнія внутренняго чувства» занимаетъ одно изъ первыхъ мѣстъ. Каждое изреченіе критика свидѣтельствуетъ о своего рода самоотреченіи разума и вдумчивости. Бѣлинскій, не желая быть политикомъ, перестаетъ быть психологомъ, не понимая временныхъ общественныхъ задачъ и построений, закрываетъ глаза и на духовную жизнь отдѣльной личности. Это полное торжество философскаго фанатизма. Узость идей, въ соединеніи съ горячей натурой критика, усѣвали сцену иностраннаго и русскаго творчества развалинами и жертвами. Если бы Бѣлинскій остановился на этомъ пути и не сбросилъ съ себя гегельянскихъ доспѣховъ, умственное развитіе русскаго общества было бы отодвинуто на цѣлыя десятилѣтія назадъ. Сильнѣйшимъ и искреннѣйшимъ дѣятелямъ литературы пришлось бы потратить не мало усилій только на одно уничтоженіе философской заразы и на возстановленіе идей *Телсграфа* и его единомышленниковъ.

Бѣлинскій не уставаѣ въ развитіи теорій и законодательствѣ. И все это давалось ему легко, мимоходомъ, какъ истинному прозелиту въ дѣвственный періодъ вѣры. Извѣстному политическому и нравственному ученію соотвѣтствуетъ эстетическое. Мы слышимъ вновь величественныя опредѣленія трагическаго, комическаго и драматическаго. И вполнѣ основательно: доброе старое время должно воскреснуть во всемъ своемъ многообразномъ обликѣ,—пѣтика московскихъ профессоровъ ничѣмъ не хуже ихъ морали и политики. Если Чацкій сумасшедшій съ точки зрѣнія «свѣта», *Горе отъ ума*—нехудожественно предъ судомъ «науки». Эти двѣ силы шли всегда рядомъ, и Мольеръ увѣковѣчилъ ихъ сродство душъ въ безсмертной дружбѣ Филаминты съ Трисотэномъ.

Мы видимъ, какая хищная стихія простираѣла свою власть на русскую мысль и русское слово. Гегельянство въ лицѣ Бѣлинскаго и на русской почвѣ обнаружило до послѣдней черты свои реакціонныя тенденціи. Призывъ учителя къ современному поколѣнію уйти отъ злобъ современности въ высь философскихъ созерцаній, привелъ практически дѣйствовавшаго ученика къ чрезвычайно-разрушительной и полной *реставраціи*. Она, при русскихъ общественныхъ условіяхъ, сдѣлала дѣятельности какого-нибудь Бонапарта или Деместра во Франціи, и мы съ гораздо большимъ основаніемъ, чѣмъ отечественный біографъ Гегеля, можемъ въ гегельянствѣ видѣть возрожденіе *старою порядка*. И этотъ результатъ являлся тѣмъ разрушительнѣе, что между нашимъ прошлымъ и болѣе прогрессивнымъ будущимъ не лежало никакихъ краснорѣчивыхъ историческихъ событій, затруднявшихъ во Франціи дѣятельность «привидѣній». Послѣднимъ словомъ русскаго общественнаго самосознанія былъ журналъ Полевого. Это, конечно, не *Энциклопедія* и не *Философскій словарь* Вольтера и не законодательство національнаго собранія. Тѣмъ болѣе, что бывшій издатель *Телеграфа* постепенно шелъ по наклонному пути не только къ объективному созерцанію дѣйствительности, а къ полному безсильному преклоненію предъ ней.

Легко представить, какую грозу несли статьи Бѣлинскаго на едва зеленѣвшую русскую ниву. И между тѣмъ, некому было встать противъ Орланда. Талантъ давалъ ему положеніе вершителя судебъ русской литературы, «неистовство» дѣлало его неукротимымъ и неутомимымъ. Только одинъ противникъ могъ вступить въ ратоборство съ нимъ,—это онъ самъ. Вся надежда тѣхъ,

кому оставалась дорога правда жизни и могущество мысли, должна была сосредоточиться на великихъ природныхъ задаткахъ Бѣлинскаго. Можетъ быть, они, наконецъ, свергнуть его и разсѣять очарованіе.

## XXIV.

Надежда являлась возможной даже въ самый разгаръ гегельянскаго подвижничества. Несомнѣнно, величайшее заблужденіе Бѣлинскаго за весь философскій періодъ—разгромъ грибоѣдовской комедіи. Но совершился онъ какъ-то двусмысленно, во всякомъ случаѣ, для истыхъ «реставраторовъ» не совсѣмъ удовлетворительно.

Правда, Чацкій развѣнчанъ безусловно, но на долю его *полюса* пришлось отнюдь не меньше жестокихъ словъ. Слѣдовало бы ждать иного. Если Чацкій—воплощенный протестъ противъ общества—крикунъ, фразеръ, идеальный шутъ, то Молчалинъ—образецъ примиреной души и личнаго созвучія съ дѣйствительностью—долженъ быть пощаженъ. А между тѣмъ, онъ «мерзавецъ, низкопоклонникъ, ползающая тварь». И Софья, любящая подобное чудовище, также ниже званія человѣка, и критикъ явно горитъ личнымъ негодованіемъ противъ всякой дѣвушки, способной полюбить столь презрѣнную тварь.

Это—непоследовательно. Авторъ *Гимназическихъ рѣчей* не допустилъ бы такого противорѣчія и гораздо терпимѣе отнесся бы къ основному принципу молчалинскаго міровоззрѣнія: разсуждать въ зависимости отъ чиновъ и положенія. Молчалинъ—только самый сочный и зрѣлый плодъ извѣстной дѣйствительности. И если Гёте великъ именно потому, что умѣлъ наслаждаться необходимосущимъ, а Гегель мудръ потому, что всякому факту подыскивалъ идею, чѣмъ же тогда Молчалинъ ниже *по существу* этихъ олимпійцевъ и мудрецовъ? Вопросъ вѣдь въ *нравственныхъ принципахъ* взаимныхъ отношеній личности и общества, а вѣдь самъ же Бѣлинскій убѣждаетъ насъ, что общество «всегда правѣе и выше частнаго человѣка». Этой именно истиной живутъ Фамусовъ и Молчалинъ. Очевидно, въ воинственный натискъ критика противъ нихъ вкралось нѣкоторое логическое недоразумѣніе.

Можно найти кое-что и посущественнѣе.

Въ томъ же самомъ манифестѣ гегельянской мудрости, въ бородинской статьѣ, мы встрѣчаемъ пламенную страницу во славу одного изъ самыхъ негегельянскихъ поступковъ императора Петра.

Вообще, съ точки зрѣнія Бѣлинскаго-гегельянца—Петра записывать довольно странно. Вѣдь вся личность и дѣятельность великаго царя—вопиющее противорѣчіе исторической дѣйствительности, тѣмъ болѣе, что Бѣлинскій не знаетъ предшественниковъ Петра на пути къ реформѣ. Только что критикъ отнялъ у «субъективнаго человѣка» право «возстанія» противъ «объективнаго міра», и вдругъ восторженный гимнъ человѣку, даже отъ Пушкина заслужившему наименованіе *революціонера*. Мало этого, гимнъ по поводу участіа царевича Алексѣя. Въ этомъ вопросѣ царь не только пошелъ противъ преданій московскаго царства, но даже отрицалъ естественный голосъ отеческой любви. И Бѣлинскій не находитъ слова достойно оцѣнить эту побѣду.

«Солнце должно было остановиться въ своемъ вѣчно-доверменномъ теченіи, природа притаить дыханіе, пульсъ міровой жизни прерваться, въ ожиданіи страшнаго рѣшенія, чтобы потомъ забиться новою, удвоенною жизнью, потечь новымъ увѣреннымъ теченіемъ отъ чувства торжества... Великій подвигъ великаго человѣка!—восклицаете вы въ гордомъ сознаніи торжества достоинства человѣческой природы». И дальше выговаривается слѣдующая фраза!

*«Міръ объективный побдѣилъ міръ субъективный, общее побдѣило частное!»*

Какъ, спросите вы, о какомъ объективномъ мірѣ идетъ здѣсь рѣчь? Критикъ отождествляетъ его съ *народомъ*. Не можетъ быть ничего произвольнѣе и прямо фантастичѣе. Если бы Петръ обратился къ русскому народу XVII-го вѣка за рѣшеніемъ своей распри съ сыномъ, нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія, что онъ не получилъ бы отъ него совѣта лишить царевича престола ради «идеи реформы». Объективный міръ, о какомъ говоритъ Бѣлинскій, цѣликомъ сосредоточивался въ субъективномъ мірѣ царя, напротивъ, «естественныя влеченія сердца» въ данномъ случаѣ должны были найти единодушное сочувствіе именно *народа*. Торжествовало дѣйствительно достоинство человѣческой, но только *личной* природы, *великій человекъ* рядомъ съ *мелкой дѣйствительностью*. Торжество, *и результатахъ*, вышло на пользу *общую*. Это справедливо, но *по мнѣнію* оно дѣло самого героя, исключительно мощной *личности*.

И Бѣлинскій запутывается въ безвыходныя противорѣчія, оштрафивъ Шиллера за «ратованіе подъ знаменемъ нравственной точки зрѣнія» и восхвалявъ Петра за осуществленіе «нравственнаго закона». Ужъ, конечно, Петръ еще менѣе Шиллера былъ

способенъ къ объективному созерцанію дѣйствительности и его сѣдовало бы покарать наравнѣ съ «маленькими великими людьми», которые таращатся вертѣть по произволу государствами.

Мы видимъ, какой опасности подвергается у Бѣлинскаго объективный міръ при встрѣчѣ съ нѣкоторыми субъективными мірами. Обаяніе личности неотразимо для критика и его толкованіе объекта зависитъ отъ его отношенія къ субъекту. Это существенный и рѣшительный фактъ въ философствованіи Бѣлинскаго. Онъ принесетъ въ жертву гегельянскому фетишу Шиллера, Гюго, Жоржъ Занда, но его рука дрогнетъ предъ Байрономъ и Лермонтовымъ. Онъ броситъ насмѣшкой въ германскихъ преобразователей и просвѣтителей начала XIX-го вѣка; но остановится въ восхищеніи предъ русскимъ царемъ-реформаторомъ. На первый взглядъ едва вѣроятное противорѣчіе, по психологіи Бѣлинскаго совершенно естественное. Лично сильный человѣкъ, онъ непосредственно отзывается на родныя ему души. Шиллеръ не могъ принадлежать къ ихъ кругу: его личности и силы хватило только на романтическую молодость. Это не былъ мощный организмъ, ломающійся, но не дряблѣющій. Еще менѣе геройскъ можетъ быть названъ Бомарше, и оба поэта не захватывали самой натуры критика, не поднимали въ немъ отвѣтныхъ чувствъ на свою непреклонную, невозмутимо-сознательную волю.

Не то Петръ, какъ политикъ, Байронъ и Лермонтовъ, какъ поэты: организмы цѣльные безъ малѣйшаго признака пестроты, энергичныя безъ намека на сдѣлку и податливость.

Все это справедливо, но какъ же тогда спасти объективность? Не могъ же Бѣлинскій не чувствовать своего ложнаго положенія. Роли личности и дѣйствительности постоянно мѣнялись, необходимо было установить какой-либо порядокъ и разъ навсегда опредѣлить философскій смыслъ предметовъ.

И Бѣлинскій опредѣляетъ. Въ этомъ опредѣленіи предъ нами поучительнѣйшій фактъ всего нравственнаго развитія нашего критика. Онъ, будто незамѣтно для себя, перебросилъ мостъ между буддійскими тенденціями гегельянства и неумиротворимыми порывами своей натуры. Какъ это возможно было сдѣлать? Чтѣ общаго и даже смежнаго у яснаго объективнаго созерцанія и повелительной притязательности личнаго я вносить свои думы и чувства въ строй внѣшняго міра? Какъ узаконить буйство разсудка рядомъ съ деспотической и священной властью необходимости?

Бѣлинскій достигъ цѣли чрезвычайно искусно. Никто ни изъ современниковъ, ни изъ позднѣйшихъ судей критика не оцѣнилъ этой тонкости мысли, какая сдѣлала бы честь извѣстнѣйшему оратору-философу сократовской школы. Тонкость діалектики, какъ извѣстно, весьма часто приближается къ софистикѣ, и въ нашемъ случаѣ несомнѣнна нѣкоторая игра съ понятіями и заключеніями. Но если когда-либо цѣль можетъ оправдывать средства, то именно въ усиліяхъ Бѣлинскаго одухотворить жизнь и страсть своего философскаго фетиша.

Вопросъ идетъ о точномъ опредѣленіи понятій *дѣйствительность* и *объективность*. Гегелевская дѣйствительность — это діалектически развившаяся и осуществившаяся идея. Бѣлинскій знаетъ эту истину, но съ ней трудно рѣшать практическіе вопросы — одинаково и въ искусствѣ, и въ жизни. Требуется опредѣленіе, непосредственно предписывающее цѣль и путь дѣйствій, слѣдовательно, опредѣленіе не чисто-философское, а нравственное. Метафизика не заключаетъ въ себѣ побудительныхъ мотивовъ. Для дѣятельности, они создаются этикой, т. е. извѣстнымъ ученіемъ о добрѣ и злѣ.

Въ результатѣ, дѣйствительность является у Бѣлинскаго противоположностью мечтательности. Нашъ «могучій, мужественный вѣкъ» — не терпитъ ничего ложнаго, поддѣльнаго, слабаго, распывчатаго, распывающегося, но любитъ одно мощное, крѣпкое, существенное». Дѣйствительность, слѣдовательно, равнозначительна съ положительностью и истиной. Въ искусствѣ это — реализмъ, въ наукѣ — безусловная трезвость мысли, въ жизни — закаленная твердость души.

Очевидно, гегельянское понятіе незамѣтно перешло въ символъ позитивизма — совершенно независимо отъ какихъ бы то ни было внѣшнихъ теоретическихъ вліяній. Ихъ не могло и быть въ Россіи тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, когда сенъ-симонизмъ привлекалъ вниманіе ограниченаго круга русской молодежи почти исключительно своимъ политическимъ и социальнымъ содержаніемъ. Бѣлинскій самъ отъ себя преобразовалъ германскую философію, приспособляя ее къ потребностямъ своего ума, и вводилъ въ это преобразование драгоцѣннѣйшія для него силы и способности человѣка — мужественное проникновеніе въ смыслъ дѣйствительности и героическій расчетъ съ добытыми результатами.

И вы знаете, кто на этотъ взглядъ окажется человѣкомъ,

достойнымъ удивленія? Никто иной, какъ лермонтовскій Печоринъ, кажется, не имѣющій никакихъ касательствъ къ объективному созерцанію дѣйствительности. Именно онъ *дѣйствителенъ*, потому что неуклонно правдивъ съ жизнью и съ самимъ собой. Онъ «смотритъ дѣйствительности прямо въ глаза, не опуская своихъ глазъ, называетъ вещи настоящими ихъ именами». Онъ одаренъ силой духа и могуществомъ воли, у него есть инстинктъ истины...

Все это и значить воплощать дѣйствительность XIX-го вѣка...

Не припоминается ли вамъ невольно другой литературный образъ, чрезвычайно близко подходящій къ только что начертанной характеристикѣ? Развѣ вы удивились бы, если бы вамъ точно въ такихъ же выраженіяхъ изобразили Базарова? Основные черты, несомнѣнно, тѣ же самыя, и такъ должно быть, потому что идеалъ разумной дѣйствительности по Бѣлинскому долженъ совпадать съ отрицаніемъ всего призрачнаго, не настоящаго, романтическаго и чувствительно-слабодушнаго. И прислушайтесь къ драмѣ, какая критика представляется между Печоринымъ и его противниками, предъ вами будто одна изъ сценъ тургеневскаго нигилиста съ однимъ изъ «старенькихъ романтиковъ».

Романтики вопіютъ:

«Какой страшный человекъ этотъ Печоринъ! Потому что его безпокойный духъ требуетъ движенія, дѣятельность ищетъ пищи, сердце жаждетъ интересовъ жизни, потому должна страдать бѣдная дѣвушка! «Эгоистъ, злодѣй, извергъ, безнравственный человекъ!» — хоромъ закричатъ, можетъ быть, строгіе моралисты. Ваша правда, господа; но вы-то изъ чего хлопчете? за что сердитесь? Право, намъ кажется, вы пришли не въ свое мѣсто, сѣли за столъ, за которымъ вамъ не поставлено прибора... не подходите слишкомъ близко къ этому человеку, не нападайте на него съ такою запальчивою храбростію; онъ на васъ взглянетъ, улыбнется, и вы будете осуждены, и на смущенныхъ лицахъ вашихъ всѣ прочтутъ судъ вашъ. Вы предаете его анаемѣ не за пороки, въ васъ ихъ больше, и въ васъ, они чернѣе и позорнѣе,—но за ту смѣлую свободу, за ту жолчную откровенность, съ которою онъ говоритъ о нихъ».

Вослѣдствіи критикѣ шестидесятихъ годовъ не придется прибавить ни одной существенной черты къ этому портрету «мыслящей личности», «сильнаго организма», «реальнаго мыслителя». Такого предѣла достигла разумная дѣйствительность, почерпнутая изъ мутнаго источника гегельянской диалектики! Учитель пришегъ бы въ крайнее смущеніе отъ такого толкованія своего разума:

получалась дѣйствительно если не «алгебра революціи», какъ выражался Герценъ о разрушительныхъ наклонностяхъ діалектики, то формула личнаго протестантизма и увѣнчаніе одинокой и прерительно-вызывающей личности.

И все это писалось въ одинъ годъ со статьей о *Горь отъ ума*. Чапкій не нашелъ пощады, а Печоринъ не встрѣтилъ даже и тѣни порицанія. Такова чарующая власть силы и самодовлѣющаго одиночества! Именно эта власть внушила Бѣлинскому чудодѣйственное толкованіе идеи *дѣйствительности* и пронизала туманъ метафизической реторики страстнымъ словомъ личнаго сочувствія и гнѣва <sup>102)</sup>.

Еще значительнѣе судьба другого философскаго понятія — *объективности*.

По правовѣрному теоретическому представленію, объективность означаетъ поглощеніе личности вѣншимъ міромъ, подчиненіе субъекта дѣйствительности до полнаго самоотреченія. Такъ проповѣдывалъ и Бѣлинскій, но въ самый разгаръ проповѣдей онъ опять будто безсознательно впадалъ въ жестокую ересь, по своему переимчивая процессъ развитія объективизма въ личности. У него гармонія между личностью и вѣншимъ міромъ достигалась обратнымъ путемъ, чѣмъ у нѣмецкихъ философовъ и ихъ вѣрныхъ русскихъ послѣдователей, не личность тонула въ дѣйствительности, а дѣйствительность цѣликомъ входила въ нравственный міръ личности. Начало и конецъ — я, со всею мощью и богатствомъ его духа.

Это не фихтианскій субъективизмъ, гдѣ личность — единственно творческая и реальная сила. Это совершенно оригинальная система, гдѣ за дѣйствительностью оставлено все ея неисчерпаемое содержаніе и неизсякаемое творчество, а за человѣческимъ я признано все достоинство непрерывно дѣятельнаго сознательнаго духа.

Очевидно, въ этой системѣ объективность превратится въ воспримчивость, въ способность нашей природы заключить въ себѣ всѣ явленія и тайны жизни. Разумная дѣйствительность, слѣдовательно, отождествится съ совершеннымъ человѣческимъ духомъ, т. е. неограниченно отзывчивымъ и неустанно претворяющимъ вѣншія впечатлѣнія въ идеи.

Вотъ самый ранній образъ подобной личности:

«Кто способенъ выходить изъ внутренняго міра своихъ задушевныхъ, субъективныхъ интересовъ, чей духъ столько могучъ,

<sup>102)</sup> *Герой нашего времени*. III. 1840 годъ.



что въ силахъ переступить за черту закодированнаго круга прекрасныхъ обаятельныхъ радостей и страданій своей человѣческой личности, вырваться изъ ихъ милыхъ, лелѣющихъ объятій, чтобы созерцать великія явленія объективнаго міра, и ихъ объективную особность усвоить въ субъективную собственность чрезъ сознаніе своей съ ними родственности, того ожидаетъ высокая награда, безконечное блаженство: засверкають слезами восторга очи его, и весь онъ будетъ—настроенная арфа, бряцающая торжественную пѣснь своего освобожденія отъ оковъ конечности своего сознанія духомъ въ духѣ».

Все это говорится затѣмъ, чтобы на высшую ступень духовныхъ радостей поставить патріотическое чувство, отзывчивость на великія событія родной исторіи, въ родѣ Бородинской битвы.

Если это справедливо, тогда какой же смыслъ имѣетъ защита Гёте отъ упрековъ Менцеля въ отсутствіи патріотическаго подъема духа при самыхъ тяжелыхъ испытаніяхъ Германіи? Слѣдовательно, Гёте не смогъ выйти изъ круга себялюбивыхъ интересовъ и не ощутилъ объективнаго восторга? Противорѣчіе безвыходное и оно показываетъ, какъ трудно было нашему критику выкроить свои идеи и размѣрить свои чувства по чужой теоретической указкѣ.

Немного позже изображается идеальный человѣкъ въ высшей степени одушевленной кистью. Рѣчь Бѣлинскаго вся горитъ и блещетъ личнымъ сочувствіемъ предмету. Основное положеніе: «чѣмъ глубже натура и развитіе человѣка, тѣмъ болѣе онъ человѣкъ и тѣмъ доступнѣе ему все человѣческое». Мысль эта развивается въ страстной лирической рѣчи и съ каждымъ словомъ все больше и больше тускнѣетъ идея объективнаго созерцанія, на сценѣ мыслитель и дѣлатель жизни, весь сотканный изъ нервовъ, весь — трепетная чуткость и неукротимая стремительность къ излюбленной цѣли <sup>103</sup>).

Послѣ подобнаго настроенія мы поймемъ авторское изреченіе: «безпристрастіе добродѣтель сухая, мертвая, чиновническая» <sup>104</sup>). Гдѣ же ее вмѣстить нашему критику, такъ своеобразно истолковавшему дѣйствительность и объективность. Онъ дастъ послѣдній ударъ кисти своимъ толкованіямъ, потребуетъ, чтобы даже отъ дѣтей не скрывали правды дѣйствительности, показывали ее «во всемъ ея очарованіи и во всей ея неумолимой суровости». Именно

<sup>103</sup>) Ст. *Дитскія сказки дѣдушки Ирины*. III, 508. 1840 годъ.

<sup>104</sup>) *Повѣсть о приключеніи атлѣйскаго милорда*. III, 253. 1839 годъ.

такимъ путемъ воспитываются сильныя, независимыя личности. «Въ одной истинѣ и жизнь и благо». Наконецъ, Бѣлинскій представитъ изумительную характеристику суевѣрія. Прочитавши ее, мы невольно зададимъ себѣ вопросъ, на чемъ же зиждется философская вѣра критика? Какой жизненный нервъ питаетъ гегельянскія настроенія въ его душѣ?

«Въ развитіи индивидуальнаго я,—пишетъ Бѣлинскій,—есть такой моментъ, въ которомъ оно отрицаетъ отъ себя всякую истину и полагаетъ ее всю въ объектѣ. Продолжая развивать далѣе этотъ моментъ, онъ доходитъ, наконецъ, до рѣшительной крайности, принимая за истину все, что только противорѣчитъ его опредѣленіямъ. Эта моментная крайность называется суевѣріемъ. Сущность суевѣрія именно заключается въ томъ, что оно видитъ всю истину во внѣшнемъ, положительномъ, и не потому, чтобы оно было убѣждено въ разумности внѣшняго и положительнаго, а потому, что оно, напротивъ, темно и недоступно для я (что бы ни было это я—чувство ли, предчувствіе ли, мысль ли) и діаметрально противорѣчитъ ему». Естественно, суевѣріе вмѣсто разумныхъ доводовъ прибѣгаетъ къ таинственности и вмѣшиваетъ ее въ самыя обыкновенныя явленія.

Такъ разсуждаетъ авторъ бородинскихъ статей. Ему слѣдовало бы задать себѣ вопросъ, о какомъ суевѣрії ведетъ онъ рѣчь? Конечно, не о народномъ, не о наивномъ и непосредственномъ, а о суевѣрії развитого ума, т. е. о философскомъ и нравственномъ доктринерствѣ. Бѣлинскій, переживая гегельянскій недугъ, самъ же поставилъ ему діагнозъ и даже напелъ лѣкарство въ своей неподкупно-искренней и страстной душѣ.

Когда критикъ прославляетъ примиреніе и созерпаніе, намъ представляется затихшая передъ грозой природа, погрузившаяся въ грезы усталая мысль, разстроенное жаждой свѣта и любви одинокое сердце. Мы ни на минуту не вѣримъ, будто діалектическое фокусничество съ разумной дѣйствительностью — послѣднее пристанище нашего писателя истины и вѣры. Мы вѣримъ совершенно другому: «безъ бурь нѣтъ плодородія и природа изнываетъ; безъ страстей и противорѣчій нѣтъ жизни, нѣтъ поэзіи. Лишь бы только въ этихъ страстяхъ и противорѣчіяхъ была разумность и чистота, и ихъ результаты вели бы человѣка къ его цѣли» <sup>105</sup>).

<sup>105</sup>) Герои нашего времени. III, 604.

<sup>106</sup>) Къ Вяткину, Пыпинъ. II, 105.

Вотъ это подлинное выраженіе психологіи автора и на этомъ признаніи мы можемъ основать всю исторію нравственныхъ переломовъ Бѣлинскаго. Онъ долженъ былъ пережить полосу «суевѣрія», построенія реакціи послѣ революціоннаго шиллеризма и бурнаго опекуинства надъ человѣчествомъ. Онъ необходимо бросился въ крайность, ища дѣйствительности и положительности взаи́мнѣ романтической поэзіи и неосуществимыхъ мечтаній. И онъ доходилъ до фанатическаго восторга предъ новымъ божествомъ, но отнюдь не до религіознаго спокойнаго обожанія. Гегельянство подарило Бѣлинскому рядъ *построеній* и вовсе не повліяло на его міросозерпаніе въ положительномъ смыслѣ. Когда потребность перевести духъ миновала, когда мучительное возбужденіе смѣнилось ясной вдумчивостью и процессомъ самопознанія — недавнія излишества неминуемо вызвали чувство горечи и гнѣва. Бѣлинскій неоднократно будетъ казнить себя за былой пагубою, но въ порывѣ самобичеванія преувеличить свою вину.

Онъ никогда не былъ вѣрнымъ и безусловно преданнымъ слушателемъ «фетиша» и не способенъ былъ, даже если бы захотѣлъ. Онъ недаромъ такъ восхищался Печориннымъ, съ особенной тщательностью оти́ѣтилъ двойственность его духовной жизни: одинъ и тотъ же человѣкъ говоритъ, дѣйствуетъ и въ то же время наблюдаетъ за своими мыслями и дѣйствіями. Этотъ неотвязный самоанализъ—свойство самого Бѣлинскаго и мы видѣли, какъ настойчиво вторгался «инстинктъ истины» въ «гармоническій хоръ».

Побѣда, рано или поздно, была за этимъ инстинктомъ и онъ сумѣлъ собрать обильные плоды самопознанія съ ненавистныхъ заблужденій. Бѣлинскій, окончательно освободившійся отъ разлада между своей личностью и чужой вѣрой, навсегда исцѣлился отъ всяческихъ суевѣрій. Гегельянство сыграло роль предохранительной прививки и Бѣлинскій на всю жизнь остался проповѣдникомъ *своей* дѣйствительности и *своей* объективности, т. е. совершенной жизненной правды и непосредственнаго воспріятія ея смысла.

Въ высшей степени важенъ вопросъ: какія силы заставили Бѣлинскаго разорвать всѣ связи съ философскими вдохновеніями и произнести безповоротное осужденіе надъ Гегелемъ и его ученіемъ. Письмо, заключающее смертный приговоръ практической мудрости германскаго философа, относится къ марту 1841 года. Бѣлинскій уже болѣе года жилъ въ Петербургѣ, съ конца 1839 года, и естественно предположить, что новыя внѣшнія условія повліяли на его мысли. Этого вліянія, конечно, отрицать нельзя, но его слѣ-

дуетъ ввести въ весьма ограниченные предѣлы. Независимо отъ переселенія въ Петербургъ, Бѣлинскій пришелъ бы къ извѣстной цѣли и, вѣроятно всего, въ тотъ же срокъ, какъ это произошло въ Петербургѣ.

## XXV.

Мы неоднократно отмѣчали существенный фактъ въ критикѣ Бѣлинскаго: никакіе теоретическіе символы и внѣшнія вліянія не мѣшали ему въ самыхъ раннихъ статьяхъ положить прочныя основы дальнѣйшему совершенствованію своей независимой критической мысли. Пушкинъ и Гоголь нашли у Бѣлинскаго достодолжную оцѣнку съ самаго начала, произведенія Лермонтова встрѣтили восторженный пріемъ въ самый, повидимому, неблагоприятный періодъ увлеченій критика. Такое же представленіе мы должны усвоить и вообще о нравственномъ развитіи Бѣлинскаго.

Переѣздъ въ Петербургъ измѣнилъ среду дѣйствій, свелъ критика съ новыми людьми, вызвалъ еще неиспытанныя впечатлѣнія, но все это не имѣло бы рѣшающаго значенія въ философскихъ принципахъ Бѣлинскаго, если бы они не подверглись преобразованію въ силу органическаго развитія его мысли. Мы видѣли, это развитіе не прекращалось ни при какихъ условіяхъ, и статьи, написанныя въ Москвѣ, обличали затаенную борьбу *теоріи* и *натуры*. Знакомое намъ въ высшей степени краснорѣчивое опредѣленіе «суевѣрія», оригинальное понятіе «объективности» принадлежатъ еще Москвѣ. На долю Петербурга выпало въ одинъ и тотъ же годъ увидѣть въ *Отечественныхъ Запискахъ* жестокое униженіе Чацкаго и одушевленную оду Печорину. Обѣ статьи являлись крайнимъ выраженіемъ борьбы идей, переживаемой авторомъ. Она началась не въ Петербургѣ и Петербургъ только, можетъ быть, приподнялъ негодованіе Бѣлинскаго на свои примирительныя чувства.

Петербургу естественно было этого достигнуть.

Бѣлинскому предстояло единственное поприще—литературное, и вотъ въ этой-то области онъ засталъ удручающе-тягостную дѣйствительность. Еще раньше далеко не розовыя впечатлѣнія испыталъ въ Петербургѣ Станкевичъ. Изъ его словъ можно заключить, что Петербургъ былъ отличнымъ средствомъ противъ идиллической мечтательности и блаженнаго ничегонедѣланія.

«Я много обязанъ тебѣ и Петербургу, — писалъ Станкевичъ Невѣрову.—Я началъ дорожить временемъ; теперь мнѣ совѣстно

прошляться цѣлый день на охотѣ; я позволяю себѣ это не иначе, какъ отдыхъ или какъ поощреніе» <sup>107)</sup>).

Бѣлинскому также пришлось припомнить свои первыя впечатлѣнія лѣтъ пять спустя послѣ прїѣзда въ Петербургъ. И въ этихъ воспоминаніяхъ общая форма рѣчи явно прикрываетъ собой личную исповѣдь. Напримѣръ, слѣдующую характеристику москвичей Бѣлинскій могъ вполне написать по своему собственному московскому портрету:

«Многимъ изъ нихъ (исключенія рѣдки) стоитъ сочинить свою, а всего чаще вычитать готовую теорію или фантазію о чемъ бы то ни было, и они уже твердо рѣшаются видѣть оправданіе этой теоріи или этой фантазіи въ самой дѣйствительности, и чѣмъ болѣе дѣйствительность противорѣчитъ ихъ любимой мечтѣ, тѣмъ упрямѣе убѣждены они въ ея безусловномъ тождествѣ съ дѣйствительностью. Отсюда игра словами, которыя принимаются за дѣла, игра въ понятія, которыя считаются фактами».

Въ Петербургѣ всѣ высокопарныя мечты, идеалы, теоріи, фантазіи разлетаются прахомъ. «Петербургъ имѣетъ на нѣкоторыя натуры отрезвляющее свойство: сначала кажется вамъ, что отъ его атмосфесы, словно листья съ дерева, спадаютъ съ васъ самыя дорогія убѣжденія; но скоро замѣчаете вы, что то не убѣжденія, а мечты, порожденные праздною жизнью и рѣшительнымъ незнакомствомъ дѣйствительности, и вы остаетесь, можетъ быть, съ тяжелою грустью, но въ этой грусти такъ много святаго, человѣческаго!...» <sup>108)</sup>.

И авторъ ни на какую обольстительную ложь не промѣняетъ самой горькой истины: ложь—счастье глупца, страданіе разумнаго человѣка—истина, плодотворная въ будущемъ.

Бѣлинскій, несомнѣнно, говорилъ такъ по собственному опыту и на себѣ самомъ вынесъ страданія, неминуемо постигающія мечтателя предъ истинами жизни. Не даромъ его бесѣда производила на петербургскихъ знакомыхъ впечатлѣніе глубокой горечи. Ему пришлось многое сжечь и весьма немногому поклониться, въ литературѣ и въ общественной жизни только талантамъ немногихъ писателей да своей личной вѣрѣ въ лучшее будущее.

Много лѣтъ спустя по смерти Бѣлинскаго Некрасовъ такъ

<sup>107)</sup> Переписка, 99.

<sup>108)</sup> *Петербургъ и Москва*. XII, 222, 230. 1845 годъ.

<sup>109)</sup> Никитенко, *Записки и дневникъ*. I, 451.

рисовалъ сцену, гдѣ предстояло дѣйствовать критику съ первыхъ дней петербургской жизни:

Тогда все глухо и мертво  
Въ литературѣ нашей было:  
Скончался Пушкинъ, безъ него  
Любовь къ ней публики остыла.  
Въ бореньи пошлыхъ мелочей  
Она, погравнувъ, поглубѣла.  
До общества, до жизни ей  
Какъ будто не было и дѣла.  
Въ то время, какъ въ родномъ краю  
Открыто зло торжествовало  
Ему лишь «баюшки-баю»  
Литература расцвѣвала.  
Ничья могучая рука  
Ея не направляла къ цѣли <sup>110)</sup>...

Правда, дѣятельность Гоголя только что началась. Но гениальный художникъ не встрѣтилъ признанія у современныхъ журнальных представителей общественнаго мнѣнія. Пушкинъ—другъ и критикъ, его привѣтствовавшій и направлявшій, сошелъ въ могилу и—продолжаетъ Некрасовъ—Гоголь

Одинъ изнемогалъ,  
Тѣснимъ безстыдными врагами.

Въ періодической печати царствовали Булгаринъ и Сенковский. Въ лицѣ ихъ Бѣлинскій еще за московскій періодъ успѣлъ нажить непримиримыхъ враговъ и Булгаринъ даже прямо былъ убѣжденъ, что «бульдога» привезли изъ Москвы съ цѣлью именно его травить <sup>111)</sup>. Что касается Сенковского, Бѣлинскій не пропустилъ случая заклеить торгашество и циническое легкомысліе барона Брамбеуса, какъ писателя и какъ вдохновителя журнала, и не переставалъ *Библиотеку для чтенія* именовать «проказой» <sup>112)</sup>.

Противники, конечно, не оставались въ долгу и предъ нами поразительная, можно сказать, официальная картина борьбы Бѣлинскаго съ позорнымъ заговоромъ литературныхъ промышленниковъ противъ него и русскаго общественнаго просвѣщенія. Сообщенія идутъ отъ цензора Никитенко, принимавшаго ближайшее

<sup>110)</sup> Отрывокъ изъ незаданнаго стихотворенія Некрасова.

<sup>111)</sup> Такъ рассказывалъ Панаевъ и Бѣлинскому со словъ самого Булгарина. Письмо Бѣлинскаго, Пыпинъ. II, 9.

<sup>112)</sup> *Русская литература въ 1840 году*. IV, 225.

участіе въ многообразныхъ происшествіяхъ современнаго литературнаго міра.

Судьбами русской литературы располагалъ министръ народнаго просвѣщенія Уваровъ. Мы знаемъ его роль въ гибели «Телеграфа». Она была только частнымъ и сравнительно слабымъ проявленіемъ общей системы. Министръ не скрывалъ своихъ предначертаній и даже гордился ихъ чисто средневѣковымъ духомъ.

Никитенко передаетъ одинъ изъ откровенныхъ монологовъ Уварова. На взглядъ министра, даже Гречъ и Сенковский оказывались опасными либералами. Самый фактъ существованія литературы поднималъ у него желчь и подсказывалъ необъятные героические замыслы.<sup>112</sup>

Министръ желалъ, ни болѣе, ни менѣе, какъ «отодвинуть Россію на 50 лѣтъ отъ того, что готовятъ ей теоріи» въ статьяхъ такихъ революціонеровъ, какъ другъ Булгарина и издатель *Библиотеки для чтенія*! Это дѣло Уваровъ считалъ своимъ долгомъ и твердо рассчитывалъ выполнить его при своихъ обширныхъ «политическихъ средствахъ».

Въ другихъ случаяхъ Уваровъ говорилъ еще проще и энергичнѣе: его желаніе «чтобы, наконецъ, русская литература прекратилась»<sup>113</sup>).

И противъ кого же шла эта гроза!

Отъ самого Греча мы знаемъ, какъ онъ быстро и основательно выгѣчился отъ какого бы то ни было либерализма и составилъ довольно стройный хоръ съ Булгаринымъ. Сенковский съ полной убѣдительностью и краснорѣчіемъ заявилъ о своихъ убѣжденіяхъ еще въ *Большомъ выходѣ Сатаны*.

Сатира эта представляла самый откровенный пасквиль на современные политическія движенія Западной Европы. Авторъ издѣвался надъ журналистикой, основными законами французской монархіи, и особенно надъ «верховной властью сапожниковъ, поденщиковъ, извозчиковъ, наборщиковъ, нищихъ, бродягъ и проч.». Даже англійскій билль о реформѣ не избѣгъ насмѣшки и въ заключеніе свобода конституціонныхъ государствъ отождествлялась въ возможность кому угодно безпрепятственно разбивать другимъ головы «во всякое время года».

Кажется, достаточно ясно, но для власти было мало. Вполнѣ удовлетворительнымъ, очевидно, являлся только Булгаринъ.

<sup>112</sup>) Никитенко. I, 360, 459.

Его подвиги какъ разъ съ появленіемъ Бѣлинскаго въ *Отечественныхъ Запискахъ* достигли совершенно сказочнаго блеска.

Не зная, какъ донять опаснаго конкурента, издатель *Сверной Пчелы* подалъ доносъ на цензуру и на самого министра.

Доносъ былъ вызванъ цензурной мѣрой относительно болгаринской газеты. Въ ней доводилось до всеобщаго свѣдѣнія, что Краевскій, издатель *Отечественныхъ Записокъ*, унижаетъ Жуковского, не смотря на то, что Жуковскій авторъ нашего народнаго гимна «Боже, царя храни». Цензура распорядилась, чтобы *Сверная Пчела* больше не «трудилась писать такихъ мерзостей, ибо цензура будетъ безжалостно вымарывать ихъ».

Булгаринъ рѣшилъ защищать свои права и на имя попечителя князя Волконскаго прислалъ письмо, гдѣ прямо обвинялъ власть въ поощреніи революціонерамъ. Въ Россіи существуетъ партія мартинистовъ, цѣль ея—ниспровергнуть существующій порядокъ вещей, и представитель этой партіи *Отечественныя Записки*. А цензура явно имъ потворствуетъ.

Булгаринъ требовалъ слѣдственной комиссіи, готовъ былъ предстать предъ ней какъ «доноситель» для обличенія враговъ вѣры и престола, грозилъ просить самого государя разобратъ дѣло, а въ случаѣ, если государь не вникнетъ въ вопросъ, довести до свѣдѣнія прусскаго короля и чрезъ него дѣйствовать на государя императора.

Доносу пришлось дать ходъ. По инстанціямъ онъ дошелъ до государя. Никитенко сообщаетъ, будто императоръ Николай, прочтавъ письмо Булгарина, отдалъ его Бенкендорфу со словами: «Сдѣлай такъ, чтобы я какъ будто объ этомъ ничего не зналъ и не знаю»...

Очевидно, Булгарину ни съ какой стороны не грозила опасность на его поприщѣ спасенія отечества, и *Сверная Пчела* неуклонно продолжала свою политику. Она превратила себя въ своего рода высшій наблюдательный комитетъ надъ дѣлами печати и цензурнымъ вѣдомствомъ. Журналистъ съ болгаринскимъ прошлымъ и болгаринскими доблестями могъ держать въ страхѣ цѣлое учрежденіе и даже самого министра! Во всей высшей администраціи не находилось смѣльчака набросить «намордникъ» на новаго опричника, и Булгаринъ не стѣснялся въ лицо властямъ заявлять касательно намордника: «Я не позволю» <sup>114)</sup>...

<sup>114)</sup> Ib. I, 457, 480, 492.



Рядомъ съ *Отечественными Записками* вскорѣ и *Современника* попалъ на страницахъ *Сѣверной Пчелы* въ разрядъ «зловредныхъ журналовъ». Патриоты не брезговали и другими путями: Бугаринъ и Гречъ подавали доносы прямо въ третье отдѣленіе, и цензору приходилось окольными путями оберегать затравленнаго издателя. Составлялись заговоры и помимо официальныхъ воздѣйствій. Гречъ, напримѣръ, измыслилъ хитроумный проектъ—арестовать въ почтамтѣ подписныя деньги *Отечественныхъ Записокъ* за долги Краевского и тѣмъ подорвать печатаніе журнала.

*Современникъ*, попавшій съ 1847 года въ индексъ «Пчелы», отнюдь не могъ похвалиться гражданской безупречностью. Подъ профессорскимъ редакторствомъ Плетнева, онъ велъ ту же линію борьбы съ литературнымъ врагомъ не литературнымъ оружіемъ.

Плетневъ, приведенный въ отчаяніе равнодушіемъ публики къ его журналу, поспѣшилъ воспользоваться своей предсѣдательской должностью въ цензурномъ комитетѣ. Онъ предложилъ провѣрить, на сколько точно выполняютъ журналы свои, утвержденныя правительствомъ, программы.

Оказалось, всё отступало отъ нея, и особенно *Отечественныя Записки*. Они сначала не обѣщали иностранныхъ повѣстей, а теперь печатали переводы. Вина была найдена даже на *Библіотекѣ для чтенія*: въ программѣ у нея стояли *поэты*, а она помѣщала *романы*.

Исслѣдованіе повергло въ затрудненіе самого министра, допускавшаго подобныя нарушенія. Цензорамъ пришлось выдержать горячее засѣданіе, прибѣгнуть къ уставу для точнаго опредѣленія правъ предсѣдателя въ дѣлѣ цензурованія, а Никитенко даже пустился въ бесѣду по теоріи словесности, насчетъ различій между повѣстью и романомъ <sup>118</sup>).

Естественно, у нашего историка, отнюдь не рьянаго либерала и весьма умѣреннаго прогрессиста, вырывается настоящій стоиъ:

«Вотъ руководители нашего общества на поприщѣ умственныхъ подвиговъ! Вотъ ревнители о нашемъ убогомъ просвѣщеніи!»

Такіе ревнители, конечно, не могли поднять престижъ литератора, и мы вполне вѣримъ, что это имя «не внушаетъ никому уваженія». При одномъ звукѣ возставали образы «доносителей» и изслѣдователей, даже болѣе опасныхъ враговъ литературы, чѣмъ сама цензура и администрація. И они благоденствовали.

<sup>118</sup>) Гл. 473—4.

Плетневъ послѣ войны въ цензурномъ комитетѣ противъ печати отправлялся на кафедру просвѣщать молодежь въ исторіи русской литературы. Булгаринъ и Гречъ изъ третьяго отдѣленія являлись въ свѣтъ и общество и собирали здѣсь дань своимъ талантамъ и своему успѣху.

Тотъ же Никитенко рисуетъ отчаянную картину той самой общественной среды, гдѣ Булгарины открыто могли кричать «слово и дѣло» и занимать положеніе «почтенныхъ» и даже «заслуженныхъ» литераторовъ. Для насъ рѣчь Никитенко особенно поучительна: она и по смыслу, и по времени совпадаетъ съ петербургскими впечатлѣніями Бѣлинскаго.

«Печальное зрѣлище представляетъ наше современное общество!—пишетъ Никитенко въ началѣ 1841 года.—Въ немъ ни великодушныхъ стремленій, ни правосудія, ни простоты, ни чести въ нравахъ, словомъ, ничего, свидѣтельствующаго о здоровомъ, естественномъ и энергичномъ развитіи нравственныхъ силъ. Мелкія души истощаются въ мелкихъ сплетняхъ общественнаго хаоса... Образованность наша—одно лицемеріе. Учились мы безъ любви къ наукѣ, безъ сознанія достоинства и необходимости истины. Да и въ самомъ дѣлѣ, зачѣмъ заботиться о пріобрѣтеніи познаній въ школѣ, когда наша жизнь и общество въ противоборствѣ со всѣми великими идеями и истинами, когда всякое покушеніе осуществить какую-нибудь мысль о справедливости, о добрѣ, о пользѣ общей, клеймится и преслѣдуется, какъ преступленіе? Къ чему воспитывать въ себѣ благородныя стремленія? Вѣдь рано или поздно, все равно, придется пристать къ массѣ, чтобы не сдѣлаться жертвою».

Въ результатѣ—въ европейской странѣ XIX вѣка тѣло Пушкина, поэта, признаннаго верховной властью, выносятъ изъ дому тайкомъ, ночью, запрещаютъ студентамъ и профессорамъ присутствовать на похоронахъ, и они «тайкомъ, какъ воры, должны прокрадываться» къ гробу великаго писателя. Послѣ отпѣванія также украдкой увозятъ тѣло Пушкина изъ Петербурга. Никитенко рѣшается прочесть студентамъ лекцію о заслугахъ поэта, но дѣлаетъ это съ рѣшимостью отчаянія: «будь, что будетъ!» Потомъ возникаетъ исторія объ изданіи сочиненій Пушкина, и министръ и цензура замышляютъ вновь пересмотрѣть и исправить даже тѣ произведенія, какія были одобрены государемъ. Правда, стихи Пушкина грамотная Россія знаетъ наизусть, но какое дѣло людямъ власти до общественнаго мнѣнія! Но зато они всѣми си-

лами души заинтересованы въ престижѣ званія фельдъегеря, и поднимаютъ цѣлую бурю изъ-за непочтительнаго описанія въ журнальной статьѣ фельдъегерской *формы*!

Цензура находитъ добровольцевъ всюду и среди профессоровъ, и литераторовъ, и особенно въ высшемъ обществѣ. Мы знаемъ, яacobинскій духъ *Телеграфа* привелъ въ негодованіе даже Пушкина; что же должны чувствовать господа, самого Пушкина считавшіе мѣщаниномъ въ дворянствѣ!

Они «съ великимъ гнѣвомъ» кричатъ о демократическомъ направленіи современной литературы, обвиняютъ писателей въ тайной мысли возбуждать массу и готовы подписаться подъ проектомъ грибоѣдовскаго героя насчетъ повальнаго истребленія новыхъ книгъ. Приходится завидовать тѣмъ временамъ, когда русскіе аристократы не читали русскихъ журналовъ и печать была свободна, по крайней мѣрѣ, отъ салоннаго доноительства.

Возможна ли при такихъ условіяхъ бодрая умственная дѣятельность отдѣльныхъ личностей? Гдѣ сочувственники и защитники? Гдѣ просто осуществимая идеальная цѣль?

Эти вопросы неизбежны для всякаго дѣятеля слова и мысли и во всякое время. Отъ ихъ рѣшенія непосредственно зависитъ послѣдовательность стремленій и стойкость личностей. Если окружающая дѣйствительная жизнь развивается въ прямомъ противорѣчій съ идеалами и надеждами человѣка, ему требуется исключительная сила воли и поистинѣ героическая вѣра въ свое дѣло и свое призваніе, чтобы не снизойти до общаго уровня и не остановиться на своемъ независимомъ пути.

Послушаемъ еще разъ нашего лѣтописца сороковыхъ годовъ. Онъ—профессоръ и литераторъ—также нуждался въ почвѣ для своего идейнаго дѣла, воздегѣлъ о публикѣ и задумывался надъ смысломъ своихъ хотя бы и очень скромныхъ, но все-таки просвѣтительныхъ усилій.

И вотъ онъ, оглядываясь кругомъ себя въ минуты раздумья надъ своимъ профессорскимъ и писательскимъ положеніемъ, приходилъ къ самымъ горькимъ выводамъ. Мы опять должны напомнить ихъ: они—въ полномъ смыслѣ историко-культурное введеніе въ зрѣлый періодъ жизни и дѣятельности Бѣлинскаго.

Никитенко не видитъ практическаго смысла въ своихъ лекціяхъ по исторіи русской литературы, просто потому, что литература не пользуется въ обществѣ правами гражданства.

«Я обманываю и обманываюсь, произнося слова: *развитіе, на*

*правление мыслей, основныя идеи искусства.* Все это что-нибудь и даже много значить тамъ, гдѣ существуетъ общественное мнѣніе, интересы умственные и эстетическіе, а здѣсь просто швырянье словъ въ воздухъ. Слова, слова и слова! Жить въ словахъ и для словъ, съ душою, жаждущею истины, съ умомъ, стремящимся къ вѣрнымъ и существеннымъ результатамъ, это дѣйствительное, глубокое злополучіе. Часто, очень часто я бываю пораженъ глубокимъ мрачнымъ сознаніемъ моего ничтожества. Еслибъ я жилъ среди дикихъ, я ходилъ бы на заѣрную и рыбную ловлю, я дѣлалъ бы дѣло, а теперь я, какъ ребенокъ, какъ дуракъ, играю въ мечты и призраки! О, кровью сердца написалъ бы я исторію моей внутренней жизни! Проклято время, гдѣ существуетъ выдуманная, офиціальная необходимость моральной дѣятельности, безъ дѣйствительной въ ней нужды, гдѣ общество возлагаетъ на васъ обязанности, которыя само презираетъ» <sup>116</sup>).

Это очень сильно, но у автора все-таки были утѣшенія, онъ служилъ и награжденія бралъ. Неудовлетверенное нравственное и общественное чувство болѣе или менѣе возмѣщалось чиновничьимъ честолюбіемъ и офиціальною карьерой. Если для лекцій и статей Никитенко не существовало общественного мнѣнія, его способности и усердіе цѣнило начальство, и эта оцѣнка, конечно, была дорога для дѣятеля: иначе онъ не усердствовалъ бы до послѣдняго напряженія силъ на поприщѣ казенной службы.

Но ему, мы видимъ, приходилось жутко только потому, что помимо чиновника, въ немъ жилъ еще гражданинъ, подъ мундиромъ билось человѣческое сердце. И этого достаточно, чтобы высокопоставленный литераторъ доходилъ по временамъ до отчаянія и полной душевной растерянности.

Чего же мы должны ждать отъ просто писателей, имѣющихъ возможность опираться только на общество, на ту самую косную, рабскую и дикую толпу, какая удручаетъ нашего лѣтописца?

Бѣлинскій, переживая послѣдніе отголоски юношескихъ мечтаній, покидая навсегда отрѣшенный міръ теоретическихъ построеній и призрачнаго удовлетворенія, долженъ былъ стать лицомъ къ лицу съ живою жизнью и дѣлать свое дѣло писателя безъ всякихъ идеалистическихъ самообмановъ и ослѣпляющихъ фантастическихъ перспективъ философской секты.

Онъ еще до петербургскихъ опытовъ не разъ принимался за

<sup>116</sup>) Ib. 412, 435, 424.

провѣрку не однихъ литературныхъ преданій. По совершенно неожиданнымъ поводамъ онъ набрасывалъ рѣзкія картины вообще русской дѣйствительности. Дурно написанная брошюра о способѣ къ распространенію шелководства вдохновляла на сатиру противъ русской системы средняго и высшаго образованія и страстно-личную отповѣдь риторикѣ, отравившей не одну минуту школьной жизни критика. Съ другой стороны — гоголевскій Бульба вызывалъ у него восторженную хвалу людямъ, живущимъ идеей и ради идеи, способнымъ объективную идею претворять въ субъективную стихію жизни.

Это и значить жить въ разумной дѣйствительности <sup>117)</sup>.

Теперь критику предстояло извлечь всю мощь негодованія, какая только таилась въ его публицистическомъ талантѣ, и призвать на помощь всю глубину своего идеализма, чтобы съ бодрымъ духомъ продолжать крестный путь русскаго литератора.

## XXVI.

Первыя петербургскія статьи Бѣлинскаго не имѣютъ ничего общаго съ лирическимъ безпорядкомъ бородинскихъ признаній. Въ этомъ отношеніи критикъ является новымъ и будто другимъ. Но въ сущности исчезъ именно только лиризмъ въ гегельянскомъ духѣ, замолкла рѣзкая и одиноко звучавшая нота исключительнаго настроенія. Что касается *идей*, предъ нами знакомый процессъ, теперь только онъ гораздо ярче и глубже, потому что построенія не мѣшаютъ мысленію.

Прежнее толкованіе объективности, какъ неограничено-воспримчиваго личнаго міра, теперь развивается съ чрезвычайной силой и совершенной послѣдовательностью. Гёте, слѣдовательно, уже не будетъ идеаломъ поэта и человѣка, потому что въ его духъ не входилъ цѣлый міръ явленій — политическихъ и гражданскихъ. Гёте только идеалъ *личнаго* человѣка, но помимо личности, существуетъ еще общество и человѣчество, и мы должны усвоить «содержаніе интересовъ внѣшняго міра, общества и человѣчества», иначе наша нравственная жизнь будетъ не полна и природа несовершенна.

Личность и общество — простѣйшія силы культуры. Раньше

<sup>117)</sup> III, 271, 368.

<sup>118)</sup> Стихотворенія М. Лермонтова, IV, 275, 285. 1841 годъ.

критикъ говорилъ: человекъ и природа, личность и дѣйствительность, — теперь тѣ же понятія, только проникнутыя *нравственными* чувствомъ, не чисто художественнымъ и философскимъ. Дѣйствительность изъ области метафизики и діалектики снизошла до уровня опыта и наблюденія и, естественно, обнаружила новое содержание: «судьба родины», «страданія и радости, кризисы и перемены общества». И Гёте отступилъ на задній планъ предъ всякимъ другимъ великимъ поэтомъ, кому помимо звѣздной книги и говора волны были еще близки «здоровье» и «недуги» людей.

И Бѣлинскій не перестаетъ доискиваться отвѣта на вопросъ, что такое поэтическая натура? Статьи и письма переполнены разсужденіями на эту тему. И совершенно основательно: отъ разрѣшенія вопроса зависитъ вся дальнѣйшая эстетика критика.

По поводу Лермонтова поэтъ опредѣляетъ такъ:

«Это организація воспріимчивая, раздражительная, всегда дѣятельная, которая при малѣйшемъ прикосновеніи даетъ отъ себя искры электричества, которая болѣзненноѣ другихъ страдаетъ, живѣе наслаждается, пламеннѣе любитъ, сильнѣе ненавидитъ, словомъ, глубже чувствуетъ; натура, въ которой развиты въ высшей степени обѣ стороны духа — и пассивная, и дѣятельная».

Изъ этой психологіи логическій выводъ — тѣснѣйшая связь нравственного міра поэта съ внѣшней дѣйствительностью. Духовное богатство одаренной личности соответствуетъ обилію нитей, прикрѣпляющихъ его талантъ и чувство къ окружающему человечеству. «Чѣмъ выше поэтъ, тѣмъ больше принадлежитъ онъ обществу» и тѣмъ глубже на него воздѣйствіе историческаго развитія общества.

Здѣсь заключается полное оправданіе страстныхъ поэтическихъ геніевъ и раньше столь ненавистной Бѣлинскому *исторической* критики. Если дарованіе поэта измѣряется степенью его отзывчивости на *современность*, оцѣнивать поэтическія произведенія слѣдуетъ непремѣнно путемъ тщательнаго сопоставленія историческаго момента съ мотивами творчества. Французская критика, очевидно, получить должное признаніе и ея приемы войдутъ въ эстетику Бѣлинскаго.

Онъ даже немедленно послѣшить примѣнить къ дѣлу оружіе исторической критики, именно къ Гёте. И начнетъ онъ свою рату съ еще столь недавними вдохновеніями рѣшительнымъ приговоромъ гегельянству.

Въ письмѣ отъ 1-го марта 1841 года Бѣлинскій заявляетъ:

«Я имѣю особенно важныя причины злиться на Гегеля, ибо чувствую, что былъ вѣренъ ему (въ ощущеніи), мирясь съ российскою дѣйствительностью, хваля Загоскына и подобныя гнусности и ненавидя Шиллера... Всѣ толки Гегеля о нравственности—вздоръ сущій, ибо въ объективномъ царствѣ мысли нѣтъ нравственности, какъ и въ объективной религіи (какъ, напр., въ индійскомъ пантеизмѣ, гдѣ Брами и Шива—равно боги, т. е. гдѣ добро и зло имѣютъ равную автономію)... Судьба субъекта, индивидуума, личности важнѣе судебъ всего міра и здравія китайскаго императора (т. е. гегелевской *Allgemeinheit*)...»

Дальше Бѣлинскій воображаетъ бесѣду съ Гегелемъ и обращается къ учителю съ такой рѣчью, отныня вдохновляющей его краснорѣчіе:

«Благодарю покорно, Егоръ Федорычъ, кланяюсь вашему философскому копаку; но, со всѣмъ подобающимъ вашему философскому филистерству уваженіемъ, честь имѣю донести вамъ, что если бы мнѣ и удалось влѣзть на верхнюю ступень лѣстницы развитія, я и тамъ попросилъ бы васъ отдать мнѣ отчетъ во всѣхъ жертвахъ условій жизни и исторіи, во всѣхъ жертвахъ случайностей, суевѣрія, инквизиціи, Филиппа II и пр. и пр., иначе я съ верхней ступени бросаюсь внизъ головою. Я не хочу счастья и даромъ, если не буду спокоенъ на счетъ каждаго изъ моихъ братьевъ по крови... Говорять, что дисгармонія есть условіе гармоніи: можетъ быть, это очень выгодно и утѣдительно для меломановъ, но ужъ, конечно, не для тѣхъ, которымъ суждено выразить своею участію идею дисгармоніи. Впрочемъ, если писать объ этомъ все, и конца не будетъ...»

Но Бѣлинскій пишетъ. Въ сущности ничего другого онъ и не будетъ писать. Всѣ его статьи отныня посвящены разрѣшенію мучительнаго вопроса, какъ создать и упрочить въ нашемъ мірѣ путь для отдѣльныхъ личностей и для всѣхъ людей къ высшему благу — идейному и нравственному и гдѣ найти неизсякаемый источникъ мужества и вдохновенія для избранныхъ вождей человечества? *Идея* есть *цѣль* и *цѣль* есть *идея*; вотъ истинная философія, гдѣ нѣтъ мѣста безстрастному диалектическому процессу. Идейность, значить полнота стремленій, идейное искусство тамъ, гдѣ личность художника исполнена идеаломъ, страстной жаждой ихъ осуществленія, *навеса правды и чести*.

Поэтому Шилеръ—«Гракъ нашего вѣка», съ нимъ Бѣлинскій чувствуетъ тѣснѣйшее нравственное родство, а Гѣте вызы-

ваетъ у него «родъ ненависти». Этотъ «олимпіецъ» просто «воплощеніе эгоизма», особенно тонкаго и опаснаго «эгоизма внутренней жизни».

Въ такомъ поэтѣ не можетъ быть истиннаго величія, потому что великъ тотъ, кто заключаетъ въ себѣ жизнь человѣчества во всей ея полнотѣ. Тогда субъективность равнозначительна гуманности, и въ грусти поэта всякій узнаетъ свою и увидитъ въ немъ брата по человѣчеству <sup>119</sup>).

Итакъ, теперь объективность [сольется съ субъективностью, точнѣе—личность должна стать воплощеніемъ дѣйствительности, своего рода музыкальнымъ инструментомъ, богатымъ всѣми звуками, мелодіями и диссонансами жизни. А такъ какъ личность—мыслящій разумъ и живое чувство по преимуществу, то художественное произведеніе должно быть пропитано идеей, какъ извѣстнымъ идеаломъ и сильнымъ движеніемъ души, какъ горячимъ сочувствіемъ или безпощадной исповѣдью.

Отсюда основное положеніе эстетики Бѣлинскаго. Оно выражено въ слѣдующихъ неизгладимыхъ строкахъ:

«Что такое искусство нашего времени? Сужденіе, анализъ общества; слѣдовательно, критика. Мыслительный элементъ теперь слился даже съ художественнымъ, и для нашего времени мертво художественное произведеніе, если оно изображаетъ жизнь для того только, чтобъ изображать жизнь, безъ всякаго могучаго субъективнаго побужденія, имѣющаго свое начало въ преобладающей душѣ эпохи, если оно не есть вопль страданія или диаврамбъ восторга, если оно не есть вопросъ или отвѣтъ на вопросъ» <sup>120</sup>).

Но о чемъ-нибудь спрашивать или что-либо отвѣчать, значить въ извѣстномъ смыслѣ оцѣнивать дѣйствительность, измѣрять ее мѣрой идеала и имѣть въ виду тотъ или другой итогъ. Все это можно объединить понятіемъ *направленіе*. Оно ничто иное, какъ *содержаніе* произведеній художника, не тенденція, а богатство реального смысла, жизненная поучительность <sup>121</sup>).

*Талантъ* и *направленіе*—таковы два предмета критики. [Слѣдовательно, она разбивается на двѣ части—эстетическій анализъ и историческій разборъ. Произведеніе искусства безусловно должно

<sup>119</sup>) *Діянія Петра Великаго*. IV, 309. 1841 годъ.

<sup>120</sup>) *Речь о критикѣ*, А. Никитенко. VI, 199—200. 1842 годъ.

<sup>121</sup>) *Сочиненія Зенсиды Р-вой*. VII, 183. 1843 годъ.



быть *поэтическимъ*, обладать чисто-художественными достоинствами, Бѣлинскій настаиваетъ на этомъ принципѣ безусловно до конца своей дѣятельности.

Онъ лично одаренный глубокимъ чувствомъ художественной красоты, способный приходить въ энтузіазмъ отъ стихотвореній Лермонтова, неоднократно принимается изображать силу поэзія, присущую ей красоту—независимо отъ дѣйствительности, ея чарующее вліяніе на человѣческую душу.

Жизнь исполнена поэзія, вѣншій міръ красоты, но только искусство можетъ извлечь *сущность* жизненной красоты и поэзія. Ландшафтъ талантливаго живописца лучше живописныхъ видовъ въ природѣ, потому что въ немъ нѣтъ ничего случайнаго и лишняго, всѣ части подчинены цѣлому, все направлено къ одной цѣли, все образуетъ собою одно прекрасное, цѣлостное и индивидуальное. Дѣйствительность, говоритъ Бѣлинскій, чистое золото, но не очищенное, въ кучѣ руды и земли: наука и искусство очищаютъ золото дѣйствительности, перетопляютъ [его въ изящныя формы <sup>122</sup>).

Бѣлинскій этимъ расужденіемъ установилъ навсегда *идею красоты* въ искусствѣ и утвердилъ на незыблемомъ *психологическомъ* основаніи права художественнаго впечатлѣнія и, слѣдовательно, суда.

Невольно припоминается любопытнѣйшее совпаденіе мыслей Бѣлинскаго съ разсужденіями автора, вовсе не эстетика и критика по призванію, а только одареннаго инстинктомъ художественной красоты. Глѣбъ Успенскій написалъ оригинальнѣйшую статью о Венерѣ Милосской и здѣсь, разгадывая «каменную загадку», пришелъ къ выводамъ Бѣлинскаго.

Художникъ, создававшій дивную богиню, задался, по мнѣнію Успенскаго, совершенно опредѣленной цѣлью: «людямъ своего времени, и всѣмъ вѣкамъ и всѣмъ народамъ вѣковѣчно и нерушимо запечатлѣть въ сердцахъ и умахъ огромную красоту *человѣческаго* существа, ознакомить человѣка — мужчину, женщину, ребенка, старика—съ ощущеніемъ счастья быть *человѣкомъ*». Какъ же художникъ достигъ этой цѣли? Путемъ отвлеченія *сущности* человѣческой красоты у отдѣльныхъ людей. «Каждое лицо въ художественномъ произведеніи,—говоритъ Бѣлинскій,—есть представитель безчисленнаго множества лицъ одного рода», отъ этого

<sup>122</sup>) Стихотворенія М. Лермонтова. IV, 269.

имена: Отелло, Офелія, Татьяна, Молчалинъ — имена нарицательныя.

То же и Венера Милосская: она квинтэссенція прекраснаго постигнутая художникомъ въ различныхъ его проявленіяхъ. «Онъ бралъ то, что для него было нужно, и въ мужской красотѣ, и въ женской, не думая о полѣ, а пожалуй даже, и о возрастѣ, и лоя въ всемъ этомъ только человѣческое; изъ этого многообразнаго матеріала онъ создавалъ то истинное въ человѣкѣ, что составляетъ смыслъ всей его работы, то, чего сейчасъ, сію минуту *нѣтъ* ни въ комъ, ни въ чемъ и нигдѣ, но что *есть* въ то же время *въ каждомъ* человѣческомъ существѣ» <sup>123)</sup>.

Успенскій этими словами писалъ настоящую *эстетическую* критику о произведеніи античной скульптуры, но онъ въ то же время не упустилъ и *исторической* точки зрѣнія. Онъ выяснилъ цѣль художника, какъ воплнѣ соотвѣтствовавшую міросозерцанію и культурѣ античнаго эллина и какъ недосыгаемо далекою для современнаго человѣка.

Именно эти пути критическаго анализа и указаны Бѣлинскимъ. Эстетика не можетъ исчезнуть, пока существуетъ красота и чувство прекраснаго, но только эстетика будетъ не предписывать правила творчества, не рѣшать, чѣмъ должно быть искусство, а разъяснять факты творчества, что такое искусство, какъ предметъ уже данный, предшествующій эстетикѣ: эстетика искусству обязана своимъ существованіемъ, а не наоборотъ <sup>124)</sup>.

Но искусство, какъ все живое, не существуетъ внѣ времени и пространства. Оно подвержено процессу историческаго развитія и, слѣдовательно, находится въ неразрывной связи съ эпохой и національностью. Эта связь необходима и въ силу психологіи совершеннаго художника, его неограниченной и страстной отзывчивости на идеи вѣка и общества.

Разобрать эти связи и оцѣнить отзывчивость—предметъ *исторической* критики. Талантъ отнюдь не освобождаетъ художника отъ извѣстнаго «взгляда на жизнь», отъ «кровныхъ убѣжденій, составляющихъ вѣрованіе души и сердца». Напротивъ. Только то или другое *дѣятельное* отношеніе художника къ обществу упрочиваетъ его вліяніе и память о немъ.

Отвѣтить на эти вопросы опять дѣло исторической критики, и

<sup>123)</sup> *Выпрамила. Сочиненія Гюба Успенскаго.* Спб. 1889, I, 1139.

<sup>124)</sup> *Сочиненія Державина.* VII, 60. 1843 годъ.

горе «потѣшникамъ и забавникамъ» на поприщѣ искусства! Общество всегда готово пренебречь ими ради новыхъ фокусовъ и новыхъ увеселителей.

Но кто творить во имя началъ и вѣрованій, тотъ, независимо отъ дарованія, представляетъ собой нравственный характеръ, сильную личность. Истинно-великій художникъ всегда и великій человѣкъ,—иначе онъ улодобляется птицѣ, поющей отъ того, что ей поется, не сочувствуя ни горю, ни радости своего птичьяго племени. Этотъ «опозтизированный эгоизмъ»—печальнѣйшее явленіе въ человѣческомъ мірѣ <sup>125</sup>).

Ясно, при такомъ понятіи о творчествѣ и о художественномъ талантѣ искусство никогда не можетъ утратить жизненнаго и культурнаго значенія. Оно не можетъ снизойти до уровня празднаго развлеченія, такъ какъ его содержаніемъ будутъ думы и идеи времени—то же, что содержаніе исторіи и философіи. Бѣлинскій будто пророческимъ ясновидѣніемъ предупреждаетъ громы Писарева на искусство, даже частности его воинственнаго натиска, на примѣръ, сравненіе произведеній искусства съ мебелью и красивыми бездѣлками.

Сравненіе было бы основательно, если бы у таланта отнять «разумное содержаніе», т. е. уничтожить самый смыслъ художественнаго творчества и нравственное право художниковъ на существованіе.

И это уничтоженіе вовсе не произволъ критика. Талантъ, лишаящій себя современнаго содержанія, постепенно падаетъ: примѣръ—Гоголь тамъ, гдѣ онъ опирается только на одно творчество, на силу своего воображенія. Очевидно, стоитъ художнику уйти отъ наглядной правды дѣйствительности, и его на каждомъ шагу ждетъ ложь и искусственность <sup>126</sup>).

Мы видимъ, какъ тѣсно и логически-последовательно связаны принципы эстетики Бѣлинскаго. Всѣ они берутъ свое начало прежде всего въ природѣ самого критика, художественно одаренной и нравственно отзывчивой. «Восприимлемость впечатлѣній изящнаго,—говоритъ онъ,—есть своего рода талантъ: она не приобрѣтается ни наукою, ни образованіемъ, ни упражненіемъ, но дается природою. Постигненіе поэзіи есть откровеніе духа, а таинство откровенія скрывается въ натурѣ человѣка».

<sup>125</sup>) Речь о критикѣ А. Никитенко. VI, 210—211.

<sup>126</sup>) Объясненіе на объясненіе по поводу «Мертвыхъ Душъ». VI, 548. 1842 г.

Эстетической критики, слѣдовательно, не могла внушить никакая философская система: Бѣлинскій былъ такъ же «помазанъ елеемъ», какъ, по его словамъ, помазаны великіе художники.

Историческая критика тоже личное достояніе Бѣлинскаго. Она не могла, конечно, быть благодѣяніемъ природы во всемъ своемъ объемѣ, но основа ея—оригинальная *объективность*, какъ *всеобъемлемость* субъективнаго духа—личный талантъ критика.

Бѣлинскому только требовалось найти самого себя. Процессъ этотъ тѣмъ труднѣе и мучительнѣе, чѣмъ даровитѣе и отзывчивѣе натура. Наиболѣе сложные и благородные организмы развиваются болѣзненнѣе и тягостнѣе. Критикъ прошелъ быстрый, но безпримѣрно страстный путь «ученичества» и «странствованій» и по личному опыту научился разумѣть чужія ошибки, увлеченія, чужую неудовлетворенность и собственный душевный міръ.

Гегельянство не принесло положительныхъ идейныхъ плодовъ, но оно создало для Бѣлинскаго суровую нравственную школу, совершенно независимо отъ принциповъ и цѣлей философской системы, а исключительно благодаря все той же природѣ критика, точнѣе—его неустанной работѣ самопознанія.

Когда Бѣлинскій рисуетъ блестящій рядъ картинъ и сценъ, охватывающихъ всѣ пути и положенія человѣческой жизни и когда онъ своими одушевленными образами желаетъ исчерпать всю глубину нравственной чуткости и житейскаго пониманія у «человѣка причастнаго общему», онъ пишетъ свой портретъ и рассказываетъ свою біографію. Некрасовъ, съ исторической вѣрностью изобразившій петербургскую сцену дѣятельности Бѣлинскаго, столь же точно опредѣлилъ общій смыслъ сравнительно кратковременной—всего восьмилѣтней—работы критика, но успѣвшей захватить всѣ думы и цѣли не только современности, но и до сихъ поръ не наступившаго будущаго.

Рѣчь поэта жестка и откровенна, но сущность ея та же, какую мы нашли въ чувствахъ и сказаніяхъ цензора и профессора Никитенко.

Потребность сильная была  
Въ могучемъ словѣ правды честной,  
Въ открытомъ обличеніи зла...  
И онъ пришелъ, плебей безвѣстный,  
Не пощадилъ онъ ни льстецовъ,  
Ни подлецовъ, ни идіотовъ,  
Ни въ маскѣ жирныхъ патріотовъ—  
Благонамѣренныхъ воровъ!

Онъ всѣ преданія провѣрялъ,  
 Безъ ложнаго стыда измѣрялъ  
 Всю бездну дикости и зла,  
 Куда, заснувъ подъ говоръ лести,  
 Въ забвеніи истины и чести,  
 Отчуждена бѣдная зашла...

## XXVII.

«Каковъ бы я ни былъ, но я борюсь съ дѣйствительностью, вношу въ нее мой идеалъ жизни... Борьба съ дѣйствительностью снова охватываетъ меня и поглощаетъ все существо мое» <sup>127)</sup>.

Такъ писалъ Бѣлинскій послѣ первыхъ опытовъ петербургской жизни. То же впечатлѣніе производили и его статьи.

«Бѣлинскій воюетъ теперь въ Питерѣ, — писалъ Грановскій Станкевичу. — Достается всѣмъ!» <sup>128)</sup>. И война оказывалась настолько яростной, что гуманный, идеально-культурный профессоръ впадалъ въ дурное настроеніе и находилъ, что Бѣлинскаго читать «иногда забавно, иногда досадно».

Подобное чувство останется навсегда у ближайшихъ друзей и единомышленниковъ критика. Даже Герценъ до самой смерти Бѣлинскаго не постигнетъ его излишествъ, хотя и заявитъ полное сочувствіе его гнѣву и восторгамъ. Грановскій будетъ защищать Бѣлинскаго отъ университетскихъ злоловъ еще въ гегельянскій періодъ, но признаетъ заслугой Бакунина возмущеніе противъ бородинскихъ статей по соображеніямъ, не безусловно лестнымъ для артиста діалектики. Бакунинъ *смушилъ* Бѣлинскому бородинскія статьи: это извѣстно Грановскому, но Бакунинъ «умнѣе и ловче Бѣлинскаго», поэтому онъ и не попалъ въ просакъ <sup>129)</sup>.

Эта ловкость, повидимому, совершенно затмила основныя нравственныя черты характера Бѣлинскаго, такъ блистательно обнаружившіяся въ его «телескопскомъ ратованіи» и въ позднѣйшей петербургской войнѣ. Грановскій, спокойно вдумчивый и снисходительный, не усвоилъ себѣ проникновеннаго, полного ожиданій взгляда на дѣятельность своего пріятеля. Его сочувствіе цѣлкомъ на сторонѣ «лысаго счастливецъ», «блаженствующаго», «свѣт-

<sup>127)</sup> Письмо къ Вотькину отъ 10 дек. 1840 года.

<sup>128)</sup> Т. В. Грановскій и его переписка. М. 1897. Томъ II, 378. Письмо отъ 12 февр. 1840 г.

<sup>129)</sup> *Иб.* 341, 403.

лаго душою и головою», т. е. Боткина, разумеется, ни на одну минуту въ жизни не испытывавшаго потребности неистовствовать и воевать <sup>120)</sup>). Грановскій, конечно, не может не любить Бѣлинскаго, но это любовь Гораціо къ Гамлету: датскій принцъ, твердо увѣренный въ честной дружбѣ ученаго товарища, все-таки одинокъ и лично разсчитывается съ своими «снами» и съ своею дѣйствительностью.

Фактъ отнюдь не унижаетъ ума Грановскаго и не налагаетъ ни малѣйшаго пятна на его личность. Онъ только свидѣтельствуетъ о давно извѣстной намъ истинѣ: объ одиночествѣ Бѣлинскаго какъ идейнаго дѣятеля, не въ смыслѣ общихъ положительныхъ стремленій, а въ смыслѣ путей и средствъ борьбы. Грановскому «не по душѣ героизмъ» Бѣлинскаго: это собственные его слова и они показываютъ, какъ мало критикъ могъ разсчитывать на горячія привѣтствія своего «кружка» и своей «партіи» и на новомъ пути—новаго «остервенѣнія». Впечатлѣніе «забавности» въ состояніи допустить [только уравновѣшенную благосклонность и нѣжное сожалѣніе. И то, и другое никогда не могло подняться до жгучей температуры любви и ненависти Бѣлинскаго.

Бѣлинскому, конечно, чувствовалась вся тягота его положенія и онъ не могъ скрыть своего чувства въ письмахъ. Онъ откровенно разсказывалъ о броженіи, захватывавшемъ всю его природу, пытался ввести своихъ друзей въ смыслъ своего новаго міросозерцанія и психологически объяснить новизну. Для него это вопросъ личнаго достоинства и вѣры въ свои силы и цѣли. И онъ неоднократно будетъ обращаться къ только-что пройденнымъ зигзагамъ, признаетъ ихъ многочисленность и опрометчивость, но придетъ къ рѣшительному выводу, менѣе всего малодушному и уклончивому.

Не только въ письмахъ, но и въ статьяхъ Бѣлинскій свидѣтельствовалъ о постепенномъ развитіи своихъ взглядовъ. По поводу Пушкина онъ заявлялъ, что у него долго оставалось неяснымъ и неопредѣленнымъ понятіе о значеніи поэта.

Не всякій писатель способенъ на подобную исповѣдь, и Бѣлинскій предвидитъ остроты «доброжелателей». Но онъ не смущается.

«Мы не завидуемъ готовымъ натурамъ, которыя все узнаютъ за одинъ присѣстъ и, узнавши разъ, одинаково думаютъ о пред-

<sup>120)</sup> *Иб.* 378, 363.

метѣ всю жизнь свою, хвалясь неизмѣнчивостью своихъ мнѣній и неспособностью ошибаться. Да, не завидуемъ: ибо глубоко убѣждены, что только тотъ не ошибался въ истинѣ, кто не искалъ истины, и только тотъ не измѣнялъ своихъ убѣжденій, въ комъ нѣтъ потребности и жажды убѣжденія; исторія, философія и искусство не то, что математика съ ея вѣчными, неподвижными истинами» <sup>121</sup>).

То же самое Бѣлинскій писалъ и своей невѣстѣ, усиливаясь поднять ее на высшую ступень нравственного и общественнаго міросоверпанія.

«Дѣло не въ томъ, чтобы никогда не дѣлать ошибокъ, а въ томъ, чтобы умѣть сознавать ихъ и великодушно, смѣло слѣдовать своему сознанію. Я больше всего цѣню въ людяхъ пластичность души, способность ея движенія впередъ. Вотъ бѣда, когда эта божественная способность утрачена!» <sup>122</sup>).

Но чтобы помириться съ такимъ «движеніемъ впередъ», какое безпрестанно уклоняется отъ прямого направленія, сопровождается страстными порывами увлеченія и не менѣе пылкими приступами раскаянія, надо лично обладать этой способностью. Отвлеченныя соображенія не объясняютъ и не оправдаютъ перехода отъ «бѣшеннаго уваженія дѣйствительности» къ ожесточенной злобѣ на нее. Грановскій особенно наглядно обнаружилъ тотъ недостатокъ органическаго проникновенія въ сущность духовнаго міра Бѣлинскаго.

Самъ историкъ имѣлъ счастье обладать завидной гармоніей крови и разсудка и могъ совершать свой высоко-почтенный просвѣтительный путь безъ всякихъ головокружительныхъ встрясокъ. Естественнo ему становилось «жаль бѣднаго Виссаріона».

«При чтеніи его письма, — пишетъ Грановскій, — мнѣ стало больно за него... Пріятели наши, сдѣлавъ пакость, извиняютъ ее потомъ моментомъ развитія, въ которомъ находились. Но вѣдь такимъ образомъ всю жизнь можно разбить на моменты абстрактные, безъ связи между собою и отвѣтственности одинъ за другимъ. Надобно же, чтобы была одна основная, неизмѣнная идея въ дѣятельности. Всѣ эти вещи я говорю имъ ежедневно. Правъ ли я?» <sup>123</sup>).

<sup>121</sup>) Статьи о Пушкинѣ. VIII, 99, 100.

<sup>122</sup>) *Починъ*, 1896 г., стр. 199.

<sup>123</sup>) *О. с.* 183.

Несомненно, правъ, скажемъ мы, но только абстрактно. У Бѣлинскаго была болѣе глубокая «основная и неизмѣнная идея» дѣятельности, чѣмъ у самыхъ послѣдовательныхъ и до окаменѣнія неподвижныхъ мыслителей. И именно потому, что эта идея представляла жизненный интересъ и направлялась къ практическимъ цѣлямъ, къ ней могли вести разнообразныя дороги. Все зависить отъ указаній опыта, борьбы, а не отъ кабинетныхъ стратегическихъ соображеній.

Грановскій, очевидно, готовъ отрицать у Бѣлинскаго твердое сознаніе нравственныхъ задачъ. Тогда слѣдовало бы доказать, что «моменты» у критика—дѣйствительно результаты произвола, что они чисто-«абстрактные», не выношенные упорной думой и не вскормленные кровью искренней страсти. Тогда не стоитъ Бѣлинскій ни сожалѣнія, ни любви.

Если такъ судили о немъ доброжелательнѣйшіе и просвѣщеннѣйшіе свидѣтели его дѣятельности, чего же можно было ожидать отъ явныхъ враговъ и тупыхъ носителей слѣпой личной идеи?

Бѣлинскому, несомненно, не одинъ разъ приходила на умъ грустная мысль о своемъ ложномъ положеніи въ глазахъ даже друзей и о благодарнѣйшихъ темахъ, какія представилъ онъ своимъ врагамъ для обвиненій въ легкомысліи, въ отсутствіи убѣжденій, въ ненадежности критическихъ приговоровъ. Подобно Гоголю, онъ часто раздумывалъ о тяжеломъ бремени писателя, искренне и мужественно говорящаго свою правду обществу. Бѣлинскій не питалъ наклонности публично исповѣдывать свои огорченія, но случалось, горькая рѣчь будто невольно врывалась въ теченіе мысли,—публика тогда читала трогательныя признанія одного изъ безкорыстнѣйшихъ рыцарей современной мысли.

«Какъ тяжка у насъ,—восклидалъ Бѣлинскій,—роль критика, проникнутаго убѣжденіемъ и не отдѣляющаго вопросовъ объ искусствѣ и литературѣ отъ вопросовъ о своей собственной жизни, обо всемъ, что составляетъ сущность и цѣль его нравственнаго существованія!.. И тѣмъ хуже ему, если онъ столько жаждетъ истину и столько смиряется передъ нею, что всегда готовъ отказаться отъ мнѣнія, которое защищалъ съ жаромъ и съ энергіею, но которое, въ процессъ своего непрерывно движущагося сознанія, онъ уже не можетъ болѣе признавать за справедливое!.. Не смотря на то, что перемѣна мнѣнія не только не доставляла и не могла доставить ему никакой пользы, но еще и



поставила его, или могла поставить въ непріятное положеніе къ людямъ, которые довѣряли его авторитету, не говоря уже о томъ, что отречься отъ своего мнѣнія, значить признаться въ ошибкѣ а это не совсѣмъ лестно для человѣческаго самолюбія, которое всегда склонно поддерживать, что дважды два—пять, а не четыре, лишь бы только казаться непогрѣшительнымъ. А имѣть свой взглядъ, свое убѣжденіе, судить на какихъ-нибудь основаніяхъ, а не по голосу толпы, да это значить ни больше, ни меньше, какъ прослыть человѣкомъ безпокойнымъ и безнравственнымъ» <sup>124</sup>).

И Бѣлинскій, можно сказать, всенародно прослылъ имъ, въ кружкѣ друзей и на страницахъ всей современной печати. Слава безусловно утвердилась за нимъ именно въ Петербургѣ. Въ письмахъ онъ не переставалъ заявлять, что дѣйствительность приводитъ его въ отчаяніе. Это настроеніе, какъ всегда у Бѣлинскаго, непосредственно переходитъ въ статьи. Онъ жадно хватается за всякій литературный мотивъ, свидѣтельствующій о страшной драмѣ между отдѣльной личностью и общимъ строемъ жизни. Онъ съ невыразимой нѣжностью говоритъ о жертвахъ дѣйствительности, готовъ сказать слово сочувствія не только идеальному гоголевскому художнику, но и пушкинскому Чайльдъ-Гарольду. Оба они сложились подъ бременемъ тяжелой силы, именуемой обществомъ, дѣйствительностью, толпой <sup>125</sup>).

Въ самомъ звукѣ *толпа* для Бѣлинскаго заключается нѣчто нестерпимо мучительное. Она—его личный врагъ, потому что въ жизни стремится низвести къ общему уровню все яркое и оригинальное, въ литературѣ живетъ стадными увлеченіями, преданіями, пошлымъ преклоненіемъ предъ громкимъ именемъ, предъ традиціонной славой.

Въ исторіи литературы этотъ натискъ бессмысленной стихіи на свѣтъ и разумъ является въ особенно рѣзкихъ формахъ.

Вся жизнь писателя, въ сущности, сплошной искусъ, непрерывная расплата за свое превосходство надъ большинствомъ.

У поэта непреодолимое желаніе рисовать жизнь въ творческихъ образахъ, но предъ нимъ нѣтъ вдохновляющихъ предметовъ. Дѣйствительность не даетъ живыхъ красокъ и общество не представляетъ оригинальныхъ лицъ, и мы, часто нападая на

<sup>124</sup>) *Статьи о Пушкинѣ*. VIII, 51.

<sup>125</sup>) *Русская литература въ 1840 году*. IV. 221.

тщедушіе литературы, должны помнить первоисточникъ ея недуга.

«Посмотрите,—воскликаетъ Бѣлинскій,—какъ иногда крѣпко впивается она въ общество, словно дитя всасывается въ грудь своей матери, и ея ли вина, если съ перваго слабаго усилія она высасываетъ все молоко изъ этой бесплодной груди... Недостатокъ внутренней жизни, недостатокъ жизненнаго содержанія, отсутствіе міросодержанія,—вотъ причина»...

И критикъ готовъ оправдать ненавистнѣйшія для него литературныя явленія ради жалкой общественной почвы, только и способной производить плевелы. Напримѣръ, Ломоносовъ, Петровъ, Херасковъ и Державинъ сочиняли громкія оды; позже ихъ въ русской литературѣ водворились жалобные вопли разочарованія... Ни то, ни другое не свидѣтельствовало о полнокровной жизненности и силѣ художественнаго творчества.

И вполнѣ естественно, «гдѣ нѣтъ внутреннихъ духовныхъ интересовъ, внутренней сокровенной игры и переливовъ жизни, гдѣ все поглощено вѣшной, матеріальной жизнью, тамъ нѣтъ почвы для литературы, нѣтъ соковъ для питанія».

Писатель можетъ отдаться изображенію этой матеріальной жизни,—но онъ лично жестоко искупитъ несоотвѣтствіе возвышеннаго строя своей природы съ окружающимъ міромъ. Поэтому авторство въ Россіи «тяжелая, медленная и напряженная работа». Это доказывается немногочисленностью произведеній даровитѣйшихъ русскихъ талантовъ. На западѣ совершенно другое. Тамъ Шекспиръ, Байронъ, Шиллеръ, Гете завѣщали намъ одинаково громадное наслѣдство и по качеству, и по количеству.

И не только художники терпятъ отъ ледяного дыханія дѣйствительности,—той же участи подвержены и критики. Положимъ, въ журналѣ появляется статья—плодъ глубокаго убѣжденія и горячаго чувства. Она внушена великими духовными стремленіями, поглощающими писателя. Она дышитъ новизной и силой идей, посмотрите, какъ её встрѣчаетъ русскій читатель?

Или холодно, или съ негодованіемъ, не имѣющимъ ничего общаго ни съ идеями статьи, ни съ намѣреніями и талантомъ автора.

Говорятъ,—статья длинна, досадна по своему содержанію, мѣшаетъ правильному пищеваренію обывателя, смутно беспокоитъ его неповоротливую мысль. Какое читателю дѣло до чувства и вѣры писателя? Интересенъ тотъ, кто громче кричитъ, и силенъ журнальный воинъ, послѣдній оставшійся на аренѣ.

Но горшее горе тому, кто отважился затронуть старых боговъ! Для толпы не существуетъ убѣжденій, сознательно и вдумчиво усвоенныхъ. Ей нуженъ авторитетъ и необходима привычка. Осужденіе общепризнанной истины всегда кажется ей бунтомъ и безразсудствомъ, и несбыточное желаніе писателя—весь свѣтъ одновременно увѣрить въ своей истинѣ!

Нѣтъ. Чѣмъ смѣлѣе его мысль, чѣмъ жизненнѣе міросозерцаніе, тѣмъ безповоротнѣе онъ осужденъ на упорную и мучительную борьбу. Сочувственники и единомышленники будутъ завоевываться медленно шагъ за шагомъ. Сначала единицы, съ годами онѣ разростутся въ десятки и сотни. Но уже большое счастье, если имѣются на лицо и единицы!

Бѣлинскій вѣрить въ ихъ существованіе и опять, наравнѣ съ Гоголемъ, тѣшить себя мыслью о невѣдомомъ, Богъ вѣсть гдѣ заброшенномъ, но горячо сочувствующемъ читателѣ.

Съ этой вѣрой критикъ вступаетъ на новую дорогу войны съ дѣйствительностью и съ своими прежними врагами и читателями.

И послѣдняя война едва ли не самая отвѣтственная.

Бѣлинскій, уѣзжая въ Петербургъ, оставилъ за собой цѣлый лагерь ожесточенныхъ хулителей. Грановскій жалуется, что ему *вездѣ* приходится защищать Бѣлинскаго отъ упрековъ *въ подлости*. И во главѣ упрекавшихъ стояла молодежь, лучшіе студенты, по словамъ Грановскаго, считали Бѣлинскаго «подлецомъ въ родѣ Бугарина» <sup>136)</sup>.

И единственное оружіе представлялось въ сомнительной перемѣнѣ мнѣній! Выйти изъ такого положенія съ честью и именемъ побѣдителя было задачей, достойной великаго таланта и еще болѣе высшаго мужества.

## XXVIII.

Трезвое представленіе о дѣйствительности логически подсказало Бѣлинскому цѣли и пути его критики. Въ Петербургѣ онъ зоочію убѣдился, какъ тѣсны предѣлы свободной умственной дѣятельности, какъ ограниченъ кругъ доступныхъ обществу идей и какіе многочисленные запреты лежатъ на самихъ проявленіяхъ идейной, хотя бы даже и очень скудной жизни.

Литература и только она отвѣчаетъ за все, что причастно общимъ интересамъ. Въ Западной Европѣ искусство давно сли-

<sup>136)</sup> О. с. 363—4.

лось съ запросами общественной жизни, литература превратилась въ анализъ настоящаго и въ программу будущаго. Въ Россіи тоже направленіе приобрѣло еще болѣе широкій смыслъ.

Здѣсь одна лишь литература и художественная критика отражаютъ жизнь и подвергаютъ ее суду. Вообще «интеллектуальное сознаніе русскаго общества» выражается только въ литературныхъ произведеніяхъ. Слѣдовательно, искусство и критика, помимо своей общеевропейской роли въ XIX вѣкѣ, въ Россіи заполняютъ еще множество пробѣловъ въ культурномъ прогрессѣ поэзіи.

Отсюда совершенно послѣдовательно вытекаютъ свойства и основы новой критики, ея приложеніе къ искусству. Разъ художественное творчество—анализъ, оно по содержанію и смыслу ничѣмъ не отличается отъ науки и философіи. Вся разница въ формѣ, въ пути, въ способѣ, какими выражаютъ истину творчество и мысль. «Наука, разлагающею дѣятельностью разсудка, отвлекаетъ общія идеи отъ живыхъ явленій. Искусство, творящею дѣятельностью фантазіи, общія идеи являетъ живыми образами». Цѣли въ обоихъ случаяхъ тождественны—просвѣщеніе общества и разумное направленіе его жизненныхъ силъ.

Примѣните это понятіе къ литературѣ, и предъ вами сами собой распредѣлятся писатели и произведенія по различнымъ степенямъ ихъ значительности и талантливости.

Бѣлинскій, установивъ общее понятіе искусства, сдѣлалъ одновременно два практическихъ вывода и на нихъ построилъ всю свою обильную критическую мысль. Выводы касаются *настроеній* художника и *предметовъ* его творчества.

Мы знаемъ, что стала обозначать на языкѣ Бѣлинскаго *объективность*. Мѣрой восприимчивости и отзывчивости писателя должно съ этихъ поръ опредѣляться его мѣсто въ исторіи человѣческаго развитія. И, несомнѣнно, достойнѣшихъ писателей новому міру даетъ литература, искони жившая одной жизнью съ дѣйствительностью, горѣвшая социальными страстями и намѣчавшая общественные идеалы.

Это — литература французская, и талантливѣйшая ея представительница въ эпоху сороковыхъ годовъ.—Жоржъ Зандъ—будетъ геперь окружена неизмѣнно блестящимъ ореоломъ.

Бѣлинскій пишетъ:

«Это, безспорно, первая поэтическая сила современнаго міра. Каковы бы ни были ея начала, съ ними можно не соглашаться, ихъ можно не раздѣлять, ихъ можно находить ложными; но ея

самой нельзя не уважать, какъ человѣка, для котораго убѣжденіе есть вѣрованіе души и сердца. Оттого многія изъ ея произведеній глубоко западаютъ въ душу и никогда не изглаживаются изъ ума и памяти. Оттого талантъ ея не слабѣетъ ни въ силѣ, ни въ дѣятельности, но крѣпнѣетъ и растетъ».

Критикъ готовъ еще повысить тонъ и довести изображаемый талантъ до полнаго идеала. Онъ увѣренъ, подобный писатель всегда представляетъ сильный нравственно-безукоризненный характеръ. Иначе не могло бы заключаться столько глубины и живого чувства въ его созданіяхъ.

Бѣлинскому «горько думать», что находятся люди съ талантомъ, способные пѣть, подобно птицамъ, безотчетно и беззаботно, безучастно къ судьбѣ «своихъ страждущихъ братій» <sup>127)</sup>.

Жоржъ-Зандъ до конца останется на знамени критика. Для представленія о творческой силѣ XIX вѣка Бѣлинскій назоветъ два имени—Байрона и Жоржъ-Занда, первое, очевидно, во имя принципа борьбы личности съ обществомъ, второе—ради социальныхъ вѣрованій <sup>128)</sup>.

Но вѣдь такъ много толковали во всѣ времена и продолжаютъ толковать до сихъ поръ о «чистомъ искусствѣ». Существуетъ ли оно и какіе его признаки?

Отвѣтъ Бѣлинскаго рѣшителенъ: чистаго, абстрактнаго искусства, «никогда и нигдѣ не бывало». На первый взглядъ греческое искусство подходитъ подъ понятіе чистаго; оно, повидимому, особенно далеко стоитъ отъ будничной дѣйствительности. Но это обманъ зрѣнія.

На самомъ дѣлѣ ни одно искусство съ такой полнотой не отражало религіозной, политической, общественной и частной жизни гражданъ, какъ эллинское.

Среди новыхъ поэтовъ Гёте является чаще всего образцомъ безукоризненнаго жреца искусства. Но и здѣсь кроется недоразумѣніе. Само искусство не при чемъ въ равнодушіи Гёте къ вопросамъ времени. Все дѣло въ характерѣ автора *Фауста*.

Какъ поэтъ—онъ великъ, какъ человѣкъ—самое обыкновенное явленіе, можетъ быть, даже ниже обыкновеннаго, если принять во вниманіе умъ и талантъ Гёте.

«Не искусство,—говоритъ Бѣлинскій,—а его личный характеръ

<sup>127)</sup> *Речь о критикѣ*, А. Никитенко. VI, 211.

<sup>128)</sup> *Петербургскій сборникъ*. X, 368. 1846 г.

заставляли его вѣчно терѣться между сильными земли, жить и дышать милостынею ихъ улыбокъ, равно какъ и оказывать самое холодное невниманіе ко всему, что не касалось до него лично, что могло возмутить его юпитеровское, говоря поэтически, и эгоистическое, говоря прозаически, спокойствіе. И потому равнодушіе Гёте къ живымъ вопросамъ современной ему исторіи не имѣетъ ничего общаго съ искусствомъ: искусство и не думало обязывать его, въ свою пользу, безразличнымъ равнодушіемъ такого рода».

Но даже и при такихъ отнюдь не возвышенныхъ свойствахъ личнаго характера, Гёте все-таки оказался выразителемъ многихъ сторонъ современной ему дѣйствительности. Достаточно вспомнить объ его стремленіи къ простотѣ, ясности, положительности, объ его сочувствіи природѣ и усерднымъ занятіямъ естественными науками <sup>139</sup>).

Не надо, конечно, забывать и о большой долѣ мистицизма въ созерцаніяхъ Гёте: второй части *Фауста* не могъ создать умъ совершенно положительный, но не въ этомъ вымученномъ и преднамѣренно затемненномъ произведеніи сказался дѣйствительный талантъ Гёте, и характеристика его у Бѣлинскаго по существу справедлива.

Та же мысль о невозможности безусловно чистаго творчества доказывается и другимъ примѣромъ, краснорѣчивымъ не менѣе гётевскаго безстрастія.

На Шекспира обыкновенно ссылаются не рѣже, чѣмъ на Гёте, защитники священной неприкосновенности искусства. Но это значитъ обнаруживать близорукость умственного зрѣнія.

Шекспиръ, несомнѣнно, величайшій творческій геній, но не видѣть изъ-за его поэзіи безчисленныхъ уроковъ—для психолога, историка, философа, политика значить не понимать его произведеній. Шекспиръ никогда не перестаетъ быть поэтомъ, но поэзія для него только форма разнообразнѣйшаго, отнюдь не чисто поэтическаго содержанія. Въ этомъ смыслѣ онъ истинный поэтъ новаго времени: оно отдало перевѣсъ важности содержанія надъ важностью формы <sup>140</sup>).

Въ единственномъ случаѣ можно усмотрѣть торжество чистаго искусства, когда оно удовлетворяетъ интересамъ одного образованнѣйшаго класса общества. Такъ было, напримѣръ, въ эпоху

<sup>139</sup>) *Современныя замѣтки*. XI. 298—9. 1847 г.

<sup>140</sup>) *Взглядъ на русскую литературу въ 1847 году*. XI, 361.

итальянского возрожденія. Но нашему времени никогда не вернуться къ этому золотому вѣку аристократическаго творчества. Теперь всепоглощающіе интересы дня—реальная жизнь народа, отношенія классовъ, взаимодействіе личности и общества, идеаловъ и жизни, и искусство, если только оно желаетъ имѣть у себя публику, должно неминуемо связать путь своего развитія съ этими фактами.

Но, разъ искусство неразрывно съ дѣйствительностью и творчество должно выражать *вѣрованія* автора и даже въ опредѣленномъ направленіи, т.е. его сочувствіе страждущимъ братьямъ, то вѣдь оно можетъ превратиться въ чистую проповѣдь гуманныхъ идей и совпасть съ обыкновенной журнальной публицистикой?

Именно этого совпаденія и потребуютъ впослѣдствіи крайніе «реалисты» шестидесятыхъ годовъ. Писаревъ откажется дѣлать различіе между художественными произведеніями и хрониками и обзорѣніями и пожелаетъ, чтобы беллетристика существовала и читалась исключительно ради положительныхъ сообщений и фактическихъ данныхъ.

Бѣлинскій не могъ совершить подобнаго акта надъ неотразимымъ естественнымъ явленіемъ, и здѣсь одна изъ существенныхъ заслугъ его критики.

Никакое горячее сочувствіе идейно-общественнымъ задачамъ литературы, никакое глубокое презрѣніе къ птичьему лепету разумныхъ существъ не могло поднять его руки на понятіе красоты и творческой свободы.

«Искусство прежде всего должно быть искусствомъ» <sup>141)</sup>—это незыблемая истина, несомнѣнная для Бѣлинскаго даже въ минуты его пламеннаго негодованія на Гоголя-публициста. Устремляя противъ *Переписки съ друзьями* всю силу логики и страсти, Бѣлинскій въ то же время «отчитывался» *Мертвыми душами*. Художникъ не утрачивалъ своего обаянія надъ критикомъ, какъ бы низко не опускалось его *мышленіе*. Образы продолжали горѣть безсмертной красотой рядомъ съ недостойными идеями.

И врядъ ли какой критикъ, равнаго политическаго темперамента, посвятилъ столько восторженныхъ рѣчей художественной красотѣ, какъ Бѣлинскій! Онъ превращался въ поэта, заговаривая о существеннѣйшемъ источникѣ эстетическаго наслажденія. Онъ, достигши вершинъ положительной мысли, вновь становился роман-

<sup>141)</sup> *Иб.*, стр. 351.

тикомъ, лишь только ему предстояло показать непреодолимо-маящую перспективу таинственного процесса, именуемаго творческимъ вдохновеніемъ.

Въ первое время петербургской дѣятельности художественные восторги Бѣлинскаго часто превращаютъ его статьи въ стихотворенія въ прозѣ. Онъ и теперь отнюдь не поклонникъ умиленныхъ эстетическихъ созерцаній. Напротивъ. Онъ переживаетъ первый неудержимый задоръ въ борьбѣ съ дѣйствительностью и стремительно ищетъ всюду личностей, воплощающихъ переживаемое имъ настроеніе. Онъ произнесетъ восторженную хвалу Лермонтову и его герою, онъ даже увѣнчаетъ Ивана Грознаго. Московскій царь, воскресшій въ памяти исторіи тацитовскія страницы о римскихъ цезаряхъ, окажется жертвой современныхъ условій полуазиатскаго быта. Они лишили царя возможности пересоздать дѣйствительность, не дали ему никакого развитія, онъ остался при своей естественной силѣ и грубой мощи.

И посмотрите, съ какимъ напряженіемъ мысли и героическими усиліями чувства защищаетъ нашъ борецъ личность только во имя ея *личныхъ* независимыхъ и сильныхъ проявленій! Мы при каждомъ словѣ должны помнить истинный источникъ мыслей автора и не упускать изъ виду, что оправданія Грозному скрываютъ въ глубинѣ трепетное негодованіе на такъ-называемую силу вещей и заѣдающую среду.

«Тираниія Іоанна Грознаго,—пишетъ Бѣлинскій,—имѣетъ глубокое значеніе, и потому она возбуждаетъ къ нему скорѣе сожалѣніе, какъ къ падшему духу неба, чѣмъ ненависть и отвращеніе, какъ къ мучителю... Можетъ быть, это былъ своего рода великій человекъ, но только не во время, слишкомъ рано явившійся Россіи, пришедшій въ міръ съ призваніемъ на великое дѣло и увидѣвшій, что ему нѣтъ дѣла въ мірѣ. Можетъ быть, въ немъ безсознательно кипѣли всѣ силы для измѣненія ужасной дѣйствительности, среди которой онъ такъ безвременно явился, которая не побѣдила, но разбила его и которой онъ такъ страстно мстилъ всю жизнь свою, разрушая и ее, и себя самого въ болѣзненной и безсознательной ярости».

И дальше возстаетъ предъ нами совершенно романтическая фигура: она должна бы вполне удовлетворить автора *Философическаго письма*, тосковавшаго по таинственнымъ, захватывающимъ образамъ западныхъ среднихъ вѣковъ.

Здѣсь все, и блѣдное лицо, и впалыя сверкающія очи, и страшное величіе, и нестерпимый блескъ ужасающей поэзіи...



До такой живописи могла поднять воображеніе «гнусная рас-сейская дѣйствительность», вызывавшая на вражду всю природу Бѣлинскаго! Шиллеризмъ воскресъ, только уже не въ формѣ абстрактнаго героизма, а съ самыми положительными задачами и средствами.

И вотъ въ это самое время Бѣлинскій является пѣвцомъ поэтической красоты, не менѣе стремительнымъ, чѣмъ—грозной личности. Онъ, какъ и требуетъ самый предметъ, картиной поясняетъ силу прекраснаго надъ человѣческой душой. Онъ представляетъ читателямъ появленіе красавицы въ ярко освѣщенной заглѣ и подробно рисуетъ эффектъ, мгновенное чудодѣйственное впечатлѣніе на пылкую юность, на суровую старость, на героевъ, на поэтовъ. Критикъ, въ порывѣ восторга, готовъ даже нанести жестокий ударъ своей религіи личнаго протеста и осмысленнаго стремленія пересоздавать дѣйствительность. Красавица можетъ не выражать опредѣленной идеи и даже опредѣленнаго чувства, и все-таки безгранично чаровать ошачтивленнаго зрителя. Красота сама себѣ цѣль, подобно истинѣ и благу, и критикъ даетъ ей право царствовать надъ вселенной «только властію своего имени» <sup>142)</sup>.

Отсюда естественный выводъ: да здравствуетъ искусство, осуществляющее красоту во имя ея самой!

Но такого вывода не будетъ сдѣлано, потому что критикъ лично не способенъ замереть въ безотчетномъ созерцаніи предъ какой угодно красавицей. И самое понятіе красоты незамѣтно сольется у него съ понятіемъ поэзіи. Тогда другое дѣло. Поэзія отнюдь не безстрастное шествіе нѣкоего величественнаго и ослѣпительнаго солнца. Она по самому существу жизнь и движеніе, слѣдовательно, источникъ весьма опредѣленныхъ чувствъ и, слѣдовательно, идей.

Критикъ будто не замѣчаетъ соревнованія двухъ весьма различныхъ понятій и въ одной и той же статьѣ воспѣваетъ самоудовлѣющую невозмутимую красоту и даетъ цѣлый рядъ опредѣленій поэзіи.

Здѣсь также много романтическаго пафоса, образы совершенно подавляютъ отвлеченія, но каждая картина дышитъ и горитъ вполне реальными намѣреніями автора. «Поэзія—это огненный взоръ юноши, кипящаго избыткомъ силъ; это—его отвага и дер-

<sup>142)</sup> Стихотворенія М. Лермонтова. IV, 278. 1841 г.

зость, его жажда желаній, неудержимые порывы его стремленія сжать въ пламенныхъ объятіяхъ и небо, и землю, разомъ осушить до дна неистощимую чашу жизни... Поэзія—это сосредоточенная, овладѣвшая собою сила мужа, вполне созрѣвшаго для жизни, искушеннаго ея опытами, съ уравновѣшенными силами духа, съ просвѣтленнымъ взоромъ готового на битву и на подвигъ»...

Очевидно, царство поэзіи неограниченно, и основная сила его—способность вызывать сильныя движенія души. Критикъ и позже съ большимъ удовольствіемъ будетъ живописать «прекрасную молодую женщину» безъ опредѣленнаго выраженія въ чертахъ ея лица. Эта преданность чистымъ эстетическимъ впечатлѣніямъ краснорѣчива для нравственнаго міра Бѣлинскаго: критикъ всю жизнь оставался художникомъ и жизнью одною жилъ съ художниками, когда вопросъ заходилъ даже о прекрасныхъ формахъ. Красота такая же потребность нашего духа, какъ истина и добродѣтель <sup>143</sup>).

Но всѣ эти изліянія не исчерпываютъ міровоззрѣнія критика, а только выясняютъ одинъ изъ мотивовъ его духовной жизни. Въ области критики оно займетъ свое мѣсто, но въ понятіи *поэтическаго*. А оно отнюдь не тождественно съ идеей чистой, отрѣшенной красоты, все равно, какъ не совпадаетъ и съ представленіемъ о нравственной проповѣди, о преднамѣренномъ направленіи, о разсудочно усвоенномъ идеалѣ. Въ поэзію красота входитъ лишь какъ одинъ изъ частныхъ признаковъ и можетъ даже совершенно преобразоваться сравнительно съ своимъ первичнымъ опредѣленіемъ, именно совпасть съ *истиной*.

Это совпаденіе и является идеаломъ новой поэзіи. Оно даетъ въ результатъ *натуральную школу*.

## XXIX.

Борьба за гоголевское направленіе—главнѣйшая задача пѣлаго періода дѣятельности Бѣлинскаго. Онъ самъ неоднократно признаетъ основнымъ вопросомъ русской литературы *натуральную школу* и ставитъ его наравнѣ съ живѣйшимъ интересомъ современной общественной мысли, съ *славянофильствомъ*. Вокругъ этихъ темъ группируются важнѣйшія статьи Бѣлинскаго и его слово замираетъ на рѣшеніи задачъ, въ чемъ сила и смыслъ

<sup>143</sup>) Статьи о Пушкинѣ. VІІІ, 368.

натуральнаго направленія искусства, и что положительнаго внесено славянофильскимъ толкомъ въ сознание русскаго общества?

Мы видѣли, какъ высоко поставлена критикомъ идейность творчества, опредѣленность направленія. Жоржъ-Зандъ ясно и непосредственно удовлетворяла потребности Бѣлинскаго въ личной борьбѣ съ предразсудочнымъ обществомъ и косной толпой. Но онъ не могъ помириться съ *преднаптенностью* борьбы ради какихъ бы то ни было возвышенныхъ цѣлей. Творчество не должно терять своихъ правъ предъ какими бы то ни было идеалами. Художникъ долженъ всегда и вездѣ оставаться художникомъ, идейность не должна быть тенденціей, а естественнымъ проявленіемъ таланта и натуры писателя. Въ этомъ весь смыслъ такъ-называемыхъ великихъ поэтическихъ дарованій: они безсознательно вдохновены и непосредственно идейны.

У Бѣлинскаго нѣтъ выраженій *идейный*, *идейность*, онъ выражается энергичнѣе, говоритъ о *направленіи*, и неуклонно доказываетъ, что у художника оно также должно быть талантомъ, т. е. даромъ природы, а не извнѣ навязаннымъ символомъ вѣры. Партийные поэты смѣшны, по мнѣнію Бѣлинскаго, и отказаться художнику отъ творческой свободы значитъ обречь на гибель самый свой талантъ.

Но нѣкоторые поэты явно работаютъ въ пользу опредѣленныхъ политическихъ и общественныхъ идей, какъ же судить объ этой работѣ?

Отвѣтъ простой. Она сама себя судить. Она плодотворна, долговѣчна и стоитъ на высотѣ достоинства поэта, если поддается личными впечатлѣніями и чувствами художника. Именно самыя впечатлѣнія должны быть идейны, тогда только художественный талантъ съ одинаковымъ значеніемъ служить искусству и обществу.

«Творчество,—пишетъ Бѣлинскій,—по своей сущности требуетъ безусловной свободы въ выборѣ предметовъ не только отъ критиковъ, но и отъ самого художника. Ни ему никто не въ правѣ задавать сюжетовъ, ни онъ самъ не въ правѣ направлять себя въ этомъ отношеніи. Онъ можетъ имѣть опредѣленное направленіе, но оно у него только тогда можетъ быть истинно, когда безъ усилія, свободно сходится съ его талантомъ, его натурою и инстинктами и стремленіемъ» <sup>144)</sup>.

<sup>144)</sup> *Отвѣтъ Москвитянину*. XI, 234. 1847 г.

Одного только критикъ можетъ требовать отъ художника, чтобы онъ оставался вѣренъ изображенной имъ дѣйствительности и не извращалъ выбраннаго предмета личными вымыслами.

Очевидно, свойства предмета и искреннее отношеніе къ нему сами по себѣ опредѣляютъ и значительность, и направленіе произведеній искусства. А выборъ этой или иной дѣйствительности для творческой работы зависитъ отъ глубины и богатства природы художника.

Впечатлѣнія одного поэта внушать ему только трели соловья, впечатлѣнія другого уподобятся «тенденціямъ». Такая именно судьба постигла Тургенева, и онъ въ свое оправданіе разсказать процессъ своего творчества совершенно по программѣ Бѣлинскаго. Это совпаденіе—краснорѣчивѣйшее свидѣтельство въ пользу эстетики нашего критика.

Бѣлинскій и здѣсь предупредилъ заблужденія нѣкоторыхъ публицистовъ шестидесятыхъ годовъ, во что бы то ни стало гнувшихъ творческія способности поэтовъ подъ извѣстное общественное знамя. Бѣлинскій, не меньше какихъ угодно публицистовъ почитавшій направленіе и идеи, не забылъ простѣйшаго факта: *психологическаго смысла творчества* и запутаннѣйшій вопросъ критики рѣшилъ въ полномъ согласіи и съ фактами, и съ самими художниками.

Откуда получается направленіе у художника и вообще у всякаго человѣка? Отъ очень нагляднаго обстоятельства: отъ живой и кровной симпатіи писателя съ духомъ, надеждами, радостями и болѣзнями своего времени. Безъ этой симпатіи немислимъ просто болѣе или менѣе интеллигентный человѣкъ, какъ нравственная единица, еще менѣе возможенъ писатель.

Но вопросъ не кончается.

«Главное и трудное состоитъ не въ томъ, чтобъ имѣть направленіе и идеи, а въ томъ, чтобъ не выборъ, не усиліе, не стремленіе, а прежде всего сама натура поэта была непосредственнымъ источникомъ его направленія и идей».

Художникъ даже можетъ не отдавать полнаго и яснаго отчета въ идейномъ смыслѣ своихъ произведеній, все равно, какъ и въ возникновеніи и развитіи художественныхъ образовъ. Бѣлинскій встрѣтился съ самымъ рѣзкимъ фактомъ подобнаго недоразумѣнія,—въ лицѣ Гоголя. Но критикъ предусматривалъ раньше возможное самонепониманіе художника, и этотъ фактъ новое доказательство психологической глубины критики Бѣлинскаго.

Для примѣра Бѣлинскій беретъ не Гоголя, а другого своего любимого поэта и предполагаетъ слѣдующее:

«Еслибъ сказали Лермонтову о значеніи его направленія и идей, онъ, вѣроятно, многому удивился бы и даже не всему повѣрилъ. И не мудрено: его направленіе, его идеи были онъ самъ, его собственная личность, и потому онъ часто выказывалъ великое чувство, высокую мысль въ полной увѣренности, что онъ не сказалъ ничего особеннаго. Такъ силачъ безъ вниманія, мимоходомъ, откидываетъ ногою съ дороги такой камень, который человѣкъ съ обыкновенною силою не сдвинуть бы съ мѣста и руками» <sup>145)</sup>.

Если *направленіе* такъ неразрывно связано съ творчествомъ, то первоисточника его, очевидно, слѣдуетъ искать въ тѣхъ предметахъ, какіе выбираетъ художникъ для своей творческой работы. А предметъ можетъ быть идейнымъ только въ томъ случаѣ, когда онъ *значителенъ* по своему жизненному и общественному смыслу, когда въ немъ самомъ, независимо отъ преднамѣренныхъ толкованій и освѣщеній, заключается богатое поучительное содержаніе.

А такимъ предметомъ является только *дѣйствительность*, переживаемая даннымъ временемъ и обществомъ. Литература, избирающая ее своимъ предметомъ, и будетъ идейная въ силу естественнаго порядка вещей. Это и есть *натуральная школа*.

Намъ ясно теперь, почему Бѣлинскій съ такой неустанной энергіей защищалъ гоголевское творчество и почему въ торжествѣ новаго направленія видѣлъ ясное свидѣтельство развивающагося самосознанія русскаго общества. *Натуральная школа* обладаетъ направленіемъ и идеями сама по себѣ, по своей сущности, независимо отъ книгъ, аудиторій и критики. Пусть представители этой школы не сознаютъ всего общественнаго значенія своего творчества, только пусть не измѣняютъ своему художественному знамени, и плоды созрѣютъ безъ ихъ ухода.

Бѣлинскій судьбу натурального направленія старался выяснитъ не только путемъ публицистики и эстетики, онъ связалъ ее вообще съ исторіей русской литературы. Онъ въ прошломъ русской словесности собралъ задатки новѣйшей школы, чтобы доказать ея глубоко-національный характеръ, онъ всѣ періоды русскаго литературнаго слова оцѣнилъ съ точки натуральныхъ принциповъ

<sup>145)</sup> Стихотворенія Аполлона Григорьева. X, 404. 1846 г. Русская литература въ 1844 году. IX, 293. 1845 г.

творчества. Гоголь сталъ на мѣсто Гегеля и *Мертвая душа* явились такимъ же неистощимымъ законодательствомъ для общественной мысли, какимъ раньше была гегельянская диалектика для философскихъ построений.

Основное положеніе натуральной критики, высказанное въ 1842 году по поводу гоголевской поэмы, крайне рѣшительно:

«Въ томъ, что художническая дѣятельность Гоголя вѣрна дѣйствительности, мы видимъ черту геніальности» <sup>146)</sup>.

Приложите этотъ принципъ къ историческимъ фактамъ и вы получите точную философію исторіи русской литературы: это — постепенный переходъ отъ искусственности и подражательности къ естественности и самобытности. Изъ книжной русская литература становилась живой и общественной.

Слѣдовательно, всѣ явленія прогрессивны, гдѣ правда и общественность, наоборотъ, всѣ ретроградны, гдѣ искусственность, реторичность и художественная отрѣшенность. И Бѣлинскій знаетъ въ сущности только двѣ литературныхъ школы: *реторическую* и *натуральную*. Одна стремится къ выпрененнымъ мотивамъ, громкимъ рѣчамъ, небывалымъ подвигамъ и героямъ, другая пребываетъ на землѣ и въ средѣ обыкновенныхъ смертныхъ. И это направленіе существовало гораздо раньше Гоголя: въ сущности русская литература началась *натурализмомъ*, именно общественными сатирами Кантемира. Гоголь только окончательно утвердилъ власть исконнаго русскаго и сдѣлалъ невозможными новые набѣги лжи и подражательности на сцену національнаго творчества.

«Если бы насъ спросили,—пишетъ Гоголь,—въ чемъ состоитъ существенная заслуга новой литературной школы, мы отвѣчали бы: въ томъ именно, за что нападаетъ на нее близорукая посредственность или низкая зависть, въ томъ, что отъ выспихъ идеаловъ человѣческой природы и жизни она обратилась къ такъ-называемой «толпѣ», исключительно избрала ее своимъ героемъ, изучаетъ ее съ глубокимъ вниманіемъ и знакомить ее съ нею же самою. Это значило совершить окончательно стремленіе нашей литературы, желавшей сдѣлаться вполнѣ національною, русскою, оригинальною и самобытною; это значило сдѣлать ее выраженіемъ и зеркаломъ русскаго общества, одушевить ее живымъ національнымъ интересомъ» <sup>147)</sup>.

<sup>146)</sup> Статья по поводу критическихъ статей К. Аксакова о *Мертвыхъ душахъ*. VI, 546.

<sup>147)</sup> *Русская литература въ 1845 году*. X, 283; XI. 328.

Мы видимъ, натуральная школа только предметомъ своего изученія достигла двухъ великихъ результатовъ, отвѣчающихъ духу новаго времени—общественной идейности и народности. Во имя этихъ завоеваній Бѣлинскій стоялъ на стражѣ гоголевскихъ произведеній и не пропускалъ случая выступить на защиту *Мертвыхъ душъ* противъ Сенковского, Полевого, даже друзей автора—проф. Шевырева и Константина Аксакова, наконецъ, противъ самого автора.

*Библиотека для Чтенія* уничтожала произведеніе Гоголя за наименованіе его *поэмой*, за несоблюденіе правилъ русской грамматики, за «нечистыхъ героевъ», за сходство съ романами Поль-де-Кока <sup>148)</sup>. Одновременно Полевой въ *Русскомъ Вѣстникѣ* убѣждалъ Гоголя лучше перестать писать, чѣмъ «постепенно богѣе и богѣе падать», сочинять языкомъ харчевенъ и томить читателей въ сырадномъ воздухѣ «неопрятныхъ гостинницъ». Шевыревъ готовъ былъ требовать отъ Гоголя «добродѣтельнаго человѣка», патріотическаго оправданія отрицательныхъ героевъ и совѣтовалъ автору обратиться къ изученію высшаго общества, какъ неисчерпаемаго кладезя русскихъ положительныхъ свойствъ. *Сѣверная Пчела* клеймила Гоголя за то же пристрастіе къ негодяямъ, за безвкусіе, дурной тонъ, за варварскій языкъ, и назначала ему мѣсто даже ниже Поль-де-Кока <sup>149)</sup>. Константинъ Аксаковъ—полная противоположность петербургскимъ насмѣшникамъ и пасквилянтамъ, впалъ въ другую крайность, сопоставилъ Гоголя съ Гомеромъ. Смѣшное этого пагоса почувствовали даже принципиальные враги Бѣлинскаго, въ родѣ Погодина и Шевырева, недоволенъ остался и Гоголь <sup>150)</sup>.

Бѣлинскому предстояло единолично защищать Гоголя и отъ ярости враговъ, и отъ наивности друзей. Но защита не означала безусловнаго восторга. Правда, Гоголь—родоначальникъ новой національной школы. Онъ, какъ художникъ, стоитъ на высотѣ современности, но онъ не послѣднее слово творческаго таланта. Есть нѣчто, не входящее въ дарованіе Гоголя, и между тѣмъ весьма существенное для художника новаго времени. Это именно нѣчто и вызоветъ у Гоголя злополучную переписку. Бѣлинскій

<sup>148)</sup> *Библ. для Чтенія*. 1842, т. 53.

<sup>149)</sup> *Сѣв. Пч.* 1842 г., № 137.

<sup>150)</sup> Брошюра *Нѣсколько словъ о поэмѣ Гоголя: Похожденія Чичикова или Мертвыя Души*. 1842 г. Отзывы Погодина, Шевырева и Гоголя. Барсуковъ VI, 298—9.

могъ предчувствовать ее задолго до ея появленія. Его остановили «мистико-лирическія выходки» въ поэмѣ, и онъ могъ отмѣтить измѣну художника своему истинному призванію, желаніе стать прорицателемъ, глашатаемъ великихъ истинъ, теорій и системъ. А теоріи и системы, по мнѣнію Бѣлинскаго, «всегда гибельны для искусства и таланта» <sup>151)</sup>.

Но вѣдь возможенъ же случай, когда истины и теоріи одно временно и непосредственныя внушенія вдохновеннаго генія, и выводы сознательной мысли? Бѣлинскій сравнивалъ Гоголя съ животнымъ, рѣзко характеризируя безотчетность его творчества. Это не общее правило: о Жоржъ-Зандѣ Бѣлинскій такъ не могъ бы выразиться. Въ чемъ же разница?

### XXX.

Аксаковъ, вознося Гоголя до Гомера, не призналъ Жоржъ-Зандъ великой писательницей. Бѣлинскій возмутился и воспользовался случаемъ еще разъ заявить свое преклоненіе предъ геніальностью «первой поэтической славы современнаго міра». Жоржъ-Зандъ—выше Гоголя, потому что имѣетъ значеніе не въ одной французской литературѣ, но и во всемірно-исторической <sup>152)</sup>.

Критикъ не могъ объяснить подробно своего приговора, не могъ въ то время, когда, по словамъ Бѣлинскаго, цензура безпрестанно исключала изъ его статей по двѣ трети и въ томъ числѣ самый «смыслъ». Но намъ извѣстно изъ отрывочныхъ и общихъ намековъ, чѣмъ Жоржъ-Зандъ заслужила отъ русскаго критика такой роскошный вѣнокъ?

У Гоголя нѣтъ двухъ достоинствъ писателя—знаній и субъективнаго начала. Первое понятно само собой, второе объяснено критикомъ еще независимо отъ Гоголя, въ своеобразномъ толкованіи объективности. Гоголь только внушилъ болѣе яркое и подробное выясненіе старой мысли.

Бѣлинскій привѣтствовалъ въ *Мертвыхъ душахъ*, какъ «величайшій успѣхъ и шагъ впередъ», субъективность—болѣе ощутительную, чѣмъ въ прежнихъ произведеніяхъ. И дальше слѣдовало объясненіе.

«Мы разумѣемъ не ту субъективность, которая, по своей ограниченности или односторонности, искажаетъ объективную дѣй-

<sup>151)</sup> *Похожденія Чичикова*. XI, 69, 70. 1847 г.

<sup>152)</sup> VI, 541.



ствительность изображаемых поэтомъ предметовъ; но ту глубокую, всеобъемлющую и гуманную субъективность, которая въ художникѣ обнаруживаетъ человѣка съ горячимъ сердцемъ, симпатическою душою и духовно-личною самостью,—ту субъективность, которая не допускаетъ его съ апатическимъ равнодушіемъ быть чуждымъ міру, имъ рисуемому, но заставляетъ его проводить черезъ свою *душу живу* явленія вѣшняго міра, а чрезъ и въ нихъ вдыхать *душу живу* <sup>153)</sup>.

Именно такой субъективностью въ высшей степени обладаетъ Жоржъ-Зандъ, и въ направленіи, рѣзко подчеркнутомъ у Бѣлинскаго.

Критикъ не могъ въ цѣльной статьѣ дать характеристику этого направленія, не могъ даже и случайно употребить терминовъ, соотвѣствующихъ его идеѣ, пришлось ограничиваться общими выраженіями — сочувствіе къ страждущимъ друзьямъ, «симпатія къ падшимъ и слабымъ», «гуманность и человѣколюбіе», «вѣчно-тревожное стремленіе къ идеалу и уравниенію съ нимъ дѣйствительности». Во всѣхъ этихъ нравственныхъ качествахъ заключается «жизненная идея и паеосъ французской націи», «рѣзкая черта ея національнаго характера» <sup>154)</sup>.

Въ письмахъ Бѣлинскій выражался гораздо откровеннѣе. Еще въ концѣ 1841 года онъ сообщалъ Боткину о своей новой крайности и объяснялъ, что «это идея *соціализма*», и она стала для него «идеею идей... альфою и омегою вѣры и знанія», «поглотила и исторію, и религію, и философію». «Ею,—прибавляетъ Бѣлинскій,—я объясняю теперь жизнь мою, твою и всѣхъ, съ кѣмъ встрѣчался я на пути жизни» <sup>155)</sup>.

У насъ есть другія свѣдѣнія о настроеніяхъ Бѣлинскаго въ началѣ сороковыхъ годовъ. Отъ Грановскаго мы знаемъ объ увлеченіи критика Робеспьеромъ, потому что Робеспьеръ «удовлетворялъ дѣлами своими ненависти Бѣлинскаго къ аристократамъ» <sup>156)</sup>. Тотъ же Грановскій рекомендуетъ Бѣлинскому читать французскихъ историковъ и *Encyclopédie Nouvelle*, гдѣ можно познакомиться съ Пьеромъ Леру. Грановскій его называетъ «однимъ изъ самыхъ умныхъ и благородныхъ людей въ Европѣ».

<sup>153)</sup> Журнальныя и литературныя замѣтки. VI, 577. 1842 г.

<sup>154)</sup> Парижскія тайны. IX, 32. 1844 г. Сочиненія Державина. VП, 99, 1843 г.

<sup>155)</sup> Пыпинъ. II, 122.

<sup>156)</sup> II, 439.

Бѣлинскій послѣдовалъ совѣту, и, вѣроятно, безъ всякаго совѣта обратился бы именно къ французской исторіи. Она вполнѣ совпадала съ его новыми восторгами предъ социальными задачами французской литературы. И Бѣлинскій не былъ въ одиночествѣ. Кругомъ него молодое поколѣніе жадно напитывалось политической мыслью Франціи, перечитывало Прудона, Кабе, Леру и особенно Фурье и позже Луи Блана. Уже къ 1843 году, по словамъ современника, «книги названныхъ авторовъ были во всѣхъ рукахъ», подвергались всестороннему изученію и обсужденію, породили, какъ прежде Шеллингъ и Гегель, своихъ ораторовъ, комментаторовъ, толковниковъ»<sup>157</sup>). Но результаты новыхъ увлеченій не могли ограничиться чистой теоріей: французскія идеи вскорѣ должны были созрѣть и своихъ мучениковъ.

Вопросъ о крѣпостномъ правѣ, не перестававшій гнѣть въ русскихъ умахъ со временъ декабристовъ, долженъ былъ сообщить особенно жгучій интересъ демократическимъ и социальнымъ ученіямъ Запада. Бывшій авторъ *Дмитрія Калинина*, вернувшись къ рыцарственной войнѣ съ дѣйствительностью, вполнѣ послѣдовательно и, по обыкновенію, страстно углубился въ исторію и идеалы европейскаго социализма.

Онъ началъ издавѣка. Ему хотѣлось прослѣдить источники современнаго движенія, уяснить сѣмена социальныхъ задачъ въ революціи восемьдесятъ девятаго года, изучить законодательскую дѣятельность революціонныхъ собраній и особенно внимательно вдуматься въ факты открытаго социального характера, именно въ исторію бабувизма и французскихъ карбонаріевъ.

Бѣлинскій принялся читать *Исторію революціи* Тьера и, конечно, не могъ найти искомыхъ указаній. Стремительный бонапартистъ и представитель воинствующаго оппортунизма менѣе всего могъ ввести русскаго читателя въ область демократическихъ стремленій XIX-го вѣка. Бѣлинскій нашелъ желаннаго историка въ лицѣ Луи Блана, поставившаго во главѣ угла своей исторіи прогрессъ демократіи. *Исторія десяти лѣтъ* очаровала Бѣлинскаго.

Анненковъ рассказываетъ:

«По возвращеніи моемъ въ 1843 году въ Петербургъ, почти первымъ словомъ, услышаннымъ мною отъ Бѣлинскаго, было восторженное восклицаніе о книгѣ Луи Блана: «Что за книга Луи

<sup>157</sup>) Анненковъ. *Воспомин. и критич. очерки*. III, Спб. 1881, стр. 70—1.

Блана!—говорилъ онъ. — Вѣдь этотъ человѣкъ намъ ровесникъ, а между тѣмъ, что такое я передъ нимъ, напримѣръ? Просто стыдно подумать о всѣхъ своихъ кропаніяхъ передъ такимъ произведеніемъ. Гдѣ они берутъ силы, эти люди? Откуда у нихъ является такая образность, такая пронизательность и твердость сужденія, а потомъ такое мѣткое слово! Видно, жизнь государственная и общественная даютъ содержаніе мысли и таланту نابогѣе, чѣмъ литература и философія» <sup>158</sup>).

Въ этихъ словахъ звучало явно тяжелое чувство. Мысль Бѣлинскаго начинала задыхаться въ тѣсныхъ предѣлахъ искусства и литературной критики. Этому чувству не суждено было ни замереть, ни потускнѣть. Начиналась новая драма для вѣчно-жаждущаго духа, драма мысли и воли, мучительнѣйшая изъ драмъ, доступныхъ человѣческой природѣ. Бѣлинскій чувствуетъ себя будто приговореннымъ къ пожизненному заключенію и насильственному молчаливчеству. Ему невыносимо больно, и онъ не смѣетъ издать крика, произнести даже слово, вѣрно опредѣляющее его боль и ея источникъ.

«Если бы знали вы,—говорилъ онъ Панаеву,—какое вообще мученіе повторять зады, твердить одно и то же все о Лермонтовѣ, Гоголѣ, Пушкинѣ, не смѣть выходить изъ опредѣленныхъ рамокъ,—все искусство да искусство! Ну, какой я литературный критикъ! Я рожденъ памфлетистомъ, и не смѣть пикнуть о томъ, что накопило на душѣ, отчего сердце болитъ».

А между тѣмъ враги Бѣлинскаго послѣ его смерти будутъ укорять его съ особеннымъ усердіемъ въ «докучной сказкѣ», въ «двѣнадцати статьяхъ о Пушкинѣ и «чуть ли» не въ «ста эпизодахъ о Лермонтовѣ и Гоголѣ», въ «безконечныхъ и утомительныхъ варьяціяхъ!» <sup>159</sup>).

Бѣлинскій, какъ всегда, пытался и въ статьяхъ выразить свою душевную тоску. Онъ съ горечью выражалъ подозрѣніе, что читателямъ литература давно уже кажется предметомъ «истощеннымъ и слишкомъ часто истощаемымъ». Критикъ увѣрялъ, что и онъ «не чуждъ этого прогресса», и что было бы несправедливо упрекать его «въ отсталости отъ духа времени». Но... «будемъ разсуждать о русской литературѣ!» заключалъ Бѣлинскій, и вновь начиналъ свою сказку, напрягая всѣ силы одушевить ее интересами времени <sup>160</sup>).

<sup>158</sup>) *Тб.*, стр. 72.

<sup>159</sup>) Погодинъ. *Москвитинъ*, 1848 г., ч. IV.

<sup>160</sup>) *Русская литература въ 1844 году*. IX, 232.

Удавалось это съ величайшимъ трудомъ и только по счастливымъ случайностямъ. Бѣлинскій переживалъ лихорадочныя минуты при выходѣ каждой новой книги *Отечественныхъ Записокъ*. «Онъ съ какою-то жадностью бросался» на нее, «и дрожащей рукой разрывалъ свои статьи, чтобы пробѣжать ихъ и посмотреть, до какой степени сохранился смыслъ ихъ въ печати. Въ эти минуты лицо его то вспыхивало, то блѣднѣло. Онъ отбрасывалъ отъ себя книжку въ отчаяніи, или успокоивался и приходилъ въ хорошее расположеніе духа, если не встрѣчалъ значительныхъ пережѣвъ и искаженій» <sup>161)</sup>.

Но рѣдко дѣло кончалось такъ благополучно. Мы безпрестанно встрѣчаемъ въ письмахъ Бѣлинскаго такія, напримѣръ, восклицанія: «Святители! Изъ моей несчастной статьи вырѣзанъ весь смыслъ, ибо выкинута ровно половина», «статья не подгуляла бы, если бы цензура не вырѣзала изъ нея смысла и не оставила одной галиматьи», «статья страшно искажена... Чортъ возьми всѣ наши статьи да и всѣхъ насъ съ ними!»

Отчаяніе переходило въ самыя настоящія страданія, Бѣлинскій переживалъ «тяжелые дни». Оказывалось невозможнымъ хвалить императора Петра, говорить о Державинѣ, о Мицкевичѣ, о шапкѣ-мурмолкѣ, и именно самыя горячія статьи выходили «ошелюмованными».

Какія опустошенія производились цензорскимъ карандашемъ можно приблизительно судить по напечатанной *статье о Перепискѣ Гоголя* и ненапечатанному *письму* Бѣлинскаго къ Гоголю.

Противники критика и поклонники Гоголя-проповѣдника торжествовали: статья вышла «самая пустая», и они понимали почему: цензура не допустила Бѣлинскаго говорить о направленіи <sup>162)</sup>. А между тѣмъ *письмо* о томъ же предметѣ до такой степени содержательно и внушительно, что впоследствии нѣкоторые «петрашевцы», въ числѣ ихъ Достоевскій, были приговорены къ смертной казни только за распространеніе этого письма.

Здѣсь Бѣлинскій рѣзко и кратко перечислялъ «самые живые современные національные вопросы въ Россіи»: «уничтоженіе крѣпостного права, ослабленіе тѣлеснаго наказанія, введеніе, по возможности, строгаго исполненія хотя тѣхъ законовъ, которые уже есть».

<sup>161)</sup> Панаевъ, стр. 405—6.

<sup>162)</sup> Отзывъ А. О. Смирновой. Версуковъ. VІІІ, 595.

Это—правительственная программа освободительныхъ реформъ. ясно сознанная властью еще раньше письма, и задушевнѣйшимъ желаніемъ Бѣлинскаго было обсуждать именно эти вопросы. Но на пути стояла непреодолимая стѣна и, благодаря ей, предъ нами въ сочиненіяхъ критика только блѣдное и купое отраженіе его дѣйствительной мысли.

Оставалось обходными путями идти къ страстно-желанной цѣли, и Бѣлинскій неуклонно *хвалилъ* и *порицалъ писателей-художниковъ*, не имѣя возможности подробно объяснить основанія своихъ похвалъ и порицаній и ограничиваясь только общими соображеніями. Отъ читателей требовалась недюжинная провицательность, чтобы оцѣнить по достоинству часто едва намѣченную мысль критика.

### XXXI.

Петербургская молодежь стояла на уровнѣ современныхъ социальныхъ идей Франціи. Въ *Словарь иностранныхъ словъ*, изданномъ Петрашевскимъ и представлявшимъ философскую и политическую систему русскихъ социальныхъ идеалистовъ сороковыхъ годовъ, конституціонный образъ правленія признавался «аристократіей богатства», т. е. буржуазнымъ строемъ.

Эта мысль—точное воспроизведеніе основного социалистскаго воззрѣнія, выясненнаго у сенъ-симонистовъ. Несомнѣнно, имѣлась въ виду французская конституція, сначала хартія, октроированная Людовикомъ XVIII, потомъ основной законъ іюльской монархіи. По существу обѣ конституціи не противорѣчили другъ другу, одинаково утвержденныя на высокомъ матеріальномъ цензѣ правящаго класса.

Въ результатѣ, французскій парламентъ превратился въ капиталистическую олигархію и политика его, при всей азартной оппозиціи партій разнымъ министерствамъ, не имѣла ничего общаго съ дѣйствительными интересами страны и народа.

Фактъ превосходно понимали въ Россіи и здѣсь вражда къ капиталу и его политическимъ привилегіямъ укоренялась не менѣе глубоко и искренне, чѣмъ на Западѣ. Бѣлинскій питалъ эту вражду, по обыкновенію, въ самой напряженной формѣ. Она не могла не отразиться въ его статьяхъ, какъ бы ихъ ни шельмовала цензура.

Критикъ не могъ открыто заявить своего сочувствія социаль-

ному движенію, вызвавшему февральскую революцію, но невозможно преслѣдовалъ будущихъ жертвъ этого движенія.

Разбирая «соціальный» романъ Эжена Сю, Бѣлинскій обрушивается на автора:

«Онъ желалъ бы, чтобъ народъ не бѣдствовалъ, и, переставъ быть голодною, оборванною и частью поневогѣ преступною чернью, сдѣлался сытою, опрятною и прилично ведущею себя чернью, а мѣщане, теперешніе фабриканты законовъ во Франціи, остались бы по прежнему господами Франціи, образованнѣйшимъ сословіемъ спекулянтовъ. Эженъ Сю показываетъ въ своемъ романѣ, какъ иногда сами законы французскіе безсознательно покровительствуютъ разврату и преступленію. И, надо сказать, онъ показываетъ это очень ловко и убѣдительно; но онъ не подозреваетъ того, что зло скрывается не въ какихъ-нибудь отдѣльных законахъ, а въ цѣлой системѣ французскаго законодательства, во всемъ устроить общества» <sup>163)</sup>.

Подчеркнутыя нами слова, очевидно, пропущены цензурой по недостаточному вниманію или непониманію. Они, при всей краткости, выражали основной принципъ соціальной политики, равнодушный къ *политическимъ формамъ* и всецѣло направленный на *общественные устои*, т. е. на буржуазный капиталистическій феодализмъ новаго времени.

Бѣлинскому не всегда удавалось такъ опредѣленно выразить свою идею, тогда онъ разилъ врага въ лицѣ какого-нибудь другого писателя-буржуа, напримѣръ, Бальзака. Этотъ авторъ «вѣренъ моральному принципу выскочившаго въ люди богатаго мѣщанства», полная противоположность ему Жоржъ-Зандъ, «обвинитель, изобличитель и нравственная кара» современнаго французскаго общества. А «представители этого общества—набитые золотомъ мѣшки, пріобрѣтатели, люди, поклоняющіеся золотому тельцу»... <sup>164)</sup>.

Читателямъ оставалось познакомиться съ романами Жоржъ-Зандъ и сдѣлать общій выводъ. Онъ былъ бы ничѣмъ инымъ, какъ философій Пьера Леру, вообще, демократическимъ социализмомъ.

Бѣлинскій понималъ политическое значеніе буржуазіи именно такъ, какъ его представляли соціальные политики на Западѣ.

<sup>163)</sup> IX, 18.

<sup>164)</sup> Сочиненія Зеневиды Р—вой. VII, 152. 1843 г.

Онъ ставитъ ее рядомъ съ дворянствомъ Людовика XV: и это сословіе и современная bourgeoisie, господствующая во Франціи, по мнѣнію критика, доказываютъ, что «меньшинство скорѣе можетъ выражать болѣе дурныя, нежели хорошія стороны національности народа» <sup>165</sup>).

Наконецъ, Бѣлинскому иногда удавалось провести задушевную идею съ нѣкоторой страстью, перенести ее на почву искусства, нравственности и даже религіи. При защитѣ натуральной школы, такъ кстати сказать доброе слово о «малыхъ сихъ», и критикъ говоритъ, ставя цѣль гораздо дальше вопросовъ литературы.

Прочтите, напримѣръ, его сравненіе образованнаго человѣка съ необразованнымъ, вы непременно почувствуете «памфлетиста, больше, чѣмъ «литературнаго критика».

«Вы говорите,—обращается Бѣлинскій къ своимъ противникамъ,—что образованный человѣкъ выше необразованнаго. Съ этимъ нельзя не согласиться съ вами, но не безусловно. Конечно, самый пустой свѣтскій человѣкъ несравненно выше мужика, но въ какомъ отношеніи? Только въ свѣтскомъ образованіи, а это насколько не помѣшаетъ иному мужику быть выше его, напримѣръ, со стороны ума, чувства, характера. Образование только развиваетъ нравственныя силы человѣка, но не даетъ ихъ: даетъ ихъ человѣку природа. И въ этой раздачѣ драгоценнѣйшихъ даровъ своихъ она дѣйствуетъ слѣпо, не разбирая сословій... Если изъ образованныхъ классовъ общества выходитъ больше замѣчательныхъ людей, это потому, что тутъ больше средствъ къ развитію, а совсѣмъ не потому, чтобы природа была для людей низшихъ классовъ скупѣе въ раздачѣ даровъ своихъ».

И дальше слѣдуетъ краснорѣчивое изображеніе челоѣколюбія Искупителя, не различавшаго мудрыхъ и образованныхъ отъ простыхъ умомъ и сердцемъ, призывавшаго рыбаковъ быть «ловцами челоѣковъ» <sup>166</sup>).

Къ тому же порядку идей принадлежитъ горячая проповѣдь Бѣлинскаго противъ холоднаго скептицизма, отсутствія какой бы то ни было дѣятельной нравственной вѣры. «Спокойные скептики», «абстрактные челоѣки» — это «безпаспортные бродяги въ челоѣчествѣ».

<sup>165</sup>) *Взглядъ на русскую литературу въ 1846 году*. XI, 41.

<sup>166</sup>) *Взглядъ на русскую литературу въ 1847 году*. XI, 348—9.

Согласно съ сенъ-симонистами Бѣлинскій скептицизмъ считаетъ признакомъ переходныхъ эпохъ, разложенія старыхъ основъ общества. Скептицизмъ въ такихъ случаяхъ—болѣзнь времени.

Критикъ не отрицаетъ скептицизма, очищающаго истину отъ лжи и заблуждений. Но такой скептицизмъ—свойство всѣхъ глубокихъ людей, онъ—жажда знанія, а не холодное отрицаніе.

Совершенно другое скептицизмъ, какъ щегольство, какъ модное платье. Оно по плечу только мелкимъ умамъ и ничтожнымъ душамъ. «Только маленькіе великіе люди, фокусники и потѣшники праздної толпы, только они сомнѣваются во всемъ легко и весело, забавляясь, а не страдая». Скептицизмъ сильныхъ умовъ, напротивъ, неудовлетворенное стремленіе къ истинѣ.

Бѣлинскій идетъ дальше тѣмъ же сенъ-симонистскимъ путемъ. Онъ требуетъ сильнаго чувства въ знаніи и разумаго убѣжденія въ вѣрѣ. «Сознательная вѣра и религіозное знаніе»—единственные источники живой дѣятельности. Безъ нихъ воцаряется эгоизмъ и шутство надъ священнѣйшими преданіями и стремленіями человѣчества <sup>167)</sup>.

Намъ понятны всѣ конечные выводы этихъ положеній. Бѣлинскій одинаково не способенъ допустить самодовлѣющей чистой учености и безотчетнаго, хотя бы самаго идеальнаго увлеченія. Всякое знаніе должно непосредственно отражаться на поведеніи человѣка и его отношеніяхъ къ внѣшнему міру, всякая идея должна возвышаться до уровня религіознаго вѣрованія, т. е. убѣжденіе должно быть догматомъ практической жизни личности, истинной неподкупной и неустрашимой. «Теоретическая нравственность»—явленіе фарисейское, она совершенно ничтожна для оцѣнки человѣка. «Въ сферѣ теорій и созерцаній быть героемъ добродѣтели тысячу разъ легче, нежели въ дѣйствительности выслужить чинъ коллежскаго регистратора или, пообѣдавъ, почувствовать себя сытымъ» <sup>168)</sup>.

Легко представить, чего стоило Бѣлинскому оставаться при «теоретической нравственности». И самая истина теряла для не о смыслъ и значеніе. Что въ ней толку, «если ея нельзя популяризировать и обнародовать?—Мертвый капиталъ!..»

И Бѣлинскій безнадежно зачахъ въ жестокомъ противорѣчій своей натуры съ поприщемъ своей дѣятельности. Герцепъ еще за

<sup>167)</sup> Речь о критикѣ А. Никитенко. — Сочиненія Платона. VI, 279, 460. Письмо у Пыпина. II, 307.

<sup>168)</sup> Статьи о Пушкинѣ. VIII, 461.



четыре года до смерти Бѣлинскаго мѣтко опредѣлялъ крестъ, лежавшій на его плечахъ.

«Энергія и невозможность дѣла,—писалъ Герценъ,—сломили его. Возможность внутренняя и невозможность виѣшняя превращаютъ силы въ ядъ, отравляющій жизнь; они загниваютъ въ организмѣ, бродятъ и разлагаютъ, отсюда взглядъ гнѣва и желчи, односторонность въ самомъ мышленіи. Бѣлинскій пишетъ: *я жидъ по натурѣ и съ филистимлянами за однимъ столомъ пѣть не могу*...<sup>169)</sup>».

Герценъ, подобно всѣмъ друзьямъ Бѣлинскаго, понималъ развѣ только половину правды о немъ. Всѣ могли понять, когда и отчего Бѣлинскому становилось тяжело, но проникнуть въ нравственный и психологическій смыслъ тяготы оказывалось задачей неразрѣшимой. Не требовалось особенной проницательности усмотрѣть жестокую драму въ невозможности для писателя высказаться, но совсѣмъ другое дѣло—правильно оцѣнить манеру человѣка смотрѣть на практическое значеніе своей истины.

Бѣлинскій могъ сравнивать себя съ жидомъ, а своихъ противниковъ съ филистимлянами, но это не значило для него сознаваться въ слѣпой фанатической нетерпимости, а только характеризовало его рѣшительность въ борьбѣ за свою правду, его отвращеніе къ уступкамъ и сдѣлкамъ, его неспособность закрыть глаза на заблужденія хорошаго человѣка потому только, что онъ хорошій человѣкъ.

Герцену и Грановскому все это казалось нестерпимо-дикимъ и у нихъ даже существовала общая система для оправданія личныхъ благодушныхъ отношеній съ филистимлянами.

Пусть Аксаковъ доводитъ москвобѣсіе до высшей негѣпости, но «нельзя же порвать такъ холодно связи многихъ лѣтъ. Дружба должна быть снисходительна и пристрастна, она должна любить лицо, а не идею».

Такъ разсуждалъ Герценъ, и Бѣлинскому при желаніи ничего не стоило изболѣчить друга въ софизмахъ и спросить у него, какими ухищреніями ему удавалось лицо отдѣлить отъ идеи, въ особенности когда этимъ лицомъ былъ самый цѣльный и послѣдовательный представитель москвобѣсіа?

Грановскій поступалъ проще, не прибѣгалъ къ нравственнымъ соображеніямъ, а прямо ставилъ рядомъ «невообразимую» фило-

<sup>169)</sup> *Былое и думы*. I, 307.

софію славянофиловъ и личную симпатичность нѣкоторыхъ изъ нихъ, наприимѣръ, Ивана Кирѣевскаго: «Я уважаю въ немъ благородство и независимость характера, соединенныя съ теплотою души», оправдывался Грановскій. Недурень и Петръ Кирѣевскій: «въ нихъ такъ много святости, прямоты вѣры, какъ я еще не видалъ ни въ комъ»,—восторгается обыкновенно очень сдержанный и остроумный профессоръ. И Грановскій готовъ съ радостью участвовать въ *Москвитянинѣ*, славянофильскомъ органѣ, если только редакторомъ будетъ Иванъ Кирѣевскій <sup>170)</sup>.

Бѣлинскій рѣшительно не могъ понять ни этихъ чувствительностей, ни еще менѣе журнальнаго сотрудничества въ завѣдомо враждебномъ лагерѣ. Самъ Грановскій изложилъ воззрѣнія Кирѣевскихъ въ самомъ отчаянномъ тонѣ: Западъ сгнилъ, русская исторія испорчена Петромъ; вся мудрость человѣческая истощена въ твореніи св. отцовъ греческой церкви...

Это дѣйствительно филистимлянскій символъ вѣры сравнительно съ міросозерпаніемъ Грановскаго, и все-таки глубокое уваженіе Кирѣевскимъ и статьи ихъ журналу!

Какое впечатлѣніе такая «гуманность» могла производить на Бѣлинскаго? Герценъ рассказываетъ:

«Съ нашей стороны было невозможно заарканить Бѣлинскаго. Онъ слалъ намъ грозныя грамоты изъ Петербурга, отвергалъ насъ, предавалъ анаемѣ и писалъ еще злѣе въ *Отечественныхъ Запискахъ*».

Грановскій интересовался, читалъ-ли Бѣлинскій его статью въ *Москвитянинѣ*. Бѣлинскій отвѣчалъ Герцену: «Нѣтъ, и не буду читать; скажи ему, что я не люблю ни видѣться съ друзьями въ неприличныхъ мѣстахъ, ни назначать имъ тамъ свиданія» <sup>171)</sup>.

Самого Герцена Бѣлинскій предупреждалъ, что отъ него попахиваетъ умѣренностью и благоразуміемъ житейскимъ, т. е. началомъ паденія и гнѣвія. И дальше слѣдовало жестокое издѣвательство надъ двоемысліемъ и недомысліемъ пріятеля касательно дикихъ, но удивительныхъ людей.

Игра не могла продолжаться безъ конца, Герцену и Грановскому пришлось склонить свои головы предъ «нетерпимостью» Државда. «Бѣлинскій былъ правъ,—воскликаетъ Герценъ.—Грановскому приходится еще тѣснѣе. Ему приходится написать именно

<sup>170)</sup> О. с. II, 369, 381, 402, 259.

<sup>171)</sup> *Былое и думы*. I, 311, 307.

объ Иванѣ Кирѣевскомъ рѣчи, вполне достойныя «неистоваго Виссаріона».

«Здѣшніе п... нарекли его русскимъ Златоустомъ. А этотъ Златоустъ смѣло говорить о необходимости изгнать изъ государства всѣхъ инновѣрцевъ, или, по крайней мѣрѣ, подчинить ихъ строгому надзору православной церкви. Изъ всей этой безобразной партіи только у Петра Кирѣевского и у Ивана Аксакова есть живая душа и безкорыстное желаніе добра». Всѣ остальные «Аксаковы, Самарины и братія противны» Грановскому, «какъ гробы. Отъ нихъ пахнетъ мертвечиною. Ни одной свѣтлой мысли, ни одного благороднаго взгляда. Оппозиція ихъ бесплодна, потому что основана на одномъ отрицаніи всего, что сдѣлано у насъ въ полтора столѣтія новѣйшей исторіи» <sup>172)</sup>.

Да, Бѣлинскій былъ правъ! Только нѣсколько поздно это признаніе посѣтило умы его друзей.

И все-таки онъ — не ослѣпленный фанатикъ и не самообольщенный «учитель жизни». Онъ только не отдѣляетъ лица отъ идеи и всегда готовъ *ради идеи* пощадить *лицо*, а не наоборотъ, какъ это было у его пріятелей. И мы встрѣтимъ Бѣлинскаго въ станѣ словянофиловъ съ рѣчами мира: въ эту минуту мы можемъ твердо быть увѣрены, что во враждебномъ станѣ оказалось нѣчто истинное и благородное, независимо отъ привлекательности самихъ воиновъ.

Предъ нами теперь окончательно выяснились идеальныя запросы Бѣлинскаго къ художественному таланту. Великъ этотъ талантъ, если изображаетъ дѣйствительность во всей ея правдѣ, но существуетъ еще высшая степень величія, когда талантъ *сознательно* живетъ интересами этой дѣйствительности, когда его вдохновеніе совпадаетъ съ его разумомъ, художникъ сливается съ гражданиномъ, поэтъ съ мыслителемъ и столь же непосредственно создаетъ образы, какъ и исповѣдуетъ идеалы.

Только при такихъ условіяхъ невозможны трагическія недоразумѣнія писателя съ самимъ собой, борьба его разсудка съ его геніемъ и достижима общественно-просвѣтительная не умирающая цѣль творчества.

Бѣлинскій убѣдился въ этихъ истинахъ на судьбѣ двухъ даровитѣйшихъ художниковъ русской литературы.

Критикъ съ величайшей любовью раскрылъ всѣ художествен-

<sup>172)</sup> Письмо изъ Москвы къ Кавелину отъ 2 окт. 1856 г. О. с. II, 456—7.

ныя достоинства поэзіи Пушкина, но долженъ былъ признать: «Пушкинъ поэтъ гораздо выше Пушкина мыслителя». Это доказывается отношеніемъ Пушкина къ внѣшнему міру: оно—чисто созерцательное, а не рефлектирующее. Поэту чуются диссонансы и противорѣчія жизни, производятъ даже на него впечатлѣніе страданія, но поэтъ смотритъ на нихъ «съ какимъ-то самоотрицаніемъ, какъ бы признавая ихъ роковую неизбѣжность, и ненося въ душѣ своей идеала лучшей дѣйствительности и вѣры въ возможность ея осуществленія». Въ пушкинской поэзіи нѣтъ духа анализа, нѣтъ страстного, полного вражды и любви мышленія,— всего, что вдохновляетъ поэзію новаго времени. И съ теченіемъ времени отъ пушкинскаго таланта выигрывало искусство и мало пріобрѣтало общество. Можно объяснять эти результаты, но нельзя не признать, что Пушкинъ для нашего времени—слава историческая, и творчество его не стоитъ на уровнѣ съ нашимъ идеальнымъ представленіемъ о художникѣ. Школа Пушкина не можетъ уже произвести великаго поэта. Нельзя также ставить Пушкина рядомъ съ величайшими поэтами Запада.

Такая честь была бы законна, если бы въ нашемъ поэтѣ съ одинаковой глубиной и силой развились творчество и мысль, и если бы его поэзія выросла на почвѣ многовѣковой цивилизаціи.

Именно отсутствіе такой почвы и оправдываетъ во многомъ созерцательныя и примирительныя наклонности пушкинскаго вдохновенія. Бѣлинскій ни на минуту не забываетъ, чего стоитъ русское общество, хотя бы просвѣщенное и на видъ европейски развитое. Въ немъ неизмѣнно существуетъ непроходимая пропасть между жизнью и поэзіей. Личность, одаренная исключительными духовными силами и особенно художественнымъ талантомъ, осуждена на одиночество. Предъ ней одна часть общества спокойно тянетъ день за днемъ въ грязи и пошлости будней, другая—меньшинство—увлекается поэзіей, усиленно старается сблизить ее съ жизнью. Но въ самой дѣйствительности и среди общества нѣтъ никакого сродства съ поэзіей, остается брать ее исключительно изъ книгъ и удовлетворять запросы ума и сердца книжной пищей.

Это—благопріятнѣйшія условія для возникновенія всевозможныхъ Донъ-Кихотовъ мужского и женскаго пола. Идеальныя дѣвы кипятъ въ русской захолустной жизни, идеальныя юноши, можно сказать—неотъемлемое богатство русскаго быта, и на каждомъ шагу геройствуютъ и страдаютъ Донъ-Кихоты любви, науки, литературы, убѣжденій...

Бѣлинскому, очевидно, и здѣсь удастся высказать не все, что накипѣло у него на сердцѣ. Насчетъ Донъ-Кихотовъ убѣжденій онъ, несомнѣнно, распространился бы не меньше, чѣмъ о воспитаніи русскихъ барышень, и по поводу Евгенія Онѣгина набросалъ бы рядъ такихъ же жизненныхъ картинъ, какъ и по поводу Татьяны. Онъ показалъ бы, по личному опыту, что значить проводить въ русскую среду не идеальное чувство любви, а горячую вѣру ума, что значить писать статью, не зная участи каждой строчки еще до появленія въ свѣтъ и разсчитывая только на немногихъ избранныхъ даже послѣ всяческихъ мытарствъ. Но критикъ все это сохранилъ въ сердцѣ своемъ, зато рѣшился превратить Онѣгина въ одну изъ трагическихъ жертвъ русской дѣйствительности.

Эту идею слѣдуетъ признать однимъ изъ внушеній чисто личныхъ впечатлѣній критика, все равно, какъ раньше романтическую реабилитацію Ивана Грознаго. Малѣйшій проблескъ личности, едва уловимый намекъ на страданія ея по винѣ вѣшняго міра, и Бѣлинскій немедленно является во всеоружіи своего краснорѣчія на защиту *человѣка* противъ *стада*.

Онѣгинъ менѣе всего достоинъ благороднаго ратоборства критика, и сама же логика мститъ Бѣлинскому за донъ-кихотство. Онѣгинъ оказывается «эгоистомъ поневолѣ»; «въ его эгоизмѣ должно видѣть то, что древніе называли *fatum*». Но почему же тогда подвергается порицанію Пушкинъ, объясняющій эгоизмъ другой жертвы разочарованія—Алеко—«судьбами», т. е. тѣмъ же *fatum*’омъ?

Этого мало. Онѣгинъ ничего не дѣлаетъ и, очевидно, не способенъ ни къ какому дѣлу. Бѣлинскій не винить его, виновато общество. Оно лишено дѣйствительныхъ потребностей, вызывающихъ сильную личность на дѣло. И посмотрите, до чего договаривается донъ-кихотствующій адвокатъ въ своемъ стремительномъ гнѣвѣ на пошлость массы, адвокатъ одного изъ родныхъ дѣтищъ именно этой массы:

«Что бы сталъ дѣлать Онѣгинъ въ сообществѣ съ такими прекрасными сосѣдями, въ кругу такихъ милыхъ ближнихъ? Облегчить участь мужика, конечно, много значило для мужика, но со стороны Онѣгина тутъ еще немного было сдѣлано. Есть люди, которымъ если удастся что-нибудь сдѣлать порядочное, они съ самодовольствіемъ разсказываютъ объ этомъ всему міру, и такимъ образомъ бываютъ пріятно заняты на цѣлую жизнь. Онѣ-

гинъ же не изъ такихъ людей: важное и великое для многихъ, для него было не Богъ знаетъ чѣмъ».

И безъ поясненій ясно, сколько страннаго и неожиданнаго заключается въ этихъ соображеніяхъ! Облегченіе участи мужика выходило дѣломъ значительнымъ только для мужика! Конечно, не для Онегина; онъ, вѣдь, по словамъ поэта:

Чтобъ только время проводить,

задумалъ «порядокъ новый учредить». Благотворительность отъ скуки — одно изъ пошлѣйшихъ проявленій пошлыхъ существованій, и критикъ беретъ ее подъ свое покровительство. А между тѣмъ, онъ такъ энергически умѣлъ уничтожить «теоретическую нравственность» и героевъ грандіозныхъ плановъ и системъ! Чѣмъ же инымъ могли быть Онегины въ наилучшемъ случаѣ?

Въ той же самой статьѣ объ Онегинѣ Бѣлинскій заявляетъ: «благодатная натура не гибнетъ отъ свѣта вопреки мнѣнію мѣшчанскихъ философовъ». Какъ же могъ погибнуть Онегинъ?

Критикъ имѣлъ законнѣйшее право клеймить пошлость общества, рѣзкими чертами рисовать ея разлагающее вліяніе на отдѣльныхъ личностей, даже утверждать, что «у насъ только гениальность спасаетъ человѣка отъ пошлости», но критику необходимо было осторожнѣе раздавать терновые вѣнки и не увѣнчивать одного изъ расовыхъ выразителей засасывающей стадности и нравственной дряблости. Пушкинъ въ этомъ случаѣ оказывался болѣе мыслителемъ: онъ не скрылъ ни одной изъ мелкихъ чертъ «московскаго Чайльдъ-Гарольда» и заключилъ романъ меньше всего патетическимъ аккордомъ, достойнымъ страдающей одинокой личности...

Увлеченіе Бѣлинскаго Онегинымъ естественно затуманило его взглядъ на Татьяну, и здѣсь онъ забылъ про сосѣдей и близкихъ, т.-е. забылъ вывести смягчающія обстоятельства изъ всей этой пошлости для характера и міросозерцанія Татьяны. Эстетическое тунеядство Онегина можно было оправдать, а великую правду Татьяны о психологіи онегинскаго чувства къ ней пришлось принести въ жертву ея *обществу* воспитанной идеѣ о супружескомъ долгѣ...

Мы знаемъ разгадку этихъ противорѣчій. Когда человѣкъ задыхается, всякая струя болѣе свѣжаго воздуха вызываетъ у него радостный и благодарный откликъ. И мы раньше видѣли, какое чарующее и благотворное дѣйствіе производили на нашего

критика встрѣчи съ рѣзко-очерченными личностями въ жизни или въ литературѣ. Этотъ инстинктъ остался до конца, и даже Онѣгинъ могъ послужить благодарнымъ поводомъ для лишней вылазки противъ «гнусной дѣйствительности».

Этотъ порывъ не помѣшалъ Бѣлинскому дать безсмертную оцѣнку таланта Пушкина и въ исторію русской литературы вписать классическія страницы о классическомъ поэтѣ.

Гоголь вызвалъ у критика несравненно болѣе сильныя чувства. Онъ по природѣ и таланту былъ гораздо доступнѣе Пушкина «субъективности». Онъ это доказалъ многими лирическими «волнами» въ *Мертвыхъ душахъ*, напримѣръ, въ изображеніи судьбы двухъ писателей разнаго направленія.

И что же?

Именно этотъ человѣкъ, на комъ покоились высшія надежды критика, чье творчество было его настоящимъ и будущимъ, кто для его завѣтнѣйшихъ идей создалъ незабвенные образы, этотъ человѣкъ вздумалъ отречься отъ своего дѣла, не понять внушеній своего генія и призваніе общественнаго просвѣтителя смѣшать на роль усыпителя...

## XXXII.

Исторія съ *Перепиской* Гоголя, безспорно, любопытнѣйшій эпизодъ во всей исторіи нашей общественной мысли. Нечего и говорить, до какой степени глубокая психологическая задача—уясненіе его, какъ одного изъ фактовъ чрезвычайно сложнаго нравственнаго міра писателя. Но не менѣе великъ интересъ и внѣшней судьбы *Переписки*. Здѣсь первостепенную роль играетъ нашъ критикъ.

Гоголь поразилъ прежде всего своихъ личныхъ друзей и восторженнѣйшихъ поклонниковъ своего таланта. Въ семьѣ Аксаковыхъ, гдѣ царствовалъ своего рода гоголевскій культъ, переписка вызвала междоусобицу. Отецъ, С. Т. Аксаковъ, не обинуясь объявилъ Гоголя сумасшедшимъ, призналъ его смерть, какъ художника, видѣлъ въ немъ «добычу сатанинской гордости». Аксаковъ шелъ дальше и открывалъ въ умѣпомѣшательствѣ Гоголя «много плутовства», въ общемъ сумашествіе выходило «и жалко, и гадко».

Эти мнѣнія почти тождественны впечатлѣніямъ Бѣлинскаго, вплоть до уликъ Гоголя въ плутовствѣ. Съ отцомъ соглашался Константинъ Аксаковъ и онъ самому Гоголю заявлялъ, что «важныя и еще болѣе важныя письма» «далеко оттолкнули» его, Аксакова, отъ Гоголя, что ученіе его «ложное, лживое». И Аксаковъ не скрывалъ отъ другихъ своего негодованія, всюду разносилъ его по Москвѣ и тоже сообщалъ объ этомъ Гоголю.

За *Переписку* возсталъ Иванъ Аксаковъ и въ теченіе нѣкотораго времени велъ полемику съ отцомъ. Онъ въ письмахъ Гоголя находилъ «идеалъ художника-христіанина», упивался языкомъ, «торжественною важною тишиною» проповѣдей. Отецъ рѣзко останавливалъ восторги сына. Языкъ писемъ называлъ пошлымъ, сухимъ, вялымъ и безжизненнымъ, не могъ «безъ горькаго смѣха» слушать наставленіе Гоголя помѣщикамъ, «безъ отвращенія» его завѣщаніе...

Побѣда осталась на сторонѣ отца, и сынъ вскорѣ усмотрѣлъ въ книгѣ «много лжи и нелѣпицы, много скрытой гордости и самолюбія».

Погодинъ также убѣдился въ «помѣшательствѣ» и «гордости» Гоголя, тѣмъ болѣе, что Гоголь въ той же книгѣ нанесъ Погодину жестокое оскорбленіе, громогласно изобличивъ его въ писательскомъ неряшествѣ, въ легкомысленной торопливости сообщить читателямъ свои незрѣлыя мысли, въ бесплодности его тридцатилѣтней муравьиной работы.

Погодинъ, по его словамъ и по свидѣтельству Шевырева, жестоко «огорчился до глубины сердца» и «горько плакалъ» и затѣмъ написалъ Гоголю:

«Другъ мой, Иисусъ Христосъ учитъ насъ подставлять правую ланиту, получивъ пощечину въ лѣвую, но гдѣ же учить онъ давать публично оплеухи?»

С. Т. Аксаковъ написалъ Гоголю: «я не вѣрилъ глазамъ своимъ, что вы, разставаясь съ міромъ и со всѣми его презрѣнными страстями, позорите, безчестите человѣка, котораго называли другомъ и который точно былъ вамъ другъ, но по своему» <sup>173)</sup>.

Гоголь одумался и сообщилъ Погодину, что онъ напишетъ другую статью *о достоинствѣ сочиненій и литературныхъ трудовъ Погодина*. Но обѣщаніе осталось невыполненнымъ и странный

<sup>173)</sup> О перепискѣ Гоголя рассказано въ *Исторіи моего знакомства съ Гоголемъ*, С. Т. Аксакова. Москва. 1890, стр. 155 etc.



способъ практиковать христіанское смиреніе сохранился въ *Перепискѣ* во всемъ неподражаемомъ блескѣ.

Душевный недугъ, несомнѣнно, дѣйствовалъ здѣсь на первомъ планѣ, но идея о лжи, невѣроятности, не истинности Гоголя не ограничилась впечатлѣніями Сергѣя и Константина Аксаковых<sup>174)</sup>. Грановскій задолго до появленія *Переписки* отмѣтилъ въ Гоголѣ именно тѣ черты, какія возмутили Аксаковыхъ: «многіе претензій, манерности, что-то неестественное во всѣхъ приемахъ»<sup>175)</sup>. Только А. Смирнова осталась непреклонной и своими восторгамъ продолжала растлѣвать недугъ писателя, фактъ, не имѣвшій никакого положительнаго значенія для современнаго общественнаго значенія, но весьма существенный въ судьбѣ Гоголя.

Бѣлинскій могъ быть довольнымъ и вмѣстѣ съ Боткинымъ привѣтствовать существованіе твердаго *направленія* въ русской литературѣ: *Переписка* встрѣчала единогласное осужденіе<sup>176)</sup>. Но критикъ не могъ удовлетвориться столь скромнымъ торжествомъ. «Гнусная книга» взволновала все его существо. Еще никогда такъ мучительно не поднималось противорѣчіе личнаго стремленія и внѣшней возможности выполнить его. И Бѣлинскій именно по этому случаю далъ особенно рѣзкое опредѣленіе своей душевной драмѣ: «природа осудила меня лаять собакою и выть шакаломъ, а обстоятельства велятъ мурлыкать кошкою, вертѣть хвостомъ по лисѣ». Статья, мы знаемъ, не позволила, «зажмуривъ глаза, отдаться негодованію и бѣшенству». Гоголь дорожилъ мнѣніемъ Бѣлинскаго, но, подобно Пушкину, не рѣшался вступить съ нимъ въ открытыя дружескія отношенія. Личныя связи автора *Мертвыхъ душъ* были на сторонѣ барей-славянофиловъ и просто барей: здѣсь не находилось мѣста неистовому плебею.

Но это непреодолимое обстоятельство не мѣшало Гоголю пользоваться услугами Бѣлинскаго по изданію *Мертвыхъ душъ* и пересылать ему «письмецо» по поводу его статьи о *Перепискѣ*.

Со многими мыслями этого «письмеца» согласились бы, навѣрное, даже и тѣ, кого возмущала *Переписка*: Бѣлинскій выходилъ

<sup>174)</sup> Напримѣръ, не лишень интереса отзывъ кн. П. Вяземскаго: «Въ Гоголѣ много истиннаго, но онъ самъ не истиненъ; много натуры, но онъ самъ не натураленъ; много здраваго, добраго, но онъ самъ болѣзненный: былъ таковымъ прежде, таковъ и нынѣ». Барсуковъ. VIII, 558—9.

<sup>175)</sup> Письмо къ Станкевичу отъ 12 февр. 1840 г. О. с. II, 384.

<sup>176)</sup> Письмо Боткина къ Анненкову отъ 23 февр. 1848 г. *Анненковъ и его друзья*. Спб. 1892, стр. 529.

просто «раздраженнымъ» человѣкомъ, по существу неспособнымъ хладнокровно вдуматься въ предметъ своего суда.

Въ отвѣтъ послѣдовало знаменитое письмо Бѣлинскаго.

Онъ жилъ въ это время въ Зальцбруннѣ, бесплодно стараясь возстановить свое въ конецъ разбитое здоровье, и письмо Гоголя упало на нервно-раскаленную почву, и Бѣлинскій далъ волю своему перу, не боясь цензуры и не щадя противника.

Письмо не только одинъ изъ самыхъ яркихъ эпизодовъ въ жизни критика,—оно историческій фактъ для всего русскаго общества. Первый критикъ своего времени возставалъ противъ своего любимѣйшаго писателя, любимѣйшаго какъ «надежды, чести славы своей страны», какъ «одного изъ великихъ вождей ея на пути сознанія, развитія и прогресса», и теперь ненавистнаго, *лично-ненавистнаго*, какъ безумнаго проповѣдника тьмы, неподвижности, и рабства. До сихъ поръ ни въ одной литературѣ нѣтъ примѣра, гдѣ бы человѣкъ и гражданинъ слились въ такомъ подавляющемъ пагубѣ идеи и страсти, гдѣ бы отдѣльная личность съ такой глубиной и мукой пережила общую утрату какъ свое кровное лишеніе.

Бѣлинскій и теперь продолжаетъ именовать Гоголя «великимъ писателемъ», «геніальнымъ человѣкомъ», и тѣмъ воинственно его гнѣвъ на «позорныя строки». Онъ становится безпредѣльнымъ, когда вопросъ касается крѣпостного народа, его свободы и благоденствія. Очевидно, это старая наболѣвшая рана этого рыцарскаго сердца, и малѣйшее прикосновеніе къ ней заставляетъ Бѣлинскаго горѣть молніями гнѣва и презрѣнія.

И въ то же время какая чисто-религіозная вѣра въ свою родину, въ ея будущее, даже въ русскую публику, въ «инстинктъ истины» у русскаго человѣка! Книга Гоголя «позорно провалилась сквозь землю»,—развѣ это не фактъ общественнаго самосознанія? Развѣ это не свидѣтельство «свѣжаго здороваго чутія» у русской публики? Пусть все это будетъ въ зародышѣ, но, несомнѣнно, у такого общества есть будущность.

Бѣлинскій на нѣсколькихъ страницахъ умѣлъ захватить всѣ общественныя отношенія дореформенной Россіи, бросить огненное слово обо всѣхъ назрѣвшихъ вопросахъ современности, и въ общемъ представить, за всѣми этими идеями и страстными рѣчами, свой поразительно-яркій и могучій образъ. Письмо останется незабвеннымъ въ національныхъ преданіяхъ русскаго народа, какъ правдивая страница прошлой дѣйствительности, какъ искренняя испо-

вѣдь жизнедѣятельнаго идеализма, какъ нерукотворный памятникъ одного изъ вѣрнѣйшихъ сыновъ Россіи <sup>177)</sup>.

Гоголь отвѣчалъ Бѣлинскому кратко и смиренно: «Что мнѣ отвѣчать!—писалъ онъ,—Богъ вѣсть, можетъ быть, въ словахъ вашихъ есть часть правды». Здѣсь стояло и превосходное опредѣленіе врага, брошенное съ укоризной, но на самомъ дѣлѣ—почетное и правдиво: «рыцарь прошедшихъ временъ»... Такъ именовалъ Гоголь Бѣлинскаго, оставляя, къ сожалѣнію, неопредѣлимой противоположность этому образу.

Въ бумагахъ Гоголя сохранились клочки другого письма—не посланнаго и разорваннаго. Его позаботились возстановить и оно дѣйствительно гораздо вразумительнѣе перваго посланія. Здѣсь весьма основательно выражался взглядъ на совершеннаго русскаго критика и русскаго обывателя: одинъ долженъ показывать читателямъ красоты въ твореніяхъ писателей, другой—примиряться съ жизнью и благословлять все въ природѣ. Но поучительными тихими рѣчами Гоголь не желалъ ограничиться, ни въ *Перепискѣ*, ни во второмъ томѣ *Мертвыхъ душъ*, ни въ отвѣтѣ Бѣлинскому. Смиренный, всепрощающій христіанинъ вдругъ сталкивался съ покаяннаго пути чрезвычайно надменнымъ и злобнымъ полемистомъ и тогда рядомъ съ вылазками на критиковъ и друзей въ «Перепискѣ», съ памфлетомъ на «рѣзкаго направленія недоучившагося студента», писались такіа увѣщанія:

«Нельзя судить о русскомъ народѣ тому, кто прожилъ вѣкъ въ Петербургѣ, безпрестанно занятый легкими журнальными статейками французскихъ романистовъ».

Или:

«Вспомните, что вы учились кое-какъ, не кончили даже университетскаго курса. Вознаградите это чтеніемъ большихъ сочиненій, а не современныхъ брошюръ, писанныхъ разгоряченнымъ умомъ, совращающимъ съ прямого взгляда» <sup>178)</sup>.

Раздраженіе Гоголя вполне естественно. Ему пришлось защищаться одновременно и отъ «словенистовъ и европеистовъ», какъ на его языкѣ назывались «славянофилы и западники». Всѣ вдругъ впади въ «излишества». Онъ въ началѣ попытался было стать выше партій, объявить спорящія стороны одинаково «карриатурами

<sup>177)</sup> Письмо почти въ полномъ видѣ напечатано въ *Миръ Божій*, май, 1897.

<sup>178)</sup> Перепечатано тамъ же, стр. 614 etc.

на то, чѣмъ хотѣть быть» и училихъ всѣхъ въ незрѣлости и слѣпотѣ.

Такой критическій полетъ не могъ имѣть успѣха: самому Гоголю нечего было сказать зрѣлаго и опредѣленнаго для приведенія партій къ согласію и взаимному пониманію. Онъ достигъ только одного: обидѣлъ «словенистовъ» и не завоевалъ «европейстовъ».

Всѣмъ было ясно, что *Переписка* тяготеетъ къ Востоку, и Боткинъ и Бѣлинскій, не сговариваясь другъ съ другомъ, выразили тождественныя впечатлѣнія. Боткинъ удивлялся, почему славянская партія отказывается отъ Гоголя изъ-за *Переписки*, «сама натолкнувъ его на эту дорогу?» Бѣлинскій писалъ еще энергичнѣе;

«Славянофилы... напрасно на него сердятся. Имъ бы вспомнить пословицу: неча на зеркало пенять, коли рожа крива. Они... трусы, люди не консеквентные, боящіеся крайнихъ выводовъ собственнаго ученія, а онъ человѣкъ храбрый, которому нечего терять»<sup>179</sup>).

Бѣлинскому не въ первый разъ приходилось сталкиваться съ непримиримыми противорѣчіями славянофильскаго толка, и все изъ-за того же Гоголя. Авторъ *Мертвыхъ душъ* не напечаталъ ни строки въ *Отечественныхъ Запискахъ*, водилъ хлѣбъ — соль только съ славянофилами, *Москвитянинъ* былъ его литературнымъ органомъ въ такой же мѣрѣ, какъ и всей славянофильской партіи. И онъ именно среди этой партіи встрѣтилъ необузданные восторги, далеко оставившіе за собой критику Бѣлинскаго.

Чаадаевъ даже всѣ изъяны *Переписки* относилъ не лично къ Гоголю, а къ его московскимъ друзьямъ.

«Тамъ въ Москвѣ,—писалъ Чаадаевъ,—сталъ нуженъ человѣкъ, котораго бы могли поставить на-ряду съ великанами духа человѣческаго, съ Гомеромъ, Дантомъ, Шекспиромъ и выше всѣхъ прочихъ писателей настоящаго и прошлаго времени. Этихъ поклонниковъ я знаю коротко; я ихъ люблю и уважаю; они люди умные, люди хорошіе; но имъ надобно во что бы то ни стало возвысить нашу скромную, богомольную Русь надъ всѣми странами въ мірѣ, имъ непремѣнно надобно себя и другихъ въ томъ увѣрить, что мы призваны быть какими-то наставниками народовъ. Вотъ и нашелся на первый случай такой маленькій настав-

<sup>179</sup>) *Анненковъ и его друзья*, стр. 529. Пыпинъ. II, 271.

никъ; вотъ они и стали ему про это твердить на разные голоса, а онъ имъ повѣрилъ» <sup>180)</sup>.

Положимъ, Гоголю и отъ природы было дано не мало страсти попасть въ положеніе учителя, проповѣдника, вообще руководителя неразумными смертными и онъ еще въ ранней молодости снабжалъ свою семью поученіями и выспренними изрѣченіями. Но Чаадаевъ правъ въ изображеніи славянофильскихъ ухаживаній за Гоголемъ.

Но вѣдь Гоголь, какъ художникъ, представитель натуральной школы. А школа эта—бѣльмо на аристократическихъ глазахъ воспитанныхъ «словенистовъ» и ученыхъ профессоровъ, въ родѣ Юрія Самарина и Шевырева. О Самаринѣ Бѣлинскій выражался, что онъ «не лучше Булгарина по его отношенію къ натуральной школѣ» <sup>181)</sup>, а Шевыревъ во снѣ и на яву видѣлъ свѣтское изящество и эстетику итальянскаго возрожденія, писалъ нарочитыя статьи противъ «западной» школы и находилъ полное сочувствіе у Погодина <sup>182)</sup>. *Москвитянинъ* вообще служилъ приютомъ для всѣхъ враговъ натурального направленія...

И послѣ всего этого—культъ Гоголя!

Бѣлинскій неоднократно указывалъ на это вопіющее недоразумѣніе. Славянофильская критика пыталась выйти изъ затрудненія, приписывая русской натуральной школѣ родство съ французской словесностью и усиливаясь открыть разницу между Гоголемъ и натурализмомъ. Всѣ старанія оставались безплодными и славянофилы бились въ собственныхъ тенѣтахъ <sup>183)</sup>.

Очевидно, что-то неладное происходило одновременно и въ эстетикѣ, и въ политикѣ славянофильскаго лагеря. Обѣ области тѣсно примыкали другъ къ другу въ одномъ вопросѣ, великомъ одинаково и въ искусствѣ, и въ общественной жизни—въ вопросѣ о *народности*.

Отношенія Бѣлинскаго къ славянофильскимъ ученіямъ—последняя глава въ исторіи его духовнаго развитія. Борьба съ принципиальными старыми противниками захватила всѣ многообразные умственные и художественные интересы, какими жилъ Бѣлинскій. Именно здѣсь его мысль и слово вступили въ вождѣлвнную область живой общественной политики, и, слѣдовательно, скорѣе чѣмъ въ

<sup>180)</sup> У Барсукова. VIII, 578.

<sup>181)</sup> Письмо Бѣлинскаго къ Кавелину, *Русская Мысль*, 1892, январь.

<sup>182)</sup> Напримѣръ, въ № 1 1848 года. О Погодинѣ—Барсуковъ. IX, 391.

<sup>183)</sup> *Отвѣтъ Москвитянину*. — *Взглядъ на русскую литературу въ 1847 году*. XI, 227, 246, 328.

другихъ случаяхъ натакивались на «внѣшнюю невозможность». И все-таки Бѣлинскій сумѣлъ написать вполне точное и вразумительное завѣщаніе по важнѣйшимъ вопросамъ современнаго идейнаго движенія и по существу разрѣшить одну изъ сложнѣйшихъ задачъ позднѣйшей русской публицистики.

Эта борьба бросить заключительный свѣтъ на незабвенное дѣло Бѣлинскаго и дорисуетъ намъ окончательно избранный образъ борца за разумъ и правду.

### XXXIII.

Борьба Бѣлинскаго съ славянофильствомъ принадлежитъ къ самымъ спорнымъ и запутаннымъ вопросамъ въ исторіи идейнаго развитія критика. На первый взглядъ вопросъ представляетъ два совершенно непримиримыхъ звѣна: одно—чрезвычайно рѣзкія отрицательныя чувства, другое—вполнѣ благосклонный разборъ славянофильскихъ воззрѣній и даже признаніе славянофильскихъ заслугъ предъ русской общественной мыслью.

Признаніе высказано Бѣлинскимъ незадолго до смерти и, несомнѣнно, съ теченіемъ времени получило бы дальнѣйшее оправданіе и развитіе. Но голосъ критика замолкъ и предъ нами остались, съ одной стороны, ядовитыя нападки на примирительное слабодушіе московскихъ западниковъ, съ другой—похвальная рѣчь въ честь именно той секты, съ какой Бѣлинскій не могъ допустить ни сдѣлокъ, ни уступокъ.

Какъ объяснить этотъ фактъ?

Отвѣтъ можно дать очень простой и не лишенный убѣдительности. Смысла идей у Бѣлинскаго—явленіе обычное. Если шиллеризмъ могъ быть замѣненъ гегельянствомъ, а гегельянство уступило мѣсто неистово-страстнымъ инстинктамъ борьбы, отчего же не повториться подобному приключенію и въ области чисто-партийныхъ счетовъ?

Преданія о томъ, какъ были приняты благосклонные отзывы Бѣлинскаго о славянофилахъ его ближайшими сподвижниками, совпадаютъ съ извѣстіями о впечатлѣніяхъ редакціи *Отечественныхъ Записокъ*, когда въ журналѣ послѣ бородинскихъ статей стали появляться проповѣди въ совершенно другомъ духѣ. Теперь изумляться и огорчаться пришлось издателямъ *Современника*.

Намъ рассказываютъ: «редакція много роптала на статью съ такой странной, небывалой тенденціей въ петербургско-западни-

ческой печати и которой она должна была открыть свой новый органъ гласности» <sup>184)</sup>.

И, несомнѣнно, будь на мѣстѣ Бѣлинскаго другой критикъ, ни Краевскій, ни Панаевъ съ Некрасовымъ, не потерпѣли бы такого разочарованія. Вся программа *Современника*, только что приобретеннаго у Плетнева, сосредоточивалась на двухъ задачахъ — на защитѣ новой литературы обличенія и на борьбѣ съ славянофильскою партіей. И вдругъ, руководящая статья отводитъ славянофиламъ почетное мѣсто среди просвѣтителей русскаго общества!

Это впечатлѣніе головокружительнаго прыжка осталось и позже, Бѣлинскій вписалъ въ свою біографію лишній эпизодъ, по обыкновенію блестящій искренностью, но не свидѣтельствующій о послѣдовательности и вдумчивости ума. Были даже попытки объяснить новое приключеніе новыми внѣшними вліяніями, именно разсужденіями молодого критика Валерьяна Майкова, занявшаго мѣсто Бѣлинскаго въ *Отечественныхъ Запискахъ* <sup>185)</sup>.

Самъ Бѣлинскій личными признаніями давалъ поводъ смотрѣть на свои чувства къ славянофиламъ, какъ на неожиданную новость. Ему приходится наталкиваться на дѣльные мысли въ славянофильскихъ статьяхъ, напримѣръ, въ статьѣ Юрія Самарина о *Тарантасѣ* гр. Соллогуба: Бѣлинскому понравилась казнь, совершенная критикомъ надъ аристократическими замашками беллетриста и онъ прибавляетъ:

«Это убѣдило меня, что можно быть умнымъ, даровитымъ и дѣльнымъ человѣкомъ, будучи славянофиломъ».

По поводу встрѣчи съ Иваномъ Аксаковымъ тѣ же настроенія и съ очень краснорѣчивой оговоркой: «Я впадаю въ страшную ересь и начинаю думать, что между славянофилами дѣйствительно могутъ быть порядочные люди. Грустно мнѣ думать такъ, но истина впереди всего!» <sup>186)</sup>.

Точный смыслъ этихъ словъ тотъ же, какой заключался и въ проклятіяхъ Бѣлинскаго на гегельянство и въ провозглашеніи своего революціоннаго перехода въ другое вѣроисповѣданіе... Но мы могли убѣдиться, сколько страстнаго моментнаго увлеченія было въ крѣпкихъ рѣчахъ критика, какая неразрывная органи-

<sup>184)</sup> Анненковъ. *Воспомин. и критич. очерки*. III, 149.

<sup>185)</sup> Скабичевскій. *Сорокъ лѣтъ русской критики*. Сочиненія. Спб. 1890. I, 473.

<sup>186)</sup> Письма изъ поѣздки Бѣлинскаго въ Крымъ, лѣтомъ 1846 года. Письма II, 261—2.

ческая связь проходила по его, будто бы, непримиримымъ идейнымъ увлеченіямъ, сколько задатковъ борьбы съ «гнусной дѣйствительностью» таилось подъ потокомъ стремительныхъ пѣснопѣній въ честь этой самой дѣйствительности.

Мы раньше должны были ограничить безусловно-историческое значеніе заявленій Бѣлинскаго о пережитыхъ имъ нравственныхъ опытахъ и, въ разрѣзъ съ его свидѣтельствами, ввести въ богѣтѣсныя предѣлы незаслуженно прославленные вліянія его товарищей на его умъ и міросозерцаніе. Подобная задача предстоитъ намъ и въ исторіи славянофильскихъ преобразованій Бѣлинскаго.

Прежде всего, въ высшей степени оригинально положеніе самого предмета, вызвавшего столь, повидимому, противорѣчивыя чувства у нашего критика. Въ ряду всевозможныхъ чисто философскихъ и общественныхъ системъ Запада и Россіи трудно указать школу или направленіе, создавшее и навсегда оставившее за собой столь смутныя впечатлѣнія, какъ славянофильство. Можно подумать, друзья и враги судили не о новой вполне исторической и вполне откровенной партіи, а о какихъ-то темныхъ отрывкахъ темнаго преданія. До такой степени разнымъ умамъ различно представлялись достоинства и самыя существенныя стороны славянофильскаго толка! Онъ, въ лицѣ своихъ краснорѣчивѣйшихъ представителей, завѣщалъ потомству цѣлую бібліотеку откровеній по всѣмъ вопросамъ нравственности и общежитія, начиная съ религіи и кончая экономической политикой. И въ результатѣ, роковой туманъ до сихъ поръ не разсѣянъ и позднѣйшимъ витязямъ школы все еще приходилось едва ли не по всякому случаю начинать рѣчь съ самаго корня и вести ее въ тонѣ учителя, безпомощно изнывающего надъ объясненіемъ трудной теоремы предъ неподготовленной и скептической аудиторіей.

Именно въ этой роли оказался Иванъ Аксаковъ, послѣдній столпъ и хранитель вѣры. Появилась статья *въ защиту* славянофильства. Авторъ, повидимому, совершенно искренне выполнялъ свой трудъ, ожесточенно нападалъ на недомыслие и злоумышленія западниковъ, рисовалъ привлекательные, отчасти даже величественные, хотя и архаическіе образы славянофиловъ-патріотовъ, въ родѣ новаго отца церкви Хомякова, «ветхопещерника» Петра Кирѣевскаго, благороднаго идеалиста Константина Аксакова, устанавливалъ чрезвычайно лестную противоположность славянофиловъ и западниковъ: одни представляли идею общественной самодѣя-



тельности, другіе ожидали всѣхъ благъ отъ просвѣщенной правительственной власти <sup>187)</sup>).

Казалось бы, все благополучно, по крайней мѣрѣ въ общемъ, и личная нравственность, и общественная политика славянофиловъ поставлены на исключительную высоту, и притомъ публицистомъ, «слишкомъ долго» принадлежавшимъ къ «славянофильской дружинѣ».

Такъ поспѣшилъ заявить Иванъ Аксаковъ, и отнюдь не въ похвалу, а съ цѣлью съ особенной ядовитостью подчеркнуть преднамѣренныя извращенія автора.

Оказывалось, онъ почти ничего не понялъ въ славянофильскомъ ученіи, или умышленно перетолковалъ. По объясненію Аксакова, основная славянофильская идея—*народность*. «Около этого термина, какъ около центра,—говоритъ онъ,—группировалась вся борьба и ожесточенно ломались копья въ теченіе чуть не двадцати лѣтъ». Авторъ статьи ни разу даже не употребилъ этого термина. Народность славянофилы возвели на степень «философскаго принципа», устами Хомякова признали ее «необходимымъ орудіемъ истиннаго просвѣщенія». Дальше, «основное начало русской народности» славянофилы видѣли въ православіи и находили въ немъ «иныя просвѣтительныя начала, начала высшей цивилизаціи, чѣмъ тѣ, которыми жила и которыя уже почти изжила Западная Европа».

Эта идея развивалась до крайняго предѣла и приводила къ выводу, что сама русская народность получала смыслъ «просвѣтительнаго органа» только въ зависимости отъ проникновенія духомъ православія.

Слѣдовательно, славянофильскіе философы являлись сначала церковными и религіозными наставниками, а потомъ уже философами и публицистами, на первомъ планѣ—община вѣрующихъ, а потомъ—гражданское общество. Толкованіе вполне опредѣленное, и вотъ до него-то не додумался защитникъ славянофильства, не смотря на свои многолѣтнія связи съ его дружиной. За эту слѣпоту или злой умыселъ онъ подвергся тяжкому обвиненію въ недобросовѣстности <sup>188)</sup>.

Но, при всей энергіи и торжествующей надменности тона Аксакова, вопросъ оставался все-таки неразрѣшеннымъ. Повторять

<sup>187)</sup> *Русскій Архивъ* 1873 года, *Славянофилы. Историко-критическій очеркъ* Э. Мамонова, стр. 2493 etc.

<sup>188)</sup> *Письмо Аксакова, тамъ же, стр. 2508 etc.*

тысячи разъ можно какіе угодно термины, не возбраняется и совершать съ ними всяческія комбинаціи, но достоинство дѣла требуетъ не диктаторскихъ возгласовъ, а спокойныхъ, вразумительныхъ объясненій, не таинственныхъ формулъ, а послѣдовательнаго и доказательнаго анализа—и терминовъ, и ихъ сочетаній.

Хомяковъ, по выраженію издателя его богословскихъ сочиненій, «жилъ въ церкви» и всю жизнь пребывалъ вѣрнымъ сыномъ православія,—эта ссылка Аксакова убѣдительна только для личной характеристики Хомякова, какъ человѣка религіознаго. Другіе славянофилы не были одарены такой искренностью, и тѣмъ не менѣе, горячо исповѣдывали догматъ народности. Какая же *необходимая* связь между религіозными чувствами и общественными идеями славянофиловъ? Какимъ путемъ *народность* могла быть создана извѣстнымъ *выроиспавданіемъ* и почему именно русскую народность создало православіе, а не греческую или иную, принявшую ту же церковь? Не унижаетъ ли это представленіе *національной* сущности русскаго племени, не отрицаетъ ли оно у этого племени самобытной духовной организаціи, свойственной каждому народу, независимо отъ извнѣ воспринятой религіи?

Для ясности вопроса можно провести яркую историческую параллель. Католичество когда-то владѣло всѣми народами западной Европы и одинаково властно тяготѣло надъ ихъ нравственной и матеріальной жизнью. Реформація освободила отъ этого господства германскія націи и только частью коснулась романскихъ, и то не всѣхъ. Какъ объяснить этотъ фактъ? Одно изъ нагляднѣйшихъ объясненій—болѣе глубокіе и самостоятельные національные инстинкты германской расы. Именно эта сила, независимая отъ историческихъ условій, вызвала протестъ противъ римской церкви, ея догматовъ и ея іерархіи. А между тѣмъ, въ глазахъ Рима средневѣковая Германія и душой, и тѣломъ сливалась съ лономъ католичества и была немыслима безъ благословеній папы.

Не приближались ли славянофилы къ такому же средневѣковому воззрѣнію, усиливаясь отождествить два совершенно различныхъ явленія и рискуя поставить себя въ очень ложное положеніе—искусственно устанавливая связь своего культурнаго нравственнаго міра съ непосредственными вѣрованіями и обычаями народа?

Въ дѣйствительности, по крайней мѣрѣ, широковѣщательный догматъ влекъ къ менѣе всего почтеннымъ фактамъ. Они одновременно напоминали и о темнотѣ совсѣмъ недобраго стараго времени, и о живой политикѣ апостоловъ новой культурной вѣры.

Чистота намѣреній и личностей нѣкоторыхъ московскихъ славянофиловъ безпрестанно омрачались или фанатическими идеями, или мелочными и недостойными поступками. Отсюда противорѣчивыя впечатлѣнія, какія славянофильская среда производила на умѣреннѣйшихъ западниковъ. Мы слышали отъ Грановскаго самыя пестрые отзывы о братьяхъ Кирѣевскихъ. Гуманному и образцово-терпимому профессору приходилось прибѣгать къ оговоркамъ и смягченіямъ, обращаться къ чувствительности своихъ друзей, рисовать симпатичныя фигуры рядомъ съ отталкивающими идеями. То же самое бремя лежало и на Герценѣ, близкомъ пріятелѣ Константина Аксакова.

Самый мирный западникъ Боткинъ, равнодушный къ глубокимъ пріятельскимъ чувствамъ, предпочиталъ иронію и судилъ безъ всякихъ ограниченій и вполне трезво межеумочное положеніе славянофиловъ.

«Оторванные своимъ воспитаніемъ,—писалъ онъ,—отъ нравовъ и обычаевъ народа, они дѣлаютъ надъ собою насиліе, чтобъ приблизиться къ нимъ, хотятъ слиться съ народомъ искусственно». И дальше слѣдуютъ иллюстраціи.

Въ семьѣ Аксаковыхъ не ѣдятъ телятины, ходятъ къ обѣднѣ и ко всенощной, наряжаются въ русское платье, въ мурмолку, преслѣдуютъ жестокими укоризнами молодыхъ людей, посѣщающихъ театр по субботамъ, Иванъ Кирѣевскій возмущается шуточными письмами Соловьева на славянскомъ языкѣ, потому что это языкъ св. писанія <sup>189)</sup>.

Много лѣтъ спустя столь же умѣренный западникъ вознамѣрился отдать отчетъ о славянофильскомъ движеніи и во главѣ своихъ статей заявилъ о тѣхъ же противорѣчіяхъ, распространенныхъ среди «большинства». Оно представляетъ славянофильство «странной смѣсью глубокихъ мыслей, взглядовъ и стремленій съ смѣшными причудами, съ бросающимися въ глаза негѣпостями, глубокой вѣры съ святошествомъ и суевѣріями, требованій свободы гражданской и общественной съ національнымъ наувѣрствомъ и грубымъ посягательствомъ на несомнѣнныя права, вѣротерпимости съ релягиознымъ фанатизмомъ, просвѣтительныхъ и прогрессивныхъ идей съ обскурантизмомъ и реакціонерными замашками. Гдѣ же и въ чемъ правда? Откуда могли взяться такіа вопіющія противорѣчія въ одномъ и томъ же ученіи?» <sup>190)</sup>.

<sup>189)</sup> Письмо къ Анненкову. *Анненковъ и его друзья*, стр. 539.

<sup>190)</sup> Кавелинъ. *Московскіе славянофилы сороковыхъ годовъ. Сѣверный Вѣстникъ*. 1878 г., № 20.

Благосклонный авторъ не даетъ опредѣленнаго отвѣта. Онъ ограничивается самоотверженнымъ выясненіемъ положительныхъ завоеваній славянофильской мысли, усиленно настаиваетъ на ея просвѣщенности и культурности... Но и ему приходится ввести въ свои хвалы нѣкоторый диссонансъ. Славянофильство, по его словамъ, «не имѣло почти ничего общаго съ фанатиками, обскурантами, квасными патриотами и дикими людьми, готовыми видѣть въ насиліи и кулакѣ оригинальное возрожденіе русскаго народнаго духа».

Еще бы! Общее съ дикими людьми! И все-таки потребовалось словечко «почти»,—значить не совсѣмъ безгрѣшно славянофильство даже въ такихъ недугахъ, какъ фанатизмъ и патристическое упомяшательство.

Да, не совсѣмъ, и источникъ противорѣчій, думается намъ, вполне ясенъ. Онъ заключается въ средневѣковой основѣ славянофильскаго религіозно-культурнаго принципа.

Славянофилы слили въ одно понятіе народность и вѣру русскаго народа и даже народность поставили въ зависимость отъ *простонародной* вѣры. Хомяковъ могъ чрезвычайно тонко и просвѣщенно разсуждать о свободѣ личной совѣсти, о заслугахъ «дѣятельности разума человѣческаго», доходить даже до идеи о вредности «понятія государственной религіи» и подвергать теодосія Великаго критикѣ за то, что тотъ объявилъ христіанство господствующей религіей имперіи... Все это при блестящемъ диалектическомъ талантѣ и обширныхъ знаніяхъ писателя, представляло поучительное зрѣлище. Но оно врядъ ли совпадало съ тѣмъ православіемъ, какимъ жилъ и живетъ русскій народъ и врядъ ли служило интересамъ той церкви, гдѣ, по мнѣнію Аксакова, всю жизнь пребывалъ богословъ-любитель.

Для практическихъ цѣлей приходилось пользоваться другой, реальной системой, дѣйствительно народною. Отсюда исторіи, сообщаемыя Боткинымъ и тѣ черты вѣры, какія подвергали просвѣщенныхъ славянофиловъ укоризнамъ въ святостествѣ и обскурантизмѣ. Гоголь это теченіе довелъ до ослѣпительной яркости и западники справедливо изумлялись, почему славянофилы отказываются признать родство съ ближайшимъ своимъ идейнымъ родичемъ.

Совершенно естественны и другія странности славянофильскаго толка, вплоть до мнимо-національнаго костюма Константина Аксакова, Погодина, Шевырева. Славянофилы, выставивши на своемъ

знамени великую и истинно-культурную идею *народности*, практически нашли ей чрезвычайно простое и даже первобытное объяснение. Вместо того, чтобы в русской истории и в русском бытѣ тщательно выдѣлать положительные задатки національнаго нравственнаго и политическаго развитія, они оказались не прочь воспользоваться первымъ попавшимся сырымъ матеріаломъ и пустить его въ оборотъ подѣ флагомъ непогрѣшимаго философскаго принципа.

Въ результатѣ — выспренѣйшій идеализмъ переходилъ въ грубѣйшія чисто эмпирическія внѣшнія формы, самостоятельное строгое мысленіе уступало мѣсто такой же скоропалительной и легкомысленной подражательности, какою страдали безтолковые обожатели Запада. Мѣнялся только внушитель модѣ, рѣчей и настроеній, вмѣсто Парижа — великорусская деревня, притомъ даже не въ ея непосредственномъ современномъ видѣ, а деревня, созданная искусственно путемъ любительскихъ кабинетныхъ упражненій надъ понятіями русскаго мужика и русской народности.

И Константинъ Аксаковъ легко могъ додуматься до національнаго наряда, въ которомъ русскій народъ принималъ его за персіянина. Подобныя недоразумѣнія безпрестанно разрушали гармонію славянофильскихъ ученій въ несравненно болѣе важныхъ случаяхъ.

Единственной неотъемлемой заслугой нѣкоторыхъ славянофиловъ былъ и остался самый источникъ ихъ воззрѣній, первопричина ихъ безпокоительства и критики.

#### XXXIV.

Откуда пошло славянофильство — вопросъ, безчисленное число разъ рѣшавшійся современниками и потомствомъ и получавшій далеко не всегда тождественные отвѣты. Славянофильская теорія сложилась поздно и подѣ сильнѣйшимъ давленіемъ германской философіи. Мы указывали, чему могли русскіе націоналисты научиться у Фихте и видѣли у молодыхъ философовъ двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ краснорѣчивые отголоски чужой культурной мысли, приспособленной къ отечественной почвѣ.

Но отвлеченному, философскому воззрѣнію предшествовало чувство, органическій протестъ извѣстнаго душевнаго склада противъ явленій, ему по природѣ ненавистныхъ или непонятныхъ.

Герценъ вполне правильно понималъ эту стихійную основу славянофильства. «Славянизмъ, или руссизмъ, — пишетъ онъ, — не какъ

теорія, не какъ ученіе, а какъ оскорбленное народное чувство, какъ темное воспоминаніе и вѣрный инстинктъ, какъ противо-дѣйствіе исключительно иностранному вліянію, существовалъ со времени обрѣтія первой бороды Петромъ I» <sup>191)</sup>).

И дальше Герценъ слѣдитъ за ходомъ славянофильскихъ настроеній въ зависимости отъ судебъ русской правительственной власти. По нашему мнѣнію, это путь ложный и односторонній. Для развитія русскаго національнаго чувства тѣ или другія увлеченія Петра II или Петра III имѣли второстепенное значеніе. Это чувство питалось самой исторіей русскаго просвѣщенія, — все равно, сидѣла ли на престолахъ энциклопедистка Екатерина II или пруссо-филь—Петръ III. Высшее общество, при всевозможныхъ перемѣнахъ въ высшемъ правительствѣ, продолжало оставаться покорнымъ данникомъ иноземной образованности и парижскихъ модъ. Это данничество и служило неисчерпаемымъ источникомъ обиды и протеста для всѣхъ, кому по натурѣ или по разуму казалось зазорнымъ самозакланіе русскаго національнаго духа на алтарѣ чужебсїа.

Нѣтъ никакихъ основаній открывать славянофиловъ въ лицѣ Екатерины и Елизаветы, и только развѣ въ интересахъ остроумія «бѣлое и черное духовенство», можно причислить къ тому же толку. Оно, по обязанностямъ службы, конечно не могло одобрять иноземныхъ новшествъ, но отъ этого официальнаго долга до прирожденнаго или принципиальнаго отвращенія ко всему европейскому—цѣлая пропасть. Герценъ правъ въ одномъ: славянофильство—инстинктъ, невольный крикъ оскорбленнаго чувства, но источника богѣзненныхъ ощущеній слѣдуетъ искать не въ партійныхъ или сословныхъ стремленіяхъ, а въ самой природѣ русскихъ людей, осужденныхъ завоевывать себѣ мѣсто на сценѣ мировой цивилизаціи совершенно исключительными путями.

Безпощадныя мѣры, какими Петръ приспособлялъ Россію къ Европѣ, должны были неминуемо вызвать хотя бы страдательное сопротивленіе, и патриоты, горой стоявшіе за свои бороды и величавую длиннополюю одежду, являлись прообразомъ позднѣйшихъ подвижниковъ муромки и терлика. Но это только изнанка историческаго явленія. Лицевая сторона его представлялась не раскольниками, не стрѣльцами, не партіей царевича Алексѣя или князей Долгорукихъ, а передовыми дѣятелями науки и литера-

<sup>191)</sup> Сочиненія. Женева 1879. VII, 269.

туры. Первымъ славянофиломъ по справедливости долженъ быть признанъ Ломоносовъ, не имѣвшій ничего общаго ни съ московскимъ изуверствомъ, ни съ аристократическимъ и стрѣleckимъ бунтарствомъ. Именно онъ занялъ мѣсто Петра въ дѣлѣ просвѣщенія Россіи и онъ же рѣзко и опредѣленно заявилъ себя борцомъ за русскую народность.

Мы знаемъ, Ломоносовъ жаловался академіи на нѣмца Миллера за то, что нѣмецъ-историкъ относится непочтительно и неблагоклонно къ «россійскимъ жителямъ», унижаетъ ихъ даже предъ чувашами, за то что онъ на нѣмецкомъ языкѣ рассказываетъ иностранцамъ смутныя времена, т. е. «самую мрачную часть російской исторіи», и даетъ иностраннымъ народамъ поводъ «худыя выводить слѣдствія о нашей славѣ»... Съ этой минуты славянофильство могло вести свое лѣтоисчисленіе.

Ломоносовъ шелъ очень далеко въ своей рыцарской защитѣ русской славы. Онъ готовъ былъ запретить ученое изслѣдованіе цѣлыхъ эпохъ и преслѣдовать до пота лица «завозливыхъ рѣчи» въ книгахъ иностранцевъ о Россіи. И великій ученый не оставался одинокимъ на своемъ пути.

Славянофильское теченіе захватывало и менѣе сильныхъ и отважныхъ современниковъ Ломоносова. Его восторги предъ исключительными достоинствами русскаго языка раздѣляли Сумароковъ, не чуждъ и Тредьяковскій народной гордости и даже художественнаго чутія къ красотамъ народной поэзіи.

И дальше, съ каждымъ десятилѣтіемъ, эти чувства росли и углублялись. При Екатеринѣ явились уже настоящіе французобды, въ родѣ Фонвизина, поднимавшіе бичъ съ одинаковой страстью и на Иванушекъ, и на самого Вольтера. У сатирика европейское просвѣщеніе трудно отличить отъ глупости русскихъ недорослей и «нынѣшніе мудрецы», безъ всякихъ оговорокъ, обзываются искоренителями добродѣтели. Вообще протестъ противъ уродливаго европеизма, насмѣшки надъ нижегородскими парижанами очень рано стали переходить въ злобное чувство вообще на западныхъ вліянія и въ идеализацію почвы и старины. Высшее русское общество усерднѣйше питало оскорбленныя чувства соотечественниковъ и просто по закону контраста—противъ великосвѣтскихъ подданныхъ французской короны, утратившихъ вмѣстѣ съ роднымъ языкомъ и національнымъ платьемъ русскую душу, возставаъ образъ непросвѣщеннаго, невзрачнаго но искренняго и естественно-мощнаго человѣка изъ народа. «Православный му-

жичекъ» своей простотой и загадочнымъ богатствомъ своего нравственнаго міра рисовался воображенію патріотовъ будто романтический герой, въ сильной степени разукрашенный чисто литературскимъ искусствомъ и тоскливымъ жаднымъ настроеніемъ празднаго любителя рѣдкостей и пикантностей.

Деревня для старыхъ русскихъ благородныхъ гражданъ являлась своего рода экзотическимъ міромъ, царствомъ «въ чистомъ воздухѣ и посреди поля». Именно такъ выражается одинъ изъ екатерининскихъ поэтовъ—Львовъ, тосковавшій о русскомъ духѣ, о чисто русской одеждѣ и «поступкахъ». Эта идиллическая струя не исчезнетъ въ славянофильскомъ міросозерцаніи и барственно-чувствительныя изліянія по адресу интереснаго незнакомца въ армякѣ и курной избѣ безпрестанно будутъ прорываться у славянофильскихъ мыслителей сквозь философію и публицистику. Аристократическій элементъ—одна изъ оригинальнѣйшихъ чертъ славянофильскаго направленія и его не слѣдуетъ забывать рядомъ съ ломоносовскимъ патріотическимъ негодованіемъ на униженіе русской славы и русской добродѣтели.

Въ литературѣ всѣ эти черты нашли въ высшей степени яркое выраженіе. За нѣсколько десятилѣтій до появленія самого понятія *славянофильство* другъ противъ друга стояли два совершенно разнородныхъ родоначальника партіи—Крыловъ и Карамзинъ. У одного—идея народности, руссизма—естественное прирожденное чувство, у другого—плодъ салонной и беллетристической прихоти. Одинъ ополчается на иноземцевъ и воспѣваетъ русскую сметку и почвенный здравый смыслъ въ ущербъ хитрымъ наукамъ, потому что онъ самъ всѣми силами души связанъ съ этой почвой и съ міросозерцаніемъ людей, живущихъ цѣлые вѣка сметкой и нутромъ. Другой сладостно щебечетъ стихотворенія въ прозѣ о добродѣтельномъ земледѣльцѣ, потому что—этотъ земледѣлецъ для него то же самое, что черный хлѣбъ для барченка пресыщеннаго пирожнымъ. Но и Карамзинъ также попадетъ въ списокъ подлинныхъ славянофиловъ и Бѣлинскій именно его историческую идею о превосходствѣ Ивана III надъ Петромъ будетъ считать источникомъ славянофильства.

Въ результатѣ первичные задатки направленія сложились изъ чувствъ и стремленій въ высшей степени различныхъ,—до такой степени, что впоследствии искренніе почвенники и руссофилы найдутъ возможнымъ даже презирать славянофиловъ, какъ партію. Это люди ломоносовскаго и крыловскаго закала, не ищущіе пред-



намѣренно въ мужикѣ своего рода «естественнаго человѣка». Блестящіе примѣры—Гоголь и особенно Писемскій.

Авторъ *Переписки* задался цѣлью стать выше партій и подвергъ одинаковому осужденію славянистовъ и европейстовъ, признавъ и тѣхъ и другихъ карриатурами на то, чѣмъ занятъ былъ, у славянистовъ даже открылъ «больше кичливости» и «строптиваго хвастовства». И, несомнѣнно, Гоголь не былъ славянофиломъ въ смыслѣ Аксаковыхъ, Кирѣевскихъ и Хомякова, т. е. у него не было особой доктрины—литературнаго и философскаго содержанія, а простой инстинктъ человѣка, по природѣ мало доступнаго соблазнамъ европейской культуры и по обстоятельствамъ почти совсѣмъ не вкусившаго ихъ.

То же самое Писемскій.

Онъ еще энергичнѣе насмѣялся надъ славянофилами и отвергъ у нихъ даже знаніе и пониманіе народа, огульно обозвалъ баррами, мечтающими о пейзажикахъ. А между тѣмъ, тотъ же Писемскій не пощадилъ и европейскаго просвѣщенія, страдалъ даже «органическимъ отвращеніемъ къ иностранцамъ» и ощущалъ болезненный трепетъ негодованія при одной мысли о чуждыхъ влияніяхъ и заимствованныхъ идеяхъ.

Выводъ ясенъ. Славянофильство, какъ система возрѣній, далеко не совпадаетъ съ руссофильскимъ національнымъ теченіемъ, проходящимъ чрезъ всю нашу литературу. Съ другой стороны—независимость и сила «русскаго духа», оригинальность русскаго народа весьма часто и чрезвычайно горячо защищали писатели, отнюдь не желавшіе заключать своихъ вѣрованій въ формулы и взрывы чувствъ превращать въ идеологию.

При такихъ условіяхъ невольно возникаетъ вопросъ: зачѣмъ появилось славянофильство, какъ особая воинствующая партія въ то время, когда на стражѣ русской національности стояла вся русская сатирическая литература, когда величайшіе поэты Россіи—Грибоѣдовъ, Пушкинъ, Гоголь—воплощали въ себѣ самихъ русскаго человѣка, во всей глубинѣ и силѣ его національныхъ инстинктовъ и его естественнаго противоборства европейскому культурному поработченію? Чтѣ новаго могли прибавить славянофилы къ русской отрицательной критикѣ, непрерывно раздававшейся противъ европеизма отъ сатиръ Кантемира до *Горе отъ ума*? И особенно въ сороковые годы, когда, независимо отъ партійной борьбы, русская литература окончательно сбросила съ себя иноземное иго и это движеніе восторженно привѣтствовалось даровитѣйшимъ критикомъ—западникомъ.

Очевидно, разрушать славянофиламъ было нечего. Ниже мы увидимъ, — у самого Бѣлинскаго давно былъ накопленъ обильнѣйшій запасъ идей о народности и національности, гораздо раньше его столкновенія съ славянофилами. Если бы славянофильство этими идеями ограничило свои задачи, Бѣлинскому не пришлось бы пламенѣть на него гнѣвомъ, а потомъ впадать въ покаянный тонъ и сознаться въ перемѣнѣ мыслей.

Но сущность явленія заключалась въ притязаніяхъ славянофиловъ на всестороннюю положительную истину. Они не желали ограничиться критикой и совершенно естественно: тогда они не имѣли бы никакой своеобразной окраски и у нихъ не было бы даже права на самостоятельное существованіе въ формѣ философской или общественной партіи. Ни Крылову, ни Грибоѣдову, ни Гоголю никогда и на умъ не пришло бы вооружаться нарочитымъ теоретическимъ знаменемъ. На вопросъ объ убѣжденіяхъ они просто отвѣтили бы: мы—русскіе люди, настоящіе русскіе, и поэтому осмѣиваемъ и ненавидимъ петиметровъ, парижанъ изъ Нижегородской губерніи и всякаго сорта обезьянъ и попугаевъ. Развѣ для этого надо принадлежать къ какой-либо партіи и изобрѣтать особую систему принциповъ и воззрѣній? Достаточно родиться въ Россіи и принадлежать ей.

Такъ сказали бы люди непосредственнаго чувства, искренно и просто воспринятой жизни. Но всѣ они или не знали, или не хотѣли знать о настоящей необходимости чувства и воспріятія подчинять діалектически развивающейся идеѣ. Они были славянофилами безсознательно, все равно, какъ миллионы людей говорятъ прозой, не подозревая самаго понятія *проза*. Явилась германская философія, стройныя и величественныя теоріи, и оказалось несвоевременнымъ мыслить не по системѣ и говорить не по схемѣ. На Западѣ національное движеніе немедленно было вложено въ строгія, извнѣ даже научныя формулы. Нѣмецкій бюргеръ ненавидѣлъ Бонапарта и французовъ просто потому, что они были Бонапартъ и французы, а онъ нѣмецкій бюргеръ, тѣ побѣдители, а онъ побѣжденный. Для философа этотъ фактъ означалъ: на мировую сцену является новая общечеловѣческая культурная сила, она подчинитъ себѣ всѣ другія націи и на землѣ воцарится германскій духъ, какъ сила самодовлѣющая и всеобъемлющая. Германія, слѣдовательно, борется съ французскимъ завоевателемъ не за свою національную и политическую свободу, а за всемірное торжество германской идеи.

Но нѣмцы играли въ сущности второстепенную роль въ поря-

женіи апокалипсическаго звѣря. Драгоцѣннѣйшія жертвы и величайшая слава выпала на долю Россіи. Ея государь сталъ на небывалую высоту въ глазахъ всей Европы и свидѣтели всѣхъ политическихъ партій единодушно признавали провиденціальное назначеніе Александра I. Г-жа Сталь объявляла русскаго императора «чудомъ Провидѣнія», воздвигнутымъ для спасенія свободы. Современные мистики спѣшили внушить Александру непоколебимую вѣру въ его сверхъестественное міровое призваніе. Въ блескѣ славы дѣла совершенно исчезали и дѣла его союзниковъ.

Было бы невѣроятно, если бы чувства русскаго общества не отвѣчали этому настроенію и если бы они не приняли того самаго направленія, какое было подсказано нѣмцамъ ихъ національной борьбой. У русскихъ, наоборотъ, оказывалось несравненно больше основаній гордиться ролью своей страны въ умиротвореніи Европы, чѣмъ у всѣхъ другихъ народовъ Европы. И германская идея о предстоящемъ завоеваніи міра германскими началами неминуемо вызвала къ жизни славянскую идею съ соотвѣтствующимъ полетомъ.

Исходный моментъ вполне понятный и даже законный, если ограничиться событіями и настроеніями дня. Но дальше вопросъ мѣнялся.

Германскіе мечтатели, въ порывѣ національнаго опьяненія, могли впасть въ своего рода психическій недугъ, извлекать изъ средневѣковаго архива кунсткамеру идей и предметовъ, вплоть до внѣшнихъ украшеній, устраивать вальпургіевы ночи съ національными декораціями и патріотическими безумствами, но все это не уничтожало весьма цѣннаго культурнаго капитала, завѣщаннаго Германіи ея стариной. Страна, создавшая въ прошломъ реформацію, Лютера и Гуттена, могла смѣло помѣряться съ какимъ угодно народомъ достоинствомъ своихъ преданій и силой своей народной стихіи. Оргіи и маскарады буршей были жалки и смѣшны, но никакой смѣхъ и никакое юношеское легкомысліе не могли подлинной исторіи превратить въ сказку и великихъ героев мысли и воли низвести до уровня забавныхъ лицедѣевъ.

Въ Россіи вступили на тотъ же путь, но чѣмъ, какими свѣточами мысли предстояло освѣтить его? Какія имена изъ далекаго, забытаго прошлаго можно было выдвинуть, какъ надежду и залогъ исключительнаго призванія русскаго народа на пути міровой цивилизаціи? Какія жизненные нравственные силы старины можно было принять за источникъ вдохновенія въ настоящемъ, за твердую почву для общечеловѣческихъ идеаловъ будущаго? Какими, нако-

нецъ, идейными, не умирающими связями можно привязать Москву Алексѣя Михайловича къ новой Европѣ первостепенныхъ мыслителей, политиковъ и художниковъ?

Отвѣтъ поспѣшили дать — въ самый разгаръ національнаго культа.

Въ *Русскомъ Вѣстникѣ* Глинки Симеонъ Полоцкій и Костровъ соревновали Сократу и Гомеру, а мудрость Домостроя совсѣмъ не находила себѣ соперницъ. Другіе публицисты той же окраски усердно разыскивали русскихъ самоучекъ и излагали ихъ жизнь и дѣянія въ эпическомъ стилѣ. Славянофильство и вполнѣдствіи не оставитъ этой политики: профессоръ Шевыревъ не побоялся напасть на философію Гегеля во имя посланія Никифора къ Мономаху... Все это свидѣтельствовало объ истинно-рыцарскомъ самоотверженіи воиновъ. Но развѣ только бредъ Довъ-Кихота на счетъ Дульцинеи Тобозской могъ поспорить высотой температуры съ видѣніями нашихъ подвижниковъ! И такъ какъ время рыцарскаго угара миновало безвозвратно, то публикѣ позволительно было сомнѣваться въ полной искренности и убѣжденности новыхъ мучениковъ идеи.

Ясно, въ какое безвыходное положеніе попали славянофилы, лишь только принимались за выясненіе *положительной* стороны своего ученія. Имъ неизбѣжно приходилось или насиловать логику и здравый смыслъ, или укрываться за выпренней реторикой и безрезультатной софистикой или прямо и рѣшительно окунаться въ безпримѣсное «москвобѣсіе».

Въ этомъ органическомъ недугѣ славянофильства лежитъ разгадка всѣхъ недоразумѣній и непримиримыхъ противорѣчій, переполняющихъ одинаково и произведенія самихъ славянофиловъ, и свидѣтельства людей другой партіи, все равно—враждебно или благосклонно настроенныхъ.

Краснорѣчивѣе всего, конечно, славянофильскіе семейные раздоры и нескончаемыя междоусобицы. Въ этомъ отношеніи славянофильство также единственное явленіе въ исторіи общественной мысли. Можно сказать, весь символъ славянофильской вѣры состоитъ изъ еретическихъ членовъ, и мы безпрестанно подвергаемся опасности не распознать правотѣрнаго апостола отъ еретика, хранителя подлиннаго ученія церкви отъ злокозненнаго недоумка.

## XXXV.

Москва въ сороковые годы отличалась чрезвычайнымъ общественнымъ оживленіемъ и была имъ обязана преимущественно славянофиламъ. Въ столичныхъ салонахъ гремѣли отважныя рѣчи, точнѣе, проповѣди, приговоры и пророчества. Дѣйствовало первое поколѣніе славянофильской партіи, въ высшей степени талантливое, съ блестящими силами въ наукѣ, въ публицистикѣ, и даже отчасти въ художественной литературѣ. И оно несло свою вѣру въ непосвященную толпу съ необъятными надеждами создать новую церковь на идеальныхъ основахъ любви къ родному народу, его духу и его исторіи. Оригинальныя личности проповѣдниковъ усиливали обаяніе пламеннаго слова и среди просвѣщеннаго общества не осталось, кажется, ни одного человѣка—ни мужчины, ни женщины, не захваченнаго кипучей борьбой.

Въ первый разъ на русской общественной сценѣ появились дѣйствительно идейные салоны съ хозяйками, близко принимавшими къ сердцу судьбу людей во имя извѣстныхъ воззрѣній. «Барыни и барышни,—разсказываетъ Герценъ,—читали статьи очень скучныя, слушали пренія очень длинныя, спорили сами за Константина Аксакова или за Грановскаго, жалѣя только, что Аксаковъ слишкомъ славенинъ, а Грановскій недостаточно патриотъ».

Эти статьи часто превращались въ обязательный урокъ. Кружокъ собирался въ опредѣленный день и одинъ изъ гостей обязанъ былъ прочесть что-нибудь вновь написанное. Соблюдалась очередь, и статьи нерѣдко отличались отнюдь не салоннымъ содержаніемъ, писались на вопросы самаго головоломнаго и трудно разрѣшимаго содержанія <sup>192)</sup>.

Славянофилы въ своихъ рядахъ могли выставить на рѣдкость неутомимыхъ спорщиковъ. Хомяковъ находилъ, что московская «жизнь идетъ или плетется потихоньку» и «только одни споры идутъ шибкою рысью»: именно онъ самъ былъ однимъ изъ усерднѣйшихъ виновниковъ этой рыси. Ему ничего не стоило въ теченіе нѣсколькихъ часовъ развивать отвлеченнѣйшую тему въ родѣ вопроса о разумѣ и вѣрѣ, и ни на минуту не утрачивать ни находчивости въ діалектикѣ, ни мягкости въ настроеніи.

<sup>192)</sup> Таково, напримѣръ, происхожденіе статьи Хомякова *О старомъ и новомъ. Полное собраніе сочиненій*. М. 1878. I, 359.

Совершенно другимъ характеромъ отличался Константинъ Аксаковъ. Фанатически-убѣжденный, рыцарски-благородный и въ то же время нетерпимый, онъ наполнялъ московскія гостинныя атмосферою миссіонерства и подвижничества. Его не останавливали опасенія впасть въ комическую крайность или нелѣпость. Чѣмъ неожиданнѣе для другихъ могли казаться его выводы и выходки, тѣмъ больше утѣшенія получало его героическое сердце, и онъ не отказался бы примѣнить къ себѣ извѣстное изреченіе: «вѣрю потому, что это нелѣпо», т. е. нелѣпо для другихъ — добровольныхъ или безсознательныхъ слѣпцовъ.

Обожаемый въ родной семьѣ, молодой Аксаковъ водворилъ здѣсь нѣчто въ родѣ деспотическаго правленія. Отецъ слушалъ его рѣчи, будто откровенія мудрости, не подлежащей критикѣ, не стѣснялся при всѣхъ признавать самодержавіе сына, не могъ допустить и мысли, чтобы статья Константина или иное какое произведеніе могло оказаться неудовлетворительнымъ и кому-либо не понравиться. Сергій Тимофеевичъ не задумался пожертвовать «двадцатилѣтней дружбой» Погодина послѣ его неодобрительнаго отзыва о пьесѣ сына <sup>193)</sup>.

Этотъ культъ окрылялъ юношу на несказанныя дерзновенія въ области излюбленныхъ идей. Ему ничего не стоило нанести оскорбленіе непріятному собесѣднику изъ-за одного слова: онъ приходитъ въ бѣшенство на Надеждина, своего гостя, назвавшего себя «случайнымъ представителемъ Петербурга», онъ даже Хомякова повергаетъ въ смущеніе узостью своихъ православныхъ воззрѣній и прямолинейностью жизненныхъ запросовъ и тотъ оставилъ намъ о своемъ пылкомъ другѣ краткія, но въ высшей степени внушительныя замѣчанія. Они проливаютъ свѣтъ на существенныя нравственныя и культурныя черты лучшихъ представителей партіи.

«Его православіе,—писалъ Хомяковъ,—хотя искреннее, имѣетъ характеръ слишкомъ мѣстный, подчиненный народности, слѣдовательно, не вполне достойный. Опять-же Аксаковъ невозможенъ въ приложеніи практическомъ. Будущее для него должно непременно сей же часъ перейти въ настоящее, а про временныя уступки настоящему онъ и знать ничего не знаетъ, а мы знаемъ, что безъ нихъ обойтись нельзя» <sup>194)</sup>.

Ту же склонность «самодержавствовать», какъ выражается

<sup>193)</sup> Барсуковъ. IX. 461.

<sup>194)</sup> *Иб.*, стр. 458—9.

Погодинъ, Аксаковъ вносить и въ мелкіе вопросы, очевидно, казавшіеся ему крупными. Сергѣй Тимофеевичъ рассказывалъ Гоголю, какъ его сынъ устроилъ сцену Смирновой изъ-за русскаго платья и бороды <sup>195)</sup>.

Родительскимъ глазамъ эта «твердость» могла казаться почтенной и трогательной, но мы видѣли, какъ легко она порождала разногласія среди самихъ славянофиловъ. Семейное святилище Аксакова и культъ семейной гениальности и родственной непогрѣшимости глубоко оскорбляли даже близкихъ людей. Погодинъ, напримѣръ, безпрестанно вносилъ въ свой дневникъ жалобы на самообожаніе и надменность Аксаковыхъ и, видимо, оказывался въ ихъ средѣ плебеемъ за столомъ аристократовъ. Только что мы слышали отзывъ Хомякова: даже его исключительному искусству не удалось заговорить разногласію и сгладить отгѣнки. Еще дальше отъ аксаковской трибуны стояли братья Кирѣевскіе.

Герценъ описываетъ ихъ положеніе въ Москвѣ крайне грустными красками. Оба брата производили на него впечатлѣніе печальныхъ тѣней. Ихъ не признавали живые, они сами ни съ кѣмъ не дѣлили интересовъ, ни съ кѣмъ ихъ не связывало сочувствіе и близость, и Иванъ Кирѣевскій изрекъ однажды Грановскому безнадежную исповѣдь: «Сердцемъ я больше связанъ съ вами, но не дѣлю многого изъ вашихъ убѣжденій; съ нашими я ближе въ-рой, но столько же расхожусь въ другомъ».

А въ другой разъ онъ могъ только рассказывать о своихъ молитвенныхъ слезахъ, объ умиленныхъ настроеніяхъ при видѣ колѣнопреклоненной толпы... <sup>196)</sup>. Невольная жалость сжимала сердце у всякаго не предубѣжденного свидѣтеля въ присутствіи этихъ живыхъ мертвецовъ. Никакого сильнаго и упорнаго дѣла нельзя было ожидать отъ этой томительной, безнадежной грусти, отъ этого чисто-отшельническаго самоуглубленія.

Въ результатѣ, нескончаемая междоусобица и практическая безпомощность, какая-то немощъ жизненныхъ проявленій идеи рѣзко отгѣняютъ славянофиловъ рядомъ съ принципиальной устойчивостью и энергіей западниковъ.

Касательно междоусобицъ краснорѣчивѣйшее свидѣтельство—участъ погодинскаго *Москвитянина* въ кругу славянофиловъ.

Журналъ этотъ во время процвѣтанія *Отечественныхъ Запи-*

<sup>195)</sup> *Исторія моего знакомства съ Гоголемъ*, стр. 150.

<sup>196)</sup> Герценъ. *О. с.*, стр. 300 etc.

сокъ съ Бѣлинскимъ во главѣ остается единственнымъ прочнымъ органомъ славянофиловъ. Правда, Погодину не удалось приобрести авторитета среди партіи, она даже лично къ нему не питала особенно почтительныхъ чувствъ, но вѣдь онъ издавалъ несомнѣнно славянофильскій журналъ, враги у него и у славянофиловъ были общіе, и онъ не переставалъ добиваться трудовъ Аксаковыхъ, Кирѣевскихъ и Хомякова на страницы своего изданія... Все было тщетно!

«Видно, на роду написано негѣпымъ потомкамъ словенъ дѣйствовать всегда врознь», таковъ вѣчный пригвѣтъ Погодина <sup>197)</sup>. И съ этой тоской вполне совпадаетъ свидѣтельство Боткина о тѣхъ же потомкахъ славянъ: «эти господа такъ раздѣлены въ своихъ доктринахъ, такъ что, что голова, то и особое мнѣніе» А Герценъ находитъ среди славянофиловъ партіи всѣхъ красокъ, какія только извѣстны изъ исторіи жесточайшихъ смутъ западной Европы <sup>198)</sup>.

Герценъ могъ шутить надъ славянофильской пестротой, но редакция *Москвитянина* не переставала терзаться то отчаяніемъ, то злобой, то впадать въ прострацію и восклицать: «опять скучно писать!»

Семья Аксаковыхъ рѣшительно не желаетъ поддерживать *Москвитянина* и не позволяетъ даже поставить свои имена въ списокъ сотрудниковъ. Хомяковъ также не скрываетъ своего равнодушія къ журналу, пока онъ существуетъ, и Шевыреву приходится выдерживать съ нимъ жаркія схватки, какъ ближайшему сотруднику Погодина. Хомяковъ не убѣждался и упорно находилъ, что *Москвитянинъ* «не заслуживаетъ поддержки» и отъ него заслуженно «всѣ отказываются». Только при слухахъ объ окончательной гибели погодинскаго изданія Хомяковъ принялся сѣтовать и въ его жалкихъ словахъ ярко обнаружилось не только барское эпикурейство тонкихъ мыслителей, но и самая откровенная аристократическая безразличность къ слишкомъ заурядному поприщу дѣятельности.

Да, какъ ни странно, но славянофилы ранняго поколѣнія сторонились журнальной публицистики совершенно съ такимъ же выспреннимъ настроеніемъ, какое переполняетъ гордыхъ служителей чистой науки или чистаго искусства. Хомяковъ сознается, что онъ никогда не напечаталъ бы и строки въ журналѣ, будь у него

<sup>197)</sup> Барсуковъ. IX, 413, 447.

<sup>198)</sup> *Анненковъ и его друзья*, стр. 729. Герценъ. *Иб.*, стр. 290.—1.



другой путь «для выраженія мысли». И, сообщая о предстоящей кончинѣ *Москвитянина*, онъ пишетъ пріятелю:

«Пожалѣй объ насъ. Не остается даже журнала. Никто въ немъ не пишетъ и не хлопочетъ объ его поддержкѣ, а когда онъ скончается, вѣрно всѣ будутъ такъ же разстроены, какъ Иванъ Никифоровичъ, если бы у него украли ружье, изъ котораго онъ отъ роду не стрѣливалъ. Вѣдь куда было ружье, можно бы было стрѣлять, если захотѣлось».

Но только славянофиламъ никогда этого не хотѣлось, а если и приходило желаніе, то исполненіе откладывалось на дальній срокъ.

Именно такая участь постигла добрыя намѣренія Ивана Кирѣвскаго. Онъ ближе другихъ интересовался *Москвитяниномъ*, а при своихъ настроеніяхъ не могъ дѣлательно работать. Но даже и ему случалось въ глаза самому Погодину заявлять, что писать хочется, да печатать негдѣ. Тогда Погодинъ снова неистовствовалъ въ своемъ дневникѣ: «безсовѣстные люди!»

Впрочемъ, Погодинъ могъ бы равнодушнѣе отнестись къ заявленію Кирѣвскаго на счетъ хотѣнія. Со времени закрытія *Европейца* Кирѣвскій не нарушалъ молчанія въ теченіе цвѣтущаго періода своей жизни. Это менѣе всего свидѣтельствовало о жаждѣ мыслить для другихъ и Шевыревъ лучше Погодина понималъ славянофильскую психологію.

Онъ жаловался на «бездѣйственные таланты» русскихъ людей, на ихъ способность довольствоваться пріятельскими бесѣдами, расточать на мелочи игру ума и воображенія, отвыкать отъ труда, не пускать своего нравственнаго капитала во всенародный оборотъ и коснѣть въ праздности и апатіи.

Примѣры у Шевырева были подъ рукою.

Въ то время, когда западники, не покладая рукъ, работали надъ пропагандой своихъ общественныхъ и культурныхъ идей, славянофилы задыхались въ спорахъ о «церкви развивающейся» и Константинъ Аксаковъ, Хомяковъ, Юрій Самаринъ и Кирѣвскій изнываютъ надъ опредѣленіемъ понятія *развитія*, схватываются другъ съ другомъ при встрѣчахъ, переносятъ борьбу въ переписку и видимо любятъ на свое столь производительное и возвышенное времяпрепровожденіе. Богословіе, философія, да еще XVII-й вѣкъ — самые жгучіе предметы для славянофильскихъ упражненій. Впослѣдствіи сынъ Самарина глубокомысленно будетъ изслѣдовать, на чью сторону и по какому поводу его отецъ присталъ на сторону Хомякова и Кирѣвскихъ или остался вѣренъ

Константину Аксакову? Исследователь наивно не замѣчаетъ гомерическаго комизма своей задачи: такъ прочно наслѣдіе словенъ!

Современники доблестныхъ ратоборцевъ были провинительныѣ, и тотъ же Шевыревъ ясно видѣлъ, какъ мало выигрывали насущные интересы родной партіи отъ богословскихъ экскурсій ея отцовъ. Какъ бы ни цѣнить талантъ и дѣятельность Шевырева, не слѣдуетъ забывать объ его безвозмездномъ долготѣнствѣ трудѣ въ *Москвитянинѣ*. Онъ единолично выносилъ борьбу съ такими противниками, какъ Бѣлинскій и успѣвалъ выступать противъ западниковъ на всѣхъ сценахъ борьбы и въ университетскихъ аудиторіяхъ, и въ публичныхъ лекціяхъ, и въ журнальныхъ статьяхъ. Личный характеръ профессора можетъ не внушать намъ особеннаго уваженія, но труженичество его вѣкъ сомнѣнія и при условіяхъ, менѣе всего благоприятныхъ для успѣха и популярности.

Сопоставьте съ нимъ блестящихъ и дѣвственно безукоризненныхъ джентльменовъ, располагающихъ въ случаѣ надобности безчисленнымъ множествомъ укромныхъ убѣжищъ отъ суеты житейской и соприкосновенія съ безтолково мятущейся толпой.

Прежде всего у cadaго изъ нихъ по нѣсколько родовыхъ и благопріобрѣтенныхъ помѣстій. Всякую минуту «краснобай» могутъ разѣзжаться по деревнямъ, а тамъ «хоть трава не рости». Такъ ядовито выражается Сергѣй Аксаковъ, но гражданскія чувства не мѣшаютъ ему и его семьѣ заниматься по лѣтамъ «артистическимъ» сборомъ грибовъ, вести подробный дневникъ о количествѣ найденныхъ и замѣчательные экземпляры срисовывать въ особый альбомъ! Естественно, Погодинъ, тщетно добываясь помощи и совѣта отъ этихъ идиллическихъ патриарховъ, имѣлъ всѣ основанія воскликнуть: «пустые люди!»

Менѣе рѣзки сужденія Грановскаго, но смыслъ ихъ тотъ же. Въ періодъ самыхъ сочувственныхъ отношеній къ Кирѣевскимъ Грановскій писалъ:

«Я отъ всей души уважаю этихъ людей, не смотря на полную противоположность нашихъ убѣжденій... Жаль только, что богатые дары природы и свѣдѣнія, рѣдкія не только въ Россіи, но и за еѣ, — гибнуть въ нихъ безъ всякой пользы для общества. Они ѣдутъ отъ всякой дѣятельности»<sup>199</sup>).

И трудно было не бѣжать, по крайней мѣрѣ въ періодъ со-

<sup>199</sup>) Т. Н. Грановскій и его переписка. II, 402.

стязаній о *развитіи* и углубленіи въ русскія древности. Онѣ для благородныхъ славянофиловъ служили удовлетвореніемъ всѣхъ запросовъ ума и сердца. Юрій Самаринъ, долго прожившій въ XVII вѣкѣ, приобрѣлъ основательныя свѣдѣнія о вѣнчаніи на царство Михаила Федоровича и о созывѣ земской думы при Алексѣѣ Михайловичѣ. Это похвально, но изъ науки вытекаетъ философія такого содержанія:

«Славное было время! Куда противъ настоящаго лучше. Люди были поумнѣе нынѣшнихъ, а умничали меньше, поэтому и дѣло шло у нихъ лучше». Замѣчаніе насчетъ умничанья было бы очень кстати, какъ самокритика славянофила, но именно славянофилы особенно далеко стояли отъ вѣнца мудрости—самопознанія.

Намъ ясно теперь, къ какому концу неминуемо шла борьба западничества съ славянофильствомъ. На одной сторонѣ развивалась неустанная энергія, жгучая жажда идеи отдѣльных личностей превратить въ общее достояніе, истинно гражданское стремленіе просвѣтитъ общество и общественное мнѣніе заставить судить первостепенные вопросы современной дѣйствительности. На другой—или тоскливое равнодушіе, или художественное наслажденіе блескомъ мыслей и прихотливой бойкостью ума въ кругу избранныхъ друзей. Единственный разъ славянофилы старшаго поколѣнія рѣшили спуститься съ своихъ высотъ на землю.

Въ 1844 году друзья Ивана Кирѣевского, не забывая объ его опытѣ на издательскомъ поприщѣ, рѣшили снова воскресить его къ дѣятельности и спасти его отъ коснаго унынія. Погодинъ, изнывавшій съ *Москвитяниномъ* среди безгласной пустыни славянофильства, шелъ на встрѣчу этимъ замысламъ, и предложилъ Кирѣевскому редакторство журнала.

Дѣло ладилось съ большимъ трудомъ и, по свидѣтельству Хомякова, одной изъ причинъ было настроеніе Кирѣевского—именно его «робость и тайное желаніе найти предлогъ для бездѣйствія». Наконецъ, сговорились, и Кирѣевского редактора одинаково сочувственно привѣтствовали и славянофилы, и московскіе западники—Герценъ и Грановскій. *Москвитянинъ* воскрешенъ къ новой жизни и, разумѣется, немедленно должно было взвиться знамя славянофильской критики и публицистики противъ неограниченно господствовавшей силы *Отечественныхъ Записокъ*.

## XXXVI.

Оригинальное положеніе занялъ Кирѣевскій, приготовляясь редактировать *Москвитянина*! Съ первой же минуты онъ обнаружилъ свое недовѣріе къ талантамъ и работѣ однихъ славянофиловъ, и желалъ привлечь къ сотрудничеству въ своемъ журналѣ Грановскаго и Герцена. Хомяковъ возсталъ, но Кирѣевскій не измѣнилъ намѣренія и нашелъ сочувствіе въ намѣченныхъ западникахъ.

Кирѣевскій былъ правъ. На славянофильское краснорѣчіе никто не могъ разсчитывать, принимаясь за всенародное распространеніе какихъ бы то ни было идей. *Москвитянинъ* своимъ существованіемъ свидѣтельствовалъ о безнадежномъ банкротствѣ партіи, какъ общественной и литературной силы. Погодинъ исторіей своего издательства могъ бы представить не мало благодарнѣйшихъ темъ для сатиры и комедіи.

Профессора прежде всего изводило крайнее скопидомство, переходившее въ откровенную жадность къ деньгамъ. Его неизмѣнная мечта пользоваться трудами даровыхъ сотрудниковъ и ему безпрестанно приходится переживать мучительныя настроенія и выслушивать отъ пріятелей жестокія укоризны.

Гоголь, напримѣръ, просить у него денегъ, Погодинъ колеблется и утро посвящаетъ на размышленіе о томъ, «какъ бы пріобрѣсти равнодушіе къ деньгамъ». Сотрудники настоятельно объясняютъ Погодину «требованія нынѣшняго вѣка», т. е. необходимость оплачивать литературную работу<sup>200</sup>). Погодинъ не поддается убѣжденіямъ и готовъ помириться на допотопныхъ сотрудникахъ, лишь бы они не бередили его корыстолюбиваго сердца.

Результаты получались, конечно, въ высшей степени прискорбныя. *Москвитянинъ* вѣчно запаздывалъ на цѣлые мѣсяцы, книжки превращались въ складъ археологическаго хлама, въ дикій памятникъ варварскаго языка и мертвыхъ разсужденій. Журналъ будто нарочно выкапывалъ изъ всѣхъ захолустій Россіи двуногихъ мамонтовъ и другихъ рѣдкостныхъ экземпляровъ исчезающихъ человѣческихъ породъ.

Уже при появленіи *Москвитянина* къ Погодину посыпались привѣтствія, звучавшія чувствами и увлеченіями XVIII-го вѣка. Одинъ старый писатель разсчитываетъ вновь узрѣть «типы не-

<sup>200)</sup> Напримѣръ, письма В. Григорьева и Дала. Барсуковъ. IX, 352, 365—7.

забвеннаго Карамзина», другой выступает на защиту поэтического гения Ломоносова, третій присылаетъ собственное произведение—«пріобщая стихи», «потому чтобы тяжелое созданіе разума распецрять игривостью воображенія», четвертый печаталъ статью о *Коперникѣ*, называлъ ее *Голосомъ за правду*, нещадно перепутывалъ хронологію и географію и въ оправданіе ссылаясь на «разсѣянность»<sup>201</sup>). И послѣ всего этого *Москвитянинъ* не переставалъ гремѣть противъ легкомыслія *Отечественныхъ Записокъ*, невѣжества Бѣлинскаго! Погодинъ съ товарищами особенно не могли простить критику нападокъ на древнюю русскую исторію и на русскихъ писателей прошлаго вѣка.

Но какъ они защищали дорогія преданія и съ какими оружіемъ шли въ борьбу? Отвѣтъ—любая критическая статья *Москвитянина*.

Его критикъ, Шевыревъ, въ теченіе многихъ лѣтъ истощалъ словарь бранныхъ словъ на Бѣлинскаго, сочинялъ на него пасквили, не называя по имени и знаменуя тѣмъ вящее свое презрѣніе къ противнику, «какой-нибудь журнальный писака навеселѣ отъ нѣмецкой эстетики», «рыцарь безъ имени», «литературный бобыль», «непризванный судья, развалившійся отчаянно въ креслахъ критика и размахавшійся борзымъ перомъ своимъ», и цѣлый рядъ соответствующихъ опредѣленій долженствовали сразить Бѣлинскаго. Но онъ все жилъ и горячо дѣйствовалъ.

Тогда друзья *Москвитянина* припоминаютъ «другія мѣры» профессоровъ московскаго университета, Каченовскаго и Надеждина, и «замышляютъ написать официальную бумагу и подписать ее всѣмъ противъ правилъ, проповѣдуемыхъ *Отечественными Записками*», Шевыревъ готовъ повторить исторію Надеждина съ Полевымъ по поводу критики на диссертацию, т. е. жаловаться вла-

<sup>201</sup>) Въ этой статьѣ, принадлежащей перу С. П. Побѣдоносцева, значатся слѣдующія строки: «Въ Краковѣ Коперникъ духовно сочетался съ великими мировыми именами Галилея, Кеплера и Ньютона, по слѣдамъ которыхъ шелъ и которыхъ оставилъ далеко за собою». Герценъ въ *Отечественныхъ Запискахъ* осмѣялъ статью *Москвитянина* о *Коперникѣ*, и, между прочимъ говорилъ: «Холодные люди засмѣются, холодные люди скажутъ, что это нѣтъ рукъ вонъ, и присовокупятъ, что Коперникъ умеръ въ 1543 году, Галилей въ 1642, Кеплеръ въ 1630, а Ньютонъ въ 1727. А у насъ слезы навернулись на глазахъ отъ этихъ строкъ; какъ чисто сохранился *Голосъ за правду*, ультра-словенскій, отъ грѣховной науки Запада, отъ нечестивой исторіи его! Онъ даже о ней понятія не имѣетъ». Въ той же статьѣ «Регенсбургъ перестав-леть съ Дуная на Рейнъ». *Отч. Зап.* 1843, № 11.

стямъ на статью Бѣлинскаго *Педантъ*<sup>202)</sup>. Другой сочувственникъ *Москвитянина* считаетъ необходимымъ ходатайствовать предъ правительствомъ «подъ благовиднымъ предлогомъ остановить изданіе *Отечественныхъ Записокъ—навсегда*». Этотъ же ретивый охранитель всероссійской чистоты нравовъ убѣдительно проситъ редакцію журнала: «стерегите вредныя мысли въ журналахъ и печатайте ихъ въ видѣ прибавленія къ *Москвитянину* на какой-нибудь яркой бумагѣ, чтобы вредъ бросился скорѣе въ глаза: да образумятся!»<sup>203)</sup>

Сотрудники *Москвитянина* по мѣрѣ силъ выполняли эту программу. Напримѣръ, Шевыревъ подвергъ оригинальной критикѣ *Похвальное слово Петру Великому* Никитенко, возсталъ особенно противъ идеи, будто русскіе новому порядку вещей обязаны «честью существовать по человѣчески» и выразилъ свой гнѣвъ въ такой отвѣдъ: «Это и неприлично, и безнравственно въ смыслѣ и религіозномъ, и патріотическомъ, и исторически ложно». Бѣлинскій, не обинуясь, обозвалъ эту критику «доносомъ»<sup>204)</sup>.

Направлялись доносы и по адресу публики, невѣроятно наивные, но обличавшіе всю бездну безсилія православныхъ подвижниковъ. *Отечественныя Записки*, напримѣръ, уличались въ поддѣлкѣ лермонтовскихъ стихотвореній, имъ приписывалась мысль, будто русская поэзія въ лицѣ Лермонтова въ первый разъ вступала въ самую тѣсную дружбу съ чортомъ!

Естественно, западническія убѣжденія Бѣлинскаго рисовались московскимъ славянофиломъ въ видѣ смертныхъ грѣховъ и преступленій. Для нихъ установленная истина и общезвѣстный фактъ—«гносная враждебность къ русскому человѣку». Такъ выражается Сергѣй Аксаковъ и приходитъ въ ужасъ отъ одной мысли, будто «Гоголь имѣлъ сношеніе съ Бѣлинскимъ». И Гоголь дѣйствительно не рѣшался открыто завязать знакомство съ критикомъ. Бѣлинскій для обоихъ величайшихъ современныхъ поэтовъ оказался пугаломъ, хотя именно эти поэты обязаны ему выясненіемъ и оцѣнкой своихъ произведеній! Подобное уродливое явленіе врядъ ли еще можетъ засвидѣтельствовать исторія какого бы то ни было культурнаго общества. Пушкинъ пересылаетъ Бѣлинскому свой журналъ тайкомъ отъ московскихъ «наблюда-

<sup>202)</sup> Проектъ М. А. Дмитріева. Барсуковъ. VI, 81. О Шевыревѣ. Гб., 262.

<sup>203)</sup> Гб. VIII, 21.

<sup>204)</sup> Сочиненія. VII, 412—3.

телей», т. е. отъ журнала *Наблюдателя*, Гоголь поступаетъ также изъ страха предъ «Москвитянинымъ». И все это знаетъ критикъ и находитъ въ себѣ достаточно любви къ истинѣ, чтобы забыть недостойное поведеніе *людей* ради великихъ заслугъ *писателей*.

Бѣлинскій въ глазахъ московскаго журнала до конца остается иностранцемъ среди русскихъ, онъ даже не въ состояніи понимать русскихъ талантовъ, «всякій русскій стихъ свиститъ имъ по ушамъ», говоритъ Погодинъ объ *Отечественныхъ Запискахъ*, онѣ питаютъ отвращеніе къ прошлому Россіи и желали бы «переначать ея бытіе» по журналамъ и книгамъ изъ за моря. Аристократическое славянофильство еще рѣзче осуждало національную измѣну и тлетворныя вліянія петербургскаго журнала.

«Семейство Аксаковыхъ, — рассказываетъ Грановскій, — буквально плачетъ о гибели народности, семейной нравственности и православія, подрываемыхъ *Отечественными записками* и ихъ *анусною партією*»<sup>205</sup>).

Петербургскіе блюстители нравовъ обращались въ *Москвитянина*, какъ завѣдомый арсеналъ въ войнѣ съ западными развратителями. Даже проф. Гротъ, сравнительно терпимо относившійся къ Бѣлинскому, не сдержался и напечаталъ у Погодина статью противъ русскихъ поклонниковъ сенъ-симонизма и Жоржъ Зандъ. Статья, по заявленію самого автора, имѣла въ виду «обратить вниманіе публики» на вредное растлѣвающее направленіе *Отечественныхъ Записокъ*.

Когда вопросъ заходилъ о сотрудничествѣ московскихъ западниковъ въ *Москвитянина*, Погодинъ считалъ нужнымъ произвести предварительно чисто инквизиторское слѣдствіе. Онъ самъ рассказываетъ, какъ велъ переговоры съ Грановскимъ и Евгеніемъ Коршемъ. Онъ поставилъ имъ слѣдующіе вопросы: «возьмутъ ли они свято соблюдать нашу программу, отрекутся ли отъ діавола и *Отечественныхъ Записокъ*, будутъ ли почитать христіанскую религію, уважать бракъ»<sup>206</sup>).

Наконецъ западники дождались генеральнаго воинственнаго залпа. Языковъ, официальный Гомеръ славянофильства, вдохновился на цѣлыхъ три стихотворенія. Каждое изъ нихъ стѣбло публицистическихъ и юридическихъ статей *Москвитянина* по откровенности чувства, энергіи тона и полной опредѣленности цѣлей.

<sup>205</sup>) О. с. П, 464.

<sup>206</sup>) Барсуковъ. VI, 210.

Чаадаевъ, мирно доживавшій свои дни, вдругъ подвергся экзекуціи какъ «всего чужого гордый рабъ» и вызывалъ негодующее изумленіе поэта:

Ты все свое презрѣлъ и выдалъ...  
И ты еще не сокрушенъ...  
Ты все стоишь красивый идолъ  
Строптивыхъ душъ и слабыхъ женъ!?  
Ты цѣлъ еще...

Дальше—очередь Герцена. Онъ дружить съ тѣмъ, кто «гордую науку и торжествующую ложь становить превыше истины святой», «Русь злословить и ненавидитъ всей душой». Наконецъ, грозный окликъ *Къ Ненашимъ...* Это сплошная казнь всѣхъ западниковъ, и какая! Поэтъ говоритъ языкомъ фанатика и якобинца и разсыпаетъ тягчайшія обвиненія съ такой же легкостью, будто свои обычные «удалыя» приемы.

Его враги «люди заносчивый и дерзкій», «оплотъ богомерзкой школы», ненавидящій «святое дѣло», «славу старины», не вѣдающій любви къ родинѣ, исполненный «предательскихъ мнѣній и святотатственныхъ сновъ». Въ заключеніе поэтъ грозилъ:

Умолкнетъ ваша злость пустая,  
Замретъ проклятый вашъ языкъ!..

Поэзія Языкова произвела свое дѣйствіе. Бѣлинскому больше не требовалось открывать глаза своимъ московскимъ пріятелямъ: Грановскій и Герценъ сами, наконецъ, прозрѣли. Больше не оставалось сомнѣнія ни въ славянофильскихъ приемахъ борьбы, ни въ возможности вдумчиваго отношенія съ ихъ стороны къ воззрѣніямъ и цѣлямъ западниковъ.

Герцену пришлось послѣ нѣкоторыхъ чувствительностей порвать даже съ Константиномъ Аксаковымъ. Даже у Грановскаго едва не дошло до дуэли съ Петромъ Кирѣевскимъ. Съ Хомяковымъ у него также произошла горячая сцена и онъ наговорилъ такихъ вещей славянофильскому философу «о силѣ его убѣжденій», что, по словамъ самого Грановскаго, на нихъ можно было бы отвѣтить дѣйствіемъ<sup>207</sup>). Такъ, Грановскій писалъ Кетчеру въ началѣ марта 1845 года, и Герценъ, съ своей стороны, свидѣтельствуетъ, что еще годомъ раньше славянофилы и западники не желали встрѣчаться другъ съ другомъ.

И вотъ въ это-то время Иванъ Кирѣевскій беретъ за *Москвитянина* съ дѣлюю привлечь къ участію въ немъ и западниковъ.

<sup>207)</sup> Герценъ. VII, 306. Грановскій. II, 464.



Въ воздухѣ чувствовалась перемена, на новаго редактора возлагались блестящія надежды, въ недалекомъ будущемъ видѣлось полное примиреніе партій, а въ настоящемъ дружеская совмѣстная работа.

Перемены ожидались по всѣмъ направленіямъ, и прежде всего предстояло исчезнуть со страницъ журнала доисторическимъ чудищамъ.

Теперь Гоголь не будетъ имѣть основаній писать о *Москвитянинахъ* такія, напримѣръ, оскорбительныя вещи: «*Москвитянина* не вывелъ ни одной сіяющей звѣзды на словесный небосклонъ. Высунули носы какіе-то допотопные старики, поворотились и скрылись». И профессора, наконецъ, могутъ успокоиться: Гоголь не станетъ издѣваться надъ ихъ пристрастіемъ къ красноречію и неумѣнъ говорить по-русски съ русскимъ человѣкомъ.

И Гоголь радовался переходу *Москвитянина* въ руки болѣе живого и просвѣщеннаго руководителя. «Чего добраго!—писалъ онъ,—можетъ быть, Москва захочетъ показать, что она не баба».

И Москва начала показывать съ января 1845 года.

### XXXVII.

Мы знакомы съ публицистикой Кирѣевского, какъ сотрудника *Московскаго Вѣстника* и издателя *Европейца*. Тогда онъ былъ шеллингянцемъ, противникомъ французскаго матеріализма XVIII вѣка, сторонникомъ поэзіи *существенности*, т. е. художественнаго реализма. Еще любопытнѣе культурныя идеи прежняго Кирѣевского. Онѣ были ясны уже изъ наименованія журнала *Европейцемъ*.

Издатель поспѣшилъ высказать свое мнѣніе о патріотахъ славянофильскаго направленія и началъ съ обвиненія славянофиловъ въ заимствованіи чужихъ мыслей и словъ, даже въ «непонятномъ повтореніи». Окончательный приговоръ Кирѣевского: единственный источникъ русской образованности европейское просвѣщеніе, потому что «у насъ искать національнаго значитъ искать необразованнаго; развивать его на счетъ европейскихъ нововведеній значитъ изгонять просвѣщеніе».

Энергичнѣе не могъ бы выразиться самый ревностный западникъ. Такія рѣчи звучали въ 1832 году. Прошло ровно тринадцать лѣтъ и Кирѣевскому снова предстояло высказать свой взглядъ при несравненно болѣе серьезныхъ обстоятельствахъ. Борьба партій достигла высшаго подъема, стала переходить въ личное озлобленіе,

вызывать совершенно недостойныя выходки ненавистническаго чувства. Надлежало сказать вѣское примирительное слово, спокойной критической мыслью проникнуть въ самую сущность раздора и обостренную слѣпую вражду устранить во имя дѣйствительно идейнаго и литературнаго исканія истины.

Кирѣевскій понялъ свою задачу и въ первой же книгѣ журнала напечаталъ *Обозрѣніе современнаго состоянія словесности*—статью, ни единымъ словомъ не напоминавшую обычнаго задора московскихъ политиковъ.

Авторъ видимо желалъ занять положеніе нейтральной державы, стать предъ враждующими фалангами и произнести слово высшей истины. Путемъ пространныхъ разсужденій о современномъ состояніи мысли и литературы на западѣ Кирѣевскій приходилъ къ выводу: «всѣ вопросы сливаются въ одинъ существенный, живой, великій вопросъ объ отношеніи Запада къ тому незамѣченному до сихъ поръ началу жизни, мышленія и образованности, которое лежитъ въ основаніи міра православно-словенскаго».

Мы видимъ, какъ далеко уклонилась мысль писателя съ тридцатыхъ годовъ: теперь европейская цивилизація не признается единственной и самодовлѣющей, — теперь она не удовлетворяетъ «высшимъ требованіямъ просвѣщенія».

Почему же? Отвѣтъ знаменательный: западное просвѣщеніе, по толкованію русскаго философа, — *«преимущественное стремленіе къ личной и самобытной разумности въ мысляхъ, въ жизни, въ обществѣ и во всѣхъ пружинахъ и формахъ человѣческаго бытія»*. Въ результатъ обнаружилось «темное или ясное сознаніе *неудовлетворительности безусловнаго разума*» и «стремленіе къ *религиозности вообще*».

До сихъ поръ мысли менѣе всего оригинальныя, извѣстныя самой Европѣ, по крайней мѣрѣ, съ начала XIX вѣка. Кирѣевскій могъ бы подкрѣпить свое открытіе многочисленными свидѣтельствами западноевропейскихъ мыслителей и просто писателей. Оригинальность Кирѣевскаго начинается только съ того момента, когда онъ желаетъ спасти Западъ и весь міръ «православно-словенскимъ началомъ». Подобной идеи дѣйствительно не впадало на умъ никому изъ западныхъ критиковъ раціонализма и правозвѣстниковъ новой вѣры.

Но Кирѣевскій не фанатикъ, онъ желаетъ быть терпимымъ и безпристрастнымъ. Онъ смѣло уничтожаетъ два крайнихъ теченія русской мысли,—безотчетное поклоненіе Западу, вѣру въ со-

вершенное пересозданіе Россіи подѣ влияніемъ иноземной образованности и противоположную односторонность—столь же безотчетное обожаніе «прошедшихъ формъ нашей старины» и надежду на безслѣдное исчезновеніе европейскаго просвѣщенія изъ русской умственной жизни.

Автору можно бы замѣтить: первое воззрѣніе, слѣпое западничество если и существовало, то не находило себѣ выраженія въ современной русской западнической литературѣ. Ни Бѣлинскій, ни московскіе западники никогда не идолослужествовали предъ Западомъ, и Кирѣевскій мѣтилъ въ непріятеля, сраженнаго стрѣлами еще екатерининскихъ стародумовъ. Что касается крайняго славянофильства, оно дѣйствительно процвѣтало. Еще кн. Одоевскій исповѣдывалъ вѣру въ неограниченное культурное влстительство Россіи надъ міромъ и заявлялъ, что «девятнадцатый вѣкъ принадлежитъ Россіи». Русскій — *избавитель Европы* во всѣхъ отношеніяхъ, отъ деспотизма Бонапарта и отъ всевозможныхъ нравственныхъ недуговъ: «не одно *тѣло* должны спасти мы, но и *душу* Европы» <sup>208</sup>).

Естественно, у другихъ послѣдователей идеи, менѣе вдумчивыхъ, менѣе одаренныхъ общечеловѣческими инстинктами, убѣжденіе въ исключительномъ назначеніи Россіи легко переходило въ отрицаніе самого бытія Запада и даже правъ на бытіе.

Кирѣевскій поступилъ благоразумно, подчеркивая односторонность славянофильскаго сектантскаго правовѣрія. Но именно эта односторонность, очевидно, близко лежала его сердцу. Онъ спѣшитъ оговориться, что славянофильское *ложное* мнѣніе болѣе логично, чѣмъ западническое. «Оно основывается на сознаніи достоинства прежней образованности нашей, на разногласіи этой образованности съ особеннымъ характеромъ просвѣщенія европейскаго и, наконецъ, на несостоятельности послѣднихъ результатовъ европейскаго просвѣщенія».

Очевидно, авторъ самъ стоитъ на скользкомъ пути къ односторонности, и по существу его философское безпристрастіе ограничивается только признаніемъ неустранимаго факта: Россія сдѣлалась участницей европейскаго просвѣщенія, Уничтожить этого нельзя, забвеніе разъ узнаваго не легко дается человѣку и намъ, волей-неволей приходится засчитать въ свой умственный капиталъ европейскія идеи и знанія, ихъ нужно только подчинить высшему живому началу русской образованности.

<sup>208</sup>) Сочиненія. Спб. 1844, I, 312, 314.

Въ этомъ подчиненіи вся сущность философіи Кирѣвскаго. Можно пожалѣть, что онъ не объясняетъ верховной истины, имѣющей въ своей всеобщности обнять всѣ частныя истины, но вѣдь это исконный приѣмъ славянофильской проповѣди: пышное пророческое прорицаніе, покидающее непосвященнаго слушателя въ темнотѣ и мучительномъ распутіи.

Кирѣвскій заключаетъ, что Европа пришла именно къ тому моменту, когда она жаждетъ русскаго начала, когда любовь къ европейской образованности и къ русской становится одной любовью, однимъ стремленіемъ «къ живому, всечеловѣческому и истинно христіанскому просвѣщенію» <sup>209</sup>).

Мы до конца такъ и не узнали, какою *собственно* образованностью владѣла и продолжаетъ владѣть Россія, настолько глубокой и жизненной, чтобы ее можно было превознести надъ европейской. Мы не знаемъ, что значитъ живое, полное и истинно христіанское просвѣщеніе, если только авторъ не разумѣетъ того же Никифора, Симеона Полоцкаго или творца Домостроя. Повидимому, иного толкованія быть не можетъ, такъ какъ все, что внѣ древней Москвы, все это принадлежать европейскому просвѣщенію, во всякомъ случаѣ имъ вызвано къ жизни и имъ проникнуто.

Кирѣвскій не замедлилъ подтвердить этотъ логическій выводъ изъ его статьи. Напрасно онъ только не договорилъ всего немедленно: тогда къ славянофильской смутѣ идей и безконечнымъ изворотамъ тонкаго ума не прибавилось бы новаго грѣха, который успѣлъ ввести въ заблужденіе нѣкоторыхъ западниковъ <sup>210</sup>).

Пять лѣтъ спустя Кирѣвскій, наконецъ, вывелъ свои задушевные думы на чистую воду. Въ разсужденіи *О характерѣ просвѣщенія Европы и его отношеніи къ просвѣщенію Россіи* основной символъ вѣры поставленъ ясно и сильно. Кирѣвскій повторяетъ старую мысль о всеобщемъ недовольствѣ и разочарованіи на Западѣ, но выводъ изъ факта теперь получался другой. Россія рѣшительно выдѣлялась изъ круга другихъ европейскихъ народовъ, начала ея просвѣщенія признавались «совершенно отличными» отъ началъ европейскаго ровно на столько же, на сколько Византія не похожа на Римъ. Въ коренномъ отличіи этихъ источниковъ рус-

<sup>209</sup>) *Полное собраніе сочиненій*. Спб. 1861, II, 26 etc.

<sup>210</sup>) Напримѣръ, Анненкова. По его мнѣнію, статья Кирѣвскаго «наносила тяжелые удары преслѣдователямъ Запада». *Воспоминанія* III, 113.

ской и европейской образованности и заключается роковая противоположность духовных путей русскаго народа и всѣхъ остальныхъ народовъ Стараго свѣта. Естественно, русская до-петровская и даже до-московская старина теперь проходить предъ взорами умиленнаго созерцателя величественнѣйшимъ арѣлищемъ, монахи и князья оказываются глубокомысленнѣе современныхъ западныхъ философовъ, самоотреченіе древняго русскаго человѣка—недосягаемый идеалъ сравнительно съ безпокойствомъ и личной горячкой европейца... Вообще Кирѣевскій попалъ окончательно въ свою точку, и именно теперь Грановскій могъ во-очію наслаждаться послѣдними словами мудрости симпатичныхъ москвичей: по его свидѣтельству, тремя годами позже разсужденія Кирѣевскій дошелъ уже прямо до инквизиторскихъ воззрѣній на всѣхъ, кто иначе вѣруетъ... Очевидно, славянофильская симпатичность зависѣла отнюдь не отъ послѣдовательнаго развитія принципа, а отъ исключительно личныхъ свойствъ отдѣльныхъ представителей партіи, отъ «живой души», какъ выражается Грановскій о Петрѣ Кирѣевскомъ и Иванѣ Аксаковѣ.

Въ собственно критическихъ вопросахъ Кирѣевскій не обнаружилъ никакой самостоятельности. Давая отчетъ о журналахъ, онъ послалъ по адресу *Отечественныхъ Записокъ* излюбленный славянофильскій упрекъ въ «отрицаніи нашей народности» и въ умаленіи «литературной репутаціи» Державина, Карамзина и даже Хомякова. Большимъ успѣхомъ можно было считать терпимый отзывъ о Лермонтовѣ и отсутствіе вылазокъ противъ натуральной школы, но эти отрицательныя заслуги не возмѣщали явнаго безсилія овладѣть смысломъ современныхъ литературныхъ явленій и на оригинальномъ толкованіи ихъ оправдать громкія притязанія—указать истинно-національные пути русскаго просвѣщенія.

Мало внести цѣннаго въ этотъ предметъ и Хомяковъ, написавшій двѣ статьи для *Москвитянина* Кирѣевскаго. Онъ краснорѣчиво защищалъ самобытныя художественныя дарованія русскаго народа, хотя ихъ не осуществилъ пока ни одинъ поэтъ и художникъ, за исключеніемъ Гоголя,—и еще краснорѣчивѣе возставалъ противъ огульнаго гоненія на все западное. Россія должна безбоязненно усваивать полезное и прекрасное изъ чужихъ рукъ и умственные труды Европы могутъ оказать намъ великія благодѣянія. Всякое заимствованіе преобразуется на чужой почвѣ и входитъ въ національный организмъ, слѣдовательно, безмысленно

отвергать открытія и завоеванія другихъ народовъ во имя народной исключительности <sup>211)</sup>).

Въ другой статьѣ Хомяковъ повторяетъ тѣ же мысли объ усвоеніи чуждыхъ стихій по законамъ нравственной природы народа, о народженіи новыхъ самобытныхъ формъ и явленій на почвѣ заимствованныхъ произведеній ума и творчества. Автору прямо ненавистны узкіе націоналисты, создающіе вокругъ себя китайскую стѣну: «есть что-то смѣшное, говоритъ онъ, и даже что-то безнравственное въ этомъ фанатизмѣ неподвижности». Хомяковъ договаривался до той самой идеи, какую постоянно развивали западники: бояться за участь русской національности въ виду западныхъ вліяній—значить не вѣрить въ русскій народъ и сомнѣваться въ его органической самобытной мощи <sup>212)</sup>.

Эта статья Хомякова появилась въ *Москвитянинѣ*, когда уже Кирѣевскій сложилъ съ себя редакторство. Его энергіи хватило всего на три книги и Погодинъ снова взялъ знамя. И пора было, потому что съ третьей книги между редакторами началась полемика. Погодинъ не могъ согласиться ни съ Иваномъ, ни съ Петромъ Кирѣевскими: одинъ обижалъ его «клеветой», будто славянофилы не уважаютъ Запада и усилятся воскресить трупъ, другой—Петръ—выступилъ открыто противъ погодинскаго объясненія русской исторіи—мягкостью русскаго народа и его способностью «легко покоряться». Петръ Кирѣевскій считалъ этотъ взглядъ оскорбительнымъ и Погодинъ, совершенно неожиданно для себя, оказывался плохимъ сыномъ своего отечества.

Присоединилось еще не мало мелкихъ дразгъ, отчасти неразлучныхъ съ журнальнымъ издательствомъ но еще больше неизбежныхъ при погодинскомъ скопидомствѣ и обычной веряшливости въ веденіи дѣла. Кирѣевскій не выдержалъ, передалъ матеріалъ Погодину и бѣжалъ въ деревню. Начались новыя мытарства *Москвитянина*, безпримѣрныя даже въ русской многострадальной журналистикѣ. Книжки не выходятъ по три, по четыре мѣсяца, одно время, вмѣсто двѣнадцати разъ въ годъ, журналъ выходитъ всего четыре, потомъ снова возрождается и въ началѣ 1848 года производитъ среди публики сенсацію; январьская книжка вышла въ январѣ! По словамъ самого Погодина, многіе подписчики не вѣрили событію, и друзья обращались къ редак-

<sup>211)</sup> Письмо въ Петербургъ по поводу желѣзной дороги. *Москвитянинъ*. 1845, кн. 2. Полное собр. сочиненій. I, 452.

<sup>212)</sup> Мнѣніе иностранцевъ о Россіи. *Москвит.* № 4. Сочин. Ib.

тору съ вопросами: отчего *Москвитянинъ* вышелъ перваго числа? Погодинъ желалъ, чтобы *Полицейскія Вѣдомости* въ фельетонѣ отмѣтили «небывалую новость» <sup>213)</sup>.

Но великія событія случаются не часто и Погодинъ не перестаетъ горевать съ своимъ незадачнымъ дѣтищемъ: только «передъ тѣнями Карамзина и Пушкина совѣстно», а то онъ давно развязался бы съ этой обузой. Онъ былъ увѣренъ, что «доброе преданіе возложено» на него съ товарищами и онъ не имѣлъ права «оставить попеченіе русскаго слова для петербургскихъ мародеровъ».

Но сочувствія ни откуда не слышалось. Несчастному редактору безпрестанно приходилось заносить въ свой дневникъ такія приключенія. Явится онъ въ гости, увидитъ на столѣ всѣ журналы, а *Москвитянина* нѣтъ,—остается наединѣ излить душу: «Не говоритъ никто, о скоты! А претендуютъ на національное». Или въ другой формѣ: «Перебиралъ *Москвитянина*, хорошъ, а подписчиковъ нѣтъ, и стало жутко».

Въ такія минуты оторопѣвшему издателю являлись самыя дикія идеи, и онъ бросался за помощью въ станъ мародеровъ, умолялъ Чаадаева осчастливить славянофильскій журналъ своимъ сотрудничествомъ или принимался распространять подписные билеты чрезъ полицію и провинціальныхъ преосвященныхъ <sup>214)</sup>.

Не унывалъ только Шевыревъ, писалъ въ каждой книжкѣ, верѣдко по четыре листа, неумоимо огрызался на всякій новый талантъ противнаго лагеря, на Некрасова, Тургенева, нещадно громилъ натуральную школу и торжественно провозглашалъ высшей добродѣтелью русской словесности и русскихъ писателей «память благоговѣйнаго преданія, которая преемственно переходитъ отъ одного къ другому».

Къ сожалѣнію, во всей Россіи находилось едва триста данниковъ, способныхъ цѣнить столь возвышенные принципы. Сердце Погодина болѣзненно сжималось отъ такого равнодушія публики, не забывавшей своими милостями *Отечественныя Записки* и онъ доставлялъ себѣ единственное доступное утѣшеніе, публично заявлялъ, что ему въ сущности публики и не надо: «не *Москвитянину* вступать въ соперничество съ *вѣрными представителями и вождями современности*, какъ называютъ они себя». Погодинъ

<sup>213)</sup> Барсуковъ. IX, 387.

<sup>214)</sup> Гл. VIII, 306, IX, 386.

съ горькой ироніей, таившей слезы обиды, предоставлялъ другимъ понимать современность и знакомить публику съ животрепещущими интересами минуты, а онъ самъ будетъ идти разъ начатымъ путемъ.

Шевыревъ напрягалъ всѣ силы приспособить сколько-нибудь своего пріятеля къ современности, настаивалъ на статьяхъ объ Европѣ: иначе журналъ будетъ «односторонній и дрянной». Это значило учиться уму-разуму у «мародеровъ» и «литературныхъ бобылей»,—вполнѣ основательный пріемъ. Но только для ученья требовались мозгъ и нервы особаго состава, не погодянского. И впоследствии даже Аполлону Григорьеву, еще болѣе ретивому возбуждѣтелю, чѣмъ Шевыревъ, ничего не удастся сдѣлать съ призваннымъ блюстителемъ карамзинскихъ и пушкинскихъ преданій: Григорьевъ *Европейское Обозрѣніе* принужденъ будетъ вести по статьямъ *Сына Отечества*!

Болѣе внушительнаго приговора мертвому дѣлу и отжившимъ дѣятелямъ не могли бы произнести злѣйшіе враги.

Но утратой всякаго авторитета въ общественномъ мнѣніи не ограничились злключенія славянофильской журналистики; она и по отношенію къ власти устроилась въ высшей степени безтактно и совсѣмъ не лестно для своего достоинства.

### XXXVIII.

Одинъ изъ почтеннѣйшихъ критиковъ славянофильства, лично западникъ, но признавшій за славянофильскимъ ученіемъ необходимый элементъ въ міросозерцаніи мыслящаго русскаго человѣка, рѣшительно отвергъ у славянофиловъ какой бы то ни было намекъ на *политическую* партію.

«Славянофилы, — утверждаетъ нашъ критикъ, — по принципу были враждебны всякимъ политическимъ комбинаціямъ, всякому навязыванію какихъ бы то ни было политическихъ программъ государству и народу. Они были глубоко убѣждены, что зло должно зацутаться и пасть вслѣдствіе своей внутренней несостоятельности, что добро, правда должны рано или поздно восторжествовать вслѣдствіе присущей имъ внутренней силы. Такъ они думали, такъ и поступали» <sup>215</sup>).

Изъ дальнѣйшихъ словъ автора ясно, что славянофилы отнюдь не стремились осуществлять своихъ воззрѣній въ жизни. Это—

<sup>215</sup>) Кавелинъ. О. с. № 20.



числые теоретики, совершенно равнодушные къ вопросу о практическомъ воздѣйствіи ихъ идей на дѣйствительность.

Въ такой оцѣнкѣ славянофильства нѣтъ ничего лестнаго ни для пѣлаго направленія, ни для отдѣльныхъ его представителей, и она нисколько не противорѣчитъ извѣстному намъ славянофильскому аристократическому отвращенію къ идейной борьбѣ на широкой литературной сценѣ. Но все-таки общій приговоръ будетъ не точенъ. Славянофилы не обладали страстями проповѣдниковъ, но это отнюдь не означаетъ, будто ихъ ученіе вовсе лишено политическаго содержанія. Политику можно понимать въ разныхъ смыслахъ. Несомнѣнно, ни въ комъ изъ славянофиловъ не было отъ природы нервовъ трибуна, но въ каждомъ изъ нихъ, за немногими исключеніями, жилъ духъ безпокойный и мыслящій и мысль безпрестанно направлялась на самые политическіе вопросы современности. Достаточно вспомнить вопросъ о крѣпостномъ правѣ.

Въ началѣ сороковыхъ годовъ на этой почвѣ развивалось гораздо больше чувствительныхъ настроеній, чѣмъ опредѣленныхъ представленій и плановъ. Мужика любили, но любовью, довольно безразличной для самого мужика и вовсе ему не нужной. Даже искренній интересъ просвѣщенныхъ литераторовъ къ народному творчеству, восторженное удивленіе предъ талантами и нравственными совершенствами русскаго человѣка вовсе не означали точнаго и трезваго пониманія его реальнаго положенія, какъ крѣпостного. Напротивъ, очень распространенное славянофильское умиленіе предъ смиреніемъ мужика, предъ его природенной склонностью — разрѣшать всѣ тяжелые вопросы жизни непротивленіемъ злу, могло повести къ сладостному созерцанію исторической судьбы самоотверженнаго страдальца и наводить по временамъ на глубокомысленное раздумье о премудрыхъ тайнахъ русской исторіи и души.

Такъ это и происходило съ нѣкоторыми первостепенными учителями славянофильства. Во главѣ слѣдуетъ поставить Ивана Кирѣевскаго и пламеннаго Константина Аксакова.

Кирѣевскій, послѣ опыта съ *Москвитяниномъ*, вскорѣ окончательно ушелъ въ мистицизмъ и пересталъ обращать вниманіе на дѣйствительную жизнь. Въ его глазахъ безпокойство о крѣпостномъ народѣ не имѣло никакого смысла и производило на него даже комическое впечатлѣніе. Кошелевъ взялъ было на себя

задачу—встряхнуть умъ и совѣсть собрата по вѣрѣ, но старанія остались безъ результата <sup>216)</sup>.

Константинъ Аксаковъ даже успѣлъ придумать принципиальное оправданіе для своего безразличія къ той же величайшей задачѣ внутренней политики Россіи. По свидѣтельству Ивана Аксакова, его братъ былъ убѣжденъ, что народъ равнодушенъ къ управленію и «ищетъ только царствія Божія».

Но такую идеологію слѣдуетъ признать исключительнымъ явленіемъ въ средѣ славянофиловъ, и притомъ она съ теченіемъ времени переходила въ болѣе живое возрѣніе. Правда, переходъ этотъ совершался сравнительно медленно и не дѣлалъ большой чести ни смѣлости, ни оригинальности нашихъ мыслителей. Константинъ Аксаковъ, напримѣръ, въ концѣ пятидесятихъ годовъ очень краснорѣчиво говоритъ о нравственной независимости крѣпостного мужика. По мнѣнію Аксакова, крестьянинъ «никогда не думалъ вѣрить негѣности», будто помѣщикъ законный обладатель всего существа его, духовнаго и тѣлеснаго. «На угнетенія помѣщицкой власти смотритъ крестьянинъ какъ на бурю, на тучу съ градомъ, на набѣгъ разбойниковъ, и переноситъ съ терпѣніемъ эти угнетенія, какъ перенесъ бы онъ съ терпѣніемъ какое-нибудь народное бѣдствіе, посланное отъ Бога». Аксаковъ шелъ дальше: онъ признавалъ исключительныя права крестьянъ на землю, какъ свою неотъемлемую собственность <sup>217)</sup>.

Но писать такія вещи въ 1857 году значило наполовину, по крайней мѣрѣ, повторять истины, торжественно признанныя высшимъ правительствомъ ровно десять лѣтъ тому назадъ. Еще въ декабрѣ 1847 года Бѣлинскій могъ сообщить Анненкову о рѣчи государя къ депутатамъ смоленскаго дворянства. Государь признавалъ права помѣщиковъ на землю, но рѣшительно отвергалъ ихъ права на людей. «Я, — говорилъ императоръ Николай, — не понимаю, какимъ образомъ человѣкъ сдѣлался вещью, и не могу себя объяснить этого иначе, какъ хитростью и обманомъ съ одной стороны и невѣжествомъ—съ другой. Этому должно положить конецъ. Лучше намъ отдать добровольно, нежели допустить, чтобы у насъ отняли. Крѣпостное право причиною, что у насъ нѣтъ торговли, промышленности» <sup>218)</sup>.

<sup>216)</sup> *Біографія А. И. Кошелева*. М. 1892. П, 89.

<sup>217)</sup> *Иб.*, стр. 96.

<sup>218)</sup> *Анненковъ и его друзья*, стр. 601.

Послѣ такой рѣчи, конечно, не было особенно великой заслугой говорить о противозаконности и противоестественности крѣпостныхъ порядковъ. Но славянофильскій взглядъ на земельную собственность имѣлъ совершенно другое значеніе, даже въ эпоху освобожденія. Этотъ взглядъ возникъ очень рано, одновременно съ идеей объ общинѣ, какъ исконно - національномъ явленіи русскаго быта. Самое раннее и вполне опредѣленное выраженіе его мы встрѣчаемъ у Ивана Кирѣвскаго, въ то время, когда онъ еще былъ одинаково далекъ и отъ крайняго славянофильства и идиллическаго мистицизма. Онъ только признавалъ фактъ, превосходно выясненный западными публицистами и философами: «болѣзненную неудовлетворительность» чистой «раціональности» западно-европейской мысли. Кирѣвскій и ссылается именно на западные свидѣтельства. Въ числѣ коренныхъ отличій русскаго и европейскаго культурнаго развитія онъ считаетъ понятіе о собственности: на Западѣ—право на земельную собственность, *личное*, въ Россіи—*общественное*. Отдѣльное лицо участвовало въ этомъ правѣ лишь настолько это лицо входило въ составъ общества. Частное пользованіе землей зависѣло отъ извѣстныхъ отношеній лица къ народу или къ государству, какъ его представителю. На этомъ основаніи зиждутся всѣ права помѣщика на землю, отнюдь *не безусловныя*, а временныя, случайныя, неразрывно связанныя съ его положеніемъ въ государствѣ, т. е. съ его службой. Онъ былъ собственникомъ дохода съ земли, а не самой земли, и не могъ ею располагать по личному праву собственности. Такой порядокъ вещей господствовалъ невообразимо въ допетровской Руси. Очевидно, возвращеніе земли крестьянамъ будетъ не экспроприаціей, а только осуществленіемъ народнаго понятія о правахъ общины и личности на землю.

Эти идеи послѣдовательно и упорно развивались славянофилами. Константинъ Аксаковъ перенесъ вопросъ на почву историческаго изслѣдованія и вложилъ мысль Кирѣвскаго въ стройную форму научно-философскаго трактата <sup>219)</sup>. Хомяковъ опередилъ своихъ единомышленниковъ. Онъ заявилъ, что право безусловной собственности пребываетъ въ самомъ государствѣ, что «всякая частная собственность есть только болѣе или менѣе пользованіе,

<sup>219)</sup> Статья Кирѣвскаго: *Въ отвѣтъ А. С. Хомякову*, I, 194 и *О характеръ прощщенія Геропы*. II, 226—7. Ср. Колюпановъ II, 98 etc.

только въ разныхъ степеняхъ» и что, наконецъ, это «общая мысль всѣхъ государствъ, даже европейскихъ».

Отсюда логически вытекало право крестьянъ на землю, ни въ какомъ смыслѣ не уступающее правамъ помѣщиковъ и необходимость освобожденія крестьянъ съ земельнымъ надѣломъ.

Ясно, какими безпокойствами грозило это воззрѣніе правовѣрнымъ защитникамъ крѣпостничества. Славянофилы могли только писать и говорить, не заботясь о проведеніи въ жизнь своихъ писаній и словъ, но въ самихъ словахъ таился страшный ядъ, — какой именно — вполне очевидно съ перваго взгляда.

Хомяковъ европейскимъ государствамъ приписывалъ идею личной собственности, какъ личнаго пользованія, основательнѣе онъ могъ бы эту идею приписать европейскимъ социальнымъ преобразователямъ начала XIX-го вѣка, прежде всего сенъ-симонистамъ. Однимъ изъ прямыхъ путей, ведущихъ къ спасенію современнаго общества, они считали утвержденіе правъ собственности на всѣ орудія труда и въ томъ числѣ на землю — за государствомъ и отождествленіе личной собственности съ личной службой обществу. Пользованіе матеріальными предметами должно распредѣляться по способностямъ и работѣ каждаго члена общества и право завѣщанія и наслѣдованія должно исчезнуть: единственнымъ наслѣдникомъ накапливаемыхъ богатствъ будетъ община, т. е. тоже государство <sup>220</sup>).

Сходство этого ученія съ славянофильскимъ несомнѣнно: славянофилы, конечно, не касались вопроса о завѣщаніи, занимавшего одинъ изъ важнѣйшихъ пунктовъ въ сенъ-симонистской программѣ, но идея объ общественной собственности и личномъ пользованіи, идея націонализаціи земли не замедлила навести русскихъ крѣпостниковъ на грозную параллель.

Одинъ изъ реакціонныхъ органовъ шестидесятыхъ годовъ, газета *Внѣсть* упорно преслѣдовала славянофиловъ, какъ русскихъ сенъ-симонистовъ, и печатала громкія улики на тему «сенъ-симонизмъ славянофиловъ доказанъ» и наивно признавалась: «нѣтъ у насъ иного, болѣе непримиримаго врага, какъ славянофильская партія съ газетой *День*». Почему, — газета объясняла чрезвычайно горячо и съ такой прозрачностью политики, какая сдѣлала бы честь отечественнымъ «охранителямъ» всѣхъ эпохъ и поколѣній.

«Всего ужаснѣе для насъ, — писала *Внѣсть*, — то, что, будучи

<sup>220</sup>) *Doctrine de Saint-Simon. Exposition. Première année. Paris 1830. p. 183 etc.*

самою радикальною изъ всѣхъ существующихъ газетъ и журналовъ, *День* драпируется въ мантию православія, древняго монархизма и народности. Скажи онъ откровенно, что онъ стоитъ за Сень-Симона и Фурье, намъ было бы легче и спокойнѣе. Онъ не былъ бы такъ опасенъ для простодушныхъ и легковѣрныхъ. Красное знамя испугало бы многихъ изъ его нынѣшнихъ поклонниковъ. Но все горе, вся бѣда, все несчастіе и коренится именно въ томъ, что онъ выставляетъ себя охранителемъ православія, монархii и народности. Мы же положительно убѣдились, что между славянофильствомъ и ученіемъ сень симонистовъ нѣтъ существенной разницы... *День* какъ бы не признаетъ права собственности...

«Извѣстно, съ какою энергіей *Московскія Вѣдомости* преслѣдуютъ *украинофильство*, какъ направленіе, враждебное Россіи. Не пора ли раскрыть глаза и перестать обманывать себя невинностью и простодушіемъ славянофильства! Не пора ли, наконецъ, признать въ нихъ направленіе, способное при дальнѣйшемъ развитіи подорвать всѣ основы, на которыхъ зиждется общественный порядокъ просвѣщенныхъ государствъ?»

И газета предлагала любимое слово славянофиловъ «общественникъ» замѣнить другимъ. Газета ясно подсказывала какимъ—соціалистъ или просто революціонеръ <sup>221)</sup>.

Такой опасностью грозилъ журналъ Ивана Аксакова. И реакцію особенно раздражала именно идея *общественности*. Она противоположна понятію *государственности*, слѣдовательно, на взглядъ *Вѣсти*, революціонна <sup>222)</sup>.

Реакціонеры, разумѣется, сгущали краски и негодовали не столько въ интересахъ государственности, сколько крѣпостничества, но славянофилы, несомнѣнно, могли вызвать такое теченіе мыслей, стоило только «общинное владѣніе», т. е. защиту крестьянской русской общины, отождествить съ социализмомъ, какъ отрицаніемъ «личной собственности».

Что касается *государственности*, здѣсь славянофилы также были грѣшны, хотя опять не такимъ смертнымъ грѣхомъ, какой приписывали имъ враги.

Задолго до уликъ *Вѣсти* славянофилы встрѣтили обличителя совершенно неожиданно. Смирнова должна была многому сочтун-

<sup>221)</sup> *Вѣсти*. 1863, № 10.

<sup>222)</sup> *Вѣсть*. 1863, № 8, 29 севт., стр. 13.

<sup>223)</sup> *Вѣсть*. № 6, стр. 9.

ствовать въ славянофильскихъ увлеченіяхъ, прежде всего культу Гоголя, но и ее осынило ясновидѣніе по части славянофильской политики.

Она коротко и сильно изложила ея программу: «Ненависть къ власти, къ общественнымъ привилегіямъ, къ высокому рожденію и богатству—таковая-то отвлеченная страсть къ идеальному русскому, таящемуся въ бородѣ,—вотъ начало этихъ господъ. Не коммунизмъ ли это со всѣми своими гадостями, т. е. коммунизмъ Жоржъ Занда?» <sup>224)</sup>.

Вотъ до чего оказалось возможнымъ договориться! И особенно любопытна «ненависть къ власти». Источникъ обвиненія въ критикѣ, какой славянофилы подвергали крутыя мѣры Петра—цивилизовать Россію по-европейски. Они возставали противъ мысли Карамзина, одного изъ своихъ родоначальниковъ, будто реформа Петра—воспитаніе *трубаго и невѣжественнаго народа просвѣщеннымъ правительствомъ*. Народъ, по взгляду Ивана Кирѣевского—*разумъ*, а правительство—*народная воля*, и Петръ, «*подражая чужому образу дѣйствій*», не стоялъ выше своего народа, потому что воля не можетъ быть *умнее разума* <sup>225)</sup>.

За этими бездоказательными и смутными отвлеченностями стояло глубокое чувство уваженія къ народному сознанію и свободной нравственной стихіи народа. Бѣда заключалась только въ томъ, что стихія эта оставалась искомымъ неизвѣстнымъ и опредѣлять ее приходилось отрицательнымъ путемъ, т. е. подвергая критикѣ «насилія Петра», подражательность и отсутствіе патріотизма у западниковъ. Лишь только заходилъ вопросъ о положительномъ выясненіи *русскаго народнаго духа*, славянофильская рѣчь или впадала въ выспренный тонъ и вѣщала объ *истинно-христіанскихъ* началахъ какой-то миенческой истинно-русской образованности или договаривалась до удѣльнаго періода и «москвобѣсія».

Но все это, мы видимъ, не мѣшало развитію славянофильской политики, энергичной и разносторонней, вызывавшей жестокую ненависть у враговъ свободной мысли и государственныхъ преобразованій на основахъ гуманности и справедливости. Можно было опровергать славянофильскіе историческіе выводы въ пользу общины, можно было очень многое возразить противъ обвиненій Петра въ разрывѣ съ народомъ, но одна идея создавала положительный

<sup>224)</sup> Р. Ст. 1890, авг. 285. Н. В. Гоголь. Письма къ нему А. О. Смирновой.

<sup>225)</sup> Письмо къ Погодину, у Барсукова. VIII, 224, 1845 годъ.

практическій выводъ для современности, приводила къ требованію надѣленія крестьянъ землей при отмѣнѣ крѣпостнаго права, другая указывала на дѣйствительную пропасть между правящей интеллигенціей, т. е. чиновничествомъ и народомъ, его бытомъ и его дѣйствительными нуждами. Здѣсь славянофилы выдвигали на первый планъ принципъ народности и общественности, принципъ непосредственнаго проникновения въ народную жизнь въ противобѣдъ канцелярскому и административному формализму и самовластію.

Современное значеніе славянофильскихъ идей выяснялось медленно. Въ первый разъ вопросъ о крѣпостномъ правѣ затрогивается Хомяковымъ въ 1842 году. Его статьи *О сельскихъ условіяхъ* появляются въ *Москвитянинѣ* и вызываютъ большой интересъ въ обществѣ и у власти. Хомяковъ писалъ по поводу закона объ обязанныхъ крестьянахъ, уполномочивавшаго помѣщиковъ предоставлять крестьянамъ личную свободу, надѣлять ихъ землею за опредѣленные повинности. Законъ предоставлялъ взаимнымъ соглашеніямъ крестьянъ съ помѣщиками опредѣлять размѣры надѣла и даже замѣнять повинности барщиной, въ то же время подтверждалъ права помѣщиковъ на землю, занимаемую обязанными крестьянами. Указъ было перепугалъ сначала помѣщиковъ, но вскорѣ обнаружилъ свой болѣе чѣмъ платоническій характеръ, укрѣпилъ у помѣщиковъ мысль объ ихъ исключительныхъ правахъ земельной собственности и въ одномъ отношеніи только принесъ пользу идеѣ преобразованія старыхъ отношеній: вызвалъ въ обществѣ усиленные толки о крѣпостномъ правѣ. Однимъ изъ отголосковъ этого движенія и является полемика, созданная статьями Хомякова въ *Отечественныхъ Запискахъ* и въ томъ же *Москвитянинѣ*. Poleмика разъясняла вопросъ о сдѣлкахъ, какія были возможны между помѣщиками и крестьянами на основаніи новаго закона. Хомяковъ ни единымъ словомъ не критиковалъ закона и позволилъ себѣ только одно общее заявленіе: «въ наше время возникло въ Россіи новое требованіе, основанное на началахъ нравственныхъ и утвержденное на хозяйственныхъ разчетахъ, требованіе положительныхъ и правомѣрныхъ отношеній между землевладѣльцами и поселянами» <sup>226</sup>).

Какъ ни благонамѣренны были рассужденія автора, гр. Бен-

<sup>226</sup>) Вторая статья въ № 10 *Москвитянина*. *Еще о сельскихъ условіяхъ*. Сочиненія I, 423.

кендорфъ посигѣшилъ сдѣлать запросъ Уварову, съ его ли вѣдома напечатана статья? Уваровъ отвѣтилъ обѣщаніемъ сдѣлать общее распоряженіе по цензурѣ—не пропускать въ печати, безъ предварительнаго представленія на разрѣшеніе высшаго начальства, ничего, касающагося указа объ обязанныхъ крестьянахъ <sup>227)</sup>.

Пришлось замолчать, и до второй половины сороковыхъ годовъ печать не касается вопроса о крѣпостномъ правѣ. Только съ 1847 года общественное мнѣніе постепенно обнаруживается и Бѣлинскій въ концѣ этого года радостно отмѣтилъ участіе литературы, хотя и «робкое», въ преобразовательномъ движеніи <sup>228)</sup>.

Критикъ могъ здѣсь сойтись съ славянофильскими настроеніями, нисколько не насилуя своихъ западническихъ сочувствій. Но случай, мы видимъ, представился очень поздно, передъ самой смертью Бѣлинскаго. Славянофилы дѣйствительно вступали на *политическій* путь, подозрительный въ глазахъ власти, и скоро должны были превратиться въ гонимую партію, насколько вопросъ касался внутренней политики Россіи.

Но раньше этого преобразованія и одновременно съ нимъ славянофильство не утрачивало своей изнанки и не сбрасывало окончательно уродливаго облика — презрѣнія къ гнилому Западу, вообще узко-націоналистической слѣпой односторонности въ культурныхъ вопросахъ. И здѣсь *Москвитянинъ* Погодина оказывалъ несчастнѣйшую услугу славянофильству, компрометируя всю партію своей дикостью и шутловствомъ. Именно своеобразной политикѣ *Москвитянина* славянофилы обязаны упорной враждой западниковъ и страстнымъ негодованіемъ Бѣлинскаго.

### XXXIX.

Герценъ партію *Москвитянина* считалъ университетскою и даже *правительственною* въ отличіе отъ другихъ независимыхъ славянофиловъ. Погодинъ и Шевыревъ, по словамъ Герцена, несомнѣнно отличались отъ Булгарина и Греча, господъ съ «ливрейной кокардой» вмѣсто «мнѣнія»: московскіе профессора были «добросовѣстно работѣльны» <sup>229)</sup>.

Отзывъ вполне справедливый. Можно подивиться отвагѣ двухъ ченыхъ мужей, щеговавшихъ съ поразительной наивностью и от-

<sup>227)</sup> Барсуковъ. VI, 274—5.

<sup>228)</sup> Въ письмѣ къ Анненкову. О. с., стр. 603.

<sup>229)</sup> Герценъ. VII, 307—8.



кровенностью чувствами младенческаго и отчасти благоаннаго патриотизма.

Въ первомъ номерѣ *Москвитянина* въ первый годъ изданія Шевыревъ помѣстилъ руководящую статью *Взглядъ русскаго на образованіе Европы*. Мысли статьи остались неизмѣнными вдохновительницами журнала, за исключеніемъ краткаго промежутка редакторства Кирѣевскаго. Статья, несомнѣнно, виновница величайшихъ недоразумѣній, какія только вызывало славянофильство въ западномъ лагерѣ. Мы знаемъ, ни Аксаковы, ни Кирѣевскіе, ни Хомяковъ въ теченіе сороковыхъ годовъ не проклинали Запада, не хоронили его заживо и не считали его цивилизаціи безусловно заразительной и ядовитой. Шевыревъ именно эти проклятія положилъ въ основу своей философіи и разсужденіе превратилъ въ какое-то желчное кликушество. Слова трупъ, ядъ, развратъ, оргія, чувственность пестрятъ статью и не оставляютъ ни одного проблеска въ сплошной содомской тьмѣ, облегающей, будто бы, западную Европу <sup>220</sup>).

Какое чувство подобное упражненіе должно было вызвать у людей въ родѣ Бѣлинскаго показываютъ впечатлѣнія неизмѣримо болѣе мирнаго и осторожнаго человѣка—профессора Никитенко. Онъ въ своемъ дневникѣ произнесъ уничтожающій судъ надъ «младенчествующей самодѣятельностью» московскихъ философовъ <sup>221</sup>). Бѣлинскій, разумѣется, не могъ ограничиться подобнымъ приговоромъ и долженъ былъ загорѣться пожирающимъ пламенемъ негодованія и презрѣнія...

Шевыревъ не переставалъ воевать въ томъ же направленіи. Ему ничего не стоило реформацію и революцію обозвать просто болѣзнями и на томъ покончить съ исторіей Запада. Какой практическій смыслъ имѣла эта философія доказывали извѣстные намъ политическіе пріемы *Москвитянина* и въ особенности гражданское поведеніе обоихъ профессоровъ.

Оно во всемъ блескѣ обнаружилось по поводу маскарадныхъ празднествъ, устроенныхъ супругой московскаго генералъ-губернатора графа Закревскаго. Эпизодъ произвелъ на современниковъ живѣйшее впечатлѣніе, Бѣлинскій уже былъ въ могилѣ, но *Москвитянинъ* въ теченіе многихъ лѣтъ послѣдовательно подготовлялъ этотъ апофеозъ своей политики.

<sup>220</sup>) *Москвитянинъ*, № 1, 1841 года.

<sup>221</sup>) *Записки и дневникъ*. I, 417—8.

Торжество началось статьей Погодина: *Нѣсколько словъ о значеніи русской одежды сравнительно съ европейской*. Статья дышала энтузіазмомъ, доказывала, что русская одежда умнѣ европейской, живописнѣе, разнообразнѣе и вообще неопишима по своимъ достоинствамъ. Потомъ слѣдовало описаніе самого маскарада: оно принадлежало перу Шевырева и блистало всѣми красками краснорѣчія, свойственнаго профессору. «Русскій духъ во-очію совершился», восклицалъ, въ свою очередь, Погодинъ, и *Москвитянинъ* звонилъ во всѣ колокола во славу сарафановъ. Предлагался подробнѣйшій списокъ «красныхъ дѣвицъ» и «добрыхъ молодцевъ», презрѣвшихъ по случаю маскарада европейскіе костюмы.

Вскорѣ пріѣхалъ въ Москву государь, маскарадъ повторился и *Москвитянинъ* снова впалъ въ пѣнитическое пѣнство, съ необыкновенной граціей изображая «правильность и полноту движеній» героевъ танцевъ.

Но ироническая судьба готовила жестокій ударъ. Едва профессора успѣли перевести духъ въ приливъ восторга, изъ Петербурга послѣдовало распоряженіе сбрить дворянамъ бороды и изгнать изъ употребленія русское платье. Славянофилы пріуныли, Сергѣй Аксаковъ горько жаловался на гибель «русскаго направленія» и на «предательство». Константинъ Аксаковъ продолжалъ нѣкоторое время щеголять въ бородѣ. Шевыревъ энергично возсталъ на такую оппозицію и въ письмѣ къ Погодину обозвалъ смѣльчака «дуракомъ»<sup>222</sup>).

Такъ прискорбно окончилось кратковременное торжество «русскаго духа!»

Случались и болѣе мелкія, но крайне досадныя огорченія. Петербургъ не уставалъ оканивать холодной водой патріотическій и національный жаръ московскихъ профессоровъ.

Сначала *Москвитянинъ* встрѣтилъ поощреніе: имъ заинтересовалось высшее общество, Уваровъ велѣлъ гимназіямъ подписываться на журналъ, рекомендовалъ попечителямъ, представилъ его даже государю. Но все опять выходило «предательствомъ».

Прежде всего Бенкендорфъ не давалъ Уварову покою своими жалобами и уже на третьемъ номерѣ предлагалъ «воспретить» изданіе. Причина негодования—анекдоты, напечатанныя въ *Смѣси* и неуважительныя къ «сословію чиновниковъ». Уваровъ прину-

<sup>222</sup>) Барсуковъ. X, 198, 205, 227, 251 etc.

жденъ былъ ссылаться на гоголевскаго *Ревизора*... Потомъ самъ Уваровъ возмущился беллетристикою *Москвитянина*, опасной для «молодыхъ людей». Наконецъ, московская цензура изводила Погодина оскорбительнѣйшими придирками: онъ, какъ «православный русскій профессоръ», не смѣлъ говорить о Мицкевичѣ и о встрѣчѣ съ нимъ, не могъ напечатать своего похвальнаго слова Петру, стиховъ Языкова на памятникъ Карамзину, не могъ свободно употреблять слово православіе, потому что цензура подъ нимъ разумѣла самодержавіе, не могъ говорить о развитіи жизни, потому что это означало «представительное правленіе...»

Тогда, наконецъ, не выдерживалъ русскій патріотъ и писалъ совсѣмъ «неблагонамѣренныя» вещи, конечно, въ «Дневникѣ» браня цензуру и вносясь слѣдующее «замѣчательное слово» гр. А. П. Толстого:

«Живя въ Парижѣ, собираешься сказать то и другое, сдѣлать также, подѣдешь къ границѣ, жаръ простываетъ, пройдеши дальше, чувствуешь совсѣмъ ужъ не то, а ввалишься въ Петербургъ, такъ и почувствуешь такое подлое трясеніе подъ жилами. что изъ рукъ вонъ» <sup>232</sup>).

Случалось Погодину обнаруживать нѣкоторую терпимость къ Западу и даже говорить о «должномъ уваженіи къ его историческому значенію». Очевидно, суровая дѣйствительность мало соотвѣтствовала восторженнымъ національнымъ настроеніямъ, и подчасъ бѣдный «словеніи» заставляетъ читателя думать, что онъ прославляетъ «русскій духъ» больше изъ личнаго самолюбія—остаться вѣрнымъ принципу.

Публика до конца не щадила привилегированныхъ патріотовъ. Ни одинъ славянофильскій органъ не вызвалъ у нея интереса и простаго вниманія. Петербургскій *Маякъ*, подвизавшійся одновременно съ *Москвитяниномъ*, представлялъ еще болѣе крайнее крыло славянофильства, чѣмъ погодинскій журналъ. Въ его глазахъ даже Ломоносовъ и Державинъ являлись зараженными западною ересью, и даже Кирѣевскій въ *Москвитянинѣ* принужденъ былъ дать неблагоприятный отзывъ, возстать на его презрительные отзывы о Пушкинѣ, на его варварскій языкъ и вообще «странныя понятія».

Въ годъ смерти Бѣлинскаго въ Петербургѣ возникло *Сверное Обозрѣніе* подъ негласной редакціей Василія Григорьева, оріенталиста, товарища Грановскаго по петербургскому университету,

<sup>232</sup>) Гб., VII, 110.

впослѣдствіи поразившаго русскихъ читателей памфлетическоѣ статей въ *Русской Бесѣдѣ* Кошелева—Т. Н. Грановскій до *его профессорства въ Москвѣ*. Статья даже у Шевырева вызвала «омерзѣніе», Константинъ Аксаковъ поспѣшилъ печатно отозваться о Грановскомъ въ совершенно противоположномъ тонѣ, Естественнo, Григорьевъ, какъ самостоятельный редакторъ, не пощадилъ западниковъ, распространяя, по его выраженію, «религіозно-патріотическій духъ». Публика осталась глуха къ призыву, и журналъ Григорьева умеръ послѣ кратковременной агоніи <sup>224)</sup>.

Университетское славянофильство въ борьбѣ съ европейскимъ ядомъ не ограничилось журналистикой. Еще болѣе горячее и шумное столкновеніе партій произошло на другомъ поприщѣ, въ высшей степени любопытномъ при гнетущей атмосферѣ сороковыхъ годовъ, при инквизиціонномъ настроеніи властей, слѣдившихъ за развитіемъ русскаго слова и мысли.

## XL.

Грановскій первый перенесъ борьбу на широкую общественную сцену и вмѣсто салонныхъ и кабинетныхъ дуэлей открылъ курсъ публичныхъ лекцій въ ноябрѣ 1843 года. Приготовляясь къ чтенію, Грановскій не скрывалъ, что это бой и писалъ Кетчеру: «хочу полемизировать, ругаться и оскорблять... Постараюсь заслужить и оправдать вражду моихъ враговъ» <sup>225)</sup>.

Темой лекцій были выбраны средніе вѣка, и рѣшеніе Грановскаго полемизировать и ругаться слѣдуетъ понимать очень относительно. Въ томъ же письмѣ онъ выходитъ изъ себя противъ слишкомъ рѣзкой статьи Бѣлинскаго, находитъ въ ней «азіатскія, монголо-манчжурскія формы» и возмущается «цинизмомъ выраженій». Очевидно, у самого Грановскаго формы будутъ совершенно европейскія, тѣмъ болѣе, что на первыхъ лекціяхъ молодой ученый совершенно растерялся и едва нашелъ силы приступить къ чтенію.

Успѣхъ былъ блестящій. Предъ нами свидѣтельства Герцена и Хомякова, оба свидѣтеля единодушны и восторженны, недовольными остались Погодинъ и Шевыревъ <sup>226)</sup>. Послѣдній имѣлъ всѣ

<sup>224)</sup> Разсказъ самого Григорьева о судьбѣ его журнала въ письмѣ къ Кошелеву. Коллюпановъ. О. с. II, 261.

<sup>225)</sup> Грановскій. II, 459.

<sup>226)</sup> Отзывъ Герцена былъ напечатанъ въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ*, № 142, 1843 года. Перепечатанъ въ *Воспоминаніяхъ Пассекъ — Изъ дальнихъ лѣтъ*, II, 353.

основанія: Грановскій самъ сознается, что нѣсколько разъ выводилъ его на сцену, говоря о риторакъ, объ язычникахъ-старовѣрахъ.

Друзья принялись разглашать по Москвѣ, что Грановскій оставляетъ безъ вниманія Русь и Православіе. Говоръ обезпокоилъ Филарета. Грановскій рѣшилъ отвѣчать публично и сдѣлалъ это предъ своей аудиторіей послѣ лекціи, указавъ на негѣпость господъ, обвиняющихъ его въ пристрастіи къ Западу и требующихъ, чтобы онъ въ исторіи Запада читалъ о Россіи. Громъ рукоплесканій былъ отвѣтомъ.

Герценъ поспѣшилъ дать отчетъ сначала о первой лекціи Грановскаго, потомъ обо всемъ курсѣ. Вторую статью попечитель гр. Строгановъ не разрѣшилъ напечатать въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* и она появилась въ *Москвитянникѣ*, гдѣ Шевыревъ уже успѣлъ по своему разработать вопросъ. Это не помѣшало Герцену высказать нѣсколько мыслей, не утратившихъ своего значенія до послѣднихъ дней. Лекціи Грановскаго выдвинули на очередь одну изъ самыхъ существенныхъ задачъ русской науки и уже этого факта достаточно, чтобы чтенія остались событіемъ въ исторіи нашего общества.

Герценъ настаивалъ на открытіи новаго пути умственныхъ вліяній университета, на новомъ сближеніи его съ Москвой. «У насъ,—писалъ онъ,—не можетъ быть науки, разъединенной съ жизнью: это противно нашему характеру; потому всякое сближеніе университета съ обществомъ имѣетъ значеніе и важно для обоихъ. Преподаваніе, для пріобрѣтенія сочувствія, должно очиститься отъ школьнаго формализма, оно должно изъ холодной замкнутости сухихъ односторонностей выйти въ жизнь дѣйствительности, взволноваться ея вопросами, устремиться къ ея стремленіямъ. Общество должно забыть суету ежедневности и подняться въ среду общихъ интересовъ для того, чтобы слушать преподаваніе. Оно готово это сдѣлать. Такъ общества вѣрнее: все живое и сочувствующее ему находитъ въ немъ неминуемое признаніе, курсъ Грановскаго лучшее доказательство<sup>227)</sup>».

Но этотъ успѣхъ не прошелъ даромъ. Отъ Грановскаго потребовали «апологій и оправданій въ видѣ лекцій, настаивали, чтобы реформацію и революцію онъ излагалъ съ католической точки зрѣнія и «какъ шаги назадъ». Грановскій предложилъ вовсе не читать

<sup>227)</sup> Изъ дальнѣйш. *Ид.*, стр. 361.

о революціи, но реформаціи уступить не рѣшился и сталъ помышлять о выходѣ въ отставку, такъ какъ Строгановъ заявилъ, что «имъ нужно православныхъ» <sup>228</sup>).

Не дремали и славянофилы. Шевыревъ не могъ помириться на единоличномъ торжествѣ Грановскаго и открылъ свой православный и патріотическій курсъ лекцій. Готовился онъ молитвой надъ частицей мощей первоучителя словенскаго Кирилла, чтеніемъ его житія и «лекція,—говоритъ Шевыревъ,—была его внушеніемъ». Лекціи произвели на всѣхъ славянофиловъ отрадное впечатлѣніе, Языковъ воспѣлъ ихъ стихами, но Хомяковъ долженъ былъ засвидѣтельствовать печальный фактъ: «ряды нашихъ друзей оказались необычайно рѣдкими и дружина ничтожною». Университетъ и публика принадлежали Западу, и особенно молодое поколѣніе.

Это блистательно обнаружилось на диспутѣ Грановскаго.

Диссертация его—*Воллинъ, Йомбургъ и Винета*, отвергавшая легенду о великомъ торговомъ центрѣ прибалтійскихъ славянъ—городѣ Винетѣ, проходила факультетъ съ большими затрудненіями. Славянофилы намѣревались ее вернуть, но, убоявшись скандала, допустили диспутъ. Оппонентами выступили ученый славистъ Бодяскій и Шевыревъ. Первые же слова Бодяскаго были встрѣчены шиканьемъ, оно не прекращалось, пока оппонентъ не прервалъ окончательно своихъ возраженій. Та же участь постигла Шевырева. Рѣдкий, вмѣшавшійся въ диспутъ за Грановскаго, былъ награжденъ рукоплесканіями. Диспутъ совершенно утратилъ ученый характеръ и превратился въ шумное общественное зрѣлище. Деканъ Дзвыдовъ, по словамъ очевидца, «произнесъ ехидную заключительную рѣчь, гдѣ не сказалъ почти ничего ни о достоинствѣ диссертации, ни объ ученыхъ заслугахъ профессора, распространился о томъ, что преимущественно присудило магистранту ученую степень такъ настойчиво и необычно заявленное сочувствіе слушателей».

Эти слушатели съ громомъ аплодисментовъ подняли новаго магистра на руки.

Думали они повторить привѣтствія и на ближайшей лекціи. Грановскій, по просьбѣ инспектора, предупредилъ студентовъ почувствовавшей рѣчью <sup>229</sup>).

Славяне не унялись. Москва вновь заговорила объ янтригахъ

<sup>228</sup>) Письмо къ Кетчеру, 14 янв. 1844 г. О. с. П, 462—3.

<sup>229</sup>) Коллюпановъ. *Изъ прошлаго. Русское Обозрѣніе*. 1895, апрѣль, 539 etc.

Грановскаго, объ его измѣнѣ отечеству, о статьяхъ Бѣлинскаго, подрывающихъ народность, семейную нравственность и православіе.

Очевидно, славянофильскій лагерь, по крайней мѣрѣ дѣйствовавшій на открытой литературной и научной сценѣ, никакъ не могъ уклониться отъ роли быть «добровольнымъ помощникомъ жандармовъ»<sup>240</sup>). И намъ ясно, въ какомъ источникѣ брали начало яростныя рѣчи западниковъ, что заставляло ихъ часто закрывать глаза на положительныя стороны славянофильскаго ученія и сплошь громить его, какъ варварство и мракобѣсіе или какъ ложь и лицемеріе.

Мы видѣли, пороками и недугами далеко не исчерпывалось славянофильское міросозерцаніе и славянофильская политика. И мы дальше увидимъ, сколько общихъ идей было у западниковъ съ восточниками. Но эти идеи будто заранѣе были осуждены вращаться въ дурномъ обществѣ и заражаться дурнымъ запахомъ. Правда, было здѣсь и одно великое смягчающее обстоятельство; мы не должны его забывать, если не желаемъ впасть въ пристрастіе.

Славянофилы по существу изнывали надъ рѣшеніемъ той самой задачи, какая истерзала великій талантъ Гоголя. Онъ искалъ идеальнаго русскаго человѣка, дивнаго славянскаго мужа и чудную славянскую женщину, и поиски окончились жестокой душевной драмой самого художника. Онъ пытался говорить громовыя рѣчи, показать своей родинойъ величественный образъ ея лучшаго сына, и какимъ безпомощнымъ, искусственнымъ является *этотъ* Гоголь, сравнительно съ *тѣмъ*!—съ Гоголемъ сатиры и отрицанія, осмѣивавшимъ «добродѣтельнаго человѣка» и взлелеявшимъ Чичикова!

Подобная же участь постигла и славянофиловъ. Мы говоримъ о тѣхъ, чья искренность и благородство мысли въ сомнѣніи и кто дѣйствительно искалъ истины съ мучительною тоскою души и съ напряженіемъ всѣхъ нравственныхъ силъ.

Они также неотразимы и побѣдоносны, пока предъ ихъ судомъ проходили всевозможныя несовершенства, неразуміе и пошлость отечественнаго чужебѣсія. Здѣсь славянофилы шли исконнымъ путемъ національнаго чувства и здраваго смысла, вдохновлявшихъ русскую сатиру въ теченіе вѣка.

Сатирики далеко не всегда выдерживали спокойный тонъ и не ограничивались правосудной карой туземныхъ уродовъ, а рас-

<sup>240</sup>) Выраженіе Герцена.

пространяли свой гнѣвъ и на тѣхъ, кто соблазнялъ слабыхъ умомъ Иванушекъ и, въ противовѣсъ ихъ недугу подражанія, воздвигали культъ «святой старины», объявляли гоненіе на писателей-разбойниковъ, воспѣвали даже китайскія добродѣтели вплоть до московскихъ охабней и мурмолокъ, не находили словъ достойно выразить восторгъ предъ смѣтливостью ярославскаго мужика, очарованіями русской тройки и единственной въ мірѣ силой русской рѣчи и проницательности русскаго ума.

Путь этотъ совершали писатели-художники, вовсе не зараженные какой бы то ни было политической тенденціей и совершенно свободные отъ нарочито-вымышленной исторической философіи. Естественнo было людямъ отвлеченной мысли, стремившимся къ цѣльной системѣ нравственныхъ и культурныхъ воззрѣній, перейти границы критики и, подобно тому же Гоголю, послѣ насмѣшекъ надъ отечественнымъ попугайствомъ, положить всѣ свои силы на созданіе положительнаго образа русскаго гражданина.

Результаты вышли тѣ же.

Геніальный художникъ выбился изъ силъ, оживотворяя свою схему плотью и кровью. Славянофилы углубились въ темную даль вѣковъ настоящей Руси, разыскивая по всѣмъ направленіямъ русской жизни, во всѣхъ намекахъ русскихъ преданій—національную доблесть. Предъ ними стоялъ несравненно болѣе внушительный врагъ, чѣмъ разнаго сорта Jean de France, чѣмъ пошлые франты и щеголихи, кривляющіеся на чужихъ діалектахъ. Въ Москвѣ, единственной надеждѣ «любви къ отечеству» и «народной гордости», раздалась убійственная рѣчь противъ всей русской старины, противъ даже культурныхъ задатковъ русской природы. Письма Чаадаева никто не забывалъ и не могъ забыть. Самъ авторъ многіе годы продолжалъ оставаться живымъ олицетвореніемъ западничества, дошедшаго до безнадежныхъ думъ о прошломъ Россіи.

Уже по одному закону противорѣчія и равнoсильнаго отпора, та же Москва должна вызвать къ жизни Чаадаевыхъ совершенно другихъ чувствъ и воззрѣній и, мы видѣли, Константинъ Аксаковъ могъ поспорить съ грибоѣдовскимъ Чацкимъ страстностью національнаго настроенія и неизмѣримо превзойти его устойчивостью и основательностью національной философіи. Тамъ—взрывъ оскорбленнаго чувства, здѣсь—система, воинственная и послѣдовательная.

Мы видимъ, психологія славянофильства—явленіе совершенно



ясное, неизбежное по историческимъ условіямъ русскаго просвѣщенія. Но столь же неизбежны и печальныя послѣдствія этой психологіи.

Они, въ зависимости отъ нравственныхъ свойствъ отдѣльныхъ личностей,—двойки, и опять не подъ вліяніемъ исключительно партійныхъ внушеній, а по тѣмъ же общимъ законамъ человѣческаго духовнаго міра.

Самоотверженные поиски въ удѣльной и московской Руси идеаловъ, имѣющихъ спасти вселенную отъ умственного раздвоенія и душевной тяготы, не могли привести къ желанной цѣли. Только развѣ золотые сны поэтически настроеннаго воображенія способны были явить неслыханныя чудеса исключительно прекрасной русской образованности, затмевающей всю европейскую цивилизацію. Добросовѣстные и искренніе искатели клада скоро убѣдились въ горькой правдѣ и волей-неволей видѣли себя вынужденными ограничиться вполнѣ цѣлесообразной, но исключительно отрицательной задачей—критикой слѣпноты европеизма и общей защитой народности и національности, т. е. настаивать на близкомъ знакомствѣ русскихъ просвѣщенныхъ людей съ жизнью и природой своего народа.

Но такой результатъ не могъ удовлетворить именно самыхъ благородныхъ и искреннихъ энтузіастовъ. Драма неминуемо вкрадывалась въ это, самой дѣйствительностью, навязанное воззрѣніе. Отсюда тяжелое, истинно-трагическое впечатлѣніе, какое нѣкоторые славянофилы производили даже на людей другого лагеря.

Такъ, наприимѣръ, Герценъ рисуетъ братьевъ Кирѣевскихъ. Это по истинѣ чета рыцарей, не признанныхъ жизнью, лишенныхъ воздуха и почвы въ настоящемъ и будущемъ.

«Грустно, какъ будто слеза еще не обсохла, будто вчера посѣтило несчастье, появлялись оба брата на бесѣды и сходы. Я смотрѣлъ на Ивана Васильевича, какъ на вдову или на мать, лишившуюся сына; жизнь обманула его, впереди все было пусто и одно утѣшеніе:

Погоди немного,  
Отдохнешь и ты!..» <sup>241)</sup>.

Но грусть, у натуры энергичной, можетъ граничить и съ другимъ настроеніемъ. Чувство горькаго самообмана и разочарованія переходитъ нерѣдко въ невольное озлобленіе на тѣхъ, кому уда-

<sup>241)</sup> Герценъ. VII, 301.

люсь найти нравственное довольство и успокоительные отвѣты на свои поиски. И тѣ же Кирѣевскіе столь симпатичные въ своихъ поблѣкшихъ мечтахъ юности, превращались если не въ фанатиковъ, то въ нетерпимыхъ хулителей чужой вѣры и чужихъ истинъ. И насъ не удивляетъ негодованіе, какое Иванъ Кирѣевскій вызывалъ въ послѣдствіи у Грановскаго прямолинейностью чисто сектантской религіозности... У кого нѣтъ личнаго душевнаго мира, тому много надо самоотреченія и человѣческой любви къ людямъ, чтобы въ самомъ себѣ переживать разладъ и не выносить наружу его отголосковъ нетерпѣливыми окриками на увлеченія и надежды инако мыслящихъ.

Но это только одно проявленіе славянофильскихъ нравственныхъ крушеній. Рядомъ долженъ былъ обнаружиться другой способъ—маскировать отсутствіе твердыхъ убѣжденій и опредѣленнаго искренне-воспринятаго символа философской вѣры. Въ обыденной жизни безпрестанно можно встрѣчать людей, даже сильныхъ волей и разумомъ, служащихъ извѣстному дѣлу съ какой-то холодной окаменѣлой жестокостью и чуждыхъ душою этому дѣлу. Это будто извѣтъ навязанный урокъ, выполняемый съ насильственнымъ напряженіемъ способностей. Тогда человѣкъ за свою тяготу вознаграждаетъ себя откровенной злобой и ожесточеніемъ на другихъ, свободныхъ отъ непосильнаго бремени. Азартомъ ненавистническаго чувства противъ враждебнаго лагеря онъ прикрываетъ призрачность и тщедушіе положительнаго идеала въ своемъ собственномъ, и весьма часто безпощадные фанатики сражаются во славу именно тѣхъ идей и вѣрованій, какія по волѣ судьбы стали для нихъ цѣлью обязательной службы и никогда не были предметомъ нравственнаго служенія.

Это явленіе и даже въ очень яркой формѣ могли прослѣдить и въ развитіи славянофильской воинственности.

Мы знаемъ, среди славянофиловъ никогда не прекращались междусобицы, и особенно, никогда не закрывалась пропасть между университетскимъ, офиціальнымъ славянофильствомъ въ лицѣ Погодина и Шевырева, и общественнымъ, такъ сказать, вольнымъ славянофильствомъ. Аксаковы, Кирѣевскіе, Хомяковъ даже не скрывали своего мнѣнія всего почтительнаго отношенія къ *Москвитяину* и его писателямъ. Это было раздоромъ не столько принциповъ, сколько натуръ.

Погодинъ и Шевыревъ именно состояли *на службѣ* у славянофильскаго направленія и, какъ истинные служители, ежеминутно

грозили скомпрометировать и опозлить его своимъ служительскимъ усердіемъ.

Такъ это и выходило на самомъ дѣлѣ.

*Москвитянинъ* обнаруживалъ одинаково унижительную безтактность и по отношенію къ власти и въ борьбѣ съ западниками. Тамъ онъ безпрестанно готовъ впасть въ раболопство, до глубины души возмущавшее Аксаковыхъ, воспѣть маскарадъ, сложить пышное похвальное слово по поводу событій, о какихъ дѣйствительно-политическій умъ, по крайней мѣрѣ, умолчалъ бы. Въ столкновеніяхъ съ западниками предъ *Москвитяниномъ* неизмѣнно былъ открытъ ровный и прямой путь къ инсинуаціямъ, доносамъ и прочему охранительному добровѣчеству.

Эти герои, разумѣется, не могли впасть въ грусть и вызывать у кого бы то ни было чувство состраданія и подчасъ невольнаго уваженія къ своей нравственной безпріютности. У нихъ были простыя и вполне доступныя средства—создавать себѣ удовлетвореніе.

Шевыревъ, напримѣръ, очарованный успѣхомъ своихъ публичныхъ лекцій, облачается въ русскій костюмъ и щеголяетъ по Москвѣ на удивленіе даже своихъ ближайшихъ сочувственниковъ въ родѣ Погодина <sup>242</sup>).

Очевидно, здѣсь не было мѣста ни грустному раздумью, ни отрезвляющему, хотя и мучительному сомнѣнію въ *своей* правдѣ. И мы знаемъ, что значило встрѣтиться съ Шевыревымъ на полѣ литературной брани!..

Столько разнообразныхъ нравственныхъ стихій жило и развивалось въ славянофильствѣ! Слѣдуетъ признать, врядъ ли когда существовало болѣе сложное культурное теченіе, болѣе способное вызвать самые противоположные взгляды и чувства, менѣе выясненное самими послѣдователями и менѣе организованное, упорядоченное и вложенное въ логическую систему благосклонными и неблагосклонными критиками.

Мы ни на минуту не должны упускать изъ виду этого факта, чтобы правильно оцѣнить борьбу западничества съ славянофильствомъ, чтобы отыскать истинный смыслъ противорѣчивыхъ, по видимому, отношеній Бѣлинскаго къ славянофиламъ въ разные періоды его дѣятельности и чтобы, наконецъ, составить точное представленіе о дѣйствительномъ значеніи славянофильскихъ идей въ культурномъ и политическомъ развитіи русскаго общества.

<sup>242</sup>) Барсуковъ. VIII, 84.

## XLI.

Мы видѣли, какими глубокими чувствами ненависти и гнѣва пламенѣла славянофильская публицистика противъ Бѣлинскаго, и поводъ былъ, на первый взглядъ, чрезвычайно внушительный, «гнусная враждебность къ русскому человѣку». *Отечественныя Записки*, по представленію писателей изъ *Москвитянина*, превратились, благодаря Бѣлинскому, въ органъ антирусскій и противонародный. Первенствующій критикъ неуклонно велъ политику враговъ русской національности, обнаруживалъ тупое непониманіе истинныхъ сокровищъ русскаго духа и творилъ себѣ кумировъ изъ всевозможныхъ зарубежныхъ боговъ.

Это обвиненіе тяготѣло надъ Бѣлинскимъ въ теченіе всей его жизни, не исчезло и позже. Въ глазахъ патріотовъ-специалистовъ онъ стяжалъ прочную славу фанатическаго западника, ослѣпленнаго блескомъ европейской цивилизаціи до совершенно невѣроятнаго презрѣнія къ самымъ подлиннымъ и яркимъ проявленіямъ русской самобытной стихіи. Это—нравственный безпочвенникъ и культурный межеумокъ.

Патріоты въ азартѣ преслѣдованія заходили даже за геркулесовы столбы; отрицали у *Отечественныхъ Записокъ* Бѣлинскаго способность понимать русскую поэзію вообще, не только народную...

Такая температура славянофильскихъ настроеній могла бы освободить насъ отъ необходимости вести процессъ съ подобными обвинителями. Но вопросъ въ сильной степени осложняется, независимо отъ воинственности *Москвитянина* и его единомышленниковъ.

Въ настоящее время не заслуживали бы особеннаго вниманія всѣ кривотолки, какіе вызывались личностью и дѣятельностью Бѣлинскаго въ лагерѣ завѣдомыхъ враговъ и даже просто людей, чуждыхъ ему по духу и міросозерданію. Случилось же, напримѣръ, Бѣлинскому лично выслушать отъ извѣстнаго профессора, ученаго славянскаго филолога, Срезневскаго заявленіе, что его критическая дѣятельность не заслуживаетъ сочувствія, но зато его комедія *Пятидесятилѣтній дядюшка*—«вещь гениальная» <sup>243</sup>).

Бѣлинскій не могъ опомниться отъ изумленія. Но съ теченіемъ времени онъ долженъ былъ привыкнуть къ оригинальной игрѣ ума своихъ критиковъ: улики въ непониманіи русскихъ стиховъ ничѣмъ въ сущности не уступали приговору Срезневскаго. Разница лишь въ томъ, что улика—крайняя точка ливніи, какую вели

<sup>243</sup>) Анненковъ. *Воспоминанія*. III, 49.

не одни москвитяне. Въ этомъ обстоятельствѣ и заключается великій общественный интересъ вопроса.

Намъ неоднократно приходилось указывать на одинокое положеніе Бѣлинскаго даже среди ближайшихъ сочувственниковъ. Однихъ отталкивало его неистовство въ разъясненіи тѣхъ идей, какія они сами признавали истинными, другихъ смущала неумолимая послѣдовательность мысли, непреклонное отождествленіе идейныхъ стремленій и личныхъ отношеній.

Особенно глубокія страданія испытывалъ Грановскій. Онъ не успѣлъ вдуматься въ смыслъ духовныхъ преобразованій критика, не могъ помириться съ его беспощадной воинственностью и, конечно, оказался не въ силахъ вскрыть сущность воззрѣній Бѣлинскаго въ области основныхъ задачъ времени. На первомъ планѣ здѣсь стоялъ вопросъ о народности, одинаково близкій и литературѣ, и политикѣ сороковыхъ годовъ.

Среди западниковъ онъ обсуждался съ не меньшимъ усердіемъ, чѣмъ на страницахъ *Москвитянина*. Безъ него былъ немыслимъ никакой разговоръ объ искусствѣ и о наукѣ. И этотъ порядокъ достался времени Бѣлинскаго по наслѣдству, отъ публицистики двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ. Она, безъ различія направленій, усердно толковала о самобытности и подражательности. Начиная съ *Мнемозины* и кончая *Московскимъ Телеграфомъ*, критики-поэты и критики-публицисты съ одинаковой энергіей преслѣдовали «безнародность», «наносныя цѣпи» и звали къ національному гению и народному творчеству. И мы знаемъ, наименованіе «перваго славянофила» стяжалъ поэтъ Кюхельбекеръ, не принадлежавшій ни къ какой партіи, и менѣе всего къ славянофильской, еще невѣдомой въ литературныхъ лѣтописяхъ первой четверти вѣка.

Бѣлинскій, слѣдовательно, неизбѣжно въ силу историческаго теченія идей, встрѣтился съ темой о народности, нисколько не утратившей своей важности и жгучести. Напротивъ. Появленіе особой національной партіи, вооруженной помимо патріотическаго жара еще философскими и даже научными средствами, сообщило задачѣ характеръ исключительной серьезности. И Бѣлинскій съ первой статьи до послѣдней не спускалъ глазъ съ борьбы.

Къ какимъ же результатамъ пришелъ онъ?

Отвѣтъ, помимо враговъ, дали также друзья критика, и въ такой формѣ, что выходки Погодина и Шевырева можно признать основательными, по крайней мѣрѣ, въ ихъ первоисточникѣ.

Одинъ изъ членовъ западническаго круга, впоследствии добросовѣстный лѣтописецъ минувшихъ дѣлъ и рѣчей, рассказываетъ въ высшей степени любопытный, отчасти драматическій эпизодъ, въ своемъ родѣ событіе.

Совершилось оно въ окрестностяхъ Москвы, въ селѣ Соколовѣ, въ томъ самомъ, чье имя стоитъ подъ герценовскими *Письмами объ изученіи природы*. Въ этомъ селѣ, лѣтомъ 1845 года, жили семьи Герцена и Грановскаго. Общество собиралось многочисленное и шумное. Ежедневно происходили настоящіе митинги западнической партіи. Бесѣды велись горячія и по всякому ничтожному поводу рѣчь готова была перейти на важнѣйшіе вопросы современной литературы и общественности.

Въ атмосферѣ чувствовалось нѣкоторое напряженіе. Чувалось приближеніе если не грозы, то рѣшительнаго взрыва долго накопившихся чувствъ. Туча надвигалась со стороны, казалось бы, самой ясной и мирной, именно отъ Грановскаго, и громъ долженъ былъ поразить прежде всего Бѣлинскаго и *Отечественныя Записки*.

Однажды общество отправилось въ поля на прогулку. Кругомъ крестьяне и крестьянки убирали жатву. Костюмы ихъ, конечно, оставляли желать многого по части скромности и изящества. Кто-то изъ гуляющихъ замѣтилъ, что изъ всѣхъ женщинъ на свѣтѣ только одна русская женщина никого не стыдится и ея также никто не стыдится.

Замѣчаніе, очевидно, было брошено съ иронической шуткой и немедленно вызвало протестъ Грановскаго. Онъ обратился къ насмѣшнику съ такимъ поученіемъ:

— Надо прибавить, что фактъ этотъ составляетъ позоръ не для русской женщины изъ народа, а для тѣхъ, кто довелъ ее до того, и для тѣхъ, кто привыкъ относиться къ ней цинически. Большой грѣхъ за послѣднее лежитъ на нашей русской литературѣ. Я никакъ не могу согласиться, чтобы она хорошо дѣлала, потворствуя косвенно этого рода цинизму распространеніемъ презрительнаго взгляда на народность.

Самый ярый славянофилъ не отказался бы отъ подобной рѣчи и поспѣшилъ бы указать непременно на петербургскій западническій журналъ. Грановскій именно такъ и поступилъ.

Ему возразили, что не слѣдуетъ обобщать одно случайное замѣчаніе. Онъ не согласился и напомнилъ, что подобныя замѣчанія превращаются иногда въ цѣлое ученіе, напримѣръ, у Бѣлинскаго,

и онъ, профессоръ, во взглядахъ на русскую національность гораздо больше сочувствуетъ славянофиламъ, чѣмъ *Отечественнымъ Запискамъ* и западникамъ <sup>244)</sup>.

Болѣе краснорѣчивый фактъ трудно представить и для славянофиловъ не могло быть ничего желаннѣе, какъ эта междоусобица. Слѣдовательно, должны мы замѣтить, Бѣлинскій на самомъ дѣлѣ грѣшилъ смертнымъ грѣхомъ противъ русской народности и давалъ своимъ противникамъ вполне законныя основанія уличать его чуть ли не въ измѣнѣ отечеству?

Косвенный утвердительный отвѣтъ даетъ и самъ историкъ рассказаннаго событія. По его словамъ, «кичливость образованностью омрачала иногда самые солидные умы» и была, по преимуществу, «темной стороною нашего западничества» <sup>245)</sup>.

Имѣется и съ другой стороны подтвержденіе печальнаго факта. Герценъ сознается, что они, то-есть, западники, «долго не понимали ни народа русскаго, ни его исторіи». Правда, вина лежала на славянофилахъ. Они заслонили жизненную и историческую правду «иконописными идеалами и дымомъ ладона». Но причина не мѣняетъ смысла послѣдствій; по сознанію западника, западничество, по крайней мѣрѣ, въ теченіе нѣкотораго времени, оставалось на русской почвѣ растеніемъ чужезднымъ и слѣпымъ. И если Герценъ говоритъ *мы не понимали*, читатель не имѣетъ ни малѣйшаго повода исключать изъ этихъ *мы* того же Бѣлинскаго и его послѣдователей.

Достаточно этихъ фактовъ, чтобы преклониться предъ грозными патріотическими окриками славянофиловъ и на совѣсти нашего критика оставить преступленіе еще горшее, чѣмъ всѣ другія, въ родѣ обоготворенія дѣйствительности, развѣчиванія пушкинской Татьяны. И, повидимому, общественное мнѣніе нашей литературы помирилось съ такимъ заключеніемъ. Въ статьѣ о русскихъ былинахъ и сказкахъ Бѣлинскому пришлось, между прочимъ, высказать такую мысль:

«Одно небольшое стихотвореніе истиннаго художника-поэта неизмѣримо выше всѣхъ произведеній народной поэзіи *выѣстъ взятыхъ*» <sup>246)</sup>.

Эта фраза приобрѣла классическую славу и стала эпитафией всѣхъ негодующихъ рѣчей, направляемыхъ противъ Бѣлинскаго—

<sup>244)</sup> *Иб.*, стр. 119 etc.

<sup>245)</sup> *Иб.*, стр. 124.

<sup>246)</sup> *Сочиненія*. V, 36—7.

эстетика и публициста. Въ связи съ извѣстными намъ признаніями западниковъ она звучитъ неотразимо и защитниковъ критика ставить, повидимому, въ безвыходное положеніе.

Мы не беремъ на себя этой роли и считаемъ ее недостойной ума и таланта Бѣлинскаго. Мы предоставимъ ему самому вести процессъ: отъ глубины его чувства, отъ силы его мысли и краснорѣчія будетъ зависѣть побѣда или пораженіе. Мы только должны оговориться, — Бѣлинскій уже давно напелъ своихъ защитниковъ, столь же неожиданныхъ, какъ нападки Грановскаго. Писатель, не причислявшій себя ни къ славянофиламъ, ни къ западникамъ, но, несомнѣнно, тяготѣвшій къ востоку и славянскому міру, взялъ на себя задачу понять и простить вины Бѣлинскаго предъ русскимъ народомъ.

Этотъ смѣльчакъ — Аполлозъ Григорьевъ.

Всегда искренній и благородный, доступный глубокимъ идейнымъ увлеченіямъ, къ сожалѣнію, не всегда уловимый и удобопонятный въ полетахъ горячей мысли, Григорьевъ пересмотрѣлъ давнишній процессъ западниковъ съ славянофилами и открылъ сильнѣйшія смягчающія обстоятельства даже для крайнихъ противонародническихъ выходокъ Бѣлинскаго.

Критикъ съ истинной провицательностью культурнаго историка разобралъ условія, при какихъ началась схватка западничества съ славянофильствомъ. Для насъ соображенія Григорьева не новость послѣ того, какъ мы знакомы съ лубочнымъ націонализмомъ и сусальной народностью публицистовъ въ родѣ Глинки и ученыхъ въ стилѣ Надеждина. Для насъ важно, что заслуженная казнь маскаранныхъ патріотовъ постигла изъ устъ убѣжденнаго исповѣдника національной вѣры.

Какая мѣткая и сильная характеристика романовъ Загоскина, драмъ Кукольника, статей Надеждина, какъ сокровищницъ особаго русскаго духа, воплощаемаго въ лицѣ скомороховъ, нравственныхъ евнуховъ, отождествляемаго съ неотразимымъ кулакомъ дикаго забіячества или тупымъ смиреніемъ безличнаго холопа! У Загоскина предѣлъ національнаго нравственнаго совершенствованія — «баранья покорность всякому существующему факту», а въ драмахъ — звѣрское самодовольство Ляпунова, татарскій азартъ Ѳедосьи Сидоровны — грозы китайцевъ. Это — сплошное наслѣдіе татарщины, это варварское дыханіе Азіи, а не подлинный духовный міръ русскаго народа, не великая будущая сила культурнаго міра.



Какой же читатель, не утратившій окончательно здравого смысла и чувства человеческого достоинства, могъ остаться благосклоннымъ или даже равнодушнымъ предъ подобными зрѣлищами! Какъ могло не поразить до нестерпимой боли униженіе, какому подвергали русскую народность ея неесмысленные апостолы? И кто, наконецъ, подниметъ камень на людей, въ порывѣ оскорбленнаго ума и духа клеймящихъ пошлость и дикость самозваннаго патріотизма?

Таковыми людьми и были западники, отъ Чаадаева до Бѣлинскаго. Григорьевъ понимаетъ всю жгучую боль, какая вложена авторомъ философскаго письма въ его произведеніе. Онъ понимаетъ и страстные набѣги Бѣлинскаго на восстановителей татарщины подъ видомъ русской народности. Критикъ приходитъ къ заключенію, достойному высшихъ стремленій нашей просвѣщенной публицистики и общественной исторіи.

«Не съ народностью боролось западничество, а съ фальшивыми формами, въ которыя облеклась идея народности. И вина западничества, если можетъ быть вина у явленія историческаго, не въ томъ, конечно, что оно отрицало фальшивыя формы, а въ томъ, что фальшивыя формы принимало оно за самую идею» <sup>24)</sup>).

Прекрасно сказано, но не договорено. Бѣлинскаго можно считать правымъ въ западническихъ излишествахъ предъ торжествующимъ кулакомъ и уличнымъ забіячествомъ. Но ему мало чести, если онъ не распознавалъ формы и сущности, если онъ неразуміе и первобытность отдѣльных личностей смѣшалъ съ общимъ культурнымъ принципомъ.

По мнѣнію Григорьева, именно такъ и выходить.

Критикъ готовъ все понять и отпустить, но онъ въ то же время убѣждаетъ, что Бѣлинскій всецѣло нуждается въ прощеніи и вовсе не заслуживаетъ нашихъ положительныхъ чувствъ, какъ публицистъ на тему народности. Онъ—чистый отрицатель, онъ—*инициаторъ народности*,— и только съ теченіемъ времени могъ усвоить болѣе здоровое міросозерцаніе. Григорьевъ увѣренъ, Бѣлинскій его усвоилъ бы, какъ вообще во всякое время оказался бы на высотѣ культурныхъ задачъ. Но это значитъ превозносить потенциальнаго Бѣлинскаго, а не дѣйствительнаго. Пророчество, несомнѣнно, симпатичное, но оно въ глазахъ большинства свидѣ-

<sup>24)</sup> Статьи Григорьева: *Западничество въ русской литературѣ, Бѣлинскій и отрицательный взглядъ въ литературѣ. Сочиненія*. Спб. 1876.

тельствуетъ больше о добромъ благородномъ сердцѣ прорицателя, чѣмъ утверждаетъ истину на незыблемыхъ основаціяхъ логики и фактовъ.

Мы не имѣемъ возможности ограничиться усладительными настроеніями. Мы должны рѣшиться на нѣчто большее. Для насъ не можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣнія въ фактѣ, по странному недоразумѣнію упущенномъ изъ виду рыцарственнымъ защитникомъ Бѣлинскаго: если критикъ не имѣлъ опредѣленнаго представленія о народности, если онъ упорствовалъ въ слѣпомъ отрицаніи, онъ психологически не могъ быть глубокимъ цѣнителемъ и поучительнымъ истолкователемъ произведеній русской литературы. Такому критику доступно развѣ только искусство, по самой сущности враждебное народной стихіи,—искусство, оторванное отъ исторической національной почвы, напримѣръ, французскій классицизмъ.

А между тѣмъ Бѣлинскій именно и нанесъ жесточайшіе удары классическому космополитизму и наносной лжи. Именно онъ трепеталъ всѣми нервами за честь независимаго русскаго творчества. Это—несомнѣнное противорѣчіе. Между принципомъ народности и космополитическими влеченіями нѣтъ середины, возможны только тѣ или другія толкованія принципа, сплошное отрицаніе его немислимо вообще для литературнаго дѣятеля новаго времени.

Очевидно, Григорьевъ неправъ. Въ идеяхъ Бѣлинскаго, яростнаго ненавистника татарской самобытности, имѣлось нѣчто свое, несомнѣнно, національное и народное, нѣчто достаточно глубокое и содержательное, чтобы критикъ могъ на немъ возвести незабвенные памятники творчеству Пушкина, Лермонтова, Гоголя.

И открыть этотъ положительный капиталъ не представляетъ никакихъ затрудненій: именно здѣсь критикъ съ особеннымъ блестящимъ развернулъ свой дивный талантъ лиризма, возвышавшій его въ счастливыя минуты на уровень первостепеннаго поэта.

## XLII.

Бѣлинскому пришлось коснуться роковаго вопроса въ одной изъ самыхъ молодыхъ своихъ статей, въ журналѣ Надеждина. Здѣсь онъ столкнулся съ извѣстной намъ одой въ честь кулака и ему необходимо было сказать свое мнѣніе о предметѣ, весьма близкомъ сердцу редактора.

Бѣлинскій не отступилъ отъ крайне щекотливой задачи. Онъ

написалъ цѣлое разсужденіе полу-ирилическаго, полу-серьзнаго характера, сравнивая кулакъ съ другими орудіями борьбы шпагой, штыкомъ, пулей. Онъ постарался доказать своему воинственному патрову, что кулакъ, дубина то же самое, что коготь, зубъ, т.-е. орудія звѣря или дикаря; другія средства борьбы «предполагають искусство, ученіе, слѣдовательно, зависимость отъ идеи», характеризуютъ «человѣка образованнаго» <sup>248</sup>).

Простое, но въ высшей степени знаменательное сопоставленіе! Сущность его не исчезаетъ до конца изъ разсужденій Бѣлинскаго. Его цѣль двоятся: онъ долженъ побороть ярымарочныхъ націоналистовъ и установить понятіе истинной культурной національности. Въ силу вещей эти цѣли часто сливаются въ одномъ теченіи мысли. Предъ Бѣлинскимъ цѣлая фаланга патріотовъ загоскинскаго типа. Они взапуски другъ передъ другомъ стараются закидать шапками своихъ противниковъ и доходятъ до такой степени азарта, что всякая человѣческая рѣчь и здравый смыслъ становятся излишними предъ нечленораздѣльными воплями черни и массы.

По культурнымъ условіямъ времени эти враги вполне серьезные. Въ ихъ распоряженіи періодическія изданія, популярная беллетристика и даже университетскія кафедры. Имъ волей-неволей приходится удѣлять много вниманія, даже начинать писательство въ томъ журналѣ, гдѣ только что была совершена апоэоза русскаго кулака. На страницахъ профессорскаго органа надо объяснять, что «кулаки не помогли подъ Нарвой, и не кулаки, а обученное войско смыло подъ Полтавой пятно стыда кровью своего прежняго побѣдителя». Непосредственная физическая сила и наука, просвѣщеніе: такъ стоитъ вопросъ съ самаго начала. И не было бы смертнаго грѣха, если бы Бѣлинскій окончательно перетянулъ вѣсы въ сторону ума и однимъ ударомъ покончилъ съ народностью, которую можно отождествлять съ разрушительными инстинктами дикаря. Этого не случилось, и причина лежитъ исключительно въ глубокомъ умѣ критика, въ его восторженной любви къ родному народу, отнюдь не въ искусствѣ его противниковъ—раскрыть безсмертныя общечеловѣческія сокровища—въ исторіи и природѣ русскаго человѣка.

Смыслъ отрицаній Бѣлинскаго, столь поразившихъ его славнофильскаго поклонника, вполне ясенъ. Сдѣлайте логическіе

<sup>248</sup>) Ничто о ничемъ, или отчетъ г. издателю «Телескопа» за последнее полугодіе (1835) русской литературы. II, 137.

выводы изъ основныхъ положеній той самой народности, какою возмущаетъ самого Григорьева: ихъ два—смиреніе и кулакъ, два полюса русскаго народнаго духа, по разъясненію его профессиональныхъ толкователей, смиреніе—добродѣтель внутренней политики, кулакъ—всемогущее средство разрѣшать вѣшнія осложненія. У себя дома—русскій человѣкъ или скоморохъ, или уединенный аскетъ; обѣ роли не противорѣчатъ другъ другу и въ случаѣ нужды могутъ сливаться въ одну; предъ иноземцами онъ—неугомонный забіяка и самохвалъ. Художественные образы для всѣхъ этихъ идеаловъ даны въ изобиліи охотнорядской литературой. Дальнѣйшее развитіе неуклонно.

Народъ естественно будетъ подмѣненъ черныю, русскій языкъ жаргономъ, «національная мудрость» откроется въ вѣковомъ иракѣ «святой старины», провиденціальное назначеніе Россіи опредѣлится ея неограниченнымъ военнымъ торжествомъ надъ басурманами, въ противодѣйствіи яду европейской образованности.

Вдохновеній для этой дѣятельности можно почерпнуть сколько угодно въ самой подлинной русской народной поэзіи. Взять, на примѣръ, былины. Какое раздолье кулаку, забубенной физической силѣ, какіе сочные жанры на романическія темы въ чисто національномъ духѣ, безъ всякой прижѣсы западной ереси!

Именно исторія и драмы любви особенно краснорѣчивы. Въ любовной страсти человѣкъ сказывается весь, безъ утайки и удержу, во всей полнотѣ обнаруживается его нравственная природа.

И былины не скупятся на живопись. У нихъ есть свой излюбленный Ромео и своя Джульетта. Ромео—это Змѣй Тугаретичъ, или Тугаричъ Змѣевичъ, а Джульетта—княгиня Апраксѣвна, супруга кіевскаго князя Владиміра. И что это за любовь и чтѣ за герои!

Прочтите, какъ держать себя счастливый любовникъ съ своею возлюбленной публично, на пиру, въ присутствіи ея мужа! Ёсть онъ—по цѣлой ковригѣ за щеку мечеть, пьеть—по цѣлой чашѣ охмеляетъ, «котора чаша въ полтретя ведра», съ милой бесѣдуетъ—съ княгини руки въ пазуху кладетъ, цѣлуетъ уста сахарныя, князю насмѣхается. Эти подвиги не мѣшаютъ Змѣю быть самымъ жалкимъ трусомъ, и спастись отъ противника въ такомъ доблестномъ и изящномъ бѣгствѣ, что подробности народной иронической фантазіи являются невозможными въ печати. Подѣ стать такому герою и его зазноба. Богатыри съ ней рѣшительно не стѣсняются, имъ ничего не стоитъ при всей почтенной

публикѣ обозвать ее «сухой, сукою-то волочайкою», а глядя по обстоятельствамъ, приправить рѣчь энергическимъ жестомъ, потому что «женской полъ отъ того пухолъ бываетъ».

Когда вы пожелаете вызвать предъ собой во всей красотѣ идеалы былинной русской очаровательницы, предъ вами представитъ такой образъ: «она по двору идетъ—будто уточка плыветъ, а по горевкѣ идетъ—частенько ступаетъ, а на лавицу садится, колѣнцо жметъ,—а и ручки бѣленьки, пальчики тоненьки, дюжина изъ перстовъ не вышли всѣ».

Какъ оцѣнить подобное творчество? Съ художественной точки зрѣнія оно явно неудовлетворительно, иначе пришлось бы вычеркнуть изъ исторіи искусства эллинскую національную поэзію, не имѣющую ничего общаго ни съ утиной походкой, ни съ женской пухлостью, ни съ манерами жеманныхъ мѣшанокъ. Положимъ, и у Гомера достаточно наивностей и даже дикостей, но прощаніе Гектора съ Андромахой, нѣчто совершенно другое, чѣмъ сцена Дуная Ивановича съ Настасьей Королевишней, гдѣ кавалеръ даетъ дамѣ пощечину и шутитъ многія подобныя же шутки, появленіе Навзикая, равной по стройности пальцамъ Делоса, совсѣмъ не похоже на очаровательные поступки Марины Игнатьевны или княгини Апраксѣвны. Множество и другихъ сравненій можно привести. Какъ поступить съ ними въ виду притязаній русскихъ патріотовъ—сложить изъ русскихъ былинъ своего рода Одиссею и замереть въ восторгѣ предъ національной эпопеей?

Бѣлинскій не колебался въ отвѣтъ, и далъ его, по обыкновенію, рѣшительно и рѣзко. Поэзія и красоты нѣтъ въ тѣхъ былинахъ, гдѣ царитъ звѣрская сила, гдѣ слабѣйшій—будь это женщина, или ея обманутый мужъ, подвергаются всяческимъ насиліямъ и издѣвательствамъ, гдѣ чувство любви отождествляется или съ бѣсовскимъ наводненіемъ или съ вызывающимъ цинизмомъ.

Дальше, вопросъ культурный, общечеловѣческій. Здѣсь рѣшеніе еще нагляднѣе. Кто станетъ утверждать, что былинныя рыцарскія добродѣтели должны остаться драгоценными завѣтами для будущихъ поколѣній? Мы не откажемъ въ трогательномъ неумирающемъ чувствѣ поэту, создавшему образъ Пенелопы, изображавшему тоску великаго Ахиллеса по другѣ Патроклѣ, вложившему въ уста героевъ столько мудрыхъ и дивно прекрасныхъ рѣчей о любви къ родинѣ, о человѣческой судьбѣ, о доблести мужчины и о красотѣ женщины...

Пусть на этой же сценѣ приносятся человѣческія жертвы,

плѣнницы превращаются въ наложницъ, вожди поносятъ другъ друга словами—крылатыми яростью,—все это не заслонить ослѣпительнаго блеска поэзіи и мысли. И развѣ допустимо будетъ признать эстетическимъ или нравственнымъ преступленіемъ естественный выводъ, какой получается изъ сравненія русскихъ сказаній о богатыряхъ съ гомеровскими пѣснями?

А именно только этотъ выводъ и сдѣлалъ Бѣлинскій, но ограничилъ его до послѣдней степени, приписавъ всѣ грѣхи русскихъ народныхъ былинъ—и противъ художественности, и противъ человѣчности не народности, не самой природѣ русскаго народа, а несчастнымъ внѣшнимъ условіямъ, обставившимъ ростъ русской національности.

Это излюбленная идея Бѣлинскаго: «Недостатки нашей народности вышли не изъ духа и крови націи, но изъ неблагопріятнаго историческаго развитія». Критикъ доказываетъ свою мысль и съ помощью фактовъ и еще сильнѣе—страстными взрывами своего поэтическаго чувства.

Посмотрите, какъ онъ объясняетъ тяжелые, часто безнадежные мотивы русской пѣсни! Онъ не пропустилъ ни одной черты ни въ прошломъ, ни въ настоящемъ русскаго народа, вспомнить о междоусобицахъ, о татарщинѣ, о самовластіи Грознаго, о смутахъ междучарствія, сильными красками поэта-публициста нарисовалъ будничную тяготу народнаго житья-бытья и набросилъ на эту картину фонъ свинцоваго неба, холодной весны, печальной осени и необозримыхъ однообразныхъ степей <sup>249)</sup>... И вы согласны съ критикомъ.

Гдѣ же родиться смертной тоскѣ и тяжелому размаху подавленныхъ силъ, какъ не въ этихъ вѣчныхъ сумеркахъ нравственнаго и внѣшняго міра? Какъ эта жизнь и природа далеки отъ глубокаго, вѣчно сіяющаго неба, отъ нервныхъ, переливчатыхъ волнъ моря того юга, гдѣ Гомеръ слагалъ свои поэмы! И какіе два несхожихъ человѣка—свободный и праздный грекъ и удрученный работами данникъ азіатской желѣзной силы!.. Легко представить, какъ вмѣсто полубоговъ явились полузвѣри и чарующіе вольные полеты воображенія не могли ужиться съ неотразимой прозой рабской дѣйствительности.

Такъ было на Руси, хотя не вездѣ и не всегда. Въ Новгородѣ историческая жизнь народа сложилась иначе, чѣмъ въ средней

<sup>249)</sup> Сочиненія. V, 247.

Россіи, и это отразилось на народномъ творчествѣ. Странная республика, не успѣвшая вырасти въ строго-организованную политическую силу, успѣла внести свой духъ воли и независимой силы въ былинныя лѣсни. Она создала всего четыре сказанія— о купцѣ Садко и о Василиѣ Буслаевѣ, но какое здѣсь богатство чувства и мысли сравнительно съ исторіями о другихъ русскихъ богатыряхъ! Именно онѣ освѣщаютъ вѣрнымъ свѣтомъ дѣйствительный духъ русской народности и показываютъ, въ какомъ направленіи, при лучшихъ историческихъ судьбахъ, развилось бы русское народное творчество.

Такъ думаетъ Бѣлинскій, и здѣсь онъ не скупится на восторги: онъ счастливъ отвести душу на томъ, что его художественное чувство можетъ признать истинно прекраснымъ, въ чемъ его высококультурная мысль можетъ распознать человѣческую душу, *идею*.

И какъ онъ не требователенъ въ своемъ восхищеніи, какъ мало правовѣренъ на строгій западническій взглядъ! Онъ неоднократно принимается произносить лирическія рѣчи во славу именно той добродѣтели русскаго народа, которая вносѣдствіи у Тургенева вызоветъ смѣхъ и презрѣніе. Это—прославленная русская удаля, широкій размахъ души, головокружительный разгулъ...

Качество, несомнѣнно, картинное; не даромъ оно внушило Гоголю такое стремительное, такое искреннее чувство. Но вѣдь тотъ же великій сатирикъ распространилъ свой восторгъ далеко за предѣлы поэзіи, слилъ его съ политикой и отъ гимна русской тройкѣ перешелъ къ историческому ясновидѣнію, къ небывалымъ, будто уже существующимъ, перспективамъ побѣдоноснаго русскаго прогресса среди изумленныхъ отсталыхъ народовъ и государствъ.

Не шелъ ли на такую же опасность и нашъ критикъ?

Да, почти: онъ приближается къ самой грани, отдѣляющей лирическое предчувствіе будущаго отъ сознательнаго преклоненія предъ настоящимъ.

### XLIII.

«Я люблю русскаго человѣка и вѣрю великой будущности Россіи»,—такъ писалъ Бѣлинскій незадолго до смерти, и эти слова можно поставить во главѣ его національной философіи <sup>250</sup>). Немного раньше онъ точно опредѣлилъ и основанія своей любви и

<sup>250</sup>) Письмо къ Кавелину, 22 ноября 1847 года. Русск. М. 1892, I, 114.

вѣры. «Русская личность пока эмбрионъ, но сколько широты и силы въ натурѣ этого эмбриона, какъ душна и страшна ей всякая ограниченность и узкость!»<sup>251</sup>).

Эти рѣчи говорились въ самый разгаръ славянофильской полемики, но смыслъ ихъ установился гораздо раньше, былъ заявленъ открыто и всякаго, кто внимательно слѣдилъ за развитіемъ идей критика, не должна была удивлять его благосклонность къ нѣкоторымъ славянофильскимъ воззрѣніямъ.

«Я—натура русская», признавался Бѣлинскій и гордился этимъ. Отсюда совершенно непосредственный путь ко всѣмъ его лирическимъ изліяніямъ, къ его проповѣди національности и народности. Здѣсь, въ этомъ сознаніи, таятся всѣ нравственные побужденія, двигавшія талантъ критика на защиту и толкованіе первостепенныхъ современныхъ художниковъ, и заключается вся идейная программа, подсказывавшая ему предметы восторга и порицанія.

Бѣлинскій, стараясь уловить національную русскую природу, совершалъ процессъ самопознанія, разоблачая культурный составъ русской народности, набрасывая черты своей собственной личности.

Въ русской народной поэзіи всѣ эти черты схвачены однимъ понятіемъ—*удаль*. Это—способность разойтись до того, что море кажется по колено, насладиться чувствомъ необъятной воли и силы, забыться въ страстномъ трепетѣ жизни, рискнуть всѣмъ, что есть дорогого, годами и трудомъ взлѣгѣннаго и ощутить пронизывающее дыханіе смертельной опасности. Это купецъ Садко, бросающій въ темную бездну судьбы и свое богатство, и себя самого, это Васька Буслаевъ, съ бурнымъ безуміемъ прожигающій жизнь, не вѣрующій ни въ сонъ, ни въ чохъ, а лишь въ свой червленый вязъ.

И тамъ, и здѣсь предъ нами сила дикая, не облагороженная какими бы то ни было высшими нравственными стремленіями, но сила—истинно-богатырская, исполненная отваги и блеска.

Она-то именно и плѣняетъ Бѣлинскаго, влечетъ къ себѣ своимъ неудержимымъ размахомъ, несокрушимымъ удалствомъ. Въ этой удали онъ готовъ видѣть даже начало и проблески духовности и преклониться предъ великой будущностью этихъ задатковъ. Только пусть проникнетъ въ эту стихію свѣтъ мысли, пусть овладѣютъ ею человѣческіе идеалы, и она совершитъ чудеса, поразитъ изумленіемъ старый міръ.

<sup>251</sup>) Письмо къ Боткину, 8 марта 1847 года. Пыпинъ. II, 281.



«Отвага, удалъ и молодечество,—разсуждаетъ критикъ,—еще далеко не составляютъ человѣка; но они—великое поручительство въ томъ, что одаренная ими личность можетъ быть по преимуществу человѣкомъ, если усвоитъ себѣ и разовьетъ въ себѣ духовное содержаніе».

Его почти нѣтъ въ русской былинной поэзіи. Всюду только могучее тѣло, преклоненіе предъ физической силой, предъ богатырствомъ въ истребленіи невѣроятнаго количества зелена вина, въ избіеніи враговъ, часто въ чудовищной казни невѣрной жены.

Сами богатыри не личности и не характеры, а смутные, едва очерченные образы, едва организованная матеріальная стихія. И она еще ждетъ творческаго и мыслящаго духа, такъ же, какъ ждалъ его и весь народъ старой до-петровской Руси. Избытокъ органическихъ силъ уходилъ на дикій разметъ грубыхъ страстей, явился царь-преобразователь, вдунулъ въ исполинское тѣло душу живу, и, говоритъ Бѣлинскій, «замираетъ духъ при мысли о необъятно-великой судьбѣ, ожидающей народъ Петра»...

Припомните личныя признанія критика о самомъ себѣ, в вась поразить тождественность мыслей. Мы знаемъ, какое страстное отвращеніе питалъ неистовый Орландъ къ подвигамъ умѣренности и аккуратности, какъ ненавистны и презрѣнны были для него среднія мѣщанскія добродѣтели. «Лучше быть падшимъ ангеломъ, т. е. дьяволомъ, нежели невинною, безгрѣшною, но холодною и слизистою лягушкою». Такова нравственная психологія Бѣлинскаго; живую иллюстрацію ей онъ могъ найти въ нижегородскихъ былинахъ. Всѣ его сочувствія на сторонѣ Васьки Буслаева.

Герой, правда, преисполненъ всевозможныхъ грѣховъ. Онъ самъ сознается: «съ молоду бито много, граблено», но это разгулъ органической силы, дурно направленной, но не перестающей быть силой. И, по мнѣнію критика, Васька «лучше многихъ тысячъ людей, которые тихо и мирно проживали вѣкъ свой: онъ былъ мотомъ и пьяницей отъ избытка душевнаго огня, лишеннаго истинной пищи, а тѣ жили тихо и мирно по недостатку силы».

И, читая эту оправдательную рѣчь, вы невольно представляете самого адвоката во власти такого же широкаго размета души, только здѣсь онъ направленъ къ ясной идеальной цѣли, здѣсь неистощимая энергія проникнута духомъ и разумомъ. Развѣ знакомая намъ сцена, устроенная Бѣлинскимъ по случаю его Бородинской статьи, не тотъ же самый богатырскій размахъ, какому

нѣтъ дѣла до внѣшнихъ препятствій и опасностей? Развѣ неуклонная рѣшимость вѣрить только своему чувству и своему разуму въ разрѣзъ съ какими бы то ни было настроеніями и мыслями другихъ людей, не то же презрѣніе Буслаева къ чоуху и сну т. е. къ общепринятымъ вѣрованіямъ и примѣтамъ, и надежда лишь на одну свою силу?

Тамъ только «червленый вязъ», т. е. орудіе первобытнаго человѣка, адѣсь мощная воля и неустанная мысль. Натуры тоже-ственные по существу, различныя по направленію. И поэтому Бѣлинскій такъ горячо стоялъ за реформу Петра; она въ его глазахъ—творческій духъ, очеловѣчившій могучее тѣло, она варвару, безтолково и часто преступно тратившему свои силы, указала путь культурнаго прогресса.

Какой смыслъ послѣ этого могли имѣть обвиненія противъ Бѣлинскаго въ презрѣніи и ненависти къ русскому человѣку? Можно ли было въ большей степени извратить настоящее чувство критика и съ большей отвагой оклеветать одного изъ восторженнѣйшихъ глашатаевъ русской народной силы?

И не одной силы. Помимо нижегородскихъ былинъ русская старина завѣщала еще одно сокровище, поэтическое и трогательное, правда не *Илиаду* и *Одиссею*, но само по себѣ краснорѣчивое свидѣтельство о благородныхъ общечеловѣческихъ чертахъ русскаго народнаго духа. Это—*Слово о полку Игоревѣ*.

Прочтите страницы, написанныя Бѣлинскимъ объ этой таинственной эпопее, и сравните ихъ съ остроумнымъ разборомъ того же предмета, принадлежащимъ перу несомнѣнно ученѣйшаго филолога сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ — Сенковского, вы поймете, что значить *критиковать* народную поэзію и *понимать* ее. Двѣ вещи совершенно различныя.

Для барона Брамбеуса *Слово* — ничто иное какъ «школьный риторическій трудъ». Составилъ его нѣкій семинаристъ прошлаго вѣка по всѣмъ правиламъ классическихъ риторикъ. Баронъ отличался способностью доказывать рѣшительно все что угодно именно при помощи филологіи, проявилъ во всемъ блескъ этотъ талантъ на поразительномъ истолкованіи греческихъ мифовъ путемъ переименованія героевъ и героинь въ *Распребѣшиана Невнопадовича* (Агамемнонъ Атридъ), въ *Дебелощеку Распребѣшиановну* (Ифигенія дочь Агамемнона) и даже въ *Маклера Откуповича* (Парисъ сынъ Пріама) и въ *Шкатулку* (Елена): ему, конечно, дешево стоило произвести соотвѣтствующій опытъ и надъ русскимъ *Словомъ*.

И онъ произвелъ, съ искусствомъ мастера и съ забавностью присяжнаго остроумца. Русская народная поэзія — не *Слово*: оно продуктъ кievской семинаріи, а всякая другая оказывалась «грубымъ издѣліемъ грубыхъ воображеній», или просто «чепухой» <sup>252)</sup>.

И между тѣмъ тотъ же баронъ выступалъ неоднократно на защиту русской народности и даже оберегалъ ее отъ растлѣвающихъ вліяній Запада!

Бѣлинскій не былъ посвященъ въ тайны филологическихъ экспериментовъ, а простодушно поддался очарованію поэмы. Онъ «противъ воли» увлекся ея красотами и незамѣтно, вѣсто пересказа содержанія, представилъ читателямъ полный переводъ. И онъ ярко отмѣчаетъ все благородное и человѣческое, заключенное въ образахъ и фактахъ древняго *Слова*. Онъ лирически изображаетъ горе Ярославны, встрѣчу князей-братьевъ. Здѣсь дышитъ глубокое чувство, образы простодушны, но изящны и поэтичны. Критикъ тщательно подчеркиваетъ каждое нѣжное слово въ рѣчахъ героевъ, и ищетъ источника такихъ настроеній, совершенно чуждыхъ былинамъ.

Это — южная Русь. Тамъ до сихъ поръ такъ много человѣческаго и благороднаго въ семейномъ быту, въ полную противоположность сѣверной Руси, гдѣ женщина на положеніи домашней скотины, а любовь совершенно постороннее дѣло при бракахъ.

Очевидно, въ этой средѣ таятся сѣмена истинно-художественнаго творчества. Они могутъ быть собраны великимъ талантомъ, что и было сдѣлано Гоголемъ. Фактъ въ высшей степени существенный и для нашего критика особенно поучительный.

Именно Гоголь побиваетъ отрицательныя предсказанія Бѣлинскаго на счетъ малорусской поэзіи. Критикъ во что бы то ни стало не желаетъ поступиться ни культурой, ни развитой политической жизнью. Онъ ежеминутно боится за ихъ власть и достоинство, не спускаетъ глазъ съ народническихъ притязаній — въ первобытномъ общественномъ строѣ найти идеалы для новаго общества и государства. И онъ вооружается всѣми силами логики, лишь только является опасность со стороны непосредственнаго народнаго творчества заслонить основы общечеловѣческой цивилизаціи.

Въ эти минуты Бѣлинскій способенъ противорѣчить своему собственному чувству и даже своимъ словамъ.

<sup>252)</sup> *Собраніе сочиненій Сенковскаго*. Спб. 1859, томъ IX, стр. 475 etc.

Онъ знаетъ связь Гоголя съ малорусскимъ бытомъ и, конечно, съ малорусской поэзіей. Правда, Гоголь писалъ по-русски, но въдь отъ переработки поэтическихъ мотивовъ на какомъ угодно языкѣ не понижается ихъ цѣнность. Слѣдовательно, могло же кое-что развиться изъ народнаго творчества Малороссіи. А потомъ Бѣлинскій зналъ произведенія Шевченко. Неужели они уступаютъ отдѣльнымъ красотамъ *Слова о полку Игоревѣ*?

Дальше. Бѣлинскій убѣжденъ, — художественная поэзія «выростаетъ на почвѣ естественной». Это — неограниченное правило, вѣрное и по отношенію къ русской поэзіи. Критикъ оговаривается, что народная поэзія должна быть «полна элементовъ *общаго*», т.-е. общечеловѣческаго: тогда только она создастъ художественную.

Россія, несомнѣнно, владѣетъ художественной поэзіей, очевидно, русская народная поэзія не чужда общечеловѣческаго содержанія, и притомъ очень глубокаго и богатаго, если Пушкина, Гоголя и даже Лермонтова можно признать національными поэтами.

И Бѣлинскій упорно, шагъ за шагомъ развиваетъ идею, что «народность — альфа и омега эстетики нашего времени», что талантливость художника неразрывно связана съ національностью, что въ произведеніяхъ Лермонтова живетъ истинно-національная русская грусть — «могучая, безконечная, грусть натуры великой, благородной», что у Пушкина лучшія лирическія произведенія полны того же чувства <sup>233</sup>)... Столько блестящихъ вдохновенныхъ силъ выросло на почвѣ русской народности!

Сопоставьте эти разсужденія съ рѣшительнымъ отрицаніемъ будущаго у малорусской поэзіи, съ рѣзкимъ разграниченіемъ народнаго сознанія въ до-петровской Руси и въ новой Россіи, у васъ явится чувство чего-то недосказаннаго или, наоборотъ, переговореннаго. Скрывается внутреннее противорѣчіе между восторженными прославленіями могучей грусти, необъятной силы-удали и безусловнымъ обожаніемъ молниеноснаго удара Петра по исполнителя, по не одухотворенному организму московскаго темнаго народа.

Противорѣчіе подчеркивается еще однимъ фактомъ.

Петръ для Бѣлинскаго идеально-русскій человѣкъ, истинный патриотъ, своего рода удалецъ новгородской старины — неотрази-

<sup>233</sup>) Стихотворенія М. Лермонтова. IV, 291, 382. Статьи о Пушкинѣ. III, 329, 330.

мый и самоувѣренный. Онъ—подлинный сынъ своего народа и глубина и успѣхъ его преобразованій только и объясняются этимъ кровнымъ родствомъ съ народной стихіей.

Слѣдовательно, эта почва способна производить и общечеловѣческіе мотивы поэзіи, и героизмъ на поприщѣ культуры и просвѣщенія. Ни Пушкинъ, ни Гоголь, равно и Петръ были бы немислимы безъ *естественной почвы*: все равно, какъ вообще «человѣкъ, существующій внѣ народной стихіи—призракъ». Это—убѣжденіе Бѣлинскаго. Изъ него слѣдовало вывести необходимыя умозаключенія: петровская реформа не могла быть почвеннымъ переломомъ ни нравственнымъ, ни общественнымъ. Если личность Петра—воплощеніе русскаго типа, то и его дѣятельность осуществленіе національных задатковъ, можетъ быть, чрезвычайно стремительное, но тѣмъ не менѣе органическое проявленіе народнаго духа.

Такъ выходитъ по логикѣ самого Бѣлинскаго, и онъ одинаково страстно рисуетъ неясныя, но величественныя перспективы будущаго Россіи и исповѣдуетъ свой культъ предъ именемъ преобразователя.

Критикъ неоднократно касается вопроса объ этомъ будущемъ—такого остраго, такого раздражающаго, при жестокой войнѣ славянъ съ европейцами. Славяне не стѣснялись въ пророчествахъ, не считали себя вправѣ ограничиваться смутными посулами и чисто-религіозными видѣніями.

Бѣлинскій не желалъ чувство возводить на степень доказательства и на любви и вѣрѣ строить логическія сооруженія. Но любовь была такъ близка его сердцу и вѣра такъ глубоко волновала его русскую природу, что онъ не всегда оберегался отъ предсказаній, и однажды даже предвосхитилъ позднѣйшіе возгласы Достоевскаго о «всечеловѣкѣ».

Да, какъ это ни неожиданно, а нашъ отрицатель и гонитель народности, разсуждая о русской и европейской критикѣ, написалъ слѣдующія строки:

«Мы уже и теперъ не можемъ удовлетворяться ни одною изъ европейскихъ критикъ, замѣчая въ каждой изъ нихъ какую-то односторонность и исключительность. И мы уже имѣемъ нѣкоторое право думать, что въ нашей сольются и примирятся всѣ эти односторонности въ многостороннее, органическое (а не пошрое эклектическое) единство. Можетъ быть, и назначеніе нашего отечества, нашей великой Руси состоитъ въ томъ, чтобъ слить въ

себѣ всѣ элементы всемірно-историческаго развитія, доселѣ исключительно являвшагося только въ западной Европѣ. На этомъ условіи, на обѣщаніи этой великой будущности, наша скромная роль учениковъ, подражателей и перенимателей не должна казаться ни слишкомъ смиренною, ни слишкомъ незавидною» <sup>254</sup>).

Немного позже Бѣлинскій предчувствіе великаго назначенія Россіи призналъ достояніемъ всѣхъ образованныхъ русскихъ людей и указалъ на «факты, превращающіе это предчувствіе въ убѣжденіе» <sup>255</sup>). На первомъ мѣстѣ въ ряду этихъ фактовъ стоитъ все тотъ же Петръ, столь же національный герой для Россіи, какъ гомеровскій Ахиллъ для Эллады.

Все это очень краснорѣчиво и безусловно національно и патриотично. Но попрежнему остается неразрѣшимой загадка, какъ народный герой могъ создать бездонную пропасть между цѣлыми вѣками исторической жизни своего народа и своей дѣятельностью? Критикъ восхваляетъ Петра за «способность самоотрицанія», т. е. за то, что онъ отвергъ «грубыя формы ложно развившейся народности въ пользу разумнаго содержанія національной жизни».

Что это означаетъ? Въ до-петровской Руси существовали только формы народности и никакого содержанія или были грубы формы, а содержаніе, какъ національное, вполнѣ приспособленное для воспріятія петровскихъ преобразованій?

Очевидно, возможенъ только второй отвѣтъ и онъ приводитъ къ результату, ускользнувшему отъ вниманія Бѣлинскаго.

Онъ касается одинаково и поэзіи, и гражданственности. Критикъ, мы видѣли, тщательно собралъ красоту и силу въ народномъ творествѣ и открылъ ихъ отраженія въ произведеніяхъ великихъ художниковъ. Между народными пѣснями и Пушкинымъ, даже Лермонтовымъ нѣтъ непроходимой пропасти. Гоголь явно воспитанъ музой малорусскаго народа. Послѣдній фактъ не оцѣненъ по достоинству Бѣлинскимъ и мы можемъ заключить, что онъ не придавалъ особеннаго значенія подробному и всестороннему выясненію связи художественной поэзіи съ естественной.

Въ области литературы этотъ пробѣлъ не могъ повлечь слишкомъ печальныхъ слѣдствій: критикъ былъ одаренъ на столько мощнымъ эстетическимъ чувствомъ и общественнымъ чутьемъ, что недоразумѣнія и ошибки въ оцѣнкѣ талантовъ и произведеній были почти невозможны.

<sup>254</sup>) *Сочиненія*. VI, 234—5.

<sup>255</sup>) *Тѣ.*, VII, 104.

Но другое дѣло въ вопросахъ культурнаго развитія Россіи. Совершенно и безповоротно отрывать Россію Петра отъ Руси Алексѣя Михайловича—вина и предъ исторіей, и предъ логикой. Бѣлинскій избѣгъ бы многихъ славянофильскихъ нареканій, если бы не разрубилъ такимъ рѣшительнымъ и въ сильной степени теоретическимъ ударомъ русскую исторію... *Психологически* онъ оцѣнилъ Петра, какъ вполне національную русскую личность, но *исторически* возвелъ его на обособленный одинокій пьедесталъ и увѣнчалъ его цвѣтами исключительныхъ похвалъ, еще рѣзче отбѣнявшихъ беспросвѣтную тьму и всевозможныя немощи московской Руси.

#### XLIV.

Мы видимъ непоследовательность критика и должны установить ее, какъ одно изъ его заблужденій. Намъ ясно также, какимъ путемъ Бѣлинскій могъ спастись отъ разлада съ собственными идеями. Ему подлежало позаботиться разыскать въ до-петровской общественной и политической исторіи такіе же «элементы общаго», какіе онъ сумѣлъ открыть въ народной поэзіи. Они должны непременно существовать, конечно, не въ формѣ ослѣпительно-яркихъ фигуръ и событій западной исторіи, а въ иномъ, несравненно болѣе скромномъ, но, тѣмъ не менѣе, жизненномъ видѣ.

Московская Русь не знала рыцарства—столь эффектнаго и подчасъ поэтическаго, не произвела безсмертныхъ мучениковъ мысли и совѣсти, но въ ея почвѣ, несомѣнно, таились ключи, давшіе впоследствии столь обильныя и дѣйствительно общечеловѣческія теченія, хотя бы только въ искусствѣ глубоко-идейномъ, подлинномъ воплощеніи національнаго духа и національнаго міросозерцанія.

Въ эпоху Бѣлинскаго вопросъ объ *исторической неизбежности* петровской реформы не существовалъ вполне опредѣленно и настоятельно. Онъ почти не покидалъ области публицистики и сводился къ партійнымъ счетамъ двухъ непримиримыхъ партій. Эти партіи усвоили каждая по специальности: одна откапывала московскія сокровища ради Москвы и въ обличіе Петербурга, другая—окружала чисто романтическимъ ореоломъ личность Петра, какъ политика, и противопоставляла ее московскимъ преданіямъ, какъ міру, ей совершенно чуждому. Въ общемъ, недоразумѣній и несправедливостей оказывалось больше на сторонѣ славянофиловъ. Запад-

ники, не признавая московской гражданственности и ея культурных задатковъ, оставались вѣрными апостолами національности и народности. Славянофилы неуклонно совершали тяжкій грѣхъ.

Взявъ нравственнымъ долгомъ и политическимъ принципомъ всякаго истиннаго патріота открывать и популяризировать московскую старину, они разорвали ее на паролы и лозунги для своихъ воинственныхъ атакъ на мнимыхъ враговъ отечества. Вѣсто того, чтобы эту старину сблизить съ неустрашимымъ фактомъ дѣятельности Петра, они преднамѣренно размалевывали ее въ фальшивые цвѣта небывалой красоты и нравственного достоинства.

Такая политика еще больше отталкивала западный строй отъ московскаго повѣтрія, и Герценъ вполне основательно многія недоразумѣнія своего лагеря насчетъ русскаго народа приписывалъ фанатизму славянофиловъ.

Прошло много времени раньше, чѣмъ истинный смыслъ петровской реформы русская литература стала обсуждать безъ страсти и гнѣва, какъ вопросъ исторической науки, а не политической программы. Бѣлинскій, сдѣдовательно, виноватъ виной своего времени и въ сильнѣйшей степени ошибками и предубѣжденіями своихъ принципиальныхъ противниковъ. Эти противники, въ свою очередь, отнюдь не могутъ похвалиться, что они способствовали проясненію горизонта современной общественной мысли. Напротивъ, они запятнали свою совѣсть несмыслаемымъ заблужденіемъ: въ партійномъ жару полемики и часто личной вражды они не разглядѣли или не желали разглядѣть въ лицѣ Бѣлинскаго искренняго рыцаря той самой идеи, какую они полагали въ основу своей вѣры—*народности*.

Наконецъ, мы не должны забывать существеннаго факта. Даже очевидныя ошибки Бѣлинскаго ничто иное какъ увлеченія, подсказанныя грознымъ натискомъ москвобѣсія. Ихъ можно опровергнуть идеями самого же критика. По самой сущности воззрѣній на національность и народность Бѣлинскій правъ, и достаточно только послѣдовательно развить его излюбленныя положенія и спокойно и безпристрастно раскрыть логику его чувствъ, чтобы выдѣлить постоянное зерно изъ случайныхъ наростовъ.

Мы видѣли, чѣмъ объясняются рѣзкіе отзывы Бѣлинскаго о русскихъ былинахъ: отзывы такъ удовлетворительно обоснованы фактами, что «вѣра» и «любовь» оказываются излишними. Одновременно Бѣлинскій приписывалъ народной поэзіи одинъ мѣстный



интересъ, отрицалъ у малорусской поэзіи возможность развитія: все это не подлежитъ оправданію. Но только надо имѣть въ виду, что тотъ же Бѣлинскій находилъ «въ грезахъ народной фантазіи идеалы народа, которые могутъ служить мѣрою его духа и достоинства», тотъ же Бѣлинскій открывалъ въ народномъ творчествѣ доисторическія черты народной жизни и, наконецъ, тотъ же Бѣлинскій видѣлъ у Гоголя «общее и человѣческое», заимствованное изъ народнаго быта.

Военное положеніе литературной критики помѣшало Бѣлинскому спокойно развитію внушенія своего глубокаго чувства истины. Онъ волей-неволей долженъ былъ прибѣгать къ политическимъ мѣрамъ предъ лицомъ противниковъ, не стѣснявшихся никакими средствами борьбы.

На этотъ счетъ мы имѣемъ прямые признанія самого Бѣлинскаго, такого же искренняго и откровеннаго въ политикѣ разсудка, какъ и въ лиризмѣ чувства.

Напримѣръ, дѣло идетъ о натуральной школѣ. Родоначальникъ ея Гоголь. Его признаетъ славянофильская партія, но школу отвергаетъ. А между тѣмъ всѣ надежды на развитіе русскаго общественнаго самосознанія связаны съ судьбой натурального направленія въ искусствѣ. Бѣлинскій естественно встаетъ на защиту и Гоголя, и его художественнаго потомства.

Но критикъ слишкомъ проникателенъ и добросовѣстенъ, чтобы рядомъ съ здоровыми побѣгами гоголевскаго вліянія не замѣтить множество незаконныхъ дѣтищъ. И Бѣлинскій не могъ не предвидѣть, что въ слабыхъ рукахъ натурализмъ превратится въ литературу менѣе всего художественную, не идейную, а первобытно-тенденціозную. По части замѣны психологіи патологіей и всесторонней правды дѣйствительности преднамѣреннымъ нагроможденіемъ всевозможной житейской грязи, уже Бѣлинскій могъ видѣть примѣры. Достоевскій немедленно оттолкнулъ его отъ себя, лишь только вступилъ на поприще лазаретнаго анализа.

Бѣлинскій и не пощадилъ его въ своихъ частныхъ письмахъ<sup>256</sup>), но могъ ли онъ возстать вообще на новую художественную школу? Вѣдь это значило бы сослужить неопѣненную службу врагамъ и онъ, сознавая пропасть между Гоголемъ и позднѣйшими отпрыс-

---

<sup>256</sup>) Въ письмѣ къ Анненкову, 15 февр. 1848 года. *Анненковъ и его друзья*, стр. 610.

ками натурализма, не переставалъ сливать вмѣстѣ судьбу учителя и учениковъ <sup>287)</sup>).

Наконецъ, по поводу той же натуральной школы возникалъ еще болѣе существенный вопросъ, распространявшій свою власть далеко за предѣлы искусства и литературной критики. Застрѣльщиками опять явились славянофилы и патріоты.

Они задавали весьма двусмысленную задачу: неужели русская жизнь не представляетъ вовсе положительныхъ типовъ и натуральные писатели безусловно вѣрны дѣйствительности, изображая только пороки и уродство русской дѣйствительности?

Какъ въ журналистикѣ сороковыхъ годовъ возможно было отвѣчать на подобный допросъ?

Отрицать вообще существованіе русскихъ хорошихъ людей — Бѣлинскій не могъ: лично онъ вѣрилъ, что такихъ людей «на Руси, по сущности народа русскаго, должно быть гораздо больше, нежели какъ думаютъ сами славянофилы» <sup>288)</sup>. Слѣдовательно, литература должна бы воспроизводить и эту положительную сторону русской жизни? Несомнѣнно, потому что эта сторона существуетъ.

И Бѣлинскій не противорѣчилъ славянофиламъ, утверждавшимъ возможность художественнаго воплощенія русскихъ хорошихъ людей.

Его осуждали за неосновательную уступку, и уступка — въ сомнѣнія. Дѣло въ томъ, что одновременно съ реальнымъ существованіемъ положительныхъ явленій въ русской дѣйствительности установилась столь же реальная недоступность этихъ явленій именно для натуральной школы. Писателю реторическаго направленія легко взять въ герои какого-нибудь чиновника. Этотъ писатель свободно изобразить всѣ его гражданскіе и юридическіе подвиги, въ заключеніе наградить большимъ чиномъ, сдѣлаетъ героя губернаторомъ или сенаторомъ. Цензура останется вполне довольна. Но дайте ту же тему писателю натуральной школы, и результаты получатся совершенно обратные. Бѣлинскій, изображая ихъ побликомъ, предвосхитилъ исторію Калиновича изъ *Тысячи душъ* Писемскаго. Развѣ подобныя превращенія мыслимы по цензурной практикѣ — по крайней мѣрѣ въ то время, когда славянофилы съ особеннымъ ожесточеніемъ требовали отъ литературы добродѣтельнаго русскаго человѣка?

<sup>287)</sup> Письма къ Кавелину. Р. М., 1892, I, стр. 127.

<sup>288)</sup> *Иб.*, стр. 126.

Очевидно, Бѣлинскому приходилось давать утвердительный отвѣтъ на запросъ славянофиловъ далеко не въ законченной формѣ. Мы увидимъ, эта политика умалчиванія или урѣзыванія мысли особенно широко будетъ практиковаться русской литературой послѣ смерти Бѣлинскаго, въ пятидесятые годы, когда всѣ вѣдомства, даже второстепенныя, вооружатся своими специальными цензурами на русское слово и оно на цѣлые годы попадетъ въ карантинъ. Бѣлинскій считался сравнительно еще съ цвѣтками, ягоды были впереди.

Но и здѣсь онъ сумѣлъ остаться на высотѣ той же рыцарственной справедливости, какая руководила имъ и въ самыхъ свободныхъ порывахъ его чувства. Принужденный воздерживаться отъ порицанія того, чему грозила опасность и съ чѣмъ было связано будущее русской общественной мысли, онъ считалъ долгомъ воздерживаться отъ излишнихъ похвалъ явленіямъ, гдѣ нельзя было откровенно изобличить недостатки.

Напримѣръ, Бѣлинскій жестоко издѣвается надъ успѣхомъ лекцій Шевырева, надъ русской публикой—этимъ «мѣщаниномъ въ дворянствѣ», готовымъ увлекаться чѣмъ угодно изъ благодарности за приглашеніе въ парадно-освѣщенную залу и въ боярскія хоромы... И при всемъ этомъ Бѣлинскій недоволенъ слишкомъ восторженными статьями Герцена о лекціяхъ Грановскаго: «По моему мнѣнію—писать онъ,—стыдно хвалить то, чего не имѣешь права ругать», т.-е. ту же русскую публику <sup>259)</sup>.

Въ такомъ же положеніи Бѣлинскій находился и при своихъ разсужденіяхъ о русской народности и вообще о народной поэзіи. На него двигались со всѣхъ сторонъ тучи чисто охотничьескаго самохвальства отечественнымъ варварствомъ и рабствомъ, предъ нимъ возводились въ перлы мірового искусства, по меньшей мѣрѣ, не поэтическія и не мудрыя сказанія о Тугаринѣ Змѣевичѣ, Дунаѣ Ивановичѣ и объ удивительной княгинѣ Апраксѣвнѣ, въ половинѣ девятнадцатаго вѣка солнце геніальнаго культурнаго творчества народовъ и вдохновляющія преданія свободной мысли и человѣческой дѣйствительности грозили заслонить смутными, часто уродливыми образами темной первобытной фантазіи... Да если бы у критика былъ не одинъ талантъ мысли, а въ придачу и геній творчества, если бы, помимо могучаго краснорѣчія публициста, онъ обладалъ бы еще сверкающимъ стихомъ поэта,—все это напра-

<sup>259)</sup> Пыпинъ. II, 241—2

вилъ бы онъ противъ кичливаго недомыслия и фарисейскаго націонализма.

Отсюда рядъ заявленій, какими чрезвычайно просто воспользоваться для самыхъ рѣзкихъ уликъ писателя въ какихъ угодно преступленіяхъ противъ «любви къ отечеству» и «національной гордости». Бѣлинскій, напримѣръ, не пожелалъ оцѣнить достоинства физскаго эпоса, отнесся хладнокровно къ индусской поэміи *Намъ и Дамаянти*, а относительно малорусской литературы выразился совсѣмъ обидно: «жалко видѣть, когда и маленькое дарованіе попусту тратитъ свои силы, пиша по малороссійски—для малороссійскихъ крестьянъ» <sup>260</sup>).

Мысль на иной рѣшительный народническій взглядъ прямо преступная! И впечатлѣніе было бы основательно, если бы въ идеѣ критика заключалось чувство пренебреженія къ малорусскому народу. Ничего подобнаго. Бѣлинскій стоитъ на стражѣ все той же дорогой для него европейской цивилизаціи, культурной идеиности, и спѣшитъ указать на однообразіе содержанія и интереса специально крестьянской малорусской литературы. И онъ приводитъ примѣры изъ цѣлой книги, выѣзжающей на мужицкой простоватости и своеобразности крестьянскаго говора.

Мы знаемъ,—«простоватость»—фактъ народной психологій, говоръ—фактъ народнаго быта, и то и другое для насъ драгоценно въ смыслѣ поучительности, практической и культурной. И критикъ, несомнѣнно, согласился бы съ нами. Вѣдь онъ же самъ, разсуждая о томъ же простоватомъ и грубоватомъ народномъ творчествѣ, написалъ слѣдующее стихотвореніе въ прозѣ:

«Не диво, что русскій мужичокъ и плачетъ, и пляшетъ отъ своей музыки; но то диво, что и образованный русскій, музыкантъ въ душѣ, поклонникъ Моцарта и Бетховена, не можетъ защититься отъ неотразимаго обаянія однообразнаго, заунывнаго и удалаго напѣва народной пѣсни... Возрастъ мужества выше младенчества—нѣтъ спора. Но отчего же звуки нашего дѣтства, его воспоминанія даже и въ старости потрясаютъ всѣ струны нашего сердца радостью и грустью и вокругъ поникшей головы нашей вызываютъ свѣтлыхъ духовъ любви и блаженства?» <sup>261</sup>).

И у критика есть отвѣтъ, столь же трогательный и поэтическій: смыслъ его—«единство съ природой». Развѣ нельзя дать по-

<sup>260</sup>) Сочиненія. V, 309.

<sup>261</sup>) V, 37.

добнаго же отвѣта не въ интересахъ чувства и поэзіи, а ума и знанія, когда предъ нами таже народная литература?

Мы видѣли, критикъ неоднократно пытался дать такой отвѣтъ, и знаемъ, почему попытки не увѣнчались стройнымъ всеисчерпывающимъ разборомъ народного творчества. Бѣлинскій самъ лучше другихъ сознавалъ пробѣлъ въ своей критикѣ. Онъ хотѣлъ написать исторію русской народной поэзіи и литературы: мысль эта не покидала его до самой смерти <sup>262</sup>). Краснорѣчивое свидѣтельство, какое онъ значеніе придавалъ всестороннему выясненію вопроса, столь затемненнаго и извращеннаго безтолковыми восторгами безсознательно или преднамѣренно слѣпыхъ жрецовъ славянства и руссизма.

Заключеніе наше вполне ясно: Бѣлинскому незачѣмъ было склоняться предъ славянофильской вѣрой, чтобы усвоить чувства патриотизма и народности, незачѣмъ было идти на вынужденныя уступки, чтобы восполнить свое художественное и общественное міросозерпаніе. Мы могли оцѣнить теченіе идей Бѣлинскаго до его предсмертной славянофильской полемики, и могли убѣдиться, что полемика вела къ давно намѣченной цѣли, къ болѣе полному и систематическому закрѣпленію раньше высказанныхъ мыслей и къ идейной формулировкѣ раннихъ, давнишнихъ чувствъ.

#### XLV.

Наканунѣ мнимаго отступничества Бѣлинскаго отъ правовѣрныхъ западныхъ идеаловъ, положеніе его въ современной литературѣ рѣзко измѣнилось.

До 1846 года Бѣлинскій работалъ въ *Отечественныхъ Запискахъ*, создавъ имъ непримѣрную популярность и, конечно, пріобрѣлъ себѣ громкое имя. Его голосъ царствовалъ безраздѣльно и неограниченно въ критикѣ и публицистикѣ. Глухая провинція не хуже столицы понимала силу Бѣлинскаго и безошибочно угадывала его неподписанныя статьи. Критика изумляла его собственная популярность: «этого мнѣ и во снѣ не снилось», заявлялъ онъ <sup>263</sup>), и добродушно радовался своему авторитету даже среди сибирскихъ купцовъ <sup>264</sup>).

<sup>262</sup>) Анненковъ. *Воспоминанія*. III, 198.

<sup>263</sup>) Письма къ Герцену. *Русск. М.* 1891, I, 22.

<sup>264</sup>) Разсказъ Панаева о встрѣчѣ съ сибирскимъ купцомъ, почитателемъ Бѣлинскаго. *Литературныя Воспоминанія*. Спб. 1876, стр. 391—2.

Слава приносила великое нравственное утѣшеніе. Бѣлинскій могъ чувствовать себя въ полномъ смыслѣ «властителемъ думъ» всѣхъ современныхъ честныхъ людей, даже своего рода диктаторомъ: объ этомъ, мы увидимъ, будутъ заявлять его противники при его жизни и послѣ его смерти, и критикъ лично могъ убѣдиться въ правотѣ этихъ заявленій. Именно благодаря ему выросъ журналъ Краевского въ распространеннѣйшій органъ цѣлой эпохи, именно его участіе привлекло въ изданіе и подписчиковъ, и сотрудниковъ.

Все это были розы, но за ними скрывались чрезвычайно колючія терніи и можно было даже думать, что весь аромат и вся красота цвѣтовъ достаются на долю другихъ, а самому садовнику приходится утѣшаться платоническими радостями.

Издатель видѣлъ въ Бѣлинскомъ исключительно выгодную рабочую силу. Въ обширной перепискѣ Бѣлинскаго съ Краевскимъ и Бѣлинскаго съ его друзьями нельзя открыть ни единого проблеска человѣческихъ или просто культурныхъ отношеній между владѣльцемъ журнала и сотрудникомъ. Задолго до разрыва Бѣлинскій откровенно и безпрестанно говоритъ Краевскому о насильственной связи ихъ другъ съ другомъ, надѣляетъ его далеко не любезными, хотя по формѣ и шутливыми эпитетами, и явно страдаетъ отъ безпоощадной расчетливости издателя <sup>265</sup>).

Въ глазахъ Краевского трудъ Бѣлинскаго имѣлъ совершенно другое значеніе, чѣмъ даже для сибирскихъ купцовъ. Это просто рабочій, связанный подрядомъ и неограниченными обязательствами. Онъ долженъ писать не только статьи о Пушкинѣ и Гоголѣ, но разбирать французскіе и латинскіе буквари, итальянскія грамматики, даже книги по византійской архитектурѣ и по медицинѣ. Если что-либо, по мнѣнію Краевского, не выполнялось изъ урока, немедленно слѣдовало замѣчаніе, что за нанятаго критика работаютъ другіе.

Бѣлинскій выбивался изъ силъ, горѣлъ страстнымъ негодованіемъ и всей волей души рвался на свободу. Издатель до конца не щадилъ закабаленнаго слуги. Помимо строжайшаго наблюденія за количествомъ работы, тщательно взвѣшивалось качество и результаты взвѣшиванія провозглашались во всеуслышаніе, и безъ всякаго соображенія о самолюбіи и о неопцѣненныхъ заслу-

<sup>265</sup>) Письма Бѣлинскаго къ Краевскому. *Отчетъ Имп. Публ. библиотекъ за 1889 годъ*. Спб. 1893.

тахъ писателя. «Бѣлинскій-выписался и мнѣ пора его прогнать» — такую фразу Краевского передаетъ Бѣлинскій Герцену <sup>266</sup>). Она была бы невѣроятна, если бы это отношеніе не засвидѣтельствовали люди, прекрасно знавшіе о немъ отъ самого Краевского и сочувствовавшіе его рѣшенію. Намъ рассказываютъ, что Краевскій вознегодовалъ на Бѣлинскаго за статьи о Пушкинѣ, за ихъ, будто бы, исключительно эстетическое содержаніе, и сталъ придумывать средство, какъ бы отдѣлаться отъ своего критика <sup>267</sup>). Бѣлинскій самъ пришелъ ему на помощь, и рассказъ его, какъ издатель принялъ его отказъ отъ сотрудничества въ *Отечественныхъ Запискахъ*, не противорѣчитъ нашимъ свѣдѣніямъ. Отъ минутнаго смущенія Краевскій прямо перешелъ къ соображеніямъ, кому отдать критическій отдѣлъ журнала.

Бѣлинскій много перетерпѣлъ, пока закончилось дѣло. Каждое письмо переполнено воплями на упадокъ физическихъ и нравственныхъ силъ, на безпамятство и отупѣніе отъ подневольной ремесленнической работы, на совершенно безнадежное будущее убогаго бѣдняка, связаннаго семьей. Здѣсь нѣтъ ни одной черты преувеличенной и прикрашенной, и личная драма писателя тѣмъ болѣе должна бить по сердцу и совѣсти русскаго общества, что жертва ея не Виссаріонъ Бѣлинскій, какъ сотрудникъ *Отечественныхъ Записокъ*, а великій литературный талантъ и доблестная гражданская мысль. Во всеоружіи всего этого писатель попадаетъ въ разрядъ лишнихъ людей и инвалидовъ, принужденныхъ обращаться за помощью къ добрымъ чувствамъ друзей.

Бѣлинскій такъ и поступилъ. Онъ задумалъ издать научно-литературный сборникъ и былъ глубоко тронутъ готовностью пріятелей снабдить его статьями. Но семья оказалась не безъ урода. На сторонѣ Краевского явились усердные добровольцы, утѣшавшіе его въ разрывѣ съ Бѣлинскимъ и самоотверженно работавшіе для преуспѣянія *Отечественныхъ Записокъ*.

Рыцарь этотъ Боткинъ. Онъ завѣрялъ Краевского, что журналъ его, по уходѣ Бѣлинскаго сталъ еще лучше прежняго, что «литературное поприще Бѣлинскаго» онъ считаетъ «поконченнымъ». Одновременно шла вербовка сотрудниковъ для Краевского. Боткинъ находилъ послѣднія статьи Бѣлинскаго неудовлетворитель-

<sup>266</sup>) Письма къ Герцену. Р. М. 1891, I, 3.

<sup>267</sup>) Одинъ изъ забытыхъ журналистовъ, А. Старчевскаго. *Ист. Вѣсти*. 1886 г., XIII, 380—1.

ными: «Теперь нужно и больше такта и больше знанія». Все, что писалъ Бѣлинскій помимо русской литературы, «изъ рукъ вонъ плохо» <sup>268</sup>).

Краевскій могъ торжествовать и не имѣлъ, конечно, никакихъ оснований съ большей пощадой относиться къ своему прежнему сотруднику, чѣмъ завѣдомые пріятели самого Бѣлинскаго. Замѣчательно, Боткину ни на минуту не пришла мысль хотя бы объ *историческомъ* значеніи отжившаго критика для журнала Краевского. Онъ съ поразительнымъ усердіемъ ухаживаетъ за настроеніями Краевского,—онъ, рѣшительно не нуждающійся въ любезностяхъ журнальнаго издателя,—и ни словомъ не обмолвливается объ единственномъ настоящемъ создателѣ благополучія Краевского и его журнала.

А въ это время Бѣлинскій отбивался отъ призрака голодной смерти. Правда, среди его друзей и знакомыхъ числились господа съ большими и даже громадными средствами. Герценъ, тотъ же Боткинъ, Анненковъ, Панаевъ были богатыми людьми, Огаревъ могъ претендовать на наименованіе Креза, но какъ-то вышло, что мы узнаемъ удручающія подробности бѣдственнаго положенія Бѣлинскаго, слышимъ объ его обманутыхъ надеждахъ на Креза, Огарева, человѣка, впрочемъ, идеальной доброты, рыцарскаго джентльменства и симпатичнаго поэтическаго таланта. Исторія длится до тѣхъ поръ, пока перо не выпадаетъ изъ рукъ страдальца, сердце окончательно не отказывается биться, и надорванная грудь не замираетъ подъ тяжестью неизбывнаго труда. Семья остается тотъ же путь лишений и имя Бѣлинскаго на-вѣки остается символомъ каторжной борьбы за существованіе среди самыхъ оригинальныхъ условий: среди безчисленныхъ почитателей таланта и многочисленныхъ друзей сердца чрезвычайно щедрыхъ на *трогательныя воспоминанія* и странно равнодушныхъ къ *трагической очевидности*.

Испытанія не могли безслѣдно пройти для нравственной жизни Бѣлинскаго. Онъ никогда не умѣлъ отдѣлить своей личности отъ своихъ идей, переживавшаго отъ передуманнаго, и теперь, весь, повидимому поглощенный мыслью о спасеніи себя и семьи отъ голода, о восстановленіи своего здоровья на новую работу, онъ не перестаетъ жить въ духѣ и истинѣ. Процессъ общихъ идей не прерывается при самыхъ мрачныхъ перспективахъ личнаго

<sup>268</sup>) Письмо къ Краевскому. *Отчетъ*, стр. 78, 82 etc.



матеріального существованія, и въ напряженномъ личномъ горѣ и гнѣвѣ Бѣлинскій почерпаетъ будто молодую страсть общественнаго чувства и изощренность философскаго взора.

Въ самый разгаръ переписки съ Герценомъ о разрывѣ съ *Отечественными Записками*, среди поистинѣ трагическихъ доказательствъ, что всякій бѣднякъ—подлецъ, онъ даетъ мимоходомъ превосходную характеристику беллетристическаго таланта Герцена. Подъ перо этого, будто бы поконченнаго человѣка, вновь являются озаряющія опредѣленія въ родѣ *осердеченный умъ*, обильно ложатся неожиданныя мимолетныя соображенія, каждое отдѣльно заключающее въ себѣ мотивъ и содержаніе цѣлаго философскаго и критическаго разсужденія, напримѣръ: *умъ художника и умъ человѣка*. Немного спустя изъ Крыма, куда Бѣлинскій поѣхалъ «не только за здоровьемъ, но и за жизнью», онъ посылаетъ Герцену остроумнѣйшія дорожныя впечатлѣнія. Письмо въ высшей степени любопытно, помимо остроумія. Оно свидѣтельствуетъ о чувствахъ Бѣлинскаго къ нѣкоторымъ положительнымъ идеаламъ славянофильской партіи наканунѣ знаменитой полемики.

Бѣлинскій пишетъ:

«Вѣѣхавши въ крымскія степи, мы увидѣли три новыя для насъ націи: крымскихъ барановъ, крымскихъ верблюдовъ и крымскихъ татаръ. Я думаю, что это разные виды одного и того же рода, разные колѣна одного племени, такъ много общаго въ ихъ фizioноміи. Если они говорятъ и не однимъ языкомъ, то тѣмъ не менѣе хорошо понимаютъ другъ друга. А смотрятъ рѣшительно славянофилами. Но, увы! въ лицѣ татаръ даже и настоящее, коренное, восточное, патріархальное славянофильство поколебалось отъ вліянія лукаваго запада: татары, большею частью, носятъ на головѣ длинныя волосы, а бороду брѣютъ! Только бараны и верблюды упорно держатся святыхъ праотческихъ обычаевъ временъ Кошихина: своего мнѣнія не имѣютъ, буйной воли и буйнаго разума боятся пуще чумы и безконечно уважаютъ старшаго въ родѣ, т. е. татарина, позволяя ему вести себя куда угодно и не позволяя себѣ спросить его, почему, будучи ничѣмъ не умнѣе ихъ, гоняетъ онъ ихъ съ мѣста на мѣсто? Словомъ, принципъ смиренія и кротости постигнуть ими въ совершенствѣ, и на этотъ счетъ они могли бы проблѣять что-нибудь поинтереснѣе того, что блещетъ Шевырکو и вся почтенная славянофильская братія» <sup>269</sup>).

<sup>269</sup>) Шевырکو-Шевыревъ. Р. М. Ів., стр. 24.

Славянофилы вообще больше, чѣмъ когда-либо беспокоили Бѣлинскаго. Они совершенно неожиданно проявили дѣятельность на поприщѣ публичности, рѣшительно отдѣлились отъ Погодина и Шевырева и издали свой *Московский Сборникъ*. Бѣлинскій прочиталъ *Сборникъ* по дорогѣ въ Крымъ, остался доволенъ статьей Юрія Самарина за то, что онъ «умно и зло казнилъ аристократическія замашки Соллогуба», автора *Тарантаса*, но Хомяковъ взволновалъ его.

Славянофильскій діалектикъ и богословъ напечаталъ статью *Мнѣніе русскихъ объ иностранцахъ*. Погодинъ называлъ ее «меньшой сборникъ въ большемъ сборникѣ»: такъ богато ея содержаніе! Это мнѣніе подкрѣплялось весьма двусмысленными похвалами многообразнымъ талантамъ автора, обилію его свѣдѣній и поразительному искусству говорить рѣшительно обо всемъ, начиная съ охоты на зайцевъ и кончая вселенскими соборами <sup>270</sup>).

Хомяковъ почувствовалъ ядовитость погодинскихъ восторговъ и поспѣшилъ заявить о лукавомъ профессорѣ: *не нашъ!* <sup>271</sup>).

Но весьма трудный вопросъ, чѣмъ былъ Хомяковъ—авторъ своей статьи? Написана она, по обыкновенію, очень бойко и проникнута, повидимому, патріотическими руссофильскими чувствами. Но философъ съ такой стремительностью переносится съ предмета на предметъ, съ такой чисто-барственной небрежностью и граціознымъ самодовольствомъ разсыпаетъ партійные трюизмы, что читателю и на умъ не приходитъ мысль объ убѣжденности и вѣрѣ автора. Діаметральная противоположность статьямъ Бѣлинскаго! Отъ разсужденій Хомякова вѣетъ чѣмъ-то худшимъ, чѣмъ холодъ: какимъ-то разсчитаннымъ кокетствомъ мысли и слова, какимъ-то ничѣмъ неоправдываемымъ утонченнымъ пренебреженіемъ къ противникамъ, непоколебимой увѣренностью въ собственной правдѣ, доставшейся даромъ, безъ всякой отвѣтственной нравственной работы, безъ всякихъ жертвъ личнымъ покоемъ и уютной гармоніей самодовольнаго, самовлюбленнаго существованія.

Хомяковъ считаетъ ниже своего достоинства и вѣтъ своего полета называть своихъ противниковъ по именамъ: «одинъ изъ нашихъ журналовъ», «тридцатилѣтніе социалисты», «какой-то критикъ». Все вѣдь за предѣлами нашего святилища такъ мелко и сѣро, почти такъ же, какъ масса нашихъ наслѣдственныхъ Ва-

<sup>270</sup>) *Москвитянинъ*. 1846 г., № 5.

<sup>271</sup>) Барсуковъ. VIII, 321.

некъ и Парашекъ, что нѣтъ возможности запомнить фамилію *Бѣлинскій*, названіе *Отечественныя Записки*! Правда, русская публика, какъ бы ни была она молода и загнана, именно этимъ литературнымъ плебсомъ только и интересуется, и не желаетъ знать о краснорѣчивыхъ упражненіяхъ тонко-просвѣщенныхъ энциклопедистовъ. Но какое намъ дѣло до улицы и площади: у насъ имѣется свой партеръ въ первѣйшихъ московскихъ салонахъ и въ англійскомъ клубѣ!

Для его удовольствія Хомяковъ, надменно и мимоходомъ зацѣпилъ Бѣлинскаго за его восторги предъ народнымъ творчествомъ Пушкина и Лермонтова, неизмѣримо выспимъ, чѣмъ русскія сказки и пѣсни <sup>272)</sup>. Бѣлинскій вознегодовалъ и грозилъ мстью <sup>273)</sup>. Онъ выражается о Хомяковѣ очень сильно—«безталанный ѣрникъ», но въ статьѣ, дѣйствительно, при самыхъ благосклонныхъ намѣреніяхъ, трудно найти ясность и доказательность мысли: «неисчерпаемая богатства», «неподражаемый языкъ», «величіе пѣсеннаго міра», «неподражаемая мудрость и глубокій смыслъ внутреннихъ учрежденій и обычаевъ»—всѣ эти возгласы нисколько не поддерживаютъ ни величія русскихъ пѣсней, ни достоинства русскихъ обычаевъ. Бѣлинскій яснѣе, чѣмъ кто-либо, могъ опѣнить пустопорожность хомяковскихъ словоизвитій и заранѣе предвкушагъ удовольствіе встрѣтиться на полѣ битвы съ подобнымъ паладиномъ.

Такимъ образомъ поѣздка за здоровьемъ и жизнью выходила отнюдь не отдыхомъ, а непрерывнымъ накопленіемъ новыхъ мотивовъ борьбы, новыхъ поводовъ отдавать литературѣ и силы, и самую жизнь. Бѣлинскій радовался всякой новой статьѣ своихъ враговъ, разжигавшихъ въ немъ кровь бойца, и привѣтствовалъ нападки Сенковского на его брошюру о Полевомъ. Онъ возвращался въ Петербургъ безъ большого запаса физическихъ силъ, но безъ малѣйшей утраты нравственной энергіи. Судьба на этотъ разъ пожелала быть вдвойнѣ благосклонной къ своему пасынку: она приготовила для него новое поприще подвижничества и выдвинула, въ первый разъ за всю его жизнь, повидимому дѣйствительно литературнаго противника.

Поприще—журналъ *Современникъ*, купленный Панаевымъ и Некрасовымъ у Плетнева, противникъ—новый критикъ «Отечественныхъ Записокъ» Валеріанъ Николаевичъ Майковъ.

<sup>272)</sup> Статья перепечатана. *Полное собраніе сочиненій*. I, 57—8 etc.

<sup>273)</sup> Письмо къ Герцену. Р. М. 1891, I, 23.

## XLVI.

Дѣятельность Майкова, по своему содержанию и значенію, должна считаться одною изъ любопытнѣйшихъ главъ въ исторіи критики Бѣлинскаго. Майковъ заявилъ о себѣ большой публикѣ полемикой съ Бѣлинскимъ, вызвалъ у него отпоръ и далъ ему ближайшій поводъ выяснить окончательно свои отношенія къ славянофильству. Молодой критикъ умеръ на двадцать четвертомъ году жизни несчастной случайной смертью, въ *Отечественныхъ Запискахъ* работалъ всего пятнадцать мѣсяцевъ, но успѣлъ оставить послѣ себя большое количество обширныхъ статей и рецензій и вызвать у современныхъ и позднѣйшихъ судей въ высшей степени лестное мнѣніе о своемъ талантѣ и о вліяніи своего кратковременнаго писательства на русскую публицистику.

Во главѣ поклонниковъ стоитъ Боткинъ. Онъ пишетъ Краевскому благосклонные отзывы о статьяхъ Майкова, находитъ въ нихъ «дѣльные мысли»; въ письмѣ къ Анненкову похвалы сдержаннѣе, но все-таки подчеркивается большое преимущество Майкова предъ другими критиками—свобода отъ нѣмецкихъ теорій и французское воспитаніе. По смерти молодого писателя Боткинъ пишетъ очень почетный некрологъ: «умъ крѣпкій, самостоятельный», «изъ него вышелъ бы замѣчательный критикъ». Со стороны такого скептика, какимъ сталъ Боткинъ послѣ своего романическаго, но крайне неудачнаго брака, характеристика Майкова является внушительной.

Но тотъ же Боткинъ не могъ не отиѣтить и отрицательныхъ сторонъ въ его произведеніяхъ: неопытность, незрѣлость мысли, отсутствіе въ статьяхъ твердаго рисунка, опредѣленнаго колорита, склонность поднимать много шума изъ ничего... <sup>274)</sup>

Все это, конечно, извинительно въ двадцать три года, странно только крѣпость и самостоятельность ума рядомъ съ незрѣлостью мысли. Впослѣдствіи Майковъ попалъ чуть не въ родоначальники новаго направленія русской критики и, во всякомъ случаѣ, оказался чрезвычайно сильнымъ соперникомъ Бѣлинскаго, даже отчасти его учителемъ.

Мысли эти были высказаны сначала въ некрологахъ подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ внезапной трагической кончины юноши <sup>275)</sup>.

<sup>274)</sup> *Отчетъ*, стр. 78, 84. *Анненковъ и его друзья*, стр. 527, 549.

<sup>275)</sup> Статьи Плещеева, Гончарова, Порѣцкаго. Перепечатаны въ *Критическіе опыты* Майкова, Спб. 1891.

Потомъ нашлись очень усердные истолкователи посмертныхъ сочувственныхъ оцѣнокъ Майкова и проложили ему прямой и широкій путь къ первому по времени мѣсту среди преобразователей русской публицистики <sup>276)</sup>. Важнѣйшія права на столь высокое положеніе слѣдующія: «со статьи В. Майкова началась настоящая оппозиція славянофильству», Бѣлинскій послѣ нея «внезапно прозрѣлъ», началось «радикальное измѣненіе въ отношеніи его къ славянофиламъ...»

Мы уже знаемъ, что ни о какомъ радикальномъ измѣненіи, ни о внезапномъ прозрѣніи Бѣлинскаго не можетъ быть и рѣчи. Такое мнѣніе возможно только при поверхностномъ знакомствѣ съ развитіемъ и сущностью воззрѣній Бѣлинскаго на народность, вообще при крайне сбивчивомъ представленіи о всей его критической дѣятельности, предшествовавшей статьѣ въ *Современникѣ*. А потомъ, оппозиція Майкова славянофильству не только не была «настоящей», а по своимъ идейнымъ основамъ даже подрывала кредитъ западническаго міросозерцанія и рѣшительно не грозила никакой опасностью самому узкому московскому правовѣрію.

Майковъ литературнымъ критикомъ сдѣлался случайно, безъ личнаго внутренняго влеченія. Правда, онъ выросъ въ семьѣ, богатой художественными талантами: отецъ—художникъ, братъ—даровитый поэтъ. Природа не отказала и ему въ литературномъ вкусѣ. Намъ рассказываютъ, что Гончаровъ читалъ *Обыкновенную исторію* въ семьѣ Майковыхъ и обратилъ вниманіе на замѣчанія самаго младшаго изъ слушателей—Валерьяна, и даже сдѣлалъ измѣненія согласно указаніямъ юнаго критика <sup>277)</sup>. И все-таки душа Майкова лежала къ совершенно другому роду умственного труда, къ какому—онъ самъ объяснилъ въ письмѣ къ Тургеневу:

«Я никогда не думалъ быть критикомъ въ смыслѣ оцѣнщика литературныхъ произведеній: я чувствовалъ всегда непреодолимое отвращеніе къ сочиненію отрывочныхъ статей. Я всегда мечталъ о карьерѣ ученаго и до сихъ поръ ни мало не отказался отъ этой мечты. Но какъ добиться того, чтобы публика читала ученые сочиненія? Я видѣлъ и вижу въ критикѣ единственное средство заманить ея въ сѣти интереса науки. Есть люди и много, которые прочтутъ ученый трактатъ въ «критикѣ» и ни за что не станутъ читать отдѣла «Наукъ», а тѣмъ болѣе ученой книги».

<sup>276)</sup> Скабичевскій. *Сорокъ лѣтъ русской критики. Сочиненія*, стр. 466 etc.

<sup>277)</sup> Старчевскій. *О. с. Ист. В. XXIII*, стр. 378—9.

И Майковъ началъ свою литературную дѣятельность сообразно съ своими наклонностями. Онъ кончилъ юридическій факультетъ петербургскаго университета, съ особеннымъ прилежаніемъ изучалъ исторію политической экономіи, служилъ въ департаментѣ сельскаго хозяйства и заинтересовался естественными науками, особенно химіей. Первый трудъ его—переводъ *Писемъ о химіи* Либиха, второй—*Объ отношеніи производительности къ распредѣленію богатства*. Оба не были напечатаны и второй появился въ печати лишь въ собраніи сочиненій Майкова. Для насъ онъ представляетъ большой интересъ, не въ смыслѣ учености и фактической полноты, а ясности и послѣдовательности мысли, характера изложенія и конечной цѣли идей.

Прежде всего достойна вниманія самая тема. Впослѣдствіи Майковъ и въ литературную критику внесетъ свой вкусъ къ политической экономіи и будетъ однимъ изъ первыхъ популяризаторовъ-экономистовъ, игравшихъ такую значительную роль въ позднѣйшей русской публицистикѣ.

Майковъ явится не одинокимъ воиномъ на страницахъ *Отечественныхъ Записокъ*. Одновременно съ нимъ въ отдѣлѣ «Науки и искусства» выступилъ Владиміръ Алексѣевичъ Милютинъ. Чрезвычайно талантливыи молодой ученый, популярный лекторъ, въ высшей степени привлекательный какъ личность, Милютинъ принесъ съ собою въ журналъ Краевского жизнь и блескъ. Онъ писалъ въ отдѣлѣ, какой Майкову казался недоступнымъ для большой публики, и между тѣмъ статьи Милютина несравненно популярнѣе по содержанію и изящнѣе по формѣ, чѣмъ критики Майкова. Обширная статья *Пролетаріи и науперизмъ въ Англіи и во Франціи* обратила на себя всеобщее вниманіе и еще выше подняла популярность автора. Злой рокъ тяготѣлъ надъ человекомъ, сулившимъ широкія перспективы русской общественной мысли. Милютинъ въ самомъ началѣ блестящаго пути покончилъ самоубійствомъ <sup>278</sup>).

Направленія идей Милютина и Майкова тождественны. Оба молодые ученые одной экономической школы, весьма краснорѣчивой для молодежи конца сороковыхъ годовъ. Школа эта, очевидно, преобладала въ преподаваніи политической экономіи на юридическомъ факультетѣ петербургскаго университета и въ то же

<sup>278</sup>) Романтическая исторія Милютина разсказа въ *Воспоминаніяхъ о С. Петербургскомъ университетѣ*. О. Устрялова. *Ист. В.* 1884 г. XVI, 596.

время пользовалась сочувствіемъ общества, по крайней мѣрѣ, нѣкоторыхъ избранныхъ знатоковъ европейскихъ теченій.

Это—школа Маркса, по крайней мѣрѣ ея весьма существенные отголоски.

У насъ имѣются обстоятельныя свѣдѣнія, какой великій интересъ вызывали личность и ученіе Маркса у русскихъ странниковъ за границей. Знаменитый экономистъ занялъ мѣсто Шеллинга и Гегеля, сталъ предметомъ русскаго пилигримства и не менѣе романтическихъ увлеченій, чѣмъ раньше было германское «любоуміе». Экономическіе вопросы, поглотившіе публицистику и даже художественную литературу Запада послѣ іюльской революціи, не могли миновать русской публики. Популярнѣйшія знаменитости беллетристики, въ родѣ Жоржъ-Занда и Эжена Сю, держали вниманіе читателя почти исключительно на социальномъ движеніи. Судьба народныхъ массъ стала во главѣ всѣхъ культурныхъ и нравственныхъ интересовъ времени, и фактъ какъ нельзя болѣе соотвѣтствовалъ назрѣвавшему медленно, но неотвратимо, вопросу о русскомъ крѣпостномъ строѣ.

При такихъ условіяхъ Марксъ являлся вліятельнѣйшей научной и публицистической силой по систематичности своихъ воззрѣній, по исключительной энергіи своей личности, по чисто мессіанской вѣрѣ въ свое призваніе.

Естественно, находились даже степные помѣщики, подававшіеся обаянію марксизма и увѣрявшіе пророка въ своей готовности пожертвовать всѣми земными благами ради грядущаго переворота <sup>279)</sup>. Еще, конечно, естественнѣе, помѣщикамъ не выполнять своихъ клятвъ и быстро утрачивать энтузіазмъ.

На не было недостатка и въ искреннихъ и стойкихъ послѣдователяхъ. Анненковъ — одинъ изъ скромнѣйшихъ русскихъ литераторовъ — весьма живо и картинно изобразилъ личность Маркса: очевидно, даже его взяло за живое близкое знакомство съ авторомъ *Капитала*. И онъ, повидимому, сумѣлъ внушить Марксу весьма почтенныя чувства: тотъ счелъ нужнымъ писать русскому путешественнику письма съ изложеніемъ своихъ доктринъ и даже имѣть въ виду переслать ему свою книгу.

На сколько Анненковъ усвоилъ идеи Маркса, намъ неизвѣстно, но одну изъ нихъ—культурно-философскую—онъ внесъ въ свои воспоминанія. И эта именно идея вошла въ міросозерцаніе моло-

<sup>279)</sup> Анненковъ. *Воспоминанія*. III, 155.

дыхъ русскихъ экономистовъ конца сороковыхъ годовъ. Въ виду этого, для насъ не безразличны подлинныя слова русскаго марсисста:

«Марксъ одинъ изъ первыхъ сказалъ, что государственныя формы, а также и вся общественная жизнь народовъ съ ихъ моралью, философией, искусствомъ и наукой—суть только прямые результаты экономическихъ отношеній между людьми, и съ пере-мѣной этихъ отношеній сами мѣняются или даже и вовсе упразд-няются. Все дѣло состоитъ въ томъ, чтобы узнать и опредѣлить законы, которые вызываютъ перемѣны въ экономическихъ отно-шеніяхъ людей, имѣющія такіа громадныя послѣдствія» <sup>280)</sup>.

Милютинъ и Майковъ усвоили это ученіе и съ чрезвычайной энергіей, насколько позволяла современная цензура, защищали истины экономического матеріализма. При первомъ же знакомствѣ съ учеными статьями молодыхъ сотрудниковъ *Отечественныхъ Записокъ* бросается въ глаза любопытный фактъ: оба экономиста излагаютъ исторію своей науки въ *тождественныхъ* выраженіяхъ и оцѣниваютъ различныя школы совершенно одинаково по смыслу и по формѣ критики. Авторы или пользовались однимъ и тѣмъ же источникомъ, просто переводя его или, можетъ быть, Милютинъ зналъ работу Майкова въ рукописи <sup>281)</sup>. Марксистская идея также выражена въ рѣзкой, очевидно, вполне установившейся фор-мულѣ. Оба автора находятъ бесполезными или прямо лицемерными всякіе толки о просвѣщеніи рабочаго класса, пока не обезпечено его матеріальное благосостояніе. Майковъ исповѣдуетъ эту вѣру съ видимымъ увлеченіемъ и безпрестанно возвращается къ ней, даже повышая обычно-спокойный и тягучій тонъ своихъ рассу-женій и не отступая предъ крайними логическими выводами.

«По нашему мнѣнію,—пишетъ онъ,—духовное образованіе не только бесполезно, но... какъ бы это сказать?—безпокойно для человѣка, не пользующагося другими условіями благосостоянія» <sup>282)</sup>. Оно усиливаетъ въ человѣкѣ сознаніе его тягостнаго положенія, заставляетъ понимать, что потребности его не признаются и во-обще лишаетъ его способности безропотно переносить свои ли-

<sup>280)</sup> О. с., стр. 159.

<sup>281)</sup> Ср., напр., характеристику Сисмонди у Милютина въ статьѣ *Пролетаріи и пауперизмъ*, *От. Зап.* 1847, апрѣль, стр. 154, 156 и въ статьѣ Майкова *Критическіе опыты*, стр. 614, 617. Критика экономическихъ ученій—у Милютина стр. 158, у Майкова стр. 618 etc.

<sup>282)</sup> *Критич. оп.*, стр. 700.



щенія. Невѣжество, слѣдовательно, благотѣяніе при бѣдности. А такъ какъ бѣдность не только не уменьшается, а напротивъ, растетъ среди рабочихъ массъ, то осуществленіе просвѣтительныхъ плановъ отодвигается въ далекое неопредѣленное будущее. И молодой публицистъ обзываетъ прямо «смѣшными» и «неблагонѣренными» проекты о спасительности умственного и нравственного образованія нищихъ <sup>383</sup>).

Это одно, по мнѣнію новыхъ экономистовъ, недоразумѣніе современныхъ политиковъ. Другое—не менѣе пагубное—мечты о политическихъ правахъ рабочихъ, объ особыхъ парламентахъ изъ промышленнаго класса, вообще объ усиленіи его политическаго значенія. Все это—совершенно праздный и неразумный разговоръ: политическія права немислимы безъ умственного развитія, а мы уже знаемъ, умственное развитіе вредно при современныхъ экономическихъ условіяхъ. Слѣдовательно, пока рабочіе не будутъ вполне обеспечены, имъ лучше оставаться безграмотными и справедливѣе безправными <sup>384</sup>).

Выводъ, несомнѣнно, «безпокойный», но мы можемъ успокоиться: одинъ изъ нашихъ философовъ позаботился подвергнуть самого себя вполне цѣлесообразной критикѣ и освободилъ читателей отъ всякихъ хлопотъ — возражать ему по существу и въ подробностяхъ. Этимъ фактомъ и замѣчательны статьи Майкова: онъ обдумывалъ ихъ, очевидно, во время процесса писанія и не садился за свой письменный столъ съ готовымъ планомъ и строго упорядоченными идеями. Какая истина подвертывалась ему подъ перо, ту онъ и бросалъ на бумагу, предварительно не позаботившись даже о тщательной словесной формѣ идеи. Откуда многословіе статей, запутанность доказательства, смута основныхъ положеній, уродливое нагроможденіе отступленій и подробностей, и въ общемъ утомительность и неудобоваримость—исключительныя въ публицистикѣ сороковыхъ годовъ. Несомнѣнно, съ годами всѣ эти недостатки или исчезли бы, или, по крайней мѣрѣ, ослабли бы, но мы должны считаться съ дѣйствительно существующимъ.

Мы видѣли, кажется, достаточно опредѣленно установленъ вредъ просвѣщенія рабочихъ до устройства ихъ матеріальнаго положенія. Черезъ нѣсколько страницъ мы читаемъ, что умствен-

<sup>383</sup>) *Тб.*, стр. 296.

<sup>384</sup>) Майковъ, стр. 631; Милютинъ, стр. 158.

ное и нравственное образованіе рабочаго класса «можетъ смягнуть гибельное вліяніе раздѣленія труда на умственные способности работниковъ», а потомъ тоже умственное образованіе можетъ превратить рабочихъ въ «представителей своего класса», наконецъ, умственно-просвѣщенный работникъ не будетъ испытывать порабощающаго вліянія машинъ и тупѣть со дня на день предъ непонятными для него «трескучими и громадными явленіями».

Очень дѣльные соображенія, хотя далеко не исчерпывающія предмета. Насчетъ политическихъ правъ еще болѣе сильныя возраженія на только что доказанную истину—о бесполезности ихъ для рабочихъ.

Авторъ идетъ на свою истину съ двухъ сторонъ, и эти движенія сами по себѣ не чужды противорѣчій. Въ одномъ мѣстѣ онъ признаетъ желѣзный законъ «задѣльной платы» и помирился съ фактомъ, что увеличивать ее не зависитъ отъ хозяевъ, даже больше: «требовать отъ хозяевъ, чтобы они платили работникамъ болѣе того, сколько дозволяетъ имъ благоразуміе, значить требовать добровольнаго саморазоренія».

Но вопросъ, кто и какъ будетъ оцѣнивать требованія благоразумія? Авторъ, сказавши слово въ защиту хозяйскаго разсчета, немного спустя нарисовалъ трагическую картину эксплуатаціи рабочихъ богатымъ классомъ». Здѣсь все — и глухота къ убѣжденіямъ справедливости, и эгоизмъ, и признаніе всякихъ уступокъ нарушеніемъ правъ, пожертвованіемъ и разореніемъ, даже ожесточеніе, «какое-то злобное сладострастіе» богачей «выказывать свои даровыя преимущества надъ бѣдными, пользуясь ими при полномъ сознаніи ихъ несправедливости».

Въ результатѣ, конечно, современная заработная плата ничто иное, какъ отказъ рабочаго отъ всякой надежды на личную собственность и просто утрата человѣческаго образа и подобія.

Гдѣ же спасеніе?

Авторъ не вѣритъ въ самозащиту рабочихъ и возстаетъ противъ рабочихъ союзовъ. Вся его надежда на «правосудіе власти», на «отправленіе общественнаго правосудія», другими словами: на политическій строй государства. Но если всякая власть, въ томъ числѣ и судебная, будетъ находиться исключительно въ рукахъ хозяевъ, очевидно, отъ нея нечего будетъ ждать возстановленія справедливости. Классъ богачей, снабженный образованіемъ и политическими правами, явится такой деспотической и эксплуататорской силой, предъ которой побѣднѣютъ всѣ легендарныя ти-

раны и деспоты. Франція сороковых годов начинала сознавать эту истину и плодомъ сознанія явилась революція сорокъ восьмого года. Нашъ авторъ могъ бы и раньше сообразить простую вещь: власть правосудна вовсе не потому, что она власть, а потому, что она находится въ извѣстныхъ рукахъ и связана съ извѣстными нравственными и общественными цѣлями.

Дальше авторъ усиленно повторяетъ, что только «власть просвѣщенная и безпристрастная можетъ вывести общество изъ ложной колѣи». Кажется, прямой выводъ, въ конституціонныхъ странахъ, лишить эту власть односторонняго буржуазнаго характера и предоставить участіе въ ней рабочему классу?

Авторъ не додумывается до этого вывода, но рѣшается признать *conseils des prud'hommes*, т. е. представительныя собранія изъ рабочихъ и хозяевъ для рѣшенія споровъ и столкновеній между капиталомъ и трудомъ. Почему же въ общегосударственномъ парламентѣ нѣтъ мѣста представителямъ рабочихъ? Или потому, чтобы сохранить неприкосновенность правила: рабочій не можетъ быть полноправнымъ гражданиномъ, пока онъ пролетарій? Но вѣдь это волшебный кругъ: пролетарій онъ потому, что политически безправенъ, а лишенъ правъ, потому что пролетарій.

Для насъ въ данную минуту безразлична сущность вопроса, — наша цѣль — познакомиться съ приемами и силой мышленія критика. Мы не будемъ настаивать и на практическомъ или научномъ достоинствѣ личнаго преобразовательнаго проекта нашего экономиста: *должности*, т. е. участіе рабочихъ въ прибыляхъ предпріятія. Но мы не должны и здѣсь упускать изъ виду странной идеи — сдѣлать рабочихъ участниками въ чистыхъ доходахъ и лишить ихъ права вникать въ самую идею предпріятія, въ его развитіе и не платиться за рискъ. Почему?

Отвѣтъ, лишенный всякихъ доказательствъ: просто потому, что промышленность должна управляться «самодержавіемъ личной мысли и личной воли» <sup>285</sup>). Тогда и всякое акціонерное предпріятіе немислимо, и всякая предпринимательская компанія — подрывъ промышленному прогрессу.

## XLVII.

Помимо экономическихъ вопросовъ, мы знаемъ, Майковъ увлекался естествознаніемъ. И въ этой области, раньше крити-

<sup>285</sup>) *Иб.*, стр. 647.

ческих статей, написал начало обширного разсужденія: *Общественная наука въ Россіи*. Статья появилась въ *Финскомъ Вѣстникѣ*. Это—второе изданіе, гдѣ сотрудничалъ молодой ученый. Первое—*Карманный словарь иностранныхъ словъ, вошедшихъ въ составъ русскаго языка*.

Майковъ редактировалъ первый выпускъ словаря, написалъ нѣсколько статей, но еще до выхода выпуска изъ печати сталъ редакторомъ новаго журнала.

Замыслы редакціи были изложены публикѣ чрезвычайно смѣло и широко: редакція намѣревалась подвергнуть «критическому разбору всѣ стихіи цивилизаціи, которой призваны мы пользоваться позже всѣхъ другихъ народовъ Европы». Немного спустя объяснялось: цивилизація каждой изъ европейскихъ націй односторонняя и «мы должны дѣлать строгій выборъ» въ своихъ занятіяхъ. Это—программа, стоявшая на очереди у славянофиловъ и у Бѣлинскаго еще въ ранній періодъ его дѣятельности.

Майковъ очень не долго оставался въ *Финскомъ Вѣстникѣ*, не имѣвшемъ успѣха, и не окончилъ своего труда. Продолженіе осталось въ рукописи; первая статья—нѣчто вродѣ вступленія.

По литературнымъ достоинствамъ ея нельзя и сравнивать съ молодыми статьями Бѣлинскаго: у его будущаго противника обнаруживалось полное отсутствіе увлеченія, темперамента, блеска слова и энергіи мысли. Статья похожа на переводъ чужой работы, съ большимъ трудомъ давшійся переводчику. Статья раздѣлена на параграфы, имѣетъ всѣ вѣшніе признаки ученаго трактата, но въ дѣйствительности показываетъ неумѣнье автора говорить простымъ языкомъ о простыхъ предметахъ и склонность весьма спорныя истины заключать въ тяжеловѣсную педантическую форму. Откуда, напримѣръ, авторъ узналъ, будто мистицизмъ девятнадцатаго вѣка появился только въ «наше время», т. е. въ концѣ сороковыхъ годовъ? Какая исторія сообщила автору, что «эпикурейскіе пиры смѣнялись аскетизмомъ и отшельничествомъ»? Исторія, напротивъ, свидѣтельствуетъ о совмѣстномъ существованіи этихъ явленій. И какъ могъ такой глубокомысленный философъ идеализмъ и мистицизмъ объяснять *усталостю* челоуѣка отъ «прагматизма историческаго», *скукою* «отъ трупоразвѣтія явленій»? Какъ, наконецъ, вдумчивый критикъ могъ увѣрывать въ такой законъ: «крайность необходимо рождаетъ другую», и доказывать его фактомъ: «фанатизмъ среднихъ вѣковъ смѣнился безвѣріемъ XVIII-го вѣка»? Будто средніе вѣка и XVIII-й вѣкъ—эпохи смеж-

ныя и будто у энциклопедистовъ, вовсе не проповѣдывавшихъ *безспрія*, за исключеніемъ единичныхъ исключеній, не было предшественниковъ?

Ученость, очевидно, сомнительнаго качества. Но статья все-таки не безъ нѣкоторыхъ достоинствъ, и эти достоинства опять общее достояніе у Майкова съ Милютинимъ.

Майковъ въ одномъ мѣстѣ статьи и совершенно мимоходомъ ссылается на *Курсъ позитивной философіи* Конта. На самомъ дѣлѣ французскій философъ далъ русскому автору важнѣйшую идею-разсужденія: о *философіи* или *физиологіи общества*, т. е. о наукѣ, приводящей въ строгую систему «соціальныя вопросы». Майковъ разсуждаетъ о социологіи, называя социологовъ «соціалистами», нападаетъ на безпочвенную и безжизненную философію нѣмцевъ, на юношескую мечтательность ихъ науки, не щадитъ ни Шеллинга, ни Гегеля—за оторванность мышленія отъ опыта, знаній отъ дѣйствительности... Все это — плодъ весьма благотворной положительной философіи Конта, но все это давно русская публика прочтала въ статьяхъ Бѣлинскаго, только безъ новыхъ терминовъ и съ другимъ способомъ доказательствъ: не силлогизмами и отвлеченіями, а живымъ смысломъ окружающей дѣйствительности и страстнымъ сочувствіемъ жизненной правды.

Милютинъ и здѣсь выше Майкова.

Въ обширной статьѣ по поводу книги Бутовскаго *Опытъ о народномъ богатствѣ или о началахъ политической экономіи* онъ прекрасно изложилъ контовскія идеи о развитіи человѣчества, о положительномъ періодѣ цивилизаціи, о необходимости построенія новой общественной науки на прочныхъ научныхъ основахъ. Правда, онъ слишкомъ придерживается позитивистскаго взгляда на умственное направленіе XVIII-го вѣка, какъ исключительно отрицательное и метафизическое. Онъ могъ бы проявить больше самостоятельности мысли и безпристрастія сужденій, чѣмъ преемники энциклопедистовъ въ самой Франціи, но заслуга уже въ точномъ и дѣйствительно популярномъ объясненіи замѣчательнаго факта западной мысли. Милютинъ, кромѣ того, съ большимъ остроуміемъ подвергъ критикѣ мнимую ученость многочисленныхъ экономистовъ, наводнившихъ литературу безцѣльными схоластическими препирательствами о научныхъ терминахъ, часто просто о словахъ. «Утонченность и абстракція», по словамъ автора, затемнили простѣйшіе предметы и изгнали здравый смыслъ изъ самой жизненной и практически-настоятельной науки. Наконецъ, Милютинъ, не въ

примѣръ Майкову, умѣетъ кстати пользоваться выраженіями *соціализма* и *соціалиста* и превосходно истолковываетъ политическое значеніе новыхъ соціальныхъ ученій. Онъ также ссылается на Конта, но безъ всякаго сравненія съ Майковымъ, даетъ вполне дѣльную характеристику вновь возникающей положительной науки объ обществѣ <sup>285</sup>).

Предъ нами настоящій популяризаторъ, можетъ быть, недостаточно независимый, но всегда поучительный, безъ непосильныхъ притязаній на глубокомысліе, съ большимъ литературнымъ талантомъ. Милютинъ съ полнымъ правомъ можно считать предшественникомъ политико-экономическихъ и философскихъ публицистовъ шестидесятыхъ годовъ. Его статьи не могли пройти безслѣдно даже для средняго читателя. Что же касается трактатовъ Майкова, можно сомнѣваться, были ли они прочитаны даже заинтересованнымъ литературнымъ кружкомъ. Такого труда они требовали и такъ мало давали!

Если бы Майковъ не попалъ въ *Отечественныя Записки* и, по счастливому стеченію обстоятельствъ, не занялъ мѣста перваго критика въ популярнѣйшемъ журналѣ и непосредственно послѣ Бѣлинскаго, его личность врядъ ли привлекла бы вниманіе современниковъ и врядъ ли дошла бы до потомства. Даже послѣ критическихъ статей это потомство какъ-то необычайно легко и скоро забыло критика. Шестидесятые годы полны именемъ Бѣлинскаго, но она совсѣмъ не желаютъ заниматься его противникомъ. Съ эпохой, столь чуткой ко всякому біенію идейнаго общественнаго пульса, столь жадно нащупывавшей этотъ пульсъ въ прошломъ и настоящемъ, не могло бы случиться подобнаго приключенія, если бы молодой критикъ оставилъ послѣ себя дѣйствительно цѣнное и неумирающее наслѣдство.

Снова повторяемъ, произведенія Майкова важны для насъ только по ихъ отношенію къ дѣятельности Бѣлинскаго. Сами по себѣ они не только не внесли въ современную критику положительнаго новаго содержанія, но даже не бросили въ нее прочныхъ элементовъ броженія. Майковъ — отрицательный моментъ въ некоторыхъ сторонахъ критики Бѣлинскаго: въ этихъ предѣлахъ все его историческое значеніе.

Оно стало намѣчаться въ той же статьѣ *Общественная наука въ Россіи*, именно въ разсужденіи о національности. Критикъ немедленно

<sup>285</sup>) *Отеч. Зап.* 1847 г., XI, стр. 23 etc.

показать, какъ мало онъ имѣлъ права нападать на «силлогистику» иѣмецкихъ философовъ. Онъ самъ идеальный силлогистъ, т. е. фанатикъ отвлеченныхъ схемъ, рѣзкихъ математическихъ подраздѣлений и на столько же точныхъ, насколько и мертвыхъ формулъ.

Майковъ начинаетъ свое опредѣленіе культурнаго значенія національностей сравненіемъ рода человѣческаго съ многоугольникомъ. Цѣлое состоитъ изъ частей, многоугольникъ изъ угловъ, государство изъ провинцій, человѣчество изъ народовъ... Зачѣмъ, спросите вы, все это нагроможденіе предметовъ? Не ясно ли дѣло изъ самаго факта? Но таковъ пріемъ Майкова: онъ воображаетъ, что доказательность и простота мысли тождественны съ обиліемъ элементарныхъ сравненій, аналогій и параллелей. Это—дѣйствительно излюбленный способъ школьныхъ учителей бесѣдовать съ учениками; но горе въ томъ, что задачи нашего критика не школьныя и публика, читавшая Бѣлинскаго, Герцена, нуждалась совершенно въ другомъ методѣ разсужденій.

Ей не надо было на нѣсколькихъ страницахъ объяснять, что человѣчество состоитъ изъ народовъ, что «народность не служитъ препятствіемъ къ успѣхамъ человѣчества», но ей слѣдовало бы доказать, почему народность непремѣнно «возможно сильное развитіе какой-нибудь существенной части общечеловѣческой природы», своего рода одна черта общечеловѣческой фizioноміи? Почему народность обязательно нѣчто одностороннее, исключительное и какими путями авторъ додумался до существованія *общечеловѣка*, какъ реальнаго типа?

Все это требовало бы тщательныхъ откровеній, тѣмъ болѣе, что критикъ идеи о *національности*, какъ воплощенія одной какой-либо черты общечеловѣческой природы и о *человѣчествѣ*—какъ идеальной, но достижимой полнотѣ всѣхъ человѣческихъ чертъ, положилъ въ основу своей полемики съ Бѣлинскимъ и славянофилами.

#### XLVIII.

Майковъ, вступая въ *Отечественныя Записки*, поспѣшилъ сдѣлать нападеніе на своего предшественника. Бѣлинскій не назывался по имени, но ударъ былъ рассчитанъ на самую *почву* его славы. Именно, критикъ обвинялся въ *бездокладности* своихъ идей, въ стихійномъ диктаторствѣ надъ публикой. За критикой Бѣлинскаго важнѣйшей заслугой признавалось «энергическое вы-

раженіе симпатіи къ новой школѣ искусства». Но Майковъ жалѣеть о томъ, «чѣя недоказанная мысль нашла себѣ поддержку въ модѣ» <sup>286</sup>).

Выходятъ, Бѣлинскій не больше, какъ отголосокъ общаго настроенія, счастливый выразитель *моды*. Гоголь всѣми былъ понятъ и оцѣненъ, а Бѣлинскій только пошелъ вслѣдъ за этими всѣми. Не велика заслуга!

Современные читатели вознегодовали на «безтактность» выходы. Майковъ оправдывался въ письмѣ къ Тургеневу: онъ написалъ только то, что думалъ! Еще бы, написать по внушенію Краевскаго! Но вопросъ: какъ могъ молодой критикъ дойти до подобныхъ мыслей? Неужели онъ не зналъ, что такое Гоголь для критики въ лицѣ Сенковского, Булгарина и даже Шевырева и Константина Аксакова? Неужели, при самомъ бѣгломъ знакомствѣ съ современной журналистикой, можно было увлеченіе Гоголемъ признать всеобщей модой, а Бѣлинскаго только ея послушнымъ эхо? И какъ одновременно можно быть диктаторомъ и слѣдовать за модой? И если бы даже Бѣлинскій дѣйствительно являлся диктаторомъ, то вѣдь это было неизмѣримо больше *историческимъ фактомъ*, чѣмъ *личнымъ усиленіемъ*. Кого же рядомъ съ нимъ могъ бы поставить Майковъ? Впослѣдствіи также найдутся критики, готовые обвинять Бѣлинскаго въ неограниченной власти надъ литературной публикой. Но эти обвинители поспѣшатъ сознаться, что власть эта выросла совершенно естественно. Кругомъ не было ничего, равнаго ей по таланту и по любви къ истинѣ <sup>287</sup>). Это, по крайней мѣрѣ, благоразумно, а нашъ критикъ бросилъ обвиненіе, будто облегчая накопившее личное чувство и на протяженіи громадной статьи не попалъ на счастливую мысль—быть самому *доказательнымъ*.

Какія же собственные оригинальныя идеи выдвигалъ критикъ на смѣну модной неосновательной диктатуры?

Прежде всего—чисто литературные взгляды.

Мы можемъ опустить насмѣшки надъ классицизмомъ и романтизмомъ: для 1846 года это—азбука эстетики, не любопытенъ и разговоръ о Гоголѣ: о немъ достаточно слышаны читатели *Отечественныхъ Записокъ*, напрасно только критикъ отказывается «разобрать» *Переписку съ друзьями*; можно, наконецъ, прямо не читать поразив-

<sup>286</sup>) Статья о Кольцовѣ. Крит. оп., 9—10.

<sup>287</sup>) Дружининъ. Собраніе сочиненій. Спб. 1865, VII, 196—6.



тельно элементарныхъ разсужденій о безсиліи воображенія освободиться отъ явленій дѣйствительности... Но вотъ что любопытно.

Мы знаемъ, Бѣлинскій различалъ искусство и беллетристику по силѣ и значенію *творчества*, по глубинѣ содержанія, по совершенству выполненія <sup>288</sup>). У Майкова эта идея развита совершенно иначе: здѣсь его оригинальность. Какой же она цѣны?

Бѣлинскій вполне прочно установилъ свободу художника, доказавъ, что онъ часто можетъ не постигать всего содержанія своихъ произведеній: Майкову незачѣмъ было изощряться на этихъ истинахъ. Но онъ идетъ гораздо дальше и по другому направленію. По его мнѣнію, бессознательность великихъ художниковъ простирается такъ далеко, что читатели никакъ не могутъ угадать его «настоящаго взгляда» на изображенную имъ дѣйствительность <sup>289</sup>). Это значитъ—вы не знаете, какъ Гоголь смотритъ на Сквозника-Дмухановскаго и на Чичикова.

Этого мало. Нашъ критикъ безпощаденъ въ выводахъ. Уже если бессознательность, то до полнаго сомнамбулизма. Художникъ не различаетъ добра и зла, а его произведеніе осуждено воспроизводить одни трюизмы. «Мысль совершенно новая не можетъ быть выражена эстетически», новая—значитъ «не пришедшая въ общее сознаніе» <sup>290</sup>).

Слѣдовательно, негодованіе подавляющаго большинства публики на *Ревизора* Гоголя—миѳъ, повальное непониманіе пушкинскаго *Онегина*—случайное недоразумѣніе, тургеневскій Базаровъ, вызвавшій безчисленное множество кривотолковъ даже въ *передовой* критикѣ—несчастное созданіе. Или другое рѣшеніе задачи: и Гоголь, и Пушкинъ, и Тургеневъ такъ же, какъ и Бѣлинскій, служили только современной модѣ, и Гоголь, напримѣръ, только выражалъ общепринятое мнѣніе о взяткахъ.

Таково искусство. Беллетристика—полная противоположность. Она непременно тенденціозна. Пушкинъ не зналъ, почему онъ писалъ *Каменную гостя*, но Сю отлично понималъ, зачѣмъ онъ сочинилъ *Вѣчнаго жиды*. Тамъ—безотчетное требованіе творчества, здѣсь—внѣшняя цѣль <sup>291</sup>).

Въ этихъ соображеніяхъ есть доля правды, но только не слѣдовало доводить эту правду до точности многоугольника.

<sup>288</sup>) *Сочиненія*. IX, 390 etc.

<sup>289</sup>) *Крит. оп.*, стр. 196.

<sup>290</sup>) *Иб.*, стр. 549.

<sup>291</sup>) *Иб.*, стр. 707.

Художникъ можетъ не менѣе беллетриста быть воодушевленъ сознательной *общей* идеей, отнюдь не утрачивая своей безотчетности въ *процессъ* творчества. Тотъ же Гоголь прямо заявлялъ, что онъ въ комедіи «рѣшился собрать въ одну кучу все дурное въ Россіи» и «за однимъ разомъ посмѣяться надъ всѣмъ». Все зависитъ отъ врожденнаго направленія таланта, и Майкову надлежало вдуматься въ психологію художника, раскрытую Бѣлинскимъ, чтобы понять всю противоестественность рѣзкихъ разграниченій цѣлесообразности и бессознательности творчества.

Таковы оригинальныя черты въ эстетикѣ Майкова. Къ нимъ слѣдуетъ присоединить еще сильную склонность сопоставлять искусство съ юридическими науками. Это уже неизбежное отраженіе первичныхъ влеченій автора. Стихотвореніе Кольцова *Что ты слышишь мужичекъ*—«воззваніе страстнаго политико-эконома, облеченное въ форму искусства», собраніе сочиненій Гоголя—«художественная статистика Россіи»<sup>292</sup>). Опрежденія, не лишены меткости, хотя, можетъ быть, во второмъ случаѣ кто-нибудь вздумалъ бы употребить съ болѣе основаніемъ «художественная психологія Россіи».

Но не въ частностяхъ дѣло, а въ томъ, что именно эти сравненія нашли потомъ параллельныя замѣчанія въ статьѣ Бѣлинскаго: онъ сравнивалъ содержаніе искусства съ работами политико-эконома и статистика и находилъ вездѣ одну и ту же цѣль, различны только пути. Одинъ дѣйствуетъ логическими доводами, другой—картинами, одинъ *доказываетъ*, другой—*показываетъ*, и оба *убѣждаютъ*<sup>293</sup>).

Что это, заимствование? Инымъ хочется такъ думать<sup>294</sup>). Но только они должны вспомнить, что Бѣлинскій задолго до Майкова искусство называлъ «сужденіемъ, анализомъ общества», «критикой», и особенно въ Россіи: «искусство нашего времени есть выраженіе, осуществленіе въ изящныхъ образахъ современнаго сознанія»<sup>295</sup>). Слѣдовательно, если чѣмъ и снабдилъ новый критикъ стараго, то развѣ только лишнимъ словомъ для украшенія давно использованной мысли: вмѣсто ученой и философа—политико-экономъ. Нельзя связать, чтобы это была особенно значительная ссуда.

<sup>292</sup>) *Ib.*, 24.

<sup>293</sup>) *Сочиненія*. XI, 363—4. 1848 годъ.

<sup>294</sup>) Статья предъ *Критич. оп.*, стр. XLVI.

<sup>295</sup>) VI, 211 etc.—1842 годъ.

Вотъ и весь эстетическій капиталъ Майкова. Онъ или точное воспроизведеніе раннихъ и позднихъ идей Бѣлинскаго, напри-  
мѣръ, о нехудожественности сатиры, или столь же оригинальныя,  
сколько и не убѣдительныя открытія. Остается еще одинъ во-  
просъ, вызвавшій критику Бѣлинскаго и стяжавшій большую и  
даже почтенную извѣстность,—вопросъ о народности.

Мы видѣли, въ какой формѣ онъ появился въ первой статьѣ  
Майкова; дальше слѣдовало развитіе.

Раньше національность казалась критику только односторон-  
ностью, теперь она просто порокъ, по крайней мѣрѣ «слабость»,  
«крайность», противоположная *человѣчности*, т. е. «чистотѣ чело-  
вѣческаго типа».

Майковъ вѣрить въ реальное существованіе этого типа, «не  
зависящаго отъ принадлежности къ тому или другому племени».

Этотъ типъ состоитъ весь изъ добродѣтелей, потому что «добро-  
дѣтели прирождены человѣческой природѣ, какъ силы, состав-  
ляющія ея сущность». Пороки являются благодаря внѣшнимъ  
вліяніямъ. Къ числу ихъ относятся родовыя или племенные осо-  
бенности. И эти особенности являются «противодѣйствіемъ къ  
достиженію всѣми народами одной идеальной степени развитія».  
Такъ выходитъ согласно «съ ходомъ силлогистики». Этотъ ходъ  
теперь признается естественнымъ путемъ къ истинѣ.

Выводъ ясенъ. Национальность отдаляетъ человѣка отъ обще-  
человѣческой цивилизаціи. Идеальный человѣкъ національно без-  
личенъ и не оригиналенъ. Цѣль европейскаго прогресса—уподобле-  
ніе всѣхъ народовъ другъ другу. Славянофилы виноваты отъ  
начала до конца, въ ихъ ученіи нѣтъ и признака истины, потому  
что они вѣрують въ неизмѣнность и разумность національныхъ ти-  
повъ и характеровъ.

Вотъ и вся сущность культурно-философскаго міросозерпанія  
Майкова. Въ настоящее время даже не представляется нужды  
опровергать эту дѣйствительно рѣдкостную силлогистику. Любо-  
пытенъ особенно одинъ фактъ. Поклонникъ Конта, защитникъ  
строго-научнаго анализа, проповѣдникъ *физиологіи* общества и  
противникъ XVIII вѣка, съ умильной наивностью и покойной  
совѣстью воскрешаетъ самые отчаянные метафизическіе заветы  
этой эпохи—фантазіи Руссо насчетъ естественнаго человѣка и  
естественнаго состоянія. Ученый половины XIX вѣка серьезно  
толкуетъ объ общечеловѣческомъ типѣ, ангелоподобномъ по своимъ  
нравственнымъ совершенствамъ и падшемъ только подъ давле-

нiемъ внѣшнихъ обстоятельствъ, т. е. о томъ же идеальномъ «чувствительномъ существѣ» Руссо, загубленномъ исторiей!

Богѣ жестокой иронiи надъ ученостью и «дѣльностью мыслей» нашего критика не могли бы придумать его жесточайшіе враги.

Естественно, послѣ такой *философiи исторiи* мы слышимъ невѣроятныя историческія открытія. Они связаны съ еще одной оригинальной теорiей, также вызвавшей возраженія Бѣлинскаго, — съ теорiей о великихъ людяхъ.

Эти «могущественныя личности» могутъ «въ извѣстной степени отринуть» «слабости, свойственныя роду и народу». Критикъ открываетъ законъ, «до сихъ поръ не оцѣненный этнографами». Законъ этотъ состоитъ въ слѣдующемъ: «Каждый народъ имѣетъ двѣ фizioномiи: одна изъ нихъ діаметрально противоположна другой; одна принадлежитъ большинству, другая меньшинству (миноритету). Большинство народа всегда представляетъ собою механическую подчиненность влiянiямъ климата, мѣстности, племени и судьбы; меньшинство же впадаетъ въ крайность отрицанiя этихъ явленiй».

Майковъ искренне считаетъ это разсужденіе своего рода аксіомой. Онъ подчеркиваетъ свою формулу и съ чрезвычайнымъ спокойствiемъ укоряетъ «этнографовъ и историковъ» за невѣдѣніе закона.

Открытіе дѣйствительно образчикъ глубокомыслия и приѣмовъ мышленiя нашего ученаго. Для выраженiя всѣмъ извѣстнаго и простаго факта богѣ сильной и оригинальной нравственной природы у богѣ даровитаго и просвѣщеннаго меньшинства въ каждомъ обществѣ, критику понадобился фантастическій законъ, теорiя какого-то стихійнаго и фатальнаго раздѣленiя народа на двѣ взаимныя, враждебныя, даже непримиримыя породы. Можно бы спросить у философа, какимъ же путемъ понимаютъ другъ друга эти двѣ расы одного и того же племени, какъ онѣ уживаются въ одномъ гражданскомъ строѣ и почему даже составляютъ одну культурную силу, одинъ народъ? «Діаметральная противоположность» и «крайнее отрицаніе» — величайшія опасности для всякаго сообщества и жизнь народа вѣчно представляла бы изъ себя нѣчто въ родѣ борьбы патриціевъ съ плебеями. И какое основаніе человѣка, рѣшительно и всесторонне отвергающаго прароду большинства своего рода, признавать сыномъ этого самаго рода? Такихъ людей естественно называть вырожденками, прирожденными эмигрантами, чѣмъ угодно, только не цвѣтомъ и силой своего народа, какъ этого желаетъ критикъ.

Потому что, соображаетъ онъ, изъ меньшинства выходятъ великіе люди.

Опредѣленіе личности у Майкова верхъ «силлогистики»:

«Личность заключается въ противоположности внѣшнимъ вліяніямъ». Это—трузизмъ, не заслуживающій даже повторенія, но для философа было бы обидно ограничиваться истинами «большинства» и онъ продолжаетъ: «но чтобы перейти въ человѣчность, она должна освободиться отъ крайности, противоположной той, которая преобладаетъ въ національности» <sup>236</sup>).

Какое болѣзненное пристрастіе говорить простыя вещи пническимъ языкомъ! «Перейти въ человѣчность» должно, вѣроятно, означать—стать общечеловѣческимъ типомъ. «Освободиться отъ крайности» ничто иное, какъ примириться съ нѣкоторыми *національными* чертами, т. е. сбросить съ себя страсти воображаемаго меньшинства и примкнуть хотя бы отчасти къ большинству.

Въ результатъ все хитросплетеніе разрѣшается въ такой же обидный трузизмъ, какъ и первая фраза: личность должна быть *національнымъ* явленіемъ, правда, съ задатками протеста и отрицанія, но непремѣнно на почвѣ и въ духѣ своей національности.

Столь пышно и фигурно огороженный огородъ оказывается пустымъ мѣстомъ, даже хуже. Лишь только авторъ переходитъ къ историческимъ доказательствамъ своихъ истинъ, его героическое поприще превращается въ поле сорныхъ травъ.

Можете ли вы повѣрить, что «свободное мышленіе» развилось въ странахъ съ жаркимъ климатомъ, т. е. въ *Индіи, Персіи, Египтѣ* и, между прочимъ, въ Греціи и въ южной Италіи? Азія, стоитъ рядомъ съ южной Европой, но и это еще не большое горе, во всякомъ случаѣ меньшее, чѣмъ превращеніе индусскихъ мудрецовъ въ революціонеровъ, т. е. философовъ, проповѣдующихъ совершенное самоотреченіе воли и исчезновеніе личности въ общей міровой жизни. Майковъ открылъ, что индусская философія—мудрость меньшинства, воплощающаго непримиримый протестъ противъ «внѣшнихъ обстоятельствъ», т. е. *крайность* по отношенію къ большинству. Этого мало. Дальше слѣдуетъ параллель восточныхъ философовъ съ норманскими викингами, потому что суровый климатъ такъ же поработщаетъ людей, какъ и южное солнце и викингъ такая же противоположность поработченному большинству сѣверныхъ наро-

<sup>236</sup>) Крит. оп., стр. 69.

довъ, какъ браминъ или буддистъ индусамъ... И между тѣмъ, здѣсь же говорится о норманнѣ, какъ «олицетворенной страсти къ гимнастикѣ силъ, къ процессу труда и дѣйствія», т. е. «къ удалству»...

Нирвана и удалство—явленія тождественныя, потому что оба результатъ порабощенія человѣка «внѣшними обстоятельствами!»... И все-таки, *южному*, а не сѣверному человѣку «обязаны мы свободой мысли»... Наконецъ, еще нѣсколько перловъ въ этотъ букетъ глубокомыслия: «аиняне съ восторгомъ слушали софистовъ», «французы обожаютъ своихъ энтузіастовъ», «нѣмцы своихъ отшельниковъ-мыслителей», все потому, что софисты, энтузіасты, отшельники-мыслители, воплощенныя «противоположности» «національнымъ особенностямъ» аинянъ, французовъ, нѣмцевъ...

Можно ли было вести серьезную борьбу съ подобнымъ «соціалистомъ»? Стоило ли для спасенія логики и исторіи взывать къ здравому смыслу и элементарнымъ фактамъ психологіи и жизни? Представляла ли вновь изобрѣтенная «силлогистика» опасность для русской литературной критики?

На первые два вопроса вполне допустимы отрицательные отвѣты, но послѣдній гораздо сложнѣе при условіяхъ русскаго общественнаго просвѣщенія сороковыхъ годовъ.

Въ лицѣ Майкова на сцену публицистики выступала въ полномъ смыслѣ отрицательная сила. Ограниченность культурно-историческихъ свѣдѣній, отсутствіе строгой предварительной обдуманности критическихъ сужденій и новыхъ открытій, наивныя, чисточеническія притязанія на исключительную глубину и солидность мысли, наклонность на основаніи только этихъ притязаній обвинять другихъ въ бездоказательности, въ недостаткѣ научной цѣльности идей и въ заключеніе схоластическая форма языка сравнительно съ литературными талантами не только Бѣлинскаго, но даже писателей *Библиотеки для Чтенія*: все это отнюдь не являлось шагомъ впередъ въ русской журналистикѣ и не сулило благодѣяній для юной и робкой русской мысли.

Мы не отрицаемъ, Майкову, можетъ быть, предстояло болѣе достойное и дѣйствительно плодотворное будущее. Но оставленное имъ наслѣдство представляетъ развѣ только самые смутные намеки на роскошный плодъ. Рѣзкая черта, крайне невыгодно отгнѣняющая духъ и содержаніе статей Майкова рядомъ съ произведеніями Бѣлинскаго, отсутствіе глубокаго прирожденнаго чутія жизни, сграстнаго сліянія личности съ идеальными интересами окружаю-

щей дѣйствительности. Майковъ—подвижникъ книги и кабинета, способный находить наслажденіе въ замысловатыхъ изворотахъ хитроумной рѣчи и отвлеченной силлогистики. Во всѣхъ его обширныхъ разсужденіяхъ нѣтъ возможности указать ни одной прочувствованной, вдохновенной мысли, ничего похожаго на тѣ молніеносныя вспышки критическаго ясновидѣнія и художественнаго восторга, какими блещутъ страницы Бѣлинскаго. Съ нами бесѣдуетъ двадцати-трехлѣтній юноша, и отъ его рѣчи вѣетъ педантизмомъ и схоластикой, онъ не живетъ предметомъ бесѣды, а изощряетъ надъ ними запасъ своей учености и ресурсы своей логической гимнастики. Врядъ ли особенно утѣшительное предзнаменованіе будущаго!

Такой уравновѣшенный, выдисциплинированный въ абстракціяхъ студентъ, несомнѣнно, могъ превратиться въ почтеннаго ученаго, можетъ быть качествомъ выше обыкновеннаго цехового типа. Но вліятельнаго публициста и указующаго пути критика такая природа не могла дать. Что могъ совершить на тернистомъ отвѣтственнѣйшемъ поприщѣ русской мысли ученый, вообразившій себѣ образъ идеальнаго человѣка безличнаго, безтемпераментнаго, превознесшій чистую логическую абстракцію надъ живой вопіющей дѣйствительностью? Краснорѣчивый психологическій фактъ: силлогистическая возня писателя съ воображаемымъ общечеловѣкомъ въ то время, когда жизнь требовала яркой, опредѣленной, сильной личности, хотя бы даже односторонней но непремѣнно самобытной и національной.

Бѣлинскій былъ правъ, сравнивая славянофиловъ съ новоявленными космополитами: «если первые и ошибаются, то какъ люди, какъ живыя существа, а вторые и истину-то говорятъ, какъ такое-то изданіе такой-то логики».

И Бѣлинскій всей силой своего бурнаго слова, насколько хватало угасавшей энергіи, возсталъ на ненавистную абстрактную діалектику, когда-то калѣчившую его собственный здравый смыслъ и талантъ.

#### XLIX.

«Силлогистика» Майкова, несомнѣнно, дала сильнѣйшій толчекъ славянофильской критикѣ Бѣлинскаго. Онъ вообще признавалъ большое вліяніе, какое могутъ имѣть на него разные фантазеры, доводящіе извѣстную идею до нелѣпости <sup>298</sup>). Майковъ

<sup>298</sup>) Письмо къ Анненкову. *Анненковъ и его друзья*, стр. 611.

вослужилъ именно эту службу, превративъ сочувствія западниковъ европейской культурѣ въ математическій космополитизмъ. Бѣлинскій и началъ свое сотрудничество въ новомъ журналѣ рѣзкимъ отпоромъ критику *Отечественныхъ Записокъ*.

Это отнюдь не означало перехода Бѣлинскаго въ славянофильскій лагерь. Напротивъ, онъ не перестаетъ попрежнему разоблачать ложь, несбыточные притязанія и въ особенности барственность славянофиловъ. Онъ ради нѣкоторыхъ здравыхъ идей направленія не проститъ ни одного порока личностямъ его представителей. Его статьи и письма непосредственно послѣ обзора русской литературы за 1846 годъ полны насмѣшками и энергическими обличеніями—противъ отдѣльныхъ апостоловъ славянофильства. По существу ничего не измѣнилось ни въ міросозерцаніи, ни въ чувствахъ критика. Онъ только, раздраженный «фантазеромъ», съ особенной рѣшительностью призналъ жизненность и важность славянофильства, какъ общественнаго и литературнаго явленія, заявилъ о своемъ уваженіи къ славянофильству, какъ «убѣжденію», выразилъ сочувствіе славянофильской критикѣ европеизма, но успѣвши указать въ «положительной сторонѣ доктрины» «какія-то туманныя, мистическія предчувствія побѣды востока надъ западомъ», подчеркнуть ихъ несомнѣнную «несостоятельность» и даже отвергнуть у славянофиловъ пониманіе запада <sup>299</sup>).

Все это не представляетъ ничего неожиданнаго даже послѣ раннихъ разсужденій Бѣлинскаго на ту же тему. Говорилось и о способности русскаго человѣка къ разностороннему пониманію европейскихъ явленій, страстно защищалась русская національность и приписывалось ей великое культурное будущее. Все это повторяется и теперь, но съ непремѣнными ограниченіями по части патріотическаго «самохвальства и фанатизма» и съ рѣшительной отповѣдью противъ «смирненія», будто бы, истинно національной черты русскаго народа.

Что же новаго въ статьѣ, вызвавшей такую тревогу? Въ сущности только благосклонные отзывы вообще о славянофильствѣ, прямое признаніе его заслугъ. Но что касается всего ученія оно признано только въ тѣхъ предѣлахъ, какихъ и раньше держалась мысль критика. Вся разница въ томъ, что прежде Бѣлинскій собственныя идеи о народности и національности говорилъ

<sup>299</sup>) Сочиненія. XI, 20 etc.



только отъ своего лица, а теперь подъ тѣми же идеями онъ подписать имя славянофильства, отнюдь не склоняясь предъ его знаменами всецѣло.

Пріемъ чисто полемическій. Смыслъ его обнаружилъ самъ критикъ, когда книжныхъ «силлогистовъ» противопоставилъ жизненнымъ вопросамъ славянофильства. Это собственно и было главной цѣлью критика: помимо космополитизма, Бѣлинскій столь же сильно напасть и на другую уродливую идею Майкова о раздѣленіи народа на большинство и меньшинство и его представление о великихъ людяхъ. И этому возмущенію мы обязаны новой превосходной формулой, выражающей исконные взгляды критика:

«Что *личность* въ отношеніи къ *идеѣ* человѣка, то *народность* въ отношеніи къ *идеѣ* человѣчества. Другими словами: народности суть личности человѣчества. Безъ національностей человѣчество было бы мертвымъ логическимъ абстрактомъ, словомъ безъ содержанія, звукомъ безъ значенія» <sup>300</sup>).

Бѣлинскій успокаивалъ славянофиловъ на счетъ заимствованій русскихъ у Запада. Всѣ европейскіе народы «нещадно заимствуютъ другъ отъ друга» и не боятся утратить своихъ національностей. Этотъ страхъ возможенъ только у народовъ нравственно-бессильныхъ и ничтожныхъ. Критикъ, заодно съ славянофилами, далеко отъ подобнаго представленія о русскомъ народѣ.

Вотъ и всѣ главнѣйшія изъясненія сочувствія противникамъ. Они, конечно, ни къ чему не обязывали критика и ни на минуту не связывали его свободы. Случай доказать ее скоро представился.

Въ *Москвитяинѣ*, по поводу преобразованія *Современника*, появилась статья: *О мнѣніяхъ Современника, историческихъ и литературныхъ*. Подписанная буквами М. З. К., она принадлежала Юрію Самарину; объ этомъ печатно объявилъ самъ Погодинъ.

Авторъ прежде всего обнаружилъ гораздо больше провицательности и здраваго смысла, чѣмъ нѣкоторые современные и позднѣйшіе обличители Бѣлинскаго въ славянофильствѣ. Самаринъ крайне недоволенъ статьями *Современника* и въ томъ числѣ статей Бѣлинскаго. Его нисколько не успокоила любезность критика; напротивъ болѣе чѣмъ когда-либо раздражили именно любезныя опроверженія славянофильскаго правовѣрія и онъ ужъ кстати напасть и на статьи Кавелина и Никитенко.

Бѣлинскій загорѣлся гнѣвомъ, какъ въ былое время знамени-

<sup>300</sup>) *Иб.*, стр. 37.

той сатиры *Педантъ*. Она явилась отвѣтомъ на брань Шевырева, поразила громомъ жертву сатиры и взбудоражила весь университетскій муравейникъ, оскорбила славянофильскую церковь и вызвала у многихъ добровольцевъ разнообразныя проекты рѣшительной раздѣлки съ петербургскими «безбожниками, алтынниками, подлецами, канальями». Подобныя рѣчи велъ даже смиренный и культурный Кирѣевскій <sup>201)</sup>.

Несомнѣнно, и теперь пришлось бы плохо врагу. Цензура поспѣшила на помощь по всѣмъ пунктамъ: статью Бѣлинскаго «искажила варварски», въ отвѣтъ Кавелина «кое что смягчила», но въ возраженіяхъ критика все-таки остались слѣды его воодушевленія.

*Отвѣтъ Москвитянину* начинается рядъ предсмертныхъ статей Бѣлинскаго, ни единой чертой не свидѣтельствующихъ о нравственной или физической усталости. Онъ — разительное противорѣчіе извѣстнымъ намъ страхамъ Краевского, будто критикъ окончательно погрязъ въ чисто эстетической критикѣ и утратилъ способность отзываться на новые запросы русскаго общества.

Въ дѣйствительности, послѣдняя полемика Бѣлинскаго съ славянофилами должна быть признана достойнымъ завѣщаніемъ великаго бойца. Онъ будто спѣшилъ подвести итогъ своимъ художественнымъ и общественнымъ принципамъ и не оставить у своей публики ни единого повода къ недоразумѣніямъ. Ясность и сила общихъ положеній много выиграла именно потому, что идеи развились путемъ полемики, устанавливались не какъ безстрастныя теоретическія истины, а какъ орудія настоящей и будущей борьбы съ противниками художественнаго и культурнаго прогресса русскаго духа.

Что касается собственно полемики, Самарина нельзя и сравнивать съ Бѣлинскимъ, ни по таланту, ни по опытности, ни по рыцарскому страстному самоотверженію во имя защищаемыхъ идей.

Славянофилъ писалъ свою статью съ величайшимъ комфортомъ и всеблаженнымъ покоемъ души. Трудился онъ надъ ней около полугодя, такъ какъ въ сентябрѣ онъ возражалъ на январскую статью «Современника». И это была его вторая статья за цѣлыхъ два года! Богѣе «прохладное» писательство трудно и представить. И Бѣлинскій имѣлъ всѣ права съ высоты своей неутомимой, могущественно-вліятельной боевой дѣятельности набросать

<sup>201)</sup> Ср. письмо Воткина къ Краевскому. *Отчетъ*, стр. 43—4.

слѣдующую безсмертную картину эпикурейски-барственного литераторства и всѣми нравственными силами, всѣми нервами одушевленной апостольской работы племени. Бѣлинскій отказывается защищать свою личность отъ вылазокъ такихъ критиковъ, какъ М. З. К.—не къ чему:

«Публика и сама съумѣетъ увидѣть разницу между человекомъ, у котораго литературная дѣятельность была призваніемъ, страстью, который никогда не отдѣлялъ своего убѣжденія отъ своихъ интересовъ, который, руководствуясь врожденнымъ инстинктомъ истины, имѣлъ больше вліянія на общественное мнѣніе, чѣмъ многіе изъ его дѣйствительно ученыхъ противниковъ, и между какимъ-нибудь баричемъ, который изучалъ народъ черезъ своего камердинера, и думаетъ, что любить его больше другихъ, потому что сочинилъ или принялъ на вѣру готовую о немъ мистическую теорію, который между служебными и свѣтскими обязанностями, занимается также и литературою, въ качествѣ дилеттанта, и изъ году въ годъ высиживаетъ по статейкѣ, имѣя вдоволь времени показаться въ ней умнымъ, ученымъ и, пожалуй, талантливымъ»<sup>302</sup>).

Въ этихъ словахъ заключается нѣчто большее, чѣмъ полемическій отвѣтъ на единичный фактъ. Предъ нами историческая характеристика двухъ типовъ писателей— аристократа и демократа. Каждый изъ нихъ точный выразитель извѣстнаго общественнаго направленія и извѣстной эпохи общественнаго развитія. Аристократъ-идеологъ, тонкій цѣнитель художества, изящный любитель литературы съ ея показной, усладительной стороны, самъ литераторъ—съ чувствами полуснисходительнаго, полуувлеченнаго покровителя «словесности»: все это типичный образъ помѣщика-литератора, просвѣщеннаго владѣльца крѣпостныхъ душъ, прямаго потомка екатерининскаго энциклопедиста, упразднившаго конюшню по вѣяніямъ времени, но донесшаго во всей неприкосновенности эпикурейскія наклонности и барственные полеты вплоть до сѣрыхъ страницъ *Москвитяина*.

Этотъ типъ цѣликомъ принадлежалъ прошлому, но, заканчивая свое земное странствіе и невольно чувствуя свою пѣсню спѣтой, онъ съ тѣмъ большимъ азартомъ набрасывался на новыя творческія силы жизни и мнилъ остановить ихъ важностью и самоувѣренностью своихъ традиціонныхъ манеръ.

На встрѣчу ему шелъ герой совершенно другого нравствен-

<sup>302</sup>) Сочиненія. XI, 257. Ср. Письмо къ Кавелину. Р. М. 1892, I, 120—123.

наго склада, герой-плебей по происхожденію, по прямолинейной запальчивости чувства, по чисто-народной непосредственности и искренности взгляда на свое дѣло, по непримиримой враждѣ ко всякой маниловщинѣ, безцѣльному красноречію, къ комфортабельной мягкости натуры—въ нравственныхъ и общественныхъ вопросахъ.

Въ рукахъ подобнаго дѣятеля-писателя литература немедленно становилась одновременно и ремесломъ, и призваніемъ, т. е. трудомъ жизни и пищей души. Здѣсь не могло быть мѣста пріятельскимъ счетамъ, джентльменскимъ экивокамъ, салонному переливанью изъ пустого въ порожнее, такъ называемымъ дипломатическимъ приемамъ воспитанности и свѣтскости. Предметы, по возможности, будутъ называться своими именами, каждая мысль будетъ соответствовать дѣйствительному взгляду автора и будетъ высказана не для красоты стили и не для личной утѣхи автора и его друзей, а ради настоятельныхъ требованій самой дѣйствительности. Искренность личностей и жизненность убѣжденій — таковы основныя черты новой демократической публицистики.

И родоначальникъ ея Бѣлинскій. У него были предшественники и онъ умѣлъ оцѣнить самого сильнаго изъ нихъ, Полевого, но *Московский Телеграфъ* не могъ искоренить барскихъ теченій русской журнальной литературы и погибъ въ этой борьбѣ. Не могла и дѣятельность Бѣлинскаго окончательно упразднить литераторовъ, благодѣтельствующихъ русскій народъ съ балкона своей усадьбы. Но послѣ Бѣлинскаго стало немислимо положительное отношеніе къ журналистикѣ, лишенной живого общественного темперамента, выѣзжающей на педантической учености и прекраснѣйшемъ велерѣчіи. Журналистика получила значеніе *службы* народу и его благу—въ полномъ смыслѣ слова, писательство навсегда достигло, по крайней мѣрѣ, въ лицѣ достойнѣйшихъ и популярнѣйшихъ своихъ дѣятелей, той высоты, о какой мечталъ Гоголь: нравственнаго обязательства и гражданскаго долга предъ отечествомъ.

Бѣлинскій во всемъ блескѣ представлялъ этотъ типъ писателя и явился предшественникомъ оживленнѣйшаго періода русской публицистики шестидесятыхъ годовъ,—публицистики, какъ увидимъ, во многомъ грѣшившей и нерѣдко работавшей даже во вредъ себѣ, но глубоко проникнутой практическими задачами современнаго общества и могучимъ духомъ всеобщаго просвѣщенія и гражданского развитія. И эта публицистика не замедлила увѣнчаться

роскопнѣйшими вѣнками своего первоучителя: имя Бѣлинскаго не переставало занимать почетнѣйшаго мѣста на тѣхъ страницахъ литературы шестидесятыхъ годовъ, какимъ суждено было перейти въ потомство.

Всѣ эти факты окончательно выяснились именно въ послѣдней борьбѣ Бѣлинскаго съ славянофильствомъ. Она горячо захватила писателя и какъ критика и какъ публициста. Она заставила его заключить эстетическія идеи и общественные принципы въ рѣзкія и ясныя формулы. Произнесена заключительная рѣчь въ защиту натуральной школы, дано гениальное опредѣленіе художественному таланту, его свободѣ и направленію, разъяснена пропасть, отдѣляющая французскую словесность отъ гоголевской школы, оправдана та же школа отъ обвиненій въ клеветѣ на русскую дѣйствительность, блистательно доказана вздорность идеи о такъ называемомъ чистомъ искусствѣ, нигдѣ никогда не существовавшемъ, установлено нравственное значеніе литературы, посвященной изображенію народнаго быта и народной психологіи, разъ навсегда признана необходимость творчества и поэзіи въ произведеніяхъ искусства и въ то же время указано на естественность сліянія художественной даровитости съ ненамѣреннымъ воодушевленіемъ ради опредѣленныхъ принциповъ, ради «страстнаго убѣжденія»—и именно такого рода таланты признаны «полезными обществу»... Однимъ словомъ, развита вся эстетика великаго критика, уже извѣстная намъ.

Но одновременно и попутно высказаны еще и другіе завѣты русскимъ писателямъ,—завѣты, сдѣлавшіе особенно дорогимъ дѣло Бѣлинскаго вскорѣ возставшему поколѣнію страстныхъ работниковъ во имя народной свободы.

#### L.

Бѣлинскій писалъ послѣднія статьи во власти непреодолимаго смертельнаго недуга. Во время работы его томить лихорадочный жаръ, онъ бросаетъ перо, задыхаясь въ полномъ безсиліи, въ страстныя минуты столь обычнаго для него увлеченія своей или чужой идеей, ему не хватаетъ воздуха и онъ боится покончить свои дни одной минутой стремительнаго восторга или гнѣва. Онъ слѣдитъ за собой и усиліями воли заставляетъ молчать свое сердце, старается пережечь свою неистовую природу. Очевидецъ рисуетъ единственную въ своемъ родѣ картину этой мученической борьбы человѣческаго духа съ самимъ собой.

«Страстная его натура, какъ бы ни была уже надорвана мучительнымъ недугомъ, еще далеко не походила на потухшій вулканъ. Огонь все тлился у Бѣлинскаго подъ корой наружнаго спокойствія и пробѣгалъ иногда по всему организму его. Правда, Бѣлинскій начиналъ уже бояться самого себя, бояться тѣхъ еще не порабощенныхъ силъ, которыя въ немъ жили, и могли при случаѣ, вырвавшись наружу, уничтожить за-разъ всѣ плоды прилежнаго лѣченія. Онъ принималъ мѣры противъ своей впечатлительности. Сколько разъ случалось мнѣ видѣть, какъ Бѣлинскій, молча и съ болѣзненнымъ выраженіемъ на лицѣ, опрокидывался на спинку дивана или кресла, когда полученное имъ ощущеніе сильно вѣдалось въ его душу, а онъ считалъ нужнымъ оторваться или освободиться отъ него. Минуты эти походили на особый видъ душевнаго страданія, присоединеннаго къ физическому, и не скоро проходили: мучительное выраженіе довольно долго не покидало его лица послѣ нихъ. Можно было ожидать, что, не смотря на всѣ предосторожности, наступитъ такое мгновеніе, когда онъ не справится съ собой»<sup>303</sup>).

Такое мгновеніе наступило, когда Бѣлинскій получилъ письмо Гоголя съ упрекомъ за его неблагоприятный отзывъ о *Перепискѣ*. Оно длилось три дня, писался отвѣтъ и возникала всеисчерпывающая программа русской публицистики грядущихъ поколѣній.

Письмо къ Гоголю только болѣе обширная исповѣдь Бѣлинскаго и только отрывокъ изъ его духовной жизни, не прекращавшейся до послѣдней минуты. Бѣлинскій искалъ теперь здоровья дома и за границей, но для этого слѣдовало и заняться исключительно своимъ здоровьемъ, своей особой. Вмѣсто самосозерцанія, онъ не перестаетъ заботиться о спасеніи другихъ, съ одинаковымъ вниманіемъ слѣдитъ за движеніемъ мысли и жизни въ Европѣ и въ Россіи, при всей осторожности, дышитъ и горитъ только «общимъ» и менѣе всего «личнымъ».

Каждая прочитанная имъ статья и книга непременно вызываетъ у него рядъ горячихъ отзывовъ. Отъ его взора не ускользаетъ ни одно явленіе въ области европейскихъ идей. Ему извѣстна вновь возникающая школа въ философіи, позитивизмъ Конта, онъ прилежно вдумывается въ новыя соціальныя ученія, понимаетъ важность новыхъ экономическихъ школъ. Еще три года тому назадъ онъ познакомился съ идеями Маркса изъ журнала *Deutsch-*

<sup>303</sup>) Анненковъ. *Воспоминанія*. III, 194—5.

*französische Jahrbücher*, страстно ими увлекся, хотя не всіми:— усвоилъ преимущественно оппозиціонную, протестующую стихію новой доктрины. Теперь его со всѣхъ сторонъ окружаетъ интересъ общества и народныхъ европейскихъ массъ къ экономическимъ и социальнымъ открытіямъ и онъ, мы видѣли, не упустилъ случая сопоставить общественныя задачи художественнаго творчества съ работою экономиста.

Идеи позитивной философіи, близко примыкавшія къ новому социальному движенію, должны были еще глубже заинтересовать Бѣлинскаго. Умъ его, давно освободившійся отъ нѣмецкой метафизики, весь сосредоточенный на правдѣ жизни, восторженно привѣтствовалъ проповѣдь научнаго изслѣдованія этой правды и послѣдовательнаго воспроизведенія идей развивающагося разума въ дѣйствительности.

И здѣсь, какъ и въ области политической экономіи, выступила на сцену художественная литература и потребовала своей доли въ движеніи точнаго знанія. За нѣсколько лѣтъ до ближайшаго знакомства съ идеями Конта и Литтре, Бѣлинскій доказываетъ вліяніе положительныхъ наукъ на поэзію и находитъ необходимымъ ввести въ исторію литературы исторію науки, даже такой, какъ астрономія: ея открытія не могли не повліять на воображеніе поэтовъ <sup>304</sup>).

Вообще Бѣлинскій, по самой сущности своей нравственной природы, долженъ былъ высоко цѣнить всякій успѣхъ строгаго научнаго мысли, *сознательности*. Еще въ самомъ началѣ петербургской дѣятельности критикъ обнаруживалъ мало почтенія къ стихійному, безотчетному идеализму. По его мнѣнію, лежитъ громадное разстояніе отъ инстинкта хотя бы даже благородныхъ наклонностей до свободнаго сознанія, до чувства, просвѣтленнаго мыслью <sup>305</sup>).

И онъ, конечно, «безъ ума отъ Литтре» за его статью о физиологіи. Въ естественныхъ наукахъ онъ видитъ могучее оружіе противъ беспочвенныхъ полетовъ отвлеченной мысли и фантазіи, противъ нравственныхъ и общественныхъ суевѣрій. Онъ радъ *Письмамъ Герцена объ изученіи природы*, но недоволенъ ихъ «отвлеченнымъ, почти тарабарскимъ языкомъ». Герценъ возражалъ, будто на русскомъ языкѣ иначе и нельзя выразить «умъ и дѣльный взглядъ» <sup>306</sup>).

<sup>304</sup>) Сочиненія. IX, 393—4. 1844 годъ. «Онъ мечталъ о воспитаніи дочери на естествознаніи и точныхъ наукахъ». Анненковъ. III, 221.

<sup>305</sup>) *Тб.*, IV, 260. 1840 годъ.

<sup>306</sup>) Анненковъ. *Воспоминанія*. III, 133, 135.

Но Бѣлинскій правъ. Стилъ Герцена, не всегда отличавшійся чистотой и правильностью и нерѣдко напоминавшій скорѣе переводъ съ иностраннаго, чѣмъ оригинальное произведеніе, въ *Письмахъ* дѣйствительно не свободенъ отъ излишней темноты и запутанности. Мы встрѣтимся впоследствии съ идеями *Писемъ*: онѣ намъ понадобятся при разборѣ философскихъ основъ публицистики шестидесятыхъ годовъ. Мы увидимъ, какой незначительный слѣдъ оставили эти письма въ сознаніи русской молодежи, и, несомнѣнно, на ихъ форму падаетъ главная вина.

Самъ Бѣлинскій съ обычной страстностью чувства и прозрачностью мысли защищалъ естествознаніе. Онъ убѣждалъ своихъ читателей благоговѣть не только предъ умомъ, но и предъ массой мозга, гдѣ происходятъ умственные отправленія, объяснялъ, что «психологія, не опирающаяся на фізіологію такъ же несостоятельна, какъ и фізіологія, не знающая о существованіи анатоміи» <sup>307</sup>.)

Знакомясь съ ученіемъ Конта и Литтре, Бѣлинскій сумѣлъ опѣнить научную силу ученика и будто предсказать поворотъ въ идеяхъ учителя. Онъ не восхищается Контомъ, не находитъ въ немъ генія и не думаетъ, чтобы онъ явился основателемъ новой философіи. Правда, Бѣлинскій узнаетъ о Контѣ по журнальнымъ статьямъ. Но онъ отлично умѣетъ отдѣлять мнѣнія излагателей отъ принциповъ философа. Онъ, напримѣръ, принялся за статью въ *Revue des deux Mondes* и съ первыхъ же строкъ понялъ филистерское отношеніе журнала къ новому научному движенію <sup>308</sup>).

Такая отзывчивость на европейскую идейную современность—въ отечественной атмосферѣ должна была доходить до мучительныхъ ощущеній неправды и томительной жажды свѣта и свободы. Крѣпостное право—громадный чудовищный призракъ, не дававшій покоя уму и сердцу Бѣлинскаго еще со временъ первой молодости. Борьбѣ съ нимъ онъ готовъ принести какія угодно жертвы, отвергнуть глубочайшія сочувствія и влеченія своей художественной натуры, забыть свой идеалъ свободного поэта-творца, отбросить въ сторону несказанныя красоты вдохновеннаго искусства, если только поэтъ лишенъ представленія о судьбѣ угнетеннаго и без-

<sup>307</sup>) *Сочиненія*. XI, 34.

<sup>308</sup>) Статья Saisset, *Revue*, 1846 г., томъ XV. Бѣлинскій не сразу прочиталъ статью, сначала «запнулся на гнусномъ видѣ этого журнала съ первыхъ же строкъ статьи». Этотъ отзывъ касается, несомнѣнно, сужденія Saisset о Контѣ и Литтре, какъ продолжателяхъ матеріализма XVIII вѣка стр. 187. Письмо къ Вотькину, Пыпинъ, II, 270—1.



помощнаго человѣчества, если красота не одухотворена скорбью за страдающихъ братьевъ.

Впослѣдствіи Бѣлинскаго будутъ укорять за поощреніе, даже за созданіе тенденціозной обличительной не художественной литературы. Наслѣдники, не доросшіе до наслѣдія своего предшественника, увидятъ въ Бѣлинскомъ даже исключительно лишь проповѣдника тенденціозности и погубителя поэзіи и творчества. Они не поймутъ простого факта, сопровождающаго читателя по всѣмъ статьямъ Бѣлинскаго: его глубоко-поэтического чувства, его прирожденнаго художественнаго генія, его восторженнаго культа вдохновенія и искусства, и, слѣдовательно, безусловной невозможности гоненій на поэзію.

Они особенно охотно будутъ ссылаться даже не на статьи критика, а на его письма къ Боткину. Мы должны привести этотъ документъ: на немъ будетъ основана цѣлая долголѣтняя война съ Бѣлинскимъ.

«Для меня,—пишетъ онъ,—иностранная повѣсть должна быть слишкомъ хороша, чтобы я могъ читать ее безъ нѣкотораго усилія, особенно вначалѣ; и трудно вообразить такую гнусную русскую, которой бы я не могъ осилить... А будь повѣсть русская хоть сколько-нибудь хороша, главное, сколько-нибудь *дѣльна*—я не читаю, а пожираю... Ты—сибарить, сладстѣна... тебѣ, вишь, давай поэзіи да художества, тогда ты будешь смаковать и чмокать губами. А мнѣ поэзіи и художественности нужно не больше, какъ настолько, чтобы повѣсть была истинна, т. е. не впадала въ аллегорію, или не отзывалась диссертациею... Главное, чтобы она вызывала вопросы, производила на общество нравственное впечатлѣніе. Если она достигаетъ этой цѣли и вовсе безъ поэзіи и творчества, она для меня *тѣмъ не менѣе* интересна... Разумѣется, если повѣсть возбуждаетъ вопросы и производитъ нравственное впечатлѣніе на общество, при высокой художественности, тѣмъ она для меня лучше; но главное-то у меня все-таки въ дѣлѣ, а не въ щегольствѣ. Будь повѣсть *хоть разхудожественна*, да если въ ней нѣтъ дѣла, то я къ ней совершенно равнодушенъ... Я знаю, что сижу въ односторонности, но не хочу выходить изъ нея, и жалѣю и болю о тѣхъ, кто не сидитъ въ ней <sup>309</sup>».

Нельзя не видѣть, что Бѣлинскій невольно и рѣзко подчеркнулъ свою мысль: письмо свидѣтельствуетъ о чрезвычайно напряжен-

<sup>309</sup>) Пыпинъ, II, 312—3.

номъ отношеніи къ современной русской литературѣ. Это отноше-  
не новое настроеніе. Въ извѣстномъ намъ сопоставленіи искусства  
съ беллетристикой Бѣлинскій указывалъ на одну въ высшей сте-  
пени важную заслугу беллетристики: эта заслуга равняетъ ее  
съ настоящимъ вдохновеннымъ искусствомъ. Беллетристика можетъ  
указывать на живыя потребности общества. Тогда «она имѣетъ  
«свои минуты откровенія», «не даетъ искусству изолироваться отъ  
жизни, отъ общества и принять характеръ педантическій и аске-  
тический» <sup>310)</sup>.

Эта идея съ теченіемъ времени становилась настойчивѣе и  
властнѣе. Вопросъ о крупномъ рабствѣ сообщилъ ей всепогло-  
щающій жизненный интересъ. Бѣлинскій жилъ и дышалъ надеждой  
на освобожденіе народа. Она сопровождала критика всюду, вѣ-  
шивалась во всѣ его наблюденія, врывалась во всѣ его впечатлѣнія—  
книжныя и житейскія. Онъ проникся убѣжденіемъ, что всѣ силы  
современнаго русскаго человѣка должны быть направлены на  
страшнаго вѣкового врага, что предъ этой задачей блѣднѣютъ  
всѣ другія потребности человѣческаго чувства и ума—въ красотѣ,  
въ свободномъ творчествѣ, можетъ быть, у нѣкоторыхъ счастлив-  
цевъ—въ отшельнической внѣжизненной учености. Что значить  
наслажденіе знатока предъ идеально-прекраснымъ созданіемъ поэзіи,  
когда миллионы людей лишены права носить человѣческій образъ  
и пользоваться первѣйшими благами человѣческаго существованія?  
Естественно, писатель, призывающій совѣсть общества предъ  
лицо вопиющей неправды, по человѣчеству выше, нравственнѣе и,  
слѣдовательно, полезнѣе, чѣмъ производитель чисто-художествен-  
ныхъ неземныхъ перловъ. И на Бѣлинскаго такіе перлы не могли  
произвести цѣльнаго захватывающаго впечатлѣнія.

Это доказало одно изъ геніальнѣйшихъ созданій живописи—  
Сикстинская Мадонна.

Бѣлинскій совершенно измѣнилъ установившемуся всесвѣтному  
обычаю—приходить въ восторгъ предъ рафаэлевскимъ произве-  
деніемъ. Онъ, напротивъ, испыталъ чувство, близкое къ ужасу.  
Онъ увидѣлъ на лицѣ Мадонны полное равнодушіе къ далекому  
земному міру, отсутствіе благости и милости, и только одно со-  
знаніе своего высокаго сана и своего личнаго достоинства <sup>311)</sup>.

<sup>310)</sup> *Сочиненія*. IX, 394.

<sup>311)</sup> *Иб.* XI, 360. Ср. Анненковъ. *О. с.*, стр. 216. Письмо къ Боткину у  
Ишпина. II, 297.

Онъ не могъ этотъ недоступный аристократизмъ и чувство самоудовлетворенія слить съ представленіемъ о божественномъ идеалѣ. Онъ отдавалъ должное «благородству и граціи кисти», но сердцу его не доставало человѣчности, и онъ съ глубокимъ огорченіемъ смотрѣлъ на Младенца—«не будущаго Бога любви, мира, прощенія, спасенія, а древняго, ветхозавѣтнаго Бога гнѣва и ярости, наказанія и кары».

Трудно краснорѣчивѣе и точнѣе изобразить нравственный міръ нашего критика. Только что вступивъ на дорогу писателя, онъ поспѣшилъ откровенно и опредѣленно заявить о цѣляхъ и смыслѣ своей дѣятельности: «наша критика должна быть гувернеромъ общества и на простомъ языкѣ говорить высокія истины» <sup>312)</sup>. И программа выполнялась до конца. Бѣлинскій заваялъ мѣсто учителя и своей энергіей, высотой своего ученія затмилъ и постыдилъ призванныхъ руководителей и наставниковъ современныхъ поколѣній. Гоголь далъ поразительно яркую характеристику именно этихъ наставниковъ и отрицательными чертами ихъ во всей полнотѣ воспроизвелъ противоположный имъ образъ того, кто слылъ между ними за «рыцаря безъ имени», «бобыля литературнаго», за невѣжду и недоучку.

Гоголь такъ изображалъ этихъ рыцарей съ именами:

«У насъ старѣе изъ литераторовъ мастера только приводятъ въ уныніе молодыхъ людей, а подстрекнуть на трудъ и дѣльную работу нѣтъ ума. Какъ до сихъ поръ такъ мало заботятся объ узнаніи природы человѣка, тогда какъ это есть главное начало всему! Профессора у насъ заняты своимъ собственнымъ краснбайствомъ, а чтобы образовать человѣка, объ этомъ вовсе не помышляютъ. Они не знаютъ, кому они говорятъ, а потому не мудрено, что не дошли до сихъ поръ до языка, которымъ слѣдуетъ бесѣдовать и говорить съ рускимъ человѣкомъ. Не умѣя ни научить, ни наставить, они умѣютъ только, разсердившись, избранить кого-нибудь и потомъ сами жалуются на то, что не принимаются слова, что у молодыхъ не соотвѣтствующее потребностямъ направленіе, позабывъ, что если скверенъ проходъ, то въ этомъ тотъ виноватъ, а не кто другой» <sup>313)</sup>.

Эта характеристика не отжила своихъ дней до сихъ поръ. Тотъ же Гоголь краснорѣчиво выразилъ основной фактъ русской

<sup>312)</sup> *Сочиненія*. II, 78. 1836 годъ.

<sup>313)</sup> Письмо къ Языкову.

общественной психологии: жажда человека, умѣющаго сильно и искренне сказать молодому поколѣнію слово *впередъ*!.. Бѣлинскій пошелъ на встрѣчу этой жаждѣ и страстнымъ, религіозно-убѣжденнымъ голосомъ звалъ своихъ соотечественниковъ на путь чело-вѣческаго достоинства и свободы. Отъ его вниманія не ускользалъ малѣйшій проблескъ молодого дарованія и онъ готовъ былъ скорѣе переоцѣнить талантъ, чѣмъ не отдать ему должнаго. Онъ полагалъ свое личное счастье въ каждомъ успѣхѣ русской литературы и мысли. Намъ передаютъ множество случаевъ, когда Бѣлинскій торжествовалъ, будто на семейномъ праздникѣ, открывая новую надежду отечественнаго искусства. До конца дней онъ не перестаетъ самоотверженно выполнять свой долгъ судьи-руководителя и предъ самой смертью успѣваетъ сказать напутственное слово Герцену, Гончарову, Некрасову, Тургеневу.

Да, этотъ человекъ умѣлъ подстрекнуть на трудъ и дѣльную работу и слѣдить за чужой работой, какъ за драгоценнѣйшимъ достояніемъ своихъ задушевныхъ желаній и упованій. И мы знаемъ, какимъ ударомъ явилось гоголевское проповѣдничество для критика, сосредоточившаго на великомъ сатирикѣ весь энтузіазмъ своего пламеннаго художественнаго чувства, всю силу своей просвѣтительной мысли.

«Я никогда не могу такъ оскорбить его, какъ онъ оскорбилъ меня въ душѣ моей и моей вѣрѣ въ него», говорилъ Бѣлинскій, посылая свое письмо къ Гоголю <sup>214)</sup>. *Вѣра* ~~из~~ *человѣка*, вѣра ради его генія, ради великихъ общечеловѣческихъ благъ, какія онъ принесетъ родинѣ, вѣра, вдохновляющая восторженную любовь и мучительно-безпокойное участіе въ судьбѣ избранника: это поистинѣ высокая ступень писательскаго подвига и одна изъ идеальнѣйшихъ чертъ чело-вѣческаго духа.

Умѣлъ Бѣлинскій и говорить съ русскимъ человекомъ и сознательно вести его по извѣстнымъ путямъ и къ опредѣленнымъ цѣлямъ. Онъ—самъ убѣжденный и стремительный—счелъ бы кровнымъ самоуниженіемъ успокаиваться на жалобахъ о своемъ безсиліи направить «молодыхъ» и длить безплодный, мертворожденный трудъ ради личнаго удовлетворенія и мелкихъ житейскихъ расчетовъ. Въ глазахъ критика было бы преступленіемъ и нравственнымъ уродствомъ скрывать свое тунеядство и умственное омертвѣніе за казовымъ официальнымъ положеніемъ, свое граж-

<sup>214)</sup> Анненковъ. О. с., стр. 213.

данское скопчество и идейный аскетизмъ драпировать въ пышные мишурные уборы, именуемые «чистой, свободной наукой», «достойнствомъ ученаго», «спокойствіемъ мудреца». Онъ зналъ, сколько слабыхъ и неумѣлыхъ рукъ изъ тѣмы тянутся къ свѣту и не допустилъ бы и мысли, чтобы можно было съ какой угодно высоты учености и мудрости побрезговать протянуть руку на встрѣчу слѣпымъ и жаждущимъ. Для него эта отзывчивость являлась условіемъ жизни, основой нравственнаго самоудовлетворенія, смысломъ истинно-справедливаго подвижничества, какое ему досталось на долю подѣ именемъ жизни.

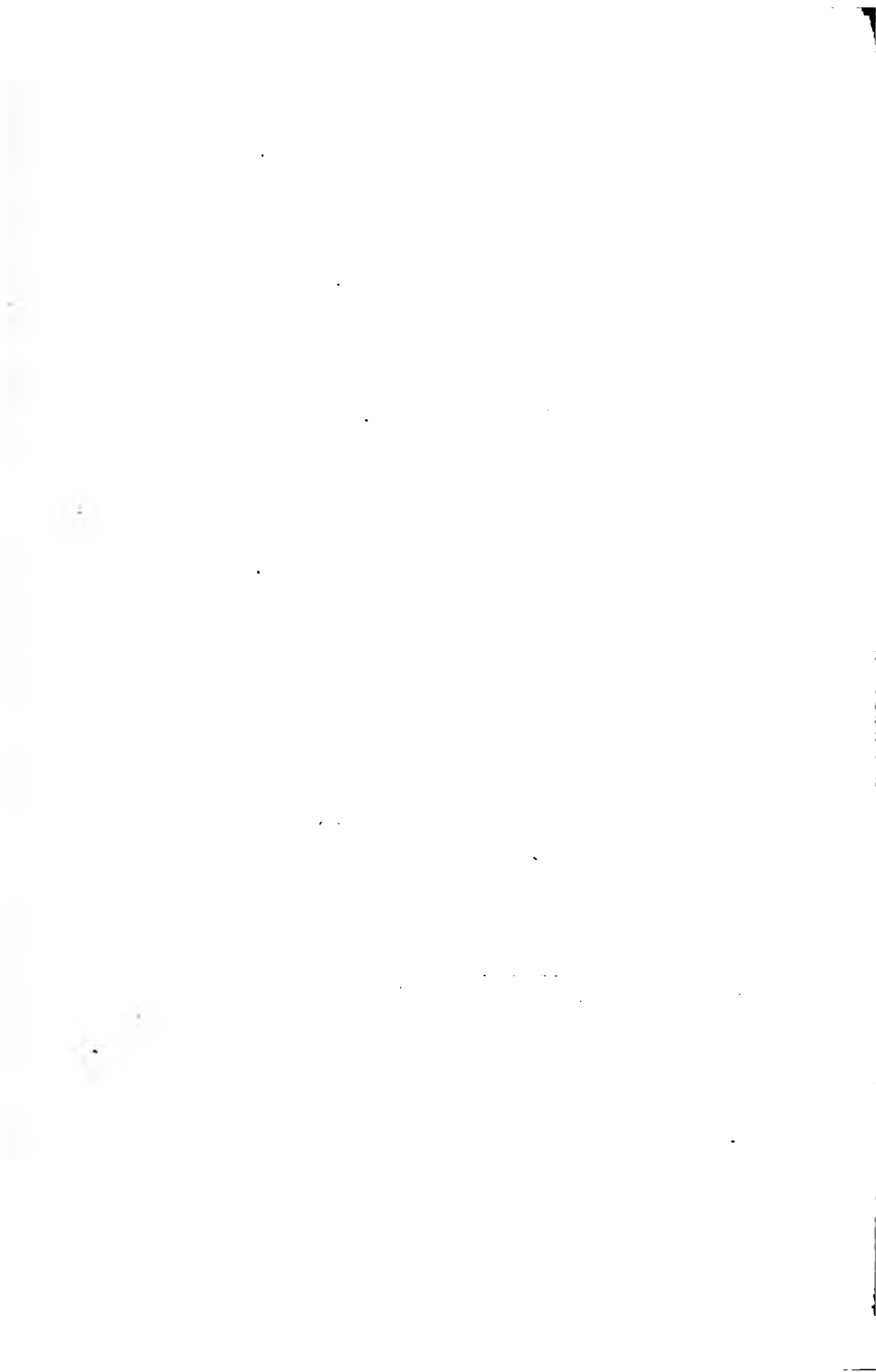
Именно эти духовныя стихіи природы Бѣлинскаго останутся незабвенными въ исторіи русскаго общества. Его завоеванія въ литературной критикѣ, его художественное и нравственное міросозерцаніе могутъ, наконецъ, стать общимъ достояніемъ и его идеи войдутъ въ неприкосновенный капиталъ русской гражданственности. Это совершается медленно, не совершилось до послѣднихъ дней и мы безпрестанно будемъ встрѣчаться съ подавляющей властью мысли Бѣлинскаго даже надъ тѣми, кто будетъ одаренъ оригинальнымъ, сильнымъ талантомъ или будетъ завѣдомо усиливаться сбросить съ себя ненавистную ему силу. Намъ представятся еще болѣе краснорѣчивыя свидѣтельства о богатствѣ и цѣнности наслѣдства, завѣщаннаго Бѣлинскимъ. Его ближайшіе преемники и искренніе ученики окажутся не въ силахъ усвоить *силы* завѣтовъ своего учителя, охватить даже его художественныя взгляды во всей ихъ полнотѣ, и направленія критики послѣ Бѣлинскаго будутъ исчерпываться въ сущности борьбой двухъ крайнихъ воззрѣній, извлеченныхъ, точнѣе оторванныхъ отъ его цѣльнаго, всесторонняго ученія. Задачей отдаленнаго будущаго останется возстановить гармонію враждующихъ идей и направить ихъ развитіе по пути, указанному Бѣлинскимъ.

Рано или поздно задача будетъ выполнена и литература, создавшая Бѣлинскаго, создастъ и достойныхъ его продолжателей. Они, можетъ быть, превзойдутъ его послѣдовательностью мысли: вѣдь дѣйствительныя дороги и запутаннѣйшія извилины выпадаютъ на долю первыхъ путниковъ; они оставляютъ послѣ себя болѣе строгія и строже обоснованныя системы: вѣдь черная работа борьбы за самыя основы разумныхъ системъ падаетъ на плечи все тѣхъ же тружениковъ ранняго часа; они, наконецъ, будутъ вооружены на столько внушительнымъ научнымъ и философскимъ оружіемъ, что имъ никогда не представится необходимости защищать свое право

говорить о предметахъ науки и философіи и вмѣсто обдуманныхъ возраженій слышать только надменные, но для многихъ вполнѣ убѣдительные возгласы: невѣжда! недоучка! Вѣдь наступитъ же время, когда ученость учителей и талантливость учениковъ не будутъ взаимными врагами, когда порядокъ и интересъ школы, личность, и свободное развитіе школьника не будутъ исключать другъ друга... Все это придетъ, и тогда *дѣятельность* Бѣлинскаго сведется къ *историческимъ* заслугамъ. Имя его поднимется надъ партійными и временными страстями и пребудетъ въ спокойномъ ореолѣ общепризнанной славы.

Но *личность* Бѣлинскаго сохранить свой нетускнѣющій блескъ, свою вдохновляющую силу рядомъ съ какими угодно талантами и героями русскаго слова. Никто и никогда не превзойдетъ неистоваго Виссаріона идеализмомъ, мыслительнымъ и дѣятельнымъ, никто не въ силахъ будетъ затмить его подвижничествомъ идеи и знанія,—этой новой формой апостольства и мученичества, столь же необходимыхъ для созиданія человѣческаго благоденствія и просвѣщенія, какъ подвиги и муки первыхъ христіанъ были необходимы для распространенія и прославленія христіанской церкви.

И напрасно въ настоящемъ и будущемъ станутъ ополчаться искренніе или *политическіе* враги противъ Бѣлинскаго, безцѣльна и борьба за честь его памяти и могущество его дѣла: онъ по уму, сердцу и таланту *воплощенный духъ прогресса*, т. е. неотразимой положительной силы, управляющей міромъ. А такихъ людей оправдываютъ и достойнѣйшими вѣнками увѣнчиваютъ не судьи и историки, а судьба и исторія.



## ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

### I.

Съ тѣхъ поръ, какъ русская критика выросла за предѣлы чистой эстетики и возвысилась до общественнаго содержанія, одной изъ самыхъ излюбленныхъ задачъ ея стало рѣшеніе вопроса о взаимныхъ отношеніяхъ личности и среды, личной нравственной энергіи и вѣшнихъ вліяній, «натуръ» и «обстоятельствъ». Въ западной критикѣ понятіе «среды» испови занимало важное мѣсто, какъ силы, воздѣйствующей на складъ характеровъ и направленіе талантовъ. Наравнѣ съ «расой» и «эпохой» это—могущественный творческій «моментъ» въ духовномъ развитіи оригинальнѣйшихъ писателей и историкъ вообще не представляется большихъ затрудненій прослѣдить результаты этого момента въ жизни и идеяхъ данной личности.

Совершенно другое значеніе получилъ вопросъ въ русской публицистикѣ. Онъ превратился въ основной догматъ философіи нашей исторіи, поглотивъ вниманіе первостепенныхъ критиковъ и художниковъ. На русской почвѣ «среда» преобразовалась во всемогущую подавляющую стихію. Она не *вліяетъ* на личность, а безпощадно и непреодолимо *порабощаетъ* ее. Она не присоединяетъ къ духовному міру человѣка своихъ внушеній, не дѣлитъ власти надъ нимъ съ другими равноправными силами,—она захватываетъ его будто желѣзнымъ кольцомъ, создаетъ его по своему образу и подобию, слабыхъ жертвъ въ конецъ обезличиваетъ, сильныхъ ломаетъ и уродуетъ. Она совершенно перевертываетъ весь ходъ мысли психолога и историка, когда ему требуется представить личную или идейную характеристику русскаго дѣятеля. Онъ долженъ сосредоточить все свое вниманіе не на даровитости и умѣ отдѣльнаго человѣка, а на его вѣшнемъ положеніи. Сопутствующія обстоятельства должны стать центромъ, деспотически управляющимъ какой угодно благородной природой и глубокой мыслью.

Этотъ порядокъ можно считать установившимся. Наша общественная философія давно обзавелась своеобразными аксіомами,



исключающими возможность пересмотра и поправок рѣшеннаго процесса. Банальное, опостыгѣвшее изреченіе «среда заѣла» можетъ вызывать у насъ искренніе протесты, они не помѣшаютъ ему оставаться подлиннымъ, строго доказаннымъ выводомъ нашей публицистической мудрости. Они не отнимутъ у него правъ очень солидной давности и не лишатъ его осященія самыхъ почтенныхъ авторитетовъ.

Очевидно, русская «среда» всегда отличалась особеннымъ эффектомъ мощи и внушительности. Она умѣла заставить призадуматься самоувереннѣйшихъ идеологовъ и сосредоточивала на себѣ мучительно-тоскующіе или страстно-гнѣвные взоры отважнѣйшихъ рыцарей идеализма и личной независимости. Она ввела грустную ноту въ пылокое краснорѣчіе нашихъ романтиковъ, вызвала у Марлинскаго своего рода надгробное причитаніе надъ русской литературой, едва прозябающей среди общественнаго тщедушія и мелочности, не одинъ разъ воодушевляла рѣчь *Телеграфа* жалобами и даже негодованіемъ на темноту и заражающую мертвенность такъ называемой просвѣщенной публики, она же, наконецъ, снабдила Бѣлинскаго самыми пламенными мотивами гражданской скорби.

Кому бы, кажется, не спасти до конца величаваго полета идеалистической мысли, не противостать во всеоружіи могучей, самоопредѣляющейся личности покушеніямъ виѣшняго міра на нравственную ясность и свободу, какъ не Бѣлинскому! Кто въ первой молодости умѣлъ изъ роли пиллеровскаго Карла Моора извлечь вполне осмысленныя и жизненныя задачи, кто потомъ нашелъ въ себѣ достаточно воли исповѣдывать философскую вѣру, будто нарочно рассчитанную на полное пренебреженіе къ окружающей дѣйствительности, — отъ такого человѣка слѣдовало бы ожидать стойкой вѣры въ личность и натуру при какихъ бы то ни было «вліяніяхъ» и «обстоятельствахъ».

Вышло другое. Именно Бѣлинскій представилъ яркую картину разложенія и гибели лучшихъ человѣческихъ силъ среди тлетворнаго дыханія общества. Именно онъ постарался подыскать оправданія въ «средѣ» даже для тунеядства и чайльд-гарольдства Онягина и дать ему универсальную индульгенцію въ виду несчастнаго стеченія обстоятельствъ.

Можно представить, въ какую форму должна облечься та же философія у другихъ русскихъ публицистовъ, не одаренныхъ неистовствомъ Бѣлинскаго. У его молодого современника и соперника

«среда» окончательно заслоняетъ человѣка. Майковъ, въ сороковые русскіе годы, вдохновляется на ту самую идею, какая была подсказана французскимъ философамъ эпохой распада стараго общественнаго и политическаго строя Западной Европы. Русская публика узнавала, что всѣми пороками, грѣхами и преступленіями она обязана внѣшнимъ вліяніямъ, что изъ рукъ творца она вышла въ блескѣ ангельской чистоты, и только «среда» опозорила ее нравственной тьмой и неразуміемъ. Фактъ, въ высшей степени краснорѣчивый для русскаго публициста!

Наивность Майкова не нашла подражателей, но сущность принципа не измѣнилась съ поремѣнной эпохъ и вѣяній. Шестидесятые годы съ великимъ усердіемъ занимаются старымъ вопросомъ, но не могутъ отдѣлаться отъ стараго рѣшенія. Именно публицистикѣ этого періода понятіе «среды» въ русскомъ смыслѣ обязано своей популярностью. И мы увидимъ, одно изъ философскихъ увлеченій шестидесятниковъ должно было чисто логическимъ путемъ выдвинуть рѣшающую власть внѣшнихъ условій надъ фактами высшаго нравственнаго порядка. Матеріалистическія тенденціи, наложившія яркую печать на міросозерцаніе нѣкоторыхъ руководителей эпохи, не могли благопріятствовать идеѣ свободнаго нравственнаго самоопредѣленія личности вопреки стихійнымъ органическимъ воздѣйствіямъ почвы и атмосферы. Матеріалистическое воззрѣніе по существу—безусловное отрицаніе свободной воли и столь же рѣшительная защита неотразимой закономѣрной необходимости, царствующей одинаково и въ мірѣ явленій, и въ области идей. Чисто личные задатки русскихъ публицистовъ вовлекли ихъ въ рѣзкую непослѣдовательность, сообщая ихъ литературной дѣятельности протестующее и преобразовательное направленіе. Но принципиальная основа такъ называемой естественно-научной философіи менѣе всего уполномочиваетъ своего послѣдователя на личную борьбу съ давнымъ порядкомъ вещей. Онъ существуетъ въ силу непреложныхъ математическихъ законовъ, осуществляющихся по собственной программѣ, независимо отъ нашихъ настроеній и идеаловъ. Въ одномъ изъ основныхъ учительскихъ разсужденій всей эпохи усиленно доказывалось, что «хотѣніе только субъективное впечатлѣніе», и что всѣ поступки, и дурные, и хорошіе—фатальные результаты предъидущихъ фактовъ <sup>1)</sup>. Это доказательство логически

<sup>1)</sup> Чернышевскій. *Антропологическій принципъ въ философіи. Современникъ*, 1860, май. *Русская литература*, стр. 7.

отвергало виѣняемость личности и превращало человѣка въ простой объектъ слѣпыхъ силъ природы. Выводъ блистательно подтверждался при всякомъ случаѣ.

Латинская поговорка «*saecula vitia non hominis*» признавалась безъ всякихъ ограниченій. «Пороки вѣка» могутъ оправдать какого угодно преступнаго или неразумнаго человѣка. И намъ прямо говорятъ, что она «очень полезна для оправданія личностей». Правда, здѣсь же слѣдуетъ прибавить, что она еще полезнѣе и «для исправленія нравовъ общества». Но прибавка противорѣчитъ логикѣ. Исправлять общество—значитъ дѣйствовать на отдѣльных личностей, т. е. уличать, обвинять и наставлять ихъ. Всѣ эти мѣры безцѣльны, разъ личность неповинна въ своихъ дѣйствіяхъ и помысленіяхъ. Даже больше, личность *должна* нести все это какъ вѣчное и неизбывное бремя. Она сама не въ состояніи ничего предпринять противъ собственныхъ невольныхъ, хотя и сознательныхъ кривыхъ поступковъ.

Именно такую истину внушаютъ намъ.

«Какъ развитіемъ всѣхъ хорошихъ своихъ качествъ человѣкъ бываетъ обязанъ обществу, точно такъ и развитіемъ всѣхъ своихъ дурныхъ качествъ. На удѣлъ человѣка достается только наслаждаться или мучиться тѣмъ, что даетъ ему общество» <sup>2)</sup>).

На основаніи этого соображенія критикъ шестидесятыхъ годовъ оправдалъ Гоголя въ *Перепискѣ съ друзьями*. Все оказалось на совѣсти общества, и Гоголь ни въ чемъ не виноватъ. Вы спросите, отчего же среди одного и того же общества въ одно и то же время одни переписываются съ друзьями на манеръ автора *Мертвыхъ Душъ*, а другіе жестоко негодуютъ на эту корреспонденцію? Если общество единственная и непреодолимая причина какихъ бы то ни было «качествъ» личности, откуда же получилась такая непримиримая разниа между Бѣлинскимъ и Гоголемъ? Неужели два совершенно противоположныхъ нравственныхъ поступка одинаково извинительны — и для личностей не зазорны? Вѣдь это значитъ вообще отказываться отъ права такъ или иначе цѣнить людей и ихъ дѣйствія и обрекать себя на роль невозмутимаго, неограниченно-благоволящаго созерцателя.

Нашъ публицистъ вовсе не рожденъ для подобной роли, но это зависѣло отъ его природы, а не отъ его философіи. Онъ, на-

<sup>2)</sup> Чернышевскій. *Сочиненія и письма Н. В. Гоголя. Критическія статьи*. Спб. 1895, стр. 137.

примѣръ, слагаетъ съ Гоголя всякую вину въ наклонности «приноравливаться къ людямъ богѣе, нежели слѣдовало бы», т. е. попросту въ молчаливскихъ добродѣтеляхъ предъ лицомъ людей нужныхъ и сильныхъ. «Эта слабость принадлежитъ не отдѣльному человѣку, а всему обществу», соображаетъ критикъ. Тогда за что же превозносить людей другого направленія? Если угодливость и мудрая приспособляемость не составляютъ порока, почему же недовольство и протестъ добродѣтели? Если вы «гибкаго» Гоголя признаете явленіемъ нравственно-чистымъ и нормальнымъ, на какомъ основаніи вы лишите меня права объявить Бѣлинскаго явленіемъ богѣзненнымъ и неестественнымъ?

Къ счастью русской общественной мысли теоретическія увлеченія нашихъ даровитѣйшихъ публицистовъ всегда шли въ разрѣзъ съ ихъ личными жизненными задачами. Бѣлинскій-гегельянецъ не переставалъ быть неистовымъ Виссаріономъ среди безвыходной смуты философическихъ созерцаній. То же самое съ его наслѣдниками. Матеріалисты въ отвлеченныхъ трактатахъ, они преисполнены идеалистическаго жара въ нравственныхъ и общественныхъ вопросахъ. Бѣлинскій, во имя философіи, исповѣдуетъ такую стремительную страсть къ дѣйствительности, что становится страшно за предметъ страсти. Матеріалисты шестидесятихъ годовъ такъ усердно запицаютъ личность и превозносятъ всемогущество внѣшнихъ обстоятельствъ, что за каждымъ оправдательнымъ приговоромъ непремѣнно ждешь безпощаднаго обвинительнаго акта. Правда, онъ не въ правилахъ логики, но зато въ порядкѣ напряженныхъ и искреннихъ чувствъ. И жертвой оправданнаго Гоголя падетъ то самое общество, какое, на чисто-теоретическій взглядъ, также ни въ чемъ неповинно.

Фактъ—достойный сочувствія, но все-таки мало успокоительный именно въ силу своей нелогичности и своего *патетическаго* начала. Нѣкоторые шестидесятники поймутъ ложность положенія и измѣнятъ общепринятому взгляду. Такъ поступить, на примѣръ, Писаревъ.

Онъ начнетъ съ преклоненія предъ роковыми вліяніями среды и кончитъ жестокими издѣвательствами надъ тѣми, кого она «заѣла», кого «изломала жизнь» и «погубили обстоятельства»<sup>3)</sup>. Онъ перечислитъ цѣлый рядъ горе-богатырей и комическихъ персонажей, сваливающихъ вину въ своей пошлости

<sup>3)</sup> Писаревъ. *Сочиненія*. Спб. 1894, III, 170; IV, 250.

и въ своемъ комизмѣ на людей и судьбу. Но это не будетъ преобразованиемъ міросозерцанія эпохи, а только личнымъ капризнымъ порывомъ критика.

Писаревъ переживалъ героическій періодъ своей литературной дѣятельности и давалъ неограниченную свободу воинственному азарту. Разрушая эстетику, онъ лишалъ и поэтовъ права на существованіе, уничтожая Онѣгина, онъ кстати предавалъ казни и Пушкина. Естественно, при такомъ настроеніи героя нечего было ждать пощадъ «достойнымъ согражданамъ» и «филейнымъ частямъ человѣчества». Но писаревскій разгромъ далеко не соответствовалъ даже основнымъ идеямъ первоучителей и руководителей эпохи. Въ вопросѣ о личности и средѣ они не шли дальше грустнаго и горькаго убѣжденія Добролюбова въ непреодолимой власти обстоятельствъ даже надъ избранными русскими людьми.

«Суровый опытъ говоритъ намъ постоянно, что подъ давленіемъ нашей среды не могутъ устоять самыя благородныя личности» <sup>4)</sup>. Это—правило, по мнѣнію Добролюбова, и если бываютъ исключенія, предъ ними остается преклоняться съ чувствомъ удивленія и восторга. Но и исключенія далеко не всегда надежны. Они требуютъ крайней осмотрительности, русскій публицистъ на каждомъ шагѣ рискуетъ разыграть Донъ-Кихота въ своихъ скоропахъ, лительныхъ привѣтствіяхъ какому-нибудь независимому дѣятелю.

Къ такому выводу пришла самая энергическая и смѣлая эпоха нашей публицистики. Позднѣйшему времени трудно было его опровергнуть. Шестидесятые годы надолго остались недостижимыми образцами юношеской вѣры въ личныя силы и личную нравственную свободу. Потомкамъ приходилось только мечтать о болѣе или менѣе близкомъ уподобленіи своимъ отцамъ на всѣхъ путяхъ, гдѣ ставился вопросъ о самостоятельности и самоопредѣленіи мыслящей личности. Представленіе о подавляющемъ всемогуществѣ среды и обстоятельствъ они могли усвоить невозбранно и вполне законно именно благодаря тому же суровому опыту. Съ общественной сцены скоро исчезли блестящіе передовые вожди и оставили за собой смутную и смущенную толпу второсортныхъ подражателей и перепѣвщиковъ. Надъ ними сколько угодно могли измываться и люди, и обстоятельства. Единичныя исключенія не въ силахъ были поколебать величественнаго престижа, цѣлкомъ перепедшаго на сторону внѣшнихъ вліяній, и когда-то, можетъ быть,

<sup>4)</sup> Добролюбовъ. *Сочиненія*. Спб. 1862, I, 234, 233.

дѣйствительно жалкія и возмутительныя фразы «среда заѣла», «обстоятельства погубили», теперь пріобрѣли весь трагизмъ непреложныхъ жизненныхъ истинъ.

И съ теченіемъ времени русская нравственная философія навсегда усвоила открытіе, только ей одной, свойственное и безусловно-національное. Оно въ высшей степени гуманно и снисходительно. Оно этими качествами превосходитъ даже извѣстное народное отношеніе къ подлиннымъ преступникамъ. Нашъ народъ именуетъ ихъ «несчастыенъкими», наше общество, въ свою очередь, создало собственную категорію такихъ же «малыхъ сихъ». Это—всѣ неудавшіеся таланты, непризнанные гени, неуѣнчанные герои. Въ ихъ сонмѣ можно встрѣтить самыхъ разнородныхъ мучениковъ и жертвъ, громко вопіющихъ о нашемъ состраданіи, нерѣдко о благоговѣнномъ преклоненіи предъ разбитыми мечтами и разрушенными усиліями. Скорбный лишній человѣкъ, яростно-вопіющій или мрачно-безмолвствующій демонъ и просто нравственный бродяга и тунеядецъ,—всѣ одинаково притягиваютъ на терновые вѣнки, сплетенныя имъ средой и обстоятельствами. И меланхолическій взоръ русскаго публициста плохо различаетъ цвѣта и оттѣнки, лишь только рѣчь заходитъ о страждущей личности, лишь только ему бросится въ глаза малѣйшій намекъ на разладъ между «натурой» и «обстоятельствами». Онъ всякую минуту, ради отпущенія всѣхъ смертныхъ грѣховъ, склоненъ вспомнить извѣстные стихи:

Да! въ нашей грустной сторонѣ,  
Скажите, что жъ и дѣлать болѣ,  
Какъ не ховяйничать женѣ,  
А мужу съ псами ѣздить въ поле?..

И не поднимется рука у русскаго гражданина на своего соотечественника, стоить лишь показать ему изъяны тоскующей души и повторить предъ нимъ заученный стонъ надорваннаго сердца! Добрыя намѣренія и возвышенные порывы во всякомъ культурномъ обществѣ могутъ рассчитывать развѣ только на признательность стихотворцевъ и идеальныхъ дѣвъ, разъ за намѣреніями и порывами не слѣдуютъ вполнѣ наглядныя дѣла. У насъ все это положительный капиталъ, и съ нимъ однимъ можно попасть въ храмъ славы и заслужить признательность у очевидцевъ высокой комедіи и даже у потомства. Не слѣдуетъ непремѣнно добиваться судебныхъ процессовъ и жестокихъ приговоровъ надъ талантливыми натурами, заѣденными средой:

имъ приговоры—ихъ собственная участь. Но необходимо убѣдиться въ одной истинѣ: ни падшихъ ангеловъ, ни непризнанныхъ геніевъ, ни лишнихъ героев на свѣтѣ не бываетъ и не можетъ быть. Каждое изъ этихъ понятій—*contradictio in adjecto*, т. е. такая же бессмыслица, какъ сухая вода, гнусная добродѣтель, уродливая красота. Доблести и таланты, способные задохнуться въ какой бы то ни было средѣ или разбѣяться на демонизмъ и псовую охоту, не стоять ни почета, ни сожалѣнія. Они до такой степени призрачны и нравственно-ничтожны, что безпрестанно съ великимъ искусствомъ поддѣлываются всевозможными находчивыми эксплуататорами русской простодушной гражданской скорби. Тургеневскій Веретьевъ, большой художникъ по части удалой игры на гитарѣ, цыганскихъ романсовъ и молодецкихъ посягательствъ на дѣвственные души полевыхъ цвѣтковъ, свободно сходитъ за талантливую натуру, заѣденную средой. Такимъ онъ кажется самому себѣ и ужъ, конечно, захоластивымъ галкамъ женскаго пола. Всѣ другіе неудачники жестокаго типа мало чѣмъ отличаются отъ этого героя, развѣ только большей осмысленностью игры въ геніальность и даромъ загубленныя «силы души». А между тѣмъ, давно ли русскіе читатели, во главѣ съ самими авторами и даже критиками, несли дань изумленія этимъ идоламъ, а читательницы прямо именовали ихъ идеалами!

Эти чувства не отжили своего вѣка до нашихъ дней. Нѣкоторымъ историческимъ періодамъ нашей общественной мысли они принадлежатъ по преданію. Многіе дѣятели прошлаго превращены въ неприкосновенную священную традицію, особенно краснорѣчиво свидѣтельствующую о сверхъестественномъ могуществѣ нашихъ отечественныхъ обстоятельствъ.

Такая именно эпоха предстоитъ теперь нашему изученію. Она, несомнѣнно, оказала рѣшительное вліяніе на идеи шестидесятихъ годовъ. Она непосредственно познакомила ихъ съ мерзостью запустѣнія, царившей, за незначительными проблесками свѣта и разума, въ русской литературѣ. И она же представила вполне убѣдительное объясненіе, рядъ дѣйствительно удручающихъ обстоятельствъ.

При одномъ взглядѣ на грозныя внѣшнія вліянія, у впечатлительнаго человѣка могъ замереть духъ, и онъ готовъ былъ все понять и все простить. Такъ русскіе публицисты и поступили. Мы слышимъ чрезвычайно мрачные отзывы о «времени» и ни единого слова о «людяхъ». Предъ нами нескончаемая вереница общихъ

характеристикъ, остроумныя живописныя изображенія сонной литературы, прерывающей свой летаргическій сонъ библиографическимъ храпомъ и патріотическими грезами \*). Говорятъ намъ кое-что и о переиѣнахъ, происшедшихъ съ дѣятелями: нельзя же опустить этого факта, вѣдь литература—дѣло литераторовъ. Но вся тяжесть укоризнъ падаетъ всетаки на время и среду. Благодаря имъ царство литературной мелюзги и дряни упрочилось вполне естественно и на законныхъ основаніяхъ, а все крупное и почтенное принуждено было углубиться въ изложеніе грамматикъ, вмѣсто идейныхъ изслѣдованій заняться значеніемъ кочерги и исторіей ухвата. Такова оказалась воля обстоятельствъ и духъ среды!

Мы ближе подойдемъ къ вопросу и посмотримъ, дѣйствительно ли онъ рѣшенъ исторически точно и нравственно справедливо? Рѣшеніе важно не только для вѣрнаго сужденія объ извѣстномъ періодѣ нашей критики: оно, мы видѣли, имѣетъ общій философскій и психологическій смыслъ вообще для исторіи русскаго общественнаго самосознанія. Обратимся сначала къ «обстоятельствамъ», оставившимъ такое глубокое впечатлѣніе въ русской публицистикѣ, и приведемъ ихъ въ естественную духовную связь съ чувствами и стремленіями ихъ жертвъ. Въ результатѣ вопросъ получить совершенно фактическое рѣшеніе, чуждое, какихъ бы то ни было настроеній—гуманнаго сожалѣнія или гражданскаго негодованія.

## II.

Перваго августа 1848 года, т. е. два мѣсяца спустя послѣ смерти Бѣлинскаго Грановскій писалъ одному изъ близкихъ людей въ высшей степени грустное письмо. Рѣчь профессора звучала чувствомъ безнадежности и отчаянія, холоднаго, подавленнаго, но тѣмъ болѣе горькаго и мучительнаго. Грановскій не видитъ никакого просвѣта и утоленія въ будущемъ, единственное спасеніе—забвеніе въ трудѣ. Это—пока, немного позже мы услышимъ нѣчто еще болѣе печальное: уже и трудъ перестанетъ облегчать душу ученаго и онъ примется разгонять тоску, отбиваться отъ «безвыходной бездонной работы» виномъ, картами, ухаживаніемъ за московскими львицами...

Какая страшная исторія душевной немощи! Мысль о смерти—желанная гостья, и она безпрестанно посѣщаетъ Грановскаго, и въ письмѣ отъ 1-го августа онъ пишетъ:

\*) Добролюбовъ. I, 405.



«Сердце бѣднѣетъ, вѣрованія и надежды уходятъ. Подъ часть глубоко завидую Бѣлинскому, во время ушедшему отсюда. Скучно жить, Фроловъ! Еслибъ не жена...» <sup>6)</sup>).

Достаточно прочесть эти строки, чтобы невольно задать вопросъ: что же случилось въ личной жизни профессора, еще такъ недавно съ такой энергіей вступавшаго въ ратоборство съ славянофилами? Вся западническая партія взирала на него, какъ на одинъ изъ оплотовъ европейскаго просвѣщенія въ Москвѣ и въ Россіи. Талантъ, популярность Грановскаго заставляли ждать отъ него неутомимой и бодрой работы на благодарномъ поприщѣ. И вдругъ полная прострація и сплошной болѣзненный стонъ!..

Загадка разрѣшена давно и, повидимому, безповоротно.

Немедленно по смерти Бѣлинскаго начался «страшный годъ» для русской мысли и литературы. Это—выраженіе Писемскаго, и можно судить, какихъ предѣловъ достигалъ страхъ, если даже авторъ *Взбаломученнаго моря* счелъ возможнымъ дать такой отзывъ. Этого мало. Еще болѣе отвѣтственные и строгіе судьи сочувственно повторяли слова, высказанныя въ литературныхъ кругахъ: «Эпоха цензурнаго террора» <sup>7)</sup>. Они относились къ тому же времени, которое для Грановскаго началось тоской о смерти.

Очевидно, надъ литературой повисла небывалая темная туча, если даже послѣ попеченій Бенкендорфа и Уварова надъ литераторами и печатью можно было приходить въ ужасъ и въ лучшихъ случаяхъ впадать въ отчаяніе и безмолвіе.

Никакая катастрофа въ русскомъ обществѣ и въ русскомъ государствѣ не вызывала экстренныхъ мѣръ. Все обстояло вполне спокойно и благополучно, спокойнѣе даже, чѣмъ въ самомъ началѣ царствованія Николая. Цензура была доведена до цѣлесообразныхъ границъ и держала литературу подъ неусыпной и безпощадной опекой. Еще въ началѣ тридцатыхъ годовъ она далеко оставила за собой всѣ преданія русской словесности. Она запрещала перепечатывать книгу Беккариа, объявляла, слѣдовательно, неблагонамѣренность *Наказа* Екатерины и нарушала Высочайшее повелѣніе 1803 года, вызвавшее напечатаніе книги Беккариа «на счетъ кабинета Его Императорскаго Величества» <sup>8)</sup>. Тогда же было признано безусловно вреднымъ изданіе книгъ для

<sup>6)</sup> Грановскій II, 425.

<sup>7)</sup> *Историческія свѣдѣнія о цензурѣ въ Россіи*. Спб. 1862. Печатано по распоряженію министерства народнаго просвѣщенія, стр. 77.

<sup>8)</sup> *Тб.*, стр. 56.

народа; случалось, не могли быть напечатаны сочиненія, награжденные лично государемъ, помимо общей цензуры всѣхъ министерства владѣли особымъ правомъ цензурованія статей и книгъ, касавшихся подвѣдомственныхъ имъ вопросовъ. Уже тогда эти мѣры достигли постепеннаго сокращенія числа вновь выходящихъ книгъ, особенно «разительно» по философіи и естествознанію, и въ періодической печати наука и серьезная литература все больше ограничивали свой кругъ въ пользу модныхъ журналовъ и иллюстрацій<sup>9)</sup>. Повидимому, дѣло стояло вполне прочно и русская публика не нуждалась больше въ усиленныхъ огражденіяхъ отъ тлетворнаго духа литературы. Такъ именно думали люди, безусловно благонамѣренные и прекрасно исполнявшіе обязанности огражденія. Болѣе компетентныхъ судей нельзя представить, и они еще въ 1834 году разсуждали такъ:

«Власти объявили себя врагами всякаго умственнаго развитія, всякой свободной дѣятельности духа. Не уничтожая ни наукъ, ни ученой администраціи, они, однако, до того затруднили насъ цензурою, частными преслѣдованіями и общимъ направленіемъ къ жизни, чуждой всякаго нравственнаго самосознанія, что мы вдругъ увидѣли себя въ глубинѣ души какъ бы запертыми со всѣхъ сторонъ, отторженными отъ той почвы, гдѣ духовныя силы развиваются и совершенствуются»<sup>10)</sup>.

Авторъ этихъ строкъ разсчитывалъ, что эпоха пройдетъ. Онъ боялся только, какъ бы она не затянулась, но сгущенія красокъ онъ, повидимому, не ожидалъ за невозможностью дальнѣйшаго движенія на существующемъ пути.

Судьба насмѣялась одинаково и надъ надеждами, и надъ сѣтованіями. Февральская революція во Франціи оказалась виновницей жесточайшей реакціи въ Россіи. Какую связь имѣли эти явленія, яснаго отчета не отдавали даже современники, весьма близко стоявшіе къ событіямъ. «Въ Европѣ напроказать, а русскихъ бьютъ по спинѣ», выразилось одно изъ официальныхъ лицъ, огорченныхъ русскими послѣдствіями французскаго переворота<sup>11)</sup>.

<sup>9)</sup> Гл., стр. 57, 61, 63 etc. Академикъ Шопенъ свое сочиненіе объ Арменіи, за которое онъ получилъ подарокъ отъ Государя Императора, «не могъ въ теченіи десяти лѣтъ провести сквозъ цензурныя фурукулы, отчасти потому, что онъ неблагоприятно отзывался объ армянахъ вообще, отчасти по соображеніямъ политическимъ».

<sup>10)</sup> Никитенко. I, 327.

<sup>11)</sup> Никитенко. I, 519.

Но таинственность фактовъ не мѣшала боямъ быть чрезвычайно сильными и обильными. Очевидецъ прямо вызываетъ: «спасай, кто можетъ, свою душу». И вызываетъ втунѣ, потому что именно противъ души и направились всѣ силы, уже давно изощрившія свою зоркость въ этомъ дѣлѣ.

Прежде всего обратились къ цензурному вѣдомству. Всѣ существовавшія цензуры признаны недостаточными, возникаетъ особый *комитетъ второго апрѣля*. Комитетъ начинаетъ дѣйствія подъ предсѣдательствомъ морского министра кн. Меншикова, но главная сила его въ Дмитріѣ Бутурлинѣ, и учрежденіе скоро получаетъ наименованіе Бутурлинскаго комитета, или совѣта пяти. Остальные члены — М. А. Корфъ, Дегай, Дубельтъ, гр. Строгановъ.

Назначеніе комитета сначала остается ужасающей тайной, потомъ узнаютъ, что онъ имѣетъ въ виду изслѣдовать направленіе русской печати и выработать новыя мѣры для ея обузданія. Панический страхъ, по словамъ современника, овладѣваетъ обществомъ. Носятся страшные слухи. Говорятъ, будто комитетъ особенно занятъ пристрастнымъ розыскомъ идей коммунизма, социализма, всякаго либерализма и измышленіемъ примѣрно—жестокихъ наказаній виновному.

Можно было замѣтить перепуганнымъ писателямъ, что вѣдь идеи ихъ прошли въ журналахъ съ вѣдома цензуры. Но замѣчаніе оказывалось необудительнымъ. Еще въ 1834 году редакторамъ объявлено, что одобреніе цензора не избавляетъ ихъ отъ отвѣтственности за напечатаніе «чего-нибудь явно неприличнаго» и всѣмъ памятли были запрещеніе *Московского Телеграфа* и вполнѣ основательные слухи о личной карѣ Полевому <sup>12)</sup>.

И мы не удивляемся, слыша такое сообщеніе очевидца, по поводу возникновенія комитета второго апрѣля:

«Ужась овладѣлъ всѣми мыслящими и пишущими. Тайные доносы и шпионство еще болѣе усложняли дѣло. Стали опасаться за каждый день свой, думая, что онъ можетъ оказаться послѣднимъ въ кругу родныхъ и друзей» <sup>13)</sup>.

Первый планъ въ изслѣдованіяхъ комитета должны, конечно, занять *Отечественныя Записки* и *Современникъ*, и Краевскій ежедневно ждет посѣщенія жандармовъ и обыска. Выго-

<sup>12)</sup> *Историч. соед.*, 55.

<sup>13)</sup> Никитенко, 4, 94.

воры и нагоняя редакторамъ не считаются даже происшествіями. Комитетъ дѣйствуетъ съ поразительной энергіей. Можно подумать, вся внутренняя политика Россіи поглощается борьбой съ печатью и литераторами. Комитетъ посредствующее звено между государемъ и литературой. Онъ дѣлаетъ представленія независимо отъ министровъ и цензуръ и объявляетъ высочайшія резолюціи.

Доклады комитета многочисленны, потому что кругъ его вѣдѣнія безпредѣленъ. По словамъ официального источника, «главнѣйшее его вниманіе обращено на междустрочный смыслъ сочиненій, не столько на «видимую», сколько на предполагаемую цѣль автора». Такимъ изслѣдованіямъ подлежитъ не только текущая литература, но и сочиненія, изданныя раньше. Комитетъ разсматриваетъ губернскія вѣдомости, спеціальныя изданія, даже словари иностранныхъ языковъ. Его дѣлопроизводство громадно. Въ одномъ іюнѣ мѣсяцѣ Бутурлинъ сообщаетъ министру народнаго просвѣщенія шесть Высочайшихъ резолюцій. Словарь Рейфа навлекаетъ опалу цензуры за переводъ слова *Litanej*—словами: *литія, молебень, скучный рассказъ*. Цензоръ требуетъ уничтоженія послѣдняго слова, какъ неблагопристойнаго рядомъ съ двумя другими священными словами. Цензоръ дѣйствуетъ по прямому указанію комитета противъ неблагопристойныхъ выраженій въ словаряхъ <sup>14)</sup>. Количество спеціальныхъ цензуръ увеличивается до двадцати двухъ, рукописи часто странствуютъ по нѣсколькимъ министерствамъ, отдѣльнымъ вѣдомствамъ, канцеляріямъ учебныхъ заведеній и благотворительныхъ обществъ, часто изъ-за одной фразы, упоминающей о какомъ-либо административномъ распоряженіи или о совершенно второстепенной власти <sup>15)</sup>.

Послѣднее обстоятельство особенно озабочиваетъ цензуру. Предъ нами *Сборникъ постановленій и распоряженій по цензурѣ* и описываемое время особенно щедро на огражденія чиновниковъ отъ покушеній литературы на ихъ чины и добродѣтели. Основное положеніе отъ 20 іюня 1848 года гласитъ: «не должно быть допускаемо въ печать никакихъ, хотя бы и косвенныхъ порицаній дѣйствій или распоряженій правительства и установленныхъ властей, къ какой бы степени сіи послѣднія ни принадлежали» <sup>16)</sup>.

Это соображеніе на счетъ *степени* властей было мотивировано нѣсколько раньше распоряженіемъ, вызваннымъ *Сѣврной Пчелою*,

<sup>14)</sup> *Историч. вѣст.*, стр. 69, 72.

<sup>15)</sup> *Тб.*, 96.

<sup>16)</sup> *Сборникъ*. Спб. 1862, стр. 250.

т. е. Булгаринымъ. Даже сей мужъ ухитрился попасть въ потрясатели основъ по чрезвычайно замѣчательному случаю. Онъ выразилъ неудовольствіе на царскосельскихъ извозчиковъ, запрашивающихъ съ публики непомерныя цѣны въ дурную погоду. Фельетонная жалоба принята за «косвенныя укоризны царскосельскому начальству» и усмотрѣно, что она предъявлена не подлежащей власти, а «предана на общій приговоръ публики». Дальше слѣдовало соображеніе: «допустивъ единожды сему начало, послѣ весьма трудно будетъ опредѣлить, на какихъ именно предѣлахъ должна останавливаться такая литературная расправа въ предметахъ общественнаго устройства». *Съверная Пчела* не подверглась примѣрной карѣ только въ уваженіе своей завѣдомой благонамѣренности, но зато ея фельетонъ далъ поводъ обезопасить впредь всѣ органы правительства отъ какихъ бы то ни было приговоровъ публики.

Провидательность цензуры простерлась и на беллетристику. Воздвиглось гоненіе на повѣсти и романы, даже на анекдоты, затрогивающіе честь чиновниковъ или рисующіе какое бы то ни было начальство въ комическомъ видѣ. По поводу анекдотовъ той же *Съверной Пчелы* дѣлались спеціальныя доклады государю и слѣдовали резолюціи общаго характера <sup>17)</sup>.

Комитетъ обнаруживалъ исключительную подозрительность къ печатному слову, въ чьихъ бы рукахъ оно ни находилось. Перечитывая многочисленныя «предложенія», «распоряженія», «повелѣнія», вы можете подумать, — Россія мгновенно наводнилась шайками необыкновенно тонкихъ и неуловимыхъ злоумышленниковъ. Министръ, цензоры, комитетъ, безпрестанно толкуютъ о «косвенныхъ намекахъ»: это — излюбленное выраженіе официальныхъ документовъ и высокопоставленныхъ критиковъ. Цензурѣ, буквально, во всякомъ словѣ грезится «обинякъ» и «намекъ», и она употребляетъ неимоверныя усилія вывести на свѣжую воду злокозненныхъ литераторовъ, совершенно непричастныхъ столь геніальному хитроумію и закоренѣлымъ разрушительнымъ инстинктамъ. Булгаринъ и здѣсь оказывается поставщикомъ революціоннаго матеріала.

Въ его дѣтской книжкѣ *Колокольчикъ* описывался патриархальный обычай внуковъ преклонять колѣни предъ бабушкой. Рецензентъ *Отечественныхъ Записокъ* возсталъ противъ искренности

<sup>17)</sup> *Иб.*, стр. 241, 247, 298.

подобныхъ отношеній. Цензура усмотрѣла весьма отдаленный смыслъ критики, «двусмысленность», опасную для «круга вещей» «неприкосновеннаго частнымъ разсужденіямъ». Послѣдовало Высочайшее повелѣніе цензорамъ «дѣйствовать при пропускѣ статей въ *Отечественныхъ Запискахъ* съ самою величайшею осмотрительностью»<sup>18)</sup>.

Цензура быстро утратила ясное представленіе объ естественныхъ предѣлахъ своего духовнаго могущества и совершенно серьезно помышляла воспитывать русское общество по строго определенной программѣ, вопреки неизбѣжнымъ внѣшнимъ влияніямъ и простѣйшему непосредственному житейскому опыту самыхъ безобидныхъ обывателей. Запрещенію стали подвергаться пословицы, народныя преданія, примѣты, загадки, и не только въ общедоступной литературѣ, но даже въ ученыхъ сочиненіяхъ и сборникахъ. Послѣднее распоряженіе подтверждено неоднократно, очевидно, въ виду заставить русскій народъ забыть свое неблагопріостойное творчество<sup>19)</sup>.

Естественно, исторія должна подвергнуться соотвѣтственной фильтраціи. Изъ журнальныхъ статей устраниются факты, все равно, какой бы то ни было давности съ намеками на народныя движенія, на вражду крестьянъ и холопей къ боярамъ и господамъ. Изъ разсказовъ объ эпохѣ Самозванца должны исчезнуть подробности о положеніи народной массы и ея дѣйствіяхъ, статьи о Пугачевѣ и Стенькѣ Разинѣ не должны вовсе появляться въ періодическихъ изданіяхъ «при всей благонамѣренности авторовъ и самыхъ статей ихъ». Подобныя сочиненія, по мнѣнію власти, «неумѣстны и оскорбительны для народнаго чувства». Въ особенности печать обязана избѣгать всякихъ описаній народныхъ лишеній, тяжелыхъ отношеній между помѣщиками и крѣпостными крестьянами. Даже съ цѣлью восхваленія патріархальныхъ порядковъ и защиты крѣпостного права не слѣдуетъ приводить соображенія его противниковъ, чтобы не искушать и не смущать читателей. «Цензура,—говоритъ официальное изданіе,—упорно держалась основного своего начала, причины своего бытія: «осторожнѣе и соотвѣтственнѣе природѣ челоувѣческой людей незнакомыхъ зломъ оставлять въ прежнемъ его невѣдѣніи, нежели знакомить съ онымъ, даже посредствомъ порицаній и опроверженій»<sup>20)</sup>.

<sup>18)</sup> *Иб.*, стр. 244, 260.

<sup>19)</sup> *Иб.*, стр. 289, 295, 296, 297.

<sup>20)</sup> *Историч. сөд.*, 65; *Сборникъ*. 261, 265.

Эта истина высказана по поводу сообщенія нѣмецкой рижской газеты, заимствованнаго изъ отчета гамбургскаго библейскаго общества. Отчетъ описывалъ случаи, когда люди низшихъ сословій презрительно и насмѣшливо отзывались о словѣ Божіемъ. Русская цензура считала существованіе подобныхъ фактовъ невѣдомымъ русскому обществу и свѣдѣнія о нихъ заразительными для его младенческой наивности и непорочности.

Бдительность цензуры не ограничивается книгами и статьями. Первоисточникъ зла — авторы, и на нихъ неизбѣжно направить всю тяжесть отвѣтственности. Для власти не достаточно — редакторовъ превратить въ обязательныхъ цензоровъ собственныхъ изданій и грозить имъ расправой за неблагонамѣренность независимо отъ цензурныхъ одобреній. Еще горшая участь ждетъ авторовъ не одобренныхъ и, слѣдовательно, не напечатанныхъ статей. По распоряженію отъ 14 мая 1848 года, цензоры обязаны «негласнымъ образомъ» дѣлать представленія въ третье отдѣленіе Собственной Его Величества канцеляріи объ авторахъ воспрещенныхъ статей, въ случаѣ, если въ статьяхъ окажется «особенно вредное въ политическомъ и нравственномъ отношеніи направленіе». Третьему отдѣленію предстояло принять мѣры для пресѣченія зла или для наблюденія за преступнымъ писателемъ <sup>21)</sup>.

Мы привели только незначительную часть цензурныхъ мѣръ, быстро возникшихъ одна за другой вслѣдствіе французской революціи. Но и по этому ограниченному матеріалу можно судить, въ какомъ положеніи явилась русская литература и журналистика и какой кругъ безопасной и «благонамѣренной» дѣятельности представлялся русскимъ писателямъ комитетомъ второго апрѣля и его органами.

### III.

Какъ трудно было удовлетворить учрежденіе сорокъ восьмого года по части благонамѣренности и «благопристойности» намъ извѣстно изъ промаховъ Булгарина. Кажется, нельзя и вообразить журналиста, болѣе опытнаго въ патріотическихкихъ чувствахъ, и между тѣмъ онъ одна изъ первыхъ жертвъ. Гоненія часто становятся до такой степени жестокими, что Булгаринъ впадаетъ въ гражданскія настроенія и принимается разносить цензуру не хуже самаго радикальнаго «мальчишки». «О Боже, гдѣ мы живемъ!» —

<sup>21)</sup> Сборникъ, стр. 247—248.

воскипаетъ официально признанный охранитель и задаетъ себѣ задачу:—«за что цензоры угнетаютъ разумъ человѣческій и навлекаютъ на всѣхъ насъ гнѣвъ Божій?» И это спрашиваетъ человѣкъ, лично обнаруживающій чисто инквизиторскую проинпательность и холопскій трепетъ при малѣйшемъ намекѣ на самую отдаленную «неблагопристойность» въ патріотическомъ смыслѣ. Онъ, напримѣръ, не рѣшается невинно подшутить даже надъ нѣмецкимъ городомъ, вспомнивъ, что императрица ѣдетъ на лѣто въ Германію. Онъ не дерзаетъ напечатать извѣстіе о новыхъ гасильникахъ, поступившихъ въ продажу, изъ опасенія цензурнаго толкованія. Онъ врагъ всякой политики и вполне согласенъ съ цензурой, что въ русской печати незачѣмъ даже упоминать о представительныхъ собраніяхъ европейскихъ державъ. Онъ идетъ даже дальше цензуры: та имѣетъ въ виду второстепенныя государства, Булгаринъ не желаетъ знать о политическихъ происшествіяхъ гдѣ угодно. По его мнѣнію, русская публика въ единственномъ случаѣ интересуется политикой, когда «чужеземные борцы схватятся за всѣ святыя и дуютъ другъ друга по сусаламъ», вообще когда дѣло идетъ о дракѣ и скандалѣ. Для нея скачки несравненно занимательнѣе, чѣмъ состояніе Франціи. И задушевнѣйшая мечта Булгарина—дождаться хорошей международной потасовки, по очень резонному соображенію: «при каждомъ объявленіи войны прибывало по 1.500 и 2.000 подписчиковъ». И онъ страшно негодуетъ, если *Пчела* опровергаетъ слухи о войнѣ и начинаетъ проповѣдывать о мирѣ, не разжигаетъ забіяческихъ инстинктовъ у своей публики и не открываетъ ихъ всѣми правдами и неправдами у иностранныхъ народовъ<sup>22)</sup>. И такой-то публицистъ и философъ томится и бѣшенствуется подъ гнетомъ Бутурлинскаго комитета!

Правда, онъ можетъ добиться удаленія цензора, можетъ жаловаться на цензуру попечителю, министру и выше, можетъ показывать цензурованные листки самому Цесаревичу и писать «въ собственные руки государя императора» съ приложеніемъ запрещенныхъ статей<sup>23)</sup>... О такихъ привилегіяхъ и во снѣ не снилось ни одному издателю, и все-таки Булгарину приходится заболѣвать отъ цензурныхъ огорченій, приходитъ въ отчаяніе отъ невѣроятныхъ мытарствъ его фельетоновъ по инстанціямъ и провоз-

<sup>22)</sup> О. В. Булгаринъ въ послѣднее десятилетіе его жизни. П. Усова. Ист. Вѣстн. 1883 г., XIII, 306, 300, 292, 294, 299, 309 etc.

<sup>23)</sup> *Ib.*, стр. 305, 312, 315.



глашать «стыдъ и униженіе» Россіи, управляемой Шихматовымъ и людьми безграмотными <sup>24)</sup>).

Какую же участь терпѣли писатели, не занимавшіе столь почетнаго поста и имѣвшіе сношенія съ высокими особами преимущественно только по случаю внушеній и распеканій за содѣянные преступленія? Среди этихъ смертныхъ числились отнюдь не одни лишь завѣдомые журнальные крикуны и потрясатели. Отъ *Сѣверной Пчелы* до *Современника* разстояніе весьма почтенное, и въ промежуткѣ дѣйствовали люди, повидимому, вполне благонадежные и несомнѣннаго патріотизма. И вотъ имъ-то не оказывалось ни снисхожденія, ни пощады.

Прежде всего самый патріотизмъ попалъ въ сильное подозрѣніе. Еще до комитета второго апрѣля состоялось распоряженіе по цензурѣ съ «особливой внимательностью» слѣдить за авторами, возбуждающими въ читающей публикѣ необузданные порывы патріотизма». Впослѣдствіи, во время Севастопольской войны, у государя было испрошено указаніе, «до какихъ предѣловъ можетъ быть допущено изъясненіе подобныхъ чувствованій?» т. е. патріотическихъ заявленій въ прозѣ и стихахъ. Общество, по признанію власти, нуждалось теперь «въ обнаруженіи» этихъ чувствованій, и они были разрѣшены, но въ извѣстныхъ предѣлахъ <sup>25)</sup>. До войны патріотизмъ не требовался внутренней политикой Россіи и даже патентованные патріоты очутились не у дѣла.

Однимъ изъ первыхъ почувствовалъ дрожь Погодинъ. «Въ ужасномъ времени мы живемъ,—писалъ онъ.—Я непременно уничтожилъ бы журналъ, несмотря на всѣ виды, если бы не опасался такою внезапностью подать повода къ обвиненіямъ и подозрѣніямъ». Дальше онъ сообщалъ Шевыреву: «мы сами были обвинены» и просилъ его не говорить ни слова о литературѣ и ея вліяніи.

Шевыревъ раздѣлялъ чувства своего пріятеля и самъ не зналъ, о чемъ вообще писать. Даже о буквахъ и о словахъ ему кажется опаснымъ говорить: «и тутъ еще найдутъ что-нибудь». И онъ жестоко сѣтуетъ на Погодина, рѣшившаго продолжать изданіе журнала <sup>26)</sup>.

Паника охватила и другихъ профессоровъ университета. Они собирались съ силами—перенести наступившую невзгodu. Погодинъ додумывается до идеи подать государю адресъ отъ литераторовъ.

<sup>24)</sup> *Иб.*, 301, 305.

<sup>25)</sup> Распоряженіе 6 мая 1847 года. *Сборникъ*, стр. 240.

<sup>26)</sup> Барсуковъ. IX, 282.

Но на осуществленіе идеи не хватаетъ смѣлости ни у самого Погодина, ни вообще у московскихъ писателей, и издатель *Москвитянина* думаетъ совсѣмъ уйти отъ публичной литературной дѣятельности, зарыться въ ученыхъ историческихъ изысканіяхъ. Онъ былъ бы даже радъ, если бы запретили *Москвитянина* и дали ему, редактору, предлогъ укрыться въ своемъ убѣжищѣ<sup>27)</sup>.

И Погодинъ правъ. Направление, какое онъ считалъ крайугольнымъ въ русской общественной мысли, оказалось самымъ опаснымъ. Высочайшее повелѣніе отъ 20-го іюня 1852 года узаконяло: «На представляемыя къ одобренію для изданія въ свѣтъ сочиненія въ духѣ славянофиловъ должно быть обращено особенное и строжайшее вниманіе со стороны цензуры»<sup>28)</sup>. До какой степени распоряженіе было серьезно, доказала исторія съ *Московскимъ Сборникомъ*. Извѣстная намъ статья Ивана Кирѣевскаго *О характеръ просвѣщенія Европы и о ея отношеніи къ просвѣщенію въ Россіи* вызвала самое рѣзкое негодованіе цензуры, всему *Сборнику* сообщила подозрительный характеръ и послужила непосредственнымъ поводомъ къ постановленію 20 іюня. Статьи для второго тома *Сборника* не удостоились одобренія. Пространныя соображенія вызвало изслѣдованіе Константина Аксакова—*Богатыри временъ великаго князя Владимира по русскимъ пѣснямъ*. Въ другихъ случаяхъ оберегательница патріархальныхъ преданій, на этотъ разъ цензура вознегодовала на отыскиваніе въ пѣсняхъ «небывалаго въ Россіи общиннаго порядка дѣла». Аксаковъ, по мнѣнію цензуры, проводилъ идеи демократическаго равенства, подчеркивая *равный почетъ* у князя Владимира для богатырей всяческаго происхожденія. Авторъ, кромѣ того, выписывалъ изъ былинъ неблагопрістойныя рѣчи, какими богатыри честили великую княгиню и татарскаго царя Калину. Выходило, богатыри становились противъ великаго князя, проповѣдывалась волюница, а мнимое общинное начало скрывало за собой «мысль совершенно коммунистическую». Съ той же точки зрѣнія опѣнена и статья Хомякова по поводу разсужденія Кирѣевскаго *О характеръ просвѣщенія Европы*. И здѣсь община свидѣтельствовала о явной неблагонадежности автора, и вообще о славянофильской идеализаціи старой Руси въ ущербъ нынѣшней. По толкованію цензуры, это означало «какое-то недовольство настоящимъ образованіемъ, обра-

<sup>27)</sup> *Тб.*, 284.

<sup>28)</sup> *Сборникъ*. 282.

зомъ жизни и даже учрежденіемъ правительства». Славянофилы оказывались наигоршими революціонерами, коммунистами, во всякомъ случаѣ,—если не анархистами—на взглядъ охранителей пятидесятихъ годовъ.

Этотъ взглядъ до глубины души огорчилъ самыхъ крайнихъ консерваторовъ и патріотовъ въ московскомъ стилѣ. Они проливаютъ горячія слезы предъ Погодинымъ на небывалую цензурную инквизицію. Они приписываютъ цензурѣ намѣреніе «не пропускать ни одной истины, ни одной мысли», помѣшать русскому народу понять самого себя. Они вспоминаютъ о недавнемъ прошломъ русской литературы, далеко не блестящемъ, какъ о «блаженномъ», «золотомъ времени». Они—отчаяннѣйшіе москвоубы и руссофилы, ссылаются на примѣръ старой германской словесности, до гётевскаго періода, когда даже не знаменитые писатели могли «вести, такъ сказать, на помочахъ, мысль народа въ читателяхъ всѣхъ классовъ». Они находили цѣлесообразіе всевозможныхъ цензурныхъ стѣсненій—допустить писателямъ, какъ людямъ просвѣщеннымъ, «объяснять понемногу истины» публикѣ: все равно, вѣдь когда-нибудь придется ей имѣть дѣло съ тѣми истинами, только безъ всякаго порядка и яснаго сознанія. А такой хаосъ опаснѣе, чѣмъ постепенное воспитаніе мысли!

Изъ жалобъ тѣхъ же патріотовъ мы узнаемъ дѣйствительно о едва вѣроятныхъ мѣрахъ цензуры. «Повѣрять ли потомки?» спрашиваетъ авторъ и сообщаетъ, напримѣръ, запрещеніе *Москвитяину* печатать о дурномъ положеніи финансовъ въ Англіи 1399 года. По мнѣнію автора, въ его время были бы невозможны басни Крылова, сатиры Милонова, оды Державина <sup>29)</sup>...

И такія рѣчи писались человекомъ, еще недавно предлагавшимъ подать правительству официальную жалобу отъ лица благонамѣренныхъ литераторовъ на духъ и направленіе *Отечественныхъ Записокъ*! Такъ возмущался и граждански скорбѣлъ писатель, лично вызывавшій чувства негодованія и презрѣнія у лучшихъ людей своего же прихода, напримѣръ, у Аполлона Григорьева! Но и на этой границѣ не остановился цензурный разгромъ. Петербургъ вскорѣ представилъ еще болѣе неожиданные образцы идейнаго страданія за свободу мысли.

Погодинъ вскорѣ попалъ подъ надзоръ полиціи за критику на Кукольника и за траурную кайму на обложкѣ журнала по слу-

<sup>29)</sup> Письмо М. А. Дмитріева Погодину, 1 августа 1848 года. Варсуковъ. IX, 395 и 396.

чаю смерти Гоголя. Фактъ произвелъ переполохъ въ Петербургѣ <sup>30)</sup>. Москва, въ свою очередь, ужасалась, узнавъ объ участи Плетнева. Этотъ образцовый дѣятель салонной и чиновничьей словесности вызвалъ подозрѣніе Бутурлинскаго комитета въ неблагонадежности. Комитетъ подалъ государю доносъ на либерализмъ лекцій и годовичныхъ отчетовъ Плетнева—профессора и ректора. Обвиняемый узналъ стороною о грозномъ фактѣ и написалъ цесаревичу письмо съ изложеніемъ «правилъ своей жизни, службы и всѣхъ сочиненій своихъ». Письмо было прочитано государю и государь велѣлъ успокоить Плетнева. Такъ Плетневъ самъ рассказываетъ дѣло въ жалобномъ письмѣ къ Жуковскому. Министръ Уваровъ увѣрялъ его, не напиши онъ письма цесаревичу, его удалили бы отъ должности ректора <sup>31)</sup>.

Но вскорѣ громъ загремѣлъ и надъ самимъ Уваровымъ. Судьба будто мстила ему за исключительно-добровольческую ненависть къ русской литературѣ. Когда-то онъ, по поводу Полевого, провозгласилъ: въ правахъ русскаго гражданина нѣтъ права обращаться письменно къ публикѣ <sup>32)</sup>. Теперь ему самому предстояло жестоко поплатиться за пользованіе незаконнымъ правомъ, не только какъ пишущему гражданину, но и какъ министру.

Опала на высшее образованіе была вторымъ русскимъ отраженіемъ французскихъ событій рядомъ съ гоненіемъ на литературу. Опала и здѣсь могла имѣть въ виду развѣ только предупредительныя пѣли. Карать университеты было рѣшительно не за что. Это признавалъ самъ императоръ Николай I. Ограничивая число студентовъ въ двухъ столичныхъ университетахъ тремястами пятидесятью, онъ прямо заявилъ министру, что не слыхалъ ничего дурного объ университетахъ. Не смотря на это, просьба цесаревича и министра увеличить цифру не получила удовлетворенія <sup>33)</sup>.

Но сущность новаго положенія вещей не въ ограниченіи студенческаго комплекта, а въ регламентѣ 24 октября 1849 года. Документъ называется *Наставленіе ректору и деканамъ юридическаго и перваго отдѣленія философскаго факультета*. Университетскому начальству ставилось на видъ революціонное состояніе умовъ въ Западной Европѣ, развитіе республиканскихъ и кон-

<sup>30)</sup> Никитенко. I, 533.

<sup>31)</sup> Барсуковъ. IX, 284.

<sup>32)</sup> Никитенко. I, 325.

<sup>33)</sup> *Ib.*, 590—1.

ституціонныхъ идей и возможность распространенія ихъ среди русской молодежи.

Въ виду опасности, университетское преподаваніе должно подвергнуть особенно пристальному надзору именно въ тѣхъ предметахъ, какіе представляютъ больше случаевъ внушать молодымъ людямъ «неправильныя и превратныя понятія о предметахъ политическихъ». Таковы, напримѣръ, государственное право, политическая экономія, наука о финансахъ и всѣ вообще историческія науки. Инструкція перечисляетъ опаснѣйшія школы—сентъ-симонистовъ, фурьеристовъ, социалистовъ и коммунистовъ и на нихъ сосредоточиваетъ вниманіе ректора и декановъ. Одновременно воспрещается профессорамъ «изъявлять въ неумѣренныхъ выраженіяхъ сожалѣніе о состояніи крѣпостныхъ крестьянъ» и признавать пользу для государства въ перемѣнѣ отношеній помѣщиковъ къ ихъ подданнымъ.

Появленіе регламента сопровождалось слухами о закрытіи университетовъ и о преобразованіи всего образованія и науки въ Россіи. И слухи находили полное довѣріе даже среди профессоровъ, въ особенности проектъ замѣны университетовъ высшими корпусами для юношества, исключительно высшаго сословія, будущихъ чиновниковъ и государственныхъ мужей<sup>34)</sup>. Слухи возникли раньше инструкціи, одновременно съ комитетомъ второго апрѣля и настолько упорно держались въ столичномъ обществѣ, что Уваровъ призналъ необходимымъ выступить на защиту университетовъ.

Въ мартовской книгѣ *Современника* за 1849 годъ появляется статья—*О назначеніи русскихъ университетовъ*. Статья безъ подписи, авторъ ея Давыдовъ, но вдохновитель и весьма серьезный участникъ въ содержаніи—самъ министръ. Статья прямо и начинается съ заявленія о слухахъ, стремится доказать ихъ неосновательность и защитить университеты отъ какихъ бы то ни было подозрѣній въ революціонныхъ затѣяхъ. Напротивъ, именно университетамъ русское общество обязано своимъ образованіемъ, глубокимъ просвѣщеніемъ. Порицатели университетовъ не имѣютъ понятія ни объ ихъ благодѣяніяхъ, ни о совершенно благонамѣренномъ составѣ профессоровъ и студентовъ, т. е. о подавляющемъ большинствѣ дворянъ среди учащихся и о половинѣ ихъ среди учащихся. Статья похоть противъ университетовъ признаетъ «борьбой тьмы со свѣтомъ».

<sup>34)</sup> *Тб.*, 502—3.

Бутурлинъ, издавна питавшій неистребимую ненависть къ университетамъ, не могъ допустить подобнаго посягательства, да еще публичнаго, на свои принципы. Комитетъ доложилъ государю о статьѣ *Современника*, и 24 марта послѣдовало распоряженіе—впредь ничего не допускать въ печати на счетъ правительственныхъ учреждений, а 21 апрѣля состоялось повелѣніе: «Всѣ статьи въ журналахъ за университеты и противъ нихъ рѣшительно воспрещаются въ печати» <sup>35)</sup>. Уварову сдѣланъ запросъ отъ комитета и статья объявлена неприличною. Уваровъ вошелъ къ государю съ докладной запиской, усердно доказывавъ благонамѣренность статьи, принималъ на себя всю отвѣтственность, не скрывалъ своего щекотливаго положенія, какъ начальника цензуры рядомъ съ комитетомъ второго апрѣля.

Представленія Уварова не имѣли успѣха и его смѣнялъ кн. Ширинскій-Шихматовъ <sup>36)</sup>. Этотъ не помышлялъ становиться въ оппозицію какимъ бы то ни было усмотрѣніямъ комитета и съ готовностью шелъ имъ на встрѣчу. Именно во время его управленія изобрѣтательность цензуры достигла сказочнаго совершенства и именно Шихматову принадлежитъ честь систематической отравы такихъ «либераловъ», какъ Булгаринъ и Гречъ.

Замѣчательно, однимъ изъ тлетворнѣйшихъ источниковъ нравственной заразы въ описываемую эпоху считался классицизмъ. Статья *Современника* принуждена защищать греческій и латинскій языки противъ обскурантовъ. Они находили, что «самые кровожадные изверги французской революціи были глубоко ученые латинисты» и дѣйствовали по урокамъ римскихъ писателей. Доводы Уварова не разубѣдили цензуры и особенно Бутурлинскаго комитета. Цензура не пропускаетъ даже объявленія о книгѣ, посвященной *Афинской республикѣ*. Эти два слова являются совершенно неблагопристойными. Такой же участи подвергается слово *Демосъ*. Вообще гражданскія преданія древняго міра кажутся предосудительными, но зато объ убитыхъ римскихъ императорахъ нельзя говорить: они *убиты*,—они *погибли* <sup>37)</sup>.

Наконецъ, комитетъ рѣшается пересмотрѣть рѣшительно всю русскую литературу съ точки зрѣнія современнаго понятія о благонадежности. Погодинскій пріятель оказывался правъ насчетъ сатиры и одъ XVIII вѣка. Кантеміръ подвергся запрещенію и

<sup>35)</sup> *Сборникъ*. 258.

<sup>36)</sup> *Историч. свѣдѣнія*. 70—71.

<sup>37)</sup> *Никитенко*. 524.

одновременно двѣ басни Хемницера. Но блистательнѣйшая исторія разыгралась по поводу Пушкина.

Поэтъ имѣлъ несчастье и послѣ смерти оставить непримиримыхъ враговъ среди вліятельныхъ лицъ. Первое мѣсто занимали Дубельтъ и Орловъ, шефъ жандармовъ. Дубельтъ открыто именовавъ сочиненія Пушкина *дрянью* и находилъ, что ея вполне достаточно напечатано и нечего еще хлопотать о неизданныхъ сочиненіяхъ поэта <sup>28)</sup>. Это происходило еще въ 1840 году; время могло только упрочить столь опредѣленные отношенія.

Въ самомъ концѣ «эпохи цензурнаго террора» Анненковъ задумалъ издать сочиненія Пушкина. Первое посмертное изданіе явилось исключительно благодаря личной волѣ императора Николая и большимъ выигрышемъ для новаго издателя была своего рода охранныя грамота, оберегавшая уже изданныя произведенія Пушкина отъ домысловъ цензуры. Но совершенно въ другомъ положеніи находились стихотворенія поэта, разбѣянные по журналамъ и сохранившіяся въ рукописяхъ. На этѣй почвѣ предстояло возникнуть цѣлой упорной борьбѣ издателя съ цензурой.

Анненковъ довольно энергично отвоевывалъ стихи и статьи Пушкина и напечаталъ въ послѣдствіи документъ—записку, поданную главному управленію цензуры съ возраженіями на исключенія цензора. Между прочимъ, цензоръ не желалъ пропустить замѣчаній Пушкина о Державинѣ. Существовало общее распоряженіе по цензурѣ не допускать критическихъ отзывовъ о старыхъ классическихъ писателяхъ, если отзывы умаляютъ ихъ авторитетъ. Распоряженіе было вызвано доносами на статьи Бѣлинскаго, оскорблявшія, по мнѣнію доносителей, народную гордость и помрачавшія славу великихъ мужей Россіи. Цензура съ такой настойчивостью охраняла эту славу, что Анненкову приходилось отводить глаза цензора въ завѣдомо ложную сторону, подмѣнять имена особенно почтенныхъ жертвъ поэта другими, менѣе классическими и національно-славными <sup>29)</sup>. Но особенно много изворотливости требовалось издателю—спасти ни въ чемъ неповинныя стихотворныя фразы, гдѣ упоминались слова «свобода», «неволя», «гоненіе», говорилось безъ особаго уваженія о такихъ высокоофициальныхъ изданіяхъ, какъ *Инвалидъ*, *Календарь*, рисовались болѣе или менѣе вольныя картины любви и употреблялись поэти-

<sup>28)</sup> Р. Ст. 1881, т. XXX, стр. 714. Къ характеристикѣ отношеній Дубельта къ сочин. Пушкина.

<sup>29)</sup> Любопытная тяжба. Анненковъ и его друзья, стр. 396, 404, 417.

ческіе эпитеты или сильныя выраженія въ родѣ *накостный* романъ. Издателью приходилось прибѣгать къ хитроумнымъ и въ то же время идилически-наивнымъ соображеніямъ, чтобы побѣдить пуританскія или вѣрнопопдаиническія страданія цензора. И что любопытнѣе всего, цензура, при всей изощренности взора, упускала изъ виду существенный фактъ: вычеркиваемыя ею стихотворенія зналъ наизусть едва ли не всякій русскій читатель, способный приобрѣсти новое изданіе сочиненій любимаго поэта.

Не большей благосклонностью властей пользовался и другой великій поэтъ—Гоголь. Въ то самое время, когда Погодина отдавали подъ надзоръ полиціи, Тургенева отправляли на съѣзжую а одно и то же преступленіе. Тургеневъ напечаталъ въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* статью о смерти Гоголя и называлъ покойника великимъ. Очевидецъ находить, что такимъ унижительнымъ наказаніемъ въ лицѣ Тургенева «хотѣли заклеймить званіе литератора» и что намѣреніе не достигнетъ цѣли: за Тургенева почувствуетъ обиду публики и станетъ на его сторону <sup>40)</sup>.

Въ высшей степени идеальное соображеніе! И за эти «злополучные годы» сколько случаевъ представлялось русской публикѣ оскорбляться и негодовать, а «образованнымъ людямъ» быть органами этихъ благородныхъ настроеній! Тотъ же мечтатель не устаетъ изображать «паническій страхъ», охватившій одинаково и высшихъ сановниковъ и общество, толкуетъ о какомъ-то рокѣ, влекущемъ эпоху въ невѣдомую даль, вызываетъ: «горе намъ рожденнымъ въ свѣтъ», и тутъ же спѣшитъ явить бодрость духа и плачь и вздохи закончить гражданскимъ изреченіемъ: «честный человекъ не долженъ слагать оружія и предаваться бездѣйствію, докогда есть хоть тѣнь возможности дѣйствовать».

Превосходная, хотя и сильно заношенная истина! Сколько же честныхъ людей оказалось на Руси въ роковую годину и какъ они отличали «тѣнь возможности дѣйствовать» отъ безусловной невозможности дѣйствовать честно или повелительной необходимости дѣйствовать по влеченію рока?

#### IV.

Когда мы читаемъ лѣтописи русскаго сорокъ восьмага года и позднѣйшихъ лѣтъ, предъ нами начинается поразительно-яркая картина «террора» и на мѣсто ея выступаетъ цѣлый міръ

<sup>40)</sup> Никитенко. 532—3.



жалкихъ, безтолково мятущихся или безнадежно запуганныхъ лицъ. На первый взглядъ они кажутся вамъ всё похожими другъ на друга, безъ опредѣленныхъ фizioномій, безъ сильныхъ душевныхъ движеній, безъ крови и воли. Будто толпа дантовскихъ тѣней, толпящихся у входа въ адъ, куда-то безотчетно стремящаяся, гонимая невѣдомой ей силой въ крошечную тьму вѣчныхъ страданій. Ни единого проблеска сознательной мысли, ни намёка на свободное человѣчески-осмысленное желаніе: такую бы точно картину представили и сухія вѣтви, подхваченныя бурей и разбрасываемыя вѣтромъ въ разныя сторovy.

Подойдите ближе къ этому обществу, гдѣ нашъ идеалистъ искалъ честныхъ людей, и всё рассказы о цензурныхъ приключеніяхъ, даже о подвигахъ грознаго комитета покажутся мелкими и побочными исторіями сравнительно съ однимъ все подавляющимъ фактомъ—съ малодушіемъ и рабствомъ призванныхъ носителей отечественнаго просвѣщенія и человѣческаго достоинства. Историкъ-пессимистъ могъ бы составить цѣлый рядъ характеристикъ, способныхъ затмить всевозможныя декламации на счетъ благородства человѣческой природы и преимуществъ просвѣщеннаго ума. Во главѣ онъ поставилъ бы самыя громкія имена эпохи и могъ бы съ полнымъ успѣхомъ опровергнуть всё ссылки на среду и обстоятельства. Онъ могъ бы перенести вопросъ на самую гуманную почву. Онъ совершенно отказался бы отыскивать непременно героизмъ, выдающуюся силу души, рыцарственное сознаніе нравственной отвѣтственности. Онъ ограничился бы только простѣйшими запросами къ здравому смыслу и первобытному чувству чести. Онъ только вспомнилъ бы снисходительнѣйшее требованіе, какое только можетъ быть предъявлено разумному существу и какое одинъ изъ терпимѣйшихъ французскихъ историковъ положилъ въ основу историческаго суда надъ личностями.

Человѣкъ не можетъ стать господиномъ обстоятельствъ, но онъ всегда остается господиномъ своего поведенія. Онъ не обязанъ непременно завоевать успѣхъ, но онъ обязанъ дѣйствовать сообразно съ правилами справедливости, даже забытыми, и сообразоваться съ законами вѣчной нравственности, даже когда ихъ болѣе всего нарушаютъ <sup>41)</sup>).

Въ виду исключительно тяжелыхъ обстоятельствъ можно даже понизить и это требованіе, т.-е. совсѣмъ освободить человѣка отъ

<sup>41)</sup> Минье.

дѣйствій въ пользу нравственности и удовлетвориться его бездѣятельностью въ ущербъ этой нравственности. Пусть дѣйствительно при террорѣ вполне достаточно *жить*: и это уже *дѣло*, и пусть оно зачтется какъ подвигъ чести предъ дѣлами тѣхъ, кто управлялъ терроромъ и былъ его виновникомъ. Пусть будетъ добродѣтелью только уйти отъ зла и даже не творить блага. Наконецъ, можно распространить евангельское всепрощеніе еще дальше: въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ тщательно взвѣшивать фактическую возможность сильной добродѣтели, молчаливой и смиренной неприкосновенности ко злу и именно эту мѣрку мы прикинемъ къ исторіи русскаго общества. Намъ необходимо рѣшить вопросъ, дѣйствительно ли рокъ такъ непреодолимо увлекалъ эпоху съ ея героями и жертвами и искупаются ли обстоятельства тяжкія вины отдѣльныхъ личностей, удостовѣренныя позорными преданіями прошлаго?

Мы видѣли, во главѣ исключительныхъ явленій эпохи стало особое учрежденіе, наблюдавшее надъ русской литературой и надъ ея официальными попечителями. Гдѣ источникъ новой власти и кому принадлежитъ первая мысль объ этомъ еще небываломъ на Руси недреманномъ окѣ?

Отвѣтъ — безусловно свѣдущихъ людей: доносы и внушенія «гражданъ», преслѣдовавшихъ вовсе не государственную пользу, а свои личныя цѣли <sup>42)</sup>). Застрѣльщикомъ явился гр. С. Г. Строгановъ, бывшій Московскій попечитель. Къ нему присоединился баронъ М. А. Корфъ. Строгановъ истигъ Уварову за потерю должности попечителя, а Корфъ мѣтилъ на мѣсто Уварова. Оба въ докладныхъ запискахъ государю изображали либерализмъ, коммунизмъ и социализмъ, господствовавшими въ русской литературѣ благодаря потворству министерства народнаго просвѣщенія. Россіи предрекались всевозможные ужасы, если не будутъ приняты экстренныя мѣры для обузданія писателей и для вразумленія цензоровъ. Государь, встревоженный этими свѣдѣніями, на докладѣ гр. Орлова по тому же предмету положилъ резолюцію въ духѣ записокъ Корфа и Строганова: «Необходимо составить комитетъ, чтобы разсмотрѣть, правильно ли дѣйствуетъ цензура и издаваемые журналы соблюдаютъ ли данную каждому программу». Комитету повелѣвалось непосредственно заняться упущеніями министерства народнаго просвѣщенія и Уваровъ, естественно, не ошелъ въ составъ комитета.

<sup>42)</sup> Никитенко. 493.

Всё, слѣдовательно, устроилось по замысламъ доносителей. А дальше уже открывалось неограниченное поприще усердію Бутурлина, доходившее до специальныхъ докладовъ государю на счетъ анекдотовъ *Съверной Пчелы* и гадательныхъ книжекъ. Но комитетъ и извнѣ нашелъ усерднѣйшихъ приспѣшниковъ и помощниковъ. Въ Петербургѣ оказался непочатый уголъ доносчиковъ. Они заваливали третье отдѣленіе своей литературой, здѣсь даже принуждены были не давать движенія множеству сообщений и указаній и по субботамъ совершалось сожженіе доносовъ, признанныхъ вздорными<sup>43)</sup>. Но это безымянная когорта добровольцевъ: она—неизбѣжное явленіе при всякомъ «террорѣ». Впереди ея стоятъ люди съ именами и весьма виднымъ положеніемъ. Они не брезгаютъ наушничать тайно, не смущаются подвизаться и публично.

Первое мѣсто должно принадлежать, конечно, профессорамъ.

Въ сентябрѣ 1848 года Уваровъ получилъ возможность доказать свою строгость и бдительность. На добрый путь навелъ его Шевыревъ. *Общество исторіи и древностей* задумало издать въ русскомъ переводѣ записки англичанина Флетчера о Россіи XVI-го вѣка. Предсѣдателемъ *Общества* состоялъ гр. Строгановъ, находившійся во враждѣ съ министромъ. Шевыревъ воспользовался случаемъ угодить министру и рѣшилъ объяснить ему, до какой степени неблагоугодно печатать по-русски Флетчера, весьма недостою судившаго московскихъ царей и русскій народъ. Строгановъ совершаетъ явно неблагонадежный поступокъ, поощряя это предпріятіе. Уваровъ немедленно распорядился прекратить печатаніе и донесъ государю. Строганову послѣдовалъ строжайшій выговоръ въ самой оскорбительной формѣ, черезъ московскаго генералъ-губернатора. Закревскій послалъ къ графу квартальнаго надзирателя съ приглашеніемъ явиться къ нему для выслушанія выговора. Шевыревъ могъ торжествовать.

Профессорское усердіе иногда переходитъ границы и ввергаетъ въ смущеніе даже высшую власть. Такой случай произошелъ съ Давыдовымъ и министромъ народнаго просвѣщенія Норовымъ, преемникомъ Шихматова. Давыдовъ представилъ министру официальное письменное сообщеніе о томъ, что весь педагогическій институтъ желаетъ стать подъ ружье и просить, чтобы его немедленно начали обучать военнымъ эволюціямъ.

<sup>43)</sup> Р. Ст. 1875, т. XIV. Воспоминанія О. А. Пржеславскаго, стр. 145

«Министръ,—разсказываетъ очевидецъ,—изумился и не зналъ, что дѣлать съ такимъ радикальнымъ усердіемъ». Но Давыдовъ зналъ, что дѣлать. Онъ добивался, чтобы его воинственный азартъ дошелъ до государя. Министръ не далъ бумагъ официального хода, сообщилъ только цесаревичу и не нашелъ въ великомъ князѣ ни малѣйшаго сочувствія предложенію Давыдова <sup>44)</sup>.

Но Давыдовъ велъ свою линію. Не довольствуясь директорствомъ въ педагогическомъ институтѣ, онъ выхлопоталъ себѣ мѣсто въ иностранной цензурѣ и считалъ эту службу предпочтительнѣе всякой другой. Онъ уговаривалъ и Погодина перейти въ цензуру, чѣмъ возмущалъ даже Шевырева, особенно своей враждой къ университету <sup>45)</sup>.

Въ роли цензора Давыдовъ не замедлилъ поразить энергіей своихъ товарищей. Одинъ примѣръ вполне краснорѣчивъ. Въ цензурномъ комитетѣ разсматривался учебникъ по исторіи—Смарагдова. Давыдовъ потребовалъ исключить изъ книги все, что касалось Магомета: онъ былъ «негодяй и основатель ложной религіи», вопилъ просвѣщенный профессоръ. Товарищамъ стоило не много труда образумить своего предсѣдателя... <sup>46)</sup>.

Зачѣмъ было Бутурлинскому комитету изощряться въ инструкціяхъ цензорамъ, когда въ его распоряженіи состояли подобные изобрѣтатели?

Находились профессора, щеголявшіе своей находчивостью всенародно. Въ петербургскомъ университетѣ въ концѣ декабря 1848 года, совершилось событіе, рѣдкое даже въ глгописяхъ печальныхъ періодовъ русской гражданственности. Молодой ученый Варнекъ защищалъ диссертацию на естественно-научную тему—*О зародышѣ вообще и о зародышѣ брюхоногихъ слизняковъ*. Диспутантъ въ своей рѣчи употреблялъ латинскіе термины, иногда нѣмецкіе и французскіе. Профессоръ Шиховской торжественно объявилъ, что Варнекъ, очевидно, не любитъ своего отечества и презираетъ свой языкъ. Диспутанта крайне озадачило такое возраженіе, онъ растерялся и не нашелся что отвѣчать. Оппонентъ перешелъ къ другому, столь же тяжкото обвиненію—къ уликамъ молодого магистра въ матеріализмъ и, наконецъ, осудилъ всю диссертацию... «И такъ,—прибавляетъ очевидецъ-разсказчикъ,—вотъ одинъ изъ профессоровъ, вмѣсто ученаго диспута, направился

<sup>44)</sup> Никитенко. 566.

<sup>45)</sup> Барсуковъ. IX, 286—7.

<sup>46)</sup> Никитенко. 580.

прямо къ полицейскому доносу... Мудрено ли, что многіе у насъ презируютъ и науку, и ученыхъ?» <sup>47)</sup>).

Но подобныхъ храбрецовъ, способныхъ на презрѣніе, врядъ ли было особенно много. Съ теченіемъ времени умъ русскихъ читателей достигъ чрезвычайнаго совершенства по части уловленія неблагопристойностей въ самыхъ благонамѣренныхъ органахъ и подчасъ оставлялъ за собой всѣ официальные цензуры и чутье общепризнанныхъ мастеровъ сихъ дѣлъ. Рассказываютъ, напримеръ, удивительный случай добровольческой проницательности.

Въ *Съверной Пчелѣ* было напечатано извѣстіе о томъ, что по Амуру къ устью отправлены пушки. Корреспонденцію одобрило министерство иностранныхъ дѣлъ, военно-цензурный комитетъ и обыкновенная цензура. Но отыскался читатель, усмотрѣвшій въ сообщеніи разоблаченіе военной тайны, и сообщилъ куда слѣдуетъ свои соображенія. Въ результатѣ—строгій выговоръ редакторамъ газеты и всѣмъ цензурамъ <sup>48)</sup>).

Какое блистательное поприще открывалось при такихъ условіяхъ литературной интригѣ, писательскимъ оскорбленнымъ самолюбіемъ, заугольной злобѣ и открытой накипѣвшей ненависти! И братья-писатели не преминули внести богатѣйшую лепту въ сокровищницу сысковъ, подозрѣній, уликъ и чисто-инквизиціонныхъ кривотолковъ.

Мы видѣли, въ чемъ заключалось страшнѣйшее полномочіе Бутурлинскаго комитета. Цензурный уставъ 1828 года имѣлъ въ виду преслѣдовать и карать «видимыя» цѣли авторовъ и печатныхъ произведеній, т. е. имѣлъ дѣло съ фактами, для всѣхъ доступными и очевидными. Комитетъ далъ неограниченный просторъ пристрастному толкованію мыслей и фразъ, на первый планъ выдвинулъ намекъ и двусмысленность и артистическіе таланты добровольныхъ и официальныхъ цензоровъ направилъ не на чтеніе произведеній авторовъ, а на изобличеніе ихъ душъ и обнаженіе сердець. Легко представить, сколько произвольнаго, фантастическаго и просто капризнаго проникало въ домыслы цензоровъ при такой постановкѣ вопроса! А между тѣмъ, на этой почвѣ зиждилось все назначеніе новаго порядка и этимъ масштабомъ измѣрялись заслуги подлежащихъ лицъ.

И кто же далъ тонъ?

<sup>47)</sup> *Иб.*, 497—498.

<sup>48)</sup> *Историч. Вѣстн.* XIII, 319.

Писатель, и притомъ очень почтенный. Въ 1848 году князь Вяземскій составилъ записку противъ журнальной литературы и преимущественно противъ сатиры. Въ сатирическихъ произведенияхъ, писалъ князь, «каждое слово есть обвинякъ. Литература наша, и особенно нѣкоторые изъ петербургскихъ журналовъ, исполнены этихъ обвиняковъ и намековъ, прозрачныхъ для смышленныхъ читателей»<sup>49</sup>). Не-литераторамъ, конечно, приходилось внимательно вслушиваться въ голосъ столь опытнаго судьи и удвоить зоркость взора и подозрительность ума.

Если въ такомъ тонѣ говорилъ князь Вяземскій, что же оставалось на долю Булгариныхъ? И здѣсь, пожалуй, вполне уместна ссылка на среду и обстоятельства. Заслуженный писатель охотился за обвиняками и намеками, Булгаринъ всѣ силы свои посвятилъ на совершенно откровенную травлю лежащихъ. Его имя мы встрѣчаемъ при всѣхъ литературныхъ драмахъ. Онъ побуждаетъ властей покарать Тургенева за статью о Гоголѣ, онъ въ своихъ фельетонахъ осыпаетъ бранью и Гоголя, и Тургенева, и даже Погодина: послѣдняго именно потому, что онъ также подвергся правительственной карѣ. Онъ невозбранно геройствуетъ въ роли газетнаго опричника и кричитъ «слово и дѣло» гораздо раньше, чѣмъ опасность бросается въ глаза цензурѣ и начальству. У него двоякая цѣль: выместить на другихъ свои собственные цензурныя огорченія и обезпечить себѣ привилегированное положеніе усердіемъ приспѣшника и доносчика. И, можетъ быть, нѣтъ болѣе краснорѣчивой черты, характеризующей извѣстную эпоху, какъ самоувѣренная и торжествующая дѣятельность Булгариныхъ, какъ монополизированіе подобными пресмыкающимися великихъ идей патріотизма и общественнаго порядка. Но вѣдь не исчерпывались же всѣ нравственныя силы русскаго общества «мерзавцами своей совѣсти» и «патріотами своего отечества». Пребывали же въ литературномъ и ученомъ Содомѣ какіе-нибудь праведники, спасавшіе зачумленный городъ и донесшіе до потомства незапятнанную честь русскаго писателя. Направлялась же противъ кого-нибудь безпощадная злоба добровольцевъ и «самая величайшая смотрительность» цензуры. Немыслимо, чтобы *Москвитянинъ*, *Тверная Пчела* служили вполнѣ достойными цѣлями столь сложной и энергической атаки.

Конечно, нѣтъ. Праведники имѣлись налицо, и ихъ-то именно

<sup>49</sup>) *Историч. седьмил.*, стр. 66.

дѣла для насъ особенно любопытны. Мы заранѣе отказались не только отъ выспреннихъ запросовъ къ русскимъ идеалистамъ, а даже отъ поисковъ за положительными результатами ихъ идеализма. Мы предоставляемъ обширѣйшій просторъ голосу, вопіющему о снисхожденіи: «человѣкъ вѣдь я», и готовы понимать *человѣческое* въ самомъ «смертномъ» смыслѣ. Наконецъ, мы устраиваемъ не судейскій трибуналъ, составляемъ не обвинительные акты и не замышляемъ приговоровъ съ снисхожденіемъ или безъ снисхожденія. Наши стремленія не идутъ дальше общечеловѣческой потребности видѣть въ историческихъ фактахъ удовлетвореніе непосредственному нравственному чувству правды и сознанію достоинства нашей природы. Для насъ люди прошлаго поучительны не столько какъ подвижники или преступники, сколько какъ живыя свидѣтельства, какой высоты или какого паденія можетъ достигнуть человѣкъ извѣстнаго духовнаго склада и извѣстнаго времени? И если бы мы пожелали вывести общія заключенія, они будутъ подсказаны намъ прямымъ смысломъ дѣлъ и событій, а не нашими нравственными задачами или гражданскими программами.

#### V.

Мы знаемъ, два журнала по преимуществу *Отечественныя Записки* и *Современникъ*, сосредоточили вниманіе комитета второго апрѣля. Уже третьяго апрѣля кн. Меншиковъ сообщаетъ гр. Уварову высочайшее повелѣніе—объявить редакторамъ и издателямъ обоихъ журналовъ, что за ними правительство «имѣетъ особенное наблюденіе» и, въ случаѣ чего-либо предосудительнаго или двусмысленнаго, изданія ихъ немедленно будутъ прекращены и сами редакторы подвергнутся строгому взысканію.

Уваровъ поспѣшилъ повелѣніе это осуществить на Краевскомъ, предложилъ попечителю петербургскаго округа призвать издателя *Отечественныхъ Записокъ*, предоставить ему на выборъ или измѣнить «въ основаніяхъ» направленіе журнала, или идти на неминуемое запрещеніе и строгое взысканіе. Краевскому давался «послѣдній срокъ», какъ милость, и онъ обязанъ былъ «рѣшительно принять прямые мѣры».

Попечитель исполнилъ предложеніе министра, далъ Краевскому аудіенцію въ присутствіи цензоровъ *Отечественныхъ Записокъ* и сообщалъ Уварову о вполнѣ удовлетворительномъ результатѣ: «Краевскій принялъ съ должнымъ уваженіемъ и полною призна-

тельностью сообщенныя ему мною замѣчанія и объяснилъ въ под-  
пискѣ, что предписаніе вашего сіятельства онъ принимаетъ къ  
надлежащему и точному исполненію».

Краевскій принялъ предписаніе съ самымъ легкимъ духомъ и  
немедленно засвидѣтельствовалъ перемѣну въ направленіи своего  
журнала. Сдѣлано это было основательно и на столько убѣди-  
тельно, что Бутурлинъ счелъ нужнымъ выразить гр. Уварову  
особое одобреніе статьѣ Краевскаго. Среди сотрудниковъ *Отече-  
ственныхъ Записокъ* или не нашлось подходящаго труженика, или  
издатель не рѣшился довѣрить столь отвѣтственной задачи дру-  
гому: онъ самъ выступилъ въ качествѣ публициста и пожалъ  
обильные лавры. Комитетъ доложилъ о статьѣ государю и Краев-  
скому было передано объ этомъ фактѣ. Краевскій могъ торжество-  
вать. Раньше онъ съ гордостью заявлялъ: «напишу такъ, что  
самъ Бугаринъ расчихается». И дѣйствительно, написалъ.

Статья была окончена 25-го мая, т. е. наканунѣ смерти Бѣ-  
линскаго и хоронила всѣ идеи, какими великій критикъ одушевлялъ  
журналъ. Краевскій вырывалъ непроходимую пропасть между  
прошлымъ и настоящимъ своего изданія. До какой степени шагъ  
отличался рѣшительностью, въ Москвѣ доказали съ неопровержимой  
наглядностью.

Погодинъ и Шевыревъ глубоко возмущались превращеніемъ  
петербургскаго журнала. Редакторъ *Москвитянина* усмотрѣлъ въ  
статьѣ сплошной плагиатъ изъ собственныхъ разсужденій и бли-  
стательно доказалъ это. Онъ приготовилъ *Нѣсколько словъ и вы-  
писокъ* изъ параллельныхъ мѣстъ статей *Москвитянина* и статьи  
Краевскаго. Совпаденія выходили поразительныя. *Россія и За-  
падная Европа въ настоящую минуту*, какъ представлялъ ихъ  
петербургскій публицистъ, оказывались ничѣмъ инымъ, какъ дав-  
нишними славянофильскими формулами. Краевскій торжественно съ  
*Москвитяниномъ* излагалъ исторію Россіи и Европы, противо-  
ставлялъ завоевательный процессъ на Западѣ патріархальной  
отеческой власти въ Россіи, сравнивалъ кротость и искрен-  
ность русской церкви съ инквизиціей и монашескимъ лице-  
мѣрствомъ католичества, а въ политическомъ вопросѣ воспроиз-  
водилъ духъ Бородинскихъ статей Бѣлинскаго. Погодину, конечно,  
не было нужды указывать на это совпаденіе. Но такое сличеніе  
вышло бы еще эффектиѣе, чѣмъ открытіе идей *Москвитянина*  
на страницахъ *Отечественныхъ Записокъ*, еще ярче обнаружи-  
лась бы вся головокружительность поворота, совершеннаго Краев-



скимъ. Впрочемъ, достаточно было и того, что Погодинъ припоминалъ свою прежнюю полемику съ петербургскимъ журналомъ какъ разъ по вопросамъ, теперь разрѣшеннымъ вполне удовлетворительно на самый правотѣрный московскій взглядъ. *Отечественныя Записки* даже пересаливали въ восторгъ предъ удѣльнымъ періодомъ и въ національной русской гордости предъ Западной Европой всевозможными культурными успѣхами. Погодинъ эти чувства называлъ крайностями.

Статья Погодина, несомнѣнно, произвела бы впечатлѣніе даже на публику конца сороковыхъ годовъ. Но въ Петербургѣ наши ее «неудобной» и, конечно, совершенно основательно. Такъ мѣнялись люди и пѣсни! Редакторъ *Отечественныхъ Записокъ* удостоивался похвального листа за патріотизмъ и благонамѣренность, а издатель *Москвитянина* попадалъ въ опалу. Могъ ли ожидать Бѣлинскій такого приключенія при всѣхъ своихъ сильныхъ чувствахъ противъ Краевскаго?

Но оставимъ въ покоѣ челоуѣка, промышлявшаго литературой. Ему, можетъ быть, законно и даже обязательно подчиняться какому угодно обстоятельствамъ и превосходить самыя смѣлыя ожиданія «среды». Любопытнѣе вопросъ о людяхъ, работавшихъ вмѣстѣ съ Краевскимъ въ его журналѣ. Какъ же они приняли подвигъ своего редактора—подвигъ, вызвавшій даже въ душѣ Шевырева невообразимое омерзѣніе?

Мы, напримѣръ, знаемъ, съ какой нервною отношеніемъ Боткинъ къ своему имени, какъ главы чайнаго торговаго дома. Онъ не могъ допустить, чтобы это имя появилось въ рассказѣ Дружинина о поѣздѣ ихъ къ Тургеневу. Боткинъ приходилъ въ ужасъ при одной мысли, что скажутъ московскіе купцы по случаю такого чрезвычайнаго происшествія? Не подумаютъ ли они, что онъ заплатилъ фельетонисту и тотъ пропечаталъ его ради славы<sup>50)</sup>? Это значитъ дорожить общественнымъ мнѣніемъ.

Съ другой стороны, намъ извѣстно весьма критическое отношеніе Боткина къ славянофиламъ. Онъ признавалъ за ними исключительно отрицательную заслугу, т. е. протестъ противъ крайняго западничества, и подвергалъ жестокой насмѣлкѣ положительныя идеалы московской партіи и ея отдѣльныхъ представителей<sup>51)</sup>.

<sup>50)</sup> Письмо къ Краевскому отъ 8 авг. 1855 г. *Отчетъ Им. публ. библ. за 1889 годъ*, стр. 107—108.

<sup>51)</sup> Письмо къ Анненкову отъ 14 мая 1847 года. *Анненковъ*, стр. 538—539.

И послѣ всего этого ни капли вниманія выходѣ Краевскаго, отъ которой даже Булгаринъ могъ расчихаться! Куда же дѣвался дѣвственный трепетъ за честь своего имени и западническіе принципы? Или купеческая честь казалась Боткину несравненно дороже, чѣмъ литературная, и чайный складъ болѣе почтеннымъ учрежденіемъ, чѣмъ журналъ?

Во всякомъ случаѣ, Краевскій и послѣ своей статьи остается «любезнымъ Андреемъ Александровичемъ» для сотрудниковъ, не ощущавшихъ никакого давленія обстоятельствъ и ничѣмъ не обязанныхъ издателю *Отечественныхъ Записокъ*. По крайней мѣрѣ, Боткинъ былъ нарасхватъ: Некрасовъ писалъ ему жалкія письма на счетъ его обязательствъ предъ *Современникомъ* и Боткинъ не зналъ, какъ вывернуться предъ двумя журнальными соперниками, притязавшими на его работу<sup>52)</sup>. По этому факту можно судить, до какой степени глухое время стояло въ русской литературѣ, но положеніе Боткина только выигрывало отъ подавляющаго безлюдья и необходимости ухаживать за какимъ бы то ни было издателемъ—являлась исключительно потребностью души, а не вліяніемъ среды.

Помимо Боткина, *Отечественныя Записки* имѣли и другихъ сотрудниковъ, далеко не лишенныхъ правъ на самостоятельность и нравственную энергію. Мѣсто перваго критика послѣ Майкова занялъ Дудышкинъ: его привѣтствовалъ Бѣлинскій. Мы увидимъ, насколько эти привѣтствія заслуженны. Пока для насъ поучительна благодушная уживчивость безусловно необходимаго человѣка съ невѣроятными упражненіями издателя. Потому что мы должны помнить: въ такой мѣрѣ «исполненія предписанія» отъ Краевскаго не требовалось даже обстоятельствами сорокъ восьмого года. Онъ могъ не вызывать восторга у Бутурлина и проявить, по крайней мѣрѣ, сдержанность *Современника*. Краевскій, напротивъ, сообщилъ статьѣ такой преднамѣренно разгоряченный тонъ, что даже въ настоящее время, на разстояніи пятидесяти лѣтъ, она производитъ впечатлѣніе искусственнаго, насильственно вытверженнаго и суетливо изложеннаго урока. Особенно конецъ статьи съ лирическимъ обращеніемъ къ «драгоцѣнному нашему отечеству», съ воинственнымъ провозглашеніемъ непоколебимаго русскаго «нравственнаго карантина» противъ «развратныхъ ученій» Запада вызываетъ невольное

<sup>52)</sup> Письмо Некрасова къ Боткину и письма Боткина къ Краевскому *Отчетъ*, стр. 105—106, 102 etc.

удивленіе, какъ Бутурлинъ могъ до такой степени восхититься поступкомъ Краевского и мгновенно увѣровать въ столь радикальную переѣну фронта? <sup>53)</sup>). Усердіе явно хватило черезъ край и новый патріотъ обнаруживалъ всѣ характерныя черты испуганнаго, но чрезвычайно лукаваго раба.

И въ современной литературѣ подвигъ прошелъ безнаказанно. Восклицательные знаки и многоточія, способныя испугать даже Шевыревыхъ и Погодиныхъ, только укрѣпили положеніе и редакторскій авторитетъ Краевского. Впослѣдствіи, повидимому, даже и воспоминаніе о фактѣ сгладилося у снисходительныхъ современниковъ. Анненковъ, человекъ несомнѣнно благородной души и либеральныхъ сочувствій, много лѣтъ спустя припоминалъ, что *Современникъ* и *Отечественныя Записки* послѣ Бѣлинскаго продолжали полемику съ славянофилами и поддерживали даже «огонекъ». Какъ было бы кстати припомнить здѣсь и о той копоти, какую *Отечественныя Записки* поспѣшили напустить въ журналистику при первомъ же случаѣ!

Можно сказать, эпизодъ съ Краевскимъ—своего рода пробный камень для современныхъ литераторовъ и извѣстное отношеніе къ знаменитой статьѣ едва ли не самая краснорѣчивая характеристика, какую можно представить для людей конца сороковыхъ годовъ.

Въ западническомъ лагерѣ быстро научились толковать: «Мы можемъ обойтись безъ Европы», «мы не советуемъ французскимъ говорунамъ пріѣзжать къ намъ: умрутъ съ голода, никто не приметъ ихъ, пусть роются въ своемъ домашнемъ хламѣ». Какихъ же рѣчей слѣдовало ожидать отъ славянофиловъ, уже давно убѣжденных въ гніеніи Запада? Въ силу непостижимаго процесса мысли они открыли наступающее всемірное торжество Россіи именно въ западно-европейскихъ политическихъ замѣшательствахъ. Хомяковъ въ мартѣ 1848 года уже задавалъ вопросъ, суждетъ ли Россія воспользоваться «минутой великой, предугаданной»? Орлинымъ взоромъ окидывалъ онъ басурманскія земли, и видѣлъ всюду смерть, разложеніе и отчаяніе. Совершенно въ другомъ положеніи Россія. Задача ея ясна и Хомяковъ излагаетъ ее въ такой формѣ, что цензурѣ слѣдовало бы отказаться отъ предубѣждений противъ славянофиловъ, по крайней мѣрѣ, нѣкоторыхъ. Жаль только, что начальство суждѣло раскусить хомяковскій геній

<sup>53)</sup> *Отеч. Записки*. 1848, т. 59, *Современная хроника Россіи*, стр. 19—20.

и давало о немъ отзывъ, который сдѣлалъ бы честь самому тонкому психологу. По поводу статьи Хомякова для *Московского сборника* цензура рисовала такой портретъ славянофильскаго философа, живо напоминающій остроумныя насмѣшки Герцена и негодующую рѣчь Бѣлинскаго.

«Этотъ человѣкъ весьма ученый и поэтъ: убѣжденія его болѣе умственныя, нежели душевныя; любить пренія и готовъ спорить за и противъ».

Очевидно, внушительнаго авторитета не могъ имѣть подобный артистъ ни въ какомъ направленіи. Фактъ, достойный сожалѣнія: Хомяковъ начерчивалъ въ общихъ чертахъ программу образцовой цензуры. Онъ писалъ:

«Перевоспитать общество, оторвать его совершенно отъ вопроса политическаго и заставить его заняться самимъ собою, попятъ свою пустоту, свой эгоизмъ и свою слабость: вотъ дѣло истиннаго посвященія, которымъ наша русская земля можетъ и должна стать впереди другихъ народовъ. Корень и начало дѣла—религія, и только явное, сознательное и полное торжество православія откроетъ возможность всякаго другого развитія»<sup>54</sup>).

При извѣстномъ діалектическомъ искусствѣ слова эти можно истолковать совершенно въ томъ самомъ смыслѣ, за какой статья Краевскаго была одобрена комитетомъ. Только развѣ въ толкованіи православія комитетъ разошелся бы съ Хомяковымъ: извѣстно, что онъ собирался процenzуровать Библію и удалить изъ нея духъ неблагонамѣренности. Но исполнѣ было достаточно смертнаго приговора Западу именно за его попытки улучшить положеніе общества и опредѣленія русскаго прогресса, какъ религіознаго и нравственнаго покаяннаго самосозерпанія. Естественно, гражданскій духъ философа не поднимается выше жалобъ на московскую пензуру за непропускъ его богословской статьи, а вообще философъ «здоровъ и веселъ», непримиримый врагъ «либеральства», «западную мысль» считаетъ «нарядомъ всего горничнаго міра», т.-е. мыслью толпы и плебеевъ, былъ бы очень радъ отставкѣ Грановскаго, Рѣдкина и Кавелина. Правда, цензура его очень беспокоитъ, но онъ не рѣшается выступить противъ нея, не по какимъ-либо политическимъ соображеніямъ и не изъ страха предъ особенно тяжелой расплатой, а просто потому, что это будетъ «дурно принято» и возстановитъ противъ него начальство.

<sup>54</sup>) Изъ писемъ Хомякова къ А. П. Попову. *Русскій Архивъ*, 1884, II 290—291.

Съ такими гражданами, конечно, власти нечего было особенно изощряться, обстоятельствамъ и средѣ незачѣмъ было заѣдать ихъ. Они сами являли изъ себя обстоятельства и создавали среду. По крайней мѣрѣ, тотъ же Хомяковъ неодобрительно отзывался о простыхъ, не свѣдущихъ смертныхъ, недовольныхъ «молчаніемъ словесности»: «никто добраго слова не хочетъ сказать»<sup>55)</sup>. Хомяковъ не говорилъ такого слова и совѣсть его была спокойна, потому что онъ былъ «человѣкъ весьма ученый». А такому, очевидно, можно было говорить даже и дурныя слова.

Энергичнымъ единомышленникомъ Хомякова явился поэтъ Тютчевъ, его личный другъ. Этотъ поставилъ вопросъ гораздо опредѣленнѣе, безъ всякихъ философскихъ украшеній и богословскихъ откровеній. *Россія и революція*—двѣ истинныя державы, исчерпывающія судьбы міра. Имъ предназначена смертельная взаимная вражда, потому что Россія — христіанство по преимуществу, а революція — одушевлена антихристіанскимъ духомъ. Очевидно, Россія должна бороться съ революціей не у себя дома, а вообще гдѣ бы революція ни обнаружилась. Это — провиденціальное назначеніе Россіи и отъ него зависитъ «вся политическая и религіозная будущность человѣчества». Февральская революція окончательно доказала, что исторія Европы за послѣдніе тридцать три года была лишь «долгою мистификаціей». «Мудрость вѣка» осрамилась безусловно, и Россіи остается спасать міръ<sup>56)</sup>.

Авторъ, конечно, не могъ неодобрить, съ своей точки зрѣнія, всѣхъ мѣръ, какія принимались въ Россіи противъ западной заразы. Краевскій открыто привѣтствовалъ заставы, устроенныя дляграничныхъ книгъ.

Мы видимъ, на какой твердой общественной почвѣ стояло официальное направленіе сорокъ восьмого года. Комитетъ безъ большихъ затрудненій могъ бы, если бы желалъ, оградить себя весьма краснорѣчивыми философскими и политическими идеями. Бутурлину надо было только принять исповѣдь современныхъ попечителей о судьбахъ человѣчества. Правда, онъ не получилъ бы отъ нихъ полномочія на цензурованіе Библіи, но набралъ бы достаточное количество культурныхъ и нравственныхъ принциповъ, оправдывающихъ возникновеніе охранительнаго учрежденія. На-

<sup>55)</sup> *Ib.*, 306, 307, 310, 294.

<sup>56)</sup> *La Russie et la Révolution*—трактатъ Тютчева былъ написанъ лѣтомъ въ 1848 году, напечатанъ въ *Русскомъ Архивѣ* 1873 года.

жонецъ, онъ слышалъ бы жалобы не столько на свои распоряженія, сколько на крайне запуганныхъ цензоровъ. И виноватыми оказались бы разные Крыловы и Фрейганги, а не высшіе борцы съ революціей.

Намъ предстоитъ сдѣлать послѣдній шагъ въ нашемъ обзорѣ русскаго общества и подойти къ людямъ, далеко превосходившимъ не только Краевскихъ и Хомяковыхъ, талантомъ и искренностью убѣжденій, но даже сосредоточивавшихъ на себѣ надежды ставшійшихъ дѣятелей и ужъ, конечно, младшихъ современниковъ. Имена этихъ людей до сихъ поръ остались на страницахъ нашей исторіи свѣтлыми и вдохновляющими. Очевидно, потомство не могло припомнить ни одного сознательно ложнаго поступка и живаго слова изъ жизни своихъ избранниковъ и не оставило на ихъ славѣ ни одного пятна.

Мы отнюдь не намѣрены посягать хотя бы на одинъ лучъ этой славы. Мы только возможно точнѣе опредѣлимъ ея источникъ и пристальнѣе взглянемъ въ лица, озаренныя традиціоннымъ блескомъ.

## VI.

Намъ неоднократно приходилось указывать, какая рѣзкая нравственная черта отдѣляла Бѣлинскаго отъ его ближайшихъ друзей. Мы безпрестанно могли видѣть, съ какимъ трудомъ понимали они «неистовство» Орланда и какъ легко переходили къ отрицательнымъ настроеніямъ по поводу его идей и увлеченій. На первомъ мѣстѣ среди этихъ невольныхъ грѣшниковъ стоялъ Грановскій. Сама природа, уравновѣшенная, склонная къ снисхожденію и примиренію, лишила талантливаго профессора чуткости къ страстнымъ впечатлѣніямъ и чувствамъ, волновавшимъ Бѣлинскаго до конца дней. И Грановскій весьма нерѣдко выступалъ противъ критика, подвергалъ суровому суду его излишества, изрекалъ обвинительные приговоры даже надъ нѣкоторыми принципами его направленія, напримѣръ, въ вопросѣ о народности. Мы знаемъ, здѣсь было гораздо больше недоразумѣнія, чѣмъ анализа, но именно этотъ фактъ и поучителенъ: онъ показываетъ какъ различна можетъ быть практика людей, по существу единомышленныхъ и одинаково благородныхъ, но съ разными закалами нравственной природы.

Величайшее испытаніе ожидало Грановскаго въ страшный срокъ восьмой годъ. И не потому только, что профессору пред-

стояло подвергнуться общей участи, ограничить свое слово и мысль. Ему пришлось страдать какъ ученому и мыслителю едва ли не глубже, чѣмъ какъ русскому обывателю. Источникъ страданій былъ доступенъ далеко не всякому современнику событій, не по умственной ограниченности наблюдателей, а по недостатку особаго рода идейной чувствительности и тонко развитою страха за будущее европейскаго прогресса.

Этотъ страхъ свидѣтельствовалъ объ изящной аристократичности воззрѣній въ лучшемъ смыслѣ слова, о нѣкоторой оранжерейности и изысканности культурныхъ сочувствій и принциповъ, въ практическомъ отношеніи обличалъ натуру болѣе пассивную и созерцательную, чѣмъ энергію борца и инициатора. Люди подобнаго склада приходятъ въ смущеніе и даже растерянность отъ фактовъ слишкомъ стремительныхъ и противорѣчащихъ предварительно обдуманной программѣ. Эти люди инстинктивно враждебны всякому стихійному, бурному процессу и склонны видѣть въ немъ зло только въ силу его стихійности и быстроты. Они желали бы вѣчно присутствовать при упорядоченной постепенной эволюціи добра и свѣта, безъ экстренныхъ толчковъ и внезапныхъ вдохновеній и капризовъ жизни и людей. Они ежеминутно готовы разочароваться и охладѣть къ той самой цѣли, которая начинается угрожать имъ всевозможными сюрпризами и настойчивыми запросами къ твердости ихъ воли и ясности ихъ взгляда. Тогда они способны остановиться на излюбленномъ пути, даже податься въ сторону или назадъ, лишь бы не имѣть дѣла съ непонятнымъ непреодолимымъ дыханіемъ таинственной исторической силы.

Къ типу этихъ людей принадлежалъ Грановскій.

Онъ не могъ не знать, какой порядокъ венцевъ представляла іюльская монархія, не могъ не понимать, какой смыслъ имѣла конституція, превратившая многомилліонную страну въ добычу хищной мѣщанской олигархіи. Профессоръ исторіи не могъ не отдавать яснаго отчета въ источникахъ и цѣляхъ движенія, приведшаго къ февральскому перевороту. Какому-нибудь Хомякову было естественно лицедрѣть одинъ лишь страшный жупелъ въ явленіи, быстро овладѣвшемъ всей западной Европой, Грановскому была бы непростительна такая національная философія, и онъ, конечно, не страдалъ ею. Но ему и на умъ не могло придти, чтобы всемірная исторія дѣлалась такъ грубо и скоропалительно, какъ это произошло во Франціи.

Онъ составилъ себѣ чрезвычайно стройное и эстетическое пред-

ставленіе объ историческомъ прогрессѣ. Существуютъ массы и личность. Массы «косятъ подъ тяжестью историческихъ и естественныхъ опредѣленій», и только отдѣльная личность «освобождается мыслью» отъ этой тяжести. Число такихъ личностей нарастаетъ, образуется общество, «сообразное требованіямъ личности», и въ этомъ заключается процессъ исторіи...

Очень увлекательно и художественно! Такъ думали и французскіе либералы вплоть до послѣдняго роковаго часа. Развѣ мыслимы событія безъ великихъ людей и движенія безъ вождей? Грановскій пишетъ *массы*, во Франціи либеральнѣйшіе журналисты выражались еще откровеннѣе—*la populace*, или даже *les couches inferieures de la population*, т. е. чернь, низшіе слои населенія. Высшими политиками на этой глубинѣ не признавалось существованіе «политическихъ животныхъ» и не допускалась возможность, чтобы здѣсь когда-либо возникло какое-либо «политическое представленіе» <sup>58)</sup>. Государственныхъ мужей постигъ жестокий урокъ, и даже не одинъ. Оказалось, «низшимъ слоямъ» не представилось нужды въ руководителяхъ, чтобы покончить сначала съ аристократическимъ феодализмомъ, а потомъ заставить образумиться зазнававшихся мѣщанъ въ дворянствѣ.

Не всѣмъ, конечно, эта неожиданность пришлась по вкусу въ самой Франціи и еще іюльская революція расплодила въ литературѣ и въ политикѣ «дѣтей вѣка» съ роковой печатью разочарованія на благородномъ челѣ и съ прорицаніями Кассандры на поблекшихъ устахъ. Поэты въ родѣ Мюссе и политики отвлеченнаго либерализма, какъ чистаго искусства, въ стилѣ Ройэ-Коллара—создали даже особый жанръ лирической художественной тоски и платонической гражданской скорби. Они до конца ве могли преодолѣть врожденной оторопи предъ темной силой, именуемой демократіей, социальными задачами времени, и отводили свои экзотическія души въ іереміадахъ и филиппикахъ, столь же краснорѣчивыхъ, сколько и бесплодныхъ.

Русскій профессоръ впалъ въ подобное настроеніе. Онъ ужаснулся шумнаго появленія на сцену новой силы, лишенной, повидимому, вѣковыхъ украшеній цивилизаціи и даже не чувствующей къ нимъ особаго почтенія. Грановскій задумался: не наступаетъ ли свѣтопреставленіе стараго міра? Не грозитъ ли гибель культурѣ и не готовится ли на вѣковую цивилизацію нашествіе новыхъ

<sup>58)</sup> *National*. 22 juillet 1830.



варваровъ? Профессоръ былъ глубоко убѣжденъ, что судьба цивилизаціи связана съ тѣмъ порядкомъ, какой вызвалъ движеніе массъ. Представлялось разрѣшить дилемму: или долженъ погибнуть этотъ порядокъ и вмѣстѣ съ нимъ человѣческая культура и просвѣщеніе, или «массы» должны быть возвращены на старое мѣсто и обязаны ждать систематическаго выполненія программы, начертанной просвѣщенными историками.

Грановскій не зналъ, какъ выйти изъ затрудненія. Выходъ собственно не представлялъ непосильной трудности для болѣе или менѣе вдумчиваго и безпристрастнаго наблюдателя. Для историка движенія массъ не могли казаться явленіемъ поразительнымъ до столбняка: онъ могъ припомнить не мало этихъ движеній изъ прошлаго Западной Европы и могъ бы сообразить ихъ общій смыслъ. А что касается варварства февральской революціи, достаточно было собрать болѣе тщательныя свѣдѣнія, чтобы разсѣять страшный призракъ. Даже русскій очевидецъ изумлялся умѣренному поведенію массъ и сообщалъ фактъ, повидимому, весьма благоприятный для будущаго цивилизаціи.

Во время смутъ на парижскихъ улицахъ луврскую картинную галерею охраняли сами блузники и не только никого не пускали въ музей, но даже возбраняли всякое скопленіе народа въ этомъ мѣстѣ. Впослѣдствіи гуманность и сдержанность февральскихъ революціонеровъ будетъ подтверждена образцовымъ либераломъ, историкомъ Токвилемъ<sup>59)</sup>. Слѣдовательно, нечего было пѣть отходную цивилизаціи и просвѣщенію и, главное, было совсѣмъ неосновательно и въ историческомъ смыслѣ нелогично цивилизацію отождествлять съ іюльской конституціей и властью Людовика-Филиппа. Но Грановскому не представлялось ничего отраднаго ни въ настоящемъ, ни въ будущемъ. Онъ сѣлъ на рѣкахъ Вавилонскихъ и принялся повторять стихи Гёте, полные не то горькой ироніи надъ погибающимъ міромъ, не то эпикурейскаго равнодушія къ его участи<sup>60)</sup>.

Грановскій вдругъ пережилъ свои желанія и мечты. Жизнь утратила для него пріятный вкусъ и превратилась въ безцѣльное подневольное прозябаніе. Онъ сталъ завидовать покойникамъ не потому, чтобы обстоятельства неумолимой силой поражали его энергію и заключали въ невыносимо-тѣсный кругъ его волю, а

<sup>59)</sup> Анненковъ. *Воспоминанія*. I, 270. *Воспоминанія Алексѣя Токвиля*. М. 1893, стр. 81.

<sup>60)</sup> *Грановскій*. I, 219.

потому, что совѣмъ исчезали и энергія, и воля, сами собой, безъ всякихъ столкновеній съ внѣшними стихіями.

Тяжелыхъ мгновеній приходилось переживать не мало. Все это мы должны принять во вниманіе, но мы не можемъ забыть, что всевозможныя отдѣльныя испытанія падали уже на омертвѣвавшую почву. Грановскій былъ готовъ для воспріятія холодныхъ душей,—такъ же, какъ и его современники, намъ извѣстные,—только по разнымъ причинамъ. Тѣ вообще никогда не жили идеалами и свѣтлыми надеждами, а Грановскій пересталъ жить ими, независимо отъ событій личной жизни. Тѣмъ нечего было сжигать, незачѣмъ было мѣнять религію: торжествующій фактъ былъ ихъ единственнымъ божествомъ. Грановскій если ничего не сжегъ и ничему не измѣнилъ, во всякомъ случаѣ пересталъ быть дѣятельнымъ исповѣдникомъ своей вѣры, усомнился въ ея догматахъ и на него больше не вѣялъ отъ прежняго храма бодрящій духъ.

Ему ни на минуту не могла придти мысль пойти на встрѣчу времени, но въ то же время не оказывалось силъ противодѣйствовать ему, хотя бы со всевозможной скромностью и осмотрительностью, но съ твердымъ сознаніемъ правоты своего дѣла. Онъ безпрестанно говоритъ друзьямъ, что его душа больна и «едва ли выздоровѣетъ», что у него «впереди все такъ пусто и темно», что онъ добыча «безвыходной будничной хандры» и что, наконецъ, онъ не вѣритъ въ успѣхъ какой бы то ни было своей работы. Онъ убѣжденъ, что его существованіе погибло и эта мысль «безпрестанно грызетъ его».

Если такія фразы изрекаетъ двадцатилѣтній юноша, смертельной опасности не предвидится ни для будущаго, ни для жизни. Но если это обычный тонъ зрѣлаго мужа и даровитаго общественнаго дѣятеля,—агонія несомнѣнна и на изгнѣненіе дѣйствительно нѣтъ надеждъ.

Но Грановскій продолжалъ состоять профессоромъ, занималъ едва ли не самое видное мѣсто среди московской интеллигенціи, ему волей-неволей приходилось дѣйствовать. И онъ дѣйствовалъ, думалъ, говорилъ, и каждымъ словомъ подтверждалъ печальную истину: здѣсь жизни нѣтъ и вѣры нѣтъ.

## VII.

Мы возьмемъ два наиболѣе крупныхъ дѣла Грановскаго послѣ прокъ восьмого. Одно въ высшей степени важное и отвѣтственное

по официальному положенію профессора,—составленіе программы учебника по всеобщей исторіи. Распоряженіе исходило отъ министра Ширинскаго-Шихматова и уже этого было достаточно превратить задачу въ исключительно-тягостный подвигъ. Кромѣ того, на помощь министерству не замедлили явиться добровольцы изъ среды педагоговъ. Они предлагали подвергнуть исторію радикальной реформѣ, исключить, напримѣръ, изъ преподаванія всю греческую и римскую исторію до временъ Августа и вообще удалить русское юношество отъ историческихъ сочиненій, написанныхъ язычниками въ родѣ Геродота, Фукидида, Ливія и Тацита. Министръ требовалъ учебниковъ «въ русскомъ духѣ и съ русской точки зрѣнія». Составленіе программы было поручено Грановскому.

Работа шла съ большимъ трудомъ, «замучила меня», писалъ Грановскій, наконецъ была кончена и къ программѣ присоединена объяснительная записка. Она подвергала рѣзкой критикѣ иностранные учебники за равнодушіе къ византийской исторіи и къ основательному опроверженію теорій, противоположныхъ монархическому принципу. Эта критика врядъ ли требовалась задачей автора: онъ могъ бы изложить «русское воззрѣніе», не обвиняя иностранцевъ въ преступленіяхъ, съ точки зрѣнія западнаго историка не постижимыхъ. Это тѣмъ болѣе было бы уместно, что программа построена на вполне благонамѣренныхъ основахъ, совершенно убѣдительныхъ независимо отъ сравненія русскихъ учебниковъ съ иностранными.

Программа все-таки не имѣла успѣха въ высшихъ сферахъ и Грановскій не приобрѣлъ довѣрія министерства. Не смотря на безукоризненно русское направленіе, Шевыревъ все-таки стоялъ на мнѣніи власти несравненно выше Грановскаго.

Другой фактъ еще любопытнѣе: на немъ проявилась личная инициатива профессора. Правда, энергія быстро упала и дѣло не было доведено до конца, но Грановскій успѣлъ высказать нѣсколько мыслей, не менѣе краснорѣчивыхъ для послѣдняго періода его жизни, чѣмъ официальная записка къ программѣ.

На этотъ разъ предъ нами черновой набросокъ письма къ попечителю Назимову по слѣдующему поводу, характеризующему эпоху.

Въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* появилась статья, безъ подписи автора, подъ заглавіемъ *О старомъ и новомъ поколѣніи*. Подъ статьей стояло сообщено и она приписывалась въ публикѣ одному изъ родственниковъ попечителя. Трудно опредѣленно от-

вѣтитъ, какія цѣли преслѣдовалъ авторъ. Говорилъ онъ въ чрезвычайно повышенномъ и риторическомъ тонѣ, рисовалъ нестерпимо жестокія картины, и самъ же подъ конецъ уничтожалъ свое сооруженіе, отнималъ у него, по крайней мѣрѣ, цѣлесообразность на столбцахъ русской газеты.

Авторъ нападалъ на понятія *старое* поколѣніе и *новое* поколѣніе, приписывалъ изобрѣтеніе этихъ страшныхъ словъ коммунистамъ, социалистамъ и фурьеристамъ, вообще «нечистому духу нечестія и безначалія». Дальше раздавались вопли: крамола, насиліе, грабежъ, убійство и слѣдовало политическое соображеніе на счетъ «духа сего»: «Главными дѣятелями его были языкъ и перо; они служили проводниками его нечѣпыхъ и дерзкихъ мыслей, которыя, какъ тонкій ядъ, по каплямъ распускались въ азбукахъ и повѣстяхъ, въ драмахъ и романахъ, въ журнальныхъ и газетныхъ статьяхъ. Извѣстнымъ словамъ даны прогрессистами условныя, символическія значенія; такъ наприимѣръ, *отстать отъ вѣка*, *не идти наравнѣ съ вѣкомъ*, *быть въ застоѣ* значило у нихъ «кто не съ нами, тотъ противъ насъ», *отрясти прахъ отцовъ отъ ногъ своихъ*—отречься отъ вѣрованій отеческихъ или разорвать связь со всѣмъ прошедшимъ. Такъ *обновленіе*, *возрожденіе* у нихъ принималось въ смыслѣ разрушенія общественнаго порядка, революціи; *собственность* называли воровствомъ, *общность* значило «что твое, то мое» и т. д. Словомъ, все у нихъ шло на выворотъ, наперекоръ здравому смыслу и совѣсти. Замѣтьте, что всѣ утописты, социалисты, коммунисты и тому подобныя исчадія нечестія выдавали себя за представителей и ходатаевъ человечества и народа, между тѣмъ какъ ни то, ни другое не вызывало ихъ на этотъ подвигъ и не поручало имъ своего дѣла. «Нація,—говорили они,—должна имъ безусловно покориться для произведенія надъ нею опытовъ» <sup>61)</sup>.

Проницательность, достойная Бутурлинскаго комитета! Даже въ *азбукахъ* наслѣженъ коммунизмъ и социализмъ и разъ навсегда пригвождены къ позорному столбу вѣкоторыя несчастивыя слова. Цензура также питала непреодолимое отвращеніе къ вѣкоторымъ выраженіямъ, наприимѣръ *организация* <sup>62)</sup>, неизвѣстный авторъ открывалъ ядъ въ чисто-русскихъ общеупотребительныхъ словахъ и, конечно, оказывалъ существенную услугу подлежащему вѣдомству.

<sup>61)</sup> *Московскія Вѣд.* 1851 г. № 40.

<sup>62)</sup> *Историч. сѣд.* стр. 67.

Зачѣмъ онъ это дѣлалъ, вообще къ чему стремился и чего хотѣлъ?

Въ отвѣтъ конецъ статьи гласить:

«Но благодареніе Богу! Русскому уму и сердцу чужды дикія и чудовищныя понятія Запада, который можетъ служить западнею для легкомысленныхъ и заблужденныхъ; русскому несродно враждебное дѣленіе соотечественниковъ на старое и новое поколѣніе; для него они, въ духѣ христіанской любви и въ здоровомъ понятіи, составляютъ одно отечество, одно христіанское *жительство*, у котораго одинъ общій отецъ-Богъ, а на землѣ одинъ отецъ народа своего-царь».

Слѣдовательно, авторъ вразумлялъ европейцевъ и *Московскія Видомости* должны были внести страхъ и смущеніе въ среду французскихъ социалистовъ! Не иначе, потому что Россія оказывалась вполне обезопасенной отъ духа нечестія. Но оговорка, превращавшая песь краснорѣчивый походъ неизвѣстнаго публициста въ войну съ вѣтряными мельницами, не теряла весьма существеннаго практическаго значенія при извѣстныхъ настроеніяхъ власти и общества. Лишній разъ въ литературѣ языкъ и перо объявлялись виновниками величайшихъ бѣдствій, и, естественно, статья обезпokoила прежде всего университетъ; его официальный органъ, неизвѣстно по какимъ поводамъ, внезапно поднялъ воинственный крикъ.

Грановскій рѣшилъ возражать на статью. Публично было невозможно и онъ принялся составлять письмо къ попечителю Назимову. Онъ объяснялъ, какую услугу статья оказываетъ врагамъ просвѣщенія, ненавистникамъ литературы и писателей, какъ опрометчиво переносить понятія и термины съ Запада на русскую почву и дѣлать опасными слова, «освященные нашими великими писателями»: робкій литераторъ будетъ ихъ избѣгать, и робкій цензоръ вычеркивать и изъ-за фразы заподозрѣвать цѣлую книгу <sup>63)</sup>.

Эти указанія сопровождались болѣе чѣмъ успокоительными соображеніями профессора насчетъ неприкосновенности Россіи къ искушеніямъ Запада. Грановскій отвергаетъ всякую вражду между русскими поколѣніями, утверждаетъ, что духовныя основы нашего общества не измѣнялись, а было лишь движеніе впередъ и развитіе и благодарить Бога за то, что у насъ нѣтъ партій за ста-

<sup>63)</sup> Письмо къ В. И. Назимову—Грановскій. II, 477 etc.

рсе и за новое... Заявление противорѣчащее собственному напоминанію автора о гонителяхъ образованія и литературы. «Дѣды этихъ людей ненавидѣли Петра Великаго,—говоритъ Грановскій,—зауки ненавидятъ его дѣло». Если такъ, это настоящая партія, и мы знаемъ, она не только существовала, но и дѣйствовала: иначе Грановскому не пришлось бы возражать на статьи *Московскихъ Вѣдомостей*. Очевидно, онъ въ угнетеніи духа просмотрѣлъ и тѣ, правда, не ослѣпительные и немногочисленные проблески мужественнаго разрыва новаго со старымъ, о какихъ несомнѣнно знала кратковременная исторія русскаго общества, и слишкомъ рѣшительно приписать официальному ходу русскаго просвѣщенія всѣ успѣхи отдѣльныхъ поколѣній. Собственное поколѣніе Грановскаго могло бы представить весьма сильныя возраженія и именно *московскій университетъ* съ своими профессорами—Каченовскимъ, Давыдовымъ, Побѣдоносцевымъ, Сандуновымъ, Маловымъ и студентами-недоучками Бѣлинскимъ, Лермонтовымъ и отнюдь не учениками, хотя и кандидатами—Станкевичемъ, Герценомъ. Этотъ университетъ не вышелъ бы изъ испытанія въ такой красотѣ, какъ рисуетъ его Грановскій. Слѣдовало бы понизить патріотическій и слишкомъ обязательный тонъ рѣчи и лучше бы не касаться острыхъ вопросовъ.

Но и такое письмо не было отправлено по адресу, даже, видимо, не дописано до конца.

Съ каждымъ годомъ настроенія Грановскаго становились мрачнѣе и даже заря новой эпохи не уладила его души. Онъ утрачивалъ вѣру и въ русскій народъ, и въ русское общество. Всюду находилъ онъ нравственную тлю и не переставалъ жаловаться не на какія бы то ни было притѣсненія цензуры, а именно на общественное рабство и общественную нетерпимость. Удручающими красками онъ рисуетъ поведеніе дворянства во время выборовъ въ ополченіе: полное отсутствіе понятій о чести и о правдѣ! И при этомъ — мракобѣсіе и реакціонные инстинкты. «Общество притѣснительнѣе правительства», таковъ приговоръ Грановскаго русской интеллигенціи даже въ началѣ новаго царствованія <sup>64)</sup>. И мы знаемъ, сколько по истинѣ трагической правды заключалось въ этомъ обвиненіи.

Можно бы написать пространную исторію любительской цензуры и героями исторіи явились бы русская публика и русская литература.

<sup>64)</sup> Письмо къ Кавелину, II. 455.

Задолго до сорокъ восьмого года русскіе образованные люди вождедѣли о цензурной розгѣ. Оффиціальныи источникъ рассказываетъ, съ какой нервной дрожью и скрежетомъ зубовнымъ «весьма значительная часть общества» встрѣчала намеки на крѣпостное право. Когда въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* появилась статья объ освобожденіи негровъ во французскихъ колоніяхъ, въ жандармское управленіе посылались жалобы и извѣстія о неблагоприятныхъ толкахъ. Въ то же время нашелся журналъ, напечатавшій слѣдующее молитвословіе:

«Ну вотъ хоть и литература наша: еще слава Богу, что у насъ есть цензура! не будь ея, сейчасъ бы явились у насъ свои Польде-Коки и Жоржъ-Занды. Стоитъ только припомнить два несчастные романа *Тайна* и *Мертвая Души*. Но всего достойнѣе сожалѣнія, что въ Россіи нашлись два какіе-то профессора, которые смотрѣли на *Мертвую Душу* не какъ на злоупотребленіе великаго таланта, но... увы!.. Какъ на образцовое твореніе! Ахъ, слава Богу, что у насъ есть цензура!» <sup>65)</sup>.

Отчего же было цензурѣ при такой общественной и литературной атмосферѣ не преслѣдовать *Хижину дяди Тома*, не запрещать романовъ Жоржъ Занда, не усматривать повсюду обиды и намеки на социализмъ и коммунизмъ? Было бы странно, если бы цензурное вѣдомство не стояло, по крайней мѣрѣ, на уровнѣ патриотическихъ чувствъ добровольныхъ спасателей отечества. Да если бы цензура и вздумала проявить терпимость, публика не замедлила бы призвать ее къ порядку. Мы знаемъ, *Московский Телеграфъ* былъ затравленъ прежде всего доносами лицъ не оффиціальныи и тотъ же оффиціальныи источникъ сообщаетъ, что по поводу журнала Полевого «ананеемъ предавалъ» всѣхъ мыслителей не цензоръ, а писатель <sup>66)</sup>. Очевидно, русское общество въ своей средѣ давно уже имѣло обширный комитетъ, зорко наблюдавшій за дѣйствіями цензуры и не пропускавшій безъ замѣчаній и жалобъ малѣйшаго упущенія. Одинъ Булгаринъ стоилъ сотни цензоровъ по изощренности чутя, а по значенію его сыски нельзя и сравнивать съ оффиціальными открытіями: *Сѣверная Пчела* являлась распространеннѣйшимъ органомъ печати и *О. Б.* имѣлъ обширную и благодарную публику во всѣхъ слояхъ русскаго общества.

<sup>65)</sup> *Маякъ*. — *Историч. свѣдѣнія*, стр. 60—61.

<sup>66)</sup> *Ib.*, стр. 61.

И мы видѣли, отпора этой дѣятельности неоткуда было ждать. Лучшие люди безнадежно опустили руки и, можетъ быть, даже неожиданно для самихъ себя впадали въ неподобающій тонъ. При взглядѣ на эти испуганныя или горько страдающія лица становится прямо страннымъ толковать о вліяніяхъ среды, о давленіяхъ обстоятельствъ. И то, и другое предполагаетъ извѣстную силу, на которую оказываются вліянія и производятся давленія, вообще составляется представленіе о какой бы то ни было борьбѣ. Ничего подобнаго мы не видимъ. Люди никнутъ и вянутъ, будто экзотическія растенія, захваченныя морозомъ. Они заранѣе не приспособлены къ перемѣнѣ температуры, ихъ природа—благородна, но она бѣдна нервами активности, она страдаетъ неустойчивостью, впечатлительностью, мягкотѣлостью незрѣлаго организма. Да, мы не должны отступать предъ этимъ фактомъ: культурная незрѣлость и, слѣдовательно, недостаточная самосознательность—такова нравственная почва, съ какою сорокъ восьмой годъ встрѣтился у лучшихъ русскихъ людей. Незрѣлость мы понимаемъ, конечно, не въ смыслѣ ограниченности или наивности общественныхъ идей, а общаго духовнаго склада, характеризующаго человѣка какъ дѣятельную умственную и практическую силу. Всѣмъ извѣстны недоразвившіеся по какимъ-либо обстоятельствамъ художественные таланты крупной величины. Ихъ произведенія могутъ поражать блескомъ формы и даже глубиной содержанія, но въ нихъ будетъ что-то недосказанное, какая-то полубоязненная тайна, будто внезапно прерванный могучій размахъ органической силы. Таковы, напримѣръ, поэзія Лермонтова и отчасти Пушкина. Оба художника застигнуты смертью несомнѣнно далеко отъ грани естественнаго развитія своихъ дарованій, и Пушкинъ унесъ съ собою въ могилу недопѣтые мотивы національнаго и народнаго творчества, а Лермонтовъ не успѣлъ создать цѣльный, положительный идеалъ, во имя котораго онъ творилъ стихи, облитые горечью и злостью.

Такіе же не законченные, не вполне сложившіеся таланты возможны вездѣ, и въ русскомъ обществѣ, преимущественно въ области гражданской культуры. Мы только что познакомились съ настроеніями Грановскаго, захваченнаго врасплохъ историческими событіями. Настроенія до такой степени характерны, что ихъ можно приписать не отдѣльной личности, а цѣлому типу русскихъ людей. Они только не рассказали намъ о себѣ съ такой откровенностью, какъ Грановскій; такимъ людямъ вообще свойственны молчаливыя



томленія духа, да ихъ и не могло быть особенно много въ русскомъ обществѣ сороковыхъ годовъ. Но вотъ еще одинъ примѣръ, благороднѣйшаго перепуганнаго наблюдателя грозныхъ событій. Мы говоримъ о Жуковскомъ.

Никто глубже его не чувствовалъ неправдъ крѣпостного права, никто искреннѣе не могъ желать облегченія народныхъ страданій. Онъ одинъ изъ первыхъ далъ свободу своимъ крестьянамъ. Но лишь только Франція возстала противъ своего правительства, поэта охватилъ ужасъ. Онъ мгновенно вообразилъ, что смуты западной Европы грозятъ политическому строю Россіи и что власть русскаго монарха, опирающаяся на милліоны преданнаго народа, можетъ поколебаться отъ междоусобныхъ счетовъ французской демократіи съ буржуазіей. Жуковский жилъ за границей и съ каждымъ днемъ все больше проникался страхомъ за свое отечество.

И какихъ только мыслей не подсказалъ гуманному и мягко-сердечному поэту этотъ страхъ!

Жуковский теперь горячій сторонникъ смертной казни, принципиальный врагъ суда присяжныхъ, какъ орудія безнаказанности, какъ гибели правосудія. Онъ, конечно, весьма интересуется положеніемъ русской литературы, отлично понимаетъ его послѣ учрежденія комитета второго апрѣля, но онъ не можетъ не сочувствовать воинственному натиску цензуры даже на романы. Онъ самъ не позволилъ бы выставлять въ беллетристикѣ дурную сторону крѣпостного состоянія и вообще касаться отрицательныхъ явленій современнаго положенія вещей. Цензура, правда, чрезмѣрно строга, но даже отдаленнѣйшіе намеки литературы на существующій порядокъ недопустимы... Очевидецъ, передающій всѣ эти свѣдѣнія, прибавляетъ:

«Робость въ Жуковскомъ чрезвычайная; задумавшись, онъ сказалъ: «конечно цензурѣ трудно быть не негѣпою, но во что бы то ни стало надобно охранять самодержавіе и общество образованное» <sup>67)</sup>.

Психологія—вполнѣ естественная и не требуетъ особыхъ поясненій. Мы теперь представляемъ, при какихъ условіяхъ жила общественная мысль и развивалась литература послѣ смерти Бѣлинскаго. И та, и другая были поставлены въ очень тѣсныя границы, подвергнуты необыкновенно пристальному и пристрастному надзору. Но дѣйствія этой силы не должны поглощать всего вни-

<sup>67)</sup> А. И. Кошелевъ. *Биографія*. II, 211.

манія историка. Одновременно съ официальнымъ надзоромъ пышно разцвѣтали такого рода «обстоятельства» и «вліянія», что наши воспоминанія о тяжеломъ прошломъ по справедливости должны быть распредѣлены между обществомъ и властью, «личностями» и «средой». Даже больше. Содержаніе и направленіе русской критики описываемаго періода убѣждать насъ, что въ «личностяхъ» весьма часто заключалось горшее зло, чѣмъ въ самой «средѣ», что литература, по своей доброй волѣ, измѣняла достойнѣйшимъ преданіямъ своего еще вчерашняго дня и независимо отъ какихъ бы то ни было давленій, по движенію собственнаго сердца и по капризу собственнаго вкуса, бросала камнями въ эти преданія. И мы не можемъ даже прибавить: «по убѣжденію», потому что та же литература вскорѣ измѣнила свои чувства и публично отреклась отъ своихъ приговоровъ.

Почему она поступила такъ?—мы не найдемъ отвѣта, жестнаго для ея достоинства, и должны будемъ смиренно сознаться въ прискорбной истинѣ: русскія «личности» не только не обнаружили никакого притязанія на *личность* рядомъ съ обстоятельствами, но даже оказались не въ силахъ спасти отъ вышнихъ вліяній ясное и твердое представленіе о достоинствѣ человѣка и чести писателя.

### VIII.

Бѣлинскій незадолго до смерти успѣлъ встрѣтить добрымъ словомъ нѣкоторыхъ своихъ преемниковъ, критика Дудышкина и беллетриста Дружинина. Оба они вскорѣ заняли мѣста первыхъ критиковъ, одинъ въ *Отечественныхъ Запискахъ*, послѣ смерти Майкова, другой въ *Современникъ*. Бѣлинскій съ завистью говорилъ о «превосходной критикѣ сочиненій Фонвизина» и о «прекрасныхъ рецензіяхъ». Авторомъ былъ Дудышкинъ и критикъ *Современника* завидовалъ счастью Краевского <sup>68)</sup>.

Еще болѣе лестныхъ отзывовъ удостоился Дружининъ. Въ его повѣсти *Полинька Саксъ* Бѣлинскій нашелъ много истины, много душевной теплоты, вѣрнаго сознательнаго пониманія дѣйствительности, много самобытности. Правда, упоминалась также незрѣлость мысли, но Дружининъ могъ успокоиться за свои успѣхи: «онъ,—говорилъ Бѣлинскій,—для женщины будетъ то же, что Герценъ для мужчинъ» <sup>69)</sup>. Карьера не особенно возвышенная, но, во всякомъ случаѣ, видная.

<sup>68)</sup> *Анненковъ и его друзья*. 595.

<sup>69)</sup> *Сочиненія*. XI, 419. *Анненковъ*, письмо отъ 15 февраля, 1848 г., стр. 610.

На сколько же ~~дебаты~~ заслуживали таких привѣтствій и предсказаній?

Путь Дудышкина вполне опредѣлился съ самаго начала. Съ первой статьи до послѣдней критикъ ~~оставался неизмѣннымъ~~. Никакихъ рѣзкихъ увлеченій, никакихъ глубокихъ идейныхъ опытовъ, ни одной смѣлой и оригинальной мысли. Статьи писались ровно, гладко, достаточно умно, даже солидно, обнаруживали въ авторѣ основательныя познанія по русской литературѣ, несомнѣнную личную добросовѣстность. Всѣ эти добродѣтели критику *Отечественныхъ Записокъ* превратили въ своего рода официальный корректный отдѣлъ. Ежемѣсячный долгъ предъ подписчиками уплачивался споина, большими статьями и многочисленными рецензіями. Но самый чуткій читатель врядъ ли могъ за цѣлые годы встрѣтить здѣсь какую-либо волнующую оригинальную идею, почувствовать трепеть живой человѣческой души въ невозмутимо и размѣренно льющемся потокѣ общихъ истинъ и банальныхъ приговоровъ.

Иныхъ результатовъ нельзя было ожидать ни по духу, управлявшему журналомъ, ни по личности его главнаго литературнаго судьи. Краевскій, столь блистательно ознаменовавшій свое публицистическое поприще, конечно, не могъ явиться вдохновителемъ на смѣлыя и самостоятельныя кампаніи. Вся задача издателя ограничивалась искусствомъ лавировать между Сциллой цензурныхъ строгостей и Харибдой либеральныхъ подписчиковъ. Издательство выходило сплошнымъ компромиссомъ, тонкимъ коммерческимъ экивокомъ, съ полной готовностью, во всякую минуту, податься въ сторону Сциллы, а Харибду удовлетворить какимъ-нибудь восклицательнымъ знакомъ или чувствительнымъ вздохомъ съ гражданскимъ оттѣнкомъ.

Журналъ въ теченіе многихъ лѣтъ ловко выполнялъ эту программу двусторонняго фронта и пребывалъ въ званіи либеральнаго органа. Направленіе, пожалуй, дѣйствительно можно было считать либеральнымъ, въ смыслѣ неограниченной терпимости ко всемъ запросамъ времени, къ внушеніямъ Бутурлинскаго комитета и къ неумирающимъ проблескамъ самостоятельной общественной мысли. Впослѣдствіи критика шестидесятыхъ годовъ отдастъ должное межеумочному либерализму журнала, воспоеннаго потомъ и кровью Бѣлинскаго, но пока онъ могъ совершать акробатическія упражненія невозбранно и даже съ одобренія почтенной публики.

До какой степени психологія Дудышкина отличалась гибкостью и тактичностью, показываютъ его успѣхи въ редакціи журнала. Краевскій сдѣлалъ его соредакторомъ и соиздателемъ, раздѣляя съ нимъ труды и доходы. Никакая междоусобная брань не нарушала добраго согласія. Оно могло омрачаться только постепеннымъ упадкомъ журнала одновременно съ проясненіемъ горизонта надъ русской литературой.

Дудышкинъ окончилъ курсъ въ петербургскомъ университетѣ. Съ юныхъ лѣтъ ему, сыну провинціального разорившагося купца, пришлось вынести не мало лишеній. Въ Петербургѣ ему удалось отдохнуть благодаря знакомству съ семьей Майковыхъ. Онъ весьма часто посѣщалъ ихъ домъ, проводилъ много времени въ художественно-литературной атмосферѣ, учился привычкамъ культурнаго просвѣщеннаго общества и впоследствии Валеріану Майкову былъ обязанъ началомъ своей карьеры: Майковъ ввелъ его въ *Отечественныя Записки*.

До сотрудничества въ журналѣ Дудышкинъ пробавлялся уроками и переводами, неудачными и совершенно не сулившими ему литературной славы. Рекомендація, а потомъ быстрая смерть Майкова открыли, наконецъ, широкую дорогу. Статья о Фонвизинѣ—первый большой опытъ Дудышкина: она довольно точно характеризуетъ его личность и талантъ.

Бѣлинскій назвалъ статью «превосходною»: критикъ обнаружилъ свою обычную снисходительность къ литературнымъ дебютантамъ, подающимъ надежды. На самомъ дѣлѣ статья весьма обыкновеннаго содержанія, даже для 1847 года. Она открываетъ длинный рядъ произведеній особаго литературно-критическаго жанра, чрезвычайно популярнаго въ журналистикѣ по смерти Бѣлинскаго. Это—историко-литературное изслѣдованіе, а не критика. Здѣсь исключительную роль играютъ фактическія свѣдѣнія автора, и почти незамѣтны его личныя сужденія. Онъ достаточно *сообщаетъ* и почти совсѣмъ *не разсуждаетъ*. Критика превращается въ историческія справки или докладныя записки. Нѣкоторые читатели могли признать ее очень дѣльной. Но эта дѣльность не мѣшала оставаться ей крайне безжизненной и совершенно безплодной именно на томъ пути, какой только и могла преслѣдовать русская журналистика наканунѣ шестидесятихъ годовъ: на пути къ развитію общественной культурной мысли.

Именно эта цѣль исчезла безслѣдно изъ міра руководящей печати, лишь только замолкъ голосъ Бѣлинскаго. Журналисты сбро-

сили съ себя отвѣтственное бремя руководителей и, при извѣстныхъ условіяхъ, творцовъ общественнаго мнѣнія. Можно, конечно, вспомнить о грозныхъ препятствіяхъ, безъ конца загромаждавшихъ эту дорогу. Но мы снова повторяемъ: препятствіямъ было естественно оказывать пресѣкающее, отрицательное вліяніе на литературу, ихъ *положительные* плоды всецѣло зависѣли отъ доброй воли самихъ литераторовъ. Они не могли многого писать, во *могли* также многое и не писать изъ того, что мы читаемъ на страницахъ передовыхъ журналовъ конца сороковыхъ и начала пятидесятихъ годовъ.

Кто, напримѣръ, заставлялъ Дудышкина восхвалять вѣкъ Екатерины II, какъ вѣкъ неограниченной славы и могущества во внѣшней и внутренней политикѣ? Именовать его «вѣкомъ *маленькихъ заблужденій* и сплошныхъ побѣдъ и блеска? Мы знаемъ, цензура не допустила бы напоминаній о пугачевщинѣ, о ней можно и не упоминать, но не позволительно было многое забывать, безъ передышки изумляться «величію и благодѣтельнымъ результатамъ» внутренняго управленія Россіи при императрицѣ, въ списокъ великихъ людей заносить даже Орловыхъ. Авторъ, несомнѣнно, свѣдущій человекъ: какъ же онъ могъ начертать слѣдующія строки:

«Честь и слава вѣку Екатерины, въ который каждый о себѣ говорилъ: «я человекъ!»

Мыслимо ли было наслѣднику Бѣлинскаго настаивать преимущественно на военныхъ успѣхахъ Екатерины и рѣчь о «гениальныхъ людяхъ» ея царствованія ограничивать генералами и даже просто «баловнями фортуны»? Отдавалъ ли критикъ ясный отчетъ въ своихъ словахъ, прославляя *Наказъ*, какъ *практическій* законодательный памятникъ и сравнивая его въ этомъ смыслѣ съ морскими, воинскими и административными уставами Петра? Могъ ли студентъ, хотя бы поверхностно знакомый съ русской исторіей эпохи Екатерины, праздную компиляцію временной поклонницы энциклопедистовъ называть «краеугольнымъ камнемъ для исторіи просвѣщенія Россіи»?

Задалъ ли авторъ самому себѣ простиѣйшій вопросъ, въ какихъ именно людяхъ и явленіяхъ выразилось это *философское* просвѣщеніе? Онъ рассказываетъ, какъ и съ какими побужденіями знатные подданные Екатерины запасались французскими книжками. Они являлись къ книгопродавцу и заказывали цѣлыя бібліотеки. На вопросъ, какихъ собственно книгъ имъ требуется, слѣдовалъ отвѣтъ на французскомъ языкѣ:

«Вы знаете это лучше меня. Это ваше дѣло. Толстыя книги внизъ, потовыше, на верхъ: такъ именно онѣ разставлены у императрицы».

На этомъ устройствѣ можно было и прекратить просвѣщеніе и всякую философію. Такъ и поступали не только какіе-нибудь Орловы, Зубовы и Потемкины, но даже Фонвизины. Дудышкинъ читалъ заграничныя письма автора *Недоросля*. Въ этихъ письмахъ нелитературной брани подвергнуты знаменитѣйшіе французскіе философы. Критикъ не понимаетъ источника этихъ выходокъ и готовъ приписать ихъ какимъ угодно національнымъ добродѣтелямъ сатирика, только не подлинной причинѣ. Эта склонность все покрывать лакомъ и умащать цвѣтами чиновничьяго славословія основывается у критика на рѣшительной и многообъщающей истинѣ: недуги времени иногда безвыходны. Этого сознанія достаточно. Кѣмъ и чѣмъ создана эта безвыходность, кто заражаетъ время недугами и кто долженъ бы лѣчить ихъ? Эти вопросы не входятъ въ программу публициста. Ему и на умъ не придетъ разстраиваться отъ какихъ-то несчастныхъ «случайностей» или неотразимыхъ необходимостей и онъ съ легкимъ сердцемъ изобразитъ: «Императрица покровительствовала каждому рождающемуся таланту въ Россіи»... Надо полагать, Новиковъ и Радищевъ или не таланты, или родились не въ Россіи.

Послѣ этихъ публицистическихъ данныхъ мы можемъ предугадать психологическую проинипательность критика. То и другое связано неразрывно и публицистъ извѣстнаго направленія въ сущности только развитіе моралиста. Нашъ критикъ чрезвычайно краснорѣчиво обнаружилъ свой талантъ мимоходомъ, характеризуя резонеровъ Фонвизина. По его мнѣнію, Чацкій точь-въ-точь такой же Стародумъ комедіи Грибоедова, какого для своихъ надобностей создавалъ Фонвизинъ <sup>70)</sup>.

Это отождествленіе обличаетъ не столько психологическую близорукость критика, сколько его непониманіе извѣстныхъ нравственныхъ и общественныхъ явленій. Чацкій для него искусственное и мертворожденное лицо, потому что оно не желаетъ признавать безвыходности недуговъ своего времени, потому что оно воплощаетъ борьбу и протестъ, все равно, какъ бы ни были ограниченны предѣлы и силы этой воинствующей энергіи. Критикъ не можетъ сочувствовать ей и, слѣдовательно, не въ силахъ понимать.

<sup>70)</sup> *Отеч. Зап.*, т. 53, 1847, стр. 24, 29, 32 etc. т. 54, 24, 46.

Съ годами это настроеніе нисколько не смягчалось. *Отечественныя Записки*, показавшія рѣдкостную способность примиряться и преклоняться, не могли простить другимъ желанію возможности стоять во весь ростъ и съ сохраненіемъ человѣческаго достоинства.

Десять лѣтъ спустя Дудышкинъ неустанно преслѣдовалъ природу Чацкаго, гдѣ бы она ни встрѣчалась на его журнальномъ пути. По поводу *Повѣстей и разсказовъ* Тургенева онъ написалъ своего рода сатиру на русскихъ людей, страдающихъ «недовольствомъ». Какое именно «недовольство» непріятно критику, мы узнаемъ вполне опредѣленно: недовольство «пошлостью» и «самодовольствомъ». Было бы, разумѣется, странно, если бы умный человѣкъ, даже не писатель, взялъ на себя крайне рискованную обязанность защищать эти распространеннѣйшія явленія русской дѣйствительности. Критикъ достаточно осмотрителенъ и политиченъ: онъ понятія пошлости и самодовольства украшаетъ *трудою* и *дѣятельностью*. Онъ смѣется надъ лишними людьми и идеалистами, бѣжавшими на корабляхъ при первомъ попутномъ вѣтрѣ въ чужія края изъ своего отечества. А здѣсь оставались именно подвижники труда, жизни, любви.

Конечно, при такой философской и общенравственной постановкѣ вопроса не можетъ быть сомнѣнія въ славѣ тружениковъ и позорѣ бѣглецовъ. «Все трудящееся, работающее было пошло», такъ восклицали тунейдцы, по свѣдѣніямъ критика,—и уже этимъ восклицаніемъ побуждали потомство увѣнчивать ихъ жертвъ вѣнками подвижничества и гражданскаго мужества.

Очень удачный оборотъ, но на горе критика, ни одного вопроса изъ исторіи общества нельзя рѣшать отвлеченно, путемъ идеальной морали и чистой идеологіи. Мы обязаны доподлинно знать, кто именно бѣжалъ и кто оставался, отъ чего и отъ кого бѣжали и что дѣлалось? Мы обязаны знать имена и личности и точно опредѣлить дѣла, тогда только возымѣемъ право подводить итоги и набрасывать широкія общія характеристики.

И попробуйте выполнить это нравственно-обязательное и логическое условіе, картина немедленно мѣняется. Ходить не слишкомъ далеко. Чацкій сѣлъ въ карету, а Фамусовъ сстался въ своемъ салонѣ: кто изъ нихъ дѣйствительно пошлъ, кто заслуживаетъ нашего сочувствія, какія дѣла любви совершены оставшимся и чѣмъ онъ можетъ посрамить бѣжавшаго? Намъ незачѣмъ идеализировать бѣглеца, согласимся даже, что и въ самомъ дѣлѣ нѣтъ

никой заслуги предъ отечествомъ сѣсть въ карету и отправиться на теплыя или кислыя воды. Но Молчалинъ, напримѣръ, несомнѣнно не убѣжить, напротивъ онъ пришелъ бы въ отчаяніе, если бы порядки въ московскихъ канцеляріяхъ и гостиныхъ стали другими. Неужели же поэтому онъ—соль русской земли? Пусть Чацкій не герой и не гражданинъ, но и Фамусовы съ Молчалиными еще менѣе герои и граждане. Правда, они работаютъ и даже трудятся, но гдѣ же развивается *жизнь* и торжествуетъ *любовь*, какъ плоды этихъ трудовъ? Не лучше ли было бы для жизни и любви, если бы Фамусовы совсѣмъ перестали подписывать бумаги, а Молчалины дѣлать доклады и награжденія брать?

Очевидно, критикъ перепуталъ, и притомъ намѣренно, совершенно различныя понятія и явленія. Вмѣсто того, чтобы осудить *форму* борьбы съ пошлостью, онъ осудилъ самую борьбу и отождествилъ завѣдуемую пошлость съ высокой *идеей* труда, онъ одновременно унизилъ людей благородныхъ стремленій, хотя и печальной воли, и возвысилъ дѣльцовъ и проходимцевъ, шарлатановъ и эгоистовъ. Вѣдь такіе именно труженики и заставляли лишнихъ людей бѣжать отъ родной жизни: такъ, по крайней мѣрѣ, представляла вопросъ литература, вызвавшая критика на разсужденія.

Она строго отличала разныя породы лишнихъ и разочарованныхъ, рядомъ съ Печоринными она спѣшила указать на Грушницкихъ и даже, можетъ быть, съ незаслуженной жестокостью казнила ихъ. И раньше критика понимала намѣренія художниковъ. Бѣлинскій, лично отнюдь не способный на безплодное, чисто-отрицательное человѣконенавистничество «героя нашего времени», понялъ органическую силу личности и распозналъ горечь и безысходность страданія въ надменномъ сердцѣ. Теперь критика не желаетъ знать ни тонкихъ оттѣнковъ, ни бьющихъ въ глаза отличій. Печоринъ просто соблазнитель, Довъ-Жуанъ, напыщенный бѣглець и туеядецъ. Онъ ничѣмъ не лучше любого кавалера въ военномъ мундирѣ, грозы наивныхъ провинціальныхъ дѣвицъ.

Этого мало. Безпощадныя чувства критика не останавливаются на герояхъ. Они посягаютъ на самихъ авторовъ и слава Лермонтова подвергается сильѣйшей опасности предъ именемъ Баратынскаго, изобразившаго просто пошлаго искателя приключеній. Наконецъ, критикъ дѣлаетъ послѣдній шагъ и говоритъ о ненавистномъ героѣ: «онъ могъ быть безнравственнымъ подл однимъ условіемъ: держать въ себѣ замкнутыми великія силы». Тогда



ему все прощалось. Если же не было подозрѣнія, что въ немъ заперты необыкновенныя силы—онъ пропащій человѣкъ: его забросаютъ грязью. Первый могъ ничего не дѣлать; а этотъ что ни дѣлай, какое благо ни приноси—онъ пошлый человѣкъ, въ немъ ничего нѣтъ идеальнаго».

Гдѣ, въ какомъ произведеніи русской литературы, критикъ нашелъ подобное *авторское* воззрѣніе? Чей великій поэтический талантъ уполномочилъ его на рѣшительный выводъ о совершенно извращенныхъ нравственныхъ представленіяхъ нашей литературы въ какую бы то ни было эпоху? Какой поэтъ заклеилъ презрѣніемъ даже благородныхъ и мужественныхъ дѣятелей только за то, что въ нихъ не подозрѣвались «замкнутыя великія силы»? Напротивъ, литература представляла богатую галерею комедіантовъ разочарованія и мнимыхъ идеальныхъ порывовъ, и если выражала свое сочувствіе лишнимъ людямъ, отнюдь не за ихъ тушеядство и не въ поношеніе чужому трудолюбію.

Дудышкинъ, естественно, ополчается и на критику, рѣшавшую иначе поставленный вопросъ. Писатель поумнѣвшихъ *Отечественныхъ Записокъ* дѣятельно опровергаетъ взгляды Бѣлинскаго и слѣдуетъ въ этомъ случаѣ популярнѣйшей модѣ описываемой эпохи. Въ теченіе пѣлаго ряда лѣтъ Бѣлинскій будто бѣльмо на глазу у русской критики. Официально о немъ писать запрещено, его преемники пойдутъ дальше запрещенія, они станутъ противъ него какъ разъ за тѣ самыя свойства его личности и таланта, какія могли бы заставить ихъ почувствовать хотя бы нѣкоторый конфузъ за излишнее усердіе.

Имъ ненавистна непримиримость съ дѣйствительностью. Человѣкъ долженъ уничтожить разногласіе мысли и жизни: это ихъ правило. Онъ «долженъ найти средства примиренія», иначе онъ никогда не станетъ «дѣйствительно мыслителемъ». Дудышкинъ припоминаетъ даже философію Карамзина, какъ учительницу чисто-русской мудрости, и стремится доказать, что Тургеневъ и творецъ *Исторіи Государства Россійскаго* народность и космополитизмъ понимаютъ совершенно одинаково. Критикъ усиливается другихъ пристегнуть къ возможно болѣе раннему періоду русской общественной мысли, потому что самъ отступаетъ далеко вспять сравнительно съ дѣятельностью своего предшественника. Сочиненіе Карамзина вдругъ опять превращается въ кодексъ національной гражданственности, а *положительное* творчество Пушкина, по

миѣнію критика, характеризуется пристрастіемъ поэта къ русскому древнему міру <sup>71)</sup>).

Развѣ всѣ эти идеи не гармоническое дополненіе къ манифесту Краевского и развѣ возможно было изъ этого лагеря ждать живого движенія и хотя бы даже вдумчивой и смѣлой литературной критики? Дудышкинъ, несомнѣнно, искрененъ, и эта искренность являлась для журнала еще болѣе злобѣющимъ признакомъ, чѣмъ политика издателя. Критику случалось даже ссылаться на Бѣлинскаго, все равно, какъ онъ могъ бы опереться на нѣкоторыя его статьи и въ вопросѣ о примиреніи съ дѣйствительностью. Но эти ссылки входили клинѣями въ разсужденія самого автора.

Мы, напримѣръ, читаемъ о необходимости *идеи* въ литературномъ произведеніи. Рѣчь очень настойчива и подкрѣпляется длинной выпиской изъ статьи Бѣлинскаго. Почему Бѣлинскій попалъ въ такую честь—понятно: статья, хотя бы и съ похвалою философіи Карамзина, пишется уже въ то время, когда нѣтъ настоящей нужды примиряться и укрощаться и имя стараго критика снова становится во главѣ литературнаго движенія. Въ другомъ, болѣе молодомъ и даровитомъ кружкѣ журналистовъ оно станетъ боевымъ кличемъ и знаменемъ. Не отставать же *Отечественнымъ Запискамъ*, имѣющимъ возможность вспоминая Бѣлинскаго, вспоминать себя самихъ.

И Дудышкинъ воюетъ съ теоріей чистаго искусства, довольно ловко отождествляетъ ее съ идеей индифферентизма въ вопросахъ жизни, съ шаткимъ представленіемъ о добрѣ и злѣ. Онъ негодуетъ на Писемскаго, не знающаго *цѣли* въ своемъ творчествѣ, и приходитъ къ заключенію: «художникъ безъ идеи быть не можетъ» <sup>72)</sup>.

Все это прекрасно, но вопросъ только намѣченъ. Идею понимать можно весьма разнообразно, слить ее просто съ извѣстнымъ смысломъ произведенія, т. е. опредѣленнымъ продуманнымъ содержаніемъ или придать ей общественную или политическую окраску. Трудно представить талантливаго писателя, сочиняющаго совершенно безсознательно, поющаго подобно птицѣ. *О такомъ* чистомъ искусствѣ не стоитъ и толковать. Также не заслуживаетъ особенной защиты и идея, понятая какъ очевидный *смыслъ* творчества. Дудышкинъ, повидимому, такъ и представляетъ идею.

<sup>71)</sup> *Отеч. Записки*. 1857, январь, стр. 5, 21, 25 etc.

<sup>72)</sup> *Иб.*, апрѣль, стр. 59, 61, 62 etc.

Онъ нашелъ ее въ раннихъ разсказахъ гр. Толстого. Она состоитъ въ преслѣдованіи всего мишурнаго, ложнаго, искусственнаго и въ прославленіи лучшихъ свойствъ простаго человѣка <sup>13)</sup>.

Въ высшей степени смутная идея! Она можетъ повести къ многочисленнымъ, трудно разрѣшимымъ недоразумѣніямъ. Гр. Толстой своей позднѣйшей дѣятельностью блистательно доказалъ, какъ можетъ быть капризно и нетерпимо понятіе о ложномъ и до какой степени искусственна идея правды и простоты. Давать такія общія истины въ полное распоряженіе чисто художественной натурѣ и ждать поучительныхъ нравственныхъ результатовъ отъ нея вдохновеній, значитъ не понимать и не цѣнить идеи. Критика мертвого періода съ неустаннымъ усердіемъ восхваляла независимость литературной дѣятельности гр. Толстого... На этомъ восхваленіи ей слѣдовало остановиться и не навязывать молодому писателю идейности, въ чемъ онъ былъ совершенно неповиненъ.

Быть идейнымъ художникомъ — значитъ быть художникомъ-мыслителемъ, а не только художественнымъ талантомъ, не лишеннымъ общечеловѣческаго здраваго смысла и логики. Такимъ идейнымъ писателемъ гр. Толстой никогда не былъ. Онъ могъ попеременно творить и резонерствовать, внушенія своей поэтической природы переиначивать съ чисто-разсудочными комментаріями и трактатами, т. е. дѣлать два совершенно различныхъ дѣла, отнюдь не представляющихъ цѣльнаго акта вдохновеннаго творчества. Но мыслить образами ему не дано, такъ же какъ и мыслить идеями онъ всегда могъ только въ весьма слабой, поверхностной и крайне запутанной формѣ. Въ чисто-отвлеченномъ мышленіи порадоксальность подчасъ выкупаетъ основную немощь и смуту мысли, въ художественномъ произведеніи — непримиримый разладъ между идеологіей и творчествомъ до боли мечется въ глаза.

Но Дудышкинъ, ссылаясь даже на Бѣлинскаго и унижая Писемскаго, все-таки открылъ въ гр. Толстомъ идейнаго художника. Зато въ Тургеневѣ онъ усмотрѣлъ почти исключительно мыслителя только «съ инстинктомъ поэтической красоты» и «художественную отдѣлку» повѣстей призналъ «самой слабой стороной» тургеневскаго таланта...

Можно ли до такой степени страдать критическимъ дальтонизмомъ? Отъ другого современнаго критика мы услышимъ нѣчто

<sup>13)</sup> Отеч. Зап. 1855 г., декабрь.

совершенно обратное о Тургеневѣ, какъ о поэтѣ по преимуществу. Краснорѣчивый примѣръ смуты, царствовавшей даже въ руководящихъ сужденіяхъ критики!

Овцы будто очутились безъ пастыря и не знали, по какому направленію идти. Имѣя предъ глазами текстъ учителя, они не понимали истиннаго смысла словъ. Произнося приговоры надъ самыми ясными и крупными талантами эпохи, они сбивались и противорѣчили себѣ въ нагляднѣйшихъ фактахъ.

Смута шла еще дальше.

Взгляды критиковъ съ теченіемъ времени, нельзя сказать мѣнялись, а умножались чуждыми идеями, раньше отвергнутыми и осужденными. Происходило это независимо отъ личнаго идейнаго развитія критиковъ, а исключительно подъ вліяніями внѣшней атмосферы. Мы могли замѣтить подобное явленіе въ статьяхъ Дудышкина, еще ярче оно скажется въ многолѣтней и очень плодотворной критикѣ Дружинина. И показать его можно вовсе не на какихъ-либо тонкостяхъ эстетики, а на судьбѣ самого простого вопроса о значеніи и талантѣ Бѣлинскаго.

## IX.

Дружининъ одинъ изъ баловней писательскаго счастья. Правда, потомство имъ мало интересуется и восьмитомное собраніе сочиненій когда-то популярнаго и разносторонняго таланта остается въ пренебреженіи даже у самыхъ просвѣщенныхъ русскихъ читателей.

На несправедливость такого отношенія нельзя пожаловаться. Дружининъ врядъ ли можетъ научить современную публику какимъ-либо плодотворнымъ истинамъ, не доставить и художественнаго удовольствія.

Совершенно иное положеніе занималъ Дружининъ полвѣка тому назадъ.

Мы знаемъ отзывы Бѣлинскаго; не менѣе сочувственно встрѣтилъ будущаго критика и славянофильскій лагерь. Григорьевъ, звѣзда новаго славянофильства, съ особеннымъ удовольствіемъ и неоднократно говоритъ о Дружининѣ. Онъ не раздѣляетъ слишкомъ благосклонныхъ чувствъ Бѣлинскаго къ *Полюнкѣ Саксъ*, но зато онъ безпрестанно воздаетъ хвалы Дружинину-критику.

Дружининъ — «самый образованный и самый умный изъ нашихъ критиковъ», онъ одаренъ чуткостью и тонкостью, онъ

авторъ лучшихъ статей о Пушкинѣ «за послѣднее время», т. е. за пятидесятыя годы, онъ написалъ блестящую статью о Тургеневѣ <sup>74)</sup>).

Другой критикъ москвитянинской арміи Алмазовъ возмѣстилъ суровость своего товарища и восхвалялъ Дружинина, какъ автора романовъ; онъ большой знатокъ человѣческаго сердца, онъ перечувствовалъ и много думалъ о чувствахъ, тонко понимаетъ любовь и дружбу <sup>75)</sup>).

Очевидно, нашъ писатель долженъ былъ считать свою карьеру блестящей, тѣмъ болѣе, что онъ смотрѣлъ на нее, какъ на любительское поприще.

По происхожденію сынъ важнаго чиновника, по образованію — воспитанникъ пажескаго корпуса, по службѣ — лейбъ-гвардейскій офицеръ, потомъ чиновникъ военнаго министерства, — Дружинина, казалось, внѣшняя судьба удаляетъ отъ литературы <sup>76)</sup>). Но врожденная наклонность создала изъ него сначала беллетриста, потомъ публициста и критика, превратила его даже въ редактора *Библиотеки для Чтенія*.

Способности, конечно, весьма важный залогъ для дѣятельности писателя, но онѣ далеко не исчерпываютъ вопроса, особенно въ литературѣ новаго времени, и именно въ публицистической. Чистолитературное дарованіе, т. е. хорошій стиль, извѣстная наблюдательность, бойкость ума могутъ создать множество разнообразныхъ писательскихъ ступеней, отъ уличнаго фельетониста до полноправнаго руководителя общества. Если для поэтическаго таланта безусловно необходимо нравственное содержаніе, а для художественнаго генія — чуткость къ явленіямъ общечеловѣческой и общественной жизни, публицистъ безъ руководящаго строго обдуманнаго и религіозно-воспринятаго принципа скорѣе отрицательное явленіе, чѣмъ дѣйствительное пріобрѣтеніе для какой бы то ни было бѣдной литературы. Предъ внѣшнимъ міромъ, предъ всей окружающей дѣйствительностью онъ долженъ явиться съ богатымъ личнымъ нравственнымъ міромъ, съ неограниченно отзывчивой душой и мучительно вдумчивой мыслью. Пусть каж-

<sup>74)</sup> Григорьевъ. *Мои литературныя и нравственныя скитанчества. Эпоха*, 1864, май, стр. 150. *Сочиненія*, стр. 60, 238, 307.

<sup>75)</sup> *Сочиненія*. М. 1892. III, 645.

<sup>76)</sup> Біографія Дружинина у Венгерова. *Критико-біографическій словарь*, томъ V, Спб. 1897. Кирпичниковъ. *Очерки по исторіи новой русской литературы*. Спб. 1896.

дый фактъ встрѣтить въ немъ отвѣтный откликъ, пусть одинаково и мелкія и крупныя явленія жизни вызываютъ въ немъ безкорыстный процессъ идей, направленный къ одной истинѣ и справедливости. Это будетъ процессъ неустаннаго развитія ума и нравственнаго чувства, выработка зрѣлой энергіи и умѣнья вносить въ жизнь опыты и завоеванія своей личности.

Съ какими же силами и задачами подошелъ будущій критикъ къ тяжелой русской дѣйствительности своего времени?

Онъ началъ повѣстью и имѣлъ блестящій успѣхъ, преимущественно среди дамской публики. Очевидецъ описываетъ довольно картинно положеніе писателя на зарѣ его славы.

«Очень юный гвардейскій офицерикъ, смазливый, деликатный съ вѣчно опущенными глазами, вѣчно застѣчивый и пугливый... Дружинину открыты были двери всѣхъ гостиныхъ, салоновъ и будуаровъ... Каждая дама того времени считала за счастье увидѣть Дружинина, хотя украдкой взглянуть на этого милаго человѣка, дорогаго адвоката женскаго сердца, а познакомиться съ нимъ, съ авторомъ *Полиньки*, для каждой молодой дамы и дѣвицы было верхомъ блаженства» <sup>77)</sup>).

Предсказаніе Бѣлинскаго, слѣдовательно, исполнялось. Но всякій успѣхъ налагаетъ на своего героя и свою жертву, извѣстную отвѣтственность. Дружининъ, по слѣдамъ Жоржъ Зандъ, очень трогательно защищалъ права женскаго сердца, рисовалъ мужа, идеальнаго джентльмена, выдающаго собственную жену замужъ за любимаго ею человѣка. Полинька Саксъ являлась, слѣдовательно, новой героиней, но какъ большинство героинь этой породы, рѣшительно не желала знать идейной и философской основы своего героизма. Ея мужъ, страдающій отъ направленія жены, напротивъ, поклонникъ французской романистки. Онъ желаетъ при помощи романовъ Жоржъ Зандъ просвѣтить Полиньку. Но она «зѣвала, зѣвала и бросила книги съ отвращеніемъ» <sup>78)</sup>).

Петербургскимъ дамамъ естественно было сочувствовать даже такой представительницѣ эмансипаціи, но для насъ любопытны чувства автора. Онъ явный почитатель «генія» Жоржъ Зандъ и въ то же время выбираетъ въ героини своего романа ничтожѣйшее въ нравственномъ отношеніи существо, окружая его всѣми узорами обязательной кавалерской любезности. Очевидно, идемъ

<sup>77)</sup> А. В. Дружининъ. Изъ воспоминаній стараго журналиста А. Старчевскаго. *Наблюдатель*. 1885, апрѣль, стр. 115.

<sup>78)</sup> *Сочиненія*. Спб. 1865, I, 5.

Жоржъ Занда въ ихъ серьезномъ общественномъ значеніи не занимали русскаго беллетриста и онъ слѣдовалъ гораздо больше литературной модѣ, торжествующему современному направленію критики, чѣмъ личному убѣжденію. Плохой признакъ для будущаго: чисто-литературное увлеченіе такъ же легко можетъ быть забыто, какъ и усвоено.

Свѣтскій успѣхъ съ самаго начала наложилъ на новаго беллетриста своего рода узы. Онъ непремѣнно долженъ быть *интереснымъ*, приспосабливать свои творенія для дамскаго чтенія, возможно чаще острить, блистать разнообразіемъ, оригинальностью, переполнять свои страницы анекдотами, каламбурами, вообще салонными шалостями, все равно, о чемъ бы ни шла рѣчь и въ какой бы формѣ ни излагались чувства мысли,—въ формѣ ли веселаго фельетона или критической статьи. Авторъ долженъ правиться и развлекать: иначе дамы перестанутъ открывать ему двери салоновъ и будуаровъ.

Русская литература уже пережила однажды періодъ подобной кавалерской, беззаботно-порхающей словесности. Карамзинъ—журналистъ, единственной цѣлью своей полагалъ «занимать публику пріятнымъ образомъ, не оскорбляя вкуса ни грубымъ невѣжествомъ, ни варварскимъ слогомъ». Совершенно такой же идеалъ намѣтилъ и авторъ *Полины Саксъ*. Это—воскрешеніе карамзинской школы со всей ея беззаботностью на счетъ просвѣтительныхъ задачъ литературы, съ ея чувствительной угодливостью предъ праздными и умственно-неповоротливыми сускрибентами, съ ея пристрастіемъ къ пустякамъ и курьезамъ. Это одна сплошная «смѣсь» и одинъ неограниченно царствующій фельетонъ съ придуманно-пестрой и преднамѣренно-забавной болтовней. Сходство съ допотопной салонной словесностью шло еще дальше, до увлеченій Дружинина западной литературой. Онъ, конечно, зналъ неизмѣримо больше Карамзина, усердно читалъ журналы и книги на англійскомъ языкѣ, составилъ рядъ до сихъ поръ полезныхъ компилляцій объ англійскихъ писателяхъ.

Но въ общемъ его и здѣсь больше тянуло къ какой-нибудь достопримѣчательности, мѣщански поучительной и любопытной чертѣ, чѣмъ къ глубокому культурному и общественному смыслу изображаемыхъ лицъ и фактовъ.

Современникъ очень зло называетъ Дружинина пажомъ—всюду, въ обществѣ, въ кругу дамъ, въ литературѣ <sup>79)</sup>. Это, можетъ быть,

<sup>79)</sup> *Наблюдатель*. *Гл.*, стр. 119.

не совѣмъ заслуженно, но что Дружининъ не былъ писателемъ по натурѣ и по всему складу своего ума, не можетъ быть сомнѣніемъ. Для него существовавшіе интересы литературы были довольно безразличны, онъ просто не сознавалъ ихъ, не чувствовалъ ни достоинства, ни позора того самаго поприща, гдѣ подписывался столько лѣтъ. Онъ до конца оставался литераторомъ *in partibus infidelium*, весело пописывая и почитывая гдѣ угодно и при какихъ бы то ни было обстоятельствахъ. Мало того. Случались обстоятельства, когда именно Дружининъ оказывался «драгоценнѣйшимъ сотрудникомъ» и даже въ такихъ журналахъ, какъ *Современникъ*.

Незамѣнимость будущаго критика обнаружилась какъ разъ въ «эпоху цензурнаго террора». Какимъ образомъ это было открыто, намъ рассказываетъ одинъ изъ близкихъ свидѣтелей всей дружининской дѣятельности.

Сначала онъ говоритъ трагически о «громахъ» сорокъ восьмого года, грянувшихъ надъ литературой и просвѣщеніемъ, потомъ описываетъ растерянность литераторовъ и просвѣтителей и изображаетъ, наконецъ, оригинальное общество, сумѣвшее спасти хорошее настроеніе духа подъ громомъ и бурями. Даже невзгода особенно поощрила нашихъ героевъ и они принялись жить приговаривая среди всеобщаго болѣзненнаго стона или мрачнаго молчанія.

Кружокъ молодыхъ людей учредилъ вѣчто въ родѣ маленькой домашней академіи въ стилѣ Возрожденія. Бесѣды отличались больше чѣмъ непринужденностью и могли часто соперничать съ новеллами Декамерона. Члены академіи наперерывъ щеголяли другъ передъ другомъ пародіями, стихотвореніями и прозаическими шутками, «уморительными» анекдотами. Уморительность, разумеется, создавалась пикантнымъ острословіемъ и соблазнительнымъ букетомъ юнаго вдохновенія. Скоро составила обширная литература, получившая въ кружкѣ наименованіе *Чернокнижія*. Авторы задумали связать плоды своего творчества одной нитью и измыслили похождения праздныхъ чудаковъ, шатающихся по Петербургу и переживающихъ разныя веселыя приключенія. Академія не страдала честолюбіемъ и не намѣрена была предавать гласности свои труды.

Иначе рѣшилъ Дружининъ.

Упражненія «чернокнижниковъ» онъ перенесъ на страницы *Современника*. Самъ ли онъ додумался до этого рѣшенія или сообщая съ Панаевымъ—издателемъ журнала и участникомъ «чернокнижія»—вопросъ не важный, но въ высшей степени важно вни-



маніе, оказанное первостепеннымъ и передовымъ журналомъ скарроновскому творчеству петербургскихъ юношей. Некрасовъ также принималъ усердное участіе въ фельетонахъ, вносилъ свою лепту и извѣстный намъ Милютинъ. Сотрудничество это касалось, по крайней мѣрѣ, трехъ первыхъ главъ *Сентиментальнаго путешествія* Ивана Чернокнижникова по петербургскимъ дачамъ, и скоро, надо думать, прекратилось <sup>80)</sup>. Другіе члены кружка энергично стали протестовать противъ появленія въ печати такого рода статей, но Дружининъ и *Современникъ* полагали иначе, и *Путешествіе* тянулось цѣлый годъ. Впослѣдствіи въ другихъ изданияхъ оно смѣнилось похождениями «Петербургскаго туриста» — «увеселительными» или даже «увеселительно-философскими очерками».

Ничего, конечно, нельзя было бы возразить противъ фельетоннаго отдѣла журнала. Вопросъ не въ фельетонѣ и не въ остроумныхъ настроеніяхъ автора, а въ предметахъ его остроумія и въ его авторскихъ цѣляхъ. Чернокнижниковъ недаромъ вызвалъ протестъ даже у поставщиковъ веселаго матеріала: его рассказы о «прекрасной шалуниѣ съ сигарой въ пусовыхъ губкахъ», о знакомствѣ нѣкогого петербургскаго обывателя съ «дамами-камеіями» и живописное описаніе панны Юзи, мадамъ «или, быть можетъ», мадемуазель Эрнестинъ, врядъ ли служили украшеніемъ литературы <sup>81)</sup>. Фельетонистъ вполне окровенно потѣшалъ ту самую публику, какую въ жизни интересовали «жестокіе красавцы» и «иностранныя пѣвицы», и продолжалъ свое дѣло даже въ началѣ шестидесятыхъ годовъ.

Фактъ вполне краснорѣчивый. Онъ неразрывно связанъ съ содержаніемъ всей литературности Дружинина. Писатель приступилъ къ ней вовсе не съ литературными, еще менѣе идейными задачами. Его чрезвычайно свободные переходы изъ одного журнала въ другой, изъ *Современника* Некрасова въ *Библиотеку для Чтенія* Сенковского свидѣтельствовали въ лучшемъ случаѣ о дилеттантизмѣ, если просто не о ремесленничествѣ. Дружининъ также будетъ относиться и къ своимъ мыслямъ и взглядамъ, будетъ исправлять ихъ, раскаяваться и совершать этотъ процессъ будто съ квартирой, костюмомъ или обѣденнымъ блюдомъ. Но и здѣсь не лишена интереса одна черта. Пережѣна и раскаяніе потре-

<sup>80)</sup> Лонгиновъ. *Вмѣсто предисловія* къ VIII тому *Сочиненій* Дружинина.

<sup>81)</sup> *Сочиненія*. VIII, 500, 511 etc.

буются относительно, напримеръ, Бѣлинскаго, но предъ лицомъ Сенковского Дружининъ останется твердъ и вѣренъ себѣ.

Редакторъ *Библиотеки для Чтенія* сохранить свою внушительность и свои достоинства при всяческихъ обстоятельствахъ, также какъ и личное уваженіе нашего критика. О Бѣлинскомъ будутъ высказаны весьма настойчивыя отрицательныя сужденія въ періодъ, неблагоприятный для памяти критика, и будутъ замѣнены другими въ болѣе счастливыя времена. Достаточно было бы одного этого приключенія, чтобы освѣтить истиннымъ свѣтомъ глубину и принципиальность идей Дружинина.

Но онъ, по крайней мѣрѣ, въ теченіе семи лѣтъ занималъ мѣсто самаго авторитетнаго критика въ западническомъ лагерѣ и, мы видѣли, встрѣчалъ одобренія даже у словянофиловъ. Мы обязаны изслѣдовать основы этой авторитетности; она—самое яркое явленіе въ исторіи русской передовой критики за всю промежуточную эпоху отъ смерти Бѣлинскаго до появленія людей шестидесятыхъ годовъ.

## X.

Дружининъ являлся драгоценнымъ человекомъ при извѣстныхъ условіяхъ литературы не только въ качествѣ увеселителя публики, но преимущественно какъ чрезвычайно осторожный и предупредительный литераторъ. Онъ дрожалъ предъ цензурой, готовъ былъ перечеркивать свои статьи при малѣйшемъ подозрѣніи насчетъ цензорскихъ неудовольствій, даже лично просить цензора «просмотрѣть построже» особенно, по его мнѣнію, сомнительныя мѣста въ его писаніяхъ <sup>82)</sup>).

Такая предупредительность могла бы показаться невѣроятной, плодомъ чужого злостнаго вымысла. Но, къ сожалѣнію, она не противорѣчитъ прямымъ заявленіямъ Дружинина и особенно настроеніямъ, господствующимъ въ его статьяхъ.

Эти статьи—*Письма многороднаго подписчика*—печатались въ «Современникѣ» съ 1848 года по 1854-й, за исключеніемъ послѣдняго мѣсяца 1851 года и всего 1852, когда Дружининъ перенесъ ихъ въ *Библиотеку для Чтенія*.

Съ перваго же *Письма* авторъ поспѣшилъ заявить публикѣ о своихъ писательскихъ вкусахъ. Онъ является предъ ней литераторомъ вполнѣ довольнымъ, веселымъ и беззаботнымъ. Онъ радъ,

<sup>82)</sup> *Наблюдатель*. 1885, іюнь, стр. 260.

что полемика, недавно еще, наполнявшая русскую печать, прекратилась, что теперь публика может рассчитывать на один лишь новости и живой фельетонъ. Самъ критикъ въ литературѣ любитъ изображеніе настоящей петербургской жизни—не унылой и бѣдной, а шумной, веселой и блестящей, въ повѣстяхъ изъ провинціальной жизни ищетъ идиллій, «сцену изъ жизни добраго и веселаго помѣщика». Въ жизни все такъ интересно, за исключеніемъ развѣ только «знаменитыхъ писателей»: читать ихъ «какъ-то утомительно», да еще думать «какъ-то не хочется». А все прочее—чрезвычайно забавно, и его надо искать всѣми силами всюду: въ литературѣ и въ дѣйствительности <sup>83)</sup>.

И горе журналу и автору, поставляющимъ этотъ матеріалъ въ недостаточномъ количествѣ.

Въ такой-то книжкѣ такого-то журнала «мало забавнаго», у русскихъ авторовъ «напрасно ищемъ мы какихъ-нибудь остроумныхъ замѣтокъ», «бойкой выходки». Все это плохая литература.

Она не удовлетворяетъ своему назначенію. Она должна «обильно» доставлять намъ «спокойствіе» и «тихія радости», отрѣшати насъ «отъ плачевной дѣйствительности», создавать произведенія на образецъ гѣтевскихъ—исполненныя «невозмутимаго, неподражаемаго спокойствія», переносить людей, смирившихся передъ уроками Провидѣнія, въ невозмутимую область изящнаго. Пусть кругомъ парить какая угодно смута, пусть отечество дрожитъ отъ грозныхъ опасностей, идеаломъ останется все-таки Гете съ его полнымъ, совершеннымъ отрѣшеніемъ отъ «плачевной дѣйствительности». Русской словесности, по мнѣнію критика, предстоитъ блестящій путь именно въ этомъ направленіи къ «ароматическимъ цвѣтамъ» <sup>84)</sup>.

Она развивается среди спокойствія и ея современное положеніе внушаетъ критику «сладкую увѣренность» въ ея будущемъ. Только пусть она окончательно усвоитъ два правила: успокоиться отъ внутреннихъ раздоровъ и сосредоточить свое вниманіе исключительно на прелестяхъ родной жизни и на добродѣтеляхъ русскихъ людей.

Миръ, неограниченное благоволеніе и забавное или усади-тельное вдохновеніе—вотъ предѣлы національнаго русскаго творчества.

<sup>83)</sup> *Сочиненія*. VI, 8, 13, 17, 19.

<sup>84)</sup> *Иб.*, стр. 78, 106, 116, 117, 118.

<sup>85)</sup> *Иб.*, стр. 86, 137, 466, 583.

И авторъ не устаетъ убѣждать русскихъ журналистовъ—оставить свою прежнюю исключительность, изгнаться отъ запальчивости и нетерпимости, вообще изгнать всякую полемику.

Она прежде всего скучна, совершенно бесполезна, «тишина и согласие» гораздо пріятнѣе и «иногородный подписчикъ» не можетъ безъ веселаго смѣха вспомнить время «забавной нетерпимости» журналовъ,—*Отечественныхъ Записокъ, Современника, Москвитянина*. «Къ крайнему удовольствію» автора этотъ недугъ сталъ исчезать, и отнынѣ журналисты и редакторы будутъ беречь свое здоровье и заботиться о «веселости духа» <sup>86)</sup>.

А путей къ этой цѣли множество. Въ мірѣ дѣйствительности множество пріятностей и неисчерпаемыхъ источниковъ удовольствія, напримѣръ, женщины. Если русскому публицисту недоступны общественные вопросы и даже разговоръ о художественной литературѣ подъ запретомъ, онъ свою статью можетъ превратить въ психологическое изслѣдованіе женскаго сердца и въ любовное объясненіе предъ прекраснымъ поломъ. Сколько чувства, пафоса и познанія жизни можетъ обнаружить онъ въ столь благодарной и поучительной роли! Одно перечисленіе женскихъ добродѣтелей какой эффектъ можетъ представить, въ особенности, если сравнить ихъ съ пороками мужчинъ! Это будетъ чисто-беллетристическая страница, не вошедшая въ чувствительную повѣсть и читательницы будутъ неотразимо завоеваны новымъ жанромъ литературной критики. Она вполне замѣнитъ «десертную часть въ журналахъ», по наблюденіямъ автора, пришедшую за послѣднее время въ упадокъ. Это—«смѣсь», когда-то великолѣпная, теперь скучная <sup>87)</sup>.

Дружининъ поддержитъ славу старинныхъ поваровъ. У него имѣется одно блюдо, до чрезвычайности разнообразное. При искусномъ приготовленіи оно можетъ удовлетворить самый прихотливый вкусъ и оказаться неистощимымъ источникомъ веселья. Это—анекдотъ, по истинѣ всецѣлительное средство отъ скуки и непріятныхъ впечатлѣній. И нашъ критикъ широко воспользуется имъ, такъ, какъ еще не пользовались до него призванные развлекатели русской публики — издатели *Сына Отечества, Сѣверной Пчелы, Библіотеки для Чтенія*. Дружининъ по всей справедливости можетъ быть названъ царемъ анекдота, специалистомъ дикихъ винокъ и курьезовъ. Если бы возможно, онъ всѣ свои статьи

<sup>86)</sup> *Ib.*, стр. 58, 59, 390.

<sup>87)</sup> *Ib.*, стр. 139, 191, 195, 200, 730, 243, 293, 129, 185.

превращалъ бы въ вереницы анекдотовъ, біографіи писателей составлялъ бы изъ анекдотовъ, произведенія ихъ опѣннвалъ бы при помощи курьезныхъ цитатъ и забавныхъ эпизодовъ. Но, къ сожалѣнію, о такомъ счастьѣ доступно только мечтать! Даже при громадномъ количествѣ десертныхъ эпизодовъ, въ жизни и, слѣдовательно, въ литературѣ, все-таки остается много слишкомъ серьезнаго и даже грустнаго.

*Письма* Дружинина безпрестанно открываются анекдотами, часто даже несвязанными съ темой автора. Онъ болтаетъ ради болтовни и только спустя долгое время приходитъ въ себя и принимается говорить о главномъ предметѣ. Но ему не всегда удается выдержать тонъ и онъ на каждомъ шагу готовъ впасть въ анекдотическій гипнозъ.

Обыкновенная программа критической статьи такая: сначала цѣлый залпъ *диковинокъ*, — исторіи про *одного* ученаго, про *одного* англичанина, про *одного* пріятеля, про великую цѣвицу, анекдотъ о благодарной шукѣ, «свирѣпое» приключеніе молодого графа де Б., «чрезвычайно милый» рассказъ, слышанный отъ одного англичанина, «милая и даже драматическая исторія» про русскаго вельможу... Когда десертный столъ, по соображенію милаго историка, достаточно сервированъ, онъ заявляетъ: «теперь потолкуемъ объ *Отечественныхъ Запискахъ*». Но пусть читатель не пугается и не воображаетъ, будто сейчасъ и начнется разговоръ о скучныхъ матеріяхъ. Нѣтъ. У автора еще обильный запасъ личныхъ дѣтскихъ и всякихъ другихъ воспоминаній. У него былъ «англійскій учитель, джентльменъ не совсѣмъ изящной, но тѣмъ не менѣе интересной наружности, англичанинъ *rig sang*, длинный, тощій, рижеватый, съ зубами непомѣрной длины». Потомъ авторъ когда-то въ молодости жила въ маленькихъ дешевыхъ комнатахъ и въ семнадцать только лѣтъ въ первый разъ услышалъ *Донъ Жуана*. Все это чрезвычайно забавно и должно найти свое мѣсто на страницахъ *Современника* <sup>88)</sup>.

Но, наконецъ, пора же дѣйствительно потолковать объ *Отечественныхъ Запискахъ*, о *Москвитяинѣ*, о *Сынѣ Отечества*, о *Библіотекѣ для Чтенія*. И толки начинаются по слѣдующей системѣ.

Помимо современныхъ журналовъ, авторъ читаетъ еще съ большимъ удовольствіемъ и пользою всѣ забытыя сочиненія. Это очень странно для такого любителя веселья и разнообразія. Но дѣло

<sup>88)</sup> *Иб.*, стр. 33, 357.

совершенно очевидное. Авторъ только что передалъ своимъ читателямъ любопытную исторію объ итальянской торговкѣ и о Данте, умилился до глубины души и сдѣлалъ принципиальный выводъ: «Отыскивать въ старыхъ книгахъ подобные рассказы, пояснять ими жизнь и образъ мыслей любимыхъ своихъ писателей, — это наслажденіе высокое, которое, право, стоитъ удовольствія написать повѣсть съ отчаянно трагическимъ окончаніемъ»<sup>89</sup>).

Разумѣется! И авторъ будетъ продолжать поиски за такими же удовольствіями и въ новыхъ книгахъ. Онъ готовъ удалиться отъ своего предмета «на страшное разстояніе», лишь бы поймать анекдотецъ и исторію, хотя бы даже о совершенно нелитературныхъ привередливостяхъ Потемкина и водевильныхъ эксцентричностяхъ англійскаго лорда. Анекдотъ выполняетъ рѣшительно всѣ обязанности, возлагаемыя литературой на критика: онъ и исторія, и эстетика, и философія. Онъ забавляетъ, но онъ же и доказываетъ. Предъ критикомъ всегда развернуты сборники веселыхъ рассказовъ и разныхъ «чертъ» изъ жизни знаменитыхъ людей, и онъ беретъ отсюда ежемѣсячныя порціи для русской публики.

Естественно, столь тонкій гастрономъ и кондитеръ долженъ питать профессиональное сочувствіе уже прямо къ кулинарному искусству. Ни съ того, ни съ сего, просто по влеченію сердца и игрѣ ума онъ сообщитъ читателямъ подробный рецептъ испанскаго блюда, ольи подриды, обстоятельно опишетъ самый процессъ приготовленія, просмакуетъ вкусъ и только тогда воскликнетъ: «однако пора обратиться къ журнальнымъ новостямъ».

Здѣсь имѣется особенный отдѣлъ, заслуживающій глубокаго вниманія нашего обозрѣвателя, — именно отдѣлъ *модъ*. Критикъ изслѣдуетъ его съ чисто научной основательностью, потому что онъ любитъ «псматриваться и вдумываться во все микроскопическое». Движимый этимъ вкусомъ, онъ очень часто и охотно возвращается къ идеально-микроскопическому вопросу, къ такъ-называемой «механической части нашихъ періодическихъ изданій».

Это означаетъ — критика опечатокъ и бумаги. Авторъ, пожалуй, и согласенъ, что подобные пустяки не стоятъ шума, но съ сердцемъ и умомъ ничего не подѣлаешь: приходится собирать диковинки и въ этой области. Напримѣръ, такой приговоръ надъ журналомъ положительно необходимъ: «Книжка счита весьма худо,

<sup>89</sup>) *Иб.*, стр. 457, 286, 472, 313, 281.

обертка дурно пригнана и слишкомъ мягка, отчего скоро мнется и представляетъ видъ довольно не изящный». Кроме того, можно припомнить поучительную исторію объ англичанинѣ и французѣ, взапуски отыскивавшихъ опечатки въ газетахъ изъ патристическаго самолюбія. Въ англійскомъ изданіи не оказалось ни одной опечатки, а во французскомъ—нѣсколько, между прочимъ, точка съ запятой не на своемъ мѣстѣ.

Впрочемъ, журналы сами даютъ обильную пищу остроумію критика: они безпрестанно заводятъ междоусобные счета изъ-за «механической части», анализируютъ бумагу другъ у друга, ловятъ типографскіе промахи и авторскія описки, уснащаютъ свои открытія шутливыми примѣчаніями и даже стихами. Очевидно, таково направленіе вѣка, и не завѣдомо-милому фельетонисту идти противъ всеобщаго вкуса <sup>90)</sup>.

Легко судить, въ чемъ будутъ состоять собственно литературныя разсужденія Дружинина, какое знамя водрузить онъ на томъ журнальномъ оплотѣ, гдѣ застрѣльщикомъ и вождемъ былъ такъ еще недавно Бѣлинскій. Разумѣется, его преемнику придется возможно скорѣе разорвать всѣ нравственныя и идейныя связи съ прошлымъ и занять независимую позицію. Дружининъ отлично понималъ свое положеніе и во всеоружіи анекдотовъ и свирѣпыхъ исторій направился вялыми, будто танцующими, но вполне опредѣленными шагами противъ «забавной нетерпимости» и серьезности своего предшественника.

## XI.

Гоголь и Бѣлинскій—два принципиальныхъ противника передоваго, но въ сильной степени остепенившагося журнала. Разсчитъ съ Гоголемъ чрезвычайно прстѣ и нагляднѣ. Новое міросозерпаніе *Современника* требуетъ во что бы то ни стало веселья и смѣха, близко интересуется вопросами: «возможенъ ли русскій водевиль? Забавенъ ли русскій водевиль?» Заботится о статьяхъ, «нужныхъ для свѣтскаго человѣка», не желаетъ знать иныхъ героевъ, кромѣ здоровыхъ, жизнерадостныхъ, влюбленныхъ молодыхъ людей и проектируетъ даже двѣ специальныхъ науки—«разговора» и «супружеской жизни», исключительно для мужчинъ. Ясно, кто долженъ пасть жертвой столь утонченнаго и культурнаго направленія.

<sup>90)</sup> *Ib.*, стр. 300, 231, 180, 69.

Дружининъ терпѣть не можетъ повѣстей, гдѣ завязка происходитъ на чердакѣ, а не въ красивой комнатѣ, и готовъ пропѣть восторженный гимнъ скорѣе рыцарственной правдивости, благородству, высокой поэтической грусти Шатобріана—автора *Замогильныхъ записокъ*, чѣмъ признать поэзію въ гоголевской школѣ. Да, русскій критикъ подвергнется чисто-психопатическому головокруженію отъ дерзкой шумихи пустозвонныхъ фразъ и театральныхъ бутафорскихъ эффектовъ, но онъ не усмотритъ въ русскомъ писателѣ ни таланта, ни правдивости, разъ онъ не живописуетъ изящныхъ любовныхъ томленій, не слагаетъ романсовъ въ честь женщинъ и не освѣщаетъ горизонта русской жизни незаходящимъ солнцемъ всеобщаго благополучія и довольства? Редакція *Современника*, повидимому, еще сдерживаетъ порывы своего критика, и онъ больше сосредоточивается на приготовленіи собственного десерта, чѣмъ на уничтоженіи чужихъ грубыхъ блюдъ. Но стоитъ нашему эстетика получить полную свободу, и онъ всѣ свои маленькія средстваца, шпильки и булавы направитъ на враговъ все-россійскаго веселья.

Общій характеръ *Писемъ Дружинина въ Библиотекъ для Чтенія* тотъ же, что и въ *Современникѣ*, но нѣкоторыя подробности въ высшей степени замѣчательны. Онѣ, прежде всего, рисуютъ эстетическія воззрѣнія критика, а потомъ не оставляютъ въ насъ ни малѣйшаго сомнѣнія насчетъ нравственнаго достоинства его личности.

Въ *Современникѣ* «иногороднаго подписчика» пугала тѣнь Бѣлинскаго и онъ не могъ развернуться во всю ширь тамъ, гдѣ еще вѣялъ духъ великаго гонителя литературной пошлости и шутовства. Но Дружининъ попадаетъ въ журналъ, искони ненавидимый Бѣлинскому, поступаетъ подъ верховное руководство того самаго Барона Брамбеуса, котораго Бѣлинскій считалъ одной изъ тлетворнѣйшихъ язвъ русской журналистики, становится первымъ сотрудникомъ органа, въ былыя времена заклеяннаго наименованіями лавочки и аферы.

Одинъ переходъ уже достаточно краснорѣчивъ, тѣмъ болѣе, что совершилъ его Дружининъ безъ всякихъ затрудненій. Его «перетянули» изъ *Современника* при помощи дамской политики, предложили какой угодно отдѣлъ въ журналъ и онъ переѣхалъ въ него со всѣмъ багажомъ своихъ анекдотовъ и старыхъ книгъ. Привезъ онъ и еще кое-что, именно чего особенно могъ требовать могущественный баронъ,—привезъ открытую вражду къ Бѣлинскому и къ натуральной школѣ. Измѣны убѣжденіямъ здѣсь,



разумѣтся, не было, по очень простой причинѣ, за неимѣніемъ самыхъ убѣждений. Но усердіе, подогрѣтое вѣщными обстоятельствами, несомнѣнно.

Одна изъ благодарныхъ темъ для остроумія Дружинина—гоголевскій смѣхъ сквозь слезы. Критикъ, конечно, не смѣетъ возобновить штучки барона Брамбеуса на счетъ грязнаго хохлацкаго жанра великаго художника, но онъ не откажетъ себѣ въ удовольствіи слегка зацѣпить непріятнаго писателя, хихикнуть надъ незримыми міру слезами и заявить уже развеселившемуся читателю, что эти слезы «даже у автора *Мертвыхъ душъ* зрѣмы не всякому глазу». Критикъ впадетъ потомъ въ серьезное настроеніе и прибѣгнетъ къ солидной рѣчи, чтобы поразить послѣдователей Гоголя, между ними перваго Писемскаго. За что же именно? Можетъ быть, за мрачныя преувеличенія, за недостатокъ творчества, за слишкомъ рѣзкую тенденціозность?

Нѣтъ, просто за то, что литературные потомки Гоголя пренебрегаютъ героями, «довольными свѣтомъ и довольными судьбой» и обнаруживаютъ пристрастіе къ человѣческому горю и пороку. Критикъ, разумѣтся, не въ силахъ отличить талантовъ одного и того же направленія. Для него Писемскій только подражатель и даже не умѣющій хоронить концы. Критикъ до потери ясности взгляда и разсудка подавленъ мракомъ «ультра-дѣйствительности» и ставитъ дурную отиѣтку за поведеніе всѣмъ писателямъ грустнаго настроенія.

Участь Островскаго, поэтому, не лучше. Онъ, по всей видимости, также выученикъ Гоголя, и усердію надоедаетъ публикѣ юношами изъ породы Хлестакова, глупой и разсуждающей прислугой, свахами, сплетницами, крѣпколобыми пріобрѣтателями. Всѣ эти персонажи не менѣе скучны и утомительны, чѣмъ скромные Эрасты и прекрасныя Софіи, Честоны и Правдолюбы и могутъ «погубить силу писателя». Островскій тотъ же классикъ со своимъ «океаномъ житейской пошлости», и критикъ находитъ полезнымъ преподавать ему слѣдующей совѣтъ: «пусть онъ дастъ одному изъ своихъ слѣдующихъ произведеній счастливый конецъ, выведетъ на сцену нѣсколько лицъ, глядящихъ на жизнь съ свѣтлой, утѣшительной и разумной точки зрѣнія, пусть онъ придастъ лицамъ этимъ нѣсколько хорошихъ и благородныхъ сторонъ»... По мнѣнію Дружинина, все это представить точнѣйшее изображеніе дѣйствительности, безъ «магнѣйшаго уклоненія» отъ жизненной правды.

«Мы не хотимъ тоски» — восклицалъ критикъ еще въ *Совре-*

менникъ, и теперь онъ это нежеланіе ставить основнымъ принципомъ своей эстетики. Онъ горячій поклонникъ стиховъ, особенно ихъ «музыкальной части». По его мнѣнію, сочиненія грустнаго, на его языкѣ значить болѣзненнаго, содержанія пишутся «чрезвычайно легко», но «истинно гармоническіе стихи» даже «жидкаго содержанія»,—весьма трудно, и зато они заслуживаютъ полнаго предпочтенія. Поэзія вообще ближе къ музыкѣ, чѣмъ кажется многимъ читателямъ, и какое дѣло «иногородному подписчику» до блестящихъ идей, даже до «художническихъ» подробностей, если стихи не музыка? На поэзію нельзя нападать, даже осуждая «безтолковую» манеру стихотвореній Гейне, именно на поэзію стиля и звуковъ <sup>91)</sup>.

Понятно, въ какомъ положеніи оказывался Бѣлинскій. Ему рѣшительно не находилось мѣста среди всѣхъ этихъ деликатесовъ и приностей. На него сочиняется прозрачный памфлетъ въ духѣ Сенковского, на него «знаменитаго критика», чье мѣсто можно занять съ нѣсколькими фразами изъ одной нѣмецкой эстетики, передѣланной французомъ. Его памяти наносится ударъ пріѣздомъ появленія Кукольника на страницахъ *Современника*, торжествуется фактъ: «пора узкой исключительности миновалась», и намѣкается, что Кукольникъ страдалъ отъ «пристрастныхъ оцѣнокъ» и что до подобныхъ мнѣній журналистовъ нѣтъ дѣла подписчикамъ.

Но и это не все. Критикъ возстаетъ вообще на «критическія теоріи», и подъ теоріями разумѣетъ не какія-либо эстетическія системы, а просто опредѣленные воззрѣнія на нравственный и общественный смыслъ искусства и талантовъ отдѣльных писателей. Онъ, еслибы дожилъ до нашего времени, съ наслажденіемъ причислилъ бы себя къ безпечному хору импрессионистовъ. Въ его глазахъ вертится какой-то калейдоскопъ съ картинками, а не совершается строго послѣдовательное развитіе общественной мысли. Критику онъ уподобляетъ вѣчному жиду, желая фигурально объяснить фантастичность и случайность ея идей и увлеченій. Онъ не понимаетъ ни идеализма, ни художественности и съ торжествующимъ видомъ смѣется надъ идеалистами и поклонниками чистаго искусства. Онъ смѣется и надъ самимъ собой—безсознательно, невольно, все равно, какъ ребенокъ, не считавши размаха своей неопытной руки, бьетъ самого себя.

<sup>91)</sup> *Иб.*, стр. 590, 640, 676, 373—4, 380.

Вѣдь приходится даже нашему беззаботному поклоннику цѣтовъ и грацій разбирать и судить, правда, пока лишь изрѣдка. Но вскорѣ наступитъ время, болѣе ответственное. Золотая пора анекдотовъ и диковинокъ минуетъ, по крайней мѣрѣ, на вѣскольکو лѣтъ. А злая судьба довершитъ ударъ, превративъ Ивана Черно-книжникова въ редактора толстаго журнала. Поневолѣ пойдетъ рѣчь и о художественности, и объ идеализмѣ, даже о теоріи искусства.

Жалкое положеніе! И мы увидимъ, какое печальное зрѣлище представитъ любимецъ впечатлительныхъ дамъ и легкомысленный сынъ мертвой эпохи среди дѣйствительно литературной публики и среди мыслящихъ и живыхъ дѣятелей.

Но пока это еще далеко и Дружининъ смѣло можетъ совершать прямые и косвенные набѣги на критику Бѣлинскаго и задавать многозначительный вопросъ: «У кого въ памяти остались пышные диѳирамбы въ честь Жоржа Занда или мадамъ Дюдванъ, жевщины, погубившей великую часть своей славы въ послѣднее время?» <sup>92)</sup>.

Вопросъ очень кстати, потому что именно злополучные романы Жоржъ Зандъ привлекли особенное вниманіе цензуры. Бѣлинскій, мы знаемъ, состоялъ на еще худшемъ официалъномъ счету: нечего падать и его, а позже при другихъ обстоятельствахъ, можно будетъ раскаться весьма искренне и мило. Гоголь также не числился благонамѣреннымъ писателемъ: ему можно противопоставить поэзію вообще, какъ силу, автору *Мертвыхъ душъ* невѣдомую, и доказать ненатуральность его направленія. Пушкинъ долженъ явиться спасительнымъ противодѣйствіемъ мрачному творчеству Гоголя, у Пушкина — «супотелъная поэзія», свѣтъ повсюду, даже въ зимней вьюгѣ, въ осенней мглѣ, и въ той самой дорогѣ, гдѣ Гоголь открылъ лишь толчки и пьянаго Селифана <sup>93)</sup>.

Нѣтъ необходимости возражать вссищенному и негодующему автору. Безнадеженъ критическій взглядъ, разъ онъ не разглядѣлъ тѣней русской жизни въ свѣтлой поэзіи Пушкина и не почувалъ захватывающей поэзіи въ гоголевскихъ картинахъ пошлости. Такъ и должно случиться. Не Дружинину разсуждать о поэзіи и правдѣ, не ему проникать въ творческую душу поэта и рас-

<sup>92)</sup> *Иб.*, стр. 560, 552, 567.

<sup>93)</sup> *Сочиненія*. VII, 59 — 60.

крывать свойства и задачи талантовъ. Даже если бы насъ не сопровождала въ теченіе цѣлаго ряда лѣтъ побрякушка увеселителя, если бы не уставали очаровывать насъ забавными анекдотами и безконечной «смѣсью», мы безошибочно могли бы опредѣлить уровень психологической проницательности и культурно-историческихъ свѣдѣній по непостижимому впечатлѣнію, какое Шатобріанъ произвелъ на «иногороднаго подписчика».

Дружининъ гордился своими статьями по англійской литературѣ. Всѣ эти статьи—чисто ремесленническія компіляціи, съ той же преобладающей анекдотической окраской и шаблонными чувствами удивленія и восторга предъ общепризнанными знаменитостями. Но даже такіа произведенія были, несомнѣнно, полезны въ свое время, не утратили значенія и до сихъ поръ, по крайней мѣрѣ съ фактической стороны и особенно благодаря обилію обширныхъ цитатъ изъ художественныхъ произведеній и подробному пересказу ихъ содержанія. Дружининъ владѣлъ стихомъ и его не затруднялъ переводъ поэмъ и драмъ. Все это—положительный капиталъ, хотя и не особенно цѣнный. Дружининъ трудолюбиво переводилъ и добросовѣстно заимствовалъ, но весьма поверхностно и даже мало—понималъ. Его статьи доступны для очень зеленого юношества, по тону, содержанію, по наивности и незамысловатости критическихъ сужденій и историческихъ картинъ. До какой степени мысль и анализъ Дружинина работали плохо и безнадежно—юношески, показываетъ именно его поразительный отзывъ о Шатобріанѣ. Это вполнѣ удовлетворительный образчикъ философскаго полета нашего критика.

Чего только ни вычиталъ добросердечный иногородный подписчикъ въ *Замогильныхъ Запискахъ*! Изъ иностранныхъ журналовъ онъ могъ бы узнать, что даже почитатели Ренэ пришли въ смущеніе отъ дѣтскаго хвастовства, комическаго геройства, болѣзненнаго самообожанія и преднамѣреннаго искаженія исторіи—преобладающихъ качествъ шатобріановской исповѣди. Именно она освѣтила яркимъ свѣтомъ всю мелкоту и смѣхотворность личности прирожденнаго липедѣя, и со временъ *Записокъ* его драматическій спектакль былъ окончательно проигранъ въ глазахъ всѣхъ болѣе или менѣе мыслящихъ французовъ.

Какую же роль разыгрывалъ русскій критикъ, сообщая своей публикѣ такіа, напримѣръ, впечатлѣнія:

«Предсмертная исповѣдь поэта—*Замогильныя Записки*—этого великаго таланта срываетъ съ моихъ глазъ завѣсу, скрывавшую

отъ меня благородную, нѣжную, истинно-рыцарскую личность ихъ автора; я начинаю понимать эту высокую поэтическую грусть, это разочарованіе страстной души, разрѣшившееся не отчаяніемъ, а смиреніемъ и любовью къ ближнимъ, сквозь которыя такъ ярко свѣтится безотрадная, безвыходная душевная боль, смѣшанная съ проблесками скептицизма, глубокаго, произвольнаго скептицизма»

Дальше въ такомъ же тонѣ декламируется о глубоко и много любившемъ сердцѣ Шатобріана, и автору даже извѣстно, будто Ренэ «претерпѣлъ отъ людей все, что можно было претерпѣть», и все-таки онъ не ропталъ, а желалъ всю жизнь только одного спокойствія!.. <sup>94)</sup>

Прямо невѣроятно читать весь этотъ вздоръ. Намъ неизвѣстно другого образчика подобнаго невѣжества и такой неизглаголанной невинности ума и души. Дружининъ любилъ щеголять своею литературной образованностью, съ удовольствіемъ указывалъ на неопытность и непросвѣщенность русской критики, сочинялъ даже сатиры на критиковъ—скороспѣлыхъ недоучекъ, но рѣшительно никому изъ русскихъ болѣе или менѣе извѣстныхъ журналистовъ, за исключеніемъ Булгарина, не удалось столь краснорѣчиво расписаться въ невѣжествѣ и недомыслии, какъ это сдѣлалъ веселый фельетонистъ *Современника*. Именно открытіями въ шатобріановской душѣ челоуѣколюбія, смиренія, жажды спокойствія Дружининъ какъ нельзя болѣе заслужилъ извѣстную эпиграмму Тургенева:

Дружининъ корчитъ европейца,  
Но ошибается, чудакъ;  
Онъ трупъ російскаго гвардейца,  
Одѣтый въ англійскій пиджакъ.

Можно бы и еще прибавить кое-что по адресу психолога, выудившаго поэтическую грусть въ сердцѣ Ренэ и посмѣявшагося надъ гоголевскими слезами, оцѣнившаго душевную боль вѣрнѣйшаго и любимѣйшаго артиста сенъ-жерменскихъ психопатокъ, и не распознававшего великой *человѣческой* силы въ сатирическомъ талантѣ автора *Мертвыхъ душъ*.

Можно думать, и восторги предъ Шатобріаномъ были позаимствованы у какого-нибудь французскаго журнальнаго недоросля. Можно даже остановиться на мысли, что позаимствованія и пережевыванья составляли истинное назначеніе Дружинина, какъ *толкователя* важныхъ литературныхъ явленій на Западѣ. Можно,

<sup>94)</sup> VI, 69—70.

наконецъ, вполне справедливо на этомъ основаніи оцѣнить русскую критику нашего автора. Объ ея достоинствахъ до половины пятидесятихъ годовъ не можетъ быть двухъ мнѣній, и—собственно не объ ошибкахъ или недоразумѣніяхъ иногороднаго подписчика, а объ его общемъ не-литературномъ направленіи.

Съ обычной наивностью и заученной, такъ сказать, свѣтской безпабашностью. Дружининъ неоднократно, отчасти сознательно, отчасти безотчетно, успѣлъ очерчить свою литературную фізіономію въ первый же періодъ своей дѣятельности.

Въ *Современникѣ* онъ заявлялъ:

«Я не имѣю горячей привязанности къ современной нашей литературѣ и смотрю на нее болѣе съ любопытствомъ, чѣмъ съ полнымъ сочувствіемъ». Подобныя мысли онъ повторялъ неоднократно, давая весьма точную картину литературнаго эпикурейства и литераторскаго бонвиванства. Входить въ оцѣнку этой психологіи нѣтъ нужды. Беззаботный туристъ самъ оцѣнилъ себя.

Онъ горько сѣтовалъ, что въ русской литературѣ нѣтъ идеальнаго фельетониста. Это значитъ «преданнаго сердцемъ интересамъ русской словесности». Поприще многотрудное, и Дружининъ увѣренъ,—его невозможно совершать безъ любви, великой любви къ литературѣ<sup>95)</sup>.

А вотъ самъ же авторъ, по собственному сознанию, не имѣлъ этой любви и все-таки совершалъ поприще, сначала только фельетониста, а потомъ совершенно серьезнаго критика и даже руководителя журнала.

Произошло это событіе въ концѣ 1856 года и должно было обнаружить свои вліянія на литературу при другомъ порядкѣ вещей. Впослѣдствіи мы встрѣтимся съ вопросомъ, какой вкладъ сдѣлала *Библиотека для Чтенія* подъ руководствомъ сначала одного Дружинина, потомъ Дружинина и Писемскаго,—въ чрезвычайно оживленное движеніе общественныхъ идей. Теперь же пока оставимъ «иногороднаго подписчика» и остановимся еще на одномъ критикѣ промежуточной эпохи и передового направленія.

## XII.

На первый взглядъ кажется страннымъ, какъ можно именовать критикомъ Анненкова? Если критики Полевой, Бѣлинскій, Чернышевскій, Добролюбовъ и первостепенныя свѣтила славянофильскаго

<sup>95)</sup> VI, 87, 697.

лагеря, что же общаго съ критикой у издателя сочиненій Пушкина и автора обширныхъ литературныхъ воспоминаній? Критика вѣдь это живая и дѣйствующая общественная мысль, одновременно философія, публицистика и личная исповѣдь автора. Бѣлинскій съ гордостью говорилъ объ исключительной популярности критическихъ статей именно у русской публики. Она привыкла въ этихъ статьяхъ искать руководства по всѣмъ вопросамъ, съ какими приходится встрѣчаться просвѣщенному человѣку. И руководства яснаго, убѣжденнаго, принципиальнаго для самого критика, непогрѣшимаго для его нравственнаго чувства.

И вдругъ *критикъ*, даже во снѣ не грезившій ни о чемъ подобномъ! Какой-нибудь иногородный подписчикъ, при всей беззаботности своихъ фельетонныхъ упражненій, все-таки глубоко убѣжденъ, что фельетонъ есть вещь, именно по его значенію для читателей. Онъ, устраивая дѣтскія увеселенія, не желаетъ забыть, что онъ работаетъ для публики зрѣлаго возраста, поучаетъ ее и во всякомъ случаѣ является органомъ ея вкусовъ и увлеченій.

А здѣсь какая-то отшельническая, необыкновенно кропотливая, но совершенно *замкнутая* работа, совершается будто ради редакторовъ, корректоровъ и ближайшихъ друзей автора. Съ какой цѣлью человѣкъ изводитъ такое количество бумаги на *критическія* статьи? Напиши онъ еще нѣсколько томовъ этихъ статей, онъ не прибавилъ бы къ своей славѣ ни единого самаго ничтожнаго лавроваго листка. Онъ такъ и остался бы для благосклоннѣйшаго потомства авторомъ біографіи Пушкина, примѣчаний на его сочиненія и многихъ весьма любопытныхъ записокъ по исторіи русской литературы и отчасти общества.

Впрочемъ, потомство припомнило бы еще одинъ фактъ. Анненковъ былъ близкимъ пріятелемъ почти всѣхъ современныхъ ему литературныхъ знаменитостей, и отношенія съ Тургеневымъ особенно лестны для памяти нашего скромнаго мемуариста. Тургеневъ питалъ большое довѣріе къ его художественному вкусу, предлагалъ на его судъ свои произведенія до печати и многое исправлялъ на основаніи его замѣчаній.

Это очень важно и, пожалуй, опровергаетъ наше слишкомъ холодное сужденіе о критическихъ талантахъ Анненкова. Къ сожалѣнію, нисколько.

Обладать вкусомъ, быть умнымъ и образованнымъ читателемъ, дѣльно судить о романѣ *Рудинъ* вовсе не значитъ быть талантливымъ критикомъ. Содержаніе тургеневскихъ романовъ до та-

кой степени жизненно и богато, что трудно было бы отыскать болѣе или менѣе думающаго человѣка, не способнаго высказать по поводу ихъ двухъ-трехъ дѣльных мыслей. Мы увидимъ, — даже безнадежное ослѣпленіе тенденціей не похѣшало стремительному Писареву сдѣлать нѣсколько разумныхъ замѣчаній о Базаровѣ. Такова сила истиннаго реализма и вдумчиваго идейнаго творчества!

Не мудрено, — Анненковъ судилъ иногда весьма правильно и тонко, особенно въ области чисто-художественныхъ вопросовъ и общечеловѣческой психологіи. Основательное образованіе и обширная начитанность еще больше изощряли вкусъ судьи. Но лишь только ему приходилось свои сужденія представить въ формѣ связной статьи, пріятельскую бесѣду перенести на страницы журнала, искры эстетической воспримчивости и разсудочнаго анализа меркли подъ пепломъ необыкновенно тягучаго, банальнаго резонерства. Предъ публикой являлся будто совсѣмъ другой человѣкъ, чѣмъ авторъ заграничныхъ писемъ и воспоминаній.

Письма и воспоминанія свидѣтельствовали объ очень наблюдательномъ и часто провицательномъ психологѣ и историкѣ. Они, кромѣ того, доказывали его несомнѣнное тяготѣніе въ сторону свободной благородной мысли, положительнаго культурнаго прогресса. Но вскорѣ становилось очевиднымъ, что это тяготѣніе тоже своего рода вкусъ, т. е. непосредственное, пассивное проявленіе доброй и честной души. Отъ природы она преисполнена свѣтлыми задатками, но въ такой же степени лишена живыхъ самостоятельныхъ побужденій — всесторонне и настойчиво опредѣлить практическій смыслъ и цѣли этого свѣта. Анненковъ не эгоистъ и не откровенный эпикуреецъ въ родѣ Боткина. Онъ только пассивенъ и робокъ, точнѣе — мнителенъ и лѣнивъ.

Вращаясь всю жизнь на вершинахъ русской и даже западной общественной мысли, Анненковъ до конца дней, вѣроятно, не могъ бы точно отвѣтить на вопросъ: кто онъ самъ? Въ дѣйствительности онъ желанный гость во всѣхъ литературныхъ кружкахъ. Его имя, единственное среди извѣстныхъ, осталось за предѣлами боевого поля русской журналистики, и вовсе не потому, чтобы онъ являлся только равнодушнымъ зрителемъ, или своего рода журнальнымъ всечеловѣкомъ. Совершенно напротивъ.

Въ *Библіотекѣ для Чтенія* и въ *Москвитянинѣ* отлично знали, какъ Анненковъ думаетъ о Бѣлинскомъ или о Гоголѣ, но думы эти исѣмъ казались до такой степени безобидными и не влекущими



къ послѣдствіямъ, что съ ними, по общему молчаливому согласію, не стоило считаться.

А между тѣмъ, при другомъ складѣ нравственной природы Анненковъ могъ бы явиться однимъ изъ доблестѣйшихъ воиновъ передового строя нашей критики почти трехъ десятилѣтій. Во многихъ отношеніяхъ онъ выгодно отличается даже отъ Грановскаго, личности, — отчасти родственной ему психологически. Прочтите, напримѣръ, его заграничныя впечатлѣнія, и вы будете поражены яснымъ, чисто историческимъ разсказомъ о самыхъ смутныхъ явленіяхъ западно-европейской современности.

Грановскій, напримѣръ, не могъ отдать себѣ отчета въ движеніи сорокъ восьмого года. Анненковъ стоитъ на высотѣ задачи, насколько это было возможно для русскаго путешественника и иностранца, не посвящающаго себя нарочито французскимъ общественнымъ вопросамъ. Анненковъ рисуетъ картину февральскихъ дней настолько вѣрно и поучительно, что даже свидѣтели, въ родѣ Токвиля, не сообщать намъ ничего новаго послѣ разсказа нашего автора. Отъ него, конечно, вельзя требовать всесторонней оцѣнки событія: онъ лично не демократъ и не свой человѣкъ въ европейскихъ социальныхъ вопросахъ, хотя и знакомецъ Маркса. Но уже достаточно безпристрастнаго описанія самихъ фактовъ и очень умнаго сужденія о началѣ и развитіи движенія <sup>96)</sup>.

Не менѣе ярко въ письмахъ Анненкова отразилось другое, противоположное историческое явленіе — меттерниховскіе порядки въ началѣ сороковыхъ годовъ. Краткая, но живописная картина Вѣны, — настоящій документъ и показываетъ въ авторѣ даже искусство сатирика <sup>97)</sup>.

Все это по части образованности и наблюдательности. Не меньше развита у Анненкова и психологическая проникаемость. Нѣкоторыя замѣчанія о нравственной личности Каткова прямо драгоцѣнны: они схватываютъ самую сущность его характера, какъ будущаго публициста и притомъ еще въ юный откровенный моментъ развитія. Равнодушіе Каткова — юноши къ темнотѣ и грубости русской общественной среды, подозрительное отношеніе даже къ *Мертвымъ душамъ* Гоголя, и все это въ то время, когда будущій издатель *Московскихъ Вѣдомостей* безпрестанно впадаетъ

<sup>96)</sup> *Воспоминанія и очерки*. I, 242—7 etc.

<sup>97)</sup> II, 62.

въ тонъ романтика и поэта, черты историческія и безусловно лестныя для остроты зрѣнія нашего историка.

Еще любопытнѣе многочисленныя мелочи изъ жизни Гоголя, представлявшаго неизмѣримо болѣе трудную задачу для наблюдателя, чѣмъ Катковъ. Что же касается разсказовъ Анненкова о Бѣлинскомъ, безъ нихъ мы не имѣли бы представленія о весьма существенныхъ чертахъ личности критика и человѣка. Никто, на примѣръ, съ такой мѣткостью выраженій и глубиной анализа не опредѣлилъ основной черты психологіи Бѣлинскаго: способности проникать въ процессъ чужой мысли послѣдовательнѣе самихъ авторовъ и приводить этотъ процессъ къ неотразимымъ логическимъ выводамъ <sup>98)</sup>. Подобныя страницы воспоминаній и писемъ Анненкова никогда не утратятъ своего историческаго значенія.

Не лишена интереса его обширная переписка съ первостепенными писателями эпохи, съ тѣмъ же Бѣлинскимъ и особенно съ Тургеневымъ. Чѣмъ писемъ нѣтъ, о томъ у Анненкова имѣется обстоятельный личный разсказъ, на примѣръ о Писемскомъ. Вообще русская литература сороковыхъ, пятидесятихъ и отчасти тридцатыхъ годовъ нашла въ лицѣ Анненкова добросовѣстнаго и въ высшей степени дѣльнаго наблюдателя и историка.

Заслуги по изданію сочиненій Пушкина еще очевиднѣе. Анненковъ первый воспользовался рукописями поэта. Впослѣдствіи неоднократно указывалось, что это пользованіе оставляетъ желать многого по части полноты и тщательности. Но Анненковъ первый представилъ русской публикѣ болѣе или менѣе полное собраніе сочиненій поэта и первый собралъ матеріалы для его біографіи. Современная критика не знала, какъ и выразить свой восторгъ.

Дружининъ изданіе называлъ «первымъ памятникомъ великому писателю отъ потомства», «широкимъ незыблемымъ фундаментомъ» для будущихъ сооружений въ честь поэта <sup>99)</sup>. Добролюбовъ въ литературѣ и общественной жизни начала пятидесятихъ годовъ трудъ Анненкова считалъ «событіемъ» <sup>100)</sup>. Позже восторги охладѣли и тотъ же Добролюбовъ не раздѣляетъ сильныхъ чувствъ Дружинина, но замѣчательнъ былъ уже одинъ фактъ появленія великаго поэта въ гложущей средѣ петербургскихъ туристовъ и иногородныхъ подписчиковъ.

<sup>98)</sup> III; 51—2; 96.

<sup>99)</sup> Сочиненія. VII, 32.

<sup>100)</sup> Сочиненія. I, 462—3.

Все эти заслуги Анненкова неоспоримы. Но онъ не желалъ ограничиться пересказомъ наблюдений надъ людьми и событіями, кружковой репутаціей тонкаго художественнаго цѣнителя, болѣе или менѣе искуснаго библіографа. Ему мало было даже извѣстной гражданской славы послѣ борьбы съ цензурой за произведенія Пушкина. Анненковъ пожелалъ явиться критикомъ не только для такихъ часто nepозвоительно благосклонныхъ слушателей, какимъ былъ Тургеневъ, но и для настоящей большой публики. Онъ упустилъ изъ виду громадную разницу, вести ли пріятельскую бесѣду съ высоко одареннымъ и просвѣщеннымъ художникомъ — лично великимъ эстетикомъ, или выносить свою рѣчь на улицу, передъ толпу. Мысли и замѣчанія, ясныя избранному собесѣднику съ полуслова и вызывающія у него самого вереницу отвѣтныхъ соображеній и еще болѣе глубокихъ замѣчаній, на страницахъ журнала должны быть всесторонне выяснены, рѣзко и точно опредѣлены и сильно высказаны. Для читателей не могли быть рѣшающимъ фактомъ несомнѣнные сочувствія Анненкова всему идеальному и прекрасному. Публика даже послѣ знакомства съ превосходными заграничными письмами автора все-таки потребовала бы отъ него прочныхъ и энергическихъ принциповъ критики.

И вотъ здѣсь-то Анненковъ никакъ не могъ бы отвѣтить съ полной увѣренностью на неизбѣжный вопросъ: кто онъ?

Анненковъ, по происхожденію богатый помѣщикъ, по образованію вольный слушатель философскаго, т. е. историко-філологическаго факультета петербургскаго университета, много жилъ за границей, совершенно свободный отъ какихъ-либо обязанностей, кромѣ самообразования и, какъ водится съ свободными туристами, самоуслажденія. Продолжительное пребываніе въ Италіи должно было сильно развить художественный вкусъ, а близкое знакомство съ французской общественностью, — возвысить просвѣщенность и широту ума. Любознательность Анненковъ всю жизнь проявлялъ приблизительно такую же, какъ герой его *Писемъ изъ провинціи* — Нилъ Ивановичъ, т. е. читалъ множество книгъ и интересовался множествомъ вопросовъ, отъ чистаго искусства до экономическихъ теорій <sup>101)</sup>.

Нилъ Ивановичъ, прочитавъ книгу, немедленно забывалъ ее и хранилъ совершенное равнодушіе къ ея содержанію, Анненковъ, напротивъ, искусно пользовался своимъ капиталомъ и бралъ

<sup>101)</sup> *Воспоминанія*. I, 9 etc.

съ него проценты въ формѣ критическихъ статей. Это чисто книжное происхожденіе критики Анненкова — ея главнѣйшая черта. Онъ — образцовый бумажный человѣкъ, производитель словесныхъ упражненій, за письменнымъ столомъ будто забывающій всѣ свои наблюденія и опыты. Если онъ только *разсказчикъ* на его страницахъ живетъ и дышитъ дѣйствительность, если онъ *мыслитель*, онъ внѣ здѣшняго міра, въ какой-то особой области, именуемой литературой, искусствомъ. У этого симбирскаго помѣщика заложенъ неистребимый аристократическій инстинктъ смотрѣть на литературу именно какъ на словесность, а не на естественный и необходимый спутникъ жизни и ея прозы. Это собственно не эстетическая манія, не культъ чистаго искусства, а именно салонная теорія словесности: искусство — нѣчто парадное и праздничное, своего рода украшеніе и невинное удовольствіе.

Анненковъ не могъ дойти до послѣдняго вывода теоріи — оцѣнить искусство какъ забаву. Онъ обладалъ слишкомъ просвѣщеннымъ умомъ и жилъ въ слишкомъ демократическую литературную эпоху, но раздѣлъ между дѣйствительностью и литературой, понятія дѣйствительности, какъ исключительной прозы и литературы, какъ безпримѣсной поэзіи, будничной жизни, какъ мрака и страданій и искусства, какъ свѣта и наслажденій, — всѣ эти понятія одного логическаго порядка.

И они плодъ не столько теоретическаго созерцанія, сколько извѣстныхъ условій жизни и приращенныхъ наклонностей.

Анненковъ съ полной ясностью обнаружилъ эту затаенную стихію своей эстетики.

Въ статьѣ о народнической литературѣ онъ усиливается доказать, что «простонародная жизнь» не можетъ быть воспроизведена литературно во всей своей истинѣ. Почему же? Потому что эта жизнь слишкомъ мрачна, нечистоплотна или даже нецензурна?

Нѣтъ, не потому, а по общимъ основаніямъ.

«Что бы ни дѣлалъ авторъ, — говоритъ критикъ, — для тщательнаго сохраненія истины и оригинальности въ своихъ лицахъ, онъ принужденъ наложить краску искусственности на нихъ, какъ только принялся за литературное описаніе».

Дальше съ удивительной непосредственностью раскрывается тайна барскаго воззрѣнія на искусство. Здѣсь каждое слово имѣетъ вѣсъ: всѣ эти слова вылились прямо изъ сердца критика, выдавъ его задушевные мечтанія о красотѣ и художествѣ.

«Желаніе сохранить рядомъ другъ подлѣ друга требованія

искусства съ настоящимъ, жесткимъ ходомъ жизни, произвести эстетическій эффектъ и вмѣстѣ цѣликомъ выставить бытъ, мало подчиняющійся вообще эффекту,—желаніе это кажется намъ неисполнимымъ <sup>102)</sup>).

Вы спросите, зачѣмъ же непремѣнно производить эффекты, да еще эстетическіе? Вѣдь критикъ, повидимому, вѣруеть въ гениальность Гоголя и весьма высоко цѣнить Бѣлинскаго: гдѣ же въ изображеніяхъ *быта* онъ усмотрѣлъ стремленіе къ эффекту и какъ онъ не научился у Бѣлинскаго достодожнымъ образомъ понимать эстетику и эстетическое? Очевидно, и для него, какъ и для другихъ его современниковъ, втуиѣ прозвучала страстная проповѣдь учителя, и они, по крайней мѣрѣ, двое—Дружининъ и Анненковъ—безнадежно погрязли въ художественность блаженной и благородной литературы временъ классицизма и чувствительности. Недаромъ Дружининъ готовъ былъ сѣтовать даже на равнодушіе публики къ «блестящимъ» писателямъ—Расину и Корнелю <sup>103)</sup>. Это въ высшей степени краснорѣчиво для точнаго представленія объ уровнѣ литературно-общественныхъ запросовъ нашихъ критиковъ. Анненковъ не доходитъ до подобныхъ откровенностей, но и онъ усиленно убѣждаетъ насъ, что «истина жизни и искусство рѣдко бываютъ примирены». Совершенно напротивъ: они «большую частію находятся въ обратной арифметической пропорціи другъ къ другу, и законъ правильнаго соотношенія между ними еще не найденъ» <sup>104)</sup>.

Какъ не найденъ? Слѣдовательно, вся новѣйшая русская литература до 1854 года включительно или клевета на истину жизни, или ничтожна какъ искусство? И натуральная школа, одушевлявшая такими надеждами русскую критику, не представляетъ положительнаго приобрѣтенія въ исторіи литературы? И тотъ путь, какой указанъ Гоголемъ, неизбѣжно приведетъ русскихъ писателей или къ художественному банкротству, или къ слѣпому извращенію дѣйствительности?

Можно подумать, критикъ не отдавалъ строгаго отчета въ своихъ словахъ или желалъ выразить свое неодобреніе новому направленію. Послѣднее вѣроятно.

Анненковъ съ самаго начала обнаруживалъ недовольство «сен-

<sup>102)</sup> О. с. II, 47.

<sup>103)</sup> Сочиненія. VI, 347.

<sup>104)</sup> О. с. II, 81.

timentальнымъ» родомъ повѣствованій. Это выраженіе замѣчательно. Оно часто встрѣчается и у Дружинина и удостоивается также негодующихъ указаній цензуры. Новый сентиментализмъ на языкѣ цензоровъ и критиковъ означаетъ одно и то же: литературу гоголевскаго направленія, литературу объ Акакіяхъ Акакіевичахъ всевозможныхъ общественныхъ положеній и нравственныхъ обликовъ. Цензурѣ эта литература не нравилась скрытымъ якобы демократизмомъ и оппозиціоннымъ духомъ недовольства и мрачныхъ воззрѣній на современную благоденствующую дѣйствительность. Въ общемъ officialный взглядъ на гоголевскихъ литературныхъ наслѣдниковъ можно вполне точно опредѣлить извѣстнымъ отзывомъ Екатерины о Радищевѣ: «сложенія унылаго и все видитъ въ темно-черномъ видѣ».

Критики изъ породы Дружинина, мы знаемъ, весьма близко подходили къ этому чувству, и веселый иногородный подписчикъ конечно, вполне согласился бы съ самымъ рѣзкимъ приговоромъ о людяхъ «темно-черныхъ» настроеній. Дружининъ, по обыкновенію, заявлялъ о своихъ чувствахъ открыто, шутя и играя. Анненковъ не зараженъ честолюбіемъ острослова и фельетониста: онъ солидно и сдержанно посягаетъ на «фантастически-сентиментальныя» повѣсти за слишкомъ сѣрыя и будничныя картины и заурядные типы <sup>105)</sup>. Мало, очевидно, эстетическихъ эффектовъ! И слишкомъ много чего-то, враждебнаго эстетикѣ и спокойному наслажденію красотою.

Изъ письма Огарева къ Анненкову мы узнаемъ, что нашему критику были свойственны очень рѣшительныя мысли въ чисто-эстетическомъ направленіи. Онъ полагалъ, что «мысль убиваетъ искусство и женщину» <sup>106)</sup>.

Это—цѣлая теорія, и опять подъ стать дружининскимъ истинамъ. Анненковъ не преминулъ развить ее въ статьяхъ. Онъ давно замѣтилъ *педагогическій характеръ* изящной литературы: это результатъ постоянныхъ хлопотъ о *мысли*. Это—цѣлое бѣдствіе. Мысль лишаетъ авторовъ «простодушія во взглядѣ на предметы» и приучаетъ ихъ къ философствованію и лукавству.

Это дѣйствительно неприятно. Но какже избавиться отъ злокозненныхъ мыслей, на какой чертѣ остановиться?

Мы видѣли, Дружининъ довольствовался идеями самаго общаго,

<sup>105)</sup> *Тб.*, 25, 33 etc.

<sup>106)</sup> *Анненковъ и его друзья*, стр. 647.

можно сказать, неуловимаго содержанія. Для него идея тождественна съ извѣстнымъ понятнымъ смысломъ произведенія, т. е. съ болѣе или менѣе осмысленнымъ содержаніемъ,—требованія Анненкова еще проще: «развитіе психологическихъ сторонъ лица или многихъ лицъ»—вотъ и вся идея. «Никакой другой «мысли»,—увѣряетъ нашъ критикъ,—не можетъ дать повѣствованіе и не обязано къ тому, будь сказано не во гнѣвъ фантастическимъ искаателямъ мысли».

Значить, только потребны герои съ извѣстной психологіей, т. е. лишь бы въ повѣсти не было манекенныхъ, безжизненныхъ фигуръ, и вполнѣ достаточно. А будетъ ли смыслъ въ наборѣ героевъ, обладающихъ психологіей, обнаружится ли болѣе или менѣе значительное содержаніе въ событіяхъ разсказа,—до этого читателямъ нѣтъ никакого дѣла. Должны они быть благодарными и въ томъ случаѣ, если онъ своимъ искусствомъ излагать «психическія наблюденія» воспользуется въ интересахъ какой-нибудь пусто-порожней или прямо негодной мысли. Критикъ прямо заявляетъ:

«Врядъ ли дозволено дѣлать разсказъ проводникомъ эфическихъ или иныхъ соображеній и по важности послѣднихъ судить о немъ».

Достоинство художественнаго произведенія «въ обилии прекрасныхъ мотивовъ», «во множествѣ картинъ, рождающихся безъ усилія и подготовки, въ легкой дѣятельности фантазія». И образцы всего этого разсказы Тургенева!

Этотъ писатель, слѣдовательно, и для Анненкова только поэтъ, какъ и для Дружинина,—поэтъ беззаботный, съ непринужденнымъ воображеніемъ и безъ докучливой идейности. Это пишется въ 1854 году, когда еще не существуетъ великихъ романовъ автора. Чтò же заговорить критикъ по поводу *Дворянскаго иньзда, Отцовъ и дѣтей*?

Пока ея идеалъ гр. Толстой. Здѣсь всѣ наши критики единогласны. Рѣдкій писатель вообще, а русскій ни одинъ не выступалъ на литературную сцену при такихъ благопріятныхъ обстоятельствахъ. Художественный талантъ, свободный отъ всякихъ общественныхъ задачъ, пришелся какъ нельзя болѣе по плечу робкой и наивной публицистикѣ первой половины пятидесятихъ годовъ. Одного критика увлекаетъ идеализація *простоты*—неизвѣстно какой именно, вообще простоты и непосредственности, другого—Анненкова—очаровываетъ «вѣра» гр. Толстого въ «жизненное дѣйствіе организма».

Это вѣчто еще болѣе двусмысленное и скользкое, чѣмъ простота. Критикъ восхищается, что «природа сама по себѣ, безъ всякаго пособія со стороны, даетъ искру мысли»<sup>107</sup>). Какой же мысли?

Дальше говорится о «первомъ признаніи чувства и первой наклонности». Это несомнѣнно. Природа вполне можетъ внушать такія мысли «безъ всякаго пособія со стороны» и, всякому извѣстно, какой великій мастеръ гр. Толстой по части фیزیологическаго анализа, отнюдь не психологическаго. Онъ неподражаемъ въ живописи чувствъ и наклонностей даже такихъ духовно-первобытныхъ особей, какъ недоросли разныхъ частей русской арміи и ихъ героини.

Но развѣ это «искры мысли»? Развѣ впечатлѣнія Вронскаго, когда онъ впервые видитъ Анну Каренину въ ярко освѣщенной залѣ и чувствуетъ «избытокъ чего-то» въ ея организмѣ,—развѣ онъ *мыслитъ*? Блестящіе глаза и румяныя губы вызываютъ мысли или нѣчто совершенно противоположное? И развѣ въ интересахъ мысленія влюбленныхъ мужчинъ авторъ съ великой тщательностью и множество разъ обращаетъ ихъ вниманіе на «статныя ножки», на «маленькую ручку», на «упругую ножку», на «скромную грацію». Сообразите, сколько вниманія удѣлено этимъ «пособіямъ со стороны» въ романахъ гр. Толстого, и вы оцѣните истинный смыслъ внушеній природы и особенно вызываемыхъ ею «искръ».

Мы отнюдь не желаемъ произносить рѣчей на аскетическія темы, мы только указываемъ, въ какомъ непроницаемомъ туманѣ обрѣтается разсудокъ нашего критика и въ какую нелѣпость впадаетъ онъ совершенно безсознательно. Гр. Толстой своимъ талантомъ изображать организмы и ихъ естественную жизнь создалъ благодарнѣйшую точку опоры для промежуточной критики, чужавшейся всѣми силами «эфическихъ соображеній». Талантъ писателя, конечно, заслуживалъ горячихъ похвалъ, и мы протестуемъ не противъ восторженныхъ чувствъ критиковъ, а противъ вопіющаго смѣшенія понятій, противъ злоупотребленія явленіями искусства въ пользу извѣстной теоріи. Талантъ художника могъ быть замѣчателенъ, но это не значитъ, что онъ совершененъ и по *своей сущности* послѣднее слово творческаго генія. Кажется, Бѣлинскій достаточно опредѣленно рѣшилъ вопросъ по поводу Гоголя, нисколько не унижая дарованія великаго сатирика.

Наши критики, конечно, не рѣшились бы приравнять гр. Тол-

<sup>107</sup>) *Очерки*. II, 98—9, 100—1, 105.



стого къ Гоголю по размѣрамъ таланта, почему же они съ такой трепетной поспѣшностью ухватились за новаго писателя?

Отвѣтъ ясенъ: новый писатель обильно снабжалъ нашихъ искателей чистой художественности примирительными и истинно-поэтическими впечатлѣнiями, не беспокоилъ ихъ сердца и мысли досадными вопросами изъ жизни современнаго мыслящаго и страдающаго общества, рисовалъ имъ нескончаемый рядъ картинъ и не томилъ «педагогическими» идеями. И гр. Толстой почти до конца пятидесятыхъ годовъ затмеваетъ Тургенева. Только при сильномъ подъѣмѣ общественной мысли Тургеневъ становится на первый планъ, чтобы въ позднѣйшіе годы, при соотвѣтствующемъ пониженіи идейной температуры у русской публики, снова уступить честь и мѣсто вѣрѣ «въ жизненное дѣйствіе организма» и поэтическому идеалу простоты.

Анненковъ продолжалъ свою критическую дѣятельность и въ эту эпоху. Его пути, раньше безпрестанно сходявшіеся съ дорогой Дружинина, нѣсколько измѣнили свое направленіе. Критикъ пересталъ мысль отождествлять съ волненіемъ крови и идеи съ романическими или даже чувственными мотивами. Тургеневъ научилъ его нѣкоторой осмотрительности и вдумчивости, и Анненковъ, мы увидимъ, внесъ кое-какую лепту въ новое движеніе русской критической мысли. Совершилось это, очевидно, при самомъ энергическомъ участіи «пособій со стороны», и своей уступчивости Анненковъ былъ обязанъ почетнымъ положеніемъ даже среди шестидесятниковъ.

Но и въ предшествующіе годы онъ среди своихъ журнальных совмѣстниковъ представляется величиной далеко не второго разбора. Какъ бы скромно мы ни цѣнили литературный талантъ Анненкова, рядомъ съ Дудышкинымъ и Дружининымъ, онъ заставляетъ насъ въ сильной степени смягчить нашъ приговоръ. Разница между этими тремя дѣятелями особенно ясна именно по вліянію, какое произвела на нихъ новая публицистика. Дружининъ не могъ подняться выше теоріи отрѣшенной художественности, т. е. въ сущности придавъ только болѣе внушительную форму своимъ прежнимъ хлопотамъ о забавномъ и веселомъ. Дудышкинъ кончилъ еще хуже, — впалъ, по свидѣтельству очевидца, въ мистицизмъ, а передъ этимъ послѣднимъ шагомъ писалъ совершенно безличныя компиляціи <sup>108)</sup>.

<sup>108)</sup> *Одинъ изъ забытыхъ журналистовъ. А. Старчевскаго. Ист. В. 1886 г. XIII, 385—6.*

Анненковъ не могъ окончательно сбросить съ себя ветхаго чело-  
вѣка и, спасаясь отъ старыхъ эстетическихъ искушеній, непре-  
станно рисковалъ впасть въ новыя уже публицистическія недора-  
зумѣнія. Но онъ искренне стремился понять новыя вѣянія и от-  
дать имъ должную справедливость.

Конецъ соотвѣтствовалъ началу, столь же добросовѣстному и,  
для своего времени, даже плодотворному.

По смутѣ и робости мысли Анненковъ вполне отвѣчалъ духу  
своей эпохи. Онъ не менѣе своихъ собратьевъ—писатель приспособив-  
шійся, «благопристойный» и «благонамѣренный», съ одной  
только разницей. Для приспособленія ему не требовалось насилій  
надъ своей натурой и совѣстью. Онъ вполне искренне, по влече-  
ніямъ своей въ общественномъ смыслѣ косной и индифферент-  
ной природы, могъ приносить жертвы свободной красотѣ и безот-  
четному искусству. Онъ чувствовалъ себя непріятно и даже тя-  
гостно предъ настойчивой, ярко выраженной идеей: чувство общее  
у него съ другими современниками. Но все это не помѣшало ему  
оставить, какъ мы видѣли, довольно цѣнное наслѣдство для *фак-*  
*тической исторіи литературы.*

Въ этомъ отношеніи онъ также одинъ изъ многихъ. Если бы  
мы задались цѣлью найти какую-нибудь положительную черту въ  
безцвѣтной и мертвенной критикѣ описываемаго періода, мы  
принуждены были бы искать ее по сосѣдству съ «библіографиче-  
скимъ храпомъ».

Добролюбову легко презрительно отзываться о преемникахъ  
Бѣлинскаго. Его окружала кипучая литература, отважные бойцы  
на сравнительно свободной и широкой дорогѣ. Предъ ними наши  
герои естественно казались жалкими и неразумными. Но и эти  
пигмеи дѣлали кое что.

Дружининъ безпрестанно требовалъ отъ русскихъ журналовъ  
статей по иностраннымъ литературамъ и самъ писалъ ихъ, пи-  
салъ далеко не блестяще и не солидно, но все-таки извѣстныя  
свѣдѣнія сообщались читателю, и онъ приучался къ широкимъ  
культурнымъ интересамъ. Дудышкинъ дѣлалъ то же самое въ об-  
ласти русской литературы. Его статьи еще безцвѣтнѣе дружини-  
нскихъ, въ нихъ даже нѣтъ бойкости пера и разнообразія содер-  
жанія, на чемъ стоялъ дамскій критикъ. Но фактовъ всегда на-  
ходилось достаточно и, напримѣръ, изложеніе *Наказа Екатерины*,  
хотя бы съ безусловно невѣрной исторической критикой, несо-  
мнѣнно, приносило свою пользу обществу сорокъ восьмого года.

Наконецъ, Анненковъ все въ области того же «библиографическаго храма» стужѣлъ совершить «подвигъ» и создать «событіе» изданіемъ сочиненій Пушкина.

Мы не должны забывать всѣхъ этихъ фактовъ въ интересахъ справедливой и точной оцѣнки почти забытыхъ людей безвременья. Они въ лицѣ Дудышкина приходили въ смущеніе предъ блестящими фигурами ранней литературы, не понимали близости, вызывавшей сочувствіе Бѣлинскаго—«апатіи чувства и воли при пожирающей дѣятельности мысли», сваливали въ одну кучу и Печоринныхъ, и Грушницкихъ: это было психологическимъ недомыслиемъ и крупнымъ ложнымъ шагомъ общественной мысли. Но положительный принципъ, во имя котораго произносился огульный приговоръ надъ трагическими или комическими абсентеистами и бездѣльниками, заслуживаетъ полнаго вниманія. Это запросъ къ жизненной дѣятельности, хотя бы самой скромной и незамѣтной.

Конечно, Дудышкинъ и его сочувственники впадали въ смертный нравственный грѣхъ, противопоставляя дѣятельность, Фамусовыхъ абсентеизму Чацкихъ. Такимъ путемъ можно скорѣе подорвать убѣдительность принципа, чѣмъ развѣнчать Чацкаго или Печорина. Но вопросъ тайлъ вполне здоровое зерно, хотя и не литераторамъ затишья доступно было вскрыть его и воспользоваться имъ. Несомнѣнно, русская жизнь не могла остановиться даже на эффектнѣйшемъ разочарованіи, на какомъ угодно трагическомъ озлобленіи противъ презрѣнной дѣйствительности и на самомъ основательномъ презрѣніи къ темной и рабской толпѣ.

Печорины и Чацкіе, при всей исторической неизбѣжности своего исключительнаго положенія, все-таки явленія переходныя, юношескія, факты только что начавшагося броженія молодого общественнаго сознанія. Успѣхъ не малый: окружающая пошлость и рабство поняты, оцѣнены и вызвали непримиримое отвращеніе. Фамусовымъ и Грушницкимъ больше не будетъ житья среди поваго поколѣнія, ихъ авторитетъ и обаятельность поколеблены и самомъ основаніи, и рано или поздно падутъ непремѣнно.

Но это чисто отрицательная, разрушительная работа. За ней должна слѣдовать положительная и созидательная. Трудно было создать на почвѣ, предоставленной людямъ пятидесятихъ годовъ. Но они пытались выполнять свою задачу и начали именно съ примиренія. Этотъ процессъ соотвѣтствовалъ безличію и нравственной слабости нашихъ дѣятелей. Дѣйствительность не заслуживала такихъ чувствъ, какими принялась щеголять литература и, по условіямъ времени,

именно люди разочарованія и недовольства достойны были пощады и даже уваженія. И все-таки въ примиреніи заключался извѣстный нравственный и историческій смыслъ. Восхваленіе положительнаго дѣла въ ущербъ самодовольной или самопоѣдающей бездѣятельности свидѣтельствовало о проблескахъ новаго теченія общественной мысли, и наши дѣятели успѣли даже кое-чѣмъ практически ознаменовать свои отвлеченныя соображенія.

Герценъ въ одной изъ своихъ заграничныхъ статей *Русскіе немцы и немецкіе русскіе* произнесъ рѣшительный смертный приговоръ «молодому поколѣнію», слѣдовавшему за Бѣлинскимъ и Грановскимъ. Но прежде всего, мы уже знаемъ, Грановскаго не слѣдуетъ вездѣ и всегда ставить рядомъ съ Бѣлинскимъ, и особенно тамъ, гдѣ идетъ рѣчь объ энергіи и ясности направленія. А потомъ, «молодое поколѣніе» не представляетъ сплошнаго кладбища. Кое-гдѣ все-таки трепетала жизнь и мерцалъ хотя рѣдко и боязливо, духовный свѣтъ.

Въ исторіи не бываетъ ни безпросвѣтнаго мрака, не всеослѣпляющаго свѣта. И тѣни, и лучи падаютъ одновременно на нашу бѣдную планету—одно время—лучей больше, другое—тѣней. И мы должны съ особеннымъ тщаніемъ и заботливостью всматриваться въ свѣтлыя точки именно среди, повидимому, неограниченно царствующаго мрака.

Мы теперь обязаны выполнить этотъ нравственный долгъ даже предъ Назаретомъ русской журналистики сороковыхъ годовъ. Въ то время, когда передовой строй критики рѣдѣлъ и обнаруживалъ крайнее безсиліе, неожиданно стали появлять признаки юной жизни московскій лагерь, и погодинскій *Москвитянинъ*, едва влачившій свое темное существованіе, вдругъ заволновался, зашумѣлъ и пошелъ на враговъ во главѣ дѣйствительно талантливыхъ бойцовъ. На нѣсколько лѣтъ архивныя листки московскаго Дѣвичьяго поля превратились въ самый живой литературный органъ, о какомъ въ Петербургѣ не дерзали и мечтать.

#### XIV.

Какимъ чудомъ могъ воскреснуть *Москвитянинъ*? Кажется, онъ успѣлъ достаточно развернуть свои силы и до конца истощить ученость Погодина и краснорѣчіе Шевырева. Два славянофильскихъ Лякса не стѣснялись никакими военными средствами, и все таки пали въ борьбѣ. Что же могло поднять ихъ вновь и даже угнѣтать побѣдными вѣнками?

Совершенная случайность, а вовсе не какая-либо глубокая и сильная эволюція старыхъ боевыхъ силъ.

Въ Москвѣ объявился молодой большой художественный талантъ—Островскій. Бывшій студентъ московскаго университета, онъ не прерывалъ своихъ связей съ профессорами и литераторами послѣ преждевременнаго оставленія университета и поступленія на мелкую канцелярскую службу. Между прочимъ, онъ посѣщаетъ Шевырева, и 14 февраля 1847 года, прочитываетъ профессору и его гостямъ свои первыя драматическія сцены. Шевыревъ награждаетъ автора объятіями и провозглашаетъ его «громадный талантъ». Этотъ день Островскій впоследствии считаетъ «самымъ памятнымъ» въ своей жизни. Спустя нѣсколько времени сцены печатаются въ *Московскомъ Городскомъ Листкѣ*, подъ заглавіемъ *Картина семейнаго счастья*.

Новый талантъ родился, и Погодинъ спѣшитъ пригласить его въ сотрудники своего журнала. Островскаго уже окружаетъ цѣлое общество молодыхъ цѣнителей его таланта—питомцы московскаго университета, среди нихъ наиболѣе энергичные и талантливые—Григорьевъ и Алмазовъ.

Григорьевъ—давнишній писатель *Москвитянина*, еще съ 1843 года, и предложеніе Погодина не могло явиться неожиданностью. Правда, нѣкоторыя затрудненія представлялись съ самымъ драгоценнымъ приобрѣтеніемъ. Островскій тяготѣлъ къ западничеству, даже кремлевскіе соборы называлъ «пагодами» и находилъ ихъ лишними. Но это было простымъ капризомъ молодости, объ убѣжденіи не было и рѣчи и всякую минуту одно крайнее увлеченіе могло перейти въ противоположное, не менѣе горячее.

Такъ и случилось.

Островскій быстро перешелъ въ московскій лагерь, не столько подъ влияніемъ идейныхъ внушеній, сколько чисто художественныхъ впечатлѣній. Намъ рассказываютъ очень пространно объ успѣхахъ Островскаго въ купеческихъ и аристократическихъ гостиныхъ, о восторгахъ кружка русскими народными пѣснями, особенно пѣніемъ одного изъ членовъ кружка... Вся эта національная московская атмосфера окутала молодого драматурга и отдала его на жертву Востоку. Такой выводъ можно сдѣлать изъ рассказовъ очевидцевъ. Насмѣшки западниковъ повысили температуру новаго увлеченія и Островскій быстро дошелъ «до крайностей истиннаго русскаго направленія».

Такъ сообщаетъ членъ кружка, очаровывавшій своихъ друзей

исполненіемъ русскихъ пѣсень <sup>109)</sup>. Самъ онъ очень близко стоялъ къ направленію погодинскаго журнала, но нельзя было этого сказать объ остальныхъ будущихъ сотрудниковъ.

Какой общественной и культурной вѣры они держались,—вопросъ, врядъ ли вполне ясный для самыхъ отважныхъ дѣятелей *молодого Москвитянина*. Они рядомъ съ Шевыревымъ и Погодинымъ составили *молодую* редакцію: такъ она именовалась въ публикѣ и въ самомъ журналѣ. Но это наименованіе выражало нѣчто, несравненно болѣе существенное, чѣмъ разницу возрастовъ. На самомъ дѣлѣ подъ зеленой обложкой *Москвитянина* водворились два изданія, связанные вмѣстѣ случайно волею судьбы. Погодинъ отнюдь не желалъ выпускать браздовъ правленія изъ своихъ учительскихъ рукъ, молодежь, въ свою очередь, далеко не во всемъ признавала руководительскую власть редактора. Выходила междоусобица, нерѣдко до такой степени воинственная, что отголоски ея долетали даже до публики.

Мы не будемъ останавливаться на извѣстномъ намъ фактѣ—оригинальной политикѣ Погодина, какъ *издателя*. Мы знаемъ, что даже по поводу Гоголя онъ посвящалъ цѣлыя утра на обсужденіе денежнаго вопроса. Съ молодежью онъ, конечно, еще меньше стѣснялся. Въ минуту крайняго огорченія и праведнаго гнѣва Григорьевъ совершенно вѣрно охарактеризовалъ издательскую тактику Погодина въ письмѣ къ нему:

«Въ вашемъ превосходествѣ глубоко укоренена мысль, что человѣка надобно держать вамъ въ черномъ тѣлѣ, чтобы онъ былъ полезенъ» <sup>110)</sup>.

И мы увидимъ, какой горячей кровью сердца Григорьевъ, одинъ изъ столповъ *Москвитянина*, имѣлъ право написать эти слова.

Но не въ болѣзненной скупости и не въ патріархальной хозяйской расчетливости заключались главные поводы къ междоусобицамъ. Погодинъ съ самаго начала сталъ въ оборонительное положеніе противъ своихъ сотрудниковъ и занялъ для нихъ мѣсто цензуры, въ высшей степени безцеремонной и придирчивой. Погодинъ безпрекословно соглашался съ цензоромъ, разъ вопросъ шелъ объ укрощеніи и сокращеніи молодыхъ авторовъ. Ему ничего не стоило произвести какое угодно упражненіе надъ стихотворе-

<sup>109)</sup> Варсуковъ. XI, 73, 79.

<sup>110)</sup> *Тб.* XII, 293.

ніемъ Алмазова, безъ малѣйшаго вниманія къ смыслу, вставить свои собственные соображенія въ статью Григорьева. Это, вѣчная война съ юношескимъ увлеченіемъ, и такъ понимаютъ роль Погодина его сотрудники.

Алмазовъ пишетъ редактору негодующія письма. На сторонѣ оскорбленнаго вся молодая редакція. Онъ горячо протестуетъ противъ хозяйскаго произвола и безсмысленныхъ искаженій чужого текста, даже не вызываемыхъ цензурой. Погодинъ отдаетъ своихъ сотрудниковъ на посмѣище ихъ журнальнымъ противникамъ и безтолково хлопочетъ о поддержаніи мѣщанской благопристойности и педантической плѣсени на страницахъ было ожившаго изданія.

Но Алмазовъ обороняетъ свои стихотворенія и пародіи. Это—весьма интересный матеріалъ для читателя, но не въ немъ духъ журнала. Статьи Григорьева несравненно важнѣе, какъ программа новой редакціи, и вотъ здѣсь-то Погодинъ давалъ полную свободу своей рукѣ-владыкѣ.

У профессора накопилось не мало старыхъ литературныхъ и личныхъ связей очень подозрительнаго достоинства. У него, на примѣръ, состоитъ пріятелемъ извѣстный намъ М. А. Дмитріевъ; онъ желалъ бы пощадить даже Ѳаддея Булгарина въ виду страха іудейска предъ пронырливымъ литературныхъ и нелитературныхъ дѣлѣй мастеромъ, не мало у него и свѣтскихъ пріятельницъ, и вотъ всѣ эти сочувствія и трепеты должны найти мѣсто въ чужой статьѣ, все равно, какого автора и съ какимъ именемъ.

Григорьевъ и вся молодая редакція благоговѣетъ предъ Пушкинымъ и его эпохой, она желаетъ наслѣдовать ей, а Погодинъ тычетъ ей автора *Московскихъ элегій*, пѣвца домостроевскихъ порядковъ и молчалинскихъ идеаловъ. Григорьевъ желаетъ отдать должное старой публицистикѣ и не желаетъ позорить Полевого: Погодинъ предпочитаетъ *Сѣверную Пчелу*. Молодой критикъ перечисляетъ поэтовъ Пушкина, Лермонтова, Кольцова и другихъ, кто, по его мнѣнію, одаренъ истиннымъ талантомъ: Погодинъ вставляетъ въ списокъ Каролину Павлову и даже Авдотью Глинка! Но этого мало. Погодинъ дѣлаетъ особая примѣчанія къ статьямъ авторовъ, «искренне сожалѣя», и все это падаетъ на голову перваго критика журнала! <sup>111)</sup>

<sup>111)</sup> *Скитальчества. Эпоха*. 1864, мартъ, 146. — Барсуковъ. XI, 387 — 8; XII, 292.

Странные порядки трудно и представить. И они входят въ силу съ самаго обновленія журнала, съ 1850 года до окончательнаго прекращенія въ 1856 году. Слѣдовательно, *молодая редація* не была правовѣрно-славянофильской?

Отрицательный отвѣтъ ясенъ не только изъ взаимныхъ отношеній стариковъ и молодежи, но изъ прямыхъ личныхъ признаній сотрудниковъ. Погодинъ, мы знаемъ, не пользовался никакимъ авторитетомъ у вольныхъ славянофиловъ. Они безпрестанно оскорбляли его самолюбіе и носились съ мыслью объ изданіи своего органа. Этой мысли они не оставляютъ и съ преобразованиемъ *Москвитянина*: *Московский Сборникъ* появится въ 1852 году. Мы знаемъ, судьба его оказалась очень печальной, но *Сборникъ* свидѣтельствовалъ о глубокомъ раздѣленіи въ нѣдрахъ московской славянофильской церкви. Даже больше.

Изданіе благородныхъ славянофиловъ и призванныхъ хранителей ковчега попало въ положеніе *Москвитянина*. Не суждено было славянофильскому толку столкнуться даже въ самомъ тѣсномъ кружкѣ и на счетъ тѣхъ самыхъ вопросовъ, какіе они сами считали основными и руководящими. Извѣстное намъ *Письмо Кирѣвскаго* о просвѣщеніи Европы возмутило другихъ прихожанъ—братьевъ Аксаковыхъ и Хомякова, и они собрались возражать Кирѣвскому во второмъ томѣ *Сборника*. Готовилось, слѣдовательно, то же самое, что происходило въ *Москвитянинѣ*.

Молодая редація, несомнѣнно, желала отдать себѣ отчетъ, кто она? Глава ея—Григорьевъ, не одинъ разъ принимался рѣшать этотъ вопросъ и не пришелъ къ удовлетворительному отвѣту.

Островскій—художественный центръ и надежда кружка не способенъ былъ оказать помощь, да и врядъ ли особенно близко принималъ къ сердцу точное опредѣленіе цвѣта своей партійной фizioноміи. Онъ просто сочинялъ пьесы изъ купеческаго быта и русской исторіи, не мудрствуя лукаво и полагаясь на силу своего великаго дарованія. Восторги ему были обезпечены и у Григорьева, и у Добролюбова. Только *Отечественныя Записки*, безнадежно хирѣвшія въ мертвомъ прекраснѣйшемъ и благопристойности, воображали видѣть въ Островскомъ врага новой просвѣщенной Россіи, преднамѣреннаго изобразителя грязной дѣйствительности. Патриотизмъ Краевскаго, столь успѣшно вдохновленный начальствомъ, коснулся по «идеальнымъ чертамъ» въ лицахъ и дѣйствіи и печаловался объ односторонности драматурга.

Но Островскій могъ смѣло не считаться съ этими укоризнами:



авѣзда его всходила быстро и побѣдоносно, и ему не было дѣла ни до чужихъ рецензентовъ, ни до своихъ домашнихъ идеологовъ. Онъ скорѣе нуждался въ бесѣдахъ съ московскимъ молодымъ купцомъ Шанинымъ: тотъ снабжалъ его множествомъ любопытныхъ чертъ изъ замоскворѣцкаго быта и характерными выраженіями, украшающими такой своеобразной силой комедіи Островскаго. А что касалось «знамени», его могли водружать и защищать другіе, на это и призванные. Островскій, помимо блестящаго таланта, былъ полезенъ еще и тѣмъ, что усердно приобрѣталъ *Москвитянину* молодыхъ сотрудниковъ. Онъ, напримѣръ, ввелъ Алмазова и, можетъ быть, помогъ сближенію Эдельсона, своего близкаго пріятеля, съ Погодинымъ.

Кружокъ, по словамъ Григорьева, отличался чрезвычайнымъ энтузіазмомъ. Всѣ трепѣтали восторгомъ предъ неограниченными перспективами истинно-національной славной дѣятельности. Казалось, всѣ они находились въ какомъ то особомъ лирическомъ мірѣ и пѣли хоромъ торжественные гимны въ перемежку съ русскими народными пѣснями. Во имя чего, собственно, звучали эти гимны—яснаго отчета не отдавала ликующая компанія и довольствовалась чрезвычайно звучными, но столь же смутными по смыслу словесными мотивами.

Изъ всѣхъ героевъ молодого *Москвитянина* самыя подробныя свѣдѣнія о невозвратномъ прошломъ оставилъ Григорьевъ. Послушайте, что это за исторія и попробуйте составить точное представленіе о мысляхъ и убѣжденіяхъ историка и его близкихъ.

Предъ нами не простой разсказъ, а стремительная вдохновенная исповѣдь. Рѣчь ведетъ не просто бывшій сотрудникъ бывшаго журнала, а предается воспоминаніямъ нѣкій влюбленный, пережившій чарующій образъ своихъ мечтаній.

«О мой старый *Москвитянинъ* зеленого цвѣта, *Москвитянинъ*, въ которомъ мы тогда крѣпко, общинно соединенные, такъ смѣло выставляли знамя самобытности и непосредственности, такъ честно и горячо ратовали за единство—правое и святое дѣло! О время пламенныхъ вѣрованій, хотя и смутныхъ, время жизни по душѣ и по сердцу!...»

Вы видите, авторъ искрененъ: одновременно съ пламенемъ онъ не забываетъ о смутѣ. Такъ онъ могъ судить на пространствѣ многихъ лѣтъ, когда его взоръ на прошлое прояснился и въ золотой дали ему открылась подлинная историческая правда. Но эта даль и теперь кажется достаточно увлекательной, чтобы хо-

тѣтъ ея возврата. Она лучшее воспоминаніе Григорьева за всю жизнь, и онъ часто забываетъ объ ея туманѣ, ему мечется въ глаза одинъ блескъ и былой орлиный полетъ его молодости.

Въ краткой автобіографіи, найденной послѣ смерти критика, возникновеніе молодой редакціи излагается вполне точно и иначе, насколько событіе касалось самого Григорьева.

«Явился Островскій и около него, какъ центра, кружокъ, въ которомъ *нашлись* всѣ мои дотогѣ смутныя вѣрованія».

*Нашлись*—подчеркиваетъ авторъ, слѣдовательно, онъ пришелъ къ самопознанію и началъ развивать для всѣхъ ясныя и доступныя истины? Такъ можно заключить, и ждать съ вѣрою рѣшительныхъ откровеній восторженнаго бойца. Онъ, дѣйствительно, удовлетворить ожиданія, но посмотрите какъ?

«Есть вопросъ и глубже, и обширнѣе по своему значенію всѣхъ нашихъ вопросовъ, и вопроса (каковъ цинизмъ?) о крѣпостномъ состояніи, и вопроса (о ужасъ!) о политической свободѣ. Это вопросъ о нашей умственной и нравственной *самостоятельности*. Въ допотопныхъ формахъ этотъ вопросъ явился только въ покойникѣ *Москвитянинѣ* 50-хъ годовъ,—явился молодой, смѣлый, пьяный, но честный и блестящій дарованіями (Островскій, Писемскій и т. д.). О, какъ мы тогда пламенно вѣрили въ свое дѣло, какія пророческія рѣчи лились, бывало, на попойкахъ изъ устъ Островскаго, какъ безбоязненно принималъ тогда старикъ Погодинъ отвѣтственность за свою молодежь, какъ сознательно, не смотря на пьянство и безобразіе, шли мы всѣ тогда къ великой и честной цѣли!..» <sup>112)</sup>

Въ высшей степени краснорѣчивое признаніе! Попробуйте со-  
виѣстить пьянство и сознаніе, пророчество и равнодушіе даже къ крѣпостному состоянію, блестящую и честную цѣль и руководительство Погодина! Въ особенности обратите вниманіе на *самостоятельность* и непосредственность. Это—краеугольные камни новаго святилища. Чтѣ начертано на этихъ камняхъ, мы не знаемъ. Извѣстно намъ только, что съ Григорьевымъ «внятно, ласково» говорили старыя стѣны стараго Кремля и обвиняло его «что-то растительное» <sup>113)</sup>. Богѣ ясныхъ указаній мы не добьемся, а между тѣмъ какая страстная рѣчь, какая неподдѣльная искренность чувства и какая рѣшительность совершать свой путь среди «чего-то» подъ невнятный говоръ неодушевленныхъ предметовъ.

<sup>112)</sup> *Иб.*, сентябрь, 36, 45, 12.

ИСТОРИЯ РУССКОЙ КРИТИКИ.

У юныхъ пророковъ, конечно, хватило воображенія воодушевить стѣны Кремля, но рѣшительно не доставало силъ и логики переложить вѣявїя стараго духа на общепонятный, убѣдительный языкъ. И на великое горе молодой редакціи ея даровитѣйшій публицистъ самою природою былъ созданъ такъ, чтобы самые реальные предметы обвивать романтическимъ полумракомъ и разсудокъ подмѣнять лирикой.

## XV.

Въ исторіи русской литературы немного такихъ незадачныхъ, можно сказать, трогательныхъ личностей, какъ Аполлонъ Григорьевъ. Прислушайтесь къ отзывамъ современниковъ, даже дружественныхъ ему, вы непремѣнно составите о пламенномъ критикѣ менѣе всего *почтенное* представленіе. Это—смѣшной энтузіастъ, плохо отдающій отчетъ въ предметахъ своего восторга и безпрестанно попадающій впросакъ.

Погодинъ его не уважаетъ, хотя и признаетъ нѣкоторый талантъ. Отзывъ профессора очень мѣткій, къ сожалѣнію неудобный для печати: смыслъ его—полная безотчетность идей и чувствъ Григорьева <sup>114)</sup>.

Бывшій сотрудникъ *Москвитянина* и членъ молодой редакціи Алмазовъ при всякомъ удобномъ случаѣ изощряетъ свое остроуміе надъ прежнимъ главой редакціи. И портретъ выходитъ очень непредставительный: «взоръ изступленный», «Медузой вдохновенный», и въ заключеніе рисунокъ во весь ростъ:

Мраченъ ликъ, взоръ дико блещетъ,  
Умъ отъ чтенья извращенъ,  
Рѣчь парадоксами хлещетъ...  
Се Григорьевъ Аполлонъ!..

Практическій выводъ хуже всѣхъ рисунковъ: Григорьева нельзя безъ *контроля* допустить ни въ одинъ журналъ. Это могъ сдѣлать только Достоевскій Михаилъ—«невинное созданіе» <sup>115)</sup>.

Это допущеніе произойдетъ уже въ послѣдніе годы Григорьева, но и оно будетъ въ сущности обидой, и Алмазову не слѣдовало удивляться невинности Достоевскихъ. Фѣдоръ Достоевскій, примиряясь съ сотрудничествомъ Григорьева въ журналѣ *Время*,

<sup>113)</sup> Мартъ, 132.

<sup>114)</sup> Барсуковъ. XI, 88.

<sup>115)</sup> Алмазовъ. Сочиненія. М. 1892. II, 326, 369, 451.

счелъ необходимымъ предложить маленькую «хитрость»,—именно печатать статьи Григорьева безъ подписи. Хитрость вызывалась его «дурнымъ положеніемъ въ литературѣ», и публику интриговали: пусть она сначала оцѣнитъ глубину произведеній, а потомъ уже узнаетъ имя автора <sup>116)</sup>.

Вотъ до чего дошло! Григорьева нельзя было показывать публикѣ, какъ критика: иначе, оказывалось, вѣрное средство заставить читателей не разрѣзывать статей за подписью *А. Григорьева*. Естественно, злополучный писатель жестоко обидѣлся, и кажется едва вѣроятнымъ, что рассказчикъ факта могъ усмотрѣть въ обидчивости только «недовѣріе и мнительность»! Такъ судили о настроеніяхъ Григорьева его ближайшіе друзья и уже послѣ его дѣятельности въ *Москвитянинѣ*.

И чѣмъ же заслужилъ Григорьевъ подобное отношеніе?

Жизнь его—настоящая исторія не «скитальчества», какъ онъ самъ ее называлъ, а подлинныхъ мучительныхъ мтарствъ.

По окончаніи университетскаго курса онъ становится литераторомъ, печатаетъ стихи въ *Москвитянинѣ*, пробуетъ служить въ одной изъ петербургскихъ канцелярій, но не выноситъ *стыда* механической работы и предпочитаетъ перебиваться переводной и компилятивной работой во второстепенныхъ петербургскихъ изданіяхъ. Но онъ уже и теперь *чужакъ*, по отзывамъ товарищей, и *фанатикъ*—по личному признанію. Но больше всего онъ романтикъ и идеалистъ. Онъ совершенно искренне громитъ Ваала, Веліара и другія божества человѣческихъ «мерзостей», заявляетъ о своемъ гордомъ исканіи истины, о равнодушіи къ личному счастью, о пламенной вѣрѣ въ человѣческую душу. Все это, несомнѣнно, особенно *стра*, потому что столь лирическія рѣчи пишутся Погодину и сооружаются юношескимъ объясненіемъ въ любви къ любимому наставнику. Это очень кстати! Именно Погодинъ достойно оцѣнитъ и рыцарство, и гордость, и ненависть къ «филістеріи» и «къ раздвоенію мышленія и жизни».

Онъ докажетъ остроту пониманія немедленно, лишь только Григорьевъ обратится къ нему съ просьбой о помощи,—отнюдь не даровой,—съ просьбой дать работу въ *Москвитянинѣ*, какую угодно, на шесть листовъ, по десяти рублей листъ. Погодинъ, конечно, согласится, но сугубо примется держать наивнаго энтузіаста въ черномъ тѣлѣ. И вполнѣ по заслугамъ! Зачѣмъ онъ такъ скромно, съ чисто дѣтской наивностью говорить о своихъ писаніяхъ?

<sup>116)</sup> Сообщение Н. Стратова. *Эпоха*. 1864, сентябрь, 16—7.

Затѣмъ онъ сравниваетъ себя 'съ «честной воевой лошадыю» и неукоснительно подтверждаетъ хозяину, что можетъ работать «за весьма умѣренную плату, какъ волъ». Разъ самъ человѣкъ такъ ставить себя, чего же съ нимъ церемониться? Пусть умоляетъ о каждомъ рублѣ, на мольбы можно отвѣчать поученіями, а то и прямо хозяйскимъ окрикомъ <sup>117)</sup>.

И Погодинъ не скупится на ничего не стоющія ему приношенія. Положеніе Григорьева не улучшается и при молодой редакціи. Нужда его душитъ, работа валится изъ рукъ, издатель держитъ его даже на посылкахъ и все-таки правильно заводитъ въ свой *Дневникъ*: «Досада отъ Григорьева, приставаго за деньгами» <sup>118)</sup>. Григорьевъ, по прежнему, пишетъ вопіющія письма, умоляетъ Погодина пристроить его на какое-либо мѣсто, «пособить выбиться», «не кинуть его»: онъ еще пригодится!..

Это сплошной вопль, и отъ кого-же? Перваго критика славянофильскаго лагеря, перваго, по крайней мѣрѣ, по признанію самихъ славянофиловъ, и во всякомъ случаѣ автора самыхъ талантливыхъ критическихъ страницъ въ *Москвитянинѣ*. При этомъ надо помнитъ, — Погодинъ платилъ очень немногимъ сотрудникамъ, различая семейныхъ и несемейныхъ: однимъ полагалось 15 р. за листъ, другимъ шесть. И такихъ счастливыхъ было всего трое — Эдельсонъ, Григорьевъ и Алмазовъ. Большинство ничего не брало.

И все-таки шестирублевый Алмазовъ считаетъ долгомъ отличить Погодина отъ Краевского: тотъ «выжалъ Бѣлинскаго, какъ апельсинъ, и выкинулъ за окошко» <sup>119)</sup>. Любопытно, чѣмъ же отличался московскій издатель отъ петербургскаго? Краевскій, по крайней мѣрѣ, во время выжиманія оплачивалъ потъ и кровь своихъ воловъ, Погодинъ не считалъ нужнымъ и этого.

Послѣ прекращенія *Москвитянина* начались уже непрерывныя скитальчества. Григорьевъ на короткіе сроки пристраивается къ разнымъ изданіямъ или—скоротечной судьбы, или весьма второстепеннаго качества. Часто разрывы слѣдуютъ неожиданно, или потому, что «не сошлись», или потому, что редакторъ посягнетъ на «личность» критика, т. е. вымараетъ «дорогія ему имена» или попытается перетянуть въ «приходъ». Выборъ постепенно съу-

<sup>117)</sup> Письма Григорьева у Барсукова VIII, 37, 298; IX, 440 etc; XI 396—7.

<sup>118)</sup> *Гл.*, XII, 223, 293.

<sup>119)</sup> *Гл.*, XII, 213.

живался, на сцену выступали новые люди, съ побѣдоносной ясно-стью положительныхъ и жизненныхъ идей, а чудакъ оставался все тѣмъ же романтикомъ и созерцателемъ. Въ немъ издавна развивалась «съ ужасающею силою жизнь мечтательная», и онъ никогда не думалъ отрезвиться отъ этого развитія. Съ каждымъ годомъ онъ становился все болѣе чужимъ окружающей дѣйствительности и литературѣ, «человѣкомъ ненужнымъ». Такъ онъ самъ себя называетъ и не перестаетъ повторять: «струя моего вѣянія отшедшая, отзвучавшая» и друзья должны удостовѣрить фактъ: «Григорьевъ въ совершенномъ загонѣ»<sup>120)</sup>.

Мы еще встрѣтимся съ этой агоніей. Она—весьма существенная черта на картинѣ шестидесятихъ годовъ. Пока для насъ достаточно видѣть, сколько незаслуженныхъ невзгодъ обрушивалось на нашего критика въ теченіе всей его жизни. Конечно, на взглядъ строгаго судьи Григорьевъ не безъ вины. Ему слѣдовало твердо запомнить, что неприкосновенность его личности ювсё не священная заповѣдь для его покровителей и доброжелателей, что его философское и романтическое отношеніе къ первымъ потребностямъ существованія—преступленіе и безуміе въ глазахъ людей солидныхъ и опытныхъ, что рѣшительно никому нѣтъ дѣла до его юношескихъ исканій абсолюта, до мистическихъ и вдохновенныхъ созерцаній. Григорьевъ пожиналъ то, что сѣялъ. Онъ понялъ свою ненужность въ шестидесятые годы. Онъ былъ ненуженъ гораздо раньше. Онъ гордившійся *органической* неспособностью сказать что-либо противъ своего убѣжденія, онъ, готовый поднимать бурю изъ-за редакторскаго пренебреженія къ любимымъ его писателямъ, былъ лишнимъ и безпокойнымъ человѣкомъ въ эпоху повальнаго приспособленія, всеобщей готовности подальше и поуютнѣе запрятать личность и малѣйшія пожеланія на самостоятельность.

Только развѣ съ яснымъ и безпощадно-последовательнымъ умомъ Бѣлинскаго, съ его фанатической страстью къ нравственной личной неприкосновенности и свободѣ можно было побѣдоносно раздѣливаться со всевозможными рожами, со всѣхъ сторонъ обступавшими писателя дореформенной Россіи. А у Григорьева ровно столько же было энергіи, добрыхъ стремленій сколько неспособности къ самоопредѣленію, даже къ уясненію своихъ задушевнѣйшихъ думъ и идеаловъ.

<sup>120)</sup> *Эпоха*, 1864, май, 147, сентябрь 20, 4. Ср. Аверкіевъ о Григорьевѣ, *Гл.*, августъ, стр. 11.

Онъ глубоко могъ чувствовать и многое понимать, но и чувства и идеи оставались вдохновенными мимолетными вспышками. Они, будто искры, вспыхивали и тонули въ вѣчномъ туманѣ неясненныхъ цѣлей и коротко-душныхъ порывовъ.

Психологію Григорьева успѣлъ опредѣлить еще Бѣлинскій. Онъ крайне бережно, даже сердечно отзывался объ его стихотвореніяхъ, не нашелъ въ нихъ поэзіи, но встрѣтилъ несомнѣнную искренность, отголоски сильныхъ чувствъ и серьезной умственной дѣятельности. Но эта искренность не мѣшала странной, противостественной апопеезѣ страданія, не удерживала поэта отъ громогласныхъ вскриковъ о «гордости страданья», о «безумномъ счастьи страданья» и не разоблачала передъ нимъ менѣе всего почтенной роли краснорѣчиваго страдальца въ неудачныхъ притязательныхъ стихахъ.

Бѣлинскій не могъ не распознать основной черты нравственной природы Григорьева. Она неизмѣнно сопутствовала ему и какъ критику. «Дѣлая себя героемъ своихъ стрихотвореній,—писалъ Бѣлинскій,—онъ только путается въ неопредѣленныхъ и безвыходныхъ рефлексіяхъ и ощущеніяхъ».

Та же способность запутываться не только въ рефлексяхъ, но даже въ выраженіяхъ непосредственныхъ впечатлѣній, та же нетвердость и затаенная неувѣренность поступи, при видимой наличности отваги и даже героизма, не оставила Григорьева до конца его литературной дѣятельности.

И трагизмъ положенія еще повышался съ теченіемъ времени, когда Григорьевъ путемъ многочисленныхъ опытовъ долженъ былъ придти къ безнадѣжному выводу о своей неизлѣчимой нравственной безпомощности, о своемъ безсиліи подчинить порывы своего пылкаго воображенія и страстнаго чувства упорядочивающей силѣ умственнаго анализа и воздвигнуть прочное идейное зданіе на такой, повидимому, блестящей, и неистощимой вереницѣ вдохновеній и подчасъ дѣйствительно удивительныхъ критическихъ интуицій.

Другіе поняли этотъ трагизмъ, конечно, еще раньше, и жизнь безусловно талантливаго, благороднаго и въ литературномъ смыслѣ на рѣдкость образованнаго писателя вышла какой-то нервно-надорванной, удручающе-мучительной съ весьма немногочисленными промежутками ясности духа и удовлетворенія сердца.

## XVI.

Въ признаніяхъ Григорьева есть одно особенно пылкое изліяніе. Оно—вѣрнѣйшій ключъ къ таланту автора, какъ критика, къ сущности его художественныхъ воззрѣній и къ его идеальнымъ запросамъ въ области литературы. Мы приведемъ эти строки; болѣе краснорѣчивой общей характеристики намъ не дадутъ никакія соображенія и выводы на основаніи статей Григорьева. Въ отрывкѣ говорится о ранней молодости, но авторъ здѣсь же припоминаетъ другую эпоху своей жизни, гораздо позднѣйшую, и сознается въ тѣхъ же пережитыхъ чувствахъ. Природа оставалась неизмѣнной, неистребимой ни властью глѣть, ни вліяніемъ опытовъ.

«Отчего жъ это бывало,—спрашиваетъ Григорьевъ,—въ пору ранней молодости и нетронутой свѣжести всѣхъ физическихъ силъ и стремленій, въ какое-нибудь яркое и дразнящее, но зовущее весеннее утро, подъ звонъ московскихъ колоколовъ на Святой—сидишь весь углубленный въ чтеніе того или другого изъ безумныхъ искателей и показывателей абсолютнаго хвоста... Сидишь, и голова пылаетъ, и сердце бьется не отъ вторгающихся въ раскрытое окно съ ванильно-наркотическимъ воздухомъ призывовъ весны и жизни... а отъ тѣхъ громадныхъ міровъ, связанныхъ цѣлостью, которые строитъ органическая мысль, или тяжело мучительно роешься въ возникшихъ сомнѣніяхъ, способныхъ разбить все зданіе старыхъ душевныхъ и нравственныхъ вѣрованій... и физически болѣешь, худѣешь, желтѣешь отъ этого процесса... О! эти муки и боли души, какъ онѣ были отравительно сладки! О! эти бессонныя ночи, въ которыя съ рыданіемъ падалось на колѣни съ жаждою молиться и мгновенно же анализомъ подрывалась способность къ молитвѣ—ночи умственныхъ бѣснованій вплоть до разсвѣта и звона заутренъ—о! какъ онѣ высоко подымали душевный строй!» <sup>121)</sup>.

Пусть читатель не думаетъ, будто это стихотвореніе въ прозѣ заключаетъ въ себѣ хотя бы одну риторическую фразу. Григорьевъ въ совершенно искреннихъ порывахъ доходилъ и не до такихъ лиризовъ, вплоть до мистической вѣры въ чудеса и мгновенное раскрытіе отъ вѣка скрытыхъ тайнъ <sup>122)</sup>. Иногда

<sup>121)</sup> Эпоха, мартъ, 131.

<sup>122)</sup> Ср. рассказъ Н. Страхова. Эпоха, сентябрь, 38.



искусственное возбужденіе нервовъ и воображенія приходило на помощь странному таланту Григорьева, но и независимо отъ внѣшнихъ случайностей—экстазъ и стремительный вопль страстного чувства всегда готовы были одушевить его рѣчь.

Теперь представьте, съ какими запросами онъ подойдетъ къ литературѣ, ея исторіи и критикѣ. Онъ искрененъ до послѣдней степени, ему и на мысль не придетъ восхвалять или порицать людей на основаніи какихъ бы то ни было политическихъ соображеній. У него нѣтъ партійной злобы и полемическихъ разсчетовъ. Правда, онъ иногда броситъ рѣзкимъ словомъ въ Добролюбова: ему, естественно, ненавистенъ всякій намекъ на матеріализмъ, но въ этой ненависти нѣтъ личнаго озлобленія, это скорѣе лирическій порывъ оскорбленнаго чувства, чѣмъ воинственное нападеніе публициста. И Григорьевъ здѣсь же готовъ отдать все должное новому направленію мысли и представить такія лестныя смягчающія обстоятельства даже для его крайнихъ увлеченій, что въ противномъ лагерѣ немедленно должны отпустить всякую вину подобному врагу. Тѣмъ болѣе, что онъ неумолимъ съ нѣкоторыми «своими», не вызывающими у него сочувствія и уваженія.

Съ какой, напримѣръ, силой обрушится онъ на *Маяк* и *Домашнюю Бесѣду*, этихъ патріотовъ-опричниковъ! Они—обожатели застоя, существующаго факта, они защищаютъ китаизмъ, на всякій протестъ смотрятъ, какъ на злодѣяніе и преступленіе, не престанно вопіютъ *vae victis!* и, подъ предлогомъ патріотизма и народности, оправдываютъ возмутительнѣйшія явленія стараго быта.

Критикъ волнуется и негодуетъ, когда въ этомъ чумномъ лагерѣ видитъ честнѣйшаго и наивнѣйшаго Загоскина. Онъ знаетъ, патріотическій сочинитель попалъ въ компанію Бурачка и Аскоченскаго по невинности сердца, но состраданіе къ ближнему не мѣшаетъ критику по достоинству оцѣнить позорную шайку <sup>123)</sup>.

Съ другой стороны, Григорьевъ не пожалѣетъ восторженныхъ словъ о людяхъ рѣзко-западническаго направленія. Мы слышимъ неоднократно о честности и мужествѣ Чаадаева. Григорьевъ понимаетъ его драматическую психологію, ему ясно, что «пустынная, одѣобразная и печальная, какъ киргизская степь, русская жизнь» могла вызвать крикъ отчаянія именно у искреннаго патріота, и не суду подлежить это отчаяніе, а скорѣе, вдумчивому сожалѣнію и оправданію. Другіе западники удостоиваются еще болѣе горячаго сочувствія.

<sup>123)</sup> *Сочиненія*. Спб. 1876, стр. 581—7 etc.

Полевой именуется «даровитѣмъ до гениальности самоучкой», онъ «предводитель» молодого поколѣнія. Григорьевъ перечитываетъ *Очерки русской литературы* съ умилеи́емъ къ даровитой, жадной свѣта личности автора, всѣмъ обязаннаго самому себѣ. Онъ не можетъ безъ боли въ сердцѣ вспомнить о вынужденномъ крутомъ поворотѣ журналиста на другую дорогу, о его борьбѣ съ голодомъ, о безвыходныхъ лишеніяхъ, заставлявшихъ работать у Сенковского. И съ какой проникательностью нашъ критикъ умѣетъ отмѣтить существенную черту въ личности и дѣятельности Полевого: «демократъ по рожденію и духу».

Одно это опредѣленіе сдѣлало бы великую честь автору, но онъ идетъ дальше. Онъ осмѣливается заявить о культурныхъ достоинствахъ *Исторіи русскаго народа*, онъ цѣнитъ въ ней «отрывки мѣстностей, національностей», поправныхъ Карамзинымъ во славу абсолютной государственной идеи.

Имѣются, конечно, и большія недостатки въ публицистикѣ Полевого, главный—недостаточное пониманіе Пушкина и позднѣйшій квасной патріотизмъ. Но что значать эти укоры предъ уничтожающей сатирой надъ врагами Полевого—«омерзительными» идолопоклонниками Карамзина, «дрянными котурнами и полинявшими бланжевыми чулками», сочинявшими статьи «площадного цинизма» на *Исторію* Полевого! Что значать обличенія русскаго романтизма въ слѣпотѣ предъ грознымъ портретомъ одного изъ типичнѣйшихъ старцевъ, автора *Московскихъ элѣй*! «Фамусовъ, дошедшій до лирическаго упоенія, до гордости, до помѣшательства на весьма странномъ пунктѣ, на томъ именно, что Аркадія единственно возможна подъ двумя формулами, барства съ одной и назойства съ другой стороны, это Фамусовъ, явно и по рефлексіи презирающій народъ и въ купечествѣ, и въ сельскомъ свободномъ сословіи»<sup>124</sup>).

Какого же размаха и жара достигнетъ рѣчь критика, когда онъ начнетъ рисовать личность Бѣлинскаго и перечислять его заслуги! Предъ нами одинъ изъ самыхъ восторженныхъ поклонниковъ неистоваго Виссаріона, привѣтствующій будто родную себѣ душу и исполненный счастья отъ собственныхъ привѣтствій и восхищеній.

Для Григорьева Бѣлинскій—«великій учитель», «могущественный борецъ». Его идеи «навѣки нерушимы», и для нашего критика

<sup>124</sup>) *Тб.*, 511—2; *Эпоха*, мартъ, 137, 147—8, 150, 145, 149.

«смирненное назначеніе» и гордость — продолжать дѣло Бѣлинскаго въ художественной критикѣ. Но всего этого мало.

Григорьевъ увѣнчиваетъ Бѣлинскаго роскошнѣйшими лаврами, какіе онъ только можетъ придумать. «Пламенная любовь къ правдѣ и рѣдкая самоотверженная способность натуры устоять предъ правдою мысли»; эти личныя черты Бѣлинскаго заставляютъ критика забывать о нравственныхъ и общественныхъ разногласіяхъ съ нимъ. Бѣлинскій параллель къ Пушкину: одинъ *сила*, другой — *сознаніе*. А для Григорьева Пушкинъ — «наше все», на какой же высотѣ мысли и общественнаго значенія долженъ стоять критикъ, если его можно сравнить съ подобнымъ поэтомъ? <sup>125)</sup>

И Григорьевъ цѣлыя страницы выписываетъ изъ статей Бѣлинскаго, потому что лучше Бѣлинскаго трудно выразить красоту и силу искусства, потому что онъ по таланту и свойствамъ своей натуры во всякое время стоялъ бы во главѣ критическаго сознанія. Григорьевъ оберегаетъ честь своего учителя отъ неразумныхъ, по его мнѣнію, послѣдователей.

Они не хотятъ знать цѣльнаго, полнаго Бѣлинскаго. Они усвоили изъ его положеній только потребное имъ для данной минуты, ухватились за *послѣдній* моментъ его развитія и принялись «перевывавать шелуху» <sup>126)</sup>.

Григорьевъ мѣтитъ въ защитниковъ тенденціозности и въ новыхъ публицистовъ, равнодушныхъ къ художественнымъ красотамъ искусства. Онъ исполненъ гнѣва на превознесеніе дѣйствительности предъ творчествомъ и не желаетъ, чтобы такое кощунство опиралось на авторитетъ Бѣлинскаго.

.И критикъ правъ.

Мы знаемъ, Бѣлинскій отнюдь не думалъ посягать на искусство, свою защиту не художественныхъ, но полезныхъ литературныхъ произведеній считалъ односторонностью и политикой, необходимой по исключительнымъ общественнымъ условіямъ. Григорьевъ правъ, выдвигая на первый планъ глубокую поэтичность самой природы Бѣлинскаго, правъ и въ своемъ недовольствѣ на нѣкоторыхъ шестидесятниковъ, воспользовавшихся *односторонностью* Бѣлинскаго и превратившихъ его въ исключительнаго проповѣдника не-художественной тенденціозной литературы. Самъ Бѣлинскій, конечно, не призналъ бы своимъ послѣдователемъ Писарева и про-

<sup>125)</sup> *И.*, 413—4, 194, 301—2, 238.

<sup>126)</sup> *И.*, 413, 623—4.

тестовалъ бы противъ настоящаго утвержденія «реалистовъ», будто они даже въ разрушеніи эстетики развиваютъ его принципы.

Все это справедливо, но понималъ ли цѣльнаго Бѣлинскаго самъ Григорьевъ? У него было достаточно искренности и благороднаго неистовства—разгадать *личную* психологію Бѣлинскаго, но его *писательскій* геній и его литературное наслѣдство, требовало отъ судьи и истиннаго послѣдователя больше, чѣмъ способности восхищаться и говорить правду,—особаго склада ума и столь же неуклоннаго и всесторонняго логическаго мышленія, какимъ обладалъ самъ Бѣлинскій.

Изъ личныхъ признаній Григорьева мы знаемъ, что именно этихъ средствъ врядъ ли было достаточно въ его рыцарской и даровитой натурѣ. Именно умъ его отличался не столько ясностью и логичностью, сколько нервностью и горячностью. Это умъ романтика, всегда опережаемый воображеніемъ и послушный чувству, часто неуловимо-увлекательнымъ совершенно фантастическимъ призракамъ.

Мы слышали отъ Григорьева восторженные гимны во славу непосредственности, органическаго міра, грунта, почвы. Это отголоски чисто-поэтическаго влеченія къ природѣ, простотѣ, къ процессу свободной дѣйственной жизни. Влеченіе для поэта вполне законное и чреватое многими вдохновенными мотивами. Съ другой стороны не менѣе основательна и вражда Григорьева къ чистымъ теоріямъ, не желающимъ считаться съ жизнью и живымъ міромъ.

Но непосредственность и абстрактность—одинаково крайности и источники заблужденій. Чистая непосредственность, ничто иное, какъ дикость и животность,—стихи, совершенно не уживающіяся не только съ теоріями, а даже съ болѣе или менѣе развитыми чувствами и облагороженными инстинктами. Въ свою очередь, фанатическая теоретичность—явный признакъ мертвенности нравственной природы и бесплодности, часто даже вредоносности представлений чистаго теоретика о дѣйствительности и его покушеній осуществлять ихъ.

Это азбучныя истины, подтверждаемыя ежедневнымъ опытомъ. Но какъ разъ для уроковъ и опыта и невоспримчива романтическая душа нашего критика. Бѣлинскій пережилъ полосу такой же невоспримчивости, но очень кратковременную и далеко не столь *закаленную*. Отвлеченный фанатизмъ ни на одну минуту не вытравилъ изъ его сердца нервовъ, чуткихъ къ свѣту и холоду внѣшняго міра. А въ послѣдствіи непосредственное и идейное слились въ міросозерцаніе жизненнаго и дѣятельнаго идеализма.

Григорьевъ до конца оставался на односторонности, противоположной теоретическимъ увлеченіямъ своихъ недруговъ—шести-десятниковъ. Непосредственное, стихійное, органическое подавляло его воображеніе неизглаголанной таинственностью и неотразимой мощью. Даже слово *органический* звучало для него какъ-то особенно соблазнительно, наравнѣ съ *почвой* и *жизнью*. Онъ выбивался изъ силъ надъ созданіемъ *органической критики* и не уставалъ умиленно или восторженно твердить: «органическія явленія», «органическій взглядъ», «непосредственное чутье», «тихое и поэтическое однообразіе жизни», а тамъ ужъ слѣдуютъ «почва», «высокія вѣковыя преданія», «коренныя народныя созерцанія», и въ заключеніе «ярыжно-глубокіе» и «глубоко-ярыжныя», по выраженью критика, контрасты: вѣчные идеалы и «поклоненіе послѣднему моменту», «типовое бытіе» и «милолетная злоба дня», «единный идеалъ» и случайные «кумирики», «чувство массы» и тенденціозные идеалисты.

Такова непрерывная цѣпь мыслей и понятій, берущая начала въ поэтическомъ культѣ непосредственности. Мы, видимо, безъ всякихъ особенныхъ усилій со стороны нашего энтузіаста, въ цѣпи могли оказаться звенья весьма сомнительнаго идейнаго достоинства, а главное, крайне смутнаго значенія. Что такое «вѣчные идеалы» и какъ опредѣлить чувство массы, а главное, какъ къ нему отнестись во имя тѣхъ же вѣчныхъ идеаловъ?—это и глубокіе, и еще болѣе ярыжныя вопросы. И вотъ ихъ-то, какъ заранѣе рѣшенные, критикъ положилъ въ основу своей эстетики.

## XVII.

Обычная судьба всѣхъ недосыгаемо-выспреннихъ или необъятно-широкихъ отвлеченныхъ положеній—совершенное банкротство въ практическомъ приложеніи. Стоить только метафизическаго орла или морализирующаго ангела поставить предъ лицомъ реальныхъ явленій и заставить считаться съ подлинной человѣческой природой и средой, немедленно обнаружится пусто-порожность величественныхъ формулъ и безцѣльность героическихъ полетовъ. Въ лучшихъ случаяхъ столкновеніе широковѣщательныхъ отвлеченій съ фактами завершается безнадежной смутой и безвыходными противорѣчіями мыслей и поступковъ философа.

Нашъ критикъ—завѣдомый врагъ теорій—создалъ рядъ са-

мыхъ отчаянныхъ абстрактныхъ понятій и, при первомъ же приложеніи ихъ къ литературѣ, сразу упалъ съ облаковъ въ весьма неприглядную «почву».

«Тихое поэтическое однообразіе жизни», «органическое развитие», какъ все это звучитъ красиво и въ стихахъ непременно достигло бы высшей цѣли чистаго искусства. Но въ критикѣ сладкіе звуки означаютъ слѣдующее:

Идеалъ художника долженъ идти рука объ руку съ *коренными началами* дѣйствительности. Цѣль искусства—органическое единство съ жизнью въ глубочайшихъ корняхъ сей послѣдней. Раздраженное отношеніе къ дѣйствительности *во имя претензій чело-вѣческаго самолюбія* хуже самаго тупого равнодушія къ язвамъ современности.

Остановитесь на этихъ изреченіяхъ и сдѣлайте выводы. Не спрашивайте у критика, что значить *коренныя начала* жизни и какъ отличить ихъ отъ не коренныхъ, какой писатель раздражается подѣ влияніемъ идеальныхъ запросовъ къ жизни или по внушенію *претензій самолюбія*,—всего этого критикъ не объяснитъ, и не можетъ объяснить. Всѣ выдвинутыя имъ понятія—относительны, а между тѣмъ имъ навязана роль абсолютныхъ истинъ. Практически немедленно вскрывается жестокое недоразумѣніе.

Протестъ личности наскучилъ всѣмъ смертельно и сталъ смѣшонъ. Отрицательная нота въ изображеніи дѣйствительности потеряла *въ настоящую минуту* всякую цѣнность.

Это пишется въ 1851 году, когда именно наклонность русскихъ писателей протестовать и отрицать менѣе всего нуждалась въ сдержкѣ и въ призывахъ къ умѣренности. И потомъ—*скука, комизмъ*... Достойны ли эти мотивы нашего критика, такого впечатлительнаго и съ такими возвышенными взглядами на искусство! И кто же это скученъ и смѣшонъ? Чьи отрицанія утратили всякую цѣнность?

Лермонтовскія, и комиченъ его герой,—Печоринъ.

Вы изумлены... Какъ писатель, самъ поэтъ, съ такими «безумными» порывами и вождѣніями объ орлиныхъ полетахъ, какъ онъ, «вдохновенный» и «изступленный», могъ ополчиться на пѣвца «Демона»? Какъ онъ могъ устоять предъ бурнымъ и жгучимъ дыханіемъ дѣйствительно органической страсти и силы, какими дышитъ и блещетъ геній Лермонтова?

Не только устоять, но даже наговорить такихъ трезвенныхъ рѣчей, что хотя бы въ пору любому филистеру и ищанину.

«Лермонтовъ не болѣе, какъ случайное повѣтріе, какъ миражъ иного, чуждаго міра; *правда* его поэзіи есть правда жизни мелкой по объему и значенію, теряющейся въ безбрежномъ морѣ иной жизни; *казнь*, совершаемая этою все-таки поэтическою правдою надъ маленькимъ муравейникомъ, въ отношеніи къ которому она справедлива, имѣетъ сколько-нибудь общее значеніе только какъ *казнь* одинокаго положенія этого муравейника» <sup>127</sup>).

Авторъ подчеркиваетъ слова *правда*, *казнь*, но не отдаетъ себѣ отчета въ ихъ истинномъ значеніи. Онъ говоритъ *муравейники* и думаетъ убить этимъ презрительнымъ выраженіемъ глубину и силу лермонтовской тоски и горечи. *Маленькій муравейникъ!* Да вѣдь во времена Лермонтова это—цвѣтъ такъ называемаго русскаго просвѣщеннаго общества! Это сливки интеллигенціи, могущественная соль земли, если не нравственно, то практически. Рядомъ съ ней, правда, жили и мучались Полевые и Бѣлинскіе, но они еще стояли на положеніи «невѣрныхъ» и «дикихъ». Только въ немногихъ избранныхъ находила отголосокъ ихъ рѣчь, по крайней мѣрѣ, до начала сороковыхъ годовъ, а все, что гордилось цивилизаціей, образованностью, что представляло власть официальную и общественную, то и было «муравейникомъ» и вызывало у поэта презрѣніе и злобу.

Конечно, съ точки зрѣнія даже, пожалуй, 1856 года и еще больше на взглядъ вообще историка русскаго прогресса жертвы лермонтовской злости совершенно ничтожны... Но не смертный ли грѣхъ критика предъ исторической перспективой на этихъ основаніяхъ правду одного изъ величайшихъ русскихъ борцовъ съ пошлостью и рабствомъ считать *мелкой*? Вѣдь тогда вообще правда всѣхъ сатириковъ и протестантовъ *мелка*. Въ настоящее время, на примѣръ, Собакевичи, Чичиковы, Сквозники-Дмухановскіе далеко не имѣютъ такого жизненнаго значенія, какимъ обладали полвѣка тому назадъ, а недалеко время, когда эти уродцы, можетъ быть, совсѣмъ станутъ ископаемыми. Тогда, слѣдовательно, и правду гоголевской поэзіи можно будетъ признать мелкой по объему и значенію? Надо обладать исключительной способностью впадать въ ослѣпленіе и безсознательно проповѣдывать вопіющую нравственную и историческую ересь, чтобы лермонтовское одиночество въ современномъ ему муравейникѣ свести къ безпредметной тоскѣ и безплодному отчаянію. Надо забыть рѣшительно все русское

<sup>127</sup>) *Тб.*, 58, 144—6, 50, 161.

доброе старое время, притомъ весьма еще недавнее, чтобы проглядѣть одну изъ захватывающихъ драмъ въ жизни гениальнаго поэта. Григорьевъ готовъ смѣяться сопоставленію Лермонтова съ Байрономъ. Смѣшно не сопоставленіе, а настроеніе критика. Конечно, русскіе аристократы, московскіе Чайльдъ-Гарольды не англійскіе лорды и петербургскій «свѣтъ» какой угодно эпохи комиченъ и жалокъ предъ великобританскимъ кентомъ. Но и ничтожество можетъ быть страшнымъ и мельчайшіе пошляки, подобно микробамъ, могутъ задушить даже настоящаго Байрона. Можно навѣрное сказать, петербургскій свѣтъ для Лермонтова, при всей прирожденной силѣ и талантѣ поэта, былъ гораздо болѣе опасный и неотвязчивый врагъ, чѣмъ англійское высшее общество для Байрона. А насчетъ средствъ, удобствъ и блистательныхъ эффектовъ борьбы русскаго дворянина и поручика нельзя и сравнивать съ великобританскимъ лордомъ и пэромъ.

Всего этого не сообразилъ критикъ, прекрасно знавшій предметъ. Также безотчетно обозвалъ онъ и Печорина «комическимъ лицомъ», «личнымъ безсиліемъ, поставленнымъ на ходули».

Мы уже говорили, — и для насъ Печоринъ не герой и не богатырь, но отсюда цѣлая пропасть до комизма и ходульнаго безсилія. Ксмиченъ человекъ, рыдающій и грызущій землю! Именно объ этой странной *двойственности* говорить критикъ, и проходить мимо, удовлетворившись ничего не говорящимъ словомъ. Смѣшные люди вовсе не отличаются двойственностью, да еще такой драматической, и кто способенъ рыдать и грызть землю, тотъ уже не щеголяетъ ходулями. Вопросъ, въ сущности, не представлялъ никакихъ затрудненій: стоило только подойти къ нему даже не съ глубокимъ психологическимъ анализомъ, а просто съ развитой чуткостью сердца и съ кое-какими свѣдѣніями по исторіи русскаго общества.

Даже меньше. Григорьеву надо было только соблюсти послѣдовательность и держаться строго логическихъ выводовъ изъ собственныхъ положеній.

Одна изъ оригинальныхъ его идей, подавшая поводъ къ многочисленнымъ журнальнымъ насмѣшкамъ, представленіе о *допотопныхъ* писателяхъ и типахъ. *Свистокъ* съ большой благодарностью принялъ удивительный терминъ и поспѣшилъ поднять его на смѣхъ.

Въ дѣйствительности, въ идеѣ заключался смыслъ и весьма любопытный. Критикъ желалъ выразить *органическое* развитіе



извѣстнаго таланта, или художественнаго образа. Все равно какъ для развитыхъ животныхъ организмовъ существуютъ формы первичнаго образованія, *допотопныя*, такъ и для талантовъ и типовъ одного и того же духовнаго склада и направленія. Напримѣръ, Марлинскій и Полежаевъ — таланты допотопной формации въ отношеніи къ Лермонтову. Типъ проходитъ нѣсколько цикловъ развитія раньше чѣмъ въ полной мѣрѣ разовьется свое внутреннее содержаніе и выльется въ соответствующую форму.

Идея—ясная, но Григорьевъ, по обыкновенію, затенилъ ее пессимомъ, «индійскими аватарами» и вызвалъ невольный смѣхъ. А между тѣмъ, разочарованіе героевъ Марлинскаго и самого Полежаева дѣйствительно нѣчто предшествующее для лермонтовской поэзіи. Слѣдовательно, Печоринъ—завершеніе цѣлой исторіи извѣстнаго типа, органическое явленіе, проходящее по нѣсколькимъ періодамъ русскаго общественнаго развитія. Слѣдовательно, въ немъ таится нѣчто вполне серьезное. Это несомнѣнно еще и по другимъ соображеніямъ, вытекающимъ также изъ прочувствованныхъ идей критика.

Среди восторженныхъ патетическихъ рѣчей во славу Пушкина Григорьевъ высказалъ одну яркую мысль, достойную вниманія. Она касается Бѣлкина. Смыслъ этого героя, по мнѣнію Григорьева, заключается въ борьбѣ простаго здраваго смысла и здраваго чувства, кроткаго и смиреннаго съ блестящимъ и страстнымъ типомъ, т. е. типомъ печоринской породы. Съ этого времени литература не перестанетъ изображать эту борьбу: Тургеневъ возьмется за нее въ *Рудинѣ*, продолжитъ въ *Дворянскомъ зыбѣ*: Лаврецкій первый изъ ненавистниковъ «тревожнаго начала», первый изъ преемниковъ Бѣлкина сброситъ съ себя зауганность и поднимется надъ чистымъ отрипаніемъ. Лежневу это еще не удавалось по отношенію къ Рудину. Лаврецкій первый начнетъ жить полною гармоническою жизнью <sup>128)</sup>.

Послѣднее врядъ ли справедливо. Но общій ходъ мысли критика не противорѣчитъ культурному смыслу названныхъ литературныхъ явленій. Лишній и разочарованный человѣкъ дѣйствительно постепенно вытѣснялся съ перваго плана сцены, и литературный фактъ соответствовалъ жизненному. Эта смѣна типовъ подмѣчена и Добролюбовымъ, только у него идетъ преемственность прямо отъ лишняго человѣка черезъ Рудина къ Лаврецкому <sup>129)</sup>.

<sup>128)</sup> *Иб.*, 227, 337—8, 252, 286, 406.

<sup>129)</sup> Въ статьѣ *когда же придетъ настоящий день. Сочиненія* III, 279.

Нельзя не признать проницательности взгляда въ данномъ случаѣ на сторонѣ Григорьева.

Онъ могъ бы въ подтвержденіе своей мысли привести множество примѣровъ именно борьбы блестящаго героя съ простымъ человѣкомъ. У Писемскаго этотъ контрастъ выступаетъ съ поразительной яркостью, вполне преднамѣренню. И, можетъ быть, именно излюбленный планъ повѣстей Писемскаго подсказалъ Григорьеву любопытную идею. Съ другой стороны даже поверхностныя наблюденія надъ общественными явленіями могли навести писателя на тотъ же выводъ. Разочарованные утрачивали обаяніе, по крайней мѣрѣ, на вершинахъ интеллигентности, весьма быстро. Къ половинѣ пятидесятихъ годовъ демонизмъ былъ дискредитированъ и развѣ только захоластыя мѣщанскія палестины могли еще служить благодарной сценой для демоническихъ спектаклей. А съ наступленіемъ новой полосы, съ развитіемъ жизненныхъ энергическихъ стремленій, съ обновленіемъ общественнаго и государственнаго строя, лишніе и разочарованные люди даже изъ прошлаго, когда они были лучшими людьми, съ трудомъ стали встрѣчать сочувственное вниманіе и справедливый судъ.

Но этотъ результатъ долженъ былъ получиться десятилѣтіями и Григорьевъ правъ, много разъ подчеркивая *борьбу*. Слѣдовательно, была же какая-то сила на сторонѣ блестящаго типа, и притомъ не ходульная, разъ люди здраваго смысла и чувства долго не могутъ отдѣлаться отъ страха и смущенія предъ своимъ неотразимымъ врагомъ?

Отвѣтъ не подлежитъ сомнѣнію. Лишніе люди и герои демонической складки, при всѣхъ отрицательныхъ и даже порочныхъ чертахъ, существеннѣйшее явленіе русскаго культурнаго быта и во многихъ отношеніяхъ *положительное*.

Оно первичное выраженіе протестующей мысли и оскорбленнаго чувства предъ пошлой и рабской дѣйствительностью. Какова она была въ годы особенно урожайные на героев разочарованія и злобнаго абсентизма, показываетъ идеальный *простой чело-вѣкъ* Писемскаго <sup>130)</sup>. Григорьевъ не далекъ отъ правильнаго пониманія этого идеала: «Писемскій,—говоритъ онъ,—пытался опозитивировать точку зрѣнія на жизнь губернскаго правленія».

Это не вѣрно: Писемскій искренне ненавидѣлъ жизнь губернскихъ правленій, но губернскихъ добрыхъ малыхъ весьма ува-

<sup>130)</sup> См. въ нашей книгѣ *Писемскій*, главы XXVI, XXVII.

жалъ и ихъ здравый смыслъ и простую душу ставилъ выше всякаго ума и просвѣщенія. Можно представить, какъ воплощали тотъ же идеалъ «допотопные» нааціоналисты въ родѣ Загоскина!

Что же ввело нашего критика въ такую смуту противорѣчій и неправдъ? Ничто иное, какъ его пристрастіе къ положительнымъ, почвеннымъ и примирительнымъ настроеніямъ. Для него искусство — религія, «высшее служеніе на пользу души человѣческой, на пользу жизни общественной», «откровеніе великихъ тайнъ души и жизни», «цѣльное, непосредственное разуміе жизни»<sup>131)</sup>, вообще недосыгаемо глубокій и всесовершенный духовный процессъ. Гдѣ же здѣсь мѣсто недовольству, возмущенію, протесту? Развѣ все это допустимо въ культѣ, въ священнодѣйствіи? Развѣ Байронъ и Лермонтовъ походили на величественныхъ мужей, ясныхъ и спокойныхъ, озаренныхъ всепримиряющей благодатью свѣта? Конечно, нѣтъ, и поэтому, дальше отъ ихъ поэзіи! Не даетъ истиннаго утѣшенія и Гоголь: въ прошломъ одинъ Пушкинъ, а въ настоящемъ — Островскій. Вотъ истинно-русскіе поэты-пророки!

## XVIII.

Островскій въ личной жизни и въ критикѣ Григорьева занимаетъ одинаково исключительное мѣсто. Это неумирающая страсть человѣка и писателя, молитвенное умиленіе, нескончаемыя жертвы восторговъ и славословій. Если Григорьевъ дѣйствительно «фанатикъ до сеидства», какъ онъ себя называетъ, то Островскій его пророкъ. Григорьевъ не умѣетъ опредѣлить, кто онъ — западникъ или славянофилъ, знаетъ только, что существуетъ одинъ человѣкъ, съ кѣмъ у него «все общее», въ комъ нашлись всѣ его вѣрованія — Островскій. Только онъ можетъ сказать и даже сказать уже *новое слово*. Безъ такого слова жить не можетъ критикъ и его счастье безмѣрно: *Бѣдная невеста* окончательно рѣшила вопросъ. «Новое, сильное слово» — произнесено<sup>132)</sup>.

Эти экстазы вызвали бурю насмѣшекъ. Григорьевъ поощрялъ насмѣшниковъ не только прозой, но и стихами. Они оказались на столько благодарными, что Добролюбовъ почти цѣликомъ выписалъ ихъ въ статьѣ *Темное царство* и эффектъ, дѣйствительно,

<sup>131)</sup> *Сочиненія*, 137, 406, 334.

<sup>132)</sup> *Эпоха*, мартъ, 132, сентябрь 12, 45. *Сочиненія*, 44.

выходилъ на столько желательный, что можно было поэзію даже не сопровождать никакими прозаическими примѣчаніями. Нѣкоторыя строфы стали знаменитыми, напримѣръ, гдѣ описывался восторженный трепетъ публики по слѣдующему поводу:

Любимъ Торцовъ предъ ней живой  
Стоитъ съ поднятой головой,  
Бурнусъ напаливъ обветшалый,  
Съ растрепанною бородой,  
Несчастный, пьяный, исхудалый,  
Но съ русской, чистою душой! <sup>133)</sup>

*Отечественныя Записки* еще раньше Добролюбова ополчились, съ точки зрѣнія вкуса, приличія и нравственности, на критику, идеализирующаго «пьяную фигуру какого-нибудь Торцова» <sup>134)</sup>.

Вылазка, въ свою очередь, не лишенная комизма, но все-таки ей далеко было до григорьевской лирики. Критикъ не смущался и шелъ своимъ путемъ. Это дѣлаетъ честь его мужеству, тѣмъ болѣе онъ все-таки достигъ извѣстной цѣли, хотя и не особенно блестящей.

Всѣмъ извѣстно, какую славу приобрѣли статьи Добролюбова о *Темномъ царствѣ* и о *Лучѣ свѣта въ темномъ царствѣ*. Мы встрѣтимся съ этими статьями и увидимъ, что онѣ дѣйствительно заслуживали вниманія, по чрезвычайно искусному своду жизненныхъ явленій, представленныхъ художникомъ, и энергическому отпору всевозможнымъ журнальнымъ кривотолкамъ, вызваннымъ произведеніями Островскаго.

Добролюбовъ былъ, вполнѣ правъ, указывая, какъ мало сдѣлали даже восторженные почитатели Островскаго для уясненія его таланта. Павосъ Григорьева виталъ въ недостигаемой области лирики, а на противоположномъ полюсѣ, въ *Отечественныхъ Запискахъ* пѣли отходную только что разцвѣтавшему дарованію. Критикъ «Современника» явился единственнымъ вдумчивымъ и безпристрастнымъ толкователемъ. Если бы пожелалъ, онъ имѣлъ бы основаніе впасть въ преднамѣренные поиски либеральныхъ идей въ пьесахъ Островскаго, потому что *Русская Бесѣда*—журналъ патріотическій и славянофильскій, успѣлъ сочувственно открыть въ комедіи *Не такъ живи, какъ хочется*, идеализацію домостроевскихъ семейныхъ порядковъ.

<sup>133)</sup> Стихи напечатаны въ *Москвитянинѣ*. 1854, IV.

<sup>134)</sup> *Отч. Записки*. 1854, VI.

Критикъ удержался отъ оппозиціи и предоставилъ самому Островскому говорить за себя, т. е. попытался извлечь изъ произведеній художника прямые и естественныя заключенія, не насилуя и не передѣлывая смысла творчества и не подсказывая автору своихъ воззрѣній. «Художественную правду» Добролюбовъ даже противопоставилъ «внѣшней тенденціи», «воспроизводителя явленій дѣйствительности», «теоретика» и заранѣе оговорился: «мы не придаемъ исключительной важности тому, какимъ теоріямъ художникъ слѣдуетъ. Главное дѣло въ томъ, чтобъ онъ былъ добросовѣстенъ и не искажалъ фактовъ въ жизни въ пользу своихъ воззрѣній: тогда истинный смыслъ фактовъ самъ собою выкажется въ произведеніи, хотя, разумѣется, и не съ такою яркостью, какъ въ томъ случаѣ, когда художнической работѣ помогаетъ и сила отвлеченной мысли» <sup>125</sup>).

Это ничто иное, какъ пересказъ извѣстныхъ намъ идей Бѣлинскаго и онъ показываетъ, какъ мало у Добролюбова было желанія проявлять партійную нетерпимость и умышленную политику на художественной литературѣ. И его статьи о *Темномъ царствѣ* спокойное и скромное подведеніе итоговъ, намѣченныхъ самими пьесами.

Григорьевъ напалъ на толкованія Добролюбова. Раздраженіе было весьма полезно для энтузіаста и одонисца. До статей *Современника* Григорьевъ славословилъ, изрекалъ пророчдательскія опредѣленія, рѣялъ въ нѣкоемъ золотистомъ и розовомъ туманѣ. Самыя опредѣленные заявленія критика не заходили дальше слѣдующихъ откровеній:

«Новое слово Островскаго есть самое старое слово—народность: новое отношеніе его есть только прямое, чистое, непосредственное отношеніе къ жизни».

Въ другой разъ критикъ это отношеніе можетъ назвать «идеальнымъ міросозерпаніемъ съ особеннымъ оттѣнкомъ», а оттѣнокъ этотъ ничто иное, какъ «коренное русское міросозерпаніе, здоровое и спокойное, юмористическое безъ болѣзненности, прямое безъ увлеченій въ ту или другую крайность, идеальное, наконецъ, въ справедливомъ смыслѣ идеализма, безъ фальшивой грандіозности или столько же фальшивой сентиментальности» <sup>126</sup>).

Можно признать эти выраженія не столь непроницаемыми, ка-

<sup>125</sup>) *Сочиненія*, III, 78.

<sup>126</sup>) *Сочиненія*. 63, 119.

кими ихъ считалъ Добролюбовъ. Можно усмотрѣть нѣкоторый опредѣленный смыслъ въ юморъ безъ болѣзненности, въ идеализмъ безъ аффектаціи, т. е. въ добродушіи и простотѣ. Но эти симпатичныя черты вовсе не образуютъ міросозерцанія, онѣ скорѣе свидѣтельствуютъ о темпераментѣ идеалиста, чѣмъ о содержаніи идеализма. Ими можетъ быть одаренъ писатель, нисколько не похожій на Островскаго по природѣ и таланту. Развѣ юморъ Гоголя болѣзненный и развѣ этотъ художникъ страдаетъ грандіозностью и сентиментальностью? Добродушія у Гоголя, пожалуй, было больше, чѣмъ у автора *Бѣдной невесты* и *Свои люди—сочтемся*.

Слѣдовало бы пойти дальше и выполнить именно задачу Добролюбова: попытаться извлечь жизненный смыслъ изъ фактовъ творчества Островскаго. Самъ Добролюбовъ не притязалъ на непогрѣшимость своихъ выводовъ и ставилъ ихъ въ зависимость отъ развитія таланта драматурга. Григорьеву слѣдовало направить свою критику на *ошибочность* взглядовъ *Современника*, а не вообще противъ желанія идейно осмыслить дѣятельность поэта.

А между тѣмъ письма къ Тургеневу *Послѣ «Грозы» Островскаго*—лучшія статьи Григорьева. Въ нихъ нѣтъ ни головкружительныхъ отступленій, ни неумѣстныхъ лирическихъ беспорядковъ, нѣтъ и специально свойственнаго нашему критику словеснаго молодечества и разгильдяйства, придающаго его статьямъ какой-то напряженно разухабистый характеръ. Критикъ, будто сверхъ своихъ силъ беретъ вполне свободный тонъ, но какъ разъ въ самыхъ удалыхъ фразахъ и героически-небрежныхъ оборотахъ чувствуется затаенная немощъ мысли и бѣдность изобрѣтательности. Краснорѣчивѣйшіе образчики—письма къ Достоевскому—*ипрадоксы органической критики*. Писались они въ худшую пору жизни Григорьева, одновременно съ приступами горькаго отчаянія и неизлѣчимой нравственной агоніи. Григорьевъ будто старался *перекричать* свою внутреннюю боль, широтой жестовъ замаскировать невольные судороги страждущей природы, и впадалъ въ какой-то надорванный, полу-торжествующій, полу-стонущій пафосъ.

То же самое встрѣчается верѣдко и въ другихъ статьяхъ Григорьева: жизнь, съ перваго до послѣдняго дня не бывшая для него родной матерью, налагала тяжелыя тѣни и на его слово. Но письма къ Тургеневу выдаются изъ всѣхъ произведеній критика—ясностью содержанія, твердостью и трезвостью формы и даже нѣкоторымъ полемическимъ искусствомъ. Григорьевъ будто

подтянулся и собралъ всѣ силы своего таланта и логики, обращаясь къ первостепенному современному художнику и направляя свое перо противъ вліятельнѣйшей современной критики.

Что же удалось Григорьеву сказать поучительнаго и прочнаго даже при такихъ исключительныхъ обстоятельствахъ?

Григорьевъ особенно недоволенъ однимъ обстоятельствомъ: зачѣмъ Добролюбовъ превратилъ Островскаго въ сатирика? Зачѣмъ онъ навязалъ «народному» художнику борьбу съ темнымъ царствомъ? Это значитъ впадать въ теорію, растягивать жизнь на прокустовомъ ложѣ.

Обвиненіе является, по меньшей мѣрѣ, страннымъ. Добролюбовъ усердно отрещивался отъ теорій и всяческихъ отвлеченныхъ насилій надъ дѣломъ художника. Онъ только *объяснялъ*, и вдругъ прокустово ложе!

Значитъ Григорьевъ не понялъ или не хотѣлъ понять статей своего противника? Мы думаемъ, ни то, ни другое, а нѣчто гораздо болѣе существенное: Григорьевъ *не могъ*, по складу своей патетической и созерцательной природы, допустить какого бы то ни было вмѣшательства идей и логики въ заповѣдную область его религіи, т. е. искусства. Малѣйшее посягательство анализировать *органическое* созданіе вдохновеннаго генія въ его глазахъ преступленіе, теоретическій фанатизмъ, преступленіе въ родѣ анатомированія живого тѣла.

И посмотрите, во что превратились для него образцово-скромныя попытки Добролюбова! Тотъ раздѣлилъ темное царство на *самодуровъ* и *забитыхъ личностей*. Здѣсь даже ничего нѣтъ оригинальнаго, нарочито выдуманнаго для Островскаго. Только другія наименованія для *героевъ* и *жествъ*, *побѣдителей* и *побѣжденныхъ* во всякой литературной и житейской драмѣ. Но Григорьевъ возмущенъ и навязываетъ критику «почти что» сочувствіе Липочкѣ, какъ протестанткѣ, и даже Матренѣ Савишнѣ и Марѣ Антиповнѣ, попивающимъ съ чиновниками мадеру на вольномъ воздухѣ.

Что эти замоскворѣцкія львицы-протестантки — несомнѣнно; таковы ихъ положенія въ самихъ пьесахъ. Но что бы ихъ «протестантизмъ» заслуживалъ почтенія — это вымыселъ обиженнаго критика. Добролюбовъ тщательно постарался доказать, какъ глубоко распространяется нравственный ядъ въ темномъ царствѣ, какъ одинаково смертельно отравляетъ онъ и торжествующихъ, и униженныхъ. Въ Липочкѣ Добролюбовъ не могъ, разумеется,

не распознать «наклонности къ самому грубому и возмутительному деспотизму», а по поводу другихъ протестантокъ подробно говорить о *религии лицемерства*. Статьи Добролюбова, какъ увидимъ, далеко не совершенство въ смыслѣ психологической проникательности, но Григорьевъ изобрѣлъ совершенно небывалые проступки критика и на нихъ построилъ свою положительную оцѣнку таланта Островскаго.

Онъ желаетъ доказать, что драматургъ «объективный поэтъ», а не сатирикъ, что русскій быть взятъ у него «поэтически, съ любовью, съ симпатіею очевидными», даже «съ религіознымъ культомъ существенно-народнаго». Островскій не «сатирикъ», а «народный поэтъ».

Уже изъ сопоставленія этихъ опредѣленій ясна давно знакомая намъ истина: для Григорьева поэзія непремѣнно симпатія, любовь, восторгъ. Всякое отрицаніе не поэтично уже потому, что оно отрицаніе, а въ рускомъ міросозерцаніи сатира, очевидно совершенно неестественное явленіе, какъ «раздражительное отношеніе къ дѣйствительности».

Вотъ, слѣдовательно, первоисточникъ обиды! Островскій, конечно, противъ самодурства, но это отрицательная черта его творчества и для него унижительна: должна быть положительная, и она существуетъ: въ поэзіи «существенно-народнаго». Мы съ особеннымъ интересомъ ждемъ объясненія, что же именно у Островскаго существенно народно и достойно религіознаго культа? Неужели Любимъ Торцовъ?

Оказывается, да. У него критикъ находитъ «могучесть натуры», «высокое сознаніе долга», «чувство человѣческаго достоинства», однимъ словомъ, всѣ личныя и гражданскія добродѣтели. Одно только обстоятельство тщательно обходится: прежде всего разсказъ самого Любима о своей жизни, весьма мало свидѣтельствующій о могучести натуры, а потомъ странный фактъ: необходимость столь богато одаренному представителю существенно-народнаго пройти путь добровольныхъ нравственныхъ униженій и ни въ какомъ смыслѣ не возвышенныхъ и не достойныхъ приключеній. Онъ, конечно, по человѣчеству достоинъ сочувствія, такъ же какъ и Любовь Гордѣевна—добрая, ограниченная наслѣдка замоскворѣцкаго курятника, но неужели обѣ эти фигуры могутъ вдохновить поэта на лирическую любовь и религіозныя чувства? Стихи Григорьева, вызванныя Любимомъ Торцовымъ, одинъ изъ рѣдкихъ образчиковъ восторга невпадать и врядъ ли самъ Остров-



скій могъ раздѣлить искренность и непосредственность своего поклонника.

А между тѣмъ, обладая критикъ болѣе развитымъ самообладаніемъ, онъ могъ бы не впасть въ столь неблагодарную роль. Въ той же статьѣ, наполненной недоразумѣніями, Григорьевъ высказываетъ одну чрезвычайно меткую мысль, ускользнувшую отъ Добролюбова. Критикъ бросаетъ ее мимоходомъ: явное доказательство, что анализу онъ не придавалъ большого значенія. Перечисляя «горькое и трагическое» темнаго царства—невѣжество, ненависть къ просвѣщенію, критикъ, между прочимъ, бросаетъ выраженіе «отупѣлая земщина». Она «въ лицѣ глупаго мужика Кита Кытыча предполагаетъ въ Сахарѣ Сахарычѣ власть и силу написать такое прошеніе, по которому можно троиخъ человекъ въ Сибирь сослать, и въ лицѣ умнаго мужичка Неуѣденова справедливо боится всего, что не она—земщина».

Это случайное замѣчаніе критикъ могъ бы развить въ широкую, совершенно оригинальную картину взаимныхъ отношеній темной земщины и всякаго рода власти, самодуровъ и «стрикулистовъ». Картина даже не затронута Добролюбовымъ, а между тѣмъ ожесточенная война земщины съ тѣмъ, что не земщина, одна изъ самобытныхъ драмъ самобытнаго русскаго міра. Стоитъ вспомнить искренній, но жестокий смѣхъ добродушнаго и неглупаго Андрея Титыча надъ «стрижками», прямо изъ сердца вылетающій вопль его отца о «вашемъ братѣ», т. е. о тѣхъ же «стрижкахъ», ужасъ отца и сына предъ дѣлами, какія съ ними дѣлаютъ эти шуки темнаго царства, достаточно этихъ воспоминаній, чтобы представить едва ли не ядовитѣйшую основу многочисленныхъ насилій и безобразій замоскворѣцкихъ деспотовъ-рабовъ. Григорьевъ приближался къ этому «горькому и трагическому», но на одно мгновеніе: поиски за поэзіей и примиреніемъ опять увлекли его въ восторженные, но совершенно безплодные восклицанія: «чувство массы», «существенно-народное», «объективный поэтъ». Въ результатъ, если Добролюбовъ не исчерпалъ таланта Островскаго «теоріей» темнаго царства, то и Григорьевъ съ своими романтическими порывами не могъ особенно помочь публикѣ понимать и любить новое художественное дарованіе.

Это настоящая драма: быть всецѣло во власти могучаго глубокаго чувства и не уметь заразить имъ другихъ. Мы понимаемъ негодованіе критика на жалобы своихъ читателей, будто его статьи

отличаются «непонятностью» <sup>137)</sup>. Это очень обидно, особенно для такого «фанатика». Но читатели были правы. Статьи не только страдали неясностью изложенія, но обличали поразительную путаницу мысли. До появленія критики шестидесятниковъ путаница не такъ замѣтна. Критикъ съ наслажденіемъ витаетъ въ области лирики, сторицей вознаграждая себя эстетическими восторгамъ за обиды дѣйствительности.

Но лишь только раздались голоса новыхъ людей, одушевленныхъ жгучими, настойчивыми запросами къ живой пѣлесообразной энергіи въ литературѣ и въ жизни, Григорьевъ сбился съ ноты. Онъ, разумѣется, вступилъ въ борьбу съ вандалами искусства, но пѣсня его была заранее спѣта, и—что особенно трагично—спѣта благодаря особенно личному благородству и страстной любви къ литературѣ.

## XIX.

Мы знаемъ въ общихъ чертахъ, какое дѣйствіе оказало движеніе шестидесятыхъ годовъ на преемниковъ Бѣлинскаго: оно или застало всѣхъ этихъ эпикурейцевъ и эстетиковъ врасплохъ и въ конецъ пригнело землѣ, будто свѣжій сильный вѣтеръ сухую омертвѣвшую траву, или преобразовывало ихъ изъ легкомысленныхъ туристовъ въ глубокомысленныхъ рыцарей чистаго искусства. Мы увидимъ, обѣ роли близко родственны по своему смыслу и различаются только по манерѣ и тону игры.

Съ Григорьевымъ произошло нѣчто другое. Попасть въ число жалкихъ онъ не могъ: въ немъ до конца жило достаточно страсти къ старому кумиру, а страсть вѣрное спасеніе отъ пошлости и мизерабельности. Еще менѣе Григорьевъ могъ ограничиться спокойнымъ и благопристойнымъ сладкогласіемъ о самодовлѣющей красотѣ. Не наступилъ обновленія въ самой жизни, критикъ, можетъ быть, и упивался бы лирическими созерцаніями. Но когда кругомъ развертывались и шумѣли свѣжія силы, когда со всѣхъ сторонъ звучали самоувѣренныя и искреннія рѣчи, фанатикъ не выдержалъ и, по своей обычной стремительности, поспѣшилъ отдать справедливость чужой правдѣ и чужой силѣ.

Это вполне естественно со стороны горячаго поклонника Бѣлинскаго. Но еѣдъ и Чернышевскій, и Добролюбовъ чтитъ въ великомъ критикѣ своего учителя. Слѣдовательно, Григорьевъ могъ

<sup>137)</sup> Сочиненія. 451.

бы столкнуться съ ними, по крайней мѣрѣ, ужиться? На самомъ дѣлѣ, именно торжество подлинныхъ учениковъ Бѣлинскаго переполнило горькую жизненную чашу нашего критика, и они подчасъ вызывали у него или крикъ смертнаго отчаянія, или воинственный вопль непримиримой вражды и даже презрѣнія.

И столь, повидимому, странное явленіе неизбѣжно.

Григорьевъ основательно укорялъ крайнихъ послѣдователей новой «реальной» критики въ половинчатомъ пониманіи Бѣлинскаго. Они брали у своего предшественника публицистическую сторону его таланта и забывали, а то даже подвергали порицанію чисто-литературную, художественно-критическую. Григорьевъ поступалъ какъ разъ наоборотъ.

Какъ «наглый гуманистъ», — это его выраженіе о себѣ самомъ <sup>138)</sup>, — онъ съ теченіемъ времени опредѣлилъ предѣлы, до какаго онъ признаетъ Бѣлинскаго, именно до второй половины сороковыхъ годовъ <sup>139)</sup>. Мы знаемъ, что это значить. Критикъ не желаетъ знать о тѣхъ нравственныхъ и общественныхъ обязательствахъ, какія Бѣлинскій возлагалъ на искусство. Замѣйте, Бѣлинскій вовсе не желалъ развѣнчивать непосредственной силы въ творчествѣ, совершенно напротивъ; но для нашего гуманиста уже достаточно легкаго публицистическаго прикосновенія къ священному кумиру, чтобы смутиться и вознегодовать.

И опять не менѣе грубое недоразумѣніе, чѣмъ въ полемикѣ съ Добролюбовымъ. Мы указывали на неполное представленіе Григорьева о національномъ и народномъ ученіи Бѣлинскаго. Кромѣ того, Бѣлинскій виноватъ еще въ одномъ грѣхѣ: онъ уничтожалъ «все непосредственное, прирожденное въ пользу выработаннаго духомъ, искусственнаго».

Это чистая клевета. Въ основаніи идей Бѣлинскаго послѣднихъ лѣтъ лежитъ то самое убѣжденіе, какое онъ энергически выразилъ въ письмѣ къ Кавелину.

«Безъ непосредственнаго элемента все гнило, абстрактно и безжизненно, такъ же, какъ при одной непосредственности все дико и нелѣпо» <sup>140)</sup>.

Такое превратное пониманіе идей Бѣлинскаго и своевольное прѣзываніе ихъ, привело Григорьева къ безвыходному противорѣчію.

<sup>138)</sup> *Эпоха*, мартъ, 130.

<sup>139)</sup> *Сочиненія*, 642.

<sup>140)</sup> Григорьевъ. *Иб.*, 569. — Письма Бѣлинскаго, Р. М. 1892, янв., 115.

Наканунѣ шестидесятихъ годовъ и въ самомъ началѣ ихъ Григорьевъ будто рѣшился идти на уступки.

Дорожа вѣчнымъ, презирая временное, восхищаясь непосредственностью, примиренностью и органичностью вплоть до идеализаціи Обломова, Григорьевъ рѣшился признать естественность вражды нѣкоторыхъ людей къ Обломову и обломовщинѣ. «Современныя обстоятельства» вполне оправдываютъ эту несправедливость. Критикъ въ порывѣ новаго увлеченія въ обломовцевъ зачисляетъ и Лаврецкаго, и Лизу, и приводитъ чей-то «оригинально-прекрасный взглядъ» на Обломова, какъ на «перлѣ въ толпѣ», какъ на «хрустальную прозрачную душу» и даже какъ на *народнаго поэта*. Значить, и Островскій, сказавшій новое слово, тотъ же обломовецъ, и критикъ смѣло честь Обломова объявляетъ во-просомъ войны съ прогрессивнымъ лагеремъ <sup>141)</sup>.

Но Григорьевъ понимаетъ и противоположное чувство. «Наша напряженная и рабочая эпоха» заставляетъ приступать къ «невиннымъ чадамъ творчества и фантазіи», съ весьма сильными и дѣйствительными чувствами любви и вражды. Еще Савонаролла, сжигая Мадоннъ итальянскихъ художниковъ, понималъ спасительное или гибельное дѣйствіе искусства на людей. И Григорьевъ беретъ подъ свою защиту теоретиковъ, «честную теорію, родившуюся вслѣдствіе честнаго анализа общественныхъ отношеній и вопросовъ», и жестоко обрушивается на дилеттантовъ. Это одна изъ любопытнѣйшихъ и самыхъ горячихъ отповѣдей критика. Ни одинъ шестидесятникъ не могъ рыцарственнѣе защищать тенденцію и издѣваться надъ чистымъ искусствомъ.

«Теоретики,—говоритъ Григорьевъ,—рѣжутъ жизнь для своихъ идоложертвенныхъ требъ, но это имъ, можетъ быть, многого стоитъ. Дилеттанты тѣшатъ только плоть свою и какъ имъ въ сущности ни до кого и ни до чего нѣтъ дѣла, такъ и до нихъ тоже никому не можетъ быть въ сущности никакого дѣла. Жизнь требуетъ рѣшеній своихъ жгучихъ вопросовъ, кричитъ разными своими голосами, голосами почвы, мѣстностей, народностей, настроеній нравственныхъ въ созданіяхъ искусствъ, а они себѣ тянутъ вѣчную пѣсенку про бѣлаго бычка, про искусство для искусства и принимаютъ невинность чадъ мысли и фантазіи въ смыслѣ какого-то безплодія. Они готовы закидать грязью Занда за неприличную тревожность ея созданій, и манерою фламандской школы

<sup>141)</sup> Сочиненія, 414, 431, 421—3.

оправдывать пустоту и низменность взгляда на жизнь. То и другое имъ ровно ничего не стоитъ».

Григорьевъ повторяетъ мысль Бѣлинскаго, что искусство для искусства никогда не существовало, что теорія его появляется въ эпохи упадка, разъединенія утонченнаго чувства дилеттантовъ съ народнымъ сознаниемъ. Истинное искусство было и будетъ всегда народное, демократическое. Поэты—голоса массъ, глашатаи великихъ истинъ... <sup>142)</sup>.

Все это вполне ясно. Можно допустить *педагогическое* стремленіе въ искусство. Можно даже позволить ему служить интересамъ минуты, честно понятнымъ.

Такъ, повидимому, слѣдуетъ изъ оживленной рѣчи критика.

Нѣтъ. У него будто два сознанія и во всякомъ случаѣ два влеченія. Онъ не можетъ отрицать правъ жизни и гражданскихъ обязанностей художника, но свободное, себѣ довѣяющее искусство—какая плѣнительная идея! И критикъ такъ и не выбьется изъ подъ власти двухъ противоположныхъ силъ — въ *статьяхъ*, но въ личныхъ признаніяхъ, гдѣ будетъ говорить только его чувство,—прирожденное влеченіе одолѣетъ. Этого нельзя назвать неискренностью и двоедушіемъ: это естественный голосъ подавленнаго чувства, это невольная побѣда натуры надъ разсудкомъ.

И посмотрите, какъ грустно, безнадежно хоронить себя заживо «наглый гуманистъ»! Ему кажется, — гибнуть всѣ благородныя утѣхи человѣчества — религія, искусство, философія. Въ русской литературѣ принципиальный врагъ философіи, исторіи и поэзіи *Современникъ*. Григорьевъ признаетъ дѣятелей этого журнала людьми честными, но по временамъ его охватываетъ чувство омерзѣнія къ ихъ дѣятельности, вообще къ «россійской словесности». «Поэзія уходитъ изъ міра», — горькій вопль отверженнаго эстетика и онъ способенъ свою безпріютность, свою тоску топить въ винѣ, «пить мертвую», по его собственному признанію. Его изводятъ «муки во всемъ сомнѣвающагося сердца» и впереди онъ видитъ лишь одинъ мракъ и «приливы служенія лѣзу», т. е. ту же «мертвую».

Григорьевъ слишкомъ искрененъ и впечатлителенъ, чтобы не видѣть настоящаго смысла своего одиночества и безысходнаго томленія. «Не разобщаются люди съ современностью безнаказанно, какъ бы ни было искренне разобщеніе», — это неотразимый смерт-

<sup>142)</sup> *Иб.*, 458—9.

ный приговоръ несправимому прирожденному гуманисту въ эпоху напряженной жизненной работы. Единственное спасеніе — сойти со сцены и не ждать по собственной воли безцѣльной агоніи. Григорьевъ такъ и поступаетъ.

Онъ уѣзжаетъ изъ Петербурга въ глухую провинцію, превращается въ учителя русскаго языка и словесности оренбургскаго корпуса. Но именно отсюда ему приходится писать друзьямъ самыя горькія письма, потому что здѣсь, въ захолустѣ, онъ неожиданно еще глубже убѣдился въ торжествѣ новыхъ людей и новыхъ боговъ, и что его голосъ звучалъ бы теперь въ пустынѣ. Петербургскіе друзья менѣе были поражены извѣстіями Григорьева о великихъ завоеваніяхъ «теоретиковъ», и напрасно Страховъ, Достоевскіе пытались ободрять своего критика. Онъ могъ отвѣчать горячими любезностями Страхову, его таланту: оба пріятеля тѣшили только самихъ себя, все живое и юное шло мимо нихъ, удостаивая только изрѣдка пренебрежительной насмѣшки или мимолетнаго возраженія.

Григорьевъ это понималъ лучше другихъ, и благо ему было. Въ Оренбургѣ произошло событіе, окончательно доказавшее его органическое безсиліе бороться съ ненавистными теоретиками. Григорьевъ вздумалъ прочесть четыре публичныхъ лекціи о Пушкинѣ. Онъ сообщаетъ ихъ программу и рассказываетъ вкратцѣ о самыхъ чтеніяхъ.

Онѣ импровизировались, лекторъ «ни одной своей лекціи не обдумывалъ», это онъ самъ пишетъ и прибавляетъ еще, какъ онъ «пророчествовалъ» о побѣдѣ галилеянина, о торжествѣ царства духа» <sup>143)</sup>.

Можно представить, сколько поучительныхъ и въ особенности живыхъ идей вынесла публика изъ аудиторіи! Если статьи Григорьева на каждомъ шагѣ поражаютъ удивительнымъ колобродствомъ и разбросанностью мысли, что же выходило изъ его импровизаций?

Всѣмъ было понятно одно: авторъ ненавидѣлъ поколѣніе, не читающее ничего, кромѣ Некрасова. Но, къ сожалѣнію, Пушкинъ врядъ ли выигрывалъ послѣ защиты подобнаго адвоката. За Некрасовымъ стояла критика, вооруженная усовершенствованнымъ оружіемъ діалектики, практическаго смысла и несравненной прозрачностью мысли. А здѣсь изступленіе и вдохновеніе: плохо при-

<sup>143)</sup> *Эпоха*, сентябрь.

ходилось поэзии и философии послѣ такого зрѣлища, можетъ быть, даже хуже, чѣмъ до него.

Конецъ Григорьева—достойное заключеніе всей его «неземной» и больной жизни. Незадолго до смерти «ліэй» окончательно овладѣлъ волей несчастнаго. Онъ попалъ въ долговое отдѣленіе, его освободила какая-то сердобольная дама, черезъ четыре дня онъ умеръ, оставивъ «на память старымъ и новымъ друзьямъ» «краткій послужной списокъ» — рядъ бѣглыхъ замѣтокъ о многочисленныхъ скитальчествахъ и разочарованіяхъ, наполнявшихъ всю жизнь писателя.

Несомнѣнно, въ самой личности Григорьева таился неисчерпаемый источникъ всевозможныхъ житейскихъ невзгодъ. Вдохновенный романтикъ—не подходящій организмъ для почвы и атмосферы половины XIX-го вѣка, особенно русскаго. Но столь же очевидно, — въ лицѣ Григорьева умиралъ не только человѣкъ извѣстнаго нравственнаго склада, но глухла и омертвѣвала цѣлая струя чувствъ, настроеній, понятій. Изъ нихъ могла сложиться стройная система идей, эстетическое и философское міросозерцаніе. Мы видѣли, оно даже не преминуло заявить о себѣ устами самого Григорьева. Но, не смотря на всю стремительность и убѣжденность критика, публики могла уловить только кое-какіе обрывки идейнаго процесса, довольствоваться лиризмомъ, восклицательными знаками и многоточіями даже въ самыхъ жгучихъ вопросахъ современной литературы, поднятыхъ самимъ же критикомъ. Но даже и въ этихъ порывахъ не оказывалось выдержанности и стойкости. Публика внимала ожесточеннымъ нападкамъ на историческую критику, будто бы обрекающую искусство на «рабское служеніе жизни», то вдругъ ей громогласно заявляли объ ея правахъ искать смысла жизни именно въ художественныхъ созданіяхъ!

Какой выходъ избрать публикѣ?

Его указалъ самъ критикъ, своей судьбой, какъ писатель. Онъ съ теченіемъ времени все сильнѣе запутывался въ дилеммѣ, поставленной фактами современной жизни и влеченіями его личной природы, обнаруживалъ полное распадѣніе своихъ нравственныхъ силъ и кончалъ злобными вылазками противъ настоящаго и мистическими прорицаніями будущаго, одинаково не убѣдительными и наивными. И никакой «теоретикъ» не могъ бы измыслить болѣе внушительнаго приговора, чѣмъ это открытое, истинно-физическое самоосужденіе. Былая жизнь вянула и умирала отъ истощенія, отъ неприспособленности къ борьбѣ за существованіе.

Сподвижники Григорьева далеко уступали ему литературнымъ талантомъ и главное—любовью къ искусству и вѣрой въ него. Они и кончили нѣсколько иначе, но врядъ ли съ большей славой.

## XX.

Самымъ блестящимъ сотрудникомъ *Москвитянина* послѣ Григорьева явился Борисъ Алмазовъ, Погодинъ даже считалъ его болѣе полезнымъ для журнала, чѣмъ смѣшного и искренняго энтузіаста. Образование Алмазова закончилось первымъ курсомъ юридическаго факультета. Дѣятельное участіе въ любительскихъ спектакляхъ московскаго общества, мечты о славѣ актера, занятія поэзіей наполняли молодость будущаго критика и стихотворца. Обновленіе *Москвитянина*—важнѣйшее событіе въ жизни Алмазова и рѣшительный моментъ для его литературнаго призванія.

Въ письмѣ къ Погодину онъ чрезвычайно сильно характеризуетъ этотъ фактъ: «Вы сдѣлали для меня очень много: я вамъ обязанъ своимъ спасеніемъ. Когда я познакомился съ вами, меня мучила страшная жажда дѣятельности; я метался изъ стороны въ сторону, не зная, за что взяться; мнѣ хотѣлось борьбы, бороться съ пороками, съ развратомъ и злоупотребленіями, которыя я видѣлъ повсюду, отъ которыхъ отовсюду бѣжать и на которыя не находилъ средства сдѣлать нападеніе. Предсталъ случай...» <sup>144)</sup>.

И молодой поэтъ внесъ въ журналъ «страшный избытокъ энергіи и духовныхъ силъ». Такъ выражается авторъ письма, и мы съ особеннымъ интересомъ должны ждать широкаго размаха такихъ благородныхъ замысловъ и такой долго накопившейся мощи. Тѣмъ болѣе, что юноша усиленно подчеркиваетъ свое мужество и неуклонность въ правдѣ: «Я не люблю умѣренности»; «крайне смѣшно быть умѣренно правдиву, говорить правду въ половину», заявляетъ онъ и притязаетъ на безусловную честность въ литературѣ.

И подвиги дѣйствительно начались. Наканунѣ появленія на аренѣ битвы, новый витязь увѣрялъ Погодина, что онъ чувствуетъ «непреодолимое желаніе ругаться и драться со всѣмъ, что есть гриншлаго, басурманскаго въ нашей литературѣ и нашей жизни», что онъ на эту борьбу «обрекаетъ жизнь». Витязь выступилъ

<sup>144)</sup> Барсуковъ. XII, 213—4.



подъ забраломъ, подъ именемъ Эраста Благодравова, и произвелъ сильный эффектъ.

Цензура, солидные друзья почтеннаго редактора, даже веселые журналисты были поражены. Въ такомъ маститомъ органѣ науки и сановнаго патриотизма вдругъ появляется нѣчто въ родѣ фельетона! Въ нѣкоемъ храмѣ раздается школьническій смѣхъ и обнаруживаются явные посягательства позабавить публику пожалуй, даже на счетъ самихъ жрецовъ.

Цензоръ пропускалъ, но изумлялся снисходительности «почтеннѣйшаго Михаила Петровича»; это должно было огорчить издателя. Но энергичнѣе всѣхъ возмущился Писемскій: онъ прямо нашелъ остроуміе Эраста Благодравова «тупымъ» и считалъ непозволительнымъ «такъ дурачиться» на страницахъ такого серьезнаго журнала, какъ *Москвитяинъ*.

Но дѣло не въ дурачествѣ: Писемскій хватилъ черезъ край въ своей строгости. Дурачился и *Современникъ*, въ лицѣ многороднаго подписчика и особенно «новаго поэта», т. е. Панаева. Дружининъ прямо заявлялъ, что публикѣ «нравится фельетонная манера изложенія» <sup>145</sup>). Отчего же не удовлетворить этого вкуса, если нѣтъ читателей на серьезные статьи? Зло не въ фельетонѣ, а въ намѣреніяхъ фельетониста и въ содержаніи фельетона. Позже *Современникъ* изобрѣтетъ *Свистокъ*, усерднѣйшимъ «свистуномъ» явится Добролюбовъ, но отъ этого «дурачества» нисколько не потерпѣли первостепенныя идейныя задачи, какія преслѣдовались руководящимъ органомъ шестидесятыхъ годовъ. Несомнѣнно, даже выиграли. Въдѣ искони у мысли и просвѣщенія едва ли не больше противниковъ, заслуживающихъ презрительнаго или веселаго смѣха, чѣмъ патетическихъ рѣчей.

Горе Эраста Благодравова заключалось не въ фельетонной манерѣ, а въ пустотѣ и наивности смѣха. Ничего не можетъ быть жалче и мельче, какъ *невольное* простодушіе и непосредственная юношеская незлобивость и, такъ сказать, мелкоплаваніе въ сатирическихъ замыслахъ. Въ такихъ случаяхъ самъ авторъ становится смѣшнѣе своихъ жертвъ и строгіе читатели, въ родѣ Писемскаго, неудачное остроуміе могутъ обозвать тупымъ.

На самомъ дѣлѣ Благодравовъ вовсе не страдалъ тупостью: напротивъ, онъ не лишенъ находчивости, превосходно владѣетъ бойкимъ, часто остроумнымъ стихомъ, большой мастеръ на пародіи

<sup>145</sup>) Сочиненія. VI, 598.

и эпиграммы. Но всё заряды, весь блескъ тратятся или на совершенно ничтожные предметы, или направляются на несущественныя стороны лицъ и фактовъ, дѣйствительно стоящихъ осмѣянія.

Напримѣръ, первый же фельетонъ Алмазова, надѣлавшій шума, *Сонъ по случаю одной комедіи*, т. е. пьесы Островскаго *Свои люди—сочтемся*. Фельетону предпослано пространное «предувѣдомленіе». Оно посвящено характеристикѣ двухъ пріятелей автора X и Y, преимущественно направлено на «новаго поэта» и критика *Современника*. *Иксъ* и *Ирекъ*, легкомысленный франтъ и тяжеловѣсный ученый, притязали на сатирическія изображенія живыхъ всѣмъ извѣстныхъ лицъ. Погодинъ въ *Ирекѣ* увидѣлъ даже «нѣкоторыя свои черты» и вообще «своей братія»—ученыхъ, *Иксъ* явно разсчитанъ на Панаева, его беллетристику, шегольство и беззаботность. Ни тотъ, ни другой портретъ не представляютъ ничего язвительнаго: *Ирекъ*—утрированный педантъ съ уродливой таблицей росписанія своихъ занятій, а Панаевъ въ простыхъ отзывкахъ пріятелей и добродушныхъ насмѣшкахъ Бѣлинскаго—гораздо забавнѣе, чѣмъ въ каррикатурной живописи фельетониста. Панаевъ не только не почувствовалъ себя уязвленнымъ, но публично призналъ намеки на свою особу и заявилъ: «Эрастъ Благоднравовъ рискуетъ сдѣлаться моимъ фаворитомъ, если будетъ писать въ этомъ родѣ»<sup>146</sup>).

Самый *Сонъ* долженъ дать оцѣнку новому драматическому таланту. Авторъ и здѣсь уловляетъ смѣшное во всѣхъ направленіяхъ, издѣвается надъ «большимъ знатокомъ западной литературы», смѣется надъ неразумнымъ патріотизмомъ «любителя славянскихъ древностей», влагаетъ въ его уста чисто-младенческій восторгъ предъ русскими поговорками и даже словомъ «ужотка».

Несомнѣнно, въ погодинско-шевыревскомъ лагерѣ находились допотопные филологи и историки, весьма близко напоминавшіе фельетонную карикатуру. Насмѣшка надъ ними на страницахъ *Москвитянина* не лишена пикантности, но въ началѣ пятидесятыхъ годовъ это—стрѣльба изъ пушекъ по воробьямъ. Обновленному журналу, представлявшему цѣлую литературную и общественную партію, врядъ ли стоило заниматься съ такимъ усердіемъ уродствами доморощенныхъ чудищъ. Цѣлесообразнѣе было бы разобраться въ смутѣ журнальныхъ сужденій объ Островскомъ.

Фельетонистъ выполнилъ эту задачу менѣе всего оригинально.

<sup>146</sup>) *Современникъ*. 1851. май. Соврем. замѣтки, стр. 52.

Онъ изобразилъ «истиннаго художника», какъ «объективнаго поэта», съ міросозерцаніемъ спокойнымъ и терпимымъ, идеально-безпристрастнымъ.

Это и было эстетической вѣрой новаго критика. Она грозила даже поколебать славу Гоголя, какъ поэта чисто-отрицательнаго, по выраженію Григорьева, и по словамъ Благодрава, «одареннаго сильной, непреодолимой, *болтливой* ненавистью къ людскимъ порокамъ и людской пошлости» <sup>147)</sup>.

*Болтливость*, подчеркиваемая фельетонистомъ, ненавистна ему именно какъ черта — безпокойная, протестующая. Онъ, ничего не имѣлъ бы противъ сверхъ человѣческаго спокойствія, противъ уподобленія современнаго русскаго писателя пушкинскому гѣтописцу: Островскій и напоминаетъ Благодраву эту величавую фигуру, не вѣдающую ни жалости, ни гнѣва.

Таковъ девизъ новаго рыцаря, столь шумѣвшаго о своей страсти къ борьбѣ! Онъ считалъ свой идеалъ «истиннаго художника» *кличемъ*, «по которому должно воспрянуть *младшее* поколѣніе!» Богѣ стараго и наивнаго заблужденія не могло бы представить даже старшее поколѣніе. Можно судить, съ какими положительными результатами совершались наѣзды нашего богатыря на бусурманъ и пришельцевъ!

Благодравъ поставилъ себѣ задачей оберегать поэзію отъ покушеній *Современника* и въ частности отъ оскорбленій Новаго поэта. Петербургскій фельетонистъ дѣйствительно обнаруживаетъ часто веселость невпопадъ и острить совсѣмъ некстати. Даже мирный Грановскій, случалось, обзывалъ его «подлецомъ» и требовалъ отъ своихъ знакомыхъ, прекратить литературныя отношенія къ журналу <sup>148)</sup>. Правда, гнѣвъ вызывался обидой за честь пріятеля, но Панаевъ, по дилетантской свободѣ журнальнаго пера, касался весьма неосторожно и другихъ богѣ существенныхъ вопросовъ.

Веселость и фельетонный вздоръ, требуемый направленіемъ эпохи, толкнули Панаева на особый жанръ обязательнаго путешествія и безпардонной потѣхи. Онъ принялся писать пародіи, не щадя, конечно, по самому свойству задачи, ради остраго слова ни великихъ, ни малыхъ. Между прочимъ, онъ пародировалъ лирическое обращеніе Гоголя къ Россіи въ *Мертвыхъ Душахъ* и

<sup>147)</sup> Григорьевъ. *Сочиненія*, 240. Алмазовъ. *Сочиненія*. III, 573.

<sup>148)</sup> Въ письмѣ къ Погодину. Барсуковъ. XI, 381.

его страдальческія признанія въ «Перепискѣ съ друзьями». Онъ не отступилъ предъ искушеніемъ посмѣяться надъ «личной потребностью очищенія» и набросалъ веселый рядъ стишковъ на совершенно не смѣшную тему.

Фельетонистъ *Москвитянина* возмущился, но выбралъ совершенно неожиданный способъ казни. Онъ принялся доказывать, что Новый поэтъ не долженъ кичиться своимъ талантомъ и что онъ, Эрастъ Благодеровъ, также золотыхъ дѣлъ мастеръ и можетъ вывернуть наизнанку все, что угодно, и въ самыхъ бойкихъ речахъ. Дальше слѣдовали доказательства: пародія на стихотвореніе Лермонтова, Пушкина, Некрасова. Новый поэтъ соединялъ по два стихотворенія въ одну пародію, то же дѣлаетъ и его конкуррентъ. Соревнованіе выходило для любителей дѣйствительно забавнымъ, и славолубивый фельетонистъ изъ Москвы оказывался, пожалуй, побѣдителемъ въ достойномъ состязаніи. Но даже самые искренніе почитатели таланта совершенно не могли бы открыть, какое отношеніе имѣютъ московскія и петербургскія упражненія къ побѣдѣ «россійскихъ наукъ» надъ врагами и зачѣмъ собственно ихъ защитнику требовалось заявлять предъ началомъ битвы: «Я не боюсь никого!» Такого сорта поединки могутъ вести и не столь безстрашные рыцари: Новый поэтъ, по крайней мѣрѣ, не отставалъ отъ своего противника, но о своемъ мужествѣ и призваніи не кричалъ и не хвастался удачей.

Критическія сужденія Благодерова объ отдѣльныхъ писателяхъ мало замѣчательны. Онъ энергично нападаетъ на Гончарова за *Обыкновенную исторію*, за неправдоподобность романтическаго героя, Александра Адуева. Повидимому, это общее убѣжденіе молодой редакціи *Москвитянина*. Григорьевъ также потратилъ не мало краснорѣчія противъ искусственности контрастовъ въ романахъ Гончарова, противъ преднамѣренной живописи положительныхъ типовъ — Петра Адуева и Штольца. Краснорѣчіе очень основательное и мало оригинальное только потому, что наивный расчетъ Гончарова увѣнчивать и ниспровергать различными міросозерцаніями путемъ борьбы между героями противоположныхъ направленій рѣзко бросается въ глаза всякому читателю. Поэтический инстинктъ Григорьева не могъ не почувствовать ходульности здравомыслящаго резонера въ лицѣ Петра Адуева и умышленнаго приниженія его противника. Бѣлиискій вѣшалъ въ жиз-

<sup>149)</sup> Письмо къ Е. О. Коршу, 1864 года. Грановскій. II, 468.

ненность такой романтической фигуры, какую представляет Александр Адуевъ, и считалъ характеръ Петра Ивановича выдержаннымъ отъ начала до конца. Только съ эпилогомъ не могъ помириться критикъ и находилъ вопиющее насильственное нарушеніе первичнаго замысла въ перерожденіи обоихъ героев <sup>150)</sup>.

Но этого возраженія недостаточно. Романъ Гончарова, дѣйствительно, искусственъ съ самаго начала и ярко отражаетъ въ высшей степени мелкую, мѣщански-канцелярскую философію автора. Григорьевъ въ данномъ случаѣ правъ въ своихъ упрекахъ, правѣе своего великаго предшественника, подкупленного, очевидно, превосходной литературной формой романа, прекрасными частностями и особенно рѣзко выраженной критикой мечтательности и провинціальной поэтической безпомощности и праздности.

Благодуровъ даже указываетъ, что гончаровскій романтикъ составленъ по рецепту критики и вышелъ поэтому неестественнымъ. Кому извѣстны свойства таланта Гончарова и его отношенія къ литературѣ, какъ къ нравственной и общественной силѣ, тотъ врядъ ли повѣритъ въ самую возможность подобныхъ внушеній. Но и правильныя замѣчанія о романѣ Гончарова не придаютъ интереса и содержательности статьѣ критика. Въ редакціи, конечно, сочувствовали его неудовольствію на Некрасова за слишкомъ «непріятное впечатлѣніе» его стихотвореній, его рѣшительному протесту противъ женщинъ-писательницъ, но вся эта борьба дѣликомъ могла бы войти въ программу старой редакціи *Москвитянина*.

Критическая и стихотворческая дѣятельность Благодурова продолжалась и послѣ прекращенія погодинскаго изданія. Изъ нея видно, какъ мало могъ талантливыи пародистъ сообщить настоящей идейной жизни возрожденному журналу. Критикъ опускался все ниже, по направленію объективности; съ своей точки зрѣнія поднимался все выше и дальше отъ дѣйствительности и жизнетворческаго искусства.

Онъ написалъ очень большую статью о Пушкинѣ и извлекъ изъ таланта поэта только звуки сладкіе и молитвы. Съ этой цѣлю и написана статья. Читатели могли почувствовать себя снова въ самомъ разгарѣ самаго идиллическаго романтизма. Они вновь видѣли образъ поэта, — совершенно неземного, загадочно-страннаго существа, капризнаго до полной неумовимости

<sup>150)</sup> Бѣлинскій. *Сочиненія*. XI, 412 etc.

его мыслей и настроений. Все поглощено вопросами о прогрессѣ, о цивилизаціи, о матеріальномъ совершенствованіи жизни, а поэтъ тоскуетъ о первобытныхъ временахъ. Смертные прославляютъ великаго философа, преклоняются предъ его идеями, а поэтъ выводитъ его на всенародное посмѣяніе <sup>151)</sup>).

Вообще созданіе невмѣняемое и не подлежащее суду обыкновенныхъ людей. Правда, мы узнаемъ, что слова поэта—плодъ долгихъ, глубокихъ думъ, плодъ страданій и слезъ за человѣчество. Но намъ не ясно, зачѣмъ столь прихотливая «натура» становится предаваться страданіямъ, зачѣмъ ей проливать слезы, когда всегда она въ правѣ осмѣять какого угодно великаго философа съ его истиной?

Очевидно, предъ нами старая романтическая нескладница, всѣ тѣ обветшавшія небылицы, какими тѣшило себя выпрежнее пустозвонство предшественниковъ новѣйшаго символизма. И выводы изъ этихъ видѣній получаются соотвѣтственные: критикъ берется объединить и Пушкина, и Ломоносова, и даже душу русскаго человѣка. Дѣлается это чрезвычайно просто.

На русскомъ языкѣ существуютъ слова: какой-то, куда-то, что-то. Вотъ изъ нихъ и можно составить какую угодно характеристику. Напримѣръ, душа русскаго человѣка: очень ясно! Это—«какая-то необыкновенная сила, стремительность, высокій, широкій полетъ, во куда, къ какому идеалу, неизвѣстно».

Чрезвычайно почтенный полетъ и необыкновенно осмысленная стремительность! Въ такомъ же духѣ и поэзія Пушкина.

Она вѣкъ времени и пространства, такъ же, какъ и мысли самаго поэта. Онѣ такъ высоки, что «всѣ политическія системы кажутся мелкими, ничтожными и пустыми». Чтò собственно это значить—остается тайной критика, потому что нельзя же признать за объясненія такое, напримѣръ, открытіе: будто для великихъ поэтовъ «каждый порядокъ вещей» одновременно и «неудовлетворителенъ», и «сносенъ», и истинно возвышенный поэтъ *по понятіямъ своимъ* не принадлежитъ ни къ какому времени и въ то же время принадлежитъ всѣмъ временамъ....»

Все это изреченія, достойныя романтической теоріи искусства, но въ 1858 году они звучали дикимъ замогильнымъ голосомъ. Критикъ становился гораздо ниже своего бывшаго товарища по *Москвитянину*, договаривался до единомыслія со стар-

<sup>151)</sup> Сочиненія. III, 297.

цами-котурнами, сѣтуя на гибель ломоносовскаго поэтическаго таланта отъ политики и учености. Всѣ идеалы отважнаго борца остановились теперь на пушкинской Татьянѣ и онъ рисовалъ сенсационную картину: Татьяна въ обществѣ великихъ женщинъ, т. е. Сталь, Роланъ, Дюдеванъ. Живописецъ замираетъ отъ восторга предъ тихими, успокоительными, «неизъяснимо-сладкими» рѣчами несчастной поклонницы Онегина и супруги заслуженнаго генерала. Такова именно, по мнѣнію Алмазова, и поэзія Пушкина, лишенная великихъ идей, силы страсти, особеннаго сердцебдѣнія<sup>152)</sup>.

Не поздоровилось бы отъ такихъ похвалъ великому поэту. Усердіе любителей сладости и тишины превратило его въ какую-то воркующую голубицу—безпечную, наивную, шаловливую и даже отчасти флегматическаго темперамента! Авторъ *Посланий къ цензору, Клеветникамъ Россіи, Мудраго всадника, Поэта* и именно того самаго произведенія, гдѣ говорится о звукахъ сладкихъ и молитвахъ, отвернулся бы съ негодованіемъ отъ сусальной карикатуры на свою личность, страстную, безпрестанно трепетавшую негодованіемъ и отнюдь не свободную отъ политики вполне опредѣленнаго времени и пространства.

Даже больше. Разгнѣванный поэтъ уличилъ бы своего не по разуму услужливаго критика въ той самой политикѣ, какую онъ считаетъ недостойною поэтическихъ геніевъ. Алмазовъ дѣйствительно дѣлалъ политику, какъ всегда и всѣ рыцари чистаго художества. Дѣло у нихъ сначала идетъ о «неизъяснимо-сладостныхъ впечатлѣніяхъ», и незамѣтно переходитъ въ азартный вопль: «бей ихъ! не наши!»

Личное благородство удержало Григорьева отъ такого продолженія, его соратники быстро достигъ обычнаго предѣла.

Настоящую воинственность Алмазовъ обнаружилъ много лѣтъ спустя послѣ смерти *Москвитянина*, во время движенія шестидесятыхъ годовъ. Представился рядъ темъ, до глубины возмущившихъ нашего служителя молитвъ и объективности. Талантъ эпиграммы и вывертываній мыслей и людей былъ пущенъ на всѣхъ паряхъ, и заложено основаніе обширному сооруженію—поэмѣ *Соціалисты*. Зданіе осталось недоконченнымъ, но поэтъ успѣлъ высказаться вполне.

Герой поэмы—шестидесятникъ, какъ его представляла и про-

<sup>152)</sup> Гл. 283, 272, 323—4.

должасть воображать благопристойная фантазія эстетиковъ и обывателей. Бичъ родной словесности семинаристъ, плохой грамматикъ, нещадно истязуемый розгами, но большой мастеръ въ избыткахъ мысляхъ, формулахъ и схемахъ, путемъ діалектики уничтожившій въ себѣ и «вѣру, и начала, и правила». Почва, вполне удобная для сепіализма и тиранства надъ литературой и особенно «преданіями вѣковъ». Авторъ посвятилъ много страницъ сценѣ будущей дѣятельности своего героя. Картина открывается необыкновенно энергично:

Была та смутная пора,  
Когда Россія молода,  
Въ трескучихъ фразахъ утопая,  
Кричала Герцену ура!  
Въ тѣ дни невѣдомая сила,  
Какъ арабійскій ураганъ,  
Вдругъ подняла и закружила  
Умъ тяжелыхъ россіанъ;  
Все пробудилось, все возстало  
И все куда-то понеслось—  
Куда, зачѣмъ, само не знало,—  
Но все впередъ, во чтобъ ни стало,  
Съ просонокъ пѣръ лѣнивыхъ россъ!..

Сумасшествіе не пощадило ни пола, ни возраста, ни званія. По увѣренію автора, даже грудныя дѣти, просвири, взяточники, квартальные, высѣченные гимназисты кричали: «Я прогрессистъ! Я либераль», горой становились за «мерзавцевъ» съ «убѣжденіями» и истребляли «вѣчныя начала» въ наукѣ, въ жизни, во всемъ. Журналисты выгодно торговали либерализмомъ, самые либеральные «всѣхъ» меньше любили родину», и къ числу этихъ изверговъ принадлежалъ герой поэмы, съ особеннымъ ожесточеніемъ казнившій произведенія искусства <sup>152)</sup>.

Въ заключеніе «мыслящіе люди» — любимое выраженіе шестидесятниковъ, хуже Тамерлана: поэту не хватаетъ словаря русскаго языка заклеить новыхъ разрушителей нравственнаго, общественнаго и мірового порядка.

Алмазовъ не оставался, конечно, безъ сочувственниковъ. Напротивъ. Можетъ быть, его даже подогрѣвали кое-какія вліянія. Напримѣръ, онъ былъ очень близокъ съ авторомъ *Взбалоумученнаго моря* и на юбилей Писемскаго въ засѣданіи *Общества любителей російской словесности* прочиталъ пространный докладъ

<sup>152)</sup> Сочиненія. II, 381—5, 393, 400—2 etc.



о литературной дѣятельности юбиляра. Докладъ почти цѣликомъ занятъ изложеніемъ романа *Тысячи душъ* съ обширными выписками—о критикѣ нѣтъ и рѣчи. Докладчикъ видимо не могъ отдать себѣ отчета въ своемъ предметѣ, не могъ даже ярко освѣтить біографическихъ данныхъ, полученныхъ отъ самого Писемскаго. Въ докладѣ не замѣтно ни былого бойкаго насмѣшника, ни стараго борца съ басурманами. Духъ мысли и жизни окончательно отлетѣлъ отъ человѣка, не имѣвшаго части въ живой современности за всю послѣднюю четверть вѣка.

Можно спросить, имѣла ли вообще эту часть вся молодая редакція *Москвитянина*? Подъ руководствомъ Погодина и Шевырева журналъ едва влчилъ свое существованіе. Явилась молодежь и мы видѣли, старики вступили съ ней въ междоусобную брань. За что? Изъ-за новыхъ смѣлыхъ идей? Изъ за новаго опредѣленнаго міросозерцанія?

Вовсе нѣтъ, а просто изъ-за нѣкоторыхъ вольностей, нарушавшихъ годами установившійся чинный тонъ археологическаго изданія. Московскій кружокъ много суетился, шумѣлъ, раздражался, но чаще всего *почему-то*, изъ-за *чего-то*, во имя *какихъ-то* идеаловъ и стремленій. Укоризны Алмазова по адресу стремглавъ и безсознательно летѣвшей *куда то* молодежи шестидесятыхъ годовъ можно цѣликомъ отнести къ его собственному лагерю, и съ гораздо большимъ правомъ, чѣмъ къ Чернышевскому, Добролюбову и ихъ послѣдователямъ.

У тѣхъ цѣли могли быть ошибочными, фанатически отвлеченными, но, по крайней мѣрѣ, въ теоріи онѣ не страдали смутой и неопредѣленностью. А здѣсь во времена всеобщаго затишья или пророческіе возгласы и романтическій восторгъ, или праздное школьническое зубоскальство. Только появленіе ненавистныхъ новыхъ людей заставило нашихъ объективистовъ и народниковъ строже опредѣлить жизненный и отвлеченный смыслъ своихъ вожделѣній. Въ результатъ получилась теорія чистаго искусства, и подъ этимъ знаменемъ мы найдемъ въ послѣдствіи всѣхъ литературныхъ обозрѣвателей «Москвитянина» Эдельсона, Григорьева, Благонравова. Эдельсонъ самый скромный въ этой троицѣ и менѣе одаренный. Даже Погодинъ говорилъ объ его языкѣ: «такая туча, что мочи нѣтъ». Это естественно у бывшаго горячаго поклонника Гегеля и до конца подвижника чистой эстетіки. Мы встрѣтимся съ нимъ въ ряду противниковъ Чернышевскаго,—встрѣтимся безъ особеннаго интереса и разстанемся безъ сожалѣнія.

*Москвитянина* не воспиталъ ни одной крупной силы для грядущей воинственной публицистики и критики.

Мы можемъ сказать больше. Московскій лагерь въ годы за-  
тишья сдѣлалъ даже меньше, чѣмъ петербургскій. Тамъ, по край-  
ней мѣрѣ, внесли посильный вкладъ въ историческій матеріалъ  
литературы. Безсильные и безличныя по части идей, западники  
собирали факты. Въ Москвѣ не было и этого. Если подвести  
итоги положительному наслѣдству молодого «Москвитянина», самымъ  
цѣннымъ капиталомъ окажется неизмѣнное и восторженное благо-  
говѣніе Григорьева предъ памятью Бѣлинскаго, все равно хотя бы  
даже до 1844 года. Все остальное свидѣтельствовало о тягост-  
номъ промежуткѣ, о промзглыхъ и гнетущихъ сумеркахъ рус-  
ской общественной мысли.

## XXI.

Мы изложили исторію цѣлаго періода русской критики. Онъ  
рѣзко отличается по людямъ и дѣламъ отъ предъидущаго и по-  
слѣдующаго. У него нѣтъ ничего общаго съ неукротимой страст-  
ной идейной работой Бѣлинскаго, его отдѣляетъ не менѣе глу-  
бокая пропасть и отъ новыхъ людей, развернувшихъ свои силы  
въ новое царствованіе. Всѣ критики промежуточнаго періода безъ  
различія направленій явились противниками *дѣтей*, и дѣти должны  
были искать своихъ отцовъ по ту сторону ближайшихъ предше-  
ственниковъ, въ лицѣ Бѣлинскаго и его сподвижниковъ.

Предъ нами будто глубокій ухабъ на пути русскаго прогресса  
или трясина съ населеніемъ другой крови и другой расы, чѣмъ  
ранніе и поздніе руководители общества и живые двигатели ли-  
тературы.

Это фактъ вѣтъ сомнѣнія. Но возникаетъ вопросъ, откуда же  
взялась публика для новыхъ публицистовъ? Въ теченіе семи лѣтъ  
ее тщательно отълучали отъ идей Бѣлинскаго, даже пытались пре-  
дать забвенію самое его имя и осмѣять его критику, и вдругъ  
стоило появиться его поклонникамъ и продолжателямъ, публика  
съ увлеченіемъ стала на ихъ сторону и окончательно перестала  
слушать «иногороднихъ подписчиковъ» и «наглыхъ гуманистовъ».

Это также фактъ и одинъ изъ самыхъ поучительныхъ въ  
исторіи русскаго просвѣщенія. Онъ свидѣтельствуетъ о явленіи  
неожиданномъ, но совершенно достовѣрномъ, не особенно лестномъ  
для литературы вообще, но въ высшей степени знаменательномъ  
для будущихъ судебъ русскаго общественнаго развитія.

Мы говорили о популярности Бѣлинскаго, изумлявшей его самого. Но онъ не зналъ и малой доли этой популярности. Одновременно съ журнальной публицистикой выросла едва замѣтно но неуклонно другая, исключительно принадлежавшая обществу, имъ созданная и имъ тщательно хранимая. Еще по поводу критики двадцатыхъ годовъ намъ приходилось говорить о русскомъ *третьемъ сословіи*, о разночинцахъ, семинаристахъ, даже о самоучкахъ въ родѣ купца Полевого. Эта сѣрая публика, невѣдомо для столичныхъ просвѣтителей, была благодарнѣйшей читательницей ихъ произведеній. Она въ лицѣ Полевого зачитывается статьями Мерзлякова и благоговѣетъ предъ самыми званіемъ писателя, въ лицѣ семинаристовъ увлекается шеллингизмомъ и вообще германской философіей раньше университетскихъ профессоровъ и вершинъ русскаго просвѣщеннаго общества, она, наконецъ, въ лицѣ захолустныхъ чиновниковъ выучиваетъ наизусть статьи Бѣлинскаго, живетъ ими, какъ единственнымъ источникомъ духовнаго свѣта и ждетъ не дождется истинныхъ наслѣдниковъ великаго критика.

Этой публикѣ нѣтъ никакого дѣла до веселыхъ настроеній многогороднаго подписчика, петербургскаго туриста, и Новаго поэта. Она живетъ слишкомъ серьезной и тяжелой жизнью, чтобы развлекаться анекдотами и пародіями. Она инстинктомъ и повседневнымъ опытомъ отрицаетъ «святое» искусство и жаждетъ красоты, исполненной жизненныхъ печалей и трепещущей отъ страстныхъ ощущеній жизненной правды во всей ея яркости. Ей по природѣ ненавистны забавляющіе дилеттанты и эпикурействующіе эстетика и ей не нужно доказывать, что они прирожденные тунеядцы и эксплуататоры самого званія писателя. Она безъ всякихъ внѣшнихъ давленій немедленно отзовется на дѣльную и дѣятельную мысль и шестидесятникамъ не потребуется особенныхъ усилій собрать вокругъ себя самую интеллигентную и чуткую аудиторію.

И они сами понимали скромность своихъ собственно литературныхъ заслугъ. Одна изъ любимыхъ идей Добролюбова—творческое безсиліе литературы. Она только разъясняетъ вопросы, уже заданные обществомъ. Она не создаетъ новыхъ стремленій независимо отъ жизненныхъ фактовъ.

Добролюбовъ доказывалъ свою мысль вполне наглядно. Онъ называлъ писателей и ученыхъ, существовавшихъ въ другое время, не въ концѣ пятидесятихъ годовъ,—и не писавшихъ ничего похожаго на свои позднѣйшія идеи. Заговорило сначала общество, въ

немъ явилась потребность гласности, свѣта, правды, дѣятельности, и литература пришла въ движеніе и стала его усерднѣйшей выразительницей. Статьи въ журналахъ стали слѣдовать непосредственно за толками общества: о желѣзныхъ дорогахъ, объ-экономическихъ отношеніяхъ народа, о воспитаніи. Общество не замедлило оцѣнить усердіе литературы и тѣснѣе сблизилось съ ней <sup>154</sup>).

Въ этихъ столь рѣшительныхъ соображеніяхъ несомнѣнно нѣкоторое увлеченіе. Среди положительныхъ культурныхъ дѣятелей нѣтъ безусловно активныхъ и безнадежно пассивныхъ. Законъ взаимодѣйствія—основной въ мірѣ нравственномъ и въ мірѣ физическомъ. Дерево, обязанное своимъ расцвѣтомъ извѣстной почвѣ, въ свою очередь измѣняетъ эту почву. Падающіе листья, вѣтки, плоды перегниваютъ, измѣняютъ составъ почвеннаго слоя. То же самое происходитъ съ литературой и общественной средой. И, можетъ быть, именно въ исторіи русскаго просвѣщенія слѣдуетъ выше оцѣнить самостоятельное значеніе литературы. Это доказывается исключительной, чрезвычайно приподнятой и *прочувствованной* популярностью нѣкоторыхъ русскихъ писателей. Въ лицѣ ихъ общество, очевидно, любитъ и чтитъ не только выразителей, но также инициаторовъ извѣстныхъ идеаловъ. Простые передатчики общаго настроенія никогда не удостоились бы славы Тургенева и Бѣлинскаго, особенно послѣдняго, — не поэта и не романиста.

Но мысль Добролюбова какъ нельзя болѣе примѣнима къ объясненію рѣзкаго перехода отъ эпохи фельетоновъ и пародій къ періоду усиленнаго публичнаго учительства. Мы видѣли, фельетонисты были увѣрены въ любви публики къ фельетонамъ, и эта же самая публика образовала пустыню вокругъ своихъ увеселителей, лишь только слышала другіе голоса и другія рѣчи. И эта публика была давно готова. Она—такое же наслѣдство Бѣлинскаго, какъ и его идеи. Шестидесятники обязаны своему учителю не только учебниками, но и учениками.

Доказательство предъ нами самое блистательное, какого только можно желать. и относится оно какъ разъ къ переходной страдѣ русскої публицистики. Свидѣтельство принадлежитъ принципиальному и даже личному противнику Бѣлинскаго, но посильно честному—И. С. Аксакову.

Въ концѣ 1856 года онъ писалъ отцу слѣдующее:

<sup>154</sup>) Добролюбовъ. *Сочиненія*. I, 436, 492—3, IV, 168 etc.

«Много я ѣздилъ по Россіи: имя Бѣлинскаго извѣстно каждому сколько-нибудь мыслящему юношѣ, всякому, жаждущему свѣжаго воздуха среди вонючаго болота провинціальной жизни. Нѣтъ ни одного учителя гимназіи въ губернскихъ городахъ, который бы не зналъ наизусть письма Бѣлинскаго къ Гоголю; въ отдаленныхъ краяхъ Россіи только теперь еще проникаетъ это вліяніе и увеличиваетъ число прозелитовъ. Тутъ нѣтъ ничего страннаго. Всякое рѣзкое отрицаніе нравится молодости, всякое негодованіе, всякое требованіе простора, правды, принимается съ восторгомъ тамъ, гдѣ сплошная мерзость, гнетъ рабства, подлость грозятъ поглотить человѣка, осадить, убить въ немъ все человѣческое. «Мы Бѣлинскому обязаны своимъ спасеніемъ», говорятъ мнѣ вездѣ молодые, честные люди въ провинціяхъ. И въ самомъ дѣлѣ, въ провинціи вы можете видѣть два класса людей: съ одной стороны взяточниковъ, чиновниковъ въ полномъ смыслѣ этого слова, жаждущихъ ленты, крестовъ и чиновъ, помѣщиковъ, презирающихъ идеологовъ, привязанныхъ къ своему барскому достоинству и крѣпостному праву, вообще довольно гнусныхъ. Вы отворачиваетесь отъ нихъ, обращаетесь къ другой сторонѣ, гдѣ видите людей молодыхъ, честныхъ, возмущающихся зломъ и гнетомъ, борющихся эмансипаціи и всякаго простора, съ идеями гуманными... И если вамъ нужно честнаго человѣка, способнаго сострадать бѣдѣ и несчастіямъ угнетенныхъ, честнаго доктора, честнаго слѣдователя, который пойдетъ бы на борьбу,—ищите таковыхъ между послѣдователями Бѣлинскаго»<sup>156</sup>).

Это не было новымъ явленіемъ провинціальной жизни. Тотъ же Аксаковъ говоритъ о «громадномъ» вліяніи Полевого. Мы знаемъ подобные факты еще болѣе ранняго происхожденія. Грибоѣдовская комедія въ рукописи нашла обширную публику въ провинціи и именно среди разночинцевъ. Преданіе, по крайней мѣрѣ, рассказываетъ цѣлую драму, едва не постигшую канцелярскаго «служителя за увлеченіе запрещенной пьесой. Немного спустя Гоголь счелъ нужнымъ остроумнѣйшаго и основательнѣйшаго критика своей комедіи указать въ «очень скромно одѣтомъ» провинціалѣ—любопытнѣйшемъ дѣйствующемъ лицѣ *Разтѣзда*. Очевидно, предъ нами преимущество поколѣній и въ высшей степени прочная, если взглянуть за Аксаковымъ и Писемскій—отнюдь не единомыш-

<sup>156</sup>) И. С. Аксаковъ въ его письмахъ, часть третья, томъ первый. М. 1892, стр. 290—1.

ленникъ Бѣлинскаго, также отмѣтить свѣтлыя впечатлѣнія статей Бѣлинскаго на захолустную провинцію.

Публика, слѣдовательно, существовала для болѣе литературныхъ произведеній, чѣмъ стихотворныя и прозаическія упражненія веселой журналистики. И эта публика даже находила удовлетвореніе при всей бдительности цензуры. Это также старый порядокъ вещей. Еще Пушкинъ предупреждалъ цензора: ему ни за что не уловить неблагонамѣреннаго писателя:

Рукопись его, не погибая въ Лѣтѣ,  
Всѣхъ подписи твоей разгуливаетъ въ свѣтѣ...

Произведенія самого Пушкина разгуливали въ громадномъ количествѣ. То же самое продолжалось и въ «эпоху цензурнаго террора». Фактъ засвидѣтельствованъ вполне освѣдомленнымъ официальнымъ лицомъ, московскимъ попечителемъ Назимовымъ.

Въ самомъ началѣ новаго царствованія Каткова, редактировавшій *Московскія Вѣдомости*, задумалъ издавать журналъ *Русскій Вѣстникъ*. Министерство отказало на первый разъ, попечитель сталъ на сторону Каткова и въ пользу умноженія періодическихъ изданій, между прочимъ, высказывалъ такое соображеніе:

«Вмѣсто печатной гласной литературы, образовалась литература безгласная, письменная. Въ рукахъ читающей публики появились во множествѣ списковъ разныя сочиненія, по всѣмъ современнымъ вопросамъ наукъ и словесности и между ними, разумеется, нашли себѣ путь и рукописи, содержанія не совершенно одобрительнаго».

Дальше попечитель свидѣтельствовалъ о ропотѣ въ обществѣ на цензурныя строгости <sup>156)</sup>.

Но ни рукописная литература, ни ропотъ не произвели бы никакой перемѣны въ періодической печати, если бы на помощь не пришла высшая и рѣшающая сила. Мы видѣли, критика усиленно призывала публику къ примиренію съ дѣйствительностью, усерднѣйше старалась разсѣять дурное настроеніе у читателей, если оно появлялось, призывала искусство утѣшать бѣдное чело-вѣчество. Критика готова была вполне серьезно низвести литературу до десерта и заполнить журналы фельетонами и стихами.

Критика до такой степени утвердилась на этомъ пути, усѣяномъ розами, что не свернула съ него даже при совершенно другихъ обстоятельствахъ и вліяніяхъ. Напротивъ, она сочла вопро-

<sup>156)</sup> Историч. свѣд. о цензурѣ, стр. 82.

сомъ чести и самолюбія остаться вѣрной себѣ и объявила непримиримую войну «дидактикѣ» и «тенденціи». Очевидно, господствующее официальное направленіе имѣло надежнаго союзника въ журналистикѣ, даже болѣе предупредительнаго, чѣмъ могло ожидать.

Если и приходилось наблюдать за явленіями подозрительными и неблагопристойными, то развѣ только въ беллетристикѣ. Здѣсь дѣйствительно замѣчалось недовольство, протестъ, развивалась натуральная школа, сценой овладѣвала самая жалкая и темная дѣйствительность, рисовались печали и несправедливости, переполняющія жизнь униженныхъ и оскорбленныхъ.

Все это противорѣчило обязательной программѣ—всякому обывателю быть довольнымъ и примиреннымъ. Но критика по собственному устремленію шла на встрѣчу возможному негодованію власти. Она, мы видѣли, усиленно преслѣдовала протестъ въ поэзіи, грустныя темы въ беллетристикѣ и не сумѣла понять и оцѣнить повѣстей Тургенева, крестьянскихъ рассказы Писемскаго: ей, радостной и беззаботной, одинаково были чужды и странны и «лишній человекъ», и плотникъ Петръ—оба пасынки существующей дѣйствительности, одинъ въ обществѣ, другой въ народѣ. Даже Островскому, отнюдь не протестанту и не сатирику, пришлось ждать новыхъ людей, чтобы услышать дѣльное слово о своемъ талантѣ и о своихъ произведеніяхъ.

Ясно, отъ самой литературы нечего было ожидать поворота къ лучшему. Она не только подчинилась «обстоятельствамъ», но сама стала однимъ изъ нихъ. Пока она единственная представлялась читающей публикѣ. Выбора не было—фельетонъ или пародія, и *Современникъ*, и даже *Москвитинъ* читались, иногда даже отмѣчали «переполохъ» по поводу того или другого своего фокуса. Но и теперь публика тяготѣла все-таки больше въ ту сторону, откуда такъ недавно раздавался голосъ Бѣлинскаго. Она имѣла основаніе ждать, что здѣсь, а не въ погодискомъ древлехранилищѣ, зазвучитъ опять знакомая рѣчь и на временно опустѣвшей сценѣ явятся, наконецъ, достойные преемники незабвеннаго учителя.

И публика дождалась.

Но раньше, чѣмъ она замѣтила рожденіе новыхъ людей, раньше, чѣмъ они сами заявили о себѣ, необходимо было прозойти основной перемѣнѣ въ положеніи литературы предъ властью. Добролюбовъ откровенно заявлялъ, что шестидесятники существо-

вали *раньше* открытаго направленія шестидесятыхъ годовъ: оно оставалось нѣкоторое время подъ спудомъ. Добролюбовъ только не договорилъ до конца своей откровенной рѣчи: не одно общество вызвало на свѣтъ Божій новыхъ людей, еще болѣе важную роль играла здѣсь другая сила, та самая, какая раньше дала тонъ «обстоятельствамъ».

## XXII.

Никитенко, отиѣчая въ своемъ дневникѣ кончину императора Николая, писалъ: «Длинная и надо таки сознаться, безотрадная страница въ исторіи русскаго царства дописана до конца. Новая страница перевортывается въ ней рукою времени: какія событія занесетъ въ нее новая царственная рука, какія надежды осуществитъ она?...» <sup>157)</sup>.

Надежды были вполне ясны. Ихъ питали уже давно и принялись за осуществленіе при первой возможности. Министерство народнаго просвѣщенія немедленно вспомнило о цензурѣ и задумало составить новую инструкцію цензорамъ. Никитенко взялъ дѣло на себя съ полной готовностью.

«Настаетъ пора, — писалъ онъ, — положить предѣлъ этому страшному гоненію мысли, этому произволу невѣждъ, которые дѣлали изъ цензуры сѣѣзжую и обращались съ мыслями, какъ съ ворами и съ пьяницами» <sup>158)</sup>.

Это не единоличное убѣжденіе профессора и либеральнаго цензора. Попечитель Назимовъ официально заявлялъ то же самое и увѣрялъ министерство, что совершенно излишне опасаться западно-европейскихъ революціонныхъ идей, намъ чуждыхъ и противоположныхъ кореннымъ началамъ русской жизни <sup>159)</sup>.

На сторону терпимости начали переходить весьма суровые стражи своевольства русскихъ писателей. Кн. Вяземскій совѣтовалъ допустить «умѣренную свободу» въ изложеніи мнѣній, «не буквально согласныхъ съ общимъ порядкомъ и ходомъ дѣйствительности». Князь позволялъ себѣ даже общія соображенія насчетъ опасностей «насиловственнаго молчанія», укрѣпляющаго всякій незначительный протестъ. Успѣли выясниться и нѣкоторыя практическія неудобства слишкомъ пристальной цензурной опеки.

<sup>157)</sup> Записки. I, 588.

<sup>158)</sup> Тб. II, 3.

<sup>159)</sup> Историч. свѣд., стр. 82.



За границей знали, конечно, положеніе русской печати и патріархальное усердіе русских цензоровъ. Съ теченіемъ времени иностранцы привыкли, по выраженію официальнаго источника, «смотрѣть на каждую строку нашихъ журналовъ, какъ на мнѣніе русскаго правительства».

Этотъ взглядъ вызывалъ особую бдительность цензуры и въ то же время создавалъ крайне досадныя недоразумѣнія между русскимъ правительствомъ и иностранными властями. Правительство иногда попадало въ необходимость приниматься за полемику съ редакторомъ русской газеты и занимать отнюдь не почтенное положеніе въ глазахъ русской и иностранной публики.

Вообще, все шире распространялось убѣжденіе, что цензура въ стилѣ Бутурлинскаго комитета не принесла пользы ни русскому просвѣщенію, ни даже русской нравственности. Катковъ въ официальной запискѣ даже доказывалъ, что цензурная опека вызвала въ русскомъ обществѣ упадокъ религіознаго чувства. Она насильственно отдѣлила высшіе интересы отъ живой мысли и живого слова. Она заставила повторять только казенныя, стереотипныя фразы и подорвала довѣріе къ религіознымъ убѣжденіямъ.

Катковъ могъ бы тоже соображеніе примѣнить и къ другому вопросу. Цензура тщательно пресѣкала изъясненія патріотическаго чувства, опасаясь неумѣренности и неблагопристойности. Находились сановники, требовавшіе строго официальныхъ, именно стереотипныхъ тостовъ за государя, краткихъ на манеръ военной команды. Кн. Вяземскій и здѣсь оказался либераломъ. Онъ находилъ, что усердствовать до такого предѣла значитъ «разорвать священные узы сочувствія и любви, связывающія народъ съ Государемъ своимъ»<sup>160)</sup>. А между тѣмъ Бутурлинскій комитетъ и шелъ какъ разъ этимъ путемъ нравственнаго опустошенія и преобразования русской печати въ нѣмотствующую и раболѣбствующую полицейскую канцелярію.

Не видѣть самыхъ прискорбныхъ послѣдствій этой политики, значило не имѣть ни глазъ, ни совѣсти. И съ первыхъ же дней новаго царствованія ожиданія общества и самихъ властей направились на переимѣну порядковъ въ области литературы. Недавнее прошлое представлялось такимъ тяжелымъ, что даже цензоры считали «протестъ и оппозицію—явленіями неизбѣжными»<sup>161)</sup>.

<sup>160)</sup> *Ib.* 86, 91, 95, 98 etc.

<sup>161)</sup> Никитенко. II, 65.

Всеобщее приподнятое настроеніе поддерживалось ходомъ и окончаніемъ крымской войны. Факты говорили громче самыхъ неблагонамѣренныхъ книгъ и газетъ,—и голосъ ихъ для всѣхъ былъ совершенно ясенъ. Существующіе порядки обнаружили свою несостоятельность, Россія, несомнѣнно, страдаетъ внутреннимъ недугомъ. Ему она обязана многочисленными жертвами въ бесплодной борьбѣ съ западной Европой. Они и въ будущемъ грозятъ горькими испытаніями, если немедленно не придти на помощь и не направить жизнь народа и государства по новымъ путямъ.

Названіе недуга уже давно было на устахъ у всѣхъ. Онъ неоднократно констатировался высшей властью, съ нимъ пытались даже бороться, но симптоматическими средствами. А онъ требовалъ рѣшительнаго и всесторонняго вниманія, съ каждымъ годомъ заявляя о болѣзненномъ состояніи всего общественнаго организма. Цензура, мы видѣли, съ напряженіемъ всѣхъ своихъ силъ хранила тайну. Даже отдаленный намекъ на крѣпостное состояніе русскихъ крестьянъ не могъ проникнуть въ печать. Книга Бичеръ-Стоу попала въ разрядъ опасныхъ и зажигательныхъ сочиненій, потому что, по соображеніямъ цензуры, русскій читатель могъ провести параллель между негромъ-рабомъ и крѣпостнымъ мужикомъ. Основательность этихъ соображеній была порукой, что вопросъ не можетъ далѣе оставаться въ прежнемъ положеніи и голосъ вопіющей правды рано или поздно перекричитъ цензорскія инструкціи.

Едва лишь миръ былъ заключенъ, по всей Россіи стали ходить слухи о предстоящемъ коренномъ преобразованіи крестьянскаго быта. Говорили, будто освобожденіе крестьянъ включено въ тайный договоръ Россіи съ Франціей, будто императоръ Николай, по настоянію Наполеона III, окончательно согласился на отмену крѣпостного права и на смертномъ одрѣ завѣщалъ сыну непременно покончить крестьянское дѣло.

Факты не замедлили подтвердить слухи, по крайней мѣрѣ, на счетъ намѣреній новаго государя. Немедленно послѣ заключенія мира Александръ II, принимая въ Москвѣ предводителей дворянства Московской губерніи, сказалъ имъ слѣдующую рѣчь—первое благовѣстіе наступающей новой эпохи:

«Я узналъ, господа, что между вами разнеслись слухи о намѣреніи моемъ уничтожить крѣпостное право. Въ отвращеніе разныхъ неосновательныхъ толковъ по предмету столь важному, я считаю нужнымъ объявить вамъ, что я не имѣю намѣренія сдѣлать это теперь. Но, конечно, сами вы знаете, что существующій

порядокъ владѣнія душами не можетъ оставаться неизмѣннымъ. Лучше отмѣнить крѣпостное право сверху, нежели дожидаться того времени, когда онъ самъ собою начнетъ отмѣняться снизу. Пропишьте, господа, подумать о томъ, какъ бы привести это въ исполненіе. Передайте слова мои дворянству для соображенія» <sup>162)</sup>).

Рѣчь государя произвела потрясающее впечатлѣніе въ Россіи и заграничѣй. Съ этой минуты крестьянскій вопросъ, и, слѣдовательно, судьба вообще старой отжившей Россіи становится всеобщимъ. Каждый фактъ, сколько-нибудь намекающій на новое движеніе, вызываетъ глубокій интересъ. Въ публикѣ появляется безчисленное множество преобразовательныхъ проектовъ. Изъ-за границы высылаются тучи обращеній къ народу. Всѣ партіи и просто мыслящіе люди приходятъ въ волненіе и стараются принять участіе въ предстоящемъ обновленіи отечества. Въ цензурное вѣдомство безпрестанно поступаютъ ходатайства о разрѣшеніи новыхъ періодическихъ изданій.

Катковъ сначала намѣревался издавать журналъ въ духѣ патриотическаго *Сына Отечества*, какъ «особый органъ» для «благороднаго одушевленія» русскаго общества по случаю Севастопольской войны <sup>163)</sup>. Но вскорѣ соображенія о внѣшней политикѣ уступили мѣсто новымъ задачамъ. Катковъ желалъ установить у русскои публики «русскій взглядъ на вещи», освободить русскій умъ отъ ига чуждаго слова. Московскій попечитель, мы видѣли, поддерживалъ ходатайство.

То же самое онъ сдѣлалъ и для славянофиловъ, хлопотавшихъ о собственномъ изданіи. *Москвитинъ* длилъ свое существованіе еще въ 1856 году, но отъ него нельзя было ожидать живого практическаго участія въ современности. Ни одинъ изъ его сотрудниковъ не обладалъ способностью даже понять важность текущей минуты и мы знаемъ, какъ талантливѣйшій изъ нихъ Григорьевъ, смотрѣлъ на крестьянскій вопросъ. До возвышенныхъ сферъ красоты и «вѣчныхъ идеаловъ» не долеталъ земной шумъ, и славянофилы, бывшіе сотрудники *Московского Сборника*, задумали возобновить свою журнальную дѣятельность. Душою предпріятія явились И. С. Аксаковъ и А. И. Кошелевъ.

Аксакову было запрещено редактировать какой бы то ни было журналъ послѣ исторіи съ *Московскимъ Сборникомъ*, и онъ согла-

<sup>162)</sup> На зарѣ крестьянской свободы. «Русск. Стар.» 1897 г., окт., 8—9 etc.

<sup>163)</sup> Катковъ, какъ редакторъ «Москов. Вѣд.» и возобновитель «Русск. Вѣстн.». Р. Стар. 1897, декабрь, стр. 574.

сился негласно руководить новымъ славянофильскимъ органомъ а Кошелевъ—подписываться редакторомъ и раздѣлять трудъ Аксакова.

Ходатайство славянофиловъ встрѣтило сначала очень сильный отпоръ. Назимовъ представилъ въ министерство записку съ самымъ лестнымъ отзывомъ о личностяхъ и талантахъ московскихъ славянофиловъ <sup>164)</sup>. *Русская Бесѣда* явилась въ свѣтъ.

Она немедленно восприняла въ себя основной духъ эпохи, совершенно враждебный москвитяниновскому. Это видно изъ письма Григорьева къ Кошелеву. Критика пригласили сотрудничать въ новомъ журналѣ. Григорьевъ соглашался, но заранѣе объяснялъ нѣкоторыя различія въ воззрѣніяхъ своихъ и редакціи *Русской Бесѣды*. Одно въ особенности любопытно, и Григорьевъ считаетъ его самымъ важнымъ,—это взглядъ на искусство. Для *Русской Бесѣды* искусство имѣетъ только служебное значеніе, для Григорьева совершенно самостоятельное. Въ результатѣ, и отношеніе къ двумъ первостепеннымъ поэтамъ къ Пушкину и Гоголю—различны: Григорьевъ больше за Пушкина, новый журналъ за Гоголя <sup>165)</sup>.

Предъ нами не разногласіе двухъ славянофильскихъ толковъ, а коренная вражда стараго, вымиравшаго направленія критики и новаго, жаждавшаго внести силу идей и творческихъ образовъ въ потокъ современной жизни.

Славянофилы основывали журналъ съ очевидными практическими цѣлями, а вовсе не ради прекраснѣйшихъ литературныхъ упражненій. Григорьевъ могъ помѣстить въ журналѣ всего одну статью; та же участь постигла и Т. И. Филиппова, одного изъ столповъ *Москвитянина*, пѣвца русскихъ народныхъ пѣсень. Филипповъ написалъ разборъ драмы Островскаго *Не такъ живи, какъ хочешь*, возмутившій западническую печать и беспокоившую даже Востокъ.

Авторъ возвеличивалъ философію судьбы русской женщины, выраженную словами народной пѣсни: «Потерпи сестрица, потерпи родная!» и дѣлалъ выводъ, обязательный и для русскаго общества вообще: «пошлется счастье—благодари, пошлется горе—терпи! Вотъ всѣ правила для устройства обстоятельствъ нашей жизни». Это поученіе сопровождалось соответственнымъ пригово-

<sup>164)</sup> *Истор. свѣд.*, 83—4.

<sup>165)</sup> *Біографія А. И. Кошелева*. Томъ II. М. 1892, стр. 258—9.

ромъ надъ «западнымъ взглядомъ», т. е., по мнѣнію критика, надъ Жоржъ-Зандомъ.

Статья вызвала письмо Хомякова. Онъ желалъ защитить товарища отъ нападокъ *Современника*, но въ заключеніе ставилъ вопросъ о женской эмансипаціи, признавалъ возникновеніе ея неизбѣжнымъ при лицемѣріи и развратѣ мужчинъ. Выходило нѣчто больше, чѣмъ защита Домостроя. Опять вѣяніе новаго духа, знаменовавшее нравственную смерть и молчаніе для писателей московской Руси и патріархальнаго Востока.

Изъ этихъ фактовъ можно видѣть, съ какой настойчивостью журналистика приступала къ обсужденію задачъ своего времени. Прорвалась будто плотина, и потокъ новыхъ идей и стремленій захватило одинаково безмолвствовавшихъ прогрессистовъ и принципиальныхъ хранителей староотеческихъ преданій. Цензура теряла голову, и только что возникшимъ журналамъ грозила мгновенная безвременная смерть.

Статья о пугачевщинѣ въ *Русскомъ Вѣстникѣ* заставляетъ третье отдѣленіе требовать закрытія журнала, такъ какъ пугачевщина—крестьянскій бунтъ и напоминаніе о ней опасно. Статья И. С. Аксакова *Богатыри великаго князя Владимира* едва не подвергла той же опасности *Русскую Бесѣду* за восхваленіе «преlestи прежней вольности».

Положеніе оказывалось безвыходнымъ. Общество напITYвалось слухами и толками о крестьянскомъ вопросѣ, а литературу карали даже за намекъ на тотъ же вопросъ. Кн. Вяземскій давалъ распоряженіе московскому цензурному комитету пресѣкать печатныя сужденія о предстоящей реформѣ: они «едва ли есть дѣло литературное и въ особенности журнальное», вѣдать его надлежитъ исключительно одному правительству. Князь не сомнѣвался въ благонамѣренности и добросовѣстности русскихъ писателей, «но едва ли участіе литературы принесетъ въ этомъ дѣлѣ пользу».

Въ результатѣ—фактъ, едва вѣроятный, но вполне согласный съ расчетами цензуры.

Академія наукъ признала полезнымъ «предложить на соисканіе задачу», «относящуюся къ историческимъ изслѣдованіямъ объ обмѣнѣ и выкупѣ помѣщичьихъ правъ въ различныхъ государствахъ Европы». Призывъ былъ обращенъ къ иностраннымъ литературамъ и программу «задачи» запрещено перепечатывать въ русскихъ журналахъ <sup>166</sup>).

<sup>166</sup>) *Истор. свид.*, 105.

Но это значило бороться противъ стихій. «Жгучій вопросъ—говорить официальный источникъ—самъ врывался на литературную арену и вытѣснить его не было возможности». Кроме того, правительство силою своего положенія вынуждалось относиться съ меньшей строгостью къ посягательствамъ литературы.

Высшее общество, просвѣщенные душевладѣльцы отнеслись къ угрожающей реформѣ, какъ революціонному бѣдствію. Такихъ было большинство, по свидѣтельству предсѣдателя редакціонной комиссіи, Ростовцева. Они «смотрѣли на дѣло съ точки зрѣнія частныхъ интересовъ и гражданскаго права», обвиняли редакціонную комиссію «въ желаніи обогатить дворянъ и произвести анархію». Даже петербургскіе сановники ждали революціи въ Россіи по европейскому образцу. Обыкновенные крѣпостники не находили словъ для выраженія своихъ ужасовъ.

Они указывали, что русскій народъ—христіанскій, «только по названію, а въ существѣ не понимаетъ ни вѣры, ни евангельскихъ добродѣтелей, не знаетъ ни одной молитвы и самого Бога признаетъ богатымъ, щедрымъ, но злымъ царемъ».

«Поборники скотолюбства», по выраженію современника, находились въ подавляющемъ изобиліи среди просвѣщенныхъ и даже передовыхъ дворянъ. Многіе ударились въ бѣга и переполнили заграничныя пристанища международныхъ патріотовъ. Банкиръ Штиглицъ за первые четыре мѣсяца послѣ московской рѣчи Государя перевелъ за границу сорокъ милліоновъ для русскихъ путешественниковъ. «Надо ѣхать за-границу, чтобы видѣться съ русскими», пишетъ современникъ.

Парижъ кишѣлъ русской эмиграціей и она вела себя чрезвычайно громко, выражала оппозицію «неприличными выходками». Очевидцы едва могутъ достойно выразить свое презрѣніе къ этимъ протестантамъ и свою обиду за русское имя. «*Marchands de chair humaine*, подбитые холопствомъ», таскающіеся по парижскимъ трактирамъ и притонамъ, всеобщее посмѣшище на европейской сценѣ, и они же либералы изъ пошлаго фрондерства или жадности! Они не перестаютъ вопіять: «*C'est le débâcle de l'ancien régime*» и въ то же время не гнушаются изобрѣтать «подлые», такъ они сами называютъ, уловки противъ своихъ «рабовъ». И это люди съ тонкимъ просвѣщеніемъ, вольтерьянцы, жоржъ-зандисты, даже прогрессисты! Раньше они при случаѣ не прочь были пощеголять демократизмомъ, состраданіемъ къ «этому народу», а теперь

они заставляют крестьян подавать правительству заявления, что они крестьяне—не хотят воли, распространяют слухи, что объявление свободы будет встречено крестьянским возмущением. Эта угроза повторяется в дворянских собраниях, на съездах предводителей, проникает даже в печать <sup>167</sup>).

Господствующий дворянский голос: ни дворяне, ни мужики не готовы к реформе. Правительство убеждено в противном, по крайней мере относительно народа. Ему остается искать не помощи, оно достаточно сильно само по себе,—а нравственной поддержки и открытого сочувствия за пределами непримиримых скотолюбцев. Значение литературы выдвигалось на первый план силою вещей. В январе 1858 года опубликовано высочайшее повеление об учреждении главного комитета по крестьянскому делу, взамен секретного, существовавшего в течение года. Словным учреждением менялось и положение печати.

В конце января периодическим изданиям объявлено дозволение обсуждать крестьянский вопрос, держаться только самого примирительного тона, не возбуждая раздора между крестьянским и дворянским сословием.

Это распоряжение освятило новый период русской публицистики и положило официально-историческое начало литературному движению шестидесятых годов. В самом начале на сцену выступили два строя: за ними можно удерживать старые наименования славянофилов и западников, но старые отношения быстро изменились, старые клички утратили былой всеобъемлющий смысл и возникли партии неизменно более сложных окрасок и более глубокого культурного значения.

### XXIII.

Мы знаем, славянофильство возбуждало особенно резкое недовольство власти. *Отечественные Записки* и *Современник* казались цензурному ведомству сравнительно более благонамеренными и безопасными, чем сотрудники *Московского Сборника* и ни один западнический редактор не имел в своем формуляре таких суровых кар, как Иван Аксаков. Впоследствии он представил совершенно исключительный пример издательской деятельности по части цензурных и административных преследований.

<sup>167</sup>) *Рус. Стар.* 1898, янв., 93—4; 1897, окт., 32—3; 1898, февр., 267—8; апр., 69—70; март 462.

Его біографія, единственная среди всѣхъ редакторскихъ біографій въ Россіи, напоминаютъ эффектные приключенія какого-нибудь неукротимаго оппозиціоннаго журналиста Франціи. Только Аксакову будетъ дозволено вести блистательную борьбу съ цензурой и даже съ высшей администраціей, только ему будутъ разрѣшать періодическое изданіе *День* и въ то же время учреждать надъ этимъ изданіемъ особое наблюденіе, только его газета — *Москва* удостоится меньше, чѣмъ за два года девяти предостереженій, будетъ три раза приостановлена, наконецъ, прекращена и вызоветъ рыцарственный отпоръ издателя самому министру внутреннихъ дѣлъ...

Это своего рода многоактная драма и во всякомъ случаѣ единственная исторія въ судьбахъ русской публицистики. Подъ предводительствомъ такого героя славянофилы поспѣшили отозваться на новыя вѣянія.

Желаніе исполнѣ естественное. Мы знаемъ, вопросъ о крѣпостномъ правѣ занималъ славянофиловъ очень давно и они пытались провести его въ печать. Теперь изъ ихъ лагеря стали исходить проекты освобожденія крестьянъ съ землею, т. е. самые здравомыслящіе среди всѣхъ многочисленныхъ плановъ, изобрѣтавшихся официальными и вольными преобразователями. Кошелевъ, основатель *Русской Бесѣды*, издавна занимался рѣшеніемъ задачи и еще въ 1847 году велъ любопытную переписку съ Петромъ Кирѣевскимъ объ этомъ предметѣ.

Тогда Кошелевъ готовъ былъ помириться на частныхъ сдѣлкахъ помѣщиковъ съ крестьянами. Кирѣевскій вѣрилъ только въ общее и всестороннее преобразование всѣхъ злоупотребленій «полицейскихъ и общественныхъ», водворенія законности, какъ «общей атмосферы всего русскаго царства». «Судебная справедливость» Кирѣевскому казалась не менѣе настоящимъ вопросомъ, даже болѣе значительнымъ, чѣмъ крѣпостное право <sup>168)</sup>.

Славянофилы, слѣдовательно, владѣли прекрасными преданіями отъ нѣкоторыхъ своихъ первоучителей и могли теперь выступить во всеоружіи идей и чувствъ, особенно при захудалости и пустозвонствѣ западническихъ фельетонистовъ.

И они, повидимому, понимали свое положеніе.

Въ Москвѣ снова оживились салоны, Хомяковъ опять сталъ

<sup>168)</sup> Письмо П. В. Кирѣевскаго къ А. И. Кошелеву. *Русскій Архивъ*, 1873, II, 1345 etc.



повергать въ изумленіе благородныхъ дамъ краснорѣчіемъ и диалектикой и даже наводить страхъ на «скотолобцевъ».

Одесскій попечитель А. Г. Строгановъ получалъ отъ брата отчаянныя новости. Славянофилы, оказывается, превозносили зарю новой жизни для Россіи и смотрѣли на основаніе общины, какъ на первый шагъ отступленія отъ петровскихъ реформъ. Правда, Хомяковъ могъ бы нѣсколько разсѣять трагическое настроеніе Строганова: онъ едва ли не самый яркій лучъ зари видѣлъ въ предстоящемъ разрѣшеніи носить бороду и кафтанъ. Это напоминало соображенія Самарина о важности крымской войны и особенно ополченія: офицерамъ, служившимъ въ ополченіи, можно будетъ щеголять въ бородахъ!<sup>169</sup>). Благородные славянофилы никакъ не могли отдѣлаться отъ своего хвоста и самоотверженно продолжали при самыхъ неподходящихъ обстоятельствахъ.

Но Строгановъ все-таки ужасался. «Ты видишь, это православный социализмъ!» убѣждалъ онъ брата. Въ заключеніе слѣдовало дѣйствительно безпокойное соображеніе «корифеевъ» славянофильства:

«Если дворянство въ продолженіе столькихъ лѣтъ не успѣло упрочить себя, какъ независимое сословіе, то симъ доказало свое ничтожество и не заслуживаетъ быть поддержано»<sup>170</sup>).

Подобныя рѣчи производили впечатлѣніе даже и не на скотолобцевъ. Славянофилами увлекся Салтыковъ и съ такимъ художественнымъ азартомъ, что, казалось бы, трудно было ожидать такой непосредственности чувства отъ сатирика. Салтыковъ считалъ затруднительнымъ держаться иного направленія «въ наши дни», чѣмъ славянофильское. «Въ немъ одномъ есть нѣчто похожее на твердую почву,—писалъ прозелитъ,—въ немъ одномъ есть залогъ здороваго развитія». И Салтыковъ готовъ даже «залѣзать въ удѣльный періодъ» за признаками русской самостоятельности<sup>171</sup>).

Эти порывы не влекли къ послѣдствіямъ, но они показываютъ, какъ славянофилы стояли на виду у публики конца пятидесятихъ годовъ. Имъ предстояло оправдать свою славу.

Что же они совершили?

Въ первыхъ же книгахъ журнала появились извѣстныя намъ

<sup>169</sup>) *Письмо Грановскаго къ Кавелину*. Грановскій. II, 456.

<sup>170</sup>) *Р. Стар.* 1898, марта, 486.

<sup>171</sup>) *Р. Стар.* 1897, ноябрь, 234.

статьи Филиппова и Василя Григорьева о Грановскомъ и, кромѣ того, Аполлона Григорьева *О правдѣ и искренности въ искусствѣ*, съ проповѣдью вѣчныхъ идеаловъ и съ проклятіями на «минутные, жалкіе или порочные законы дѣйствительности».

Правда, всѣ три сотрудника больше не появлялись въ журналѣ, но и оставшіеся коренные сотрудники не представляли утѣшительнаго зрѣлища. Въ самой редакціи ежеминутно готова была вспыхнуть междоусобная брань. Кошелевъ оказался самымъ нетерпимымъ цензоромъ славянофильскаго правовѣрія. Несомнѣнно, за нимъ былъ богатѣйшій практическій и идейный опытъ. Бывшій «архивный юноша», членъ «Общества Любомудрія», сотрудникъ *Мнемозины*, славянофилъ подъ руководствомъ Хомякова, наконецъ, чиновникъ, помѣщикъ и откупщикъ, Кошелевъ имѣлъ право давать тонъ своимъ помощникамъ по журналу, но врядъ ли самое дѣло могло выиграть отъ чрезмѣрнаго изслѣдовательскаго усердія издателя.

Прежде всего, Кошелевъ не могъ поладить съ Аксаковымъ, самой блестящей силой *Русской Бесѣды*. Онъ находилъ свои убѣжденія и аксаковскія различіями «въ самыхъ основахъ» и считалъ невозможнымъ вмѣстѣ съ Аксаковымъ издавать журналъ. Константинъ Аксаковъ еще больше пугалъ Кошелева, Хомякова издатель считалъ «совершенно нежурнальнымъ человѣкомъ», одного изъ главныхъ пайщиковъ журнала, кн. Черкаскаго, онъ не причислялъ даже къ славянофиламъ по многимъ весьма существеннымъ основаніямъ: князь не считалъ православнаго ученія основой славянофильскаго міровоззрѣнія, не признавалъ общины и насмѣхался надъ народомъ. Оставался Самаринъ, также пайщикъ *Бесѣды*, но ему было недосугъ заниматься журналомъ.

Все это выяснилось очень скоро, и оба редактора, гласный и негласный, рѣшили каждый обзавестись отдѣльнымъ органомъ, не прекращая *Бесѣды*. Аксаковъ началъ издавать газету *Москву*, а Кошелевъ—журналъ *Сельское Благоустройство*. Цензура еще была вооружена всѣми средствами противъ журнальныхъ посягательствъ на крестьянскій вопросъ и не замедлила обрушиться на оба изданія.

Кошелевъ ходатайствовалъ о расширеніи права говорить объ окончательномъ устройствѣ крестьянъ и заявлялъ о «рѣшительной невозможности» продолжать журналъ, если цензурныя постановленія по крестьянскому вопросу не измѣнятся.

Ходатайство осталось тщетнымъ, и Кошелевъ прекратилъ журналъ <sup>172)</sup>.

Та же участь постигла *Москву*, выходившую въ теченіе 1857 г. Кошелевъ посѣшилъ заявить «во всеуслышаніе», что *Русская Бесѣда* и *Москва* совершенно независимы другъ отъ друга и читатели не должны смѣшивать ихъ мнѣній. Такое образцовое согласіе царствовало между руководителями *Русской Бесѣды* и съ такой тонкой политикой они вели свое дѣло предъ публикой!

Болѣе опаснаго врага, чѣмъ Кошелевъ, *Москва* встрѣтила въ князь Вяземскомъ. Пока существовалъ секретный комитетъ по крестьянскому вопросу, князь не могъ допустить даже намека на «вольный трудъ»; по его словамъ, «утопію, которая можетъ сбить съ толку трудящихся». Товарищъ министра народнаго просвѣщенія въ письмѣ къ Константину Аксакову дѣлалъ по адресу издателя *Москвы* крайне рѣзкій выговоръ: «Вводить въ искупленіе несбыточными мечтаніями и эффектными фразами меньшую братію грѣшно и ужъ вовсе не православно». *Москва* не выдержала этой грозы и скончалась въ концѣ года.

Годъ спустя Аксаковъ предпринялъ изданіе новой газеты *Парусъ*. Передовая статья была посвящена вліянію цензуры на литературу и журналистовъ. Авторъ въ горячей лирической формѣ высказывалъ въ высшей степени мрачный взглядъ.

«Неужели же, — восклицалъ онъ, — мы еще не избавились отъ печальной необходимости лгать или безмолвствовать? Когда же, Боже мой, можно будетъ, согласно съ требованіемъ совѣсти, не хитрить, не выдумывать иносказательныхъ оборотовъ, а говорить свое мнѣніе прямо и просто, во всеуслышаніе? Развѣ не довольно мы лгали? Чего довольно?! — изолгались совсѣмъ... Было такое время, когда ни воздуха, ни свѣта не давалось людямъ, когда жизнь пританлась и смолка и въ пустынномъ мракѣ пиrowала и вѣнчалась официальная ложь, одна, владыкою безмолвнаго простора. Но вѣдь это время прошло! Или мы еще не убѣдились, что постоянное лганье приводитъ общество къ безнравственности, къ безсилію и гибели? Или уроки исторіи пропали для насъ даромъ? Развѣ не выгодноѣ для правительства знать искреннее мнѣніе каждаго и его отношенія къ себѣ?..»

И редакторъ собирался высказывать «безоглядную правду», почтительно и скромно, но вполне независимо и свободно. На второмъ выпускѣ газета была прекращена.

<sup>172)</sup> *Истор. соед.*, 107.

Въ союзѣ съ цензурой опять оказался Кошелевъ. Онъ не могъ выносить оппозиціоннаго настроенія Аксакова, предлагалъ ему «кутить» въ *Парусъ* какъ угодно, но въ *Бесѣду* быть сдержаннымъ, иначе ее лучше закрыть. Кошелевъ стремился «слыть органомъ правительства», болѣе или менѣе либеральнаго, и позволялъ себѣ только «скорбѣть», не больше <sup>173)</sup>.

Скорбѣть приходилось такъ часто и такъ глубоко, что на другія чувства не оставалось и времени. Официальный источникъ сообщаетъ свѣдѣнія о количествѣ статей по крестьянскому вопросу, которыя присылались изъ Москвы въ Петербургъ на просмотръ главнаго управленія цензуры. Цифры чрезвычайно краснорѣчивы. Напримѣръ, изъ 14 статей, съ исключеніями одобряется 4; изъ 9 всего 3. И такъ постоянно: рукописей приходили «тѣлыя кипы» и «большая часть ихъ была устраняема отъ печати» — все изъ-за старанія цензуры удержать обсужденіе вопроса въ указанныхъ границахъ. Одновременно разсылались многочисленные циркуляры и частныя письма сановниковъ, въ родѣ посланія кн. Вяземскаго къ Аксакову.

Кошелевъ имѣлъ всѣ основанія спрятаться съ своимъ *Благоустройствомъ*, но *Бесѣда* продолжала жить. Одной изъ главныхъ задачъ редація считала укрѣпленіе тѣсныхъ связей съ славянскими народами и въ привлеченіи сотрудниковъ изъ славянскихъ земель. Путешествія по славянскимъ землямъ занимали видное мѣсто въ журналѣ. Изъ политическихъ статей особенный шумъ былъ поднять статьей Самарина *Два слова о народности въ наукѣ*. Усерднымъ совопросникомъ явился *Русскій Вѣстникъ* въ лицѣ Б. Чичерина. Московскія стогны огласились возгласами: «воззрѣніе объективное», «субъективные взгляды», «общечеловѣческое», «народное» и всякими другими задорными словами, никого ничему не научившими и оставившими ярыхъ ратоборцевъ на ихъ неизмѣнныхъ позиціяхъ. Вышла чисто словесная чернильная свалка, сильно потѣшившая самихъ героев и кучку праздныхъ пріятелей.

Какое дѣло могло быть публикѣ до этой суеты журнальнаго муравейника? Кошелевъ признавалъ, что кругъ читателей *Бесѣды* «не огроменъ» и что «молодежь не льнетъ» къ ней. Онъ разсчитывалъ на «людей зрѣлыхъ». Похвальный разсчетъ, но только понятіе о зрѣлости чрезвычайно относительно. Въ глазахъ Кошелева оба брата Аксаковы не были вполне зрѣлы и только по

<sup>173)</sup> *Биографія А. И. Кошелева*, 249.

необходимости, за недостаткомъ болѣе удовлетворительнаго редактора, приходилось мириться съ Иваномъ Аксаковымъ. Солидность, можетъ быть и весьма почтенная, и вполне приличная политику, сильно разсчитывавшему одно время на постепенное уничтоженіе крѣпостного права благородными душевладѣльцами. При другихъ обстоятельствахъ разсчетъ и солидность, пожалуй, и были бы опѣнены по достоинству, но не публикой пестидесятыхъ годовъ. Для нея *Бесѣда* явилась и осталась до конца вторымъ изданіемъ *Москвитянина*, т. е. журналомъ, заранѣе дискредитированнымъ, отчасти курьезнымъ, отчасти старчески-скучнымъ и вообще несовременнымъ.

Относительно *Бесѣды* во многихъ отношеніяхъ это было несправедливо. Но редакція не умѣла и даже не желала свои несомнѣнные достоинства и свой положительный идейный капиталъ представить публикѣ въ яркой, талантливой, вдохновляющей формѣ. Она совершенно напрасно мирилась съ равнодушіемъ молодежи. Наступало время, когда всѣ, безъ различія возраста, молодѣли духомъ и предъявляли юношески-нетерпѣливые запросы къ людямъ, взявшимъ на себя смѣлость руководить общественнымъ мнѣніемъ въ эпоху величайшаго перелома общественной и народной жизни.

Болѣе острую проницательность обнаружилъ врагъ *Русской Бесѣды* — *Русскій Вѣстникъ*. Онъ сразу закутилъ, лишь только появился на свѣтъ, не въ духѣ незрѣлости и молодости, какъ понималъ Кошелевъ. Нѣтъ. Солидность возрѣвѣній и зрѣлость гражданскихъ чувствъ Каткова не подлежали сомнѣнію, — онъ съумѣлъ «дать себѣ отвагу» въ другомъ направленіи, вполне удобномъ, но, тѣмъ не менѣе, очень картинномъ и благодарномъ.

#### XXIV.

Долголѣтняя журнальная дѣятельность Каткова представляетъ исключительный примѣръ публицистики чисто-импрессионистскаго жанра. Будущему историку и психологу будетъ одинаково трудно прослѣдить многообразныя эволюціи катковской внутренней и вѣншей политики и опредѣлить сущность и принципиальное зерно ея стремленій. Нельзя назвать ни одного болѣе или менѣе важнаго вопроса въ государственной и общественной исторіи преобразованной Россіи, не получившаго въ статьяхъ Каткова по нѣскольку совершенно различныхъ, непримиримыхъ отвѣтовъ. Публицистика

*Московских Вѣдомостей*, разложенная на догматы и принципы, представила бы изумительно пеструю справочную энциклопедію для большинства политических партій XIX-го вѣка, отъ англійскаго высоко-культурнаго либерализма до вполне откровенной философіи «слова и дѣла».

Эти результаты на почвѣ молодой русской публицистики не лишены оригинальности, но нашъ публицистъ обнаружилъ еще болѣе яркую оригинальность въ другомъ отношеніи. Писатели-импрессионисты народъ обыкновенно спокойный, иронически ко всему снисходительный и до послѣдней степени терпимый. Это очень похвально. Если человѣкъ положилъ себѣ правиломъ не держаться строго опредѣленныхъ взглядовъ, не мучиться изъ-за постоянныхъ убѣжденій, ему, конечно, было бы странно горячиться и переживать сильныя чувства восторга или негодованія по поводу чужихъ какихъ бы то ни было идей. Вѣдь всякій имѣетъ право говорить рѣшительно все, что ему угодно; разговоръ—результатъ не мысли и вѣры, а настроеній, тѣхъ или другихъ случайныхъ внушеній. И современные импрессионисты—все господа образцоваго литературнаго тона и безукоризненнаго джентльмэнства, по крайней мѣрѣ, на родинѣ импрессионизма во Франціи.

Катковъ импрессионистъ совершенно особаго характера. Его «впечатлѣнія» въ его глазахъ—догматы и законоположенія. Какъ бы часто и рѣзко они ни мѣнялись, публицистъ ни на минуту не утрачивалъ рѣшительнаго всеподавляющаго тона. Размахъ пера и воинственная отвага рѣчи оставались неизмѣнными при самыхъ разнообразныхъ рѣшеніяхъ одного и того же вопроса. Даже больше: азартъ непосредственно послѣ скачка въ сторону или назадъ становился настойчивѣе, будто публицистъ старался перекричать свой собственный голосъ, только что выкрикивавшій другіе мотивы и еще не совсѣмъ замолкшій въ ушахъ публики. Самоувѣренность чрезвычайно завидная и принесшая самому герою богатые плоды. Онъ могъ съ неприкосновеннымъ и одинаково внушительнымъ эффектомъ и «олимпийскимъ» громогласіемъ провозглашать судъ присяжныхъ благодѣяніемъ и судомъ улицы, вопросъ о женскомъ образованіи—исторически-неизбѣжнымъ и фальшивымъ, гибельнымъ для благоденствія Россіи, союзъ съ Франціей—унизительнымъ, опаснымъ и немного спустя мудрымъ и необходимымъ. И будущій историкъ напрасно станетъ доискиваться какой-либо руководящей мысли во всѣхъ этихъ зигзагахъ и прыжкахъ талантливаго газетнаго слова. Предъ нимъ развер-

нется, будто многоактная и многословная пьеса будущего автора. Психологія дѣйствующихъ лицъ неопредѣленна и противорѣчива, эпизоды плохо мотивированы, интрига произвольна и основана на случайностяхъ, развязка совершенно фантастична. Ясно только одно: главный герой весь поглощенъ заботой участвовать во всѣхъ сценахъ и непремѣнно на первомъ планѣ, произносить краснорѣчивые монологи и дѣлать «выигрышные» выходы. Вдумываясь въ спектакль, зритель даже можетъ напасть на мысль: да ужъ не ради ли этихъ выходовъ задумана вся махинація и не ими ли объясняется головокружительная безсвязность и сюрпризность зрѣлища?

Повидимому, зритель не будетъ слишкомъ далекъ отъ истинной разгадки. Въ нашу программу не можетъ входить опѣнка публицистическаго таланта Каткова, но дебюты издателя *Русскаго Вѣстника* для насъ важны—въ томъ же отношеніи, какъ и дѣятельность *Русской Бесѣды*. Мы должны опредѣлить военную позицію, занятую новымъ журналомъ въ современномъ движеніи и вывести окончательное заключеніе объ истинныхъ выразителяхъ этого движенія.

Мы видѣли, Катковъ замышлялъ журналъ съ цѣлью создать «особый органъ въ литературѣ» для «благороднаго одушевленія» русскаго общества, готовъ былъ даже просить просто о возобновленіи *Сина Отечества*—съ переименованіемъ въ *Русскаго Летописца*. Разрѣшеніе получилось, и *Русскій Вѣстникъ* съ 1856 г. явился въ свѣтъ.

Онъ не замедлилъ выдѣлать себя изъ хора остальной журналистики—существовавшей и существующей. Совершилъ онъ этотъ актъ съ большимъ величіемъ въ позѣ и краснорѣчіемъ въ словахъ. Онъ началъ прежде всего на *юсподъ критиковъ* вообще за ихъ исключительное положеніе въ журналистикѣ. Со времени Бѣлинскаго критика стала главнымъ и для читателей любопытнѣйшимъ отдѣломъ журналовъ. Этотъ порядокъ вещей не поправился *Русскому Вѣстнику* и онъ сочинилъ «нѣсколько словъ о критикѣ»—весьма поучительныхъ для всей его только что начинавшейся дѣятельности.

Критики—это «литературные бобыли», «баши-бузуки», отнюдь не «производители». Они притязаютъ на «направленіе», но это понятіе столь же презрѣнно, какъ и «критика». Его вовсе до сихъ поръ не понимали. Въмѣсто «направленія» царствовало «громогласіе», «литературныя сплетни» и круглое невѣжество. По мнѣнію

*Русскаго Вѣстника*, «критикамъ вѣнялось въ главнѣйшую обязанность» — «быть какъ можно свободнѣе отъ всякихъ другихъ (кромѣ сплетенъ) стѣснительныхъ знаній: чѣмъ легче на умѣтѣмъ легче на совѣсти и тѣмъ смѣлѣе говорится». Въ результатѣ — «невообразимая наглость», «недобросовѣстность». «Баши-бузуки обыкновенно занимали журнальные аванпосты, и съ гиканьемъ носились въ отдѣлахъ критика, библиографіи, обзорнѣя журналистики».

Авторъ утѣшаетъ себя мыслью, что эти *обри* погибли, раздается «послѣдній вопль литературныхъ баши-бузуковъ». Въ будущемъ русскимъ журналамъ предстоитъ уподобиться «англійскимъ обзорнѣямъ». «Скандалѣзныя явленія», «гостинодворскіе отчеты» критиковъ исчезнутъ. *Athenaeum* и другія «англійскія большія обзорнѣя» процвѣтутъ на русской почвѣ, — надо полагать, по образцу *Русскаго Вѣстника* и подъ руководствомъ его издателя, столь основательно усвоившаго чинный и благопристойный тонъ англійской печати.

Какъ! — воскликнете вы, — что же это за благопристойность: сидѣльцы, баши-бузуки, наглость, гиканье? Если русскіе журналы начнутъ отвѣчать своему критику въ его же тонѣ, выйдетъ нѣчто почище даже «гостиныхъ дворовъ», столь презираемыхъ *Русскимъ Вѣстникомъ*.

Несомнѣнно. Журналы, конечно, имѣли полное право разговаривать съ нашимъ англоманомъ въ его стилѣ. Но съ нихъ, завѣдомыхъ баши-бузуковъ, нечего было и спрашивать. Другое дѣло, какъ русскій *Revue des deux Mondes* унивился до гиканья и громогласія?

Это непостижимое противорѣчіе будетъ сопровождать всю публицистическую карьеру Каткова. Врядъ ли какой журналистъ извергнулъ на своемъ вѣку большее количество бранныхъ словъ, чѣмъ онъ, и врядъ ли кто съ большимъ усердіемъ твердилъ въ то же время о тонѣ и «чистотѣ» критики. Въ первой же статьѣ провозглашалось слѣдующее благородное правило:

«Всякое дѣло должно быть дѣло чистое, и критика должна быть критикою чистою, какъ наука должна быть чистою, какъ искусство должно быть чистымъ» <sup>174</sup>).

На что превосходнѣе! А между тѣмъ эта чистая критика съ каждымъ мѣсяцемъ все сильнѣе пачкалась въ предметахъ, не

<sup>174</sup>) *Русскій Вѣстникъ*. 1856 г., томъ III. *Современная Литература*, стр. 213.



особенно чистыхъ. «Балаганы», «желтый домъ», «свирѣпое безсмысліе», «раболѣпство», «мальчишеское забѣячество», «оскверненіе мысли въ ея источникахъ» и множество другихъ полемическихъ красоть и прямо сплетень могли извлечь мальчишки и баши-бузуки изъ московскаго *Athenaeum*'а. Насмѣшливая судьба судила *Русскому Вѣстнику* со дня рожденія быть «подозрительнымъ бель-этажемъ», возглашать неустанно о своихъ «чистыхъ комнатахъ» и щеголять публично убранствомъ и атмосферой чердаковъ и подваловъ.

Глѣбъ Успенскій по поводу одной чисто-подвальной выходки «бель-этажа» заявлялъ, что она далеко не новость въ этихъ благовонныхъ сферахъ, что крики «мошенники», «негодая» уже начали раздаваться въ самую раннюю весну послѣ реформеннаго времени.

Мы видимъ, даже еще раньше, за пять лѣтъ до реформъ. И даже направленіе криковъ успѣло намѣтиться съ достаточной точностью. Здѣсь Катковъ не измѣнялъ себѣ отъ перваго драматическаго монолога противъ «баши-бузуковъ» до послѣдняго натиска на «разбойниковъ печати». Даже изыщество терминовъ не потерпѣло отъ времени.

Для читателя нѣсколько неожиданно такое заключеніе. Извѣстно, «разбойники печати» для Каткова, спасавшаго отечество отъ скрытыхъ и явныхъ нигилистовъ, были всѣ, кто не состоялъ подписчикомъ или читателемъ *Московскихъ Вѣдомостей*, предпочиталъ другія газеты. Неужели же онъ еще съ 1856 г. провидѣлъ эту злокозненную расу людей и заклеилъ ее на все будущее время баши-бузуками?

Оказывается, да. Потому что, кого же *Русскій Вѣстникъ* могъ поражать съ такой свирѣпостью, какъ не предшественниковъ позднѣйшихъ недруговъ *Московскихъ Вѣдомостей*? Не надо забывать, катковское «слово и дѣло» въ семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годахъ раздавалось вовсе не противъ заведомыхъ революціонеровъ и нигилистовъ, а вообще противъ «не нашихъ». До какой степени оказался обширнымъ районъ этихъ прокаженныхъ, показываетъ исторія *Московскихъ Вѣдомостей* съ Тургеневымъ. Она выяснила, что всякій русскій «либераль» на языкѣ Каткова означаетъ послѣдователя нигилизма и даже самъ Тургеневъ въ томъ числѣ. Русская печать, при всей разрозненности и гражданской шатости, поняла размахъ патріотическаго краснорѣчія и доказала это публично. На обѣдѣ при открытіи пушкин-

скаго памятника въ Москвѣ Катковъ вздумалъ взывать къ примиренію и единенію. Воззваніе нашло искренній откликъ въ единственномъ редакторѣ-издателѣ, Гайдебуровѣ.

Такая широта арены опредѣлилась именно съ 1856 года.

Въ самомъ дѣлѣ, на кого ополчался новый журналъ? Онъ особенно негодовавъ на журнальныя обозрѣнія, называлъ ихъ «варварствомъ литературныхъ нравовъ», излюбленнымъ изобрѣтеніемъ баши-бузуковъ. Онъ соображалъ, что этотъ обычай завелся «лѣтъ за семь или за восемь предъ симъ», т. е. съ 1848 года.

Соображеніе невѣрное. Журналы обозрѣвалъ еще Полевой, потомъ пушкинскій *Современникъ* и, наконецъ, Бѣлинскій. Послѣдній ежегодные критическіе отчеты окончательно ввелъ въ обычай, и нѣкоторые читатели не сомнѣвались, что *Русскій Вѣстникъ* всей своею бранью на гиканье, направленіе, невѣжество, не-чистую критику мѣтилъ именно въ Бѣлинскаго <sup>175)</sup>.

И читатели врядъ ли ошибались.

Говорить о *направленіи* можно было только по поводу Бѣлинскаго, о критикѣ, какъ «животворномъ элементѣ журнала», только въ виду его статей, обзывать же его «бобылемъ», значило повторять эпитетъ Шевырева, обвинять въ невѣжествѣ — слѣдовать примѣру всѣхъ другихъ противниковъ критика. Правда, журналы обозрѣвалъ еще *Иногородній Подписчикъ*, но какое же у него направленіе? Онъ вскорѣ сталъ сотрудникомъ *Русскаго Вѣстника* и ужъ, конечно, никогда не принадлежалъ къ «баши-бузукамъ». Вообще *Русскій Вѣстникъ* въ теченіе шестидесятихъ годовъ собралъ у себя всѣхъ «туристовъ» и «подписчиковъ» — Анненкова, Дружинина, Алмазова, наконецъ Лонгинова, извѣстнаго библиографа и еще болѣе извѣстнаго официальнаго гонителя «литературныхъ баши-бузуковъ» и «мальчишекъ».

Первое мѣсто среди нихъ, по бойкости пера, слѣдуетъ отдать И. Ф. Павлову. При жизни Бѣлинскаго онъ прославился остроумной статьей о *Перепискѣ* Гоголя. Статья появилась въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ*, привела въ восторгъ Бѣлинскаго удачнымъ сопоставленіемъ міросозерцація *Переписки* и психологіи отрицательныхъ героевъ гоголевской сатиры и была перепечатана въ *Современникъ* <sup>176)</sup>. Такой же восторгъ, но уже со стороны Тургенева выпалъ на долю статьи Павлова о комедіи гр. Соллогуба — *Чиновникъ*, въ *Русскомъ Вѣстникѣ*.

<sup>175)</sup> *Біографія А. И. Кошелева*. II, 420.

<sup>176)</sup> *Современникъ*. 1847, май, іюнь.

Статья действительно очень живая, остроумная и очень благонамбренная по части просвещения. Но въ статьѣ мелькали отдаленные отголоски приближавшейся войны, какую вскорѣ Павловъ подниметъ въ своей газетѣ *Наше Время* противъ *Грозы* Островскаго и *Наканунъ* Тургенева. Тогда Катерина возбудитъ «исе его негодование», а Тургеневъ огорчитъ «философическими воззрѣніями»<sup>177)</sup>. Теперь критикъ выступитъ на защиту «современной графини», будетъ взывать къ писателямъ: «схватите душу свѣтской женщины, уловите направленіе ея мысли» и, наконецъ, поставитъ довольно неожиданную дилемму, яростно нападая на героя пьесы: «Зачѣмъ г. Надимовъ запрещаетъ равнодушіе и не велитъ потворства? Неужели премудро-спокойное, азіатски-одинаковое созерцаніе прекрасныхъ и безобразныхъ явленій преступно?»

Не будь здѣсь нѣсколько неодобрительной приставки «азіатски», можно бы смѣло подсказать авторскій отвѣтъ. Да онъ, впрочемъ, ясенъ и съ приставкой. Тому же Павлову, надо полагать, принадлежитъ разборъ стихотвореній Фета. Критикъ въ восторгѣ, въ особенности по слѣдующей причинѣ:

«Теперь гг. Надимовы краснорѣчиво и сильно громогласятъ о нашихъ общественныхъ язвахъ,—г. Фетъ вздумалъ пѣть, что ему придетъ въ голову, что ему пройдетъ по сердцу, что у него проснется въ душѣ... Онъ поетъ какъ птичка на вѣткѣ: да вѣдь это было сказано Богъ знаетъ когда, это было сказано старикомъ Гете, а развѣ не знаетъ г. Фетъ, что теперь это запрещено, строжайшимъ образомъ это запрещено?.. Придетъ съ своею алебардою безпощадный блюститель запрещенія и бѣда тебѣ, пѣвчая птичка?..»<sup>178)</sup>.

Кто же этотъ «грубый сторожъ»? Опять приходится припоминать ни кого иного, какъ Бѣлинскаго. Его въ теченіе всего жертваго періода укоряли за погубительство поэзіи и всѣ обвинители наши пріютъ въ *Русскомъ Вѣстникѣ*. Очевидно, онъ продолжатель эстетики *Москвитянина* и *Иногороднаго Подписчика*. Фактъ сталъ вполне яснымъ при первомъ же опредѣленномъ заявленіи «новыми людьми» своихъ мнѣній.

Эти люди въ литературной критикѣ пока считали себя преданнѣйшими учениками Бѣлинскаго и, несомнѣнно, были ими съ

<sup>177)</sup> *Наше Время*. 1860. № 1 и 9.

<sup>178)</sup> *Русск. Вѣст.* 1856, томъ III, *Русская литература*, стр. 501, 385; томъ IV, *Соврем. Литонисъ*, стр. 91.

неизмѣримо большимъ правомъ, чѣмъ Аппенковъ и Дружининъ. Съ теченіемъ времени, мы увидимъ, стремительность мысли унесла ихъ въ сторону, и самые увлеченные изъ нихъ даже открыто отреклись отъ наслѣдства Бѣлинскаго. Но для Чернышевскаго и Добролюбова завѣты критика были еще дороги и жизненны. А между тѣмъ уже въ 1861 году между Катковымъ и *Современникомъ* шла непримиримая война и нетерпимой запальчивостью отличалось именно московское *Révue*. Чернышевскій невольно долженъ былъ вспомнить, какъ быстро и далеко разошлись когда-то, повидимому, единомышленные люди? Катковъ писалъ въ *Отечественныхъ Запискахъ* вмѣстѣ съ Герценомъ и Бѣлинскимъ, и Чернышевскій даже впалъ въ грустный лиризмъ по поводу воспоминанія о прошломъ. Совершенно напрасный «порывъ чувствъ»! Катковъ сталъ хозяиномъ журнала, ему нужно стать владѣтелемъ душъ,—будетъ онъ хлопотать о какой-то послѣдовательности взглядовъ или о старыхъ связяхъ съ людьми! Онъ видитъ, *Современникъ*—опасный соперникъ. И онъ не ошибается. Политика одна: пойти войной на противника, все равно, врагъ ли онъ въ самомъ дѣлѣ, честный ли работникъ на томъ же литературномъ поприщѣ или только помѣха нашему вліянію. Вопросъ, кто побѣдитъ, а *eo ipso*—дѣло второстепенное. Мы даже кое-что заимствуемъ у нашихъ непріятелей. Мы большіе поклонники англійскихъ журнальныхъ порядковъ, мы будемъ безпрестанно твердить о насажденіи истинно-парламентскихъ пріемовъ въ русской печати, но это не помѣшаетъ намъ прибѣгать къ отборной не литературной брани, въ отвѣтъ на бойкія монеры молодой литературы. Мы джентльмены и живемъ въ бель-этажѣ, но и у просвѣщенныхъ мореплавателей существуетъ боксъ и имъ приходится бывать въ мѣстахъ менѣе чистоплотныхъ, чѣмъ бель-этажъ: мы также ринемся въ свалку и съ большой охотой угодимся обитателямъ чердаковъ и подваловъ, если это потребуетъ для защиты нашего бель-этажа и для торжества нашей аристократичности. Мы, можетъ быть, обнаружимъ нѣкоторую непослѣдовательность, впадемъ въ противорѣчія, но развѣ только слѣпые не распознаютъ во всѣхъ нашихъ полетахъ отъ бель-этажа до подвала одной строго-выдержанной политики: быть вездѣ и всегда на первомъ и исключительномъ мѣстѣ. Мы одни и единственные,—идеалъ, за который можно пожертвовать мессами всѣхъ церквей и вѣроисповѣданій.

<sup>179)</sup> *Современникъ*. 1861, VI.

## XXV.

Катковъ съ перваго года *Русскаго Вѣстника* вполне прочно установилъ свое положеніе: быть отрицательнымъ моментомъ новаго движенія въ русскомъ молодомъ поколѣніи. Задача должна выполняться съ неуклонной прямолинейностью, все равно, обнаружить ли молодежь сплошныя нравственныя язвы или также кое-какіе признаки здоровья. Она виновата заранѣе, потому что съ ней живетъ и волнуется что-то *свое*, не предусмотрѣнное и не предписанное «олимпійцемъ». Такъ Алмазовъ будетъ именовать своего редактора, предавая гласности задушевныя думы самого героя и покоренныхъ имъ народовъ. Молодежи потребовались большія силы бороться съ своимъ врагомъ, особенно въ началѣ, когда врагъ игралъ эффектную и увлекательную роль. Мы знаемъ, Чернышевскій не могъ даже удержаться отъ чувствъ: это свидѣтельствоvalo о большомъ значеніи катковскихъ «впечатлѣній».

Издатель *Русскаго Вѣстника* съ большимъ искусствомъ защищалъ права печати. Мы видѣли, онъ въ самомъ началѣ новаго царствованія высказывалъ въ официальной бумагѣ общія соображенія о тлетворныхъ вліяніяхъ цензурныхъ стѣсненій. Одновременно онъ отказался напечатать въ своемъ журналѣ опроверженіе оберъ-прокурора Святѣйшаго Синода на статьи о злоупотребленіяхъ греческаго духовенства въ Болгаріи. Въ 1858 году это было нѣкоторой отвагой <sup>180)</sup>.

Еще эффектнѣе поступилъ Катковъ годомъ раньше.

Двадцатаго ноября послѣдовалъ Высочайшій рескриптъ на имя виленскаго военного, гродненскаго и ковенскаго генералъ губернатора, разрѣшавшій дворянамъ этихъ губерній образовывать комитетъ и приступить къ составленію проектовъ объ освобожденіи крестьянъ. Рескриптъ произвелъ громадное впечатлѣніе на общество; московская интеллигенція рѣшила ознаменовать событіе торжественнымъ обѣдомъ. Участіе приняло до 180 лицъ и обѣдъ состоялся 28 декабря въ залахъ купеческаго клуба. Участвовали разныя сословія и состоянія, но на первомъ мѣстѣ стояли журналисты и профессора.

Было произнесено множество рѣчей; Катковъ говорилъ о единодушіи «всей мыслящей Руси» въ чувствѣ безграничной признательности предъ Государемъ Императоромъ, Павловъ указывалъ

<sup>180)</sup> Историч. вѣст. 93—4.

на «второе преобразование Россіи», Погодинъ возлагалъ надежды на дворянство и литературу, какъ усердныхъ помощниковъ правительству въ предстоящемъ великомъ дѣлѣ. Но особенно сильное впечатлѣніе произвела рѣчь В. А. Кокорева, мѣщанина по происхожденію, откупщика и старообрядца. Рѣчь—не лишенная оригинальности по формѣ—говорила о «гражданской равноправности» бывшихъ крѣпостныхъ, о томъ, что «всѣ кривые и дряблые побѣги опять сростутся съ своимъ корнемъ—съ народомъ» и «отъ этого «сростанія мы почерпнемъ изъ чистой натуры народа ясность и простоту воззрѣній».

Катковъ напечаталъ подробный отчетъ объ обѣдѣ въ своемъ журналѣ, съ изложеніемъ рѣчей. Петербургская администрація взволновалась и усмотрѣла въ Катковѣ и въ цензорѣ, пропустившемъ статью, главныхъ виновниковъ. Министръ Норовъ потребовалъ у цензора Н. Ф. Крузе объясненія, и цензоръ отвѣчалъ превосходной защитой литературы. Краснорѣчивѣе и искреннѣе не могъ бы говорить самый либеральный и убѣжденный редакторъ. Записка Крузе въ высшей степени любопытна, какъ показатель духа времени. Рядомъ съ ней оппозиція Каткова сильно теряетъ въ своей гражданской доблести.

Цензоръ полагалъ, правительство смотритъ на литературу «не какъ на враждебный элементъ, допускаемый только по обычаю или изъ приличія, а какъ на дѣло существенное, необходимое, желательное, какъ на важное и лучшее пособіе себѣ во всѣхъ благихъ начинаніяхъ».

Дальше цензоръ, по личнымъ наблюденіямъ, характеризовалъ современную литературу: «она заслуживаетъ въ послѣднее время доброе о себѣ мнѣніе. Она не искала подъ двусмысленностью выраженія провести какую-нибудь недозволенную мысль. Да въ литературѣ нашей за послѣднее время не отыщется ничего безнравственнаго, ничего анархическаго, ничего иносказательно-вреднаго. Ни въ какую эпоху не выражала она такъ искренно, такъ благородно, съ такимъ отсутствіемъ неоправданной лести своего сочувствія вѣнчанной главѣ государства. Всѣ ея стремленія, съ какой стороны ихъ ни взять, какъ ихъ ни перетолковывать, клонятся только къ указаніямъ злоупотребленій, къ истребленію общественной порчи, къ полезнымъ, не разрушительнымъ нововведеніямъ, ко благу и славѣ Россіи».

<sup>181)</sup> Русск. Вѣстн. 1857, т. XII. Современная Литтопись, стр. 203. Исторія обѣда—Р. Стар. 1898, январь—февраль.

Цензоръ находилъ такую литературу достойной поощренія и защиты. Независимость науки, ума, таланта необходима, чтобы литература могла выполнять свое назначеніе. Цензоръ указывалъ, до какой степени цензурныя стѣсненія способствуютъ именно врагамъ Россіи, клеветѣ и разнымъ обвиненіямъ, развиваютъ у общества недовѣріе и подозрительность.

Круже получилъ строжайшій выговоръ, рѣчь Кокорева признана неприличной, перепечатка ея въ другихъ изданіяхъ запрещена.

Но на этомъ вопросъ не закончился. *Одесскій Вѣстникъ* успѣлъ перепечатать нѣкоторые мѣста изъ статьи *Русскаго Вѣстника* раньше распоряженія министра.

Газета состояла въ вѣдѣніи попечителя округа Пирогова и перепечатка вызвала ожесточенную войну генералъ-губернатора гр. А. Г. Строганова съ попечителемъ. Графъ выступилъ настоящимъ якимъ-бичемъ старыхъ порядковъ и въ официальныхъ бумагахъ принялся излагать такую государственную мудрость, что вызвалъ возраженія даже въ правительственныхъ сферахъ. Эта война—одно изъ самыхъ яростныхъ столкновеній умирившаго крѣпостничества съ новымъ движеніемъ, и Строгановъ выполнялъ свою задачу съ рѣдкимъ блескомъ.

Онъ горячо возмущался московскимъ обѣдомъ не могъ допустить и мысли, чтобы русскіе обыватели смѣли высказывать свои «частныя мнѣнія» даже въ пользу правительственныхъ распоряженій, заявлялъ, что вся русская періодическая печать отъ моднаго журнала до губернской газеты—есть «мнѣніе правительства», что комедія Гоголя *Ревизоръ*, копія *Свадьбы Фигаро*. Правда, эта пьеса и сотни подобныхъ ей не произвели въ Россіи «тѣхъ же печальныхъ послѣдствій для Россіи, какъ творенія Бомарше для Франціи», но зато переводы ихъ навлекли на Россію много нареканій за границей. Строгановъ прямо ставилъ вопросъ о благомысленности Пирогова, доносилъ о литературныхъ собраніяхъ въ его домѣ, какъ первоисточникахъ возмутительныхъ статей *Одесскаго Вѣстника*.

Строгановъ долженъ былъ найти сочувственниковъ и херсонскій губернскій предводитель дворянства Касиновъ, въ бумагахъ къ министру, вліяніе Пирогова на *Одесскій Вѣстникъ* приводилъ въ непосредственную связь съ принципомъ *La propriété c'est le vol*, съ предстоящимъ воззваніемъ къ топорамъ во имя свободы труда, припоминалъ Прудона, Мадзини, Герцена и его *Колоколъ*, грозилъ правительству «кровавою стезею безпорядковъ» и въ заключеніе

договаривался до Робеспьера. Въ доказательство и генералъ-губернаторъ, и его сотрудники ссылались на статьи газеты.

Но спасители отечества съ Ропеспьеромъ и «республикой» хватали черезъ край и сами заранѣе подорвали довѣріе къ своему здравому смыслу. Направленіе *Одесскаго Вѣстника* въ Петербургѣ не признали вреднымъ и Пироговъ пока остался на своемъ мѣстѣ и съ репутаціей благонамѣреннаго администратора. Но по усердію Строганова и Касинова можно судить о напряженности охранительскихъ истинниковъ у многихъ особъ преобразовательной эпохи. Разсказанная борьба, кромѣ того, подтверждаетъ существенный историческій фактъ: оппозицію правительству по поводу реформы дѣлало только дворянство и преимущественно высшее чиновничество. Литература, напротивъ, скорѣе могла потеряться въ своихъ восторженныхъ чувствахъ, чѣмъ обнаружить даже тѣнь отрицательнаго настроенія. Это засвидѣтельствовано одинаково и публикой, и властью, и самой литературой<sup>182)</sup>. Даже заграничная русская печать преклонялась предъ волей и личностью Императора Александра. Огаревъ сравнивалъ его восшествіе на престолъ съ «теплымъ утромъ послѣ долгой и ледяной ночи», Герценъ опредѣлялъ ему «мѣсто въ числѣ величайшихъ, государственныхъ дѣятелей нашего времени»<sup>183)</sup>. И общество высоко цѣнило печать и пристально слѣдило за ней.

Въ это именно время и развернулась слава Каткова, какъ публициста. Заключалась ли особенная заслуга въ усердіи *Русскаго Вѣстника* по вопросу крестьянской реформы? Брядъ ли. На московскомъ обѣдѣ говорились рѣчи людьми умѣреннѣйшаго образа мыслей, и тонъ рѣчей даже превосходилъ тусклое слово Каткова. Относительно крестьянской реформы въ печати—болѣе или менѣе здравомыслящей—не было рѣзкихъ направленій. Конечно, Строгановы и Касиновы могли найти органъ и для своихъ Кассандриадъ: ихъ прорицанія, навѣрное, не отказался бы напечатать *Журналъ Землеуладѣльцевъ*,—но это не былъ органъ общественнаго мнѣнія, а чисто-эгоистической партіи и заматорѣвшей касты. *Русскій Вѣстникъ*, слѣдовательно, отнюдь не либеральничалъ, а плылъ широкимъ теченіемъ, захватывавшемъ одновременно и высшее правительство и лучшее общество.

Даже больше. *Русскій Вѣстникъ* явно придерживался подавив-

<sup>182)</sup> Ср. *Русск. Стар.* 1896, февр., 273—4.

<sup>183)</sup> *Болотова*, 15 дек. 1859.



пей его англійской складки въ торійскомъ смыслѣ. *Современникъ* еще въ 1859 году могъ составить рядъ крайне любопытныхъ ссылокъ на статьи журнала, разсматривавшихъ вопросъ о *выкупѣ душъ*, не желавшихъ отчужденія даже усадебъ въ промышленныхъ губерніяхъ и особенно горячо враждовавшихъ съ принципомъ общиннаго владѣнія. По адресу защитниковъ общины *Русскій Вѣстникъ* даже прибѣгъ къ своему «англійскому» стилю: обозвалъ ихъ «крикунами», «задорно-крикливыми голосами, которыхъ наглость равняется только ихъ невѣжеству и бессмыслию», упомянулъ о «нерастворимомъ осадкѣ отъ верхогляднаго чтенія всякаго рода брошюркъ», о «цинизмѣ» о «мерзостномъ кострѣ», — вообще вполнѣ въ духѣ *Révue des deux Mondes* и *Athenaeum'a*, и въ духѣ всего дальнѣйшаго будущаго нашего публициста.

Этотъ духъ обнаруживался безпрестанно съ подавляющимъ «олимпійствомъ». Катковъ будто забогѣлъ мономаніей; богѣзненнымъ зудомъ преслѣдованія нигилистовъ. Никакихъ оттѣнковъ и степеней онъ не желалъ различать. Въ припадкѣ дѣющейся ярости, руководимый страннымъ дальтонизмомъ, онъ набрасывался на все, что только напоминало ему ненавистный призракъ. Журналъ не замедлилъ воспользоваться романомъ Тургенева *Отцы и дети*, чтобы напелсти всѣхъ ужасовъ на «милыхъ малютокъ, которые пишутъ въ нашихъ журналахъ», уличить ихъ въ дикихъ разрушительныхъ инстинктахъ и одновременно—въ убѣжденіи, будто «сосущій младенецъ — самый передовой изъ всѣхъ передовыхъ людей», договориться даже до своего рода также нигилистической идеи: «исторія разбила у насъ всѣ общественныя завязи и дала отрицательное направленіе нашей искусственной цивилизаціи». Такая защита порядка оказывала ему весьма сомнительную услугу, и авторъ впадалъ въ обычную крайность особаго типа охранителей, подрывающихъ достоинство защищаемаго строя и вѣру въ его законную и естественную прочность именно чрезмѣрностью и богѣзненностью своихъ ужасовъ предъ малѣйшей, даже призрачной опасностью.

Но пока *Русскій Вѣстникъ* не считалъ полезными «отрицательныя мѣры» противъ недуга, т. е. «стѣсненія и преслѣдованія», и указывалъ одно радикальное средство—«усиленіе всѣхъ положительныхъ интересовъ общественной жизни». Въ *Замѣткѣ для издателя «Колокола»*, надѣлавшей когда-то много шума и дѣйствительно искусно составленной, Катковъ разграничивалъ со-

блззнитель отъ соблазненныхъ и говорилъ о послѣднихъ съ чувствомъ состраданія <sup>184)</sup>. Но съ теченіемъ времени сдержанность чувствъ должна была исчезнуть въ интересахъ энергіи стила и полета мысли. Катковъ быстро расширилъ кругъ своихъ жертвъ и захватилъ едва ли не все русское общество и не всю русскую цивилизацію. Въ заключеніе ему неминуемо пришлось занять полюсъ противоположный подлинному нигилизму, и столь же, слѣдовательно, далекій отъ истинно-политической мудрости и плодотворной идейной дѣятельности. Ясныя предзнаменованія мы могли отмѣтить въ самомъ раннемъ періодѣ катковской публицистики. Она не таила въ себѣ зеренъ поступательной и развивающейся жизни. Она по существу представляла силу, враждебную послѣдовательному и независимому движенію общественнаго сознанія. И не потому, что она враждовала съ нигилистами и малютками: во многихъ отношеніяхъ они дѣйствительно заслуживали критики, а потому, что она враждовала прежде всего съ лицами, а не съ идеями и въ своей стихійной ярости не различала ни добра, ни зла подъ завѣдомо ненавистнымъ знаменемъ.

А между тѣмъ, владѣй публицистика *Русскаго Вѣстника* истинно-гражданскими задачами, умѣй она поставить принципы выше личнаго самолюбія и честолюбія, она могла бы оказать большую пользу и мальчишкамъ-свистунамъ, и ихъ публикѣ. Слѣдовало только спуститься съ Олимпа и заговорить не на діалектѣ подозрительнаго бель-этажа, а на простомъ русскомъ литературномъ языкѣ, хотя бы на такомъ языкѣ, на какомъ обращался къ Каткову передовой вожакъ свистуновъ.

Мы приведемъ эту по истинѣ удивительную рѣчь. Свистуны и нигилисты стяжали славу баши-бузуковъ и именно издатель *Русскаго Вѣстника* особенно постарался на этотъ счетъ гораздо раньше, чѣмъ непріятные ему писатели заслужили подобное наименованіе. Впослѣдствіи они, разумѣется, перестали скромничать и стѣсняться: незачѣмъ было, разъ самъ издатель «большого обозрѣнія» на англійскій образецъ неистовствовалъ и бранился со всѣмъ не въ парламентскихъ формахъ. А пока эти циники говорили совсѣмъ иное, и могли бы поучить культурѣ и парламентаризму всю редакцію московскаго *Athenaeum'a*.

Въ отвѣтъ на судорожные вопли и личные клеветническія обвиненія Каткова, Чернышевскій писалъ:

<sup>184)</sup> *Рус. Вѣстн.* 1862, май, іюль.

«Сопшемся на опытѣ каждаго, кто дѣйствовалъ въ литературѣ благородно: кому изъ нихъ не случилось нѣсколько разъ говорить себѣ то о томъ, то о другомъ, близкомъ прежде, соучастникѣ трудовъ и стремлений: «Мы перестаемъ понимать другъ друга, мы стали чужды другъ другу по убѣжденію, мы должны покинуть другъ друга во имя чувствъ еще болѣе чистыхъ и дорогихъ намъ чѣмъ наши взаимныя чувства». Тотъ, кто пишетъ эти строки, началъ свою литературную дѣятельность позднеѣ почтеннаго редактора *Русскаго Вѣстника*; но и ему пришлось испытать не одну такую потерю. Онъ можетъ сказать не шутя, что не совсѣмъ легко было ему убѣдиться нѣсколько лѣтъ тому назадъ, что онъ и редакция *Русскаго Вѣстника* по мнѣніямъ своимъ о нѣкоторыхъ слишкомъ важныхъ вопросахъ не могутъ сочувствовать другъ другу. Что мнѣ былъ г. Катковъ? его тогда я не зналъ въ лицо, онъ меня также. Я никогда не рассчитывалъ быть его сотрудникомъ онъ, вѣроятно, еще меньше могъ бы согласиться принять меня въ свои сотрудники. Ничего подобнаго личнымъ отношеніямъ или интригамъ тутъ быть не могло. Но было время, когда мнѣ пріятно было думать: «и мы можемъ дѣйствовать за-одно». Расчетъ ли денежнаго выигрыша былъ тутъ? И пришло потомъ время, когда мнѣ тяжело было думать: «по вопросу, который теперь стоитъ впереди всего, мы не можемъ дѣйствовать за-одно? «Что же въ самомъ дѣлѣ, денежную ли потерю я чувствовалъ такъ горько. И если я теперь думаю: «можетъ придти очередь другихъ вопросовъ, въ которыхъ мы можемъ сойтись», развѣ денежные выгоды или другія дразги заставляютъ меня желать того? пусть судьей будетъ самъ *Русскій Вѣстникъ*» <sup>186</sup>).

Но *Русскій Вѣстникъ* не пожелалъ быть судьей, онъ предпочелъ роль прокурора и притомъ весьма своеобразнаго, произносящаго обвинительныя слова независимо отъ достовѣрныхъ фактовъ и не взирая на преступность удостовѣренныхъ.

Естественно, подсудимые перестали скоро не только оправдываться, а вообще вѣжливо разговаривать съ такимъ одержимымъ представителемъ правосудія. Больше Катковъ уже не дождался «порыва чувствъ» и «неумѣстнаго пафоса», заставившаго Чернышевскаго даже отложить полемику до «другаго настроенія». Олимпіецъ достигъ обычныхъ результатовъ всѣхъ не по разуму энергичныхъ и не по достоинствамъ величественныхъ педагоговъ: «мальчи-

<sup>186</sup>) *Современникъ*. 1861, VI. *Полемическія красоты*. Коллекція первая.

шки» совершенно утратили всякую почтительность къ *Русскому Вѣстнику* и стали обращаться съ нимъ чрезвычайно обидно. Московскому обозрѣнію не разъ приходилось весьма плохо, но Катковъ могъ въ трудныя минуты сказать себѣ: *Tu l'as voulu, Georges Dandin*. Гораздо прискорбнѣе и важнѣе другія послѣдствія не для Каткова, а вообще для русской публицистики шестидесятихъ годовъ.

Дѣти, встрѣтивъ со стороны отцовъ незаслуженную брань и ничѣмъ не оправданное высокомеріе, въ свою очередь, закусили удила и понеслись безъ оглядки впередъ. Порывъ естественный, но онъ скоро превратилъ въ «отсталыхъ» самихъ учителей и вдохновителей пылкаго юношества. Сначала Бѣлинскій отжилъ свое время, потомъ очередь дошла и до Чернышевскаго и Добролюбова, по крайней мѣрѣ, относительно многихъ существенныхъ идей. А дѣти все неслись впередъ и въ лицѣ Писарева и Зайцева успѣли домчатся до отрицанія луны и солнца. Нашлись, конечно и спутники у этихъ передовиковъ, и строгая преобразовательная мысль первоучителей-шестидесятниковъ у младшихъ эпигоновъ доразвилась весьма скоро до невѣроятнаго каприза и некритично-отважной бессмыслицы.

Этотъ «прогрессъ» врядъ ли совершился бы въ такихъ откровенныхъ формахъ, какія мы встрѣтимъ въ нѣкоторыхъ импровизаціяхъ *Русскаго Слова*. Если бы съ самаго начала установилась совѣстная работа отцовъ и дѣтей, если бы не объявились самозванные олимпійцы и не стали въ вызывающую воинственную позу противъ искреннѣйшихъ публицистовъ своего времени, если бы они не поклялись своимъ кляузническимъ перомъ и своей маніей величія стереть въ порошокъ всѣхъ инако мыслящихъ, и свизопили до общей принципіальной бесѣды съ талантливейшими и трудолюбивѣйшими писателями молодого поколѣнія, исторія могла бы принять другой оборотъ, во всякомъ случаѣ не выразилась бы въ столь рѣзкой безпощадной междоусобицѣ.

И потомство въ своемъ судѣ о заслугахъ или преступленіяхъ Каткова не должно забыть роковаго вліянія, оказаннаго имъ на русскую общественную мысль въ лучшую весеннюю пору ея развитія. Никто, ни раньше, ни позже, не вносилъ столько озлобленія и раздѣленія въ семью русскихъ писателей, никто съ такимъ преднамѣреннымъ усердіемъ не работалъ надъ униженіемъ другихъ ради личнаго возвышенія и никто никогда съ такимъ гордымъ сознаніемъ своихъ силъ и успѣховъ не совершалъ такой

разлагающей работы въ теченіе десятковъ лѣтъ. Одновременно и рядомъ съ ней шла другая, заклеивенная наименованіями *разрушительной* и *отрицательной*, но въ дѣйствительности продолжавшая дѣло положительной мысли и передавшая его слѣдующимъ поколѣніямъ.

## XXVI.

Вопросъ о *новыхъ людяхъ* шестидесятыхъ годовъ, одинъ изъ самыхъ трудныхъ для историка русской общественной мысли. Что такое представляли эти люди, во имя какихъ положительныхъ принциповъ они дѣйствовали, какія благотворныя сѣмена посеяли на литературной почвѣ—все это задачи, получавшія столько же разнообразныхъ рѣшеній, сколько разъ онѣ разрѣшались. Кипучая страсть, одушевлявшая шестидесятниковъ, перешла на ихъ судей и врядъ ли скоро настанетъ время, когда спокойное историческое разслѣдованіе окончательно устранивъ полемическіе приговоры и сѣмѣетъ бурный періодъ нашей публицистики ввести въ закономѣрный ходъ ея развитія.

На пути къ этой цѣли стоитъ множество препятствій; главнѣйшихъ два—направленіе идей и характеры дѣятелей. Шестидесятые годы выдвинули на первый планъ основные вопросы личной нравственности и культурнаго гражданскаго строя. Они желали построить свои отвѣты на общихъ философскихъ принципахъ, т. е. создать цѣльное міросозерцаніе въ области философіи, морали и политики. Они, слѣдовательно, мечтали о коренной реформѣ отвлеченной и практической дѣятельности человѣка и гражданина. Задача, равная отыскиванію причины всѣхъ причинъ и во всякомъ случаѣ далеко превосходящая силы и стремленія обычныхъ преобразователей философской мысли и отжившихъ общественныхъ порядковъ.

Она, несомнѣнно, требовала не только исключительныхъ талантовъ, но и особаго метода. Строжайшее изслѣдованіе фактовъ, спокойная разносторонняя критика существующаго и вдумчивая безпристрастная оцѣнка предлагаемыхъ на смѣну ему идеаловъ, крайняя осторожность въ выборѣ *данныхъ* и въ составленіи *умозаключеній*—все это первыя настоятельныя условія не только для рѣшенія поставленныхъ задачъ, а даже для болѣе или менѣе соотвѣтственной и достойной работы надъ ними.

Эти условія оказались съ самаго начала трудно выполнимыми.

Преобразователями философіи и политики являются не изслѣдователи, закаленные въ пріемахъ строго-научнаго мышленія, а юные публицисты. По самой природѣ вещей для нихъ вся цѣнность и радость труда заключается не въ подробной кропотливой разработкѣ фактовъ и постепенномъ осматрительномъ ихъ обобщеніи, а въ возможно смѣлыхъ, быстрыхъ и практически-проложимыхъ выводахъ. Они ищутъ не столько истины, сколько новизны, приспособленной для разрушенія устарѣвшихъ воззрѣній и для подъема молодыхъ свѣжихъ силъ на борьбу съ развѣнчанными авторитетами и омертвѣвшими вѣрованіями.

Съ одной стороны, страстное желаніе, установить всеобъемлющія научно и логически обоснованные принципы новаго міросозерцанія, съ другой—настоятельная потребность непосредственно примѣнить ихъ къ дѣйствительности, общую идею превратить въ руководящій пароль повседневной дѣятельности. Легко представить, при такихъ условіяхъ, какая-нибудь изъ двухъ цѣлей непременно потерпитъ, будетъ выполнена не съ достоюлжною глубиной и основательностью и безъ надеждъ на прочный успѣхъ. Или философскій принципъ будетъ опредѣленъ слишкомъ поспѣшно и не на достаточно солидныхъ фактическихъ основаніяхъ, или практическое приложеніе его приведетъ стремительную мысль преобразователей къ результатамъ, менѣе всего научнымъ и логическимъ. И та, и другая неудача будетъ зависѣть вовсе не отъ дѣлоу воли, или какихъ-либо другихъ нравственныхъ извѣнчовъ нащихъ мыслителей, а будетъ вызвана разумной необходимостью, самой постановкой философской системы на жгучую перерождающуюся почву дѣйствительности.

Эта почва, можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ нуждается преимущественно въ молодыхъ отважныхъ силахъ. Новая жизнь должна создаваться и новыми людьми, вновь подниматься только что накаленными плугами и еще не истощенными работой пахарями. Но дѣло въ высшей степени усложняется, если одновременно однимъ и тѣмъ же людямъ приходится расчищать будущую ниву, выбирать сѣмена, сѣять ихъ и сторожить посѣвъ отъ истребленія и поправы.

Именно въ такое положеніе стали новые люди шестидесятыхъ годовъ. Мы видѣли, ихъ, при первомъ же появленіи на сцену, встрѣтила эгоистическая, и тѣмъ болѣе слѣпая вражда. Они съ перваго шага вынуждены и отстаивать свое право на существованіе, и выяснять свою вѣру, и доказывать ея жизненную цѣле-

сообразность. Требуется исключительная разносторонность талантов и гибкость умовъ. Многому научиться и уметь говорить непремѣнно общедоступнымъ увлекательнымъ языкомъ, владѣть навыкомъ отвлеченнаго мышленія и научныхъ доказательствъ и являться во всеоружіи полемической находчивости, остроумія, блестящей діалектики, возводить собственное зданіе и наносить удары чужому—это по истинѣ героическая работа и она цѣликомъ лежала на плечахъ молодежи шестидесятыхъ годовъ. Мы, встрѣчаясь съ юношескимъ задоромъ, часто наивнымъ самообольщеніемъ и самоувѣренностью, не должны забывать, на какой дѣйствительно драматической сценѣ подвизались эти юноши? Человѣку позволительно даже преувеличить представленіе о своихъ силахъ и рисовать въ слишкомъ радужныхъ краскахъ плоды своихъ усилій, если онъ дѣйствительно предоставленъ самому себѣ и видитъ, какъ съ каждымъ днемъ увеличивается число его слушателей и уменьшается строй его противниковъ.

Шестидесятники это видѣли и имѣли неизмѣримо больше оснований, чѣмъ современные имъ олимпійцы, высоко цѣнить свои дарованія.

А что касается стремленій,—безъ всякихъ личныхъ и себялюбивыхъ иллюзій шестидесятники могли считать ихъ потребностью времени и предсказать будущее, по крайней мѣрѣ, многимъ изъ своихъ идеаловъ.

Въ самомъ дѣлѣ, возьмемъ существеннѣйшія основы новыхъ ученій. Они прежде всего поразятъ насъ вовсе не новизной. Совершенно напротивъ. Отъ самыхъ запальчивыхъ проповѣдниковъ новаго слова мы услышимъ чрезвычайно старыя рѣчи, пережившія множество многолѣтнихъ годовщинъ. Мы увидимъ, русскіе шестидесятники выполняли исконный законъ общественнаго культурнаго прогресса, возобновляли старую первую главу въ исторіи всякаго преобразовательнаго движенія.

У цивилизованнаго человѣчества были и остаются въ распоряженіи два пути нравственной и практической жизни: прежде всего готовые уже выработанныя обобщенія наблюденныхъ и объясненныхъ фактовъ и вновь открытые или иначе истолкованные факты. Преданія—ничто иное, какъ давнишніе выводы изъ давнишнихъ опытовъ, авторитетъ—власть, основанная на этихъ выводахъ. Но съ теченіемъ времени факты увеличиваются въ количествѣ, способы наблюденія изощряются, объясненіе становится глубже и точнѣе, слѣдовательно, и обобщенія должны со-

отвѣтственно мѣняться и авторитеты терять старыя точки опоры. Это совершенно естественное движеніе, столь же неотвратимое и неизбежное, какъ накопленіе жизненнаго опыта и усовершенствованіе общихъ воззрѣній у каждаго человѣка отдѣльно.

Рѣшительный переломъ въ воззрѣніяхъ, не удовлетворяющихъ смыслу вновь прибрѣтенныхъ достовѣрныхъ данныхъ, всегда и вездѣ обозначается однимъ и тѣмъ же понятіемъ: старое—противорѣчить *природѣ и здравому смыслу*. Прежнія обобщенія не соответствуютъ изученной дѣйствительности, они, слѣдовательно, *противоестественны и не разумны*. Эти понятія тождественны: природа и разумъ сливаются въ одну воинственную и преобразывающую силу. Факты—это сама природа, смыслъ ихъ—разумъ; очевидно, новое воззрѣніе только потому и можетъ разсчитывать на побѣду, что оно основывается одинаково на природѣ и логикѣ.

Съ такими разсужденіями ставки шли на разлагавшійся языческій нравственный и политическій строй, философы XVIII вѣка разрушали «старый порядокъ» и ихъ ближайшіе предшественники—люди Возрожденія и Реформаціи—подрывали истины среднихъ вѣковъ и авторитетъ католической церкви. Подробнѣе и настойчивѣе всѣхъ преобразовательную философію выяснили энциклопедисты. Они не переставали твердить о природѣ, естественномъ порядкѣ вещей, естественныхъ потребностяхъ человѣка, метафизикѣ противопоставлять опытную науку, т. е. факты наглядной дѣйствительности, хитроумнымъ и обременительнымъ отвлеченностямъ схоластики—истины и правила здраваго смысла. Такъ именно и называлъ новую философію Вольтеръ, а Руссо старался изъяснить сущность *естественнаго состоянія. Les lois la nature et de la raison*—законы природы и разума—въ этихъ словахъ вся мудрость XVIII вѣка, притязавшаго создать новую землю и новое небо.

Совершенно такимъ же путемъ шли и русскіе *новые люди*.

Ихъ общія воззрѣнія чрезвычайно просты. Они установлены первыми вождями движенія Чернышевскимъ и Добролюбовымъ. Ученики прибавили свои выводы, но сущность ученія оставалась неизмѣнной съ первыхъ статей автора *Антропологическаго принципа въ философіи* до самыхъ радикальныхъ откровеній Варфоломея Зайцева.

«Для того, чтобы образовался ясный и правильный взглядъ на предметъ нужны факты»; это одно изъ самыхъ раннихъ за-



явленій Чернышевскаго <sup>187)</sup>. Факты должны быть единственными источниками нашихъ знаній и нашей философіи, и Добролюбовъ въ основу характеристики новыхъ людей, молодого поколѣнія положить «ближайшее соприкосновеніе съ дѣйствительной жизнью», съ «частными фактами», отвращеніе къ абстракціямъ и фантастическимъ представленіямъ. «Положительность», «реализмъ» съ одной стороны, съ другой—«благородныя мечты» и «идиллическія надежды», *дѣло* и *фраза*, такъ ясно и кратко можно выразить контрасты отцовъ и дѣтей <sup>188)</sup>.

Итакъ, *факты*—единственные руководители философа и моралиста. Но они существуютъ затѣмъ, чтобы дѣлать выводы, т. е. обобщенія. Новая истины должны устранить старыя, и, слѣдовательно, новые люди пережѣвываютъ только способъ добыванія общихъ идей,—обратятся къ природѣ, а не къ отвлеченному мышленію и воображенію.

Чему же учить природа?

Первый и нагляднѣйшій выводъ: законмѣрность и неотразимая причинность явленій. Въ мірѣ фактовъ нѣтъ произвола и случайностей. Все послѣдующее неразрывно связано съ предъидущимъ, все одновременно и причина, и слѣдствіе. «Законъ причинности», «необходимость вещей»—истины, одинаково приложимыя и къ міру физическому, и нравственному. Каждый фактъ послѣдствіе другого въ природѣ и каждый поступокъ—необходимый результатъ факта въ жизни человѣка <sup>189)</sup>.

Итакъ, всеобъемлющій, всеподчиняющій законъ причинности первый урокъ, какой даютъ намъ факты, т. е. природа и дѣйствительность.

Дальше слѣдуютъ логическіе выводы.

Разъ въ природѣ все законмѣрно, мы имѣемъ право отъ извѣстныхъ, уже наблюденныхъ фактовъ дѣлать умозаключенія о неизвѣстныхъ и даже недоступныхъ наблюденію.

Мы, напримѣръ, не изслѣдовали внутренней Австраліи и Африки. Можетъ быть, тамъ существуютъ какія-нибудь новыя горныя породы, новыя растенія, новыя метеорологическія явленія. Съ точностью пока нельзя сказать, что это за вещи и явленія

<sup>187)</sup> Въ рецензіи на переводъ сочин. Аристотеля. *О поэзии. Отеч. Зап.* 1854, № 9, критика.

<sup>188)</sup> *Сочиненія*. II, 418, III, 357—9.

<sup>189)</sup> Чернышевскій. *Критич. статьи*. Спб. 1895, стр. 342, 347—8. *Антропол. принципы*. *Соврем.* 1860, май, 7.

но можно съ достовѣрностью утверждать, какихъ вещей и явленій не найдется нигдѣ на земномъ шарѣ и какою характера будутъ предметы и феномены въ центрѣ земли и на какой угодно точкѣ ея поверхности. Такимъ образомъ «методъ отрицательныхъ заключеній» также одно изъ приобрѣтеній фактическаго знанія <sup>190)</sup>.

До сихъ поръ философія идетъ вполне гладко и факты даютъ достаточное основаніе для выводовъ.

Но цѣль нашихъ философовъ вовсе не естественно-научныя истины, все равно, какъ и для философовъ XVIII вѣка природа и ея законы отнюдь не представлялись источникомъ самодовлѣющаго спокойнаго созерцанія. Природа для всякаго нравственнаго мыслителя поучительна лишь въ интересахъ его воззрѣній на человѣка и общество. Она—только фундаментъ для зданія, именуемаго новымъ порядкомъ человѣческой жизни. Она *первая* посылка въ силлогизмѣ, гдѣ *вторая*—человѣкъ какъ одно изъ явленій природы и *заключеніе*—программа новой морали и политики.

Фактъ—неизмѣнный при всѣхъ преобразовательныхъ движеніяхъ мысли. Естествознаніе въ такія эпохи ничто иное, какъ арсеналъ для культурной борьбы, наука—щитъ и мечъ новыхъ людей въ бою съ защитниками «фантастическаго міросозерцанія». И ученѣйшій изъ французскихъ энциклопедистовъ Даламберъ превосходно выразилъ эту мысль въ предисловіи къ *Энциклопедіи*.

По мнѣнію знаменитаго математика, изученіе природы само по себѣ «холодно и спокойно», и чувство естествоиспытателя «однообразно, сдержанно и неподвижно». А новымъ людямъ нужны «живыя удовольствія», и ихъ методъ философствовать—нѣчто въ родѣ длящагося состоянія энтузіазма—*une espèce d'enthousiasme*. Открытія вызываютъ у нихъ «подъемъ идей», «броженіе ума», и оно, по словамъ Даламбера, направляется на все съ крайнимъ увлеченіемъ—*avec une espèce de violence!*...

Въ высшей степени краснорѣчивое признаніе! Энтузіазмъ, подъемъ идей, стремительность и непремѣнно даже въ изслѣдованіяхъ природы,—это останется вѣчной характеристикой всѣхъ преобразователей жизни на основахъ разума.

Шестидесятники не только не могли отступитъ отъ общаго закона, но, по условіямъ времени и среды, должны оправдать его съ особенной силой. Они не имѣютъ возможности пережить и одной минуты спокойнаго, *отрѣшеннаго* размышленія. Они не

<sup>190)</sup> *Антроп. приим. Современ., апрѣль, 360—1.*

уходить съ боевого поля и не снимають доспѣховъ, все равно, о чемъ бы имъ ни приходилось бесѣдовать съ своей публикой— о наукѣ, о литературѣ, о Молешоттѣ, о Фетѣ, о Боклѣ или о Катковѣ. «Броженіе» не покидаетъ ихъ и не могло покинуть: врагъ слѣдитъ за каждымъ ихъ движеніемъ и во всякую минуту готовъ нанести ударъ, покрыть смѣхомъ неловкое слово, извратить неясно выраженную мысль. Дидро привѣтствовалъ историческіе труды Вольтера не за ихъ фактическую полноту, а за искусное философское истолкованіе фактовъ. То же назначеніе имѣли и всевозможныя разсужденія нашихъ просвѣтителей.

*Новые люди* искренне дорожили фактами, но конечная цѣль заключалась не въ накопленіи фактовъ и даже не въ идеальномъ выясненіи законовъ природы, а въ философскомъ освященіи фактовъ и въ открытіи естественныхъ путей человѣческаго развитія и счастья.

Очевидно, естественно-научныя размысленія шестидесятниковъ явились только *предисловіемъ*: само сочиненіе посвящено не природѣ, а человѣку, не организмамъ, а духу.

## XXVII.

Мы назвали два понятія—организмъ и духъ, мы этимъ самымъ допустили величайшую научную ересь. Въ природѣ никакого дуализма не существуетъ: это основное убѣжденіе нашихъ философовъ. Такъ учатъ «медицина, фізіологія, химія», а філософія прибавляетъ: «если бы человѣкъ имѣлъ, кромѣ реальной своей натуры, другую натуру, то эта другая натура непременно обнаруживалась бы въ чемъ-нибудь, и такъ какъ она не обнаруживается ни въ чемъ, такъ какъ все происходящее и проявляющееся въ человѣкѣ происходитъ по одной реальной его натурѣ, то другой натуры въ немъ нѣтъ» <sup>191)</sup>. Такъ разсуждаетъ Чернышевскій; Добролюбовъ въ другихъ словахъ пересказываетъ то же самое:

«Безъ вещественнаго обнаруженія мы не можемъ узнать о существованіи внутренней дѣятельности, а вещественное обнаруженіе происходитъ въ тѣлѣ; возможно ли отдѣлять предметъ отъ его признаковъ, и что останется отъ предмета, если мы представленіе всѣхъ его признаковъ и свойствъ уничтожимъ» <sup>192)</sup>.

<sup>191)</sup> Стр. 349.

<sup>192)</sup> Сочиненія. II. 33.

Добролюбовъ называетъ авторитетовъ, научившихъ его этой философіи: Молешотта, Фохта, Бюхнера и подробно сообщаетъ выводы ученыхъ на счетъ связи количества мозга съ умственными способностями и не отступаетъ даже предъ вечаьнымъ приговоромъ надъ женскимъ умомъ. Для Добролюбова, автора едва ли не самыхъ рыцарственныхъ статей о литературныхъ женскихъ типахъ во всей русской критикѣ, это должно быть истиннымъ самоотверженіемъ. Но наука впереди всего.

Другихъ доказательствъ матеріальнаго единства человѣческой природы мы не слышимъ отъ нашихъ публицистовъ. Весь вопросъ сводится къ аксіомѣ: духа нѣтъ, потому что онъ не обнаруживается ничѣмъ другимъ помимо тѣла. Слѣдовательно, тѣло—*орудіе*? Но Добролюбовъ поднимаетъ это понятіе, онъ говоритъ: *признакъ*. Двѣ идеи совершенно различныя! Нѣкая сила пользуется матеріальными средствами воздѣйствія на внѣшній міръ, но это не значитъ, будто тѣ же средства ея признаки, т. е. ея органически неразрывныя принадлежности. Это значитъ впадать въ логику младенца, называющаго папой всякаго господина въ такой же шляпѣ, въ какой онъ привыкъ видѣть своего отца. Въ этомъ случаѣ, для ребенка, шляпа *признакъ*, такъ же какъ ружье въ чьихъ-либо рукахъ непремѣнно заставитъ заподозрѣть солдата или охотника, глядя по тому, кого ему назвали въ первый разъ съ такимъ *признакомъ*.

Но даже если остановиться на болѣе осторожномъ выраженіи Чернышевскаго, все-таки *руководящій принципъ* пѣлой философской и нравственной системы требовалъ несравненно болѣе убѣдительныхъ и строгихъ доказательствъ. Дуализмъ можно отвергать, какъ нѣчто бездоказательное и фантастическое, но это еще не уполномочиваетъ разносторонняго ученаго XIX-го вѣка утверждать *монизмъ*, все равно, матеріальный или идеальный. До какой степени шатка почва у автора *Антропологическаго принципа*, показываетъ его злоупотребленіе аналогіями и сравненіями. Если Платонъ прибѣгалъ преимущественно къ этимъ способамъ доказательства, то, вѣдь, никто никогда и не рассчитывалъ предъ-являть къ нему научныхъ запросовъ и онъ самъ менѣе всего помышлялъ о титлѣ ученаго. А здѣсь насъ предупреждаютъ: современная наука «не принимаетъ ничего безъ строжайшей всесторонней повѣрки и не выводитъ изъ принятаго никакихъ заключеній, кромѣ тѣхъ, которыя сами собою неотразимо слѣдуютъ»

изъ фактовъ и законовъ, отвергать которыя нѣтъ никакой логической возможности» <sup>193)</sup>.

Неужели въ самомъ дѣлѣ естественныя науки развились на столько, что даютъ возможность «точного рѣшенія нравственныхъ вопросовъ?»

Какія же это точныя рѣшенія?

Разъ человѣческая природа только организмъ, все приимимое къ животнымъ, относится и къ ней, т. е. вся психологія и мораль.

Объ не требуютъ пространныхъ разговоровъ. Явленія нравственнаго и матеріальнаго порядка *качественно* ничѣмъ не отличаются другъ отъ друга. Мало того. Организмы и не органическія вещества находятся въ такомъ же взаимномъ отношеніи. Это только *по количеству* различныя соединенія элементовъ. Дерево и неорганическая кислота двѣ химическія комбинаціи, одна простая, другая сложная, одна, положимъ, 2, другая—200. Человѣческій организмъ «очень многосложная химическая комбинація, находящаяся въ очень многосложномъ химическомъ процесѣ» <sup>194)</sup>.

Всѣ эти положенія—исконный символъ вѣры матеріализма. Нѣтъ ни одной философской системы, которая такъ безнадежно не вращалась бы въ заколдованномъ кругу однихъ и тѣхъ же представленій. Съ теченіемъ времени могли измѣняться *формулы* въ зависимости отъ фактовъ и гипотезъ опытныхъ наукъ, но сущность возрѣнія осталась до конца XIX-го вѣка въ томъ же состояніи, въ какомъ ее завѣщали своимъ ученикамъ древніе матеріалисты—Демокритъ, Лукрецій. Воюя съ метафизикой и произволомъ фантазіи, матеріализмъ всегда являлся одной изъ самыхъ догматическихъ системъ метафизики. Если метафизики своимъ *апріорнымъ* построеніямъ приписывали *фактическую* цѣнность, матеріалисты *факты* возводили на совершенно *фантастическую* высоту и въ *общихъ выводахъ* теряли почву дѣйствительности и руководство науки съ неменьшимъ ослѣпленіемъ, чѣмъ глубокомысленные скоттусы среднихъ вѣковъ. У метафизиковъ *внутренній опытъ* часто доходитъ до ясновидѣнія, у матеріалистовъ *внѣшняя дѣйствительность* является гипнозомъ не только для научной логики, но и для здраваго смысла.

Какія, напримѣръ, наблюденія дали нашему философу право утверждать *количественную* разницу между кислотой и человѣ-

<sup>193)</sup> *Соврем.*, апр., 365.

<sup>194)</sup> Апрель, 5.

комъ? Какую тайну онъ разъяснилъ, подмѣнивъ метафизическія термины новыми—комбинація элементовъ, химическій процессъ? Чью пытливость ума онъ успокоилъ, настаивая на законѣ причинности? Не вправѣ ли читатель задать ему рядъ вопросовъ: вы отождествляете фактъ съ причиной, но почему же глава позитивизма, Контъ, призналъ доступнымъ только знаніе послѣдовательности и сосуществованія явленій, а не причинности? Почему даже философъ XVIII вѣка, Юмъ, болѣе близкій къ вашимъ воззрѣніямъ, не рѣшился утверждать необходимость связи между фактами-причинами, т. е. не призналъ *идеи причинности* за данное опытнаго изслѣдованія? И неужели вы желаете уподобиться самому ограниченному изъ положительныхъ пустослововъ Тэню, покончившему съ вопросомъ о причинности легкомысленнымъ сравненіемъ фактовъ съ арміей солдатъ и причины—съ ея генераломъ? Генералъ вѣдь тоже солдатъ, только поважнѣе, слѣдовательно, и причина тоже фактъ... Это было бы не достойно ни вашего ума, ни вашихъ несомнѣнныхъ знаній.

А между тѣмъ, вы дѣйствительно подпадаете подъ насмѣшки даже идеологовъ прошлаго столѣтія. Кондильякъ имѣлъ въ виду философовъ вашего типа, когда смѣялся надъ фанатиками обобщеній. Мы рождаемся среди лабиринта фактовъ, тысячи путей готовы привести насъ къ заблужденію, выходъ найти необычайно трудно, и вотъ философы прибѣгаютъ къ обобщеніямъ, выбираютъ, наприжѣръ, два факта, на самомъ дѣлѣ совершенно не сходные другъ съ другомъ и только по внѣшности механически связанные, и воображаютъ, что вышли изъ лабиринта. По мнѣнію, замѣтите, отнюдь не метафизика,—ничего не можетъ быть смѣшнѣе этого приключенія <sup>193)</sup>.

Впрочемъ, зачѣмъ обращаться намъ къ чужимъ критикамъ. Въ русскомъ журналѣ въ сороковыхъ годахъ печатались статьи русскаго, безусловно положительнаго мыслителя и либеральнаго публициста *Письма объ изученіи природы* Герцена. Въ нихъ представлена пространная критика матеріализма сравнительно съ идеализмомъ и показано, сколько *опри* и *произвола* въ мнимо-достоверныхъ положеніяхъ матеріалистовъ. Правда, разсужденія не могутъ похвалиться ясностью и авторъ будто нахѣренно старался явиться глубокомысленнѣе при помощи запутанной рѣчи. Но сущность авторскихъ убѣжденій—несомнѣнна. Она вполнѣ выразилась

<sup>193)</sup> *Traité des systèmes*, chap. II.

въ сочувственной ссылкѣ на слѣдующія слова одного нѣмецкаго анатома: «Разбирая сложныя явленія нашего духа, можно ихъ свести на простыя понятія или категоріи. Но желаніе эти категоріи вывести изъ чего-либо внѣшняго, было бы столько же безумно, какъ звуками объяснять краски: такъ поступала Локкова школа, хотѣвшая вывести понятія изъ внѣшняго опыта»<sup>195)</sup>.

Разсужденія Герцена не оставили никакихъ слѣдовъ въ воспитаніи *новыхъ людей*. Они предпочли съ *энтузіазмомъ* воспринять крайніе выводы Молешотта и Бюхнера и примѣнить ихъ къ рѣшенію труднѣйшихъ вопросовъ человѣческой нравственности.

Трудности этой для Чернышевскаго не существовало съ того момента, когда онъ увѣровалъ въ качественное тождество человѣческаго и животнаго организма. Ему оставалось только наблюденія надъ мозгомъ животныхъ перенести въ человѣческое общество.

Прежде всего, не можетъ быть сомнѣнія, что такъ называемые умственные процессы по существу одинаковы у человѣка и животнаго. Нервная система Ньютона и нервная система курицы отличаются только *размѣрами* процесса; все равно какъ полеты мухи и орла. Самосознаніе такая же бессмыслица, какъ самосеребро: вѣдь бѣднякъ и Ротшильдъ отличаются только количествомъ серебра, у Ротшильда нѣтъ никакого особаго серебра, такъ же и у человѣка нѣтъ другого сознанія, кромѣ собственнаго собакъ и курицъ. Другими словами, это значить, человѣкъ не отдаетъ себѣ отчета въ нравственной цѣнности своихъ поступковъ, никогда не бываетъ судьей своихъ чувствъ и дѣйствій, потому что самосознаніе—критика своего я.

Вы удивлены: какимъ путемъ можно додуматься до отрицанія столь простаго вѣкъ извѣстнаго и доступнаго опыта! Ни у одного ученаго нѣтъ матеріала, чтобы заподозрѣть у собаки способность сознательнаго выбора между разными влеченіями,—выбора, основаннаго на примѣненіи извѣстныхъ общихъ понятій къ отдѣльному случаю. И только въ средніе вѣка могли судить животныхъ и даже предметы за нарушеніе гражданскихъ и нравственныхъ законовъ: по логикѣ матеріализма выходитъ, эти процессы вполне основательны.

И въ самомъ дѣлѣ, нашъ философъ поставленъ въ необходи-

<sup>196)</sup> Герценъ. *Сочиненія*. II, 257, 284 etc.



мость создать гармонию между нравственнымъ міромъ животнаго и человѣка. Онъ долженъ, слѣдовательно, унижить человѣка и, возвысить животное. Это онъ совершитъ будто по программѣ. О любви курицы къ цыплятамъ, высиженнымъ ею изъ яицъ другой курицы, онъ будетъ говорить очень трогательно; «она любитъ ихъ потому, что положила въ нихъ часть своего нравственнаго существа—не матеріальнаго существа, нѣтъ: въ нихъ нѣтъ ни частички ея крови,—нѣтъ, въ нихъ она любитъ результаты своей заботливости, своей доброты, своего благоразумія, своей опытности въ куриныхъ дѣлахъ: это отношеніе чисто-нравственное».

О человѣкѣ пойдетъ иной разговоръ. Всѣ его дѣйствія управляются эгоизмомъ. Положимъ, и курица эгоистична, но по поводу-напримѣръ, слезъ матери о смерти ребенка, уже не вспоминается о «чисто-нравственномъ отношеніи», а подчеркивается въ ея причитаніяхъ *я, мое, у меня*, т.-е. чисто-эгоистическія чувства. Вообще, всюду человѣкъ руководится расчетомъ, выбираетъ большую пользу или большее удовольствіе. Курица, поэтому, выходитъ выше: у нея нѣтъ способности рассчитывать и выбирать и она подвизается въ добрѣ по влеченію своей благородной природы<sup>197)</sup>.

Такова философская система, положенная шестидесятниками въ основу литературныхъ и общественныхъ воззрѣній. Нѣтъ нужды разбирать всѣ ея частности, настаивать, напримѣръ, на совершенно бездоказательномъ отождествленіи движеній нервовъ съ ощущеніями, представленіями и даже идеями. Физиологъ знаетъ, что внѣшнія явленія вызываютъ движеніе нервной системы, но какимъ путемъ въ результатѣ движенія получается идейный процессъ, никакой опытъ ему этого не показываетъ. Настоящій ученый долженъ сознаться, что для него весьма многое остается тайной въ нравственномъ мірѣ человѣка послѣ изученія всевозможныхъ химическихъ процессовъ и онъ не имѣетъ никакого права отъ извѣстныхъ фактовъ анатоміи и физиологіи дѣлать заключеніе о неизвѣстныхъ и даже недоступныхъ *внѣшнему наблюденію* фактахъ психологіи. Чернышевскій, отрицая самосознаніе, забылъ и о самонаблюденіи, о томъ, что психологи называютъ *внутреннимъ опытомъ*, т. е. о важнѣйшемъ источникѣ психологіи, какъ науки.

Очевидно, всякій читатель, вовсе не идеалистъ и не метафизикъ, могъ рассмотреть шаткость и искусственность сооруженія

<sup>197)</sup> *Соврем.*, май, 30—1, 33, 35.



Чернышевскаго. Оно не выдерживало критики, преимущественно съ его собственной точки зрѣнія, воздвигалось на обобщеніяхъ, отнюдь не оправдываемыхъ «современной наукой» и безпрестанно украшалось аналогіями и другими фигуральными доказательствами вмѣсто научно-обоснованныхъ фактовъ. Разсужденіе объ *Антропологическомъ принципѣ въ философіи* слѣдуетъ признать слабѣйшимъ произведеніемъ знаменитаго публициста. Ни въ одной его статьѣ мы не найдемъ такой вереницы непродуманныхъ мыслей, произвольныхъ выводовъ, курьезныхъ, даже комическихъ сопоставленій и такого вопіющаго нарушенія основнаго принципа — положительности и реализма. Чернышевскій оказался авторомъ въ полномъ смыслѣ метафизическаго трактата и уподобился метафизикамъ въ дальнѣйшей политикѣ, вызванной печатными возраженіями на его произведеніе.

Метафизики, по самому существу своего мышленія, *не могутъ* доказывать своихъ идей. Ихъ дѣло категорически наставлять и производить откровенія. Всякая метафизическая система непременно догматъ для вѣрующихъ и романъ для скептиковъ. Такъ искони ведется и никогда, вѣроятно, не кончится. Отсюда—исторически извѣстная нетерпимость и запальчивость метафизиковъ. Они признаютъ только прозерлитовъ и невѣрныхъ, и ни одна наука не представляетъ примѣровъ такихъ яростныхъ междоусобицъ, какъ диспуты метафизиковъ.

Ничего другого отъ нихъ нельзя и ждать. Но неизмѣримо высшій и культурный долгъ лежитъ на человѣкѣ, провозглашающемъ себя апостоломъ строгой доказательной науки. Онъ не можетъ декламировать, вопіять, инсинуировать—вообще сражаться оружіемъ прорицателей, владѣющихъ высшими тайнами. Онъ встанетъ за свою истину спокойно, исполненный благородной и величаво-скромной увѣренности въ правотѣ своего дѣла. У него неисощимый запасъ фактовъ и идей, ясныхъ какъ лучи солнца и также губительныхъ для всѣхъ умственныхъ и нравственныхъ микробовъ. И не должно и не можетъ быть отрадѣе и величественнѣе зрѣлища, чѣмъ борьба просвѣщеннаго разума и неотразимо-правдиваго знанія съ полубезотчетными грезами и трусливой схоластической изворотливостью людей—косной мысли и духовной слѣпоты.

Какъ же поступилъ Чернышевскій, вызванный на открытый бой ненавистной метафизикой, «фантастическимъ міросозерцаніемъ»?

Моментъ великаго историческаго и культурнаго смысла! Онъ—единственный во всей литературной дѣятельности Чернышевскаго, показавшій его не въ свѣтѣ, приличествующемъ вождю и учителю. И это зависѣло не отъ недостатка воли и таланта, а отъ самого дѣла, завѣдомо проиграннаго для какого угодно защитника.

### XXVIII.

Одинъ только разъ Каткову удалось литературными средствами поставить своихъ враговъ—новыхъ людей—въ двусмысленное положеніе—не то побѣжденныхъ, не то не принявшихъ вызова. И даже не самъ Катковъ создагъ это положеніе, а профессоръ кievской духовной академіи Юркевичъ. Катковъ только съ большимъ трескомъ и крикомъ воспользовался чужой статьей противъ философіи Чернышевскаго.

Возражать противъ этой философіи рѣшительно не стоило никакихъ усилій ума и знанія. Возраженій не мало можно найти въ самой статьѣ, чѣмъ, впрочемъ, Юркевичъ именно и не воспользовался, а потомъ въ многолѣтней полемикѣ идеалистовъ съ материалистами. Даже Катковъ, читавшій въ московскомъ университетѣ весьма посредственныя лекціи по исторіи философіи, могъ бы удачнѣе возражать философу *Современника*: онъ, по крайней мѣрѣ, спасся бы отъ *поколику*—*потоліку* и прочей семинарской философской оснастки <sup>198)</sup>. Въ статьѣ Юркевича нѣтъ ни одного самостоятельнаго довода, ни одной свѣжей и яркой мысли и *Русскій Вѣстникъ* въ компаніи съ *Отечественными Записками* только въ порывѣ полемическаго задора могли придти въ восторгъ отъ учености и даже талантливости профессора. Чернышевскій имѣлъ основаніе съ легкимъ духомъ относиться къ самому Юркевичу, но у него не было ни литературнаго, ни нравственнаго права пренебрегать тѣми возраженіями и запросами, какіе—устаами зауряднаго автора—обращали къ нему логика, наука и общечеловѣчскій здравый смыслъ. Юркевичъ ни единого слова не говорилъ отъ себя, хотя ни на кого и не ссылался; Чернышевскій, дѣйствительно, во всей статьѣ, съ первой строчки до послѣдней встрѣчалъ все мысли давно ему знакомыя и, можетъ быть, даже полнѣе, чѣмъ Юркевичу. Но значеніе компиляціи кievскаго профессора въ томъ и заключалось, что она представляла не личныя

<sup>198)</sup> Статья Юркевича перепечатана въ *Русск. Вѣст.*, апрѣль и май 1861 года.

возврънтія какого-нибудь метафизика и схоластика или наивнаго школьнаго идеалиста, а повторяла исконную и пока неопровержимую критику истинно-положительныхъ умовъ противъ матеріализма. Если бы Катковъ и Дудышкинъ обладали серьезными познаніями въ области новой философіи, они могли бы двинуть противъ Чернышевскаго неизмѣримо болѣе внушительную армію фактовъ и авторитетовъ, чѣмъ критика Юркевича. И Чернышевскій не могъ этого не знать; онъ, по обширности и основательности научныхъ свѣдѣній годившійся въ учителя всей редакціи *Русскаго Вѣстника*. Достало бы у него и полемическаго, и литературнаго таланта, чтобы положить на мѣстѣ и Юркевича, и Каткова, перепечатавшаго его статьи съ восторженными примѣчаніями.

И все-таки у современной безпристрастной публики должно было остаться впечатлѣніе, весьма невыгодное для Чернышевскаго. Впечатлѣніе это переживаетъ и современный читатель.

Въ самомъ дѣлѣ, допустима-ли въ основныхъ вопросахъ дѣлаго направленія слѣдующая тактика?

Статья Юркевича появляется въ *Трудахъ кievской духовной академіи*: *Современникъ* пренебрегаетъ. Статью перепечатываетъ *Русскій Вѣстникъ*. *Отечественныя Записки* спѣшатъ воспользоваться случаемъ, — вся большая публика, слѣдовательно, призывается въ судьи вопроса. Молчать невозможно уже послѣ усердія Каткова, петербургскій журналъ требовалъ еще болѣе рѣшительнаго отвѣта.

И Чернышевскій отвѣчалъ своимъ противникамъ, не Юркевичу собственно, а его популярнымъ покровителямъ, т. е. поступилъ съ самаго начала въ совершенный ущербъ дѣлу.

Нелитературная брань Каткова, его чрезвычайно крѣпкія слова, которыя могли бы сдѣлать честь самой національной московской площади, — все это говорило за себя и не стоило соребнованія. Не стоило уже потому, что *Русскій Вѣстникъ* былъ явно одержимъ сильными чувствами и вовсе не вдохновлялся ни наукой, ни истиной. Юркевичъ не обнаруживалъ недуга и скромно выполнялъ роль пересказывателя выученныхъ и прочитанныхъ философскихъ идей. Съ нимъ можно было говорить, не утрачивая человеческого достоинства и не прибѣгая къ боксу и кулаку.

Вмѣсто разговора Чернышевскій вдругъ заявляетъ, что статья Юркевича не заслуживаетъ ни малѣйшаго вниманія. Онъ ничто иное, какъ одна изъ «задачъ», т. е. школьныхъ семинар

скихъ диссертаций. Такія задачи онъ, Чернышевскій, выполнялъ въ саратовской семинаріи и, не читая статьи Юркевича, знаетъ, что въ ней написано. Онъ даже и не прочтетъ ея, а познакомятся только въ корректурѣ съ отрывкомъ, какой онъ перепечатаетъ въ *Современникъ*, т. е. съ третьей частью статьи. Больше, по закону, перепечатать нельзя, но зато законъ будетъ выполненъ съ точностью: треть статьи придется на *половину слова*, она и будетъ перепечатана безъ окончанія.

И больше ничего. Въ перепечатанномъ отрывкѣ, между прочимъ, заключается указаніе на грубое отождествленіе нервныхъ движеній съ ощущеніями, т. е. сліяніе въ одно двухъ явленій, только необходимо связанныхъ другъ съ другомъ. Эта улика безусловно требовала объясненій. Чернышевскій ихъ не даетъ и настаиваетъ, что Юркевичъ нѣчто въ родѣ алхимика и кабалиста и, слѣдовательно, его возраженія «смѣшны и пусты» и даже будто бы онъ «натуралистовъ» считаетъ «пропащимъ народомъ». Изъ статьи Юркевича послѣдняго вывода никакъ нельзя сдѣлать. Явно публицистъ *Современника* чувствуетъ себя въ не совсѣмъ выгодной позиціи. Это ясно изъ его весьма нетвердой и подчасъ даже неожиданной тактики.

Катковъ и *Отечественныя Записки* обзываютъ его невѣждой; онъ напоминаетъ, что и Гегеля называли невѣждою и что вообще «люди рутинны упрекаютъ въ невѣжествѣ всякаго нововводителя за то, что онъ нововводитель» <sup>199)</sup>.

Это поменьшей мѣрѣ необудительно и даже не лишено наивности. Еще хуже другое возраженіе.

*Отечественныя Записки* напомнили Чернышевскому, что баронъ Брамбеусъ также отвѣчалъ шуточками и пренебреженіемъ на критику Бѣлинскаго. Чернышевскій принимаетъ сравненіе и отвѣчаетъ журналу, рассчитывавшему оскорбить его сопоставленіемъ съ Сенковскимъ: «Почему же Сенковскій любилъ отшучиваться? Потому, что былъ человекъ очень сильнаго ума, находившій, что при своемъ умѣ имѣетъ право презирать противниковъ».

И даже Бѣлинскаго?—спросите вы у того самого публициста, кто являлся неизмѣнно восторженнымъ почитателемъ критика. Какъ же такая фраза могла попасть подъ его перо? Только въ состояніи полной безвыходности можно заговориться до такой степени или ужъ питать къ своимъ противникамъ нестерпимое

<sup>199)</sup> *Полемическія красоты*. Коллекція вторая. *Соврем.* 1861, VII

презрѣніе, даже не удостоивать ихъ болѣе или менѣе серьезной бесѣды и издѣваться надъ ними, принимая съ удовольствіемъ уподобленіе своей личности барону Брамбеусу? По тону рѣчи этого нельзя заключить и тогда бы пріемъ публициста оказался бы еще недостойнѣе поднятыхъ имъ самимъ принципіальныхъ вопросовъ.

Очевидно, сраженіе за философію матеріализма кончалось не къ славѣ *новыхъ людей*. Исходъ не заставилъ ихъ одуматься. У Чернышевскаго нашлись послѣдователи съ самой искренней непосредственной вѣрой. Написанный впоследствии романъ *Что дѣлать?* воспроизводитъ *Антропологическій принципъ* въ еще болѣе рѣзкихъ формулахъ, чѣмъ въ статьѣ. Теоріи эгоизма посвящена длинная бесѣда Лопухова и Вѣры Павловны. Героиня, какъ женщина, пугается холодности и безпощадности теоріи, но Лопуховъ сравниваетъ свою философію съ ланцетомъ: онъ не долженъ гнутья, иначе плохо придется пациенту...

Жаль только, герой не объясняетъ, отъ какой именно болѣзни лѣчить его теорія исключительно матеріальныхъ побужденій во всѣхъ человѣческихъ дѣйствіяхъ? Выразаться Лопуховъ можетъ очень сильно, особенно, по части сравненій: напримѣръ, «жертва—сапоги въ смятку», но ни научность, ни логичность проповѣдуемой теоріи отъ этой силы не возвышаются; совершенно напротивъ <sup>200)</sup>.

Въ результатѣ, самые приемы полемики Чернышевскаго засвидѣтельствовали несостоятельность его философской системы, и именно потому, что она при всѣхъ протязаніяхъ на доказательность явилась только новой формой метафизики и догматизма. Стремленіе создать всеобъемлющее міросозерпаніе на фактахъ химіи и фізіологіи—романтическая мечта, самый слабый пунктъ въ идейномъ творчествѣ шестидесятыхъ годовъ. Она принесла безчисленныя бѣдствія новымъ людямъ и ихъ дѣлу. Она заранѣе подорвала кредитъ у другихъ положительныхъ идей эпохи, наложила незаслуженно широкую окраску легкомыслія и умственной незрѣлости на всю работу молодого поколѣнія, дала въ руки Катковымъ благодарнѣйшее оружіе въ борьбѣ съ дѣятелями великихъ талантовъ и добросовѣстнаго труда.

Провозглашеніе матеріализма философской религіей нанесло непоправимый ударъ именно научности и продуманности публицистики шестидесятниковъ. Кто такъ легко и произвольно обращался съ фактами и такъ стремительно и самоувѣренно на нѣ-

<sup>200)</sup> *Что дѣлать*. VIII, XIX. *Современникъ*. 1863, мартъ.

сколькихъ разбросанныхъ камняхъ воздвигалъ міровое и вѣчное зданіе, тотъ самъ себѣ отрѣзывалъ пути къ глубокимъ и прочнымъ вліяніямъ на общество. Отвагой и неограниченной широтой взрѣній онъ могъ увлечь нѣсколькихъ молодыхъ талантливыхъ людей, могъ очаровать даже цѣлое поколѣніе непосредственно послѣ гнетущей тьмы и неволи, но упрочить свой *философскій* авторитетъ на будущее у него не было силъ. Мы подчеркиваемъ *философскій* и настаиваемъ на рѣзкомъ разграниченіи матеріалистической метафизики шестидесятыхъ годовъ отъ другихъ идейныхъ стремленій молодого поколѣнія.

Источникъ и метафизики, и стремленій одинъ и тотъ же: воззваніе къ природѣ, къ фактамъ, къ естественности. Но метафизика—незаконное дѣтище плодотворныхъ принциповъ, не логическое и не научное. Между нею и ея источникомъ громадная пропасть. Ее можно было перепрыгнуть только въ азартѣ страстного увлеченія новымъ фантастическимъ міросозерцаніемъ подъ вліяніемъ ненависти къ старому противоположному, но не болѣе фактастическому. Прыжокъ искупленъ дорогой цѣной, и только исторія вполнѣ хладнокровно и справедливо суждетъ отличать роковое заблужденіе отъ многочисленныхъ жизненныхъ сѣмянъ, брошенныхъ шестидесятниками на ниву русскаго общественнаго развитія.

Тотъ же Чернышевскій, авторъ злополучнаго трактата, явился истиннымъ продолжателемъ просвѣтительной работы Бѣлинскаго, самымъ вѣрнымъ и послѣдовательнымъ изъ всего своего поколѣнія.

## XXIX.

Философская статья Чернышевскаго не даетъ и приближительнаго представленія о разносторонности и глубинѣ научнаго образованія Чернышевскаго. Только оно и могло спасти въ немъ сильнаго и грознаго противника даже послѣ печальной исторіи съ *Антропологическимъ принципомъ*.

Одаренный блестящими способностями, Чернышевскій еще дома спѣлъ превратиться въ ученаго, подъ руководствомъ отца, саратовскаго протоіерея, и собственной пламенной охоты къ чтенію<sup>201)</sup>. Въ семинаріи онъ пробылъ два съ половиною года, прошелъ реторику и философію, далеко оставляя за собой товарищей, пора-

<sup>201)</sup> Свѣдѣнія о жизни Николая Гавриловича Чернышевскаго. *Русск. Ст.* 1890, томъ 66, стр. 449; томъ 67, стр. 531; *Русскій Архивъ*. 1890. I, стр. 553.



зительно начитанный, знающій древніе и новыя языки, даже арабскій и татарскій, и особенно отличаясь въ сочиненіяхъ по литературѣ «Свѣтило», «профессоръ академіи», иначе не цѣнили преподаватели семинаріи своего питомца. Эпитеты товарищей не менѣе любопытны: «красная дѣвушка», «дворянчикъ». Они характеризовали чрезвычайную застѣнчивость молодого ученаго. Онъ первый не рѣшался ни съ кѣмъ заговорить, не выпускалъ изъ рукъ книги, всегда былъ готовъ помочь другимъ своими знаніями, но съ трудомъ завязывалъ дружбу и не принималъ участія въ товарищескихъ шалостяхъ. Такимъ же скромнымъ Чернышевскій оставался всю жизнь, избѣгая общества, развлеченій и отдавая всѣ свои силы умственному труду.

Въ романѣ *Что дѣлать?* одно изъ немногочисленныхъ лирическихъ отступленій посвящено идеѣ развитія. Авторъ, рисуя отдаленныя перспективы всеобщаго счастья, обращается къ своимъ читателямъ:

«Поднимайтесь изъ вашей трущобы, поднимайтесь, это не такъ трудно, выходите на вольный бѣлый свѣтъ, славно жить на немъ и путь легокъ и заманчивъ, попробуйте: развитіе, развитіе. Наблюдайте, думайте, читайте тѣхъ, которые говорятъ вамъ о чистомъ наслажденіи жизнью, о томъ, что человѣку можно быть добрымъ и счастливымъ. Читайте ихъ—ихъ книги радуютъ сердце, наблюдайте жизнь—наблюдать ее интересно, думайте—думать завлекательно. Только и всего. Жертвъ не требуется, лишній не спрашивается—ихъ не нужно. Желайте быть счастливыми—только, только это желаніе нужно. Для этого вы будете съ наслажденіемъ заботиться о своемъ развитіи: въ немъ счастье. О, сколько наслажденій развитому человѣку! Даже то, что другой чувствуетъ какъ жертву, горе, онъ чувствуетъ, какъ удовлетвореніе себя, какъ наслажденіе, а для радостей какъ открыто его сердце и какъ много ихъ у него! Попробуйте:—хорошо» <sup>202)</sup>!

Это личная исповѣдь автора. Чернышевскій другого наслажденія, кромѣ *развитія*, не зналъ всю жизнь. Ту же идею усвоить и другіе новые люди. Они будутъ неустанно повторять: развитіе—такая же естественная потребность человѣка, какъ пища и питье. Сущность человѣческой природы трудно опредѣлить кратко точно, но одно несомнѣнно—ея способность къ развитію. Это основ и первоисточникъ всей нравственной жизни <sup>203)</sup>.

<sup>202)</sup> *Что дѣлать?* XXX, *Соврем.* 1863, апрѣль, стр. 526.

<sup>203)</sup> Добролюбовъ. Сочиненія, III, стр. 346.

И Чернышевскій работалъ неустанно, не взирая ни на какія вышнія условія, работалъ дома, въ семинаріи, въ университетѣ, въ сылѣ, въ Вилуйскѣ, въ Астрахани и, наконецъ, въ томъ же Саратовѣ, и умеръ, окруженный работой, не мѣняя своей замкнутой жизни, до послѣдней минуты не утрачивая вѣры въ плодотворность развитія и полагая всѣ свои силы на помощь ему въ своемъ отечествѣ.

Какой умственный капиталъ могъ собрать подобный работникъ! И Чернышевскій собралъ. Есть извѣстіе, будто бы еще студентомъ петербургскаго университета увлекся матеріалистическими идеями и собирался «мѣрить и вѣсить мозги» <sup>204</sup>). Это не существенно. Гораздо важнѣе—изумительная энциклопедическая ученость, обнаруженная Чернышевскимъ въ первыхъ же литературныхъ статьяхъ и чисто-религіозная вѣра въ человѣка и силу добра и разума.

По окончаніи историко-филологическаго факультета въ 1850 году Чернышевскій былъ оставленъ при университетѣ, но по просьбѣ матери переѣхалъ въ слѣдующемъ году въ Саратовъ и сталъ учителемъ мѣстной гимназіи. Товарищи оказались людьми допотопной формаціи, въ саратовскомъ обществѣ нашлось всего два-три интеллигентныхъ живыхъ человѣка. Единственнымъ утѣшеніемъ оставались книги да еще пристальное человѣческое руководство умственной работой учениковъ. Послѣ женитьбы и по смерти матери, событій почти одновременныхъ, Чернышевскій переселился въ С.-Петербургъ, пробылъ недолго учителемъ кадетскаго корпуса, и навсегда покончилъ съ педагогическою дѣятельностью.

Но учительскій опытъ долженъ былъ принести большую пользу писателю, поставившему себѣ цѣлью развитіе *новыхъ людей*. Онъ воочію могъ видѣть, кого, чему и какъ предстояло учить. Психологія молодежи—важнѣйшая наука, завоеванная Чернышевскимъ, и настоятельнѣйшая именно для публициста шестидесятыхъ годовъ. Чтобы подойти къ этой психологіи и овладѣть ею, Чернышевскому не стоило никакихъ усилій. Онъ самъ былъ юношей по непоколебимому оптимизму и неисчерпаемой энергіи своей натуры. Онъ усвоилъ себѣ и настоящую философію молодости, вѣру

<sup>204</sup>) Р. *Архивъ*. 1890. I, 559. Эти воспоминанія (Ив. Палимсестова) вызвали энергическія возраженія (Ф. Духовникова). Р. *Стар.* 1890, т. 67. Они, несомнѣнно, внушены извѣстной «благонамѣренной» тенденціей и многія, можетъ быть, и достовѣрные данныя стараются окрасить въ наиболѣе яркій цвѣтъ.



въ естественную правду, въ прекрасную сущность природы, въ величіе науки. Эта вѣра, мы знаемъ, подсказала ему матеріалистическую страсть, но она же внушила ему и его послѣдователямъ, столь же юнымъ и сильнымъ, рядъ дѣйствительно вдохновляющихъ и жизненныхъ идей.

Мы попадаемъ будто въ раннюю весеннюю атмосферу XVIII-го вѣка, преисполненную свѣтлыхъ надеждъ и героической любви къ человѣку, къ текущему періоду его исторіи и еще болѣе блестящему будущему.

На русскую жизнь только что повѣяло еще слабое дыханіе тепла, еще только 1856 годъ, а нашъ писатель уже говоритъ о «нашемъ благородномъ времени, благородномъ и прекрасномъ, не смотря на всѣ остатки ветхой грязи... Оно всѣ силы свои напрягаетъ, чтобы омыться и очиститься отъ послѣднихъ грѣховъ. Правда, есть и тѣни, но онѣ—результаты злосчастныхъ обстоятельствъ, виѣшнихъ давленій. Въ дѣйствительности «огромное большинство людей всегда имѣетъ склонность къ доброжелательству и правдѣ». Даже мошенники-купцы у Островскаго исключенія: «огромное большинство нашихъ купцовъ» обладаютъ всѣми добрыми качествами, какія свойственны русскому народу <sup>205</sup>).

Вы, пожалуй, усмотрите противорѣчіе въ этихъ похвалахъ и въ провозглашеніи эгоизма, какъ единственной управляющей силы въ природѣ. Противорѣчія нѣтъ. Природа сама по себѣ «благое божество», и все *естественное*, все что натура—все то благо. Эгоизмъ также. Это ясно. Послушайте перваго ученика нашего учителя. Всякій, кто заботится о своемъ развитіи, не выноситъ стѣсненій. Съ этимъ «естественнымъ требованіемъ» сливается «естественное сознаніе», что и ему—человѣку—не надо посягать на права другихъ и вредить чужой дѣятельности. Такимъ путемъ эгоизмъ для себя становится «гуманными чувствами» для другихъ.

И Добролюбовъ этотъ культъ естественнаго, натуры и непосредственности внесетъ въ свое толкованіе литературныхъ явленій. Катерина Островскаго будетъ превознесена надъ всѣмъ русскимъ обществомъ шестидесятыхъ годовъ ради дѣйствующей въ ней *натуры*. Рѣчь восхищеннаго критика безпрестанно будетъ напоминать гимны Руссо во славу «естественнаго человѣка» и его проклятія извращенной цивилизаціи. Да, почти буквально. Мы услышимъ о «стошихъ и чахлахъ вырождахъ неудавшейся цивили-

<sup>205</sup>) Критич. статьи, 288, 331, 333,

заці», насмѣшливое заключеніе на счетъ «азарта высѣкихъ ораторовъ правды въ пользу идеи» и вообще «отвлеченныхъ вѣрованій, образа мыслей, принциповъ», и намъ постараются явить во всемъ блескъ «влеченіе натуры безъ отчетливаго сознанія», «силу естественныхъ стремленій», «жизненную необходимость натуры», «глубину организма»... <sup>206</sup>).

Мы увидимъ въ послѣдствіи, въ какую смуту противорѣчій завлекла нашего психолога религія натуры, но въ ней есть и безусловно здоровое зерно. Оно открыто еще Чернышевскимъ и усвоено всѣми публицистами шестидесятыхъ годовъ, за исключеніемъ Писарева.

Гдѣ природа, какъ нравственный принципъ, тамъ непремѣнно является народъ, какъ политическая сила. Такъ было у философовъ прошлаго вѣка, тоже съ точностью повторилось у насъ. Шестидесятники—демократы и народники не по чувствительности сердца, а по принципамъ философіи и нравственности. Народъ стоитъ ближе къ природѣ и дѣйствительности, его свѣдѣнія глубже, мысль яснѣе, чѣмъ у высшихъ классовъ и даже у людей ученыхъ, онъ можетъ сообщить имъ много новаго и имъ недоступнаго. Прогрессъ заключается въ гражданскомъ развитіи народа, въ его борьбѣ съ людьми исключительнаго политическаго положенія. И Чернышевскій, напишетъ цѣлый рядъ статей по новѣйшей исторіи Франціи для доказательства этой мысли.

Мы видѣли, какая оторопь охватила просвѣщенныхъ историковъ благороднѣйшаго образа мыслей, вроде Грановскаго, предъ поступательнымъ движеніемъ демократіи. Шестидесятники поймутъ смыслъ явленія, и первый Чернышевскій представитъ въ должномъ свѣтѣ буржуазный либерализмъ, раскроетъ мертвую эгоистическую политику Гизо и доктринеровъ и объяснитъ русскимъ читателямъ, въ какія горькія заблужденія вводитъ людей наивныхъ «превздорное слово—либерализмъ».

Выяснить истинный смыслъ программы и дѣятельности французскихъ либераловъ и разсѣять ореолъ свободы и прогресса, окружающій ихъ въ глазахъ громаднаго большинства зрителей, было бы немалой заслугой публициста даже гораздо позднѣйшаго времени, не только въ шестидесятыхъ годахъ.

Чернышевскій не открывалъ ни новыхъ фактовъ, ни новыхъ истинъ. Онъ въ общихъ чертахъ повторялъ старую критику

<sup>206</sup>) Добролюбовъ, III, 346, 440, 497, 505 etc.

сень-симонистовъ противъ политическаго либеризма, доказывалъ вслѣдъ за ними, какъ естественно конституціонныя права обращаются въ привилегіи высшихъ классовъ и какъ трудно осуществлять политическую свободу низшимъ при экономической зависимости.

Но это не значитъ, будто эти права и не стоить давать народу раньше экономическаго освобожденія. Вовсе нѣтъ. Демократія, являясь на сцену политическимъ дѣятелемъ, обнаруживаетъ свои недостатки—невѣжество, зависимость и, слѣдовательно, ставитъ рѣшительный вопросъ о своемъ ближайшемъ будущемъ. Когда поселяне начали пользоваться правомъ голоса, всѣмъ стало ясно, что лежало въ основѣ злополучныхъ событій французской исторіи. Болѣзнь была тайная и безъ вѣдома политиковъ изнуряла организмъ. Теперь честные люди поймутъ, что необходимо тщательно заняться воспитаніемъ народа, иначе всѣ либеральныя усилія останутся безплодными.

Чернышевскій даже готовъ отрицать всѣ заслуги за либералами и смѣяться надъ ихъ заботой о свободѣ печати, о свободѣ выборовъ, о національной гвардіи <sup>207)</sup>.

Это опять увлеченіе, а, можетъ быть, и не достаточно полное знакомство съ исторіей либеральной партіи. Относительно, напри- мѣръ, свободы печати она менѣе всего заслуживаетъ насмѣшекъ. Одинъ изъ даровитѣйшихъ вождей либерализма Бенжамэнъ Констанъ правотѣрный либераль и горячій защитникъ пенза, всѣми силами своего краснорѣчія отстаивалъ свободу печатнаго слова и одинъ изъ главныхъ его аргументовъ—право печати контролировать отношенія труда и капитала и служить органомъ эксплуатируемаго пролетаріата. И самъ Чернышевскій понималъ, что свобода печати, при нынѣшнемъ состояніи западно-европейскихъ обществъ, становится обыкновенно средствомъ для демократической пропаганды. Что Гизо ополчался на свободу слова и въ то же время числился либераломъ, нисколько не опровергаетъ факта.

А потомъ либералы вовсе не смѣшны въ своей борьбѣ съ бурбонской реставраціей. Нельзя одинаково судить о нихъ, и въ то время, когда они представляли оппозицію и когда явились правительственной партіей. Классовый эгоизмъ и даже сочувствіе реакціи развились послѣ побѣды, а до нея либеральные буржуа все-

<sup>207)</sup> *Соврем.* 1860, апрѣль, 345. *Борьба партій во Франціи при Людовикѣ XVIII и Карлѣ X*, августъ и сентябрь 1858 года. *Юльская монархія*. 1860, январь, 265—6. *Кавеньякъ*. Январь и мартъ, 1858.

такимъ стоять выше и дѣйствуютъ благороднѣе, чѣмъ феодальные сеньоры.

Но это второстепенныя частности, въ главномъ Чернышевскій представилъ исторически-вѣрную картину отношеній либерализма къ социальнымъ вопросамъ и буржуазіи къ демократіи. Выводъ получился совершенно опредѣленный: воспитаніе народа—первѣйшая необходимость культурнаго общества.

Это—основной догматъ шестидесятниковъ, и онъ первоисточникъ ихъ литературныхъ воззрѣній.

Всякій человѣкъ прежде всего гражданинъ, а потомъ специалистъ какого-либо дѣла, поэтъ, публицистъ, ученый, философъ. А быть гражданиномъ въ наше время, значить содѣйствовать благосостоянію гражданъ, а не сословія и класса, т. е. быть демократомъ. Каждый долженъ быть полезенъ умственному развитію и матеріальному прогрессу народа. Эта мысль высказана Чернышевскимъ въ одной изъ самыхъ раннихъ его статей, еще въ *Отечественныхъ Запискахъ* и неуклонно развивалась во всей его критикѣ. Обширная монографія о Лессингѣ переполнена намеками на положеніе русской литературы, будто авторъ даже нарочно съ этой цѣлью взялъ свою тему. И здѣсь именно онъ многократно настаиваетъ на неразрывной связи писателя съ народомъ.

Устами поэтовъ и литераторовъ высказываются надежды и требованія народа. «Языкъ данъ человѣку не для стихотворнаго или педантическаго пустословія: писатель долженъ быть органомъ желаній своего народа, его руководителемъ и защитникомъ» <sup>208</sup>).

Чернышевскій указываетъ и путь сближенія литературы съ народомъ. Его указанія—развитіе мыслей Бѣлинскаго о психологіи русскаго мужика. Настаивая на интеллигентной и просвѣщенной народной литературѣ, Бѣлинскій требовалъ простоты отношеній къ народу, безпощадно издѣвался надъ славянофильскими прибаутчными и искусственно-идиллическими издѣліями, надъ барскимъ ухаживаніемъ за мужичкомъ, надъ младенческой идеализаціей его быта и натуры. Мужикъ такой же человѣкъ, какъ и всѣ нормальные люди: у него много природнаго ума, много разумнаго чутья и онъ отлично понимаетъ всякую фальшь и поддѣлку <sup>210</sup>).

<sup>208</sup>) *О поэзіи*, сочин. Аристотеля, переводъ Ордынского. *Отеч. Записки* 1854, IX.

<sup>209</sup>) *Лессингъ, его время, его жизнь и дѣятельность. Эстетика и поэзія* Спб. 1893, стр. 292, 307.

<sup>210</sup>) *Сочиненія*. VI, 421. IX, 164.

Чернышевскій столь же энергично возражаетъ противъ «прѣсной живости, усиливающейся идеализировать мужиковъ». У мужика такая же человѣческая природа, какъ и у людей всякаго другого сословія. Его добродѣтели и пороки вполне соответствуютъ нравственнымъ качествамъ просвѣщенныхъ господъ, и совершенная безсмыслица подводитъ мужиковъ подъ одинъ типъ, какъ нѣкіихъ дикарей <sup>211)</sup>.

А достигнуть этой цѣли—значить основательно изучить дѣйствительность, познакомиться съ реальными фактами. Поэтъ долженъ много *знать* и поэзія должна стоять наравнѣ съ *наукой*, по своей *полезности*. Умственная дѣятельность, слѣдовательно, не менѣе важна, чѣмъ талантъ, даже болѣе. Это доказывается и литературой, и повседневной жизнью.

Наблюдая факты, Чернышевскій дошелъ до слѣдующаго убѣжденія:

«Я почти никогда не нахожу нужды приписывать какому-нибудь дурному наклоненію человѣка поступокъ, который считаю за нехорошій. Я прежде всего смотрю на умъ человѣка; и если онъ поступилъ дурно, то почти всегда нахожу я достаточное объясненіе тому, просто въ недостаткѣ силы соображенія у этого человѣка» <sup>212)</sup>.

Другими словами, въ недостаткѣ развитія, не учености, а природнаго ума, воспитаннаго непосредственными столкновеніями съ дѣйствительностью. Для шестидесятника это существенная разница: *самобытный* умъ и мудрость, почерпнутая изъ книги, заимствованная у чужого авторитета и не проверенная личной работой. Рахметовъ не желаетъ даже и въ руки брать *не-самобытной* книги, насколько онъ строгъ по этой части, показываетъ его безнадѣжный приговоръ надъ Маколеемъ, Ранке, Гервинусомъ, О-Тьеръ и Гизо нечего и толковать. Все это—«лоскутья». И ему достаточно четверти часа, взглянуть на разныя страницы, чтобы рѣшить вопросъ. Для самого Чернышевскаго требуется иногда всего «двѣ строки», чтобы бросить книгу, не читая <sup>213)</sup>.

Такъ велика ненависть этихъ людей къ компиляторамъ и рабамъ чужой мысли! Добролюбовъ безпрестанно будетъ убѣждать своихъ читателей «сохранить личную самостоятельность противъ всякаго авторитета, свою внутреннюю нравственность противъ всякихъ внѣшнихъ внушеній» и никогда ни предъ кѣмъ и предъ

<sup>211)</sup> *Критич. статьи*, 367, 382.

<sup>212)</sup> *Полемич. красоты*. Коллекція вторая.

<sup>213)</sup> *Соврем.* 1863. апрѣль, 485, 493. *Антроп. прнци.* 1860, апр., 326—9.

чѣмъ не отречься отъ своей воли и ума. «Всякій, кто поступаетъ противъ внутренняго своего убѣжденія, поступаетъ безчестно и подло, всякій, потерявшій силу свободнаго самостоятельнаго дѣйствія, есть жалкая дрянь и тряпка, и только напрасно позорить свое существованіе» <sup>214)</sup>).

Это чрезвычайно сильно и въ міросозерцаніи шестидесятниковъ воплотѣ естественно. Если природа человѣка и его самобытность основа его нравственной свободы и умственнаго развитія, очевидно, рабство и всевозможные духовные и практическіе недуги являются извѣтъ, подъ вліяніемъ *среды*. Отсюда, неуклонная настойчивость шестидесятниковъ въ вопросѣ о вліяніяхъ и обстоятельствахъ. Имъ не надо было непременно проникаться идеями Бюкля о могуществѣ природы и вообще вѣшняго міра надъ психологіей и исторіей человѣка. То же убѣжденіе логически вытекаетъ изъ извѣстнаго представленія о *натурѣ*. Руссо историческаго человѣка сравнивалъ съ прекраснымъ античнымъ произведеніемъ, покрытымъ грязью, пылью и иломъ. Такова же сущность и философія шестидесятниковъ.

Эта философія, мы видѣли и увидимъ дальше, вовлекала нашихъ публицистовъ въ безвыходныя противорѣчія, но она вознесла на небывалую высоту принципъ личной оригинальности и естественной самобытности. Никто ожесточеннѣе шестидесятниковъ не преслѣдовалъ всякаго рода схоластику, профессиональную узость и нетерпимость мысли, исконное невѣжество, самообольщеніе и надутую притязательность цеховыхъ спеціалистовъ.

«Не мѣшаетъ иной разъ умному человѣку взглянуть на дѣло подобно намъ, свистунамъ, то-есть, безъ самоуничиженія передъ вздоромъ» <sup>215)</sup>).

Такъ писалъ Чернышевскій по поводу необузданныхъ домысловъ филологовъ-фанатиковъ, и сколько разъ «свистуны» были какъ нельзя болѣе на мѣстѣ въ борьбѣ съ безсмысленнымъ жреческимъ священнодѣйствіемъ и тупоумной притязательностью подвижниковъ заугольной учености! Сколько разъ блестящее умное и простое слово публициста нахлобучивало колпакъ на мѣдное чело книгоѣда, разоблачая тунеядство и шарлатанство его величественныхъ аллюръ! И какъ еще много пройдетъ времени, раньше чѣмъ это искусство «свистуновъ» станетъ излишнимъ въ дѣлѣ общественнаго развитія и народнаго просвѣщенія!

<sup>214)</sup> Сочиненія. III, 248, II, 51, 346 etc.

<sup>215)</sup> Полемич. красоты. Коллекція вторая.

Несомѣнно, и здѣсь свистуны могли впадать и дѣйствительно впадали въ крайности и, напримѣръ, въ лицѣ Писарева брались толковать о предметахъ невѣдомыхъ и во всякомъ случаѣ основательно не изученныхъ. Мы увидимъ, свистуны не медленно и платились за свое геройство. Но Чернышевскій, съ его дѣйствительной ученостью и самообычнымъ умомъ, устроилъ не мало цѣлительныхъ для публики душъ холодной воды надъ головами дипломированныхъ ученыхъ. То же самое можно сказать о Добролюбовѣ, и самый принципъ независимости здраваго смысла и жизненнаго умственнаго развитія предъ самой внушительной книжной ученостью долженъ остаться прочнымъ достояніемъ русскаго общества и всякаго молодого умственнаго дѣятеля.

Мы видимъ, въ какой неразрывной логической связи слѣдовали руководящіе принципы публицистики шестидесятыхъ годовъ. На противоположныхъ концахъ этой цѣпи стоятъ идеи—на одномъ природа и естественное развитіе, на другомъ—писатель-гражданинъ и руководитель общества. И мы снова повторяемъ, эта цѣль и эти звѣнья—основныя культурныя явленія всѣхъ преобразовательныхъ эпохъ. Стоическія опредѣленія философа <sup>216)</sup>—*paedagogus generis humani, artifex vitae*, — *воспитатель человѣческаго рода, устроитель жизни*—соотвѣтствуютъ излюбленному вольтеровскому сравненію писателя-энциклопедиста съ *апостолами*. Мы знаемъ, первоучитель шестидесятниковъ выразилъ сущность того же воззрѣнія, основалъ на немъ свое эстетическое ученіе, т. е. всю критику шестидесятыхъ годовъ.

### XXX.

Въ «Современникѣ» въ 1864 году было объявлено: «Возрожденіе нашей литературы началось, какъ извѣстно, съ 1855 г.» <sup>217)</sup>. Въ этомъ году Чернышевскій сталъ сотрудникомъ *Современника*, одновременно выпустилъ диссертацию: *Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности* и превратился въ перваго критика журнала. Но уже въ слѣдующемъ году въ журналѣ появляется Добролюбовъ, къ нему постепенно переходитъ литературная критика, Чернышевскій пишетъ или чисто-публицистическія статьи, или ограничивается историческими и политико-экономическими работами. Такимъ образомъ, главнѣйшій вкладъ Чернышевскаго въ

<sup>216)</sup> Seneca. *Epistolae morales*. Lib. XVIII, ep. V; Lib. XIV, ep. I, II.

<sup>217)</sup> Совр. 1864, февр.

критику шестидесятих годов—его диссертация и его же статья об этой диссертации, излагавшая и дополнявшая ее положения<sup>218)</sup>. Эта статья гораздо меньше книги, но по содержанию важнее ее и для читателя поучительнее: автор извлек из книги все существенное и присоединил некоторые поправки и пояснения.

Эстетика Чернышевского успела выясниться раньше диссертации в *Отечественных Записках*. В рецензии на русский перевод аристотелевского сочинения *О поэзии* Чернышевский нападал на идеалистическую эстетику, требующую от искусства «идеалов» и увидающую «действительность». Здесь же обнаружился и философский первоисточник личных взглядов автора,—нападки Платона на искусство. Платон обвинял его в бедности, слабости, бесполезности, ничтожестве, и наш автор находит эти обвинения «во многом справедливыми и благородными». Автор с видимым удовольствием излагает платоновское деление искусств на производительные и подражательные. Одни—земледелие, ремесла, медицина—заслуживают полного уважения, другие неизмеримо ниже их. Они «не дают человеку ничего, кроме обманчивых, ни в какое употребление не годных копий с действительных предметов». Их можно приравнять к парикмахерскому и поварскому искусству. Они стараются только забавлять. Они служат к приятному, но бесполезному препровождению времени.

Чернышевский напоминает, что и Руссо также смотрел на низшие искусства и «знаменитый немецкий педагог» Кампе говорил: «выпрямь фунт шерсти полезнее, нежели написать том стихов». Автор не сомневается, что «многие» из обличений Платона вполне применимы и к современному искусству. Он убежден, «искусство для искусства» мысль странная, все равно, как «богатство для богатства», «наука для науки». «Все человеческие дела должны служить на пользу человеку». И он безжалостно издается над защитниками искусства, будто оно смягчает сердце и облагораживает душу. Правда, из картинной галереи или театра человек выходит добрее и лучше, по крайней мере на полчаса, пока не разлетелось эстетическое довольство. Но ведь и после сытного обеда человек встает снисходительнее и добрее. Критик обличения Платона дополняет чрезвычайно красноречивым сравнением: «сиденье на завалинѣ

<sup>218)</sup> Неподписанная рецензия. *Соврем.* 1855, июнь, подпись Н. П.—а.



(у поселянъ) или вокругъ самовара (у горожанъ) больше развито въ нашемъ народѣ хорошаго расположенія духа и добраго расположенія къ людямъ, нежели всѣ произведенія живописи, начиная съ лубочныхъ картинъ до *Послѣдняго дня Помпеи*.

Это вполне опредѣленно. Искусство должно приносить совершенно осязательную пользу, иначе оно недостойная забава и тунеядство. И критикъ указываетъ, какую именно пользу: поэзія должна распространять въ массѣ читателей свѣдѣнія и понятія, вырабатываемыя наукой, перечекаивать въ ходячую монету тяжелый слитокъ золота, выловленный наукой. *Поэзія—распространительница знаний и образованности*, только на этомъ условіи она можетъ быть одобрена и допущена.

Эти взгляды высказаны въ 1854 году, а годъ спустя появилась диссертация. Ученой степени, по волѣ высшаго начальства, Чернышевскій не получилъ, но сторицей былъ вознагражденъ популярностью книги. Новаго послѣ только что установленныхъ принциповъ она ничего не могла дать и приводила только прежнія отрывочныя замѣчанія въ систему.

Цѣль автора—примѣнить общія воззрѣнія новаго времени къ эстетическимъ вопросамъ. А эти воззрѣнія ничто иное, какъ «аполлогія дѣйствительности сравнительно съ фантазіею». Въ наукѣ метафизика должна уступить мѣсто опытному знанію, въ искусствѣ дѣйствительность должна устранить все фантастическое. Сущность эстетическаго трактата опредѣляется ясно: «доказать, что произведенія искусства рѣшительно не могутъ выдержать сравненія съ живою дѣйствительностью»<sup>219</sup>). И авторъ подробно объясняетъ, до какой степени бессильна фантазія и, слѣдовательно, искусство создать что-либо прекраснѣе и совершеннѣе дѣйствительныхъ явленій жизни.

«Прекрасное есть жизнь», а не воображаемый идеалъ, какъ думаетъ старая эстетика. Мысль эта, повидимому, противорѣчитъ общественнымъ фактамъ. Люди безпрестанно мечтаютъ о совершенствѣ, объ идеальной красотѣ, желаютъ чего-то болѣе возвышеннаго, чѣмъ существующая дѣйствительность. Эти желанія, разъ они ничѣмъ не удовлетворяются, слѣдуетъ признать болѣзненными, а что касается образовъ фантазіи, стоитъ приглядѣться къ нимъ, и непремѣнно обнаружится, что они нисколько не лучше реальныхъ лицъ. Наконецъ, фантазія и желанія у здороваго че-

<sup>219</sup>) *Эст. отнош. искусства къ действ.* Заключение.

ловѣка разыгрываются только при отсутствіи удовлетворительной дѣйствительности. Напримѣръ, въ сибирскихъ тундрахъ еще можно мечтать о садахъ изъ *Тысячи одной ночи*, но, напримѣръ, въ небогатомъ, но порядочномъ саду въ Курской или Кіевской губерніи эти мечты навѣрное исчезнутъ <sup>220)</sup>.

Факты, слѣдовательно, согласны съ выводами современной науки, признающей высокое превосходство дѣйствительности надъ мечтою.

Очевидно, старая теорія «творчества» несостоятельна. Силы творческой фантазіи очень ограниченны. «Она можетъ только комбинировать впечатлѣнія, полученные изъ опыта; воображеніе только разнообразить и экстенсивно увеличиваетъ предметъ, но интенсивнѣе того, что мы наблюдали или испытали, мы ничего не можемъ вообразить. Я могу представить себѣ солнце гораздо больше по величинѣ, нежели каково оно въ дѣйствительности, но ярче того, какъ оно являлось мнѣ въ дѣйствительности, я не могу его вообразить» <sup>221)</sup>.

Чернышевскій примѣняетъ это соображеніе къ поэтическому созданію типовъ. Обыкновенно думаютъ, будто поэтъ наблюдаетъ множество отдѣльных личностей, подмѣчаетъ у нихъ рядъ общихъ типическихъ чертъ, отбрасываетъ все частное и соединяетъ въ одно художественно-цѣлое.

Такъ, дѣйствительно, говорятъ не только эстетики, но и сами художники. Напримѣръ, Тургеневъ, признавалъ, что онъ въ своемъ творчествѣ «никогда не отправлялся отъ *идей*, а всегда отъ *образовъ*», а за недостаткомъ *образовъ*, ему приходилось сидѣть сложа руки. Будто бы онъ даже опредѣлялъ количество необходимыхъ для него знакомствъ—для изученія чертъ извѣстнаго характера, именно до пятидесяти. При окончательномъ воспроизведеніи типа писатель непремѣнно нуждался въ «живомъ лицѣ», какъ исходной точкѣ, напримѣръ, рисуя Базарова, онъ представлялъ себѣ личность нѣкоего молодого врача.

Эти признанія не противорѣчатъ разсужденіямъ Чернышевскаго, но и въ томъ и въ другомъ случаѣ отнюдь нельзя сдѣлать логическаго вывода, будто дѣйствительность, въ данномъ случаѣ, реальное лицо, выше художественнаго образа. Безспорно, художникъ не можетъ отрѣшиться отъ впечатлѣній дѣйствитель-

<sup>220)</sup> *Тб.* изданіе 1864 года, стр. 6—7, 52. Рецензія. *Соврем.* 1855, УІ.

<sup>221)</sup> *Тб.*, стр. 87—8.

ности, иначе онъ рискуетъ впасть въ сочинительство и чудовищность. Но это не значитъ, будто онъ ограничивается точнымъ воспроизведеніемъ «индивидуальныхъ личностей», т. е. «портретами съ живыхъ людей». Тургеневъ, несомнѣнно, протестовалъ бы, если бы читатели его Базарова отождествили съ его знакомымъ врачомъ. Въ Базаровѣ нашлись бы черты, отсутствовавшія въ личности врача, и художникъ достигъ полной гармоніи, Базаровъ не вышелъ «эклептическимъ существомъ», т. е. уродомъ, составленнымъ изъ частей разныхъ лицъ. Чернышевскій справедливо смѣется надъ подобнымъ процессомъ, достойнымъ гоголевской героини, но это не тотъ процессъ, какимъ создаются типы. Они—не портреты, романъ не мемуары, біографія героя не исторія. Чернышевскій именно всё эти понятія отождествляетъ, но противъ него вопіетъ ежедневный опытъ и писателей, и публики, и простой здравый смыслъ. Всякій знаетъ, какая разница даже между фотографіей и художественно-исполненнымъ портретомъ. Тѣмъ, не менѣе стремительный реалистъ, чѣмъ нашъ критикъ, находилъ, что иной портретъ историческаго лица стоитъ груды документовъ. Тѣмъ, по обыкновенію, схватился за истину такъ, что немедленно перевернулъ ее внизъ головой, но сущность мысли—вѣрна. Стоитъ только побывать въ галереяхъ старинной живописи, чтобы вынести чрезвычайно яркое представленіе о самыхъ сложныхъ историческихъ эпохахъ.

Очевидно, даже въ портретахъ-картинахъ заключается нѣчто большее, чѣмъ индивидуальныя черты отдѣльныхъ личностей.

Весь процессъ творчества Чернышевскій готовъ свести къ «пониманію, способности отличать существенныя черты отъ неважныхъ». Самъ критикъ, несомнѣнно, обладалъ этими качествами, почему же онъ написалъ такой плохой романъ? Почему его идеальный «новый человѣкъ»—«свирѣпый» Рахметовъ вышелъ куклой, чрезвычайно пышно убранной многочисленными кричащими ярлыками, но совершенно мертвой и механической? А вѣдь, кажется, рука автора «направлялась живымъ смысломъ» и умомъ, конечно, не уступавшимъ уму даже большихъ художниковъ.

Очевидно, психологія художника и вопросъ о творествѣ несравненно сложнее, чѣмъ представляетъ авторъ. Мы могли бы настаивать на этой истинѣ, если бы она не оказала губительнаго вліянія на послѣдователей Чернышевскаго. Самъ онъ обладалъ слишкомъ крѣпкимъ здравымъ смысломъ, чтобы въ самомъ дѣлѣ художниковъ приравнять къ копировальщикамъ и искусство къ

парикмахерству. Онъ только представилъ извѣстные запросы художникамъ и ихъ талантамъ, но на самое ихъ существованіе не посягнувъ, не дошелъ до отрицанія художественнаго таланта, какъ явленія природы. Этотъ подвигъ будетъ совершенъ Писаревымъ, и мы видимъ по вдохновенію Чернышевскаго. Онъ поставилъ своего юнаго ученика на предательскій путь—мнимо-реальнаго воззрѣнія на сущность художественнаго творчества и толкнулъ его на такіе же фантастическіе выводы, къ какимъ пришелъ самъ въ общихъ философскихъ понятіяхъ матеріализма. Это существенная отрицательная черта книги Чернышевскаго. Ее миновали многочисленные критики, съ ожесточеніемъ нападавшіе на новую эстетику. Они привязались какъ разъ къ тѣмъ идеямъ Чернышевскаго, какія являлись продолженіемъ критики Бѣлинскаго, и дѣйствительно оживляли и возрождали современную заиндевелѣвшую библиографію и шаблонное рецензентство.

*Отечественныя Записки* усиливались доказать «самую дорогую, самую близкую» для нихъ «истину»: «нравственное чувство есть то же, что чувство эстетическое, примѣненное только къ дѣйствительной жизни», «чувство эстетическое и гуманное чувство находятся въ неразрывной связи другъ съ другомъ» <sup>222</sup>).

Аполлонъ Григорьевъ также фанатически держался этой истины, но уже Шиллеръ блистательно успѣлъ ее разбить, самъ Шиллеръ, прекраснѣйшій поэтъ классической и романтической красоты!

Эдельсонъ, издавшій цѣлую книгу противъ критики шестидесятихъ годовъ, также открылъ въ Чернышевскомъ безумнаго врага искусства именно потому, что онъ требовалъ отъ искусства пользы. Критикъ рассчитывалъ поразить Чернышевскаго авторитетомъ Бѣлинскаго, высоко ставившаго поэзію и требовавшаго отъ нея только серьезнаго содержанія <sup>223</sup>). Мы знаемъ, *какую* поэзію цѣнилъ Бѣлинскій и что значило для него серьезное содержаніе. Еще въ ранній періодъ онъ горевалъ, что находятся люди съ талантомъ, способные пѣть подобно птицамъ безотчетно и безучастно къ судьбѣ своихъ страждущихъ братій.

Чернышевскій развивалъ именно эту мысль, и нападенія его критиковъ доказывали только ихъ безнадежно-слѣпое пристрастіе къ «святой» старинѣ и «святому» искусству. Психологія творче-

<sup>222</sup>) *Вопросъ объ искусствѣ*, Соловьева. От. Зап. 1866, іюнь, стр. 474.

<sup>223</sup>) *О значеніи искусства въ цивилизаціи*. Спб. 1867, стр. 8—10.

ства не нашла у Чернышевскаго достоюжнаго пониманія, но вопросъ, чѣмъ должно быть искусство, разрѣшенъ критикомъ побѣдоносно для всѣхъ его противниковъ—и современныхъ, и позднѣйшихъ.

### XXXI.

«Языкъ человѣку данъ не для стихотворнаго или педантическаго пустословія», въ этой фразѣ вся *активная* эстетика Чернышевскаго, и она почерпнута у Бѣлинскаго. Великій критикъ идеальнымъ художникомъ считалъ талантъ, воспроизводящій дѣйствительность и силой своей творческой природы осмысливающій ее, т. е. одушевляющій свое произведеніе духомъ правды и высокихъ стремленій не подъ вліяніемъ отвлеченной мысли, не преднамѣренно, а по внушеніямъ своей натуры.

Чернышевскій развиваетъ этотъ принципъ послѣдовательно и съ математической ясностью.

Область искусства, все интересное для человѣка въ жизни и природѣ, первое положеніе. Второе—назначеніе искусства, служить объясненіемъ воспроизводимыхъ явленій. Третье—если художникъ человѣкъ мыслящій, то его произведеніе непременно будетъ приговоромъ мысли о воспроизводимыхъ явленіяхъ. Въ такомъ случаѣ искусство пріобрѣтаетъ значеніе *научное*, произведеніе художника становится *учебникомъ жизни*, и здѣсь значеніе его «неизмѣримо огромно», и искусство такая же «насущная потребность человѣка, какъ пища и дыханіе». Одинаково негѣло ограничивать жизнь человѣка одною головою или однимъ желудкомъ: жизнь умственная и нравственная—«истинно-приличная человѣку» <sup>224</sup>).

Чернышевскій говоритъ о своемъ сочиненіи, что оно «проникнуто уваженіемъ къ искусству». Это несомнѣнно, только къ искусству просвѣтителъному, «мыслящему», къ искусству содержательному и идейному. Его настойчивое возвышеніе дѣйствительности надъ искусствомъ нисколько не вредитъ достоинству искусства и не лишаетъ его самостоятельности и даже «неизмѣримо огромнаго значенія». Пусть только художникъ будетъ мыслителемъ и стоять на уровнѣ современной ему науки и передовыхъ общественныхъ стремленій. Желаніе не новое, оно еще высказывалось Венивитиновымъ и легло въ основу всей критики Бѣлинскаго.

<sup>224</sup>) *Эстетич. отношенія*, стр. 139, 141—2, 148.

Но послѣдніе выводы одной и той же идее оказались далеко не одинаковыми у Бѣлинскаго и его восторженнаго поклонника, и не одинаковыми у самого Чернышевскаго и его учениковъ. Мы знаемъ одинъ изъ первоисточниковъ этого преобразования: превратное толкованіе творческаго процесса, другой—еще болѣе сильный, боевой характеръ всей новой литературы и особенно публицистики.

Въ атмосферѣ шестидесятыхъ годовъ трудно было сохранить идеальную послѣдовательность мысли, уравновѣщенную невозмутимую вѣрность какой-либо теоріи, если только она сама по себѣ не соответствовала кипучему настроенію молодого поколѣнія. До какой степени несовременными являлись мирныя созерцательныя и творческія добродѣтели, показываетъ примѣръ истинно-художественной и сильной натуры Писемскаго. Даже его шестидесятые годы превратили въ тенденціознѣйшаго публициста и внесли полный разгромъ въ эпическій строй его таланта. Чего же было ожидать отъ юной публицистики, воинственной по призванію, страстно отважной по темпераменту и глубоко убѣжденной на основаніи житейскаго опыта и принциповъ своей философіи, что видъ общественныхъ и гражданскихъ интересовъ, можетъ царить только «злослышная и безпутная пошлость», что мужчина безъ чувствъ гражданина—даже не мужчина, а только существо мужскаго пола и что, наконецъ, и лучше не развиваться человѣку, нежели развиваться безъ вліянія мысли объ общественныхъ дѣлахъ, безъ всякихъ чувствъ, пробуждаемыхъ участіемъ въ нихъ?»<sup>225</sup>).

Это общее правило. Время, съ своей стороны, нахлынуло на литературу нескончаемыми запросами жизни и науки. Они до такой степени сложны и значительны, что, въ сущности, эстетика среди нихъ, дѣло совершенно второстепенное, и о ней даже можно бы и не говорить<sup>226</sup>). Если и заходить рѣчь, то, конечно, не ради нея, а ради все тѣхъ же запросовъ, ради отношенія литературы къ нимъ.

Очевидно, искусство, волей-неволей, въ силу духа времени утрачиваетъ самодовлѣющій интересъ и становится въ подчиненное положеніе къ дѣйствительности, т. е. главный вопросъ о немъ сосредоточивается на его полезности для гражданского и научнаго развитія.

<sup>225</sup>) Чернышевскій. *Критич. ст.*, 261—2.

<sup>226</sup>) *Соврем.* 1855, VI; *Крит. ст.*, стр. 258.

Къ этой цѣли и направится критика шестидесятихъ годовъ, пройдетъ свой путь съ свойственной ей быстротой, въ нѣсколько лѣтъ достигнетъ полюса не только относительно теоріи искусства для искусства, но даже раннихъ идей Чернышевскаго. И самъ учитель пойдетъ впереди.

Мы видѣли, въ одной изъ первыхъ статей Чернышевскій успѣлъ написать совершенно опредѣленное предисловіе къ своей эстетикѣ, заявить непримиримую вражду къ эстетикѣ идеаловъ. Но отъ этихъ заявленій еще далеко до послѣдняго *реально* момента критической эволюціи автора.

Въ 1855 году Чернышевскій начнетъ *Очерки гоголевскаго періода*: смыслъ ихъ въ популяризаціи статей Бѣлинскаго. Эти статьи не были собраны въ отдѣльное изданіе, современной публикой, можетъ быть, полузабыты и теперь являются во главѣ новаго движенія общественной мысли, хотя автора ихъ пока еще нельзя называть. Сужденія Бѣлинскаго и его полемика съ разнаго сорта публицистами и профессорами положены въ основу историческаго обзора критики. Естественнo, очерки украшаются обширѣйшими выдержками изъ статей Бѣлинскаго и множествомъ фактовъ, дѣлающихъ честь авторской начитанности. Чернышевскій оказывалъ русской публикѣ великую услугу, вводя ее въ историческій ходъ критической мысли. Правда, онъ это дѣлалъ путемъ отдѣльныхъ эпизодовъ, не проводилъ связующей нити между идеями и направленіями, оцѣнивалъ заслуги отдѣльныхъ критиковъ и мало обращалъ вниманія на взаимную зависимость ихъ воззрѣній. Только Бѣлинскій примкнулъ къ Надеждину и даже тѣснѣе, чѣмъ было на самомъ дѣлѣ. Можно указать и другія неточности и пробѣлы: первая статья Бѣлинскаго не оцѣнена по достоинству, въ ней и въ его гегельянскихъ увлеченіяхъ не прослѣжены зачатки наступившаго вскорѣ новаго періода его критики <sup>227)</sup>. Но всѣ эти недостатки исчезаютъ предъ важностью всего дѣла. Западническая партія въ лицѣ Чернышевскаго выполнила задачу, съ которой тщетно носились славянофильскіе патріоты. Она дѣйствительно просвѣщала и поучала публику не декламаціями и пророчествами а фактами и исторіей. Эта задача такъ и останется лестной привилегіей «западниковъ», «прогрессистовъ», «либераловъ». Они дѣйствительно будутъ работать, не отступая предъ чернымъ тру-

<sup>227)</sup> *Очерки гоголевскаго періода русской литературы*. Спб. 1893, стр. 228, 269.

домъ собранія данныхъ и изученія документовъ. Въ теченіе какихъ-нибудь десяти лѣтъ они передадутъ публикѣ такую массу свѣдѣній, бросающъ въ чуткую среду молодыхъ читателей такое количество философскихъ идей и научныхъ выводовъ, что ихъ противникамъ придется или безнадежно опустить руки, или утѣшаться англійскимъ діалектомъ *Русская Вѣстника* и *Московскихъ Вѣдомостей*. И кто же виноватъ, если московскій *Athenaeum* предпочиталъ щеголять компиляціями Дружинина и туманнымъ сладкогласіемъ Анненкова въ то время, когда *Современникъ* давалъ превосходно написанныя статьи по всѣмъ животрепещущимъ наукамъ времени. И статьи отнюдь не партійныя, не полемическія. *Очерки изъ политической экономіи* Чернышевскаго, его тщательнѣйшая критика идей Милля, его монографіи по новой французской исторіи не утратили своего значенія до послѣдняго времени, и не мертвымъ, хотя и ученымъ, диссертациямъ Соловьева и не философскимъ экскурсамъ Юркевича было соревновать съ талантомъ одного изъ самыхъ блестящихъ публицистовъ своего времени,—не только въ Россіи.

*Очерки* заканчивались рѣшительнымъ заявленіемъ, что Бѣлинскій остается «лучшимъ и современнымъ выраженіемъ» русской критики. Авторъ это доказываетъ большой статьей о Пушкинѣ.

Она преисполнена почтительныхъ чувствъ къ поэту. Онъ «благороднѣйшій человѣкъ», онъ «навсегда останется великимъ поэтомъ», но и умъ его равнялся таланту, а по образованности даже теперь въ русскомъ обществѣ найдется немного людей, равныхъ Пушкину. Это видно изъ бѣглыхъ отрывочныхъ замѣчаній Пушкина по разнымъ вопросамъ литературы—о народности, о нѣкоторыхъ писателяхъ, ихъ глубокой обдуманности его поэтическихъ произведеній. Значеніе его въ исторіи русской образованности не меньше, чѣмъ въ исторіи русской поэзіи. «Его произведенія могущественно дѣйствовали на пробужденіе сочувствія къ поэзіи въ массѣ русскаго общества, они умножили въ десять разъ число людей, интересующихся литературою и черезъ то дѣлающихся способными къ воспріятію высшаго нравственнаго развитія» <sup>228</sup>).

Чернышевскій будто предвосхищаетъ позднѣйшую войну своихъ послѣдователей съ Пушкинымъ и старается установить правильную точку зрѣнія на поэта,—заботливость въ высшей степени важная и для вождя шестидесятниковъ краснорѣчивая:

<sup>228</sup>) Критич. статьи. 2, 11, 26, 43.



«Говоря о значеніи Пушкина въ исторіи развитія нашей литературы и общества, должно смотрѣть не на то, до какой степени выразились въ его произведеніяхъ различныя стремленія, встрѣчаемыя на другихъ ступеняхъ развитія общества, а принимать въ соображеніе настоятельнѣйшую потребность и тогдашняго, и даже нынѣшняго времени,—потребность литературныхъ и гуманныхъ интересовъ вообще. Въ этомъ отношеніи значеніе Пушкина неизмѣримо велико. Черезъ него разлилось литературное образованіе на десятки тысячъ людей, между тѣмъ какъ до него литературные интересы занимали немногихъ. Онъ первый возвелъ у насъ литературу въ достоинство національнаго дѣла, тѣмъ какъ прежде она была, по удачному заглавію одного изъ старинныхъ журналовъ *Пріятнымъ и полезнымъ препровожденіемъ времени* для тѣснаго кружка дилеттантовъ. Онъ былъ первымъ поэтомъ, который сталъ въ глазахъ всей русской публики на то высокое мѣсто, какое долженъ занимать въ своей странѣ великій писатель. Вся возможность дальнѣйшаго развитія русской литературы была приготовлена и отчасти еще готовится Пушкинымъ» <sup>229)</sup>.

Эти мысли Чернышевскій не считаетъ своими. Онъ признаетъ невозможнымъ опредѣлить смыслъ и значеніе пушкинской поэзіи лучше и полнѣе, чѣмъ было сдѣлано Бѣлинскимъ, и онъ съ тоской сравниваетъ современную критику съ прежней. Да, авторитетъ Бѣлинскаго для нашего публициста священенъ, и Чернышевскій будетъ зорко оберегать отъ покушеній невѣждъ и тонкихъ политиковъ, обвиняющихъ Бѣлинскаго въ односторонней «дидактикѣ» <sup>230)</sup>.

Это будетъ продолжаться въ то время, когда защита Пушкина утратитъ для критика привлекательность и онъ даже съ особенной настойчивостью станетъ развивать мысль, высказанную также Бѣлинскимъ: Пушкинъ преимущественно художникъ, а не поэтъ-мыслитель. Раньше критикъ не налегалъ на вторую часть этого опредѣленія и краснорѣчиво изображалъ плодотворныя вліянія поэтическаго таланта Пушкина, теперь по поводу Гоголя онъ заявляетъ: недалеко уйдетъ художникъ не мыслитель. Поэтому, Пушкинъ оказывается ужъ очень безразличнымъ наблюдателемъ. Онъ равнодушенъ, какъ поэтъ, и не знаетъ, негодованія или удив-

<sup>229)</sup> *Иб.*, 65—6, 119.

<sup>240)</sup> *Критич. ст.*, стр. 177.

<sup>241)</sup> *Критич. ст.*, 128.

ленія заслуживаетъ изображаемый имъ быть? Новые писатели чужды этого равнодушія, они дѣлаютъ выборъ среди явленій, попадающихся имъ на глаза, а пушкинская наблюдательность просто зоркость глаза и памятьливость. И критикъ поспѣшить доказать, что даже Писемскій вовсе не оставляетъ своими разсказами примирительнаго отраднаго впечатлѣнія, какъ съ обычной проникательностью открылъ Дружининъ. Дальше, Пушкинъ страдаетъ еще болѣе важнымъ недостаткомъ. Всего два года назадъ онъ открывалъ критику множество поучительныхъ истинъ, теперь его прозаическія статьи поражаютъ соединеніемъ разнообразныхъ мыслей. Наконецъ, рѣшительный приговоръ: Пушкинъ не могъ повліять благотворно на Гоголя. Онъ могъ въ разговорахъ объ искусствѣ ссылаться на глубокомысленнаго Катенина, могъ обозвать Полевого пустымъ и вздорнымъ крикуномъ, могъ прочесть свое стихотвореніе *Поэтъ и чернь*... Все это не могло создать у Гоголя твердыхъ убѣжденій, сообщить ему широту общественнаго взгляда.

Это писалось въ *Современникъ* въ 1857 году. Нѣсколько мѣсяцевъ спустя въ томъ же журналѣ о томъ же предметѣ разсуждалъ Добролюбовъ. Онъ также говорилъ объ отсутствіи у Пушкина серьезныхъ, независимо развившихся убѣжденій и о недостаткѣ серьезнаго образованія, но «пресловутую чернь» не считаетъ точнымъ выраженіемъ взглядовъ Пушкина на поэзію. Кромѣ того Добролюбовъ увѣренъ, что Пушкинъ, никогда не доходилъ до обскурантизма и даже поражалъ, когда могъ, обструантизмъ другихъ. Въ заключеніе Добролюбовъ считаетъ Анненкова достойнымъ искренней благодарности за изданіе сочиненій «нашего великаго поэта»: это «истинная заслуга предъ русской литературой и обществомъ» <sup>232)</sup>.

Критики не совсѣмъ единодушны, но они вполнѣ уподобляются другъ другу въ развитіи своихъ взглядовъ на Пушкина. Два года спустя Добролюбовъ говоритъ о Пушкинѣ въ тонѣ Базарова. По его словамъ, Пушкинъ воспѣвалъ только «преlestь роскошнаго пира, стройность колоннъ, идущихъ въ битву, грандіозность падающей лавины, «благоуханіе словеснаго слоя», пролившагося на него съ какой-то «высоты духовной» и пр. и пр.». Пушкину почти невѣдомо уваженіе къ человѣческой природѣ, развѣ только «въ эпикурейскомъ смыслѣ» <sup>233)</sup>.

<sup>232)</sup> Ст. Чернышевскаго. *Соврем.* 1857, VIII, Добролюбова. 1858, I.

<sup>233)</sup> *Сочиненія.* III, 554.

У третьяго вождя шестидесятниковъ — у Писарева — мы встрѣтимъ ту же эволюцію, и даже въ еще болѣе рѣзкой формѣ.

Фактъ въ высшей степени любопытный. Защищать Пушкина нѣтъ нужды; мы достаточно знакомы съ его художественными и общественными взглядами и имѣли возможность оцѣнить его отношенія къ Радищеву и Полевому. Что касается вообще не серьезности и отсутствія убѣжденій, эту мысль развить еще горячій послѣдователь Бѣлинскаго и его современникъ, написавшій *Очеркъ исторіи русской поэзіи* по статьямъ критика. Книга эта много лѣтъ служила яблокомъ раздора нашихъ литературныхъ лагерей: эстетики ее поносили, шестидесятники — именно Добролюбовъ — восхваляли. Характеристика Пушкина здѣсь изображена рѣзко и опредѣленно, безъ всякихъ противорѣчій и недомолвокъ <sup>234</sup>).

Почему же колебались наши критики?

У автора *Очерка* Пушкинъ являлся великимъ поэтомъ и плохимъ общественнымъ мыслителемъ. Такова идея и Бѣлинскаго. Она тяготѣла надъ всѣми молодыми критиками и они, при всей страстности своихъ запросовъ къ гражданской поэзіи, не могли съ легкимъ сердцемъ [покончить съ «любимымъ», «великимъ», «первымъ» поэтомъ. Это все ихъ эпитеты, во они шли не отъ сердца. Достаточно вспомнить безграничные восторги Григорьева предъ Пушкинымъ, чтобы отъ шестидесятниковъ ожидать другого отношенія къ поэту, не изъ протеста, конечно, критику *Москвитянина* и *Эпохи*, а по самому складу нравственнаго и практическаго міросозерцанія.

Было бы противоестественно, если бы философы, положительные до послѣднихъ выводовъ матеріализма, и публицисты-политики по принципу и страсти оставили неприкосновенной славу Пушкина, весьма неудовлетворительнаго политика и еще менѣе — философа.

Настоящее естественное направленіе критики шестидесятыхъ годовъ обнаружилось одновременно съ отрицательными замѣчаніями Чернышевскаго на счетъ развитія и убѣжденій Пушкина. Въ *Отечественныхъ Запискахъ* Чернышевскій еще могъ кое-какъ мириться съ разсужденіями о поэзіи и художественности, въ *Современникѣ* онъ съ первой же статьи напалъ на безличную, пусто-порожную критику тѣхъ же *Отечественныхъ Записокъ* и привелъ

<sup>234</sup>) *Очерки исторіи*, А. Милюкова. Спб. 1864, 3-е изд., стр. 209—214. Первое изд. вышло въ 1847 году.

дѣйствительно поразительные образчики безъидейности и бездарности, царствовавшихъ въ критическомъ отдѣлѣ журнала Дудышкина и Краевского <sup>235</sup>). Чернышевскій не могъ помириться съ такимъ самоубійствомъ критики, и въ каждой статьѣ позаботился высказать вполне опредѣленное, искреннее мнѣніе о предметѣ. Первыми жертвами оказались Бенедиктовъ, давно уничтоженный Бѣлинскимъ, но возстановляемый Дружининымъ, потомъ Авдѣевъ, карикатурное воплощеніе Лермонтова или даже Марлинскаго, но тѣмъ не менѣе любимецъ того же Дружинина и *Отечественныхъ Записокъ*, впоследствии смертельно пораженный Добролюбовымъ. Все это не особенно важно, гораздо любопытнѣе критика на комедію Островскаго *Бѣдность не порокъ*.

Она принадлежитъ 1854 году, но уже вполне обличаетъ новаго критика, даже съ большой долей нетерпимости и партійнаго увлеченія. Чернышевскій, конечно, не можетъ миновать удивительнаго гимна Григорьева въ честь Любима Торцова, и надо думать, этотъ гимнъ особенно раздражилъ нашего критика.

Если Островскій приводитъ въ такое неистовое восхищеніе писателей *Москвитянина*, въ немъ непремѣнно долженъ таиться духъ москвобѣсія, т. е. мракобѣсія, идеализація татарской старины, замоскворѣцкихъ добродѣтелей, вообще всѣ прелести славянофильской вѣры. И первое впечатлѣніе, повидимому, подтверждаетъ догадку. Въ комедіи *Не въ свои сани не садись* «ясно и рѣзко было сказано: *полуобразованность хуже невѣжества*, но не прибавлено, что лучше и той, и другого: *истинная образованность*». За это послѣдуетъ разборъ новой комедіи безпощадный. Большинство сценъ окажутся ненужными, и цѣль автора будетъ истолкована именно какъ «апогеоза стариннаго быта» и вся пьеса признана не больше, какъ «сборникомъ народныхъ пѣсенъ и обычаевъ» <sup>236</sup>).

Добролюбовъ впоследствии въ томъ же *Современникѣ* возмѣститъ несправедливость своего учителя, но намъ у Чернышевскаго нужны не столько оцѣнки отдѣльныхъ литературныхъ явленій, сколько общій духъ его критической мысли. Онъ быстро становится воинственнымъ и исключительно публицистическимъ. Еще въ 1856 году онъ подробно и благосклонно разбираетъ художественный талантъ гр. Толстого и восхищается особенно «силой

<sup>235</sup>) Ст. *Объ искренности въ критикѣ*. Критич. ст. 203, 204—7.

<sup>236</sup>) *Иб.*, стр. 269, 271—3, 277—8.

нравственной чистоты» въ *поззи* автора *Дѣтства и Отрочества*, говорить лирически о чистой юношеской душѣ, отзывчивой на все чистое и прекрасное и, разчувствовавшись окончательно, соглашается, «не всякая поэтическая идея допускаетъ внесеніе общественныхъ вопросовъ въ произведеніе». И непосредственно мы слышимъ о «законѣ художественности!»<sup>237)</sup>...

Вообще, удивительное счастье гр. Толстого. Вполнѣ понятно, почему многородные подписчики воздвигали ему пьедесталъ надъ всей современной литературой, но вотъ критикъ, только что совершившій походъ на Пушкина, какъ на чловѣка безъ общественныхъ идей, впадаетъ въ идиллическое созерцаніе юношеской души и даже художественности! Правда, пройдетъ четыре года и гр. Толстому жестоко достанется за его педагогическія умствованія. Разоблаченія Чернышевскаго насчетъ обычныхъ спутниковъ философіи графа, т. е. непреодолимой наклонности всѣ вопросы разрубать однимъ взмахомъ руки, страсть къ фантастическимъ обобщеніямъ едва лишь усмотрѣнныхъ и вовсе не понятыхъ фактовъ, совершенная беспомощность въ области теоретическаго анализа идей, вывода заключеній и отыскиванія принциповъ, наконецъ, неограниченная притязательность единоличнаго изобрѣтателя пороха съ высоты своихъ мнимыхъ открытій и скоропалительныхъ комически-незрѣлыхъ истинъ, взирать на другихъ, какъ на глупцовъ и невѣждъ, всѣ эти разоблаченія философическаго гения гр. Толстого не утратили своей новизны и своего значенія до нашихъ дней. Еще любопытнѣе смертоносная критика, какой подвергъ Чернышевскій художественные вымыслы гр. Толстого съ педагогической цѣлью<sup>238)</sup>.

Все это будетъ какъ бы оплатой за «юношескіе» восторги предъ талантомъ гр. Толстого, но «художественность» все-таки была признана независимо отъ общественныхъ вопросовъ, и въ заключеніе статьи говорилось о «вкусѣ», которому только и доступны «истинная красота, истинная поэзія».

Очень краснорѣчиво, но на этомъ и закончилась чистая эстетика Чернышевскаго. Въ слѣдующемъ году Пушкину наносятся усиленные удары, а еще немного спустя, разборъ тургеневской повѣсти *Ася* уже выходитъ *размышленіями* и называется *Русскій чловѣкъ на rendez-vous*. Реальная критика, какъ впоследствии

<sup>237)</sup> *Ib.*, 281 etc.

<sup>238)</sup> *Ib.*, 301 etc.

опредѣляя Добролюбовъ, устанавливается окончательно, т. е. отношеніе къ художественному произведенію, какъ къ матеріалу для сужденій о дѣйствительности, какъ къ поводу и канвъ для общественной философіи и политики. Писаревъ поведетъ эту мысль дальше и отождествитъ повѣсти и драмы просто съ обзорѣніями и хрониками. У Чернышевскаго и Добролюбова нѣтъ этого «последняго слова» новой эстетики, но толчокъ данъ ими, и первый Чернышевскимъ.

Онъ воспользовался повѣстью Тургенева для убійственной характеристики «лучшихъ» русскихъ людей, написалъ сатиру на общество, создающее такую дрянъ, и заклеилъ позоромъ всѣхъ Ромео, впадающихъ въ конфузъ и трусость при каждомъ рѣшительномъ моментѣ жизни. Автора нисколько не интересуетъ любовный вопросъ, столь художественно разработанный въ повѣсти: «Богъ съ ними съ эротическими вопросами, не до нихъ читателю нашего времени, занятому вопросами объ административныхъ и судебныхъ улучшеніяхъ, о финансовыхъ преобразованіяхъ, объ освобожденіи крестьянъ».

И не герой собственно занимаетъ критика, а характеръ вообще русской интеллигенціи, и не поступокъ героя съ героиней, а неопытность и растерянность русскаго общества въ самыхъ насущныхъ жизненныхъ вопросахъ. Автора беспокоитъ мысль, какъ поступитъ оно въ только что наступившій великій историческій моментъ? Онъ жестоко боится за русскихъ лучшихъ людей, сдумаютъ ли они понять свое положеніе, свой домъ и воспользоваться обстоятельствами?

«Противъ желанія нашего, — пишетъ онъ, — ослабѣваетъ въ насъ съ каждымъ днемъ надежда на проницательность и энергію людей, которыхъ мы упрашиваемъ понять важность насгоящихъ обстоятельствъ и дѣйствовать сообразно здравому смыслу».

Онъ усиливается объяснить обществу смыслъ обстоятельствъ и преподать совѣты. Онъ обращается къ читателямъ искренне и открыто:

«Поймете ли вы требованіе времени, сдумаете ли воспользоваться тѣмъ положеніемъ, въ которое вы поставлены теперь, — вотъ въ чемъ теперь для васъ вопросъ о счастіи или несчастіи навѣки» <sup>239)</sup>.

Слышится глубокое безпокойство автора въ этихъ словахъ, и намъ понятно, что онъ станетъ дѣлать. «Пусть, по крайней мѣрѣ,

<sup>239)</sup> *Ib.*, 247, 250, 265—6.

не говорятъ они, что не слышали благоразумныхъ совѣтовъ, что не было объяснено ихъ положеніе!»—воскликаетъ онъ о своихъ читателяхъ, и, насколько хватитъ силъ и представится возможность, онъ не перестанетъ давать совѣты и представлять объясненія.

Въ этихъ задачахъ вся программа новой критики и ея перво-степенныхъ представителей. Со вступленіемъ Добролюбова въ *Современникъ*, журналъ сталъ настоящей общественно-просвѣтительной энциклопедіей своего времени, новымъ философскимъ словаремъ новыхъ энциклопедистовъ. И молодому сотруднику пути уже были проложены; литература въ его рукахъ обратится въ неисчерпаемый источникъ для совѣтовъ и объясненій, старому—останется продолжать свое любимое дѣло, выполнять свое истинное призваніе—учить публику необходимѣйшимъ наукамъ новаго вѣка—исторіи и политической-экономіи.

### XXXII.

Предъ нами второй учитель и вождь шестидесятниковъ, не менѣе вліятельный и любимый, чѣмъ его старшій современникъ,—и мы, всматриваясь въ лицо и вчитываясь въ произведенія юнаго героя,—также спрашиваемъ съ недоумѣніемъ: гдѣ же мальчишка? гдѣ баши-бузукъ и наѣздникъ? Мы не встрѣтили ничего подобнаго въ нравственномъ характерѣ и въ критическихъ статьяхъ Чернышевскаго,—напротивъ,—слышали отъ него даже умильные, до послѣдней степени миролюбивыя рѣчи. Здѣсь также мы тщетно стали бы искать малѣйшаго намека на ужасы, открытые гонителями нигилизма въ дѣятельности новыхъ людей.

Мы снова должны повторить: какъ легко было бы сладить съ этими страшными разрушителями, если бы подойти къ нимъ съ искреннимъ, доброжелательнымъ словомъ, внимательно вслушаться въ ихъ откровенную юношескую рѣчь, и признать за ними нравственное и литературное право—смытъ свое сужденіе имѣть! Можно быть увѣреннымъ,—русской публикѣ не пришлось бы присутствовать при одной изъ самыхъ жестокихъ литературныхъ междоусобицъ, какія только знаетъ вся новая европейская литература. Увѣренность тѣмъ болѣе основательная, что у «мальчишекъ» и величественныхъ старцевъ на первыхъ порахъ оказались, повидимому, однѣ и тѣже исходныя точки и ближайшіе идеалы.

*Русскій Вѣстникъ* усиленно писалъ на своемъ знамени тѣ

самыя слова, какія считались священными и въ лагерѣ молодежи: свобода печатнаго слова, развитіе общественной самодѣятельности, коренное преобразование старой Россіи. Конечно, — изъ однихъ и тѣхъ же положеній можно выводить весьма различные заключенія, — но отъ самихъ партій зависитъ сообщить этимъ заключеніямъ непримиримо-воинственный, нетерпимый смыслъ или попытаться найти почву для совмѣстной борьбы противъ общаго врага.

Мы видѣли, — *Русскій Вѣстникъ* съ самого начала даже не могъ представить, что рядомъ съ нимъ будутъ жить и дѣйствовать какіе то другіе люди, журнальные выскочки и санкюлоты. До разговоровъ ли съ подобными мизераблями! Они виноваты уже фактомъ своего независимаго существованія: долой ихъ, — все равно, о чемъ бы они тамъ ни толковали и какими бы добродѣтелями ни отличались.

И надъ молодежью засвисталъ бѣшеный бичъ, угрожая опозорить ее и смести съ лица земли... Это именно одинъ изъ рѣдкихъ историческихъ моментовъ, когда самому спокойному историку и на какомъ угодно промежуткѣ времени — должно чувствоваться величіе зла и преступленія. Историкъ не можетъ избѣжать этого чувства, изображая первые шаги молодого поколѣнія въ лицѣ Чернышевскаго и еще въ сильнѣйшей степени тоже самое чувство овладѣваетъ имъ, когда на сценѣ появляется гуманная и до трогательности сердечная личность Добролюбова.

Именно—гуманность—основа всей нравственной природы Добролюбова — человѣка и писателя. Онъ родился съ неутолимой жаждой близкаго, любящаго сердца, росъ, всецѣло поглощенный счастливымъ сознаніемъ видѣть такое сердце въ лицѣ матери учился и потомъ началъ писать съ единственной вдохновляющей мечтой—вызвать у людей побольше чувствъ любви, пріязни, терпимости, страдалъ и умеръ, угнетаемый ощущеніемъ одиночества и душевнаго сиротства. Это—личность по преимуществу лирическая и, если иногда подъ перомъ Добролюбова являлись слова, холодныя и укоризненно насмѣшливыя, — это былъ голосъ все той же оскорбленной любви, голосъ не злобы и ненависти, а разочарованія, горькой обиды на несбывшуюся надежду и разсѣянную мечту. И самому писателю въ эти минуты чувствовалось гораздо больѣе, чѣмъ жертвамъ его негодованія и смѣха. Это свойство личности Добролюбова—главная причина его прочной и глубокой популярности, необычайно любовнаго отношенія къ его имени современной и позднѣйшей молодежи.



Съ первой минуты сознанія и до самой смерти какой идеально-почтительный сынъ! И предметъ его особенно горячей любви—мать—вѣрное свидѣтельство нѣжной, и гуманной натуры,—и, что еще замѣчательнѣе—восторженно-религіозной. Сначала вѣра, навивая, по-дѣтски пугливая, преисполненная надеждами на чудеса, на высшее счастье за богобоязненность и—ужасомъ предъ равнодушіемъ и нечестіемъ. Съ годами эти идеи измѣняются, таинственныя чары исчезнуть,—но сущность вѣрующаго духа останется навсегда. Онъ только направитъ жаръ своего обожанія на другіе идеалы и поставитъ новыя цѣли своему нравственному подвижничеству. Не исчезнетъ и рыцарственная деликатность въ рѣшеніи грубыхъ задачъ жизни—тамъ, гдѣ придется оберечь безсильную и безправную жертву отъ семейнаго или общественнаго деспотизма. Мужество принциповъ и изящная тонкость впечатлѣній,—важнѣйшія силы Добролюбова, какъ писателя, благороднѣйшіе задатки его первой молодости. Они спасутъ его отъ какихъ угодно давленій среды и выведутъ на прямой независимый путь мысли и дѣла.

Въ дѣтствѣ онъ образецъ прилежанія и серьезности. Онъ краса и слава духовнаго училища и семинаріи. Но онъ совершенно чуждъ духу этихъ закоренѣлыхъ рассадниковъ схоластики и умственной косности. Онъ одинокъ среди товарищей и страшенъ учителямъ. Пока у него это чувство отчужденія не сложилось въ ясный разсудочный процессъ, пока это невольное отвращеніе благородной, свободной натуры ко всему мелкому и кромѣшному. Юноша не находитъ мѣста въ школѣ, потому что въ ней некого и нечего любить. Одинъ только учитель—Сладкопѣвцевъ умѣетъ захватить его душу, вызвать у него своего рода обожаніе, поэтическое увлеченіе,—и за то какой благодарный гимнъ любви! Иначе нельзя назвать слѣдующихъ заочныхъ изліяній ученика по адресу наставника:

«Что то особенное привлекало меня къ нему, возбуждало во мнѣ болѣе чѣмъ привязанность,—какое то слагоговѣніе къ нему... Ни однимъ словомъ, ни однимъ движеніемъ не рѣшился бы я оскорбить его, просьбу его я считалъ для себя закономъ. Вздумалъ бы онъ публично наказать меня, я послушался бы, перенесъ наказаніе, и мое расположеніе къ нему нисколько бы оттого не уменьшилось... Какъ собака я былъ привязанъ къ нему и для него я готовъ былъ сдѣлать все, не разсуждая о послѣдствіяхъ».

Это и ищется въ дневникѣ. Безъ самопризнаній и самоанализовъ вне мыслима такая «прекрасная душа». Если она переполнена такимъ стремительнымъ пристрастіемъ къ учителю-семинаристу,—въ какомъ ореолѣ должна являться предъ ней вышшая избранница, предназначенная судьбой—мать! На ней сосредоточены всѣ представленія о возможномъ на землѣ счастьѣ, ея образъ воплощаетъ все прекрасное, чѣмъ только обладаетъ нашъ міръ, все вдохновляющее, что способно двинуть человѣка на подвигъ, на страданія. Она царитъ надъ каждымъ мгновеніемъ въ жизни своего сына. Она представляется ему, какъ непогрѣшимая цѣлительница его достоинствъ, какъ достойнѣйшая участница его успѣховъ. Это не любовь сына къ матери, это романтическое сродство душъ, изъ области вдохновенныхъ мечтаній перешедшее въ самую подлинную и жизненную дѣйствительность.

И Добролюбовъ въ своемъ нравственномъ мірѣ воспроизводитъ цѣлую психологію рыцарскаго служенія идеалу. Онъ по природѣ лишень расплывчатой, легко возбуждаемой чувствительности. То, что именуется увлеченіемъ и что въ романахъ и поэмахъ производитъ такое красивое, чарующее впечатлѣніе, совершенно не мирится съ его строгой и сильной личностью. У него вопросы сердца стоятъ рядомъ съ глубочайшими задачами человѣческаго существованія и входятъ въ религію долга и личнаго достоинства... Онъ долженъ любить съ одинаковой силой—чувствомъ и мыслью,—тогда только онъ успокоится на своемъ счастьи. И вотъ, мать является первой героиней этого до фанатизма прямолинейнаго *однолюба*.

Послѣ ея смерти онъ чувствуетъ жгучее, нестерпимо-мучительное одиночество. Здѣсь ничего нѣтъ общаго съ идеальной поэтической тоской, приносящей чувствительнымъ сердцамъ несравненно больше утѣшенія, чѣмъ горечи и боли. Это—рѣзкій, знобящій холодъ, оставляющій въ памяти человѣка неизгладимые слѣды на многіе годы, часто на всю жизнь. Послушайте, какъ этотъ удивительный сынъ оплакиваетъ смерть матери и кстати раскрываетъ вообще свою душу. Можно подуматъ,—мы читаемъ отрывокъ изъ художественно обработаннаго романа съ самыми граматическими приключеніями и съ героями самой сложной, изысканной психологіи.

Добролюбову, какъ всѣмъ людямъ его природы, приходится выслушивать укоризны въ эгоизмъ, холодности, даже безчувственности. Онъ слышитъ эти навѣты скорѣ послѣ смерти матери и

отвѣчаетъ на нихъ со всею страстью истиннаго оскорбленнаго чувства. Онъ согласенъ, что есть чрезвычайно счастливые характеры: они горятъ любовью ко всему человѣчеству, у нихъ всегда имѣется въ запасѣ неограниченное множество предметовъ для чувствительныхъ волненій. Потеря одного не поражаетъ ихъ непоправимымъ ударомъ. Совершенно другая судьба человѣка, не способнаго расточать своихъ чувствъ зря, всякому встрѣчному. Они отдають свое сердце непремѣнно одному существу и тогда, говоритъ будущій критикъ, «въ этомъ существѣ заключается для нихъ весь міръ, и съ потерей его міръ дѣлается для нихъ пустымъ, мрачнымъ и постылымъ, потому что не остается ничего, чѣмъ бы могли они замѣнить любимый предметъ, на что могли бы обратить любовь свою. Изъ такихъ людей и я. Былъ у меня одинъ предметъ, къ которому я не былъ холоденъ, который любилъ со всею пылкостью и горячностью молодого сердца, въ которомъ сосредоточилъ я всю любовь, которая была только въ моей душѣ,—этотъ предметъ была мать моя. Поймешь ли ты теперь, какъ много, необъятно много потерять я въ ней?..»

И онъ проситъ своего родственника вѣрить искренности его изліяній. Ему теперь, одинокому и обездоленному, легче послѣ признаній, и когда онъ заканчиваетъ письмо стихами изъ Лермонтовскаго *Демона*, читателю не можетъ и на мысль придти наглѣйшее подозрѣніе въ изысканіи краснорѣчія, въ ловкомъ подборѣ цитатъ <sup>240)</sup>.

Но жизнь идетъ. Молодость неизмѣнна въ своихъ запросахъ. Одиночество—для нея недугъ, вѣчто неестественное, ни сердцемъ, ни разумомъ не допустимое. И чѣмъ шире развертывается жизненная дорога, чѣмъ больше надеждъ подсказываютъ молодыя силы, тѣмъ холоднѣе и тягостнѣе окружающій чуждый міръ.

Добролюбовъ становится писателемъ. Его талантъ настолько ярокъ и богатъ, что у свѣдущихъ людей не является ни малѣйшаго сомнѣнія въ блестящемъ будущемъ. Редакторъ главнѣйшаго журнала—Некрасовъ—говоритъ ему послѣ первыхъ же статей: пишите сколько хотите и чѣмъ больше, тѣмъ лучше. Вліятельнѣйшій современный публицистъ, непогрѣшимый вдохновитель

<sup>240)</sup> Письмо къ двоюродному брату, Мих. Иван. Благообразову, 15 апр. 1854 года. *Матеріалы для біографіи Добролюбова*. М. 1890. I, 119 etc. О религіозности Д.—ва, письма къ отцу и матери, стр. 49, 50, 85, 102; письмо къ отцу, стр. 107,—въ мартѣ 1854 года; письмо къ теткѣ, 25 марта 1856 г., послѣднее, гдѣ обнаруживается религіозное чувство въ вопросѣ о говѣніи.

молодежи становится его ближайшимъ другомъ. Чернышевскій по цѣлымъ часамъ ведетъ задушевные бесѣды съ юношей, только что покинувшимъ скамью педагогическаго института. И эти бесѣды, очевидно, до такой степени увлекательны, личность учителя такъ могущественно дѣйствуетъ на трепетно-отзывчивый умъ двадцатилѣтняго собесѣдника, что между ними быстро устанавливается тѣснѣйшая нравственная связь. Старшій становится авторитетомъ для младшаго, внушительнымъ не только по уму, учености и талантамъ, сколько по взаимному духовному родству. Оба они одного поколѣнія и одного типа въ этомъ поколѣніи.

Чернышевскій также вступилъ въ жизнь добросовѣстѣйшимъ обожателемъ книжной учености, «красной дѣвушкой» среди товарищей и маменькинымъ сыночкомъ среди семьи. Жизнь быстро оказала должное вліяніе на прирожденный независимый умъ и постепенно освободила юношу отъ всевозможной практической и идейной плѣсени. Розовый, застѣнчивый семинаристъ путемъ самостоятельной внутренней работы выросъ въ мужественнаго публициста съ оригинальной и яркой фizioноміей. То же самое должно произойти и съ Добролюбовымъ.

Онъ жалуется, что не можетъ различать времени въ бесѣдахъ съ Чернышевскимъ. Они заговариваются до упоенія, перебираютъ литературу и философію, и съ Добролюбова день за днемъ спадаютъ первобытныя наслоенія домашней и семинарской идилліи. И сами обстоятельства являются на помощь прозрѣнію и просвѣщенію. Одинъ ударъ слѣдуетъ за другимъ. Не успѣла скончаться мать, умираетъ отецъ и многочисленной семьѣ грозитъ чуть не голодная смерть. Ея единственный кормилецъ—студентъ педагогическаго института, еще самъ нуждающійся въ помощи. Трудно было при такихъ обстоятельствахъ утѣшаться чудесами. По недавнему еще убѣжденію Добролюбова, сверхестественная сила спасла его—на репетиціи по русской исторіи и онъ, въ искреннемъ умиленіи сердца, могъ сообщить родителямъ о чудныхъ видѣніяхъ, —теперь приходится обращаться къ другимъ способамъ объяснять дѣйствительность и, главное, бороться съ ней. Переворотъ совершается въ сравнительно короткое время: слишкомъ ужъ краснорѣчивы уроки практики и убѣдительны рѣчи авторитета. Уже въ августѣ 1856 года, ровно два года спустя послѣ смерти отца Добролюбовъ пишетъ о своихъ юношескихъ вѣрованіяхъ и иллюзіяхъ, какъ о невозвратномъ прошломъ. Личный опытъ совершенно разочаровалъ его въ сладкоглаголивыхъ по-

ученіяхъ наставниковъ дѣтства. Теперь онъ знаетъ, что такое дѣйствительность и настоящая дѣятельная правда жизни. Онъ покончилъ съ мечтами,—предъ нимъ трудный, но зато какой увлекательный путь сознательной борьбы за разумно сознанныя истины!

И Добролюбовъ вступаетъ на этотъ путь, сначала робко, осторожно, потомъ все смѣлѣй, сообразно съ тѣмъ, какъ крѣпнеть мысль и выясняются цѣли. Онъ занимаетъ мѣсто перваго критика. Его статьи—одно изъ блестящихъ украшеній журнала и одна изъ причинъ его исключительной распространенности. Редакторъ умѣетъ оцѣнить заслуги молодого сотрудника и дѣлаетъ его вторымъ редакторомъ. Въ двадцать два года—это завидная карьера, особенно въ эпоху всеобщаго подъема общественной мысли. Стоять на первомъ планѣ въ *Современникѣ*, заранѣе быть увѣреннымъ, что каждая напечатанная строчка найдетъ живѣйшій отголосокъ среди просвѣщеннѣйшей и честнѣйшей публики, это можно признать высшимъ счастьемъ молодости, идеальнымъ удовлетвореніемъ писателя.

И оно упрочилось бы, это счастье, если бы нашъ критикъ, помимо таланта, не былъ еще надѣленъ беспокойнымъ, мучительно-любящимъ сердцемъ. Борьба, успѣхъ—двѣ побудительнѣйшихъ причины видѣть подлѣ себя особенно близкаго человѣка, способнаго оцѣнить усилія и искусство въ борьбѣ и раздѣлить радость побѣды. Правда, учитель съ безконечной любовью слѣдитъ за развитіемъ своего друга, возлагаетъ на него самыя смѣлыя надежды, готовъ именовать его гениемъ, бережно лелѣять каждую его мысль. Но онъ только другъ и учитель! Въ двадцать два года это слишкомъ отвлеченное благо и невыносимо спокойныя чувства. Только она можетъ цѣликомъ заполнить сердце, утѣшить гнетущую истому молодости и общимъ идеальнымъ стремленіямъ сообщить силу и глубину личнаго всепоглощающаго счастья.

И Добролюбовъ, вѣчно вооруженный воинъ на поприщѣ идей, ведетъ такую же неустанную и еще болѣе тяжелую борьбу съ самимъ собой. И здѣсь онъ безпрестанно остается побѣжденнымъ, ядовитое чувство горечи и безсилія ежеминутно готово сковать юношескій полетъ его мысли и заставить опустить руки подъ напывомъ жгучей тоски, почти отчаянія.

## XXXIII.

Какая въ самомъ дѣлѣ странная игра судьбы! Въ годы, когда еще впору учиться, проходить разныя школьныя мытарства, челоѣку выпадаетъ слава, настоящая, разумная слава,—не фейерверкъ случайной мимолетной популярности, а то рѣдкое почетное имя, какое въ неприкосновенной свѣжести и чистотѣ переходитъ въ отдаленное потомство. Умъ, талантъ и сердце, готовое сто-рицей отплатить за малѣйшее доброе чувство, чего еще требуется для любви самой взыскательной, идеально-чистой женщины? Поста-вить вопросъ отвлеченно, значить предрѣшить его. Совершенно другой отвѣтъ дала дѣйствительность. И это непримиримое проти-ворѣчїе логики и фактовъ до такой степени обычно, часто именно въ жизни русскихъ талантливыхъ людей, что, повидимому, логи-ческую бессмыслицу слѣдуетъ считать закономъ природы.

Въ самой разгарѣ литературныхъ успѣховъ Добролюбовъ изла-гаетъ слѣдующую исповѣдь одному изъ своихъ товарищей:

«Если бы у меня была женщина, съ которой я могъ бы дѣ-лить свои чувства и мысли до такой степени, чтобы она читала даже вмѣстѣ со мною мои (или, положимъ, все равно, твои) произ-веденія, я былъ бы счастливъ и ничего не хотѣлъ бы болѣе. Лю-бовь къ такой женщинѣ и ея сочувствіе—вотъ мое единственное желаніе теперь. Въ немъ сосредоточиваются всѣ мои внутреннія силы, вся жизнь моя, и сознаніе полной бесплодности и вѣчной неосуществимости этого желанья гнететъ, мучитъ меня, на пол-няетъ тоской, злостью, завистью, всѣмъ, что есть безобразнаго и тягостнаго въ человѣческой натурѣ» <sup>241)</sup>:

Онъ неистощимъ на эту тему. Разъ заговѣривъ о любви, онъ съ трудомъ прерываетъ рѣчь: до такой степени вопросъ захва-тываетъ все его нравственное существо. Мечта о женской ласкѣ преслѣдуетъ его неотступно, вмѣшиваясь въ его работу и пре-вращаетъ ее въ тяжелое бремя, въ отвратительное рабство. Добро-любовъ въ минуты безнадежной, одинокой тоски готовъ видѣть своего рода промыселъ въ своей литературной дѣятельности, тор-говлю «святынями души своей». Правда, это мимолетные припадки, но они свидѣтельствуютъ, въ какой тяготѣ и мракѣ жилъ чело-вѣкъ лучшіе годы молодости. Онъ задумываетъ куда-нибудь увести

<sup>241)</sup> *Иб.*, стр. 492.

свою грусть, напимѣрь, въ Италію: можетъ быть чудная страна заставитъ его забыть свое безграничное одиночество...

Вамъ удивительно читать всѣ эти жалобы. Неужели блестящій писатель въ ореолѣ славы и съ безграничными надеждами на будущіе успѣхи, не могъ вызвать интереса ни у одной жѣнщины? Или онъ самъ, можетъ быть, предпочиталъ только мечтать и изнывать, и не рѣшался взять приступомъ свое счастье?

Совершенно напротивъ! Неуклюжій семинаристъ и труженикъ всѣми силами старается превратиться въ свѣтскаго, интереснаго кавалера. Онъ одѣвается у лучшаго портного, посѣщаетъ общество, непрочь блеснуть остроуміемъ предъ красивыми дѣвицами, готовъ даже пуститься въ хитрую и тягучую интригу. Вообще, въ немъ нѣтъ ни капли педантства, цеховой литературной тяжеловѣсности, недоступнаго глубокомыслія и отталкивающаго доктринерства. Онъ въ высшей степени легко поддается впечатлѣніямъ, разъ онъ видитъ дѣйствительно нѣчто изящное и прекрасное. Недаромъ онъ отлично владѣетъ стихомъ: въ его груди бьетъ живая струя лиризма и онъ способенъ написать цѣлую поэму по поводу встрѣчи съ очаровательной незнакомкой.

И онъ дѣйствительно пишетъ такую поэму. Она явилась предъ нимъ, чарующая оригинальной красотой: черные глаза, свѣтлые волосы, правильныя изящныя черты лица, и сколько ума и, жизни въ этомъ лицѣ! Одни глаза, кажется, преисполнены ласки, теплоты и свѣта. Нашъ герой замираетъ въ восхищенномъ созерпаніи. Онъ счелъ бы себя счастливымъ, если бы одинъ взглядъ этихъ глазъ упалъ на него. Но она занята танцами: отчего онъ не умѣетъ танцевать! Проклятое семинарское воспитаніе! И знаменитый критикъ въ углу залы терзается завистью къ ловкимъ танцорамъ: они такъ близки къ его божеству!

Но судьбѣ угодно потѣшить несчастнаго. Случайно, здѣсь же на балу, онъ знакомится съ отцомъ красавицы, попадаетъ въ домъ, и немедленно убѣждается, какую жестокую шутку сыграла надъ нимъ судьба! Она, невѣста другого, и кого же? Такого же рѣдкаго экземпляра человѣческой породы, какъ она сама, одареннаго рѣдкимъ умомъ, наружностью и талантами?

Нисколько. Избранникъ—обыкновеннѣйшій изъ смертныхъ, «плюгавенькій офицерикъ», но красавица ухитрилась, повидимому, открыть въ немъ не меньше достоинствъ, чѣмъ, напимѣрь, Офелія приписываетъ датскому принцу: «дивный духъ», «воителя отвагу, умъ мудреца»... Она читаетъ всѣ эти доблести на самомъ зауряд-

номъ лицѣ своего возлюбленнаго, и нашъ бѣдный герой, увѣнчанный, кажется, всѣми феями, присутствуетъ при этомъ неизглаголанномъ ослѣпленіи. Что остается ему? Воскликнуть—«эхъ-ма!» и отступить предъ чужимъ счастьемъ <sup>242)</sup>).

И подобная исторія—удѣлъ Добролюбова. Бываетъ даже хуже. На него будто обращать вниманіе, начнутъ говорить нѣжныя рѣчи и писать интересныя записки. Сердце у него таетъ, вотъ, вотъ откроется небо и завѣтная греза станетъ дѣйствительностью! Увы! Она призрачнѣе, чѣмъ когда-либо. Надъ нимъ просто потѣшались, шутили. Правда, къ нему расположены, но только какъ къ хорошему человѣку. Ему даже готовы повѣрять тайны сердца, по очень простой причинѣ: развѣ онъ мужчина! Было бы странно стѣсняться съ нимъ, и еще страннѣе, увлекаться и любить.

Опять, какая мораль исторіи? Безцѣльно доискиваться, развѣ спросить только у себя: «Я не знаю, отчего же я не мужчина? И что же я такое, послѣ этого? Неужели баба?» <sup>243)</sup>.

Дѣйствительно, задача. Плюгавенькій офицерикъ—герой, а онъ, вовсе не обиженный природой даже вѣжностью, пребываетъ на положеніи сандрильоны и на оскорбительнѣйшей роли повѣреннаго женскихъ тайнъ. У него даже нѣтъ утѣшеній некрасовскаго героя; онъ отнюдь не застѣнчивъ и не лишенъ находчивости и блеска въ какомъ угодно разговорѣ, онъ—авторъ остроумнѣйшихъ эпиграмъ *Свистка!*

Добролюбовъ могъ бы, пожалуй, развлечься *историческими* разсужденіями на тему своихъ неудачъ. Ему легко припомнися бы цѣлый рядъ такихъ же жертвъ женскаго равнодушія и пренебреженія,—и стать въ ряду этихъ жертвъ ему отнюдь не показалось бы унижительнымъ.

Онъ задался цѣлью отыскать гормоначеское счастье ума и сердца, женщину-товарища и спутницу.—кто же нашелъ ее? Его великій предшественникъ мечталъ о томъ же въ теченіе всей молодости и до конца дней горько и подчасъ гнѣвно сѣтовалъ на неосуществимость мечты. У Бѣлинскаго имѣлась семья, но не было родной души въ этой семьѣ. А ужъ онъ ли не писалъ горячихъ, неотразимо-захватывающихъ статей, ужъ ему ли, кажется, было не волновать женскихъ сердецъ. И въ награду мѣщанская любовь и, если угодно, мѣщанское счастье.

<sup>242)</sup> *Иб.*, 548 etc.

<sup>243)</sup> *Иб.*, 501, 512.



Но, положимъ, онъ писалъ статьи, предметъ все-таки не столь доступный. Возьмемъ поэта, о которомъ другой поэтъ сказалъ, будто навстрѣчу ему неслись въ головокружительномъ восторгѣ шестнадцатилѣтнія дѣвушки. Такъ, вѣроятно, и было: нельзя же равнодушно пропустить исторію Татьяны и множество другихъ вещей первостепенной поэтической прелести. И все-таки головокруженья шестнадцатилѣтнихъ читательницъ не помѣшали поэту пережить жесточайшую драму на почвѣ женскаго легкомыслія и равнодушія и заплатить своей кровью за свое «счастье».

И замѣчательно, именно самые рыцарственные защитники женщины и восторженные почитатели вѣчно-женственнаго не находятъ созвучнаго отвѣта на свое подвижничество и свой культъ. Онѣгины могли терять счетъ своимъ жертвамъ и не знать куда дѣваться отъ посланій Татьянъ, а Пушкины въ это время являлись притчей во языцѣхъ и вызывали негодованіе въ качествѣ «уродовъ» и «ревнавцевъ». И непростительный грѣхъ совершилъ Достоевскій предъ исторіей и правдой, когда пропѣлъ гимнъ русской женщинѣ и ея идеалу Татьянѣ и забылъ прибавить великое *но*: за этимъ *но* пришлось бы написать самыя свѣтлыя имена русской литературы и мысли отъ Пушкина до Тургенева. И имя Добролюбова заняло бы въ списокъ одно изъ самыхъ скорбныхъ мѣстъ.

Вся жизнь его распадается на двѣ параллельныя полосы. Въ журналъ онъ неутомимый воинъ за общее благо, за идеалы гуманности, свободы, женской равноправности; дома, въ письмахъ онъ изнываетъ въ непрерывной агоніи: это сплошной стонъ, грозящій перейти въ рыданія. И онъ бѣжитъ изъ дома въ журналъ, набрасывается на работу, какъ на единственное прибежище въ нестерпимой душевной боли.

«Хочу все», пишетъ онъ, «искушать умъ наукою бесплодной», и даже отчасти успѣваю надуть самого себя, задавая себѣ усиленную работу. Но иногда бываетъ необходимость выйти изъ дома, повидаться съ кѣмъ-нибудь по дѣламъ, и тутъ обыкновенно разстраиваться на цѣлый день. Несмотря на мерзѣйшую погоду, все мнѣ представляется на свѣтѣ такимъ веселымъ и довольнымъ, только я совершенно одинъ, не доволенъ ничѣмъ и никому не могу сказать душевнаго слова» <sup>244</sup>).

И такъ до самой смерти. За нѣсколько мѣсяцевъ до кончины

<sup>244</sup>) Тб. 533.

Добролюбовъ снова возвращается къ грызущему его вопросу. Будто въ предчувствіи близкаго конца его рѣчь становится еще грустнѣе, звучитъ совершенно безнадежно и ни одинъ поэтъ не могъ бы написать болѣе трогательной и прочувствованной элегіи, чѣмъ невольная, годами накупѣвшая жалоба Добролюбова сестрѣ. И эта жалоба писалась въ расцвѣтѣ итальянской весны, подъ небомъ Неаполя, изъ поэтическаго края, гдѣ писатель искалъ душевнаго мира и гдѣ, по обыкновенію, на нѣсколько лишь мгновеній судьба было посулила ему счастье.

Онъ сравниваетъ жизнь замужней сестры съ своей жизнью и читаетъ отходную своимъ мечтамъ и надеждамъ:

«А вотъ я, напримѣръ, шатаюсь себѣ по бѣлому свѣту одинъ одиноконекъ; всѣмъ я чужой, никто меня не знаетъ и не любитъ. Если бы я заговорилъ о своихъ родителяхъ, о своемъ дѣтствѣ, о своей матери, никто бы меня не понялъ, никто не откликнулся бы сердцемъ на мои слова. И принужденъ я жить день за день, молчать, заглушать свои чувства, и только въ работѣ я и нахожу успокоеніе. Говоря по правдѣ, со времени маменькиной смерти до сихъ поръ я и не видывалъ радостныхъ дней. Но роптать и жаловаться къ чему послужить? И я покорился своей участи» <sup>245</sup>).

Подобная покорность не проходитъ безслѣдно. Склониться сильному человѣку предъ судьбой значитъ накопить въ своемъ умѣ и сердцѣ неисчерпаемый запасъ горькихъ мыслей и болѣзненныхъ ощущеній. Ядъ пессимизма неизбѣжно отравляетъ самую могучую и свѣтлую энергію. Погромъ въ стремленіяхъ къ личному счастью налагаетъ рѣзкую и тяжелую печать на все міросозерцаніе человѣка, и Добролюбовъ безпрестанно впадаетъ въ мрачное раздумье уже не только о своей участи, а вообще о своемъ поколѣніи, о своемъ времени.

Кажется невѣроятнымъ, какъ въ самомъ началѣ шестидесятыхъ годовъ можно было терять вѣру въ одно изъ энергичнѣйшихъ молодыхъ поколѣній Россіи. Самъ Добролюбовъ, умѣвшій работой заглушать личное горе, повидимому достаточное свидѣтельство противъ всякаго пессимизма. На самомъ дѣлѣ именно онъ говоритъ въ тонѣ современника какого-то нравственнаго и общественнаго упадка. И мы знаемъ источникъ тона. Двадцатидвухлѣтній юноша обладалъ бы сверхъестественнымъ стоицизмомъ, еслибы ни на одну минуту не допустилъ личнымъ настроеніямъ

<sup>245</sup>) Письмо отъ 16 мая 1861 года. *Гл.*, стр. 619.

ворваться въ свои идеи. И Добролюбовъ подчасъ будто ищетъ случая высказать слово отрицанія и сомнѣнія, устроить душѣ холодной воды для какого-либо опрометчиваго энтузіаста. Ему видимо доставляетъ особаго рода горькое наслажденіе заявить протестъ противъ слишкомъ самоувѣренныхъ полетовъ идеалистическаго воображенія. На дѣѣ его души таится глубокій осадокъ скептицизма и ироніи. Онъ на собственномъ опытѣ научился цѣнить по достоинству разныя красивыя мечты и выпренности представленія о мірѣ и людяхъ.

Отсюда его безпощадные окрики на публицистовъ, преувеличивающихъ практическое значеніе литературы, на идеалистовъ, восторженно вѣрующихъ въ силу человѣческой личности, отсюда, наконецъ, склонность критика быстро разочаровываться и говорить жалкія слова по первымъ впечатлѣніямъ.

Уже въ 1858 году Добролюбовъ готовъ отчаяться въ современномъ поколѣніи, обозвать его и себя вмѣстѣ съ нимъ вялымъ, дряблымъ, ничтожнымъ, надѣлять тѣми же качествами и «предшественниковъ». Это удивительнѣе всего. Въ туманѣ мрачныхъ думъ Добролюбовъ усмотрѣлъ предшественниковъ своего поколѣнія среди самого несоотвѣстнаго общества, среди людей, увѣчивавшихъ свой разладъ съ обществомъ пьянствомъ, путешествіемъ на Кавказъ и въ Сибирь, вступленіемъ даже въ іезуитскій орденъ. Русской исторіи неизвѣстны образчики подобнаго *общественнаго* герояма, за исключеніемъ нѣкоторыхъ невольныхъ обывателей Кавказа и Сибири. Еще менѣе извѣстны исторіи нравственное разслабленіе, отвращеніе отъ борьбы, страсть къ комфорту, если не матеріальному, то умственному и сердечному, — всѣ эти, по мнѣнію Добролюбова, основныя черты его поколѣнія. Оно дало только совершенно безполезныхъ коптителей неба, негодныхъ ни на какую твердую и честную дѣятельность <sup>246</sup>)...

Эти изреченія стѣбать запальчивыхъ монологовъ мольеровскаго мизантропа противъ плохихъ стихотворцевъ, достойныхъ будто бы за свою чепуху висѣлицы. И нѣтъ сомнѣнія, русскій шестидесятичѣмъ испытывалъ въ минуты своего общественнаго пессимизма чувства, весьма родственныя обидѣ и гнѣву измученнаго рыцаря Селиманы. Не было, конечно, недостатка и въ общихъ источникахъ для грустныхъ настроеній, но именно обиліе этихъ источниковъ рядомъ съ несомнѣнно энергической дѣятельностью людей

<sup>246</sup>) *Тѣ.*, 463.

добролюбовскаго поколѣнія доказываютъ всю неосновательность краснорѣчивыхъ декламаций на счетъ нравственнаго разслабленія и тунеяднаго копительства. Добролюбовъ, противъ своего ожиданія, изобразилъ не себя и не своихъ сверстниковъ, а людей дѣйствительно отжившаго прошлаго, являющихся привидѣнiями среди обновлявшейся Россiи.

Но у Добролюбова пессимизмъ былъ такъ же искрененъ, какъ реальна дѣйствительность, огравившая его молодость. Немного людей и еще меньше писателей способно такъ самоотверженно анализировать свою личность, талантъ, значенiе своей дѣятельности. Кажется злѣйшiй врагъ не могъ бы напести столько ужасовъ на особу нашего критика, сколько открылъ онъ самъ. Это — настоящий смертный приговоръ! И нѣтъ у него нравственныхъ силъ, и лишентъ онъ серьезныхъ знанiй, и не получилъ онъ никакого воспитанiя... Катковъ пришелъ бы въ неописанный восторгъ, если бы могъ перепечатать эту исповѣдь въ своихъ изданiяхъ. Особенно ярко онъ подчеркнул бы унижительный отзывъ Добролюбова о своей литературной работѣ. «Я вижу самъ, — признается Добролюбовъ», — что все, что пишу слабо, плохо, старо, бесполезно, что тутъ виденъ только бесплодный умъ, безъ знанiй, безъ данныхъ, безъ опредѣленныхъ практическихъ взглядовъ. Поэтому я и не дорожу своими трудами, не подписываюсь, и очень радъ, что ихъ никто не читаетъ»... <sup>247)</sup>.

Подъ этими трудами дѣйствительно стоитъ или — *богъ*, или совсѣмъ нѣтъ никакой подписи. Также и Бѣлинскiй почти никогда не подписывалъ своихъ статей, не злоупотреблялъ своей подписью и Чернышевскiй: эти инкогнито не помѣшали именамъ критиковъ стяжать громкую всероссiйскую извѣстность. Скромность и покаянныя рѣчи Добролюбова свидѣлствуютъ, до какого предѣла была развита у него совѣсть, требовательность къ самому себѣ и съ какимъ мужествомъ онъ умѣлъ смотрѣть въ глаза своимъ недостаткамъ, часто даже мнимымъ. Вѣрнѣйшiй признакъ именно великой нравственной силы!

Въ сѣтованiяхъ Добролюбова на свои ученическiе годы много правды. Онъ дѣйствительно убилъ бездну труда и времени на негодное чтенiе, до двадцати лѣтъ могъ читать только на русскомъ языкѣ книги и притомъ далеко не самыя поучительныя. Съ такимъ личнымъ образовательнымъ богатствомъ онъ долженъ выступить въ

<sup>247)</sup> *Тб.*, 434 etc.

качествъ учителя и руководителя публики! Какимъ же запасомъ воли надлежало обладать, какія дарованія необходимо было обнаружить, чтобы съ честью выполнить столь, повидимому, неожиданное и отвѣтственное назначеніе!

Соедините всѣ эти факты вмѣстѣ, представьте себѣ юношу, успѣвшаго къ двадцати пяти годамъ закончить свое земное поприще, пережить за этотъ срокъ неизгнѣимую драму неудовлетвореннаго сердца, ненасытную жажду рыцарски-честной, горячей мысли, и ежеминутно томиться между сомнѣніями въ своемъ нравственномъ правѣ на выполняемое дѣло и вѣрой въ его неотразимый успѣхъ... Вдумайтесь въ эту психологію, независимо отъ какихъ бы-то ни было направленій и партій и сопоставьте этого «мальчишку» и «невѣжду» съ его врагами-олимпійцами и мудрецами,—простѣйшее чувство справедливости и прирожденное человѣческое достоинство подскажетъ вамъ окончательный приговоръ и вы безъ всякихъ преднамѣренныхъ толкованій придете къ рѣшительному заключенію: пусть подобные мальчишки и невѣжды ошибаются, пусть обнаруживаютъ недостатокъ учености и отсутствіе солидности во взглядахъ, самыя ихъ ошибки—подлинная жизнь человѣческой души, въ то время, какъ даже великая мудрость олимпійцевъ только *внѣшняя* политика. И вы, не соглашаясь со многими идеями и увлеченіями людей добролюбовскаго типа, должны будете сознаться: въ дѣлѣ, какое они защищаютъ, непременно есть что-то благородное и честное. Именно *тиранія* защитниковъ—твердая порука въ идеальномъ характерѣ самой защиты. И въ этомъ заключается разгадка страннаго явленія: нѣкоторыя имѣла долго остаются знаменами даже послѣ того, какъ позднѣйшія поколѣнія уже переросли ихъ идеалы и разоблачили всѣ ихъ заблужденія и недоразумѣнія. Идеальныя стремленія члвняются по эпохамъ и историческимъ обстоятельствамъ, но идеальныя личности безсмертны, въ своемъ величій и чистотѣ неуязвимы ни для какой давности, ни для какого прогресса.

#### XXXIV.

Дѣятельность Добролюбова продолжалась около четырехъ лѣтъ. Въ ней нѣтъ ни періодовъ, ни замѣтныхъ переходовъ, ни яркихъ преобразованій. Предъ нами всѣ статьи критика будто одинъ непрерывный монологъ, весьма обширный, но въ основныхъ руководящихъ идеяхъ удивительно выдержанный. Судьба позволила

критику произнести только одну рѣчь, на сколько могло хватить у него одного порыва, одного глубокаго подъема груди, и пресѣкла жизнь раньше, чѣмъ онъ успѣлъ перевести духъ. Этой стремительностью и скоротечностью работы объясняется отчасти исключительная *слюченность* и *цѣльность* идей Добролюбова: ея нѣтъ ни у одного русскаго критика подобнаго дарованія. Но, несомнѣнно, имѣла здѣсь значеніе и ранняя зрѣлость мысли, поразительная способность человека въ двадцать лѣтъ точно и увѣренно опредѣлить свое міросозерцаніе и неуклонно развивать его въ строгой логической послѣдовательности.

Признавая этотъ фактъ, мы не должны, однако, преувеличивать творческихъ силъ Добролюбова въ области идей. Мы не должны забывать, что въ его распоряженіи находился матеріалъ высшаго качества для сооруженія собственнаго принципиальнаго зданія. Сочиненія Бѣлинскаго представляли цѣлую энциклопедію критики и публицистики и достаточно было разобраться въ этомъ наслѣдствѣ, чтобы упрочить за собой вліятельное положеніе въ современной литературѣ. Имѣть подобныхъ предшественниковъ, съ одной стороны, очень полезно, но съ другой—въ высшей степени отвѣтственно. Чернышевскій и Добролюбовъ могли бы и собственными силами подняться на высоту такъ называемой реальной критики и гражданской мысли: прогрессъ въ этомъ смыслѣ, несомнѣнно, составлялъ ихъ нравственную природу. Но разъ существовалъ Бѣлинскій, имъ оставалось только воспринять *чужія* мысли и постигнуть путь ихъ органическаго, естественнаго развитія.

У Добролюбова эта невольная зависимость отъ предшествоващаго еще настойчивѣе и шире, чѣмъ у Чернышевскаго. Рядомъ съ Бѣлинскимъ его учителемъ явился тотъ же Чернышевскій—учителемъ, лично глубоко любимымъ, слѣдовательно, неограниченно авторитетнымъ и незамѣтно, *симпатически-властнымъ*. Въ результатѣ, міросозерцаніе Добролюбова неминуемо должно полностью отразить общіе идеалы и частныя увлеченія его предшественниковъ, и главная историческая заслуга молодого критика сведется не къ оригинальнымъ открытіямъ въ области уже раньше всесторонне разработанной, а къ достойному, вдумчивому продолженію чужого дѣла. Мы опять, слѣдовательно, приходимъ къ прежнему выводу: нравственная личность Добролюбова—его высшее право на нашу признательность. Она воскресила и мужественно повела впередъ забытыя и замершія стремленія великаго гражданина

до-реформенной Россіи, она явилась той благородной и отзывчивой почвой, гдѣ долго безпріютныя сѣмена идеализма сороковых годовъ нашили, наконецъ, пріютъ и вновь зазеленѣли и зацвѣли.

Да, мы все время въ знакомой, уже изученной нами обстановкѣ. Мы успѣли пройти это зданіе по всѣмъ направленіямъ, правда, всѣхъ подробностей мы, повидимому, не отмѣтили, тщательно не разглядѣли, но мы отлично помнимъ общій планъ, главнѣйшіе орнаменты, и указанія новаго проводника не противорѣчатъ нашимъ представленіямъ. Напротивъ. Мы слушаемъ его съ особеннымъ удовольствіемъ именно потому, что онъ съ рѣдкой ясностью и логичностью умѣетъ вновь развить и доказать дорогіе для насъ принципы.

Во главѣ стоитъ плодотворѣйшая могущественная идея всякаго прогрессивнаго движенія въ наукѣ и въ общественной мысли — *понятіе факта*. Мы знаемъ, какъ настаивалъ на немъ Чернышевскій, — Добролюбовъ положить это понятіе въ основу всѣхъ своихъ литературныхъ и политическихъ разсужденій и воздвигнуть стройную систему эстетики и общественнаго идеализма.

*Фактъ*, это значить добросовѣстно и безкорыстно раскрытая дѣйствительность, отсутствіе фантастическихъ мечтательныхъ украшеній жизненной правды, вражда къ беспочвенной риторикѣ, праздному фразерству, чисто-религіозный культъ *дѣла*, положительныхъ настоятельно-потребныхъ задачъ личности и общества. *Фактъ* въ наукѣ — значить опытное изслѣдованіе и выводы, совершенно свободные отъ предвзятыхъ теорій и метафизическихъ внушеній, *фактъ* въ общественной дѣятельности — честное прямое отношеніе къ современности, умѣнье соразмѣрять силы личности съ нуждами общаго блага, работать на данной почвѣ, при данныхъ обстоятельствахъ, не улетать въ надзвѣздныя сферы и не тѣшиться себя мнимо идеальными призраками среди тупого непониманія или преступнаго равнодушія къ жестокой правдѣ земли.

Вотъ краткій символъ добролюбовской вѣры, все остальное только выводъ и частности. При талантѣ критика эти частности стоятъ общихъ истинъ: до такой степени блестяще и мощно ихъ развитіе!

Прежде всего, насъ поражаетъ удивительно ясная, невозмутимая *резвость взгляда*. Странно это слышать! Вѣдь Добролюбовъ — одинъ изъ самыхъ злокозненныхъ «мальчишекъ»: слѣдовало бы ждать примѣрнаго легкомыслія и азарта. На самомъ дѣлѣ русская литература именно въ сочиненіяхъ Добролюбова владѣетъ

самыми зрѣлыми и обдуманнѣйшими страницами. Предъ этой твердостью и спокойной увѣренностью формы и содержанія—вызванія *Русскаго Вѣстника* являются какіе-то психопатическимъ припадкомъ, безтолковыми метаніями раненаго звѣря. И не одного *Русскаго Вѣстника*: подъ ударами этого безошибочнаго анализа и дѣйствительно *реальной* логики могутъ почувствовать краску стыда люди, искренно считающіе себя вѣрными противниками реакціи, консерватизма и блистательными двигателями прогресса.

Добролюбовъ въ самомъ выгодномъ положеніи, чтобы избѣгать злѣйшую язву русской литературы и общественности. И въ его силѣ и истинно-молодой искренности—великій гражданскій подвигъ. Борется съ явными мракобѣсами, крѣпостниками и скотолобцами ему, человѣку шестидесятихъ годовъ, не предстоитъ особенной нужды. Только позже эти породы получатъ настолько видное значеніе, что состязанія съ ними станутъ вопросомъ дня. Пока праздникъ еще далеко отъ ихъ узы, — и у молодой публицистики ищется другой, несравненно болѣе опасный врагъ, — не утратившій своей ядовитости и до послѣднихъ дней.

Послѣ севастопольскаго погрома, съ началомъ новаго царствованія надъ Россіей пронеслась нѣкая живительная сила. Страна будто проснулась и раскрыла свои глаза на свои недуги и язвы. Въ порывѣ самобичеванія она принялась всенародно каяться въ своихъ прегрѣшеніяхъ, раскрывать «свои общественныя раны», — и въ самое короткое время на сцену выступило множество вопросовъ, задачъ, стремленій. Вышло зрѣлище поучительное и трогательное. Можно было подумать, — просыпается исполнить на великіе подвиги. И отрадное чувство невольно охватывало свидѣтелей этого величественнаго возрожденія. И особенно нашъ критикъ, только что расправившій крылья своей одаренной природы, увлеклся и мечталъ.

Многое, слишкомъ многое наполняло эти мечты. Юноша, вѣроятно, ждалъ мгновеннаго обновленія земли и неба. Мечты — простительныя: въ самомъ дѣлѣ ужъ очень громко происходила всенародная исповѣдь и даже солидные люди старшаго поколѣнія поддавались искушеніямъ минуты.

Но прошло два года, и нашъ молодой наблюдатель долженъ разстаться съ мечтами. Кающіеся люди успѣли уже ослабѣть и утомиться. Самые запальчивые отошли въ сторону и предпочли занять выжидательное положеніе. Почему?

Критика, можетъ быть, неправа въ своемъ быстромъ приговорѣ



русскому обществу *въ 1857 году*: было еще рано клеймить его за малодушіе и безразличіе. Наступившія вслѣдъ реформы встрѣтили горячій откликъ въ этомъ обществѣ и нашли даже въ его средѣ людей сознательнаго дѣла. Но эти факты не опровергаютъ негодующей рѣчи Добролюбова. Онъ правъ, усматривая среди многихъ своихъ современниковъ родовую черту русскихъ гражданскихъ скорбниковъ. Еще до реформъ онъ могъ наблюдать немало при-  
смирѣвшихъ ораторовъ на либеральныя темы и еще больше прогрессивныхъ эксплуататоровъ новыхъ идей. *Фраза*—этотъ злѣйшій врагъ Добролюбова—успѣла и въ первые два года новыхъ вѣяній заявить свое всероссийское значеніе и открыть предъ внимательнымъ молодымъ наблюдателемъ цѣлый рядъ руководителей реторическаго, тунейднаго, шарлатанскаго «либерализма».

«Подвиги нужно совершать не на однихъ словахъ»—«нужны дѣйствительные труды и пожертвованія»—вотъ страшный голосъ *фактовъ*. Стѣсало ему раздаться въ ухахъ всероссийскихъ пока-  
янниковъ, и героическое зрѣлище мгновенно стало неузнаваемымъ. Проснувшійся было Илья Муромецъ, правда, снова не погрузился въ безпробудный сонъ, но явь его оказалось, пожалуй, еще жалче спячки.

Вотъ галерея какихъ спасителей отечества проходить предъ современникомъ столь, повидимому, энергической, вдохновляющей эпохи. Помѣщикъ толкуетъ о правахъ человѣчества и о необходимости развитія личности; чиновникъ жалуется на запутанность и обременительность дѣлопроизводства; офицеръ—на утомительность парадовъ; въ журналахъ читаются «либеральныя выходки» противъ злоупотребленій; въ обществѣ просвѣщенныхъ людей высказывается горячее сочувствіе нуждамъ человѣчества, раз-  
сказываются съ одушевленіемъ анекдоты о взяточникахъ и беззаконіяхъ всякаго рода...

Кто же всѣ эти ораторы и публицисты? По глубокому убѣжденію Добролюбова все это Обломовы, и либеральныя статьи пишутся изъ Обломовки. <sup>(248)</sup>.

Обломовскій типъ въ русской природѣ вовсе не ограничивается лежебоками вродѣ Ильи Ильича. Типъ видоизмѣняется и совершенствуется и признаки его въ высшей степени разнообразны, нерѣдко блестящи и очаровательны, особенно для жен-

<sup>248)</sup> Что такое обломовщина? Сочиненія. II, 556—7. Ср. Губернскіе очерки. Т. I, 435 etc.

скихъ сердецъ. Онѣгинъ, Печоринъ, Рудинъ, Бельтовъ не чета гончаровскому герою, а между тѣмъ всѣ они одной съ ними породы. У всѣхъ у нихъ одна общая черта—*безплодное стремленіе къ дѣятельности, сознание что изъ нихъ многое могло бы выйти, но не выйдетъ ничего*. Это главное, все остальное—подробности и для конечнаго результата безразлично, страстный ли *печоринскій* темпераментъ у Обломова или *обломовскій* въ точномъ смыслѣ слова, краснорѣчивъ ли Обломовъ на манеръ Рудина или многозначительно молчаливъ по образцу Онѣгина. Всѣ они проживутъ жизнь байбаками и лишними людьми.

Типичный голосъ шестидесятника! И онъ логическое послѣдствіе критики Бѣлинскаго. У стараго идеалиста не хватило бы духа обозвать Печорина и Рудина тунеядцами и отождествить съ жалкимъ нравственно-недужнымъ отбросомъ крѣпостной теплицы, но запросъ Бѣлинскаго къ сознательному и дѣятельному идеализму былъ смертнымъ приговоромъ блестящему типу при всѣхъ его задаткахъ протеста и внѣшнихъ чарахъ.

Добролюбовъ только иллюстрировалъ общій идеалъ Бѣлинскаго, всей своей натурой отвѣчавшаго на горечь и гнѣвъ своего преемника. И Добролюбовъ, рисуя положительный контрастъ Обломовымъ, невольно и бессознательно характеризуетъ своего первоучителя:

«Всѣ обломовцы никогда не перерабатывали въ плоть и кровь свою тѣхъ началъ, которыя имъ внушили, никогда не проводили ихъ до послѣднихъ выводовъ, не доходили до той грани, гдѣ слово становится дѣломъ, гдѣ принципъ сливается съ внутренней потребностью души, исчезаетъ въ ней и дѣлается единственною силою, двигающею человѣкомъ. Потому-то эти люди и лгутъ безпрестанно, потому-то они и являются такъ несостоятельными въ частныхъ фактахъ своей дѣятельности. Потому-то и дороже для нихъ отвлеченныя воззрѣнія, чѣмъ живые факты, важнѣе общіе принципы, чѣмъ простая жизненная правда. Они читаютъ полезныя книги для того, чтобы знать, что пишется; пишутъ благородныя статьи затѣмъ, чтобы любоваться логическимъ построеніемъ своей рѣчи; говорятъ смѣлыя рѣчи, чтобы прислушиваться къ благозвучію своихъ фразъ и возбуждать ими похвалы слушателей. Но что далѣе, какая цѣль всего этого чтенія, писанія, говоренія, они или вовсе не хотятъ знать, или не слишкомъ объ этомъ беспокоятся».

Эта характеристика обломовщины должна остаться безсмерт-

ной. Одной ей было бы достаточно, чтобы умъ и прямоту молодого критика поставить на историческую высоту. Дальѣйшіе выводы исполнѣ ясны.

Доходъ теоріи: одна чистая неограниченная правда дѣйствительности! Прочь доктринеровъ, на сцену—практиковъ, дѣятелей хотя бы въ самой ограниченной, но жизненной области. Слѣдуетъ развѣ навсегда покончить съ шумомъ и блескомъ, оставить несбыточные надежды по произволу передѣлывать исторію. Напротивъ, необходимо признать громадную силу обстоятельствъ, изучать почву и время во всѣхъ подробностяхъ, понять человѣка въ его плоти и крови и подойти къ внѣшнему міру не съ фантастическими представленіями и эффектными криками, а съ сильной, дѣльной рѣчью и практической сноровкой. Въ прошломъ Бѣлинскій былъ такимъ человѣкомъ и еще пять-шесть его единомышленниковъ. Они умѣли довести отвлеченный философскій принципъ до *реальной жизненности* и *истинной глубокой страстности*. Молодое поколѣніе—слѣдуетъ за ними, и Добролюбовъ противопоставляетъ рабочую толпу, практически освѣдомленную, молчаливо-дѣятельную—пышному фразерству и выспреннимъ отвлеченнымъ полетамъ обломовцевъ <sup>249)</sup>.

Опять—истинно-историческій голосъ подлиннаго шестидесятника. Мы говоримъ, подлиннаго, потому что на смѣну Добролюбову явятся неспособные и мнимые преемники и совершенно извратятъ его истины. Они поднимутъ войну противъ Тургенева за униженіе молодого поколѣнія. Они захотятъ въ себѣ самихъ волюнтеритъ новую породу блестящаго типа, неограниченно-могущественнаго идеальнаго Базарова, однимъ взмахомъ руки способнаго опрокинуть ветхій міръ и возсоздать новый... Какими жалкими и смѣшными покажутся липедѣйствующіе младенцы геніальному художнику! Въ отвѣтъ на ихъ притязанія и театральство они отвѣтятъ имъ той же рѣчью, какую они могли слышать гораздо раньше отъ Добролюбова.

«Мы вступаемъ въ эпоху только *полезныхъ* людей... и это будутъ *лучшіе люди*... Стремленія къ *общему* идеалу безплодны, надо ограничить кругъ дѣйствій, надо выбрать малое *спеціальное* дѣло въ 'уровень съ способностями и наклонностями, хотя бы, наприимѣръ, учить мужика грамотѣ, гдѣчить его и этотъ *частный* идеалъ дастъ жизнь общему. «Въ норку, въ норку, молодые люди!»

<sup>249)</sup> Литературныя мелочи прошлаго юда. Ст. 1359 г. II, 417 etc.

взывалъ Тургеневъ въ самозванномъ Базаровымъ, залетѣвшимъ подъ седьмое небо теорій и плановъ, и на его языкѣ это означало: «впередъ молодое поколѣнiе!»<sup>250</sup>).

Но когда говорились эти рѣчи, на сценѣ уже не было Добролюбова, и «русскіе Лео» яростно набросились на творца Базарова, какъ личнаго оскорбителя: въ эти минуты они порывали, правда невмѣляемо, нравственныя связи съ своимъ общепризнаннымъ авторитетомъ.

Этотъ авторитетъ будто избралъ своимъ спеціальнымъ идеаломъ «преслѣдованіе тщедушія и театральства во всѣхъ видахъ». *Платоническая любовь къ общественной дѣятельности, платоническіе любовники либерализма*—на его языкѣ самыя унизительныя наименованія и онъ неистощимъ на насмѣшки надъ идеальными трогательными героями, даже умирающими въ чахоткѣ и съ самыми краснорѣчивыми монологами на безкровныхъ устахъ. Они—не реальны, не положительны, не дѣятельны по природѣ, и не все ли равно, при какихъ обстоятельствахъ они кончаютъ свое существованіе!

Это, можетъ быть, жестоко и не либерально, но дѣйствительно идеально и прогрессивно. Жизнь не идиллія и человѣческое общество не царство лирическихъ пастушковъ, и человѣческое назначеніе не красиво страдать, а неутомимо работать. И съ этой точки зрѣнія громогласные Лео попадаютъ въ одинъ разрядъ съ мертворожденными жертвами нравственной и физической блѣдной немочи.

Распространите этотъ взглядъ на литературу, и вы логически получите реальную эстетику и правила реальной критики, опять *подлинной*, совершенно не похожей на журнальныя оргіи позднѣйшихъ вырожденцевъ великаго движенія.

### XXXV.

Что такое настоящая *реальная* литература, достойная молодого положительнаго поколѣнія? Отвѣтъ чрезвычайно простъ и онъ данъ тѣмъ же Бѣлинскимъ. Литература—художественно воспроизведенная дѣйствительность, такъ можно вкратцѣ выразить всю эстетику Бѣлинскаго и принципы его критики. Добролюбовъ идетъ дальше.

<sup>250</sup>) Ср. въ нашей книгѣ *И. С. Тургеневъ*. Спб. 1896 г., стр. 261 etc.

Бѣлинскій, какъ исконный питомецъ философскихъ системъ, не могъ лишить литературы самостоятельнаго идеальнаго значенія, т. е. принципиальнаго независимаго вoadѣйствія на дѣйствительность. Для Бѣлинскаго существуетъ двѣ равноправныхъ силы—*художникъ* и *жизнь*, *творчество* и *фактъ*. Поэтому онъ такъ и настаивалъ на разностороннемъ нравственномъ развитіи художника, на «духовно-личной самостоятельности» художника, на его «вѣчно-тревожномъ стремленіи къ идеалу и уравниеніи съ нимъ дѣйствительности». Гоголь, при всей гениальной способности воспроизводить дѣйствительность, не удовлетворялъ Бѣлинскаго потому что въ немъ—какъ художникъ—не было этой субъективной стихіи, опредѣленнаго жизненнаго идеала.

Добролюбовъ перетягиваетъ вѣсы на сторону дѣйствительности по очень понятной причинѣ: такимъ путемъ онъ думаетъ сохранить вѣрность факту и реализму. Идея, богатая многочисленными истинами, но въ тоже время представляющая немало опасностей.

Критикъ прекрасно понимаетъ психологію творчества. Онъ далекъ отъ мысли производить какіе бы то ни было насильственные опыты надъ художественнымъ произведеніемъ и призывать художника на инквизиціонный судъ за отсутствіе направленія. Онъ не станетъ, конечно, разсуждать о томъ, что такое красота, эстетическое волненіе: этимъ на досугъ могутъ заняться чувствительныя барышни <sup>251)</sup>. Критика и въ жизни и литературѣ занимаютъ только жизненные факты, и онъ смотритъ на созданіе искусства совершенно какъ на произведеніе ума и науки. Оно для него тоже исторія и тоже естественное описаніе. Въ практической жизни дѣльное пониманіе фактовъ и явленій неизмѣримо дороже и важнѣе, чѣмъ теорія и отвлеченія,—въ художественныхъ произведеніяхъ фактическое содержаніе нужнѣе авторской тенденціи. Это—двѣ стороны одной и той же истины. «Жизнь не уловляется діалектикой—для Добролюбова до такой степени неопровержимая истина, что онъ готовъ впасть въ фатализмъ, признать за личностью одну только способность воспріятія, а жизни и средѣ приписать всемогущую силу создавать такой или иной нравственный міръ въ человѣкѣ. Личность *ничтожна* предъ общимъ ходомъ исторіи <sup>252)</sup>. Это вполне естественный выводъ матеріали-

<sup>251)</sup> Когда же придетъ настоящий день? III, 275.

<sup>252)</sup> I, 441, 558.

стической философіи,—и Добролюбовъ, въ качествѣ добросовѣстнаго ученика Чернышевскаго, не перестаетъ твердить о столь же стихійномъ, математически-неуклонномъ развитіи духовнаго міра, какое царствуетъ въ физическомъ.

Совершенно послѣдовательно въ искусствѣ онъ будетъ сосредоточивать свое вниманіе на средѣ и событіяхъ и равнодушно относиться къ теоріямъ художника, какъ нравственной и гражданской личности. Какъ ни странно и даже несожиданно, но именно Добролюбовъ возстанетъ противъ тенденціозности и партійности въ художественномъ творчествѣ и произнесетъ защитительную рѣчь въ пользу объективности. Конечно, онъ поспѣшитъ отречься собственно отъ чистаго искусства и съ одинаковымъ презрѣніемъ встрѣтитъ резонерскій либерализмъ Бенедиктова и беззаботное щебетанье идиллическихъ дѣвцовъ луны и дѣвы. Но все-таки объективность не только законное, а даже великое достоинство художника,—больше: требовать отъ него непремѣнно раздражительнаго содержанія, т. е. тенденціознаго—значить непремѣнно хотѣть руководителя даже въ чувствахъ, т. е. впадать въ обломовщину <sup>253</sup>).

Мы должны брать то, что даетъ намъ поэтъ и требовать лишь одного: пусть его *предметъ* будетъ значителенъ, все остальное приложится само собой. Слѣдовательно, вопросъ можетъ быть только о приложеніи таланта, а не о руководящихъ принципахъ художника,—и цѣнность таланта зависитъ не отъ субъективныхъ теоретическихъ задачъ, а отъ объекта творчества. Можно выразиться еще яснѣе: великій талантъ непремѣнно идеенъ и общественно-поучителенъ, независимо отъ преднамѣренныхъ задачъ. Къ этому выводу пришелъ Бѣлинскій и его усвоилъ Добролюбовъ. «У сильныхъ талантовъ,—говоритъ онъ,—актъ творчества такъ проникается всею глубиною жизненной правды, что иногда изъ простой постановки фактовъ и отношеній, сдѣланной художникомъ, рѣшеніе ихъ вытекаетъ само собою». «И для критика,—по его собственнымъ словамъ,—именно тѣ произведенія и важны, въ которыхъ жизнь сказала само собою, а не по заранѣе придуманной авторомъ программѣ» <sup>254</sup>).

Задачи критики послѣ этого вполне ясны и, на первый взглядъ, дѣйствительно не хитры, на чемъ настаиваетъ Добролюбовъ. Кри-

<sup>253</sup>) II, 531.

<sup>254</sup>) *Забитые люди*. III, 552; 277.

тика должна подвести итоги даннымъ, разсѣяннымъ въ произведеніи автора, взглянуть на нихъ какъ на явленія, *факты жизни*. Она будетъ имѣть дѣло исключительно съ произведеніемъ, дѣйствующими лицами, а не съ личностью художника. Для нея, на примѣръ, совсѣмъ не существуетъ вопроса, почему Островскій не уподобляется Гоголю и чѣмъ онъ отличается отъ Шекспира? Она не станетъ также допытываться, какихъ воззрѣній придерживается драматургъ на старый и новый бытъ Россіи? Положимъ, онъ изобразилъ старозавѣтнаго и въ тоже время добраго и умнаго героя: реальная критика не позволитъ себѣ сдѣлать заключеніе, что авторъ сочувствуетъ стариннымъ предрасудкамъ,—она сосредоточится на фактѣ: на спенѣ хорошій человѣкъ, зараженный предрасудками,—дѣйствителенъ ли этотъ фактъ? Если дѣйствителенъ, то чѣмъ онъ объясняется? И какія объясненія имѣются въ самомъ произведеніи?

Очевидно, величайшій вредъ художнику можетъ причинить всякая односторонность, исключительность, пристрастіе. Онъ долженъ или сохранить совершенно простой, *младенчески-непосредственный* взглядъ на міръ, или спастись отъ односторонности возможно болѣе широкимъ развитіемъ своихъ понятій, т. е. стать въ уровень съ передовыми людьми мысли своего времени. Отсюда тѣснѣйшая связь искусства и науки <sup>255</sup>).

Предъ нами опять воскресаетъ Бѣлинскій и мы должны признать, что болѣе вѣрнаго ученика критикъ не могъ желать. Слѣдуетъ прибавить, и болѣе вліятельнаго, и болѣе краснорѣчиваго въ общемъ *положительномъ* движеніи шестидесятыхъ годовъ. Сколько безсмыслицы, невѣжества или преднамѣренной клеветы въ навѣтахъ, будто шестидесятники — безпощадные гонители искусства, фанатическіе проповѣдники тенденціозныхъ проповѣдей въ беллетристикѣ! Ни одинъ чистый поэтъ не умѣлъ защитить поэзіи и творчества съ такимъ авторитетомъ, съ такой логичностью, какъ это удалось Добролюбову. Онъ, признаетъ *чувство художника* источникомъ нравственнаго возмущенія противъ беззаконной дѣйствительности, онъ оберегаетъ Островскаго и Тургенева отъ резонерскихъ натисковъ изъ Обломовки, онъ ощущаетъ страхъ—«прикоснуться своей холодной и жесткой рукой къ нѣжному поэтическому созданію», т. е. къ тургеневской Еленѣ,—и сухимъ безчувственнымъ пересказомъ прсфанировать чувство читателя и

<sup>255</sup>) III, 276. *Темное царство*. III, 14.

поэзію романа, онъ пишетъ лирическую страницу о благодатныхъ слезахъ, свѣтлыхъ воспоминаніяхъ дѣтства, о чарахъ дѣйственныхъ волненій, онъ признаетъ за вдохновеніемъ художника силу проникать въ міръ, закрытый для логическаго мышленія, онъ представляетъ себѣ всю мощь, всю сложность творческой работы, возсоздающей изъ безсвязныхъ, отрывочныхъ, противорѣчивыхъ явленій дѣйствительности стройное цѣлое,—и этотъ онъ—вождь новыхъ вандаловъ! <sup>256)</sup> О если бы русское искусство вѣчно знало только такихъ разрушителей и реалистовъ! Не пришлось бы ему переживать періодическихъ смуть со всѣми бѣдствіями умственнаго междоусобія — художественнымъ декадентствомъ и идейнымъ индифферентизмомъ.

Иногда можно подумать,—Добролюбовъ даже переоцѣнивалъ искусство въ ущербъ чистымъ фактамъ дѣйствительности,—и эта переоцѣнка не мимолетное увлеченіе, а строго обдуманый выводъ изъ глубокаго и разносторонняго представленія о предметѣ. Вотъ разсужденіе изъ предсмертной статьи Добролюбова: оно—подлинное завѣщаніе истиннаго шестидесятника, оно—послѣднее слово въ эстетикѣ перваго дѣйствительно прогрессивнаго періода эпохи:

«Художникъ всегда безпристрастенъ: къ спорамъ и теоріямъ онъ не прикасается, а наблюдаетъ только факты жизни да и ри, суетъ ихъ какъ умѣетъ,—вовсе не думая, кому это послужить—для какой идеи пригодится. И поэтому-то именно замѣчательный художникъ важенъ въ общественномъ смыслѣ: въ жизни-то еще когда наберешь фактовъ, да и тѣ будутъ блѣдны, отрывочны, побужденія не ясны, причины смѣшаны; а тутъ, пожалуй, и одно или два явленія представлены, да за то такъ, что послѣ нихъ уже никакого сомнѣнія не можетъ быть относительно разряда подобныхъ явленій» <sup>257)</sup>.

Добролюбовъ не остановился на признаніи могучей просвѣтительной и облагораживающей силы за искусствомъ. Онъ, оберегая неприкосновенность художественной личности, готовъ загорѣться гнѣвомъ противъ «споровъ и партій», только потому что они споры и партіи. Критикъ увлекся объективностью гораздо больше, чѣмъ позволяла его публицистическая натура и допускали задушевнѣйшія стремленія его поколѣнія. Что-нибудь изъ двухъ—или признавать «глубокую страстность» и «святое недовольство» Бѣлинскаго достоинствами,

<sup>256)</sup> III, 277, 297, 535.

<sup>257)</sup> III, 563.



или считать идеаломъ спокойствіе Гончарова. Критикъ совершенно правъ въ своихъ восторгахъ предъ вдохновенной проникательностью гениальныхъ художниковъ: они дѣйствительно способны схватывать въ жизни и изображать въ дѣйствіи то, что философы только предугадываютъ въ теоріи. Они могутъ являться «полнѣйшими представителями высшей степени человѣческаго сознанія въ извѣстную эпоху» и, слѣдовательно, своимъ творчествомъ внушать человѣчеству яснѣйшее представленіе о силахъ и потребностяхъ даннаго времени. Таковъ, на примѣръ, Шекспиръ. Но значить ли это, что художникъ великъ по мѣрѣ своего отчужденія отъ партій и политическихъ волненій своихъ современниковъ? Какъ же онъ тогда будетъ уяснять «живыя силы» и «естественныя наклонности» своей публики ей же самой? Не слѣдуетъ ли придти къ совершенно обратному заключенію?

Недоразумѣніе рѣшилъ самъ Добролюбовъ удивительными разсужденіями о Беранже и характеристикой Катерины Островскаго. Обѣ статьи — слабѣйшія произведенія добролюбовскаго пера и свидѣлствуютъ гораздо больше объ искренности критика, чѣмъ объ основательности и вдумчивости его политической мысли и психологическаго анализа. Но, произнося этотъ приговоръ, мы должны помнить первоисточникъ недоразумѣній: не можетъ быть сомнѣнія, что въ недалекомъ будущемъ самъ критикъ внесъ бы, необходимыя поправки въ свои нецѣлесообразныя увлеченія, какъ это онъ успѣлъ сдѣлать относительно идей среды и историческаго фатализма.

### XXXVI.

Представленіе о всемогуществѣ *среды*, мы знаемъ, возникло на почвѣ материалистическаго воззрѣнія, но жизненные опыты быстро доказали несостоятельность прямолинейнаго ученія. У Добролюбова это произошло послѣ перваго же столкновенія съ фактами, доказывавшими, повидимому, невиновность личности въ вопіющихъ нарушеніяхъ принциповъ гуманности и культурности. Исторія въ свое время надѣлала много шума: въ положеніи обвиняемаго оказался просвѣщеннѣйшій современный администраторъ—Пироговъ.

Добролюбовъ восторженно привѣтствовалъ *Вопросы жизни*—статьи Пирогова въ *Морскомъ Сборникѣ*. Критику оставалось только развивать его преобразовательныя гуманныя идеи, рѣзко опредѣленныя и прямо высказываемыя. Но восторгъ пришлось

очень скоро замѣнить другими чувствами и написать негодующую статью *Всероссійскія иллюзіи, разрушаемая розгами*, съ эпиграфомъ *Tu quoque Brute*. Оказывалось, Пироговъ издалъ *Правила о проступкахъ и наказаніяхъ учениковъ* и не призналъ возможнымъ окончательно и безповоротно изгнать тѣлесныя наказанія изъ учебныхъ заведеній. Сюда поступали дѣти, подвергавшіяся сѣченію дома, отъ родителей, и *Правила* на этомъ основаніи считали невозможнымъ «вдругъ вывести розгу изъ употребленія», хотя и признавали розгу «гнусной и вредной». Пироговъ, лично безусловно враждебный тѣлеснымъ наказаніямъ, уступилъ большинству педагогическаго комитета при учебномъ округѣ. Съ самаго начала онъ положилъ рѣшать всѣ вопросы по округу коллегіальнымъ путемъ, не измѣнилъ рѣшенію и въ вопросѣ о розгахъ.

Правъ онъ или виноватъ?

Съ излюбленной точки зрѣнія Добролюбова на всемогущество среды Пироговъ поступилъ вполне закономѣрно, исторически-фатально и призывать его на судъ рѣшительно не за что; его дѣйствія *естественны*: они оправдываютъ общій неотразимый порядокъ вещей. Съ другой стороны защитники Пирогова восхваляли его за вѣрность коллегіальному началу, за подчиненіе большинству. Особенно сослуживцы Пирогова, зная безукоризненную гуманность и терпимость своего начальника, жестоко возмущались нападкамі Добролюбова. Одинъ изъ нихъ, много дѣтъ спустя, спрашивалъ: «Что бы сказалъ тотъ же Добролюбовъ, если бы Пироговъ отвергнулъ мнѣніе комитета? Вѣроятно написалъ бы статью подъ заглавіемъ: *Гуманность, превратившаяся въ мандарина*, или что-нибудь въ такомъ родѣ»<sup>258</sup>).

Несомѣнно написалъ бы, если бы большинство оказалось *противъ* розогъ, а самъ Пироговъ—за розги. Слѣдовательно, нравственный характеръ дѣйствій Пирогова зависѣлъ исключительно отъ отвѣта на поставленный вопросъ и въ интересахъ желательнаго отвѣта Добролюбовъ вынужденъ придти къ совершенно новому пониманію взаимныхъ отношеній личности и среды. Вся статья *Отъ дождя да въ воду*—обвинительный актъ противъ податливости, уступчивости, подчиненія необходимости со стороны личности предъ какой бы то ни было повелительной средой. И критикъ, вмѣсто прежняго узаконенія факта ничтожества личности предъ ходомъ обстоятельствъ, теперь снабжаетъ личность совѣтами, какъ

<sup>258</sup>) *Воспоминанія о Пироговѣ* Л. Доброва. Русск. Ст. 1885, іюнь, 608.

вести борьбу противъ среды. Съ этихъ поръ онъ усердно при-  
мется толковать о значеніи убѣжденій, сильной натуры, нрав-  
ственной твердости и самостоятельности. Сначала онъ рекомен-  
дуетъ честнымъ людямъ приступать къ общественной дѣятель-  
ности непремѣнно съ опредѣленной программой и съ неуклоннымъ  
намѣреніемъ или выполнить ее, или удалаться. Потомъ додумы-  
вается до реального опредѣленія среды. Она перестаетъ являться  
ему какой-то неотразимой фатальной темной силой. Онъ разложилъ  
ее на составные элементы и пришелъ къ заключенію: «среда—  
это всѣ мы... и всѣ обязаны хлопотать, на сколько есть силъ и  
умѣнья о существенномъ измѣненіи нашего положенія, чтобы  
развязаны были намъ руки на проведеніе нашихъ задушевныхъ  
убѣжденій» <sup>289</sup>).

Эта истина становится главнымъ символомъ добролюбовской  
публицистики. Нѣтъ сомнѣнія, и раньше онъ понималъ настоящую  
цѣну личной силы и убѣжденности, но школьная философская  
теорія заставляла его чрезмерно рѣзко подчеркивать значеніе  
почвы, среды, вообще внѣшняго міра. Въ этой крайности была  
своя разумная сторона: Добролюбовъ, мы видѣли, успѣлъ побѣдо-  
носно разсчитаться съ отвлеченнымъ доктринерствомъ и плато-  
ническимъ либерализмомъ. Но риторы и чистые теоретики не  
должны заслонять собою вообще идейности, личной активной прин-  
ципальности. Жизнь не только творитъ и *позволяетъ* творить, но  
и *воспринимаетъ* творчество извнѣ. Среда безпрестанно порабо-  
щаетъ и обезселиваетъ людей, но та же среда можетъ быть воз-  
мущена, взволнована въ своемъ *историческомъ* покоѣ, сдвинута  
съ мѣста и, если не преобразована, то столкнута съ традиціоннаго  
коснаго пути. Сдѣлають это, разумѣется, не фразеры и не обло-  
мовцы, но все-таки люди слова и идеи, люди личной инициативы  
и самобытнаго протеста во имя идеала.

Съ правотѣрной точки зрѣнія материалистическаго ученія выводъ  
не логичный и не научный: къ нему шестидесятники и пришли  
окольнымъ путемъ, не чрезъ разсужденія въ духѣ *Антропологи-  
ческаго принципа*. Этимъ обходомъ они косвенно подписали при-  
говоръ своей общей философіи и неопровержимо доказали превос-  
ходство своихъ натуръ и талантовъ надъ опрометчиво-излюбленной  
доктриной. Понятіе *факта* и *дѣйствительности* — положительный  
капиталъ въ идеяхъ шестидесятниковъ, но война съ метафизикой.

культъ научности и жизненной правды вмѣютъ только вѣйшее соприкосновеніе съ материализмомъ,—менѣе всего логическое и научное.

Мы видѣли, Добролюбовъ усиленно противопоставлялъ реальное познание дѣйствительности, платоническому идеализму, теперь у него та же, но видоизмѣненная параллель: *благодѣтельность* и *дѣятельность*. Вмѣсто спокойной трезвости взгляда является истинное, живое, полное убѣжденіе, до такой степени сросшееся съ человѣкомъ, что онъ на пути къ его осуществленію можетъ пойти на смерть или умереть, вынужденный заглушить свое убѣжденіе <sup>260</sup>).

Вотъ до какихъ предѣловъ теперь доходить азартъ критика *въ пользу идеи!* Мы употребляемъ его собственные слова и должны запомнить ихъ: они послужатъ намъ неопровержимой уликой противъ нашего критика, слишкомъ склоннаго поддаться очарованію прежнихъ дней. Катерина вновь вызоветъ въ душѣ Добролюбова лирическія движенія, уничтожающія только что воздвигнутый алтарь убѣжденіямъ, принципамъ, сознательному, идейному подвижничеству. Но Катерина, очевидно, рѣдкое поэтическое явленіе, властное надъ сердцемъ критика: Пушкинъ не обладаетъ такою властью и именно онъ станетъ жертвой чрезвычайно суроваго отношенія Добролюбова къ убѣжденіямъ и личной силѣ.

Еще до преобразованія понятія среды Добролюбовъ раздѣлялъ позднѣйшее мнѣніе Чернышевскаго на счетъ недостаточной образованности Пушкина, слабости его характера и убѣждений. Мы сопоставили сужденія обоихъ критиковъ, по времени крайне содѣйственные и внутренне, несомнѣнно, тѣсно связанные. Съ теченіемъ времени взглядъ Добролюбова сильно обострился и если бы мы не вполне ясно представляли послѣдовательность этого процесса, критикъ раскрылъ бы его въ своей предсмертной статьѣ. Пушкинъ лишь кое-гдѣ проявляетъ уваженіе къ человѣческой природѣ, къ человѣку, какъ къ человѣку, и то большею частью въ эпикурейскомъ смыслѣ. Пушкинъ по натурѣ былъ слишкомъ мало серьезенъ, на языкѣ эстетиковъ это значить—слишкомъ гармониченъ, чтобы заниматься аномаліями жизни <sup>261</sup>).

Вотъ къ какимъ выводамъ пришелъ критикъ, еще такъ недавно одобрявшій спокойствіе и объективность Гончарова. Мало

<sup>260</sup>) *Благодѣтельность и дѣятельность*. III, 351.

<sup>261</sup>) III, 554.

даже убѣжденій, надо обладать протестующей безпокойной натурой, все равно, какъ бы ни былъ великъ художественный талантъ. И во имя этого требованія критикъ, по поводу Пушкина забываетъ о средѣ и обстоятельствахъ, а между тѣмъ, онъ не имѣлъ болѣе повелительнаго и основательнаго случая вспомнить о нихъ, чѣмъ именно при оцѣнкѣ личности и таланта Пушкина. Замѣчательно, ту же самую несправедливость обнаружить и Писаревъ. Какой-нибудь Гейне встрѣтитъ самыя благосклонныя объясненія и оправданія, на основаніи условій эпохи и обстоятельствъ, а Пушкинъ будетъ взятъ внѣ времени и пространства. Сыграетъ здѣсь не малую роль и простая ограниченность и сбивчивость историко-литературныхъ сѣдѣній, но несомнѣнно, знаменитая писаревская война съ эстетикой должна признать своего предшественника въ добролюбовскомъ недоразумѣніи.

Но пусть на самомъ дѣлѣ Пушкинъ единолично виноватъ въ сомнительномъ идейномъ содержаніи своего творчества, тогда, по крайней мѣрѣ, надлежитъ распространить требованіе убѣжденій и энергически-сознанныхъ принциповъ на всѣ культурныя явленія. Критикъ, отказываясь съ пристрастіемъ допрашивать художниковъ насчетъ ихъ преднамѣренныхъ задачъ, совершенно разумно настаиваетъ на *отзывчивости* художественной натуры. «Всѣ колебанія общественной мысли» должны встрѣчать чуткій отголосокъ въ душѣ художника. «Живое отношеніе къ современности»—единственное условіе широкой популярности и долговѣчности поэта. Этой отзывчивостью именно и силенъ Тургеневъ <sup>262</sup>).

Совершенно вѣрно, и логическій выводъ, повидимому, не подлежитъ сомнѣнію. Разъ даже *колебанія* должны захватывать талантъ художника, очевидно, онъ можетъ принадлежать къ извѣстной политической и общественной партіи. Мы не станемъ требовать, чтобы эта принадлежность существовала во что бы то ни стало, чтобы художникъ ради политики насиловалъ свое вдохновеніе. Мы готовы предоставить художниковъ самимъ себѣ, но мы поставимъ правиломъ: величіе и значительность таланта оцѣниваются богатствомъ и важностью явленій и вопросовъ, возбуждавшихъ его творческую работу. Положеніе, утвержденное еще критикой Бѣлинскаго и признанное Добролюбовымъ. Слѣдовательно, мы можемъ и не подвергать порицанію идейно-бесодержательное вдохновеніе, но мы отведемъ ему законное и отнюдь не первое мѣсто въ нашей исторіи литературы и общественной мысли.

<sup>262</sup>) III, 278 etc.

Если все это справедливо, тогда какая ироническая и злая сила могла внушить Добролюбову его восторги предъ личностью и произведеніями Беранже? Критику извѣстно, что правительство Наполеона III торжественно хоронило этого поэта и рядомъ съ этимъ фактомъ онъ ставитъ увѣренность, что въ пѣсняхъ Беранже «всѣ горести и труды бѣдняковъ нашли себѣ живой и полный отголосокъ!» Изумительное пониманіе бонапартистской щедрости, по представленію русскаго критика, расточаемой имени поэта-демократа и социалиста!

Но это лишь вступленіе къ безпримѣрному панегирику въ честь пѣсенника-бонапартиста, вложившаго всю душу свою въ увѣчаніи наполеоновской круглой шляпы и сѣраго сюртука и не переставшаго бить въ барабанъ и наигрывать военные марши въ то время, когда страна напрягала всѣ усилія залѣчить раны и упорядочить культурный внутренній строй послѣ дикой бандитской оргіи «великаго императора». Беранже, конечно, въ перемѣшку съ барабаннымъ боемъ отчаянно либеральничалъ по адресу Бурбоновъ и католической церкви. Но все это куплетное свободомысліе не имѣло ни малѣйшаго значенія оригинальности: заблужденія реставраціи находили достодолжный отпоръ со всѣхъ сторонъ, кромѣ безнадежно-большихъ маниаковъ реакціи. Рiemы Беранже приносили пользу современной публикѣ развѣ только въ одномъ отношеніи—давали меткія и остроумныя клички и изреченія всеобще-ненавистнымъ фактамъ и лицамъ. Это остроуміе и бойкость формы спасаютъ удручающую банальность содержанія пѣсень Беранже. Французская литература не знаетъ ни одного писателя съ такимъ громкимъ именемъ и съ такой откровенной шаблонностью мысли.

Добролюбовъ миновалъ совершенно вопросъ и о политической подкладкѣ вдохновенія Беранже, и положительномъ смыслѣ его идеаловъ. Критикъ, съ удивительной непосредственностью, съ перваго приступа увѣровалъ въ краснорѣчивыя фразы и звучныя riemы поэта и *его же* чертами обрисовалъ его личность. Для критика оказалось вполне достаточно заявленія Беранже: *Le peuple c'est ma muse, народъ—моя муза*, чтобы безъ оглядки пуститься въ идеализацію совершенно фантастическаго небывалаго представителя французскаго народа. Критикъ жестоко возмущается запросами, какія соотечественники Беранже предъявляютъ къ его *политикѣ*. Они не находятъ у прославленнаго пѣсенника твердыхъ политическихъ началъ, напротивъ, полное безразличіе къ современной политической борьбѣ.

Добролюбовъ возмущенъ. Берамже и современная политика! Какая нелѣпость! Берамже выше всякой политики. У него имѣется *инстинктъ*, стоющій всякаго либерализма, «инстинктъ благородной натуры». Берамже инстинктивно стремился къ *народному благу* и отдавалъ свое сочувствіе тому, «кто болѣе дѣлалъ или даже только желалъ, обѣщалъ сдѣлать для народа». Хорошо, критикъ догадался прибавить *общалъ*: только развѣ способностью Берамже по инстинкту обожать человѣка даже за *общинія* можно объяснить его культъ Бонапартовъ, но Берамже, имѣвшій оффиціального мецената въ лицѣ Луціана Бонапарта и почитателя таланта въ лицѣ Наполеона III, могъ говорить все что угодно и даже объявлять Наполеона I «представителемъ побѣдоноснаго равенства»: русскому шестидесятинику, реалисту въ исторіи и въ общественныхъ идеалахъ, непростительно было съ непосредственной наивностью довѣряться признаніямъ и стихамъ Берамже. Это значило, убивать всякое критическое отношеніе къ предмету. Правда, низменный павосъ музы поэта ужъ слишкомъ рѣзко бьетъ въ глаза, и Добролюбовъ, при всей своей необдуманной настроенности, не можетъ не оговориться: «конечно, Берамже ошибался, увлеченія его были ложны». Здѣсь слѣдовало бы и поставить точку; вѣтъ, критикъ считаетъ нужнымъ прибавить: «все-таки нельзя не сказать, что источникъ этихъ увлеченій никакъ не заслуживаетъ порицанія».

Что это за психологическая шарада? Увлеченія ложны, а источникъ ихъ похваленъ! Когда дѣло идетъ о вопросахъ сердца, еще можно представить подобный контрастъ *идеала и реальной объекта*. Но въ политикѣ, возможно ли отдѣлить вдохновляющій, руководящій принципъ отъ практическаго осуществленія идеи? Возможно ли представить, чтобы серьезно мыслящій политикъ задался цѣлью разнивать свободу и равенство, и вѣрнѣйшіе пути къ ней открылъ въ личности и дѣятельности Наполеона? Что-нибудь изъ двухъ—или политикъ рѣшительно не понимаетъ, что такое свобода и равенство, или преднамѣренно пользуется хищнически-пріобрѣтенными уборами для украшенія своего недостойнаго идола. Кажется французъ эпохи реставраціи, да еще лично пережившій и видѣвшій революцію и имперію, могъ бы не заблуждаться насчетъ политическихъ и культурныхъ благодѣяній бонапартизма. Что касается критиковъ Берамже, объ уровнѣ его идеаловъ—они могутъ безошибочно судить по его религіознымъ понятіямъ и полету его политической мысли. Мелкое шаблонное

вольнодумство въ стилѣ вольтерьянцевъ дурного тона или полужыгическая панибратская вѣра въ добраго бога подъ рукой, не возвышеннѣе и политика *Лизетты* — *доброй властительницы*. Беранже, можетъ быть, вполнѣ удовлетворителенъ для уличныхъ пѣвцовъ, но только по недоразумѣнію можно говорить объ его *убѣжденіяхъ* и особенно объ его «служеніи народной пользѣ».

Въ той же статьѣ о Беранже Добролюбовъ надѣлалъ немало открытій, независимо отъ главной темы, признался русской публикѣ въ своемъ восторгѣ предъ ультра-гейневской философіей любви. Эта философія выражена въ двухъ стихотвореніяхъ: въ одномъ поэтъ сегодня вдвойнѣ счастливъ съ возлюбленной, которая завтра-же, навѣрное, броситъ его ради гусаровъ, въ другомъ—онъ преподноситъ пышный букетъ цвѣтовъ своей милой, только что выдержавшей «большой военный постой» въ своемъ сердцѣ. Эти произведенія, превосходно отражающія чисто-гейневское сіяніе полу-естественнаго полу-напускнаго цинизма и холоднаго рассчитаннаго кривлянья,—являются для русскаго критика защитой свободы женскаго чувства! И на его взглядъ нѣтъ середины между пушкинскимъ Алеко и невмѣняемымъ рыцаремъ парижскихъ кабацковъ! Естественно,—критикъ долженъ признать поэтическимъ вдохновеніемъ такое, напримѣръ, творчество французскаго народника:

Lisette, ma Lisette  
Tu m'as trompé toujours...  
Mais vive la grisette!  
Je veux, Lisette  
Boire à nos amours!

Весьма тонкое воспроизведеніе гейневскаго романа!

Соберемъ всѣ эти черты вмѣстѣ: проповѣдь непоколебимой принципиальности, наивную увѣренность въ глубокой демократической политикѣ Беранже, идеализацію шалостей амура въ стихахъ французскаго трубадура гризетокъ,—допустимъ, наконецъ, нѣчто мѣлѣйшее и противоестественное—преклоненіе предъ Гейне одновременно съ культомъ убѣжденій и нравственной силы личности,—и со всѣмъ этимъ запасомъ фактовъ и идей подойдемъ къ прославленной статьѣ: *Лучъ свѣта въ темномъ царствѣ...* Одно ли перо рисовало романтическій образъ этого «луча» и возводило на пьедесталъ личность, вооруженную всѣми знаніями своего времени и ясно сознанными и нерушимо—воспринятыми идеалами общественнаго и политическаго прогресса?



## XXXVI.

Чтобы по достоинству оцѣнить популярнѣйшее и, повидимому, увлекательнѣйшее произведеніе Добролюбова—необходимо во всей полнотѣ представить его идеи о личномъ развитіи, т.-е. о воспитаніи и образованіи. Мы знаемъ, Катерина возведена въ перлъ созданія за *натуру*, за *инстинктивныя влеченія* и *силу естественныхъ стремленій*. Все это превознесено подъ «азартомъ въ пользу идеи»: этотъ азартъ, т.-е. страстная сила убѣжденій, по мнѣнію критика «гораздо ниже и слабѣе того простого, инстинктивного, неотразимаго влеченія, которое управляетъ поступкамъ личностей вродѣ Катерины, даже и не думающихъ ни о какихъ высшихъ идеяхъ».

Это очень сильно и, мы указывали, стоитъ декламаций Руссо во славу «естественнаго состоянія». Русскій писатель даже превосходитъ женеваго философа: онъ рѣшается поднять руку на людей, неприкосновенныхъ для Руссо въ самые мрачные припадки его человѣконенавистничества. Добролюбовъ издѣвается надъ «высокими ораторами правды, претендующими на «отреченіе отъ себя великой идеи». Эти ораторы, по его наблюденіямъ, *весьма часто* отступаютъ отъ своего служенія. Дѣло возможное, только почему изъ-за этихъ хотя бы многочисленныхъ отступниковъ виновато высокое ораторство за правду и отреченіе отъ себя? Все это также возможно и нисколько не забавно. Критикъ, начертывая эти строки, переживалъ очевидно одинъ изъ приливовъ своего скептицизма. Приливъ захватилъ критика на цѣлую длинную статью и заставилъ его наговорить вещей, идущихъ въ разрѣзъ съ его настоящимъ міросозерцаніемъ.

Критикъ искони защищалъ природу, все естественное и преслѣдовалъ все искусственное. Это само собой разумѣется: здѣсь Добролюбовъ только человѣкъ своего времени. Не слѣдуетъ приписывать ему особенныхъ личныхъ заслугъ и въ логическомъ развитіи этого принципа. Въ воспитаніи необходимо самое пристальное попеченіе о нравственной свободѣ воспитанника, о самобытности его натуры и самостоятельности его умственной дѣятельности. Всякое поколѣніе имѣетъ свои потребности и воспитатель не долженъ подчинять ихъ идеаламъ прошлаго *своею* поколѣнія. Вообще вся «апологія правъ дѣтской природы», какъ выражается Добролюбовъ,—непосредственный результатъ основныхъ принциповъ новаго міросозерцанія, и новому публицисту

въ педагогикѣ оставалось повторять тѣже идеи вообще *простыми мыслями*, какія онъ приводилъ въ философіи и политикѣ. Разсужденія Добролюбова, естественно, напоминаютъ краснорѣчивыя безсмертныя страницы *Эмиля* Руссо,—все равно какъ общая философія шестидесятитниковъ кричитъ о своемъ тѣсномъ культурномъ родствѣ съ проповѣдью энциклопедистовъ. Совершенно логически русскій публицистъ все развитіе личности, можно сказать, весь прогрессъ нравственный и общественный сосредоточиваетъ на укрѣпленіи понятій. Добролюбовъ не довѣряетъ сердцу, какъ исключительному руководителю челоѳѣческихъ дѣйствій. Сердце можетъ создать развѣ только добродушіе по привычкѣ и нисколько не помѣшаетъ шаткости и безсилью убѣжденій

«Можно рѣшительно утверждать»,—говоритъ критикъ,—«что только та доброта и благородство чувствованій совершенно надежны и могутъ быть истинно полезны, которыя основаны на твердомъ убѣжденіи, на хорошо выработанной мысли. Иначе нѣтъ никакого ручательства за нравственность челоѳѣка съ *добримъ* сердцемъ, а тѣмъ менѣе за полезность его для другихъ: вспомнимъ, что услужливый медвѣдь опаснѣе врага»<sup>263</sup>.

Убѣжденія должны быть выработаны самобытно и самостоятельно: тогда только они дѣйствительно будутъ неразрывны съ практикой,—иначе самыя возвышенныя понятія останутся безплодной, мертвой теоріей.

Все это азбука и критика, можетъ быть, даже слишкомъ долго и подробно останавливается на раскрытіи и доказательствѣ подобныхъ истинъ. Нѣсколько любопытнѣе идея о зависимости нравственныхъ принциповъ отъ умственного развитія, т.-е. отъ знаній и образованія. На этой идеѣ построена философія исторіи Бокля и она впоследствии у Писарева превратится въ чисто фетишистское преклоненіе предъ такъ называемыми точными и полезными науками. У Добролюбова дѣло не доходитъ до фанатизма и ослѣпленія—ни въ какомъ случаѣ,—и онъ остается на разумной почвѣ вполне реальной общечелоѳѣческой психологіи.

Убѣжденія, несомнѣнно, результатъ болѣе или менѣе вѣрныхъ представленій о предметахъ и фактахъ. Принципы отдѣльнаго челоѳѣка и цѣлыхъ обществъ зависятъ отъ ихъ познаній о мірѣ<sup>264</sup>.

<sup>263</sup>) II, 49.

<sup>264</sup>) II, 279.

Доказательства этой истины существуют очень внушительныя. Никто, напримѣръ, не усомнится, что религиозныя жестокости и безумства среднихъ вѣковъ развивались на почвѣ—непроницаемой умственной тьмы—и вообще всякій фанатизмъ, всякая нетерпимость и исключительность питаются непремѣнно заблужденіями насчетъ преслѣдуемыхъ явленій, или научнымъ невѣжествомъ, или ограниченностью идейнаго кругозора.

Но изъ этого правила отнюдь нельзя выводить необходимой, по законамъ природы неотразимой связи нравственности и научнымъ прогрессомъ. Это чрезвычайно сложный вопросъ, не поддающійся рѣшенію на основаніи какихъ угодно краснорѣчивыхъ историческихъ примѣровъ. Противъ каждаго изъ нихъ можно представить другой, совершенно противоположнаго смысла, и наблюдателю исторической эволюціи весьма нѣрѣдко приходится вспомнить извѣстную идею Вико о кругообразномъ движеніи человѣческаго прогресса. Въ началѣ и въ концѣ круга царствуетъ варварство: одно только дикое, непосредственное, инстинктивное, другое чисто-эгоистическое, разсудочное, можно бы сказать, практикуемое по правиламъ науки. И не нашему времени, безпрестанно внимающему призывамъ къ національной и расовой борьбѣ, призывамъ изъ самыхъ ученыхъ устъ—успокаиваться на столь простой, красивой и утѣшительной вѣрѣ: знаніе есть нравственность или наука есть гуманность. Мы будемъ имѣть возможность выразить сомнѣніе, по крайней мѣрѣ, въ неограниченномъ приложеніи этихъ истинъ, на основаніи умозаключеній позднѣйшихъ шестидесятниковъ, безраздѣльно преданныхъ послѣдователей философіи Бюкля.

Но Добролюбовъ не принадлежитъ къ этому направленію и его воззрѣніе сводится въ сущности къ нагляднѣйшей истинѣ: просвѣщеніе необходимо для развитія убѣжденій и нравственной силы осуществлять ихъ. И этого для насъ вполне достаточно: мы видимъ, критикъ вовсе не «естественный человѣкъ» въ духѣ Руссо, онъ понимаетъ значеніе цивилизаціи и умѣетъ отвести ей надлежащее мѣсто даже въ своемъ восторженномъ культѣ *природы* и *самобытности*. Естественныя силы, облагороженныя наукой и умственнымъ развитіемъ, личная органическая воля, направленная сознательно и свободно воспринятымъ просвѣщеніемъ—это безспорный идеалъ гуманности и прогресса. Онъ, конечно, не новъ: на немъ сосредоточивалась работа Бѣлинскаго, но на каждомъ шагѣ глѣдуетъ привѣтствовать людей, толково и честно защищающихъ уже выработанныя истины и не истощающихъ свои

силы на суетную жажду, во что бы то ни стало поразить міръ оригинальностью и отвагой. Такъ именно будутъ дѣйствовать опрометчивые расточители добролюбовскаго наслѣдства: самъ Добролюбовъ вполнѣ основательно предпочиталъ скромную, но плодотворную роль воскрешенія русской общественной мысли въ духѣ недавняго но почти забытаго прошлаго.

Это не малая заслуга, но Добролюбовъ не остался безупречнымъ до конца на этомъ пути. Безъ всякихъ подробныхъ сопоставленій вполнѣ ясно, что его разсужденія по поводу Катерины сплошное недоразумѣніе съ его собственной точки зрѣнія на значеніе убѣжденій и умственнаго развитія. Писаревъ рѣшительно разошелся съ Добролюбовымъ въ оцѣнкѣ личности Катерины и на совершенно убѣдительномъ основаніи: «сильный развитой умъ» непремѣнный признакъ «свѣтлыхъ явленій». Этотъ взглядъ не противорѣчилъ педагогическимъ взглядамъ Добролюбова и его въ высшей степени рѣзкой общественной программѣ. Очевидно, страдальческій и трогательный образъ Катерины оказалъ рѣшительное дѣйствіе на симпатическую сторону таланта Добролюбова и перетянулъ вѣсы въ пользу бессознательной, непосредственной стихіи въ ущербъ разуму и идеямъ.

Критикъ не разглядѣлъ *инстинкческаго* характера поразившей его нравственной силы Катерины,—даже больше—впалъ самъ въ своего рода гипнозъ, предъ этой на самомъ дѣлѣ призрачной силой. Катерина—страстный темпераментъ, а не нравственная сила. Такой силы, какъ въ другихъ случаяхъ отлично понималъ самъ критикъ, и не можетъ быть при одной инстинктивности, чувствъ и дѣйствій. Духовная жизнь Катерины загромождена ужасами и видѣніями, навѣянными дикой болтовней странницъ и кликушъ. Она смотритъ на міръ сквозь густой туманъ суевѣрій и предразсудковъ «темнаго царства». Она законное дѣтище этого царства и только врожденная страстность въ самомъ прямомъ смыслѣ слова мѣшаетъ ей окончательно превратиться въ жертву родного самодурства. Правда, страстность Катерины не лишена поэтической мечтательности, особенно въ ранней молодости, но женская любовная страсть, если она естественна и искренна, всегда поэтична, но, конечно, вовсе не свидѣтельствуетъ о какой-то исключительной натурѣ и силѣ.

Катерина усиленно доказываетъ опрометчивость своего критика-поклонника въ теченіе всей драмы. Она, не находя исхода своимъ порывамъ, грозитъ убѣжать изъ дому и въ заключеніе рѣ-

шается утопиться. Въ этотъ моментъ энтузіазмъ критика достигаетъ высшаго полета и смерть Катерины напутствуется восклицаніемъ: «Вотъ высота, до которой доходитъ наша народная жизнь!..»

X На этотъ восторгъ можно замѣтить: ничего не было бы жалче нашего народа, если бы онъ не ушелъ дальше «натуры» Катерины и ея способности утопиться. Такой народъ остался бы безплоднымъ явленіемъ въ исторіи человѣческой культуры, гдѣ потребны не бѣгства и самоубійства, а борьба и то безкорыстное увлеченіе идеей, какое только, по словамъ Канта, и доказываетъ возможность прогресса человѣческаго рода. Катерина,—замѣчаетъ самъ Добролюбовъ, не думаетъ о сопротивленіи, потому что не имѣетъ достаточно оснований для этого. Совершенно справедливо! И Катерина не только не противорѣчитъ основамъ темнаго царства, а даже доказываетъ ихъ непреодолимую силу, и не одной своей смертью, а именно своимъ характеромъ «инстинктивностью своей натуры», «не имѣющей достаточно оснований для сопротивленія», «боязнью за каждую свою мысль». Можно въ какой угодно степени признавать симпатичность Катерины, но нѣтъ никакихъ нравственныхъ и психологическихъ оснований признавать какое-либо вліяніе этой личности на просвѣщеніе «темнаго царства».

Недоразумѣніе Добролюбова въ идеализаціи Катерины тѣмъ печальнѣе, что онъ увидѣлъ въ ней послѣднее слово русскаго народнаго характера. Надо знать, на какую высоту ставилъ критикъ народъ, какъ нравственную и культурную силу, чтобы оцѣнить смыслъ его увлеченія.

X Среди всѣхъ шестидесятниковъ, Добролюбова можно назвать народникомъ по преимуществу. До послѣдней степени служивая практическую инициативу литературы, критикъ съ особенной горечью укоряетъ ее за ея бесполезность для народа, за ея равнодушіе къ народу, за ея непониманіе народнаго міросозерцанія.

Историки не умѣютъ и не хотятъ смотрѣть на событія съ точки зрѣнія народныхъ выгодъ, изслѣдовать, что проигралъ или выигралъ народъ въ извѣстную эпоху. Политическая экономія заботится только о накопленіи и употребленіи капитала, т. е. служить только плану капиталистовъ и обращаетъ весьма мало вниманія на массу безкапитальныхъ тружениковъ. Даже поэзія увлекалась преимущественно возвышенными личностями и сторонилась отъ простаго люда, и Добролюбовъ подвергаетъ критикѣ русскую литературу подъ авторитетомъ народнической идеи. Его приговоры

надъ большими, но не демократическими талантами безпощадны, напримѣръ, надъ Державинимъ, Карамзинымъ, Жуковскимъ, даже надъ Пушкинымъ. Именно по поводу этого поэта критикъ превозноситъ «простое чувство, какимъ обладаетъ народъ» и какого, по мнѣнію Добролюбова, не было у Пушкина съ его генеалогическими предразсудками и эпикурейскими наклонностями. Правда, критикъ и здѣсь остается вѣренъ своему ослѣпленію насчетъ будто бы чрезвычайно яростнаго народолюбія Беранже: но это благодаря просто недостаточному знакомству съ предметомъ—сущность направленія вполне ясна. Порывъ народническаго чувства до такой степени силенъ, что Добролюбовъ перечиркиваетъ всю русскую сатиру, кромѣ гоголевской, какъ не народную, и о Чацкомъ судить съ точки зрѣнія критиковъ промежуточнаго періода, великихъ враговъ всякаго безпокойства и протеста. Критикъ могъ бы сообразить, что существуетъ же извѣстная разниа между гнѣвомъ Фамусова на Кузнецкій мостъ и проповѣдями Чацкаго противъ мракобѣсія.

Добролюбовъ неистощимъ на открытія совершенствъ въ душѣ народа. Его контрасты снова напоминаютъ самыя мрачныя выходы Руссо противъ цивилизованнаго общества во имя естественнаго человѣка. У народа глубокое чувство, неисчерпаемый источникъ живыхъ нравственныхъ силъ. Даже дѣти народа всегда вѣрны природѣ и здравому смыслу, пока вышняя сила, т. е. «пособія новѣйшей цивилизаціи» не «угомонитъ» этихъ добродѣтелей. Это совершенно въ духѣ XVIII-го вѣка, страстно любившаго изображать эффектныя группы изъ добродѣтельныхъ и непосредственныхъ крестьянскихъ мальчиковъ и въ концѣ испорченныхъ юныхъ сеньеровъ. Но, разумѣется, подобное совпаденіе нисколько не мѣшаетъ идеѣ быть значительной и правдивой одинаково и въ шестидесятые года и столѣтіемъ раньше. Оно только доказываетъ удрученную медлительность европейскаго прогресса даже въ области, повидимому, совершенно безспорныхъ истинъ. Добролюбовъ вынужденъ съ изумительной точностью повторять всѣ отзывы старыхъ писателей о народѣ. Онъ настаиваетъ на способности крестьянина къ глубокимъ и тонкимъ чувствамъ, на его отвращеніи къ риторикѣ и всему показному, о подлинной *деликатности* крестьянской души, о безусловномъ

<sup>263)</sup> I, 507—9 etc. Статья *О степени участія народности въ развитіи русской литературы*. III, 388 etc. Статья *Черты для характеристики русскаго простонародья*.

джентльмэнствѣ крестьянъ во взаимныхъ отношеніяхъ, о возвышенной житейской философіи народа, по природѣ враждебнаго ко всякому тунеядству, о разумномъ дѣйствительно карающемъ общественномъ мѣщеніи деревни, совершенно не похожемъ на сплетни и работѣіе высоко-просвѣщенныхъ горожанъ. Добролюбовъ идетъ еще дальше: онъ находитъ въ народѣ несравненно больше терпимости, меньше формализма и педантической привязчивости въ вопросахъ нравственныхъ. Бѣднякъ можетъ въ воскресенье вмѣсто церкви отправиться работать на свою полосу, но зато дѣйствительные нравственные грѣхи судятся очень строго. И среди крестьянъ забота о доброй славѣ встрѣчается чаще, чѣмъ въ другихъ сословіяхъ, и «въ видѣ болѣе нормальномъ» ..

Все это—старыя нѣсни, но для русскихъ литературныхъ и читательскихъ ушей шестидесятыхъ годовъ онѣ должны были звучать смѣлой идеальной новизной. Критикъ обсуждаетъ великіе и вѣчные вопросы политики и нравственности, и рѣчь его поражала задухновенностью, простотой, нерѣдко художественной картинностью. Въ одномъ только отношеніи даже истинные народолюбцы должны были ощутить нѣкоторое опасеніе.

Публицистъ избралъ обычный и простѣйшій путь—живописать народныя совершенства, путь контрастовъ, сопоставленія природы и цивилизаціи, крестьянъ и интеллигентовъ, деревни и города. Этотъ путь всегда, во всѣхъ вопросахъ, легко приводитъ къ увлеченіямъ и невольному сгущенію красокъ.

Несомнѣнно, свѣтское и чиновничье общество пренебрежено жалкихъ интересовъ и низменныхъ страстишекъ; оно лишено воли и истиннаго просвѣщенія, образованность его грошова, правила нравственности—попугайство и рутина. Все это справедливо и все это превосходно выяснено именно русской сатирой, можетъ быть, и не особенно усердно прославлявшей народъ, но зато съ неуклоннымъ постоянствомъ клеймившей какъ разъ грошовую образованность и попугайство. У критика на этомъ поприщѣ имѣются многочисленные предшественники и авторитетнѣйшіе учителя. Но одно только обстоятельство нуждается въ оговоркѣ. Зачѣмъ критикъ такъ усиленно налегаетъ на «тощіе и жалкіе выводы неудавшейся цивилизаціи» и на «свѣжіе здоровые ростки народной жизни»? Сущность идеи—сама истина, но, при малѣйшемъ желаніи, ничего не стоитъ какому-нибудь фетишисту-народолюбцу приударить на цивилизацію и свѣжее здоровье. Полу-

чится рядъ жупеловъ, до сихъ поръ не выправленныхъ окончательно изъ русской литературы. Они воцарились здѣсь еще въ теченіе тѣхъ же шестидесятихъ годовъ, составили символъ вѣры народнической шехерезады.

Мы не желаемъ обвинять Добролюбова въ соучастіи, но онъ одновременно выпустилъ въ свѣтъ двѣ поэмы лирическаго содержанія. Въ одной, по поводу разсказовъ Марка Вовчка, возставаъ величественный сіяющій обликъ народа, въ другой, по поводу *Грозы* Островскаго, данъ высшаго удивленія получаъ инстинктъ. Нельзя сказать, чтобы отъ этихъ эффектовъ было слишкомъ далеко до настоящаго «почвеннаго» народничества, склоннаго въ первобытныхъ порывахъ «мужичка» уаръть евангеліе новой культуры и съ беззавѣтностью только что полученнаго религіознаго откровенія—унижать цивилизацію и блескомъ міровой истины окружать «мускульный трудъ».

Мы, разумѣется, отдаемъ себѣ совершенно ясный отчетъ въ благородныхъ намереніяхъ нашего критика. Но благородство намереній далеко не всегда обезпечиваетъ достодожную полноту и цѣльность идей и частныхъ цѣлей. Даже восторги предъ Беранже у Добролюбова, конечно, вполне рыцарскаго происхожденія, но это не мѣшаетъ имъ быть пятномъ на чистомъ, прогрессивномъ, истинно-идеалистическомъ міросозерцаніи критики. Время устранило бы ложь и осмыслило бы увлеченія. Оно, несомнѣнно, привело бы въ болѣе стройный порядокъ и народническую философію Добролюбова. Теперь она остается предъ нами съ весьма значительными пробѣлами и слишкомъ поспѣшно обработанными частностями.

### XXXVII.

Жертвой пробѣловъ и поспѣшности въ добролюбовскомъ народническомъ лиризмѣ явился одинъ изъ первостепенныхъ современныхъ писателей, Писемскій, и при самыхъ странныхъ обстоятельствахъ.

Мы только что видѣли, съ какой щедростью критикъ увѣнчиваъ народную природу и нравственность. Онъ открылъ въ народной психологіи рѣшительно всѣ сокровища человѣчности и существенныя основы гражданственности. «Народъ способенъ ко всевозможнымъ возвышеннымъ чувствамъ и поступкамъ наравнѣ съ людьми всякаго другаго сословія если еще не больше».



И на основаніи этого, по мнѣнію критика, неопровержимаго факта, онъ настаиваетъ на сближеніи съ народомъ людей мысли и слова, на довѣрїи къ народу, къ его силамъ. Народъ непремѣнно пойметъ, въ чемъ заключается благо и не откажется отъ него по лѣни или малодушію.

Если такъ, тогда какая злополучная тѣнь могла заслонить въ глазахъ Добролюбова жизненное, глубоко-народное творчество Писемскаго? Какъ нашъ критикъ могъ не понять величавой, истинно-трагической личности Ананія Яковлева? Какъ онъ позволилъ себѣ изложить содержаніе *Горькой Судьбины* по тому самому методу, какой, напримѣръ, употребляли классическіе критики въ судъ надъ драмами Шекспира или баронъ Брамбеусъ въ приговорахъ надъ произведеніями Гоголя? Добролюбовъ извлекаетъ изъ драмы Писемскаго жестокой остоуъ и сознается въ своемъ непониманіи, почему *Горькую Судьбину* ставятъ выше посредственности? Очень откровенно, и весь дальнѣйшій разговоръ критика о пьесѣ обнаруживаетъ дѣйствительно рѣдкостное непониманіе одного изъ самыхъ яркихъ явленій русской литературы. Ананій Яковлевъ—«малодушное исключеніе», Чеголовъ—фигура невозможная въ русской жизни! Останься послѣ Добролюбова только эти изрѣченія, его имя не пережило бы и той книги журнала, гдѣ они нашли пріютъ. Очевидно, критикъ не счелъ нужнымъ вдуматься даже въ фактическое содержаніе драмы, прикинуть къ ней наивный романтическій масштабъ сверхъестественной нравственной силы и заключилъ: «Богъ съ ней съ этой пьесой: она забыта теперь!..» Время жестоко отвѣтило на эту историческую ложь <sup>266</sup>).

Не понялъ или не пожелалъ понять Добролюбовъ и другихъ народныхъ созданій Писемскаго. Онъ нашелъ возможнымъ превознести самоубійство Катерины, признать его даже высшимъ проявленіемъ народной души, но когда героиня Писемскаго идетъ въ монастырь послѣ разбитой жизни, для него это забавно: будто Лиза *Дворянскаго иньзда!* Отчего же тогда о Катеринѣ нельзя сказать: будто Офелія у Шекспира!

Дальше. Въ повѣстяхъ Вовчка Добролюбовъ восхищается еще другой Катериной. У этой также жизнь не задалась, но она не прибѣгла ни къ самоубійству, ни къ затворничеству, а придумала вѣчто несравненно болѣе хитрое и свойственное «благовоспитан-

<sup>266</sup>) Подробно о *Горькой судьбинѣ* въ нашей книгѣ *Писемскій*, стр. 146 etc.

ному обществу», какъ презрительно выражается Добролюбовъ по поводу героини Писемскаго. Катерина, у Марка Вовчка, рѣшила подвизаться въ мірѣ, спастись отъ душевной пустоты и одиночества въ дѣлахъ благотворенія, общей пользы. Она становится тѣ-каркой и въ сочувствіи и помощи чужому горю забываетъ свою бѣду. И даже разсуждаетъ на этотъ счетъ, какъ по писаному, и проводитъ свою жизнь, исповѣдуя несчастныхъ и испѣляя ихъ отъ тѣлесныхъ и нравственныхъ немощей...

Вотъ это дѣйствительно [возвышенно, пожалуй, сверхъ мѣры или, по крайней мѣрѣ, исключительно и необыкновенно. Добролюбовъ согласенъ, что большинство не похоже на Катерину, но онъ не считаетъ ея явленіемъ небывалымъ, напротивъ, она именно даетъ ему темы для народолюбческихъ изліяній... Послѣдовательно ли все это—отрицать у крестьянки рѣшимость пойти въ монастырь и въ тоже время признать за ней способность достигать высшаго идеала, возможнаго для человѣческой природы: служеніемъ обществу испѣлять личныя раны своего сердца?

Наконецъ, еще одинъ, едва ли не тягчайшій грѣхъ критика все предъ тѣмъ же авторомъ.. Страстно защищая свободу художественнаго творчества, Добролюбовъ, по излюбленному способу, и здѣсь нашелъ контрастъ своей идеѣ; романъ Писемскаго *Тысяча душъ* самое тенденціозное сочиненіе и «общественная сторона этого романа насильно пригнана въ заранѣе сочиненной идеѣ». О романѣ, слѣдовательно, не стоитъ и толковать <sup>267)</sup>.

И, замѣтите, таковъ романъ Писемскаго по сравненію съ повѣстью Тургенева *Наканунъ*! Ужъ если говорить объ идеѣ, то, на всякій непредубѣжденный взглядъ, она несравненно болѣе придумана въ фигурахъ Елены и Инсарова, чѣмъ Настеньки и Калиновича. И *Наканунъ* служило программой для разнообразной и горячей публицистики о самыхъ жгучихъ вопросахъ русской общественности. Самъ Добролюбовъ доказалъ это своей статьей *Когда же придетъ настоящий день?* А у Писемскаго такая чисто-эпическая картина провинціальныхъ потемокъ, что, кажется, именно Добролюбовъ, съ своимъ искусствомъ разлагать художественное произведеніе на вереницу публицистическихъ мотивовъ, долженъ бы почувствовать особенную признательность къ такому автору. Нельзя же вѣдь, при самомъ поверхностномъ знакомствѣ съ русской литературой, не признать Писемскаго. *Тысячи*

<sup>267)</sup> III, 277.

дуизъ единственнымъ соперникомъ Гоголя въ изображеніи пошлости и мелочности человѣческой. Наконецъ, если Островскій захватилъ нашего критика изображеніями «темнаго царства»,—неужели Писемскій могъ пройти безслѣдно съ его единственной по полнотѣ галлереей дореформенныхъ уродовъ обывательскаго и чиновничьяго типа?

Очевидно, предъ нами опять увлеченіе и недоразумѣніе, и на этотъ разъ на столько значительныя и опрометчивыя, что ихъ можно сравнить только съ самыми ранними историко-литературными упражненіями Добролюбова, *статьями о литературѣ екатерининскаго времени*. Здѣсь начерчена поразительная характеристика сѣверной Семирамиды, ничѣмъ не уступающая пѣтическому пѣанству вдохновенныхъ мурзъ императрицы-богини. Чего только не нанизалъ молодой историкъ въ свое баснословное ожерелье: и «просвѣщенная терпимость въ дѣлѣ литературы», и необыкновенно проникательное и возвышенное отношеніе къ современнымъ литераторамъ и обществу и, однимъ словомъ, «великая Екатерина». Это писалось въ 1856 году; три года спустя критикъ успѣлъ dorости до заявленія по поводу той же «великой Екатерины»: «теперь уже нужны не диѣирамбы, не безотчетныя хвалы, а безпристрастное и спокойное разсмотрѣніе фактовъ того времени во всей ихъ полнотѣ» <sup>268</sup>).

И насчетъ «великаго вѣка» Добролюбовъ больше не могъ впасть въ неосновательныя настроенія. Не можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣнія, критикъ пришелъ бы къ дѣйствительно реальнымъ взглядамъ и на всѣ другіе вопросы, пока оставшіеся для него или не вполне ясными или получавшіе слишкомъ скорые и недостаточно фактическіе отвѣты. За такое будущее добролюбовской критики мы можемъ поручиться, полагаясь преимущественно на личную психологію Добролюбова. Русская литература въ наслѣдникъ Бѣлинскаго могла привѣтствовать такого же благороднаго и убѣжденнаго дѣятеля слова, какимъ былъ самъ неистовый Виссаріонъ. Правда, наслѣднику не доставало именно этого геніальнаго неистовства, не доставало молніеносныхъ идейныхъ вдохновеній, мощной самобытности мышленія и всей нравственной природы. По всѣмъ главнымъ направленіямъ публицистики и критики у Добролюбова есть предшественники и руководители: Бѣлинскій завѣщалъ ему свою эстетику, Чернышевскій

<sup>268</sup>) I, 37, 39, 45. 109.

внушилъ ему свою философію. И мы могли видѣть, Добролюбовъ далеко не сразу разобрался и въ наслѣдствѣ и въ непосредственныхъ внушеніяхъ. Смерть его застала среди разлада и разброда *отдѣльных* культурныхъ и художественныхъ взглядовъ. Мы подчеркиваемъ *отдѣльных*, потому что *принципы* у Добролюбова непоколебимы отъ начала до конца и намъ не представило ни малѣйшихъ затрудненій, выдѣлить ихъ въ самой ясной и полной формѣ изъ неудовлетворительныхъ и смутныхъ частныхъ.

Въ результатѣ, Добролюбовъ, какъ литературный критикъ, долженъ быть признанъ *практикомъ* по преимуществу. Ему русская литература обязана обширнѣйшими приложеніями реальной мысли, выработанной предыдущей публицистикой. Никто до него и послѣ него не развернулъ такого искусства *толковать* вдохновеніе и творчество художниковъ. Никто съ такимъ постоянствомъ, съ такимъ увѣреннымъ спокойствіемъ и съ такимъ по истинѣ политическимъ тактомъ не умѣлъ поэтическими произведеніями пользоваться, какъ данными своеобразнаго знанія и своимъ всеосвѣщающимъ анализомъ поэзію возвышать до уровня науки. Статьи *Темное царство* и *Черты для характеристики русскаго престоначальства* надолго останутся первостепенными образцами критики, сливающей во едино чуткость художественнаго воспріятія и глубину общественной мысли.

Въ извѣстномъ смыслѣ, Добролюбова въ критикѣ можно сравнить съ Гоголемъ. Принципы художественнаго реализма были извѣстны и до *Мертвыхъ душъ*, прелести фламандской живописи прекрасно понималъ Пушкинъ, но только Гоголю суждено было окончательно закрѣпить торжество школы безсмертными образцами реального вдохновенія. Истина получила рядъ незабвенныхъ иллюстрацій, и съ этого времени стала считать свою неограниченную популярность обезпеченной.

Приблизительно то же самое произошло и въ критикѣ.

Бѣлинскій, мы видѣли, снабдилъ Добролюбова всѣми основами критическаго реализма. Но великому критику пришлось слишкомъ долго расчищать дѣвственный или засоренный путь русской публицистики. Къ вѣтшней, крайне трудно податливой работѣ присоединился философскій строй натуры Бѣлинскаго, вдохновлявшій его при всякомъ даже мелкомъ литературномъ фактѣ на величественныя обобщенія и на изслѣдованія первоисточника извѣстнаго рода явленій. Бѣлинскій чувствовалъ пробѣлы своей слишкомъ *общей* критической дѣятельности и его до конца дней не поки-

дала мысль, написать исторію русской литературы. Здѣсь установленные принципы получили бы обширное частное примѣненіе и критическій реализмъ владѣлъ бы богатѣйшимъ запасомъ художественно-публицистическихъ анализовъ.

Бѣлинскій не успѣлъ выполнить своего плана, Добролюбовъ занялъ его мѣсто и докончилъ развитіе реальной критики. Эта заслуга останется незабвенной въ исторіи русской литературы. Мало этого: она должна считаться настоящимъ подвигомъ, при тѣхъ нравственныхъ условіяхъ, въ какихъ совершалась работа юнаго писателя. Мы видѣли, ими въ сильной степени объясняются многія опрометчивыя сужденія критика. Добролюбовъ дѣйствительно несъ крестъ, неустанной умственной работой заглушая естественную жажду молодого личнаго счастья. Въ каждой мысли и въ каждомъ словѣ трепетало обездоленное одинокое сердце и подчасъ душевный мракъ нарушалъ равновѣсіе мысли и могъ заглушить свѣтлый критическій анализъ. Но такихъ мгновений, свидѣтельствующихъ будто о хаосѣ въ сильной и стойкой нравственной природѣ Добролюбова, оказалось немного и историкъ долженъ воздать великую честь волѣ и разуму писателя, не окрашивавшаго въ цвѣтъ личныхъ настроеній своихъ писательскихъ идей. Только близкіе люди знали, на какой Голгоѣ совершалось дѣло просвѣщенія и бескрыстной гуманности, и Чернышевскій могъ заключить некрологъ своего безвременно угасшаго друга простыми, но глубоко-трагическими словами:

«Ему было только 25 лѣтъ, но уже четыре года онъ стоялъ во главѣ русской литературы».

«Для своей славы онъ сдѣлалъ довольно. Для себя, ему незачѣмъ было жить дольше. Людямъ такого закала и такихъ стремленій жизнь не даетъ ничего, кромѣ жгучей скорби» <sup>269</sup>).

Но за то самъ Добролюбовъ отдалъ всего себя жизни, въ самомъ идеальномъ смыслѣ этого слова, духовной жизни своей родины и своего времени. На смѣну ему придутъ люди, болѣе счастливые, свободные отъ всякой жгучей скорби. Они объявятъ себя наслѣдниками его, изнемогаго въ трудѣ и горѣ, но они не завѣщаютъ потомству того прочнаго и немеркнущаго свѣта, какимъ сіяла быстро сгорѣвшая подвижническая душа самаго молодого и самаго совершеннаго представителя критики шестидесятыхъ годовъ.

<sup>269</sup>) *Современникъ*. 1861 года, декабрь.

## XXXVIII.

Изъ всѣхъ человѣческихъ добродѣтелей самой странной и сомнительной славой пользуется умѣренность и аккуратность, золотая середина и благоразуміе. Достаточно выговорить все это, чтобы нашему воображенію представился далеко непривлекательный образъ—солиднаго непоколебимо трезвеннаго мужа, всѣми нервами своей души привязаннаго къ «порядку»—во всѣхъ смыслахъ этого слова, чувствующаго органическую оторопь и беспокойство предъ всякой не особенно шаблонной идеей и не вполне общепринятымъ дѣйствіемъ. Въ какой тошнотный и нудный процессъ превратилась бы жизнь, если бы исключительно отъ этихъ мудрецовъ зависѣло ея содержаніе и теченіе! И наша литература не уставала преслѣдовать ихъ самыми жестокими чувствами, обзывая аккуратныхъ умницъ—Молчалиными, а ихъ добродѣтель «холопскимъ недугомъ».

И литература права.

Тамъ, гдѣ дѣйствительность сама по себѣ безукоризненно умѣренна и благоразумна, гдѣ высшіе перлы ея созданія—Фамусовы всевозможныхъ типовъ и специальностей,—тамъ умѣренность и середина граничатъ и даже сливаются съ подлинной пошлостью и безличіемъ. Это справедливо не только относительно русскаго общества и русской канцеляріи. Въ европейской исторіи навсегда останется трагикомическимъ воспоминаніемъ цѣлый періодъ французской внутренней политики, слѣдовавшій за іюльской революціей. Онъ по преимуществу носитъ наименованіе эпохи золотой середины и блещетъ всѣми талантами и проявленіями мудраго опыта и житейскаго благоразумія.

Франція, во всѣ вѣка изобиловавшая чрезвычайно разсудительными мѣщанами, никогда, кажется, не производила столь совершеннаго представителя, національнаго генія, какъ ученый историкъ и государственный мужъ—Гизо. Какая удивительная твердость взгляда, какая героическая прямолинейность поступковъ и вызывающая отвага рѣчей! Ты, мое милое отечество,—говорилъ строгій педагогъ, обращаясь къ Франціи,—достаточно накуралесило своими революціями,—теперь должно сидѣть смирно и съ благодарностью принимать всѣ опыты и отместки, какіе угодно будетъ производить надъ тобой умнымъ и умѣреннымъ господамъ. Всѣ твои идеальныя увлеченія, разныя химеры на счетъ народнаго блага и настоящей народной свободы—чистѣйшее

легкомысліе, преступныя крайности. Истина и счастье—въ золотой срединѣ, т.-е. въ достаточно обезпеченной движимой и недвижимой собственности и въ соответствующемъ образѣ мыслей. Правда, разные шелкоперы полагаютъ иначе, но они въ сущности не имѣютъ даже права вообще что-либо полагать. Пусть сначала наживутъ состояніе, съ котораго казна могла бы взимать по крайней мѣрѣ двѣсти франковъ ежегоднаго налога, тогда мы посмотримъ! Станутъ ли они разговаривать о бѣдственномъ положеніи пролетарія! Мы думаемъ, нѣтъ: двухсотъ франковый налогъ достаточное ручательство за умѣренность убѣжденій и аккуратность поведенія.

Въ такомъ смыслѣ изо дня въ день, въ теченіе многихъ лѣтъ, ораторствовалъ государственный мужъ, упорно не желая протереть очковъ и взглянуть на міръ съ нѣсколько менѣе возвышенной точки зрѣнія. Міръ, наконецъ, потерялъ терпѣніе и однимъ могучимъ движеніемъ, на какое только способна независимая правда жизни, нахлобучилъ колющій на нестерпимо ясное чело. Съ тѣхъ поръ *золотая середина* стала во Франціи чуть ли не браннымъ словомъ и ея искреннѣйшіе прирожденные исповѣдники обѣгаютъ злополучный терминъ, подмѣняя его другими менѣе зазорными, вродѣ политики здраваго смысла, примирительная политика и т. п.

Результатъ опять вполне заслуженный.

Распинались во славу умѣренности и аккуратности въ обществѣ лавочниковъ и биржевиковъ, ежеминутно твердить о порядкѣ и социальномъ чинопочитаніи купонныхъ и вексельныхъ дѣлъ мастерамъ, по меньшей мѣрѣ то же самое, что съ московскимъ тузомъ ужасаться потрясенія основъ и поруки патриотизму. Но бывають совершенно другія положенія, когда умѣренность является въ высшей степени рѣдкой, въ полномъ смыслѣ культурной и политической добродѣтели, когда средній образъ мыслей дѣйствительно становится золотымъ и чрезвычайно трудно достижимымъ.

Это повторяется неизмѣнно во всѣ времена глубокихъ преобразовательныхъ теченій. Всякая новая идея, отрицающая отжившій строй жизни, уже сама по себѣ обладаетъ великимъ интересомъ, исполнена естественнаго очарованія для всякаго божіе или менѣе чуткаго ума. Независимо отъ ближайшей практической цѣльности, она увлекаетъ новизной перспективы, смѣлостью и оригинальностью своихъ плановъ, -всей поэзіей надежды и вѣры. И увле-

ченіе тѣмъ стремительнѣе, чѣмъ упорнѣе сопротивленіе стараго новому и чѣмъ настоятельнѣе и яснѣе необходимость устранить старое.

При такихъ условіяхъ кто и гдѣ съ неопровержимой убѣдительностью укажетъ предѣлы, какихъ не должны переходить новые идеалы? Независимо отъ психологіи идеалистовъ,—сама идея одарена способностью неограниченнаго, вполне логическаго развитія. На извѣстной стадіи, она по мнѣнію иныхъ, переходитъ въ негѣпость, но это не вина логическаго процесса и не иззянъ мышленія чловѣка, сдѣлавшаго извѣстный выводъ. Негѣпость открыта *внѣшней* критикой, практическими соображеніями, здравымъ смысломъ, а не наслѣжена въ самомъ раскрытіи идеи. Слѣдовательно, вѣтъ *логической* необходимости подчиняться этой критикѣ, и мыслитель предоставленъ исключительно личному благоусмотрѣнію, своимъ личнымъ наклонностямъ въ рѣшеніи вопроса, какое заключеніе вполне соответствуетъ исходному положенію.

Очевидно, идейныя крайности, то что обыкновенно называется *радикализмомъ*, во всѣхъ областяхъ мысли въ философіи и въ политикѣ—*теоретическое* явленіе вполне послѣдовательное. Оно такое же звено логическаго процесса, какъ и всякій другой умѣренный, *либеральный* выводъ. Совершенно иной смыслъ радикальная идея можетъ имѣть въ непосредственномъ приложеніи къ жизни, въ своемъ фактическомъ осуществленіи. Здѣсь онъ можетъ обнаружить полную практическую бесплодность, непримиримое противорѣчіе съ реальными запросами преобразуемаго порядка вещей, вообще проявить всѣ недостатки чистой абстракціи.

|| Этотъ результатъ далеко не всѣмъ умамъ можетъ представляться безусловно убѣдительнымъ. Теорія, положимъ, не осуществима, но такой приговоръ имѣетъ значеніе только для давнаго момента. Среда можетъ измѣниться и оказаться способной воспріять идею, въ настоящее время ей чуждую. Такъ это дѣйствительно и бывало съ весьма многими идеями, производившими на современниковъ впечатлѣніе совершенно неудобопріемлемой негѣпости, и позже доживавшими до общаго признанія.

Слѣдовательно, даже на взглядъ практики и здраваго смысла радикализмъ не можетъ быть признанъ совершенно безнадежнымъ, онъ въ состояніи призвать въ свою защиту историческій опытъ и свое право на существованіе связать съ идеей прогресса, обязательной и для самаго умѣреннаго либеральнаго мышленія.



Легко представить, до какой степени по самому существу вопроса усложняется задача положительного или отрицательного отношения къ крайнимъ идейнымъ слѣдствіямъ какого-либо принципа. Исторія неоднократно засвидѣтельствовала этотъ фактъ и въ самыхъ эффектныхъ формахъ. Она рассказала не одну драматическую ожесточенную борьбу между представителями одного и того же освободительнаго движенія, только остановившихъ свой логическій процессъ на разныхъ пунктахъ. И нерѣдко именно эта разниа превращала радикализмъ въ болѣе послѣдовательнаго и безпощаднаго противника людей умѣренныхъ воззрѣній, чѣмъ даже убѣжденный консерватизмъ. Эти явленія особенно поучительны именно въ нашихъ цѣляхъ. Они помогутъ намъ безпристрастно разобраться въ крайне запутанномъ и до сихъ поръ болѣзненно-трепещущемъ вопросѣ.

Намъ предстоитъ стать лицомъ къ лицу съ людьми неограниченной смѣлости въ теоретическихъ умозаключеніяхъ, исполненныхъ смертельной ненависти къ малѣйшему призраку *филистерства*, въ какихъ бы то не было вопросахъ,—литературныхъ, нравственныхъ, политическихъ. А филистерство—это значитъ уступка со стороны прямолинейнаго отвлеченія въ пользу дѣйствительности, сдѣлка силлогизма съ жизнью, такъ называемаго научнаго вывода съ непосредственнымъ чувствомъ. *Нигилизмъ*—такова кличка, данная новому воинственному направленію современнымъ художникомъ, и кличка, очевидно, чрезвычайно меткая. Ее немедленно усвоили и сами герои и ихъ враги. У иностранцевъ она превратилась въ исключительную характеристику русскаго отрицательнаго движенія. Въ журнальной литературѣ шестидесятыхъ годовъ создала цѣлый особый лагерь фанатическихъ преслѣдователей нигилизма, какъ явленія небывало уродливаго, противоестественнаго въ нравственномъ и историческомъ смыслѣ. И позже, на пространствѣ десятилѣтій русскій умѣренный и благонамѣренный гражданинъ при одномъ намекѣ на нигилистовъ переживалъ все тѣ же невыносимо жестокія чувства, какія тургеневскій «сынъ» въ теченіе нѣсколькихъ минутъ разговора успѣваетъ зажечь въ груди самаго респектабельнаго и культурнаго «отца».

Разумны ли эти чувства и существуетъ ли достаточное основаніе возводить понятіе «нигилиста» на степень жупела?

Не требуется пространныхъ разсужденій, чтобы дать рѣшительно отрицательный отвѣтъ. Стоитъ только припомнить важнѣйшіе моменты европейской поступательной мысли, и типъ «ни-

гилиста» поразить насъ своей почтенной исторической давностью, и менѣе всего уродливыми исключительными чертами.

Намъ говорить—это дикая монгольская сила. Разрушеніе—ея стихія, отрицаніе—ея страсть, неизлѣчимое невѣріе—ея неразлучный спутникъ. Какое скопище ужасовъ! Изъ нихъ cadaго порознь достаточно, чтобы изъ челоуѣка образовалось совершенное чудовище и заклеимило несмываемымъ пятномъ свое время и свой народъ.

И изъ такихъ чудовищъ будто бы состояло цѣлое поколѣніе русской молодежи! И оно даже дѣйствовало, сочиняло и печатало статьи, соблазняло малыхъ и воевало съ великими. И оно должно бы оставить въ литературѣ мерзость заустѣнія и завѣщать потомству отвратительную оргію низменныхъ инстинктовъ, погому что—невѣріе и разрушеніе—послѣдніе предѣлы идейной безпринципности и практической преступности. И если французы не знаютъ какъ отчураться отъ своихъ якобинцевъ, куда намъ тогда укрыться отъ упрековъ національной совѣсти, намъ, считающимъ въ числѣ своихъ предковъ Базаровыхъ, Писаревыхъ, Зайцевыхъ, Благосвѣтловыхъ!

Какая страшная галерея, все что ни фигура, то нигилистъ и отрицатель! И нѣтъ словъ по достоинству оцѣнить этихъ героевъ и эпоху ихъ царства. Возьмемъ первую попавшуюся исповѣдь современника. Она явилась въ 1864 году, въ аксаковской газетѣ *День*, слѣдовательно, можетъ притязать на извѣстную литературность и добросовѣстность.

«Не было той дикости, которой не проповѣдывала бы вслухъ извѣстная часть петербургской журналистики за это время, и не было той грязной выходки, которую бы она себѣ не позволила, вотъ существенныя доблести этой эпохи à la Renaissance. Наглость, изворотливость, какое-то мастерство лжи и побѣдительный блескъ во взорѣ отъ сознанія именно своей непревосходимости въ этомъ искусствѣ—вотъ истинныя отличія ея нравственнаго достоинства. Заносчивость школьника, тайкомъ прочитавшаго двѣ три запрещенныхъ книжки, и его же капитальное невѣжество—вотъ вѣчно одни и тѣ же проблески этой «зари возрожденія». Можно смѣло сказать, не было того истинно-достойнаго или мало-мальски порядочнаго произведенія въ нашей литературѣ, которое сейчасъ же не подвергалось бы со стороны этого новаго вѣющаго духа всякому оплеванію и осмѣянію. Не было, напротивъ, мельчайшей брошюрки или статейки, ученаго волюминознаго трактата или

бѣглою повѣстухи, появленіе которыхъ не привѣтствовалось бы сейчасъ эпохой возрожденія въ трубы и въ литавры, лишь бы авторъ въ нихъ, что называется, выкидывать когѣнцы. И всякія средства считались позволительными для духовосцевъ этой эпохи, лишь бы достигать своихъ цѣлей, лишь бы давать просторъ новому вѣющему духу. Искаженіе мыслей автора, перетасовка цитируемыхъ изъ него строчекъ, глумленіе надъ нимъ, сочиненіе на его счетъ небывалыхъ анекдотовъ, все допускалось въ полемикѣ не въ видѣ нечаянной обмолвки, а въ видѣ правила, очень сознательно принятаго для руководства!<sup>1)</sup>

Это—настоящій обвинительный актъ! Собраны здѣсь, кажется рѣшительно всѣ преступленія—нравственныя и литературныя—и можно подивиться, какъ наплась публика, терпѣвшая подобныхъ писателей и даже награждавшая ихъ громкой и довольно прочной славой.

Очевидно, съ обвиненіемъ что то неладно. Прокуроръ или слишкомъ сгустилъ краски или прямо взялъ полемическій партійный тонъ, совершенно не соответствующій истинѣ. Правда, у прокурора множество единомышленниковъ, именно имъ предстояло до послѣднихъ дней множиться и процвѣтать. Одинъ Катковъ, во оруженный газетой и журналомъ, задачей всей своей жизни поставилъ оберегать отечество отъ язвы нигилизма и разукрашивать чудовище въ что ни на есть яркіе колеры. Подобное усердіе не могло пропасть даромъ и въ тонъ русской печати затянули иноземцы, искренне почувствовавшіе мрачное чуть не адское величіе русскаго нигилизма... Какъ бы эта музыка польстила слухъ нашихъ юныхъ героевъ и въ какое бы невольное изумленіе они впали, узнавъ о своей грандіозности!

На самомъ дѣлѣ—весь этотъ мракъ и все величіе, чистѣйшіе продукты разстроенной или преднамѣренно подогрѣтой публической фантазіи. Русскіе нигилисты не только не духи зла и отрицанья, даже не демоны романтическаго стиля. И откуда бы взяться подобнымъ геніямъ на русской землѣ—внезапно, непосредственно послѣ образцовой тиши да глади, послѣ неизмѣнно и неограниченно звучавшаго по всей Руси увѣреннаго и властнаго гласа: «все обстоитъ благополучно!»

Мы понимаемъ появленіе на французской сценѣ жирондистовъ и якобинцевъ. Почти цѣлое столѣтіе работало надъ сози-

<sup>1)</sup> «День» 1864 г.

даніемъ этой сцены и воспитаніемъ героевъ. И какое столѣтіе! Что ни имя—то своего рода великая держава, а одно—такъ даже стоящее нѣсколькихъ державъ. Писатель, благосклонно принимающій комплименты августѣйшихъ особъ, въ родѣ Екатерины II и Фридриха II, это дѣйствительно грозная сила и достойный предшественникъ законодателей и преобразователей!

А у насъ? Вмѣсто Вольтера, Руссо, Дидро и несчислимыхъ звѣздъ первой и второй величины—одинъ Бѣлинскій и почитатели его «скромко одѣтые» провинціалы, столичные обитатели четвертыхъ этажей и два-три даровитыхъ литератора. Конечно, въ странѣ крѣпостного права и всяческаго безправія и это очень много; но послѣдствія все-таки должны быть соответственныя. Орлы родятся только отъ орловъ и въ мірѣ физическомъ, и въ мірѣ нравственномъ. Кто умѣлъ читать и оцѣнить Бѣлинскаго, тотъ, конечно, не могъ пребывать въ сонѣ пресмыкающихся, но врядъ ли также въ состояніи былъ и воспарить подъ облака—мощнымъ, сознательнымъ полетомъ. Ужъ очень просто и совсѣмъ даромъ давались бы тогда людямъ великія умственные побѣды. Стоило бы только погромче крикнуть да по-молодецки свистнуть, и всѣ шуты и уроды очутились бы на корачкахъ. Въ русской былинѣ это дѣйствительно такъ и описывается, но ни въ какой жизни этого не бывало и не бываетъ,—не произошло и ради нигилистовъ.

Мы должны свести этихъ героевъ къ ихъ подлинному историческому уровню и опредѣлить ихъ ростъ независимо отъ галлюцинацій не по разуму усердныхъ враговъ. Задача—нехитрая: надо только опредѣленно представить идейную, философскую основу нигилизма, и она уже сама по себѣ броситъ правильный и яркій свѣтъ на психологію дѣйствующихъ лицъ.

### XXXIX.

Отечественные охранители взапуски усиливались до послѣдней степени взвинтить нигилизмъ и раскрыть его сатанинскій характеръ: это понятно. Чѣмъ величественнѣе представляется врагъ, тѣмъ больше чести его побѣдителю, и Катковъ вполне естественнымъ путемъ дошелъ подъ конецъ жизни до отождествленія съ нигилистами всѣхъ иначе мыслящихъ. Это и было идеальнымъ разоблаченіемъ крамолы.

Въ другомъ положеніи находились иностранные наблюдатели

нигилизма. Если оставить въ сторонѣ обычныя недоразумѣнія знатныхъ путешественниковъ и еще болѣе обычное желаніе вольныхъ политиковъ преувеличивать отрицательныя явленія чужого государства,—въ результатѣ у западныхъ писателей не окажется ни одного основательнаго мотива выдѣлять русскій нигилизмъ въ особую категорію невиданныхъ міромъ революціонныхъ недуговъ.

Міру не только давно извѣстны подобные факты, но они, въ сущности, даже распространеннѣе и общедоступнѣе, чѣмъ другія идейныя направленія.

Въ самомъ дѣлѣ, что такое нигилизмъ, какъ умственный процессъ? Ни болѣе, ни менѣе, какъ доведенная до послѣднихъ ~~матеріальныхъ~~ предѣловъ борьба чистой мысли съ нагляднымъ фактомъ дѣйствительности. Отсюда ясны два заключенія: нигилизмъ, какъ философія, представляетъ одну изъ формъ метафизики, какъ практическая программа—онъ чистѣйшій идеализмъ. Последнее понятіе мы беремъ не въ узкомъ нравственномъ смыслѣ, а какъ логическую противоположность реальному мышленію, т.-е. во всѣхъ своихъ стадіяхъ связанному съ опытомъ, съ указаніями дѣйствительности. По поводу философской статьи Чернышевскаго мы указывали на метафизическій характеръ матерьялизма шестидесятихъ годовъ, по поводу литературныхъ и публицистическихъ разсужденій младшихъ современниковъ автора *Антропологическаго принципа* мы безпрестанно будемъ убѣждаться въ чисто-романтическомъ, nepoзвoлительнo-мечтательномъ идеализмѣ злополучныхъ положительныхъ умовъ. Эта мечтательность подчасъ будетъ доходить до трогательной наивности, менѣе всего характеризующей какую бы то ни было нравственную силу. Напротивъ. Въ глубинѣ подобнаго идеализма всегда лежитъ драма, неизбежное противорѣчіе порывовъ личности и органическихъ силъ жизни. О результатѣ столкновенія не можетъ быть и рѣчи. Личность въ высшей степени счастлива, если ей удастся покончить вопросъ драматической развязкой; чаще всего «духъ земли» предварительно успѣетъ высмѣять опрометчиваго Фауста, унижить и разбить его отдѣльными стычками и потомъ, развѣ какъ послѣднюю милость, возложить на него терновый вѣнокъ.

Именно такую исторію разсказалъ Тургеневъ о своемъ нигилистѣ, и врядъ ли когда еще съ большимъ блескомъ и глубиной проявлялась вдохновенная проникательность творческаго генія!

Какіе поучительные образы и факты! Чернышевскій, отвер-

гающій всякіе нравственные мотивы въ человѣческихъ отношеніяхъ, признаетъ ихъ у курицы, клянущійся на каждомъ словѣ фактомъ и наукой — впадаетъ въ самыя произвольныя и фантастическія догадки и обобщенія! Это — въ области отвлеченной мысли.

Еще сильнѣе эффектъ нигилистической практики. Базаровъ, въ воинственномъ азартѣ противъ существующей дѣйствительности, готовъ и себя косить по ногамъ, — о чужихъ предразсудкахъ, чувствахъ и идеалахъ нечего и толковать. И вдругъ — онъ влюбленное разбитое сердце, онъ — тоскующій и злобный герой неудачнаго романа, даже хуже, онъ — мелодраматическій персонажъ въ дуэли съ накрахмаленнымъ джентльменомъ и рыцаремъ. И онъ долженъ умереть: это лучший исходъ для его безнадежно-надорваннаго существованія, и реальный нигилистъ, Писаревъ, будетъ восхищаться именно смертью Базарова, какъ прекраснѣйшимъ моментомъ всей этой печальной исторіи.

Скажите, развѣ это не подлинныя черты романтизма и развѣ въ этихъ чертахъ бросается вамъ въ глаза хотя бы одна точка демонической, мощной окраски?

Не проще ли признать во всемъ этомъ одинъ изъ безчисленныхъ вариантовъ отчасти жалкихъ, отчасти трагическихъ заблужденій безразсчетно-самонадѣяннаго и юношески-неиспытаннаго ума? И сколько разъ подобный умъ совершалъ все одинъ и тотъ же путь фантастическаго культа призраковъ, считая ихъ за самую реальную осязаемую дѣйствительность!

Вотъ, напримѣръ, почти четыреста лѣтъ тому назадъ по всей западной Европѣ раздается призывъ Лютера порвать связи съ разложившимся католическимъ міромъ, съ его религіей, наукой и нравственностью. Отнынѣ свободное личное чувство и личный разумъ займутъ мѣсто вѣншихъ авторитетовъ и священное писаніе будетъ подлежать непосредственному воспріятію вѣрующаго, не проходя сквозь призму папской политики и схоластики.

Таковъ принципъ, совершенно ясный и опредѣленный въ исходной точкѣ, но неограниченный и неуловимо-разнообразный въ логическихъ выводахъ. Въ самомъ дѣлѣ, сколько можно дать отвѣтовъ на вопросъ: гдѣ остановить критику разума, направленную на св. писаніе, противъ средневѣковой учености и всего католическаго строя жизни?

Можно вѣдь и разумъ заключить въ извѣстныя границы и изъ новыхъ толкованій создать не менѣе строгую авторитетную

систему, чѣмъ католическое богословіе. Къ такой цѣли именно и стремилось правовѣрное лютеранство, создавая свои догматы и свое церковное ученіе на мѣсто отвергнутаго. Но нѣтъ логическихъ препятствій повести критику до полного разложенія всего общеобязательнаго и догматическаго, примѣнять къ св. писанію тѣ же приемы анализа и изслѣдованія, какіе примѣняются вообще къ историческимъ памятникамъ. Нѣтъ также обязательной границы и въ отрицательной критикѣ противъ средневѣковой науки, и здѣсь, пожалуй, увлеченіе еще естественнѣе, можно сказать неудержимѣе, чѣмъ въ чисто-богословскихъ вопросахъ.

И оно немедленно обнаружилось, одновременно съ умѣренно-либеральной реформой Лютера. Явился даже ученый, профессоръ Карлштадтъ, блестящій и страстный ораторъ, искренній и отважный разрушитель ненавистой старины, подлинный представитель реформаціоннаго нигилизма. Да, во всей точности: только подмѣните спорные вопросы XIX вѣка идеями лютеровскаго движенія—и совпаденіе получится полное.

Второй вопросъ—официальная наука и католическая цивилизація. По мнѣнію Лютера, все это можно преобразовать, старую науку и цивилизацію пообчистить, подправить, одушевить новымъ духомъ свободы и творчества...

Недостойная уступчивость и трусливая сдѣлка!—отвѣчаетъ на это Карлштадтъ. Совсѣмъ долой съ лица земли ученность и культуру. Университеты должны опустѣть, профессора и студенты разсѣяться по деревнямъ и приняться за воздѣлываніе земли собственными руками. Это и будетъ истиннымъ выполненіемъ заповѣди св. писанія: человекъ долженъ ѣсть хлѣбъ свой въ потѣ своего лица.

И Карлштадтъ, стремительный и убѣжденный, быстро собралъ вокругъ себя восторженную аудиторію и съ университетской кафедры лились бурныя рѣчи противъ университетовъ, богослововъ, ученыхъ, вообще противъ ветхаго культурнаго міра.

Лютеръ пришелъ въ крайнее безпокойство, и либерализмъ объявилъ безпощадную войну радикализму. Власть стала на сторону благоразумія и умѣренности, Карлштадтъ присужденъ молчать. Но что значилъ приговоръ надъ отдѣльнымъ человекомъ? Развѣ существовала сила, способная прервать процессъ мысли независимо отъ того или другого энтузіаста?

И Лютеру до конца дней пришлось страдать, глубоко, невыносимо страдать, отъ прямыхъ дѣтищъ собственной реформы. Они

не замедлили перенести принципы свободной критики на политическую почву, задумали въ корнѣ передѣлать государство и общество наравнѣ съ церковью, освободить не только всеу вѣрующее стадо папы, но и неправильно-угнетенный и порабощенный народъ. Въ радикальной программѣ появились свои виттембергскіе тезисы, цѣликомъ предвосхитившіе позднѣйшій французскій восемьдесятъ девятый годъ.

И Лютеру оставалось отвернуться отъ этой эволюціи преобразовательныхъ идей и даже послать проклятіе разуму, какъ исчадію ада, тому самому разуму, который двигалъ имъ самимъ но только умѣренно и осторожно!

Та же исторія повторилась два съ половиной вѣка спустя. Второй разъ и уже гораздо рѣшительнѣе былъ поставленъ вопросъ все о той же старой вѣрѣ и старыхъ общественныхъ неправдахъ. Люди умѣренного образа мысли не желали и слышать о католичествѣ и папѣ, но они не рѣшались поднять руки на самый принципъ вѣры. Они искали Бога, разрушая его видимые алтари и говорили о духѣ, воюя съ духовенствомъ. Такимъ же среднимъ путемъ шли они и въ борьбѣ съ отжившимъ общественнымъ строемъ. Они рассчитывали на поправки и передѣлки. Сметая съ лица земли педантизмъ и тупеядную пустопорожнюю ученость они требовали просвѣщенія и реальныхъ знаній. Высмѣивая уродства искусственной (паразитской) цивилизаціи, они пытались построить зданіе дѣятельной, нравственно-могущественной и общедоступной культуры.

Это либерализмъ и золотая середина. Но опять нашлись люди, не усмотрѣвшіе въ подобныхъ идеалахъ ничего свободного и золотого. И разсуждали они не безъ логики и не безъ искусства.

Вы, заявляли они умѣреннымъ просвѣтителямъ, клеймите римское ученіе и въ тоже время хотите спасти душу. Но вѣдь въ душѣ-то весь источникъ зла. Покончите съ душой, и вы однимъ ударомъ ниспровергните всю ветхую храмину. И это будетъ вполне послѣдовательно.

Такъ именно разсуждали баронъ Гольбахъ и Гельвецій, и приняли въ ужасъ Вольтера и его друзей. «Какая страшная книга!» — восклицалъ Даламберъ о сочиненіи барона, а Вольтеръ, не зная какъ убѣдить публику въ полной своей неприкосновенности къ матеріалистическому резонерству литературнаго метръ-д'отеля.

Еще рѣзче обнаружилась междоусобица въ культурныхъ идеалахъ. Здѣсь знамя нигилизма поднялъ писатель гениальныхъ даро-



ваній, несравненный стилистъ и неотразимый логикъ, и поднялъ открыто, съ преднамѣренной запальчивостью и глубокой ненавистью. Это было тѣмъ естественнѣе, что радикальный отрицатель культуры и науки самъ лично представлялъ нѣчто въ родѣ естественнаго человѣка. Просвѣщенное общество рѣшительно ничѣмъ его не облагодѣтельствовало, а наука только причинила не мало терзаній и огорченій въ годы ранней молодости. И онъ отомстилъ.

Однимъ натискомъ пера на мѣсто утонченнаго любителя философіи и прочихъ благъ усовершенствованнаго общежитія былъ воздвигнутъ грандіозный образъ даже не дикаря, а миоическаго существа человѣческой породы, но вполне ангелоподобной природы. Это означало—смертный приговоръ и наукѣ, и гражданскому обществу, и даже весьма многимъ, казалось бы, весьма естественнымъ свойствамъ человѣка, въ родѣ способности любить, ненавидѣть и ревновать, думать и словами выражать свои думы.

Можетъ ли идти дальнѣе метафизическое отвращеніе къ дѣйствительности? Открывая въ философіи Руссо не одну родственную черту съ нигилизмомъ, мы должны все таки признать нигилистовъ филистерами сравнительно съ этой бурей отрицательныхъ *истинностей*, не отвлеченныхъ идей, а органическихъ порывовъ негодованія и ненависти. Правда, и «мыслящая личность» нигилистовъ—фигура, достаточно освобожденная отъ предразсудковъ и преданій, но все таки она *мыслящая*, а здѣсь сама мысль провозглашается извращеніемъ идеальной человѣческой природы и самый даръ слова признается бѣдствіемъ и источникомъ бѣдствій.

И все это не бредъ безумнаго, а только извѣстное звено логическаго процесса. Вѣдь нельзя же въ самомъ дѣлѣ отрицать, что способность мыслить и говорить—основа всякой цивилизаціи, т. е. несомнѣннаго зла, какимъ цивилизація явилась въ XVIII вѣкѣ. А такъ какъ всякое зло надлежитъ пресѣкать въ корнѣ, то вполне послѣдовательно начать идеализаціей естественнаго состоянія, т. е. безоглядно прямолинейнымъ и непримиримымъ нигилизмомъ.

Ничего другого по существу не дѣлали и русскіе нигилисты шестидесятыхъ годовъ. Мы видѣли родовое сродство идей шестидесятниковъ съ обычными принципами всякаго преобразовательнаго движенія, та же самая историческая давность лежитъ яркой печатью и на крайнихъ выводахъ этихъ идей. Иначе и быть не можетъ.

Человѣческая психологія, въ своихъ основныхъ законахъ, всегда

и всюду одинакова. Логическое развитіе какой угодно идеи совершается тождественными путями во всѣхъ вѣкахъ и у всѣхъ народовъ.

Это правило остается неизмѣннымъ, къ сожалѣнію, во всѣхъ подробностяхъ и частностяхъ. Къ сожалѣнію, потому что уроки исторіи должны бы производить извѣстное дѣйствіе на позднѣйшихъ путниковъ одного и того же культурнаго пути.

Русскій нигилизмъ явился послѣ многочисленныхъ эволюцій европейской мысли въ либеральномъ и радикальномъ направленіи. Опыты въ прошломъ были въ высшей степени краснорѣчивые и внушительные. Они, при самомъ поверхностномъ знакомствѣ, могли бы научить по крайней мѣрѣ одной истинѣ: логическій процессъ отвлеченной мысли никоимъ образомъ не слѣдуетъ отождествлять съ органическимъ процессомъ жизни. Діалектика идей область совершенно другая, чѣмъ движеніе и взаимодействіе фактовъ, и обѣ эти области могутъ становиться даже въ безвыходное противорѣчіе и привести отважнаго мыслителя къ грозной дилеммѣ: или поступиться чистотой и героичностью діалектики или превратиться въ своего рода инквизитора абстракцій, въ такого же фаватика разсудочныхъ теорій, какими римскіе христіане являлись во имя церковныхъ догматовъ. Собственно преступнаго въ нравственномъ смыслѣ нѣтъ ни въ инквизиціи, ни въ нигилизмѣ, и нѣтъ ничего бессмысленнѣе приговора даже надъ французскими якобинцами, какъ надъ нравственными чудовищами и вырожденцами. И инквизиторъ, и якобинецъ, и нигилистъ могутъ быть людьми кристальной честности и безкорыстія: сущность ихъ психологіи не въ нравственномъ извращеніи, а въ извѣстномъ складѣ ума. Практически дѣятельность этой породы людей можетъ выразиться въ крайне отталкивающихъ формахъ, произвести впечатлѣніе настоящихъ злодѣяній и преступленій, но все это только *послѣдующее* и *производное*: предшествующее и истинно дѣятельное, принципиально творческое—идея, какъ логическое умозаключеніе и въ тоже время какъ настоящій *философскій догматъ*.

Эту психологію превосходно выразилъ одинъ изъ послѣдовательнѣйшихъ якобинцевъ Сентъ-Жюсть. Какъ истинный нигилистъ, безусловно убѣжденный въ всемогуществѣ отвлеченной доктрины, онъ торжественно заявилъ:

«Въ тотъ самый день, когда я дойду до убѣжденія, что французскому народу невозможно сообщить нравовъ гуманныхъ, чувствительныхъ и неумолимыхъ предъ тираніей и несправедливостью, я покончу самоубійствомъ».

И это не фраза. Весь смыслъ существованія якобинца въ фанатическомъ культѣ извѣстной теоріи. Разъ она оказывается безплодной и безцѣльной, смертный приговоръ всей личности идеолога подписанъ. И опять невольно припоминается нигилистъ, созданный всепроникающимъ творчествомъ гениальнаго художника. Неждановъ гибнетъ жалкой, вынужденной смертью, унося въ могилу нестерпимо горькое разочарованіе въ жизненности и силѣ своего идеала. Неждановъ, правда, слабъ отъ природы, но и болѣе одаренные у вдумчивой и сердечной героини вызываютъ впечатлѣніе отнюдь не лестное для ихъ нравственнаго и практическаго могущества.

— Несчастный онъ человѣкъ, неудачливый!..

Говорить Маріанна о Маркеловѣ, и въ этихъ словахъ звучить будто погребальное напутствіе не надъ отдѣльной личностью, а надъ цѣлымъ теченіемъ. Оно шумно и бурно ворвалось въ русскую жизнь и неожиданно быстро разлетѣлось въ мелкія брызги, оставивъ у большинства современниковъ и у потомства впечатлѣніе какого-то случайно налетѣвшаго вихря столь же порывистаго, сколько и безплоднаго въ вѣковой положительной культурной работѣ русскаго народа и общества.

И эту безплодность можно было предвидѣть съ самаго начала. Ни одно умственное направленіе въ XIX вѣкѣ не начиналось столь легкомысленно и слѣпо въ противорѣчіи со всѣми ранними и ближайшими указаніями европейскаго и русскаго просвѣщенія. Ни одно радикальное теченіе, во всѣ эпохи европейской культуры, не являлось до такой степени ненужнымъ и завѣдомо фантастическимъ, какъ русскій нигилизмъ. Мы не станемъ укорять юныхъ русскихъ преобразователей въ непониманіи историческаго смысла хотя бы новѣйшихъ европейскихъ событій, не станемъ приставать къ нимъ съ запросами: почему они, столь усердно занимаясь французскими революціями, не отдали себѣ отчета во французскихъ реакціяхъ? Для этой задачи требовалось, можетъ быть, слишкомъ продолжительная вдумчивость, недолимая для очень юныхъ бойцовъ за совершенно новое будущее своего отечества.

Но одинъ вопросъ безусловно долженъ быть поставленъ нашимъ героямъ. Они выступили на сцену дѣйствія, когда съ нея едва успѣли сойти ихъ ближайшіе учителя. Голосъ Добролюбова только что умолкъ, рѣчь Чернышевскаго еще продолжала звучать, — новые люди взяли въ свои руки бразды правленія общественной мысли и немедленно устремились куда-то восторону, по ихъ мнѣ-

нію—впередъ, но непременно подальше отъ своихъ предшественниковъ.

Чѣмъ вызывалась эта стремительность? Интересами совершенствованія русскаго общественнаго самосознанія, гдѣлами возможно широкаго освобожденія новыхъ нарождающихся идеаловъ отъ гнета преданій и авторитетовъ? Нисколько.

Чернышевскій и Добролюбовъ въ этомъ направленіи достойно закончили дѣло Бѣлинскаго: оставалось только охранять проложенные пути, сбрасывать всякій соръ и налетъ и отражать незваныхъ гостей, въ родѣ Каткова и его прихода. Задача весьма нелегкая и ея исполнѣ хватило бы на всѣ новые таланты.

Видѣсто нея новые люди предпочли работать исключительно за свой счетъ, отдѣлить свои стремленія и даже принципы отъ завѣтовъ своихъ старшихъ современниковъ, обозвать эти завѣты устарѣвшими и воспарить на дотолѣ недосигаемую высоту независимой оригинальности.

Мы знаемъ, расчеты на оригинальность не могли оправдаться и дѣйствительно не оправдались, а вождедѣнія о независимости на нѣсколько лѣтъ замутили прямой путь русскаго прогресса, внесли разладъ въ среду самихъ прогрессивныхъ силъ, создали рядъ благодарнѣйшихъ брешей и мишеней для вражескихъ натисковъ и набросили не мало тѣней на благороднѣйшія и безпорочнѣйшія стремленія молодого поколѣнія даже въ глазахъ его искреннихъ друзей.

Мы снова должны припомнить,—возникновеніе нигилизма могло не встрѣтить отвлеченныхъ логическихъ препятствій послѣ дѣятельности старшихъ шестидесятниковъ, все равно какъ вообще радикальныя слѣдствія всякой идеи теоретически возможны и естественны. Но въ томъ именно и заключалась задача молодыхъ наслѣдниковъ Чернышевскаго и Добролюбова, чтобы удержаться отъ чисто-абстрактныхъ головокруженій, тщательно распознать и вдумчиво оцѣнить жизненную широту уже выясненныхъ идеаловъ и не жертвовать ими ради схемъ, можетъ быть, и красивыхъ, математически-стройныхъ, но совершенно не отвѣчавшихъ на самыя наглядныя потребности русской дѣйствительности. Ради крайняго логическаго заключенія отвергать идею въ ея болѣе умѣренныхъ, но зато болѣе жизнеспособныхъ выводахъ—значить, работать какъ разъ въ ущербъ прогрессу и подрывать нравственный авторитетъ и практическую цѣнность всей идеи вообще.

Это именно и произошло со многими основными символами нигилистической вѣры.

## XI.

Въ то самое время, когда Катковъ день за днемъ оттачивалъ ядовитѣйшія стрѣлы по адресу Чернышевскаго и его сочувственниковъ, петербургскій журналъ самого умѣреннаго образа мыслей вдругъ обнаружилъ поразительное безпристрастіе и джентльменство. *Библіотека для чтенія* взяла на себя трудъ перечислить заслуги Чернышевскаго предъ русской публицистикой, оцѣнить его умъ и талантъ. Оцѣнка въ высшей степени лестная, хотъ бы подѣ статью и нигилистическому органу. Чернышевскій возхваляется, какъ мыслитель оригинальный, сильный и въ высшей степени разносторонній. Вліяніе его на журналистику и читателей огромно.

Благодаря ему, публика въ настоящее время чувствуетъ омерзѣніе къ общимъ мѣстамъ, широковѣщательнымъ фразамъ, къ золотой посредственности. Именно его статьи вызвали всеобщую жажду оригинальности, совершенно подорвали кредитъ скучныхъ компиляторовъ, притязательныхъ педантовъ, утвердили власть здраваго смысла, легкой литературной рѣчи, распространили множество знаній, раньше совершенно недоступныхъ большой публикѣ. Статьи Чернышевскаго до такой степени своеобразны, что ихъ можно узнать даже безъ подписи, а это явно свидѣтельствуетъ о писателѣ, «способномъ производить новыя мысли» <sup>2)</sup>.

Умѣренный журналъ находитъ даже возможнымъ сказать доброе слово объ *Антропологическомъ принципѣ* и вообще отвести Чернышевскому въ современной публицистикѣ особое и въ высшей степени почетное мѣсто. Дѣлаетъ онъ не менѣе любезный намекъ на Бѣлинскаго и Добролюбова: очевидно, «новые люди» могутъ считать себя признанными въ благоразумно-либеральномъ лагерѣ и даже дальше—среди самихъ славянофиловъ: по крайней мѣрѣ, Аполлонъ Григорьевъ не устаетъ прославлять талантъ Добролюбова. А еще раньше Иванъ Аксаковъ сознался въ побѣдѣ идей и личности Бѣлинскаго надъ славянофильскими проповѣдями.

Въ лагерѣ «новыхъ людей» эти факты могли принять за несомнѣнные показатели своего торжества. И будущее, по всѣмъ

<sup>2)</sup> *Библіотека для чтенія*, 1861, августъ. «Литерат. обозрѣніе».

признакамъ, принадлежало послѣдователямъ Чернышевскаго и Добролюбова.

Въ самомъ дѣлѣ, какая сила могла бы уничтожить то количество здравыхъ понятій и реальныхъ знаній, какое было сообщено публикѣ старшими шестидесятниками? Какой критическій талантъ оказался бы настолько сильнымъ и искуснымъ, чтобы поднять съ земли окончательно разбитое чистое искусство, возстановить престижъ мертворожденной, хотя и глубокомысленной учености, обновить безнадежно засохшія лавры на главахъ почтенныхъ, но уже больше не почитаемыхъ авторитетовъ?

Съ какой ясностью и непобѣдимой логичностью установилъ Добролюбовъ реальную критику, съ какой находчивостью и пропнцательностью умѣлъ онъ извлекать изъ художественнаго вдохновенія поэтовъ уроки жизни для дѣятелей, съ какой убѣжденностью и мужествомъ онъ отдѣлилъ плевелы праздно болтающей эстетики отъ пшеницы гражданской мысли!

И не было ни фанатизма, ни деспотическаго доктринерства въ спокойныхъ и вѣскихъ рѣчахъ молодого критика. Онъ, при всей страстной влюбленности въ свои идеи, ни на одну минуту не вздумалъ посягнуть на луну и солнце, т. е. на неопровержимые поведенительные факты дѣйствительности. Его преемники именно войной противъ «луны и солнца» будутъ выражать силу своего отрицательнаго азарта и легкомысленно порвутъ съ преданіями разносторонняго и вдумчиваго міросозерпанія. Кажется, для торжества положительной мысли и полезной литературы было вполне достаточно признать ея цѣнность въ зависимости отъ ея болѣе или менѣе жизненнаго содержанія. Но художественная литература существуетъ и не можетъ не существовать: этотъ фактъ не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію. Прать противъ него—значить превосходить даже знаменитаго ламанчскаго рыцаря. Вѣтренныя мельницы еще можно остановить, нетрудно и перебить стадо барановъ, но положить *veto* на естественную психологію человѣческой природы, предать ostracismу и лишить гражданскихъ и литературныхъ правъ цѣлый разрядъ талантовъ,—это дѣйствительно равносильно желанію погасить солнце и достать съ неба луну.

И къ какимъ результатамъ могло привести подобное героизство? Грозило ли оно серьезно уничтожить поэтовъ и художниковъ и свести печатное слово къ ученымъ докладамъ, политическимъ хроникамъ и разнаго рода обозрѣніямъ? Отнюдь нѣтъ, — не только съ точки зрѣнія защитниковъ художественнаго твор-

чества, но и самихъ героевъ. Они, даже подъ шумъ своей битвы, должны были сознаться, что *гениальные* поэты имѣютъ право на существованіе, что имъ ненавистна только посредственная поэзія и беллетристика, что Гёте и, по соображеніямъ нашихъ цензоровъ, даже Гейне могутъ процвѣтать и рассчитывать на славу въ самомъ радикальномъ потомствѣ.

Старыя пѣсни! Совершенно такимъ же путемъ Руссо уничтожалъ науки и ученыхъ, оставляя жизнь только Бэконамъ, Ньютонамъ и Декартамъ. Но нигилистъ XVIII-го вѣка велъ свою линію до конца: онъ объявлялъ толпу вообще недостойной высокихъ знаній. Новѣйшіе отрицатели желаютъ работать именно на пользу толпы,—гдѣ же они тогда останавливаютъ смертоносный полетъ своей ультра-аристократической критики? Какой представлять масштабъ для опредѣленія гениальности и просто талантливости? А масштабъ необходимъ на каждомъ шагу: художники нарождаются безпрепятственно,—и представьте,—имъ всѣмъ потребуется разрѣшительная грамота на творческую дѣятельность! Кто будетъ тѣмъ великимъ законодателемъ, о какомъ мечталъ все тотъ же Руссо,—законодателемъ, способнымъ «увлекать не насилуя и убѣждать не уговаривая»!

Повидимому,—именно эту роль и взяли на себя молодые наслѣдники Чернышевскаго и Добролюбова. Никто ни до нихъ ни позже ихъ не говорилъ въ литературѣ болѣе рѣшительнымъ и догматическимъ тономъ, никто съ такой вызывающей отвагой и съ такимъ пристрастіемъ не произносилъ безпреставно я, мы и съ такимъ эффектнымъ пренебреженіемъ не обращался съ противной стороной. Всѣ вопросы казались разъ навсегда порѣшенными, вѣчныя тайны монополизированы двумя-тремя «замѣчательными головами»,—современникамъ и будущему остается только объяснять и усваивать вполнѣ раскрытое ученіе.

Впрочемъ, нечего и объяснять: достаточно только прочитать. Истинны—ясныя до ослѣпительности и рѣчи—внушительныя до гипноза.

Существовали когда-то въ русской литературѣ Бѣлинскій, Добролюбовъ. Одинъ изъ нихъ всю жизнь прожилъ въ мучительныхъ поискахъ истины, праваго пути къ личному совершенствованію и общественному просвѣщенію, не разъ сжигалъ старыхъ идоловъ и принимался служить новымъ. Другой умеръ, не успѣвъ примирить многочисленныхъ противорѣчій въ своихъ мысляхъ, очевидно подавляемый ихъ сложностью и значительностью.

Жалкіе люди! Дѣло такъ просто, — и еще проще долженъ быть нашъ приговоръ надъ несчастными Гамлетами русской публицики.

Бѣлинскій — все его несчастье въ томъ, что онъ былъ «настоящимъ жрецомъ искусства», *никогда* не судилъ по литературѣ объ обществѣ, *никогда* изъ предѣловъ критики не переходилъ въ область политическихъ вопросовъ, писалъ исключительно «эстетически-критическіе разборы, часто негѣпые и мелочные въ частностяхъ» и даже лишенные смысла; правда, — и за нимъ есть заслуги, но какія то туманныя, въ родѣ того, что онъ «первый далъ обществу сознать, и почувствовать» идею прогресса.

Но что значить этотъ положительный успѣхъ, — даже если бы и на самомъ дѣлѣ онъ принадлежалъ первому Бѣлинскому, — предъ его культомъ искусства? Если бы вы знали, что такое этотъ культъ вообще эстетическій принципъ! Ничто иное какъ «раздражительная чувственность», *irritatio spinalis*, возведенная въ перлъ созданія, «стариковская похотливость», «гаденькій безсильный развратъ»... И такой то принципъ воодушевляеть всѣ двѣнадцать томовъ сочиненій Бѣлинскаго: какое ужъ тутъ «значеніе его въ литературѣ и обществѣ!» Если на эту тему новый мыслящій человекъ считаетъ нужнымъ написать нѣсколько страницъ, — онъ дѣлаетъ это крайне неумѣло, въ видимое противорѣчіе съ своими основными воззрѣніями. Очевидно, ему просто неловко и боязно сразу произнести прямой смертный приговоръ надъ несомнѣнно благороднѣйшимъ человекомъ и сильнымъ, свободнымъ писателемъ. Но эта боязнь не помѣшаетъ *косвеннымъ* покушеніямъ на Бѣлинскаго и они, надо полагать, до такой степени въ духѣ новой критики, что другой «мыслящій реалистъ» въ теченіе всей своей жизни не выбьется изъ противорѣчій и оговорокъ на счетъ того же самого вопроса <sup>3)</sup>.

Кто такой Бѣлинскій — дѣйствительно ли ослѣпленный жрецъ искусства или отчасти и полезный мыслитель? Трудно отвѣтить вполне опредѣленно. Казалось бы, достаточно прочитать только статьи о Пушкинѣ и разсужденія по поводу Онягина и особенно Татьяны, чтобы не написать фразы: Бѣлинскій никогда не судилъ по литературѣ объ обществѣ. Но, повидимому, у реалистическаго взора совсѣмъ особенная провидательность и она видитъ, чего нельзя видѣть и наоборотъ. И совершенно естественно: нѣтъ достойной отплаты критику за его уваженіе къ искусству!

<sup>3)</sup> Русское Слово. 1864, январь. Статья В. Зайцева *Бѣлинскій и Добролюбовъ*.



И вотъ оказывается, съ одной стороны принципы Бѣлинскаго «превосходны», съ другой они—полная противоположность новѣйшей реалистической критикѣ: принципы на колѣняхъ предъ святымъ искусствомъ, а критика на колѣняхъ предъ святой наукой. Это одинъ — диссонансъ, очевидно, врядъ ли способный разрешиться въ гармонію. Другой, еще болѣе внушительный, хотя и того же содержания. Бѣлинскій по силамъ своего ума и по честности своего характера могъ бы явиться русскимъ Людвигомъ Берне, а на самомъ дѣлѣ онъ жилъ и умеръ эстетикомъ. Наконецъ, еще варьянтъ на тотъ же мотивъ. «Въ продолженіе двадцати лѣтъ лучшіе люди русской литературы развиваютъ его мысли и впереди еще не видно конца этой работы». Какой вѣнокъ славы, но врядъ ли особенно прочный. Имѣются очень солидныя данныя [сомнѣваться въ способности идей Бѣлинскаго къ развитію, а именно: «Бѣлинскій, при всей своей геніальности, пришегъ бы въ ужасъ, если бы Базаровъ сказалъ ему, что «Рафаэль гроша мѣднаго не стѣнитъ», и что, слѣдовательно, люди очень удобно могутъ жить на свѣтѣ даже совсѣмъ безъ трагедій».

Какъ же понимать значеніе Бѣлинскаго для текущаго времени? Чтѣ онъ—исключительно ли явленіе историческое, «выраженіе извѣстной эпохи», и «въ этомъ смыслѣ только и дорогъ намъ» или и теперь кое-чему можно поучиться у него? Вопросъ — темный. Можно судить и такъ и сякъ, — и новые люди, смотря по настроеніямъ и обстоятельствамъ, склоняются въ ту или другую сторону. Но не можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣнія, что личные вкусы влекутъ ихъ въ сторону Базарова—безпощаднаго гонителя Рафаэля и прочъ отъ Бѣлинскаго—неисправимаго эстетика<sup>4)</sup>.

Подобная исторія и съ Добролюбовымъ. Этотъ критикъ, кажется, не особенно усердно молился чистому искусству, гораздо охотнѣе занимался публицистикой и сатирой. Но онъ не желалъ отрицать самого существованія творческой психологій, онъ очень высоко ставилъ поэтическое вдохновеніе, даже приписывалъ ему, у геніальныхъ поэтовъ, по крайней мѣрѣ,—болѣе глубокую проникательность и болѣе широкій охватъ жизненныхъ явленій, чѣмъ это доступно обыкновеннымъ наблюдателямъ, хотя бы и ученымъ. Эта уступка весьма похожа на «эстетическій принципъ», т. е. «раз-

<sup>4)</sup> Статьи Писарева. *Пропуска по садамъ російской словесности, Пушкинъ и Бѣлинскій, Реалистъ, Сердитое безсиліе, Бурная трагедія съ букетомъ гражданскій скорби. Сжоласлика XIX-ю вѣка. Сочиненія.* Спб. 1894, I, 344. III. 62; IV, 294, 371; V, 65—6.

дражительную чувственность»,—и Добролюбовъ долженъ быть поправленъ и усовершенствованъ, и Писаревъ мужественно заявить: «Я никогда не былъ ни самымъ горячимъ, ни даже просто горячимъ приверженцемъ Добролюбова. Я давно разошелся съ Добролюбовымъ на многихъ пунктахъ»<sup>5)</sup>. И на самыхъ существенныхъ,—прибавимъ мы, такъ что по всей справедливости Добролюбова слѣдуетъ вычеркнуть изъ списка «мыслящихъ личностей», съ оговоркой только насчетъ немногихъ и не особенно важныхъ вопросовъ: ихъ можно признать случайными совпаденіями съ идеями новыхъ критиковъ.

Въ самомъ дѣлѣ, что общаго между людьми, изъ которыхъ одинъ *чувство художника* признаетъ источникомъ нравственнаго возмущенія противъ незаконной дѣйствительности, а другому это именно чувство кажется противоестественнымъ и матерью жи? «Поэтъ на то и поэтъ, чтобы замазывать дѣйствительность фантастическимъ колоритомъ или, говоря проще, привирать». «<sup>6)</sup>. Вотъ эстетика новыхъ критиковъ: можетъ ли она *родственно* примыкать къ мнѣнію Добролюбова! Конечно, и Писаревъ правъ въ своемъ отреченіи отъ горячихъ чувствъ по отношенію къ Добролюбову.

Логическую связь, разумѣется, можно найти. Искусство должно служить жизни, говорилъ предшественникъ, искусство должно окончательно уничтожиться предъ жизнью—провозглашаютъ преемники. Чистое искусство бесполезно и, слѣдовательно, не заслуживаетъ почета и уваженія,—такова ранняя идея, позднѣйшій рѣшительный приговоръ: *L'art gâte tout!* Это—аксіома нигилистовъ XVIII-го вѣка; буквально воспроизводится она и радикальными шестидесятинниками: искусство фатально жетъ, слѣдовательно все извращаетъ и всему вредитъ.<sup>7)</sup> Всѣ эти мысли *теоретически*, несомнѣнно, представляютъ одну цѣпь, на ея крайнее звѣно *практически* является полнѣйшимъ отрицаніемъ среднихъ звѣньевъ, и новая критика—не развитіе и не усовершенствованіе старой, а ея непримиримая соперница и гонительница.

Это общее свойство радикальныхъ выводовъ и, только по недоразумѣнію, юные шестидесятинники стремятся по временамъ связать свое существованіе съ дѣятельностью Бѣлинскаго и Добро-

<sup>5)</sup> *Посмотримъ*. V, 154.

<sup>6)</sup> *Русское Слово*. 1865, октябрь. Ст. В. Зайцева *Взболомученный романистъ*.

<sup>7)</sup> *Русское Слово*. 1864, декабрь. *Библиографич. отдѣлъ*, стр., 6. Французское выраженіе принадлежитъ одному изъ послѣдователей Руссо—аббату Мабли:—«De la legislation ou principes des lois», I, 4.

любова. Какъ и слѣдовало ожидать, стремленіе ихъ не удается, мы видѣли рядъ непримиримыхъ противорѣчій, сопровождавшихъ опѣнку идей и значенія Бѣлинскаго. Та же участь и Добролюбова, и даже Чернышевскаго.

Послѣ диссертациі *Эстетическія отношенія къ дѣйствительности* искусство все еще представляло нѣкоторую величину. Чернышевскій совершенно ложно представлялъ психологію творчества, упрощалъ ее до такихъ же фантастическихъ предѣловъ, какъ это онъ дѣлалъ съ общимъ философскимъ міросозерцаніемъ при помощи материализма, но онъ не отвергалъ по крайней мѣрѣ, художественныхъ талантовъ. Это очень мало, но все таки кое-что. Его молодые ученики въ героическомъ порывѣ мыслить еще реальнѣе и положительнѣе кое-что замѣтили *ничто*, т. е. съ искусствомъ произвели ту же самую операцію, какую Руссо—съ наукой и гражданскимъ строемъ общества. И дальнѣйшія послѣдствія уже выяснились сами собой.

Писаревъ сколько угодно могъ воображать себя продолжателемъ Бѣлинскаго и Добролюбова: это воображеніе у него являлось преимущественно во время полемическихъ схватокъ съ либералами. Въ дѣйствительности оно такъ и оставалось чистымъ воображеніемъ или весьма прозрачной военной хитростью.

## XLI.

Преемственность между Бѣлинскимъ, Добролюбовымъ и публицистикой *Русскаго Слова* Писаревъ объяснялъ, повидимому, довольно гладко, но по существу совершенно ошибочно.

«Повторять слова учителя, писалъ онъ, не значитъ быть его продолжателемъ. Надо понимать ту цѣль, къ которой шелъ учитель. Идя къ извѣстной цѣли, учитель произноситъ извѣстные слова. Въ ту минуту, когда эти слова произносились, они дѣйствительно подвигали людей впередъ къ предположенной цѣли. Но когда эти слова уже подѣйствовали, когда люди, подчиняясь ихъ вліянію, сдѣлали нѣсколько шаговъ впередъ, тогда все положеніе вопроса обрисовывается иначе, тогда произнесенныя слова теряютъ свою двигательную силу и, слѣдовательно, перестаютъ быть умѣстными, полезными и цѣлесообразными. Тогда надо произносить новыя слова, причисляя ихъ къ новымъ потребностямъ времени. Эти новыя слова могутъ находиться въ рѣзкомъ разногласіи со старыми словами, и это разногласіе нисколько не мѣшаетъ ни тѣмъ,

ни другимъ быть одинаково вѣрными выраженіями одной и той же основной тенденціи». <sup>8)</sup>).

Въ этомъ чрезвычайно текучемъ и на первый взглядъ вполне основательномъ разсужденіи отразилась вся сущность умственныхъ процессовъ юнаго поколѣнія шестидесятниковъ. Отвлеченная рѣчь растетъ и развивается безъ сучка, безъ задоринки и самообольщенный резонеръ воображаетъ, что такъ именно все и совершается въ дѣйствительности, какъ происходитъ у него на бѣломъ листѣ бумаги. Нѣтъ ни малѣйшей разницы между накопленіемъ силлогизмовъ и эволюціей фактовъ и низать одну мысль на другую значить чуть не двигать горами, и властвовать надъ настоящимъ и будущимъ, и по произволу вертѣть историческимъ смысломъ прошлаго.

На самомъ дѣлѣ, конечно, этотъ абстрактный героизмъ—чистѣйшая иллюзія ученически мыслящаго ума. Молодые шестидесятники могли быть блестящими діалектиками, но въ исторіи они пребывали на первобытной ступени культурнаго пониманія и даже просто фактическаго знанія. На ихъ взглядъ вести «основную тенденцію» до какого угодно «новаго слова» значить удовлетворять «потребностямъ времени». А между тѣмъ, исторія не разъ и неопровержимо доказала, что результаты чистаго логическаго процесса могутъ оказаться совершенно вѣи времени и пространства и не только не соотвѣтствовать «потребностямъ», но идти въ разрѣзъ съ основными органическими законами прогресса. Этотъ путь можетъ простирается такъ далеко, что крайній радикализмъ совпадетъ съ крайней реакціей, правда безъ собственнаго вѣдома и яснаго сознанія, исключительно въ силу прямолинейнаго отвлеченнаго фанатизма.

Война Руссо противъ ученыхъ и философовъ, противъ заурядныхъ подвижниковъ знанія и просвѣщенія, т. е. противъ популяризаціи науки и образованія, какъ нельзя болѣе отвѣчала завѣтнымъ вожелѣніямъ кровныхъ мракобѣсовъ, и исторія просвѣтительной эпохи знаетъ, сколько хлопотъ мечтанія Руссо причинили энциклопедической партіи. Многія идеи Руссо, разумѣется, не имѣли ничего общаго съ церковнымъ и политическимъ рабствомъ стараго общества, но радикальное отрицаніе цивилизаціи должно было принести свои плоды даже впоследствии въ дѣятельности якобинцевъ.

<sup>8)</sup> Пушкинъ и Бѣлинскій V, 66.

Въ этотъ фактъ не трудно бы вдуматься людямъ, разсуждавшимъ о новыхъ словахъ почти столѣтіе спустя послѣ проповѣдей Руссо, и оцѣнить по достоинству именно «умѣстность», «полезность» и «цѣлесообразность» величественныхъ полетовъ своего отвлеченнаго мышленія. Кромѣ того, они могли бы остановиться на этомъ пути даже независимо отъ историческихъ соображеній, просто отдавши себѣ отчетъ въ собственныхъ литературныхъ дѣйствіяхъ и поступкахъ.

Съ Бѣлинскимъ сравнительно трудно справиться, какъ съ жрецомъ искусства, и противорѣчія здѣсь неизбѣжны. Съ Чернышевскимъ, повидимому, дѣло обстоитъ проще. Онъ откровенно дѣйствительность предпочитаетъ искусству и, на примѣръ, смыслъ морской живописи видитъ только въ желаніи художника дать полюбоваться моремъ всякому, кто не можетъ сдѣлать этого у подлиннаго моря. Кажется, достаточно,—но для молодого толкователя *эстетическихъ отношеній* мало, и онъ напишетъ убійственную обвинительную рѣчь противъ живописи и вообще противъ эстетическаго наслажденія.

На сцену появится тамбовецъ: ему нежелательно «тащиться» въ Петербургъ или въ Одессу взглянуть на настоящее море, ему удобнѣе заплатить за картину 10.000 рублей,—и вотъ права знаменитаго мариниста на титулъ *великаго* художника! Не будь лѣниваго и богатаго тамбовца — незачѣмъ было бы и существовать художеству <sup>9)</sup>.

Не можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣнія, что Чернышевскій не призналъ бы этого браннаго клича законнымъ и потребнымъ развитіемъ своей «тенденціи». Косвенно не могли и сами воины

Безпрестанно громя искусство, поэзію, объявляя ея вредоносность и даже нравственную тлетворность, они, по примѣру Бѣлинскаго и особенно Добролюбова, пользуются произведеніями искусства для своихъ «новыхъ словъ». Какъ это возможно? Вѣдь мы слышали,—поэтъ обязательно жетъ и привираетъ, искусство—удовлетвореніе чувственныхъ инстинктовъ, и вдругъ восторженные привѣтствія Гейне, совершеннѣйшему изъ всѣхъ эстетиковъ въ мірѣ, безпримѣсному жрецу святаго искусства! Не значитъ ли уподобляться унтеръ-офицерской вдовѣ—попадать въ сѣти автора *Книги тисенъ* и изъ самыхъ этихъ сѣтей извергать проклятія на поэзію? Какъ объяснить совершенно безнадежный приговоръ надъ

<sup>9)</sup> *Русское Слово*. 1865, апрѣль, Библиографич. отдѣлъ, стр. 86—7.

Мольеромъ, Шекспиромъ и Шиллеромъ, какъ бесполезными стихоплетами, и увѣчаніе все того же Гейне? Какъ можно утверждать положительную ненужность драмъ Шиллера и провозглашать Некрасова «мыслителемъ глубокимъ и честнымъ»? <sup>10)</sup>.

Мы согласны съ этими опредѣленіями, но мы отказываемся оцѣнить по достоинству процессъ мысли, не усмотрѣвшій глубины и честности, хотя бы некрасовскаго уровня, въ образѣ маркиза Позы. Мы не въ состояніи представить критика съ логическими способностями мышленія, готоваго приступить къ поэзіи Некрасова съ историческими и публицистическими запросами и не усмотрѣвшаго тѣхъ же темъ въ комедіяхъ Мольера. Мы, наконецъ, не понимаемъ въ чемъ состоитъ идейная преемственность между Добролюбовымъ, приписывавшимъ Шекспиру вдохновенное проникновеніе въ глубочайшія, едва доступныя наукѣ тайны человѣческой психологіи, и публицистомъ, вычеркивающимъ Шекспира изъ числа сколько-нибудь полезныхъ писателей?

Собственно даже бесполезно ставить всѣ эти вопросы: никакая діалектическая изворотливость не справится съ ними. Нигилистовъ XVIII вѣка укоряли, что они противъ литературы и цивилизаціи боролись утонченными средствами той же литературы и цивилизаціи: подобный упрекъ слѣдуетъ поставить и молодому поколѣнію шестидесятниковъ. Занявъ крайне опрометчиво воинственную позицію противъ художественнаго творчества, они ему же оказались обязанными самымъ полнымъ раскрытіемъ своего критическаго и даже философскаго вѣроученія. Базаровъ явился истиннымъ Магометомъ нигилистическаго Аллаха и снабдилъ Писарева самыми эффектными рисунками новыхъ словъ и «реалистическихъ» взглядовъ. Оправдалась, слѣдовательно, старая мысль Добролюбова объ исчерпывающей глубинѣ художническихъ наблюденій и объ дѣйствительности, недоступной публицистамъ и даже философамъ. Мы увидимъ, — Писаревъ будто прозрѣлъ, ознакомившись съ романомъ Тургенева, и можно безошибочно сказать, — важнѣйшіе психологическіе и нравственно-общественные опыты воинственнаго публициста были почерпнуты какъ разъ въ беллетристическомъ произведеніи, а вовсе не въ исторіи и не въ естествознаніи.

Богѣ злой мести со стороны поруганнаго искусства трудно и представить. И она, мы убѣдимся, будетъ осуществляться до конца съ замѣчательнымъ постоянствомъ: романы съ теченіемъ времени

<sup>10)</sup> Русское Слово. 1864, декабрь. Библиографич. отдѣл. стр. 79—80.

станутъ исключительной основой просвѣтительнаго мышленія Писарева, и онъ, столь торжественно порвавшій съ устарѣлыми словами и критическими приемами Добролюбова, будетъ во всей точности воспроизводить программу статьи *Темное царство*, т. е. извлекать жизненный фактический матеріалъ изъ творческихъ вдохновеній художника.

Иного результата нельзя было и ожидать. Все стремившееся за предѣлы реальной критики Добролюбова, являлось болѣзненнымъ наростомъ, совершенно неосуществимыми грезами закусившей удила метафизики. Писаревъ съ гордостью заявлялъ, будто онъ первый воспользовался словомъ и понятіемъ *реальная критика*: гордость безусловно неосновательная. Писаревъ или плохо вчитался въ статьи Добролюбова, или, въ азартной жадѣ открытій и триумфовъ, чужое достояніе приписалъ себя. Добролюбовъ былъ реалистомъ вполнѣ сознательно и громко объявлялъ себя таковымъ еще въ то время, когда Писаревъ, по собственному его призванію, не могъ одолѣть ни одной критической статьи.

Не создали, слѣдовательно, Писаревъ и его единомышленники новой идеи, не удалось имъ извлечь новыхъ жизнеспособныхъ выводовъ и изъ старой тенденціи. Они безъ оглядки ринулись впередъ, сопровождая свой порывъ торжествующимъ и преждевременнымъ побѣдоносимымъ крикомъ. Въ результатѣ они доставили торжество не себѣ, а старой, жестоко-иронической истинѣ: не спросившись броду, несуйся въ воду. Въ данномъ случаѣ это значить: не вдумавшись въ практическій, плѣсообразный смыслъ логическаго процесса, не слѣдуетъ отдаваться слѣпо и безраздѣльно абстракціямъ, не смѣшивать безотчетной игры чистаго ума съ органической жизнью дѣйствительности, не воображать себя неотразимой творческой силой только потому, что бумага все терпитъ и «въ теоріи все такъ просто и ясно».

Это общее заключеніе объ идейныхъ плодахъ нигилистической мысли получаетъ въ высшей степени яркое и поучительно освѣщеніе въ *психологій* самихъ мыслителей. Не можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣнія,—всякое направленіе мысли неразрывно связано съ нравственной личностью человѣка и именно крайне отрицательное, нигилистическое, какъ наиболѣе простое, почти схематическое, обусловливается непосредственной исторіей души. Этотъ законъ имѣетъ въ высшей степени важное общее культурное значеніе: онъ раскроется предъ нами въ личности даровитѣйшаго проповѣдника русскихъ «новыхъ словъ».

## XLII.

Мы только что сказали — *исторія души* и готовы взять назад это выраженіе: такъ мало оно подходитъ къ характеристикѣ Писарева. Исторія, это вѣдь постепенное, болѣе или менѣе послѣдовательное развитіе извѣстныхъ нравственныхъ силъ и задатковъ, т. е. эволюція. Совершаться она можетъ съ перерывами, даже съ сильными потрясеніями, равномерный тактъ явленій можетъ нарушаться и переходить въ крайне страстный или слишкомъ медленный темпъ, но все это не мѣшаетъ наблюдателю прослѣдить господствующую тему и съ полной опредѣленностью представить основной мотивъ самой сложной симметріи фактовъ и теченій. Въ этой возможности и заключается высшій интересъ историческаго изученія и всякаго психологическаго анализа.

Теперь подойдите къ личности и жизни Писарева съ этой задачей, попробуйте схватить доминирующую ноту въ его нравственномъ мірѣ и приурочить его умственное развитіе къ какому-либо логическому плану. Извѣстный смыслъ вы, конечно, уловите потому что все совершающееся на землѣ, естественно и всякій фактъ имѣетъ свою причину. Но это весьма плохое утѣшеніе для психолога. Бываетъ и сумасшествіе, методическое и съ извѣстной точки зрѣнія весьма послѣдовательное. Но вѣдь никто эту послѣдовательность не положитъ въ основу логическаго разумнаго образа дѣйствій. Писаревъ писалъ въ полномъ разсудкѣ и твердой памяти, но самый путь его къ этимъ писаніямъ и сущность ихъ требуетъ отъ насъ не обычнаго приѣма критики и психологіи, а совершенно спеціальнаго, допускающаго исторію человѣческой души изъ цѣлаго ряда неожиданныхъ, потрясающихъ вспышекъ, изъ смѣны мертваго затишья революціоннымъ взрывомъ. И въ результатѣ, именно взрывъ мы должны признать настоящей стихіей личности, а затишье—явленіемъ временнымъ и несвойственнымъ. Именно *должны*, потому что одновременно съ революціоннымъ броженіемъ будутъ чувствоваться очень сильныя отраженія затишья. Но ими слѣдуетъ пренебречь, и сосредоточиться на приподнятыхъ моментахъ: въ нихъ—настоящій Писаревъ. Такъ онъ самъ заявляетъ, отрекаясь отъ презрѣннаго покоя и мира. Отреченіе, мы увидимъ, болѣе рѣшительное, чѣмъ успѣшное, и это обстоятельство еще болѣе разстраиваетъ нашъ анализъ. Попробуемъ все-таки связать все, повидимому, столь разнородное, взаимно и стихійно враждебное.



Писаревъ, потомокъ дворянской семьи и образцовое идеально-тепличное дѣтище дворянской захолустной усадьбы со всѣми всѣми прелестями крѣпостного барскаго тунейдства, обывательскаго пошленькаго прозябательства и мелко-помѣстнаго помѣщичьяго гонора. Кое-какіе отголоски наслѣдственности отъ пѣлаго ряда поколѣній подобнаго склада не могли не перейти въ потомство, и будущій разрушитель явился на свѣтъ со всѣми задатками маленькаго балованнаго паразита.

Онъ единственный сынъ у матери-институтки, онъ долженъ быть идеально улитанъ и воспитанъ, болтать по французски, забавлять гостей идилическимъ цвѣтомъ лица и разнообразными Muterwitz'ами, свойственными фамильнымъ Оемистоклюсамъ и будущимъ посланникамъ. Благовоспитанному юному джентльмену пресѣчены были всякія сношенія съ крѣпостнымъ народомъ: эта исключительность остается у будущаго радикальнаго публициста на всю жизнь. Въ самыхъ отважныхъ полетахъ его мысль никогда не зацѣпится за плебейское сословіе и будетъ парить въ вышнихъ областяхъ просвѣщенной публики. Теперь его усиленно готовятъ къ свѣтской карьерѣ, т.-е. обучаютъ манерамъ, послушанію, любезному и трогательному поведенію по отношенію къ старшимъ. Наука идетъ впрокъ. Институтскія сѣмена падаютъ на самую благодарную почву.

Отрокъ поступаетъ въ гимназію; богатый дядя беретъ его на свое иждивеніе и неусыпно продолжаетъ барскую дрессировку. Особенныхъ стараній не требуется. Питомецъ отличается образцовымъ прилежаніемъ, непрекословной покорностью; его розовое личико вызываетъ самыя умильные чувства у старшихъ самаго строгаго направленія: малый видимо «принадлежитъ къ разряду овецъ!»

Именно этими словами Писаревъ очерчиваетъ свой юношескій образъ. Кончаетъ онъ курсъ гимназіи, разумѣется, съ медалью, но съ крайне посредственными знаніями и съ поразительно невысокимъ умственнымъ развитіемъ. Положимъ, ему всего шестнадцать лѣтъ, но для будущаго развивателя положительно странно даже въ этомъ возрастѣ любимымъ занятіемъ считать раскрашивание картинокъ въ иллюстрированныхъ изданіяхъ, читать романы съ приключеніями, въ родѣ *Трехъ мушкетеровъ* Дюма, не понимать смысла даже въ *Холодномъ домѣ* Диккенса. О болѣе серьезныхъ книгахъ нечего и говорить. *Исторія Англіи* Маколея—это своего рода живописное путешествіе—оказывается для

юнаго студента непреодолимой, журнальныя статьи производят впечатлѣніе «кодекса гіероглифическихъ надписей».

Но печальнѣе всего вопросъ съ русскими писателями. Гимназія здѣсь оказала обычную и великую услугу: задержала черной завѣсой всю настоящую русскую литературу, едва открыла своимъ воспитанникамъ имена Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Кольцова, Гоголя устранила какъ писателя «сальнаго», *Евгенія Онтима* и *Героя нашего времени* осудила, какъ произведенія «безнравственныя».

Допускались *Записки Охотника*, вещь, кажется, очень доступная и понятная, но и она для Писарева оказалась своего рода геометріей. Онъ не только не могъ разобраться въ своихъ впечатлѣніяхъ, а даже не имѣлъ силы остановиться на нихъ, вдуматься въ книгу, чего можно требовать именно по поводу *Записокъ Охотника* даже отъ читателя школьнаго возраста.

Всѣ эти удивительныя свѣдѣнія сообщаетъ намъ самъ Писаревъ <sup>11)</sup>. Можетъ быть, онъ кое что и прикрашиваетъ изъ истории своего невиннаго отрочества съ цѣлью блеснуть позднѣйшимъ и чрезвычайно быстрымъ развитіемъ своего независимаго ума и оригинальнаго таланта. Нѣкоторый шаржъ чувствуется въ краснорѣчивыхъ орнаментахъ разсказа, но сколько бы мы ни отбрасывали этихъ украшеній, сущность все-таки останется очень внушительной и она нисколько не развогласитъ съ дальнѣйшими поступками студента и даже начинающаго литератора.

Писаревъ поступаетъ въ университетъ. Мы прекрасно знаемъ, что это означаетъ. Бѣлинскій и его сверстники въ достаточной степени ознакомили насъ съ отечественнымъ храмомъ науки въ сороковыхъ годахъ, не измѣнился порядокъ вещей и къ концу пятидесятихъ. Все то же педантическое челоуѣкоубійство, то же, на законныхъ основаніяхъ, издѣвательство надъ жаждой молодежи живыхъ и содержательныхъ знаній, то же коснѣніе выспихъ лжецовъ науки въ буквѣдствѣ, въ попугайствѣ и въ беспросыпной умственной лѣни. Плотный строй ученыхъ во всемъ блескѣ цехового чиновничьяго величія встрѣтилъ Писарева на порогѣ въ университетъ и принялся производить надъ нимъ свои, можно сказать, вѣковые опыты.

Гимназическіе наставники не успѣли сколько нибудь просвѣтить разумѣніе своего безраздѣльно-преданнаго имъ питомца на

<sup>11)</sup> *Наша университетская наука. Сочин. III, 10 etc.*

счетъ его наклонностей и способностей. Онъ подошелъ къ университету, будто къ распутью, и въ самомъ печальномъ состояніи духа, вовсе не чувствуя въ себѣ силъ сказочнаго богатыря и встрѣчая еще болѣе загадочныя надписи: филологическій факультетъ, математическій, юридическій... Богатырь, по крайней мѣрѣ, зналъ, что съ нимъ произойдетъ въ томъ или другомъ направленіи, а нашъ искатель свѣта и истины увѣренъ только въ одномъ: математику онъ не любилъ въ гимназій, юридическія науки, по его соображеніямъ, должны быть очень сухи, а естественныя совсѣмъ не любопытны.

Остается—философія, и Писаревъ становится философомъ—будто нарочито затѣмъ, чтобы заключить свое ученое поприще революціоннымъ бунтомъ.

И иначе быть не можетъ: бунтъ вполне естественъ, не совсѣмъ разумны только его результаты. Писаревъ желаетъ искреннѣе заниматься наукой, увлекается исторіей, въ отвѣтъ на эти запросы профессора предлагаютъ переводить нѣмецкое сочиненіе о лингвистикѣ и философіи Гегеля, потомъ книгу древняго географа Страбона и, наконецъ, изучать энциклопедическій словарь и историческіе первоисточники. Это цѣлое путешествіе по дебрямъ, пескамъ и буеракамъ, и ничего нѣтъ удивительнаго, если юный путникъ скоро изнемогаетъ и невольно долженъ задать себѣ вопросъ: какой же толкъ изъ всѣхъ этихъ мытарствъ? Становлюсь ли я умнѣе и ученѣе послѣ перевода нѣмецкаго и греческаго автора и прочтенія нѣсколькихъ статей въ словарѣ?

Отвѣтъ не могъ подлежать сомнѣнію. Два года университетскаго курса для умственного развитія Писарева прошли безплодно. Впослѣдствіи онъ находилъ, что даже чтеніе *Петербургскихъ* или *Московскихъ Вѣдомостей*, отнюдь не блиставшихъ литературными достоинствами, принесло бы ему гораздо больше пользы. Литературное образованіе также мало двигалось впередъ. Писаревъ едва успѣлъ познакомиться съ Шекспиромъ, Шиллеромъ, Гете и то потому, что имена ихъ пестрѣли во всякой исторіи литературы.

Съ такимъ запасомъ учености Писаревъ студентъ третьяго курса выступаетъ на литературное поприще. Правда, онъ можетъ сохранить всѣ добродѣтели своей овечьей психологіи. Поприще его литературныхъ подвиговъ—журналъ для дѣвицъ *Разсвѣтъ*. Здѣсь ему предоставленъ библіографическій отдѣлъ. Легко понять, на такой сценѣ развернуться довольно трудно, даже если бы этого

и захотѣлъ юный критикъ. Но у него пока нѣтъ буйныхъ желаній. Онъ чрезвычайно чинно и благонамѣренно пишетъ свои отчеты о прозѣ и поэзіи современныхъ писателей, добросовѣстно защищая женское образованіе, даже самостоятельность женской личности и человѣческое достоинство дѣвицъ, весьма кстати отдавая предпочтеніе браку по любви предъ бракомъ по разсудку.

Эти истины неопасно было знать и дѣвицамъ и для раскрытія ихъ не требовалось особеннаго напряженія умственныхъ силъ и богатаго запаса свѣдѣній. Вообще все это—довольно удовлетворительныя упражненія молодого человѣка, усвоившаго общечеловѣческую мудрость XIX-го вѣка: знаніе—свѣтъ, свобода—благо, умственное развитіе полезно, независимый трудъ необходимъ одинаково для мужчины и женщины. Эти упражненія приносили не столько пользы читательницамъ просвѣщеннаго журнала, сколько самому автору. «Библіографія моя,—говоритъ онъ,—насилъно вытаскала меня изъ закупоренной кельи на свѣжій воздухъ».

Эта аллегорія имѣетъ очень серьезный смыслъ: студентъ, угрожаемый отъ университетскихъ профессоровъ полнымъ умственнымъ оскотченіемъ, сталъ читать и думать; необходимость говорить о самыхъ разнообразныхъ вопросахъ литературы и жизни заставила Писарева работать надъ личнымъ развитіемъ и просвѣщеніемъ.

Работа шла, повидимому, весьма туго,—въ особенности по части развитія. Уже въ теченіи двухъ лѣтъ писались критическія статьи въ очень большомъ количествѣ, проводились разныя хорошія идеи, публика поучалась послѣднимъ словамъ европейскаго просвѣщенія, а самъ авторъ и учитель все еще «не имѣлъ понятія о серьезныхъ обязанностяхъ честнаго литератора».

Это выраженіе принадлежитъ самому Писареву и высказано имъ въ цѣляхъ самооправданія. Литературные противники, всячески ратуя съ радикализмомъ Писарева, припомнили между прочимъ одинъ фактъ изъ его прошлаго—совсѣмъ даже не либеральный. Именно въ апрѣлѣ 1861 года Писаревъ искалъ сотрудничества въ журналѣ *Странникъ* и даже ходилъ въ редакцію съ предложеніемъ своей работы.

Дѣйствительно странно! Журналъ совершенно не подходилъ подъ свободомыслящую программу,—и Писаревъ не нашелъ лучшаго объясненія, какъ признаніе въ своемъ непониманіи обя-

занностей честнаго литератора <sup>12)</sup>. Ему въ это время было уже двадцать одинъ годъ,—и онъ утверждаетъ—и совершенно справедливо,—что его идеи нисколько не сходились съ направлениемъ *Странника*.

Слѣдовательно, одно изъ двухъ,—или молодой писатель ни въ грошъ не ставилъ своихъ идей, или не понималъ ихъ общаго смысла, и представлялъ изъ себя сладкогласный кимвалъ звучащій. И то и другое одинаково неестно для умственныхъ силъ критика, для уровня его сознательности, для степени его идейной оригинальности. Потому что,—такъ относиться можно только къ наскоро заимствованнымъ чужимъ мыслямъ, лично непродуманнымъ и въ сущности нравственно-безразличнымъ. Предположеніе о внѣшнихъ вѣяніяхъ и внушеніяхъ немедленно подтверждается дальнѣйшими признаніями Писарева.

Онъ все-таки не своимъ умомъ дошелъ до представленія о серьезныхъ обязанностяхъ честнаго литератора, т.-е. до перваго и основнаго принципа всякой болѣе (или менѣе достойной) литературной дѣятельности. Просвѣтилъ Писарева — Благосвѣтловъ, редакторъ журнала *Русское Слово*. Именно онъ вдохновилъ опрометчиваго и мало-сознательнаго библиографа на слѣдующія разсужденія, повидимому, не особенно трудныя даже для вполне самостоятельнаго завоеванія:

«Честный писатель отнюдь не долженъ угодничать ласковому теленку, сосущему въ одно время и съ одинаковымъ успѣхомъ двухъ или даже многихъ болѣе или менѣе разношерстныхъ матокъ». Тотъ же честный писатель не долженъ поступать съ своими произведеніями, какъ сапожникъ съ сапогами, т.-е. продавать ихъ безразлично первому встрѣчному покупателю.

Все это Писаревъ услышалъ впервые отъ Благосвѣтлова—и убѣдился, наконецъ, что дѣло писателя—серьезная общественная обязанность.

Это могло случиться только во второй половинѣ 1861 года и легко понять, что подобное происшествіе—цѣлое событіе въ умственной жизни молодого литератора. Но оказывается,—раньше благосвѣтловскаго вліянія съ Писаревымъ совершился «довольно крутой переворотъ»—именно въ 1860 году. Таково одно сообщеніе о знаменательной эпохѣ, другое—нѣсколько разногласить съ первымъ: «умственный кризисъ» произошелъ лѣтомъ 1859 года <sup>13)</sup>.

<sup>12)</sup> *Посмотримъ*. V, 162—3.

<sup>13)</sup> *Статья Промати незрѣлой мысли, Наша университетская наука.*

Всѣ эти свѣдѣнія мы опять имѣемъ отъ самого Писарева. На очень незначительномъ промежуткѣ времени онъ путается въ хронологию, да она впрочемъ не особенно и существенна: важно установить фактъ одного или нѣсколькихъ «кризисовъ», пережитыхъ Писаревымъ наканунѣ своей славы. Мы думаемъ, — нѣсколькихъ, потому что поученія Благосвѣтлова имѣли дѣло уже не съ Писаревымъ — овцой, а съ Писаревымъ — героемъ, и необыкновенно отважнымъ и воинственнымъ. Сначала произошло преобразование въ характеръ, а потомъ въ міросозерцаніи, и оба внезапно, будто коварные удары судьбы.

### XLIII.

Лѣтомъ 1859 года Писаревъ страстно влюбился въ двоюродную сестру. Страсть встрѣтила сильнѣйшія препятствія, — ни предметъ увлеченія, ни родственники не сочувствовали ей. Герою пришлось пережить жестокою борьбу съ неудовлетвореннымъ и оскорбленнымъ чувствомъ. Любимая женщина и вообще люди отказывали самолюбивому мечтателю въ счастіи, — оставалось искать счастія въ самомъ себѣ. Выходъ, повидимому, чрезвычайно философскій, даже стоическій, — но у Писарева онъ принялъ чисто-школьническую форму, превратился въ назойливую притязательность новоявленного гения и героя.

«Я рѣшился, — пишетъ отвергнутый влюбленный, — сосредоточить въ себѣ самомъ всѣ источники счастія, началъ строить себѣ цѣлую теорію эгоизма, любовался на эту теорію и считалъ ее неразрушимую. Эта теорія доставила мнѣ такое самодовольствіе, самонадѣянность и смѣлость, которыя при первой же встрѣчѣ очень непріятно поразили моихъ товарищей» <sup>14)</sup>?

Очень наивное признаніе, какъ и весь трагическій эпизодъ. Письмо заканчивается воплемъ: «мама, прости меня, мама, люби меня!...» Очевидно, теорія не соответствовала нравственной силѣ девятнадцатилѣтняго героя: душа оказывалась очень короткая, — и все геройство выходило сплошной фанфаронадой изобиженного мальчика. О ней не стоило бы и упоминать, если бы при известномъ складѣ писаревской психологіи она не играла очень важной роли во всемъ его нравственномъ развитіи и въ его дѣятельности.

<sup>14)</sup> Письмо къ матери, напечатано въ біогр. Писарева, Ев. Соловьева Изд. Павленкова. Спб. 1894, стр. 60.

Аффектъ быстро становится въ высшей степени болѣзненнымъ, овладѣваетъ всей природой Писарева и подсказываетъ ему поступки, по существу невинныя, но отнынѣ ему свойственныя—даже въ самомъ трезвомъ состояніи духа. Онъ съ этихъ поръ внѣ времени и пространства, внѣ вообще законовъ нашей планеты. Онъ чувствуетъ себя Прометеемъ, ему доступно рѣшительно все: какая угодно наука и какая угодно «титаническая идея».

Вчерашняя овца будто по волѣ волшебства перерождается въ сверхъ-человѣка и совершенно утрачиваетъ ясный осмысленный взглядъ и здравый смыслъ.

Это, можетъ быть, сумасшествіе? Пока нѣтъ,—придетъ оно,—но нѣкоторое время еще сохраняется обычная твердая память и подъ ея наблюденіемъ совершаются любопытныя дѣйствія.

«Въ порывѣ самонадѣянности»,—разсказываетъ самъ больной,—онъ набрасывается на научный предметъ, ему совершенно невѣдомый. Только что отличавшая его патріархальная покорность старшимъ смѣняется неограниченнымъ скептицизмомъ. «Опрокинувъ въ умѣ своѣмъ всякіе Казбеки и Монбланы», — Писаревъ теперь разсчитываетъ совершить чудеса въ области мысли. Препятствій рѣшительно никакихъ не предвидится. Онъ готовъ отрицать луну и солнце. Вся дѣйствительность производитъ на него впечатлѣніе мистификаціи, а его я вырастаетъ до грандіозныхъ размѣровъ. Это понятно независимо и отъ маніи величія. Герой такъ мало знаетъ, такъ мало и поверхностно думаетъ, что ему и въ самомъ дѣлѣ нетрудно счесть планеты и пески морскіе. Именно ограниченность реального умственного кругозора и серьезныхъ опытовъ мысли—обычная почва для порывовъ самонадѣянности. Писаревъ разсказываетъ, какъ онъ принялся изучать Гомера съ цѣлью доказать одну изъ своихъ «титаническихъ идей». Ничего вѣтъ удивительнаго! Не все ли равно для невѣжественнаго студента—Гомеръ или Ньютонъ: и въ томъ, и въ другомъ случаѣ онъ одинаково немощенъ на самомъ дѣлѣ и великъ въ собственномъ воображеніи. Изъ изученія Гомера, разумѣется, никакого титаническаго подвига не получается, но склонность совершать ихъ по вдохновенію останется навсегда.

Впослѣдствіи ничего не стоитъ проснуться нашему Прометею по какому угодно самому неподходящему случаю. Онъ, на примѣръ, никогда не занимался естественными науками и въ теченіе всей своей литературной дѣятельности не успѣетъ составить опредѣ-

ленного мнѣнія насчетъ ихъ значенія въ общемъ образованіи, но это обстоятельство не помѣшаетъ ему съ чрезвычайной энергіей вмѣшаться въ споръ современныхъ авторитетовъ и уничтожить презрительной ироніей Пастѣра, во имя будто бы доказанной научной истины о произвольномъ зарожденіи <sup>15)</sup>.

Поступокъ достаточно неразсудительный и въ психологіи Писарева его трудно отдѣлить отъ болѣзненной маніи величія. Приливъ самонадѣянности перешелъ въ настоящее упоминовеніе. Писарева помѣстили въ психіатрическую больницу. Здѣсь онъ дважды покушался на самоубійство и затѣмъ, спустя четыре мѣсяца, бѣжалъ. Его увезли въ деревню, здоровье его возстановилось, но по свидѣтельству близкаго лица, признаки психической ненормальности остались у него на всю жизнь.

Эти ненормальности, спѣшитъ прибавить близкое лицо, имѣли самый невинный характеръ, выражаясь или въ минутахъ странностей и чудачествъ всякаго рода, — «то, на примѣръ, вдругъ ни съ того ни съ сего, бросивъ спѣшную работу, увлекался онъ ребяческимъ занятіемъ — раскрашиванія красками полигипажей въ книгахъ, то, отправляясь лѣтомъ въ деревню, заказывалъ портному лѣтнюю пару изъ ситца яркихъ колеровъ, изъ коихъ деревенскія бабы шьютъ сарафаны» <sup>16)</sup>.

Близкое лицо спѣшитъ для собственнаго удовольствія и для утѣшенія сочувствующей публики напомнить теорію Ломброзо объ естественномъ савпаденіи геніальности и психической ненормальности. Мы думаемъ, — утѣшеніе слѣдовало бы вести совершенно обратнымъ путемъ: сначала доказать геніальность ненормальнаго субъекта и потомъ уже утѣшаться въ его психическомъ недугѣ, а не отъ психическаго недуга направляться къ геніальности. Талантливымъ людямъ, можетъ быть, и чаще, чѣмъ обыкновеннымъ смертнымъ, случается сходиться съ ума, но въ сумашествіи видѣть одно изъ свидѣтельствъ таланта — по меньшей мѣрѣ легкомысленно и равносильно писаревскому способу разрѣшать естественно-научные вопросы. Исторія знаетъ очень много идеально-уравновѣшенныхъ и психически-нормальныхъ геніевъ, — даже среди поэтовъ, — и какъ разъ геніевъ первостепенной величины — въ родѣ Шекспира, Гёте, Гюго, Данте, — и у насъ нѣтъ ни малѣйшаго

<sup>15)</sup> Статья: *Подвиги европейскихъ авторитетовъ*.

<sup>16)</sup> Скабичевскій. Біографич. подробности въ *Отеч. Зап.* 1869, январь и мартъ.



основанія—признавать научное достоинство за полу-анекдотическими и въ сильной степени подтасованными открытіями Ломброзо; проще—помириться на несомнѣнномъ изъятіи въ умственномъ развитіи русскаго публициста. Изъятіе обильно иллюстрируется и другими фактами, помимо пребыванія въ психіатрической больницѣ и невинныхъ странностей.

Рѣзкій, только что пережитый, кризисъ все-таки не просвѣтилъ Писарева на счетъ его литературнаго будущаго. Онъ думаетъ начать свою карьеру въ *Странникѣ*, но судьбѣ угодно столкнуть его съ личностью—безусловно сильной и авторитетной—и этимъ безповоротно рѣшить вопросъ о направленіи легкомысленнаго библиографа.

Благосвѣтловъ, редакторъ *Русскаго Слова*, стоитъ въ тѣни сравнительно съ своими громкими сотрудниками—въ родѣ Писарева, Зайцева. А между тѣмъ именно его слѣдуетъ призвать вдохновителемъ и первоисточникомъ нигилизма, насколько это направленіе выразилось въ публицистикѣ шестидесятихъ годовъ. Особенно Писаревъ, по своимъ идеямъ и общему умственному развитію, находится въ тѣснѣйшей зависимости отъ Благосвѣтлова: можно сказать,—онъ созданъ или, по крайней мѣрѣ, перерожденъ,—редакторомъ *Русскаго Слова*, имъ направленъ и богато снабженъ самымъ эффектнымъ и свогсшибательнымъ оружіемъ разрушенія.

Благосвѣтловъ—по происхожденію сынъ священника, по образованію сначала семинаристъ, потомъ юристъ петербургскаго университета—началъ общественную дѣятельность учительствомъ. Карьера быстро разстроилась. Благосвѣтловъ уѣхалъ за границу, долго былъ въ Лондонѣ и сблизился съ Герценомъ, потомъ въ Парижѣ гдѣ слушалъ лекціи въ Сорбоннѣ, познакомился съ редакторомъ *Русскаго Слова*—Я. П. Полонскимъ. Журналъ издавалъ гр. Кушелевъ-Безбородко. Журналъ шелъ плохо, наполнялся статьями мертвеннаго содержанія; издатель пригласилъ Благосвѣтлова. Въ половинѣ 1860 года—Благосвѣтловъ становится редакторомъ, а два года спустя—полнымъ хозяиномъ журнала. Подъ его руководствомъ *Русское Слово* становится органомъ молодежи, представителемъ литературнаго радикализма,—и редакція является настоящимъ университетомъ, всесторонней школой для новыхъ дѣятелей и проповѣдниковъ.

Глава школы—человѣкъ необычайной энергіи и силы воли. Лишенный отъ природы всякихъ наклонностей къ чувствительности, даже вообще—къ тѣснымъ дружескимъ отношеніямъ, Бла-

госвѣтловъ всѣ свои интересы сосредоточилъ на журналѣ и публицистикѣ. Большого литературнаго таланта онъ не обнаружилъ, не могъ подняться выше толковаго изложенія послѣднихъ словъ науки,—но его убѣжденія отличались всѣми достоинствами, какія необходимы для упорной борьбы за новую идею—стойкостью, опредѣленностью и исчерпывающей полнотой. У Благосвѣтлова на всѣ запросы современности всегда находилъ отвѣтъ—полный, ясный, сильно и авторитетно выраженный. Въ изложеніе чужихъ статей и книгъ Благосвѣтловъ умѣлъ внести свой принципиальный духъ, и представить читателю рядъ общихъ рѣзко-очерченныхъ выводовъ и компиляцію превратить въ орудіе пропаганды. Примѣрами могутъ служить статьи о сочиненіяхъ Милля, Бокля, Токвиля. Авторъ—неумолимый врагъ отвлеченнаго политика и мѣщанскаго либерализма—такъ же, какъ Чернышевскій и Добролюбовъ. Но его рѣчь гораздо энергичнѣй и прямолинейнѣй. Критика, направленная на исключительное увлеченіе политическими формами, не оставляетъ ни малѣйшаго сомнѣнія въ безразсудствѣ и бесплодности политическаго доктринерства. Либеральная буржуазія, всѣми фибрами души связанная съ биржей и курсомъ, является съ своей подлинной исторической физиономіей на широкой картинѣ новѣйшей исторіи Франціи. И всѣ эти идеи освѣщены глубокой вѣрой въ силу человѣческой личности, въ великіе результаты свободной инициативы общества. Статья о Токвилѣ оканчивается несомнѣнно личной исповѣдью автора,—и она представляетъ лучшую его характеристику.

«Авторъ *Демократіи*, пишетъ Благосвѣтловъ, отводитъ намъ мирное поле труда и непосредственнаго участія въ нашей собственной участи. Онъ твердо вѣритъ, что сами люди создаютъ себѣ то или другое социальное положеніе, что совершенно отъ нихъ самихъ зависитъ быть рабами, подобно китайцамъ, или свободными гражданами, подобно американцамъ. Съ такимъ убѣжденіемъ становится легче, когда посмотришь на историческую Голгофу человечества, покрывшаго свой путь слезами и кровью»<sup>17)</sup>.

И Благосвѣтловъ въ теченіе всей своей жизни являлъ образецъ непобѣдимой энергіи и вѣры въ себя и свой трудъ. Онъ дѣйствительно былъ слѣпленъ будто изъ гранита и чугуна, какъ онъ самъ о себѣ выражается,—и это чувствовалось и сознавалось всѣми его сотрудниками.

<sup>17)</sup> *Сочиненія Благосвѣтлова*, съ предисловіемъ Шенгунова. Спб. 1882, стр. 143—4, 171, 178—9. 365.

Особенно сильно должно было поразить это чувство Писарева, по природѣ совершенно не напоминавшаго чугуна и гранита. Благосвѣтловъ подчинилъ его своей волѣ и своему уму съ первой же встрѣчи, и мать Писарева въ письмѣ къ Некрасову заявляла, что ея сынъ видѣлъ въ Благосвѣтловѣ своего друга, учителя и руководителя,—ему онъ «обязанъ своимъ развитіемъ» и въ его совѣтахъ онъ нуждался и позже <sup>18)</sup>. Это значитъ Писаревъ превратился въ точный и покорный отголосокъ Благосвѣтловскихъ взглядовъ. Овечья природа критика не исчезла безслѣдно и послѣ кризиса: произошла только смѣна авторитетовъ и новый авторитетъ налегъ на природу Писарева, пожалуй, еще тяжелѣе, чѣмъ старые. И не одного Писарева. Зайцевъ также неограниченно пользовался внушеніями редактора. Онъ прямо получалъ приказанія отъ Благосвѣтлова—изложить тѣ или другія мысли, и редакторъ кромѣ того дѣятельно вмѣшивался въ самое изложеніе, исправлялъ, передѣлывалъ, усиливалъ и подчеркивалъ текстъ сотрудника. До какой степени это редакторское творчество было существенно въ критическихъ статьяхъ Писарева и Зайцева, показываетъ позднѣйшая участь обоихъ писателей. Послѣ разрыва съ Благосвѣтловымъ, Писаревъ оставался почти исключительно пересказчикомъ беллетристическихъ произведеній, а Зайцевъ занялся исключительно переводами и компиляціями. Будто животворящій духъ отлетѣлъ отъ воинственныхъ бойцовъ и въ первобытномъ состояніи у нихъ исчезла сила слова и смѣлость мысли.

Надо помнить, въ удостовѣреніе всѣхъ этихъ фактовъ предъ нами признанія самого Писарева, его матери и историческое развитіе его таланта. Мы дѣйствительно имѣемъ дѣло съ любопытнымъ психологическимъ и культурнымъ фактомъ полной и непосредственной идейной зависимости одного изъ самыхъ отважныхъ публицистовъ отъ внѣшняго учительскаго авторитета. Революціонная вспышка, преобразовавшая, повидимому, душевный міръ писателя, на самомъ дѣлѣ не измѣнила сущности его психологіи. Онъ остался столь же мало критическимъ и анализирующимъ умомъ, какииъ былъ и раньше. Выходка противъ Пастѣра засвидѣтельствовала чисто-школьническую сноровку—отдаваться сильно и безраздѣльно именно *авторитету*, почему-либо прозвевшему сильнѣе

<sup>18)</sup> Венгеровъ. *Критико-біографич. словарь русскихъ писателей и ученых*. СПб. 1892, томъ III.

увлекательное впечатлѣніе. Почему Писаревъ всталъ горой за ученіе Пуше о произвольномъ зарожденіи и что ему внушило величественные софизмы надъ Пастёромъ? Критическое изслѣдованіе предмета? О немъ не могло быть и рѣчи. Проверка свѣдѣній и сообщеній сторонъ? Въ ней, какъ видно изъ тона статьи, Писаревъ совершенно не нуждался. Вопросъ былъ предрѣшенъ—только потому что Пуше признанъ непогрѣшимымъ авторитетомъ.

Та же исторія и съ Зайцевымъ. Онъ попалъ въ еще болѣе траги-комическую коллизію, нанесшую не малую поруку радикализму *Русскаго Слова*. На основаніи авторитета Гексли и Фихте, признающихъ негра низшей расой сравнительно съ бѣлой, радикальный публицистъ съ обычной горячностью принялся доказывать рабство черныхъ и провозглашать невольничество «самымъ лучшимъ исходомъ» для цвѣтного человѣка въ соприкосновеніи съ бѣлой расой. Это значило рѣшать политическій и нравственный вопросъ на основаніи естественныхъ наукъ,—или вѣрнѣе—по Фихте и Гексли <sup>19)</sup>.

Такое рѣшеніе вызвало страшный скандалъ. Печать всѣхъ отгѣнковъ возмущалась до глубины души естественно-научной послѣдовательностью *Русскаго Слова*, и Писареву и Зайцеву пришлось пережить не мало тяжелыхъ минутъ. Писаревъ счелъ нужнымъ вступить за товарища,—но значительной услуги оказать не могъ: дѣло выходило дѣйствительно вопіющее, и безпристрастная публика должна была согласиться, что радикальная оппозиція однимъ авторитетамъ можетъ иногда сомнѣваться съ радикальнымъ рабствомъ предъ другими.

Это не единичный фактъ, а таковъ общій характеръ всей публицистики *Русскаго Слова*. Она въ сильнѣйшей степени явленіе гипнотическое, она вся преисполнена догматами и весьма рѣдко обнаруживаетъ дѣйствительно критическое направленіе. Она стремится не опровергнуть, а уничтожить, и не столько доказать, сколько внушить и навязать. Тонъ ея неизмѣнно деспотическій и побѣдоносный. Она твердо увѣрена, что обладаетъ совершенными истинами, и на противниковъ взираетъ, какъ на существъ безнадежно слабоумныхъ и темныхъ. Отсюда—безпримѣрная рѣзкость полемики, оставляющая за собой рѣшительно всѣ литературныя преданія всѣхъ эпохъ и народовъ. Статьи Писарева, Зайцева и Благосвѣтлова—цѣлая сокровищница бранимыхъ словъ и

<sup>19)</sup> *Русское Слово*, 1864 г., декабрь.

памфлетовъ, только что не караемыхъ уголовнымъ кодексомъ. Ничего подобнаго мы не встрѣчаемъ у Чернышевскаго и Добролюбова, но ихъ наслѣдники, очевидно, не считали себя въ силахъ ограничиться чисто-литературными приѣмами борьбы и устроили настоящую оргію на пространствѣ нѣсколькихъ лѣтъ.

Такія свалки, какъ Благосвѣтлова съ Антоновичемъ, Писарева съ тѣмъ же критикомъ *Современника* могутъ считаться вполне классическими по яркости и законченности жанра. Не стѣснялась, разумѣется, и противная сторона: но пальма первенства принадлежитъ безусловно *Русскому Слову*, изъ мѣсяца въ мѣсяцъ наполнявшему свой критическій отдѣлъ многочисленными обращеніями и вызовами по адресу недруговъ. Писаревъ, Зайцевъ, Соколовъ часто въ одной и той же книгѣ то бросаютъ перчатки *Современнику*, то производятъ надъ нимъ экзекуціи за старыя грѣхи, то просто потѣшаются надъ «глуповцами», лгунишками и просто идіотами и «гнилыми бутербродами».

Либералы и консерваторы могли наполнять цѣлыя страницы своихъ органовъ перлами радикальной полемики и въ правѣ именовать ее «возмутительной оргіей». Но собственно бѣда заключалась не въ полемикѣ, а въ ея исключительно личномъ характерѣ, попросту—въ личной перебранкѣ литераторовъ. Писаревъ изслѣдовалъ умственные способности Антоновича, Антоновичъ навелъ справки, какимъ путемъ досталось Благосвѣтлову *Русское Слово* и въ какихъ отношеніяхъ Благосвѣтловъ состоялъ съ лавкеями гр. Кушелева-Безбородко, Благосвѣтловъ изощрялся соотвѣтственно надъ особой Антоновича <sup>20)</sup>.

Такъ шло цѣлыми годами и, наконецъ, даже Зайцевъ написалъ слѣдующую элегію, явно накипѣвшую на его сердцѣ:

«Перебранки, доходящія до такихъ изумительныхъ непристойностей, составляющія главную и самую видную часть журналистики, свидѣтельствуютъ о плачевномъ состояніи литературы. Онѣ открываютъ, что область, подлежащая литературѣ, доведена до самыхъ микроскопическихъ размѣровъ, что на ней не осталось равно ничего, кромѣ самой журналистики и личностей, подвизающихся на поприщѣ ея. Журналы другъ другу и сами себя опровергали до крайности, но, за неимѣніемъ другого дѣла, должны заниматься другъ другомъ, что не способствуетъ смягченію и

<sup>20)</sup> Одинъ изъ самыхъ характерныхъ примѣровъ—*Последнее объясненіе*—Благосвѣтлова, *Русское Слово*, 1865, февраль.

умиротворенію ихъ взаимныхъ отношеній. Дѣло доходить, наконецъ, до того, что существованіе какого-нибудь направленія въ журналѣ объявляется нелѣпостью, подвергается шуткамъ и насмѣшкамъ. Возвѣщается, что въ жизни нѣтъ ничего, что бы могло дать журналу какое-нибудь направленіе» <sup>21)</sup>).

Справедливо, но непосредственно за элегіей опять слѣдуетъ обычный жанръ—съ крѣпкими словами и отчаянной живописью... Очевидно, нельзя было удержаться на разъ принятомъ пути, и до самаго конца существованія *Русскаго Слова*—путь совершался съ неизмѣннымъ постоянствомъ.

Мы опять должны обратить вниманіе на психологическую основу явленія. Яростная личная брань могла возникнуть только на почвѣ нетерпимости, фанатизма и при совершенномъ нежеланіи анализировать и доказывать, работать исключительно въ интересахъ логичности и истинности извѣстныхъ идей. Ставился какой-либо догматъ и требовалось безпрекословное преклоненіе предъ нимъ,—отъ кого не получалось мгновеннаго согласія, тотъ немедленно вносился въ проскрипціонные списки, отмѣчался на черной доскѣ уже ему не было пощады—чуть ли не до седьмого колѣна по восходящей и нисходящей линіи.

Подобная стремительность характеризуетъ не только личности бойцовъ, но и самый процессъ ихъ мышленія. Онъ именно тотъ какимъ Писаревъ достигъ своихъ истинъ,—процессъ мгновеннаго осіянія, неудержимо страстнаго и столь же скоропалительнаго воспріятія. Въ жизни Писарева нѣтъ *истории* нравственнаго міра, постепенно, шагъ за шагомъ вырабатывающаго свое содержаніе, а есть рядъ *аффектовъ*, немедленно отражающихся на идейномъ процессѣ. И мы вполне понимаемъ чрезвычайно легкій духъ, съ какимъ Писаревъ перешелъ въ новую фазу,—духъ, совершенно противоположный, напримѣръ, опытамъ Бѣлинскаго. Писаревъ заявляетъ, что онъ «беззаботно и весело пошелъ по скользкому пути журналиста»...

Предательское признаніе! Оно показываетъ, сколько легкомыслія оставалось въ умѣ и чувствахъ критика даже послѣ того, когда онъ понялъ обязанности честнаго литератора. Беззаботность и веселость на пути русскаго писателя,—когда еще наша литература знала такое счастье и могла назвать такого баловня судьбы?..

Завидная доля, но она досталась недаромъ нашему герою, и

<sup>21)</sup> *Русск. Сл.* 1864, окт. *Славянофилы победили*, стр. 72.

если бы онъ былъ способенъ отдать отчетъ въ общемъ смыслѣ своего жизнерадостнаго путешествія, онъ искренне пожелалъ бы себѣ побольше грустныхъ и заботныхъ настроеній.

#### XLIV.

По самому существу нравственной природы Писарева у него не могло быть эволюціи идей, а только рядъ моментальныхъ вдохновеній. И онъ, несомнѣнно, счелъ бы недостойнымъ себя медленнымъ трудомъ и сложнымъ умственнымъ процессомъ завоевывать истину. Но все таки въ его произведеніяхъ можно отличить нѣкоторыя отѣнки. Они существуютъ, несмотря на первобытную простоту рѣшеній всѣхъ рѣшительно вопросовъ и безпримѣрную въ русской критикѣ элементарность общихъ разсужденій. Писаревъ, какъ и его сподвижники, фанатикъ схемъ, формулъ, возможно ясныхъ и простыхъ положеній. Все болѣе или менѣе сложное и глубокое органически отталкиваетъ его, вызываетъ немедленно подозрѣніе въ метафизикѣ, схоластикѣ и рутинѣ. Онъ готовъ рѣшительно всѣ явленія нравственнаго міра свести къ сложенію и вычитанію: не даромъ, — для него и для Зайцева, — Тэнъ — замѣчательный мыслитель. Гдѣ нельзя обойтись съ однимъ школьнымъ силлогизмомъ и бѣглою статистикой, тамъ преспокойно ставится точка или говорится нѣсколько безапелляціонно-скептическихъ фразъ.

Таковъ идеальный предѣлъ писаревской публицистики, — но достигъ онъ этого идеала не сразу. «Писаревскія» идеи будто дремали въ теченіе, по крайней мѣрѣ, трехъ лѣтъ, т. е. не было слышно о разрушеніи эстетики, объ уничтоженіи Пушкина и вообще искусства, о неограниченномъ, вполне безотчетномъ культѣ естествознанія, а главное — нѣтъ «строгаго послѣдовательнаго реализма», точнѣе — шаржированнаго базаровскаго міросозерцанія.

Въ обычномъ представленіи о Писаревѣ идейное содержаніе этихъ трехъ лѣтъ опускается, — и Писаревъ слыветъ только разрушителемъ эстетики и реальнымъ развивателемъ. На самомъ дѣлѣ существуетъ другой Писаревъ, не вполне похожій на популярнаго — Писаревъ художественныхъ удовольствій и неясныхъ поэтическихъ ощущеній. Да, какъ это ни странно, но юный джентльменъ крѣпостническаго воспитанія не выдохся окончательно послѣ даже двухъ кризисовъ. И вполне естественно.

Писаревъ выступилъ на поприще радикальной журналистики

эпикурейцемъ. Идея личнаго удовлетворенія, эгоизма—его символъ въры—беззаботный и веселый. Весной 1862 года онъ попадаетъ въ крѣпость за статью, напечатанную въ подпольномъ журналѣ. Приключеніе, по меньшей мѣрѣ, досадное, но оптимизмъ молодого реалиста до такой степени непоколебимъ, что заключеніе не производитъ на него рѣшительно никакихъ дурныхъ впечатлѣній. Писаревъ находитъ въ своей участи даже хорошую сторону: неволя располагаетъ его къ сосредоточенности и серьезной дѣятельности. Неволя продолжалась около четырехъ лѣтъ и именно эти годы самые плодотворные въ литературной дѣятельности Писарева и самые благодарные для его популярности.

Эпикурейцу сама природа велитъ быть эстетикомъ,—и Писаревъ изощряетъ свои наклонности къ художественной красотѣ на произведеніяхъ Гейне и даже Майкова. «Гейне—одинъ изъ величайшихъ поэтовъ всѣхъ вѣковъ и народовъ» и на немъ будутъ воспитываться молодые поколѣнія, а Майкова критикъ «уважаетъ», какъ «умнаго и развитого человѣка, какъ проповѣдника гармоническаго наслажденія жизнью». Эта проповѣдь именно и составляетъ «трезвое міросозерцаніе».

Заходитъ рѣчь о Пушкинѣ: скоро противъ него будутъ двинуты всѣ роды оружія реалистической критики, теперь пока Пушкинъ можетъ покониться среди лавровъ и вѣнковъ. Его романъ *Евгеній Онегинъ* стоитъ «на ряду съ драгоценнѣйшими историческими памятниками». Даже какъ публицистъ Пушкинъ называется одновременно съ Вольтеромъ, Ульрихомъ Гуттенемъ, Шиллеромъ и Гёте, именно потому, что онъ «свисталъ часто рѣзко стихами и прозою», т. е. обнаруживалъ извѣстное политическое направленіе. Правда, здѣсь же посылается очень энергичная отповѣдь по адресу поэтовъ, не проводившихъ въ общественное сознаніе живыхъ общечеловѣческихъ идей, Фета, Полонскаго, Щербины, Грекова: они сравниваются съ модистками, выдумывающими новую куафюру<sup>22)</sup>. Но удары наносятся только «микроскопическимъ поэтикамъ»,—критику, очевидно, вовсе и на умъ не приходитъ разразить Пушкина, Шекспира, Рафаэля.

Краснорѣчивѣйшая статья этого періода *Базарова*. Писаревъ чрезвычайно увлекается романомъ Тургенева, дѣлаетъ даже вполне эстетическое признаніе, говоритъ о «какомъ-то непонятномъ на-

<sup>22)</sup> *Схоластика XIX вѣка. Писемскій, Тургеневъ и Гончаровъ*. I, 370, 438, 442 etc. *Дворянское Гимназ.* I, 197.



слаждени, котораго не объяснишь ни занимательностью рассказываемых событий, ни поразительной вѣрностью основной идеи. Критикъ понимаетъ сильныя и слабыя стороны базаровскаго типа, подробно указываетъ, гдѣ Базаровъ правъ и гдѣ онъ «завирается». Писаревъ знаетъ и источникъ завирательства: крайній протестъ противъ «фразы гегелистовъ» и «вѣтанія въ заоблачныхъ высяхъ». Крайность понятна, но «смѣшна», и «реалистамъ», разсуждаетъ Писаревъ, надлежитъ вдумчивѣе относиться къ самимъ себѣ и не провираться въ пылу диалектическихъ сраженій. И дальше слѣдуетъ вполне здравомыслящее соображеніе: помни его Писаревъ на всю жизнь, онъ, пожалуй, оставилъ бы потомству прочное и цѣнное публицистическое наслѣдство.

«Отрицать совершенно произвольно,—говорить онъ,—ту или другую естественную и дѣйствительно существующую въ человѣкѣ потребность или способность—значитъ, удаляться отъ чистаго эмпиризма... Выкраивать людей на одну мѣрку съ собой—значитъ впадать въ узкій умственный деспотизмъ:».

Лучшей критики никто не могъ бы написать на самого Писарева, когда онъ окончательно перейдетъ въ героическій періодъ своей дѣятельности и примется «перерѣшать» вѣковые вопросы. *Современникъ* станетъ обвинять его и его друга Зайцева въ *механическомъ* воззрѣніи на людей и идеи: именно такое воззрѣніе теперь не нравится Писареву, и онъ дерзнетъ даже открыть кое-какія темныя черты на ослабительной фигурѣ Базарова. Онъ считаетъ нигилиста «человѣкомъ крайне необразованнымъ». Базаровъ «съ плеча отрицаетъ вещи», которыхъ «не знаетъ или не понимаетъ»: «поэзія, по его мнѣнію, ерунда; читать Пушкина—потерянное время, заниматься музыкой—смѣшно; наслажденіе природой—нелѣпо». Все это на Писарева производитъ крайне невыгодное впечатлѣніе. Онъ согласенъ, Базаровъ основательно знаетъ медицинскія и естественныя науки, но это не значитъ быть образованнымъ. «Онъ слышалъ кое-что о поэзіи, кое-что объ искусствѣ, не потрудился подумать и съ плеча произнесъ приговоръ надъ незнакомыми ему предметами». Настоящій реалистъ никогда этого не позволитъ себѣ, не станетъ преслѣдовать простыя чувства и даже чисто физическія ощущенія, въ родѣ наслажденія музыкой.

Реалистъ также не согласится съ Базаровымъ, будто человѣкъ осужденъ жити исключительно въ мастерской. Всякому извѣстно, «работнику надо отдохнуть», «человѣку необходимо освѣжиться

пріятными впечатлѣніями». Это законъ природы и безразсудно воевать противъ него. Писареву, какъ эпикурейцу, это правило особенно дорого. Онъ энергично стоитъ за «безвредныя» наслажденія, т. е. эстетическія: чѣмъ ихъ больше, тѣмъ легче жить на свѣтѣ. Базаровъ, вооружаясь противъ идеализма, самъ превращается въ идеалиста и даже въ деспота, начинаетъ предписывать человѣку, чѣмъ ему наслаждаться и чѣмъ нѣтъ. «Наслажденіе рѣшительно необходимо», заключаетъ Писаревъ.

Достается не мало похвалъ и на долю Тургенева, не какъ публициста, а какъ «человѣка безсознательно и невольно искренняго», т. е. художника. Даже больше. Писаревъ высказываетъ общее положеніе, которое онъ въ послѣдствіи долженъ предать проклятію: «Честная, чистая натура художника беретъ свое, ломаетъ теоретическія загородки, торжествуетъ надъ заблужденіями ума и своими инстинктами выкупаетъ все—и невѣрность основной идеи, и односторонность развитія, и устарѣлость понятій. Вглядываясь въ своего Базарова, Тургеневъ, какъ человѣкъ и какъ художникъ, растетъ въ своемъ романѣ, растетъ на нашихъ глазахъ и дорастаетъ до правильнаго пониманія, до справедливой оцѣнки созданнаго типа».

Столько здравыхъ мыслей умѣлъ высказать критикъ, отнюдь, конечно, не новыхъ, но очень полезныхъ прежде всего для самихъ реалистовъ и перваго среди нихъ. Но мы снова не должны упустить изъ виду источника писаревского здравомыслія. Это не логическій разсудокъ, не критическая вдумчивость, вообще не умственный процессъ, а извѣстное психическое внушеніе, аффектъ. Теперь онъ называется эпикурейскимъ настроеніемъ и художникъ спасается только благодаря пристрастію критика къ наслажденіямъ. Искусство защищается не ради какихъ-либо идеальныхъ, самостоятельныхъ жизненныхъ цѣлей, а только какъ «источникъ безвредныхъ наслажденій». Это существенный фактъ! И онъ заранѣе можетъ приготовить насъ къ какому угодно сюрпризамъ въ противоположномъ направленіи. Вдругъ критикъ перестанетъ исповѣдывать эпикурейскую мораль, тогда пропадетъ и его почти-тельное отношеніе къ поэзіи и творчеству. Для него не литература, и не ея содержаніе и смыслъ на первомъ планѣ, а собственный личный вкусъ, неудержимо настойчивый, своенравный. Хочу засужу — хочу помилюю, вотъ настоящій девизъ Писарева, какъ критика, и вскорѣ онъ дѣйствительно засудитъ искусство столь же беззаботно и весело, какъ только что защищалъ его.

Культурное міросозерцаніе Писарева въ эту эпоху столь же не похоже на позднѣйшее, какъ и эстетическое. Въ качествѣ эпикурейца онъ долженъ возможно меньше возлагать бремени и нравственныхъ обязательствъ на отдѣльную личность и вполне послѣдовательно доказывать, что каждый человѣкъ порознь «не заслуживаетъ порицанія» за свои грѣхи и проступки: во всемъ виновато общество, среда. Человѣкъ только продуктъ окружающихъ условій.

Мы встрѣтили ту же идею у Чернышевскаго и Добролюбова, но тамъ у нея совсѣмъ другое происхожденіе, не имѣющее ничего общаго съ эпикурейской покладливостью и художественно-барской снисходительностью. Но и здѣсь эти настроенія внушаютъ критику лишь нѣсколько благоразумныхъ замѣчаній, имъ также грозитъ скорая и беспощадная раздѣлка. Теперь Писаревъ признаетъ великое значеніе художественныхъ типовъ, воплощающихъ людей мелкихъ, безсильныхъ и пошлыхъ: они—иллюстрація общественной атмосферы.

Другія мысли Писарева—столь же мимолетныя гости, хотя онѣ навѣяны на этотъ разъ уже не аффектами, а вполне жизненными фактами. Программу этихъ мыслей очень удачно начерталъ самъ критикъ: «у насъ, говоритъ онъ, всегда случается, что юноша, окончившій курсъ ученія, становится тотчасъ непримиримымъ врагомъ той системы преподаванія, которую онъ испыталъ на себѣ самомъ».

И устами Писарева говоритъ просто наболѣвшее чувство, когда онъ отрицаетъ классическую систему, громитъ ученый педантизмъ и школьную схоластику, поясняетъ свои общія разсужденія очень яркими фигурами изъ своего студенческаго прошлаго и доходитъ, наконецъ, до проповѣди естествознанія, какъ основы гимназической программы.

Все это вполне логическія слѣдствія лично пережитаго и пережитого. Удивительно только, что для словеснаго выраженія этихъ опытовъ потребовались кризисы, и Писаревъ дошелъ до нихъ только послѣ благосвѣтловскаго толчка. Но во всякомъ случаѣ, наконецъ, дошелъ, къ сожалѣнію, весьма быстро пересталъ и ровнымъ сознательнымъ шагомъ и стремительно рванулся впередъ.

Какъ и почему это совершилось—для отвѣта у насъ нѣтъ фактическихъ данныхъ. И самое происшествіе, какъ мы упомянули, прошло незамѣченнымъ для біографовъ и цѣнителей Писарева. Правда, въ *Современникѣ* было указано, что Писаревъ

замѣтно просвѣтился послѣ тургеневскаго романа. Указаніе вполнѣ справедливое,—мы сейчасъ убѣдимся въ этомъ. Почему, просвѣщеніе пришло съ ожиданіемъ, почему сначала Писаревъ отнесся къ Базарову довольно критически, а потомъ возвелъ его въ перлъ созданія и даже сильно разукрасилъ въ нигилистическомъ направленіи?

Объясненіе можетъ быть одно, — все таже благосвѣтловская наука. Писаревъ съ каждымъ днемъ все серьезнѣе долженъ былъ представлять обязанности честнаго литератора, т. е. учителя публики, преобразователя существующаго нравственнаго и общественнаго строя, руководителя «мыслящихъ реалистовъ». А при такой роли эпикурейскія идеи являются по меньшей мѣрѣ неудобными и несоотвѣтствующими. Принципъ наслажденія прямо оскорбителенъ рядомъ съ просвѣщеніемъ и наставничествомъ въ самомъ широкомъ смыслѣ. Человѣкъ, взявшій на себя такой долгъ, обязанъ проникнуться строгимъ и энергическимъ міросозерцаніемъ, трезвыми и положительными принципами, а прежде всего послѣдовательностью. И Писаревъ именно такъ и судить о себѣ въ письмѣ къ матери: онъ «самый послѣдовательный изъ русскихъ писателей».

Мы думаемъ иначе объ этой добродѣтели въ писаревской личности. Мы не видимъ именно послѣдовательности отъ идеи о «творческомъ сознаніи художника», создающаго стройные образы и лучше критика умѣющаго осмысливать дѣйствительность, до заявленія «Рафаэль гроша мѣднаго не стоитъ»; мы должны признать нѣкоторый разрывъ между этими истинами, пропасть между двумя столь противоположными идейными процессами. Послѣдовательность будетъ чисто писаревская, т. е. неуклонное подчиненіе аффектамъ и гипнозамъ, взамѣнъ вдумчиваго, истинно критическаго анализа явленій и идей.

### VIII.

Пережѣна атмосферы ясно чувствуется со статьи *Дети невиннаго юмора*. Статья направлена противъ Щедрина, какъ «литературнаго паразита» и «чистѣйшаго представителя чистѣйшаго искусства». Правда, Щедринъ сотрудникъ *Современника*, непримиримо-противнаго журнала, и это обстоятельство должно сильно изощрять стрѣлы изъ лагеря *Русскаго Слова*. Но у Писарева имѣется общій принципъ, бьющій наповалъ сатирика. Щедрину

не особенно обидно быть побитымъ въ данномъ случаѣ: рядомъ съ нимъ обязано пасть и разсѣяться прахомъ вообще искусство, въ сущности даже всякая умственная дѣятельность, кромѣ изученія и популяризаціи естественныхъ наукъ. Естествознаніе «самая животрепещущая потребность нашего общества», и распространеніе его—высшее назначеніе «мыслящихъ людей». Всѣ должны отдаться ему и критики, и художники. Могутъ возразить, что книги по естествознанію принесутъ пользу только образованнымъ классамъ, и пройдутъ незамѣтно для народа. Писаревъ не слушается. Онъ убѣжденъ, что «акклиматизація естествознанія» въ русскомъ *обществѣ* неизмѣримо полезнѣе для русскаго *народа* всѣхъ книгъ, предназначенныхъ собственно для него и всякихъ добродѣтельныхъ толковъ о сближеніи съ народомъ и о необходимости любить его.

Вы, можетъ быть, потребуе доказательства, какимъ путемъ естествознаніе изъ общества окажутся полезнѣе для народа всякихъ другихъ образованныхъ людей? Доказательствъ вы не получите кромѣ одного: естествознаніе весьма превознесено у Бокля, и Благосвѣтловъ написалъ объ англійскомъ историкѣ обширную хвалебную статью. Этихъ фактовъ вполне достаточно, чтобы гипнотически закрыть глаза рѣшительно на все кромѣ физиологіи и антропологіи. Вѣдь додумался же Шелгуновъ, въ эту эпоху также одинъ изъ покорныхъ учениковъ Благосвѣтлова, до открытія, будто благодаря успѣхамъ *физиологии* возникли и развились идеи равенства и человѣческихъ правъ. Физиологія доказала, что «кости у всѣхъ одного цвѣта, кровь также» и что, слѣдовательно, нѣтъ основаній для дворянскихъ привилегій <sup>23)</sup>. Вотъ какая политическая сила—физиологія, и какіе отличные физиологи были, напримѣръ, христіане перваго вѣка нашей эры и впоследствии столь просвѣщенные естествоиспытатели и точные ученые, какъ энергичнѣйшій апостолъ всеобщаго равенства—Жанъ Жакъ Руссо!

Отчего же послѣ такихъ уроковъ исторіи Писареву не замѣнить естествознаніемъ рѣшительно всѣхъ умственныхъ и нравственныхъ стремленій человѣчества и не рекомендовать Щедрина «Глуповъ бросить» и приняться за переводы и компіляціи сочиненій по естественнымъ наукамъ.

Эта мысль растетъ въ мозгу критика не по днямъ, а по ча-

<sup>23)</sup> Русск. Слово, 185. октябрь. Литература и образованные люди, стр. 6.

самъ. Въ статьѣ *Мотивы русской драмы* она принимаетъ по истинѣ фанатическую форму и рѣчь Писарева заставляетъ ждать рѣшительно чего угодно въ смыслѣ «послѣдовательнаго реализма». Молодежь, говоритъ онъ, «должна проникнуться глубочайшимъ уваженіемъ и пламенной любовью къ распластанной лягушкѣ... Тутъ-то именно, въ самой лягушкѣ, и заключается спасеніе и обновленіе русскаго народа».

Писаревъ, написавши эту фразу, спѣшитъ побожиться предъ читателемъ. Онъ-де не шутитъ и не потѣшаетъ читателя парадоксами. «Самыя свѣтлыя головы въ Европѣ» такъ именно полагаютъ. Мы желали бы болѣе ясныхъ доказательствъ, а именно указаній, какимъ путемъ будетъ облагодѣтельствованъ народъ, если вся молодежь примется за микроскопы и лягушекъ? Базаровъ очень усердно возится съ этими предметами, но мы что-то не замѣчаемъ въ немъ особенной заботливости объ обновленіи народа. Напротивъ, онъ такъ же плохо говоритъ съ народомъ, какъ и господа Кирсановы и, не смотря на солидные медицинскія и естественно-научныя познанія, совершенно проваливается во мнѣніи мужиковъ. Писаревъ полагаетъ, будто съ размноженіемъ Базаровыхъ по русской землѣ и мужики станутъ относиться почтительно къ этой породѣ людей. Предсказаніе утѣшительное, но все-таки оно только предсказаніе и на немъ заканчивается расчетъ публициста съ своимъ парадоксомъ.

Это и лучше: взять Базарова каковъ онъ есть, извлечь изъ романа чисто діалектическимъ путемъ психологію и мирозерцаніе «мыслящей личности» и объявить все это «самой животрепещущей потребностью». Народъ останется въ сторонѣ и не получить никакой осязательной части въ этой потребности. Этотъ предметъ вообще совершенно чуждъ сочувствіямъ и интересамъ нашего публициста. Какимъ-то чудомъ радикальный критикъ сумѣлъ миновать вопросъ о народѣ какъ разъ въ ту эпоху, когда вопросъ этотъ висѣлъ въ воздухѣ, создавалъ партіи даже среди прирожденных обломовцевъ, одинаково живо захватывалъ правительство, общество и литературу. Мы видѣли, сколько горячихъ страницъ посвятилъ ему Добролюбовъ,—и его преемникъ успѣлъ сохранить полную неприкосновенность къ дѣйствительно «самой животрепещущей потребности» времени.

Теперь онъ займется характеристикой «реалистовъ» и преимущественно уничтоженіемъ ихъ будто бы самаго страшнаго врага—эстетики.

Огромная статья *Реалисты* предназначена раскрыть новое міросозерданіе. Оно ничто иное, какъ стремительное развитіе идей и психологіи Базарова. Авторъ неоднократно ссылается на тургеневскаго героя, отождествляетъ его съ типомъ «реалиста», противопоставляетъ эстетикамъ въ томъ числѣ Бѣлинскому. Определеніе «строгаго и послѣдовательнаго «реализма» какъ «экономіи умственныхъ силъ» подтверждается опровергнутымъ раньше изреченіемъ Базарова насчетъ природы - мастерской. Отсюда идея полезности, идея того, что *нужно*. А нужно прежде всего пища и одежда: все остальное, слѣдовательно, потребность вздорная. Всѣ вздорныя потребности можно объединить однимъ понятіемъ *эстетики*. На него то и направлены вся воинственность и всѣ умственные и стилистическіе ресурсы критика.

Натискъ до такой степени свирѣпъ, что даже вызываетъ раздумье у самаго героя, и онъ спѣшить сдѣлать оговорку. «Читатель подумаетъ вѣроятно», догадывается критикъ, «что эстетика мой кошмаръ, и читатель въ этомъ случаѣ не ошибется. Эстетика и реализмъ дѣйствительно находятся въ непримиримой враждѣ между собой, а реализмъ долженъ радикально истребить эстетику, которая въ настоящее время отравляетъ и обезсмысливаетъ всѣ отрасли нашей научной дѣятельности, начиная отъ высшихъ сферъ научнаго труда и кончая самыми обыкновенными отношеніями между мужчиной и женщиной... Куда ни кинь, вездѣ на эстетику натыкаешься... Эстетика, безотчетность, рутина, привычка это все совершенно равносильныя понятія».

Очень сильно, но мы можемъ прибавить еще два: реалистическое доктринерство и юношеская безотчетная самонадѣянность. Это несравненно болѣе «эстетическія» явленія, чѣмъ привычка и рутина. Мы ясно видимъ, какъ отважный разрушитель любитъ фантастическимъ поприщемъ своихъ подвиговъ, дрожитъ отъ восторга при видѣ поверженныхъ имъ призраковъ и неукротимо размахиваетъ мечомъ и бряцаетъ доспѣхами среди совершенно пустаго пространства. Съ какимъ упоеньемъ онъ ведетъ діалоги съ дѣйствующими лицами романовъ и съ публикой: «Другъ мой разлюбезный Аркашенька! О, Анна Сергѣевна!.. О филейная часть челоуѣчества!..» Объ «эстетикахъ» ужъ нечего и говорить: по ихъ адресу, будто изъ ящика Пандоры, вылетаетъ одинъ перлъ за другимъ, и все изъ за эстетики.

Но гдѣ же на самомъ дѣлѣ этотъ врагъ? Кто успѣлъ своими костями поле битвы, кто этотъ «прочный элементъ умственнаго застоя и самый надежный врагъ разумаго прогресса?»

Страшное количество,—и какъ только у «мыслящаго реалиста» хватило смѣлости вступить въ бой! Прежде всего—пигмеи, занимающиеся скульптурой, музыкой, живописью, потомъ ученые фразеры и сирены, въ родѣ Маколея и Грановскаго; особенно Маколей очень не одобрилъ Благосвѣтловъ <sup>24)</sup>, наконецъ, пародіи на поэтовъ, и первый изъ нихъ Пушкинъ. Дальше слѣдуютъ цѣлыя науки, во главѣ ихъ исторія, потому что «стыдно и предосудительно уходить мыслью въ мертвое прошедшее», бесполезно заниматься изслѣдованіемъ народнаго творчества и міросозерцанія и совершенно ни на что не нуженъ, напримѣръ, древній періодъ русской литературы...

Недавній эпикуреецъ теперь достигъ головокружительной высоты строгой нравственности и суроваго умственного режима. Какъ произошло это очищеніе и вознесеніе—вопросъ совѣсти нашего героя: мы должны ограничиваться чтеніемъ его краснорѣчивыхъ упражненій въ стоическомъ направленіи, даже болѣе—совершенно подвижническомъ.

Восхищаться древней скульптурой—смертный грѣхъ предъ реалистической добродѣтелью: эти восторги «въ сущности ничѣмъ не отличаются отъ пріаписическихъ улыбокъ и чувственныхъ пополозновеній». Раньше отдыхъ признавался необходимымъ и даже наслажденіе, о личномъ счастьѣ нечего и толковать: оно стояло во главѣ угла,—теперь мы на противоположномъ полюсѣ.

«У реалиста потребность отдохнуть возникаетъ очень рѣдко, и поэтому онъ стоитъ выше обыкновенныхъ людей, т.-е. можетъ въ теченіе своей жизни сдѣлать больше работы. *«Человѣкъ вполне реальный»* (подчеркиваетъ авторъ) можетъ обходиться безъ того что называется личнымъ счастьемъ; ему нѣтъ необходимости освѣжать свои силы любовью женщинъ или хорошей музыкой, или смотрѣніемъ шекспировской драмы, или просто веселымъ обѣдомъ съ добрыми друзьями. У него можетъ быть развѣ только одна слабость: хорошая сигара, безъ которой онъ не можетъ вполне успѣшно размышлять».

Именно таково свойство Рахметова, значить, безъ него нельзя представить настоящаго мыслящаго человѣка.

Достоинства или недостатки этихъ разсужденій совершенно излишне обсуждать. Почти каждая фраза заставляетъ задавать вопросъ: ужъ не серьезно ли авторъ говоритъ о копимарѣ, его пре-

<sup>24)</sup> Ораторская дѣятельность Маколей. Сочиненія, стр. 390 etc.



слѣдующемъ? Такъ недавно онъ самъ столь краснорѣчиво возмущался насиліемъ надъ естественными наклонностями и потребностями человѣческой природы, а теперь—вмѣсто всякой природы и реальности, беретъ вывѣсочную фигуру, созданную чисто-теоретически, безъ малѣйшихъ признаковъ жизненной правды и ее кладетъ въ основу психологіи *реалиста*. Романъ *Что дѣлать?*—классическое произведеніе, равное *Мертвымъ душамъ*, Рахметовъ—идеальный типъ, *личность*. Такъ можно разсуждать дѣйствительно только въ припадкѣ бреда и не имѣя ни малѣйшаго представленія о *реализмѣ*. Писаревъ съ литературной критикой совершилъ ту же операцію, какую Чернышевскій, на свое несчастье, продѣлалъ въ *Антропологическомъ принципѣ*. Учитель, стремясь къ научности и положительности, сочинилъ рядъ самыхъ метафизическихъ и бездоказательныхъ положеній, ученикъ, рисуя реалиста, снялъ копію съ придуманнаго, преднамѣренно сочиненнаго набора новыхъ словъ и мнимо-реальныхъ поступковъ, объединеннаго фамиліей Рахметовъ. Еще изъ Базарова можно было извлечь жизненные дѣйствительно-типическія черты, и романъ оказалъ неоцѣненную услугу писателю, видѣвшему жизнь въ окошко благосвѣтловскаго кабинета. Романъ снабдилъ его и принципами, и краснорѣчіемъ, и даже ненавистью противъ художественнаго творчества. Вопіющая неблагодарность! И еще болѣе глубокое ослѣпленіе, когда съ тѣми же цѣлями—поучиться и поучить другихъ, Писаревъ приступилъ и къ роману Чернышевскаго. Здѣсь удручающая ограниченность личнаго опыта и гипнотическій характеръ умственного процесса сказались во всей силѣ, и съ такой высоты логическаго мышленія Писаревъ обрушился на Пушкина, сочинивъ рядъ статей, признанныхъ цвѣтомъ его критическаго таланта.

Писаревъ долгое время-готовился къ подвигу, предварительно успѣлъ совершенно очистить себѣ путь отъ всякаго эстетическаго хлама. Его энергія вызвала было отпоръ, особенно идея полезности, до послѣдней степени узкой, исключительно-практической. Онъ было смутился и попятился назадъ, началъ оговариваться, что *реалисты* понимаютъ *пользу* не въ томъ ограниченномъ смыслѣ, какъ думаютъ «антагонисты». Реалисты допускаютъ даже поэтовъ, лишь бы только они «ясно и ярко раскрыли предъ нами тѣ стороны человѣческой жизни, которыя намъ необходимо знать для того, чтобы основательно размышлять и дѣйствовать».

Оговорка весьма смутная и малосмысленная, но какъ бы ее ни понимать, она не спасаетъ искусства. Писаревъ безпрестанно

ставить дилемму—или накормить голодных людей, или «наслаждаться чудесами искусства», или популяризаторы естествознания, или «эксплуататоры человеческой наивности». Общество, заключающее въ своей средѣ голодныхъ и бѣдныхъ и въ тоже время покровительствующее искусствамъ, уподобляется голому дикарю украшающему себя драгоценностями.

Въ результатѣ всѣхъ хожденій вокругъ да около Писаревъ допускаетъ одно лишь искусство—поэзію, но здѣсь же убиваетъ его критикой. По его мнѣнію, она должна обращать вниманіе на фактическій матеріалъ, читать художественное произведеніе совершенно такъ же, какъ «мы пробѣгаемъ отдѣлы иностранныхъ извѣстій въ газетѣ». Для нихъ не должны представлять ни малѣйшаго интереса ни талантъ автора, ни его языкъ, ни его жанръ повѣствованія. Надо на поэзію смотрѣть съ той же точки зрѣнія, какъ, напримѣръ, на телеграфъ. «Достоинство телеграфа заключается въ томъ, чтобы онъ передавалъ извѣстія быстро и вѣрно, а никакъ не въ томъ, чтобы проволока изображала собой разныя извилины и арабески».

Самое побѣдоносное соображеніе и оно немедленно уполномочиваетъ критика архитекторовъ отождествить съ кухарками, выливающими клюквенный кисель въ замысловатыя формы, живописцевъ со старухами, которыя бѣлятся и румянятся, исторію искусства объяснить существованіемъ богатыхъ меценатовъ и продажныхъ или трусливыхъ декораторовъ...

Достаточно. Реальное міросозерцаніе болѣе чѣмъ ясно, и совершенно напрасно Писаревъ изъ года въ годъ раскрывалъ его на всяческіе лады, затопляя *Русское Слово* потокомъ фигуръ тождественнаго смысла и не уставалъ «перевертываться съ фразой» на пространствѣ цѣлыхъ страницъ. Онъ сразу установилъ истины до такой степени простыя и рѣшительныя, что больше думать рѣшительно было не о чемъ и незачѣмъ. Оставалось только приложить общія истины къ самому крупному единичному случаю и показать практически всю побѣдоносность новыхъ идей. Такой случай представляла именно поэзія Пушкина, этотъ сильнѣйшій оплотъ эстетиковъ, и Писаревъ совершенно правильно битву съ великимъ поэтомъ призналъ рѣшительной для торжества реалистовъ. Исторія эта не подаритъ насъ никакими новостями послѣ извѣстныхъ намъ подвиговъ критика, но она въ высшей степени важна, какъ именно вполне наглядное фактическое освѣщеніе писаревского таланта и писаревской умственной силы.

## IX.

До сраженія съ Пушкинымъ Писаревъ успѣлъ однимъ почеркомъ пера вычеркнуть изъ исторіи литературы Лермонтова, Гоголя, Грибоѣдова, Крылова, какъ «зародышей поэтовъ», особенно досталось Лермонтову за то, что онъ «окорналъ и обезсмыслилъ Байрона для увлеченія русскихъ барышень». Легко понять, послѣ такой гекатомбы воину нашему уже ничего не стоило покончить съ Пушкинымъ, и онъ началъ трубить побѣду еще до битвы.

Онъ желаетъ «образумить» публику насчетъ Пушкина, «перерѣшить» вопросы, рѣшенные Бѣлинскимъ, «съ точки зрѣнія послѣдовательнаго реализма». А для этого приходится порвать даже съ Чернышевскимъ, «самымъ блестящимъ и самымъ глубокимъ мыслителемъ *Современника*». Правда, Чернышевскій разрушилъ эстетику, но онъ признавалъ Пушкина поэтомъ и высоко цѣнилъ статьи Бѣлинскаго о немъ. Базаровъ думаетъ на этотъ счетъ иначе, и Писаревъ послѣдуетъ за нимъ во всѣхъ подробностяхъ, даже въ способѣ вести войну.

Базаровъ приписываетъ Пушкину мысли и чувства, ему вовсе не принадлежація, также поступитъ и его почитатель. Пушкинъ виноватъ во всемъ, за что можно укорить Евгенія Онѣгина. Онъ отвѣчаетъ за пошлость и умственную косность высшаго русскаго общества первой четверти XIX-го вѣка, онъ достоинъ осужденія за то, что его герой скучаетъ и что онъ не *боецъ* и не *работникъ*. Пушкинъ преступенъ даже тамъ, гдѣ другой поэтъ, напримеръ, Гейне совершенно правъ. Гейне могъ преклоняться предъ чистымъ искусствомъ и совсѣмъ не *реально* относиться къ жещинамъ: таковы были внѣшнія обстоятельства, условія среды, эпохи. Пушкину нѣтъ пощады: онъ внѣ времени и да будетъ ему стыдно просто за то, что онъ Пушкинъ и, слѣдовательно, «пародія на поэта». Именно такой ходъ мыслей у критика, какъ бы это странно ни казалось. Критикъ просто не понимаетъ совершенно ясныхъ стиховъ и толкуетъ ихъ подъ несомнѣннымъ наитіемъ кошмара.

Самая горячая филиппика противъ Пушкина написана по поводу дуэли Онѣгина съ Ленскимъ. Слова поэта: «И вотъ общественное мнѣніе! Пружина чести—нашъ кумиръ! И вотъ на чемъ вертится міръ!» Писаревъ понялъ въ томъ смыслѣ, будто въ эту минуту Пушкинъ идеализируетъ своего героя и признаетъ законность предразсудка, вынуждающаго человѣка на дуэль. «Пушкинъ», взываетъ критикъ, «оправдываетъ и поддерживаетъ си-

имъ авторитетомъ робость, безпечность и неповоротливость индивидуальной мысли... Онъ подавляетъ личную энергію, обезоруживаетъ личный протестъ и укрѣпляетъ тѣ общественные предразсудки, которые каждый мыслящій человѣкъ обязанъ разрушать всѣми силами своего ума и всѣми запасомъ своихъ знаній»...

И всѣ эти громы на основаніи иронически грустнаго замѣчанія поэта, какимъ-то чудомъ не понятаго столь краснорѣчивымъ защитникомъ ума и знанія!

Тотъ же умъ подсказалъ Писареву множество не менѣе диковинныхъ соображеній насчетъ другихъ поэтовъ. Знаете ли, наприимѣръ, почему *Гёте—титанъ*, хотя и эстетикъ и весьма равнодушный гражданинъ? По очень внушительнымъ причинамъ: не будь онъ титанъ, Берне не сталъ бы такъ жестоко возмущаться его филистерствомъ, а Байронъ не посвятилъ бы ему *Сардананала*. Писареву нѣтъ никакого дѣла, что Байронъ могъ считать Гёте титаномъ именно съ эстетической точки зрѣнія, и Берне возмущаться имъ по совершенно противоположнымъ мотивамъ. Впрочемъ, могутъ ли подобныя пустяки смущать «реалиста»? Онъ, именно по поводу Пушкина, дѣлаетъ слѣдующія открытія: поэты «рождены для того, чтобы ни о чемъ не думать», а потому стихи и драмы можетъ писать всякій, только не всякому размѣры ума позволяютъ заниматься такимъ низкимъ дѣломъ...

Это—по истинѣ титаническія откровенія! Во мгновеніе ока, одной фразой радикально пересозданъ человѣкъ и, естественно, законодатель нашъ позаботится начертать программу для будущей человѣческой расы.

Теперь онъ, понятно, среды не признаетъ: онъ теперь заигнотизированъ совершенно противоположной идеей—культомъ личности, столь же неограниченнымъ, какою раньше была вѣра во всемогущество среды. Выводы изъ этого культа не могли представить ничего оригинальнаго. Имѣютъ извѣстное значеніе общія педагогическія разсужденія Писарева, основанныя на «святыхъ челоуѣческой личности». Но все это старыя и общезвѣстные мотивы послѣ статей Добролюбова. Любопытнѣе практическія приложенія принциповъ, и вотъ, здѣсь-то опять реалисту измѣняютъ и умъ, и знаніе.

Писаревъ сочиняетъ образцовую программу для гимназій и университетовъ. Идею программы онъ цѣликомъ заимствуетъ у Конта, пользуется его классификаціей наукъ и въ основу преподаванія кладетъ математику. Одновременно проектируется изуче-

ніе ремеслъ по многимъ утилитарнымъ соображеніямъ. Знаніе ремесла сократитъ случаи ренегатства: умственные работники, лишившись работы, могутъ снискивать себѣ пропитаніе физическимъ трудомъ и не вступать въ предосудительныя сдѣлки. Наконецъ, физическій трудъ особенно способствуетъ «искреннему сближенію съ народомъ», признающимъ, по свѣдѣніямъ Писарева, только физическихъ работниковъ.

Писаревъ повторяетъ сень-семонистскія идеи о «реабилитациі физическаго труда», о «связи между лабораторіей ученаго спеціалиста и мастерской простого ремесленника». Но русскій публицистъ и здѣсь до послѣдней возможности нажалъ педаль. Сень-симонистамъ и въ голову не приходило физическому труду жертвовать умственнымъ образованіемъ, а Писаревъ сочиняетъ цѣлый проектъ, даже съ денежными выкладками, обученія гимназистовъ ремесламъ, какъ одному изъ главныхъ предметовъ, едва ли даже не самому главному. Зато раньше естественныя науки признавались основой гимназической программы, теперь онѣ изгоняются изъ гимназическаго курса.

Но полнѣйшее раздолье для воображенія представила Писареву университетская программа. Прежде всего онъ предлагаетъ уничтожить дѣленіе на факультеты. Раньше онъ совсѣмъ не признавалъ исторіи, какъ науки. Контъ переубѣдилъ его и теперь онъ связываетъ исторію съ математическими и естественными науками, общеобязательную программу начинаетъ съ дифференціального и интегральнаго исчисленія и кончаетъ исторіей, преподаваемой только на послѣднемъ курсѣ...

Лучшаго образчика самой необузданной игры фантазіи трудно и представить. Реалистъ до конца остается вѣреть фанатически отвлеченнымъ построеніямъ, не обнаруживая ни познанія, ни пониманія дѣйствительности. Отрицательная критика Писарева, направленная противъ общеизвѣстныхъ и весьма живучихъ язвъ русской школы, цѣлесообразна, но всякая его попытка проявить организаторскую, созидательную мысль кончается полной неудачей.

Такъ и слѣдовало ожидать отъ ума, питающагося исключительно схемами и формулами, азартно работающаго въ области чистыхъ отвлеченій и въ своемъ протестѣ противъ дѣйствительности не умѣющаго отличить болѣзненныхъ явленій отъ основныхъ законовъ органической жизни личности и общества. Эти же свойства писаревскаго мышленія отразились и на окончательномъ результатѣ его дѣятельности.

Она изсякла сама собой, выдохлась будто летучее вещество. Жизнь и работа какого угодно сильного ума можетъ поддерживаться только въ близкомъ соприкосновеніи съ дѣйствительностью. Она—истинная оплодотворительница и питательница мысли. Безъ нея мысль умираетъ изморомъ и умъ и талантъ начинаютъ страдать такимъ же худосочиємъ и малокровіємъ, какія поражаютъ организмъ при недостаткѣ питанія.

Это именно произошло съ Писаревымъ. Въ теченіе пяти лѣтъ онъ все переговоры, что можно было высказать по поводу общихъ нравственныхъ, литературныхъ и общественныхъ идей. Въ сущности, онъ переговоры это еще раньше, не внѣшній литературный талантъ маскировалъ крайне многословныя и однообразныя повторенія уже нѣсколько разъ разъясненныхъ положеній и выводовъ.

Въ концѣ 1866 года Писаревъ вышелъ изъ крѣпости и обнаружилъ явное истощеніе мысли и таланта. Статьи за слѣдующіе два года—блѣдны и безличны, блѣднѣе даже самыхъ раннихъ библиографическихъ замѣтокъ Писарева. Чаще всего критикъ ограничивается болѣе или менѣе краснорѣчивымъ изложеніемъ содержанія беллетристическихъ произведеній, но и здѣсь не убергается отъ рѣзкаго противорѣчія самому себѣ. Изрекши раньше смертный приговоръ надъ Вальтеръ-Скоттомъ, теперь онъ восхищается романами Эркмана-Шатріана, какъ удачной попыткой популяризировать исторію и приносить пользу народному самосознанію.

Благосвѣтловъ редакторскимъ наметаннымъ взоромъ сразу постигъ упадокъ Писарева и безъ особенныхъ сожалѣній порвалъ съ нимъ сношенія изъ-за случайной размовки. Въ іюлѣ 1868 года Писаревъ утонулъ въ морѣ, въ Дуббельнѣ, и Благосвѣтловъ писалъ Шелгунову: «Онъ умеръ уже давно, какъ умишленный дѣятель, т. е. умеръ въ концѣ прошлаго года».

Но Благосвѣтловъ спѣшилъ высказать увѣренность, что «люди умираютъ, а идеи, честныя и хорошія идеи живутъ».

Разумѣлись, конечно, идеи Писарева. Мы не можемъ раздѣлить этой увѣренности. Имя Писарева унаслѣдовало громкую и продолжительную популярность, но въ этой популярности было много приводящихъ обстоятельствъ, не зависѣвшихъ отъ достоинства и назидательности писаревскихъ идей. Изъ этихъ идей время сохранило отъ забвенія какъ разъ тѣ, которыя самому Писареву достались по наслѣдству отъ другихъ. Призывъ къ личной са-

мостоятельности, чувству личнаго достоинства, къ неустанному умственному развитію, это очень цѣнный голосъ во всѣ времена и при всякихъ обстоятельствахъ, и особенно онъ былъ цѣненъ на зарѣ и разсвѣтѣ обновленной, свободной Россіи. Но этотъ голосъ—только отголосокъ рѣчей, звучавшихъ до Писарева и имъ застигнутыхъ въ полномъ разгарѣ. Онъ сообщил отголоску много привлекательности, свѣжести и энергіи, благодаря необыкновенно ясному, простому и подчасъ очень живому литературному слову. Но онъ не пожелалъ остановиться на этой задачѣ, и «беззаботно и весело» пустился на открытія, руководимый деспотической рукой и лично очарованный эффектомъ цѣли: подарить публикѣ самые простые и въ то же время самые положительные отвѣты на всѣ интересующіе ее вопросы.

И какія же средства имѣлись въ распоряженіи новоявленнаго учителя! По его собственному сознанию, весьма ограниченныя. Начиная сотрудничество въ *Русскомъ Словѣ*, онъ «о нашей литературѣ и критикѣ не имѣлъ почти никакого понятія». Допустимъ нѣкоторую рисовку въ этомъ призваніи, но оно врядъ ли особенно далеко отъ истины, послѣ извѣстнаго намъ гимназическаго и университетскаго воспитанія. А дальше слѣдовали годы на рѣдкость производительной работы: до пятидесяти печатныхъ листовъ ежегодно. Врядъ ли оставалось много времени и возможности учиться и думать, особенно при непрестанно возростающей славѣ. Недаромъ Писаревъ такъ энергично настаивалъ, чтобы молодые реалисты не «изучали» ни критиковъ, ни поэтовъ, а только «пробѣгали» ихъ произведенія и набирали изъ нихъ явленія жизни <sup>25)</sup>. Писаревъ лично неуклонно слѣдовалъ этому правилу о жизни учился по романамъ, какъ это ни неожиданно для реалиста. Про него и Зайцева *Современникъ* писалъ: «въ видѣ Базарова они получаютъ желанный реалистическій талисманъ и ключъ къ скорому, почти механическому рѣшенію всѣхъ вопросовъ».

Писаревъ пространно возражалъ противъ своей идейной зависимости отъ Базарова, но насчетъ механизма умолчалъ: будто рѣшать всѣ вопросы именно такъ и слѣдовало <sup>26)</sup>. Такъ они дѣйствительно и рѣшались всюду, гдѣ Писаревъ отступалъ отъ рѣшеній своихъ учителей, и въ легкости и простотѣ рѣшенія за

<sup>25)</sup> *Кукольная трагедія съ букетомъ гражданской скорби*. IV, 194—5.

<sup>26)</sup> *Посмотримъ!* V, 161—2.

ключалась большая доля увлекательности писаревскихъ статей для молодежи. Она, конечно, должна была восторженно привѣтствовать въру въ ея силы, таланты, честныя стремленія, съ горячимъ сочувствіемъ встрѣчать непрерывно звучавшій кличъ: *впередъ!* Но все это не создало бы Писареву столь громкой славы. Она выпадаетъ на долю только созидателямъ, чистые отрицатели способны вызвать мимоletный эффектъ, привести публику въ изумленіе и потонуть въ рѣкѣ забвенія. Писаревъ не изъ ихъ числа: онъ всю жизнь усиливался разрушеніе соединить съ творчествомъ, на расчищенной почвѣ возвести новое зданіе.

Но усилія не могли привести къ *прочнымъ* результатамъ. У строителя не было ни соотвѣтственнаго матеріала, ни обдуманнаго плана, ни строительскіихъ способностей. Онъ звалъ очень мало, думалъ крайне поверхностно, составлялъ заключенія въ высшей степени опрометчиво, и вся культурная первобытность русской публики какъ нельзя яснѣе обнаружилась именно въ успѣхахъ писаревской литературной дѣятельности. Онъ самъ приходилъ въ изумленіе отъ малой требовательности своихъ читателей, по поводу своей много на шумѣвшей статьи *Схоластика XIX-го вѣка*. Онъ могъ бы свое изумленіе съ еще большимъ правомъ распространить, на свои знаменательнѣйшія произведенія: *Реалисты, Пушкинъ и Бѣлинскій, Разрушеніе эстетики*. Неожиданность и легкость успѣха, несомнѣнно, сильно отразились на превращеніи Писарева изъ сравнительно скромнаго библіографа въ торжествующаго пророка, изъ эпикурейца-эстетика въ неотразимую «мыслящую личность». Это превращеніе, въ свою очередь, явилось первоисточникомъ главнѣйшихъ отрицательныхъ явленій, подорвавшихъ развитіе и распространеніе идей Чернышевскаго и Добролюбова и вписавшихъ въ исторію шестидесятихъ годовъ рядъ не литературныхъ, не идейныхъ страницъ.

## Х.

Имя Писарева въ теченіе всей его дѣятельности окружено необыкновеннымъ блескомъ и шумомъ. Изъ мѣсяца въ мѣсяцъ оно испещряетъ страницы журналовъ, вызываетъ длящихся волненія среди читателей, превращается въ нарицательное понятіе исключительной и въ высшей степени отважной умственной силы. Можно не признавать ея благодѣтельныхъ вліяній на публику, можно даже отрицать за ней вообще положительныя достоинства, но не



считаться съ ней, пренебрегать ею нѣтъ ни малѣйшей возможности. Удивительный писатель ежемѣсячно поставяетъ отъ пяти до семи печатныхъ листовъ, пишетъ о самыхъ разнообразныхъ вопросахъ съ одинаковой легкостью, бойкостью и неотразимой самоувѣренностью. Очевидно, все это жадно поглощается подписчиками, журналъ преуспѣваетъ, его презрѣніе къ противникамъ становится величественнѣе чуть не съ каждымъ днемъ, и вполне основательно. Впослѣдствіи журналъ будетъ прекращенъ, и, по свидѣтельству менѣе всего дружественнаго лица, это событіе вызоветъ небывало-рѣзкое единодушное недовольство общества <sup>27)</sup>).

Задолго до катастрофы именно враги успѣютъ вполне опредѣленно засвидѣтельствовать великую роль Писарева. Этихъ свидѣтельствъ безчисленное множество; возьмемъ для примѣра два на разныхъ полюсахъ современной публицистики. Въ началѣ 1862 года, т. е. въ первый же періодъ писаревскихъ подвиговъ въ нигилистическомъ направленіи, журналъ *Время* настойчиво рекомендовалъ читателямъ статью *Схоластика XIX вѣка*. По мнѣнію «почвеннаго» органа Достоевскаго, Писарева слѣдуетъ читать: «онъ самое новое, самое выразительное проявленіе нашей современной литературы; въ немъ обнаруживаются глубочайшія ея тайны». Статья Писарева ставится выше даже *Полемическихъ красотъ* Чернышевскаго <sup>28)</sup>.

Три года спустя, *Современникъ*, яростно воевавшій съ *Русскими Словомъ*, сообщилъ своимъ читателямъ о письмѣ въ редакцію отъ неизвѣстнаго корреспондента. Авторъ письма совѣтовалъ *Русскому Слову* обращаться съ Писаревымъ крайне бережно, поправлять его ошибки «снисходительно, осторожно и со всей деликатностью». Писаревъ — разсуждаетъ корреспондентъ — «можетъ увлекаться, можетъ ошибаться, дѣлать промахи, но все-таки это лучший цвѣтокъ изъ нашего сада. Грубо сорвавъ его цвѣтъ и не деликатно отнесясь къ нему, вы возстановите окончательно противъ себя всю молодежь» <sup>29)</sup>.

Нѣтъ ни малѣйшихъ основаній сомнѣваться въ дѣйствительности этой корреспонденціи: *Современникъ*, дѣлавъ сообщеніе на свою голову и молодежь на самомъ дѣлѣ усердно поддерживала пышный разцвѣтъ Писарева. Такое положеніе вещей ставило Писарева не только на первое мѣсто среди новыхъ людей, но не-

<sup>27)</sup> Никитенко. III, 106.

<sup>28)</sup> *Время*. 1862, январь, авторъ Н. Косица (Н. Страховъ).

<sup>29)</sup> *Современникъ*, 1865, апрѣль. *Русская литература*, 280.

минуемо должно было создать вокруг него цѣлую школу. Благосвѣтловъ могъ сообщать своему юному сотруднику какія угодныя идейныя вдохновенія, даже производить надъ ними радикальныя психологическіе опыты, но онъ не обладалъ публицистическимъ талантомъ. Его отвѣты *Современнику* поражаютъ первобытной грубостью, самымъ откровеннымъ наборомъ ругательствъ, не прикрытыхъ ни остроумнымъ краснорѣчіемъ, ни какими бы то ни было принципиальными соображеніями и доказательствами. Его литературныя способности не шли дальше компилятивнаго отчета о чужой книгѣ или молодецкаго чисто-физическаго размаха сильнаго кулака.

Совершенно другое полемическіе приемы Писарева. Онъ всегда умѣетъ жестокое издѣвательство надъ противникомъ обставить чрезвычайно живописными подробностями, бранный мотивъ уснастить разнообразными музыкальными фіоритурами, и статья произведетъ на читателя несравненно болѣе пріятное и даже болѣе основательное впечатлѣніе. Писареву, напримѣръ, потребуется заклеить враждебныхъ критиковъ Базарова. Это значитъ они будутъ осыпаны градомъ вдохновеннѣйшихъ опредѣленій по части ихъ нравственныхъ и умственныхъ качествъ, «Ахъ ты, коробочка доброжелательная! Ахъ ты, обличительница копѣчная! Ахъ ты, лукошко россійскаго глубокомыслія!...» <sup>30)</sup>. Превосходно, но въ чистомъ, неукрашенномъ видѣ нѣсколько жестоко, и Писаревъ подастъ трудносѣдобное блюдо въ обильномъ соусѣ. На него будутъ потрачены рѣшительно всѣ фигуры, какія только извѣстны теоріи словесности. Чрезвычайно легкая и плавная рѣчь блещетъ сравненіями, иносказаніями, восклицаніями, діалогами съ публикой и героями авторовъ. Читатель не можетъ не поддаться такому стремительному и увлекательному потоку. Самый процессъ чтенія необыкновенно усладителенъ. Писатель не предъявляетъ рѣшительно никакихъ запросовъ къ умственнымъ силамъ читателя. Его задача рѣшить вопросъ возможно *проще* и *легче*, беллетристической формой и доступнѣйшимъ содержаніемъ. Вся полемика—настоящее свободное искусство. Статья, будто лирическое стихотвореніе, переполнена своими художественными и стилистическими красотами, не имѣющими ничего общаго съ самой идеей, своими куплетами, своимъ драматизмомъ и своимъ «безпорядкомъ», и все это существуетъ само по себѣ, независимо отъ логики разсужденія и

<sup>30)</sup> *Реалисты. Сочиненія*. IV, 21.

окончательнаго вывода. Недаромъ авторъ началъ свое поприще беззаботно и весело: начало, достойное свободнаго художника!

И онъ останется на этомъ поприщѣ до самаго конца. Онъ невыразимо счастливъ чисто-виѣшней стороною своей работы. Нанизывать такія звучныя фразы, изобрѣтать такія необыкновенныя изреченія, снабжать противниковъ такими забавными ярлыками и эпитетами, вѣдь это цѣлое блаженство! Ужасно смѣшно представить, какъ бѣдный Антоновичъ почувствуетъ себя вдругъ «лукошкомъ російскаго глубокомыслія!» Ничего не можетъ быть остроумнѣе и полезнѣе для успѣховъ «реальной» критики. И изобрѣтатель принимается рисовать въ своемъ воображеніи потрясающія трагическія страданія врага, сраженнаго «лукошкомъ».

Дѣйствія сего орудія поразительныя. Оно «подобно шпанской мушкетѣ», оно сохраняетъ раздражающую силу въ теченіе многихъ мѣсяцевъ, съ каждымъ мѣсяцемъ страданія жертвы становятся невыносимѣе и, наконецъ, она впадаетъ въ горячечный бредъ и начинаетъ свои видѣнія принимать за существующіе факты...<sup>21)</sup> Все это въ яркихъ картинахъ возстаетъ предъ умными очами критика, поощряетъ его на дальнѣйшее творчество, и сколько художественныхъ страницъ можно создать при такихъ благодарныхъ обстоятельствахъ! Русскій словарь достаточно богатъ, а русскій читатель безъ мѣры благосклоненъ, и образцовый жанръ критики водворился по всей линіи русской печати.

Жанръ чрезвычайно оригинальный и совершенно-неожиданный. Предъ нами чтò ни авторъ, то завѣдомый реалистъ, т. е. усерднѣйшій и убѣжденный поклонникъ *факта* и *дѣла*. Ничего фантастическаго, ничего ненужнаго, только одна непосредственная и наглядная польза. Слова строгой науки и правила здраваго смысла, все остальное эстетика, невѣжество и умственная ограниченность. Цѣнность каждой печатной страницы соотвѣтствуетъ количеству научныхъ свѣдѣній, сообщаемыхъ авторомъ, все равно, будетъ ли это статья или романъ. Мы не должны забывать о телеграфной проволоцѣ: ей не полагается никакихъ извилинъ и арабесокъ, чтобы передавать депеши. Такъ и литература: пусть она учитъ публику прямолинейно и просто, безъ разныхъ хитростей и безъ полезныхъ изворотовъ.

Правило—вполнѣ ясное и дѣльное. Но, вѣроятно, *теорія* всегда и для всѣхъ—предметъ очень, даже нестерпимо *сухой* и, слѣдс-

<sup>21)</sup> *Прозулка по садамъ російской словесности*. IV, 372—3.

вательно, неосуществимый. Реалисты въ этомъ отношеніи не ушли дальше гетевского героя, пожалуй, отстали. Гёте сухой теоріи противопоставлялъ «цвѣтущее дерево жизни», т. е. подлинный фактический реализмъ; русскіе новые люди теорію принесли въ жертву словамъ, отнюдь не дѣлу. Полемическая литература шестидесятыхъ годовъ поражаетъ обиліемъ чисто-словеснаго, идейно совершенно безплоднаго матеріала. На каждомъ шагу эта литература превращается въ искусство для искусства, даже не въ личное взаимное разоблаченіе противниковъ, а въ бессодержательную игру фразами и крѣпкими словами. Мы не желаемъ сказать, будто вся молодая журналистика—сплошной риторическій турниръ. Такой результатъ прямо невысказанъ, независимо отъ личной воли публицистовъ. При какой угодно безцѣльной запальчивости и непозволительномъ пристрастіи къ частнымъ перебранкамъ, имъ, несомнѣнно, по временамъ удавалось бы коснуться вопросовъ общаго, дѣйствительно просвѣтительнаго содержанія.

Такъ это и было, конечно. Но, кромѣ счастливыхъ случайностей, у публицистовъ жило искреннее желаніе учить и просвѣщать своихъ читателей. Доказательство—обиліе популярныхъ статей по исторіи и естествознанію. Оно должно считаться незабвенной исторической заслугой шестидесятыхъ годовъ. Но реалисты отнюдь не желали ограничиться работой компиляторовъ, слишкомъ безличной и скромной. Они—«мыслящія личности» и, слѣдовательно, ихъ назначеніе—самостоятельная философская разработка вопросовъ литературы, науки, личной и общественной нравственности. И вотъ на этомъ-то пути независимаго мышленія безграничнымъ потокомъ разлилась самобытная журнальная полемика, въ теченіе многихъ лѣтъ наносившая тяжкіе удары реальнымъ задачамъ молодыхъ писателей.

Этотъ фактъ долженъ быть выдвинутъ на первый планъ въ нашей исторіи: такое положеніе будетъ вполне соответствовать исторической правдѣ. Полемическія красоты играютъ подавляющую роль въ нигилистической литературѣ и не столько существенна рѣзкость, безпримѣрная откровенность ея тона, сколько именно чистая художественность ея приемовъ и результатовъ. Шестидесятники, послѣдовавшіе Добролюбову и Чернышевскому, безпрестанно полемизировали ради [самой полемики, наводняли свои журналы совершенно праздыми словопреніями, на десяткахъ и сотняхъ страницъ пережевывали разныя «лукошки» и

«бутерброды». Можно удивляться особенной психологii русской публики, воспринимавшей подобную литературскую дѣятельность и благодушно терпѣвшей пространныя доказательства, какъ такой-то критикъ удачно смазалъ другого «размазней», обозвалъ «гнилымъ и заразительнымъ бутербродомъ» и «шалопаемъ», а тотъ въ отместку изобличалъ «полемиическое шулерство» своего противника, заткнувъ ему ротъ неотразимыми комплиментами. «Ахъ вы, лгунишка! Ахъ вы, сплетникъ литературный! и даже «лгунъ, помноженный на три»<sup>32)</sup>. И эти блестящія краснорѣчія украшаютъ весь критическій отдѣлъ журналовъ, врываются даже въ *Обозрѣнія*. *Внутреннее*, по крайней мѣрѣ, весьма часто является только продолженіемъ нарочито воинственныхъ *Литературныхъ мелочей* и фельетоновъ подъ всевозможными крылатыми наименованіями.

И Писарева слѣдуетъ считать главой направленія. Въ *Русскомъ Словѣ* онъ представлялъ соблазнительнѣйшій примѣръ для всѣхъ другихъ сотрудниковъ, на *Современникѣ* и другія изданія онъ дѣйствовалъ крайне раздражающимъ образомъ. Положимъ, сотрудники *Современника* не нуждались въ особенныхъ виѣшнихъ раздраженійхъ, чтобы производить свои собственныя посильныя полемиическія красоты, но въ хронологіи военныхъ нападеній первенство принадлежитъ *Русскому Слову*. Писаревъ открылъ атаку на писателей *Современника* и повелъ ее въ высшей степени упорно и безпощадно.

Какъ могло произойти это по истинѣ противоестественное событіе?

*Современникъ* служилъ органомъ Чернышевскаго и Добролюбова, т. е. признанныхъ учителей молодого поколѣнія. По смерти Добролюбова, мѣсто ихъ главнаго критика занялъ М. А. Антоновичъ, около двухъ лѣтъ работалъ рядомъ съ Чернышевскимъ, а послѣ устраненія его съ литературной сцены сталъ однимъ изъ редакторовъ журнала. Преданія, повидимому, вполне ясныя и свѣжія, и Антоновичъ, казалось бы, никакъ не могъ нарушить ихъ.

По образованію семинаристъ и академикъ, молодой писатель еще раньше—студентомъ—увлекался идеями *Современника*, началъ писать въ немъ при Добролюбовѣ и удостоился весьма одобрительнаго отзыва Чернышевскаго, какъ человѣкъ передовой и способный къ быстрому умственному развитію. Естественно, основ-

<sup>32)</sup> *Современникъ*. 1865, апрѣль. *Литературныя мелочи*. *Русское Слово*. 1865, февраль.

ное эстетическое уложение молодой критики—диссертация Чернышевскаго, невозбранно признавалось преемникомъ Добролюбова. Впослѣдствіи его статья объ этой книгѣ представить чисто ученическое почтительное изложеніе ея содержанія, безъ всякихъ попытокъ сомнѣваться и критиковать священные завѣты учителя <sup>33)</sup>).

Та же эстетика царствовала и въ *Русскомъ Словѣ*: по крайней мѣрѣ, такъ заявлялъ Писаревъ, неоднократно и очень краснорѣчиво. И вдругъ то же *Русское Слово* пишетъ статью *Глушцынъ, появившійся въ «Современникѣ»*, *Современникъ* сочиняетъ сказаніе *Барскіе лакеи въ «Русскомъ Словѣ»*! Эффектный обменъ любезностями! И онъ длится цѣлые годы, приводя въ смущеніе дружественную публику и въ неподдѣльную радость недоброжелателей и равнодушныхъ.

*Расколъ въ нигилистахъ*! злобно провозглашали *Отечественныя Записки*, *Эпоха* и прочіе «филистеры»! И они имѣли всѣ основанія торжествовать: нигилистическая междоусобица обильно снабжала ихъ перлами небывалой публицистики въ полемическомъ родѣ. Косица могъ ежемѣсячно сдобривать свои лѣтописныя замѣтки въ изданіи семьи Достоевскихъ нигилистическимъ перцемъ, цѣльными пригоршнями разсыпаннымъ по страницамъ двухъ передовыхъ журналовъ. У Косицы не оказывалось остроумія, соотвѣтствовавшаго траги-комическому приключенію юныхъ борцовъ. Но достаточно было просто отмѣчать факты, чтобы въ сильнѣйшей степени поколебать писательское достоинство яростно поѣдавшихъ другъ друга представителей одного и того же направленія. И на самомъ дѣлѣ, болѣе диковиннаго и болѣе грустнаго зрѣлища русская литература не представляла ни раньше, ни позже. Никакой филистеръ въ мірѣ не могъ бы причинить болѣе глубокаго нравственнаго ущерба передовой публицистикѣ, чѣмъ это совершали наперебой ревностными усиліями публицисты *Современника* и *Русскаго Слова*. И здѣсь одинаково замѣчательны и поводы междоусобицы, и ея характеръ, и ея результаты. Все вмѣстѣ поразительно выпуклыми чертами рисуетъ типъ критика и мыслителя, представляемый личностью перваго человѣка среди «новыхъ людей».

## XI.

Мы знаемъ раннюю статью Писарева о Базаровѣ. Она можетъ быть признана наиболѣе удачнымъ произведеніемъ писа-

<sup>33)</sup> *Современникъ*. 1865, мартъ.

ревскаго пера. Она, не въ примѣръ прочимъ, носитъ явные слѣды обдуманности, критической проницательности и даже художественнаго вкуса, а главное—личной нравственной независимости критика отъ характеризуемаго героя и спокойнаго, достойнаго отношенія къ автору и его произведенію. Всѣ достоинства, какихъ вскорѣ тщетно станетъ искать иной требовательный читатель въ разсужденіяхъ неограниченно-властнаго публициста! Особенно горько онъ пожалѣетъ объ этихъ навсегда исчезнувшихъ достоинствахъ, когда сравнитъ писаревскую статью съ откликами *Современника* на тургеневскій романъ.

Зрѣлище безпримѣрное даже въ лѣтописяхъ нигилистической журналистики! И виновникъ его, Антоновичъ, отнынѣ сначала затаенный, потомъ открытый врагъ *Русскаго Слова*.

Удивительный артистъ прочиталъ романъ и съ его мыслительными способностями произошло нѣчто непостижимое: будто сказочный герой выпилъ волшебной воды и утратилъ свой естественный образъ. Въ его глазахъ все вывернулось наизнанку и стало вверхъ ногами. Всего нѣсколько дней или даже часовъ тому назадъ существовалъ Тургеневъ, всѣми признанный за писателя, по меньшей мѣрѣ, умнаго, терпимаго и свободомыслящаго. Недаромъ же онъ началъ *Записками охотника* и продолжалъ *Рудинимъ*. Вдругъ настоящая революціонная перемѣна докораций!

Стоило Тургеневу написать *Отцовъ и дѣтей*, онъ мгновенно сталъ рядомъ съ Аскоченскимъ, издателемъ *Домашней Беседы*. Во всей русской литературѣ послѣ Булгарина не было болѣе опозореннаго имени и безнадежнѣе высмѣяннаго изданія. Даже Катковъ призналъ нужнымъ направить на темную и дикую фигуру маньяка-мракобѣса уничтожающіе удары насмѣшки и глѣба. Аскоченскій превратился въ нарицательное имя, и оно уже давно совмѣщало въ себѣ всѣ рѣшительно понятія, какія только могутъ кровно оскорбить писателя, какъ человѣка и литературнаго дѣятеля. И вотъ этотъ-то Терситъ русской журналистики оказывался предшественникомъ и даже учителемъ Тургенева!

Да, фактъ вѣтъ сомнѣній. Аскоченскій всего за четыре года до *Отцовъ и дѣтей* написалъ романъ подъ названіемъ *Асмодей нашего времени*. Само собой понятно, какія цѣли могли быть у сочинителя. Онѣ ясны изъ самого заглавія: Асмодей—никто иной какъ молодой герой, представитель новаго отрицательнаго на правленія, однимъ словомъ «нигилистъ». У него только нѣтъ знаменитой клички, а всѣ поступки и всѣ идеи нигилистической

вѣры и нравственности предвосхищены въ совершенствѣ Аскоченскимъ. Критикъ *Современника* доказываетъ это обильными сопоставленіями и приходитъ къ выводу, разбивающему въ прахъ умственные способности и гражданскіе задатки автора *Отцовъ и дѣтей*.

«Какъ угодно,—пишетъ критикъ,—во г. Аскоченскій болѣе безпристрастенъ къ отрицательному направленію и лучше его понимаетъ, чѣмъ г. Тургеневъ». Это объ авторахъ; то же самое можно сказать и объ ихъ герояхъ. Пустовцевъ, герой Аскоченскаго, «все-таки выше, по крайней мѣрѣ гораздо умнѣе и основательнѣе Базарова». Этого мало. Аскочевскій «гораздо послѣдовательнѣе» Тургенева, т. е., надо понимать, гораздо честнѣе и искрениѣе.

Онъ, не сочувствуя отрицательному направленію, заканчиваетъ свой романъ проклятіями на голову своего Асмодея, а Тургеневъ, такой же ненавистникъ своего Базарова, мечтаетъ о молодыхъ елкахъ, невинныхъ взглядахъ цвѣтковъ и всепримиряющей любви съ «отцами и людьми».

Таковы основныя идеи Антоновича о тургеневскомъ романѣ. Онѣ развиты въ громадной статьѣ, представляющей послѣднее слово разностительной критики. Все, что только можно отыскать отрицательнаго и позорнаго вообще въ какомъ бы то ни было литературномъ произведеніи, все это заполняетъ каждую тургеневскую страницу, бросается въ глаза и угнетаетъ душу скучающаго и раздраженнаго читателя. «Крайне неудовлетворительно въ художественномъ отношеніи», «удушливый зной странныхъ разсужденій», «за исключеніемъ одной старушки, нѣтъ ни одного живого лица и живой души, а все только отвлеченныя идеи и разныя направленія, олицетворенныя и названныя собственными именами», все это для критика стало совершенно ясно, лишь только онъ прочиталъ романъ. Убѣдился онъ также безповоротно и въ другой, еще болѣе роковой для автора истинѣ. Авторомъ руководила единственная цѣль показать публикѣ, какіе *негодяи* его враги и противники. Достигается она часто крайне наивно, по дѣтски. Тургеневъ мститъ Базарову во всѣхъ рѣшительно мелочахъ и пустякахъ, заставляетъ его проигрываться въ карты, обнаруживать предосудительное пристрастіе къ шампанскому. Местъ идетъ и дальше: Базаровъ непочтителенъ къ родителямъ, вызываетъ ужасъ и омерзѣніе у *доброй и возвышенной по натурѣ женщины*, всѣхъ, кто подчиняется его вліянію, учить безнравственности и безсмы-



слію. Результаты, конечно, получаются самые плачевные. «Въ пѣломъ выходитъ не характеръ, не живая личность, а карриката, чудовище съ крошечной головкой и гигантскимъ ртомъ, съ маленькимъ лицомъ и преобладающимъ носомъ, и притомъ карриката самая злостная».

Прекрасно! Но какъ же всѣ эти ужасы романа и преступленія Тургенева примирить съ прежними его произведеніями. За Аскоченскимъ вѣдь ничего не числится, кромѣ юридическихъ бумагъ и инквизиторскихъ сысковъ, а вѣдь имя Тургенева съ гордостью помѣщала *Современникъ* въ списокъ своихъ сотрудниковъ, Какъ же это объяснить?

Очень просто, отвѣчаетъ критикъ. Раньше не понимали смысла тургеневскаго творчества, и литераторы и публика *ошибались* въ объясненіи этого смысла. Теперь все объяснилось—*напрямки, безъ околичностей*, въ настоящемъ, прошедшемъ и будущемъ. Тургеневъ завѣдомый врагъ новыхъ умственныхъ движеній и, слѣдовательно, современнаго молодого поколѣнія. Онъ вмѣстилъ это поколѣніе въ лицѣ изверга и глупца, не понявъ самой сущности дѣла и обрадовавшись случаю сочинить пасквиль на ненавистныхъ людей <sup>34</sup>).

Такъ судилъ передовой журналъ объ *Отцахъ и дѣтяхъ*, судилъ критикъ, рекомендованный Чернышевскимъ, и произведеніе критика печаталось рядомъ со статьей учителя! Какъ могло случиться подобное стеченіе обстоятельствъ? Не могъ же Чернышевскій раздѣлять галлюцинаціи своего юнаго собрата. Невѣроятно, чтобы автору статей о гоголевскомъ періодѣ тургеневскій нигилистъ показался глупцомъ и пошлякомъ, чтобы въ его картежномъ проигрышѣ онъ усмотрѣлъ злостную месть автора! Не требовалось, повидимому, никакой особенной критической способности, чтобы постигнуть всю безсмыслицу и гомерическую наивность такого обвинительнаго акта. И Чернышевскій, несомнѣнно, постигалъ, но въ данную минуту дѣйствовали болѣе настойчивыя причины политическаго свойства, чѣмъ здравый смыслъ и литературная справедливость.

*Современникъ* находился въ непримиримой войнѣ съ Тургеневымъ. Она началась немедленно, лишь только *Наканунъ* было напечатано въ *Русскомъ Вѣстникѣ*. Пламя сначала разгоралось тайно и медленно и вспыхнуло открыто и бурно, когда Турге-

<sup>34</sup>) *Современникъ*. 1862, мартъ.

не въ съ января 1860 года, послѣ напечатанія въ журналѣ Некрасова рѣчи о Гамлетѣ и Донъ-Кихотѣ, окончательно прервалъ свое сотрудничество въ *Современникѣ*. Журналъ принялся доказывать братьямъ-писателямъ и публикѣ, что разрывъ произошелъ изъ-за убѣждений, Тургеневъ слишкомъ отсталъ отъ міросозерцанія *Современника*: редакция «уволила» его!... Заявленіе вопіющимъ образомъ извращало факты, и тѣмъ, конечно, ревностнѣе подтверждавалось дѣйствіями журнала.

*Свистокъ*, издававшійся при *Современникѣ*, избралъ Тургенева своей мишенью, не только какъ писателя, но и какъ частную личность, именно его отношенія къ Віардо. По поводу *Рудина* читателямъ давалось понять, что авторъ желалъ въ своемъ романѣ угодить литературнымъ друзьямъ.

Тургеневъ возмутился и вздумалъ публично отвѣчать *Современнику*. Отвѣтъ не возымѣлъ желаемого успѣха: журналъ пользовался непоколебимымъ авторитетомъ среди своей публики и Тургеневу пришлось раскаться въ своемъ плохо разсчитанномъ рѣшеніи—бороться съ такимъ противникомъ. Впослѣдствіи онъ даже совѣтовалъ «молодымъ литераторамъ» дѣлать свое дѣло и не разстраиваться дразгами. Совѣтъ подкрѣплялся именно неудачной полемикой съ *Современникомъ*.

Послѣ этого намъ становится понятнѣе упражненіе Антоновича, усилія критика въ концѣ унизить и разбить Тургенева, поставивъ его рядомъ съ Аскочевскимъ. Редакция журнала должна была горячо сочувствовать этому предпріятію. Помимо указанныхъ данныхъ, мы можемъ тоже заключеніе сдѣлать на основаніи сообщеній лица, близкаго редактору *Современника* <sup>35)</sup>. Сообщенія эти, вообще преизобилующія неправдами по недоразумѣнію и еще чаще по заранѣе обдуманному намѣренію, и нарочито взвинченной страсти, любопытны, какъ яркій и откровенный показатель воинственныхъ намѣреній редакціи *Современника* по отношенію къ Тургеневу. Антоновичъ явился образцово усерднымъ отголоскомъ этихъ чувствъ и не побоялся статьей объ *Отцахъ и дѣтяхъ* навсегда подписать смертный приговоръ своимъ критическимъ способностямъ и писательскому безпристрастію. Некрасову суждено было испытать жестокое возмездіе за пріятное усердіе его критика. Впослѣдствіи, всего шесть лѣтъ спустя, ему самому пришлось поссориться съ Антоновичемъ, и тотъ отомстилъ

<sup>35)</sup> *Воспоминанія* Головачевой, *Ист. Вѣст.*

ему убійственнымъ *Объясненіемъ*, оставившимъ далеко за собой даже *Асмодея*. Личность и вся литературная дѣятельность Некрасова пригвождалась къ позорному столбу, знаменитый поэтъ обвинялся въ тягчайшихъ нравственныхъ и литературныхъ преступленіяхъ, прежде всего—въ торгашескомъ, спекулятивномъ характерѣ своего либерализма и народничества... Столь оказалось удобнымъ и привлекательнымъ пользоваться услугами бойкаго молодого пера съ полемическими цѣлями противъ лично неповиннаго писателя!

Но пока Антоновичъ дѣйствовалъ на полной свободѣ и въ ненарушимомъ единодушіи съ редакціей, онъ не пропускаетъ случая обозвать публично Тургенева излюбленнымъ именемъ Аскоченскаго, дріурочить его къ компаніи Стебницкихъ, Ключниковыхъ и Писемскихъ, завѣдомыхъ гонителей нигилистическаго направленія. Можно бы, конечно, многое возразить противъ не по разуму стремительной наклонности критика сваливать въ одну кучу всѣ цвѣта и оттѣнки изъ лагеря *не нашихъ*, но, очевидно, съ самаго начала вопросъ заключался не въ принципахъ правды и справедливости и не въ интересахъ собственно литературной критики и общественныхъ идеаловъ. *Современникъ* ставился на военное положеніе противъ Тургенева и велъ себя *какъ на войнѣ*, т. е. стрѣлялъ и рубилъ направо и налево, не разбирая средствъ и не различая въ станѣ противника ни добра, ни зла. Послѣдствія должны были выйти менѣе всего почетныя для запальчиваго воина и для всей современной публицистики.

*Современникъ* прежде всего столкнулся съ Писаревымъ. Критикъ *Русскаго Слова* не усмотрѣлъ въ лицѣ Тургенева преступника и не призналъ Базарова негодяемъ умствепнаго и нравственнаго идиотизма. Это послужило началомъ «раскола» и жесточайшей междоусобицы на нѣсколько лѣтъ. Въ настоящее время подобный поводъ къ журнальной войнѣ можетъ показаться крайне легкомысленнымъ, совершенно безцѣльнымъ и юношески-комическимъ, даже больше, мало вѣроятнымъ съ точки зрѣнія здраваго смысла и самой простой публицистической политики. Въ основѣ лежало или явно вопіющее недоразумѣніе, лишившее критика *Современника* права на какое бы то ни было серьезное вниманіе со стороны публики, или еще горшее зло—партійная и личная злоба. Изъ-за чего же было ломать оружіе съ подобнымъ героемъ? Доказывать ему, что Тургеневъ не Аскоченскій—не глѣбо никакого смысла: человекъ, усвоившій эту идею, этимъ са мѣ

доказывалъ полную безнадежность своего ума и нравственного чувства. Поднимать брошенную имъ перчатку—значило дѣлать не по достоинству его особу и его дѣйствія.

Единственное соображеніе могло бы заставить очевидцевъ вступить въ бой съ невмѣняемымъ рыцаремъ—популярность *Современника* среди молодой публики. Популярность не подлежала сомнѣнію и, мы видѣли, Тургеневу пришлось отступить предъ ней, какъ непреодолимой силой. Но именно фактъ отступленія гениальнаго художника показывалъ всю стихійность, всю безотчетность увлеченій *Современникомъ*. Загипнотизированные читатели, очевидно, отказывались даже выслушивать противную сторону. Приговоръ у нихъ былъ составленъ раньше процесса и безповоротно на все время гипнотического состоянія. Антоновичъ могъ безнаказанно изъ мѣсяца въ мѣсяць совершать какія угодно насилія надъ общечеловѣческой логикой, надъ общедоступными фактами и надъ непосредственнымъ чувствомъ художественной и нравственной красоты: онъ былъ правъ во что бы то ни стало, разсудку вопреки и наперекоръ стихіямъ. Диктатура въ двадцать семь лѣтъ—вещь чрезвычайно заманчивая и авторъ *Асмодеа* быстро потерялъ всякое представленіе о перспективѣ и мѣрѣ, лишь бы пропустила цензура да не притянули къ суду. Недалекое будущее безжалостно возмѣстило воину его азартъ. Фейерверочный шумъ и бенгальскій блескъ, по самой природѣ, скоротечны и бесплодны. Имени Антоновича—столь громкому и эффектному въ теченіе трехъ-четырехъ лѣтъ—предстояло печальное, ничѣмъ неотвратимое забвеніе, оскорбительно холодное равнодушіе даже со стороны прежнихъ участниковъ зрѣлища, теперь подросшихъ и созрѣвшихъ. Уже въ 1868 году самъ Некрасовъ отказался отъ литературныхъ услугъ Антоновича въ *Отечественныхъ Запискахъ*, и этого было достаточно, чтобы навсегда похоронить всѣ военные доспѣхи и всю героическую славу бывшего перваго артиста *Современника*. Краснорѣчивѣйшее доказательство, на какихъ призрачныхъ устояхъ покоилась эта слава и какъ мало заключалось *разума* и *справедливости* въ многолетней авторитетности неудержимо запальчиваго приговорщика.

Но какъ бы то ни было, запальчивость принесла свои плоды. Тургеневскій романъ сталъ яблокомъ раздора между двумя передовыми органами русской печати, и публика очутилась предъ своего рода бенефиснымъ спектаклемъ нигилистической публицистики.

## XII.

Едва успѣла разгорѣться брань изъ-за Базарова и Тургенева, на поле битвы подоспѣлъ новый *casus belli*. На первый взглядъ онъ не представлялся особенно важнымъ: зажигательный снарядъ былъ брошенъ мимоходомъ, случайно, но при высокой температурѣ борцовъ, и онъ быстро наполнилъ сцену дѣйствія огнемъ и дымомъ.

На этотъ разъ виновникъ—Щедринъ, а вина—легкомысленное отношеніе сатирика къ роману *Что дѣлать? Современникъ* и *Русское Слово* уже состояли въ войнѣ другъ съ другомъ и Щедрина было естественно парашнута идоловъ враждебнаго журнала, только сдѣлавъ онъ это очень нерасчетливо и опрометчиво.

Никакимъ писательскимъ авторитетомъ Щедринъ не владѣлъ въ первой половинѣ шестидесятыхъ годовъ, по очень простой причинѣ: онъ все еще искалъ своихъ убѣжденій и—мы знаемъ—даже въ лагерѣ крайнихъ славянофиловъ. Смѣхъ сатирика съ трудомъ различалъ толки и направленія и беззаботно разгуливалъ по головамъ нашихъ и вашихъ, лишь бы находилась пожива для болѣе или менѣе забавнаго издѣвательства. Таковъ общій голосъ критики шестидесятыхъ годовъ. Умѣренный и сдержанный Страховъ на этотъ счетъ вполне согласенъ съ Писаревымъ и Зайцевымъ, и нельзя было не согласиться особенно послѣ выходки противъ романа Чернышевскаго.

Зачѣмъ собственно потребовалось Щедрину метнуть стрѣлу своего остроумія въ этотъ романъ—трудно рѣшить, тѣмъ болѣе, что самая стрѣла отнюдь не отличается остротой и пролетѣла она въ сущности мимо цѣли: сатирикъ задѣлъ слишкомъ второстепенный предметъ и притомъ весьма легкомысленно и слишкомъ беззаботно.

Въ *Современникѣ* появилась такая веселая картинка, равно рассчитанная на ядовитость:

«Когда я вспомню, напримѣръ, что «со временемъ» дѣти будутъ рождать отцовъ, а янца будутъ учить курицу, что «со временемъ» зайцевская хлыстовщина утвердитъ вселенную, что «со временемъ» милыя нигилистки будутъ безстрастной рукой разстѣкать человѣческіе трупы и въ то же время подплясывать и подпѣвать: «Ни о чемъ я, Дуня, не тужила» (ибо, «со временемъ», какъ извѣстно, никакое человѣческое дѣйствіе безъ пѣнія пляски совершаться не будетъ), то спокойствіе окончательно вод-

воряется въ моемъ сердцѣ и я забочусь только о томъ, чтобы до тѣхъ поръ совѣсть моя была чиста. Съ чистой совѣстью я надѣюсь прожить сто лѣтъ и ничего, кромѣ чистоты совѣсти, не ощущать» <sup>36)</sup>...

Сатирикъ долго распространяется на счетъ чистой и нечистой совѣсти: вопросъ, не подлежащій обсужденію заинтересованныхъ читателей, они предпочли заподозрѣть у автора другого рода чистоту и въ другомъ смыслѣ, именно полнѣйшую неприкосновенность сатирика къ какому-либо опредѣленному міросозерпанію. *Эпоха* примѣняла къ сатирику *Современника* изреченіе Хлестакова: «у меня легкость въ мысляхъ необыкновенная» <sup>37)</sup>. *Русское Слово* выражалось несравненно рѣзче, знакомя своихъ читателей съ понятіями *Современника* о нигилисткахъ. Понятія выяснялись изъ драматической, весьма веселой сценки, уличавшей бѣдныхъ нигилистокъ въ зависти къ богатымъ кокеткамъ. Съ одной изъ этихъ несчастныхъ сатирику довелось вести разговоръ о театрѣ. Нигилистка сидѣла въ пятомъ ярусѣ, а «пресловутая Шарлота Ивановна, вся блестящая и благоухающая, роскошествовала въ бель-этажѣ и безстыдно предъявляла алкающей публикѣ свои обнаженные плечи и «мясжный груди валъ».

— И какъ она смѣла, эта скверная!—визгливо заключала нигилистка, топая ножкой.

Авторъ изумился; какое дѣло его собесѣдницѣ до счастья Шарлоты Ивановны?

— Помилюте! Я, честная нигилистка, задыхаюсь въ пятомъ ярусѣ, а эта дрянь, эта гадость, эта жертва общественнаго темперамента... смѣетъ всенародно показывать свои плечи... гдѣ же тутъ справедливость? И неужели правительство не обратитъ, наконецъ, на это вниманія?

Авторъ въ отвѣтъ принялся развивать ей свою теорію о чистой и нечистой совѣсти и спросилъ у нигилистки:

— Ну согласились бы вы промѣнять вашу чистую совѣсть на ложу въ бель-этажѣ?

— Конечно, нѣтъ, — отвѣчала она, но какъ-то невнятно. И авторъ долженъ былъ повторить свой вопросъ.

Немедленно вслѣдъ за этой сценкой рассказывалась соотвѣт-

<sup>36)</sup> *Современникъ*. 1864, январь, *Наша общественная жизнь*, 26.

<sup>37)</sup> *Эпоха*. 1864, октябрь. *Последніе два года въ петербургской журналистикѣ*. *Русское Слово*. 1864, февраль. *Глуповцы, попавшіе въ Современникъ*, 37.

ствующая бесѣда съ нигилистомъ, и нигилистъ, при одномъ намекѣ даже на *Русскій Вѣстникъ*, уже прямо заявлялъ:

— Э, батюшка, всё *тамъ* будемъ!..

Такъ упражнялся сатирикъ журнала, гдѣ всего семь мѣсяцевъ назадъ закончилось печатаніемъ *Что дѣлать?* Было отчего придти въ негодованіемъ даже самымъ хладнокровнымъ поклонникамъ Чернышевскаго. Сатирикъ дѣйствительно совершалъ нѣчто несообразное и редакция пускала его по всей волѣ, очевидно, въ явное противорѣчіе своему собственному азарту противъ Тургенева. Если Базаровъ — злостная каррикатура на нигилистовъ, что же остается сказать о нигилистѣ и нигилистѣ Щедрина? И зачѣмъ же тогда Антоновичъ изъ года въ годъ потрясалъ воздухъ яростными воплями во славу молодого поколѣнія, если одновременно съ нимъ это поколѣніе подвергалось издѣвательству совершенно въ духѣ джентльменовъ изъ *Русскаго Вѣстника*. Это соединеніе естественно несліянныхъ теченій еще ярче отбѣиваетъ чисто-полемиическій, а не идейный характеръ войны *Современника* съ Тургеневымъ. Къ нашему удивленію, *Русское Слово* не отмѣчало этого противорѣчія, но оно всѣми силами налегло на полное несоотвѣтствіе щедринскаго смѣха направленію *Современника*, какъ бывшаго органа Добролюбова и Чернышевскаго.

И *Русское Слово* было право.

Если Щедрина пришла охота уничтожить нигилизмъ и высмѣять мечтанія и увлеченія молодого поколѣнія,—идти къ этой цѣли надлежало отнюдь не путемъ фантастическихъ веселыхъ диалоговъ, не воздѣйствіемъ на смѣшливыя наклонности веселой публики, не эксплуатаціей забавныхъ словечекъ и еще менѣе—мнимо-остроумной и рѣшительно ничего не означавшей болтовней о чистой и нечистой совѣсти. Съ такими приѣмами критики Щедринъ становился ниже Писемскаго. У автора *Взбаломученнаго моря* и фельетоновъ Никиты Безрылова говорило, по крайней мѣрѣ, сильное и глубокое чувство; онъ, видимо, волновался и мучился, преслѣдуя ненавистное общественное явленіе. А здѣсь—подлинно «легкость необыкновенная», пріятнѣйшее саморазвлеченіе и именно беззаботность сатирика, радостно глумившагося надъ безразличными для него фактами, вызвала ядъ и желчь юношей *Русскаго Слова*. Вопросъ всталъ рѣзко и для обѣихъ сторонъ въ высшей степени отвѣтственно: какъ *Современникъ* относится къ Чернышевскому? Дѣйствительно ли авторъ *Эстетическихъ отношеній* общій учитель двухъ молодыхъ редакцій, или одна изъ нихъ по-

ворачиваетъ направо, влекомая беззавѣтной веселостью и невмѣняемымъ сатирическимъ зудомъ своего фельетониста?

*Русское Слово* немедленно, по прочтеніи діалоговъ *Современника*, отвѣчало со всей энергіей, какою только обладала полемика рѣчь Зайцева.

«Омерзительно видѣть самодовольнаго балагура, дошедшаго изъ любви къ безпричинному смѣху, до осмѣиванія того, чѣмъ былъ вчера, и провозглашающаго глуповскую мораль, въ родѣ слѣдующей: «яйца курицу не учаты!» Ну что жъ, читатели *Современника*, бросайте Добролюбова, отвращайтесь отъ него—вѣдь онъ принадлежалъ къ числу птенцовъ и осмѣливался учить и даже проучивать такихъ почтенныхъ куръ, какъ г. Погодинъ или г. Аксаковъ, или даже г. Щедринъ, который не можетъ до сихъ поръ простить ему и въ отместку старается ущипнуть его въ своею курятникѣ...»

Зайцевъ указывалъ на «скользкій путь», выбранный *Современникомъ* подъ руководствомъ Щедрина, прямо говорилъ о ренегатствѣ, не падалъ личности самого «эксъ-администратора» и заключалъ свою рѣчь не безъ эффекта и убѣдительности: «совмѣстить въ себѣ тенденцію остроумнаго фельетониста съ идеями Добролюбова журналъ, уважающій себя, не можетъ. Надо выбрать одно изъ двухъ: или идти за авторомъ *Что дѣлать?* или смѣяться надъ нимъ».

Отповѣдь Зайцева—только начало возмездія. Дѣло въ руки взялъ Писаревъ, и быстро возникъ рядъ статей, колебавшихъ всѣ краеугольные камни *Современника*. Прежде всего пришлось поплатиться самому Щедрину. *Цѣтныя невиннаго юмора* разсчитывали совершенно уничтожить сатирика, какъ серьезнаго и мыслящаго писателя. Большого труда не предстояло критику. Ранній юморъ Щедрина на самомъ дѣлѣ пренеполненъ наивнаго шаржа, манернаго, напряженно-остроумнаго пустословія, усиленно придуманныхъ, до послѣдней степени откровенныхъ, но по существу вполнѣ бесплодныхъ словечекъ и прибаутокъ. Писареву оставалось только вязать въ букеты и гирлянды всѣ эти «цвѣты»—въ родѣ «греческаго человѣка Тррефандоса», «фики», «ахъ на-тушка!»... Задача очень благодарная, и Щедринъ, читая статью, врядъ ли чувствовалъ себя въ сатирическомъ настроеніи. Къ сожалѣнію, Писаревъ не нашелъ лучшаго средства выгнать Щедрина отъ легкомысленнаго безотчетнаго глумленія, какъ рекомендовать ему переводить и компилировать сочиненія по естественнымъ наукамъ.



Несомненно, Щедринъ годился на что-нибудь помимо компиляцій, и его Глуховъ не былъ послѣднимъ словомъ его писательской психологіи. Критикъ легко могъ бы придти къ такому заключенію на основаніи уже имѣвшагося подѣ его руками матеріала. Но онъ предпочелъ разомъ и навсегда покончить съ противникомъ въ томъ же духѣ, какъ это сдѣлалъ Антоновичъ съ Тургеневымъ. Отъ рѣшительности критика не выигрывала ни истина, ни даже его цѣль. Сатирическій талантъ Щедрина не могъ быть вычеркнутъ изъ русской литературы какой угодно остроумной статьей, и читающая публика, довѣряя критику *Русскаго Слова*, приобретала только новое недоразумѣніе.

А между тѣмъ, Писаревъ находился въ очень выгодномъ положеніи. *Современникъ* явно подлежалъ уликѣ въ двусмысленности дѣйствій, Щедринъ обнаруживалъ поразительную незрѣлость идей и легковѣсность смѣха: все это представляло богатую пищу для обличительнаго краснорѣчія. Но все это не давало Писареву права обобщать нѣсколько отдѣльных фактовъ, взлетать на олимпійскую высоту предъ своимъ противникомъ и доставлять зрѣлище «филистерамъ».

Они воспользовались случаемъ, и Достоевскій напечаталъ въ *Эпохѣ* сатирическій разсказъ подѣ заглавіемъ: *Господина Щедрина или расколъ въ нигилистахъ*. Онъ прежде всего собралъ крылатыя рѣчи *Русскаго Слова* по адресу Щедрина и *Современника*, а потомъ изобразилъ въ драматической формѣ появленіе *Щедродарова*—«шавки лающей и кусающейся»—въ числѣ сотрудниковъ нигилистическаго органа. Достоевскій искусно воспользовался общими положеніями писаревской реальной критики и высмѣялъ ихъ одновременно съ безпринципностью сатирика. «Филистеры» убивали двухъ зайцевъ, исключительно благодаря безтактности самихъ передовыхъ публицистовъ<sup>38</sup>).

Но для насъ поучительны не столько успѣхи сатиры Достоевскаго, сколько общіе результаты жестокой войны. Ихъ отмѣчала тоже *Эпоха* и вполне основательно. Результаты сводились къ нулю. Полемика не дала «ни единой крупинки пищи для ума и сердца... Что сказали или хотѣли сказать г. Щедринъ въ продолженіе года? Зачѣмъ онъ напалъ на романъ *Что дѣлать?* Какая разница между *Современникомъ* и *Русскимъ Словомъ?*»

Отвѣта не получилось, и фактъ, по мнѣнію *Эпохи*, прекрасно

<sup>38</sup>) *Эпоха*. 1864, май.

характеризовать *стоячее* положеніе петербургской журналистики. «Обнаружилось внутреннее броженіе, не имѣющее никакой цѣли и свидѣтельствующее объ отсутствіи настоящей дѣятельности, настоящихъ интересовъ» <sup>39)</sup>).

Интересы, конечно, были, но запальчивые юноши воинственные личные счеты предпочли идейной работѣ. Она, несомнѣнно, выходила болѣе легкой и доставляла болѣе крѣпкое наслажденіе молодому вкусу и воображенію. Оно покупалось за счетъ положительныхъ и прочныхъ задачъ публицистики; но гдѣ же было заниматься этимъ вопросомъ, когда представлялась возможность пошумѣть и подраться безъ всякихъ усилій мышленія, при помощи хлесткаго, болѣе или менѣе терпимаго браннаго словаря!

Къ такимъ же результатамъ привела междоусобица *Русскаго Слова* и *Современника* и въ спорѣ объ *Отцахъ и дѣтяхъ*. Предметъ еще болѣе значительный и явно вызывавшій на приготовленіе пищи для ума и сердца, и объ стороны сдумѣли свести его къ личной перебранкѣ, даже не затрогивая принциповъ.

#### L.

Писаревъ рѣзко разошелся съ Автоновичемъ въ оцѣнкѣ *Отцовъ и дѣтей* и самого Тургенева: естественно было бы выяснить идейныя основы этого разногласія, доказать, что Тургеневъ дѣйствительно не имѣетъ ничего общаго съ Аскоченскимъ и что въ Базаровѣ заключены подлинныя черты современнаго молодого поколѣнія. Писаревъ *узналъ себя въ Базаровѣ*: это существенный фактъ, и Герценъ, отнюдь не поклоняясь ни Писареву, ни Тургеневу, призналъ его въ высшей степени поучительнымъ; въ своемъ сужденіи о Тургеневѣ, какъ авторѣ романа, повторилъ взглядъ Писарева: Тургеневъ, лично несочувствуя Базарову, какъ художникъ остался правдивымъ и честнымъ изобразителемъ своего героя <sup>40)</sup>.

Герценъ могъ бы кое въ чемъ исправить мнѣнія Писарева, особенно послѣ личной близкой освѣдомленности на счетъ тургеневскихъ сочувствій и не-сочувствій, но, несомнѣнно, писаревская статья о Базаровѣ заключала въ себѣ много удачныхъ замѣчаній и мѣткихъ указаній, какъ истинное самопризнаніе молодого критика. На этой почвѣ и предстояло, повидимому, разыгаться полемика. Въ дѣйствительности вышло нѣчто совершенно обратное.

<sup>39)</sup> *Эпоха*. 1864, іюль, октябрь.

<sup>40)</sup> *Еще разъ Базаровъ*. Сочиненія X, 417 etc.

Антоновичъ непоколебимо устоялся на своемъ открытіи, что Базаровъ каррикатура, а Тургеневъ—Асоченскій. Защищать подобную истину логикой и фактами нѣтъ никакой возможности, и *Современникъ* прибѣгъ совершенно откровенно къ личной брани и даже къ личнымъ сыскамъ съ пристрастіемъ. Онъ поставилъ своей миссіею «критиковъ-дѣтей»—безнадежныхъ глупцовъ и принялся осыпать ихъ отборными укоризнами во всевозможныхъ нравственныхъ изъянахъ. Въ его распоряженіе съ самаго начала попада вѣрная мысль о зависимости Писарева отъ Базарова, о наклонности *Русскаго Слова*, вмѣсто независимой вдумчивости въ вопросы литературы, философіи и русской дѣйствительности, пользоваться нигилистическими уроками изъ романа. На этотъ фактъ указывало *Время* еще раньше Антоновича. Оно находило, что нигилизмъ рѣшительно ничего не сдѣлалъ для себя, не разъяснилъ даже своего міросозерцанія и не опредѣлилъ своего мѣста въ исторіи общественной мысли. Все сдѣлано его противниками, и особенно Тургеневымъ. Именно онъ «изобразилъ живьемъ, съ кровью и плотью, представителя, образцоваго члена загадочной толпы. Мнѣнія и чувства этого представителя были превосходно сгруппированы и доведены до возможной отчетливости и гармоніи. Въ довершеніе всего Тургеневъ открылъ и создалъ самое трудное: онъ угадалъ имя этого человѣка, онъ назвалъ его нигилистомъ» <sup>41)</sup>.

Антоновичъ, слѣдовательно, не открывалъ Америки, и Писаревъ, подчиняясь художественному образу, проявлялъ только сущность своей природы, а вовсе не становился въ положеніе случайнаго компилятора. Онъ, по справедливому замѣчанію Герцена, дѣйствовалъ до наивности откровенно, но въ его дѣйствіяхъ заключался извѣстный психологическій и культурный смыслъ. Въ вылазкѣ Антоновича не было ничего, кромѣ личной злобы и непостижимаго непониманія совершенно яснаго предмета. И эти же мотивы критикъ положилъ въ основу своей полемики съ *Русскимъ Словомъ*.

Онъ не могъ или не хотѣлъ понять *органическую* связь Писарева, какъ личности, и Базарова, какъ извѣстнаго типа. Онъ сосредоточилъ все свое вниманіе на исключительно полемической цѣли, т. е. на внѣшней сторонѣ вопроса, притомъ совершенно извращеннаго собственнымъ толкованіемъ. Базаровъ—злостная каррикатура, а Писаревъ рабская копія съ нея: таковъ смыслъ

<sup>41)</sup> *Время*, 1863, январь, ст. о комедіи О. Устрялова *Слово и дѣло*,—И. Кошцы.

многочисленных страницъ, исписанныхъ Антоновичемъ за все время полемики. Онъ предоставлялъ автору полное раздолье по части все того же поносительнаго словаря, и погоня за энергіей и крѣпостью формы отодвинула на послѣдній планъ сущность разногласія.

*Современникъ* безповоротно увѣровалъ, что поклонники Базарова и тургеневскаго таланта только «вислоухіе», «дѣти» и «юродствующіе», больше ничего; *Русское Слово* не стерпѣло удара, хотя бы совершенно безсмысленнаго, и закусило удила. На Антоновича посыпался градъ соотвѣтственныхъ эпитетовъ, въ журнальной атмосферѣ стоялъ стоялъ отъ брани и чисто личныхъ препирательствъ. *Современникъ* заявлялъ, что онъ «принялъ за правило наказывать всякую литературную ракалію тѣмъ же орудіемъ, которымъ она сама согрѣшаетъ», а *Русское Слово* усерднѣйше соревновало сопернику и станъ нигилистовъ на цѣлые мѣсяцы превратился въ своего рода гладиаторскую арену.

А между тѣмъ, у обѣихъ сторонъ были безусловно принципиальные поводы спорить и взаимно оправдываться. Писаревъ, по всей справедливости, могъ бы взять на себя опѣку таланта и направленія Тургенева. Въмѣсто того, чтобъ опровергать Бѣлинскаго и разносить Пушкина, онъ могъ бы съ точки зрѣнія реальной критики *перерубить* вопросъ о Тургеневѣ, остававшійся открытымъ для критиковъ всѣхъ направлений и эстетическаго, и нигилистическаго. Но Писаревъ предпочелъ даже отказаться отъ собственныхъ воззрѣній на Базарова, вступить съ самимъ собой въ рѣзкое противорѣчіе, критическое отношеніе къ герою смѣнить на восторженный культъ. Въ смѣнѣ не было ничего искусственнаго и притворнаго, Писаревъ оставался по-прежнему искреннимъ и увлеченнымъ, но въ ущербъ спокойному проникновенному мышленію. И Антоновичъ получилъ возможность дѣлать параллели и сопоставленія прежнихъ и позднѣйшихъ взглядовъ *Современника* на Базарова и отчасти на Тургенева <sup>42)</sup>.

Все это производилось отнюдь не съ цѣлью уяснить вопросъ, представить анализъ психологіи героя и его критика, а исключительно ради пущаго униженія враждебнаго журнала. Писаревъ, съ своей стороны, доискивался, читалъ ли редакторъ *Современника* романъ Тургенева до статьи Антоновича объ Асмодеѣ? По соображеніямъ Писарева, не читалъ и «г. Антоновичъ обманулъ довѣріе». Антоновичъ немедленно возопилъ о «пошлой выдумкѣ»

<sup>42)</sup> *Современникъ*, 1865, апрѣль. *Русская литература*, 304 etc.

и «злонамѣренной клеветѣ» и постарался доконать врага всяческими средствами.

На сцену выступилъ уже вообще Писаревъ, какъ человѣкъ, и его сильнѣйшій авторитетъ—Благосвѣтловъ. Его признанія на счетъ ранняго невѣжества и неразвитія, письмо его матери объ его зависимости отъ поученій и руководства Благосвѣтлова—все это пущено въ ходъ съ самыми откровенными поясненіями и толкованіями. Искренность Писарева, а, можетъ быть, и нѣкоторая рисовка въ изображеніи своихъ школьныхъ испытаній и удручающей незрѣлости ума въ гимназій и въ университетѣ, сослужили драгоценную службу *Современнику*: «реалистъ» былъ поднятъ на смѣхъ, какъ существо едва мнѣняемое и до жалости ограниченное. А дальше подъ руку подвернулся Благосвѣтловъ, и здѣсь уже окончательно потонули всѣ принципиальныя вопросы въ «черной» и «бѣлой» грязи. Такое распредѣленіе сдѣлано Благосвѣтловымъ для характеристики своихъ разнообразныхъ непріятелей изъ *Отечественныхъ Записокъ* и *Современника*. Характеристика, вполне примѣнимая къ самому *Русскому Слову*.

Благосвѣтловъ бился съ открытымъ лицомъ, Антоновичъ подъ забраломъ Посторонняго сатирика. Это епіроі Антоновичъ посвятилъ преимущественно издателю *Русскаго Слова* и цѣлый рядъ статей подъ названіемъ *Литературныя мелочи*. Статьи чрезвычайно обширныя, запальчивыя, безпрестанно утрачивающія литературную форму и украшаемыя бранью, намеками и совершенно откровенными нападеніями на частныя дѣла противника. Вся цѣль обоихъ соратниковъ наговорить возможно больше «поносныхъ словъ» въ глаза другъ другу, и цѣль блистательно достигается. Антоновичъ изъ силъ выбивается доказать, что не его называли лукошкомъ, а онъ называлъ Благосвѣтлова бутербродомъ, и что онъ никогда не назоветъ издателя «съ крайней безсовѣстностью» душкой и миашкой, что онъ раскроетъ всю подноготную Благосвѣтлова и повѣдаетъ міру, какъ онъ вдругъ сдѣлался издателемъ журнала и вообще что онъ праздноватающійся мажорай.

Противная сторона также не постѣсняется по части военныхъ пріемовъ. Рядомъ съ Антоновичемъ къ сѣдствію будетъ привлеченъ также издатель *Современника*, публика узнаетъ, что этотъ издатель проигрываетъ въ карты деньги своихъ подписчиковъ, заводитъ псовыя охоты. Въ отвѣтъ Антоновичъ сообщитъ, что у Благосвѣтлова имѣются, по слухамъ, двѣ кошки и что у него «прошедшее» самое позорное, у него—графскаго прихлебателя и лакея...

Какое впечатлѣніе подобная литература могла производить на публику? Едва ей удавалось услышать одно-два общихъ замѣчаній, какъ ее немедленно привлекали къ судебному процессу и заставляли присутствовать при перемываніи грязнаго литературскаго бѣлья. Она могла, повидимому, разсчитывать поучиться у *Современника*, какъ слѣдуетъ смотрѣть на реальную критику, какой практической смыслъ заключенъ въ книгѣ Чернышевскаго и какія преступленія совершаетъ Писаревъ въ качествѣ разрушителя эстетики?

Обязанность въ высшей степени не хитрая—раскрыть увлеченія и ошибки критиковъ-дѣтей, и *Современникъ* подходилъ совсѣмъ близко къ рѣшенію этой задачи. Онъ брался защищать Добролюбова, желалъ доказывать «лже-реализмъ» *Русскаго Слова*, стремился выставить въ забавномъ свѣтѣ войну Писарева съ эстетикой, но только брался, желалъ, стремился... Въ результатъ ничего не выходило поучительнаго, заслуживающаго признательности читателей. Защита Добролюбова сводилась къ оправданію его взгляда на Катерину Островскаго, улика въ лже-либерализмъ переходила въ брань на Тургенева и *Отцовъ и дѣтей*, покушенія на эстетическое варварство Писарева закончились обвиненіемъ того же критика за его отзывъ о тургеневскомъ романѣ, за «непониманіе самыхъ ясныхъ вещей», т. е. будто Тургеневъ—Аскоченскій, а Базаровъ—Асмодей...

Очевидно, критикъ *Современника* оказывался прямо неспособнымъ вести литературную полемику съ *Русскимъ Словомъ* даже на самой для себя благодарной почвѣ. Его ежеминутно буревалъ неукротимый забіяческій азартъ и на десяткахъ его бойкихъ страницъ можно найти едва нѣсколько строкъ дѣйствительно идейной работы мысли. Мы можемъ указать собственно только на одно цѣнное мѣсто среди всѣхъ критическихъ и фельетонныхъ нашествій Антоновича на *Русское Слово*, именно указаніе, что *Мертвыя души* и *Ревизоръ* принесли обществу несомнѣнно осязательную пользу. Антоновичъ желалъ сказать, что эти художественныя произведенія полезнѣе реалистическихъ статей Писарева и Зайцева. Мысль правильная и, при всей своей непосредственности, очень почтенная въ эпоху писаревскихъ гоненій на эстетику. Весьма кстати также обобщалъ Антоновичъ отдѣльные факты и указывалъ на искусство, какъ на драгоцѣнное средство распространять идеи.

<sup>43)</sup> *Современникъ*. 1865, іюль. *Русская литература*. 87 etc.

Все это неопровержимо, но, къ сожалѣнію, столь разумныя соображенія высказывались крайне рѣдко, потому не принадлежали изобрѣтателю Асмодѣя и, наконецъ, уснащались попутно исключительно личной бранью и, слѣдовательно, утрачивали свою нравственную цѣну и авторитетность.

Такими средствами боролся Антоновичъ и со всѣми другими противниками, съ тѣми, кто на языкѣ *Русскаго Слова* именовался сплошь «журнальнымъ стадомъ».

*Отечественныя Записки* стояли здѣсь на первомъ планѣ. Для Антоновича онѣ означали сіамскихъ близнецовъ: Кра-ев-скаго и Ду-дыш-кина, и уже самыя эти фамиліи казались ему нестерпимо позорными звуками. Корыстолюбіе и проходимость Краевского не сходятъ со страницъ *Современника*: недобросовѣстность, лживость, безсовѣстность, обманъ, крики объ увеличеніи издержекъ на изданіе журнала—все это обычные метательные снаряды Антоновича противъ близнецовъ. Бросаются они, опять, повидимому, ради идеи: Антоновичъ стремится защитить Бокля, Чернышевскаго и Милля, но въ результатѣ для всѣхъ этихъ почтенныхъ именъ несравненно было бы выгоднѣе не имѣть подобнаго защитника. Безпристрастный читатель могъ заключить: плохи, должно быть, дѣла авторитетовъ *Современника*, если для возстановленія ихъ чести требуется такой обширный ругательный словарь и такія беззащитныя экскурсіи въ область личныхъ дѣлъ враговъ<sup>44)</sup>.

Но самый пышный вѣнокъ Антоновичъ сплелъ себѣ въ полемикѣ съ Достоевскимъ. Гнѣвъ вызвала *Эпоха* памфлетомъ на расколъ въ *Современникѣ* и насмѣшками надъ Щедринымъ. Памфлетъ явился безъ подписи, Антоновичъ узналъ автора Ѳедора Достоевскаго и написалъ статью *Стрижамъ—посланіе оберъ-стрижу, господину Достоевскому*. О тонѣ статьи можно судить по обращенію: «Вы оберъ-стрижъ, птица... виновать... человекъ болѣзненный и больной... Статья ваша точно докторомъ вамъ прописана, по рецепту, и докторъ-то вашъ, видно, такая же «дуракова плѣшь»! Статья ваша пахнетъ аптекой, гофманскими каплями, уксусомъ и лаврововишневою водой»...

Дальше слѣдовало изображеніе писателей *Эпохи*, между прочимъ, Аполлона Григорьева подъ именемъ Бельведерскаго. Портретъ его характеризуетъ вообще остроуміе Посторонняго сатирика и, благодаря именно своей откровенности, избавить насъ отъ дальнѣйшаго знакомства съ сатирами этого автора.

<sup>44)</sup> *Современникъ*. 1865, февраль. *Русская литература*.

«Бельведерскій 24 раза выпускалъ необыкновенную отрыжку и затѣмъ 5 разъ плюнулъ усиленнымъ и напряженнымъ манеромъ, потому что слюна его была очень густа, прилипала къ языку и губамъ и не отлетала по воздуху прочь, какъ бываетъ обыкновенно, а повисала на усахъ и бородѣ»...

Антоновичъ, видимо, усиливался побить враговъ самыми чувствительными подробностями изъ ихъ личной жизни: нервной болѣзнию—Достоевскаго и пристрастіемъ къ выпивкѣ—Григорьева.

*Эпоха* горько обидѣлась и обратилась къ публикѣ съ жалобой на столь необыкновенный способъ разрѣшать литературные вопросы. Антоновичъ отвѣтилъ новой статьей *Стрижи въ западнѣ—истинное происшествіе*. Западнѣ означала очень хитрую штуку: Антоновичъ брался доказать, что его посланіе составлено по рецепту *Эпохи*, т. е. вся брань заимствована у журнала Достоевскаго. Для доказательства приводились длинныя параллельныя сопоставленія. Изъ нихъ было ясно, что Достоевскій также не стѣснялся въ эпитетахъ—въ родѣ «шавки лающей и кусающейся» по адресу Щедрина. Но еще яснѣе оказывалось, что Антоновичъ далеко оставилъ за собой своего соперника (и по части эпитетовъ, и по части слуховъ и сплетенъ. Изъ воображаемой смѣхотворной сцены у Достоевскаго о волненіяхъ критика *Современника* при чтеніи статьи *Эпохи* у Антоновича вышло совсѣмъ не воображаемый и не смѣхотворный укоръ больного въ его болѣзнь, и никакія параллели не могли оправдать разыгравшагося фельетониста въ постыдной личной выходкѣ противъ автора *Записокъ изъ Мертваго дома*. Не могъ же веселый сатирикъ не знать его біографіи и смысла его недуга! И врядъ ли самыя радикальныя илеи могли когда-либо смыть это пятно съ литературной фізіономіи двадцати-восьми-лѣтняго публициста! <sup>45)</sup>).

Впрочемъ, вопросъ о какихъ бы то ни было положительныхъ идеяхъ Антоновича—и въ его подлинномъ образѣ, и въ образѣ Посторонняго сатирика—въ высшей степени темный. Въ критикѣ *Асмодей*—самое крупное его произведеніе, а публицистика переполнена извѣстными намъ образчиками полемическаго жанра. *Современникъ* послѣ смерти Добролюбова не внесъ въ русскую критику ни одной идеи, ни одного факта, заслуживающихъ исторической памяти. Участіе Антоновича создало пропасть въ славныхъ преданіяхъ журнала и покровительствовать подобной молодой

<sup>45)</sup> *Современникъ*. 1864, іюль, сентябрь.



силѣ со стороны Чернышевскаго было такимъ же практическимъ грѣхомъ, какой знаменитый публицистъ совершилъ въ теоріи статьей *Антропологическій принципъ*. И оба грѣха привели къ одинаково печальнымъ результатамъ. Статья наплодила задорныхъ метафизиковъ-матеріалистовъ, въ теченіе двухъ-трехъ часовъ постигавшихъ всѣ тайны жизни, покровительство осудило журналъ на многолѣтнее бесплодное, въ полномъ смыслѣ нелитературное забіячество. И Некрасовъ могъ привѣтствовать свою рѣшимость—избавиться навсегда отъ такого сотрудничества,—какъ истинный актъ здраваго смысла и гражданскаго долга.

И все-таки, какъ бы ни была пустопорожня литературная дѣятельность критика *Современника*, она второстепенное явленіе эпохи. Все буйство Антоновича кажется чисто школьнической шалостью, сравнительно съ отрицательнымъ содержаніемъ критики и публицистики *Русскаго Слова*. Антоновича быстро забыли его же читатели и въ настоящее время только историческая точность и полнота заставляютъ насъ заниматься этимъ героемъ. Не такова судьба Писарева и его сподвижниковъ. Съ ихъ именами неразрывно обычное представленіе о шестидесятихъ годахъ. Врядъ ли кто когда-либо рѣшится издать сочиненія Антоновича, а Писаревъ числится едва ли не среди *обязательныхъ*, въ извѣстномъ смыслѣ, классическихъ авторовъ. Рѣдкая участь! И вотъ она-то налагаетъ исключительную отвѣтственность на писателя. На Пстороннаго сатирика можно указать и пройти мимо, съ Писаревымъ совершенно немислимо подобное обращеніе. Онъ подлежитъ строгому и всестороннему суду, и не только Писаревъ, какъ отдѣльная личность, а какъ представитель извѣстнаго направленія, вліятельнаго органа печати, вдохновитель другихъ, менѣе одаренныхъ или болѣе скромныхъ. *Современникъ* черпалъ свою общественную силу не въ статьяхъ Антоновича: его первостепенными двигателями и украшеніями были Некрасовъ, Островскій, Щедринъ. Предъ этими именами, особенно предъ именемъ Некрасова, Антоновичъ являлся артистомъ на вторыхъ или даже третьи роли, и Некрасову не трудно было замѣнить его въ *Отечественныхъ Запискахъ*.

Другое положеніе *Русскаго Слова*.

Ни одного крупнаго художественнаго таланта. Беллетристика представляется какими-то вѣчными незнакомцами и подающими надежды юными талантами. Въ настоящее время всѣ эти имена не вызываютъ у читателя никакихъ представленій: рѣка забвенія поглотила ихъ безвозвратно. Исключеніе одинъ Г. И. Успенскій и отчасти Рѣшетниковъ.

Весь блескъ журнала сосредоточенъ на критикѣ. Писаревъ и Зайцевъ—звѣзды первой величины въ редакціи *Русскаго Слова*, за ними сіяютъ менѣе яркимъ, но для публики столь же привлекательнымъ свѣтомъ—экономистъ Соколовъ и популяризаторъ Шелгуновъ. Его компиляціи написаны не столь живымъ и энергичнымъ языкомъ, какъ статьи Писарева, но онѣ занимаютъ въ журналѣ очень много мѣста; онъ, очевидно, цѣнный и необходимый сотрудникъ, хотя бы по своей искренней вѣрѣ въ реальную мысль, опытную науку и по своему горячему стремленію просвѣщать толпу, быть ей полезнымъ и нравственно-близкимъ. Но всѣ эти діи minores преклонялись предъ Писаревымъ, какъ властной и неотразимой силой. Писаревскій духъ вѣялъ надъ *Русскимъ Словомъ*. Предварительно вдохновленный Благосвѣтловымъ, «реалистъ» самъ превратился во вдохновителя и вождя, прежде всего благодаря своему литературному таланту.

Этотъ талантъ долженъ былъ глубоко и мучительно волновать товарищей Писарева, и еще больше его соперниковъ. Писаревскій жанръ неизбѣжно становился классическимъ не только для своего времени. Русская публицистика въ теченіе очень многихъ лѣтъ будетъ обнаруживать присутствіе писаревской манеры и доказывать прочность реалистическихъ преданій. Подражатели и послѣдователи долго не переведутся и послѣ смерти главнаго героя, не исчезнутъ окончательно даже до послѣднихъ дней. Такой непреодолимый соблазнъ таится въ героическомъ писательствѣ «самаго послѣдовательнаго» русскаго реалиста!

Естественно, рядомъ съ Писаревымъ пышнымъ цвѣтомъ разцвѣтали однородные таланты, усердно соревнуя образцу и, какъ это всегда водится съ подражателями, воплощая его недостатки въ вящей степени.

Таковъ именно талантъ — Вареономей Александровичъ Зайцевъ, въ свое время чрезвычайно громкое имя и, несомнѣнно, достойное вниманія исторіи, какъ имя одного изъ самыхъ породистыхъ птенцовъ писаревского гнѣзда.

## LI.

Зайцевъ занималъ въ *Русскомъ Словѣ*, приблизительно, то самое положеніе, въ какомъ состоялъ Антоновичъ, какъ *Посторонній сатирикъ* въ *Современникѣ*—авторъ литературныхъ мелочей, т. е. Зайцевъ велъ библиографическій листокъ и печаталъ полемическія

статейки по случайнымъ предлогамъ. Изрѣдка перу Зайцева принадлежали и болѣе обширныя разсужденія даже по философіи, напримѣръ, статья о Шопенгауерѣ. Но это не было его жанромъ. Онъ чувствовалъ себя слишкомъ тѣсно и неудобно въ предѣлахъ обширнаго связнаго трактата и ежеминутно порывался разбить его на «смѣлыя и блистательныя *salto mortale*». Такъ отзывался Писаревъ объ идеяхъ своего товарища, искренно имъ сочувствуя и считая ихъ логическимъ выводомъ изъ той же диссертациі Чернышевскаго <sup>46)</sup>. Мы могли убѣдиться, на сколько эта логика послѣдовательна, и самъ Писаревъ не могъ не признать, что на его «уважаемаго сотрудника» «съ непритворнымъ ужасомъ и съ комическимъ недоумѣніемъ» смотреть «всѣ солидные тихходы нашей періодической литературы».

Мы знаемъ, ужасаться могли не одни солидные тихходы, если только статьи Зайцева вообще производили солидное впечатлѣніе. Шелгуновъ много лѣтъ спустя далъ о Зайцевѣ очень сердечный отзывъ, и съ нимъ приходится считаться, такъ какъ врядъ ли найдется особенно много охотниковъ провѣрять слова столь близкаго и лично симпатичнаго судьи, по статьямъ Зайцева.

По словамъ Шелгунова, Зайцевъ имѣлъ хорошее специальное и широкое законченное общее образованіе. Поэтому, продолжаетъ Шелгуновъ, Зайцевъ—медикъ «во всѣхъ областяхъ—въ литературѣ, русской и иностранной, въ исторіи, политикѣ, естествознаніи—чувствовалъ себя хозяиномъ и, какъ хозяинъ, распоряжался со своимъ матеріаломъ, сообщая ему ту или иную группировку» <sup>47)</sup>.

Во всей этой характеристикѣ только одинъ фактъ не подлежитъ сомнѣнію: Зайцевъ дѣйствительно *распоряжался какъ хозяинъ* во всѣхъ областяхъ знанія, но это хозяйничанье весьма рѣдко свидѣтельствовало о законченности общаго образованія. Именно Зайцевъ давалъ благодарѣйшія темы враждебной критикѣ--устраивать охоту за его невѣдѣніемъ и опрометчивостью. Въ области политики мы знаемъ исторію съ неграми: попасть въ подобный просакъ могъ только публицистъ или неудержимо горячаго темперамента, или совершенно младенческой неопытности. И это приключеніе не единственное. Его повторилъ Зайцевъ и въ области философіи. Крайне недовольный философіей Фихте, Зайцевъ изрекъ слѣдующую истину:

<sup>46)</sup> Пушкинъ и Бѣлинскій. Сочиненія. V, 67.

<sup>47)</sup> Воспоминанія. Изъ прошлаго и настоящаго. Сочиненія. Спб. 1891, II, 752.

«Собственно слѣдовало бы ожидать, что философа проговятъ съ пьедестала метлой, посадятъ въ водолѣчебницу или подвергнуть исправительному наказанію; но къ стыду человѣчества и XIX в. это не только сходитъ имъ съ рукъ, но даже заслуживаетъ всяческое поощреніе».

Легко представить, какую злую иронію вызвала эта хозяйская рѣчь на страницахъ *Современника*!

Съ болѣе мелкими пташками, чѣмъ Фихте, Зайцевъ еще менѣе церемонился. Относительно Юркевича достаточно объявить: онъ «напоминаетъ нѣкоторыя физическія отправления Діогена» и только: вопросъ рѣшенъ навсегда. Впрочемъ, Юркевичъ можетъ не обижаться: участь Гегеля еще горше. Его философія просто «ерунда, растянутая на нѣсколькихъ стахъ страницахъ» <sup>48)</sup>.

Эти «скачки» не могли пройти безнаказанно и Антоновичъ долженъ былъ ждать статей Зайцева, какъ мавны небесной. Никому нельзя было легче и проще устроить западню, никого нельзя было эффектиѣе ошельмовать и привести въ конфузъ, и притомъ съ самыми элементарными логическими и научными средствами и къ великой гражданской чести *Современника*.

О неграхъ и философахъ нечего и толковать. Здѣсь Зайцевъ выдалъ себя прямо головой. Но не лучше и положеніе съ Фихте. Если для реального мыслителя зазорно поработать цѣлую человѣческую расу и толковать объ исправительныхъ наказаніяхъ за философскія идеи, то почти столь же неразумно ополчаться на Фихте и восторгаться Шопенгауеромъ. О Фихте германская исторія навсегда сохранитъ память, какъ о великомъ патріотѣ, какъ о восторженномъ апостолѣ германской національной свободы, какъ о мужественномъ борцѣ за нѣкую политическую и культурную идею. А Шопенгауеръ былъ самымъ плохимъ гражданиномъ, какого только можно представить даже на сценѣ филистерской Германіи. Онъ всю жизнь дрожалъ за личную безопасность и спокойствіе, знать не хотѣлъ ни о какихъ политическихъ и національных интересахъ времени и всякую минуту готовъ былъ удариться въ бѣгство, лишь только воображеніе начинало рисовать ему грозные призраки для его ежедневнаго комфорта.

Повидимому, достаточно этого простѣйшаго сопоставленія, чтобы понизить гнѣвъ противъ Фихте и не гнать его метлой съ какого

<sup>48)</sup> *Русское Слово*. 1863, апрѣль, *Перлы и алмазы нашей журналистики*, 1. 1864, декабрь. *Последній философъ-идеалистъ*, 195.

угодно пьедестала. Но публицистъ самого политическаго русскаго журнала не желаетъ понимать нагляднѣйшихъ фактовъ и поднимаетъ бурю, будто въ порывѣ безотчетной ярости и столько же сильнаго пристрастія. Какъ могло случиться подобное недоразумѣніе? Не могъ же авторъ философской статьи не имѣть никакихъ біографическихъ свѣдѣній о ненавистномъ философѣ. Конечно, имѣлъ, но пренебрегъ, какъ неограниченный хозяинъ, и совершилъ *salto mortale*, способное внушить не ужасъ, а чувство гораздо менѣе лестное для смѣлаго прыгуна.

Столь же странны восторги, расточаемые въ честь Шопенгауера. Зайцевъ всѣми силами души демократъ и вдругъ сплошной дионисіемъ философу, приходившему въ брезгливое содроганіе при одномъ имени толпа, народъ. Шопенгауеръ впадаетъ въ невмѣняемое неистовство всякій разъ, когда ему приходится говорить о демократическихъ явленіяхъ современной жизни, между прочимъ, о судѣ присяжныхъ. Зайцеву это извѣстно, но онъ, по необъяснимому капризу, желаетъ обратить всю эту политику философа въ шутку: ему это потѣшно и забавно! Ему и на умъ не приходитъ вопросъ, не имѣетъ ли тѣснѣйшей органической связи эта «забавная ненависть» Шопенгауера съ его общими философскими идеями? Гоненіе на демократію, нетерпимый, деспотическій аристократизмъ не слѣдствіе ли пессимистическаго вѣроученія Шопенгауера?

Для Зайцева эти соображенія не существуютъ: онъ удовлетворяется веселымъ настроеніемъ, менѣе всего умѣстнымъ въ приговорахъ надъ историческими явленіями и личностями.

Что касается области науки,—хозяйское поведеніе окончилось для Зайцева чрезвычайно печально: онъ долженъ былъ печатно сознаться въ грубѣйшей ошибкѣ, притомъ крайне элементарной, можно сказать, ученической.

Отважный публицистъ вздумалъ подвергнуть критикѣ статью Сѣченова *О рефлексѣхъ головного мозга*, пожелалъ даже исправить и дополнить ее. Именно Зайцевъ открылъ непримиримое противорѣчіе въ двухъ заявленіяхъ ученаго: одно—«психическій актъ не можетъ явиться безъ внѣшняго чувственнаго возбужденія», другое—ощущенія, сопровождающія *внутренніе процессы организма*, представляютъ одинъ изъ самыхъ могучихъ двигателей въ дѣлѣ психическаго развитія. Зайцевъ соображалъ: страхъ, напримѣръ, можетъ произойти отъ сердцебіенія, а сердцебіеніе—процессъ *внутренній*, слѣдовательно, первое утвержденіе Сѣченова невѣрно... Несчастный критикъ!

Что за лекцію прочиталъ ему Антоновичъ—будто мальчику! Онъ объяснилъ ему самый оскорбительный фактъ: внутренніе процессы внутренни развѣ только въ томъ смыслѣ что они происходятъ во *внутренностяхъ*, относительно психическаго акта они *внѣшнія* такъ же какъ и всѣ другія чувственныя возбужденія. По представленію Зайцева выходитъ: если, напримѣръ, *высунутый* языкъ возбуждается кускомъ сахару, будетъ внѣшнее возбужденіе, а если тотъ же языкъ возбуждается сахаромъ въ полости рта, получается внутреннее...

Безжалостный Антоновичъ въ заключеніе сообщалъ, что онъ показалъ статью Зайцева Сѣчену и вызвалъ у ученаго хохотъ и предлагалъ злополучному критику публично извиниться предъ Сѣченовымъ и своими читателями <sup>49)</sup>.

Зайцеву ничего другого не оставалось, какъ склониться предъ побѣдоноснымъ врагомъ, и онъ откровенно призналъ свою ошибку, сообщилъ, наконецъ, читателямъ *Русскаго Слова* великую истину: «относительно психическихъ актовъ наше тѣло со всѣми своими внутренностями есть внѣшній предметъ». Этого бы и достаточно, но Зайцевъ, очевидно, почувствовалъ себя очень обиженнымъ и униженнымъ и принялся взывать даже къ человѣческимъ чувствамъ Антоновича и Сѣченова. Зачѣмъ ученому понадобилось «хохотать» надъ критикомъ: «вѣдь и преступникъ имѣетъ право на человѣческое обращеніе». Зачѣмъ Антоновичъ добивается отъ своей жертвы какой-то эпитетимъ? Жертва апеллируетъ къ самому побѣдителю и проситъ его сказать откровенно: «не преступилъ ли онъ въ своей статьѣ предѣловъ полемики, которая могла быть ведена противъ меня, и неужели ни въ статьѣ моей *Послѣдній философъ-идеалистъ*, ни въ прочей моей литературной дѣятельности нѣтъ ничего, что бы могло оградить меня отъ оскорбленій съ его стороны, подобныхъ тѣмъ, которыми онъ осыпаетъ меня?..» <sup>50)</sup>.

Идеально благородно, но совершенно некстати! Нашелъ человѣкъ къ кому обращаться съ трогательной исповѣдью! Антоновичу только и требовалось поймать врага въ западню и получить случай осыпать его оскорбленіями: до справедливости ли здѣсь!.. Въмѣсто какихъ бы то ни было соображеній о заслугахъ противника, онъ поспѣшилъ съ обычнымъ размахомъ своей кисти

<sup>49)</sup> *Современникъ*. 1865, февраль. *Русская литература*, 272, 276, 287.

<sup>50)</sup> *Русское Слово*. 1865, февраль. *Нѣсколько словъ г. Антоновичу*.

воспользоваться его расканиемъ. Въ двухъ книгахъ *Современника* онъ примется теперь трубить побѣду и кричать въ уши читателямъ «сентиментальный вопросъ» Зайцева и уже рѣшительно подпишетъ смертный приговоръ Зайцеву, какъ писателю и какъ вообще умному человѣку <sup>51)</sup>.

Правда, Зайцевъ подъ ударами своего неумолимаго судьи могъ съ пользою припомнить свои собственные набѣги на тупоуміе «писателей извѣстнаго сорта», т. е. Аксакова и его сотрудниковъ, свои веселыя издѣвательства надъ учеными и поэтами, въ родѣ Грота и Державина, надъ «одеребенѣлыми нервами» читателей романовъ—этого «промывательнаго средства отъ окончательнаго засоренія мозговъ», свои неотразимыя доказательства, что поэтъ непремѣнно лгунъ и дѣтя <sup>52)</sup>. Но въ особенности должна бы вспоминаться Зайцеву его особая критическая статья *Взбаломученный романистъ*. Здѣсь разговоръ велся съ Писемскимъ совершенно въ духѣ Посторонняго сатирика, «взбаломученный образъ мыслей» и обязанность «чернить все свѣжее, молодое и выступающее на дорогу жизни и дѣятельности» приписывались зависимости автора отъ *Русскаго Вѣстника* и, наконецъ, тотъ же авторъ отождествлялся съ презрѣннѣйшимъ, на взглядъ критика, героемъ романа... <sup>53)</sup>. Все это грѣхи, достойные покаянія и мучительныхъ воспоминаній.

И все-таки Зайцевъ, сравнительно съ его противникомъ,—писатель, достойный сочувствія и уваженія. Его искренность прямо трогательна, честность сказывается на каждомъ шагу, какое бы пристрастіе онъ ни обнаруживалъ къ *salto mortale*. Примѣровъ сколько угодно и они должны бы вызвать краску даже на побѣдоносномъ лицѣ критика *Современника*.

Зайцевъ, напримѣръ, воюетъ съ Достоевскимъ, какъ публицистомъ, цѣнитъ ни во что его журналы, но талантъ Достоевскаго-художника для него неприкосновененъ и онъ какъ нельзя болѣе кстати укоряетъ *Современникъ* въ необузданности полемики и безпринципности отрицанія—разъ дѣло идетъ о партійныхъ врагахъ. Смияться надъ *Мертвымъ домогъ*—преступленіе, и всѣ сотрудники *Современника*, за исключеніемъ автора *Что дѣлать?*

<sup>51)</sup> *Современникъ*. 1865, мартъ (*Литературныя мелочи*), апрѣль (*Русская литература*).

<sup>52)</sup> *Русское Слово*. 1864, октябрь, декабрь, іюнь, *Библиографическій Листокъ*; январь—*Вѣстникъ и Добролюбовъ*.

<sup>53)</sup> *Русское Слово*, 1863, октябрь.

не написали ничего, достойнаго сравненія съ нѣсколькими страницами книги Достоевскаго <sup>54)</sup>).

Это истинно по рыцарски и Антоновичу и во снѣ не могло присниться подобное безпристрастіе. Зайцевъ проявлялъ его по требованію своей природы, безъ всякихъ насилій надъ своими страстями и идеями. Не признавая поэтовъ и художниковъ, онъ могъ написать нѣсколько искренне трогательныхъ строкъ о смерти Пушкина и сдѣлать удивительное для реалиста признаніе: «холодно на душѣ» при мысли о врагахъ «перваго русскаго поэта», о страшномъ разладѣ свѣтской среды съ «высокимъ поэтическимъ призваніемъ» Пушкина. Не менѣе сочувственныя рѣчи и о Тургеневѣ, даже какъ о творцѣ Базарова, есть у Зайцева доброе слово даже о Писемскомъ—и опять довольно неожиданное. По мнѣнію Зайцева, *художественный талантъ* Писемскаго помѣшалъ ему выполнить разсудочное намѣреніе: Баклановъ все-таки вышелъ глупцомъ, хотя авторъ и называетъ его человѣкомъ умнымъ и образованнымъ <sup>55)</sup>. Это ужъ рѣзко противорѣчило излюбленной идеѣ критика о поэтахъ, какъ завѣдомыхъ, стихійныхъ извратителяхъ дѣйствительности. И именно противорѣчіе показываетъ, насколько сама натура писателя отличалась непосредственной правдивостью и искренностью, даже наперекоръ тенденціямъ. Этой черты не могли не замѣтить, просто не почувствовать читатели *Русскаго Слова*, и мы вполне понимаемъ разсказъ Шелгунова о томъ, какъ онъ по смерти Зайцева получилъ отъ неизвѣстнаго провинціала прочувствованное почтительное письмо о покойномъ <sup>56)</sup>.

Было у Зайцева еще одно достоинство, ставившее его выше даже Писарева. Разрушитель эстетики, весь поглощенный войной съ этимъ врагомъ, не принималъ участія въ едва ли не самой существенной публицистической струѣ *Русскаго Слова*—въ пропагандѣ социально-экономическихъ идей. Редакція журнала ставила себѣ двѣ задачи: «строго реальный взглядъ на вещи» и «сближеніе экономическихъ вопросовъ съ общественными интересами» <sup>57)</sup>.

Мы знаемъ, что означалъ «строго-реальный взглядъ»: *Совре-*

<sup>54)</sup> *Русское Слово*. 1863, апрѣль. *Перлы и алмазны нашей журналистики*.

<sup>55)</sup> *Р. Слово*. 1863, апрѣль. *Библиографич. Листокъ*, 4; октябрь.

<sup>56)</sup> *О. с.* 741.

<sup>57)</sup> *Р. Слово*. 1864, январь. *Объ изданіи журнала на 1864 годъ*.



менникъ могъ съ полной основательностью обзывать его лже-реальнымъ и считать отступничествомъ отъ заветовъ Добролюбова и Чернышевскаго. Писаревъ именно и подвизался на этомъ пути практическаго и принципіальнаго разрыва съ первоучителями-шестидесятниками. Слѣдовалъ за нимъ и Зайцевъ, уничтожая поэтовъ и художественную литературу. Въ результатѣ — дѣятельность получалась въ лучшемъ случаѣ безплодная, преизобильная яростной полемикой и крайне бѣдная положительными просвѣтельными идеями.

Другое значеніе слѣдуетъ признать за социаль-экономическимъ направленіемъ *Русскаго Слова*. Здѣсь журналъ, несомнѣнно, представлялъ передовое теченіе европейской мысли и оказывалъ неоспоримую пользу молодой русской публикѣ.

## II.

Ученыхъ статей экономическаго содержанія *Русское Слово* не печатало, да это было бы и не цѣлесообразно при настроеніи современной публики. Отвлеченная ученость слишкомъ рѣзко противорѣчила бы неограниченно царившей полемикѣ и до послѣдней степени простымъ и популярнымъ жанрамъ публицистики. Естественно, журналъ пользовался услугами экономиста, вполне соотвѣтствовавшаго общему тону. Соколовъ умѣлъ писать не хуже Писарева и Зайцева, совершать *salto mortale* совершенно въ духѣ Посторонняго сатирика и обнаруживалъ такую же неутомимость и откровенность въ случайныхъ стычкахъ и продолжительныхъ междоусобицахъ. Находчивости и собственно личныхъ мыслей у Соколова, повидимому, былъ еще болѣе бѣдный запасъ, чѣмъ у его товарищей. Его обычный приемъ — цитаты въ сопровожденіи ядовитыхъ замѣчаній и безчисленныхъ знаковъ удивленія и вопроса. Но смыслъ восклицаній вполне опредѣленный: защита пролетаріата и ожесточенная ненависть противъ политическаго и экономическаго мѣщанства.

*Современникъ*, по вдохновенію Чернышевскаго, считалъ Милля чрезвычайно почтеннымъ авторитетомъ и крайне ретиво зашпалъ его отъ всякихъ покушеній. Антоновичъ разразился въ высшей степени яростной статьей противъ *Отечественныхъ Законовъ*, заподозрившихъ Милля въ капиталистическихъ тенденціяхъ Чернышевскій дѣйствительно призналъ теоретическія заслуги Милля, какъ представителя адамъ-смитовской школы, его научн

добросовѣстность, но для Чернышевскаго на теоріяхъ Милля не кончалась вся экономическая наука; напротивъ, политическая экономія Милля, въ глазахъ Чернышевскаго, была только *арифметикой* науки, и *Современнику* не было необходимости славословить англійскаго философа безъ мажѣйшихъ ограниченій, даже какъ «истолкователя настоящаго экономическаго положенія». Въ особенности нѣкоторому сомнѣнію надлежало подвергнуть «свѣтлый умъ и гуманное чувство справедливости» у Милля тамъ, гдѣ онъ становится ученикомъ Мальтуса.

Именно на эту сторону экономическаго ученія Милля и обратило вниманіе *Русское Слово*. Соколовъ напечаталъ рядъ статей чрезвычайно рѣзкаго содержанія. Многочисленныя выдержки изъ сочиненія Милля ясно доказывали, какими твердыми нравственными узами былъ привязанъ Милль къ существующимъ англійскимъ экономическимъ условіямъ и какъ мало обнаруживалось въ немъ оригинальности и смѣлости мышленія, лишь только приходилось имѣть дѣло съ установившимся порядкомъ вещей.

Экономисту *Русскаго Слова* не потребовалось никакихъ глубокихъ изысканій; онъ удовольствовался чисто публицистической критикой, во имя здраваго смысла и простаго чувства гуманности. Великую услугу могло оказать ему изреченіе апостола Павла: «Кто не работаетъ, тотъ не долженъ ѣсть», и эта мысль положена въ основу всѣхъ разсужденій критика. Онъ негодуетъ одинаково жестоко и противъ Милля, и противъ «паяскаго писака» *Современника*, обходящаго молчаніемъ разсужденія «безстыднаго софиста о полезномъ размноженіи лихоимцевъ и о вредномъ народненіи рабочихъ».

Милль, какъ извѣстно, могущественнымъ средствомъ противъ экономическихъ бѣдствій считалъ мѣры, задерживающія размноженіе населенія. Онъ не побоялся призвать государство къ строгому наблюденію за рождаемостью дѣтей въ бѣдныхъ семьяхъ: государство должно наказывать людей, производящихъ потомство и не способныхъ содержать его...

Легко представить, какое неисчерпаемое вдохновеніе получалъ экономистъ *Русскаго Слова* отъ подобныхъ истинъ <sup>58)</sup>! И вдохновеніе совершенно кстати. Рѣзкость тона, безусловно умѣстная въ то время, когда [русскому обществу настояло также рѣшать вопросъ о богатыхъ и бѣдныхъ, о правѣ послѣднихъ на трудъ и

<sup>58)</sup> *Р. Слово*. 1865, октябрь. О капиталѣ.

жизнь. Соколовъ напечатъ могущественный авторитетъ противъ буржуазныхъ политикозакономовъ въ лицѣ Прудона, и *Русское Слово* дѣятельно распространяло идеи французскаго публициста и восторженно рекомендовало его личность и дѣятельность своимъ читателямъ. Журналъ разъяснялъ русской публикѣ, какая пропасть лежитъ между французскими героями парламентской политики и французскимъ народомъ, какъ мало общаго между демократическими политиками и самой демократіей.

Эти разъясненія—прямое продолженіе политическихъ статей Чернышевскаго. Цѣль неизмѣнно одна и та же: показать, какая практическая и идейная разниа существуетъ между чисто политическимъ либерализмомъ и социальными и экономическими интересами массы населенія. Чернышевскій разбираетъ мѣщанскую психологію; *Русское Слово* еще энергичнѣе дѣлало то же самое, показывая бесплодность даже всеобщей подачи голосовъ для всесторонняго и справедливаго прогресса страны.

Соколовъ широко пользовался критикой Прудона, направленной противъ «мѣщанской демократіи», противъ «господъ демократовъ»<sup>59)</sup>. Журналъ не давалъ полной характеристики Прудона, какъ политическаго дѣятеля, не разбираетъ даже его борьбы съ политико-экономическими авторитетами; онъ удовлетворялся чрезвычайно сильными нападками Прудона на политическое шарлатанство и гражданское двоемысліе партійныхъ буржуазныхъ вожаковъ. Основной принципъ, вдохновлявшій Прудона,—безпощадное отрицаніе всякой предвзятой, бездоказательной мысли—вполнѣ совпадалъ съ реалистическимъ символомъ вѣры, и уже одна эта идея отводила Прудону почетнѣйшее мѣсто на страницахъ *Русскаго Слова*. И журналъ не переставалъ говорить о немъ во всѣхъ отдѣлахъ, съ великимъ воодушевленіемъ перечисляя его заслуги кратко, но для современной публики безусловно убѣдительно: «Прудонъ былъ грозой для тупоумныхъ послѣдователей Адама Смита, могущественнымъ обличителемъ буржуазнаго мошенничества и административныхъ фокусовъ»<sup>60)</sup>.

Зайцевъ—энергичнѣйшій сотрудникъ въ этомъ направленіи. Все аристократическое, незаконно-привилегированное претило ему по природѣ, вызывало у него лихорадочную дрожь негодованія и презрѣнія. Онъ не желаетъ говорить о романѣ гр. Толстого

<sup>59)</sup> *Р. Слово*. 1865, іюнь.

<sup>60)</sup> *Р. Слово*. 1864, декабрь. *Политика*, 12.

достаточно, если здѣсь появляются фигуры съ аристократическими кличками, весь романъ—погибшее произведение. Онъ превозноситъ Некрасова, какъ «мыслителя глубокаго и честнаго»: у поэта мести и печали герой—народъ, не такъ какъ у другихъ—Наполеонъ на скалѣ, Прометей съ коршуномъ, Фаустъ съ Мефистофелемъ или Демонъ съ Тамарой. Стихотворенія Некрасова, объявляетъ критикъ, «по предмету своему, по своему герою не имѣють равныхъ во всей русской литературѣ». И вѣтъ предѣловъ негодованію Зайцева на недруговъ Некрасова, какъ поэта. Онъ готовъ привести ему въ жертву величайшихъ европейскихъ гениевъ поэзіи и, конечно, Пушкина: у каждого есть какой-нибудь изъянъ, Некрасовъ—недосягаемъ <sup>61)</sup>.

И Зайцевъ искусно пользуется всякимъ случаемъ произнести слово во славу и въ защиту народа. Даже у Шопенгауера онъ ухитряется откопать полезный для себя отрывокъ о тождествѣ рабства и нищеты, объ одинаково позорномъ положеніи пролетарія и крѣпостного. Надо думать, именно эти «свѣтлыя мысли» примирили неукротимаго критика съ «возмутительными вещами» въ произведеніяхъ нѣмецкаго философа, и Зайцевъ за удачное изображеніе участи пролетарія простилъ Шопенгауеру его ненависть къ суду присяжныхъ.

Зато у него вѣтъ пощады всякому, кто обнаружитъ малѣйшее равнодушіе къ жгучему вопросу, кто, по какимъ бы то ни было причинамъ, не пойметъ трагическаго смысла современныхъ экономическихъ отношеній. Напримѣръ, Блунчли—авторъ *Общественнаго права*. Онъ и шпионъ, и идіотъ, и шарлатанъ и въ доказательство—буржуазныя представленія Блунчли о пролетаріатѣ <sup>62)</sup>.

Все это подчасъ выходитъ слишкомъ рѣзко и смѣло, но въ основѣ лежитъ неизмѣнно-честное стремленіе къ общему благу, къ истинно-народному матеріальному и нравственному благоденствію.

Мы не можемъ согласиться, будто Зайцевъ отличался всесторонними познаніями и по праву чувствовалъ себя хозяиномъ всюду—въ политикѣ, въ наукѣ, въ литературѣ: мы видѣли, какъ прискорбно кончалось довольно часто это хозяйничанье. Но неправъ Шелгуновъ и въ другомъ своемъ отзывѣ о Зайцевѣ.

<sup>61)</sup> Р. Слово. 1864, октябрь. Библіотр. Листокъ.

<sup>62)</sup> Р. Слово. 1865, октябрь. Библіотр. Листокъ.

Онъ сравниваетъ его съ Писаревымъ. «Писаревъ былъ пропагандистъ, Зайцевъ—боецъ; Писаревъ прокладывалъ широкую дорогу и рубилъ крупныя деревья, Зайцевъ занимался больше подробностями этой дороги; Писаревъ билъ болѣе сильнымъ и далекимъ ударомъ, Зайцевъ—ударами близкими, мелкими и частыми»...

Во всемъ этомъ много незаслуженнаго возвеличенія Писарева и несправедливаго умаленія Зайцева. Оба они не блистали прочностью и основательностью своихъ ударовъ, наносили ихъ безпрестанно въ пространство, воображая себя побѣдителями совершенно мнимыхъ или для нихъ безусловно непобѣдимыхъ враговъ. Но нельзя не признать ударовъ Зайцева, хотя бы и мелкихъ, болѣе цѣлесообразными и болѣе поучительными, чѣмъ крупнѣйшія порубки Писарева.

Разрушитель эстетики сосредоточилъ свои усилія на уничтоженіи искусства и самой психологій художественнаго творчества. По самому свойству задачи—сильные удары Писарева выходили безплоднымъ маханьемъ рукъ исключительно на потѣху свойственную молодечьему сердцу, да еще нѣкоторой публикѣ, охочей до крикливыхъ театральныхъ зрѣлищъ, до раздиранія природы на части. Мы знаемъ, съ какими грозными и шумными приготовлениями Писаревъ приступилъ къ перерѣшенію вопроса о Пушкинѣ и знаемъ также успѣшность воинственнаго похода. Пушкинъ не только не пострадалъ отъ покушеній «реалиста», но спокойной силой и правдой своей поэзіи заставилъ «реальную критику» обнаружить всю свою немощь и все неразуміе своей заносчивости. И можно сказать, чѣмъ усерднѣе Писаревъ рубилъ крупныя деревья, тѣмъ они становились крупнѣе и тѣнистѣе, а усердіе героя—комичнѣе и жалче.

Такихъ результатовъ не могло быть послѣ *всѣхъ* зайцевскихъ подѣйговъ. Тамъ, гдѣ Зайцевъ соревновалъ Писареву и отличался въ крѣпкой брани на поэтовъ и поэзію, онъ остался совершенно безразличнымъ для поступательнаго движенія русской публицистики. Но гдѣ онъ пламенно ратовалъ противъ всяческой эксплуатаціи сильными слабымъ въ области политики и экономическихъ отношеній, тамъ его дѣло осталось положительнымъ и прочнымъ: достояніемъ русской общественной мысли, и совершенно несправедливо слава Писарева у современниковъ и у ближайшаго потомства поглотила въ своихъ лучахъ имя его сотрудника, какъ нѣкую малую подчиненную планету.

Это прямой ущербъ исторической правдѣ. Не меньше вреда долженъ былъ причинить Писаревъ своему спутнику и при жизни. Зайцевъ, да и всякій другой съ болѣе или менѣе живымъ темпераментомъ, не могъ устоять предъ соблазномъ урвать на свою долю известную толику лавровъ, столь обильно и легко сыпавшихся на голову Писарева. И Зайцевъ явно соревнуется своему блестящему и удачливому товарищу, соревнуется во всемъ—смѣлостью суждений, откровенностью рѣчи, панибратскимъ обращеніемъ съ публикой. Онъ не желаетъ отставать отъ своего образца и энциклопедичностью свѣдѣній и у него также тайна поразительной разносторонности заключается не въ обширной учености, а какъ разъ наоборотъ, въ крайне смутномъ представленіи о томъ, что значить знать и имѣть право судить и приговаривать.

Нельзя думать, будто это свойство было врождено Зайцеву. Его искреннее покаяніе по поводу неудачной критики на статью Съченова даетъ основаніе предположить, что въ другой литературной средѣ, подъ менѣе головокружительными вліяніями, Зайцевъ могъ бы и не быть любителемъ блистательныхъ *salti mortali*. Но именно эти головоломные скачки восхищали Писарева и онъ, очевидно, съ большимъ удовольствіемъ неоднократно вступался за своего подражателя, поддерживалъ его даже въ вопросѣ о рабствѣ негровъ и въ отождествленіи художественнаго чувства съ болѣзненной похотливостью. Это значило поощрять «уважаемаго сотрудника» на всѣ тяжкія, и немалая заслуга со стороны ученика—все-таки настолько сохранить хотя бы безсознательную независимость, чтобы трогательно говорить о гибели Пушкина, какъ поэта, о честности Писемскаго, какъ художника.

Въ заключеніе мы должны признать Писарева центральнымъ свѣтиломъ нигилистическаго міра, не по оригинальности идей, не по силѣ и самобытности мышленія, а по неотразимо увлекательному, раньше небывалому литературному жанру. Писаревъ истинный родоначальникъ всѣхъ рыцарей неограниченно откровенной и безстрашной полемики совершенно независимо отъ большей или меньшей свѣдомленности полемиста въ данномъ вопросѣ. Писаревъ—законченный типъ резонера-критика, способнаго въ какомъ угодно положеніи дѣйствовать наипростѣйшимъ средствомъ—«реальнымъ взглядомъ на вещи» и считать себя навсегда свободнымъ отъ обязанности подробно и вдумчиво «изучать» тотъ или другой научный или общественный вопросъ, авторовъ-художниковъ и критиковъ или ихъ произведенія.

Мы видѣли, на журнальной сценѣ одновременно съ писателями *Русскаго Слова* подвизался герой, еще менѣе удовлетворительный, какъ «мыслящая личность», и намъ не совсѣмъ ясно, почему, по свѣдѣніямъ Шелгунова, читатели *Современника* смотрѣли на *Русское Слово* съ отгѣнкомъ высокоумія. Мы думаемъ напротивъ: читатели Писарева могли и должны были искренне презирать читателей Посторонняго сатирика не за его вражду къ Писареву, а за его приемы и удручающую пустопорожность его произведеній. Но, снова повторяемъ, никто не думалъ, ни во время оно, ни позже, считать Антоновича вдохновляющей силой и призваннымъ выразителемъ чувствъ и идей своего поколѣнія. Самое большое—онъ сыгралъ роль случайнаго отрицательнаго момента для публицистовъ *Русскаго Слова*. Писаревъ совершенно затмевалъ его и во главѣ своей свиты превращалъ его въ столь же безнадежно слабого сколь и неукротимо озлобленнаго личнаго ненавистника. И историку приходится всѣ идейныя и культурныя явленія эпохи группировать вокругъ личности и дѣятельности перваго критика *Русскаго Слова* и его считать такой же душой второго поколѣнія шестидесятниковъ, какою былъ Чернышевскій для перваго.

Эта историческая сила Писарева вырисовывается передъ нами во всемъ блескѣ, до послѣдней черты, когда мы сопоставимъ съ нигилистической публицистикой современную умѣренную критику. Она продолжала существовать среди бурнаго движенія новыхъ ученій, вела свои благонамѣренныя и благоразумныя бесѣды подъ громъ воинственнаго нигилистическаго краснорѣчія. По силѣ, таланту и эффекту ихъ нельзя и сравнивать съ радикальной публицистикой, но для насъ онѣ представляютъ большой историческій интересъ. Мы узнаемъ, какихъ бойцовъ выставила русская литература шестидесятыхъ годовъ противъ критиковъ-нигилистовъ и во имя какихъ принциповъ рассчитывали эти бойцы спасти искусство и прочія священныя преданія?

### ЛІІІ.

Вражда къ молодому поколѣнію обнаружилась въ печати очень рано, съ самаго появленія Чернышевскаго. Повторилась исторія, напоминавшая ранній періодъ дѣятельности Бѣлинскаго, и въ еще болѣе рѣзкой формѣ. Благонамѣренныя изданія будто заболѣли особымъ душевнымъ ведугомъ, принялись приписывать новоявленному литератору чуть ли не всѣ литературныя и общественныя

бѣдствія и *Современникъ* совѣтовалъ раздраженнымъ журналамъ завести даже особый отдѣлъ *Чернышевщина* <sup>63)</sup>.

Такъ обстояло дѣло еще въ 1862 году. Чтò же предстояло перечувствовать «филистерамъ», когда на сцену выступили «реалисты», когда новая критика объявила слишкомъ осторожнымъ самого Чернышевскаго и слишкомъ эстетичнымъ Добролюбова? Не стало предѣловъ негодованію и враждѣ. «Молодое поколѣніе» превратилось въ насмѣшливое и презрительное наименованіе. Эти два слова покрывали собой всѣ умственные и нравственные недостатки, какіе только возможно человѣку обнаружить въ литературѣ. Во главѣ воюющихъ съ молодежью шла беллетристика. Она вооружилась желчной сатирой, не отступала предъ самыми мрачными преувеличеніями, совершенно утратила художественное спокойствіе и нерѣдко [забывала даже литературное достоинство. Одинъ за другимъ появились романы *Марево*, *Некуда*, *Взбаломученное море*, и даже драма *Слово и дѣло* Ѳ. Устрялова. Всюду нигилисты подвергались безпощадной казни, представлялись героями крайняго нравственного извращенія и умственной ограниченности. Самымъ досаднымъ произведеніемъ для молодой партіи было, разумѣется, *Взбаломученное море*. Одинъ изъ первостепенныхъ художественныхъ талантовъ снисходилъ до уровня памфлетиста, откровенно сознавался въ своемъ глубокомъ возмущеніи противъ «слабоумныхъ юношей» и бывшее спокойствіе творческаго духа мѣнялъ на запальчивость фельетониста и каррикатуриста.

Эти произведенія и много другихъ печатались на страницахъ *Русскаго Вѣстника*, *Библіотеки для Чтенія*, *Эпохи*. Въ этотъ строй слѣдуетъ включить и *Отечественныя Записки*: онѣ осмѣлились привѣтствовать начало Ключниковскаго романа и именно по поводу его укорить Некрасова, Островскаго, Салтыкова въ бѣдности содержанія ихъ произведеній и, наконецъ, Авдѣева поставить рядомъ съ Тургеневымъ <sup>64)</sup>. Журналы брали на себя большую отвѣтственность.

Беллетристамъ было позволительно вдохновляться какими угодно жестокими настроеніями и безъ всякихъ общеубѣдительныхъ доказательствъ громоздить всевозможные ужасы на нигилистовъ. Даже Писемскій могъ пренаивно воображать, что онъ представить картину нравовъ одновременно и правдивую, и неполную, со-

<sup>63)</sup> *Современникъ*. 1862, апрѣль. *Внутр. обозрѣніе*, 296—7.

<sup>64)</sup> *Отеч. Записки*. 1864, февраль. *Литерат. мѣтопись*, 322—3.



береть *всю ложь Россіи* и все-таки останется художникомъ и бытописателемъ. И, конечно, иначе не могли думать о себѣ Стебницкій и Ключниковъ. Ихъ можно было предоставить самимъ себѣ: какому же болѣе или менѣе вдумчивому и опытному читателю пришло бы въ голову по романамъ изучать современное общественное движеніе и изъ нихъ же черпать истины, способныя разсѣять нигилизмъ, какъ призракъ? Публицистикѣ и критикѣ предстояло оберечь оскорбляемыя святыни и выставить противъ отрицателей всю боевую умственную силу, какую только успѣли накопить здравомыслящіе и солидные люди.

И сила дѣйствительно была двинута. Она предъ нами во всей своей красѣ и стройности и мы легко можемъ сдѣлать сравнительную оцѣнку воюющихъ сторонъ. Она будетъ очень несложна: анти-нигилисты, большею частью, наши старые знакомые, а новыхъ бойцовъ можно оглядѣть до послѣдней черты однимъ взглядомъ.

Прежде всего критика *Отечественныхъ Записокъ*. По преданіямъ, журналъ долженъ занимать первое мѣсто среди либеральныхъ изданій: все-таки это—бывшее поприще Бѣлинскаго. Теперь онъ уже давно замѣненъ Дудышкинымъ—силой, хорошо намъ извѣстной. Рядомъ съ нимъ—Николай Соловьевъ. Онъ не портитъ общаго впечатлѣнія: человекъ грамотный, благонамѣренный, даже терпимый, но, прекрати онъ свою дѣятельность сегодня, завтра или десять лѣтъ спустя—врядъ ли кто особенно пожалѣетъ даже изъ постоянныхъ подписчиковъ журнала.

Онъ, напримѣръ, пишетъ обширную статью о диссертациі Чернышевскаго. Онъ защищаетъ просвѣтительное и нравственно-совершенствующее значеніе искусства, художественной красоты, защищаетъ разумно, дѣльно, но совершенно въ томъ же тонѣ и съ такой же увлекательностью, какъ Стародумы старыхъ комедій доказывали достоинства добродѣтели и вредъ порока. Одновременно онъ сѣтуетъ на полемическій азартъ *Рускаго Слова* и *Современника*, и опять правильно, возражаетъ противъ теоріи исключительной пользы тоже основательно, доказываетъ еще разъ связь «нравственно-эстетическаго начала съ гуманнымъ» не безъ солидности, хотя и съ меньшей убѣдительностью: все, однимъ словомъ, благополучно. Заслуженные статскіе совѣтники, благорасположенные къ «здравымъ понятіямъ», могутъ съ истиннымъ удовольствіемъ прочитать размышленія умѣренно-либеральнаго эстетика и публициста. Они, несомнѣнно, будутъ привѣтство-

вать и ядовитыя замѣчанія журнала насчетъ подозрительной энциклопедической учености Писарева и Зайцева. Все въ порядкѣ, но нѣтъ одного, самаго существеннаго для писателя шестидесятихъ годовъ: нѣтъ личной силы, нѣтъ способности захватить читателя *своей* идеей, приковать его вниманіе къ *своей* истинѣ и *своей* вѣрѣ, нѣтъ властнаго слова и нѣтъ, слѣдовательно, средствъ проникнуть умными разсужденіями до сердца читающаго и сдѣлать для него *своей* кровно дорогой только что доказанную мысль.

*Отечественныя Записки* съ особеннымъ усердіемъ слѣдятъ за излишествами нигилистическихъ органовъ, собираютъ перлы и адаманты въ статьяхъ Антоновича, Писарева, Зайцева, и достигаютъ, конечно, цѣли: перебранка журналистовъ производитъ отталкивающее впечатлѣніе и по статьямъ Антоновича дѣйствительно можно сдѣлать заключеніе: «задорный, ругательный, оскорбительный тонъ составляетъ все насущное содержаніе настоящаго русскаго скептицизма». Можно даже напечатать *Покорныйшу* просьбу провинціала, представителя «самаго брезгливаго народа» съ выдержками изъ произведенія Посторонняго сатирика и убѣдить публику, что подобная сатира способна «весь аппетитъ отшибить» <sup>65)</sup>. Все это неопровержимо, но что же могли представить взамѣнъ сами *Отечественныя Записки*?

Въ отвѣтъ Аполлонъ Григорьевъ могъ указать истинное бревно въ глазу строгаго журнала,—бревно, какимъ не страдало *Русское Слово* и ни одинъ изъ его бранчивыхъ писателей,—бревно, вполне достойное Посторонняго сатирика. Дѣлая указаніе, Григорьевъ мимоходомъ даетъ и общую оцѣнку критики *Отечественныхъ Записокъ*, очень вѣрную и остроумную.

Журналъ Краевскаго напечаталъ статью о Некрасовѣ. Статью писалъ, по мнѣнію Григорьева, критикъ опытный. Она не набрасывается безразлично на хорошее и дурное: «Нѣтъ, какъ воронъ падали, ищетъ она жолчныхъ пятенъ и тыкаетъ въ нихъ пальцемъ, по большей части справедливо». Но, спрашиваетъ Григорьевъ, «справедливъ ли весь духъ ея?...» <sup>66)</sup>.

Для *Отечественныхъ Записокъ* самый ядовитый вопросъ. Отрицательный отвѣтъ не подлежитъ сомнѣнію. Умѣренный журналъ только пользовался благодарнымъ матеріаломъ для борьбы съ

<sup>65)</sup> *Отеч. Зап.* 1863, мартъ. *Нашъ скептицизмъ*, 56; 1864, сентябрь, 608.

<sup>66)</sup> *Время.* 1862, іюль.

нигилистами, самъ не давалъ ничего поучительнаго и литературно-достойнаго. Совершенно напротивъ. Тотъ же Григорьевъ по поводу отношенія журнала къ Некрасову имѣлъ всѣ основанія воскликнуть: «жалкій, больше позволю себѣ сказать—постыдный пріемъ!..»

Праведный гнѣвъ критика вызванъ злостными намеками *Отечественныхъ Записокъ* на корыстные расчеты Некрасова, какъ обличительнаго поэта. И Григорьевъ—сотрудникъ *Времени*—вынужденъ защищать поэта отъ либеральныхъ инсинуацій! И какъ защищать! Со всѣмъ жаромъ и мужествомъ, какіе только таились въ груди искренняго и благороднаго писателя.

Могли ли послѣ этого *Отечественныя Записки* притязать на нравственное вліяніе, съ высоты недостижимаго достоинства бросать камнями въ нигилизмъ?

Григорьевъ, несомнѣнно, имѣлъ это право, но мы знаемъ, какую безнадежную агонію переживалъ онъ въ эпоху развитія новаго направленія. Съ одной безупречностью намѣреній никакая борьба немыслима, да еще въ такое горячее воинственное время, а Григорьева переполняло отчаяніе, онъ ежеминутно или въ конецъ падалъ духомъ, или безсильно потрясалъ старымъ своимъ художественнымъ знаменемъ. Даже въ лагерь друзей на него смотрѣли, какъ на поконченнаго искусственно подогрѣвающаго себя инвалида и не всегда рѣшались показывать его публикѣ. Зайцеву ничего не стоило побѣдоносно высмѣивать часто совершенно невразумительные, странные вопли отживавшаго романтика и даже бывшіе товарищи критика, въ родѣ Алмазова, не отказывали себѣ въ дешовомъ удовольствіи поиздѣваться надъ «мрачнымъ» и «дикимъ» любителемъ парадоксовъ.

На смѣну Григорьеву выступилъ его почитатель и ученикъ молодой, широко образованный философъ, критикъ и естествоиспытатель Страховъ. Національная партія, удержавшая кое-какія преданія московскаго славянофильства, но не дерзнувшая отринуть вмѣстѣ съ тѣмъ европейскую культуру и гений Петра, могла привѣтствовать въ немъ свою самую блестящую надежду. Онъ, несомнѣнно, зналъ больше ученыхъ ангилистическаго направленія, обнаруживалъ неоспоримый вкусъ къ дѣйствительно литературной полемикѣ и, что особенно замѣчательно, не страдалъ, повидимому, партійной нетерпимостью. Такъ было, по крайней мѣрѣ, въ началѣ шестидесятыхъ годовъ.

Страховъ едва ли не единственный журналистъ пережилъ

очень идилическія чувства, наблюдая современную полемику. «Въ настоящую минуту наша литература, — писалъ онъ въ 1861 году, — почти исключительно руководствуется благороднѣйшими чувствами», и находилъ только форму полемики дурной и безплодной, а сущность считалъ хорошей <sup>67)</sup>. Читатели могли не совсѣмъ понимать, что значить *безплодная форма* и какъ эту безплодность примирить съ хорошей сущностью? Но примирительныя намѣренія автора несомнѣнны и онъ впоследствии, повидимому, напрасно распространялся о своемъ «большомъ негодованіи» противъ нигилизма еще съ 1855 года <sup>68)</sup>. Если таковое негодованіе и волновало автора, то онъ предпочиталъ его подавлять и выражать въ крайне мягкой рѣчи.

Даже больше. Страховъ, очевидно, заднимъ числомъ жестоко разсердился на нигилизмъ, а раньше онъ судилъ о нигилистахъ весьма снисходительно, почти съ уваженіемъ.

Въ томъ же журналѣ Достоевскаго онъ напечаталъ статью объ *Отцахъ и дѣтахъ*, замѣчательную и по формѣ, и по сущности. Собственно оригинальныхъ идей въ статьѣ нѣтъ, но, при всеобщемъ переполохѣ по поводу романа, большой заслугой было уже трезвое и безпристрастное отношеніе къ его герою и автору. Страховъ очень искусно изобличаетъ всю бессмыслицу статьи Антоновича, бьетъ ослѣпшаго критика его же оружіемъ, доказываетъ, что удивительный философъ во всемъ своемъ разсужденіи излагаетъ именно принципы Базарова и его же стремится обвинить въ безпринципности. Это очень ловко, хотя, конечно, и не было особенной чести одолѣть подобнаго противника. Но достойно вниманія, что Страховъ первый поймалъ въ западню любителя устраивать западни для другихъ. Дальше слѣдовало лирическое изображеніе Базарова. Страховъ неопровержимо доказывалъ громадную силу героя, его величавость и даже привлекательность, больше — его способность и жгучее стремленіе любить людей. Естественно, критику открывался и глубокий смыслъ всей исторіи. Выражался этотъ смыслъ довольно неопредѣленно: надъ Базаровымъ торжествовала жизнь и она становилась выше его отвлеченныхъ формулъ. Критикъ могъ бы яснѣе выставить метафизическій и романтический характеръ Базаровскаго отрицанія,

<sup>67)</sup> *Время*. 1861, августъ. *Ничто о полемикѣ*.

<sup>68)</sup> Предисловіе къ сборнику статей *Изъ исторіи литературнаго нигилизма*. Спб. 1890, IХ.

и показать торжество органических силъ дѣйствительности надъ силлогизмами и чистыми словами. Но достаточно и сказаннаго критикомъ: онъ понимаетъ героя и даже готовъ удивляться ему <sup>69)</sup>.

Около года спустя Страховъ снова говорилъ о Тургеневѣ и въ такомъ же сердечномъ тонѣ. «Тургеневъ есть одинъ изъ людей, наиболѣе болѣющихъ своимъ вѣкомъ, онъ представитель одной изъ глубочайшихъ сторонъ нашей жизни» <sup>70)</sup>. И авторъ видитъ въ писателѣ одновременно и любовь къ своимъ героямъ и неумолимый анализъ, неустанные и страстные поиски положительнаго могучаго идеала.

Такъ судилъ представитель національной идеи о Тургеневѣ въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, и судилъ не только объ отдѣльныхъ фактахъ, а пытался нарисовать цѣльную, въ высшей степени увлекательную личность, всю проникнутую стремленіемъ къ истинѣ, жаждой найти дѣйствительно сильнаго человека въ своемъ отечествѣ. И вотъ этотъ самый писатель, мученикъ идеала, пишетъ романъ *Димъ*, сочиняетъ Потугина и его западническую исповѣдь... Мгновенно все перевернулось и замутилось въ глазахъ нашего критика. Тургеневъ теперь совсѣмъ другой человекъ и писатель. Онъ врагъ народническихъ и національных вѣрованій, онъ—слѣпой идолослужитель Европы, оно всю русскую жизнь считаетъ дымомъ, онъ—самъ оторвавшійся отъ почвы!

Статью Страхова печатаютъ *Отечественныя Записки*, лишній разъ доказывая полную случайность и безпринципность своего міросозерцанія <sup>71)</sup>. Для Страхова это начало цѣлой войны не только съ Тургеневымъ, но и со всѣми западниками, перѣе всего, конечно, съ Бѣлинскимъ и Добролюбовымъ.

Критикъ указываетъ на озлобленіе русской печати противъ Тургенева: по дѣломъ ему! Онъ «старался всячески дразнить общественное мнѣніе, дерзко касаться его любимыхъ идей и вкусовъ, дотрогиваться до самыхъ больныхъ и чувствительныхъ мѣстъ».

Съ какой цѣлью говорится это? Въ защиту Тургенева? Тогда почему же самъ критикъ съ такимъ негодованіемъ возсталъ на Тургенева за *Димъ*, за поруху народности и патріотизму? Въ одобреніе критикамъ Тургенева? Тогда, что означало раннее восхва

<sup>69)</sup> *Время*. 1862, апрѣль.

<sup>70)</sup> *Время*. 1863, февраль.

<sup>71)</sup> 1867, май.

леніе Тургенева, болѣющаго своимъ вѣкомъ? Приходится, повидимому, остановиться на перемѣнѣ чувствъ критика къ Тургеневу и вообще на переверотѣ во взглядахъ критика. Это ясно изъ его отзыва о Базаровѣ: *нигилистъ*, недавно почти воспѣтый, теперь оказывается зараженнымъ и гордостью, и самолюбіемъ, и цинизмомъ: все это должно было всѣхъ оттолкнуть отъ Базарова—и въ романѣ и потомъ въ критикѣ <sup>12)</sup>.

Предъ нами будто два разныхъ человека съ одной и той же фамиліей—Страховъ или Косица. Такъ рѣшительна эволюція, точнѣе, революція мнѣній и впечатлѣній! И совершенно напрасно авторъ поспѣшилъ забѣжать впередъ и предупредить публику насчетъ своего самаго больного мѣста: «живость моихъ впечатлѣній не должна внушать мысли о какой-либо шаткости въ моихъ убѣжденіяхъ».

Увы! Впечатлѣнія критика на самомъ дѣлѣ не такъ живы, какъ шатки его убѣжденія. Возможна ли иначе такая безпощадность къ Тургеневу за то, что онъ открыто призналъ свое невольное сочувствіе Базарову и общность своихъ убѣжденій съ его убѣжденіями, кромѣ взглядовъ на искусство? Признаніе до глубины души возмутило критика. Почему? Вѣдь онъ раньше усматривалъ въ Базаровѣ даже высшую красоту человѣческой природы, т. е. неутолимую жажду любить другихъ, а теперь—горе Тургеневу: онъ *нестрый нигилистъ!*

Очевидно, вопросъ не въ живости впечатлѣній, а въ неустойчивости идей. Но критикъ не желаетъ вложить персты въ свою рану, онъ ищетъ вину въ другомъ, и, конечно, находитъ. Тургеневъ оказывается дважды преступенъ: во-первыхъ, западникъ, во-вторыхъ, не свободный художникъ, писатель, смутившійся предъ нападками журналовъ, «утратившій олимпійское спокойствіе, приличное художнику» онъ кончилъ тѣмъ, что воспѣлъ Соломина, и критику «невозможно было смотрѣть на это безъ горькаго чувства».

Вы спросите: почему же Тургеневу не воспѣть Соломина, если онъ искренне считалъ подобный типъ сильнымъ и прогрессивнымъ? Врядъ ли и самъ критикъ могъ бы отрицать силу за этимъ героемъ, разъ онъ призналъ ее за Базаровымъ. Неужели Тургеневу непремѣнно требовалось пойти въ кабалу къ нигилистамъ, чтобы Соломина предпочесть Сипягинымъ и Коломійцевымъ? Вѣдь тотъ же Тургеневъ не пощадилъ Нежданова тоже.

<sup>12)</sup> Заря. 1869, декабрь; 1871, февраль.

нигилиста и даже Маркелова, человека не без известной воли и характера, а увѣнчалъ именно Соломина. И мы, признавая незаконченность и блѣдность этой фигуры, не можемъ отказать художнику въ правильности взгляда и вкуса. Выходить, критикъ не счелъ нужнымъ вдуматься въ простѣйшій вопросъ и поторопился произнести приговоръ съ такой же опрометчивостью, съ какой онъ напалъ на Тургенева за Потугина. Страховъ—патріотъ и врагъ нигилистовъ—пересталъ быть безпристрастнымъ и осмотрительнымъ судьей и осудилъ себя на безвыходную сѣть противорѣчій и самопроверженій.

Она сплеталась иногда чрезвычайно быстро, на пространствахъ нѣсколькихъ мѣсяцевъ. Напримѣръ, Страховъ разсуждаетъ о бѣдности нашей литературы и одно изъ доказательствъ этой бѣдности видитъ въ легкомысленномъ невниманіи *славянофиловъ* къ русской литературѣ, въ ихъ высокомерномъ отношеніи къ ней. Они безпрестанно дѣлаютъ вылазки противъ Бѣлинскаго, явно усиливаются заклеить его презрѣніемъ, а между тѣмъ его популярность растетъ съ каждымъ годомъ, его сочиненія—настолярная книга воспитателей русскаго юношества. Можно ли отдѣлываться отъ такой силы пренебрежительными изреченіями? Не прямой ли долгъ хулителей взять на себя трудъ произнести надъ Бѣлинскимъ основательный и отчетливый судъ, опредѣлить его значеніе и уберечь другихъ отъ будто бы неосновательныхъ увлеченій его произведеніями?

Ничего подобнаго славянофилы не дѣлаютъ и ограничиваются крѣпкими словами въ то время, когда первый современный писатель Тургеневъ посвящаетъ *Отцовъ и дѣтей* памяти Бѣлинскаго <sup>73)</sup>.

Все это очень дѣльно и убѣдительно, но въ томъ же самомъ году, какимъ помѣчена книга съ такими здравыми идеями, Бѣлинскій подвергается полному уничтоженію. За нимъ признается правильность только нѣкоторыхъ отдѣльныхъ сужденій, а вообще «онъ не завѣщалъ намъ мысли, которую слѣдовало бы развивать». И вся бѣда, по соображеніямъ Страхова, въ «злополучной теоріи прогресса». Она именно вызвала поздѣйшій разгромъ всѣхъ русскихъ поэтическихъ талантовъ.

Вы изумлены. Въ какую же теорію вѣруетъ самъ критикъ, ратуя за принципы и идеи? Вѣдь они же не представляютъ и

<sup>73)</sup> *Бѣдность нашей литературы*. Критич. и историч. очеркъ. Спб. 1868. 5—11.

не могутъ представлять неподвижнаго предавія, въ родѣ какого-нибудь восточнаго вѣроученія. Критику дорогъ принципъ національности, но безъ идеи прогресса это принципъ китаизма, т. е. политическаго и культурнаго окостенѣнія націи.

Дальше еще страннѣе. Добролюбовъ, оказывается, въ качествѣ западника *перетолковалъ на свой ладъ* Островскаго и его статья *Темное царство*, слѣдовательно, извращеніе смысла пьесъ и характеровъ. Мы знаемъ, это идея Григорьева, и насколько она основательна—извѣстно всякому, читавшему Островскаго и Добролюбова.

Но Страховъ теперь вообще желаетъ быть продолжателемъ Григорьева, «нашего единственнаго критика». Приблизительно въ такомъ же смыслѣ и Григорьевъ полагалъ о Страховѣ: это почтенно съ точки зрѣнія дружеской вѣрности и горячности. Но, къ сожалѣнію, взаимныя чувства критиковъ совершенно безразличны и безплодны для успѣховъ русской критики. Принципъ національности въ художественномъ творчествѣ Бѣлинскій защищалъ не менѣе настойчиво, чѣмъ наши друзья; онъ только не дошелъ до мысли, чтобы русскій національный идеалъ могъ быть сполна воплощенъ въ типѣ смиреннаго и простаго героя, въ родѣ Пушкинскаго Бѣлкина или Толстовскаго Каратаева. Отвергать безцѣльный блескъ и трескъ громкаго и хипснаго героизма не значитъ непременно искать спасенія въ смиреніи и младенческомъ незлобіи духа. Напримѣръ, Страховъ раньше видѣлъ въ Базаровѣ настоящаго русскаго человѣка; что же общаго между нимъ и юродцами гр. Толстого? Должно быть, весьма мало и, вѣроятно, по этой причинѣ Страховъ съ такимъ усердіемъ принялся развѣнчивать Базарова, постигнувъ національныя достоинства Каратаева. Не противорѣчила этому усердію и вражда къ западническому ученію о прогрессѣ: съ Каратаевымъ, конечно, нечего опасаться никакихъ, не только прогрессивныхъ идей, а вообще культурной, умственной и практической дѣятельности. И Страховъ сосредоточилъ живость своихъ впечатлѣній на толстовскомъ культѣ простоты и смиренномудрія.

При такихъ убѣжденіяхъ не могло быть и рѣчи не только о критикѣ, а даже о болѣе или менѣе толковомъ пониманіи современныхъ, литературныхъ и общественныхъ явленій, и Страховъ самъ себя вычеркнулъ изъ русской жизнедѣятельной и умственно-просвѣтительной публицистики.



## LIV.

Съ другими представителями умѣреннаго образа мыслей не происходило и такихъ колебаній, какія пережилъ другъ Аполлона Григорьева. Они простодушнѣйшимъ образомъ не постигали того, что совершалось вокругъ, чѣмъ волновалась современная молодежь, къ чему стремилась и почему впадала въ заблужденія. Происходило что-то дикое, невразумительное, будто цѣлое поколѣнiе впаало въ острое умопомѣшательство, совершенно внезапно, и нѣтъ даже способовъ не только лѣчить больныхъ, а даже разговаривать съ ними на человѣческомъ языкѣ. И новые люди обладали, повидимому, способностью вызывать сильныя отрицательныя чувства даже въ сравнительно кроткихъ и терпимыхъ сердцахъ. Время преобразовывало снисходительность въ ожесточенную злобу, желаніе взглянуть и понять, въ жажду устранить и уничтожить. Это доказывало прежде всего непрестанно выростающую силу молодой критики и безсиліе «отцовъ» бороться съ ней предъ публикой ея же средствами, т. е. идеями и талантомъ.

Любопытный примѣръ—профессоръ и либеральный журналистъ Никитенко. Онъ было встрѣтилъ молодое направленіе литературы довольно благосклонно, напечаталъ о немъ статью самаго отеческаго содержанія. Правда, онъ не одобрялъ малой образованности юныхъ критиковъ, указывалъ на туманы умозрѣній и доктринъ, но выражалъ твердую надежду на исправленіе и торжество здраваго русскаго смысла. Молодежь еще послужить родинѣ «со всѣмъ жаромъ своего благороднаго сердца и всею мыслию своего даровитаго ума» <sup>74)</sup>.

Едва прошелъ годъ, настроенія благодушнаго отца рѣзко измѣнились. Онъ привѣтствуетъ предостереженіе *Современнику* за косвенное и прямое порицаніе началъ собственности. Никитенко напоминаетъ, что онъ врагъ современныхъ законовъ о печати, но не будетъ сочувствовать *Русскому Слову* и *Современнику* даже въ случаѣ ихъ гибели. Журналы эти печатаютъ вещи «непозволительныя», «если не допустить у насъ безусловной свободы печати», прибавляетъ либеральный цензоръ <sup>75)</sup>.

Слѣдовательно, при свободѣ печати молодые журналы не были бы преступны и Никитенко готовъ одобрить стѣснительный по-

<sup>74)</sup> *Сѣверная Почта*. 1864, № 20.

<sup>75)</sup> *Записки*, 12 ноября 1865, III, 59.

рядокъ именно ради нихъ. Это уже не борьба поколѣній, какъ двухъ культурныхъ силъ, это вражда и военное положеніе, не различающее средствъ уничтоженія врага.

Чувство слѣпой вражды или безнадежное непониманіе самой сущности явленій ярко блещутъ на страницахъ лучшихъ современныхъ журналовъ умѣренного образа мыслей—*Русскаго Вѣстника* и *Библіотеки для Чтенія*. Публицистика Каткова и Никиты Безрылова разъ навсегда вполне точно опредѣлила отношенія «отповъ» либеральной журналистики къ радикальнымъ дѣтямъ. *Взбаломученное море*, при всей грубости и наивности полемическихъ приѣмовъ, превосходно отражало духъ этихъ отношеній, и статьи Каткова ничѣмъ не отличались по существу отъ непосредственно полемическихъ выходовъ романиста въ самомъ романѣ противъ его же героевъ и героинь. Разница только въ одномъ. Никита Безрыловъ велъ жестокую войну противъ воскресныхъ школъ, женскаго вопроса, безсознательно давая оружіе завѣдомымъ врагамъ всякой свободной мысли и новаго общественнаго движенія, Катковъ вполне рассчитанно, по всѣмъ правиламъ политики и стратегіи, шелъ къ той же цѣли. Въ соотвѣствіи съ идеями издателей должны были дѣйствовать и критики. Мы знаемъ ихъ—Анненковъ и Дружининъ.

Ни одинъ изъ нихъ не могъ обнаружить страсти и гнѣва, оба люди мирные, кроткие, въ сильной степени безличныя. Про нихъ нигилисты очень метко выражались: они *паслись* на зеленыхъ лугахъ *Русскаго Вѣстника* или *Библіотеки для Чтенія*. Именно паслись, и по временамъ протестующе мычали и ворчали.

Анненковъ и съ наступленіемъ нигилистической эпохи не сталъ вразумительнѣе и удобочитаемѣе, Дружининъ—оригинальнѣе и глубже. Правда, Анненковъ—этотъ богоспасаемый эстетикъ и блаженный любитель чистаго художества, сталъ толковать объ общественныхъ вопросахъ по поводу *Дворянскаго штыда*, заявлять, что «задача романа—показать читателю, куда должны обращаться его симпатіи». Онъ дошелъ даже до энергичной критики на педагогическую мудрость гр. Толстого и высказалъ дѣльную истину: «на порядочной литературѣ лежитъ обязанность не только передавать явленія съ извѣстной теплотой и живостью, но еще отыскивать, какое мѣсто они занимаютъ въ ряду другихъ

<sup>70)</sup> *Воспом. и критич. очерки*. III, 182. Статья о *Тысячъ душъ* въ «Атеней», 1859, № 2.

явленій и какъ относятся къ высшему представленію ихъ самихъ, къ своему нравственному и просвѣтителъному типу» <sup>77)</sup>).

Но какъ далеко отъ этихъ умныхъ соображеній до всесторонняго проникновенія въ смыслъ современной литературы! Анненковъ хвалитъ Тургенева за чуткое пониманіе «невидимыхъ струй и теченій общественной мысли», но самъ совершенно не понимаетъ самой видимой и мощной струи—Базарова. Для него нигилистъ тождественъ съ Обломовымъ: оба они обладаютъ душевнымъ спокойствіемъ, невозмутимой чистотой совѣсти, твердыми правилами и оба—*наслаждаются* жизнью. Мало этого: у обоихъ героевъ даже одинаковый скептицизмъ по отношенію къ жизни... И нигилизмъ ничто иное, какъ воскресшая обломовщина <sup>78)</sup>.

Весьма оригинально, но любопытно знать, за что же такъ ненавидѣлъ нигилистовъ редакторъ Анненкова и почему, напримеръ, даже рыцарственный Григорьевъ питалъ сердечную нѣжность къ Обломову и бранился именами новыхъ людей? Только въ шутку или съ цѣлю сдѣлать блистательный *salto mortale* въ зайцевскомъ духѣ, можно было изобрѣтать подобныя сравненія: у Анненкова они серьезны, потому что серьезно его полное и неизмѣнное непониманіе предмета.

Еще менѣе былъ приспособленъ къ пониманію движенія шестидесятихъ годовъ Дружининъ. Что общаго между беззаботной веселостью, двусмысленными приключеніями, палочковыми анекдотами Чернокнижника и задачами молодого поколѣнія? Пожалуй, даже Павелъ Петровичъ Кирсановъ скорѣе могъ бы освоиться съ обязанностью поглубже вдуматься въ нигилизмъ Базарова, чѣмъ талантливый фельетонистъ для дамъ.

Раньше онъ защищалъ дамскіе жизнерадостные запросы къ литературѣ, дамскую любовь къ симпатичнымъ героямъ и утѣшительнымъ повѣстямъ, теперь онъ прикидываетъ ту же дамскую мѣрку къ популярнѣйшимъ явленіямъ литературы. Толкуя о поэзіи Некрасова, онъ не забываетъ внушить читателю: «для женщины, съ ихъ весьма разумнымъ и совершенно понятнымъ стремленіемъ къ міру симпатическихъ явленій нашего міра, эта поэзія или непонятна, или даже возмутительна».

Неопровержимый поводъ и для самаго критика искать всюду забавнаго и симпатичнаго! Дружининъ желаетъ «хохотать чи-

<sup>77)</sup> III, 293. *Русская беллетристика въ 1863 году.*

<sup>78)</sup> III, 220. *Русскій Вѣстникъ*. 1859. № 16; 248—9. Ст. о Пемаловскомъ. 1863 года.

стѣйшимъ веселымъ смѣхомъ» надъ комедіями Островскаго и не видѣть въ нихъ «никакой печальной подкладки», приходитъ въ жестокое негодованіе отъ «зловонныхъ паровъ» обличительной литературы, воспроизводитъ восторги славянофильствовавшего *Москвитянина* предъ добротой національнаго героя — Обломова. Естественно, Бѣлинскаго критикъ признаетъ до такого же періода, какой былъ намѣченъ Григорьевымъ, т. е. Бѣлинскаго, поэта, защитника Гёте, врага Менцеля и дидактической критики, однимъ словомъ, по толкованію этихъ поклонниковъ великаго критика, Бѣлинскаго-эстетика. Измѣну чистому искусству со стороны Бѣлинскаго Дружининъ приписываетъ какимъ-то вѣшнимъ влияніямъ и влеченіямъ «чужихъ людей». Такъ, по представленію сотрудника *Отечественныхъ Записокъ* и редактора *Библіотеки для Чтенія*, беспомощенъ былъ Бѣлинскій: кто-нибудь непременно долженъ его обучать или философія Гегеля, или скрежету зубовъ! <sup>79)</sup>

Какой судъ могъ произносить подобный мыслитель надъ литературой шестидесятихъ годовъ? Даже Анненковъ, сравнительно съ этимъ судьей, человекъ очень рѣшительный и передовой. Онъ, на примѣръ, не видѣлъ, чтобы талантъ Тургенева падалъ и унижался отъ интереса автора современной дѣйствительностью, не могъ допустить и мысли, чтобы сатира въ русской литературѣ была явленіе временное, второстепенное и уже болѣе ненужное, а что необходимы только эпикурейскія наслажденія яснымъ и чистымъ искусствомъ <sup>80)</sup>! По истинѣ пажескій взглядъ на *вѣчное* въ литературѣ, и—когда и по какимъ поводамъ?..

Мы понимаемъ, почему *Библіотека для Чтенія* быстро захирѣла при такомъ редакторѣ, почему сотрудничество и товарищество Писемскаго не могло остановить разложенія журнала. Онъ былъ *безразличенъ*, какъ органъ печати. Въ немъ не витѣлось идейной личности, не жило никакой волнующей общественной страсти, онъ не могъ научить читателей ничему нужному и важному, не могъ или не хотѣлъ понять даже чужихъ ученій и упорно стремился занять положеніе брюзгливаго, никѣмъ не уважаемаго и лишь кое-кому досаднаго надзирателя за чужой нравственностью и чужимъ легкомысліемъ. И онъ не представлялъ ни малѣйшей опасности для вигилистовъ и разрушителей: они только могли быть

<sup>79)</sup> *Сочиненія*. VII, 488, 566, 600, 514, 636—8.

<sup>80)</sup> *Тб.* 294, 477—8.

благодарны ему за обильный матеріалъ для смѣха и, если молодѣжь желала, для гнѣва и сатиры.

Не были опасны и другіе. Сильнѣйшій между ними—*Русскій Вѣстникъ*—до такой степени поражалъ читателей пестротой своихъ публицистическихъ упражненій или такъ беззащитно поворачивалъ вправо, что даже писатели, имъ вскорѣ признанные и увѣнчанные, изобличали его въ «измѣнчивости» и въ обскурантизмѣ. Страховъ пространно доказывалъ отсутствіе ясныхъ убѣжденій у московскаго «олимпійца», Аксаковскій *День* ловилъ его на фактахъ, а Страховъ, кромѣ того, произносилъ уничтожающій приговоръ даже публицистическому таланту Каткова.

Неограниченно притязательный хозяинъ *Русскаго Вѣстника* умѣлъ отличаться однимъ лишь искусствомъ: привимать догматическій тонъ, уклоняться отъ обсужденія вопросовъ по существу, не понимать своихъ противниковъ и клеймить ихъ высококомернымъ презрѣніемъ. Если пріемъ не удавался, вопросы просто замазывались и объявлялись не существующими. И у Страхова не было недостатка въ примѣрахъ изумительной невѣжественности публицистики катковскихъ органовъ. особенно по вопросу о классическомъ и естественномъ образованіи. Именно здѣсь Катковъ подвизался съ особенной отвагой и именно здѣсь 'наговорилъ множество чисто-школьническихъ неглупостей. Даже Страховъ могъ достигать истиннаго остроумія, критикуя «презабавныя странипы» московскихъ классиковъ съ естествознаніемъ. Классики обнаруживали младенческое непониманіе предмета — до такой степени радикальное, что благонамѣренный и вѣжливый критикъ рѣшилъ обозвать ихъ «отчаянными нигилистами». Они осмѣлились отвергнуть самую возможность преподаванія естественныхъ наукъ дѣтямъ, т. е. фактъ всѣмъ извѣстный изъ германской педагогической теоріи и практики. Они вообразили, будто для описательныхъ частей естественныхъ наукъ нужны физическія и химическія свѣдѣнія, т. е. обнаружили полное невѣдѣніе методовъ естествознанія... И они же защищаютъ классическую систему, потому что она существуетъ на Западѣ! <sup>81)</sup>.

Какое траги-комическое положеніе! Катковъ, такой громкій патріотъ, и не додумался до простѣйшей мысли: Западная Европа гораздо ближе Россіи къ древнему міру, латинскій языкъ, напри-

<sup>81)</sup> Библиотека для Чтенія. 1863, июль. Ничто о Русскомъ Вѣстникѣ, октябрь. Споръ объ общемъ образованіи. Статья на подписью Н. Нелишко.

мѣръ, тамъ языкъ церкви, можно ли намъ, русскимъ, усвоивать невозбранно всю школьную систему Запада? Не очевидно ли, намъ необходима собственная точка опоры, собственная руководящая нить. А еще Катковъ такой англоманъ и не усвоилъ основной англійской культурной идеи: самобытность и свободу національнаго развитія.

Впрочемъ, развѣ можно требовать послѣдовательности отъ столь ученаго и убѣжденнаго политика? Онъ, напримѣръ, еще въ самомъ началѣ шестидесятыхъ годовъ поднялъ вопль противъ умственнаго пролетаріата, т. е. противъ наплыва бѣдныхъ людей въ университеты... Даже *Отечественныя Записки* припомнили Каткову, что вѣдь онъ былъ когда-то профессоромъ университета и передовымъ человекомъ... Наивное напоминаніе! Будто какое бы то ни было былъ къ чему-либо обязываетъ, и потомъ, всякіе बताють способы казаться передовымъ, и ихъ очень много зналъ московскій публицистъ, одновременно политикъ англійской складки и патріотъ московскаго духа.

Такъ обстояло дѣло еще въ 1862 году; очевидно, путь лежалъ прямой и ясный. И еще очевидно было, что не на этомъ пути можно уничтожить нигилизмъ въ глазахъ общества и одержать дѣйствительную идейную побѣду надъ легкомысленной и злокозненной молодежью. Догматизмъ Каткова черпалъ свой авторитетъ въ единственномъ источникѣ: въ усиленномъ запугиваніи публики. Испуганный человекъ, какъ извѣстно, не способенъ вникать въ свои и чужія мысли и крайне легко поддается какому угодно призракамъ разсудка и дѣйствительности. Катковъ отлично зналъ эту психологію, и собиралъ обильную жатву.

Но эти успѣхи отнюдь не лишали нигилистическую печать читателей и поклонниковъ уже потому, что гнѣвъ и страсть Каткова даже просто безпристрастнымъ людямъ не внушали довѣрія и почтенія, и чѣмъ дальше, тѣмъ меньше. Смертная бѣда на новыхъ людей пришла не извнѣ, а возникла и развилась въ ихъ собственной средѣ, даже не возникла, а существовала съ самаго начала *дѣтскаго* періода шестидесятыхъ годовъ, т. е. послѣ смерти Добролюбова и устраниенія Чернышевскаго. Въ содержаніи самихъ идей этого періода заключался зародышъ разложенія и гибели, и онѣ уже достигли роковаго предѣла раньше, чѣмъ разразилась внѣшняя гроза.

Лѣтомъ въ 1866 году *Современникъ* и *Русское Слово* были закрыты. Общество, по свидѣтельству лица несочувствующаго, встрѣтило распоряженіе правительства съ единодушнымъ недовольствомъ. Доказательство, что либеральная и всякая другая печать нисколько не подорвала популярности нигилистическихъ журналовъ и не достигла бы цѣли, вѣроятно, еще очень долго. Но въ нѣдрахъ самихъ редакцій уже совершался процессъ, въ высшей степени знаменательный.

Предъ нами будто отраженіе исторіи Базарова. Тургеневскаго героя настигаетъ смерть при крайнемъ напряженіи его нравственныхъ силъ, при мучительномъ душевномъ разладѣ. Онъ успѣваетъ впасть въ пессимизмъ, разочарованіе, снизить даже до резонерства и романтическихъ жестокихъ настроеній. Онъ говоритъ общими мѣстами, имъ овладѣваетъ чувство безпредметной злобы. Онъ будто перестаетъ знать, куда дѣвать себя, и не видитъ смысла въ дальнѣйшей жизненной комедіи.

Нѣчто подобное совершается въ нигилистическомъ мірѣ предъ гибелью его органовъ. Одинъ изъ первостепенныхъ его вдохновителей—Благосвѣтловъ—обнаружилъ эволюцію, явно противорѣчившую основнымъ символамъ направленія. По свидѣтельству Шелгунова, онъ постепенно превратился въ хозяина-буржуа, сталъ угнетать своимъ деспотизмомъ сотрудниковъ, рабочихъ по типографіи. *Двойственность* немедленно отразилась и на журналѣ. Благосвѣтловъ, стяжавшій богатство, началъ обижаться статьями объ эксплуатаціи, всякой защитой тружениковъ и мужиковъ. Статьи онъ печаталъ, но будто считалъ ихъ укоромъ себѣ и былъ бы очень доволенъ, если бы сотрудники не касались подобныхъ вопросовъ. Не къ лицу было ратовать за пролетаріа нигилисту, жившему въ роскоши, имѣвшему дома, имѣніе, собственную карету и даже негра-лакея.

Естественно, столь неидеальное превращеніе внесло разладъ въ среду сотрудниковъ журнала. Писаревъ отзывался о Благосвѣтловѣ съ явнымъ презрѣніемъ, не оставался въ долгу и Благосвѣтловъ. Наконецъ, зимой 1865 года Писаревъ и Зайцевъ рѣшили устроить *сoup d'état*, смѣстить Благосвѣтлова и вмѣстѣ съ Шелгуновымъ взять въ свои руки журналъ. Шелгуновъ обращаетъ вниманіе, что въ это же время такой же разладъ происходилъ и въ *Современникѣ*: тамъ сотрудники также намѣревались

устранить Некрасова... «Разладъ и разъединеніе,—заканчиваетъ разсказчикъ,—чувствовались вездѣ и во всемъ...»

Это—неизмѣримо важнѣе всякой внѣшней вражды. Благосвѣтловъ, занимая центръ смутныхъ происшествій, писалъ: «Плохо наше молодое поколѣніе»... Какъ возликовалъ бы Катковъ, услышавъ этотъ приговоръ!

Но ликованіе вышло бы опрометчивымъ. Благосвѣтлову было позволительно негодовать на «молодое поколѣніе»: лучшіе его предстѣватели переставали его уважать и слѣдовать за нимъ. На самомъ дѣлѣ поколѣніе считало въ своей средѣ людей рѣдкой энергіи и талантности, и именно они создали благополучіе Благосвѣтлова. Безъ нихъ, т. е. безъ работы Писарева, Зайцева и другихъ, онъ не былъ бы издателемъ популярнѣйшаго журнала своего времени и не ѣздилъ бы въ каретахъ. Очевидно въ молодомъ поколѣніи была сила—именно сила *свободнаго и убѣжденнаго слова*. Она чарующе дѣйствовала на молодежь, она захватывала и подчиняла все, умѣвшее желать и стремиться, она, заключавшаяся только въ *слово*, самыми своими крайностями возбуждала нравственную энергію у людей, обдѣленныхъ положеніемъ, званіемъ и всякими другими привилегированными благами. И мы, осуждая «перлы и адаманты» журнальной полемики шестидесятыхъ годовъ, не должны забывать, какое впечатлѣніе должна была производить независимая страстная рѣчь человѣка съ однимъ литературнымъ именемъ на среду, еще, вчера крѣпостническую и чиновническую. Да, здѣсь была сила, и весьма значительная.

Но была и слабость, было плохое, по своимъ отрицательнымъ качествамъ, не уступавшее достоинствамъ силы.

Не представляло непоправимаго несчастія превращеніе Благосвѣтлова въ буржуа и капиталиста: блескъ *Русскаго Слова* не имъ создавался. Онъ весьма многое внушилъ своимъ сотрудникамъ, но всѣ внушенія уже были усвоены, Писаревъ и Зайцевъ закончили кругъ своего развитія и могли дѣйствовать безъ руководителя и наставника,—*Русское Слово* и безъ Благосвѣтлова осталось бы на прежнемъ уровнѣ талантности и занимательности для своей публики.

Такъ слѣдовало бы предполагать, и такъ думали сами Писаревъ и Зайцевъ. На самомъ дѣлѣ эти думы свидѣтельствовали только о печальнѣйшемъ заблужденіи и самообольщеніи друзей.

Мы только что сказали: «закончили кругъ своего развитія»;



это жестокая, въ полномъ смыслѣ трагическая правда о молодыхъ талантахъ. Писаревъ и Зайцевъ успѣли истощить всѣ свои идеи, еще до разлада съ Благовѣстовымъ. Недаромъ Зайцевъ утверждалъ, что уже въ тридцать лѣтъ человѣкъ «перестаетъ развиваться». Чисто-нигилистическая психологія! Она могла утѣшать двадцати-пяти-лѣтнихъ героевъ и снабжать ихъ даже «научнымъ» презрѣніемъ къ менѣе молодымъ ученымъ, но она въ то же время доказывала, какъ наивно, дѣтски-самонадѣянно представлялась юнымъ героямъ самая идея развитія и какъ просто, въ порывѣ горячаго воображенія, давался имъ какой угодно прогрессъ и какая угодно истина.

И истины имъ дѣйствительно давались легко,—легче, чѣмъ какому бы то ни было другому русскому поколѣнію. Въ философій матеріализмъ освободилъ ихъ отъ труднѣйшихъ задачъ психологіи, нравственности и даже естествознанія, въ искусствѣ—отрицаніе художественнаго творчества, и чувства—избавило ихъ отъ необходимости «изучать» художниковъ, ихъ психологію, ихъ личности и ихъ произведенія. Такое развитіе, несомнѣнно, чрезвычайнo просто и постигнуть его можно даже и до пятнадцатилѣтняго возраста.

Но, къ сожалѣнію, отрицать не всегда значитъ уничтожать: психологія и искусство не только продолжали существовать послѣ *Антропологическаго принципа* и *Разрушенія эстетики*, но создали лучшія страницы въ произведеніяхъ самихъ отрицателей. Не помогли накая заклинанія: Тургеневъ художникъ становился драгоцѣннѣйшимъ учителемъ гонителей искусства и даже вызывалъ среди нихъ непримиримыя междоусобицы.

Очевидно, путь былъ взятъ ложный и на столько кривой, что по немъ даже оказалось невозможнымъ идти при самомъ искреннемъ желаніи.

Это понимали шестидесятники-отцы. Они умѣли быть благодарными художественному творчеству и въ высшей степени искусно пользоваться имъ для своихъ просвѣтительныхъ цѣлей. Они и оставили незабвенные завѣты русской критикѣ. Они закончили ея теорію вполне послѣдовательно и навсегда непоколебимо.

Къ этой теоріи стремилась русская литература съ своихъ первыхъ шаговъ, она всегда и при всякихъ условіяхъ желала быть нужной и важной, правдивой и поучительной. На сколько она вдохновлялась національнымъ духомъ, оставалась свободной отъ чуждыхъ ей теорій и руководствъ,—она достигала этой цѣли.

Она искренне и честно воспроизводила жизнь и была незамѣнимо полезна жизни. Она сливала въ себѣ двѣ основныхъ стихіи вѣчнаго художественнаго творчества: реализмъ и идеализмъ. Она не извращала дѣйствительности въ угоду искусственно-развитому вкусу, и не забывала высшихъ нравственныхъ задачъ писательскаго слова. Она—въ лицѣ своихъ великихъ дѣлателей—была одновременно и наукой, и моралью, независимо отъ тенденцій и эстетическихъ школъ. Жгучая, до болѣзненности напряженная мечта Гоголя—*послужить своей родинѣ на поприщѣ писателя*—основная, истинно-національная задача всякаго русскаго художественнаго дарованія. И она должна была сообщить опредѣленный характеръ и русской критикѣ, вызвать къ жизни особый національный типъ русскаго эстетика.

Онъ съ самаго начала явился политикомъ, моралистомъ, философомъ и менѣе всего эстетикомъ въ западно-европейскомъ смыслѣ слова. Таковымъ онъ выступалъ на сцену только въ ненаціональные періоды русской литературы. Тогда и творческимъ, и умственнымъ силамъ приходилось бороться съ теоретическимъ насилиемъ, съ большими усиліями сбрасывать цѣпи и путы эстетической системы. Исходъ борьбы не подлежалъ ни малѣйшему сомнѣнію, если только въ нравственный міръ русскаго народа дѣйствительно входилъ свободный творческій геній. Кратковременная, но по истинѣ блестящая исторія литературы разрѣшила вопросъ положительно и заставила даже западные народы признать силу и оригинальность рѣшенія.

Наравнѣ съ геніальными художниками русская литература выработала также типъ національнаго критика. Работа въ этомъ направленіи шла гораздо медленнѣе—согласно психологическому закону: самопознаніе—высшій актъ духовной дѣятельности. Отдѣльныя черты типа стали обнаруживаться очень рано: публицистика съ самаго начала завладѣла критикой, но одного публицистическаго дарованія не достаточно для писателя, призваннаго судить и истолковывать произведенія искусства.

Русская литература въ области творчества высшій идеалъ явила въ лицѣ художника мыслителя, поэта-гражданина; этимъ самымъ она опредѣлила и совершенный типъ критика-мыслителя, одареннаго глубокимъ художественнымъ чувствомъ, музыкальной отзывчивостью на непосредственную, жизненную красоту искусства.

И первымъ такимъ критикомъ былъ Бѣлинскій и онъ на-

всегда останется образцом національнаго русскаго критика. Это не значитъ, будто въ дѣятельности Бѣлинскаго нѣтъ ни единого пробѣла и недостатка и будто онъ, какъ писатель, высшій идеалъ для своихъ наслѣдниковъ. Это было бы невѣроятно и исторически невысказуемо. Дѣйствительность дореформенной Россіи не могла не оказать печальныхъ вліяній на судьбу какого угодно генія, и Бѣлинскій. можетъ быть, единственный по даровитости среди всѣхъ европейскихъ критиковъ, стоитъ позади многихъ по образованности, т. е. по количеству свѣдѣній. Исключительными усилиями доставались русскому писателю тѣ самыя сокровища науки и цивилизаціи, какія находились въ полномъ распоряженіи у всякаго культурнаго европейца. Отсюда продолжительныя мучительныя исканія истинъ, при другихъ общественныхъ условіяхъ доступныхъ безъ всякаго труда, въ силу общаго высокаго уровня образованности и просвѣщенія. Отсюда истинно подвижническій путь, требовавшій часто сверхчеловѣческой нравственной выносливости и преждевременно оборвавшій страстную вдохновенную дѣятельность. И дѣло Бѣлинскаго осталось незаконченнымъ, его великое дарованіе не имѣло должнаго простора и не получило сполна необходимаго оружія отъ современной науки, но какъ личность и какъ писатель онъ останется въ исторіи русской культуры идеальнымъ типомъ критика, мыслителя-художника, идеалиста-практика, и каждая новая прогрессивная эпоха русской національной общественной мысли будетъ вспоминать о немъ, какъ о своемъ предшественникѣ и учителѣ.

Это осуществилось въ первую же такую эпоху—въ шестидесятые годы. Она начала съ усвоенія завѣтовъ Бѣлинскаго, съ распространенія и развитія его идей, она, подобно ему, также стремилась учить и просвѣщать общество путемъ истолкованія произведеній искусства. И тамъ, гдѣ она шла путемъ Бѣлинскаго, тамъ ея дѣятельность положительное достоинство русскаго самосознанія, прочныя основы его дальнѣйшему движенію. Чернышевскій, какъ положительный мыслитель безъ матеріалистическихъ увлеченій, и Добролюбовъ, какъ реальный эстетикъ, какъ истолкователь общественнаго и нравственнаго содержанія и смысла художественнаго творчества, прямые историческіе наслѣдники Бѣлинскаго.

Но тоже стремленіе учить и самымъ прямымъ путемъ достигнуть возможнаго развитія и яснаго пониманія вещей увлекло младшихъ дѣятелей эпохи за предѣлы науки и разума. Мы го-

ворили о логической правоспособности радикализма, мы не можемъ отрицать и исторической основы явленія. Всѣ крайнія, совершенно нереальныя и практически безцѣльныя теоріи Писарева и его единомышленниковъ исторически связаны съ исконнымъ основнымъ принципомъ русской писательской природы учить и развивать. Историческія судьбы русскаго народа этотъ принципъ возвели на степень идеальнаго гражданскаго призванія и неотъемлемаго нравственнаго долга. И новые люди загорѣлись страстью немедленно нѣсколькими идеями и статьями возместить для русскаго общества десятилѣтія умственной косности и гражданскаго рабства. Все должно служить задачамъ обученія и развитія: недаромъ первоучитель такъ восторженно воспѣвалъ въ своемъ романѣ именно развитіе и показывалъ новыхъ людей, ставшихъ новыми въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, послѣ умныхъ бесѣдъ и дѣльныхъ книгъ. Самъ Рахметовъ чрезвычайно просто изъ обыкновеннаго хорошаго гимназиста превратился въ «особеннаго человѣка». Сначала познакомился съ умной головой, съ Кирсановымъ, послушалъ его въ теченіе вечера, плакалъ, восклицалъ, по его совѣту накупилъ книгъ, читалъ безъ перерыва 82 часа, потомъ проспалъ на полу часовъ 15. «Черезъ недѣлю онъ пришелъ къ Кирсанову, потребовалъ указаній на новыя книги, объясненій, подружился съ нимъ, потомъ черезъ недѣлю подружился съ Лопуховымъ, черезъ полгода, хоть ему было только 17 лѣтъ, а имъ ужъ по 21 году, они уже не считали его молодымъ человѣкомъ сравнительно съ собою, и ужъ онъ былъ особеннымъ человѣкомъ».

Соблазнительнѣйшая и, главное, какая простая исторія! И ее, то именно задались цѣлью осуществить молодые читатели *Что дѣлать?* на своихъ читателяхъ. Было ли здѣсь время изучать и разбираться художественныя, да и всякія другія произведенія? Успѣть бы только нажить фактовъ, «явленій жизни»! И, естественно, искусство во всей своей сложности и глубинѣ отошло совсѣмъ на задній планъ и уступило мѣсто конспектамъ, программамъ, обзорѣніямъ и неугомонной зойнѣ за всѣ эти конспекты и программы. Во имя фактовъ былъ устраненъ величайшій фактъ, во имя развитія нанесенъ ударъ могучему орудію цивилизаціи и просвѣщенія, во имя реализма разрушена цѣльность естественной человѣческой психологіи.

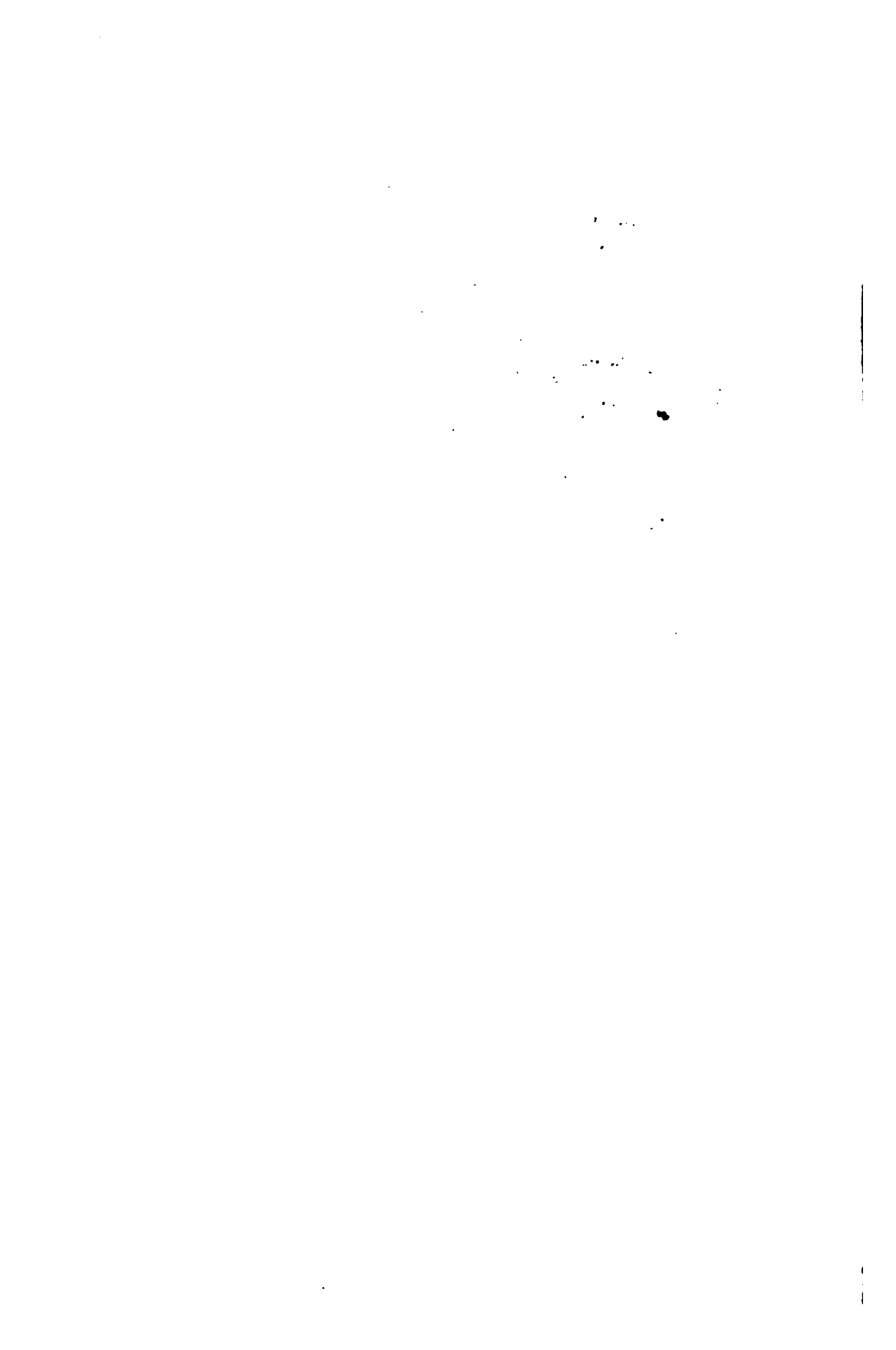
И пути новыхъ людей для русскаго прогресса оказались блудными, слѣпыми путями. Путниковъ толкнули на нихъ благород-

ныя цѣли, но въ борьбѣ за свѣтъ и свободу людямъ мало одного благородства; столь же необходимо еще строго обдуманная оцѣнка жизнеспособности и плодотворности благородной задачи, наравнѣ съ чистотой сердца необходимо вдумчивое самосознаніе. Рыцарь идеи долженъ быть мудрецомъ жизни и въ одинаковой степени обладать силой логическаго мышленія и историческаго смысла.

Новые люди, неумолимые и неотразимые идеологи, не могли въ погоню стать историками и не въ состояніи имъ были помочь даже двадцатилѣтнія, «особенно умныя головы». И ихъ стремительность, пережитый ими взаимный разладъ и личное идейное оскудѣніе съ новой силой подтвердили вѣчный законъ законмѣрнаго культурнаго прогресса и еще рѣзче опредѣлили исторически выработанные принципы русской критики.

Эти принципы, окончательно установленные дѣятельностью Добролюбова, подверглись суровому испытанію при его преемникахъ, безгранично рѣшительныхъ и увлекательно даровитыхъ. Зданіе доказало свою прочность и въ будущемъ ему врядъ ли грозитъ такой бурный, такой самоуверенный натискъ. Шестидесятые годы закончили кругъ принципіальнаго развитія русской критики, представили блестящіе наглядные примѣры, какъ должны осуществляться принципы: будущее открыто и ясно. Нѣтъ ничего сильнѣе теоріи и жизненнѣе ученія, оправданныхъ историческимъ опытомъ, нѣтъ ничего реальнѣе идеи, выработанной тяжелымъ но свободнымъ историческимъ процессомъ: именно таковы основы русской критики, таковы ея преданія и надежды.





A FINE IS INCURRED IF THIS

2) Approved

2) Approved



## ТОГО ЖЕ АВТОРА:

**Политическая роль французскаго театра въ связи съ философiей XVIII-го вѣка.** Москва. 1895 г. Цѣна 3 руб. 50 коп.

**Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ. Жизнь. — Личность. — Творчество.** С.-Петербургъ. 1896 г. Цѣна 2 руб.

**Шекспиръ.** С.-Петербургъ. 1896 г. Цѣна 25 коп.

**Писемскій.** С.-Петербургъ. 1897 г. Цѣна 1 руб.

**Учитель взрослыхъ и другъ дѣтей.** (Бичеръ-Стоу). Москва. 1898 г. Цѣна 30 коп.

**Люди и факты западной культуры.** Герой современной легенды. (Наполеонъ). Совѣсть въ исторiи одной жизни. (Мильтонъ). Москва. 1898 г. Цѣна 1 руб.

**Национальная героиня Францiи (Жанна д'Аркъ).** Москва. 1898 г. Цѣна 35 коп.

**Бѣлинскій.** Москва. 1898 г. Цѣна 10 коп.

**Исторiя русской критики.** Части I и II. С.-Петербургъ. 1898 г. Цѣна 2 руб.

**Изъ Западной культуры.** С.-Петербургъ. 1899 г. Цѣна 2 руб.

**Императоръ Александръ II.** Москва. 1899 г. Цѣна 45 коп.

**Пушкинъ.** Москва. 1899 г. Цѣна 25 коп.

**Изъ исторiи Москвы.** (1812-й годъ). Москва. 1899 г. Цѣна 30 коп.

**Островскій.** С.-Петербургъ. 1899 г. Цѣна 25 коп.

Цѣна 2 руб.

A FINE IS INCURRED IF THIS BOOK IS  
NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON  
OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED  
BELOW.

DUE NOV 74 H

Y 295908

STALL

CHARGE

CANCELLED

WIDENER  
BOOK DUE

AUG 25 1984  
29 25 73